

мастера современной прозы

# ГЕНРИХ БЁЛЛЬ





**МАСТЕРА  
СОВРЕМЕННОЙ  
ПРОЗЫ**



**МОСКВА «РАДУГА»**

**1988**

**Редакционная коллегия:**

**Анджапаридзе Г. А., Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н.,  
Затонский Д. В., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В.,  
Челышев Е. П.**

**ГЕНРИХ БЕЛЛЬ**

**ИРЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК**

**БИЛЬЯРД В ПОЛОВИНЕ ДЕСЯТОГО**

**РОМАН**

**ГЛАЗАМИ КЛОУНА**

**РОМАН**

**ПОТЕРЯННАЯ ЧЕСТЬ КАТАРИНЫ БЛЮМ**

**ПОВЕСТЬ**

**РАССКАЗЫ**

**ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО**



ББК 84.4Ф  
Б43

Составление и предисловие *П. Топера*  
Редактор *Н. Федорова*

Б  $\frac{4703000000-322}{030(01)-88}$  73—88

© Составление, предисловие и перевод на русский язык, кроме отмеченного в содержании знаком \*, издательство «Радуга», 1988

ISBN 5-05-002283-5

## ГЕНРИХ БЁЛЛЬ — РОМАНИСТ И РАССКАЗЧИК

Имя Генриха Бёлля (1917—1985) давно пользуется широкой известностью в нашей стране. В то время, когда он начал печататься по-русски — в конце 50-х годов,— он сразу же оказался в числе наиболее популярных зарубежных писателей, а среди молодых, то есть вступивших в литературу после второй мировой войны, едва ли не самым первым по числу изданий и тиражей. Это было время, когда в Советском Союзе стали гораздо шире, чем раньше, переводить зарубежную литературу, и Бёлль многими сторонами своей творческой манеры оказался интересен и близок советскому читателю<sup>1</sup>.

Наследие Бёлля очень велико; он выступал в самых разных жанрах — писал романы, рассказы, пьесы, радиопьесы, сатиры, памфлеты, стихи, занимался переводами, выступал как публицист, литературный критик, рецензент; наибольший вклад он внес, без сомнения, в искусство современной прозы. Вышедшее еще в 1977—1978 годах собрание его сочинений насчитывает 10 весьма объемистых томов, после чего были опубликованы новые книги — романы, сборники рассказов и статей, ранние рукописи из архива. Его произведения переведены почти на 40 языков; на всех этих языках существует литература о нем, в том числе и сугубо научная, литературоведческая, которая стала появляться еще при жизни Бёлля,— целое море статей, монографий, интервью, бесед, диссертаций и т. д. Нельзя сказать, однако, чтобы в критике существовало единое, отстоявшееся мнение о его творчестве и месте в литературе XX века; и в Западной Германии (там особенно), и в других странах он становился постоянно, а с годами все больше объектом острейших споров.

---

<sup>1</sup> Согласно библиографическим данным, впервые рассказ Бёлля появился на русском языке в журнале «В защиту мира» в 1952 году.

Бёлль был прирожденным писателем; по его словам, сам процесс «сочинительства» доставлял ему удовольствие, многое из написанного он никогда не печатал; ко времени первой публикации (уже после войны, в 1947 году) им было написано «четыре или пять, а то и шесть романов». Он обладал замечательным даром рассказчика, у него был зоркий, цепкий взгляд на детали и феноменальная память; при этом, по его мнению, писателю достаточно знать только «элементы человеческой жизни», да и те он должен постичь самое позднее до двадцати одного года, «в возрасте относительно невинном и наивном». Сам он не придавал жизненному материалу большого значения; он говорил, что эта «горсть праха, которая, если верить Библии, понадобилась богу, чтобы создать человека», нужна и писателю; «но материал не очень важен, для меня — не очень»<sup>1</sup>.

Непосредственно автобиографических деталей в художественных произведениях Бёлля очень мало. Часто встречающееся в его романах и рассказах «я» повествователя скрывает за собой разные человеческие характеры и, в сущности, никогда не бывает самим писателем (в этом одна из его особенностей). Но в более общем смысле творчество Бёлля все биографично и многое в нем определено средой, которая его воспитала, умонастроением раннего детства и юности.

Далекие предки отца Бёлля, английские корабли, католики, пришли в Германию через Голландию и превратились в потомственных столяров-краснодеревщиков; предки со стороны матери были рейнские крестьяне и пивовары. В статье «О себе самом», откуда взяты эти сведения, Бёлль пишет: «Родился в Кёльне, 21 декабря 1917 года, когда мой отец, солдат ландштурма, охранял мост; в самый страшный и голодный год мировой войны у него родился восьмой ребенок; двое детей умерли еще в младенчестве; когда мой отец проклинал войну и дурака-кайзера, чей памятник он мне позднее показывал».

Семья Бёлля в последующие годы жила то состоятельно, то бедно; об атмосфере, господствовавшей в ней, Бёлль говорит как о смеси мелкобуржуазного, богемного и пролетарского, причем слово «буржуазный» (“bürgerlich”) всегда звучало в ней как ругательство. Семья была католической, но религию Бёлль с детских лет воспринял скорее как систему нравственных норм, как бытовую повседневность. Позднее он писал: «Католицизм как материал проистекает из моего географического происхождения. Я родился здесь, на этой земле. Все мои предки происходили из треугольника Клеве, Ахен, Кёльн, а это, если угодно, католический ландшафт. Земля тут католическая, и куры католические, и собаки тоже, и брюква, что тут растет, и всё остальное, что тут растет. Я вижу это в очень материальном, даже материалистическом смысле»<sup>2</sup>.

«Кёльнско-католическая» среда была в основе своей оппози-

<sup>1</sup> Böll H., Linder Ch. Drei Tage im März. Köln, 1975, S. 51.

<sup>2</sup> Protokoll zur Person. Hrsg. von E. Rudolph. München, 1971, S. 32.

ционной по отношению к гитлеризму, и Бёлль был воспитан в антифашистском духе, хотя и не участвовал в какой-либо активной антифашистской деятельности; ужасы гитлеровского террора его миновали, он смог даже, будучи гимназистом, уклониться от вступления в гитлерюгенд, но любые проявления фашизма, даже чисто внешние (об этом Бёлль писал неоднократно), всю жизнь внушали ему страх. Он говорил о трех ступенях той угрозы существованию, которые пережил в детстве и юности, — экономической (связанной с мировым кризисом 1929—1932 годов и безработицей), политической (связанной с приходом к власти гитлеровцев в 1933 году) и собственно военной. Каждая из этих ступеней означала для него нарастание ощущения враждебности окружающего мира, и война с этой точки зрения не принесла ничего принципиально нового. Это очень характерное для немецкого писателя суждение, которое советскому человеку не так легко понять: война еще до начала войны словно уже существовала в нравственной атмосфере общества.

В биографии Бёлля-писателя сравнительно мало внешних событий, она вся складывается из литературной работы и поездок, книг и выступлений. Что же касается дописательской биографии Бёлля, то она внешне похожа на биографии многих его сверстников, тех молодых тогда западногерманских писателей, которых часто объединяют понятием «поколение вернувшихся» (рано умерший В. Борхерт, Г. В. Рихтер, А. Андерш, В. Шнурре и др.): детство и школьные годы в условиях фашистской Германии, затем казарма, участие в несправедливой войне, фронт и ранения, возвращение домой, случайные заработки в первые послевоенные годы разрухи и голода.

Бёлль принадлежал к тем писателям, которые считали, что они всю жизнь пишут одну книгу. Эту мысль он высказывал не раз, понимая ее в самом непосредственном смысле: «Все, что я написал, — в том числе проходные маленькие вещи, статьи, рецензии и так далее — представляет собой непрерывное писание<sup>1</sup> (Fort-schreibung)». Внутренней пружиной этого «непрерывного писания» была живая связь с ходом истории. Бёлля называли и «хронистом нашей эпохи», и «Бальзаком второй немецкой республики». Сам он говорил о своей «привязанности ко времени и современникам». Составитель его первого собрания сочинений справедливо отметил, что единственно верный подход к творчеству Бёлля — хронологический. В Федеративной Республике Германии не было историкографа более чуткого, чем Бёлль.

Рассказ «Весть», одна из самых ранних публикаций начинающего Бёлля (одно время считалось, что это первая его публикация), написан от лица вернувшегося домой солдата, который едет к жене погибшего товарища, чтобы передать ей оставшиеся после него немногие личные вещи. Перед нами проходит убогий горо-

<sup>1</sup> См., например: Die subversive Madonna. Hrsg. von R. Matthaei. Köln, 1975, S. 141.

дишко, бедный домик, рыдающая женщина, которую он застал не одну, а с наглым чужим мужчиной и к которой он испытывает острое чувство жалости: «И тут я понял, что война никогда не кончится, никогда, пока где-нибудь на земле еще кровоточит нанесенная ею рана».

В этом рассказе можно найти едва ли не все компоненты раннего творчества Бёлля — войну и ненависть к ней, возвращение солдата, бедность первых послевоенных лет, развалины городов и развалины прежней жизни, сострадание к ближнему, высокое, полное преклонения отношение к женщине.

В ряде ранних произведений Бёлля слышатся экзистенциалистские мотивы, не столько в религиозном, «кьеркегоровском», сколько в атеистическом, «французском» преломлении. В повести «Поезд пришел вовремя» (1949, первое произведение Бёлля, изданное отдельной книгой) царит атмосфера транзитной жизни железнодорожных вокзалов, продуваемых сквозняками, поездов, мчащихся в неизвестность, — мир, в котором человека несет, как пылинку, неведомый ураган жизни. Осень 1944 года; герой повести, архитектор Андреас, солдат в шинели гитлеровского вермахта, вынужден под бодрые голоса, доносящиеся из станционных репродукторов, следовать к месту службы, в Крым, навстречу отступающей гитлеровской армии, как он уверен, на скорую верную смерть. В публичном доме во Львове он встречается с полькой Олиной, которая оказывается подпольщицей, снабжающей партизан сведениями о движении гитлеровских военных эшелонов. Между ними вспыхивает мгновенная, нездешней силы любовь-судьба. Олина пытается спасти Андреаса и бежать вместе с ним, но тщетно; они гибнут оба, и кровь Олины смешивается с предсмертными слезами Андреаса. Близость к идейным и сюжетным схемам экзистенциализма здесь можно обнаружить без особого труда. Ненависть к фашизму и несомненный антивоенный пафос проецируются в трансцендентные сферы, будь то бог, которому герои молятся, или судьба, которая их настигает.

Экзистенциалистская философия была широко распространена в побежденной Германии. Перевод «Мух» Сартра с авторским предисловием для немецкого читателя вышел в свет в 1947 году. «Муhy» были поставлены в нескольких немецких театрах и вызвали огромный отклик. Экзистенциалистские идеи многое определили в творчестве ряда крупнейших писателей Западной Германии (среди них В. Кёппен, А. Андерш, Г. Носсак, В. Йенс). Для Бёлля они оказались нехарактерными; их быстро вытеснил интерес к конкретике реальных человеческих судеб. Уже в повести «Завещание» (1948, опубликована только в 1982 году) завязка строится на том, что ее герой, недавний солдат, встречает на улице своего города преуспевающего господина, которого в годы войны знал как фашиста и убийцу, и рассказывает правду о нем.

Конкретность деталей лежит в основе эстетического строя рассказа «Путник, придешь когда в Спа...», давшего название сборнику, вышедшему в 1950 году. Уже эти слова заключают в себе пря-

мой полемический адрес, уходящий глубоко в немецкую историю. «Путник, придешь когда в Спа...» — это начало древнегреческого двустихия о битве в Фермопильском ущелье, где спартанские воины царя Леонида пали, защищая родину: «Путник, придешь когда в Спарту, поведай там, что ты видел: / Здесь мы все полегли, ибо так повелел нам закон». Это двустихие Симонида Кеосского, древнегреческого поэта V века до нашей эры, известное в Германии по переводу Шиллера, связано с немецкой школой и всей немецкой историей, начиная с вильгельмовских времен, не меньше, чем выражение «войну выиграл прусский школьный учитель». Германская империя отождествляла себя с гармоничной античностью, а служение ей освящалось идеей справедливости войн, к которым школа готовила немецкое юношество, хотя эти войны могли быть только грабительскими походами в интересах германского милитаризма. Двустихие о битве при Фермопилах — древняя формула подвига в справедливой войне — сопровождало немецкой молодежи повсюду: и в школе, и в казарме. Фашизм добавил к этой националистической системе воспитания откровенную демагогию, откровенный расизм и культ грубой силы. Эта формула пережила разгром гитлеризма — именно в таком смысле гитлеровский генерал-фельдмаршал Манштейн поставил ее эпитафией к своей книге о Сталинградском сражении, где изображал поход на Советский Союз как войну за справедливые идеалы.

Сюжет рассказа строится на нескольких параллельно идущих узнаваниях. Глазами тяжелораненого солдата-школьника, которого несут на носилках, через его лихорадочно работающее сознание мы постепенно узнаем типичную обстановку гитлеровской гимназии, превращенной в госпиталь, — статуи Цезаря и Цицерона, портрет короля Фридриха, бюсты немецких государей «от великого курфюрста до Гитлера», Ницше — весь этот реквизит гитлеризма кажется герою «чужим», «мертвым», он ищет в этом мире знаки своей личной причастности к нему, начинает догадываться, что это гимназия, в которой он учился, и вдруг видит им же самим написанную неоконченную надпись (ее еще не успели стереть), которую не мог правильно разместить на школьной доске. Одновременно, шаг за шагом, ему — и читателю — раскрывается весь ужас того, что с ним произошло: у него оторваны нога и обе руки. Последняя его мольба: «Молока» — это как бы падение в прошлое, в детство, которого уже нет, как нет для этого «безрукого огрызка кровавого обеда» и будущего. Весь этот рассказ, одно из сильнейших антивоенных произведений в литературе XX века, вплоть до последнего, шепотом произнесенного слова, — один сплошной крик, вопль о напрасно загубленной жизни.

Герои военных рассказов Бёлля — всегда жертвы. Эти люди в мундирах гитлеровской армии не совершают преступлений и не чувствуют себя оккупантами в чужих землях, в бою мы их почти не видим. Действие многих рассказов происходит в Советском Союзе, в них есть и русские названия и русские люди, и это всегда добрые русские, страдающие немецким солдатам.

Как жертвы предстают перед нами и герои романа «Где ты был, Адам?» (1952), самого значительного произведения Бёлля о времени войны. Действие его — как и почти всех военных рассказов Бёлля — происходит в последние месяцы боевых действий, когда уже стало ясно, что Германия войну проиграла.

Романом эта книга может быть названа только условно: она состоит из девяти глав-новелл, связанных между собой сквозными действующими лицами, некоторыми сюжетами и в первую очередь общей канвой военной истории — немецкие войска отступают под ударами Красной Армии, и действие каждой из глав происходит последовательно в Румынии, Венгрии, Чехословакии, наконец, в самой Германии. Отсутствие сюжета в собственном смысле слова говорит, конечно, о том, что эпическое изображение войны, включавшее бы в себя исследование ее причин и уроков, лежало за пределами намерений и возможностей Бёлля. Эпичность замещена в романе типичностью изображенных случаев, ситуаций, человеческих характеров и, прежде всего, воспроизведением тотальной бессмыслицы войны, ее противоестественности. Это — главная мысль всего, что написано Бёллем о войне; она проходит и через весь роман, начиная с его первых страниц, на которых старый и больной генерал тупо гонит своих солдат в заведомо проигранное сражение.

Немецкий солдат, санитар, выходит из госпиталя навстречу наступающим советским танкам с белым флагом, от волнения он спотыкается о неразорвавшийся снаряд, который давно лежал у всех на виду. Раздается взрыв, и русские танкисты, приняв его за начало артиллерийского обстрела, открывают огонь по госпиталю; раненые гибнут. В этом эпизоде нет ни малейшего обвинения советских людей (Бёлль никогда не допускал ничего подобного); перед нами демонстрация еще одной чудовищной случайности войны, доказывающей, как много в ней нелепого и противоестественного. Противоестественность войны представлена в этой книге характернее всего, может быть, даже не в фронтовых описаниях, а в главе, где рассказывается о простой словацкой женщине, содержащей кабачок около моста через реку. Этот мост поочередно взрывают то партизаны, то немецкие солдаты — и затем поочередно восстанавливают. Хозяйке же кабачка, не принимающей ни ту, ни другую сторону, вся эта кипучая деятельность представляется бессмыслицей.

Конечно, в романе есть немало знаков преступности немецкой военной машины не только по отношению к самим немцам, но и к соседним народам. Один из самых сильных его эпизодов повествует о том, как комендант гитлеровского концлагеря на территории Венгрии, фашистский преступник и меломан, отбирает из обреченных на смерть людей тех, кто умеет петь, и, встретив немыслимое для его сознания совершенство в «расово неполноценной» узнице Илоне, убивает ее, а затем в бешенстве приказывает расстрелять всех заключенных. И все же проблематика вины немецких оккупантов перед другими народами не входит непосредственно в об-



разную систему книг Бёлля (как и Борхерта). Позднее Бёлль скажет, что «надо увековечить в учебниках наших детей тех (им несть числа), кто был почетно обвинен в невыполнении приказа, кто умер потому, что не хотел убивать и разрушать»<sup>1</sup>.

В заключительной главе основной герой книги, архитектор Файнхальс, ставший против своей воли солдатом и дезертировавший в последние дни войны, гибнет на пороге родного дома от немецкого снаряда, выпущенного ретивым командиром по белому флагу, который вывесил отец Файнхальса, и его накрывает этот флаг, сделанный из праздничной скатерти матери. В этой бессмысленной смерти от немецкого снаряда на пороге родного дома заключен ответ Бёлля на вопрос о том, кто виноват в трагедии немецкого народа; но Файнхальс, думающий перед смертью: «Бессмыслица, какая бессмыслица!» — жертва, и только; пассивной жертвой предстает он и на протяжении всей книги, даже тогда, когда гитлеровцы увозили на смерть Илону, с которой он обменялся словами любви. В романе не всегда легко обнаружить понимание того, что немецкие солдаты, пусть даже внутренне они были противниками гитлеровского режима, на фронтах второй мировой войны невольно становились не только жертвами, но и орудиями преступлений.

Эпиграф, предпосланный книге, гласит: «Мировая катастрофа может служить многому. Также и тому, чтобы обеспечить себе алиби перед богом: "Где ты был, Адам?" — "Я был на мировой войне". — Теодор Хеккер. Дневные и ночные записи. 31 марта 1940». Вторым эпиграфом стоят слова Антуана де Сент-Экзюпери из «Полета на Аррас»: «Раньше я знал приключения: прокладывание почтовых линий, покорение Сахары, Южной Америки; но война — это не настоящее приключение, это приключение-эрзац. Война — это болезнь. Как тиф».

В критической литературе о Бёлле немало написано по поводу того, дополняют эти два эпиграфа друг друга или спорят друг с другом, в какой мере в каждом из них заключена мысль о невозможности для человека сопротивляться «злым» обстоятельствам<sup>2</sup>. А. Андерш, откликнувшийся на роман «Где ты был, Адам?» большой рецензией, подчеркивал ответственность каждого человека за свои действия: «На войне человек не получает отпуска. Совсем наоборот. Война — это только иная форма человеческого существования, и она побуждает его к греху сильнее, чем условия мира, чем многое в условиях мира».

И после романа «Где ты был, Адам?» Бёлль возвращался к годам войны («Когда началась война», 1961; «Когда кончилась война», 1962, и др.), но от случая к случаю и уже вовсе не касался фронтовых событий. Вообще Бёлль сравнительно скоро отошел от непосредственно военных сюжетов (хотя всегда, до последних

<sup>1</sup> Böll H. Frankfurter Vorlesungen. München, 1968, S. 50.

<sup>2</sup> См., например, предисловие Б. Бальцера к 10-томному собранию сочинений Г. Бёлля: Böll H. Werke. Bd. 1. Köln, 1977, S. [25].

лет жизни, резко выступал против любых проявлений милитаризма). В сущности, в отличие от многих других писателей «поколения вернувшихся», он никогда, даже в самый ранний период своего творчества, не был чисто «военным» писателем; он всегда смотрел на войну через современность. Первую литературную премию из множества наград, которыми он был отмечен за свою жизнь, Бёлль получил в 1951 году от «Группы 47» за рассказ «Паршивая овца», где бурная хозяйственная деятельность в Западной Германии того времени была обрисована в сатирических тонах.

В 1952 году, будучи уже известным писателем, Бёлль напечатал статью (так началась его публицистическая и литературно-критическая деятельность) «Верность литературе развалин», носящую программный характер: «Первые писательские опыты нашего поколения после 1945 года называли литературой развалин, пытаюсь таким образом отмахнуться от них. Мы не возражали против этого обозначения, поскольку оно было справедливым: действительно, люди, о которых мы писали, жили среди развалин, они пришли с войны, мужчины и женщины, в равной мере пострадавшие, и дети тоже».

Статья, однако, не столько говорила о минувшей войне, сколько утверждала позицию неприятия складывавшегося на развалинах гитлеровского рейха буржуазного общества, начинавшегося рекламного «экономического чуда»; она утверждала в качестве героя литературы — человека труда, его право на самостоятельное мышление и самостоятельную жизнь. «Наши глаза,— говорилось в статье,— каждый день видят очень много: они видят пекаря, который выпекает наш хлеб, работницу на фабрике, и наши глаза вспоминают кладбища; наши глаза видят развалины: города разрушены, города стали кладбищами, наши глаза видят, как вокруг вырастают дома, которые напоминают нам театральные декорации, в этих домах люди не живут, в них людьми управляют, управляют как заключившими страховой договор, как гражданами государства и города, как плательщиками либо получателями — существует бесконечно много причин, на основании которых человеком можно управлять»<sup>1</sup>.

Если рассматривать наследие Бёлля в хронологической последовательности, можно отметить, что первыми его публикациями были короткие рассказы, затем к ним присоединились романы, причем, как правило, романы становились раз от раза более «объемными». Создается впечатление, что с годами он от малых форм переходил к более крупным. Бёлль, однако, отрицает эту закономерность. Он, хотя и называет короткий рассказ своей самой любимой формой, говорит, что романы он начал писать раньше, чем рассказы. По его мнению, «малая форма не имеет ничего общего с большой, так же как бабочка с бегемотом».

<sup>1</sup> Böll H. Erzählungen. Hörspiele. Aufsätze. Köln, 1961, S. 339, 343.

том, если, конечно, отвлечься от того, что оба они живые существа»<sup>1</sup>.

Тем не менее вслед за «Где ты был, Адам?», кроме нескольких сборников рассказов, выходят один за другим два романа и повесть, посвященные современности: «И не сказал ни единого слова...» (1953), «Дом без хозяина» (1954), «Хлеб ранних лет» (1955). Основная тональность этих книг — подчеркнуто лирическая. Однако отличительной чертой Бёлля-писателя должно быть названо поразительное многообразие творческих манер. Любопытно, что в одной из своих статей («Риск творчества», 1956) он вспоминает, как начинающим писателем принес редактору известного журнала два коротких рассказа и не мог объяснить, почему они написаны совершенно по-разному<sup>2</sup>.

В самом деле, в Бёлле-рассказчике словно живут разные писатели. Трагический рассказ «Путник, придешь когда в Спа...» не похож ни на ироническую эпопею солдатского мешка, который пережил множество хозяев, погибших под разными знаменами («История одного солдатского мешка»), ни на гневный гротеск, построенный как диалог инвалида войны с чиновником пенсионного бюро о том, много или мало стоит боннскому государству его фронтовое увечье («Моя дорогая нога»), ни на иронико-лирическую зарисовку «Неподсчитанная любовь», где человек, которому поручено считать людей, проходящих по мосту, отказывается включать в общее число свою любимую; все это — рассказы, созданные в одни и те же годы и вошедшие в один и тот же сборник. Разные манеры, в которых написаны рассказы Бёлля, как бы дополняют друг друга, они — «производное» от тех разных углов зрения, под какими он стремился увидеть и показать современную немецкую действительность.

Свои гротесковые рассказы Бёлль собирал в сборники, давая им подзаголовок «Сатиры» или «Веселые рассказы». В них действительно много веселого, но веселье это какое-то жутковатое. Как пояснил позднее сам Бёлль, слово «веселый» в данном случае он воспринимает вовсе не как «радостный». По их страницам бродят странные люди, рассказывающие о себе с печальным недоумением: профессиональный «смехач», умеющий смеяться заразительно для окружающих, но давно разучившийся смеяться «для себя»; бедняк, женатый на особе столь сердобольной, что она готова приютить любую страждущую тварь, и нашедший в своем доме, давно превратившемся в зверинец, слона, а затем и льва, вполне, впрочем, уживчивого; обладатель двух докторских степеней, работающий диктором на железнодорожном вокзале, где он объявляет название городка, славного только могилой римского

<sup>1</sup> Bienek H. Werkstattgespräche mit Schriftstellern. München, 1962, S. 141. Прозаические произведения Бёлля в соответствии с немецкой традицией имеют жанровые обозначения «Roman» («роман») или «Erzählung» (может соответствовать по-русски и понятию «повесть», и понятию «рассказ»); в критической литературе часто встречается обозначение «Kurzgeschichte» («короткий рассказ»), соответствующее английскому «short story».

<sup>2</sup> См.: Böll H. Erzählungen. Hörspiele. Aufsätze. Köln, 1961, S. 358.

самоубийцы, которую сам же герой и обворовал; служащий процветающего предприятия, сменивший свое место на должность профессионального кладбищенского «скорбящего», и т. д.

«Маленький человек», недоуменно и испуганно озирающийся на окружающую его непостижимую и чуждую ему жизнь, из которой исчезают последние следы человечности,— традиционный герой для немецкой гуманистической литературы времен Веймарской республики, лучше всего знакомый нам по роману Г. Фаллады, так и названному: «Маленький человек, что же дальше?»; в рассказах Бёлля он снова выходит на историческую сцену, где существенно изменились декорации, среди которых протекает его жизнь, но смысл этой жизни не изменился, ибо она по-прежнему подчинена силам, ему непонятным и неподвластным. Герой бёллевских рассказов, однако,— и это было новым — стремится по возможности уйти «в сторону» от «налаженной» жизни и не участвовать в ней. Когда же от близких его сердцу «маленьких людей», чьи черты искажены ненавистью к миру, в котором они вынуждены жить (и страхом перед его непостижимостью), Бёлль переходит к богатым и знатным, перо его становится беспощадно-гневным. Тогда появляется тетя Милла, «не заметившая войны и разгрома», чья тоска по ушедшему прошлому выражается в истошном крике, унять который может только вид традиционной немецкой рождественской елки («Не только под рождество»), или готовящий себя к новым славным походам генерал Эрих фон Махорка-Муфф, согласный с тем, что «демократия куда лучше диктатуры, если большинство на нашей стороне» («Столичный дневник»).

Зловещий мир сатирических рассказов Бёлля, порожденных послевоенной действительностью Западной Германии (о военном времени он ничего подобного не писал), проникал и в его романы, и в их лирической структуре возникали отчетливые сатирические ноты — достаточно вспомнить хотя бы описание религиозной процессии в «И не сказал ни единого слова...» или характеристику литературоведов от богословия Шурбигеля и Виллиброрда в «Доме без хозяина».

«Дом без хозяина» — большой роман о современности, со множеством героев, событий, проблем. Сложность его построения объясняется тем, что в него, впервые в творчестве Бёлля, широко вошла немецкая история; но дело еще, конечно, и в том, что на вопросы, которые ставила западногерманская действительность 50-х годов, Бёллю не так легко было найти ясные ответы. Хотя роман написан «объективно», от имени невидимого повествователя, действительность дана в нем через восприятие многих и разных персонажей — прежде всего двух подростков, военных сирот, и их матерей, военных вдов. Средоточием их мыслей и чувств неизменно остается память о кровавом насилии в годы гитлеризма и о смерти молодых «хозяев дома» на войне. Для Неллы и ее близких годы, прошедшие после войны,— это «десять лет, полные неугасимой ненависти» к гитлеровскому лейтенанту Гезелеру, виновному в гибели ее мужа, поэта Раймунда Баха.

Метафорическому выражению «неумирающее прошлое», уже существовавшему в те годы для характеристики реставрационных тенденций в западногерманской жизни, Бёльл придает конкретный сюжетный смысл: Гезелер не только остался жив после войны, но и превратился в ярого демократа и специалиста по поэзии, он прославляет стихи Раймунда Баха и начинает помогать благосклонности его вдовы, красавицы Неллы. Но месть, которую Нелла лелеяла все эти годы, ненавидя тех, кто «рассыпает забвение над убийством», не состоялась. При встрече с Гезелером ее охватывает отчаяние, ибо она понимает, что мстить мелкому карьеристу нет смысла, поскольку эта месть ничего не изменит. Нелла — дочь мармеладного фабриканта, разбогатевшего на военных заказах; ее погибший на войне муж в отличие от их друга Альберта, эмигрировавшего в Англию, служил до войны в фирме тестя и постоянно встречал на дорогах России консервные банки из-под мармелада со своими рекламными стихами. Это сложное переплетение не до конца проясненных судеб и не до конца разрубленных противоречий мучает Неллу не в меньшей степени, чем оживший Гезелер. Проблемы человеческого существования потеряли в этом романе какую-либо зависимость от высших сил — будь то судьба или изначальные и неизменные свойства человеческой натуры (как это было еще в определенной мере в романе «И не сказал ни единого слова...») — и стали определяться реальными человеческими поступками.

Ни в одной из предыдущих книг Бёльля не было такого множества самых разных действующих лиц. Конечно, это не модель всего западногерманского общества, но несомненная «проверка» основной идеи книги в разных социальных условиях. Особую глубину придает ей вторая сюжетная линия, которую следует считать не менее важной, чем главная, — линия работницы кондитерской фабрики Вильмы Брилах. В ее судьбе и судьбе ее сына Генриха повторяется судьба Неллы и ее сына Мартина, но на простонародном уровне, среди нищеты и постоянной заботы о хлебе насущном, причем не столько в нравственно-психологическом, сколько в прозаическом, житейском смысле.

Одни и те же проблемы немецкой жизни преломляются в мире людей обеспеченных и в мире бедных по-разному, они в данном случае не противопоставлены друг другу, но и не совпадают, причем все буржуазное, все, что связано с деньгами, заботой о престижности, консервативной устойчивостью, оказывается злом и в прошлом, и в настоящем. Тем, кто пострадал и осиротел на войне, тем, кому в годы фашизма жилось плохо, тем плохо и сегодня, в послевоенной Западной Германии, а те, кто при фашизме процветал, процветают и сейчас. Войну невозможно забыть из-за потерь, но от нее нельзя отрешиться и потому, что новое развитие ведет к новым преступлениям и катастрофам, и как избежать его — неизвестно. Нелла больше не желает выходить замуж и иметь детей, чтобы снова не становиться вдовой и не рожать будущих солдат. Таков реальный, страшный для

Бёлля, пугающий вывод из его книги, заставляющий его любимых героев застывать в страдании и горе. Ощущение невозможности что-либо изменить — ни вернуть погубленное счастье, ни начать новую жизнь, ибо старое зло с каждым днем торжествует все больше, замораживая и замораживая все живое, — составляет основу трагической интонации романа.

Единственный герой, который не отказывается от веры в будущее, — это Альберт, друг детства и молодости Раймунда Баха, а сейчас друг его семьи, помогающий всем, кому он может помочь, в том числе и Генриху. В тот день, когда в семействе Неллы рухнула идея мести Гезелеру, он увез мальчиков в деревню к своей матери; книга кончается почти идиллической картиной островка не искаженной сегодняшними буржуазными отношениями загородной жизни, уцелевшего среди океана нарастающего бесчеловечия. Но эпилога в книге нет. Ее подлинный конец заключен в мыслях самих повзрослевших за этот день мальчиков. Они разные, как и их судьба. Мартин впервые сознательно усомнился в катехизисе, согласно которому человек приходит в мир, чтобы служить господу, — он ищет путь к людям; Генрих, на котором лежат недетские заботы о семье, вспоминает о том, что его мать и Альберт обменялись взглядом, озарившим ее лицо, — он начинает верить в будущее. Двойной «открытый» конец, заставляющий думать о судьбах подростков, был выражением оптимистической надежды в этом необычно построенном и необычно написанном романе, сказавшем о западногерманской действительности середины 50-х годов так много, как ни одна другая книга.

Вслед за «Домом без хозяина» Бёлль опубликовал «Ирландский дневник» (1954—1957), состоящий из восемнадцати небольших очерков. Дневниковый характер книги, родившейся на основе поездок в Ирландию, где Бёлль в течение многих лет отдыхал, столь же несомненен, сколь и условен. Это великолепное по тонкости письма художественное произведение, вне зависимости от того, встречал или не встречал Бёлль описанных в нем людей, происходили или не происходили в действительности описанные в нем факты. «Ирландский дневник» принадлежит к самым первым примерам того «документализма», истинного или стилизованного (то есть использования реальных фактов и документальных свидетельств для создания художественного эффекта и, в более широком смысле, вообще подчеркнутой апелляции художника к эмпирической, конкретной достоверности описанного), который буквально захлестнет европейскую литературу в последующие годы. Для Бёлля еще не существует в чистом виде противопоставления вымысла и документа (о чем много и страстно будут спорить позднее), фактографичность еще не несет с собой суховатой отстраненности. Он открывает книгу предувещанием: «Такая Ирландия существует, однако пусть тот, кто поедет туда и не найдет ее, не требует от автора возмещения убытков».

Многие восприняли «Ирландский дневник» как уход от сложных проблем немецкой жизни, да и сам Бёлль говорил, что его

поездки — это, «конечно, бегство». В «Дневнике» читатель не найдет подробного описания политической жизни Ирландии, которая только в 1949 году после длительной борьбы добилась независимости. На множество нерешенных проблем этой страны — нищету, безработицу, эмиграцию — Бёлл смотрит с сочувствием и состраданием; «Ирландский дневник» содержит в наиболее чистом — в известном смысле идиллическом — виде выражение гуманистических взглядов раннего Бёлля, когда он еще сохранял надежду на возможность преодоления противоречий. Бёлл видел в ирландской жизни то, чего ему больше всего недоставало на родине: естественность поведения, достоинство людей труда, презрение к погоне за богатством; Ирландия ему дорога тем, что это «единственная страна Европы, которая никогда никого не завоевывала». Этот очаровавший его мир он видит и воспринимает по контрасту с немецкой действительностью.

Бёлл не раз возвращался к важнейшему для его творчества понятию «эстетики гуманного», то есть поэтизации проявлений человеческой сущности в ее непосредственном выражении — в любви, в еде, в повседневной жизни, в общении с другими людьми, в дружбе и т. д. Отсюда подчеркнутое значение жеста, взгляда, улыбки, прикосновения как средства характеристики человека, свойственное всем книгам Бёлля, отсюда же и небоязнь изображения человеческой физиологии как сферы естественного. «Тот, кто уже не пахнет — хорошо или плохо, это дело вкуса, — уже, собственно говоря, не живет»<sup>1</sup>. Любимые герои Бёлля никогда не бывают ни ханжами, ни аскетами, им присуща «чувственность» как широкая жизненная и философская категория, за которой стоит полнота проявлений человеческой натуры, противопоставленная условностям показной «буржуазной» морали.

Странно, казалось бы, для писателя, считавшего себя летописцем текущей жизни, но Бёлл сам говорил о наличии у него «положительных» и «отрицательных» героев. И те и другие «узнаваемы» — в мире, созданном Бёллем, есть своеобразная семиотика, система «знаков», позволяющих безошибочно определить, кто есть кто. Герою рассказа «Молчание доктора Мурке» не надо было и словом обменяться с техником, с которым он работает, чтобы понять, что этот человек — его друг. Многие книги Бёлля, особенно ранние, построены как монологи (или «внутренние монологи»), и всегда в них в той или иной мере слышен голос автора; диалогов в его книгах почти нет. Герои влюбляются с первого взгляда и навсегда, даже если встреча их происходит в публичном доме. В этом заключен намеренный контраст — так же как высшие человеческие качества сильнее выражены у тех, кто находится внизу социальной лестницы или, во всяком случае, сторонится погони за успехом, так и самые достойные любви женщины обнаруживаются не в благополучных буржуазных семьях, а в публичных домах, в грязи и унижении.

<sup>1</sup> Böll H., Linder Ch. Drei Tage im März. Köln, 1975, S. 97.



Роман «Бильярд в половине десятого» (1959) построен на устойчивых лейтмотивах, разделяющих людей на «принявших причастие буйвола» и «принявших причастие агнца». Символика эта появилась в книгах Бёлля много раньше романа; еще в его рассказах первых послевоенных лет можно найти буйволородных людей и людей кротких как агнцы; но нигде она не развернута так последовательно, став сюжетообразующей доминантой, как в этом романе.

Романы Бёлля 50-х годов связаны между собой; нет ни одного существенного мотива в «И не сказал ни единого слова...» и в «Доме без хозяина», который не повторился бы в «Бильярде в половине десятого».

По мере нарастания исторической глубины книги Бёлля становились все более сложными композиционно. Уже роман «И не сказал ни единого слова...» был написан как перемежающиеся монологи двух героев; в «Доме без хозяина» повествование идет от лица автора, но так, что мы видим мир попеременно через восприятие пяти действующих лиц. Роман «Бильярд в половине десятого» построен как мозаика из внутренних монологов многих героев, в которых перепутаны воспоминания самых разных лет. «Я не вижу структурных различий,— говорил по этому поводу сам Бёлль,— как и различий в сложности, разве что различие в количестве персонажей и в материале, который, конечно, требует более сложных форм». Читать роман не легко — для того, чтобы понять его, надо войти в его особый мир, где одни и те же события освещаются с разных точек зрения и окружены прочным слоем воспоминаний и ассоциаций, где чуть ли не каждая деталь повествования имеет еще и второй, символический смысл. Для того чтобы охарактеризовать фашиста Неттлингера, автор не будет длинно рассказывать о его бесчисленных преступлениях; он просто заставит старого портье в гостинице подумать, что перед ним «один из тех молодчиков, которые приказывали выламывать у мертвецов золотые коронки и отрезать у детей волосы». В созданном Бёллем ассоциативном, в известном смысле условном мире есть что-то от сказки, страшной, зловещей сказки, ибо в его представлении и прошлое, и настоящее Германии страшно. И если, например, в начале книги сказано, что «перед мясной лавкой Греца два подмастерья вывешивали тушу кабана — темная кабанья кровь капала на асфальт», то читатель может не сомневаться, что Грец всегда был преступником и на его совести кровь невинных людей.

Три поколения семьи архитекторов Фемелей, на истории которой построено действие романа, воплощают три этапа немецкой истории XX века. На каждом из них истинность жизненной позиции проверяется через столкновение идеи созидания и идеи разрушения, то есть войны. «Старый Фемель», начавший блестящую карьеру в 1907 году, заняв первое место на конкурсе проектов грандиозного аббатства Святого Антония, легко вошел в мир общественного преуспевания, который рухнул в первой мировой

войне; его сын Роберт вступал в жизнь в гитлеровское время, и его деятельность выразилась в том, что он стремился не столько строить, сколько разрушать, в частности по собственному почину, а не в силу приказа слабоумного командира, он в конце войны взорвал творение своего отца, аббатство Святого Антония; в наши дни его сын Йозеф, внук «старого Фемеля», должен заниматься восстановлением аббатства.

Таков сюжетный каркас, который держит сложно и прихотливо развивающееся действие романа, формально происходящее в течение одного дня — 6 сентября 1958 года. В этот день, когда «старый Фемель» празднует свое восьмидесятилетие, автор — с точки зрения жизненного правдоподобия вполне искусственно, что его совершенно не смущает, — сводит воедино множество больших и малых событий. Истоки их лежат и во времени до первой мировой войны, и во времени гитлеризма, и в современности. Эпизод из прошлого, который вспоминается в книге чаще всего, — неудавшееся покушение на учителя гимнастики нациста Вакеру, за которым последовали аресты, смертные приговоры, бегство из Германии (в этом эпизоде живет память о реальном событии юности Бёлля — в 1934 году в Кёльне по приказу Геринга были казнены четыре коммуниста, младшему из которых было столько же лет, как и самому Бёллю). Роберт Фемель позднее вернулся в Германию, его друг Шрелла не вернулся даже сейчас, через тринадцать лет после падения гитлеризма. В этот день он наконец приходит — но Роберт Фемель и представить себе не мог, что придет он вместе с Неттлингером, тем гитлеровцем, который избивал их и хотел предать смерти, а сегодня стал видным чиновником военного ведомства и разыгрывает из себя старого друга.

От книги к книге Бёлль утверждал все резче: фашистское прошлое забыть нельзя, «время не примиряет». Сколько бы Неттлингер ни напяливал на себя модную маску «демократа по убеждению», для Шреллы и для Роберта Фемеля — и для самого Бёлля — он так же ненавистен, как и ни в чем не изменившийся откровенный фашист Вакера, ставший полицией-президентом. Но рядом с ненавистью растет чувство бессилия, а иногда и жалости.

Роберт Фемель вернулся в Германию не только ради семьи — он не мог жить вдали от родины. Его любовь к своей стране превратилась в ненависть, и, взрывая аббатство Святого Антония, он расчищал пространство для новой жизни. Но он жалеет, что от него «ускользнула» башня Святого Северина, прекрасное творение зодчих средневековья; таким образом, он в своей ненависти подымает руку и на великую гуманистическую культуру своего народа. Его родной брат Отто — гитлеровец, убитый под Киевом, донес на него гестапо; для Роберта он враг, но ведь они долгое время жили под одной крышей. И их мать недоуменно спрашивает себя: как попал Отто в нашу семью? Невозможностью отделить в истории немецкого народа великое от преступного, национальное от националистического порождается то ощущение заморожен-

ности, неподвижности немецкой жизни, которое пронизывает всю эту книгу Бёлля еще в большей степени, чем «Дом без хозяина». То, что расписание пригородных поездов на железной дороге, проходящей мимо аббатства, сегодня такое же, как во времена Гитлера, а во времена Гитлера было такое же, как во времена Вильгельма, что все эти годы в городе, где живут Фемели, существовало ателье Гермины Горушки, что секретарши пятьдесят лет тому назад наклеивали марки тем же движением, что и сегодня,— все это для Бёлля лишь средство выразить мысль, что силы, дважды приводившие Германию к катастрофе, живы и поныне. Это — бытовые приметы зловещей неизменности немецкой жизни, которая сегодня, как и вчера, направляется преступниками («принявшими причастие буйвола»), насаждающими насилие, злодейство, войну. Конечно, картина эта односторонняя, и силы, активно противостоящие фашизму, представлены в ней условно, и только при искусственно усложненном построении книги мог удался тот «кунштюк», который совершает Бёлль,— в романе, поднимающем немецкую историю на протяжении восьми десятилетий, ни слова не сказано ни о Ноябрьской революции 1918 года, ни о существовании ГДР, ни об исторических тенденциях, воплотившихся в ней.

То извечное, «богом данное» деление на «принявших причастие буйвола» и «принявших причастие агнца», которое проходит через всю книгу, очень привлекательно, ибо для Бёлля «причастие агнца» всегда связано с честной трудовой жизнью, а «причастие буйвола» с кровавыми преступлениями и войной; привлекательно, но, конечно, бессильно что-либо объяснить в сложной диалектике немецкой истории XX столетия. Позднее Бёлль отказался от этой символики: «Сегодня бы я ею больше не воспользовался. Тогда это было вспомогательной конструкцией, примененной к вполне определенному политико-историческому фону, причем буйвол для меня был тип Гинденбурга — то есть не Гитлера! — а агнцы были жертвы». Бёлль говорит, что «резко дуалистическое» отношение к людям не свойственно даже его военным рассказам и он не понимает, как в критике могло возникнуть подобное представление о нем. В самом деле, если «буйволы» обрисованы вполне однозначно, то с «агнцами» получается много сложнее, как только Бёлль подходит к активному сопротивлению гитлеризму; тогда выясняется, что их руки «пахнут кровью и мятежом».

Особенность этого романа — как и «Дома без хозяина» — состоит в отсутствии истинного эпилога и в множестве развязок отдельных частных сюжетных линий. Но все они — от выстрела Иоганны, то ли полубезумной, то ли просто удалившейся от мира под предлогом безумия жены старого Фемеля, в министра, в котором она видит «будущего убийцу своего внука», до усыновления Робертом мальчика Гуго, способного продолжить дело «агнцев», — складываются в единый вывод: необходимость каждому в меру своих возможностей противодействовать злу. Все три поколения Фемелей приходят в этот день к отказу от своей прежней позиции,

понимая гибельность союза художника с тупой националистической стихией (старый Фемель), гибельность отстранения от противоречий живой жизни за дверью бильярдной (сын Роберт), гибельность участия в новой реставрации старых порядков (внук Йозеф). Условная символичность всех этих действий несомненна, но они определяют смысл самого символизированного романа Бёлля.

Роман «Бильярд в половине десятого» содержал наиболее резкую критику боннской действительности, какую только знали к тому времени книги Бёлля; ничего равного по силе отрицания реставрационных процессов не было тогда и во всей западногерманской литературе. Расхождение между писателем и обществом, в котором он жил и о котором писал, становилось все больше. Но следующий роман Бёлля «Глазами клоуна» (1963) оказался с этой точки зрения еще более непримиримым. Роман написан от лица комического актера, профессионального шута, и на его страницы словно хлынул поток зловещих героев его сатирических рассказов. Какой страшный мир, какие рожи! Лицемер Кинкель, «совесть немецкого католицизма», богач, ворующий из церквей предметы искусства и рассуждающий о «прожиточном минимуме»; двурушник Зоммервильд, «салонный лев» в католическом облачении, прикрывающий рассуждениями о божественной метафизике свои темные делишки; карьерист Фредебойль, «болтун» и «садист»; специалист по «демократическому воспитанию юношества» Герберт Калик, в недавнем прошлом фанатичный вожак гитлерюгенда, которому теперь, как он говорит, «история открыла глаза», «прирожденный шпик» и «политический растлитель»; бездарный писатель Шницлер, фальшивый «борец Сопротивления», без которого ныне «в министерстве иностранных дел шагу ступить не могут». Еще страшней, еще чудней: отец героя, миллионер, имеющий долю чуть не во всех предприятиях боннской республики, но не пославший нуждающемуся сыну даже милостыни; мать героя, чья скупость вошла в поговорку, при Гитлере фанатичная нацистка, а сегодня глава Объединенного комитета по примирению расовых противоречий — рассказ о ее приемах, описание «кружка прогрессивных католиков», где встречаются «воспитатели молодежи», «духовные пастыри» современной Федеративной республики, — все это мир, достойный щедринского пера, мир «торжествующей свиньи».

Именно торжествующее свинство — может быть, самое страшное, что есть в этой книге о Федеративной республике 1962 года. Еще сравнительно недавно книги Бёлля и других западногерманских писателей говорили о пугающих признаках возрождения ненавистного прошлого. Они регистрировали, пусть с запозданием и с разной степенью понимания, начало этого процесса. Они предупреждали об опасности. Так стоит вопрос и в «Смерти в Риме» В. Кёппена, и в «Энгельберте Рейнеке» П. Шаллюка, и в «Запросе» К. Гайслера, и в других книгах. В «Доме без хозяина» говорится, что в устах школьных учителей слово «наци»

переставало звучать как нечто ужасное. Совсем не то в романе «Глазами клоуна» — теперь никого уже не удивляет, что бывшие нацисты и бывшие приспособленцы при нацистах, переокрасившиеся или даже не сменившие окраски, проникают во все сферы боннского государства — они и в промышленности, и в правительстве, они занимаются делами церкви и воспитанием молодежи, они командуют в искусстве, не говоря уже о бундесвере. Если что еще и удивляет Бёлля, то это лицемерие, с каким преступное прошлое надевает на себя маску нового. Лицемерие он атакует в лоб, без оговорок, по-плакатному прямо, и прежде всего лицемерие церковников. Здесь все — ложь, все — обман.

Бёлль более открыто злободневен и политически тенденциозен в своих книгах, чем кажется на первый взгляд; недаром действие их обычно строго датировано, и мы всегда можем найти в них точные приметы времени. В свойственной ему ассоциативной манере письма эти приметы никогда не случайны, их воздействие на читателя точно рассчитано: и страх Ганса Шнира перед встречами с «полупьяными немцами определенного возраста», которые не находят ничего «особенно плохого» ни в войне, ни в убийствах; и радость простодушной старушки по поводу того, что ее внук подался в бундесвер — «он всегда знал, где верное дело»; и голосящий за правящую партию «почтенный супруг», который говорит так, словно командует: «Огоны!», — все это знаки, приметы, по которым сразу же можно восстановить целое. Никогда еще социальная критика в книгах Бёлля не подымалась на такие высокие этажи официальной жизни страны, вплоть до окружения канцлера, вплоть до Аденауэра и Эрхарда, пародировать которых «до уныния просто». Никогда еще критика Бёлля не была такой злой и беспощадной и такой всеобъемлющей.

Вокруг Ганса Шнира нет, в сущности, никого, о ком можно было бы сказать, что ему отданы симпатии автора. Трудовое семейство Винекенов, противопоставленное семье, в которой вырос сам Ганс Шнир, отодвинуто далеко на периферию действия скорее как светлое воспоминание, чем как реальная действительность. «Старика Деркума», отца его возлюбленной Мари, последовательного антифашиста, единственного человека, которого Ганс Шнир уважал и любил, нет в живых, а людей, даже отдаленно похожих на него, нет в поле зрения Ганса Шнира.

Ганс Шнир — новая фигура в творчестве Бёлля. Повествование представляет собой его доверительный монолог: потерпев провал и в личной жизни, и на сцене, Ганс Шнир возвращается к себе домой, в поисках помощи звонит по телефону нескольким знакомым, разговаривает с отцом, а уже через несколько часов, отвергнутый всеми, идет просить милостыню на улицах Бонна. С обществом Ганс Шнир находится в состоянии открытой войны, осознанной обеими сторонами. У него нет оснований забывать о своей ненависти к родителям-убийцам, которые не задумываясь отправили бы и сегодня своих и чужих детей умирать за неправомерное дело. Что касается тех, кто его окружает, то одна мысль об этих

«христианнейших патерах» приводит его в состояние бешенства. Он готов каждого из них задушить своими руками. Он думает о том, как ударит Костерта, как избьет Фредебойля, как измордует Калика, как убьет Цюпфнера; он размышляет о том, что лучше — стукнуть Зоммервильда статуэткой мадонны, ударить картиной в тяжелой раме, повесить на веревке, сплетенной из холста, на котором картина нарисована, или съездить в Вечный город, украсть из ватиканского музея специально для этой цели ценное произведение искусства из бронзы, золота или мрамора: «Эстетов, конечно, лучше всего убивать художественными ценностями, чтобы они и в предсмертную минуту возмутились таким надругательством».

В этой ненависти, справедливой и беспощадной, есть и бесси́льная ирония над самим собой. Потому что ведь — странное дело — Ганс Шнир думает о том, как он расправится со своими врагами, но пощечины получает он сам. Его протест всегда, начиная с предания огню вещей погибшей сестры Генриетты, выражается в действиях неожиданных, истерических, не опасных для его врагов. Опереться ему не на кого, помощи ждать неоткуда. Поэтому его отрицание мира столь всеобъемлюще и горько.

В системе образов романа это выглядит так:

«— Католики мне действуют на нервы,— сказал я,— они нечестно играют.

— А протестанты? — спросил он и засмеялся.

— Меня и от них мутит, вечно треплются про совесть.

— А как атеисты? — Он все еще смеялся.

— Одна скука, только и разговоров что о боге.

— Но вы-то сами кто?

— Я — клоун,— сказал я,— а в настоящую минуту я даже выше своей репутации».

Клоун — это значит, что он не принимает всерьез и отвергает все то, во имя чего живут и к чему стремятся окружающие его люди; это значит также, что в его отрицании есть издевка и над самим собой, над своим бессилием; это значит, наконец, что он артист, художник, человек искусства.

Почти во всех книгах Бёлля мы встречаемся в том или ином виде с вопросом о месте искусства в жизни общества. Нетрудно заметить, что в рассуждениях Ганса Шнира о своем ремесле — а они составляют важнейшую часть романа — много сходного с мыслями самого Бёлля, изложенными в статьях и выступлениях того времени. Иногда они совпадают чуть ли не дословно, и прежде всего там, где речь идет — говоря словами Бёлля — о «риске творчества», то есть о понимании искусства как явления, не укладывающегося в рамки обыденной жизни и высшего по отношению к ней. Для художника творить — значит каждый раз рисковать всем, писателю незнакомо такое простое человеческое понятие, как «отдых после рабочего дня», и пишет он потому, что «иначе не может». Недаром Ганс Шнир не выносит «рутины», и, хотя вся его жизнь занята тренировками или выступлениями, он не

может привыкнуть к сцене, и его каждый раз должны, словно ребенка, выталкивать из-за кулис.

Подчеркнутая инфантильность Ганса Шнира — это, конечно, нечто большее, чем просто свойство его характера. В книгах Бёлля всегда много детей, и он часто показывает мир их глазами, как это было и в «Доме без хозяина». Эта особенность его манеры — не исключение в современной литературе Запада; достаточно назвать «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера; Бёлль — переводчик этой книги на немецкий язык, и западногерманские рецензенты, которым не понравился его роман «Глазами клоуна», не преминули обвинить его в подражании и присовокупить, что «вторичный настой не имеет вкуса». «Наивный», детский взгляд на мир в искусстве, однако, прием далеко не однозначный. Он позволяет показать вопиющую противоестественность общественного уклада и тогда выступает в толстовской функции, помогая срывать «все и всяческие маски». Но этот прием может как бы «абсолютизироваться», стать не одной из красок в широкой палитре изобразительных средств, а единственной. Тогда через инфантильное восприятие мира художник должен выражать все свое понимание человеческой жизни, свое понимание исторического процесса.

В «Интервью, данном студентам» (1961) Бёлль, отвечая на вопрос: «Является ли моральный фактор необходимой составной частью литературного произведения?» — сказал: «Мне хотелось бы ответить на этот вопрос однозначным «да», но боюсь, что должен ответить однозначным «нет». Но если бы вы спросили меня, является ли фактор аморальности необходимой составной частью литературного произведения, я бы ответил таким же однозначным «нет». Художник всегда в известной мере невинен и виновен, он как ребенок, которого ругают за то, в чем он не чувствует себя виновным, и хвалят за то, что он не считает достойным похвалы»<sup>1</sup>.

Странно выглядит этот художник, который на вопрос о том, чему он учит, добру или злу, отвечает: не знаю, я смотрю на мир невинными глазами ребенка, словно не было ни истории, ни ее уроков. Книги самого Бёлля, казалось бы, говорят о другом; и все же это не оговорка в его устах. Его позиция — если определять ее модными в западной критике терминами — это позиция воинствующего «нонконформиста», позиция писателя «завербованного», но завербованного не какой-либо социальной доктриной или даже морально-этическим учением, тем более не той или иной политической партией, а «последней инстанцией», которую он называет «совестью свободного писателя». Эта «инстанция» не имеет, как видно из приведенной выше цитаты, никакой опоры в мире, кроме себя самой, и потому она должна быть свободна от каких-либо общественных («взрослых») отношений. Более того, согласно Бёллю, каждый художник, который

<sup>1</sup> Böll H. Erzählungen. Hörspiele. Aufsätze. Köln, 1961, S. 9.



«сознает свои обязанности за пределами искусства», оказывается перед трудной задачей: он должен совместить свою совесть писателя с теми требованиями, какие предъявляет к нему его принадлежность к той или иной человеческой общности.

Эта апелляция к писательской совести, не только свободной от общественных связей, но и противопоставленной им, выглядела скорее как жест отчаяния, а не как трезво продуманное утверждение. В самой этой мысли ясно горячее желание уйти от лживых отношений, от грязной политики, которая окружает писателя, не дает ему жить и творить, как он хочет, но всеобщее отрицание приводит к иллюзорному, поистине «детскому» стремлению изъять конкретные проявления человеческой морали из их неизбежного социально-исторического контекста.

Конечно, конфликт между художником и обществом, как это часто бывало в немецкой литературе, выражает более общий конфликт между человеком и обществом. Точно так же и Ганс Шнир и его спор с католиками за Мари — это спор между «человеческим» и «античеловеческим», поверхностным, наносным. Именно клоун Ганс Шнир со своей неприкаянностью, неумением жить как все, с любовью к детям и нежеланием воспитывать их по общепринятым законам противостоит тому «царству зверя», которое изобразил Бёлль в своей книге.

И последний шаг Ганса Шнира, приводящий его в канаву, а не во дворец, намного раньше им же самим назначенного срока, — это не только предел его падения в том обществе, в котором он живет, это еще и вызов, более того — единственный для него шанс победить, вырваться из замкнутого круга, вернуть Мари, а значит — вернуть ее на истинный путь жизни.

Роман «Глазами клоуна» был принят большей частью западногерманской критики буквально в штыки. Князья католической церкви стали предавать Бёлля анафеме, реакционная печать утверждала, что он «исписался» и ему «надо немного отдохнуть». Расхождение между Бёллем и обществом, в котором он жил, принимало самые острые формы. Он словно бы не последовал философии, которую сам утверждал и в этом романе, и в повести «Вне строя» (1964): «Становление человека начинается тогда, когда он удаляется от любого войска, этот опыт я передаю как необходимый совет грядущим поколениям». Это можно отметить уже в «Чем кончилась одна командировка» (1966), которую называли «повесть-хепенинг» и которая представляет собой заметное явление в творчестве Бёлля 60-х годов. Действие в ней строится вокруг сожжения военнослужащими бундесвера «казенного имущества», а попросту говоря — джипа, на котором их заставляли делать сотни километров зряшного пробега (очень бёллевский символ пустопорожней деятельности военной машины), и суда над «преступниками». Герои повести — краснодеревщики, это среда, хорошо знакомая Бёллю и любимая им, и их спонтанное выступление («хепенинг»), иронически и издевательски обыгранное по отношению к бундесверу, должно было, по

Бёллю, звать к активным действиям против его вооружения.

Середина 60-х годов — время резкого сдвига вправо во всех сферах западногерманского общества, время усилившегося наступления на демократические права; двадцатилетие разгрома фашизма боннские власти отметили широкой амнистией гитлеровских военных преступников; все громче и крикливее становилась деятельность разнообразных «землячеств», требовавших возвращения утраченных «рейхом» земель. В 1966 году в речи «Свобода искусства» Бёлль сказал: «Там, где могло быть или должно было быть государство, я нахожу лишь гниющие остатки власти; и эти, судя по всему, драгоценные рудименты гниения защищаются с поистине крысиной яростью». «Мы, писатели, рождены, чтобы вмешиваться» (“geborene Einmischer”), — говорил он. Его страстные инвективы против милитаризма и неофашизма во всех его проявлениях, бескомпромиссное разоблачение политического лицемерия снискали ему огромную популярность; аудитория его становилась все шире и в Западной Германии, и во всем мире; в 1972 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе; он участвовал во многих общественных акциях, в частности направленных против атомного вооружения; его слова ждали по всем важнейшим событиям политической жизни; его стали называть «нравственной инстанцией» — выражение, против которого Бёлль не раз протестовал. В октябре 1981 года он выступал на митинге в защиту мира, в котором принимали участие 300 000 человек.

Не раз высказывался Бёлль в эти годы и по поводу социалистических стран, в том числе и Советского Союза, в котором неоднократно бывал. Многие в этих высказываниях, среди которых бывали и откровенно недружелюбные, выдавало слабое знание социалистической действительности и природы социалистического общества — не с точки зрения несогласия с теми или иными конкретными явлениями, а с точки зрения широких и неправомочных обобщений, исходящих из «уравнивания» буржуазной и социалистической государственности и защиты от нее «простого» человека. Конечно, противоречия идеологической и политической позиции Бёлля 70—80-х годов, часто кричащие, дали себя знать более непосредственно в его публицистике (в творчестве художник подчас бывает пронизательнее высказываемых им взглядов), но они не могли не сказаться и на концепции его художественных произведений, в ряде случаев мешая глубокому проникновению в реальные противоречия действительности.

В эти годы Бёлль много выступает со статьями самого разного рода, речами, интервью, и его публицистическая деятельность оттесняет на второй план Бёлля-художника. Даже большой роман «Групповой портрет с дамой» (1971), о котором писали, кажется, больше, чем о каком-либо другом произведении Бёлля, рассматривался во многом или даже прежде всего с точки зрения его политического содержания, хотя в формальном отношении

он представлял собой явление очень неожиданное. Сам Бёлль подходил к этому своему роману с публицистической стороны и подчеркивал, что «у книги есть в самом широком смысле политические измерения».

В центре романа стоит фигура сорокавосемилетней женщины («женской носительницы действия»), причем ее облик и внутренний мир, события ее жизни в прошлом и настоящем восстанавливаются через монтаж многочисленных «свидетельских показаний», данных самыми разными людьми, с которыми она была знакома. Это использование (и одновременно пародирование) техники документализма дает Бёллю широчайший простор для изложения своих взглядов на немецкую жизнь и немецкую историю. Подобная романная конструкция сама по себе не новость в литературе Западной Германии (можно вспомнить хотя бы «Дело д'Артеза» Г. Носсака); но тот персонаж, который собирает в романе Бёлля свидетельские показания (он называет себя «авт.»), стремится открыть не некую конкретную, а «всеобщую» тайну — нарисовать положительный образ женщины, которая «взяла на себя всю тяжесть немецкой истории между 1922 и 1970 годами», причем «она должна быть немкой, без того чтобы соответствовать какому-либо представлению о “немецком”».

Бёлль назвал «Групповой портрет с дамой» «романом воспитания», и, хотя Лени, как и все герои книг Бёлля, в сущности, остается неизменной на протяжении всего действия, можно определить двух ее главных «воспитателей» — двух персонажей из многочисленного круга ее знакомых, оказавших на нее наибольшее влияние. Это монашенка Рахель, еврейка-католичка, и русский военнопленный Борис, обе фигуры достаточно экзотически обрисованные и условные, но, по Бёллю, являющиеся носителями высоких человеческих («антибуржуазных») качеств, противопоставленных миру, окружающему Лени. Действие романа круто ломается во второй его половине, когда оно доходит до современности, и роман превращается в беспощадный памфлет против западногерманского общества — «дикий страны, многим она кажется таинственной и жуткой». Нравственность, господствующую в этом обществе, ополчившемся на его героиню, всю политическую атмосферу в нем Бёлль открыто сближает с преступной практикой гитлеризма; этот ход мысли можно встретить в те годы и у других западногерманских писателей (А. Андерш: «Запах распространяется, запах от машины, которая производит газ»), но Бёлль пишет прямо и недвусмысленно, что Лени «была выдана окружающим миром для уничтожения в газовой камере». Литературовед Г. Й. Бернхардт, автор монографии о творчестве Бёлля, назвал главу об этом романе «Обыкновенный капитализм». Иронический тон повествования в «Групповом портрете с дамой» (как, собственно говоря, во всех произведениях «позднего Бёлля») позволяет обнажить его памфлетную условность; о Лени в романе говорится, что «она существует и все же не существует; она не существует и в то же время существует». При всем том

в героиню этой книги, «обладавшую несравненной прямотой, свойственной девушкам с Рейна», Бёлль вложил так много для себя дорогого, противопоставленного тому, что он отвергает в немецкой истории, что он мог бы, вслед за Флобером, повторить: «Лени — это я».

«Вмешался» Бёлль и в дело Баадера — Майнхоф, одно из самых трагических событий террористической волны в Западной Германии, опубликовав статью, в которой стремился противодействовать разгулу насилия, и употребив в ней по отношению к откровенно бульварной газете «Бильд» выражение «открытый фашизм». Последовала форменная травля Бёлля в шпрингеровской прессе, он оказался среди тех «интеллектуалов», которых громче всех обвиняли в «пособничестве терроризму», ему грозили расправой, в его доме был произведен обыск, а позднее в него была подложена бомба.

Эти события отразились в повести «Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести» (1974), хотя, как обычно у Бёлля, далеко не напрямую. Он заявил даже, что «рассматривать эту книгу в связи с историей Баадера — Майнхоф, по его мнению, — ошибка или недоразумение»<sup>1</sup>. Однако книга открывается предупреждением такого рода: «Если при описании определенных журналистских приемов обнаружится сходство с приемами газеты «Бильд», это сходство ни преднамеренное, ни случайное, но неизбежное». В связи с «Катариной Блюм» Бёлль заметил, что и писатель имеет право на месть. Судя по всему, месть достигла цели. Эта небольшая повесть, выделяющаяся по своему значению из всего позднего творчества Бёлля, долгое время после выхода в свет была бестселлером; и все это время шпрингеровская пресса вопреки обыкновению вообще не печатала списки бестселлеров.

Действие повести происходит в течение четырех точно обозначенных дней 1974 года; «Бильд» названа в ней просто «Газета». Построение повести имитирует бесчисленные хроникальные газетные публикации 60—70-х годов — о террористических актах, взрывах, поджогах, убийствах, преследованиях, расследованиях и так далее. «Детективный» элемент, однако, в повести носит формальный характер, а местами просто пародийный. Не только преступника, но и все, что касается преступления, мы знаем заранее — место, обстоятельства и даже мотивы убийства; «тайной» остается его психологическая или, вернее, социально-психологическая подоплека и его политический смысл.

Любовь — как обычно у Бёлля, мгновенная — привела Катарину Блюм, тихую, заурядную, вполне добродетельную молодую женщину, в соприкосновение с огромной общественной машиной, нацеленной на борьбу против терроризма террористическими же методами, в том числе с системой всепроникающей реакционной журналистики. Именно газетчики загоняют Блюм в ту-

<sup>1</sup> Böll H., Linder Ch. Drei Tage im März. Köln, 1975, S. 68.

пик, она оказывается оболганной и обесславленной.

Главное для Бёлля в этой повести — отношение общества и государства к простому человеку, к рядовому, совершенно беззащитному гражданину. Для характеристики Катарины Блюм важно, что она не имеет никаких особых привилегий, это «полностью неизвестная, ничем не примечательная современница»<sup>1</sup>. Ни государство в лице полиции и следственных органов, несмотря на то что многие полицейские явно симпатизируют ей, ни ее весьма влиятельные друзья, несмотря на то что они ее любят, не в состоянии ей помочь; так в ней рождается мысль, что свою замаранную честь она может отмыть, только убив негодяя-журналиста. Этот выстрел — отчаяние загнанного в угол одиночки.

Терроризм привлек внимание многих художников Запада, стремившихся средствами искусства объяснить феномен возникновения идеи безудержного насилия, его мотивы и его следствия, показывая его как трагедию молодежи во враждебном ей обществе; широко известны такие произведения замечательных художников, как роман «Когда хочется плакать, не плачу» венесуэльца Мигеля Отеро Сильвы или фильм итальянца Микеланджело Антониони «Забриски-Пойнт»; в этом же ряду должна быть названа небольшая повесть Бёлля, не знающая себе равных с этой точки зрения в современной литературе Западной Германии.

В конце повести, где расставлены все точки над «i» в объяснении характера Катарины Блюм, она рассказывает о том, что чувствовала, когда решилась на преступление. В этом монологе обращает на себя внимание, человеком какой несчастной судьбы она была, несмотря на трудолюбие и честность, несмотря на внешне устроенную жизнь и даже достаток. Она вспоминает свою замученную работой мать, безвольного отца, мужа-негодяя, которого она вынуждена была оставить, брата, сидящего в тюрьме; вспоминает оскорбления, которые выпадали на ее долю из-за того, что она «бедная» и «красная». Катарина Блюм была парией процветающего общества и потому беззащитной перед царящими в нем преступными нравами.

После выхода повести в свет многие критики в Западной Германии стремились обвинить Бёлля в том, что он не просто объясняет происхождение террора, но и оправдывает его. Но Бёлль недвусмысленно сказал по поводу этой повести, что нельзя восстановить свою честь и свое доброе имя с помощью револьверного выстрела. Характерно, что Катарина Блюм не похожа на любимых бёллевских героинь; писатель видел ее в будущем как «вполне приспособившуюся особу, участницу экономического чуда»<sup>2</sup>. Но еще важнее то, что за пределами

<sup>1</sup> Böll H., Linder Ch. Drei Tage im März. Köln, 1975, S. 69.

<sup>2</sup> Böll H., Linder Ch. Drei Tage im März. Köln, 1975, S. 63.

повести ей предстоит горький путь раздумий и судьба ее, как можно понять, погублена. Повесть Бёлля — это книга крушения, одно из самых горьких и трагических его произведений.

То же можно сказать и о многочисленных публикациях Бёлля конца 70-х — начала 80-х годов, прежде всего статьях и выступлениях на актуальные политические темы, и о двух его последних больших романах: «Заботливая осада» (1985) и «Женщины на фоне речного пейзажа» (издан посмертно в 1986 году). Новое в этих книгах и в известном смысле неожиданное для Бёлля заключается не в последнюю очередь в том, что действие их происходит на высоких этажах социальной жизни, в среде людей богатых и занимающих ответственные посты в обществе. «Заботливая осада» — это роман о главе крупной издательской фирмы и членах его семьи, книга во многом близка проблематикой к «Катарине Блюм»; речь в этом романе идет о деформирующей и разрушительной роли насилия, ареной которого стала повседневная жизнь Федеративной республики. Что касается «Женщин на фоне речного пейзажа», то темой этого романа стали боннские «коридоры власти», в которых такую большую роль, как показывает Бёлль, играют высокопоставленные генералы старой гитлеровской выучки.

В эти годы Бёлль чаще, чем прежде, печатал произведения непосредственно автобиографического характера, вспоминая свои детские и юношеские годы и особенно годы войны. Незадолго до смерти было опубликовано «Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда», своего рода политическое завещание писателя, обращение к молодому поколению немцев из времени последних дней разгрома гитлеровской армии. Письмо появилось в марте 1985 года, накануне сорокалетия окончания второй мировой войны, в обстановке вновь обострившейся идейной схватки вокруг ее исторических уроков. Бёлль повторил в нем свой тезис о том, что время не может примирить немецкий народ с немецкой реакцией, ибо и сегодня можно различить немцев по тому, как они называют 1945 год — поражением или освобождением. Он заявил еще раз, что вина за войну, разруху и горе немецкого народа ложится на самих немцев — «на германский рейх, на его руководителей и на его обитателей», а не на тех, кто победил гитлеризм; «у меня нет ни малейших оснований жаловаться на Советский Союз». Он еще раз предупредил об опасности забвения прошлого, о живущих сегодня «потенциальных палацах».

Бёлль до конца своих дней выступал против любого рода реставрационных, неофашистских тенденций, был непримиримым противником немецкого национализма, который он называл «гинденбургским проклятием». Он был всегда резким критиком буржуазных отношений, буржуазной морали, буржуазной формулы успеха. Его идеалом было «общество без доходов и классов», и он говорил, что не даст «отнять у себя надежду на эту утопию». Именно здесь он находил опору для своего отри-

цания буржуазного мира, всей системы буржуазных ценностей.

\* \* \*

Генрих Бёлль скончался 16 июля 1985 года. Его творческое наследие еще не собрано полностью, еще будут, очевидно, печататься рукописи из его обширного архива. Мало кто из писателей был так тесно связан с ходом истории и так часто менял творческую манеру от одной значительной книги к другой, как Бёлль; он даже обосновывал этот необычный феномен («Я ощущаю каждую книгу как расширение инструментария, способов выражения, композиции и в известном смысле также и опыта»<sup>1</sup>), и в то же время его наследие обладает несомненной цельностью и законченностью.

Его книги, такие разные, вместе образуют мир, населенный узнаваемыми «бёллевскими» героями, людьми, всегда достойными участи лучшей, чем та, которая выпала им на долю, вынужденными защищать свое достоинство и честь, свое право на жизнь. Своеобразный психологизм Бёлля, не претендующий на исследование диалектики души, но вызывающий у читателя необычайно сильную эмоциональную реакцию, опирается на нравственные законы, непреложно действующие в созданном им мире; герои Бёлля не меняются, только по-разному раскрываются перед читателем в разных ситуациях, и это определяет особое место бёллевского повествовательного искусства среди главных течений литературы XX века. Лирическое преимущественно по способу выражения, оно основывается на ясных постулатах, в которых чувствуется связь с фольклорными нравственными и эстетическими ценностями, народным мироощущением. Бёлль не терял веры в завтрашний день своих любимых героев, никогда не впадал в цинизм отчаяния, умел видеть «смехотворность» фашизма и войны, «скуку» бесчеловечия. В этом глубинном сознании непобедимости добра надо искать секрет его популярности.

Понятие «эстетики гуманного», данное им самим, многое объясняет в творчестве Бёлля и в его жизненной позиции. Критика подхватила и стала применять по отношению к нему произнесенную им однажды формулу: «теология нежности». Правильнее было бы сказать: гуманности, как своего рода категорического нравственного императива. Далеко не все в этой «теологии» выдерживало проверку реальными обстоятельствами, реальной историей XX века, но привлекательная сила ее несомненна. Мало кто из писателей и общественных деятелей Запада наших дней ценил человеческую жизнь и понимал единство и непрерывность человеческого рода так, как Бёлль. Тяжелобольной, перенес уже несколько операций, незадолго до того дня, когда ему пришлось в последний раз лечь в больницу, он написал

<sup>1</sup> Die subversive Madonna. Hrsg. von R. Matthaei. Köln, 1975, S. 141.



стихотворение<sup>1</sup>, адресовав его своей маленькой внучке:

Мы приходим издалека  
дитя мое  
и должны уйти далеко  
не бойся  
мы все с тобой  
кто был до тебя  
твоя мать твой отец  
и все кто был до них  
далеко-далеко позади  
мы все с тобой  
не бойся  
мы приходим издалека  
и должны уйти далеко  
дитя мое

Когда Бёлля спросили, наступит ли когда-нибудь «смерть последнего писателя», он вернулся к мысли о «непрерывном писании», но не в личном, а всеобщем плане: литература никогда не перестанет существовать, ибо это значило бы, что человечество лишилось памяти и истории.

*П. Тонер*

---

<sup>1</sup> Факсимиле этого стихотворения воспроизведено в каталоге выставки «Творчество преодолевает границы», посвященной Генриху Бёллю, которая открылась 28 июня 1986 года в Государственном Литературном музее в Москве. Это была первая выставка за пределами ФРГ, посвященная Бёллю.

**ИЗ СБОРНИКА  
«ПУТНИК, ПРИДЕШЬ  
КОГДА В СПА...»**



## ПУТНИК, ПРИДЕШЬ КОГДА В СПА...

Машина остановилась, но мотор еще несколько минут урчал; где-то распахнулись ворота. Сквозь разбитое окошечко в машину проник свет, и я увидел, что лампочка в потолке тоже разбита вдребезги; только цоколь ее торчал в патроне — несколько поблескивающих проволочек с остатками стекла. Потом мотор затих, и на улице кто-то крикнул:

— Мертвых сюда, есть тут у вас мертвецы?

— Ч-черт! Вы что, уже не затемняетесь? — откликнулся водитель.

— Какого дьявола затемняться, когда весь город горит, точно факел,— крикнул тот же голос.— Есть мертвецы, я спрашиваю?

— Не знаю.

— Мертвецов сюда, слышишь? Остальных наверх по лестнице, в рисовальный зал, понял?

— Да, да.

Но я еще не был мертвецом, я принадлежал к остальным, и меня понесли в рисовальный зал, наверх по лестнице. Сначала несли по длинному, слабо освещенному коридору с зелеными, выкрашенными масляной краской стенами и гнутыми, наглухо вделанными в них старомодными черными вешалками; на дверях белели маленькие эмалевые таблички: “VIa” и “VIb”; между дверями, в черной раме, мягко поблескивая под стеклом и глядя вдаль, висела «Медея» Фейербаха. Потом пошли двери с табличками “Va” и “Vb”, а между ними — снимок со скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу», превосходная, отсвечивающая красным фотографией в коричневой раме.

Вот и колонна перед выходом на лестничную площадку, за ней чудесно выполненный макет — длинный и узкий, подлинно античный фриз Парфенона из желтоватого гипса — и все остальное, давно привычное: вооруженный до зубов греческий воин, воинст-

венный и страшный, похожий на взъерошенного петуха. В самой лестничной клетке, на стене, выкрашенной в желтый цвет, красовались все — от великого курфюрста до Гитлера...

А на маленькой узкой площадке, где мне в течение нескольких секунд удалось лежать прямо на моих носилках, висел необыкновенно большой, необыкновенно яркий портрет старого Фридриха — в небесно-голубом мундире, с сияющими глазами и большой блестящей золотой звездой на груди.

И снова я лежал скатившись на сторону, и теперь меня несли мимо породистых арийских физиономий: нордического капитана с орлиным взором и глупым ртом, уроженки Западного Мозеля, пожалуй чересчур худой и костлявой, остзейского зубоскала с носом луковицей, длинным профилем и выступающим кадыком киношного горца; а потом добрались еще до одной площадки, и опять в течение нескольких секунд я лежал прямо на своих носилках, и еще до того, как санитары начали подниматься на следующий этаж, я успел его увидеть — украшенный каменным лавровым венком памятник воину с большим позолоченным Железным крестом наверху.

Все это быстро мелькало одно за другим: я не тяжелый, а санитары торопились. Конечно, все могло мне только почудиться; у меня сильный жар и решительно все болит: голова, ноги, руки, а сердце колотится как сумасшедшее — что только не привидится в таком жару.

Но после породистых физиономий промелькнуло и все остальное: все три бюста — Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, рядышком, изумительные копии; совсем желтые, античные и важные стояли они у стен; когда же мы свернули за угол, я увидел и колонну Гермеса, а в самом конце коридора — этот коридор был выкрашен в темно-розовый цвет, — в самом-самом конце над входом в рисовальный зал висела большая маска Зевса; но до нее было еще далеко. Справа в окне алело зарево пожара, все небо было красное, и по нему торжественно плыли плотные черные тучи дыма...

И опять я невольно перевел взгляд налево и увидел над дверями таблички “Ха” и “Хб”, а между этими коричневыми, словно пропахшими затхлостью дверями виднелись в золотой раме усы и острый нос Ницше, вторая половина портрета была заклеена бумажкой с надписью «Легкая хирургия»...

Если сейчас будет... мелькнуло у меня в голове. Если сейчас будет... Но вот и она, я вижу ее: картина, изображающая африканскую колонию Германии Того, — пестрая и большая, плоская, как старинная гравюра, великолепная олеография. На переднем плане, перед колониальными домиками, перед неграми и немецким солдатом, неизвестно для чего торчащим тут со своей винтовкой, — на самом-самом переднем плане желтела большая, в натуральную величину, связка бананов; слева гроздь, справа гроздь, и на одном банане в самой середине этой правой грозди что-то нацарапано, я это видел; я сам, кажется, и нацарапал...

Но вот рывком открылась дверь в рисовальный зал, и я про-

плыл под маской Зевса и закрыл глаза. Я ничего не хотел больше видеть. В зале пахло йодом, испражнениями, марлей и табаком и было шумно. Носилки поставили на пол, и я сказал санитарам:

— Суньте мне сигарету в рот. В верхнем левом кармане.

Я почувствовал, как чужие руки пошарили у меня в кармане, потом чиркнула спичка, и во рту у меня оказалась зажженная сигарета. Я затанулся.

— Спасибо,— сказал я.

Все это, думал я, еще ничего не доказывает. В конце концов, в любой гимназии есть рисовальный зал, есть коридоры с зелеными и желтыми стенами, в которых торчат гнутые старомодные вешалки для платья; в конце концов, это еще не доказательство, что я нахожусь в своей школе, если между "IVa" и "IVб" висит «Медея», а между "Ха" и "Хб" — усы Ницше. Несомненно, существуют правила, где сказано, что именно там они и должны висеть. Правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии: «Медея» — между "IVa" и "IVб", там же «Мальчик, вытаскивающий занозу», в следующем коридоре — Цезарь, Марк Аврелий и Цицерон, а Ницше на верхнем этаже, где уже изучают философию. Фриз Парфенона и универсальная олеография — Того. «Мальчик, вытаскивающий занозу» и фриз Парфенона — это, в конце концов, не более чем добрый старый школьный реквизит, переходящий из поколения в поколение, и наверняка я не единственный, кому взбрело в голову написать на банане «Да здравствует Того!». И выходки школьников, в конце концов, всегда одни и те же. А кроме того, вполне возможно, что от сильного жара у меня начался бред.

Боли я теперь не чувствовал. В машине я еще очень страдал; когда ее швыряло на мелких выбоинах, я каждый раз начинал кричать. Уж лучше глубокие воронки: машина поднимается и опускается, как корабль на волнах. Теперь, видно, подействовал укол; где-то в темноте мне всадили шприц в руку, и я почувствовал, как игла проткнула кожу и ноге стало горячо...

Да это просто невозможно, думал я, машина наверняка не прошла такое большое расстояние — почти тридцать километров. А кроме того, ты ничего не испытываешь, ничто в душе не подсказывает тебе, что ты в своей школе, в той самой школе, которую покинул всего три месяца назад. Восемь лет — не пустяк, неужели после восьми лет ты все это узнаешь только глазами?

Я закрыл глаза и опять увидел все как в фильме: нижний коридор, покрашенный зеленой краской, лестничная клетка с желтыми стенами, памятник воину, площадка, следующий этаж: Цезарь, Марк Аврелий... Гермес, усы Ницше, Того, маска Зевса...

Я выплюнул сигарету и закричал; когда кричишь, становится легче, надо только кричать погромче; кричать — это так хорошо, я кричал как полоумный. Кто-то надо мной наклонился, но я не открывал глаз, я почувствовал чужое дыхание, теплое, противно пахнущее смесью лука и табака, и услышал голос, который спокойно спросил:

— Чего ты кричишь?

— Пить,— сказал я.— И еще сигарету. В верхнем кармане. Опять чужая рука шарил в моем кармане, опять чиркнула спичка и кто-то сунул мне в рот зажженную сигарету.

— Где мы? — спросил я.

— В Бендорфе.

— Спасибо,— сказал я и затанулся.

Все-таки я, видимо, действительно в Бендорфе, а значит, дома, и, если бы не такой сильный жар, я мог бы с уверенностью сказать, что я в классической гимназии; что это школа, во всяком случае, бесспорно. Разве не крикнул внизу чей-то голос: «Остальных в рисовальный зал!»? Я был одним из остальных, я жил, остальные и были, очевидно, живыми. Это — рисовальный зал, и если слух меня не обманул, то почему бы глазам меня подвести? Значит, нет сомнения в том, что я узнал Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, а они могли быть только в классической гимназии; не думаю, чтобы в других школах стены коридоров украшали скульптурами этих молодцов.

Наконец-то он принес воду; опять меня обдало смешанным запахом лука и табака, и я поневоле открыл глаза, надо мной склонилось усталое, дряблкое, небритое лицо человека в форме пожарника, и старческий голос тихо сказал:

— Выпей, дружок.

Я начал пить; вода, вода — какое наслаждение; я чувствовал на губах металлический привкус котелка, я ощущал упругую полноводность глотка, но пожарник отнял котелок от моих губ и ушел; я закричал, он даже не обернулся, только устало передернул плечами и пошел дальше, а тот, кто лежал рядом со мной, спокойно сказал:

— Зря орешь, у них нет воды; весь город в огне, сам видишь.

Я это видел, несмотря на затемнение,— за черными шторами полыхала и бушевала огненная стихия, черно-красная, как в печи, куда только что засыпали уголь. Да, я видел: город горел.

— Какой это город? — спросил я у раненого, лежавшего рядом.

— Бендорф,— сказал он.

— Спасибо.

Я смотрел прямо перед собой на ряды окон, а иногда на потолок. Он был еще безупречно белый и гладкий, с узким классическим лепным карнизом; но такие потолки с классическими лепными карнизами есть во всех рисовальных залах всех школ, по крайней мере всех добрых старых классических гимназий. Это ведь бесспорно.

Я не мог более сомневаться: я в рисовальном зале одной из классических гимназий в Бендорфе. В Бендорфе всего три классические гимназии: гимназия Фридриха Великого, гимназия Альберта и... может быть, лучше вовсе не упоминать о ней... гимназия имени Адольфа Гитлера. Разве на лестничной площадке в гимназии Фридриха Великого не висел портрет Старого Фрица, необык-

новенно яркий, необыкновенно красивый, необыкновенно большой? Я учился в этой школе восемь лет подряд, но разве точно такой же портрет не мог висеть в другой школе, на том же самом месте, и настолько же яркий, настолько же бросающийся в глаза, что взгляд каждого, кто поднимался на второй этаж, невольно на нем останавливался?

Вдали постреливала тяжелая артиллерия. А вообще было почти спокойно, лишь время от времени прожорливое пламя вырывалось на волю и где-то во тьме рушилась крыша. Артиллерийские орудия стреляли равномерно, с одинаковыми промежутками, и я думал: славная артиллерия. Я знаю, это подло, но я так думал. О боже, как она успокаивала, эта артиллерия, каким родным был ее густой и низкий рокот, мягкий, нежный, как рокот органа, в нем есть даже что-то благородное; по-моему, в артиллерии есть что-то благородное, даже когда она стреляет. Все это так солидно, совсем как в той войне, про которую мы читали в книжках с картинками... Потом я подумал о том, сколько имен будет высечено на новом памятнике воину, если новый памятник поставят, и о том, что на него водрузят еще более грандиозный позолоченный Железный крест и еще более грандиозный каменный лавровый венок; и вдруг меня пронзила мысль: если я в самом деле нахожусь в своей старой школе, то мое имя тоже будет красоваться на памятнике, высеченное на цоколе, а в школьном календаре против моей фамилии будет сказано: «Ушел на фронт из школы и пал за...»

Но я еще не знал, за что... И я еще не был уверен, нахожусь ли я в своей старой школе. Теперь я непременно хотел это установить. В памятнике воину тоже нет ничего особенного, ничего исключительного, он такой, как всюду, стандартный памятник массового изготовления, все памятники такого образца поставляются каким-то одним управлением...

Я оглядывал рисовальный зал, но картины были сняты, а о чем можно судить по нескольким партам, сваленным в углу, да по узким и высоким окнам, частым-частым, как полагается в рисовальном зале, где должно быть много света? Сердце мне ничего не подсказывало. Но разве оно молчало бы, если б я оказался там, где восемь лет, из года в год, рисовал вазы, прелестные, стройные вазы, изумительные копии с римских подлинников, — учитель рисования обычно ставил их перед классом на подставку; там, где я выводил шрифты — рондо, латинский прямой, римский, итальянский? Ничто я так не ненавидел в школе, как эти уроки; часами глотал я скуку и никогда не мог нарисовать вазу или воспроизвести какой-нибудь шрифт. Но где же мои проклятия, где моя ненависть к этим тоскливым тусклым стенам? Ничто во мне не заговорило, и я молча покачал головой.

Снова и снова я рисовал, стирал нарисованное, оттачивал карандаш... и ничего, ничего...

Я не помнил, как меня ранило, чувствовал лишь, что не могу пошевелить руками и правой ногой, только левой, и то еле-еле;

это оттого, думал я, что всего меня очень туго спеленали.

Я выплюнул сигарету в пространство между набитыми соломой мешками и попытался шевельнуть рукой, но от страшной боли опять закричал; я кричал не переставая, кричал с наслаждением; помимо боли, меня доводило до бешенства то, что я не могу пошевелить руками.

Потом я увидел перед собой врача; он снял очки и, часто моргая, смотрел на меня; он ничего не говорил; за ним стоял пожарник, тот, что дал мне воды. Пожарник что-то шепнул врачу на ухо, и врач надел очки, за их толстыми стеклами я отчетливо увидел большие серые глаза с чуть подрагивающими зрачками. Врач долго смотрел на меня, так долго, что я невольно отвел глаза. Он сказал:

— Одну минуту, ваша очередь сейчас подойдет...

Затем они подняли того, кто лежал рядом со мной, и понесли за классную доску; я смотрел им вслед; доска была раздвинута и поставлена наискосок, между нею и стенкой висела простыня, за простыней горел яркий свет...

Ни звука не было слышно, пока простыню не откинули и не вынесли того, кто лежал только что рядом со мной; санитары с усталыми, безучастными лицами тащили носилки к дверям.

Я опять закрыл глаза и подумал: ты непременно должен узнать, что у тебя за ранение и действительно ли ты находишься в своей старой школе.

Все здесь казалось мне таким холодным и чужим, как если бы меня пронесли по музею мертвого города; этот мирок был мне совершенно безразличен и далек, и хотя я его узнавал, но только глазами. А если так, то мог ли я поверить, что всего три месяца назад я сидел здесь, рисовал вазы и писал шрифты, на переменах сбегал по лестнице, держа в руках принесенные из дому бутерброды с повидлом, проходил мимо Ницше, Гермеса, Того, Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия, потом шел по нижнему коридору с его «Медеей» и заходил к швейцару Биргелеру выпить молока, выпить молока в этой полутемной каморке, где можно было рискнуть выкурить сигарету, хоть это и строго воспрещалось? Наверняка они понесли того, кто лежал раньше рядом со мной, вниз, куда сносили мертвецов; быть может, мертвецов клали в мглистую каморку, где пахло теплым молоком, пылью и дешевым табаком Биргелера...

Наконец-то санитары вернулись в зал, и теперь они подняли меня и понесли за классную доску. Я опять поплыл мимо дверей и, проплывая, обнаружил еще одно совпадение: в те времена, когда эта школа называлась школой св. Фомы, над этой самой дверью висел крест, его потом сняли, но на стене так и осталось неисчезающее темно-желтое пятно — отпечаток креста, четкий и ясный, более четкий, пожалуй, чем сам этот ветхий, хрупкий, маленький крест, который сняли; ясный и красивый отпечаток креста так и остался на выцветшей стене. Тогда новые хозяева со злости перекрасили всю стену, но это не помогло, маляр не сумел найти пра-



вильного колера, крест остался на своем месте, светло-коричневый и четкий на розовой стене. Они злились, но тщетно, крест оставался, коричневый, четкий на розовом фоне стены, и думаю, что они исчерпали все свои ресурсы на краски, но сделать ничего не смогли. Крест все еще был там, и если присмотреться, то можно разглядеть даже косой след на правой перекладине, где много лет подряд висела самшитовая ветвь, которую швейцар Биргелер прикреплял туда в те времена, когда еще разрешалось вешать в школах кресты...

Все это промелькнуло в голове в ту короткую секунду, когда меня несли мимо двери за классную доску, где горел яркий свет.

Я лежал на операционном столе и в блестящем стекле электрической лампы видел себя самого, свое собственное отражение, очень маленькое, укороченное — совсем крохотный, белый, узенький марлевый сверток, словно куколка в коконе; это и был я.

Врач повернулся ко мне спиной; он стоял у стола и рылся в инструментах; старик пожарник, широкий в плечах, загораживал собой классную доску и улыбался мне; он улыбался устало и печально, и его бородатое лицо казалось лицом спящего; взглянув поверх его плеча, я увидел на исписанной стороне доски нечто, заставившее восторгнуться мое сердце впервые за все время, что я находился в этом мертвом доме. Где-то в тайниках души я отчаянно, страшно испугался, сердце учащенно забилося: на доске я увидел свой почерк — вверху, на самом верху. Узнать свой почерк — это хуже, чем увидеть себя в зеркале, это куда более неопровержимо, и у меня не осталось никакой возможности усомниться в подлинности моей руки. Все остальное еще не служило доказательством — ни «Медея», ни Ницше, ни профиль киношного горца, ни банан из Того, ни даже сохранившийся над дверью след креста, — все это существовало во всех школах, но я не думаю, чтобы в других школах кто-нибудь писал на доске моим почерком. Она еще красовалась здесь, эта строка, которую всего три месяца назад, в той проклятой жизни, учитель задал нам каллиграфически написать на доске: «Путник, придешь когда в Спа...»

О, я помню, доска оказалась для меня короткой, и учитель сердился, что я плохо рассчитал, выбрал чрезмерно крупный шрифт, а сам он тем же шрифтом, покачивая головой, вывел ниже: «Путник, придешь когда в Спа...»

Семь раз была повторена эта строка — моим почерком, латинским прямым, готическим шрифтом, курсивом, римским, староитальянским и рондо; семь раз, четко и беспощадно: «Путник, придешь когда в Спа...»

Врач тихо окликнул пожарника, и он отошел в сторону, теперь я видел все строчки, не очень красиво написанные, потому что я выбрал слишком крупный шрифт, вывел слишком большие буквы.

Я подскочил, почувствовав укол в левое бедро, хотел опереться на руки, но не смог; я оглядел себя сверху донизу — и все увидел. Они распеленали меня, и у меня не было больше рук, не было правой ноги, и я внезапно упал навзничь: мне нечем было

держаться; я закричал; пожарник и врач с ужасом смотрели на меня; передернув плечами, врач все нажимал на поршень шприца, медленно и ровно погружавшегося все глубже; я хотел опять взглянуть на доску, но пожарник загораживал ее; он крепко держал меня за плечи, и я чувствовал запах гари, грязный запах его перепачканного мундира, видел усталое, печальное лицо — и вдруг узнал его: это был Биргелер.

— Молока,— сказал я тихо...

### **«МЕТЛЫ БЫ ТЕБЕ ВЯЗАТЬ!»**

Добродушие нашего учителя математики не уступало его необузданной стремительности; обычно он врвался в класс, держа руки в карманах, выплевывал окурок в плевательницу, стоявшую слева от корзинки для бумаг, взбегал на кафедру, выкрикивал мою фамилию и задавал вопрос, на который я никогда не мог ответить, в чем бы он ни заключался...

Когда я, беспомощно пробормотав что-то, умолкал, он под хихиканье всего класса медленно-медленно подходил ко мне,огревал щелчком мое многострадальное темя и говорил с грубоватым добродушием: «Эх ты! Метлы бы тебе вязать! Вот что!»

Это превратилось в известного рода обряд, перед которым я трепетал все свои школьные годы, тем более что мои познания в науках не только не возрастали вместе с возрастающими требованиями, а, наоборот, как будто даже убывали. Наградив изрядным количеством щелчков, учитель оставлял меня в покое, больше не мешая мне предаваться беспредметным грезам, поскольку всякая попытка обучить меня математическим премудростям была напрасной, совершенно напрасной. И все свои школьные годы я из класса в класс влачил за собой единицу, как каторжник тяжелое ядро на ноге.

Особенно сильное впечатление производило на нас то, что у математика никогда не было при себе ни книжки, ни тетрадки, ни даже записочки; он словно откуда-то из рукава вытряхивал все свои таинственные чудеса и с уверенностью канатоходца молниеносно вычерчивал на доске самые невероятные геометрические фигуры. Вот только описать окружность ему никогда не удавалось. Он был для этого слишком нетерпелив. Обмотав кусок мела веревочкой, он намечал воображаемый центр и с такой стремительностью обводил вокруг него кривую, что мел обламывался и, жалобно поскрипывая, пускался вскачь по доске: черточка — точка, точка — черточка,— и никогда начало кривой не совпадало с ее концом; получалось что-то уродливо зияющее — поистине некий символ трагически несовершенного мироздания. И визг, скрип, часто даже треск мела был добавочной мукой для моего истерзанного мозга; я обычно пробуждался от своих грез, поднимал глаза, а он, заметив это, бросался ко мне, брал за уши и приказывал нарисовать окружность. Этим искусст-

вом я владел почти безукоризненно — то был загадочный дар, отпущенный мне природой. Каким наслаждением были полсекунды игры с мелом! Это походило на легкое опьянение: окружающий мир исчезал, и меня наполняла глубокая радость, вознаграждавшая за все муки. Но сладостное забытие длилось недолго: учитель с грубоватой признательностью больно хватал меня за чуб, и я, под смех всего класса, как побитая собака возвращался на место; но теперь я уже не мог уйти в царство грез и мучительно ждал звонка...

Мы давно выросли, давно уже в мои грезы вплеталось страдание, учитель давно уже говорил нам «вы»: «Эх вы! Метлы бы вам вязать! Вот что!», и проходили долгие, мучительно долгие месяцы, на протяжении которых я не чертил ни одной окружности; меня лишь тщетно заставляли преодолевать ломкие конструкции алгебраических формул, и неизменно я тащил за собой единицу, и неизменно совершался надо мной один и тот же привычный обряд.

Но вот нам пришлось добровольцами пойти в армию, чтобы получить звание офицера; и тогда нам досрочно устроили испытания, облегченные испытания, но все же испытания, и, вероятно, моя полная растерянность перед официальной строгостью экзаменаторов чрезвычайно тронула сердце учителя математики — он так много и ловко мне подсказывал, что я выдержал экзамен. Позднее, когда учителя жали нам на прощанье руки, он все же посоветовал мне не обольщаться насчет моих математических познаний и ни в коем случае не проситься в технические войска.

— В пехоту, в пехоту идите,— шепнул он мне,— это самый подходящий род войск для всех... вязальщиков метел.— И он в последний раз многозначительно, со скрытой нежностью, легонько щелкнул меня в натренированное темя...

Месяца через два, а может, и того меньше, я сидел на своем ранце в глубокой грязи одесского аэродрома и не отрывал глаз от человека, вязавшего метлы, первого живого вязальщика метел, которого я видел в жизни...

Зима в тот год наступила рано, и над близким городом от горизонта до горизонта нависло серое и безнадежное небо. За палисадниками и черными заборами виднелись высокие мрачные здания. Там, где находилось невидимое отсюда Черное море, небо было еще более темное, почти иссиня-черное, и думалось, что сумерки и ночь надвигаются с востока. Где-то в глубине аэродрома, у мрачных ангаров, баки крылатых чудовищ до краев наполнялись бензином, затем чудовища откатывались назад и со злорадным радушием разверзали чрево, которое до отказа заполнялось людьми — серыми, усталыми и отчаявшимися солдатами; в глазах у них нельзя было прочесть ничего, кроме страха: Крым давно уже был окружен...

Наш взвод оставался на аэродроме, вероятно, одним из по-

следних, все молчали и зябко поеживались, несмотря на длинные шинели. Кое-кто искал выхода своему отчаянию в еде, другие, наперекор запрету, курили, прикрывая трубку ладонью, и осторожно, тоненькой стружкой, выпускали дым...

У меня было достаточно времени, чтобы наблюдать за сидевшим у забора соседнего сада человеком, который вязал метлы. В диковинной русской фуражке, обросший бородой, он курил темно-коричневую трубку-коротышку, такую же толстую, как его нос. Его руки, работавшие спокойно, просто и размеренно, брали пучок веток, похожих на дрок, обрезали, перевязывали проволокой и, воткнув палку в пучок, закрепляли.

Повернувшись к нему, я почти лежал на своем ранце. Мне был виден лишь огромный силуэт этого бедного тихого человека, без суетливости, прилежно и с любовью вязавшего метлы. Никогда в жизни я никому не завидовал так, как этому метловязальщику,— ни нашему первому ученику, ни математическому светилу Шимскому, ни лучшему футболисту нашей школьной команды, ни Хегенбаху, у которого брат был кавалером Рыцарского креста; никому из них я так не завидовал, как этому метловязальщику, который сидел здесь, на одесской окраине, и, ни от кого не прячась, курил свою трубку.

У меня было тайное желание встретиться взглядом с этим человеком, мне казалось, что я почерпну в этом лице душевный покой; но вдруг кто-то, схватив меня за шинель, рывком поставил на ноги, обругал и втолкнул в ревущую машину, и, когда мы оторвались от земли и понеслись над сумятицей садов, улиц и церквей, не было уже никакой возможности отыскать взглядом того простого человека, вязавшего метлы.

Сначала я сидел на своем ранце, потом меня отшвырнуло к стенке, и я, оглушенный гнетущим молчанием моих товарищей по несчастью, прислушивался к грозному шуму летящего корабля, и голова моя, прижатая к металлической стенке, дрожала от постоянных сотрясений. Только там, где сидел пилот, густая темень битком набитой машины была не такой непроглядной, призрачный отблеск падал на молчаливые и угрюмые фигуры солдат, сидевших на своих ранцах справа, слева, всюду.

Внезапно странный шум прокатился по небу, такой знакомый, что я испугался: мне показалось, будто исполинская рука великана учителя, широко взмахнув куском меловой скалы, пронеслась по беспредельной грифельной доске ночного неба, и звук был точь-в-точь такой же, какой я так часто слышал всего два месяца назад. Это был тот же сердитый треск скачущего мела.

Дугу за дугой прочерчивала по небу рука великана, но не белым по грифельно-серому, а красным по синему и фиолетовым по черному, и вздрагивающие линии гасли, не завершая окружности, шелкали и, взыв, затухали.

Меня терзали не стоны моих обезумевших от испуга товарищей по несчастью, не крик лейтенанта, тщетно приказывавшего успокоиться и замолчать, и не страдальчески перекошенное лицо

пилота. Меня терзали только эти прочерчивающие все небо, беснующиеся, вечно незавершенные окружности; полные иступленной ненависти, они никогда, никогда не возвращались к своей исходной точке, ни одно из этих бездарно вычерченных полукружий так ни разу и не завершилось, не обрело законченной красоты круга.

Мои мучения удесят�ялись щелкающей, скрежещущей, скачущей яростью гигантской руки; я дрожал от страха — как бы она не схватила меня за вихор и не защелкала до смерти.

И вдруг ужас сжал сердце: эта иступленная ярость впервые по-настоящему открылась мне в звуке: я услышал близко над головой странное шипение, и вслед за тем словно чья-то гневная длань ударила меня по темени; я ощутил жгучую влажную боль, с криком вскочил и схватился за небо, в котором опять бешено дрогнул ядовито-желтый огненный зигзаг. Я крепко держал эту яростно вырывающуюся желтую змею, правой рукой гнал ее по окружности, заставляя описывать гневный круг, чувствуя, что мне удастся завершить его, ибо только это я и умел делать, только этим меня и одарила природа... и я держал змею, размашисто водил ею по небу, яростно извивавшуюся, беснующуюся, вздрагивающую, грохочущую змею, держал ее крепко, и из моего страдальчески подергивающегося рта вырывалось горячее дыхание; а тем временем влажная боль в темени все росла, и пока я, вычерчивая пунктиром, завершал чудесную окружность и с гордостью разглядывал ее, пространство между пунктирными линиями заполнилось, и короткая вспышка зловещим треском залила окружность светом и огнем, все небо запылало, и стремительная сила падающего самолета расколола мир надвое. Я ничего больше не видел, кроме света, огня и изуродованного хвоста машины, расщепленного, как черный огрызок метлы, на котором ведьма скачет на шабаш...

## ОСТАНОВКА В X.

Когда я проснулся, меня охватило чувство полной потерянности: мне казалось, что я плыву в темноте, словно в лениво колышущейся, но никуда не текущей воде. Будто труп, который волны навсегда вытолкнули из глубин на безжалостную поверхность, меня несло, слегка покачивая, и я не находил опоры в этой крошечной тьме. Я не чувствовал ни рук, ни ног — они как бы не принадлежали мне; обоняние, зрение, слух тоже были как бы выключены; нечего было видеть, нечего было слышать, ни единый запах не предлагал мне своей поддержки; лишь нежное прикосновение подушки к затылку связывало меня с действительностью, я ощущал только свою голову; мысли были кристально ясные, но чуть заглушенные той мучительной головной болью, которая всегда приходит после скверного вина.

Даже ее дыхания я не слышал, она спала тихо, как ребенок,

и все же я знал, что она лежит рядом. Бессмысленной оказалась бы попытка протянуть руки и коснуться ее лица или шелковистых волос — ведь рук у меня больше не было, воспоминание было только памятью мысли, но не чувств, призрачной конструкцией, не оставившей никакого следа в моей плоти.

Как часто шел я по самому краю бытия, бесстрашно, точно пьяный, с непостижимым равновесием шагающий по узкой тропинке над пропастью навстречу своей цели, красота которой озаряет его лицо; я брел по бульварам, скупо освещенным тусклым светом фонарей — нечеткий пунктир свинцово-серых огней едва обозначал контуры реальности, казалось, только затем, чтобы еще упорнее ее отрицать. Точно слепец, брел я в непроглядной черноте улиц — они кишели людьми, но я знал, что я один, один.

Один со своей головой, даже не со всей головой — рот, нос, глаза и уши были мертвы; один со своим мозгом, который старался собрать воспоминания, подобно тому как ребенок складывает из простейших кубиков кажущиеся бессмысленными постройки.

Она должна лежать рядом со мной, хотя я ее совсем не ощущаю.

Накануне я сошел с поезда, который помчался дальше, через Балканы, к Афинам, а у меня тут была пересадка, и мне пришлось ждать другого поезда, чтобы добраться до карпатских перевалов. Когда я тащился по платформе, не зная даже названия станции, мне повстречался пьяный солдат; одинокий в своем сером мундире среди пестро одетых венгров, мой соотечественник шел, шатаясь, и изрыгал чудовищные угрозы — они хлестали меня, как пощечины, которые потом всю жизнь жгут лицо.

— Суки продажные! — орал он. — Все до одного продажные суки!.. С меня хватит!.. Я сыт по горло!..

Под гогот венгров он громко выкрикивал ругательства, волоча свой тяжелый ранец к тому вагону, из которого я только что вылез.

В окне вагона показалась чья-то голова в каске.

— Поди-ка! Ха-ха! Поди-ка сюда!..

Тогда пьяный вытащил свой пистолет и прицелился в каску. Люди закричали, я схватил пьяного за руку, вырвал пистолет и сунул себе в карман; парень отбивался что было сил, но я крепко держал его. Все орали — каска, венгры, пьяный парень, но поезд вдруг тронулся и укатил, а против уходящего поезда даже каски в большинстве случаев бессильны. Я отпустил солдата и, вернув ему пистолет, толкнул к выходу; он растерянно побрел впереди меня.

Маленький городок выглядел пустынным. Люди быстро разошлись, на привокзальной площади не было ни души. Какой-то усталый, грязный железнодорожник указал нам на невзрачный кабачок, притаившийся в тени невысоких деревьев на той стороне пыльной площади. Мы скинули на пол наши ранцы, я заказал

вино, то скверное вино, от которого сейчас, когда я проснулся, меня так мутит. Мой новый приятель сидел злой и молчал. Я предложил ему сигарету, мы закурили, и я принялся его разглядывать: на груди обычный набор фронтовых наград; молод, моих лет; светлые волосы, прикрывая плоский белый лоб, падали на глаза.

— Вот такая штука, парень,— сказал он вдруг.— Всем этим я сыт по горло, понимаешь?

Я кивнул.

— Так сыт, что даже сказать не могу, понимаешь? Я решил смываться...

Я взглянул на него.

— Да,— сказал он уже совершенно трезвым голосом.— Я смываюсь. Двину в пушту<sup>1</sup>. Я хорошо управляюсь с лошадьми и при нужде могу и суп сварить, пусть меня целуют в ... Пойдешь со мной?

Я покачал головой.

— Что, боишься? Нет... Ну, дело твое. Я, во всяком случае, смываюсь. Будь здоров.

Он встал, но ранца почему-то не взял, бросил на стол смятую купюру, еще раз кивнул мне и вышел.

Я долго ждал его, я не верил, что он действительно смылся, ушел в пушту. Я стерег его ранец и ждал, пил это скверное вино и тщетно пытался завязать разговор с хозяином, глядел в окно на привокзальную площадь, по которой, вздымая клубы пыли, изредка проезжала телега, запряженная тощими клячами.

Потом я ел бифштекс, снова пил это скверное вино и курил сигару. Стало смеркаться. В распахнутую дверь ветер то и дело гнал пыль. Хозяин зевал и болтал с венграми, которые тоже пили вино.

Быстро темнело; мне никогда не вспомнить, что я успел передумать, пока я там сидел и ждал, пил вино, ел мясо, глядел на толстого хозяина, на привокзальную площадь и дымил сигарой...

Все это равнодушно воспроизвела моя память, извергнул мой мозг, пока меня до дурноты укачивала черная вода этой ночи, не знающей времени,— где-то в чужом доме, на неведомой улице, рядом с девушкой, лица которой я даже толком не разглядел...

Потом я быстро сбегал на вокзал и выяснил, что мой поезд уже ушел, а следующий будет только утром; я расплатился в кабачке, положил свои вещи рядом с ранцем того парня и в сгущающихся сумерках отправился шататься по улицам незнакомого городка. Со всех сторон на меня наступала серая, темно-серая мгла, и лишь в кругах тусклых фонарей лица прохожих казались живыми. И я снова где-то пил вино, на этот раз лучшее, чем то, с тоской глядел на серьезное лицо женщины за стойкой, вдыхал

---

<sup>1</sup> Пушта — венгерская степь.— Здесь и далее примечания переводчиков.

какой-то укусно-едкий запах, просачивавшийся из кухни, а потом, заплатив деньги, опять нырнул в темные улицы.

«Эта жизнь,— думал я тогда,— не моя жизнь. Я должен играть эту жизнь как роль, и я ее играю бездарно». Стало уже совсем темно, ласковое небо висело над летним городом. Где-то шла война, невидимая и неслышная здесь, на тихих улочках с приземистыми домами, которые спали рядом с невысокими деревьями; где-то в этой полной тишине таилась война. Я был совершенно один в маленьком городке, люди вокруг не имели ко мне никакого отношения, эти крошечные деревца, наверное, вынули из коробки с игрушками и наклеили на ровные серые тротуары, а над всем низко парило небо, словно бесшумный воздушный корабль, который вот-вот рухнет на землю...

Вдруг под деревом я увидел лицо — оно, казалось, неярко светилось изнутри. Печальные глаза под копной легких волос, должно быть каштановых, хотя в ночи они выглядели серыми; бледная кожа, детский рот, должно быть красный, хотя в ночи и он выглядел серым.

— Пошли,— сказал я.

Я схватил ее за руку, это была человеческая рука; моя ладонь коснулась ее ладони, наши пальцы нашли друг друга и сплелись, пока мы брели в этом незнакомом городе, по незнакомой улице.

— Не зажигай света,— сказал я, когда мы оказались в комнате, в которой я теперь плыл, потерянный в кромешной тьме.

В темноте я ощутил прикосновение мокрых от слез щек, сорвался и полетел в бездну, полетел так, как летишь с головокружительно крутой лестницы, мягкой, бархатной лестницы. Я падал все глубже и глубже, и все новые бездны разворачивались подо мной...

Моя память сообщила мне, что все это было и что теперь я лежу на этой подушке, в этой комнате, рядом с ней, хотя и не слышу ее дыхания: она спит тихо, как ребенок. Господи, неужели я теперь только мозг?

Иногда темный поток, круживший меня, казалось, затихал, и тогда во мне вспыхивала надежда, что я проснусь, вновь почувствую свои ноги, вновь буду слышать и различать запахи, а не только думать; но стоило этой робкой надежде чуть возрасти и окрепнуть, как она снова начинала понемногу убывать, ибо черная вода опять принималась бурлить и, подхватив мое беспомощное тело, опять несла его вне времени и пространства, в омут полной потерянности.

Моя память сообщила мне также, что ночь имеет свои пределы, что ее неизбежно сменит день. Она сообщила мне, что я могу пить, целовать, плакать и даже молиться, но ведь молиться нельзя одним мозгом. Я знал, что уже проснулся, что лежу в постели венгерской девчонки, на ее мягкой подушке, в очень темную ночь; все это я знал и все же был уверен, что мертв...

Это напоминало рассвет, когда развидняется медленно, так несказанно медленно, что за ним нельзя уследить; сперва ду-



маешь, что ты ошибся: стоя темной ночью в окопе, трудно поверить, что нежная светлая полоска где-то за невидимым горизонтом и есть забрезжившее утро; думаешь, что ты ошибся, что это мираж, рожденный твоими усталыми воспаленными глазами. И все же это и есть рассвет, который становится все явственней: воздух незаметно сереет, свет прибывает исподволь, но прибывает, белесые пятна за горизонтом все расширяются, и ты волею-неволей понимаешь, что наступает день.

Я вдруг почувствовал, что озяб; одеяло сбилось в сторону, моим голым ногам стало холодно, и я ощутил реальность этого холода; я глубоко вздохнул и услышал свое собственное дыхание; струя воздуха коснулась моего подбородка; я наклонился вперед, ощупью нашел одеяло и прикрыл им ноги. У меня снова были руки, снова были ноги, я ощущал свое собственное дыхание. Потом я опустил левую руку в пропасть, выловил на дне ее свои брюки и услышал, как в кармане хрустнул спичечный коробок.

— Пожалуйста, не зажигай лампу,— произнес возле меня ее голос, и она тоже вздрогнула.

— Дать сигарету? — спросил я шепотом.

— Да,— ответила она.

При свете спички она казалась совсем желтой: темно-желтый рот, круглые, черные, испуганные глаза, кожа цвета светло-желтого песка, а волосы словно янтарный мед.

Трудно было разговаривать, неизвестно, с чего начать. Мы оба слышали, как течет время — удивительный густой гул, с которым уплывают секунды.

— О чем ты думаешь? — неожиданно спросила она.

Ее слова, подобно негромкому, но меткому выстрелу, попадающему точно в цель, прорвали какую-то преграду внутри меня, и я заговорил, прежде чем успел еще раз взглянуть ей в лицо, подсвечиваемое вспышками сигареты.

— Я думаю о том, кто будет лежать в этой комнате лет через семьдесят, кто будет сидеть или лежать там, где сейчас лежу я, и что он будет знать о нас с тобой... Ничего. Только то, что тогда была война, и все.

Мы оба швырнули наши окурки налево от кровати; они бесшумно упали на мои брюки; мне пришлось стряхнуть их на пол, они валялись рядом, будто тлеющие угольки.

— А еще я думал о том, кто жил здесь семьдесят лет назад и что здесь тогда было. Может, поле, и на нем росла кукуруза или лук, вот прямо тут, под моей головой, и ветер колыхал зеленые стрелки, и каждое утро над горизонтом пушты брезжил этот печальный рассвет. А может быть, уже тогда здесь был чей-то дом.

— Да,— сказала она тихонько,— семьдесят лет назад здесь уже был дом.

Я промолчал.

— Да,— продолжала она,— кажется, как раз семьдесят лет

назад мой дед построил этот дом. В тот год у нас проложили железную дорогу, дед стал на ней работать, накопил денег и построил себе домишко. Потом он ушел на войну, на ту, знаешь, в четырнадцатом году, и погиб в России. А здесь остался отец... у нас было немного земли, и, кроме того, он тоже работал на железной дороге. Он умер в эту войну...

— Его убили?

— Нет, он умер. А мать моя умерла еще раньше. Теперь здесь живет мой брат с женой и детьми. А через семьдесят лет будут жить правнуки моего брата.

— Возможно,— сказал я,— но они ничего не будут знать о тебе и обо мне.

— Да, ни один человек в мире не узнает, что ты был у меня.

Я взял ее маленькую руку, очень нежную маленькую руку, и поднес к своему лицу.

Проем окна был заполнен густо-серой мглой, чуть более светлой, чем ночная тьма.

Вдруг я почувствовал, что она встала с кровати, хотя она и не коснулась меня, и уловил легкие шаги ее босых ног; потом понял, что она одевается, хотя ее движения и все шорохи, которые их сопровождали, были почти неслышны; только когда она, заведя руки за спину, застегивала пуговицы на блузке, до меня донеслось ее прерывистое дыхание.

— Теперь ты должен одеться,— сказала она.

— Я еще полежу.

— Я хотела бы зажечь свет.

— Не зажигай, я еще полежу.

— Но тебе же надо поесть перед уходом.

— Я никуда не уйду.

Я снова почувствовал, что она, так и не надев туфлю, изумленно уставилась туда, где я лежал.

— Вот как,— только и сказала она тихо, и я не понял, испугана она или удивлена.

Повернув голову, я мог теперь уже различить на темно-сером фоне окна очертание ее фигуры. Неслышно двигаясь по комнате, она поднесла к печке дрова и бумагу, вынула коробок спичек из кармана моих брюк.

Эти шорохи доносились до меня, как тихий тревожный зов человека, стоящего на берегу, зов, обращенный к другому, которого течение несет в омут. И я теперь твердо знал, что, если я тотчас не встану, если не решусь немедленно покинуть этот мерно колышающийся плот потерянности, я либо умру вот здесь на кровати, разбитый параличом, либо меня пристрелят на этой подушке неутомимые сыщики, от которых нигде не скроешься.

Я слышал, как она невнятно что-то напевала, стоя у печки и глядя в огонь, беззвучно трепетавший красными крыльями, и мне казалось, что между нами лежит больше, нежели целый мир. Она находилась где-то на самой кромке моей жизни, напевала что-то про себя и радовалась разгорающемуся пламени; я все это понимал,

слышал, видел, вдыхал чад паленой бумаги, и все же нигде она не была бы дальше от меня, чем сейчас, когда нас разделяли всего несколько шагов.

— Ну вставай же! — сказала она, не отходя от печки. — Тебе надо идти.

Я услышал, как она поставила кастрюлю на огонь и принялась что-то размешивать; это были ласковые и тихие звуки — глухое поскребыванье деревянной ложки о днище, — и запах поджаренной муки заполнил комнату.

Теперь я уже все видел. Комната была очень маленькая. Я лежал на низкой деревянной кровати, рядом стоял шкаф, который занимал стену до двери, простой коричневый шкаф, без всяких украшений. Стол, стулья и печурка находились, видимо, где-то позади меня. Было очень тихо, густая предрассветная мгла еще затеняла комнату.

— Прошу тебя, — сказала она шепотом. — Мне надо уйти.

— Тебе?

— Да, на работу, и ты должен выйти вместе со мной.

— Работать? — переспросил я. — Зачем?

— О, что ты спрашиваешь!

— А где ты работаешь?

— На железной дороге.

— На железной дороге? Что же вы там делаете?

— Засыпаем щебень между шпалами, балласт, чтобы не случилось беды.

— И так не случится, — сказал я. — На каком ты участке? В сторону Гросвардайна?

— Нет, в сторону Сегедина.

— Это хорошо.

— Почему?

— Потому что тогда я не проеду мимо тебя.

Она тихо рассмеялась.

— Значит, ты все-таки собираешься встать?

— Да, — сказал я.

Я еще раз закрыл глаза и вновь опрокинулся в то зыбкое небытие, где нет запахов, где нет ничего, кроме тихого плеска, который я ощущал как слабое, едва уловимое дуновение. Потом я со вздохом открыл глаза и потянулся за брюками — они лежали теперь, аккуратно сложенные, на стуле возле кровати.

— Да, — сказал я снова и вскочил на ноги.

Она стояла у печки, спиной ко мне, пока я быстро, привычными движениями натягивал брюки, завязывал шнурки на ботинках, застегивал серый мундир.

С минуту я, не двигаясь, с незажженной сигаретой в губах глядел на теперь уже четко рисовавшуюся на фоне окна маленькую, тоненькую фигурку. Волосы у нее были красивые и пышные, как спокойное пламя.

Повернувшись ко мне, она улыбнулась.

— О чем ты опять думаешь? — спросила она.

Я впервые взглянул ей в лицо. Оно было таким бесхитростным,

что я оторопел; круглые глаза, в которых страх был страхом, а радость — радостью.

— О чем ты опять думаешь? — спросила она еще раз, уже не улыбаясь.

— Ни о чем. Я не могу ни о чем думать, мне надо идти. Выхода нет.

— Да,— сказала она и кивнула.— Ты должен идти. Ничего не поделаешь.

— А ты должна остаться здесь.

— Да, я должна остаться здесь.

— Ты должна засыпать щебень между шпалами, балласт, чтобы здесь не случилось беды и поезда могли бы спокойно доехать туда, где беда уже случилась.

— Да,— сказала она,— я должна.

По очень тихой улочке мы спустились к вокзалу. Все улицы ведут к вокзалам, откуда отправляются на войну. Дорогой мы зашли в какой-то подъезд и целовались, и там я почувствовал, когда мои руки лежали на ее плечах,— там я почувствовал, что она моя. И она ушла, опустив плечи, и ни разу не оглянулась.

Она совсем одна в этом городе, и хотя мне, как и ей, нужно добраться до вокзала, мы не можем идти вместе. Я должен ждать, пока она не скроется вон за тем углом, за последним деревом этой короткой аллеи, залитой теперь неумолимым светом. Я должен ждать и могу идти за ней только на большом расстоянии, и я никогда уже ее не увижу. Я должен поспеть на этот поезд, на эту войну...

Теперь, когда я иду на вокзал, мой единственный багаж — это руки, засунутые в карманы, и окурок последней сигареты в зубах, который я скоро выплюну; но легче быть без багажа, когда медленно, нетвердой походкой снова идешь по самому краю и в какое-то мгновение непременно сорвешься в пропасть, туда, где будем мы все...

Одно утешение, что поезд пришел вовремя и весело запыхтел между кукурузными полями и остро пахнущими грядками помидоров.

## ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТСКОГО МЕШКА

В сентябре 1914 года в одну из красных кирпичных казарм города Бромберга<sup>1</sup> явился молодой человек по имени Йозеф Стобский. Хотя по документам он числился германским подданным, языком своей официальной родины он владел слабо. Стобскому было двадцать два года, по профессии он был часовщик и «по причине общей слабости здоровья» воинской повинности раньше не отбывал. Он прибыл из сонного польского местечка под названием Нестронно; там в задней камерке отцовской халупы он день-деньской гравировал рисунки и надписи — да какие

<sup>1</sup> Ныне г. Быдгощ (ПНР).

изящные! — на браслетах из накладного золота, чинил крестьянам часы, между делом задавал свинье корм, доил корову, а по вечерам, когда на Нестронно опускались сумерки, он, вместо того чтобы идти в трактир или на танцульку, трудился над каким-то своим изобретением, перебирал пальцами, измазанными машинным маслом, многочисленные колесики и скручивал одну за другой сигареты, почти все догоравшие на краю стола. Мать его тем временем подсчитывала снесенные курами яйца и жаловалась на большой расход керосина.

И вот он явился со своей картонкой в красные кирпичные казармы города Бромберга и стал изучать немецкий язык. Скоро он освоил его в объеме словаря воинского устава, приказов и инструкций по сборке оружия. Сверх того он овладел ремеслом пехотинца. На уроках «словесности» он произносил немецкие слова с польским акцентом, ругался по-польски, молился по-польски. По вечерам, открыв темно-коричневый шкафчик, меланхолически разглядывал хранившийся там небольшой сверток с промасленными колесиками и отправлялся в город — залить водкой сердечную тоску.

Стобский глотал пыль учебного поля, писал открытки матери, получал посылки с салом, уклонялся по воскресеньям от казенной обедни и тайно ускользал в один из польских костелов, где, распростершись ниц на каменных плитах, мог вволю поплакать и помолиться — как ни мало вязались такие сантименты с обликом человека в форме прусского пехотинца.

В ноябре 1914 года его нашли достаточно подготовленным, чтобы погнать через всю Германию во Фландрию. Он-де бросил достаточно ручных гранат в песок бромбергского полигона и сделал достаточно выстрелов по мишеням на стрельбище. И вот Стобский отослал матери свой сверточек с промасленными колесиками, сопроводил посылку открыткой, погрузился в вагон для скота и начал путешествие через всю страну, официально значившуюся его родиной; язык ее он уже освоил настолько, чтобы понимать команды и приказы. И вот розовощекие немецкие девушки поят его кофе, суют цветы в дуло его винтовки, наделяют сигаретами; однажды какая-то престарелая дама подарила его даже поцелуем, а какой-то господин в пенсне, перевесившись через балюстраду перрона, очень отчетливо бросил ему несколько латинских слов, из которых Стобский разобрал только одно — «тандем»<sup>1</sup>. В поисках разъяснения он обратился к своему непосредственному начальнику — ефрейтору Хабке. Тот пробормотал что-то невразумительное насчет «велосипедов», уклонившись от иной, более подробной информации по данному вопросу. Так, не успевая опомниться, принимая и раздавая поцелуи, щедро одаряемый цветами, шоколадом и сигаретами, Стобский переправился через Одер, Эльбу, Рейн и спустя десяток дней, темной ночью, выгрузился на каком-то грязном бельгийском вокзале. Его рота собра-

<sup>1</sup> Наконец (лат.).

лась во дворе ближайшего крестьянского хутора, и капитан в потемках что-то прокричал; Стобский так и не понял, что именно. Потом появился суп с лапшой и кусочками мяса, который в тускло освещенной риге быстро перекочевал из походной кухни в котелки, а затем с великой поспешностью был вычерпан солдатскими ложками. Унтер-офицер Пиллиг еще раз обошел посты, провел беглую перекличку, и через десять минут рота шагала в потемках на запад. Там, в этом западном небе, бушевали знаменитые громовые раскаты и время от времени вспыхивали багровые зарницы. Начался дождь; рота сошла с мощеной дороги, почти триста пар ног зашлепали по грязи проселка. Все ближе подступало это подобие громовых раскатов, голоса офицеров и унтер-офицеров становились все более хриплыми, в них появились какие-то неприятные нотки. У Стобского разболелись ноги, очень разболелись, да и устал он, очень устал. И все же он тащился вперед, мимо темных деревень, по грязным дорогам, а громовые раскаты с каждым шагом казались все более несносными, все меньше походили на настоящую грозу. Неожиданно голоса офицеров и унтер-офицеров сделались на удивление мягкими, почти нежными, а слева и справа послышался топот бесчисленных ног, шагающих по невидимым в потемках дорогам и проселкам.

Вдруг Стобский понял, что его рота находится в самой гуще этого подобия грозы, так как грохот слышался уже и за спиной, а багровые зарницы вспыхивали со всех сторон; и когда раздалась команда «Рассредоточиться!», Стобский бросился вправо от дороги следом за ефрейтором Хабке. Он слышал крики, взрывы, выстрелы, и голоса офицеров и унтер-офицеров опять были хриплыми. Ноги у Стобского не переставали болеть, они очень, очень болели, и, предоставив ефрейтора самому себе, он опустился на сырой луг, пахнувший коровьим пометом, и в голове у него мелькнула мысль, которая в переводе с польского соответствовала бы известному изречению Гёца фон Берлихингена. Он снял стальную каску, положил оружие возле себя на траву, ослабил ремни на выкладке, вспомнил свои любимые промасленные колеса и заснул под этот отчаянный грохот войны. Ему снилась родная мать—полька, она пекла в теплой кухне блины, и так странно ему было видеть во сне, что все блины, как только начинали румяниться, с треском лопались и на сковороде от них ничего не оставалось. Матушка все быстрее и быстрее вылиwała черпаком на сковороду тесто, маленькие блины все сливались в один большой и лопались, только-только зарумянившись. Матушка вдруг как обозлится — Стобский даже улыбнулся во сне, ведь наяву она никогда не сердилась по-настоящему,— да как опрокинет все содержимое миски на сковороду! И он видит огромный, пухлый желтый блин во всю сковороду, блин растет, поджаривается, раздувается. Матушка, удовлетворенно ухмыляясь, берет длинный кухонный нож с широким лезвием, подводит его под блин, и вдруг бац! — страшный взрыв... И Стобский, так и не успев проснуться, приказал долго жить.

Через неделю в одном из английских окопов, в четырехстах метрах от того места, где прямым попаданием был убит Стобский, однополчане нашли его солдатский мешок с обрывком наплечного ремня — все, что осталось от Стобского на брэнной земле. А найдя в английском окопе мешок Стобского, в котором оказались кусок копченой домашней колбасы — неприкосновенный запас — и польский молитвенник, решили, что Стобский проявил невероятный героизм в день атаки, ворвался за линию расположения английских войск и там был убит. Вот и получила польская мать в Нестронно послание от капитана Хуммеля, сообщавшего о великой отваге, проявленной рядовым Стобским. Она попросила своего священника перевести ей письмо, поплакала, сложила письмо вчетверо, спрятала его между простынями и заказала три заупокойные обедни.

Но очень скоро англичане отбили свои окопы, и мешок Стобского попал в руки английского солдата Уилкинса Грейхеда. Тот съел копченую колбасу, выбросил, недоуменно покачивая головой, польский молитвенник во фламандскую грязь, скатал солдатский мешок и присоединил его к своей выкладке. Через два дня Грейхед лишился левой ноги, был отправлен на излечение в Лондон, спустя девять месяцев он демобилизовался из королевской армии, получил небольшую пенсию и, так как не мог теперь вернуться к своей почетной профессии водителя трамвая, поступил швейцаром в один из лондонских банков.

Как известно, доходы швейцара не бог весть как велики, а Уилкинс к тому же принес с собой с войны два порока: он нещадно пил и курил. Средств, разумеется, на такую жизнь ему не хватало, и он начал распродавать вещи, которые казались ему ненужными, а ненужным ему казалось почти все. Он продал мебель и пропил деньги, спустил все свое носильное платье, кроме одного-единственного истрепанного костюма, а когда уже нечего было продавать, вдруг вспомнил о грязном узле, который валялся в подвале со дня демобилизации. И тогда он сбыл с рук незаконно присвоенный и изрядно заржавевший армейский пистолет, плащ-палатку, пару ботинок и солдатский мешок Стобского. (В заключение два слова о судьбе Уилкинса Грейхеда: он окончательно опустил. Безнадежно пристрастившись к алкоголю, он потерял честь и службу, превратился в уголовного преступника, несмотря на потерянную и похороненную в земле Фландрии ногу, попал в тюрьму и, продажный до мозга костей, влачил до конца дней своих жалкое существование тюремного доносчика.)

А мешок Стобского преспокойно провалялся в мрачном подземелье торговца старьем, где-то в Сохо, целых десять лет — до тысяча девятьсот двадцать шестого года; летом этого года старьевщик Луиджи Банолло чрезвычайно внимательно прочитал циркуляр некой фирмы под названием «Хандсапперс лимитед», которая так подчеркивала свою крайнюю заинтересованность в любых военных материалах, что он даже руки потер от удовольствия. Вместе с сыном он тщательно обследовал все наличные запасы

и в итоге насчитал 27 армейских пистолетов, 58 котелков, свыше 100 плащ-палаток, 35 ранцев, 18 солдатских мешков и 28 пар ботинок — все это образцов различных европейских армий. За все чохом Банолло получил чек на 18 фунтов стерлингов и 20 пенсов, выписанный на один из солиднейших лондонских банков. Банолло нажил на этой сделке, грубо говоря, 500 процентов. Юный отпрыск Банолло больше всего обрадовался ликвидации ботинок, для него это было прямо-таки неопишущим облегчением, так как в его обязанности входило разминать эту обувь, смазывать ее — словом, радеть об ее сохранности. О том, как тяжела эта задача, может судить каждый, кому хоть когда-нибудь приходилось заботиться о своей собственной паре обуви.

Фирма «Хандсапперс лимитед» в свою очередь сбыла весь хлам, который ей продал Банолло, с надбавкой в восемьсот пятьдесят процентов (таков был обычный процент ее прибылей), правительству одной из южноамериканских стран, которое всего за несколько недель до этого неожиданно спохватилось, что соседнее государство угрожает ему, и решило предупредить возможность нападения. Что же касается солдатского мешка рядового Стобского, совершившего переезд в Южную Америку в чреве дрянного парохода (фирма «Хандсапперс» пользовалась только дрянными пароходами), то он попал в руки некоего немца-наемника по имени Райнхольд фон Адамс, который за мзду в сорок пять песет согласился считать дело южноамериканской страны своим делом. Не успел еще фон Адамс пропить и двенадцати из сорока пяти песет, как от него всерьез потребовали выполнить взятые на себя обязательства, и он с кличем «Победа и кошелек!» выступил под командой генерала Лаланго к границам соседнего государства. Но немного спустя пуля прострелила фон Адамсу голову, и мешок Стобского попал в руки опять-таки немца, Вильгельма Хабке, который всего за каких-нибудь тридцать пять песет согласился дело соседнего южноамериканского государства считать своим делом. Хабке присвоил солдатский мешок Стобского, найденные в мешке краюху хлеба, пол-луковицы и провонявшие луком бумажные денежные знаки — не израсходованные покойным Адамсом тридцать три песеты. Не слишком обремененный этическими и эстетическими предрассудками, он ко всему этому присоединил собственные сбережения и, как только его произвели в капралы победоносной национальной армии, потребовал аванса еще в тридцать песет. Рассмотрев как следует мешок, он обнаружил отпечатанный на нем черной штемпельной краской шифр «VII(2)II» и вспомнил своего дядю Иохима Хабке, который служил в том же полку и пал смертью храбрых. Тут Вильгельмом овладела сильная тоска по родине. Он подал в отставку, получил в подарок портрет генерала Гублянеса и окольными путями добрался до Берлина; переезжая на трамвае с вокзала в Шпандау, он не подозревал, разумеется, что едет мимо тех самых цейхгаузов, где мешок, принадлежавший некогда Стобскому, пролежал в 1914 году целую неделю, пока не был отправлен в Бромберг.



Вильгельм Хабке был с распростертыми объятиями встречен родителями; он вернулся к своей исконной профессии экспедитора, но вскоре оказалось, что он склонен к политическим заблуждениям. В 1929 году он вступил в партию, присвоившую себе грязно-коричневую форму, снял со стены солдатский мешок, который повесил было над кроватью рядом с портретом генерала Гублянеса, и нашел мешку практическое применение: отправляясь по воскресеньям на учебное поле, он надевал его через плечо в дополнение к своей грязно-коричневой форме. На учениях Хабке блистал военными познаниями; малость приврав, он выдал себя за батальонного командира той самой южноамериканской армии, в рядах которой он воевал, и самым подробным образом описывал, где, как и почему он пускал в ход тяжелое оружие. Вильгельм начисто запомнил, что, в сущности, он всего-навсего прострелил голову бедняге Адамсу, стащил его песеты и присвоил его солдатский мешок. В 1929 году Хабке женился, а в 1930-м жена его разрешилась от бремени младенцем, названным Вальтером. Вальтер рос хорошо, хотя первые два года его существования проходили в рамках пособия по безработице, которое получал его отец; но уже в четырехлетнем возрасте он каждый день получал утром кекс, сгущенное молоко и апельсины, а как только ему исполнилось семь лет, отец вручил ему застиранный солдатский мешок и сказал:

— Смотри береги эту реликвию как зеницу ока, она принадлежала твоему двоюродному дедушке — рядовому Иоахиму Хабке, дослужившемуся до капитана; он вышел живым из восемнадцати боев, а в 1918 году его прикончили красные бунтовщики. Мне этот мешок послужил верой и правдой во время южноамериканской войны, я мог тогда стать генералом, но мои услуги понадобились нашей родине, и я дослужился всего лишь до подполковника.

Вальтер берег мешок как зеницу ока. С 1936 по 1944 год он надевал его, когда облачался в свою грязно-коричневую форму, часто вспоминал о героических делах двоюродного дедушки, а также своего родного отца; ночуя где-нибудь в сарае, он осторожно подкладывал мешок под голову. В мешке он хранил хлеб, плавленый сыр, масло и песенник; он чистил мешок щеткой, стирал его и радовался, что желтоватый цвет все больше и больше переходит в приятный белесый тон. Ему и не снилось, что на самом деле легендарный и героический двоюродный дедушка, в чине ефрейтора, отдал богу душу на глинистых полях Фландрии, неподалеку от того места, где рядовой Стобский был убит прямым попаданием.

Вальтеру Хабке исполнилось пятнадцать лет, он усердно штудировал в шпандауской гимназии английский язык, математику и латынь, чтил, как святыню, свой солдатский мешок и верил в героев, пока ему самому не пришлось побывать в их шкуре. Родитель его уже давно ушел в поход на Польшу, чтобы как-нибудь и где-нибудь навести порядок, а вскоре после того, как

он, негодуя, вернулся из похода и, покуривая сигареты и брюзжа что-то насчет «предательства», шагал взад и вперед по узкой гостиной шпандауской квартиры,— вскоре после этого Вальтер Хабке поневоле сам оказался в числе героев.

В одну из мартовских ночей 1945 года Вальтер лежал за околицей померанского села, вытянувшись у пулемета, и вслушивался в мрачные громовые раскаты, точь-в-точь такие же, как в кинофильмах про войну. Нажимая на спуск пулемета, он дырявил ночную тьму, и его неудержимо тянуло всплакнуть. Ему слышались голоса в ночи, незнакомые голоса, и он стрелял и стрелял, сменил ленту, опять начал стрелять, и когда расстрелял вторую ленту, ему вдруг показалось, что вокруг очень тихо. Он остался один. Он поднялся, поправил поясной ремень, проверил, прочно ли закреплен его солдатский мешок, и пошел прямо в ночь, взяв направление на запад. И тут вдруг он занялся тем, что крайне губительно отзывается на героизме: он принялся размышлять. И вспомнилась ему узкая, но очень уютная гостиная — он даже не подозревал, что думает о том, чего уже нет на свете. Банолло-младший, который не раз держал в руках вальтеровский солдатский мешок, достиг тем временем сорока лет; покружив однажды на своем бомбардировщике над Шпандау, он открыл люк и разрушил узкую, но уютную гостиную, и папаша Вальтера шагал теперь взад и вперед по подвалу соседнего дома, покуривал сигареты, брюзжал что-то насчет «предательства» и как-то не совсем хорошо чувствовал себя, вспоминая замечательные порядки, которые он насаждал в Польше.

В эту ночь Вальтер шел в раздумье все дальше и дальше на запад, набрел наконец на покинутую ригу, уселся, перекинул на живот свой мешок, развязал его, поел солдатского хлеба с маргарином, пару конфет, и тут его застали русские солдаты — спящего, с заплаканным лицом пятнадцатилетнего мальчугана, с расстрелянными пулеметными лентами вокруг шеи, с чуть кисловатым от конфет дыханием. Они поставили его в колонну, и Вальтер Хабке поплелся на восток. Шпандау ему уже не суждено было увидеть.

Тем временем селение Нестронно побывало в немецких руках, перешло к полякам, снова стало немецким, опять было занято поляками, и матери Стобского исполнилось семьдесят пять лет. Письмо капитана Хуммеля все еще хранилось в бельевом шкафу, в котором давно уже не было никакого белья. Картофель — вот что держала в нем матушка Стобская. За картошкой, в глубине, висел большой окорок, в фаянсовой миске лежали яйца, еще глубже, в темном углу, стоял бидон с растительным маслом. Под кроватью сложены были дрова, а на стене, перед иконой ченстоховской божьей матери, красноватым светом теплилась лампадка. В хлеве за домом похрюкивала тощая свинья, коровы уже давно не было, и дом заполняли семеро шумных ребятишек семейства Вольняков, у которых бомбой разрушило дом в Варшаве. А по улице то и дело тянулись колонны пленных с изъязвленными ногами

и несчастными лицами. Они проходили тут почти ежедневно. Сначала Вольняк выходил за ворота, ругался, иной раз брал в руки камень и даже запускать им в солдат, но вскоре он засел в своей каморке, выходившей на задний двор, в той самой каморке, где некогда Йозеф Стобский занимался ремонтом часов, гравировал рисунки и надписи на браслетах, а вечерами возился со своими промасленными колесиками.

В 1939 году одни польские пленные проходили здесь на восток, другие — на запад; позже тут проходили в западном направлении русские пленные; а теперь уже продолжительное время тянулись на восток германские военнопленные. И хотя ночи еще стояли холодные и темные, а жители Нестронно спали крепко, они просыпались, когда с улицы доносился гул тяжелых шагов.

По утрам мамаша Стобская поднималась раньше всех в Нестронно. Набросив пальто на зеленоватую ночную рубашку, она разжигала огонь в печи, наливала масло в лампадку перед иконой божьей матери, выносила золу в мусорную яму, задавала корм тощей свинье и возвращалась в свои комнаты, чтоб приодеться к ранней обедне. Однажды утром, в апреле 1945 года, она увидела у порога своего дома светловолосого юношу — он лежал, судорожно сжимая в руках сильно выцветший солдатский мешок. Матушка Стобская даже не вскрикнула. Положив на подоконник черную вязаную сумочку, в которой она хранила польский молитвенник, носовой платок и несколько зернышек чебреца, она нагнулась над молодым человеком и сразу увидела, что он мертв. Даже теперь она не закричала. Рассвет еще не наступил, лишь сквозь церковные окна едва брезжила желтизна, и матушка Стобская осторожно вынула из рук покойника солдатский мешок, тот самый, в котором некогда хранились молитвенник ее сына и кусок домашней копченой колбасы, изготовленной из мяса ее собственного поросенка, втащила юношу через порог на каменный пол сеней, пошла к себе в комнату, захватив с собой невзначай солдатский мешок, бросила его на пол и стала рыться в пачке грязных, почти обесцененных бумажных злотых. Затем она пошла в деревню и разбудила могильщика.

Позднее, когда юношу похоронили, она обнаружила у себя на столе мешок, подержала его в руках, помедлила, а потом достала молоток и два гвоздя, вбила гвозди в стенку, повесила на них мешок и решила хранить в нем свои запасы лука.

Если бы она чуть пошире раскрыла мешок и до конца отбросила закрывающий его клапан, она обнаружила бы под ним тот же отпечатанный штемпельной краской шифр, какой обозначен был и на служебном конверте капитана Хуммеля.

Но этого она так никогда и не сделала.

Знакомы ли вам такие глухие углы, где, непонятно почему, возникла железнодорожная станция, где над несколькими грязными домишками и полуразрушенной фабрикой словно застыла великая бесконечность, а поля вокруг как бы обречены на вечное бесплодие, где вдруг ощущаешь какую-то безысходность, так как кругом не видно ни единого деревца, ни одной церковной колокольни? Человек в красной шапке, наконец-то, наконец подавший знак к отправлению поезда, скрывается под большой вывеской, на которой выведено чрезвычайно звучное название, и можно подумать, что ему только за то и платят деньги, что он, укрывшись скукой, как одеялом, спит по двенадцать часов в день. Пустынные поля, никем не возделываемые, опоясывает подернутый серой завесой горизонт.

И все-таки я был не единственный, кто сошел здесь; из соседнего купе вылезла старуха с большой коричневой картонкой, но, когда я покинул маленький, душный вокзальчик, она словно сквозь землю провалилась, и на мгновение я растерялся: я не знал, у кого спросить дорогу. При взгляде на немногочисленные кирпичные домики с грязно-желтыми гардинами на слепых окнах казалось, что они не могут быть обитаемы. К тому же это подобие улицы пересекала черная, готовая того гляди рухнуть стена. Не решаясь постучать ни в один из мертвых кирпичных домишек, я направился к угрюмой стене, свернул за угол и рядом с помятой вывеской, на которой еле можно было прочесть: «Трактир», увидел ясное и четкое название улицы, выведенное белыми буквами на голубой табличке: «Главный проспект». Отсюда опять шел кривой ряд облупленных фасадов, а напротив — та же длинная угрюмая фабричная стена без окон, точно ограда вокруг царства безнадежности. Доверяясь лишь своему чутью, я свернул налево, но здесь городок как-то сразу обрывался; метров на десять еще тянулась фабричная стена, а там уже начинались ровные серовато-черные поля, подернутые зеленой дымкой; далеко-далеко они сливались с серым горизонтом, и меня вдруг охватило страшное чувство, мне представилось, будто я на краю света, передо мной бездонная пропасть и эта молчаливо манящая пучина полной безнадежности неумолимо притягивает меня.

Слева стоял маленький, будто приплюснутый домик, какие строят для себя рабочие после трудового дня; шатаюсь, чуть не падая, я поплелся к нему. Открыв простую и трогательную калитку, обвитую облетевшим шиповником, я увидел номер на доме и понял, что я у цели.

Зеленоватые, давно выцветшие ставни были накрепко закрыты, точно приклеены; низкая крыша, до края которой я мог дотянуться рукой, была заплатана ржавыми листами жести. Стояла невыносимая тишина, был тот час, когда серые сумерки на мгновение задерживаются, чтобы затем перелиться через края далей. С минуту я помедлил перед дверью, жалея, почему я не умер... тогда... вместо того чтобы стоять здесь и думать, что должен войти в этот дом. Я уже поднял руку и собрался постучать, как вдруг услышал из

комнат воркующий женский смех, тот самый загадочный смех, от которого, смотря по настроению, у нас либо светлеет на душе, либо теснит грудь. Во всяком случае, так смеется женщина, только когда она не одна, и я опять помедлил и почувствовал, как растет у меня в груди жгучее желание броситься в серую бесконечность вечерних сумерек, повисшую над простором полей и влекущую, неодолимо влекущую меня к себе... и я из последних сил застучал кулаком в дверь.

Вначале все стихло, потом послышался шепот, затем шаги, бесшумные шаги в ночных туфлях... Дверь отворилась, и я увидел светло-русую розовую женщину — я невольно подумал о тех непередаваемых источниках света, которые до последнего уголка изнутри освещают темные полотна Рембрандта. Пламенея золотисто-рыжими красками, она возникла передо мной, как луч света среди серо-черной беспредельности; слегка вскрикнув, женщина попятилась и дрожащей рукой схватилась за дверь, но, когда я снял свою солдатскую фуражку и хриплым голосом произнес: «Добрый вечер», судорога испуга, перекосившая это на редкость бесформенное лицо, исчезла, женщина подавленно улыбнулась и сказала: «Да». В глубине небольших сеней появилась мускулистая мужская фигура, сливавшаяся с сумерками.

— Я хотел бы видеть госпожу Бринк,— тихо сказал я.

— Да,— беззвучным голосом повторила женщина и нервно толкнула дверь. Мужская фигура скрылась в темноте. Я вошел в тесную комнатку, заставленную убогой мебелью и насквозь пропахшую дешевыми кушаньями и очень дорогими сигаретами. Белая рука женщины метнулась к выключателю, и когда свет упал на ее лицо, оно показалось мне бледным и одутловатым, почти мертвенным; только светлые рыжеватые волосы сохраняли жизнь и тепло. Все еще трясущимися руками она судорожно стягивала на тяжелой груди темно-красное платье, хотя оно было наглухо застегнуто... как будто боялась, что я могу вонзить в нее кинжал. Взгляд ее водянистых голубых глаз выражал испуг, ужас, точно она стояла перед судом, уверенная в неумолимом приговоре. Даже дешевые олеографии на стенах были точно вывешенные напоказ улики обвинения.

— Не пугайтесь,— сказал я сдавленным голосом и в ту же секунду понял, что ничего хуже этих слов нельзя было придумать, но она, не дав мне договорить, неестественно спокойным голосом произнесла:

— Я все знаю, его нет в живых... он умер.

Я мог только кивнуть. Потом сунул руку в карман, чтобы достать все то, что сохранилось от вещей покойного, но в эту минуту грубый мужской голос позвал в сенях: «Гитта!» Она с отчаяньем посмотрела на меня, рванула дверь и визгливо закричала:

— Неужели нельзя подождать пять минут... окаянный!..— и с шумом хлопнула дверь. Я представил себе, как этот сильный мужчина трусливо уполз за печь. Она взглянула на меня воинственно, почти торжествующе.

Я медленно положил на зеленую бархатную скатерть обручальное кольцо, часы и солдатскую книжку с затасканными фотографиями между листками. Женщина вдруг всхлипнула иступленно и страшно, как животное. Лицо ее расплылось, сплющилось и одрябало, и сквозь короткие мясистые пальцы брызнули мелкие светлые слезинки. Она рухнула на диван, оперлась правой рукой о стол, машинально перебирая левой жалкие вещички. Воспоминания, видимо, тысячами мечей пронзали ее. И я понял, что война никогда не кончится, никогда, пока где-нибудь на земле еще кровоточит нанесенная ею рана.

Как смехотворную ношу, я сбросил с себя все — брезгливость, страх и безнадежность, я положил руку на содрогавшееся пышное плечо, и, когда женщина удивленно подняла на меня глаза, я впервые уловил в ее лице сходство с той красивой, милой девушкой, чью фотографию, вероятно, сотни раз разглядывал... там...

— Где это случилось... садитесь же... на востоке? — Я видел, что она вот-вот опять разразится слезами.

— Нет... на западе, в плену... нас было свыше ста тысяч...

— А когда? — Ее глаза вдруг странно ожили, взгляд стал напряженным, настороженным, и все лицо разгладилось и помолодело, как будто жизнь ее зависела от моего ответа.

— В июле сорок пятого, — тихо сказал я.

Некоторое время она словно что-то соображала и вдруг улыбнулась, и улыбка эта была чистой и невинной, и я догадался, почему она улыбнулась.

Внезапно, бог весть отчего, мне показалось, что дом сейчас рухнет и погребет меня под своими обломками. Я встал. Ни слова не говоря, она открыла дверь, жестом приглашая меня выйти первым, но я упрямо ждал, пока она не прошла вперед. Протягивая мне маленькую пухлую руку, женщина сказала, судорожно всхлипнув:

— Я это знала, знала уже тогда, три года назад, когда провожала его на вокзал! — И, понизив голос, тихо добавила: — Не презирайте меня.

Я был потрясен: боже мой, неужели я похож на судью? И прежде чем она могла помешать этому, я поцеловал ее маленькую, мягкую руку — в первый раз в жизни поцеловал руку женщине.

Уже стемнело, и я, точно скованный страхом, с минуту еще постоял перед запертой дверью. Я слышал, как женщина плачет, громко и иступленно, она прильнула к двери, и только толщина дверной доски отделяла ее от меня, и в этот миг я действительно пожелал, чтобы дом рухнул и похоронил ее под собой.

Потом я медленно, ощупью, с надсадной осторожностью, добирался до вокзала, каждое мгновение боясь провалиться в пропасть. В мертвых домах светились тусклые огоньки, и казалось, что поселок теперь намного, намного больше. Даже за черной стеной горели слабые лампочки, как будто освещая бесконечно большие дворы. Тяжелая тьма сгустилась, сырая, туманная и непроницаемая.

Кроме меня, в зале ожидания, где гуляли сквозняки, сидела, зябко забившись в угол, пожилая супружеская чета. Я долго ждал,

засунув руки в карманы и нахлобучив фуражку на уши: от рельсов тянуло холодом, и ночь спускалась все ниже и ниже, как гигантская гиря.

— Чуть побольше бы хлеба да табаку,— пробормотал у меня за спиной старик. А я то и дело нагибался и снизу глядел на рельсы, на две параллельные полосы, бегущие под неяркими огнями вдаль, все сужаясь и сужаясь.

Но вот рывком распахнулась дверь, и человек в красной фуражке, воплощенное служебное рвение, прокричал, как в зале ожидания большого вокзала:

— Пассажирский поезд на Кёльн. Опоздание — один час тридцать пять минут!

Мне показалось вдруг, что я на всю жизнь попал в плен.

## ЧЕЛОВЕК С НОЖАМИ

Юпп небрежно играл ножом, держа его перед собой за кончик лезвия. Это был длинный, источенный нож для резки хлеба, как видно очень старый. Внезапно он рывком подбросил его вверх. Жужжа и вращаясь, словно пропеллер, нож взвился в воздух — лезвие рыбкой сверкнуло в лучах заходящего солнца. Ударившись о потолок, он перестал вращаться и понесся вниз, прямо на голову Юппа. Тот мгновенно прикрыл голову толстым деревянным брусом. Нож вошел в дерево с сухим треском и, немного покачавшись, застрял там. Юпп снял с головы брус, вырвал из него нож и злобно, с силой бросил его в дверь. Лезвие вибрировало и дрожало в дверной филенке до тех пор, пока нож не вывалился и не упал на пол...

— Будь оно проклято! — сказал Юпп тихо.— Я рассчитывал наверняка: заплатив за билет, люди больше всего любят смотреть номера, в которых исполнитель ставит на кон свою жизнь, совсем как в цирках Древнего Рима! Они по меньшей мере должны знать, что тут *может* пролиться кровь, понимаешь?

Он поднял нож и швырнул его в верхнюю перекладину оконной рамы, почти не размахиваясь, но с такой силой, что задребезжало стекло — казалось, сухая, раскрошившаяся замазка не удержит его и оно вот-вот выпадет из рамы. Этот бросок, точный и властный, воскресил в моей памяти мрачные картины недавнего прошлого: в блиндаже перочинный нож Юппа словно оживал и, отскакивая от его руки, вприпрыжку взбирался и вновь спускался по бревну, подпиравшему свод.

— Я готов на все, чтобы угодить почтенной публике,— продолжал он.— Я, пожалуй, и уши бы себе отрезал, только навряд ли кто-нибудь возьмется пришить их обратно. А разгуливать без ушей — слуга покорный. Для этого не стоило из плена возвращаться. Пойдем-ка со мной!

Он распахнул дверь, пропустил меня вперед, и мы вышли на лестничную клетку. Обои со стен давно уже пошли на растопку, клочья их сохранились лишь в тех местах, где они были особенно

плотно приклеены. Пройдя мимо ванной комнаты, заваленной разным хламом, мы вышли на небольшую веранду, бетонный пол которой растрескался и порос мхом. Юпп поднял руку.

— Чем выше бросаешь нож, тем больше эффекта, разумеется. Но обязательно нужно какое-нибудь препятствие наверху, чтобы нож ударился в него и перестал вращаться. Тогда он быстро упадет прямо на мою никому не нужную голову. Вон, посмотри...— Он указал наверх, где торчали железные балки обвалившегося балкона.— Здесь я тренировался целый год. Гляди...

Он подбросил нож вверх, и снова, как и в прошлый раз, нож полетел удивительно плавно и равномерно, с легкостью птицы, взмывающей в воздух. Потом он ударился о балку, понесся вниз с захватывающей дух быстротой и с силой врезался в подставленный брусок. Вынести такой удар было нелегко, не говоря уж об опасности. Но Юпп и глазом не моргнул. Лезвие вошло в дерево на несколько сантиметров.

— Великолепно, старина! — воскликнул я. — Великолепно! Уж тут-то успех обеспечен! Это же настоящий номер.

Юпп хладнокровно вытащил нож из бруска и, сжав рукоятку, рассек им воздух.

— Он и идет, мне платят по двенадцать марок за выход. Между двумя большими номерами меня выпускают на сцену побаловаться с ножом. Но все тут слишком просто. Я, нож, деревяшка — и больше ничего. Понимаешь? Вот если была бы еще полуголая бабенка и ножи свистели бы мимо ее носа, тогда публика пришла бы в восторг. Но попробуй найди такую бабенку.

Тем же путем мы вернулись в комнату. Юпп осторожно положил нож на стол, поставил рядом деревянный брусок и зябко потер руки. Потом мы уселись на ящике у печки. Помолчали. Вынув из кармана кусок хлеба, я спросил:

— Ты поужинаешь со мной?

— С удовольствием, только погоди, я заварю кофе. А потом пойдем вместе, посмотришь мой выход, ладно?

Он подбросил дров в печку и пристроил над огнем котелок.

— Просто хоть плачь,— сказал он.— Может быть, у меня слишком серьезный вид? Смахиваю все еще на фельдфебеля, что ли?

— Вздор! Ты никогда и не был фельдфебелем. Слушай, ты улыбаешься, когда они тебе аплодируют?

— А как же! И кланяюсь при этом.

— У меня бы это не вышло. Не могу я улыбаться на похоронах.

— Это ты зря. Как раз на таких похоронах и надо улыбаться.

— Не понимаю тебя.

— Да ведь они же не мертвецы. Перед тобой живые люди, как ты не понимаешь этого!

— Понять-то я понял, только не верится что-то...

— Обер-лейтенант в тебе все еще жив, вот что! Ну да ничего, пройдет со временем. Да пойми же ты, господи боже мой, мне просто приятно позабавить этих людей! Души у них застыли, а я щекочу их немного, за это мне и платят. Быть может, хоть один из них



вспомнит обо мне, придя домой. «А ведь этот парень с ножом, черт возьми, ничего не боится,— скажет он себе,— а я всего боюсь». Они и впрямь всего боятся. Они волокут за собой страх, как собственную тень. Вот я и радуюсь, если они, позабыв о страхе, посмеются немного. Разве не стоит ради этого улыбнуться?

Я молча ждал, пока закипит вода. Юпп заварил кофе в коричневом котелке, и мы пили по очереди из того же котелка и закусывали моим хлебом. За окном понемногу смеркалось. В комнату вливался мягкий, молочно-серый туман.

— Чем ты, собственно, занимаешься? — спросил Юпп.

— Ничем... Стараюсь продержаться.

— Профессия не из легких!

— Да, за кусок хлеба мне приходится разбивать в щебенку по меньшей мере сотню камней в день.

— Так... Хочешь, покажу еще один трюк?

Я кивнул. Он встал, зажег свет и, подойдя к стене, откинул висевший на ней коврик. На красноватом фоне стены ясно выделялся человеческий силуэт, грубо намалеванный куском угля. Голова силуэта была увенчана странным вздутием, изображавшим, очевидно, шляпу. Присмотревшись внимательней, я обнаружил, что фигура была нарисована на двери, искусно покрашенной под цвет стены. Я с интересом следил за тем, как Юпп достал из-под убогой кровати изящный коричневый чемоданчик и поставил его на стол. Потом он подошел ко мне и выложил передо мной четыре окурка.

— Сверни по одной, только потоньше,— сказал он.

Не переставая наблюдать за ним, я пересел поближе к печке, к ее ласковому теплу. Пока я осторожно высыпал табак из окурков на бумагу, в которую был завернут хлеб, Юпп открыл чемодан и извлек оттуда какой-то необычного вида чехол. В таких матерчатых сумках с многочисленными кармашками внутри наши матери хранили обычно столовое серебро из своего приданого. Юпп быстро развязал шнурок, который стягивал скатанный в трубку чехол, и расстелил его на столе. Я увидел роговые ручки дюжины ножей. В те далекие времена, когда наши матери еще кружились в вальсе, такие ножи называли «охотничьим набором».

Я разделил поровну табак из окурков и свернул две сигареты.

— Вот,— протянул я Юппу одну из них.

— Вот,— повторил он.— Спасибо.

Потом он пододвинул ко мне ножи.

— Это все, что сохранилось от имущества моих родителей. Остальное сгорело, погребено под развалинами, а то, что уцелело, растащили. Когда я, оборванный и нищий, вернулся из плена, у меня ни черта не было, буквально ничего, пока одна почтенная пожилая дама, приятельница моей матери, не разыскала меня и не передала мне вот этот славенький чемоданчик. Оказывается, мать оставила его у нее за несколько дней до рокового воздушного налета. Так он избежал общей участи. Странно, не правда ли? Впрочем, ты сам знаешь, что люди, охваченные страхом смерти, почему-то бросаются спасать самые ненужные вещи, а нужные оставляют. Так вот я стал

владельцем чемодана со всем его содержимым: коричневым котелком, дюжиной вилок, дюжиной ножей и ложек и большим ножом для резки хлеба. Вилки и ложки я продал, выручки мне хватило надолго, на целый год, а ножи — тринадцать ножей — я оставил себе и начал тренироваться. Гляди...

Я зажег в печке клочок бумаги, прикурил от него сам и протянул Юппу. Приклеив к нижней губе дымящуюся сигарету, он скатал чехол, прикрепил его за шнурок к верхней пуговице своей куртки, у плеча, и развернул вдоль руки. Теперь казалось, что руку покрывает странно изукрашенная кольчуга. С невероятной быстротой стал он выхватывать ножи из карманчиков, и, прежде чем я понял, что он делает, ножи молниеносно полетели, один за другим, в черный силуэт на стене. Силуэт этот походил на те, что примелькались нам в конце войны. Они зловеще глазели на нас с плакатов, словно предвестники близкой катастрофы... Два ножа торчали в шляпе, по два — над плечами и по три — вдоль линии опущенных рук...

— Здорово! — воскликнул я. — Здорово, черт возьми! Но такой номер нужно еще подать.

— Не хватает партнера, а еще лучше — партнерши. Эх, да что говорить!.. — Он вытащил ножи из двери и аккуратно уложил их в мешочек. — Разве их сыщешь! Женщины боятся, мужчины запрашивают слишком дорого. Впрочем, я их понимаю: номер действительно опасный.

Он вновь так же молниеносно забросал ножами фигуру на стене. Но на этот раз черный силуэт с изумительной точностью оказался рассеченным на две половины. Тринадцатый, большой нож, словно смертоносная стрела, торчал посреди рисунка, там, где у людей бьется сердце.

Затянувшись в последний раз из тонкой самокрутки, Юпп бросил за печку жалкий окурочек.

— Пойдем, — сказал он, — нам пора. — Он высунул голову в окно, пробормотал что-то насчет проклятого дождя и добавил: — Сейчас около восьми, а в половине девятого мой выход.

Пока он укладывал ножи в кожаный чемоданчик, я в свою очередь выглянул в окно. Дождь шелестел в полуразрушенных виллах, казалось, они тихо плачут. Из-за стены тополей, зыбко колыхавшихся в сумерках, до меня донесся скрежет трамвая. Но часов нигде не было видно.

— Откуда ты знаешь, который теперь час?

— Чувствую. Это тоже результат тренировок.

Я посмотрел на него с недоумением. Он помог мне надеть пальто, потом сам надел свою спортивную куртку. Плечо у меня полупарализовано, и подвижность руки ограничена — размаха хватает как раз настолько, чтобы разбивать камни. Мы нахлобучили шапки и вышли в темный коридор. Из других комнат доносился смех, и я обрадовался, что слышу голоса живых людей.

— Видишь ли, — говорил Юпп, спускаясь по лестнице, — я стараюсь постичь еще неизвестные законы космоса. Вот, смотри...

Он поставил чемодан на ступеньку и распростер руки. Так

на некоторых античных фресках изображали Икара, стремящегося взлететь. На его бесстрастном лице появилось странное выражение какой-то вдохновенной отрешенности. Ужас охватил меня.

— И вот,— продолжал он тихо,— я врываюсь, да, врываюсь, в пустоту, чувствую, как мои руки становятся все длинней и длинней, как они охватывают эту пустоту, в которой властвуют иные законы. Я разрываю завесу, отделяющую меня от них. Необыкновенные токи, полные колдовской силы, пронизывают пространство там, наверху. Я впиваю их, овладеваю ими и уношу с собой.— Он судорожно стиснул кулаки и почти вплотную прижал их к телу.— Пойдем,— сказал он, и лицо его приняло прежнее, безразличное выражение. Потрясенный, я побрел за ним...

Моросил холодный, затяжной дождь. Поеживаясь, мы подняли воротники. Шли молча, погруженные в свои мысли. Вечерний туман, в котором уже проглядывала синева наступающей ночи, растекался по улицам. Кое-где в подвалах разрушенных домов, под нависшей черной громадой развалин, поблескивали тусклые огоньки. Улица незаметно перешла в размытый проселок. Мрачные дощатые бараки, окруженные чахлыми садами, плыли по обе стороны дороги в сгустившихся сумерках, словно разбойничьи джонки по мелководью. Потом мы пересекли трамвайные пути и углубились в узкие ущелья городской окраины, где среди развалин и мусора уцелело несколько закопченных домов. Неожиданно мы вышли на широкую, оживленную улицу. Поток прохожих донес нас до угла, и мы свернули в темный переулок. Лишь яркая реклама варьете «У семи мельниц» отражалась в мокром асфальте.

У подъезда было безлюдно. Представление давно уже началось. Из-за потертых красных портьер доносился гул голосов. Юпп с улыбкой указал мне на одну из фотографий в витрине, на которой он в костюме ковбоя обнимал двух нежно улыбавшихся танцовщиц в трико, затканых золотой мишурой.

«Человек с ножами»,— гласила подпись под фотографией.

— Пойдем,— повторил Юпп, и не успел я опомниться, как он втащил меня за собой в узкую дверь, которую с первого взгляда трудно было заметить.

Мы стали подниматься по крутой, плохо освещенной винтовой лестнице. Судя по смешанному запаху пота и грима, сцена была где-то рядом. Юпп шел впереди. Неожиданно он остановился на повороте лестницы, поставил чемодан на ступени и, схватив меня за плечи, тихо спросил:

— Хватит ли у тебя мужества?

Я так долго ждал этого вопроса, что теперь, внезапно услышав его, испугался. Должно быть, я выглядел не очень храбро, когда ответил:

— Мужества отчаяния...

— Это именно то, что нужно! — воскликнул он со сдавленным смешком.— Ну, так как же?

Я молчал. Нас вдруг оглушил громовой хохот. С силой взрыв-

ной волны он выплеснулся откуда-то сверху на узкую лестницу, и я невольно вздрогнул, словно от холода.

— Я боюсь,— сказал я тихо.

— Я тоже. Ты не веришь в меня?

— Нет, отчего же... Ну да ладно... Пойдем,— хрипло выдавил я и, подтолкнув его вперед, добавил: — Мне все равно.

Мы вышли в тесный коридор, по обе стороны которого размещалось множество кабинок с фанерными перегородками. Мимо нас прошмыгнули какие-то пестрые фигуры. Сквозь щель в убогих кулисах я увидел на сцене клоуна, беззвучно шевелившего огромным намалеванным ртом. Снова донесся до нас дикий хохот толпы, но тут Юпп втолкнул меня в одну из кабинок, захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Я огляделся. Клетушка была почти пуста. Зеркало на голой стене, костюм ковбоя, висевший на единственном гвозде, да пухлая колода карт на колченогом стуле, больше ничего не было. Юпп нервно засуетился; он снял с меня намокшее пальто, сорвал со стены ковбойский костюм, швырнул его на стул, повесил мое пальто и сверху свою куртку. Потолка в кабинке не было. Глянув вверх фанерной стены, я увидел электрические часы на выкрашенной в красный цвет дорической колонне. Было двадцать пять минут девятого.

— Пять минут! — пробормотал Юпп, надевая костюм ковбоя. — Может быть, прорепетируем?

В этот момент кто-то постучал в дверь и крикнул:

— Приготовиться!

Юпп застегнул куртку и надел широкополую шляпу. Натянуто рассмеявшись, я сказал:

— Ты что же, хочешь приговоренного к смерти сперва казнить для пробы?

Он схватил чемоданчик и потащил меня за собой. У выхода на сцену какой-то лысый мужчина наблюдал за ужимками клоуна, кончавшего свой номер. Юпп зашептал что-то ему в ухо, слов я не разобрал. Мужчина испуганно посмотрел на меня, потом на Юппа и решительно замотал головой. И Юпп снова стал что-то шептать ему.

Мне было уже все равно. Пусть хоть на вертел меня насаживают. Рука у меня висела как плеть, я ничего не курил с утра, кроме тонкой сигареты, а завтра мне предстояло за полбуханки хлеба разбить в щебень семьдесят пять камней. Завтра?..

Шквал аплодисментов, казалось, снесет кулисы. Клоун с усталым, искаженным лицом вывалился из-за кулис к нам в коридор, постоял немного все с тем же угрюмо-тоскливым видом и вновь пошел на сцену, где раскланялся, любезно улыбаясь. Оркестр сыграл туш. Юпп все еще шептал что-то на ухо лысому. Клоун трижды возвращался за кулисы и трижды вновь выходил на сцену, улыбался и раскланивался. Но вот оркестр заиграл марш, и Юпп с чемоданчиком в руке бодро зашагал на сцену. Его приветствовали жидкими хлопками. Усталым взглядом я следил за тем, как он наколол несколько игральные карты на гвозди, вбитые, видимо, спе-

циально для этой цели, и стал один за другим метать в них ножи, неизменно попадая в центр карты. В публике захлопали сильнее, но все же довольно вяло. Потом под тихую дробь барабанов он проделал номер с большим ножом и брусом. Несмотря на охватившее меня безразличие, я почувствовал, что получается и впрямь жидковато. Напротив, по другую сторону подмостков, за Юппом наблюдали несколько полураздетых девиц... И тут лысый мужчина вдруг схватил меня, вытащил на сцену и, поприветствовав Юппа торжественным взмахом руки, произнес деланно важным голосом полицейского:

— Добрый вечер, господин Боргалевски!

— Добрый вечер, господин Эрдменгер,— ответил Юпп тем же напыщенным тоном.

— Я вам тут конокрада привел, господин Боргалевски. Редкий мерзавец! Пощекочите-ка его вашими ножичками, повесить всегда успеется! Нет, каков негодяй!..

Его кривлянье показалось мне нелепым, вымученным и жалким, как бумажные цветы и скверные румяна. Бросив взгляд в зрительный зал, я понял, что очутился лицом к лицу с многоголовым похотливым чудовищем, которое, казалось, напряглось в мерцавшем полумраке и приготовилось к прыжку. С этого момента мне стало на все наплевать.

Яркий свет прожекторов ослепил меня. В своем потрепанном костюме и нищенских ботинках я, наверное, и впрямь смахивал на конокрада.

— Оставьте его мне, господин Эрдменгер, уж я этого парня обработаю на совесть.

— Да, всыпьте ему как следует — и не жалейте ножей!

Юпп схватил меня за воротник, а господин Эрдменгер, ухмыляясь и широко расставляя ноги, удалился за кулисы. Откуда-то на сцену выбросили веревку, и Юпп привязал меня к подножию дорической колонны, к которой была приставлена раскрашенная бутафорская дверь. Безразличие словно опьянило меня. Справа из зрительного зала доносился непрерывный жуткий шорох. Я почувствовал, что Юпп был прав, когда говорил о кровожадности толпы. Дрожь нетерпения, казалось, заполняла затхлый, сладковатый воздух. Тревожная дробь барабанов в оркестре перемежалась приглушенной сентиментально-блудливой мелодией, и этот дешевый эффект лишь усиливал впечатление отвратительной трагикомедии, в которой должна была пролиться настоящая кровь, оплаченная кровь актера... Уставившись в одну точку прямо перед собой, я расслабил мускулы, стал оседать вниз: Юпп и в самом деле крепко привязал меня. Под затихающую музыку Юпп деловито вытаскивал ножи из пробитых карт и укладывал их в сумку, время от времени бросая на меня мелодраматические взгляды. Спрятав последний нож, он повернулся лицом к публике и голосом, неестественным до омерзения, произнес:

— Господа, сейчас на ваших глазах я очерчу ножами силуэт этого человека. Прошу убедиться, у меня нет тупых ножей!

Он вытащил из кармана шпагат и с ужасающим спокойствием, доставая один за другим ножи из сумки, разрезал его на двенадцать равных частей; каждый нож он снова клал в сумку.

Я смотрел в это время куда-то вдаль, мимо Юппа, поверх кулис и полуголых девиц по ту сторону сцены; мне казалось, что я вглядываюсь в какой-то иной мир...

Напряжение в зрительном зале наэлектризовало воздух. Юпп подошел ко мне, сделал вид, будто затягивает потуже веревку, и ласково прошептал мне на ухо:

— Только совсем-совсем не шевелись и не бойся, дорогой мой!

Напряжение уже достигло предела, и эта последняя заминка могла привести к преждевременной развязке. Но тут Юпп вдруг отпрянул в сторону. Его распростертые руки рассекли воздух, словно взметнувшиеся птицы, и на лице появилось выражение колдовской сосредоточенности, так поразившее меня тогда на лестнице. Казалось, эти жесты заворовили и зрителей. Мне послышался какой-то странный сдавленный стон, и я понял, что это Юпп дал мне знак приготовиться.

Я перевел свой взгляд, устремленный в бесконечную даль, на Юппа, который стоял теперь прямо напротив меня. Глаза наши встретились. Тут он поднял руку, потом медленно потянулся к сумке с ножами, и снова я понял, что он предупреждает меня. Я замер и закрыл глаза...

Меня охватило чувство блаженства. Быть может, прошло всего две секунды, быть может, двадцать, не знаю. Я слышал тихий свист ножей, чувствовал, как колыхался воздух, когда они вонзались в фанерную дверь позади меня, и мне казалось, что я иду по бревну над бездонной пропастью... Иду уверенно, хотя всем телом ощущаю смертельную опасность... Боюсь и в то же время наверняка знаю, что не упаду... Я не считал ножей и все же открыл глаза в ту самую секунду, когда последний, пролетев мимо моей правой руки, вонзился в дверь.

Гром аплодисментов окончательно вывел меня из оцепенения. Я широко открыл глаза и увидел побелевшее лицо Юппа, который бросился ко мне и дрожащими пальцами распутывал веревку. Потом он потянул меня на середину сцены, прямо к рампе. Он раскланялся, я тоже раскланялся. Под нарастающий грохот аплодисментов он указал на меня, я — на него. Он улыбнулся мне, я улыбнулся в ответ, и, улыбаясь, мы вновь раскланялись.

Вернувшись в кабинку, мы не произнесли ни слова. Юпп швырнул на стул продырявленную колоду карт, снял с гвоздя мое пальто и помог мне одеться. Потом он повесил на место ковбойский костюм и шляпу и надел куртку. Мы взяли шапки. Когда я открыл дверь, в комнату ввалился давешний лысый толстяк.

— Сорок марок за выход! — крикнул он и протянул Юппу несколько бумажек.

Я понял, что служу теперь под начальством Юппа, и, посмотрев на него, улыбнулся, а он улыбнулся мне в ответ.

Юпп взял меня под руку, и мы спустились рядом по узкой,

плохо освещенной лестнице, пропитанной застарелым запахом грима. У подъезда он сказал с усмешкой:

— Теперь пойдем за сигаретами и хлебом.

И только час спустя я понял, что приобрел настоящую, хотя и нетрудную, профессию. Мне достаточно было постоять неподвижно и помечтать, закрыв глаза. Недолго, секунд двенадцать, быть может, двадцать. Я стал человеком, в которого бросают ножами...

## СМЕРТЬ ЛОЭНГРИНА

Вверх по лестнице носилки несли несколько медленнее. Санитары злились: прошел уже час, как они заступили на дежурство, а им еще и по сигаретке на чай не перепало; и потом, один из них был водителем машины, а водителю не положено таскать носилки. Но в больнице, видно, некого было послать на подмогу санитару — что же было делать с мальчишкой? Не оставлять же его в машине; кроме того, было еще два срочных вызова: воспаление легких и самоубийство (самоубийцу в последнюю минуту успели вынуть из петли). Санитары злились и вдруг опять понесли носилки быстрее. Коридор был слабо освещен, и пахло, естественно, больницей.

— И зачем только его вынули из петли? — пробормотал санитар, который шел сзади; в виду он имел, конечно, самоубийцу.

— Правда, зачем они это сделали? — прогудел в ответ санитар, шедший впереди. — Непонятно!

При этом он обернулся назад и сильно ударился о дверь. Тот, кто лежал на носилках, очнулся и стал испускать пронзительные, страшные крики; это были крики ребенка.

— Тише, тише, — сказал врач, молодой блондин с нервным лицом. Он посмотрел на часы: уже восемь, по сути дела, его должны были давно сменить. Он уже больше часа ждал доктора Ломайера, но возможно, что Ломайера арестовали, нынче каждого в любую минуту могут схватить.

Молодой врач, машинально теребя свой стетоскоп, все время пристально смотрел на мальчика, лежавшего на носилках; лишь теперь взгляд его упал на санитаров, которые стояли в дверях и нетерпеливо ждали чего-то. Врач раздраженно спросил:

— Что такое, чего вы еще ждете?

— Носилок, — сказал водитель машины, — может, мальчика переложить? Нам нельзя задерживаться.

— Ах да, конечно! — Врач показал на кожаную кушетку.

Вошла ночная сестра. У нее было равнодушное, но серьезное лицо. Она взяла мальчика за плечи, один из санитаров — не водитель — взял его просто за ноги. Ребенок опять отчаянно закричал, и врач принялся его торопливо уговаривать:

— Замолчи, ну тише, тише же, не так-то уж больно...

Санитары все не уходили. В ответ на раздраженный взгляд врача тот же санитар спокойно сказал:

— Одежда ждем.

Оно вовсе не принадлежало ему, одежда дала какая-то женщина, свидетельница несчастного случая, нельзя же было везти мальчика в больницу в таком страшном виде, с раздробленными ногами. Но санитар полагал, что больница оставит одежду у себя, а в больнице и так сколько угодно одежд, той женщине его все равно не вернут, и мальчугану оно тоже не принадлежит, значит, он отберет его только у больницы, где одежда предостаточно. Жена приведет одежду в порядок, а за него по нынешним временам можно выручить кучу денег.

Ребенок непрерывно кричал. Врач вместе с сестрой снял с его ног одежду и быстро отдал водителю. Врач и сестра переглянулись. Вид мальчика был ужасен: вся нижняя половина тела плавала в крови, короткие холщовые штанишки были изодраны в клочья и клочья эти перемешались с кровью в одну страшную массу. Мальчик был бос. Он кричал непрерывно, с невыносимым упорством, все время на одной ноте.

— Живо, сестра, готовьте шприц, живо, живо! — тихо сказал врач. Сестра работала очень ловко и расторопно, но врач все повторял шепотом: «Скорей, скорей!», губы на его нервном лице непрерывно двигались. Ребенок ни на мгновение не умолкал, но сестра просто не могла приготовить шприц быстрее.

Врач пощупал пульс мальчугана, и бледное, усталое лицо его передернулось.

— Тише, тише, — шептал врач как одержимый. — Замолчи же, — умолял он ребенка, но тот кричал так, будто родился на свет только затем, чтобы кричать. Наконец сестра подала шприц, и врач быстро и искусно сделал укол.

Когда он со вздохом вытащил иглу из огрубевшей, точно дубленой, кожи мальчика, дверь открылась, и в комнату быстрой и взволнованной походкой вошла сестра милосердия — монашка. Она хотела что-то сказать, но, увидев изувеченного мальчика и врача, сжала губы и медленно, неслышно приблизилась, ласково кивнула врачу и сестре и положила руку на лоб мальчугана. Тот с удивлением высоко закатил глаза и увидел у себя в изголовье черную фигуру. Казалось, что его успокаивает прохладная рука, лежащая на лбу, но это уже подействовал укол. Держа шприц в руке, врач опять глубоко вздохнул; стало тихо, так тихо, что каждый слышал собственное дыхание. Никто не произнес ни слова.

Ребенок, очевидно, не чувствовал теперь никакой боли, он спокойно и с любопытством смотрел по сторонам.

— Сколько? — тихо спросил врач у ночной сестры.

— Десять, — ответила она так же тихо.

Врач пожал плечами.

— Многовато, но посмотрим. Вы поможете нам немного, сестра?

— Конечно, — с готовностью сказала монашка, словно очнув-



шись от глубокого раздумья. Было очень тихо. Сестра-монашка держала голову и плечи мальчугана, ночная сестра — ноги, и они принялись снимать пропитанные кровью лоскутья. Теперь все увидели, что кровь смешалась с чем-то черным, все было черное, ступни мальчика покрывала черная угольная пыль, и руки тоже, всюду были лишь кровь, клочья одежды и угольная пыль, густая маслянистая угольная пыль.

— Ясно,— проговорил врач,— крал уголь и на ходу сорвался с поезда, так, что ли?

— Да, так,— дрожащим голосом сказал мальчуган.— Ясно. Он совсем пришел в себя, и в глазах его светилось необычайное счастье. Укол, по-видимому, оказал чудесное действие. Сестра закатала на мальчике рубашку под самый подбородок. Туловище ребенка поражало своей худобой, оно было сверхъестественно тощим, как у старой гусыни. В ямках у ключиц пряталась странная темная тень, они были так велики, что в них легко уместилась бы широкая белая рука монашки. Теперь все увидели ноги мальчугана, очень тонкие и стройные, вернее, то, что осталось от них. Врач кивнул женщинам и сказал:

— Возможен сложный перелом обеих ног, нужен рентген. Мягкой салфеткой, смоченной в спирте, ночная сестра обмыла ноги мальчика, и теперь казалось, что все не так страшно. Мальчуган был невыносимо худ. Накладывая повязку, врач все время качал головой. Мысли о Ломайере опять не давали ему покоя; может, он все-таки попался, и если даже не проболтается, все же чертовски неприятно, что Ломайер сядет из-за строфантина, а он тут будет спокойно расхаживать на свободе, тогда как, не случись этого, они разделили бы выручку. Черт возьми, теперь не меньше половины девятого, и кругом такая зловещая тишина, с улицы не доносится ни звука. Он кончил перевязку, монашка спустила на мальчугане рубашонку и натянула ее на бедра. Потом подошла к шкафу, вынула белое одеяло и укрыла малыша.

Снова положив ладонь ему на голову, она сказала врачу, который мыл руки:

— Я зашла к вам по поводу маленькой Шранц, доктор. Я только не хотела вас беспокоить, пока вы возились с мальчуганом.

Врач застыл с полотенцем в руках, лицо его вытянулось, и сигарета, прилипшая к нижней губе, слегка задрожала.

— Что с ней,— спросил он,— что с маленькой Шранц?

Бледность на его лице приняла желтоватый оттенок.

— Сердечко девочки отказывается работать, попросту отказывается, дело, видно, идет к концу.

Врач вынул сигарету изо рта и повесил полотенце на гвоздь рядом с умывальником.

— О черт! — беспомощно воскликнул он.— Чем я могу тут помочь, я же ничего не могу сделать!

Рука монашки все еще лежала на лбу мальчика. Ночная сестра

опускала окровавленные тряпки в ведро, и его никелевая крышка отбрасывала на стену дрожащие блики.

Врач задумчиво уставился в пол. Вдруг он поднял голову, посмотрел на мальчика и бросился к двери.

— Взгляну, что с ней.

— Я вам не нужна? — сказала ночная сестра ему вдогонку.

Он оглянулся.

— Нет, оставайтесь здесь, подготовьте мальчугана к рентгену, если удастся, заведите на него историю болезни.

Мальчик лежал все еще тихо, и ночная сестра тоже подошла к кушетке.

— Мама знает, куда ты пошел? — спросила монашка.

— Она умерла.

Об отце сестра не решилась спросить.

— Кого надо известить?

— Старшего брата, но его нет дома. А малышам надо бы сказать, они там совсем одни теперь.

— Какие малыши?

— Ганс и Адольф, они ждут меня, ждут, когда я приду и сварю им обед.

— А где же работает твой старший брат?

Мальчик молчал, и монашка не повторила вопроса.

— Будете записывать?

Ночная сестра кивнула и подошла к белому столику, заставленному медикаментами и пробирками. Она пододвинула к себе чернильницу и левой рукой разгладила белый лист бумаги.

— Как твоя фамилия? — спросила монашка.

— Беккер.

— Вероисповедание?

— Никакого. Я не крещен.

Монашка вздрогнула, лицо ночной сестры оставалось безучастным.

— Ты когда родился?

— В тридцать третьем... десятого сентября.

— Учишься в школе?

— Да.

— Спросите имя, — подсказала ночная сестра.

— А как тебя звать?

— Грини.

— Как? — Женщины, улыбаясь, переглянулись.

— Грини, — медленно повторил мальчик с чувством досады, какое испытывают обладатели необычных имен, когда приходится называть себя.

— «И» на конце? — спросила сестра.

— Да. — И он повторил: — Гри-ни.

Его звали, собственно, Лознгрин, он родился в 1933 году, в дни, когда даже на вагнеровских торжествах в Байройте во всех выпусках кинохроники уже показывали портреты Гитлера. Но мать всегда называла сынишку Грини.

Вдруг в комнату вбежал врач, от страшного переутомления глаза у него были как у пьяного; тонкие светлые волосы свисали на молодое, но уже морщинистое лицо.

— Идемте скорее, скорее, обе. Хочу попробовать еще раз сделать переливание крови.

Сестра-монашка указала взглядом на мальчика.

— Да, да,— крикнул врач,— на несколько минут его смело можно оставить одного.

Ночная сестра уже стояла на пороге.

— Ты полежишь спокойно, Грини? — спросила монашка.

— Да,— сказал мальчуган.

Но, как только все вышли, у него брызнули слезы из глаз. До этой минуты их как будто сдерживала рука монашки, лежавшая на его лбу. Он плакал не от боли, он плакал от счастья. Но все-таки и от боли тоже, и от страха. От боли он плакал, только когда думал о малышах, и он старался не думать о них, потому что хотел плакать от счастья. Никогда в жизни он еще себя не чувствовал так хорошо, как сейчас, после укола. По жилам его словно текло чудесное теплое молоко, от него немножко кружилась голова, и в то же время голова была очень ясная и во рту невозможно приятный вкус, такой приятный, какого Грини никогда в жизни не знал; но он не мог не думать о малышах. Хуберт раньше завтрашнего утра не придет, отец вернется только через три недели, а мама... малыши теперь совсем одни, и он знал наверняка, что они прислушиваются ко всем шагам, к малейшим звукам на лестнице, а на лестнице такое невыносимое множество разных звуков — и такое невыносимое множество разочарований для малышей. Мало надежды, что госпожа Гроссман позаботится о них: ей это никогда не приходило в голову, почему же вдруг сегодня придет? Она никогда не вспоминала о них, не могла же она знать, что он... что с ним случилось несчастье. Ганс, наверное, будет успокаивать Адольфа, но Ганс сам такой слабенький и плачет по каждому пустяку. Может, Адольф будет уговаривать Ганса, но ведь Адольфу только пять лет, а Гансу восемь, все-таки, наверное, Ганс будет уговаривать Адольфа. Но Ганс ужасно слабенький, а Адольф крепче. Скорее всего, они оба будут плакать, потому что, когда время близится к семи, им уж никакая игра не в игру, они хотят есть и знают, что он придет в половине восьмого и накормит их. И они не решаются сами взять себе хлеба; они на это никогда теперь не отважатся, он им строго-настрого запретил это однажды, когда они съели сразу весь недельный паек; они могли бы взять картофель, но они этого не сделают. Почему только он им не сказал, что они сами могут взять картофель? Ганс уже очень хорошо умеет варить картошку, но они не решаются это сделать, он их чересчур строго наказал, ему даже пришлось побить их, но ведь нельзя, чтобы они съедали сразу весь хлеб; конечно, нельзя, но теперь он был бы рад, если бы никогда их не наказывал, они бы сами взяли себе хлеба и по крайней мере не были бы голодны. А так они сидят там и ждут и при каждом шорохе на лестнице обрадо-

ванно вскакивают и прижимаются своими бледными мордочками к щели в дверях...

Сколько раз, наверное тысячу раз, он заставлял их так. И он всегда первым делом видел их лица, и такие радостные! Даже после того, как он наказал своих малышей, они все равно радовались, когда он приходил; они все понимали... А сейчас каждый шорох приносит им разочарование, и, наверное, им очень страшно. Гансу достаточно издали увидеть полицейского, и он уже начинает дрожать; может, они будут плакать так громко, что госпожа Гроссман заругается, она любит, чтобы вечером было тихо, а они, может, все-таки будут плакать еще сильнее, и госпожа Гроссман заглянет к ним, чтобы узнать, почему они плачут, и пожалеет их; она совсем не такая уж плохая, эта Гроссманша. Но сам Ганс никогда не пойдет к госпоже Гроссман, он ее ужасно боится, Ганс всех боится...

Хоть бы они взяли картофели!

С той минуты, как он думал о малышах, он плакал только от боли. Он попробовал заслонить глаза рукой, чтобы не видеть малышей, но почувствовал, что рука становится мокрой, и заплакал еще сильнее. Он попытался представить себе, который час. Уже, наверное, девять, а то и десять, и это ужасно. Он никогда не приходил домой позднее половины восьмого, но в поезде сегодня была усиленная охрана, и пришлось зорко следить, чтобы не попасться: люксембуржцы большие охотники пострелять. Им, верно, на войне не удалось как следует пострелять, а они так любят стрелять, но его не поймать, никогда, они ни разу его не поймали, он всегда удирает у них прямо из-под носа. Боже мой, как раз антрацит, антрацит он никак не мог пропустить. Антрацит! За антрацит, ни слова не говоря, платят от семидесяти до восьмидесяти марок, могли он упустить такой случай! Но люксембуржцы его ни разу не поймали, он от русских убегал, и от янки, и от томми, и от бельгийцев, так неужели же его схватят люксембуржцы, эти потешные люксембуржцы? Он прошмыгнул мимо них, вскочил на ящик, наполнил мешок и сбросил его, а за ним еще пошвырял на землю сколько мог. Но вдруг: тш-ш-ш... и поезд разом остановился, и он помнит только, что было невыносимо больно, а дальше он уже ничего не помнит, очнулся он у какой-то белой двери и увидел белую комнату, где он теперь лежит. А потом ему сделали укол. Теперь он заплакал от счастья. Малышей он уже не видел, счастье было чем-то непередаваемо чудесным, он еще никогда не испытывал его; слезы как будто и были этим самым счастьем, они лились и лились, и все-таки в груди не становилось меньше счастья, это был мерцающий, сладостный вертящийся комочек, необыкновенный комочек; он изливался слезами и не становился меньше...

Вдруг он услышал стрельбу из автоматов, это стреляли люксембуржцы, и выстрелы так страшно грохотали в свежем воздухе весеннего вечера; пахло полем, паровозным дымом, углем и немножко настоящей весной. Два орудия палили в небо, точно лаяли, а небо было теперь совсем густо-серое, и эхо тысячекратно повто-

рыло выстрелы, и грудь покалывало, точно иголкой; этим проклятым люксембуржцам не поймать его, им не застрелить его, нет! Уголь, на котором он теперь плашмя лежит, твердый и колючий, — это ведь антрацит, а за центнер антрацита дают восемьдесят, а то и восемьдесят пять марок. А не купить ли малышам хоть разок шоколаду? Нет, на шоколад не хватит, шоколад стоит сорок — сорок пять марок; так много истратить он не может; боже мой, целый центнер угля отдать за две плитки шоколада; а люксембуржцы, бешеные псы, опять стреляют, и ноги у него застыли и болят от колючего антрацита, у него ноги совсем черные и грязные, он это чувствует. Выстрелы пробивают небо и оставляют в нем огромные дыры, но небо-то люксембуржцы не в силах застрелить? Неужели они могут и небо застрелить насмерть?..

А может, надо было сказать сестре, где отец и куда Хуберт ходит по ночам? Но сестры не спросили, а если не спрашивают, говорить не надо. В школе ему всегда это внушали... ах, черт, люксембуржцы... и малыши... пусть эти люксембуржцы перестанут стрелять, ему нужно бежать к малышам... они, наверное, спятили, эти люксембуржцы, форменным образом спятили... Черт возьми, он ни за что не скажет этого сестре, нет, он не скажет, где его отец и куда ходит по ночам брат, а может, малыши все же возьмут себе хлеба... или картофеля, а может, госпожа Гроссман заметит, что не все ладно, ведь и правда неладно; удивительное дело, почему-то всегда что-нибудь неладно. И господин директор будет ругаться. От укола так хорошо стало, сперва он почувствовал, как что-то кольнуло, но потом вдруг пришло счастье. Та бледная сестра набрала полный шприц счастья, и он отлично слышал, что она набрала туда чересчур много счастья, чересчур много, он вовсе не так глуп. Грини пишется с двумя «и»... нет, она умерла... нет-нет, без вести пропала. Счастье — чудесная штука, он когда-нибудь купит малышам полный шприц счастья, купить ведь все можно... Хлеб... целые горы хлеба...

Ах, черт, конечно, с двумя «и», да разве они тут не знают самые лучшие немецкие имена?

— Нет,— крикнул он вдруг,— я не крещен!

А может, мама вовсе жива. Нет-нет, люксембуржцы застрелили ее, нет, русские... нет, кто знает, может, нацисты ее расстреляли, она так ужасно ругала их... нет, американцы... ах, малыши спокойно могут съесть хлеб... он купит им гору хлеба... целый товарный вагон хлеба... или антрацита... и непременно счастья в шприце...

— С двумя «и», черт бы вас побрал!

Сестра милосердия подбежала к нему, тотчас схватила руку, нащупала пульс и с тревогой огляделась. Боже мой, не позвать ли врача? Но нельзя же оставить мальчугана в бреду одного. Маленькая Шранц умерла, маленькая девочка с русским лицом уже в лучшем мире, слава богу. Где же врач, куда он запропастился... Она бегала вокруг кушетки.

— Нет,— кричал мальчик,— я не крещен...

Пульс его, казалось, вот-вот оборвется. У монашки выступил пот на лбу.

— Доктор,— крикнула она,— доктор! — Но она знала, что ни один звук не проникает сквозь обитую войлоком дверь...

Мальчик душераздирающе плакал:

— Хлеб... целую гору хлеба для малышей... Шоколада... Антрацит... люксембуржцы свиньи, пусть они не стреляют... Ах, черт, картофель, можете спокойно взять картофель... возьмите же картофель! Госпожа Гроссман... мама... папа... Хуберт... через дверную щелку, через дверную щелку...

Монашка плакала от страха, она не решалась отойти, мальчик начал метаться, и она крепко держала его за плечи. Проклятая кушетка, такая скользкая. Маленькая Шранц умерла, ее душа сейчас на небе. Боже, прости ее, прости... она ведь невинна, маленький ангелочек, маленький некрасивый русский ангелочек... но теперь она прекрасна...

— Нет,— крикнул мальчуган, размахивая руками,— я не крещен!

Монашка испуганно вскинула глаза. Она подбежала к умывальнику, стараясь ни на секунду не выпускать мальчика из виду, не нашла стакана, побежала обратно, погладила горячий лоб ребенка. Потом бросилась к белому столику и схватила какую-то пробирку. Пробирка в один миг доверху наполнилась водой! Бог ты мой, как мало воды входит в такую пробирку...

— Счастье,— шептал мальчик,— наберите мне счастья в шприц, все, что у вас есть, и для малышей тоже...

Монашка торжественно, очень медленно перекрестилась, вылила воду из пробирки на лоб мальчику и сквозь слезы проговорила:

— Я совершаю над тобой обряд крещения...

Но мальчик, очнувшись от холодной воды, так порывисто поднял голову, что стеклянная пробирка выпала из рук сестры на пол и разбилась вдребезги. Мальчик посмотрел на испуганную сестру, слабо усмехнулся и чуть слышно сказал:

— Крещения... да...— и так внезапно рухнул навзничь, что голова его с глухим стуком упала на кушетку, и теперь, когда он лежал неподвижно, с судорожно растопыренными, как бы что-то хватающими, пальцами, лицо его было узеньким и старым, до ужаса желтым...

— Рентген сделали? — обрадованным голосом крикнул врач, входя с доктором Ломайером в комнату. Сестра только покачала головой. Врач подошел к кушетке, машинально взялся за стетоскоп, тут же выпустил его из рук и взглянул на Ломайера. Ломайер снял шляпу. Лоэнгрин был мертв...

## МОЯ ДОРОГАЯ НОГА

Вот меня и облагодетельствовали. Мне прислали открытку с приглашением явиться в Бюро, и я пошел. В Бюро все были со мной очень любезны. Чиновник извлек из картотеки мою карточку и сказал «Гм». Я тоже сказал «Гм».

— Какая нога? — спросил чиновник.

— Правая.

— Целиком?

— Целиком.

— Гм,— протянул он опять и просмотрел несколько разных бумажек. Мне разрешили сесть.

Наконец чиновник остановился на бумажке, которая, по-видимому, показалась ему самой подходящей.

— Думаю,— сказал он,— что это как раз для вас. Замечательная штука. Работа сидячая. Чистильщиком сапог в общественной уборной на площади Республики. Ну как?

— Я не умею чистить сапоги; у меня всегда были неприятности из-за плохо начищенных сапог.

— Можно выучиться,— сказал чиновник.— Всему можно выучиться. Немец все может. При желании можете пройти бесплатный курс обучения.

— Гм,— промычал я.

— Ну что ж, идет?

— Нет,— сказал я.— Не желаю. Такие доходы меня не устраивают.

— Вы с ума сошли,— сказал он мягко и благодушно.

— Я не сошел с ума, никто в мире не может вернуть мне отрезанную ногу. Мне даже сигареты не разрешают продавать, уже сейчас ставят палки в колеса.

Чиновник откинулся на спинку стула и набрал полную грудь воздуха.

— Милый друг,— начал он,— ваша нога — чертовски дорогая нога. Вам, как указано в карточке, двадцать девять лет, у вас здоровое сердце и вообще железное здоровье, если не считать ампутированной ноги. Вы можете прожить семьдесят лет. Высчитайте, пожалуйста, сколько это составит: по семьдесят марок в месяц двенадцать раз, и все это помноженное на сорок один — годы, которые вы еще проживете; следовательно, семьдесят на двенадцать, а потом еще на сорок один. Подсчитайте-ка все это да прибавьте проценты и примите далее во внимание, что ваша нога не единственная. И вы тоже не единственный, кто, по всей вероятности, будет долго жить. А вам подавай доходы пожирней! Простите меня, но вы сошли с ума.

— Сударь,— сказал я и тоже откинулся на спинку стула и набрал полную грудь воздуха,— судя по всему, вы сильно недооцениваете мою ногу. Она стоит гораздо дороже, это чрезвычайно дорогая нога. Дело в том, что у меня не только сердце здоровое, но и голова отнюдь не больная. Слушайте внимательно.

— У меня времени в обрез.

— Слушайте! — сказал я. — Дело в том, что моя нога спасла жизнь множеству людей, получающих в настоящее время недружественные пенсии.

Это было так: я лежал один-одинешенек на переднем крае и должен был следить за противником, чтобы наши могли своевременно удрасть. Штабы в тылу спешно свертывались, однако не хотели удирасть ни слишком рано, ни слишком поздно, а так, чтобы в самый раз. Сначала нас было двое, но второго очень скоро убили, на него вам больше тратиться не придется. Он был, правда, женат, но жена его здорова и может работать. Так что беспокоиться вам нечего. Он казне обошелся очень дешево. Служил всего только месяц, и все затраты на него свелись к одной почтовой карточке да пайку солдатских сухарей. Это был правильный солдат, по крайней мере он правильно дал себя убить. В общем, я остался один, натерпелся страху, промерз до костей и хотел уж было тоже дать тягу, и только-только, понимаете, я решил, как...

— Времени у меня в обрез, — повторил чиновник и начал искать карандаш.

— Нет, вы все-таки послушайте, — сказал я. — Теперь лишь и начинается самое интересное. Ну вот. Только я совсем уж решил дать тягу, как вдруг эта самая история с ногой. И так как встать я не мог, я подумал: сейчас я им просигналю; и я им просигналил, и все наши удрали, по очереди, аккуратненько, сначала дивизия, потом полк, потом батальон и так далее, и все по очереди, как положено. А меня — глупо это вышло, — меня-то и забыли прихватить, понимаете? Уж очень спешили. Поистине глупая история получилась: не потеряй я ноги, все они были бы убиты — и генерал, и полковник, и майор, все по очереди, как положено, и вам не пришлось бы выплачивать им пенсий. Теперь подсчитайте, сколько же стоит моя нога. Генералу пятьдесят два года, полковнику сорок восемь, майору пятьдесят, все как один — здоровяки, и сердца здоровые, и головы в полном порядке, и при армейском образе жизни они протянут по меньшей мере до восьмидесяти, как Гинденбург. Вот и подсчитайте, пожалуйста: сто шестьдесят умножить на двенадцать и еще на тридцать, в среднем можно ведь спокойно взять тридцать лет, верно? Моя нога — отчаянно дорогая нога, одна из самых дорогих ног на свете, верно?

— Вы все-таки сумасшедший, — сказал чиновник.

— Нет, — ответил я, — ничуть не сумасшедший. К сожалению, голова у меня такая же крепкая, как и сердце, и очень жалко, что меня не убили за две минуты до того, как случилось это дело с ногой. Мы бы кучу денег сэкономили.

— Так берете вы эту работу? — спросил чиновник.

— Нет, — сказал я и ушел.



## ТОРГОВЛЯ ЕСТЬ ТОРГОВЛЯ

Мой знакомый спекулянт стал теперь честным торговцем. Я с ним долго не встречался, наверное, несколько месяцев, и вдруг сегодня натолкнулся на него в другом конце города, на шумном перекрестке. У него там шикарный деревянный ларек, окрашенный добротной белой краской; прочная новая оцинкованная крыша защищает его от дождя и холода, и он торгует сигаретами и леденцами — теперь совершенно легально. Сначала я обрадовался — ведь это здорово, когда кто-нибудь снова находит себе место в жизни. В те времена, когда я с ним познакомился, ему приходилось туго, и оба мы были в унынии. Мы носили старые солдатские шапки, надвинутые на глаза; когда я был при деньгах, то приходил к нему, и мы с ним разговаривали, о голоде и о войне, а когда у меня денег не было, он угощал меня сигаретами. Однажды я принес ему хлебные карточки: я работал тогда для одного пекаря.

Теперь, казалось, дела его шли неплохо. Он выглядел прекрасно. Его щеки приобрели ту упругость, которая возможна только при регулярном потреблении жиров, выражение лица было самодовольным, и я видел, как он крепко обругал и прогнал маленькую, грязную девочку, у которой не хватило пяти пфеннигов на леденец. При этом он все время орудовал во рту языком, как будто вытаскивал застрявшие между зубами кусочки мяса.

У него было много забот — торговля сигаретами и леденцами шла бойко.

Может быть, не следовало этого делать, но я подошел к нему и сказал: «Эрнст». Я хотел с ним поговорить. Раньше мы все были между собой на «ты», и спекулянты тоже говорили нам «ты».

Он очень удивился, странно посмотрел на меня и спросил: «Что вы хотели сказать?»

Он явно узнал меня, но сам не желал быть узнанным.

Я замолчал и, сделав вид, что вовсе не называл его по имени, купил несколько сигарет — у меня как раз нашлись деньги — и отошел. Я наблюдал за ним еще некоторое время; мой трамвай долго не подходил, к тому же у меня не было желания ехать домой. Когда сидишь дома, всегда приходят люди, которые требуют денег: хозяйка — квартирную плату, сборщик — деньги за электричество. Кроме того, дома мне не разрешают курить; у моей хозяйки отличный нюх, и она очень злится и выговаривает мне за то, что на табак у меня денег хватает, а за квартиру почему-то платить нечем. Ведь грешно, когда бедняки курят или пьют водку. Я знаю, что грешно, и потому стараюсь курить тайком; я курю на улице и лишь изредка в своей комнате, когда лежу без сна, и кругом тихо, и я знаю, что до утра запах дыма выветрится.

Ужасно, что у меня нет специальности. В наше время необхо-

димо иметь специальность. Все так говорят. Раньше считали, что это необязательно, что нужны лишь солдаты. Теперь говорят, что без специальности нельзя. Нельзя, и все тут. Если у тебя нет специальности, думают, что ты лентяй. Но это неверно. Я не ленив, у меня просто нет желания делать работу, которую они мне навязывают: убирать мусор, таскать камни и прочее. Два часа такой работы — и я обливаюсь потом, все плывет перед глазами, а когда прихожу к врачам — они утверждают, что я совершенно здоров. Может быть, это нервы. Теперь много говорят о нервах, но я думаю, что грешно бедняку иметь нервы. Быть бедным и иметь нервы — для них это уж чересчур. Но у меня определенно расстроены нервы; слишком долго я был солдатом: девять лет, а может, и больше, точно не помню. В то время я охотно занялся бы делом, мне очень хотелось стать торговцем. Но зачем говорить о том, что было тогда, — теперь у меня нет никакого желания быть торговцем.

Больше всего мне нравится лежать в кровати и мечтать. Лежа, я подсчитываю, сколько сотен тысяч рабочих дней нужно, чтобы построить мост или большой дом, и думаю о том, что этот мост и этот дом могут быть разрушены в одну минуту. Зачем же тогда работать? По-моему, все бессмысленно. Именно это и сводит меня с ума, когда я бываю вынужден таскать камни или убирать мусор, чтобы они имели возможность построить еще какое-нибудь кафе.

Я сказал, что дело в нервах, но нет, дело в том, что все бессмысленно.

В сущности, мне все равно, что они подумают. Но ведь это ужасно — никогда не иметь денег. Деньги необходимы, без них не обойтись. Имеется счетчик, а вы пользуетесь лампой (иногда ведь бывает нужен свет), щелкает выключатель, вспыхивает лампочка, и вот уже деньги текут из вашего кармана. Даже если вы не пользуетесь светом, приходится вносить плату за счетчик, плату за квартиру... Говорят, что нужно иметь комнату. Сперва я жил в подвале, там было недурно, у меня была печка, и я воровал угольные брикеты; но меня разыскали, пришли репортеры, сфотографировали и поместили статью с моим портретом: «Бедствия бывшего военнопленного». Мне пришлось попросту убраться отсюда. Чиновник из жилищного управления сказал, что для него это вопрос престижа, и я был вынужден снять комнату. Иногда мне удается заработать. Это ясно. Я выполняю поручения, таскаю угольные брикеты и складываю их аккуратно в углу подвалов.

Я умею отлично складывать брикеты, к тому же недорого беру. Конечно, зарабатываю я мало, этого никогда не хватает, чтобы заплатить за квартиру. Иногда удается лишь внести плату за электричество, купить немного сигарет и хлеба...

Стоя на углу, я думал обо всем этом.

Мой знакомый спекулянт, который стал теперь честным торговцем, посматривал на меня недоверчиво. Эта свинья хорошо

меня знает, ведь нельзя не знать друг друга, если в течение двух лет встречаешься чуть не каждый день. Может быть, он подумал, будто я хочу у него что-нибудь украсть. Но не так я глуп, чтобы воровать там, где полно народу и где каждую минуту останавливается трамвай и вдобавок на углу стоит полицейский. Я ворую в других местах. Иногда ворую уголь, иногда дрова. Недавно я украл даже хлеб в булочной. Это получилось легко и просто. Я спокойно взял хлеб, вышел на улицу и побрел не торопясь; только на следующем углу я бросился бежать. Ох эти нервы!

Я не ворую на людных перекрестках, хотя это иногда и нетрудно, нервы не выдерживают.

Прошло несколько трамваев, в том числе и тот, что мне нужен, и я ясно видел, как Эрнст покосился на меня, когда подошел мой номер. Эта свинья прекрасно знает, какой трамвай мне нужен! Но я бросил окурки, закурил вторую сигарету и не двинулся с места. Вот до чего я дошел — выбрасываю окурки! Но здесь бродит человек, который их подбирает, нужно же думать о других. Есть еще люди, которые собирают окурки. И разные люди. В плену я видел полковников, подбиравших окурки, но этот человек не был полковником. Я следил за ним. У него была своя система; как у паука, который прячется в паутине, у него была штаб-квартира где-то среди груды развалин, и, когда подходил или отходил трамвай, он вылезал оттуда, шагал невозмутимо вдоль тротуара и собирал окурки. Я бы охотно подошел к нему и поговорил, я чувствую — мы одного поля ягода, но это бессмысленно, от таких ничего не добьешься.

Не знаю, что со мной случилось. Мне не хотелось ехать домой. Да и какой там дом! Мне теперь все было безразлично, я пропустил еще трамвай и закурил еще сигарету.

С нами происходит что-то непонятное. Может, какой-нибудь профессор растолкует нам это через газету: у них на все есть свое объяснение. Я хотел бы только, чтобы у меня хватило духу воровать, как на войне. Там все легко сходило с рук. Во время войны, если было что воровать, нас заставляли воровать. Там говорили: «Этот справится», — и мы «справлялись».

Некоторые за компанию только жрали, пили и посылали домой посылки, но не воровали. У них нервы были безупречные и руки оставались чистыми.

А когда мы вернулись, они выскочили из войны, как из трамвая, замедлившего ход возле их дома, выскочили, даже не заплатив за проезд. Они сделали легкий поворот, вошли в дом и увидели: резной шкаф на своем месте, лишь чуточку пыли в библиотеке, у жены есть картофель в погребе, стоит варенье; жену слегка обнимали, как водится, и на следующее утро отправлялись узнать, не свободна ли старая должность, — и должность оказывалась еще свободной. Все шло прекрасно — они продолжали получать пособие, потом разрешали себя слегка денацифицировать, как позволяют парикмахеру сбрить бороду, которая стала стеснять, расска-

зывали об орденах, ранах, о своем геройстве, и все кругом находили, что они славные ребята: в конце концов, они только выполняли свой долг. Им даже выдавали недельные трамвайные билеты — верный признак того, что все действительно пришло в норму.

А мы ехали дальше в том же трамвае и ждали, не будет ли знакомой остановки, где можно рискнуть выскочить, но остановки не было. Некоторые, проехав еще немного, где-то выскакивали, во всяком случае, делали вид, что достигли цели.

Мы же следовали все дальше и дальше, плата за проезд, само собой, повышалась, а кроме того, мы должны были платить за большой и тяжелый груз — свинцовый груз пустоты, который мы тащили за собой; и входило множество контролеров, которым мы, пожимая плечами, показывали свои пустые карманы.

Выкинуть нас они все равно не могли — трамвай шел слишком быстро, а мы ведь как-никак люди, — но нас брали на заметку, раз, другой, третий, нас постоянно брали на заметку, а трамвай шел все быстрее, более ловкие все же где-то выскакивали, нас становилось все меньше, и все меньше было у нас мужества и желания выскочить. Мы тайно решили, как только достигнем конечной остановки, оставить в вагоне свой груз, может, бюро находок пустит его с аукциона, но конечной остановки все не было. Плата за проезд становилась все выше, темп все быстрее, контролеры все недоверчивей, мы ведь были крайне подозрительным сбродом.

Я швырнул окурок третьей сигареты и медленно пошел к остановке; теперь мне хотелось домой. У меня закружилась голова — нельзя на голодный желудок так много курить, я же знал это.

Я не смотрел больше туда, где мой бывший спекулянт вел теперь легальную торговлю. Конечно, у меня не было оснований злиться, ему тогда здорово повезло, он сумел выскочить в нужную минуту, но я не знаю, обязательно ли при этом обижать детей, которым не хватает пяти пфеннигов на леденец. Быть может, это и обязательно при легальной торговле?

Незадолго до того, как подошел нужный мне трамвай, тот, другой человек спокойно проследовал вдоль тротуара, обошел очередь ожидающих и подобрал окурки. Я заметил, что смотрели на него с неудовольствием. Было бы лучше, если бы таких, как он, не было, но они есть...

Только войдя в вагон, я бросил взгляд на Эрнста, но он отвернулся и громко выкрикивал: «Шоколад, конфеты, сигареты — свободная продажа!»

Не знаю, что произошло, но должен признаться, что раньше, когда он еще не прогонял тех, кому не хватает пяти пфеннигов, он мне нравился больше. Впрочем, теперь у него настоящая торговля, а торговля есть торговля.

## МОЕ ГРУСТНОЕ ЛИЦО

Когда я стоял в порту и смотрел на чаек, мое грустное лицо привлекло внимание постового полицейского, дежурившего в этом квартале. Я весь ушел в созерцание птиц, они то взмывали в воздух, то камнем падали вниз в тщетных поисках пищи. В порту было пусто, в густой, как бы покрытой пленкой, грязной от нефти зеленоватой воде плавали всякие отбросы; не было видно ни одного парохода, подъемные краны заржавели, складские помещения пришли в упадок; даже крысы, по-видимому, не водились в черных развалинах порта, тихо было вокруг. Много лет уже, как прекратилась всякая связь с внешним миром.

Я выбрал одну чайку и стал следить за ее полетом. Боязливая, словно ласточка, чующая грозу, она чаще всего держалась низко над водой и лишь изредка с криком отваживалась взлететь ввысь, чтобы присоединиться к своим товаркам. Если бы мне предложили загадать желание, то в эту минуту я пожелал бы только хлеба; я скормил бы его чайкам, я бросал бы крошки и белыми точками определял направление беспорядочных полетов птиц, сообщая им цель.

Мне хотелось, бросая кусочки хлеба, разрушать пронзительно стонущее сплетение беспорядочных полетов, вторгаться в него, как в пучок нитей, которые расчесываешь. Но я был голоден, как эти птицы, очень утомлен и все же счастлив, несмотря на свою грусть: хорошо было стоять здесь, засунув руки в карманы, смотреть на чаек и упиваться грустью.

Вдруг на плечо мне легла начальственная рука, и я услышал:

— Следуйте за мной! — Дергая за плечо, рука пыталась повернуть меня.

Не оборачиваясь, я сбросил ее и спокойно сказал:

— Вы не в своем уме.

— Соплеменник, — произнес этот, все еще невидимый, чело-  
век, — предупреждаю вас.

— Послушайте, господин... — откликнулся я.

— Какой еще господин?! — воскликнул он гневно. — Мы все соплеменники.

Он встал рядом со мной, осмотрел меня сбоку, и я вынужден был отвести свой блуждающий по небу счастливый взор и погрузить его в добродетельные очи полицейского; он был серьезен, как буйвол, десятки лет не вкушавший ничего, кроме служебного долга.

— На каком основании... — начал было я.

— Оснований достаточно, — сказал он. — Ваше грустное лицо. Я рассмеялся.

— Ничего смешного здесь нет! — Его гнев был неподделен.

Сначала я подумал, что он затеял все это со скуки, так как ему не попались на глаза ни одна незарегистрированная проститутка, ни один подвыпивший моряк, или вор, или дезертир, кото-

рых можно было бы задержать; но теперь я убедился, что он не шутит, он в самом деле намерен арестовать меня.

— Следуйте за мной!..

— Но почему? — спокойно спросил я.

Не успел я опомниться, как кисть моей левой руки обхватила тонкая цепочка, и в тот же миг я понял, что погиб. В последний раз я повернулся к парящим чайкам, взглянул в прекрасное серое небо и попытался внезапным движением вырваться и броситься в воду — мне казалось, что лучше самому утопиться в этой грязной жиже, чем быть удушенным где-нибудь на заднем дворе руками наемных палачей или снова оказаться брошенным за решетку. Но полицейский, сильно дернув цепочку, так близко подтянул меня к себе, что о побеге нечего было и думать.

— За что же все-таки? — еще раз спросил я.

— Есть закон, по которому все обязаны быть счастливыми.

— Я счастлив! — воскликнул я.

— А ваше грустное лицо... — Он покачал головой.

— Но ведь это новый закон, — сказал я.

— С момента его опубликования прошло уже тридцать шесть часов, а вам должно быть известно, что закон вступает в силу через двадцать четыре часа после его опубликования.

— Но я не знаю такого закона.

— Незнание закона не избавляет от наказания. Он был объявлен через все громкоговорители, напечатан во всех газетах, а для тех, кто не пользуется такими благами цивилизации, как печать и радио, — тут он окинул меня взглядом, полным презрения, — по всей империи были разбросаны листовки. Поэтому нам придется еще выяснить, где вы провели последние тридцать шесть часов.

Он потащил меня прочь. Только теперь я почувствовал, что холодно, а пальто у меня нет, только теперь услышал, как у меня в желудке урчит от голода, только теперь вспомнил, что я неумыт, оброс щетиной, оборван и что существуют законы, по которым все соплеменники должны быть чисто вымыты, выбриты, счастливы и сыты.

Полицейский толкал меня перед собой, точно пугало, изобличенное в краже и потому вынужденное покинуть места своих грез на полях и огородах.

Улицы были безлюдны, до полицейского участка было недалеко, и хотя я не сомневался, что меня лишат свободы, что повод для этого будет немедленно найден, мне все же слегка взгрустнулось, ибо полицейский вел меня по местам моей юности, где я собирался побродить после того, как побываю в порту, — побродить по садам с густым, живописно растрепанным кустарником, по заросшим травой дорогам; увы! — все это теперь было разделено, подстрижено, разбито на четырехугольники, приспособлено для военных учений всякого рода союзов верно-

подданных, обязанных проводить учения по понедельникам, средам и субботам. Лишь небо да воздух оставались такими же, как раньше, в те дни, когда сердце еще полно было грез.

По дороге я заметил, что на некоторых казармах, предназначенных для любовных утех, вывешена официальная эмблема — напоминание тем, кому в среду пришла очередь приобщиться к гигиеническим радостям; кое-каким кабакам было, очевидно, также присвоено право вывешивать эмблему выпивки — штампованную жестяную кружку, выкрашенную тремя поперечными полосами в государственные цвета: светло-коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый. Радость, несомненно, царила в сердцах тех соплеменников, кто значился в официальном списке приобщаемых в этот день к пивной благодати.

Лица прохожих, попадавшихся нам навстречу, явственно выражали исключительное усердие, от них исходили тончайшие волны рвения, усиливавшиеся при виде полицейского; люди ускоряли шаги, на их лицах было выражение исполненного долга, а женщины, выходявшие из магазинов, старались смотреть на мир, как им и полагалось, сияющими от счастья глазами; закон повелевал женщине проявлять радость, веселье и бодрость уже только потому, что она хозяйка дома, призванная хорошим обедом восстанавливать по вечерам силы государственного работника.

Но все эти люди ловко уклонялись от непосредственной встречи с нами; всякое проявление жизни на улице исчезало за двадцать шагов от нас, каждый норовил быстро шмыгнуть в первый попавшийся магазин или свернуть за угол, а некоторые забегали даже в незнакомые дома и, стоя за дверью, боязливо выжидали, пока замрет звук наших шагов.

Только однажды, как раз в ту минуту, когда мы пересекали перекресток, нам повстречался пожилой человек, на груди которого я сразу заметил значок школьного учителя; старик никак не мог уклониться от этой встречи, и ему поневоле пришлось выполнить свой долг: прежде всего он по всем правилам приветствовал полицейского, в знак полного смирения трижды хлопнув себя ладонью по голове; затем он трижды плюнул мне в лицо и обозвал обязательным в таких случаях ругательством: «Грязный изменник!»

Он метко целился, но, видно, ему было жарко и у него пересохло во рту, так что до меня долетело лишь несколько жалких, почти невесомых, брызг, которые я, вопреки закону, невольно вытер рукавом, за что полицейский пнул меня ногой в зад и ударил кулаком между лопаток, пояснив спокойным голосом: «Первая степень», что означало — первая, наиболее мягкая мера наказания, применяемая любым полицейским чином.

Учитель поспешно унес ноги. Всем прочим удавалось вовремя свернуть в сторону; только одна женщина, совершавшая обязательную предвечернюю прогулку возле казармы для любовных утех, бледная, одутловатая блондинка, послала мне мимоходом воздуш-

ный поцелуй, и я благодарно улыбнулся в ответ; полицейский же постарался сделать вид, что ничего не заметил. Полиции не возбранялось разрешать этому сорту женщин вольности, за которые всякому другому пришлось бы дорого заплатить. Пресловутый закон их не касался, они больше, чем кто бы то ни было, содействовали подъему трудоспособности государственных работников; впрочем, эту льготу трижды доктор государственной философии Бляйгёт заклеил в официальном журнале по вопросам общеобязательной философии как признак зарождающегося либерализма.

Я прочел об этом накануне, по дороге в столицу, обнаружив несколько газетных листов в нужнике на одном крестьянском дворе. Какой-то студент — возможно, сын этого самого крестьянина — снабдил рассуждения трижды доктора философии весьма глубокими мысленными комментариями на полях.

К счастью, мы уже дошли до полицейского участка, когда завыли сирены, а это означало, что через несколько минут улицы наводнят тысячи людей, с лицами, сияющими тихим счастьем (именно тихим, так как бурное выражение счастья по окончании рабочего дня означало бы, что работа была в тягость; ликование же, песни и ликование должны были сопровождать начало рабочего дня), и всем этим тысячам пришлось бы плевать в меня. Так или иначе, но вой сирены означал, что до окончания рабочего дня осталось десять минут; все работники обязаны были эти десять минут основательно мыться, согласно девизу нынешнего верховного правителя: «Счастье и мыло».

Дверь в здание полицейского участка, попросту говоря — в бетонную глыбу, охранялась двумя часовыми, и, когда я проходил, они применили ко мне положенную «меру телесного наказания» — сильно ударили штыками по голове и дулами пистолетов по ключицам, — согласно преамбуле государственного закона № 1, гласившей: «Каждый полицейский чин обязан оставить на теле схваченного (так они именуют арестованного) документальный след своей власти; исключение составляет лишь тот, кто схватил преступника, ибо сему полицейскому предоставлена счастливая возможность применить необходимые меры телесного наказания во время допроса».

Сам государственный закон № 1 гласил: «Каждый полицейский чин *может* и *должен* собственноручно наказывать любого, кто в чем-либо провинится перед законом. Не обязательна очередность в осуществлении наказаний. Существует только возможность такой очередности».

Мы прошли по длинному коридору с голыми стенами и множеством больших окон, и перед нами автоматически открылась дверь: часовые, стоявшие у входа, уже сообщили о нашем прибытии; так как в те дни все были счастливы, законопослушны, аккуратны и каждый старался вымылить предписанные полкилограмма мыла в день, то появление схваченного (арестованного) было событием.



В полупустой комнате, куда мы вошли, находился лишь письменный стол с телефоном на нем да два кресла; я должен был стоять посреди комнаты; полицейский снял шлем и сел.

Сначала царило молчание и ничего не происходило; так всегда делается, и это самое скверное; я чувствовал, как лицо мое с каждой минутой становится все несчастней, я устал и был голоден, теперь исчезли и последние следы моего грустного счастья — я знал, что гибну.

Через несколько секунд молча вошел долговязый бледный человек в светло-коричневой форме младшего следователя; также не говоря ни слова, он сел и окинул меня взглядом.

— Профессия?

— Рядовой соплеменник.

— Родился?

— Первого, первого... двадцать первого года,— сказал я.

— Занятие?

— Заключение.

Следователь переглянулся с полицейским.

— Когда и где выпущен?

— Вчера, корпус двенадцать, камера тринадцать.

— Куда направлен?

— В столицу.

— Документ.

Я достал из кармана свидетельство об освобождении и передал его следователю. Он подколол его к зеленой карточке, на которой записывал мои показания.

— За что осужден?

— За счастливое лицо.

Следователь и полицейский переглянулись.

— Точнее! — сказал следователь.

— Мое счастливое лицо привлекло внимание полицейского в день объявления всеобщего траура — то была годовщина смерти верховного правителя.

— Срок?

— Пять.

— Поведение?

— Плохое.

— Точнее!

— Уклонение от трудовых обязанностей.

— Допрос окончен.

Младший следователь встал, подошел ко мне и одним ударом выбил три передних зуба в знак того, что я, как рецидивист, должен быть особо заклеимен. Это была усиленная мера наказания, на которую я не рассчитывал. Осуществив ее, младший следователь вышел из комнаты, и на смену ему вошел толстый детина в темно-коричневой форме — следователь.

Все они меня били: следователь, старший следователь, главный следователь, судья и главный судья, а в промежутках по-

лицейский применял все телесные наказания, предписанные законом. За мое грустное лицо они приговорили меня к десяти годам, точно так же как в прошлый раз приговорили к пяти годам за мое счастливое лицо.

Впредь, если мне удастся пережить ближайшее десятилетие в условиях всеобщего счастья и мыльной благодати, я уж постараюсь не иметь никакого лица...

# ИРЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК



# *IRISCHES TAGEBUCH*

*1954—1957*

*Перевод С. Фридлянд и В. Нефедьева*

Такая Ирландия существует, однако пусть тот, кто поедет туда и не найдет ее, не требует от автора возмещения убытков.

*Я посвящаю эту маленькую книгу Карлу Корфу, тому, кто побудил меня ее написать*

## ПРИБЫТИЕ I

Не успев еще подняться на борт парохода, я сразу увидел, услышал, учуял, что пересек границу. Я уже повидал одно из самых пригожих обличий Англии — почти буколический Кент и мимоходом — Лондон, это чудо топографии. Повидал я и одно из самых мрачных обличий Англии — Ливерпуль, но здесь, на пароходе, Англия кончилась. Здесь уже пахло торфом, со средней палубы и из бара доносился гортанный кельтский говор, и здесь общественный строй Европы принял совсем другие формы: бедность здесь уже перестала быть пороком, была не пороком и не доблестью, а просто фактором общественного самосознания, не значащим ровно ничего — как и богатство. Складки на брюках утратили остроту лезвия, и английская булавка, эта древняя застежка кельтов и германцев, снова вступила в свои права. Там, где пуговица казалась точкой, которую поставил портной, словно запятую прикалывали булавку; знак вольной импровизации, она создавала складку в том месте, где пуговица делала ее невозможной. Я видел, как булавкой прикрепляли ярлык с обозначением цены, надставляли подтяжки, подменяли запонки и, наконец, как один мальчик употребил ее в качестве оружия, уколов в зад какого-то мужчину; мальчик удивился, даже испугался, потому что мужчина никак на это не реагировал; тогда мальчик ткнул в мужчину пальцем, чтобы установить, жив он еще или нет. Мужчина был жив, он расхохотался и хлопнул мальчика по плечу.

Все длиннее становилась очередь к окошечку, где за доступную цену выдавали щедрые порции западноевропейского нектара, именуемого чаем. Казалось, ирландцы изо всех сил стараются удержать и этот мировой рекорд, в котором они идут непосредственно перед Англией: почти десять фунтов чая потребляется ежегодно в Ирландии на душу населения. Другими словами, ежегодно через каждую ирландскую глотку протекает маленькое озеро чая.

Пока я медленно продвигался к окошку, у меня было достаточно времени, чтобы освежить в памяти и другие рекорды Ирландии. Не только по чаепитию держит рекорд эта маленькая страна. Второй ее рекорд — по молодым священникам. (Кёльнской епархии пришлось бы посвящать в сан почти тысячу священников ежегодно, чтобы сравниться с какой-нибудь маленькой ирландской епархией.) Третий рекорд Ирландии — посещаемость кино, и снова (как много общего, несмотря на все различия!) она идет непосредственно впереди Англии. И наконец, четвертый, самый важный (не берусь утверждать, что он находится в причинной связи с тремя первыми), — в Ирландии меньше самоубийств, чем где бы то ни было на этой земле. Рекорды потребления виски и сигарет еще не зафиксированы, но и в этой области Ирландия ушла далеко вперед, — Ирландия, маленькая страна, площадь которой равна Баварии, а населения в ней меньше, чем между Эссенем и Дортмундом.

Полуночная чашечка чаю, когда ты дрожишь на западном ветру, а пароход медленно выходит в открытое море; потом виски наверху в баре, где все еще звучит гортанная кельтская речь, хотя теперь только из одной ирландской глотки. В холле перед баром монахини, как большие птицы, устраиваются на ночлег; им тепло под чепцами, им тепло под длинными юбками, они медленно выбирают четки, как выбирает концы отходящее от причала судно. Молодой человек, стоящий у стойки с грудным младенцем на руках, потребовал пятую кружку пива и получил отказ, и у его жены, которая с двухлетней девочкой стоит рядом, бармен тоже отобрал кружку и не стал наполнять ее снова; бар медленно пустеет, смолкла гортанная кельтская речь, тихо кивают во сне монахини; одна из них забыла выбрать свои четки, крупные бусины перекатываются от качки; двое с детьми, не получив больше пива, бредут мимо меня в угол, где из коробок и чемоданов соорудили для себя маленькую крепость, там, притулившись с обеих сторон к бабушке, спят еще двое детей, и бабушкин черный платок греет всех троих. Грудного младенца и его двухлетнюю сестренку водворили в бельевую корзину, а родители молча протиснулись между двумя чемоданами и прижались друг к другу. Белая узкая рука мужчины, словно палатку, натягивает плащ. Все смолкло, только крепость из чемоданов тихо подрагивает в такт качке.

Я забыл приглядеть себе место на ночь, и теперь мне приходится шагать через ноги, ящики и чемоданы; в темноте светятся огоньки сигарет, ухо ловит обрывки тихих разговоров: «Коннемара... безнадежно... официантка в Лондоне...» Я забился между шлюпкой и кучей спасательных поясов, но сюда задувает пронзительный сырой вест. Я встаю и иду по палубе парохода, где пассажиры скорее напоминают эмигрантов, чем людей, возвращающихся на родину. Ноги, огоньки сигарет, шепот, обрывки разговоров. Наконец какой-то священник хватает меня за полу и с улыбкой предлагает место возле себя. Я прислоняюсь к стенке,

чтобы уснуть, но справа от священника из-под серо-зеленого поло-сатого пледа раздается нежный и чистый голос:

— Нет, отец мой, нет, нет... Думать об Ирландии слишком горько. Раз в год мне приходится сюда ездить, чтобы пови-дать родителей. Да и бабушка еще жива. Вы знаете графство Голуэй?

— Нет,— тихо сказал священник.

— Коннемару?

— Нет.

— Вам надо там побывать. И не забудьте на обратном пути посмотреть в Дублинском порту, что вывозит Ирландия: детей и священников, монахинь и печенье, виски и лошадей, пиво и со-бак...

— Дитя мое,— тихо сказал священник,— не следует поми-нать все это рядом...

Под серо-зеленым плодом вспыхнула спичка и на мгновение вырвала из темноты резкий профиль.

— Я не верю в бога,— произнес нежный и чистый голос,— да, не верю,— так почему же я не могу поставить рядом священ-ников и виски, монахинь и печенье; я не верю и в Kathleen ní Houlihan<sup>1</sup>, в эту сказочную Ирландию. Я два года прослужила в Лондоне, официанткой: я видела, сколько проституток...

— Дитя мое,— тихо сказал священник.

— ...сколько проституток поставляет Лондону Kathleen ní Hou-  
lihan — остров Святых.

— Дитя мое!

— Наш приходский священник тоже называл меня так: дитя мое... Он приезжал к нам издалека на велосипеде, чтобы отслу-жить воскресную мессу, но и он не мог воспрепятствовать Kathleen ní Houlihan вывозить самое ценное, что у нее есть,— своих детей. Поезжайте в Коннемару, отец, вы наверняка еще не встречали так много красивых пейзажей сразу и так мало людей на них. Может быть, вы и у нас когда-нибудь отслужите мессу... Тогда вы увидите, как смиренно я преклоняю колена в церкви по воскресеньям.

— Но вы же не верите в бога?

— Неужели вы думаете, что я могу позволить себе не ходить в церковь и тем огорчать моих родителей? «Наша милая девочка набожна, все так же набожна. Наше милое дитя!» А когда я уез-жаю, бабушка целует меня, благословляет и говорит: «Оставайся всегда такой же набожной, милое мое дитя...» Вы знаете, сколько внуков у моей бабушки?..

— Дитя мое, дитя мое,— тихо сказал священник.

Ярко вспыхнула сигарета и снова осветила на несколько секунд строгий профиль.

— Тридцать шесть внуков у моей бабушки, тридцать шесть; было тридцать восемь, но одного убили в боях за Англию, а дру-

<sup>1</sup> Кэтлин, дочь Холиэна (ирл.) — символический образ Ирландии.

гой пошел ко дну на английской подводной лодке. Тридцать шесть еще живы: двадцать в Ирландии, а остальные...

— Есть страны,— тихо сказал священник,— которые экспортируют гигиену и мысли о самоубийстве, атомное оружие, пулеметы, автомобили...

— Я знаю,— ответил нежный, чистый девичий голос,— я все это знаю. У меня у самой брат священник, и два двоюродных тоже: только у них одних из всей нашей родни есть свои машины.

— Дитя мое...

— Попробую вздремнуть. Доброй ночи, отец мой, доброй ночи.

Горящая сигарета полетела за борт. Серо-зеленый плед обтянул узкие плечи. Голова священника как бы укоризненно покачивалась из стороны в сторону, а может, движение парохода было тому виной.

— Дитя мое,— еще раз тихо сказал священник, но ответа не последовало.

Священник со вздохом откинулся назад и поднял воротник пальто; четыре английские булавки были приколоты на обратной стороне воротника, четыре, нанизанные на пятую, они раскачивались в такт легким толчкам судна, медленно подплывающего сквозь серую мглу к острову Святых.

## ПРИБЫТИЕ II

Чашка чаю, теперь уже на рассвете, когда ты дрожишь на западном ветру, а остров Святых еще прячется от солнца в утреннем тумане. На этом острове живет единственный народ Европы, который никогда никого не завоевывал, хотя сам бывал завоеван неоднократно — датчанами, норманнами, англичанами. Лишь священников посылал он в другие земли, лишь монахов да миссионеров, которые окольным путем, через Ирландию, поставляли в Европу дух фивейской схимы; более тысячи лет назад здесь, вдали от центра, задвинутое глубоко в Атлантический океан, лежало пылающее сердце Европы...

Как много серо-зеленых пледов, плотно окутывающих узкие плечи, как много суровых профилей вижу я вокруг, как много высоко поднятых священнических воротников с запасной английской булавкой, на которой болтаются еще две, три, четыре... Узкие лица, воспаленные от бессонной ночи глаза, младенец в бельевой корзине сосет из рожка молоко, покуда отец его тщетно требует пива там, где наливают чай. Утреннее солнце медленно извлекает из тумана белые дома, красно-белый огонь маяка облаивает нас, а пароход, пыхтя, входит в гавань Дан-Лэре. Чайки приветствуют его. Серый силуэт Дублина выглянул из тумана и снова исчез; церкви, памятники, доки, газгольдер, робкие дымки из труб; время завтрака наступило пока для очень немногих, Ирландия еще спит. Носильщики на пристани протирают сонные глаза, таксисты



дрожат на утреннем ветру. Ирландские слезы встречают и родину и вернувшихся. Имена, словно мячики, летают в воздухе.

Я устало перешел с корабля на поезд, с поезда через несколько минут — на большой темный вокзал Уэстленд-Роу, с вокзала на улицу. В окне черного дома молодая женщина убирала с подоконника оранжевый молочник. Она улыбнулась мне, и я улыбнулся в ответ.

Обладай я такой же несокрушимой наивностью, как тот молодой немецкий подмастерье, который в Амстердаме познавал жизнь и смерть, нищету и богатство господина Каннитферстана<sup>1</sup>, я мог бы в Дублине узнать все о жизни и смерти, о нищете, богатстве и славе господина Сорри. Кого бы я ни спрашивал, о чем бы я ни спрашивал, я на все получал односложный ответ: «Сорри»<sup>2</sup>. И хотя я не знал, но мог догадаться, что утренние часы между семью и десятью — единственные, когда ирландцы склонны к односложности. Поэтому я решил не пускать в ход свои скудные познания в языке и с горя утешился тем, что я по крайней мере не так наивен, как наш достойный зависти подмастерье в Амстердаме. А до чего же хотелось спросить: «Чьи это большие корабли стоят в гавани?» — «Сорри». — «А кто это высится на пьедестале среди утреннего тумана?» — «Сорри». — «А чьи это оборванные, боконогие детишки?» — «Сорри». — «А кто этот таинственный молодой человек, который стоит на задней площадке автобуса и очень здорово подражает автоматной очереди: так-так-так — разносится в утреннем тумане?» — «Сорри». — «А кто скачет, кто мчится под утренней мглой при сером цилиндре и с тростью большой?» — «Сорри».

Я решил полагаться не столько на свой язык и чужие уши, сколько на собственные глаза и довериться вывескам. И тогда все эти Джойсы и Йитсы, Мак-Карти и Моллои, О'Нилы и О'Конноры предстали передо мною в качестве бухгалтеров, трактирщиков, лавочников. Даже следы Джекки Кугана вели, казалось, сюда же, и наконец я вынужден был принять решение, вынужден был признаться самому себе, что человека, который все еще одиноко стоит на своем высоком пьедестале и зябнет на прохладном утреннем ветру, зовут вовсе не Сорри, а Нельсон.

Я купил газету, вернее, журнал, который назывался «Айриш дайджест», меня тотчас же соблазнило объявление, которое я перевел так: «Разумная кровать и разумный завтрак»<sup>3</sup>, — и я решил для начала разумно позавтракать.

Если чай на континенте напоминает пожелтевший бланк почтового перевода, то на этих островах, к западу от Остенде, чай напоминает темные краски русских икон, сквозь которые светится позолота, — до тех пор, покуда его не забелят молоком, а тогда

<sup>1</sup> Имеется в виду рассказ И. П. Гебеля «Каннитферстан» (по-русски известен в стихотворном переложении В. А. Жуковского «Две были и еще одна»).

<sup>2</sup> Sorry — простите, не понимаю (англ.).

<sup>3</sup> “Bed and Breakfast Reasonable” — «Ночлег и завтрак по умеренным ценам» (англ.).

он приобретает цвет кожи перекормленного грудного младенца. На континенте чай заваривают жидко, а подают в дорогих фарфоровых чашках; здесь в услужение чужестранцу равнодушно и чуть не за даром наливают из помятых жестяных чайников в толстые фаянсовые чашки воистину божественный напиток.

Завтрак был хорош, чай достоин своей славы, а на закуску мы получили бесплатную улыбку молодой ирландки, которая разливала чай.

Я развернул газету и сразу же наткнулся на письмо читателя, требовавшего, чтобы статую Нельсона свергли с ее высокого пьедестала и заменили статуей богоматери. Еще одно письмо с требованием свергнуть Нельсона, еще одно.

Пробило восемь часов, и тут вдруг ирландцы разговорились и увлекли меня за собой. Я был захлестнут потоком слов, из которых понял только одно: *Germany*<sup>1</sup>. Тогда я дружелюбно, но твердо решил отбиваться их же оружием — словом «сорри» — и наслаждаться бесплатной улыбкой непричесанной богини чая, но вдруг меня спугнул внезапный грохот, я бы даже сказал — гром. Неужели на этом удивительном острове так много поездов? Гром не стихал, он распался на отдельные звуки, мощное вступление к “*Tantum Ergo*”<sup>2</sup> стало отчетливо слышно со слов “*Sacramentum — venegemur cernui*” и до последнего слога, из соседней церкви святого Андрея разносясь над всей Уэстленд-Роу. Незабываемым — как первые чашки чая и те многие, что мне еще предстояло выпить в заброшенных грязных местечках, в отелях и у камина, — было и впечатление от всеобъемлющей набожности, заполонившей Уэстленд-Роу вскоре после “*Tantum Ergo*”. У нас лишь на пасху или на рождество можно увидеть, чтобы из церкви выходило столько людей. Впрочем, я еще не забыл исповедь безбожницы со строгим профилем.

Было всего только восемь часов утра и воскресенье — слишком рано, чтобы будить того, кто меня пригласил, но чай остыл, а в кафе запахло бараньим жиром, и посетители взяли свои картонки и чемоданы и устремились к автобусам. Я вяло перелистывал «Айриш дайджест», пытался переводить кое-какие первые строчки статей и заметок, покауда внимание мое не привлекла чья-то мудрость, опубликованная на странице двадцать третьей. Я понял смысл этого афоризма задолго до того, как успел перевести; не переведенный, не выраженный по-немецки и, однако же, понятый, он производил даже более сильное впечатление, чем после перевода. «Кладбища полны людей, без которых мир не мог обойтись».

Мне показалось, что ради этой фразы стоило совершить путешествие в Дублин, и я порешил запрятать ее поглубже у себя в сердце на тот случай, если я вдруг возмню о себе. (Позднее она служила ключом, помогающим мне понять удивительную смесь

<sup>1</sup> Германия (англ.).

<sup>2</sup> Католическая молитва.

из страсти и равнодушия, чудовищной усталости и безразличия в соединении с фанатизмом, с которой мне часто приходилось сталкиваться.)

Прохладные большие виллы прятались за рододендронами, пальмами и олеандрами, и я, несмотря на неприлично ранний час, решил наконец разбудить своего хозяина. Вдалеке уже завиднелись горы и длинные ряды деревьев.

Всего через каких-нибудь восемь часов один мой соотечественник категорически заявит мне: «Здесь все грязно, все дорого и ни за какие деньги не достать настоящего карбонада», и я буду защищать Ирландию, хотя провел в ней всего десять часов, всего десять, из которых пять проспал, час просидел в ванне, час простоял в церкви и еще один час поспорил с вышеупомянутым соотечественником, выдвинувшим против моих десяти часов целых шесть месяцев. Я страстно защищал Ирландию. Чаем, “Tantum Ergo”, Джойсом и Йитсом сражался я против карбонада — оружия тем более для меня опасного, что я понятия о нем не имел и, борясь, лишь смутно догадывался, что мой враг — какое-то мясное блюдо. (Только уже вернувшись домой и заглянув в словарь Дудена, я выяснил, что карбонад — это жареная грудинка.) Однако боролся я напрасно: человек, едущий за границу, предпочитает оставлять дома все недостатки своей страны — о, эта домашняя суета! — но брать с собой ее карбонад. Точно так же, должно быть, нельзя безнаказанно пить чай в Риме, как нельзя безнаказанно пить кофе в Ирландии, разве что его варил итальянец. Я сложил оружие, сел в автобус и поехал, любуясь по дороге бесконечными очередями перед кинотеатрами, которых здесь великое изобилие. Утром, подумалось мне, народ толпится в церквях и перед ними, вечером — в кинотеатрах и перед ними. В зеленом газетном киоске, где меня вновь покорила улыбка молодой ирландки, я купил газеты, шоколад, папиросы. И тут мой взгляд упал на книгу, затерявшуюся среди брошюр. Белая ее обложка с красной каймой уже порядком испачкалась; продавалась эта древность за один шиллинг, и я купил ее. Это был «Обломов» Гончарова на английском языке. Я знал, что Обломов — из тех мест, которые находятся на четыре тысячи километров восточнее Ирландии, и все-таки мне подумалось, что ему самое место в этой стране, где так не любят рано вставать.

## ПОМОЛИСЬ ЗА ДУШУ МАЙКЛА О'НИЛА

На могиле Свифта я застудил сердце — так чисто было в соборе святого Патрика, так безлюдно, так много стояло там патристических мраморных изваяний, так глубоко под холодными камнями покоился его неистовый настоятель и рядом с ним его жена — Стелла. Две квадратные медные таблички, надраенные до блеска, словно руками немецкой хозяйки; побольше — над Свифтом, поменьше — над Стеллой. Мне надо бы принести черто-

полох, цепкий, кустистый, голенастый, да несколько веточек клевера, да несколько нежных цветков без колючек, может быть жасмин или жимолость, — это был бы подходящий привет для обоих. Но руки мои были пусты, как эта церковь, холодны и чисты, как она. Со стен свисали приспущенные полковые знамена. Действительно ли они пахнут порохом? Судя по их виду, должны бы, но здесь пахло только тленом, как во всех церквях, где уже много столетий не курят ладаном. Мне почудилось, будто в меня стреляют ледяными иглами, я обратился в бегство и только у самых дверей обнаружил, что в церкви все-таки был один человек — уборщица, которая мыла щелоком входную дверь, чистила то, что и так было достаточно чистым.

Перед собором стоял ирландец-нищий — первый, который мне здесь встретился. Такие бывают только в южных странах, но на юге светит солнце, а здесь, к северу от пятидесяти третьего градуса северной широты, тряпье и лохмотья выглядят несколько иначе, чем к югу от тридцатого, здесь нищету поливает дождь, а грязь не покажется живописной даже самому неисправимому эстету, здесь нищета забила в трущобы вокруг святого Патрика, в закоулки и дома — точно такая, какой описал ее Свифт в 1743 году.

Болтались пустые рукава куртки нищего — грязные чехлы для несуществующих рук. По лицу пробегала эпилептическая дрожь, и все-таки это худое смуглое лицо было прекрасно красотой, которую предстоит запечатлеть в другой, не в моей записной книжке. Я должен был вставить зажженную сигарету прямо ему в рот, деньги положить прямо в карман. Мне показалось, что я подал милостыню покойнику. Темнота нависла над Дублином: все оттенки серого, какие только есть между белым и черным, отыскивали себе в небе по облачку; небо было усеяно перьями бесчисленной серости — ни клочка, ни полоски ирландской зелени. Медленно, дергаясь, побрел нищий под этим небом из парка святого Патрика в свои трущобы.

В трущобах грязь черными хлопьями покрывает оконные стекла, словно их нарочно забросали грязью, выскребли для этого из труб, выудили из каналов, впрочем, здесь мало что делается нарочно, да и само собой мало что делается. Здесь делается выпивка, любовь, молитва и брань, здесь пламенно любят бога и, должно быть, так же пламенно его ненавидят.

В темных дворах, которые видел еще глаз Свифта, десятилетия и столетия откладывали эту грязь — гнетущий осадок времени. В окне лавки старьевщика навалена невообразимая пестрая рухлядь, а чуть поодаль я наткнулся на одну из целей моего путешествия — это был трактир, разделенный на стойла с кожаными занавесками. Здесь пьяница запирается сам, как запирают лошадей, чтобы остаться наедине со своим виски и своим горем, с верой и неверием; он спускается на дно своего времени, в кессонную камеру пассивности и сидит там, пока не кончатся деньги, пока не придется снова вынырнуть на поверхность времени и через

силу поработать веслом — совершая движения беспомощные и бессмысленные, ибо каждая лодка неуклонно приближается к темным водам Стикса. Не диво, что для женщин, этих тружениц нашей планеты, нет места в таких кабаках; мужчина здесь остается наедине со своим виски, далекий от всех дел, за которые ему пришлось взяться, дел, имя которым — семья, профессия, честь, общество. Виски горько и благотворно, а где-нибудь на четыре тысячи километров к западу и где-нибудь к востоку, за двумя морями, есть люди, верящие в деятельность и прогресс. Да, есть такие люди, так горько виски и так благотворно. Хозяин с бычьим затылком просовывает в стойло очередной стакан. Глаза у хозяина трезвые, голубые у него глаза, и он верит в то, во что не верят люди, его обогащающие. Деревянные переборки, обшивка, стены пропитаны шутками и проклятиями, надеждами и молитвами. Сколько их там?

Уже заметно, как кессонная камера для пьяниц-одиночек все глубже опускается на темное дно времени, мимо рыб и затонувших кораблей, но и здесь, внизу, нет больше покоя с тех пор, как водолазы усовершенствовали свои приборы. А потому — вынырнуть, набрать в легкие побольше воздуха и снова заняться делами, имя которым — честь, профессия, семья, общество, покуда водолазы не пробуравили кессон! «Сколько?» Монеты, много монет брошено в жесткие голубые глаза хозяина.

Небо было по-прежнему затянуто всеми оттенками серого цвета, и по-прежнему не было видно ни одного из бесчисленных оттенков ирландской зелени, когда я направился к другой церкви. Прошло очень мало времени: у входа в церковь стоял тот самый нищий, и какой-то школьник вынимал у него изо рта сигарету, которую сунул я. Мальчик тщательно затушил ее, чтоб не пропало ни крошки табака, и бережно спрятал окурки в карман нищего, потом он снял с него шапку: кто же осмелится, даже если у него нет обеих рук, войти в божий храм, не сняв шапки? Для него придерживали дверь, пустые рукава мазнули по дверному косяку, мокрые, грязные рукава, будто нищий вывалил их в сточной канаве, — но там, в церкви, никому нет дела до грязи.

Как безлюден, чист и прекрасен был собор святого Патрика; здесь же, в этой церкви, оказалось полно людей и аляповатых украшений, и была она не то чтобы грязная, а запущенная — так выглядят комнаты в многодетных семьях. Некоторые люди — среди них, я слышал, есть один немец, который таким путем распространяет в Ирландии достижения немецкой культуры, — зарабатывают немалые деньги на производстве гипсовых фигур, но гнев на фабрикантов халтуры слабеет при виде тех, кто преклоняет колена перед их продукцией: чем пестрей, тем лучше, чем аляповатей, тем лучше; хорошо бы, чтоб совсем «как живой!» (осторожней, богомолец: живой — это совсем не «как живой!»).

Темноволосая красавица — с вызывающим видом оскорбленного ангела — молится перед статуей Магдалины; на ее лице — зеленоватая бледность, ее мысли и молитвы заносятся в неведомую

мне книгу. Школьники с клюшками для керлинга под мышкой вымаливают себе избавление от голгофы; в темных углах горят лампы перед сердцем Христовым, перед Little Flower<sup>1</sup>, перед святым Антонием, перед святым Франциском: здесь из религии вычерпывают все до самого дна. Нищий сидит на последней скамье и подставляет свое эпилептически подрагивающее лицо под струю благовоний.

Заслуживают внимания новинки божественной индустрии: неоновый нимб вокруг головы девы Марии и фосфоресцирующий крест в чаше со святой водой, розовым светом озаряет он полумрак церкви. Будут ли раздельно занесены в Книгу те, кто молится здесь, перед этой безвкусицей, и те, кто молится в Италии перед фресками фра Анджелико?

Красавица с зеленоватой бледностью все еще не отводит взгляда от Магдалины, лицо нищего все еще подергивается, его тело охвачено дрожью, и от этой дрожи позвякивают монеты у него в кармане. Мальчики с клюшками, должно быть, знают нищего, умеют читать подрагивание его лица и тихое бормотание; один из них лезет к нищему в карман, на грязной мальчишеской ладони оказываются четыре монетки — два пенни, один шестипенсовик и один трехпенсовик. Одно пенни и трехпенсовик остаются на ладони мальчика, остальные со звоном падают в церковную кружку. Вот где проходят границы математики, психологии, экономики — границы всех более или менее точных наук, — они накладываются одна на другую в эпилептическом подергивании лица: основа слишком ненадежная, чтобы на нее можно было положиться. Но все еще живет в моем сердце холод, унесенный с могилы Свифта: чистота, безлюдье, мраморные статуи, полковые знамена и женщина, которая наводила чистоту там, где и без того уже достаточно чисто. Прекрасен был собор святого Патрика, уродлива эта церковь, но в ней молятся, и на скамьях я нашел то, что находил на многих церковных скамьях Ирландии, — маленькие эмалированные таблички с призывом молиться. *«Помолись за душу Майкла О'Нила, скончавшегося 17.1.1933 в возрасте 60 лет».* *«Помолись за душу Мэри Киген, скончавшейся 9 мая 1945 года в возрасте восемнадцати лет».* Какое благочестивое и ловкое принуждение: мертвые оживают, даты их смерти связываются в представлении того, кто прочтет табличку, с его собственными переживаниями в тот день, в тот месяц, в тот год. Гитлер с подергивающимся лицом ждал прихода к власти, когда здесь умер шестидесятилетний Майкл О'Нил; когда Германия капитулировала, здесь умерла восемнадцатилетняя Мэри Киген. *«Помолись, — прочел я, — за душу Кевина Кессиди, скончавшегося 20.12.1930 в возрасте тринадцати лет»*, — и меня словно ударило электрическим током, ибо в декабре 1930 года мне самому было тринадцать лет: в большой темной квартире богатого доходного дома — так их еще называли в 1908 году, — в южной части Кёльна, я сидел с рож-

<sup>1</sup> Имеется в виду святая Тереза из Лизьё.

дественским табелем в руках: начались каникулы, и сквозь прореху в коричневой шторе я глядел на заснеженную улицу.

Улица казалась красноватой, словно ее вымазали ненастоящей, бутафорской кровью: красны были сугробы, красно небо над городом, даже скрежет трамвая на кругу — и тот казался мне красным. Но когда я выглядывал в щель между шторами, я видел все так, как было на самом деле: тронутые коричневым края снежных холмиков, черный асфальт, у трамвая цвет давно не чищенных зубов, а когда трамвай разворачивался на кругу, скрежет его представлялся мне светло-зеленым — ядовитая зелень окропляла голые ветви деревьев.

Итак, в этот день в Дублине умер тринадцатилетний Кевин Кессиди, мой ровесник; здесь устанавливали катафалк, с хоров неслись звуки *"Dies irae, dies illa"*<sup>1</sup>, перепуганные одноклассники Кевина заполняли скамьи: ладан, жар от свечей, серебряные кисти на черном покрове, — а я в это время спрятал табель и достал из сарая санки, чтобы идти кататься. Я получил четверку по латыни, а гроб Кевина опустили в могилу.

Потом, когда я покинул церковь и пошел по улице, рядом со мной неотступно шел Кевин Кессиди: я видел его живым, одного со мной возраста, а себя я увидел на несколько минут тридцатисемилетним Кевином Кессиди — он был отцом троих детей, жил в трущобах за собором святого Патрика, виски было горьким, холодным и дорогим, могила Свифта осыпала его ледяными стрелами, зеленоватая бледность была на лице у его темноволосой жены, и долги у него были, и маленький домик, каких великое множество в Лондоне и тысячи в Дублине: скромный, двухэтажный, бедный, мещанский, затхлый, безотрадный — сказал бы о нем неисправимый эстет (не увлекайся, эстет: в одном из таких домов родился Джеймс Джойс, в другом — Шон О'Кейси).

Так близко была тень Кевина, что, вернувшись в трактир, я заказал два виски. Но тень не поднесла стакан к губам, и тогда я сам выпил за Кевина Кессиди, скончавшегося 20.12.1930 в возрасте тринадцати лет, выпил вместо него — и за него.

## МЕЙО — ДА ПОМОЖЕТ НАМ БОГ!

В центре Ирландии, в Атлоне, в двух с половиной часах от Дублина, если ехать скорым, поезд делят пополам. Лучшая часть, с вагоном-рестораном, идет дальше в Голуэй, часть похуже, та, где остались мы, — в Уэстпорт. Разлука с вагоном-рестораном, где как раз накрывали второй завтрак, была бы еще более печальной, будь у нас при себе деньги — английские или ирландские, — чтобы оплатить завтрак, первый ли, второй ли. Теперь же, поскольку между прибытием парохода и отправлением поезда у нас было всего полчаса, а дублинские банки открываются только в половине

---

<sup>1</sup> Строки реквиема.

десятого, мы располагали лишь легкими, но совершенно здесь бесполезными купюрами, которые печатаются банками Германии; изображение Фуггера<sup>1</sup> в средней Ирландии не котируется.

Я до сих пор не забыл, какого страху натерпелся в Дублине, когда в поисках обменного пункта выбежал из вокзала и меня чуть не переехал огненно-красный фургон, не имевший на себе иных украшений, кроме четко выведенной свастики. То ли кто-то продал Ирландии фургон «Фёлькишер беобахтер»<sup>2</sup>, то ли у «Фёлькишер. беобахтер» здесь сохранился филиал. Машины, которые я еще помню, выглядели точно так же, однако шофер, осенив себя крестом, любезно уступил мне дорогу, и, взглядевшись повнимательней, я все понял: это была просто-напросто машина прачечной «Свастика», и дата основания фирмы — 1912 год — была четко выведена под свастикой, но от простой мысли, что это мог быть один из тех автомобилей, у меня перехватило дыхание.

Все банки были закрыты, и, расстроенный, я вернулся на вокзал, решив пропустить сегодняшний поезд в Уэстпорт, потому что заплатить за билеты мне было нечем. У нас оставался выбор: либо снять до завтра номер в отеле и уехать завтрашним поездом (вечерний поезд не совпадал с расписанием нашего автобуса), либо изыскать *какой-нибудь* способ, чтобы уехать ближайшим поездом без билетов. *Какой-нибудь* способ сыскался: мы поехали в кредит. Начальник станции, тронутый видом троих невыспавшихся детишек, двух приунывших женщин и одного совершенно растерянного папаши (не забудьте, что две минуты назад он едва не угодил под машину со свастикой), подсчитал, что ночь в отеле будет стоить мне ровно столько же, сколько вся поездка в Уэстпорт. Он записал мое имя, «*число лиц, перевозимых в кредит*», одобрительно пожал мне руку и дал сигнал к отправлению.

Вот так на этом удивительном острове мы сподобились единственного в своем роде кредита, которым никогда до сих пор не пользовались и даже не пытались пользоваться: кредита у железной дороги.

Но — увы! — завтраков в кредит вагон-ресторан не представлял, и попытка получить его не увенчалась успехом. Физиономия Фуггера, хоть и отпечатанная на превосходной бумаге, не подействовала на старшего официанта. Мы со вздохом разменяли последний фунт и заказали термос чая и пакет бутербродов. А на долю проводников выпала нелегкая обязанность — заносить в свои книжечки наши диковинные имена. Занесли один раз, два, три, и мы забеспокоились: один раз, два или три придется нам выплачивать этот единственный в своем роде долг?

В Атлоне сменился проводник, пришел новый — рыжий, старательный и молодой. Когда я признался ему, что мы едем без билетов, лицо его озарилось светом полнейшего понимания: ему

---

<sup>1</sup> Фуггер — представитель крупнейшего немецкого торгово-ростовщического дома XV — XVII веков: бумажные деньги ФРГ снабжены изображением Фуггера.

<sup>2</sup> Гитлеровский официоз.



явно сообщили о нас, телеграф явно передавал со станции на станцию и наши имена, и *«число лиц, перевозимых в кредит»*.

За Атлоном наш после разделения ставший пассажирским поезд еще четыре часа полз, извиваясь, мимо все более мелких, все более западных станций. Самые приметные остановки между Атлоном (девять тысяч жителей) и побережьем таковы: Роскоммон и Клэрморрис, каждый с таким количеством жителей, которого хватило бы на три больших городских дома. Каслбар — столица графства Мейо — с четырьмя и Уэстпорт с тремя тысячами жителей; на отрезке пути, равном примерно расстоянию от Кёльна до Франкфурта-на-Майне, плотность населения неуклонно падает, потом начинается большая вода, а за ней — Нью-Йорк, где проживает в три раза больше людей, чем во всем Свободном Государстве Ирландия, и в три раза больше ирландцев, чем в трех ирландских графствах за Атлоном.

Вокзалы здесь маленькие, станционные постройки светло-зеленые, штакетники — снежно-белые, а на перроне обычно стоит мальчик, смастеривший себе из взятого у матери подноса и кожаного ремня лоток, на котором лежат три шоколадки, два яблока, несколько пакетиков с мятными лепешками, жевательная резинка и один комикс. Одному из этих мальчиков мы хотели доверить наш последний серебряный шиллинг, но затруднились выбором: женщины высказывались за яблоки и мятные лепешки, а дети — за резинку и комикс. Мы пошли на компромисс и купили комикс и шоколадку. У комикса было многообещающее название: *«Человек — летучая мышь»*, и на его обложке можно было различить человека в маске, карабкавшегося по стене дома.

На маленьком вокзале среди болот в полном одиночестве остался улыбающийся мальчик. Цвел колючий дрок, уже набухли почки на фуксиях; нехоженые зеленые холмы, кучи торфа; да, Ирландия зелена, очень зелена, но ее зелень — это не только зелень лугов, но и — во всяком случае на пути от Роскоммона к Мейо — еще и зелень мхов, а мох — это растение упадка и заброшенности. Земля заброшена, она медленно, но неуклонно безлюдует; и нам — никто из нас еще не видел этого уголка Ирландии и не бывал в том доме, который мы сняли *где-то* на западе Ирландии, — нам стало немного не по себе; тщетно искали мои спутницы слева и справа от дороги картофельные поля и огороды, свежую, менее упадочную зелень салата и более темную — гороха. Мы разделили плитку шоколада и пытались утешиться комиксом, но *«Человек — летучая мышь»* оказался прежде всего плохим человеком: он не только карабкался на стены домов, как обещала обложка, одной из его любимых забав было пугать спящих женщин, кроме того, расправив полы своего пальто, он умел летать по воздуху, он похищал миллионы долларов, и все его похождения были описаны на таком английском языке, какого не изучают ни в школах на континенте, ни в школах Англии, ни в школах Ирландии. Он был очень сильный, этот человек, очень справедливый, но суровый, а по отношению к несправедливым даже

и жестокий. Он мог при случае выбить кому-нибудь зубы, и звук, сопровождавший это действие, изображался выразительной подписью «хрясь». Нет, «Человек — летучая мышь» нас не утешил.

Впрочем, у нас осталось другое утешение: появился наш рыжий проводник и, улыбаясь, переписал наши имена в пятый раз. И тут наконец нам открылась великая тайна этого бесконечного переписывания: мы пересекли границу очередного графства и прибыли в Мейо. У ирландцев есть занятная привычка: всякий раз, когда произносят название графства Мейо (все равно — с похвалой, осуждением или просто так), короче, всякий раз, когда прозвучит слово «Мейо», ирландцы немедленно присовокупляют: “God help us!”<sup>1</sup> — и это звучит, как рефрен в богослужении: «Господи, помилуй нас!»

Проводник исчез, торжественно заверив нас, что переписывать больше не будет, и поезд остановился у маленькой станции. Выгружали здесь то же самое, что и всюду: сигареты, больше ничего. Мы уже научились судить по величине тюков о размерах прилегающего к станции района; проверка по карте подтвердила правильность этого метода. Я пошел вдоль поезда к багажному вагону посмотреть, сколько еще осталось тюков с сигаретами. Там лежал один маленький тюк и один большой — так я узнал, сколько нам еще осталось станций. Поезд угрожающе опустел. Я насчитал от начала до хвоста восемнадцать человек, а ведь одних нас было шестеро, и казалось, будто мы уже целую вечность едем мимо торфяных куч и мимо болот, хотя до сих пор нам ни разу не попалась на глаза ни свежая зелень салата, ни темная зелень гороха, ни горькая зелень картофельной ботвы. «Мейо,— шепнули мы,— да поможет нам бог!»

Поезд остановился, выгрузил большой тюк сигарет, а поверх белоснежной ограды вдоль платформы смотрели на нас темные лица, затененные козырьками,— мужчины, охраняющие, судя по всему, автоколонну. Мне уже и на других станциях бросались в глаза автомобили и мужчины при них, но лишь здесь я вспомнил, как часто видел их раньше. Они показались мне такими же привычными, как тюки с сигаретами, как наш проводник, как ирландские товарные вагоны, которые почти в два раза меньше английских и континентальных. Я прошел в багажный вагон, где наш рыжий друг примостился на последнем тюке с сигаретами. С превеликой осторожностью употребляя английские слова — так, верно, начинающий жонглер обращается с тарелками,— я спросил его, что это за люди с козырьками и зачем у них автомобили; я ожидал услышать в ответ какие-нибудь фольклорные толкования, перенесенные в современность — похищения, разбойники,— а получил ошеломляюще простое объяснение.

— Это такси,— ответил проводник, и я облегченно вздохнул.

Значит, такси здесь наверняка имеются, так же как и сигареты. Проводник, кажется, угадал мою скорбь: он протянул мне сигаре-

---

<sup>1</sup> Да поможет нам бог! (англ.)

ту, я с удовольствием взял ее, он дал мне прикурить и сказал с многообещающей улыбкой:

— Через десять минут мы будем у цели.

Через десять минут, точно по расписанию, мы оказались в Уэстпорте. Здесь нам устроили торжественную встречу. Сам начальник вокзала, крупный и представительный пожилой господин, приветливо улыбаясь, встречал нас у вагона и в знак приветствия поднес к фуражке большой латунный жезл — символ своего достоинства. Он помог выйти дамам, помог выйти детям, он кликнул носильщика, он целеустремленно, но незаметно подтолкнул меня к своему кабинету, записал мое имя, мой ирландский адрес и отечески посоветовал не обольщаться надеждой на то, что в Уэстпорте мне удастся обменять деньги. Он заулыбался еще приветливей, когда я показал ему портрет Фуггера, и, ткнув пальцем в Фуггера, сказал, чтобы успокоить меня:

— A nice man, a very nice man<sup>1</sup>. Это не к спеху, право же не к спеху, заплатите когда-нибудь. Не беспокойтесь, пожалуйста.

Я еще раз назвал ему обменный курс западногерманской марки, но представительный старец лишь качнул своим жезлом и сказал:

— На вашем месте я бы не стал беспокоиться. (I should not worry.) (Хотя плакаты самым решительным образом призывают нас беспокоиться: «Думайте о своем будущем!», «Уверенность прежде всего!», «Обеспечьте своих детей!»)

Но я все равно беспокоился. Досюда кредита хватило, но хватит ли его дальше — на два часа ожидания в Уэстпорте и еще два с половиной часа езды по графству Мейо — да поможет нам бог!

Телефонным звонком мне удалось извлечь директора банка из дома; он высоко поднял брови, ибо рабочий день для него уже кончился; мне удалось также убедить его в относительной безвыходности своего положения — деньги есть, а в кармане ни гроша, — и брови его поползли вниз! Однако мне так и не удалось убедить его в истинной ценности бумажек с изображением Фуггера... Он, верно, прослышал что-нибудь о существовании восточной и западной марки, о разнице между обеими валютами, а когда я показал ему слово «Франкфурт» как раз под портретом Фуггера, он сказал — не иначе у него была пятерка по географии: «В другой части Германии тоже есть Франкфурт». Тут мне ничего другого не осталось, как произвести сопоставление Майна и Одера — чего я, признаться, не люблю делать, — но по географии у него явно была все-таки простая пятерка, а не *summa cum laude*<sup>2</sup>, и эти тонкие нюансы, даже при наличии официального обменного

<sup>1</sup> Славный человек, очень славный! (англ.)

<sup>2</sup> Особые успехи, отмечаемые похвальной грамотой при экзамене на ученую степень.

курса, показались ему слишком незначительным основанием для предоставления значительного кредита.

— Я должен переслать ваши деньги в Дублин,— сказал он.

— Деньги? — переспросил я.— Вот эти бумажки?

— Разумеется,— сказал он,— а что мне здесь с ними делать?

Я опустил голову: он прав, что ему здесь с ними делать?

— А сколько времени пройдет, пока вы получите ответ?

— Четыре дня,— сказал он.

— Четыре дня,— сказал я.— God help us! — Это я по крайней мере усвоил.

Но тогда не может ли он под залог моих денег предоставить мне хоть небольшой кредит? Он задумчиво поглядел на Фуггера, на Франкфурт, на меня, открыл сейф и дал мне два фунта.

Я промолчал, подписал одну квитанцию, получил от него другую и покинул банк. На улице, разумеется, шел дождь, и мои people<sup>1</sup>, исполненные надежд, ждали меня на остановке автобуса. Голод смотрел на меня из их тоскующих глаз, ожидание помощи — надежной, мужской, отцовской, и я решил сделать то, на чем и зиждется миф о мужественности: я решил блефовать. Широким жестом я пригласил всех к чаю с ветчиной, и яйцами, и салатом — и откуда он только здесь взялся? — с печеньем и мороженым и был счастлив, когда после уплаты по счету у меня осталось еще полкроны. Полкроны мне хватило на десяток сигарет, спички и на серебряный шиллинг про запас.

Тогда я еще не знал того, что узнал четыре часа спустя: что и чаевые можно давать в кредит. Но едва мы оказались у цели, на окраине Мейо, почти у мыса Акилл-Хед, откуда до Нью-Йорка нет ничего, кроме воды, кредит расцвел самым пышным цветом: белее снега был дом, цвета морской лазури рамы и наличники, в камине горел огонь. На торжественном — в нашу честь — обеде подавали свежую лососину. Море было светло-зеленым — там, где волны набегали на берег, темно-синим — до середины бухты, а там, где оно разбивалось об остров Клэр, виднелась узкая, очень белая кайма.

А вечером мы вдобавок получили то, что стоит не меньше наличных денег: мы получили в пользование от владельца магазина кредитную книгу. Книга была толстая, почти на восемьдесят страниц, очень основательно переплетенная в красный сафьян и, судя по всему, рассчитанная на века.

Итак, мы у цели, в Мейо — да поможет нам бог!

## СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внезапно, когда мы поднялись на вершину горы, нам открылся на близлежащем склоне скелет заброшенной деревни. Никто нам о ней не рассказывал, никто нас не предвещал; в Ирлан-

<sup>1</sup> Домочадцы (англ.).

дии так много заброшенных деревень. Церковь нам показали, и кратчайший путь к морю — тоже, и лавку, в которой продают чай, масло и сигареты, и газетный киоск, и почту, и маленькую пристань, где во время отлива остаются в тине убитые гарпунной акулы, они лежат кверху черными спинами, напоминая опрокинутые лодки, если только последняя волна прилива не перевернет их кверху белым брюхом, из которого вырезана печень, — всё это сочли достойным упоминания, всё, кроме покинутой деревни. Серые однообразные каменные фронтоны поначалу явились нам без перспективы, как неумело расставленные декорации для фильма с призраками. Затаив дыхание, мы начали их считать, досчитав до сорока, сбились со счета, а было их там не меньше сотни. За следующим поворотом дороги деревня предстала перед нами в другом ракурсе, и мы увидели ее теперь со стороны — остовы домов, которые, казалось, еще ждут руки плотника: серые каменные стены, темные проемы окон, ни кусочка дерева, ни клочка материи, ничего пестрого — словно тело, лишенное волос и глаз, плоти и крови; скелет деревни с жестокой отчетливостью построения — вот главная улица, на повороте, где маленькая круглая площадь, стоял, должно быть, трактир. Переулок, один, другой. Все, что не было из камня, съедено дождем, солнцем, ветром — и еще временем, которое сочится упорно и терпеливо, двадцать четыре больших капли времени в сутки: кислота, разъедающая все на свете так же незаметно, как смирение...

Если бы кто-нибудь попытался нарисовать это — костяк человеческого поселения, в котором сто лет назад жило, быть может, пятьсот человек: сплошь серые треугольники и четырехугольники на зеленовато-сером склоне горы, если бы он вставил в свою картину и девочку в красном пуловере, что как раз идет по главной улице с корзиной торфа (мазок красным — пуловер, темно-коричневым — торф, светло-коричневым — лицо), и если бы он добавил ко всему белых овец, которые, словно вши, расползлись между остовами домов, этого художника сочли бы безумцем: настолько абстрактной выглядела здесь действительность. Все, что было не из камня, съедено ветром, солнцем, дождем и временем; на угрюмом склоне, как анатомическое пособие, живописно раскинулся скелет деревни — «вон там, посмотрите-ка, совсем как позвоночник», — главная улица, она даже искривлена немного, как позвоночник человека, привыкшего к тяжелой работе; все косточки целы: и руки на месте, и ноги — это переулки, и чуть смещенная в сторону голова — это церковь, серый треугольник, чуть побольше других. Левая нога — улица, что идет на восток, вверх по склону; правая — в долину, она немного короче, это скелет прихрамывающего существа. Так мог бы выглядеть — пролежи он триста лет в земле — вон тот человек, которого медленно гонят к пастбищу четыре тощие коровы, оставляя своего хозяина в приятном заблуждении, будто это он их гонит. Правая нога у него короче — из-за несчастного случая, спина согнута от трудной добычи торфа, да и голова непременно откатится в сторону,

когда человека опустят в землю. Он уже обогнал нас и буркнул: "Nice day"<sup>1</sup>, а мы все еще не набрались духу, чтобы ответить ему или расспросить об этой деревне.

Разбомбленные города, разрушенные снарядами деревни выглядят не так. Бомбы и снаряды — это не более как удлиненные томагавки, топоры, молоты, с помощью которых люди разрушают и сокрушают, но здесь нет никаких следов насилия: время и стихия с бесконечным терпением пожрали все, что не было камнем, а из земли растут подушки — мох и трава, — на которых, словно реликвии, покоятся кости.

Никто не пытался здесь опрокинуть стену или растащить на дрова заброшенный дом, хотя дрова здесь великая ценность (у нас это называется «выпотрошить», но здесь никто не «потрошит» дома). Даже дети, что по вечерам гонят скот поверху, мимо заброшенной деревни, даже дети и те не пытаются повалить стену или высадить дверь. Наши дети, едва мы очутились в деревне, сразу же попытались это сделать: сровнять что-нибудь с землей. Здесь никто ничего не сравнивает с землей, податливые части заброшенных жилищ оставлены в добычу ветру и дождю, солнцу и времени, и спустя шестьдесят, семьдесят или сто лет остаются лишь каменные остоны, и никогда больше ни один плотник не отпразднует здесь окончание стройки. Вот как выглядит человеческое поселение, которое после смерти оставили в покое.

Все еще с болью в сердце брели мы между голыми фасадами по главной улице, сворачивали в переулки, и боль мало-помалу стихала: на дорогах росла трава, мох затянул стены и картофельные поля, карабкался вверх по стенам: камни фронтонов, лишённые штукатурки, были уже не бутом и не кирпичом, а каменной осыпью, какую намывают в долину горные ручьи; перемычки над окнами и дверьми были как горные плато, а каменные плиты, торчавшие из стен в том месте, где был камин, — широкими, как плечевые кости: на них висела некогда цепь для чугунного котла, и бледные картофелины варились в бурой воде.

Мы шли от дома к дому, как разносчики, и каждый раз, когда мы переступали порог и узкая тень скользила над нашими головами, на нас обрушивался квадрат голубого неба: побольше — там, где жили когда-то люди с достатком, поменьше — у бедняков. Лишь размеры голубого квадрата еще раз напоминали теперь о различиях между людьми. Во многих комнатах уже рос мох, многие пороги уже скрылись под бурой водой; из передних стен еще торчали кой-где крюки для скотины — бычьи бедренные кости, к которым крепили цепь.

— Здесь был очаг!

— Там кровать!

— Здесь, над камином, висело распятие.

Там стенной шкаф — две вертикальные каменные пластины, а между ними зажаты две горизонтальные. В этом шкафу один

---

<sup>1</sup> Добрый день (англ.).

из детей обнаружил железный клин, который, едва мы его вытащили, раскрошился под руками, и остался только стержень не толще гвоздя, и по просьбе детей я сунул его в карман — на память.

Пять часов провели мы в этой деревне, и время промелькнуло быстро, потому что ничего не происходило. Мы только спугнули несколько птиц, да овца удрала от нас через пустой оконный проем вниз по склону. С окостеневших кустов фуксии свисали кровавые цветы. На отцветающем дреке, как грязные медяки, висели желтые лепестки; кристаллы кварца, словно кости, прорастали из мха; на улицах не было мусора, в канавах не было отбросов, в воздухе не было ни звука. Быть может, нам просто хотелось снова увидеть девочку в красном пуловере и с корзиной коричневого торфа, но она так и не пришла.

Когда на обратном пути я сунул руку в карман, чтобы еще раз взглянуть на железный стержень, я достал лишь горстку красно-бурой пыли того же цвета, что и болото справа и слева от нашей дороги; туда, в болото, я ее и высыпал.

Никто не мог нам точно сказать, когда и почему покинута деревня; в Ирландии так много покинутых домов; куда ни пойдешь, их за два часа прогулки попадется несколько: этот покинут лет десять назад, этот — двадцать, тот — пятьдесят или восемьдесят, а есть и такие дома, где еще не успели заржаветь гвозди в досках, которыми заколочены окна и двери, куда еще не проникли ни дождь, ни ветер.

Старушка, жившая в соседнем доме, тоже не могла нам сказать, давно ли покинута деревня; в 1880 году, когда она была еще девочкой, в деревне уже никто не жил. Из шести ее детей только двое остались в Ирландии; двое живут и работают в Манчестере, двое — в США. Одна дочь замужем здесь, в деревне (у этой дочери тоже шестеро детей, и двое, наверно, тоже уедут в Англию, а двое — в Америку). С ней остался только старший сын; когда он гонит скотину с пастбища, его на расстоянии можно принять за шестнадцатилетнего, когда сворачивает на деревенскую улицу, ему не дашь больше тридцати пяти, а когда он с робкой ухмылкой заглядывает в наше окно, видно, что ему все пятьдесят.

— Он не хочет жениться, — говорит его мать, — ну не срам ли?

Конечно, срам. Он такой работающий и чистоплотный, он выкрасил в красный цвет ворота и каменные шишечки на ограде, в синий — оконные рамы под зеленой замшелой крышей; в глазах его всегда живет смех, и осла своего он похлопывает по холке очень ласково.

Вечером, когда мы брали у них молоко, мы спросили его о покинутой деревне, но и он ничего не умел нам рассказать. Ровным счетом ничего. Он никогда там не бывал, пастбищ у них там нет, и торфяные ямы тоже лежат в другой стороне, к югу, неподалеку от памятника ирландскому патриоту, повешенному в 1799 году.

— Вы уже его видели?

Да, мы уже видели его, и Тони, пятидесяти лет от роду, снова уходит, но на углу он превращается в тридцатилетнего, выше, на склоне горы, где он мимоходом треплет осла по холке,— в шестнадцатилетнего, а когда он задерживается на мгновение возле живой изгороди из фуксий, прежде, чем скрыться за ней, он вдруг становится похож на мальчишку, каким был когда-то.

## СТРАНСТВУЮЩИЙ ДАНТИСТ ОТ ПОЛИТИКИ

— Скажи мне по совести,— спросил меня Патрик после пятой кружки пива,— считаешь ли ты всех ирландцев малость чокнутыми?

— Нет,— ответил я,— я считаю только половину ирландцев чокнутыми.

— Тебе бы надо стать дипломатом! — сказал Патрик и заказал шестую кружку.— А теперь скажи мне уж совсем по совести: считаешь ли ты ирландцев счастливым народом?

— Я считаю,— сказал я,— что вы счастливее, чем можете догадаться, а если б вы догадались, какие вы счастливые, вы б, уж верно, нашли какую-нибудь причину, чтобы стать несчастными. У вас есть много причин чувствовать себя несчастными, но главное — вы любите поэтическую сторону несчастья. Твое здоровье!

Мы снова выпили, и только после шестой кружки пива Патрик решился наконец спросить меня о том, о чем уже давно хотел спросить.

— А скажи-ка,— спросил он тихо,— ведь Гитлер был — мне думается — не такой уж плохой человек — просто он — мне думается — слишком далеко зашел.

Моя жена ободряюще кивнула мне.

— А ну,— тихо сказала она по-немецки,— не робей, выдерни у него этот зуб.

— Я не зубной врач,— так же тихо ответил я жене,— и мне надоело по вечерам ходить в бар; всякий раз я должен выдирать зубы, всякий раз одни и те же, хватит с меня.

— Дело того стоит,— сказала мне жена.

— Ладно, Патрик, слушай,— приветливо начал я,— мы точно знаем, куда зашел Гитлер: он шел по трупам миллионов евреев, детей...

Лицо Патрика болезненно передернулось. Он велел принести седьмую кружку и печально сказал:

— Эх, жалко, что и ты попался на удочку английской пропаганды, очень жалко.

Я не дотронулся до своего пива.

— Ладно,— сказал я,— дай уж я выдерну у тебя этот зуб; может, тебе будет немножко больно, но иначе нельзя. Только после этого ты станешь по-настоящему славным парнем. Так что



давай я приведу в порядок твою челюсть, я все равно уже считаю себя странствующим дантистом...

Гитлер был...— начал я и рассказал ему всё. Я уже набил руку, я стал искусным врачом, а когда пациент тебе симпатичен, действуешь осторожнее, чем когда работаешь просто по привычке, просто по обязанности.— Гитлер был... Гитлер делал... Гитлер говорил...

Все болезненнее дергалось лицо Патрика, но я заказал виски, я выпил за его здоровье, и он выпил, чуть поперхнувшись.

— Ну как, очень было больно? — осторожно спросил я.

— Да,— сказал он,— очень, и пройдет еще несколько дней, пока вытечет весь гной.

— Не забывай регулярно полоскать рот, а если будет болеть, приходи ко мне — ты знаешь, где я живу.

— Я знаю, где ты живешь,— сказал Патрик,— и я непременно приду, потому что болеть будет наверняка.

— И все-таки,— сказал я,— хорошо, что зуб вырван.

Но Патрик промолчал.

— Выпьем еще по одной? — грустно спросил он.

— Да,— сказал я.— Гитлер был...

— Перестань,— сказал Патрик,— перестань, пожалуйста, там открытый нерв.

— Ну и прекрасно,— сказал я,— значит, он скоро отомрет, значит, надо выпить еще по одной.

— Неужели тебе не бывает грустно, когда у тебя выдерут зуб? — устало спросил Патрик.

— В первую минуту бывает,— сказал я,— а потом я радуюсь, когда больше не гноится.

— А всего глупей,— сказал Патрик,— что теперь я и вовсе не знаю, чем мне так нравятся немцы.

— Они,— тихо сказал я,— должны тебе нравиться не *благодаря*, а *вопреки* Гитлеру. Нет ничего тягостнее, чем если кто-нибудь черпает симпатии к тебе из сомнительных, на твой взгляд, источников. Допустим, если твой дедушка был налетчик и ты знакомишься с кем-то, кто восхищается тобой именно потому, что твой дедушка был налетчик, тебе крайне тягостно; другие, со своей стороны, восхищаются тобой именно потому, что ты не налетчик, но ты предпочел бы, чтобы они восхищались тобой, даже если ты станешь налетчиком.

Принесли восьмую кружку пива — ее заказал Генри, англичанин, который ежегодно проводит здесь отпуск. Он подсел к нам и удрученно покачал головой.

— Не знаю,— сказал он,— почему я каждый год езжу в Ирландию; не знаю, сколько раз я уже говорил вам, что никогда не жаловал ни Кромвеля, ни Пемброка и никогда не состоял с ними в родстве, что я всего-навсего лондонский клерк, которому полагается двухнедельный отпуск и который мечтает провести его у моря; не знаю, зачем я каждый год проделываю сюда далекий путь из Лондона ради того лишь, чтобы выслушать, какой

я хороший и какие скверные все англичане; это так утомительно... А что до Гитлера...— сказал Генри.

— Ради бога,— сказал Патрик,— не говори о нем. Я больше не могу слышать это имя. Во всяком случае, не сейчас... Позднее, может быть...

— Здорово,— сказал мне Генри,— ты, кажется, хорошо поработал.

— У каждого есть свое честолюбие,— скромно сказал я,— а я, видишь ли, привык каждый вечер выдирать по зубу; я уже точно знаю, где он находится; я начал разбираться в политической стоматологии, я рву основательно и без наркоза...

— Видит бог,— сказал Патрик,— но разве мы не превосходные люди, несмотря ни на что?

— Да, вы превосходные люди,— сказали мы все трое в один голос: моя жена, Генри и я.— Право же, вы превосходные люди, но вы и без нас отлично это знаете.

— Выпьем еще по одной,— сказал Патрик,— для приятных снов.

— И посошок на дорожку!

— И стопку за кошку! — сказал я.

— И рюмку за собачку!..

Мы выпили, а стрелки часов все еще показывали — как уже три недели подряд — половину одиннадцатого. Половина одиннадцатого — это полицейский час для сельских кабачков в летний сезон, но туристы, иностранцы делают более сговорчивым неумолимое время. Когда подходит лето, хозяева достают отвертку, два болта и наглухо закрепляют обе стрелки, а некоторые покупают себе игрушечные часы с деревянными стрелками, которые можно прибить гвоздями. Тогда время останавливается, тогда поток черного пива льется все лето, не иссякая денно и ночью, а полицейские спят сном праведников.

## ПОРТРЕТ ИРЛАНДСКОГО ГОРОДА

### ЛИМЕРИК УТРОМ

Лимериками называют определенную форму стихов, своего рода зашифрованные остроты, и о городе Лимерике, который дал имя этим стихам, у меня были самые радужные представления: остроумные рифмы, смеющиеся девушки, всюду звуки волюнок, звонкое веселье на улицах. Мы немало уже повидали веселья на дорогах между Дублином и Лимериком: школьники всех возрастов — многие босиком — весело трусили под октябрьским дождичком, они сворачивали с полевых тропинок, издали было видно, как они пробираются по лужам между живыми изгородями, их было не счесть, они сливались воедино, как капли воды в струйку, как струйки — в ручей, как ручьи — в речушку, и порой наша машина рассекала их, как поток, который с готовностью рассту-

пается перед тобой. На несколько минут дорога пустела — когда позади оставалось большое селение, потом снова начинали стекаться капли — ирландские школьники, подталкивая и обгоняя друг друга, они были одеты в какие-то немыслимые платья — пестрые, лоскутные, но зато все они были если даже не очень веселые, то по крайней мере спокойные. Порой они трусили под дождем много миль туда, много миль обратно, с клюшками для керлинга в руках, стянув учебники ремешком. Сто восемьдесят километров проехала наша машина сквозь поток ирландских школьников, и, хотя лил дождь, хотя многие были разуты и большинство бедно одеты, вид почти у всех был веселый.

Мне показалось кощунством, когда кто-то в Германии сказал однажды: «Дорога принадлежит мотору». В Ирландии меня все время так и подмывало сказать: «Дорога принадлежит корове». И впрямь, ирландских коров отправляют на пастбище, как детей в школу: стадами заполняют они дорогу и высокомерно оборачиваются на гудки автомобиля, давая шоферу полную возможность проявить чувство юмора, развить выдержку и испытать сноровку. Он осторожно подъезжает к стаду, робко протискивается в милостиво предоставленный ему проход, и, лишь достигнув первой коровы и перегнав ее, он может дать газ и порадоваться от всей души, ибо избежал опасности, а что больше возбуждает, что лучше стимулирует чувство благодарности судьбе, чем мысль о минувшей опасности? Вот почему ирландский шофер всегда преисполнен чувства благодарности: он вечно должен бороться со школьниками и коровами за свою жизнь, за свои права и за свою скорость, уж он-то никогда бы не выдвинул снобистский лозунг: «Дорога принадлежит мотору». В Ирландии долго еще не будет решен вопрос, кому принадлежит дорога, — а до чего ж красивы эти дороги: стены, стены, деревья, стены, живые изгороди; камней, из которых в Ирландии сложены стены, хватило бы, чтобы построить вавилонскую башню, но развалины Ирландии красноречиво свидетельствуют, что ее вряд ли следует строить. Во всяком случае, эти красивые дороги принадлежат не мотору, они принадлежат тому, кому нужны в данную минуту и кто всегда дает возможность тому, кому они вдруг понадобятся, проявить здесь свою сноровку. Некоторые дороги принадлежат ослам. В Ирландии великое множество ослов, которые не ходят в школу, — они обглаживают живые изгороди и меланхолически любят природу, повернувшись хвостом к проезжающим мимо автомобилям. Нет, дороги в Ирландии принадлежат кому угодно, только не мотору.

Много спокойствия и веселья среди коров, ослов и школьников повстречали мы между Дублином и Лимериком, а если прибавить к этому еще и веселые стихи «лимерики», кто усомнился бы на подступах к Лимерику, что это веселый город? Дороги, еще совсем недавно запруженные веселыми школьниками, надменными коровами и задумчивыми ослами, вдруг опустели. Дети, верно, уже добрались до школы, коровы — до пастбища, а ослов просто-напросто призвали к порядку. Дождевые облака нагнало с Атлан-

тики, улицы Лимерика были сумрачны и пусты; белыми были только бутылки молока у дверей, пожалуй, даже чересчур белыми, да чайки, дробившие серость неба, облака жирных белых чаек — дробная белизна, которая сливалась порой в большое белое пятно. Зеленью отливал мох на древних стенах восьмого, девятого и всех последующих столетий, а стены двадцатого века мало чем отличались от стен восьмого: такой же мох, такие же развалины. В мясных лавках мерцали бело-красные части говяжьих туш, и лимерикские дети, свободные от занятий, демонстрировали там свою изобретательность: уцепившись за свиные ножки или бычьи хвосты, они раскачивались между тушами: веселая ухмылка на бледных мордашках. Поистине ирландские дети — народ изобретательный, но неужели, кроме них, в городе нет других жителей?

Мы оставили машину неподалеку от собора и медленно побрели по угрюмым улицам. Под старинными мостами перекачивались серые воды Шаннона: слишком велика, слишком широка и неукротима была эта река для маленького угрюмого города; тоска охватила нас, чувство заброшенности и одиночества среди мхов, старинных стен и множества бутылок, мучительно белых и словно предназначенных для давно умерших людей, даже дети, что раскачивались на говяжьих тушах в темноватых мясных лавках, казались призраками. Против одиночества, которое внезапно овладевает тобой в чужом городе, есть лишь одно средство: надо срочно что-нибудь купить — видовую открытку или жевательную резинку, карандаш или сигареты, поддержать что-то в руках, приобщиться своей покупкой к жизни этого города, — но можно ли здесь, в Лимерике, в четверг в половине одиннадцатого утра что-нибудь купить? А вдруг мы сейчас очнемся и увидим, что мокнем посреди дороги около машины, Лимерик же исчез как фата-моргана — фата-моргана дождя. Мучительно белы эти бутылки, чуть потемней — крикливые чайки.

Старый Лимерик относится к Новому, как остров Ситэ относится к остальному Парижу, причем соотношение между Старым Лимериком и Ситэ — примерно один к трем, а между Новым Лимериком и Парижем — один к двумстам; датчане, норманны и лишь потом ирландцы заселили этот красивый и мрачный остров: серые мосты связывают его с берегами, Шаннон катит серые волны, а впереди, там, где мост упирается в сушу, поставили памятник камню, вернее, водрузили камень на пьедестал. На этом камне англичане поклялись предоставить ирландцам свободу вероисповедания, был заключен договор, расторгнутый впоследствии английским парламентом. Поэтому у Лимерика есть дополнительное имя — *Город нарушенного договора*.

В Дублине нам кто-то сказал: «Лимерик — самый набожный город в мире». И, следовательно, нам было достаточно взглянуть на календарь, чтобы понять, отчего безлюдны улицы Лимерика, почему у дверей стоят непочатые бутылки с молоком, почему закрыты лавки: Лимерик был в церкви; утро, четверг, без малого одиннадцать. Вдруг, раньше, чем мы добрались до центра Нового

Лимерика, распахнулись двери церквей, заполнились улицы, исчезли с крылец молочные бутылки. Это походило на завоевание, лимерикцы захватили свой город. Открылась даже почта, даже банк распахнул свои окошечки. И там, где всего лишь пять минут назад нам казалось, будто мы попали в заброшенный средневековый город, все стало пугающе нормальным, доступным и вечным.

Чтобы удостовериться в существовании этого города, мы стали покупать всякую всячину: сигареты, мыло, открытки, игру-головоломку. Сигареты мы курили, мыло нюхали, на открытках писали, а игру упаковали и бодро пошли на почту. Правда, здесь произошла некоторая заминка — начальница еще не вернулась из церкви, а подчиненная не могла ответить на наш вопрос: сколько стоит отправить в Германию бандероль (головоломку) весом в двести пятьдесят граммов? В поисках поддержки она обратила взор к изображению богоматери, перед которым теплилась свеча. Мария молчала, улыбалась, как улыбается вот уже четыре столетия, и ее улыбка означала: терпение. Явились на свет какие-то странные гири, еще более странные весы, перед нами выложили ядовито-зеленые бланки, открывали и закрывали каталоги, но единственный выход оставался все тот же: терпение. И мы терпели. А вообще говоря, кто посылает в октябре бандеролью детскую игру из Лимерика в Германию? И кто не знает, что праздник богородицы если не целиком, то хоть наполовину нерабочий день?

Уже потом, когда наша игра давным-давно была отправлена, мы увидели скептицизм в глазах суровых и печальных, угрюмость, блеснувшую в синих глазах, глазах цыганки, продававшей на улице изображения святых, и в глазах хозяйки гостиницы, и в глазах шофера такси: шипы вокруг розы, стрелы в сердце самого набожного города в мире.

### ЛИМЕРИК ВЕЧЕРОМ

Обещечены, раскупорены молочные бутылки: пустые, серые, грязные стояли они у дверей и на подоконниках, грустно дожидаясь утра, когда им на смену придут их свежие, ослепительные сестры, и чайкам не хватало белизны, чтобы заменить ангельское сияние, исходящее поутру от невинных бутылок; чайки со свистом проносились над Шанноном, а он, зажатый здесь между каменными стенами, на протяжении двухсот метров ускорял свой бег; прокисшие серо-зеленые водоросли затягивали камень стен; сейчас был отлив; так и казалось, будто Старый Лимерик, заголившись самым непристойным образом и задрав свои одежды, обнажил те части, которые обычно скрыты под водой; мусорные кучи по берегам тоже дожидались, когда их смоем прилив; тусклый свет мерцал в окнах тотализаторов, пьяные одолевали канаву, а дети, те, что утром раскачивались в мясной лавке

на говяжьих тушах, доказывали теперь всем своим видом, что существует такая степень бедности, при которой даже английская булавка — непозволительная роскошь; бечевка дешевле и годится для той же цели; то, что однажды, восемь лет назад, было недорогим, но новым пиджаком, сейчас заменяло пальто, куртку, рубашку и штаны разом; слишком длинные рукава высоко закатаны, живот подпоясан бечевкой, а в руках, как молоко, сияет белизной невинности та манна, которую в Ирландии можно приобрести в любой дыре, свежую и дешевую, — мороженое. По тротуару перекатываются камушки, а дети заглядывают в окно тотализатора, где как раз в это время отец ставит часть своего пособия по безработице на *Закат*. Все глубже опускается благодатный сумрак, камушки все стучат по выщербленным ступенькам лестницы, ведущей к дверям тотализатора. Не пойдет ли отец в соседний тотализатор, чтобы там поставить на *Ночную Бабочку*? — в третий, чтобы поставить на *Иннишфри*? В Старом Лимерике хватает тотализаторов. Камушки ударяются о ступеньку, белоснежные капли мороженого падают в канаву, где на миг расцветают, будто звезды в тине, на единый миг, а потом их невинность засасывает тина.

Нет, отец не пойдет в другой тотализатор, он только заглянет в трактир, а выщербленные ступеньки трактира тоже вполне годятся для игры в камушки. Не даст ли отец еще денег на мороженое? Даст, даст! И для Джонни, и для Падди, и для Шейлы, и для Мойры, и для мамы, и для тети, а может, даже и для бабушки? Конечно, даст, покуда хватит денег. Выиграет ли *Закат*? Само собой, выиграет. *Должен* выиграть, черт подери, иначе...

— Поттише, Джон, не разбей об стойку стакан. Еще налить?

— Конечно, налить. *Закат* должен выиграть.

А если нет даже бечевки, ее заменят пальцы, худые, грязные, озябшие детские пальцы левой руки, покуда правая рука катает или подбрасывает камушки.

— Нэд, а Нэд, дай лизнуть.

И вдруг среди вечерней темноты ясный детский голосок:

— Сегодня вечером служба. Пойдете?

Смех, раздумья, сомнения.

— Да, пойдем.

— А я нет.

— Пошли.

— Нет.

— Ну пошли же...

— Нет.

Стучат камушки по выщербленным ступенькам трактира.

Мой спутник дрожит от страха — он пал жертвой одного из самых горьких и глупых предрассудков: плохо одетые люди опасны или, во всяком случае, опаснее хорошо одетых. Ему бы надо дрожать в баре дублинского «Шэлбурн-отеля», а не здесь, в Лимерике, возле замка короля Джона. Ах, будь они хоть немножко опаснее, эти оборванцы, будь они так же опасны, как те, что кажутся такими безопасными в баре «Шэлбурн-отеля»!

Как раз в эту минуту хозяйка закуской набросилась на мальчика, который взял себе на двадцать пенни хрустящего картофеля и слишком обильно, по ее мнению, полил его уксусом из стоящей на столе бутылки.

— Ты что, собака, разорить меня хочешь?

Швырнет он свой картофель ей в лицо или нет? Нет, он не сумел ответить, за него ответила его задыхающаяся детская грудь, ответила свистом, вырвавшимся из слабого органчика — детских легких. Не Свифт ли более двухсот лет назад, в 1729 году, писал свою горчайшую сатиру, свое «Скромное предложение: как сделать, чтобы дети бедных ирландцев не становились обузой для своих родителей и для страны», где советовал английскому правительству отдавать все сто двадцать тысяч новорожденных — годовой прирост, установленный статистикой, — на съедение богатым англичанам, подробное, жестокое изложение проекта, который должен был служить многим целям и, помимо всего прочего, уменьшению числа папистов.

Схватка из-за шести капель уксуса еще не закончилась, грозно вздета рука хозяйки, свистящие звуки рвутся из груди мальчика. Равнодушные снуют мимо, пьяные шатаются, дети спешат с молитвенниками, чтобы не опоздать к вечерней службе. Но спаситель уже грядет: он велик, он толст и отечен, должно быть, у него недавно шла кровь из носа, темные пятна покрывают лицо вокруг носа и рта: он тоже скатился от английских булавок к бечевке, но на башмаки даже бечевки не хватило — подметки отстают. Спаситель подходит к хозяйке, склоняется перед ней, как бы целуя ей руку, вынимает из кармана бумажку в десять шиллингов, вручает ее хозяйке — та испуганно берет — и любезно говорит:

— Могу ли я, милостивая государыня, просить вас счесть эти десять шиллингов достаточным вознаграждением за шесть капель уксуса?

Молчание в темноте за Королевским замком, потом человек с пятнами крови на лице вдруг понижает голос:

— А могу ли я, милостивая государыня, обратить ваше внимание также и на то, что уже настал час вечерней молитвы? Мой нижайший поклон господину священнику.

И он, пошатываясь, ушел, а мальчик испуганно убежал, и хозяйка осталась одна. Вдруг из глаз ее хлынули слезы, она с плачем бросилась в дом, и вопли ее были слышны даже тогда, когда за ней захлопнулась дверь.

Благодатные воды океана еще не докатились до Лимерика; обнаженные стены были все так же грязны, и чайки все так же недостаточно белы. Угрюмо вырастал из темноты замок короля Джона — местная достопримечательность, водруженная среди жилых казарм двадцатых годов, и казармы двадцатого века казались более дряхлыми, нежели замок века тринадцатого; тусклый свет слабых лампочек не мог одолеть густую тень замка, и кислая темень захлестнула все.

Десять шиллингов за шесть капель уксуса! Лишь тот, кто живет

поэзией, вместо того чтобы создавать ее, способен платить десять тысяч процентов. Куда он делся, темный, запятнанный кровью пьяница, у которого хватило бечевки на пиджак и не хватило на башмаки? Уж не бросился ли он в Шаннон, в kloкочущую серую теснину между обоими мостами, которую чайки облюбовали как бесплатный каток? Они все еще кружат в темноте, принимают к серой воде, скользят от моста к мосту и взлетают, чтобы снова и снова повторять эту игру бесконечно, ненасытно.

Из церквей доносилось пение, голоса молящихся, такси везли туристов из аэропорта Шаннон, зеленые автобусы сновали в серой мгле, черное горькое пиво лилось за занавешенными окнами пивных. *Закат должен прийти первым!*

Закатным пурпуром светилось большое сердце Иисуса в церкви, где уже кончилась вечерняя служба, горели свечи, молились запоздавшие, ладан и жар свечей, тишина, нарушаемая лишь причетником, который, шаркая ногами, задерживал занавески исповедальни и вытряхивал деньги из церковных кружек. Пурпуром светилось сердце Иисуса.

Сколько же стоит пятидесяти-шестидесяти-семидесятилетнее плавание от дока, имя которому рождение, до того места среди океана, где нас ждет наше кораблекрушение?

Опрятные парки, опрятные памятники, черные, строгие, прямые улицы; где-то здесь явилась на свет Лола Монтеc. Развалины времен восстания еще не стали древностью; заколоченные дома, где за черными досками копошатся крысы; полуразвалившиеся склады, окончательный снос которых передоверен времени; серо-зеленая тина на обнаженных стенах; и льется, льется черное пиво за победу *Заката*, которому не суждено победить. Улицы, улицы... Улицы, на мгновение заполняемые богомольцами, идущими с вечерней службы, улицы, где дома словно уменьшаются с каждым твоим шагом; стены тюрем, стены монастырей, стены церквей, стены казарм; какой-то лейтенант, вернувшись с дежурства, оставив велосипед у дверей своего крохотного домика и застревает на пороге в куче своих детишек.

И снова запах ладана, жар свечей, тишина и молеьщики, которые никак не могут расстаться с пурпурным сердцем Иисуса и которых причетник тихим голосом увещевает идти домой, в конце концов. Упрямое покачивание головой в ответ. «Но...» — и за этим «но» множество других аргументов причетника. Упрямое покачивание в ответ. Колени словно приклеены к скамеечке. Кто сочтет молитвы и проклятия, у кого есть счетчик Гейгера, который способен зарегистрировать надежды, прикованные в этот вечер к *Закату*? Две пары тонких лошадиных ног, а на них поставлено столько, что никому на свете не выкупить эту закладную. Но если *Закат* не выиграет, горе придется заливать таким же количеством пива, какое понадобилось для поддержания надежд. Все так же стучат камушки по выщербленным ступеням трактира, по выщербленным ступеням церквей и тотализаторов.

И совсем уже поздно я обнаружил последнюю нетронутую бу-



тылку с молоком, такую же девственную, как и утром. Она стояла у дверей крохотного домика с закрытыми ставнями. У дверей соседнего домика я увидел пожилую женщину — седую и неопрятную; белой у нее была лишь сигарета. Я остановился.

— Где он? — тихо спросил я.

— Кто?

— Хозяин молока. Он еще спит?

— Нет,— тихо сказала она,— он сегодня уехал.

— И оставил молоко?

— Да.

— И не выключил свет?

— А что, горит еще?

— Разве вы не видите?

Я прильнул к желтой щели и заглянул внутрь. Там, в крохотной прихожей, еще висело на двери полотенце, а на шкафу лежала шляпа, а на полу стояла грязная тарелка с недоеденной картошкой.

— А ведь и правда не выключил. Впрочем, что с того, в Австралию они ему счет не пошлют.

— В Австралию?

— Да.

— А счет за молоко?

— Он и по нему не заплатил.

Белизна сигареты вплотную приблизилась к темным губам, и женщина юркнула в свою дверь.

— Верно,— сказала она,— свет-то он мог бы и погасить.

Лимерик спал, осененный тысячами молитв и проклятий, растекался в черном пиве; одна-единственная белоснежная бутылка молока охраняла его сон, а снился ему пурпурный *Закат* и пурпурное сердце Христа.

## КОГДА БОГ СОЗДАВАЛ ВРЕМЯ...

Тот факт, что богослужение не может начаться раньше, чем появится священник, не требует толкования, но тот, что и сеанс в кино не может начаться раньше, чем соберутся все священники, как местные, так и приезжие, кажется не совсем понятным чужестранцу, привыкшему к континентальным порядкам. Ему остается только надеяться, что местный священник и его друзья скоро завершат ужин и беседу после ужина, что они не слишком углубятся в школьные воспоминания, ибо тема «А ты помнишь, как...» поистине неисчерпаема: а ты помнишь, как латинист, как математик, ну и, конечно же, как историк!..

Начало сеанса назначено на двадцать один час, но если есть в мире понятие, никого ни к чему не обязывающее, то именно этот срок. Даже принятая у нас сверхнеопределенная формула уговора «часиков в девять» представляет по сравнению с ним верх точности, ибо наше «часиков в девять» истекает ровно в поло-

вине десятого, после чего начинается «часиков в десять». Здешние же «двадцать один час», с недвусмысленной четкостью выведенные на афише,— чистой воды мошенничество.

Как ни странно, никто не сетует на эту задержку, ничуть не сетует. «Когда бог создавал время,— говорят ирландцы,— он создал его достаточно». Спору нет, это изречение столь же метко, сколь и достойно, чтобы над ним поразмыслить: если представить себе время как некую материю, которая отпущена нам на улаживание наших земных дел, то этой материи нам отпущено даже больше, чем нужно, потому что время всегда «терпит». Тот, у кого нет времени,— это чудовище, выродок; он где-то крадет время, утаивает его. (Сколько времени понадобилось просадить и сколько украсть для того, чтобы вошла в поговорку незаслуженно прославленная военная пунктуальность: миллиарды часов украденного времени — вот цена за эту расточительную пунктуальность, за выродков новейшего времени, у которых никогда нет времени. Мне они всегда напоминают людей, у которых слишком мало кожи...)

Времени для подобных размышлений достаточно, потому что уже давно перевалило за половину десятого; священники уже добрались до биолога, то есть уже до второстепенных дисциплин, и это подогревает надежду. Но даже о тех, кто не использует отсрочку для размышлений подобного рода, здесь позаботились. Для них не скупясь крутят пластинки, им щедрой рукой предлагают шоколад, мороженое и сигареты, потому что здесь — какое благодеение! — в кино разрешают курить. Если бы в кино запретили курить, вспыхнул бы мятеж, ибо страсть ходить в кино неразрывно связана у ирландцев со страстью к курению.

Красноватые светильники на стенах излучают слабый свет, и в полутьме зала царит оживление, как на ярмарке: разговоры ведутся через четыре ряда, шутки громогласно перелетают через восемь; впереди, на дешевых местах, дети затеяли веселую возню, совсем как на перемене; люди угощают друг друга шоколадками, меняются сигаретами; где-то в темноте раздается многозначительный скрип, с которым обычно извлекают пробку из бутылки виски, женщины подкрашиваются, достают флакончики с духами; кто-то заводит песню, ну а тем, кто не считает, что все эти звуки человеческой жизни, все эти движения и занятия — достойная трата времени, остается время для размышлений: поистине, когда бог создавал время, он создал его достаточно. Спору нет, при использовании времени можно наблюдать и расточительность, и бережливость, причем — как ни парадоксально это звучит — расточители времени всегда оказываются в результате самыми бережливыми, ибо когда кто-нибудь претендует на их время — например, чтобы быстро отвезти кого-нибудь на вокзал или в больницу,— оно у них всегда находится. Подобно тому, как у расточителя денег всегда можно попросить займы, так и расточители времени — это, по сути, сберегательные кассы, куда господь складывает про запас свое время и держит его там на

случай, что оно вдруг понадобится, поскольку какой-нибудь бережливец истратил свое не там, где надо.

И однако: мы пришли в кино, чтобы посмотреть Энн Блайт, а не для того, чтобы размышлять, пусть даже размышлять здесь на редкость легко и приятно — здесь, на этой ярмарке беззаботности, где крестьяне с болот, торфяники и рыбаки угощают в темноте сигаретами многообещающе улыбающихся дам из тех, что целыми днями разъезжают по окрестностям в своих лимузинах, и принимают от них взамен шоколад; где отставной полковник толкует с почтальоном о достоинствах и недостатках индейцев. Здесь бесклассовое общество стало явью. Жаль только, что дышать почти нечем: духи, губная помада, сигареты, горький запах торфа от одежды, даже музыка и та словно чем-то пахнет — от нее несет грубой эротикой тридцатых годов, и даже кресла, роскошно обитые красным бархатом (если тебе очень повезет, можно даже отыскать кресло с почти целыми пружинами), даже кресла, которые, надо полагать, году в 1880 считались в Дублине верхом элегантности (они наверняка повидали на своем веку оперы и пьесы Салливана, а может, Йитса, Синга, Шона О'Кейси и раннего Шоу), — даже кресла и те пахнут так, как пахнет старый бархат, противящийся грубости пылесосов и бесцеремонности щеток — а кинотеатр еще не достроен, и вентиляции в нем покамест нет.

Однако словоохотливые священники и капелланы, судя по всему, еще не добрались до биолога, а может, они обсуждают швейцара (неисчерпаемая тема) или первую тайком выкуренную сигарету? Кому не нравится воздух, тот может выйти и постоять, прислонившись к стене кинотеатра, на улице мягкий светлый вечер, и маяк на острове Клэр, в восемнадцати километрах отсюда, еще не зажегся; над спокойной поверхностью моря взгляд проникает на сорок—пятьдесят километров, через залив Клу до гор Коннемары и Голуэя, а если посмотреть вправо, на запад, можно увидеть Акилл-Хед, последние два километра Европы, которые еще отделяют его от Америки; дикая, как будто нарочно созданная для шабашей ведьм, поросшая мхом и вереском, высится там гора Крэгхайн — самая западная из европейских гор, круто обрываясь к морю с высоты семисот метров. Впереди, на одном из ее склонов, среди темной зелени болот выделяется светлый четырехугольник возделанной земли с большим серым домом: здесь проживал капитан Бойкот, благодаря которому человечество изобрело бойкот, здесь было подарено миру новое слово; метров на сто выше дома лежат обломки самолета: американский пилот на какую-то долю секунды раньше, чем надо, вообразил, что под ним открытый океан, безбрежная гладь которого одна только еще отделяет его от родины; последний утес Европы стал для него роковым, последний выступ той части света, про которую Фолкнер в своей «Легенде» сказал: «Тот маленький гнойник, что носит название Европа»...

Синева обволакивает море — многослойная, многоцветная;

окутаны синевой острова, зеленые, похожие на большие пятна мха, или черные, щербатые, что торчат из моря, как обломки гнилых зубов.

Наконец-то (или к сожалению — сказать трудно) священники завершили или просто прервали обмен школьными воспоминаниями, наконец-то и они пришли посмотреть на обещанное афишей великолепие — на Энн Блайт. Гаснут красноватые светильники, утихает возня на дешевых местах, и все это бесклассовое общество погружается в молчаливое ожидание, под которое и начинается фильм — слащавый, цветной, широкоэкранный. То и дело принимается реветь какой-то трех- или четырехлетний малыш, когда слишком натурально щелкает пистолет, когда по лбу героя струится кровь слишком настоящего вида, а то и вовсе когда темно-красные капли выступают на шее красавицы: ах, зачем было вонзать нож в эту дивную шею? Нет-нет, ее не напрочь отрезали, не бойся, детка, и орущему малышу поспешно суют в рот кусок шоколада; горе и шоколад дружно тают в темноте. К концу фильма возникает ощущение, которого ты не испытывал с детских лет, — будто ты объелся шоколадом, проглотил слишком много сладостей — о, эта мучительная и милая сердцу изжога от злоупотребления запретным плодом! После этой приторной сласти дают анонс с перчиком: черно-белый фильм, притон, злые, костлявые женщины, уродливые и решительные герои, снова неизбежные выстрелы, снова приходится совать шоколад в рот трехлетка. Большая, щедрая кинопрограмма на три часа, и едва загораются красноватые светильники, едва распахиваются двери — на лицах можно прочесть то, что всегда бывает на лицах после окончания любого фильма: легкое, скрытое под улыбкой смущение, когда стыдишься чувства, которое помимо своей воли израсходовал на этот фильм. Модная красotka садится в свой лимузин, вспыхивают задние огни, огромные, рубиново-красные, как тлеющий торф, и уплывают к отелю, а добытчик торфа тем временем устало бредет к своей хибаре; взрослые молчат, дети же, рассыпавшись в ночи, щебечут, смеются и еще раз пересказывают друг другу содержание фильма.

Время за полночь; давно уже засветили маяк на острове Клэр, синие очертания гор почернели, далеко на болоте редкие желтые огоньки — там ждут бабушка или мать, муж или жена, чтобы услышать подробный рассказ о том, что покажут в ближайшие дни, и до двух, до трех часов ночи будут люди сидеть у камина, ибо когда бог создавал время — он создал его достаточно.

Ослы перекликаются в теплой летней ночи, оглашая окрестности своей абстрактной песнью, безумный вопль — как скрип несмазанных дверей, как скрежет заржавленных насосов — непонятный сигнал, величественный и слишком абстрактный, чтобы казаться правдоподобным, неизбывная скорбь слышится в нем и — как ни странно — невозмутимость. Словно летучие мыши, с шорохом, без огней, носятся мимо велосипедисты на своих

металлических ослах, и после них слышатся в ночи лишь мирные шаги пешеходов.

## РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ИРЛАНДСКОГО ДОЖДЯ

Дождь здесь вездесущ, грандиозен и устрашающ. Назвать этот дождь плохой погодой так же неуместно, как назвать палящее солнце — хорошей.

Можно, конечно, назвать такой дождь плохой погодой, что будет неверно. Это погода вообще, а в данном случае — непогода. Дождь настойчиво напоминает о том, что его стихия — вода, причем вода падающая. А вода — она твердая. Во время войны я видел однажды, как падал над побережьем Атлантики горящий самолет. Пилот посадил его на берег и бросился бежать, пока самолет не взорвался. Позднее я спросил у него, почему он не посадил горящий самолет на воду, и он ответил:

— Потому что вода тверже песка.

До сих пор я не верил ему, но здесь я понял: вода твердая.

Сколько же воды собирается над четырехтысячекилометровыми просторами Атлантики, воды, которая счастлива, что добралась наконец до людей, до домов, до твердой земли, после того как долго падала только в воду, только в самое себя. Велика ли радость дождю все время падать только в воду?

А потом, когда гаснет свет и первая лужа бесшумно просовывает под дверь свой язык, гладкий, поблескивающий в свете камина, когда игрушки, конечно же не убранные детьми, когда пробки и всякие деревяшки внезапно обретают плавучесть и язык лужи увлекает их вперед, когда напуганные дети спускаются по лестнице и устраиваются перед камином (впрочем, они больше удивлены, чем напуганы, поскольку и они сознают, до чего радостно встречаются друг с другом ветер и дождь, и они сознают, что этот рев — рев восторга), — тогда понимаешь, что никто не был так достоин ковчега, как Ной...

У жителей материка есть дурацкая привычка: открывать дверь, чтобы посмотреть, что там стряслось. Стряслось все: черепица, водосточный желоб, даже каменные стены и те не внушают доверия (ибо строят здесь на время, а живут в этих временках — если только не эмигрируют — вечность; у нас же, напротив, строят на века, не зная толком, понадобится ли следующему поколению такая основательность).

Хорошо иметь дома свечи, Библию и немного виски, как у моряков, всегда готовых к бурям, ну и еще карты, табак, вязальные спицы и шерсть для женщин, ибо у бури много воздуха, у дождя много воды, а ночь длинна. И потом, когда из-под окна высунется второй язык воды и сольется с первым, когда по узкому языку игрушки медленно подплывут к окну, тогда хорошо проверить в Библии, точно ли бог давал обещание не устраивать второго потопа. Точно, давал. Значит, можно зажечь очередную све-

чу, закурить очередную сигарету, снова перетасовать колоду, снова разлить виски по рюмкам и всецело довериться шуму дождя, вою ветра и постукиванию спиц. Обещание-то дано.

Слишком поздно услышали мы стук в дверь — сперва мы подумали, что это постукивает ненадетая цепочка, потом — что это неистовствует буря, и лишь потом догадались, что этот звук производит человеческая рука, а до какой глупости может дойти континентальный житель, видно хотя бы из высказанного мной предположения, уж не монтер ли это с электростанции. Ничуть не умней, чем ожидать в открытом море судебного исполнителя.

Мы быстро отворили дверь и втащили в дом насквозь промокшего современника; дверь закрыли снова, и вот он оказался перед нами: раскисший фибровый чемодан, вода ручьями бежала из рукавов, из башмаков, со шляпы, и невольно казалось, будто из глаз его тоже бежит вода — так выглядят одетые участники соревнований по спасению утопающих, впрочем, нашему гостю было чуждо спортивное честолубие, он просто-напросто пришел с автобусной остановки — пятьдесят шагов под дождем, перепутал наш дом со своей гостиницей и был, по его словам, клерком у одного дублинского адвоката.

— Неужели автобус ходит в такую погоду?

— Да, ходит, только опоздал немного. Впрочем, он больше плыл, чем ехал... А здесь и в самом деле не отель?

— Нет, но...

Он — звали его Дермот,— пообсохнув, оказался изрядным знатоком Библии, изрядным игроком в карты, изрядным рассказчиком, изрядным любителем виски, и еще он научил нас, как быстро вскипятить чай в камине на тагане, как на том же древнем тагане приготовить баранью отбивную, как поджарить тосты на длинных вилках, назначение которых мы сами открыть не сумели,— но лишь утром он признался, что немного знает немецкий — он был в плену в Германии, и он рассказал нашим детям то, чего они никогда не смогут забыть и никогда не должны забывать: как он хоронил маленьких цыганят, которые умерли, когда эвакуировали концлагерь Штутхоф, они были вот такие маленькие — он показал какие,— и он копал могилы в мерзлой земле, чтобы их похоронить.

— А почему они умерли? — спросил кто-то из детей.

— Потому что они были цыгане.

— Но ведь это же не причина, от этого же не умирают.

— Да,— сказал Дермот,— это не причина, от этого не умирают.

Мы встали. Уже совсем рассвело, и на улице вдруг стихло. Ветер и дождь ушли, солнце поднялось над горизонтом, и огромная радуга перекинулась через море. Она была так близко, что казалось, можно разглядеть, из чего она сделана: оболочка радуги была тонкой, будто у мыльного пузыря.

И когда мы пошли наверх, в спальню, пробки и деревянные все еще качались в лужице под окном.

## САМЫЕ КРАСИВЫЕ НОГИ В МИРЕ

Чтобы развлечься, молодая жена врача начала было вязать, но тут же отбросила спицы и клубок в угол дивана, потом она открыла книгу, прочла несколько строк и снова закрыла, потом налила себе виски, задумчиво осушила рюмку маленькими глотками, открыла другую книгу, закрыла и эту, вздохнула, сняла телефонную трубку и положила обратно: кому звонить-то?

Потом кто-то из ее детей забормотал во сне, молодая женщина тихо прошла через прихожую в детскую, потеплее укрыла детей, расправила одеяла и простыни на четырех детских кроватках. В прихожей она остановилась перед большой картой страны — желтой от старости, покрытой таинственными значками и напоминавшей увеличенную карту Острова Сокровищ; кругом море, темно-коричневые — словно красного дерева — горы, светло-коричневым обозначены долины, черным — шоссе и дороги, зеленым — маленькие участки возделываемой земли вокруг крохотных деревень, и повсюду голубыми языками бухт вдается в остров море; маленькие крестики — церкви, часовни, кладбища; маленькие гавани, маяки, прибрежные скалы; ноготь указательного пальца, покрытый серебристым лаком, медленно ползет вдоль дороги, по которой два часа назад уехал муж этой женщины; деревня, две мили болота, деревня, три мили болота, церковь — молодая женщина осеняет себя крестом, будто и впрямь проезжает мимо церкви, — пять миль болота, деревня, две мили болота, церковь — женщина снова крестится; бензоколонка, бар Тедди О'Малли, лавка Беккета, три мили болота; покрытый серебристым лаком ноготь, как сверкающая модель автомобиля, медленно ползет по карте до самого пролива, где жирная черная линия шоссе по мосту перебегают на твердую землю, а дорога, по которой проехал ее муж, вьется тоненькой черной ниточкой по краю острова, порой сливаясь с его контурами. Здесь карта темно-коричневая, береговая линия зубчатая и неправильная, как кардиограмма очень беспокойного сердца, и кто-то вывел шариковой ручкой по голубой краске моря: «200 футов», «380 футов», «300 футов», и от каждой из цифр отходит стрелка, которая объясняет, что цифры означают не глубину моря, а высоту берега над уровнем моря, берега, который совпадает тут с дорогой. Серебристый ноготь то и дело спотыкается, потому что женщина знает каждый метр этой дороги: она не раз сопровождала своего мужа, когда он ездил к больному в единственный — на шесть миль побережья — дом. Когда туристы ездят в солнечные дни по этой дороге, у них холодок пробегает по спине, если на протяжении нескольких километров они прямо под собой видят только белые языки моря, стоит шоферу чуть зазеваться — и машина разобьется о камни, о которые разбился уже не один корабль. Дорога мокрая, покрытая галькой и кое-где овечьим пометом — это там, где ее пересекают старые овечьи тропы. И вдруг ноготь резко останавливается: здесь дорога круто сры-

вается к маленькой бухте и так же круто взмывает вверх, море яростно ревет на дне каньона; миллионы лет бушует эта ярость, подтачивая основание скалы. Палец снова спотыкается — здесь лежало маленькое кладбище для неокрещенных младенцев, сегодня здесь можно видеть лишь одну могилу, обложенную кусками кварца, остальные захоронения унесло море. Теперь машина осторожно преодолевает старый мост без перил, поворачивает, и в свете фар видно, как машут руками заждавшиеся женщины: здесь, в самом дальнем углу острова, живет Иден Мак-Намара, жена которой должна родить этой ночью.

Молодая женщина зябко вздрагивает и, покачав головой, медленно возвращается в комнату, подбрасывает торфа в камин, перемешивает, пока его не охватит пламя, берет клубок, снова кидает его в угол дивана, встает, подходит к зеркалу, с полминуты задумчиво стоит перед ним, опустив голову, и вдруг вскидывает голову и смотрит на свое отражение: яркий макияж делает ее детское лицо еще более детским, почти кукольным, хотя у самой куклы уже четверо детей. Дублин так далеко — Графтон-стрит — О'Коннел-бридж — набережные; кино и танцы — Театр Аббатства — по будням в одиннадцать утра служба в церкви святой Терезы, куда надо приходить загодя, если хочешь найти свободное место. Молодая женщина, вздохнув, снова подходит к камину. С чего это жена Идена Мак-Намары повадилась рожать детей только по ночам и только в сентябре? Но ведь Иден Мак-Намара с марта по декабрь работает в Англии и лишь под рождество приезжает на три месяца домой, чтобы запасти торфа, покрасить дом, починить крышу, тайком половить лососей со скалистого обрыва, поискать, не вынесло ли море на берег какого добра, и еще — чтобы сделать очередного ребенка; вот почему дети Идена Мак-Намары появляются на свет всегда в сентябре и всегда числа двадцать третьего — через девять месяцев после рождества, когда начинаются большие штормы и море на много миль захлестнуто яростной белой пеной. Иден, верно, сидит сейчас в Бирмингеме у стойки бара, волнуется, как всякий, кто готовится стать отцом, и проклинает упрямство своей жены, ни за что не желающей расстаться с этим одиночеством, — строптивая черноволосая красавица, все дети которой рождаются в сентябре; среди развалин заброшенной деревни она занимает единственный еще не заброшенный дом. В том месте побережья, красота которого причиняет боль, потому что в солнечные дни отсюда можно видеть за тридцать, за сорок километров и не обнаружить никаких признаков человеческого жилья — лишь синева, призрачные островки да море. Позади дома голый склон круто взмывает вверх на четырехста футов, а в трехстах шагах перед домом он так же круто обрывается вниз на триста футов; черные голые камни, ущелья, пещеры, вгрызшиеся в глубь скалы на пятьдесят — семьдесят метров; в штормовую погоду из пещер грозно вырывается пена, словно белый палец, на клочки раздираемый штормом.

Нуала Мак-Намара уехала отсюда в Нью-Йорк продавать



шелковые чулки у Вулворта, Джон стал учителем в Дублине, Томми — иезуитом в Риме, Бриджит вышла замуж в Лондоне, — но Мэри упорно цепляется за этот безнадежный, заброшенный клочок земли, где вот уже четвертый год подряд в сентябре она производит на свет по ребенку.

— Приезжайте ко мне двадцать четвертого, доктор, часам к одиннадцати, и клянусь вам, вы приедете не напрасно.

А через десять дней она пройдет со старым посохом своего отца по краю обрыва посмотреть, как там ее овцы и как там насчет сокровищ, поиски которых заменяют жителям побережья лотерею (кстати, в лотереях они тоже участвуют). Зоркими глазами жительницы побережья она обшарит весь берег, а когда очертания и цвет какого-нибудь предмета скажут ее цепким глазам, что это не просто камень, возьмется за бинокль. Разве не знает она каждую скалу, каждый валун на шести милях этого берега, разве не знает она любой риф в любую пору прилива и отлива? В одном только октябре прошлого года, после долгих штормов, она нашла на берегу три тюка с каучуком и спрятала их выше уровня прилива в пещере — той самой, где ее предки уже за сотни лет до того прятали от жандармов тиковое дерево, медь, бочонки с ромом и обломки погибших кораблей.

Молодая женщина с серебристым лаком на ногтях улыбнулась: она выпила вторую рюмку виски, побольше, и уняла наконец свою тревогу: когда пьешь не спеша, с раздумьем, огненная вода действует не только вглубь, но и вширь. Разве сама она не родила уже четырех детей и разве муж ее не возвращался уже три раза из этой ночной поездки? Женщина улыбается: о чем говорит Мэри Мак-Намара при встрече? О предмете, который называется *радар*, ей нужен маленький портативный радар, с его помощью она собирается выискивать в бесчисленных бухточках и между скал медь и цинк, железо и серебро.

Молодая женщина снова идет в прихожую, еще раз прислушивается через открытую дверь к спокойному дыханию детей, улыбается и снова начинает водить по старой карте серебристым ногтем указательного пальца, водит и подсчитывает: полчаса по хорошей дороге до пролива, еще три четверти часа до дома Идена Мак-Намары, и если младенец действительно окажется таким пунктуальным, а обе женщины из соседней деревни уже будут на месте, то примерно часа два на роды, еще полчаса на *cup of tea* (это может оказаться чем угодно — от чашки чая до грандиозной трапезы) и еще три четверти часа плюс полчаса на обратную дорогу; итого пять часов. В девять Тед выехал — значит, около двух там внизу, где шоссе переваливает через гору, должны показаться фары его машины. Женщина смотрит на свои часы: сейчас половина первого. Еще раз медленно проводит она серебристым пальцем по карте: болото, деревня, церковь, болото, взорванная казарма, болото, деревня, болото.

Женщина возвращается к камину, снова подкладывает торфа, помешивает его, задумывается, берет газету. На первой странице

идут частные объявления: рождения, смерти, помолвки, и еще особый столбец, над которым заголовок "In Memoriam": в нем сообщают о годовщинах смерти, о шестинедельных заупокойных службах или просто напоминают о дате смерти: «В память о горячо любимой Мойре Мак-Дермот, которая год назад скончалась в Типперэри. Иисусе милосердный, упокой ее душу. Вознесите и вы, кто сегодня вспомнит о ней, свои молитвы к престолу Спасителя». Два столбца — сорок раз молодая женщина с серебристыми ногтями читает молитву — «Иисусе милосердный, упокой их души» — за Джойсов и Мак-Карти, за Моллов и Галахеров.

Далее следуют серебряные свадьбы, потерянные кольца, найденные кошельки, официальные уведомления.

Семь монахинь, направляющиеся в Австралию, и шесть — в Америку, улыбаются перед фоторепортером. Двадцать семь только что рукоположенных в сан священников улыбаются перед фоторепортером. Пятнадцать епископов, которые обсуждали проблемы эмиграции, делают то же самое.

На третьей странице — очередной бык, продолжающий линию премированных племенных производителей, затем Маленков, Булганин и Серов, дальше премированная овца с венком между рогами; молодая девушка, занявшая первое место на конкурсе песни, демонстрирует фотографам хорошенькое личико и прескверные зубы. Тридцать выпускниц закрытого пансиона встречаются через пятнадцать лет после выпуска, одни раздались в ширину, другие выделяются стройностью из общей массы; даже на газетной бумаге можно увидеть неумеренный макияж: губы как бы жирно намазаны тушью, брови — два четких, изящных штриха; все тридцать запечатлены во время обедни, за чаем с пирожными и на вечерней службе.

Три ежедневных комикса с продолжением: «*Рип Кирби*», «*Хопалонг Кэссиди*» и «*Сердце Джульетты Джонс*». Ну и суровое сердце у Джульетты Джонс!

Бегло, мимоходом, когда ее глаза уже почти остановились на кинорекламе, читает молодая женщина репортаж из Западной Германии: «*Как жители Западной Германии используют свободу вероисповеданий*». «Впервые за всю немецкую историю, — читает женщина, — в Западной Германии гарантирована полная свобода вероисповедания»... «Бедная Германия, — думает женщина и завершает: — Иисусе милосердный, помилуй их».

Давно просмотрена кинореклама, теперь глаза женщины внимательно пробегают колонку, озаглавленную «*Свадебные колокола*», колонка длинная, итак, Дермот О'Хара женился на Шиван О'Шонесси (с подробнейшими сведениями о социальном положении и месте жительства родителей жениха и невесты, шафера, подружки, свидетелей).

Глубоко вздохнув и с тайной надеждой, что, быть может, уже прошел час, молодая женщина смотрит на циферблат: прошло всего полчаса, и она снова склоняется над газетой. Реклама туристского агентства: путешествия в Рим, Лурд, Лизьё, в Париж

на рю дю Барк, к мощам Катарины Лабуре, а там за несколько шиллингов можно вписать свое имя в *«Золотую книгу молитв»*. Открылся новый молебельный дом, сияя, выстроились перед объективом его учредители. В одном захолустном городке в Мейо — с четырьмястами пятьюдесятью жителями — благодаря активности местного фестивального комитета состоялся настоящий фестиваль: гонки на ослах, бег в мешках, прыжки в длину и конкурс на самого медленного велосипедиста: победитель конкурса, ухмыляясь, предоставляет свою физиономию в распоряжение фоторепортера; он, тщедушный ученик в торговле продовольственными товарами, лучше других умеет пользоваться тормозами.

На дворе разыгралась буря, даже сюда доносится грохот прибоа, женщина кладет газету, встает, подходит к окну и смотрит на бухту: скалы черны, как высохшие чернила, хоть и висит над ними ясная и полная монета луны, в глубину моря тоже не проникает этот холодный и ясный свет, он растекается по самой поверхности, как вода по стеклу, он чуть трогает берег легкой ржавчиной и ложится плесенью на болото: внизу, у пристани, мерцает слабый огонек, пляшут черные лодки...

Кстати, может, стоит еще помолиться за душу Мэри Мак-Намара — вреда не будет. Бисеринки пота выступают на бледном гордом лице, в котором удивительно сочетаются суровость и доброта, — лицо пастушки, лицо рыбачки. Так, должно быть, выглядела Жанна д'Арк...

Молодая женщина бежит от лунного холода, зажигает сигарету, подавляет желание налить себе третью рюмку, снова берет газету, пробегает ее глазами, а в голове засело одно: «Иисусе милосердный, смилуйся над нами». Покуда глаза пробегают спортивную хронику, коммерческий раздел, расписание пароходов, она думает о Мэри Мак-Намара; сейчас там греют воду над торфяным огнем в роскошном медном котле, в большом, как детская ванночка, котле цвета червонного золота. Кто-то из предков Мэри якобы нашел его среди обломков Великой армады; может быть, в этом котле испанские матросы варили пиво или похлебку. Масляные лампадки и свечи горят сейчас перед всеми ликами святых, а ноги Мэри, ища опоры, упираются в спинку кровати, соскальзывают, сейчас они видны целиком: белые, нежные, сильные, самые красивые ноги, какие когда-либо видела молодая жена врача. А она повидала много ног: в ортопедической клинике в Дублине, в одном из этих протезных складов, где она подрабатывала во время каникул: жалкие, страшные ноги, которые никогда уже не послужат своим хозяйкам; и на многих пляжах видела она голые ноги: в Дублине, в Килини, Россбее, Сандимаунте, Малахайде, в Брее, а летом, когда приезжают купальщики, — и здесь тоже. Но ни разу еще не видела она таких красивых ног, как у Мэри Мак-Намара. Нужно бы уметь слагать баллады, со вздохом думает она, чтобы достойно воспеть ноги Мэри, ноги, которые карабкаются по скалам и рифам, бродят по болотам, меряют дорожные мили, а сейчас упираются в спинку кровати, чтобы вытолкнуть

ребенка из чрева, это самые красивые ноги в мире, белые, нежные, сильные, подвижные, почти как руки: ноги Афины, ноги Жанны д'Арк.

Молодая женщина не спеша погружается в газетные объявления. Продажа домов: семьдесят объявлений — значит, семьдесят эмигрантов, семьдесят поводов воззвать к Иисусу Милосердному. Купят дом — два объявления. Ох, Кэтлин, дочь Холиэна, что же ты делаешь со своими детьми! Продаются крестьянские дворы — девять. Желающих купить — ни одного. Требуются молодые мужчины, которые чувствуют призвание к монашеской жизни, молодые женщины, которые чувствуют призвание к монашеской жизни. Английские больницы ищут санитарок, льготные условия, оплаченный отпуск и раз в год поездка домой на казенный счет.

Еще один взгляд в зеркало, чуточку подкрасить губы, подправить брови щеточкой, подновить серебристый лак на указательном пальце правой руки — лак облупился во время путешествия по карте. И снова в прихожую, там подлакированный ноготь проделывает по карте путь до того места, где живет женщина с самыми красивыми в мире ногами, здесь палец можно задержать, чтобы вызвать это место в памяти: шесть миль обрывистого берега, а по летним дням бескрайняя синева, и среди нее, словно выдуманные, плывут острова, которые окружены гневной пеной моря; острова, в существование которых трудно поверить, — зеленые, черные; мираж, наводящий грусть именно потому, что это вовсе не мираж и не может им быть, а еще потому, что Иден Мак-Намара вынужден работать в Бирмингеме, чтобы его семья могла жить здесь. Разве не похожи ирландцы с западного побережья на отпускников, приехавших отдохнуть, поскольку деньги на жизнь они зарабатывают где-то в другом месте? Сурова синь морской дали, острова высятся из нее, как бы изваянные из базальта, и лишь изредка крохотная черная лодка: люди.

Рев прибоа страшит молодую женщину: ах, как она тоскует осенью или зимой, когда неделями не унимается шторм, неделями ревет прибой и хлещет дождь по темным городским стенам. Она идет к окну и снова глядит на часы: почти половина второго, луна уже передвинулась к западному концу бухты; и вдруг она видит два световых конуса от машины ее мужа — беспомощные, как руки, которым не за что ухватиться, шарят они по серым облакам, ползут вниз — значит, машина почти одолела подъем, — выскочив из-за перевала, обегают крыши деревни и, наконец, падают на дорогу: еще две мили болотом, потом деревня и сигнал — три раза и еще три, и теперь все в деревне знают, что Мэри Мак-Намара родила мальчика, точно в ночь с 24-го на 25 сентября; сейчас почтмейстер вскочит с постели и даст телеграммы в Бирмингем, в Рим, в Нью-Йорк, в Лондон, и еще сигнал для жителей верхней деревни — три раза: Мэри Мак-Намара родила мальчика.

Уже слышен шум мотора, громче, ближе, вот уже лучи фар тенями веерных пальм отчетливо ложатся на белые стены дома, застревают в сплетении олеандровых веток, останавливаются,

и в свете, падающем из ее окна, молодая женщина видит огромный медный котел, который, должно быть, плавал на Великой армаде. Муж, улыбаясь, выносит его на свет.

— Королевский гонорар, — тихо говорит он, и жена закрывает окно и, бросив еще один взгляд в зеркало, до краев наполняет две рюмки — за самые красивые в мире ноги.

## МЕРТВЫЙ ИНДЕЕЦ НА ДЮК-СТРИТ

Лишь после некоторого раздумья ирландский полисмен поднял руку, чтобы остановить машину. Возможно, он потомок какого-нибудь короля или внук какого-нибудь поэта, а то и внучатый племянник какого-нибудь святого, возможно также, что у него, призванного охранять закон, лежит дома под подушкой другой пистолет, — пистолет борца за свободу, презревшего законы. Во всяком случае, обязанности, ныне им выполняемые, ни разу ни в одной из своих бесчисленных колыбельных не воспевала его мать. Сравнить номер, указанный в документе, с номером машины, мутную фотографию с лицом живого владельца — какое бессмысленное, почти унижительное занятие для потомка короля, внука поэта и внучатого племянника святого — для того, кто, быть может, предпочитает свой незаконный пистолет законному, тому, что болтается сейчас у него на бедре.

Итак, после мрачного раздумья он останавливает машину, сидящий внутри соотечественник опускает стекло, полицейский улыбается, соотечественник улыбается, теперь можно поговорить о деле.

— Денек нынче что надо, — говорит полицейский. — А как у вас дела?

— Отлично, а у вас?

— Можно бы и получше, но ведь правда, денек-то нынче хорош?

— Куда уж лучше... или, по-вашему, будет дождь?

Полицейский бросает торжественный взгляд на восток, на север, на запад и на юг, и в той прочувствованной торжественности, с которой он, как бы принюхиваясь, вертит головой, кроется сожаление о том, что сторон света всего четыре, а то как бы здорово с той же прочувствованной торжественностью поглядеть на все шестнадцать сторон. Затем он раздумчиво отвечает соотечественнику:

— Не исключено, что пойдет дождь. Знаете, в тот день, когда моя старшая родила своего младшего — чудный карапуз, волосенки каштановые, а глаза — вот это глаза, доложу я вам, — так вот три года назад и как раз об эту пору мы тоже думали, что день неплохой, но к вечеру припустил такой дождь!

— Да, — говорит соотечественник в машине, — когда моя невестка, жена моего второго сына, родила первого ребенка — премилая девчушка с такими беленькими волосиками, а глазки голубенькие — голубенькие, прелестный ребенок, доложу я вам, — так вот тогда погода была почти такая же, как сегодня.

— Между прочим, в тот день, когда моей жене вырвали коренной зуб, то же самое: утром — дождь, днем — солнце, вечером — опять дождь, ну совершенно как в тот день, когда Кэти Коглен зарезала настоятеля церкви святой Марии...

— А удалось в конце концов выяснить, почему она это сделала?

— Она зарезала его потому, что он не хотел отпускать ей грехи. На суде она то и дело повторяла в свое оправдание: «Что ж, говорит, мне так и помирать было со своими грехами?» Как раз в тот день у третьего ребенка моей второй дочери прорезался первый зуб. Обычно мы отмечаем каждый зуб, а тут мне пришлось под проливным дождем шататься по Дублину и отыскивать Кэти.

— Нашли?

— Нет, она уже два часа сидела в участке и поджидала нас, а там никого не было, потому что все разбежались ее искать.

— Она раскаивалась?

— Да ни капельки. Она так и сказала: «По-моему, он угодил прямехонько на небо, чего же ему еще надо?» И еще поганный был день, когда Том Даффи спер у Вулворта большого шоколадного негра и притащил его в зоопарк угостить медведей. В нем было сорок фунтов чистого шоколада, и все звери прямо как взбесились — так громко урчали медведи. Этот день был солнечный, с раннего утра, и я хотел поехать к морю со старшей дочерью моей старшей дочери, а вместо того мне пришлось задерживать Тома, он лежал дома в постели и крепко спал, и знаете, что этот парень сказал, когда я его разбудил? Знаете?

— Что-то не припомню.

— Он сказал: «Черт побери, почему и этот роскошный негр тоже должен принадлежать Вулворту? А вы даже не дадите человеку спокойно поспать». И верно, до чего у нас дурацкий, до чего глупый мир, где все хорошие вещи принадлежат плохим людям... Такой чудный был день, а я изволь арестовывать этого дурака Тома.

— Да,— сказал соотечественник в машине,— и когда мой младший провалился на выпускных экзаменах, тоже был отличный день...

Если помножить число родственников на их возраст, эту цифру еще на триста шестьдесят пять, то можно приблизительно вычислить количество вариаций на тему «погода». И никогда не узнаешь, что важнее — убийство, которое совершила Кэти Коглен, или погода, которая была в тот день; невозможно установить, кто для кого служит алиби: то ли дождь для Кэти, то ли Кэти для дождя,— вопрос остается открытым. Украденный шоколадный негр, выдернутый зуб, невыдержанный экзамен — все эти события существуют в мире не сами по себе, они подчинены истории погоды и подключены к ней, они входят составной частью в таинственную, бесконечно сложную систему координат.

— А еще,— сказал полицейский,— была плохая погода в тот день, когда монахиня нашла на Дюк-стрит мертвого индейца: мы несем беднягу в участок, а ветер воет и дождь хлещет прямо в лицо. Монахиня все время шла рядом и молилась за его бедную душу; воды набрала полные туфли, а ветер был такой сильный, что за-

дирал тяжелый, намокший подол ее юбки, и тогда я мог видеть, что она заштопала свои коричневые панталоны розовыми нитками.

— Его убили?

— Индейца-то? Нет, мы так и не смогли установить, чей он и откуда взялся; следов яда в нем не обнаружили, следов насилия тоже. В руках он держал боевой томагавк, на голове у него был боевой убор, а на лице боевая раскраска, и, поскольку человеку нельзя обойтись без имени, мы назвали его *«наш возлюбленный краснокожий брат, явившийся из воздуха»*. Монахиня все плакала и не уходила от него и повторяла: «Это ангел, конечно же, это ангел, вы только посмотрите на его лицо».

В глазах полицейского вспыхнул блеск, торжественно разглядилось его чуть отечное от виски лицо, и сам он вдруг помолодел.

— Теперь и я думаю, что это был ангел: иначе откуда бы он взялся?

— Удивительно,— шепнул мне соотечественник,— в жизни не слышал про этого индейца.

И я начал догадываться, что полицейский вовсе не внук поэта, что он сам поэт.

— Мы похоронили его только через неделю — все искали кого-нибудь, кто мог бы знать его, но никто его не знал. Самое любопытное, что и монахиня вдруг исчезла. А ведь я своими глазами видел розовую штопку на ее коричневых панталонах, когда ветер задирает ее тяжелый подол. Скандал, конечно, поднялся страшный, когда полиция пожелала осмотреть панталоны у всех ирландских монахинь.

— Ну и как, нашли?

— Нет,— сказал полицейский.— Панталон не нашли. Но я уверен, что монахиня тоже была ангелом. У меня только одно вызывает сомнение: неужели даже ангелы ходят в заштопанных панталонах?

— А вы спросите у архиепископа,— сказал соотечественник и, опустив стекло еще ниже, протянул полицейскому пачку сигарет. Полицейский взял сигарету.

Вероятно, этот маленький подарок напомнил полицейскому о реальной, о докучной земной жизни, потому что лицо у него внезапно постарело, стало по-прежнему угрюмым и отечным, и он спросил:

— Кстати, не покажете ли вы мне ваши документы?

Соотечественник даже не пытался сделать вид, будто он ищет что-то, не стал изображать то напускное волнение, с каким мы ищем вещь, твердо зная, что ее при нас нет; он просто сказал:

— А я их оставил дома.

Полицейский не колебался ни секунды.

— Ну,— сказал он,— лицо-то у вас, я полагаю, ваше собственное.

А вот на собственной ли машине он ездит, не играет никакой роли, подумал я, когда мы поехали дальше. Мы ехали по чудесным аллеям, мимо великолепных развалин, но я почти ничего не видел:

я думал о мертвом индейце, которого монахиня нашла на Дюк-стрит, когда бушевал ветер и дождь хлестал в лицо; я видел их как во плоти — чету ангелов, из которых один был в боевом уборе, а другая в коричневых панталонах, заштопанных розовыми нитками, — видел гораздо явственнее, чем то, что мог видеть на самом деле: чудесные аллеи и великолепные развалины...

## ГЛЯДЯ В ОГОНЬ

Существует широко распространенное заблуждение, будто топор в доме заменяет плотника; но иметь собственный торфяник все-таки приятно. У мистера О'Донована из Дублина есть таковой, как есть он у многих О'Нилов, Маллоев и Дейли из Дублина. В свободные дни (а свободных дней у него хватает) он берет заступ, садится на семнадцатый или сорок седьмой автобус и едет на свой торфяник: надо уплатить шесть пенсов за билет, несколько сандвичей и термос с чаем лежат у него в кармане, теперь можно добывать свой собственный торф на своем собственном участке. Потом грузовик или запряженная ослом тележка доставят этот торф в город. Его соотечественникам в других графствах и того легче: у тех торф чуть ли не растет перед домом, и в солнечные дни на голых, испещренных черными и зелеными полосами холмах царит такое же оживление, как во время уборки урожая; здесь собирают урожай, возвращенный столетиями сырости меж голых скал, озер и зеленых лугов; торф — единственное природное богатство страны, которая уже сотни лет назад лишилась своих лесов, страны, которая не всегда имела и не всегда имеет хлеб свой насущный, зато всегда имела дождь свой насущный, хотя бы и кратковременный: например, когда крохотное облачко выплывает в ясное небо, где его шутя выжимают, как губку.

Высокими штабелями сохнут куски коричневого пирога за каждым домом, порой штабеля перерастают крышу — значит, одним добром вы обеспечены наверняка: в камине у вас всегда будет огонь — красное пламя, которое лижет темные комья и оставляет после себя светлый пепел, легкий и без запаха, почти как пепел сигары — белый кончик черной гаваны.

Камин делает ненужной одну наименее приятную (и наиболее необходимую) принадлежность всякого цивилизованного сборища — пепельницу. Если время, проведенное в доме, гость расчленил на сигареты и, уходя, оставил в пепельнице, а хозяйка потом опоражнивает это зловонное вместилище, на дне все равно остается какая-то гадость — вязкая, липучая, черно-серая. Можно только удивляться, что до сих пор ни один психолог не проник в низины психологии и не открыл, как ответвление ее, науку окуркологию; тогда хозяйка, собирая расчлененное время, чтобы выкинуть его, могла бы не без пользы для себя поупражняться в психологии: вот докуренные только до половины, грубо смятые окурки тех, у кого никогда нет времени и кто своими сигаретами тщетно борется



со временем за время; вот Эрос оставил темно-красную кайму на мундштуке, а курильщик трубки — пепел своей солидности: черный, рассыпчатый и сухой; а вот скудные окурки заядлого курильщика, который закурит вторую сигарету не раньше, чем огонь первой обожжет ему губы, — словом, в низинах психологии можно набрать по меньшей мере несколько явных улик как побочных продуктов цивилизованного сборища. И сколь благотворен огонь камина, который уничтожает все следы, остаются только чашки, да несколько рюмок, да рдеющее в камине ядро, которое хозяин время от времени обкладывает новыми черными брикетами торфа.

Бессмысленные проспекты — реклама холодильников, путешествия в Рим. «Золотая библиотека юмора», автомобили, брачные объявления — поток, который угрожающе растет, поток газет, оберточной бумаги, билетов и конвертов здесь можно непосредственно превращать в огонь, да еще подложить несколько кусков плавника, подобранного во время прогулки по берегу; обломок коньячного ящика, чурбак, смытый с палубы какого-то корабля, сухой, белый и чистый; стоит поднести спичку — и вот уже взметнулись языки пламени, и время, время от пяти часов до полуночи, быстро делается добычей мирного огня. У камина разговаривают тихо, а если кто повысит голос, значит, одно из двух: он либо болен, либо смешон. У камина можно забыть школьные уроки европейской школы, когда Москва вот уже четыре часа, Берлин вот уже два и даже Дублин вот уже полчаса как погружены во мрак. Над морем еще стоит слабое сияние, а Атлантика упорно, пядь за пядью размыкает западный форпост Европы, галька осыпается в море, бесшумные илестые ручьи увлекают в океан темную европейскую землю; под тихий лепет струй они по крупинке уносят за какие-нибудь несколько десятилетий целые поля и пашни.

И те, кто прогуливал уроки, с тяжелым сердцем подкладывают в камин новую порцию торфа, тщательно выложенные куски призваны дать свет для полуночной партии в домино; медленно ползет стрелка по шкале приемника, пытаюсь узнать время, но ловит только обрывки гимнов: и Польша еще не погибла, и Бог хранит королеву, а Маас и Мемель, Эч и Бельт все еще границы Германии (это не говорится и не поется, но слова эти врезаны в невинную мелодию, как в напев шарманки). И дети отчизны по-прежнему вешают аристократов на фонарях. Медленно меркнет зеленый огонек индикатора, и снова пламя набрасывается на торф, где лежит еще один час времени — четыре куска торфа поверх алого ядра; насыщенный дождь сегодня что-то запоздал; тихо, почти с улыбкой, падает он на болото и на море.

Шум машины, увозящей гостей, удаляется в сторону огоньков, рассыпанных по болоту, по черным склонам, уже погруженным в глубокий мрак, тогда как на берегу и над морем еще светло. Купол тьмы не спеша опускается на горизонт, закрывая последнюю светлую щель в небосводе; но полной тьмы по-прежнему нет, а над Уралом так и вовсе светает: вся Европа не шире одной короткой летней ночи.

Если Шеймусу (пишется Seamus) хочется выпить, он должен учитывать, в какое время можно дать волю своей жажде. Покуда в деревне есть приезжие (а они бывают далеко не в каждой деревне), он может предоставить своей жажде некоторую свободу, ибо приезжие имеют право пить всякий раз, как почувствуют жажду, и тогда местный житель может спокойно затесаться между ними у стойки, тем более что он представляет собой элемент местной экзотики, привлекающей туристов. Но вот после первого сентября Шеймусу нужно регулировать свою жажду. Полицейский час по будням наступает в десять, и это уже само по себе крайне неприятно, потому что в теплые и сухие сентябрьские дни Шеймус часто работает до половины десятого, а то и дольше.

По воскресеньям же он заставляет свою жажду просыпаться либо до двух часов, либо от шести до восьми вечера. Если обед слишком затянулся, жажда проснется только после двух, и тогда Шеймус найдет местный трактир закрытым, а хозяин — даже если удастся до него достучаться — будет чрезвычайно «сорри» и не выкажет ни малейшего желания из-за одной кружки пива или стакана виски платить пять фунтов штрафа, тащиться в главный город графства и терять целый день. По воскресеньям с двух до шести трактиры должны быть закрыты, а полностью доверять местному полицейскому нельзя: бывают люди, которые по воскресеньям после слишком плотного обеда испытывают приступ исполнительности и хмельную преданность закону. Но и Шеймус тоже слишком плотно пообедал, так что его страстное желание выпить кружку пива можно понять и уж никак нельзя осудить.

Итак, в пять минут третьего Шеймус стоит посреди деревенской площади и размышляет. Пересохшей глотке запретное пиво представляется гораздо более соблазнительным, чем было бы пиво доступное. Шеймус размышляет: выход есть — можно достать из сарая велосипед и отмахать шесть миль до соседней деревни, потому что тамошний трактирщик должен дать ему то, в чем должен отказать местный: его порцию пива. Этот нескладный закон содержит оговорку, согласно которой путнику, удалившемуся от своего дома не менее чем на три мили, напитки отпускаются беспрепятственно. Шеймус все еще размышляет: географическое положение у него неблагоприятное — к сожалению, человек не может сам выбрать, где ему родиться, и Шеймусу в этом смысле крайне не повезло, ибо ближайший трактир находится не в трех, а в шести милях отсюда — редкая для ирландца неудача, чтобы на шесть миль — и ни одного трактира. Шесть миль туда, шесть миль обратно — получается двенадцать миль, то есть больше восемнадцати километров, ради одной кружки пива, да вдобавок часть дороги идет в гору. Шеймус отнюдь не пьяница, иначе он не размышлял бы так долго, а давно бы уже крутил педали и весело бренчал монетами в своем кармане. Ему всего только и хочется выпить кружку пива: окорок был так пересолен, капуста так переперчена, а разве

подобаает мужчине утолять свою жажду колодезной водой или пах-таньем? Он разглядывает плакат над трактиром: огромная, выполненная в натуралистической манере кружка пива, такой темный, цвета лакрицы, такой свежий, чуть горьковатый напиток, а поверх — пена, белая, белоснежная пена, которую слизывает томимый жаждой тюлень. “A lovely day for a Guinness!”<sup>1</sup> О муки Танта-ла! Столько соли в окороке! Столько перца в капусте!

Чертыхаясь, возвращается Шеймус к себе, выводит велосипед из сарая и, яростно крутя педали, выезжает со двора. О Танта-л — о воздействие ловкой рекламы! Жарко, очень даже жарко, и гора крутая, Шеймус вынужден толкать велосипед в гору, он обли-вается потом, изрыгает ругательства, однако ругательства его не касаются сексуальной сферы, как у тех народов, которые потреб-ляют виноградное вино; его ругательства — это ругательства чело-века, предпочитающего виноградным винам спиртные напитки, они кощунственнее и остроумнее, чем социальные, недаром же спери-тус — это дух. Шеймус ругает правительство и, надо полагать, ду-ховенство, упорно настаивающее на сохранении этого непонятного закона (ибо, когда в Ирландии раздают лицензии на содержание трактиров, назначают полицейский час или устраивают танцеваль-ный вечер, решающий голос принадлежит духовенству), — он, наш вспотевший, изнывающий от жажды Шеймус, который всего лишь несколько часов назад так благочестиво и кротко стоял в церкви, слушая воскресную проповедь.

Наконец он взбирается на вершину горы, и здесь разыгрывает-ся сценка, из которой я с удовольствием сделал бы скетч, ибо здесь Шеймус встречает своего двоюродного брата Дермота — из соседней деревни. Дермот тоже ел за обедом пересоленный окорок с переперченной капустой. Дермот тоже не пьяница, и ему тоже хватило бы одной кружки пива для утоления жажды, он тоже по-стоял у себя в деревне перед плакатом с очень натурально нари-сованной кружкой пива и лакомкой тюленем, он тоже поразмыс-лил, выкатил из сарая велосипед, тоже тащил его в гору, потел, ру-гался — и вот теперь встретил Шеймуса; происходит краткий, но кощунственный диалог, после чего Шеймус мчитя вниз под гору к трактиру Дермота, а Дермот — к трактиру Шеймуса, и оба сделают то, чего делать не собирались: оба напьются до бесчувствия, посколь-ку тащиться в такую даль ради одной кружки пива, ради одного ста-кана виски было бы просто нелепо. И через столько-то часов того же воскресенья они, качаясь и горлаяя песни, снова будут толкать свои велосипеды в гору и с головокружительной скоростью мчать-ся вниз по склону. И они, которых никак нельзя назвать пьяница-ми — а может, все-таки можно? — станут пьяницами еще рань-ше, чем наступит вечер.

Но, возможно, Шеймус, который стоит в третьем часу на дере-венской площади, томясь от жажды, и созерцает лакомку тюленя, решит погодить и не станет вытаскивать из сарая велосипед; воз-

<sup>1</sup> Реклама пива: «Чудный денек для кружки Гиннеса!» (англ.)

можно — какое унижение для настоящего мужчины! — он решит утолить свою жажду водой или пахтаньем и поваляться на кровати с воскресной газетой. От гнетущей пополуденной жары, от тишины он задремлет, потом вдруг проснется, глянет на часы и, вне себя от ужаса, словно за ним гонится черт, ринется в свой трактир, потому что на часах уже без четверти восемь и у его жажды осталось в распоряжении всего пятнадцать минут. Хозяин уже начал монотонно выкрикивать свое обычное: “Ready now, please, ready now!” — «Прошу заканчивать! Прошу заканчивать!» Серdito, впопыхах, то и дело поглядывая на часы, Шеймус опрокинет три, четыре, пять кружек пива и несколько стаканов виски следом, потому что часовая стрелка все ближе подползает к восьми и выставленный у дверей пост уже сообщил, что к трактиру медленно приближается полицейский, — ведь есть же люди, на которых после воскресного обеда находит дурное настроение и преданность закону.

Тот, кто воскресным днем незадолго до восьми часов окажется в трактире и будет оглушен хозяйским: «Прошу заканчивать!», может увидеть, как врываются в трактир все непьяницы, которым вдруг пришло в голову, что трактир скоро закроется, а они еще не сделали того, к чему у них, возможно, и не было бы охоты, не будь этого дурацкого закона, — они еще не напились. Без пяти восемь наплыв посетителей превосходит всяческое вероятие; все усиленно заливают жажду, которая может проснуться часам к десяти-одиннадцати, а может и вообще не проснуться. Кроме того, каждый чувствует себя обязанным хоть немного поднести приятелю, и тут хозяин в отчаянии кличет на подмогу жену, племянниц, внуков, бабушку, прабабушку, тетю, потому что за три минуты, оставшиеся до восьми, ему нужно успеть семь раз обнести всех присутствующих, то есть налить шестьдесят кружек пива и столько же рюмок виски, а его клиентам — успеть их выпить. В азарте, с каким здесь пьют сами и ставят выпивку другим, есть что-то детское — так мальчишка тайком выкуривает сигарету и тайком блюет после нее, — а уж конец, когда ровно в восемь в дверях возникает полицейский, уж конец — это чистейшее варварство: бледные, ожесточившиеся семнадцатилетние юнцы, спрятавшись где-нибудь в хлеву, наливаются пивом и виски во исполнение бессмысленных правил игры, называемой «мужская солидарность», а хозяин... что ж, хозяин подсчитывает выручку: куча бумажек по фунту, звонкое серебро, все деньги, деньги, и закон соблюден...

А воскресенье кончится еще не скоро, сейчас ровно восемь — еще рано, и сценка, разыгранная в два часа пополудни Шеймусом и Дермотом, может быть повторена с любым числом участников; итак, вечером, примерно в четверть девятого, на вершине горы встречаются две группы пьяных: чтобы использовать трехмильный обход закона, нужно только поменяться деревнями, поменяться трактирами. Немало проклятий возносится по воскресеньям к небу этой благочестивой страны, на землю которой, хоть она и католическая, никогда не ступала нога римского наемника; кусок католической Европы за пределами Римской империи.

## ДЕВЯТЫЙ РЕБЕНОК МИССИС Д.

Девятого ребенка миссис Д. зовут Джеймс Патрик Пий. В тот день, когда он родился, старшей дочери миссис Д., Шиван, исполнилось семнадцать лет. Чем займется Шиван, уже решено. Она устроится на почту — будет обслуживать коммутатор, соединять и разъединять разговоры с Глазго, Ливерпулем и Лондоном, продавать марки, выписывать квитанции и выплачивать в десять раз больше денег, чем принимать: фунты из Англии, обмененные доллары из Америки, пособия по многодетности, премии тем, кто говорит по-гэльски, пенсии. Каждый день около часу, когда приезжает почтовая машина, она будет плавить на свечке сургуч и прилепывать большую печать с ирландской арфой на большой пакет, содержащий самые важные отправления. Но она не будет — как это делает сейчас ее отец — каждый день выпивать по кружке пива с шофером почтовой машины и заводить с ним короткий, ленивый разговор, сдержанностью своей больше напоминающий богослужение, нежели мужской разговор у стойки. Итак, вот чем будет заниматься Шиван: с восьми утра до двух часов дня вместе со своей помощницей она будет сидеть за окошечком, а вечером, с шести до десяти, сидеть на коммутаторе; у нее будет оставаться время, чтобы читать газеты или романы и смотреть в бинокль на море, приближать голубые острова, лежащие в двадцати километрах, до двух с половиной километров, а купальщиков на пляже с пятисотметрового отдаления на шестидесятиметровое: жительницы Дублина, элегантные и старомодные, бикини и прабабушкины купальники с оборками и юбочками. Но дольше, куда дольше, чем короткий купальный сезон, будет тянуться другой сезон, мертвый, тихий: ветер, дождь, ветер, лишь изредка какой-нибудь приезжий купит пятипенсовую марку, чтобы отправить письмо на континент, а то кто-то и вовсе надумает рассылать заказные письма в три-четыре унции весом по городам, которые называются Кёльн, Франкфурт или Мюнхен, еще он заставит ее открывать толстую книгу тарифов и делать сложные расчеты, или того хуже — у него окажутся друзья, которые вынудят ее расшифровать азбуку телеграмм, гласящих: “Eile geboten. Stop. Antwortet baldmöglichst”<sup>1</sup>. Поймет ли она когда-нибудь, что означает “baldmöglichst” — слово, которое она старательно выпишет своим детским почерком на телеграфном бланке, и только вместо «ö» поставит «oe».

Как бы там ни было, за ее будущее можно не беспокоиться, если только вообще в этом мире существует хоть что-нибудь, за что можно не беспокоиться. И уж тем более можно не сомневаться, что она выйдет замуж: глаза у нее как у Вивьен Ли, и по вечерам один молодой человек частенько сидит на барьере и, болтая ногами, ведет с Шиван тот неловкий, почти безмолвный флирт, который возможен лишь при пламенной любви и почти болезненной застенчивости.

<sup>1</sup> Здесь: «Срываете сроки. Тчк. Отвечайте незамедлительно» (нем.).

— Хорошая погода, правда?

— Да.

Молчание, беглый взгляд, улыбка, много-много молчания. Шиван даже рада, что загудел коммутатор.

— Вы кончили говорить? Вы кончили говорить?

Разъединяет; улыбка, взгляд, молчание, много-много молчания.

— Отличная погода, правда?

— Отличная.

Молчание, улыбка, снова на помощь приходит коммутатор.

— Дукинелла. Дукинелла слушает.

Включает. Молчание, улыбаются глаза как у Вивьен Ли, и молодой человек почти прерывающимся голосом:

— Правда, сказочная погода?

— О да, сказочная.

Замуж Шиван выйдет, но и после этого будет обслуживать коммутатор, продавать марки, выплачивать деньги и оттискивать на мягком сургуче круглую печать с ирландской арфой. Но, может, и на нее вдруг найдет — когда неделями дует ветер и люди бредут по улицам, наклонившись вперед, чтобы легче одолеть бурю, когда неделями хлещет дождь, и в бинокль не видны больше голубые острова, и туман прижимает к земле торфяной дым, тяжелый и горький. Так ли, иначе ли, а она может остаться здесь, и это невероятная удача: из восьми ее братьев и сестер здесь могут остаться только двое. Один сможет держать маленький пансион, другой сможет ему помогать, если не женится: две семьи на одном пансионе не прокормятся. Остальным придется эмигрировать или искать работу по всей Ирландии. Но где они ее найдут и сколько будут зарабатывать? Те немногие, кто имеет здесь постоянную работу — работает в порту, рыбачит, добывает торф или занят на берегу, где копает гравий либо песок, — те немногие зарабатывают от пяти до семи фунтов в неделю (1 фунт = 11,60). Если к тому же у них есть собственный торфяник, корова, куры, домик и дети, которые помогают по хозяйству, жить еще можно, но в Англии рабочий, если считать со сверхурочными, получает от двадцати до двадцати пяти фунтов в неделю, а без сверхурочных от двенадцати до пятнадцати, никак не меньше. Следовательно, молодой парень, если даже он расходует на себя десять фунтов в неделю, сможет посылать домой от двух до пятнадцати фунтов, а здесь отыщется немало старушек, которые живут на два фунта, присылаемых сыном или внуком, немало семей, которые живут на пять фунтов, присылаемых отцом.

Итак, не подлежит сомнению, что из девяти детей миссис Д. пятерым или шестерым придется эмигрировать. Неужели и маленький Пий, которого сейчас терпеливо укачивает старший брат, покуда мать жарит постояльцам глазунью, накладывает повидло, режет белый и ржаной хлеб, разливает чай, покуда она печет на торфяном жару булки, раскладывает тесто по железным формам и подгребает к ним угли (между прочим, это выходит и быстрее и дешевле, чем на электричестве), — неужели и маленький Пий

в 1970 году, четырнадцать лет от роду, тоже первого октября или первого апреля, весь в значках и бляхах, будет стоять на автобусной остановке с фибровым чемоданом в руках, с пакетом отборных бутербродов, и всхлипывающая мать будет обнимать его перед большим путешествием в Кливленд, Огайо, Манчестер, Ливерпуль, Лондон или Сидней к какому-нибудь дяде, к двоюродному или родному брату, который твердо пообещал заботиться о мальчике и что-нибудь для него сделать?

О, эти прощанья на ирландских вокзалах, на автобусных остановках среди болот, когда слезы мешаются с каплями дождя и дует ветер с Атлантики; здесь же стоит дедушка, он знает трущобы Манхэттена и Нью-Йоркский союз портовых рабочих, он тридцать лет бился с нуждой и потому украдкой сует еще одну фунтовую бумажку остриженному под машинку и шмыгающему носом внуку, которого оплакивают, как некогда Иаков оплакивал Иосифа; шофер автобуса осторожно сигналист, очень осторожно, но он, который доставил к поезду сотни, а может, и тысячи выраставших у него на глазах детей, знает, что поезд ждать не станет и что прощанье завершнное легче вынести, чем предстоящее. Парнишка машет рукой, автобус едет по пустоши, мимо маленького белого домика на болоте, слезы мешаются с соплями, мимо лавки, мимо трактира, где отец по вечерам выпивал свою положенную кружку пива, мимо школы, мимо церкви — мальчишка осеняет себя крестом, шофер тоже, остановка, новые слезы, новые прощания. Ах ты, господи. Майкл тоже уезжает, и Шейла. Слезы, слезы, ирландские, армянские, польские слезы...

За восемь часов автобус и поезд доставляют в Дублин; но те, кого подбирают по дороге, кто толпится в тамбурах с коробками, обшарпанными чемоданами и полотняными узлами, — девочки, которые еще наматывают на руки четки, мальчики, у которых в карманах еще бренчат камушки, весь этот груз — лишь ничтожная часть, какие-то несколько сотен из более чем сорока тысяч, ежегодно покидающих страну. Рабочие и врачи, медицинские сестры, служанки и учительницы — ирландские слезы, которые где-нибудь в Лондоне, Манхэттене, Кливленде, Ливерпуле или Сиднее смешаются с польскими либо итальянскими слезами.

Из восьмидесяти детей, слушающих воскресную мессу в церкви, через сорок лет здесь будут жить только сорок пять, но у этих сорока пяти будет столько детей, что снова восемьдесят детей будут по воскресеньям преклонять колена в церкви.

Итак, из девяти детей миссис Д. по меньшей мере пять или шесть должны будут эмигрировать. А покамест маленького Пия нянчит старший брат, мать же тем временем бросает в большой котел омаров для своих постояльцев, подрумянивает лук на сковородке и кладет остудить дымящиеся хлебы на выложенный изразцами стол, а море тем временем шумит, и Шиван с глазами как у Вивьен Ли смотрит в бинокль на голубые острова — острова, где в ясную погоду еще можно разглядеть маленькие деревушки, дома, амбары, церковь с рухнувшей колокольней. Но жить там никто не

живет, никто. Птицы выют гнезда в комнатах, тюлени нежатся иногда на маленькой пристани, шумные чайки пронзительно кричат на заброшенных улицах, будто проклятые души. Птичий рай, говорят те, кому случается иногда перевозить на ту сторону какого-нибудь английского профессора-орнитолога.

— Вот теперь ее видно,— говорит Шиван.

— Кого ее? — спрашивает мать.

— Церковь; она совсем белая, ее всю облепили чайки.

— Подержи-ка Пия,— говорит брат,— мне надо идти доить корову.

Шиван кладет бинокль, берет малыша и, напевая песенку, ходит с ним из угла в угол — укачивает. Но, может быть, это она поедет в Америку и сделается там официанткой либо кинозвездой, а Пий останется здесь, будет продавать марки, сидеть на коммутаторе и через двадцать лет посмотрит в бинокль на покинутый остров, чтобы убедиться, что теперь завалилась вся церковь?

Будущее, проводы и слезы для семьи Д. еще не начались, никто из них еще не укладывал фибровый чемодан и не испытывал терпение шофера, чтобы хоть немного оттянуть разлуку, никто еще и не думает об этом, поскольку настоящее здесь весомее будущего, но перевес, из-за которого планы подменяются фантазиями, этот перевес еще будет оплачен слезами.

## НЕБОЛЬШОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К МИФОЛОГИИ ЗАПАДНЫХ СТРАН

Пока лодка медленно входила в маленькую гавань, мы успели опознать старика, сидящего на каменной скамье возле каких-то развалин. Точно так же он мог сидеть здесь триста лет назад, и трубка, которую он курил, не нарушала иллюзии: трубку, зажигалку и кепку от Вулворта можно было без труда перенести в семнадцатый век, они перешли бы туда вместе со стариком, с ним перешла бы даже кинокамера, которую Джордж заботливо держал на носу лодки. Вероятно, сотни лет назад уличные певцы и странствующие монахи точно так же приставали здесь к берегу, как сейчас приставали мы. Старик приподнял кепку — волосы у него были седые, густые и пушистые,— привязал нашу лодку, мы спрыгнули на берег и, улыбаясь, обменялись приветствиями: "Lovely day — nice day — wonderful day"<sup>1</sup> — изысканная простота приветствий, употребляемых в странах, где погода находится под вечной угрозой со стороны бога дождя, и, едва мы ступили на землю маленького острова, нам почудилось, будто время сомкнулось у нас над головой, как водоворот. Словами не выразить, до чего зелена зелень этих деревьев и лугов; они отбрасывают зеленые тени на Шаннон, их зеленый цвет, кажется, достигает неба, где облака, словно болотные мшистые кочки,

---

<sup>1</sup> Приятный денек, славный денек, чудесный денек (англ.).



столпились вокруг солнца. Именно здесь могло бы разыгратись действие сказки о золотом дожде звезд. Зеленъ высится огромным сводом, солнце падает на деревья и луга пятнами золотых монет и лежит на них, большое и яркое, как монета; порой такое пятно попадает на спину дикого кролика и соскальзывает с него в траву.

Старику восемьдесят восемь лет, он ровесник Сунъ Ятсена и Бузони, он родился тогда, когда Румыния еще не была тем, чем она уже давно перестала быть,— не была королевством; ему было четыре года, когда умер Диккенс, и он на один год старше, чем динамит. Сказанного достаточно для того, чтобы уловить старика в редкую сеть времени. Развалины, перед которыми он сидел, были остатками амбара, построенного в начале нашего века, зато в пятидесяти шагах от него были развалины шестого века: святой Къяран Клонмакнауазский четырнадцать столетий назад построил здесь часовню. Тот, кто не обладает наметанным глазом археолога, едва ли отличит стены двадцатого века от стен шестого; и те и другие одинаково зелены и одинаково покрыты солнечными пятнами.

Именно здесь Джорджу приспичило испробовать новую цветную пленку, и старика, который был на целый год старше динамита, Джордж избрал статистом — старика предстояло запечатлеть на фоне заходящего солнца, на берегу Шаннона и с дымящей трубкой в зубах, чтобы через несколько дней его можно было увидеть на экранах американских телевизоров, и у всех американских ирландцев глаза увлажнятся от тоски по родине, и они заведут свои песни; подернутый зеленой дымкой, розовый от лучей заходящего солнца — вот как будет выглядеть старик, размноженный миллионами экранов, и синий, очень синий дымок будет подниматься из его трубки.

Но сначала нужно выпить чаю, много чаю, и много рассказать, и выплатить пошлину новостями, ибо, несмотря на радио и газеты, новость приобретает особый вес, если ты сам слышал ее из уст того, кому пожимал руку, с кем пил чай. Мы пили чай перед камином в гостиной заброшенного богатого дома; неизменные темно-зеленые отсветы деревьев, казалось, навечно окрасили в зеленый цвет стены комнаты, тронули благородной зеленью мебель времен Диккенса; отставной английский полковник, который доставил нас сюда в своей лодке,— длинноволосый, рыжий, с рыжей остроконечной бородкой, он напоминал одновременно и Робинзона Крузо, и Мефистофеля — завладел разговором, а я, к сожалению, не очень хорошо понимал его английский, хотя он из любезности и старался говорить “slowly”, очень “slowly”<sup>1</sup>. Сначала я понял только три слова: “Rommel”, “war” и “fair”<sup>2</sup>, а я знал, что fairness<sup>3</sup> Роммеля во время войны — одна из любимых тем полковника; к тому же меня постоянно отвлекали

<sup>1</sup> Медленно (англ.).

<sup>2</sup> Роммель, война, честь (англ.).

<sup>3</sup> Благородство, рыцарство (англ.).

дети, внуки и правнуки старика, которые либо заглядывали в комнату, либо подавали нам чай, воду, хлеб и печенье (пятилетняя девчушка принесла половинку собственного печенья и в знак своего гостеприимства положила ее на стол), и у всех, у детей, внуков, правнуков, были такие же острые, треугольные и хитрые лица почти сердцевидной формы, как те маски, что смотрят на прилежную землю с башен французских соборов.

Джордж сидел с приготовленной камерой и ждал захода солнца, но солнце в этот день почему-то мешкало, мне показалось даже, будто оно как-то по-особенному не торопится, и полковник перешел от своей любимой темы к другой и заговорил о каком-то Генри, который, судя по всему, был героем, когда воевал в России. Порой старик вопросительно и удивленно смотрел на меня своими круглыми, светло-голубыми глазами, и я утвердительно кивал: почему бы мне и не признать героем какого-то Генри, которого я все равно не знаю, раз Робинзон-Мефистофель того хочет?

Наконец солнце, как и требовалось по замыслу, начало садиться, оно придвинулось ближе к горизонту и, соответственно, ближе к любителям телевидения в США, и мы медленно пошли на берег Шаннона. Теперь солнце двигалось быстро, и старик торопливо набил свою трубку, вот только выкурил он ее слишком поспешно, и, когда солнце нижним краем коснулось горизонта, из нее больше не шел дым. Теперь кисет у старика был пуст, а солнце закатывалось очень быстро. Как мертва, если она не дымит, трубка во рту крестьянина, стоящего на фоне заката: фигура из национального фольклора — серебристые волосы, тронутые зеленым отсветом, розовые блики на лбу. Джордж наскоро размял пару сигарет, забил их в головку трубки, из нее заструился голубоватый дымок, и как раз в это мгновение солнце до половины ушло за горизонт — священная облатка, на глазах теряющая свой блеск. Дымила трубка, жужжала камера, и серебрились волосы старика — новая разновидность цветной открытки, привет с любимой родины, слезы в глазах американских ирландцев.

— Мы пустим это под какую-нибудь славную мелодию на волынке, — сказал Джордж.

Национальный колорит в одном схож с наивностью: если ты сознаешь, что она у тебя есть, считай, что ее у тебя уже нет; и когда солнце окончательно зашло, старик слегка взгрустнул; сизый сумрак вобрал в себя зеленую пелену. Мы подошли к нему, размяли еще несколько сигарет и набили его трубку; вдруг стало прохладно, сырость сочилась отовсюду, и остров — это крошечное королевство, уже триста лет населенное семьей старика, — остров показался мне вдруг большой зеленой губкой, которая была наполовину погружена в воду, наполовину возвышалась над ней и вбирала в себя влагу.

Огонь в камине погас, черными комьями лежал прогоревший торф на красных угольях, и, когда мы медленно шли к пристани, старик шел рядом и странно смотрел на меня; его взгляд тяготил меня, потому что в нем таилось — да-да, таилось — благоговение,

а я не считаю, что способен внушать такие чувства. Сердечно, робко и с неподдельным волнением пожал он мне руку перед тем, как я сел в лодку.

— Роммель,— сказал он тихо и внятно, и в его голосе была весомость мифа.— Генри,— добавил он.

И вдруг все, чего я не понимал раньше, все, что было сказано про Генри, отчетливо выступило передо мной, как водяные знаки, которые видны лишь при определенном освещении. Я понял, что Генри — это просто-напросто я сам. Джордж прыгнул в лодку и наскоро отснял в сумерках часовню святого Кьярана. Он хмыкнул, когда увидел мое лицо.

Я набрался духу — нужно очень набраться духу, чтобы внести поправки в миф, но мне казалось несправедливостью по отношению к Роммелю, к Генри, к истории, наконец, оставить все как есть,— но лодку уже отвязали, но Робинзон-Мефистофель уже запустил мотор, и я выкрикнул в сторону острова:

— Роммель — это не война, и Генри — не герой! Совсем не герой, нет и нет.

Но старик, судя по всему, уловил только три слова: «Роммель», «Генри» и «герой», и тогда я громко выкрикнул одно-единственное слово:

— Нет, нет, нет, нет!

На этом маленьком островке в устье Шаннона, куда иностранцы попадают крайне редко, наверное, и спустя пятьдесят, и спустя сто лет будут перед багровым пламенем камина говорить о Роммеле, о войне и о Генри. Так проникает в медвежьи углы нашей планеты то, что мы называем историей. Не Сталинград, не миллионы убитых и погибших, не искаленные лица европейских городов — нет, здесь война всегда будет называться Роммель, рыцарство и в придачу Генри — тот, что во плоти явился сюда из голубого сумрака и кричал с удаляющейся лодки: «Нет, нет, нет!...» — слово загадочное и потому вполне пригодное для мифа.

Джордж, улыбаясь, стоял подле меня. Он тоже накрутил на пленку целый миф: часовню святого Кьярана в сумерках и старика — седого, задумчивого; мы до сих пор видели его белоснежные густые волосы, они мерцали у причальной стенки маленькой пристани — капля серебра в чернилах сумерек. Маленький островок-королевство погружался в Шаннон со всеми своими заблуждениями и истинами, и Робинзон-Мефистофель, сидя на руле, умиротворенно улыбнулся сам себе.

— Роммель,— сказал он тихо, и это звучало как заклинание.

## НИ ОДНОГО ЛЕБЕДЯ

Рыжеволосая женщина тихо разговаривала в купе с молодым священником, который то и дело поднимал взгляд от своего требника, опускал, бормотал молитвы, снова поднимал взгляд,

потом наконец захлопнул требник и целиком отдался разговору.

— Сан-Франциско? — спросил он.

— Да,— сказала рыжеволосая женщина,— муж отправил нас сюда, я теперь еду к его родителям. Я их еще не видела. Мне выходить в Баллимоте.

— У вас еще есть время,— тихо сказал священник,— еще много времени.

— Правда? — тихо спросила молодая женщина.

Она была очень большая, толстая и бледная, а детское выражение лица делало ее похожей на большую куклу. Ее трехлетняя дочь схватила требник и стала удивительно похоже передразнивать бормотанье священника. Молодая женщина уже подняла руку, чтобы наказать дочь, но священник удержал ее.

— Оставьте,— тихо сказал он.

Шел дождь. Вода сбегала по стеклам, крестьяне разъезжали в лодках по затопленным лугам, чтобы выудить из воды свое сено; на изгородях висело белье, отданное во власть дождя, мокрые собаки лаяли на поезд, овцы разбегались, а маленькая девочка молилась по требнику, вплетая иногда в свое бормотанье имена, знакомые ей по вечерней молитве: Иисус, дева Мария; не забывала она и о бедных душах.

Поезд остановился. До нитки промокший станционный рабочий передал в багажный вагон корзины с шампиньонами, выгрузил оттуда сигареты, кипу вечерних газет и помог какой-то нервничающей женщине раскрыть зонтик...

Начальник станции проводил медленно тронувшийся поезд печальным взглядом — наверное, он иногда спрашивает себя, уж не кладбищенский ли он сторож: четыре поезда за весь день — два туда, два обратно, а иногда еще товарный поезд, который так печально стучит колесами, словно едет на похороны другого товарного. В Ирландии шлагбаумы защищают не автомобили от поездов, а поезда от автомобилей: они поднимаются и опускаются не поперек шоссе, а поперек линии, и поэтому симпатично раскрашенные вокзалы немного смахивают на маленькие дома отдыха или на санатории, а начальники вокзалов больше похожи на фельдшеров, нежели на своих бравых коллег в других странах, тех, что вечно стоят в дыму паровозов, в грохоте вагонов и приветствуют на бегу стремительные товарные поезда. Вокруг маленьких ирландских станций растут цветы, хорошенькие, ухоженные клумбы, заботливо подстриженные деревья, и начальник станции улыбается вслед отходящему поезду, словно хочет сказать: «Нет, нет, это не сон, это явь, и сейчас действительно 16 часов 49 минут, как показывают мои станционные часы». Ибо пассажир всегда уверен, что поезд опаздывает, но поезд идет точно по расписанию, хотя сама эта точность похожа на надувательство: 16.49 — слишком точная цифра в расписании, чтобы она могла на таком вот вокзальчике соответствовать действительности. Не часы ошибаются, а время, которое придает значение даже минутной стрелке.

Овцы разбегались, коровы удивленно смотрели на поезд, мокрые собаки лаяли, а крестьяне разъезжали в лодках по своим лугам и вылавливали сено неводом.

Нежный напев ритмично лился с губ маленькой девочки, складываясь в слова: «Иисус», «дева Мария», и через равные промежутки времени следовало упоминание о бедных душах. Рыжая женщина тревожилась все больше.

— Да ведь не скоро еще,— тихо говорил священник,— до Баллимота еще две остановки.

— В Калифорнии так тепло,— сказала женщина,— так тепло и так много солнца. А Ирландия мне совсем чужая. Уже пятнадцать лет, как я уехала отсюда. Я теперь все считаю на доллары и никак не могу привыкнуть к фунтам, шиллингам и пенсам, и знаете, отец мой, Ирландия стала печальнее.

— Это из-за дождя,— вздохнул священник.

— Я никогда не ездила по этой дороге,— сказала женщина.— Ездила по другим, когда жила здесь, от Атлона до Голуэя, часто ездила, но мне кажется, что сейчас и там живет меньше людей, чем раньше. Так тихо, что сердце замирает. Страшно мне.

Священник вздохнул и промолчал.

— Мне страшно,— тихо сказала женщина.— От Баллимота еще двадцать миль на автобусе, а дальше пешком через болото, а я боюсь воды. Дожди и озера, реки и ручьи, и снова озера. Мне кажется, отец мой, что Ирландия вся в дырках. Никогда не высохнет белье на этих изгородях, и вечно будет плавать в воде это сено. А вам не страшно, отец мой?

— Это просто дождь,— сказал священник,— успокойтесь! Мне это знакомо. Порой мне бывает страшно. Два года у меня был маленький приход недалеко отсюда, между Кросмолиной и Ньюпортом, и там неделями шел дождь и дул сильный ветер, а вокруг не было ничего, кроме высоких гор, темно-зеленых и черных. Вы слышали про Нефин-Бег?

— Нет.

— Это было там, поблизости. Дождь, вода, болото. И когда меня кто-нибудь подвозил в Ньюпорт или в Фоксфорд, всю дорогу вода — либо по берегу озера, либо по берегу моря.

Девочка захлопнула требник, вскочила на скамейку, обвила руками шею матери и тихо спросила:

— Мама, правда, мы утонем?

— Нет, нет,— сказала мать, но, кажется, без особой уверенности.

Дождь хлестал по стеклу, поезд с трудом одолевал темноту. Девочка без охоты жевала бутерброд, женщина курила, священник снова взялся за свой требник, но теперь, сам того не замечая, он подражал девочке: из его бормотанья вдруг вырывались отчетливые слова: «Иисус Христос», «святой дух», «Мария». Потом он снова закрыл книгу.

— А в Калифорнии действительно так красиво? — спросил он.

— Чудесно,— сказала женщина и зябко поежилась.

- В Ирландии тоже красиво.
- Чудесно,— сказала женщина,— я знаю. Мне не пора?
- Да, на следующей.

Когда поезд прибыл в Слайго, все еще шел дождь. Под зонтиками звучали поцелуи, под зонтиками лились слезы. Шофер так-си спал, уронив голову на скрещенные на руле руки. Я разбудил его; он принадлежал к той приятной разновидности людей, которые просыпаются с улыбкой.

- Куда? — спросил он.
- В Драмклиф-Черчард.
- Там же никто не живет.
- Ну и пусть не живет,— сказал я,— а мне хочется именно туда.
- И обратно?
- Да.
- Ладно.

Мы ехали по лужам, по пустынным улицам; в сумерках я увидел в открытом окне пианино, ноты выглядели так, словно их покрыл толстый слой пыли; парикмахер томился от скуки в дверях своего заведения и щелкал ножницами, словно хотел перерезать нити дождя; у входа в кино какая-то девушка подмазывала губы; дети с молитвенниками под мышкой бежали под дождем, какая-то старушка кричала через улицу какому-то старичку:

— Naua je, Paddy?<sup>1</sup>

И пожилой мужчина кричал в ответ:

— I'm alright — with the help of God and His most blessed Mother!<sup>2</sup>

— А вы совершенно уверены, что вы хотите именно в Драмклиф-Черчард? — тихо спросил меня шофер.

— Совершенно.

На склонах холмов лежали линялые папоротники — словно мокрые рыжие волосы седеющей женщины, две мрачные скалы охраняли вход в маленькую бухту.

— Бен-Балбен и Нокнери,— сказал мне шофер, будто представлял двух дальних, совершенно ему безразличных родственников.— Там,— добавил он и показал вперед, где из мглы поднимался церковный шпиль. Вокруг шпиля носились вороны, тучи ворон, напоминавшие издали хлопя черного снега.

— Сдается мне,— сказал шофер,— вы разыскиваете поле битвы.

— Нет,— сказал я,— я не знаю ни о какой битве.

— В пятьсот шестьдесят первом году,— начал он кротким

<sup>1</sup> Как поживаете, Падди? (англ.)

<sup>2</sup> Прекрасно — с помощью господ бога и пресвятой богородицы! (англ.)

тоном гида,— здесь произошла единственная в своем роде битва — битва за авторское право.

Я посмотрел на него, недоверчиво качая головой.

— Это чистая правда,— сказал он,— приверженцы святого Колумбана списали псалтырь, принадлежавший перу святого Финиана, и произошла битва между приверженцами святого Колумбана и святого Финиана. Было три тысячи убитых, но король положил конец спору, он сказал: «Как каждой корове положен теленок, так и каждой книге положена копия». Значит, вы не хотите взглянуть на поле битвы?

— Нет,— сказал я,— я ищу одну могилу.

— Ах, Йитса,— сказал шофер,— ну тогда вы еще захотите и в Иннишфри.

— Не знаю пока,— сказал я.— Подождите, пожалуйста.

Вороны взлетали со старых надгробий и каркали вокруг колокольни. Мокро было на могиле Йитса, холоден был камень, и речение, которое Йитс просил написать на своем надгробии, было холодным, как те ледяные иглы, что вонзились в меня из могилы Свифта: «Всадник, кинь холодный взгляд на жизнь и на смерть — и скачи дальше». Я поднял глаза: может быть, вороны — это и есть заколдованные лебеди? Вороны насмешливо каркали, носясь вокруг колокольни. Распластанные, придавленные дождем, лежали на холмах листья папоротника, ржавые и жухлые. Мне стало холодно.

— Поехали,— сказал я шоферу.

— Значит, все-таки Иннишфри?

— Нет,— сказал я,— обратно на вокзал.

Скалы во мгле, одинокая церковь, окруженная черным вороньем, четыре тысячи километров воды по ту сторону могилы Йитса. И ни одного лебедя.

## ПОГОВОРКИ

Когда у нас в Германии что-нибудь случается — человек опоздал на поезд, сломал ногу, разорился, наконец, мы говорим: «Хуже просто быть не могло». Всякий раз то, что случилось сейчас, и есть самое страшное. У ирландцев же почти все наоборот: если здесь человек сломал ногу, опоздал на поезд, разорился, наконец, они говорят: “It could be worse” — «Могло быть и хуже»: вместо ноги можно было сломать шею, вместо поезда — проворонить царствие небесное, а вместо состояния потерять душевный покой (сама по себе потеря состояния не дает для этого ни малейшего повода). То, что произошло, никогда не бывает самым страшным — самое страшное никогда не происходит: у человека умирает горячо любимая и высокочтимая бабушка, но ведь вдобавок мог умереть столь же горячо любимый и не менее высокочтимый дедушка; сгорел двор, но кур удалось спасти, а ведь могли сгореть и куры, но если даже и куры сгорели, все равно

самое страшное все-таки не произошло — сам-то человек не умер. А если даже и умер, значит, избавился от забот, ибо каждому раскаявшемуся грешнику уготовано небо — конечная цель утомительного земного паломничества после сломанных ног, пропущенных поездов и несмертельных разорений всякого рода. На мой взгляд, нам, если что-то произошло, сразу отказывают юмор и фантазия; в Ирландии они тут-то и разыгрываются. Тому, кто сломал ногу, лежит, изнывая от боли, либо ковыляет в гипсе, слова «могло быть и хуже» даруют не только утешение, но и занятие, которое предполагает в нем поэтический дар, порой с примесью легкого садизма: надо только почувствовать страдания человека, сломавшего шею, представить себе, как выглядит вывихнутое плечо или разможенный череп, и вот уже человек, сломавший ногу, ковыляет дальше, благодаря судьбу за то, что она ниспослала ему столь незначительное несчастье.

Тем самым судьбе предоставлен неограниченный кредит, и проценты по нему выплачиваются безропотно и охотно: если дети лежат в коклюше, задыхаются от кашля, жалобно плачут и требуют самоотверженного ухода — значит, надо радоваться, что ты сам держишься на ногах, можешь ходить за детьми, можешь работать для них. Фантазия здесь поистине не знает границ. “It could be worse” — «Могло быть хуже» — здесь это наиболее употребительная поговорка, вероятно, и потому, что плохо бывает куда как часто, и худшее дарует, так сказать, утешительное сопоставление.

У поговорки «могло быть хуже» есть родная сестра, употребляемая столь же часто: “I shouldn’t worry” — «Я бы не стал беспокоиться», причем, заметьте, это говорит народ, который ни днем, ни ночью ни на единую минуту не остается без поводов для беспокойства: сто лет назад, когда был страшный голод и неурожай несколько лет подряд — это великое национальное бедствие, которое не только непосредственно опустошило страну, но и породило нервный шок, до сих пор передаваемый по наследству из рода в род, так вот, сто лет назад в Ирландии было почти семь миллионов жителей; в Польше, наверно, было тогда столько же, но зато сейчас в Польше более двадцати миллионов, а в Ирландии едва наберется четыре, хотя, видит бог, Польшу тоже не щадили ее великие соседи. Подобное уменьшение числа жителей от семи миллионов до четырех в стране, где рождаемость превышает смертность, означает непрерывный поток эмигрантов.

Родители, которые видят, как подрастают их шестеро (а то и восьмеро или десятеро) детей, имеют, казалось бы, достаточно причин, чтобы беспокоиться денно и ночью. Они и беспокоятся, надо полагать, но даже они с покорной улыбкой говорят: «Я бы не стал беспокоиться». Они еще не знают и никогда не узнают точно, кому из их детей суждено населить трущобы Ливерпуля, Лондона, Нью-Йорка или Сиднея, а кому повезет. Во всяком случае, когда-то пробьет час расставанья для двоих из шести, для троих из восьми. Шейла или Шон потащатся со своими чемоданами к ав-



тобусной остановке, автобус доставит их к поезду, поезд — к пароходу; потоки слез на автобусных остановках, на вокзалах, на Дублинской или Коркской пристани в дождливые, безрадостные, осенние дни: путь по болоту, мимо заброшенных домов, и никто из тех, кто весь в слезах остался на остановке, не знает точно, увидит ли он еще когда-нибудь Шейлу или Шона; далек путь из Сиднея в Дублин, далеко от Нью-Йорка до дома, а многие никогда больше не возвращаются даже из Лондона, они обзаведутся семьей, народят детей, будут посылать домой деньги — а впрочем, кто знает.

В то время как почти все европейские страны страшатся нехватки рабочей силы, а некоторые уже ее испытывают, здесь двое из шести или трое из восьми братьев и сестер знают наверняка, что им придется эмигрировать — вот как глубоко проник нервный шок, вызванный великим голодом. Из рода в род лютует его зловещий призрак; порой невольно кажется, будто эмиграция — это своего рода привычка, своего рода обязанность, которую просто следует исполнять, — нет, экономические обстоятельства делают ее поистине необходимой. Когда в 1923 году Ирландия стала независимым государством, ей понадобилось не только наверстывать почти столетнее отставание в промышленном развитии, ей вдобавок пришлось поднажать и во всем остальном, что вытекает из развития: в ней почти нет городов, едва развита промышленность, нет рынка для сбыта рыбы. Нет, как хотите, а Шону или Шейле придется уехать.

## ПРОЩАНИЕ

Прощанье вышло очень тяжелым именно потому, что все указывало на его необходимость: старые деньги кончились, новые были обещаны, но еще не поступили, стало холодно, и в пансионе (самом дешевом из всех, что мы смогли отыскать по вечерней газете) полы были такие покатые, что нам казалось, будто мы погружаемся вниз головой в бездонную пучину; по этой наклонной плоскости мы проскользнули через ничейную землю между воспоминанием и сном, миновали Дублин, и вокруг кровати, которая стояла посреди комнаты, заливаемой прибоем суеты и неоновых светов с Дорсет-стрит, разверзлись грозные темные бездны; мы тесней прижимались друг к другу, а сонные вздохи детей с кроватей вдоль стены звучали как крики о помощи с другого, недоступного для нас берега.

Все экспонаты Национального музея, куда мы всякий раз возвращались после очередного отказа на почте, здесь, на ничейной земле между сном и воспоминанием, казались свертотчетливыми и застывшими, как восковые фигуры паноптикума; словно дорогой ужасов через сказочный лес мы стремглав падали туда вниз головой: туфелька святой Бригитты нежно и серебристо мерцала во тьме, большие черные кресты утешали и грозили, борцы за

свободу в трогательно зеленых мундирах, обмотках и красных беретах показывали нам свои раны, свои солдатские книжки и детскими голосами читали нам строки прощальных писем: «Моя дорогая Мэри, свобода Ирландии...», котел из тринадцатого века проплыл мимо нас, каноэ из доисторических времен, сияли улыбкой золотые украшения, кельтские застёжки — золотые, медные и серебряные, как бесчисленные запяты, висели они на невидимой веревке для белья; мы въезжали в ворота Тринити-колледжа, но безлюден был его большой серый двор, лишь бледная девушка сидела и плакала на ступеньках библиотеки, держа в руках ядовито-зеленую шляпу — то ли ждала возлюбленного, то ли тосковала по нем. Суэта и неоновый свет с Дорсет-стрит, вскипая, пронеслись мимо нас, как время, которое на мгновение становилось историей; то ли мимо нас провозили памятники, то ли нас провозили мимо них — суровые бронзовые мужи с мечами, перьями, свитками чертежей, поводьями или циркулем в руках, женщины с маленькой грудью дергали струны лиры и сладостно-печальными глазами глядели на много столетий назад, шпалерами стояли бесконечные вереницы одетых в синее девушек с клюшками в руках, они были безмолвны и строги, и мы боялись, что они взметнут свои клюшки, как палицы; обнявшись, мы скользили дальше. Все, что осмотрели мы, теперь осматривало нас, львы рыкали на нас, кувыркающиеся гиббоны перебежали нам дорогу, мы карабкались вверх и съезжали вниз по длинной шее жирафа, и ящерка с мертвыми глазами укоряла нас в своем уродстве, темные воды Лиффи, зеленые и грязные, бурлили мимо нас, кричали жирные чайки, глыба масла «двухсотлетней давности, найденная в болоте в Мейо», проплывала мимо нас, как глыба золота, которую отверг Дурень Ганс; полицейский, улыбаясь, показывал нам свою Книгу регистрации осадков, сорок дней подряд он писал в ней одни нули — целая колонна яиц, — и бледная девушка с зеленой шляпой в руках все еще плакала на ступеньках библиотеки.

Почернели воды Лиффи; как обломки кораблекрушений, они уносили в море историю: грамоты, с которых грузилом свисали вниз печати, договоры с витиеватыми подписями, документы, отягощенные сургучом, деревянные мечи, пушки из папье-маше, арфы и стулья, кровати и шкафы, чернильницы и мумии, пелены которых размотались и реяли в воде, словно темные пальмовые опахала, кондуктор раскручивал со своей катушки длинный билетный локон, а на ступеньках Ирландского банка сидела старушка и считала бумажки по одному доллару каждая, и дважды, и трижды, четырежды подходил к окошечку служащий главного почтамта и с огорченным видом говорил из-за решетки: "Sorry!"

Бесчисленные свечи горели перед статуей рыжеволосой грешницы Магдалины, акулий позвоночник, напоминающий волюнку, покачиваясь, проплывал мимо, хрящи ломались, и позвонки, словно

кольца для салфеток, по одному исчезали в ночи, семь сотен О'Мели строем прошли мимо нас: русые, белокурые, рыжие, они пели хвалебную песнь в честь своего клана.

Мы шептали друг другу слова утешения, мы крепко прижимались друг к другу, мы ехали через аллеи и парки, через ущелья Коннемары, через горы Керри, через болота Мейо, раскинувшиеся на двадцать — тридцать миль, мы все время боялись встретить допотопного ящера, но встречали только кино — в центре Коннемары, в центре Керри, в центре Мейо: здания были из бетона, окна были густо замазаны зеленой краской, а внутри, как хищный зверь в клетке, рычал проекционный аппарат, бросая на экран лица Монро, Треси и Лоллобриджиды. Все еще боясь ящера, ехали мы по тенистым зеленым дорогам, между нескончаемых стен, вдали от наших вздыхающих во сне детей и вниз головой снова упали в предместья Дублина — мимо пальм и олеандров, сквозь заросли рододендронов. Все больше становились дома, все выше деревья, все шире пропасть между нами и нашими вздыхающими во сне детьми. Палисадники все разрастались и наконец разрослись так, что за ними уже не видно было домов, и мы еще быстрее вторглись в нежную зелень необъятных лугов...

Прощанье вышло очень тяжелым, хотя поутру в лязге дневного света хриплый голос хозяйки вымел, как ненужный хлам, добычу наших снов, и хотя тра-та-та проезжающего мимо автобуса напугало нас, ибо до того напоминало пулеметную очередь, что мы приняли его за сигнал к революции, но Дублин думать не думал о революции, а думал он о завтраке, о скачках, о молитве и о покрытой изображениями целлулоидной ленте. Хриплый голос хозяйки позвал нас к завтраку, по чашкам был разлит прекрасный чай: хозяйка в халате сидела за столом вместе с нами, курила и рассказывала о голосах, терзающих ее по ночам: о голосе утонувшего брата, который зовет ее каждую ночь, о голосе покойной матери, которая напоминает дочери про обет, данный ею в день первого причастия, о голосе покойного супруга, который остерегает ее от виски; трио голосов слышит она в темной задней комнате, где сидит целый день наедине с бутылкой, тоской и халатом.

— Психиатр, — вдруг тихо сказала она, — утверждает, будто голоса идут из бутылки, но я заявила ему, чтоб он не смел так говорить про мои голоса, в конце концов он с них живет... Вот вы, — спросила она вдруг изменившимся голосом, — вы не хотели бы купить мой дом? Я его дешево отдам.

— Нет, — сказал я.

— Жаль. — Она покачала головой и ушла в свою темную комнату с бутылкой, тоской и халатом.

Убитые еще одним «сорри» служащего, мы вернулись в Национальный музей, оттуда пошли в картинную галерею, еще раз спустились в мрачное подземелье к мумиям, про которые один местный

посетитель сказал: «Копченые селедки»; последние пенни мы истратили на свечи, быстро сгоревшие перед пестрыми образами, потом пошли вверх к Стивенс-грин, покормили уток, посидели на солнышке, послушали, есть ли у *Заката* шансы на выигрыш: оказалось, есть. В полдень много дублинцев вышло из церкви и растеклось по Графтон-стрит. Наши надежды услышать “yes”<sup>1</sup> из уст служащего на почте пошли прахом. Его “soggy” становилось раз от раза все печальнее и печальнее, и мне показалось, что он уже почти готов самовольно запустить руку в кассу и предоставить нам заем от лица министра почт, во всяком случае, пальцы его инстинктивно потянулись к сейфу, потом он со вздохом положил их на мраморную стойку.

На наше счастье, девушка с зеленой шляпой пригласила нас к чаю, угостила детей конфетами и поставила новые свечи перед тем святым, перед которым надо, — перед святым Антонием, и, когда мы еще раз пришли на почту, улыбка служащего засияла навстречу нам через весь зал. Он радостно посклонил пальцы и начал торжественно отсчитывать деньги на мраморной стойке: раз, два, много — он давал их нам самыми мелкими купюрами, потому что отсчет доставлял ему огромное удовольствие, и звякали на мраморе серебряные монеты; девушка с зеленой шляпой улыбалась: вот что значит поставить свечу перед тем, перед кем надо.

Прощание вышло очень тяжелым. Длинные ряды одетых в синее девочек с клюшками потеряли всякую грозность, не рыкали больше львы, и только ящерка с мертвыми глазами все так же выставляла напоказ свое первобытное уродство.

Гремели музыкальные автоматы, кондукторы разматывали длинные бумажные ленты со своих катушек, гудели корабли, легкий ветерок долетал с моря, много-много бочек пива исчезало в темных трюмах пароходов, и даже памятники улыбались: перья и поводья, арфы и мечи утратили мрачность сна, и лишь старые вечерние газеты плыли к морю по водам Лиффи.

А в свежем номере вечерней газеты были напечатаны три читательских письма с требованием снести Нельсона, тридцать семь объявлений о продаже домов, одно о покупке, а где-то в Керри благодаря активности местного фестивального комитета был проведен настоящий фестиваль: бег в мешках, гонки на ослах, соревнования по гребле и конкурс на самого медленного велосипедиста. Победительница в беге улыбалась перед газетным репортером и показывала нам свое хорошенькое личико и скверные зубы.

Последний час мы провели на покато полу нашей комнаты в пансионе, мы играли в карты, как на крыше, потому что стульев и стола в комнате не было. Сидя между чемоданами, раскрыв все окна и поставив чашки с чаем тут же на пол, мы прогоняли валета червей и туза пик сквозь длинный строй их родичей по масти, веселый шум с Дорсет-стрит заливал нас, и, покуда хозяйка сидела

<sup>1</sup> Да (англ.).

в задней комнате, наедине с бутылкой, тоской и халатом, горничная, улыбаясь, наблюдала за нашей игрой.

— Смотрите, какой опять выдался красавец,— сказал шофер такси, который вез нас к вокзалу.— Просто загляденье.

— Кто красавец? — спросил я.

— Да денек нынче,— сказал он.— Правда, парень хоть куда?

Я согласился с ним и, расплачиваясь, поднял глаза на черный фасад высокого дома: молодая женщина только что выставила на подоконник оранжевый молочник. Она улыбнулась мне, и я улыбнулся в ответ.

ИЗ СБОРНИКА  
«„МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА МУРКЕ“»  
И ДРУГИЕ САТИРЫ»



## МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА МУРКЕ

Каждое утро, едва переступив порог Дома радио, доктор Мурке выполнял одно упражнение экзистенциальной гимнастики: он вскакивал в кабину непрерывно движущегося лифта «патерностер», но вместо того, чтобы выйти на третьем этаже, где помещалась его редакция, проезжал выше — мимо четвертого, пятого, шестого, и всякий раз, когда пол кабины поднимался над уровнем шестого этажа, сама кабина перемещалась в пустом пространстве, а смазанные маслом цепи и кряхтящий ворот с лязгом и скрипом переводили ее из подъемной шахты в спусковую, Мурке испытывал страх; в страхе смотрел он на это единственное, ничем не приукрашенное место во всем здании, а когда кабина, приняв нужное положение и миновав страшное место, начинала плавно спускаться мимо шестого, пятого, четвертого этажей, Мурке облегченно вздыхал. Он знал, что страх его ни на чем не основан, что ничего плохого с ним не случится, да и не может случиться, а если даже и случится, если даже на худой конец он будет как раз наверху, когда лифт остановится, то и тогда он просидит в кабине час, ну от силы два, только и всего. В кармане у него всегда лежит какая-нибудь книга, есть и сигареты, но с тех пор, как стоит Дом радио, другими словами, за три года лифт еще ни разу нигде не застревал. Случалось, что лифт ставили на проверку, и тогда приходилось отказываться от привычных четырех с половиной секунд страха. В такие дни Мурке нервничал и у него было скверное настроение, как у человека, которому не удалось позавтракать. Четыре с половиной секунды страха были ему необходимы, как другим необходимы кофе, овсянка или фруктовый сок.

На третьем этаже, где помещался отдел культуры, он выскакивал из лифта в наилучшем расположении духа. Такое расположение знакомо всем, кто любит свою работу и хорошо с ней справляется. Отперев дверь редакции, он неторопливо подходил к своему креслу,

усаживался в него и закуривал сигарету: он всегда первым являлся на службу. Он был молод, неглуп и чрезвычайно обходителен; и даже его высокомерие, которое по временам давало себя знать, даже это высокомерие ему легко прощали, зная, что, во-первых, он неглуп, а во-вторых, изучал психологию и успешно защитил диссертацию.

\* \* \*

Но вот уже целых два дня Мурке по некоторым причинам воздерживался от обычной порции страха на завтрак: он приходил к восьми, тотчас мчался в студию и принимался за работу, так как получил от главного редактора задание отредактировать два записанных на пленку выступления великого Бур-Малотке о сущности искусства в соответствии с указаниями самого Бур-Малотке. Дело в том, что Бур-Малотке, которого увлек общий религиозный подъем 1945 года, вдруг «среди ночи», по его собственному выражению, «обуяли сомнения религиозного порядка», он вдруг осознал свою долю вины за религиозный уклон, в который впало немецкое радиовещание, а потому решил в двух своих получасовых выступлениях о сущности искусства вычеркнуть часто встречающееся там слово «бог» и заменить его формулировкой, более соответствующей тому образу мыслей, которого Бур-Малотке придерживался до 1945 года. Бур-Малотке предложил главному заменить слово «бог» выражением «то высшее существо, которое мы чтим», но снова наговаривать всю пленку не пожелал и просил только вырезать слово «бог» и вклеить вместо него слова «то высшее существо, которое мы чтим». Бур-Малотке состоял в дружеских отношениях с главным, но не дружбой объяснялась уступчивость шефа: Бур-Малотке был не из тех, кому можно перечить. Во-первых, он написал множество книг критико-философско-религиозно-культурно-исторического содержания, во-вторых, сотрудничал в редакциях двух газет и трех журналов и, наконец, занимал должность главного рецензента в одном из крупнейших издательств. Бур-Малотке изъявил готовность заехать в Дом радио в среду на четверть часа и столько раз наговорить на пленку «то высшее существо, которое мы чтим», сколько раз встречалось у него слово «бог». В остальном же он вполне полагался на опыт и техническую сноровку сотрудников.

\* \* \*

Шеф не сразу сообразил, кому можно навязать подобную работу; он, правда, сразу подумал о Мурке, но его насторожило именно то обстоятельство, что сразу — шеф был человек здоровый, исполненный жизненной силы, — поэтому он поразмыслил еще минут пять, перебрал в уме Швендлинга, Хумкоке, фройляйн Брольдин и опять вернулся к Мурке.

Шеф не любил Мурке, хотя в свое время он принял Мурке на



службу, как только ему его порекомендовали: так директор зоопарка, чье сердце отдано ланям и кроликам, приобретает хищных зверей, потому что какой же это зоопарк без хищников? Но все-таки шеф предпочитал ланей и кроликов, а Мурке был для него хищник с интеллектом. Наконец жизненные силы шефа восторжествовали, и он поручил именно Мурке резать выступления Бур-Малотке. Оба выступления значились в программе передач на четверг и пятницу, сомнения религиозного порядка обуяли Малотке в ночь с воскресенья на понедельник, тому, кто осмелился бы вступить с ним в спор, лучше было сразу покончить жизнь самоубийством; а главный был слишком полон жизненных сил, чтобы помышлять о самоубийстве.

В понедельник после обеда и во вторник утром Мурке трижды прослушал оба получасовых выступления о сущности искусства, вырезал слово «бог», а в короткие перерывы вместе с техником молча курил, размышлял о жизненных силах шефа и о низком существе, которое чтит Бур-Малотке. До этого времени он не прочел ни одной строчки Бур-Малотке, не слышал ни одного его выступления. В ночь с понедельника на вторник он видел во сне лестницу, высокую и крутую, как Эйфелева башня, он полез наверх, но вдруг заметил, что ступеньки смазаны мылом, а внизу стоял шеф и кричал: «Ну, смелей, Мурке, смелей, покажите, на что вы способны!» В ночь со вторника на среду ему привиделся похожий сон: будто он попал на народное гулянье, решил прокатиться на «американских горах» и заплатил за вход тридцать пфеннигов какому-то человеку, чье лицо показалось ему знакомым. Но когда он поднялся на «американские горы», то убедился, что высотой они не меньше десяти километров, а повернуть назад уже нельзя, и тут его осенило: человек, взявший с него тридцать пфеннигов, был сам шеф.

Естественно, что после таких снов Мурке уже не испытывал потребности в безобидной утренней порции страха к завтраку.

\* \* \*

Была уже среда. Этой ночью ему не снилось ни мыло, ни «американские горы», ни шеф. Улыбаясь, он вошел в Дом радио, вскочил в «патерностер», поднялся до седьмого этажа — четыре с половиной секунды страха, лязг цепей, ничем не приукрашенное место, — потом спустился на пятый, выпрыгнул и пошел в студию, где договорился встретиться с Бур-Малотке. Без двух минут десять он сел в зеленое кресло, поздоровался с техником и закурил сигарету. Спокойно дыша, он вынул из нагрудного кармана записку и взглянул на часы: Бур-Малотке был пунктуален, во всяком случае, о его пунктуальности ходили легенды, и, когда секундная стрелка отметила шестидесятую секунду, минутная переползла на двенадцать, а часовая — на десять, дверь распахнулась, и в студию вошел Бур-Малотке. Мурке с любезной улыбкой встал навстречу Бур-Малотке и назвал себя. Бур-Малотке пожал ему руку, тоже улыбнулся и сказал:

— Что ж, начнем!

Мурке взял со стола записку, сунул в рот сигарету и, заглянув в бумажку, сказал:

— В ваших выступлениях «бог» встречается ровно двадцать семь раз. Следовательно, я должен просить вас двадцать семь раз сказать то, что нам надо вклеить вместо «бога». Мы были бы вам признательны, если бы вы наговорили тридцать пять раз, чтобы при расклейке у нас имелся некоторый запас.

— Согласен,— улыбнулся Бур-Малотке и сел.

— Тут, правда, есть одно затруднение,— продолжал Мурке.— В вашем выступлении слово «бог» не требовало согласования с другими словами, а вот «то высшее существо, которое мы чтим» требует согласования существительного с указательным местоимением и прилагательным. У нас здесь насчитывается,— он любезно улыбнулся Бур-Малотке,— десять именительных падежей и пять винительных, то есть пятнадцать раз надо сказать «то высшее существо, которое мы чтим», затем пять дательных, то есть «тому высшему существу, которое мы чтим», и, наконец, семь родительных: «того высшего существа, которое мы чтим». Остается еще звательный падеж — там, где вы говорите: «О боже!» Я позволил бы себе предложить вам сохранить звательный падеж и сказать: «О ты, высшее существо, которое мы чтим!»

Бур-Малотке явно не предвидел этих затруднений, он даже вспотел: история с падежами его крайне опечалила.

Мурке любезно продолжал:

— В общей сложности, если двадцать семь раз произнести вставленные слова, это займет одну минуту двадцать секунд, тогда как слово «бог», повторенное двадцать семь раз, занимало всего двадцать секунд. Следовательно, из-за внесенных дополнений нам придется сократить каждую передачу на полминуты за счет других слов.

Бур-Малотке вспотел еще сильнее. Мысленно он выругал себя за непрошенные сомнения религиозного порядка, а вслух спросил:

— Вы уже вырезали «бога»?

— Да,— ответил Мурке, вытащил из кармана жестяную коробочку из-под сигарет, открыл ее и показал Бур-Малотке: там лежали крошечные темные обрезки пленки. Мурке тихо сказал: — Вот «бог», которого вы наговорили двадцать семь раз. Возьмете себе?

— Нет! — свирепо ответил Бур-Малотке.— Спасибо, я поговорю с шефом относительно этих полуминут. Какие передачи идут после меня?

— Завтра,— сказал Мурке,— передача из цикла «Обзор культурной жизни», ведет доктор Грем.

— Проклятие! — выругался Бур-Малотке.— С Гремом не договоришься!

— А послезавтра,— продолжал Мурке,— за вашим выступлением идет передача «Мы пустились в пляс».

— Ведет Хуглиме! — простонал Бур-Малотке.— В жизни еще

не бывало, чтобы отдел развлечений уступил культуре хоть десять секунд.

— Да,— подтвердил Мурке,— не бывало, по крайней мере...— он постарался придать своему юношескому лицу выражение безграничной скромности,— по крайней мере с тех пор, как я здесь работаю.

— Ладно,— сказал Малотке и взглянул на часы,— за десять минут мы, вероятно, управимся, потом я поговорю с главным насчет своей минуты. Начнем же. Вы можете мне дать вашу записочку?

— С удовольствием,— ответил Мурке,— я все цифры уже знаю наизусть.

Когда Мурке вошел в застекленную кабину, техник отложил газету. Он улыбнулся Мурке. За шесть часов совместной работы в понедельник и вторник, когда они прослушивали выступления Бур-Малотке и вырезали слово «бог», Мурке и техник не обменялись ни единым словом, не относящимся к работе. Они только посматривали друг на друга и в перерывах протягивали друг другу пачку сигарет — то техник Мурке, то Мурке технику; но когда теперь Мурке увидел его улыбку, он подумал: «Если существует на свете дружба, этот человек мне друг». Потом он положил на стол жестяную коробку с обрезками выступления Бур-Малотке и сказал вполголоса:

— Сейчас начнется.

Мурке включил студию и сказал в микрофон:

— Я считаю, господин профессор, что мы можем обойтись без пробы. Давайте сразу приступим. Я просил бы вас начать с именительного.

Бур-Малотке кивнул. Мурке отключился, нажал кнопку, отчего в студии вспыхнула зеленая лампочка, и они услышали торжественный и хорошо поставленный голос: «То высшее существо, которое мы чтим», «то высшее существо...»

Губы Малотке тянулись к овальной рожице микрофона, словно он хотел поцеловать ее, пот струился по лицу Малотке, а Мурке сквозь стекло хладнокровно наблюдал за его терзаниями. Потом он вдруг отключил магнитофон, дал докрутиться до конца пленке, на которую записывал Малотке, и несколько секунд молча и с наслаждением рассматривал его сквозь стекло, как толстую красивую рыбу. После чего он включил студию и спокойно сказал:

— Очень сожалею, но пленка оказалась дефектной. Я попрошу вас повторить именительные падежи.

Бур-Малотке разразился проклятиями, но это были немые проклятия, которые мог слышать только он один, потому что Мурке снова отключил студию и включил лишь тогда, когда Малотке начал говорить «то высшее существо...».

Мурке был слишком молод и считал себя слишком культурным, чтобы любить слово «ненависть», но здесь, глядя через стекло на Бур-Малотке, уже перешедшего к родительному падежу, он вдруг понял, что это такое: он ненавидел этого высокого, толстого, пред-

ставительного человека, книги которого тиражом в два миллиона триста пятьдесят тысяч экземпляров наводняли библиотеки, книжные шкафы и книжные магазины,— ненавидел и даже не пытался подавить свою ненависть. После того как Бур-Малотке наговорил два родительных падежа, Мурке опять подключился к студии и спокойно сказал:

— Простите, что я вас перебиваю, именительный падеж просто превосходен, первый родительный тоже, но вот второй я попросил бы вас повторить чуть помягче, поровней, сейчас я вам прокручу все сначала.

И хотя Бур-Малотке решительно замотал головой, Мурке дал технику знак переключить магнитофон на студию.

Они видели, как Бур-Малотке вздрогнул, опять покрылся потом, зажал уши и не открывал их, пока лента не кончилась. Потом он что-то сказал, но Мурке с техником выключили его и ничего не услышали. Мурке хладнокровно выжидал и, увидев по губам Малотке, что тот опять приступил к «высшему существу», запустил пленку, и Малотке принялся за дательный: «Тому высшему существу, которое мы чтим...»

Покончив с дательным, разъяренный Бур-Малотке скомкал записку Мурке и, вытирая пот, пошел к дверям, но вкрадчивый и приветливый голос Мурке остановил его. Мурке сказал:

— Господин профессор, вы забыли про звательный падеж.

Бур-Малотке с ненавистью поглядел на него, вернулся и сказал в микрофон:

— О ты, высшее существо, которое мы чтим!

Затем он снова направился к двери, но голос Мурке снова остановил его.

— Простите, господин профессор,— заметил Мурке,— но эта фраза, произнесенная таким образом, никуда не годится.

— Ради бога,— шепнул техник,— не хватите через край!

Бур-Малотке спиной к стеклянной кабине застыл у дверей, словно голос Мурке пригвоздил его к месту. С ним случилось то, чего не случалось никогда: он растерялся. Этот молодой, приветливый, безукоризненно корректный голос терзал его, как не терзало ничто и никогда.

Мурке продолжал:

— Я, конечно, могу вклеить и в таком виде, но позвольте вам заметить, господин профессор, это произведет нехорошее впечатление.

Бур-Малотке повернулся, подошел к микрофону и сказал негромко и торжественно:

— О ты, высшее существо, которое мы чтим!

\* \* \*

Не глядя на Мурке, он вышел из студии. Было ровно четверть одиннадцатого, и в дверях он столкнулся с молодой хорошенькой женщиной, которая держала в руках ноты. Волосы у нее были

рыжие, вид — самый цветущий. Она энергично подошла к микрофону, повернула его и отодвинула стол, чтобы удобнее было стоять перед микрофоном. В камере Мурке полминуты разговаривал с Хуглиме — редактором отдела развлечений. Указывая на коробку из-под сигарет, Хуглиме спросил:

— Она вам еще нужна?

И Мурке ответил:

— Да, она мне еще нужна.

А в студии уже пела рыжеволосая молодая женщина:

Целуй мои губы такие, как есть,  
Они ведь и так хороши.

Хуглиме подключился к студии и спокойно сказал:

— Закрой варежку секунд на двадцать, я еще не совсем готов.

Женщина засмеялась, надула губы и ответила:

— Ах ты, извращенец!

— Я вернусь в одиннадцать, мы разрежем ленту и подклеим все, как надо,— сказал Мурке технику.

— А прослушивать будем? — спросил техник.

— Нет,— ответил Мурке,— я и за миллион марок не стану это еще раз слушать.

Техник кивнул, поставил ленту для рыжеволосой певицы, а Мурке ушел.

Он сунул в рот сигарету, но закуривать не стал, пересек холл в обратном направлении ко второму лифту, который находился в южной части здания и на котором спускались в буфет. Ковры, мебель, холлы, картины — все раздражало его. Это были красивые холлы, красивые ковры, красивая мебель и со вкусом подобранные картины, но Мурке вдруг захотелось увидеть где-нибудь на стене лубочную картинку с изображением сердца Христова, которую прислала ему мать. Он остановился, огляделся по сторонам, прислушался, вытащил картинку из кармана и засунул ее под край обоев у двери, ведущей в комнату помощника режиссера редакции литературно-драматических передач. Картинка была пестрая, аляповатая, и под изображением сердца Христова стояло: «Я молилась за тебя в церкви святого Иакова».

Мурке дошел до «патерностера», вскочил в кабину и поехал вниз. Эта часть Дома радио уже была оснащена пепельницами Шрёршнауца, которые получили первую премию на конкурсе пепельниц. Они висели около каждой светящейся красной цифры, обозначавшей этаж: красная четверка — и рядом пепельница Шрёршнауца, красная тройка — и рядом пепельница Шрёршнауца, красная двойка — и рядом пепельница Шрёршнауца. Это были красивые медные пепельницы в форме раковины на медной же подставке, изображавшей какое-то морское растение, что-то вроде узловатых, причудливых водорослей, и каждая такая пепельница стоила двести пятьдесят восемь марок семьдесят семь пфеннигов. Они были до того хороши, что Мурке еще ни разу не дерзнул осквернить это произведение искусства пеплом сигареты или, того

хуже, чем-нибудь неэстетичным, например окурком. Все курильщики, видимо, испытывали то же самое: пустые коробки из-под сигарет, окурки и пепел постоянно усеивали пол под этими красивыми предметами: обращаться с ними как с простыми пепельницами никто не осмеливался; они были медные, сверкающие и всегда пустые.

Мурке увидел приближающуюся пятую пепельницу, а рядом с ней красный ноль: потянуло теплом и запахом кухни. Мурке выпрыгнул и, пошатываясь, вошел в буфет.

В углу за одним столом сидели три внештатных сотрудника. Стол был заставлен рюмками для яиц, тарелками с хлебом и кофейниками. Все трое сообща составили серию передач «Легкое — внутренний орган человека», сообща получили гонорар, сообща позавтракали, сообща пропустили по рюмочке и теперь обсуждали налоговые проблемы. Одного из них — Вендриха — Мурке хорошо знал, но Вендрих как раз воскликнул: «Искусство!» — и опять: «Искусство! Искусство!» Мурке испуганно дернулся, как лягушка, на которой Гальвани изучал действие электрического тока. Слово «искусство» встречалось в выступлениях Бур-Малотке ровно сто тридцать четыре раза, Мурке три раза прослушал каждое выступление, следовательно, слово «искусство» он слышал четыреста два раза, а это слишком много, чтобы испытывать хотя бы малейшее желание побеседовать об искусстве. Потому он пробрался крадучись мимо стойки к нише в противоположном углу зала и облегченно вздохнул, увидев, что она никем не занята.

Усевшись в желтое мягкое кресло, Мурке раскурил сигарету и, когда к нему подошла Вулла, официантка, сказал:

— Яблочного сока, пожалуйста.

К его радости, Вулла сразу же отошла. Он закрыл глаза, но невольно прислушивался к разговору внештатников: там уже разгорелся яростный спор об искусстве. Каждый раз, когда кто-нибудь из троих выкрикивал «искусство», Мурке вздрагивал. «Как от удара кнутом», — подумал он.

Вулла принесла яблочный сок и озабоченно посмотрела на него. Она была крупная и сильная, но не толстая, со здоровым и веселым лицом. Переливая сок из графина в стакан, она сказала:

— Вам надо бы взять отпуск, господин доктор, и потом бросить курить.

Раньше ее звали Вильфрида-Улла, но для простоты свели оба имени в одно — Вулла. К работникам отдела культуры Вулла относилась с особым почтением.

— Оставьте меня! — сказал Мурке. — Пожалуйста, оставьте меня!

— И еще вам надо бы сходить в кино с какой-нибудь немудрящей хорошей девушкой, — продолжала Вулла.

— Я это сделаю сегодня же вечером, — ответил Мурке, — даю вам слово.

— И вовсе не обязательно идти с какой-нибудь шлюшкой, —

сказала Вулла, — на свете еще найдется немало простых, хороших девушек с любящим сердцем.

— Знаю, что найдется, — сказал Мурке, — я думаю, что даже знаком с одной из них.

«Ну то-то же!» — подумала Вулла и подошла к авторам передачи «Легкое — внутренний орган человека», из которых один заказал три рюмки водки и три чашки кофе.

«Бедняги, — подумала она, — совсем свихнулись из-за своего искусства». Вулла очень любила внештатных сотрудников и изо всех сил старалась приучить их к бережливости. «Ведь вот не уймутся, пока не спустят все до последнего пфеннига», — подумала она и, неодобрительно покачивая головой, передала буфетчику заказ: три рюмки водки и три чашки кофе.

Мурке хлебнул сока, ткнул сигарету в пепельницу и с ужасом представил себе, как между одиннадцатью и часом они будут резать на куски сегодняшнюю запись голоса Бур-Малотке и потом вклеивать их в его выступление. В два часа главный желает прослушать оба монтажа у себя. Мурке вспомнил про мыло, про лестницу, крутую лестницу, и про «американские горы», потом про жизненные силы шефа, потом про Бур-Малотке и перепугался, увидев входящего в столовую Швендлинга. Облаченный в клетчатую рубашку — крупные красные и черные клетки, — Швендлинг решительно направился к нише, где притаился Мурке. Он напевал популярный шлягер «Целуй мои губы такие, как есть...», но, увидев Мурке, запнулся и сказал:

— А, это ты? Я-то думал, что ты кромсаешь болтовню Бур-Малотке.

— В одиннадцать опять начнем, — отвечал Мурке.

— Вулла, кружку пива! — рявкнул Швендлинг, повернувшись к стойке. — Пол-литровую. — И продолжал, снова обращаясь к Мурке: — Ты заслужил внеочередной отпуск. Представляю себе, какой это ужас! Старик рассказывал мне, в чем там дело.

Мурке промолчал, и Швендлинг добавил:

— Ты знаешь последние новости о Муквице?

Сперва Мурке вяло помотал головой, потом из вежливости спросил:

— Какие новости?

Вулла принесла пиво. Швендлинг выпил, отдышался и медленно изрек:

— Муквиц делает передачу про тайгу.

Мурке засмеялся и спросил:

— А Фенн?

— Фенн делает передачу про тундру, — ответил Швендлинг.

— А Вегухт?

— Вегухт делает передачу про меня, а потом я про него, ибо сказано: сделай передачу из меня — я сделаю передачу из тебя...

Один из внештатных сотрудников вдруг вскочил и заорал на всю столовую:

— Искусство! Искусство! Искусство! Вот основа основ!

Мурке втянул голову в плечи, точно солдат, слышавший из вражеского окопа треск выстрелов. Он глотнул соку и снова вздрогнул, потому что из громкоговорителя раздался голос:

— Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать.

Мурке взглянул на часы. Всего половина одиннадцатого, но неумолимый голос продолжал:

— Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать.

Громкоговоритель висел над стойкой, чуть пониже лозунга, выведенного на стене по приказу главного: «Дисциплина — это всё!»

— Ну, ступай,— сказал Швендлинг.— Тут уж ничего не поделаешь.

— Верно,— ответил Мурке,— тут уж ничего не поделаешь.

Он встал, положил на столик деньги за сок, проскользнул мимо спорящих, вскочил в «патерностер» и снова поехал вверх мимо пяти пепельниц Шрёршнауца, снова увидел Христово сердце возле двери помрежа и подумал: «Ну, слава богу, теперь на радио есть хоть одна безвкусная картина!»

Открыв дверь в студию, Мурке увидел техника, спокойно сидевшего перед четырьмя коробками, и устало спросил:

— Ну, в чем дело?

— Они управились раньше, чем рассчитывали, и мы выиграли полчаса,— сказал техник.— Я думал, вы захотите воспользоваться этим получасом.

— Конечно, захочу,— ответил Мурке.— У меня в час свидание. Давайте начнем. Что это за коробки?

— У меня для каждого падежа своя коробка,— ответил техник.— В первой — именительный и винительный, во второй — родительный, в третьей — дательный, а в этой,— он указал на крайнюю справа маленькую коробочку с надписью «Натуральный шоколад»,— в этой оба звательных падежа: справа — удачный, слева — бракованный.

— Замечательно! — сказал Мурке.— Значит, вы уже успели разрезать это дерьмо на части?

— Да,— ответил техник.— И если вы записали, в каком порядке вклеивать падежи, мы управимся за какой-нибудь час. Вы записали?

— Да,— сказал Мурке. Он достал из кармана записку, на которой столбиком были выписаны цифры от «1» до «27», а против каждой цифры — название падежа.

Мурке сел, протянул технику сигареты. Пока закуривали, техник вставил в аппарат кусок ленты с выступлением Бур-Малотке.

— Сначала винительный...— начал Мурке.

Техник сунул руку в первую коробку, вытащил отрезок ленты и вклеил в нужное место.

— Теперь дательный,— сказал Мурке.



Работа шла быстро, и Мурке с облегчением вздохнул, убедившись, что никаких затруднений не предвидится.

— Так, теперь звательный,— продолжал Мурке.— Возьмем, разумеется, тот, что похуже.

Техник рассмеялся и вклеил в пленку бракованный звательный падеж Бур-Малотке.

— Дальше что? — спросил он.

— Родительный,— ответил Мурке.

\* \* \*

Главный редактор имел обыкновение добросовестно прочитывать все письма радиослушателей. То, которое он читал сейчас, было следующего содержания:

«Дорогое радио! У тебя наверняка нет более преданной слушательницы, чем я. Я уже пожилая женщина: мне семьдесят семь лет. Я слушаю тебя ежедневно вот уже тридцать лет и никогда не скупилась на похвалы. Ты, может, помнишь мое письмо о твоей передаче «Семь душ коровы Кавейды». Это была чудесная передача. Но теперь я на тебя сердита. Меня просто начинает возмущать то пренебрежение, с которым наше радиовещание относится к собачьей душе. И это ты называешь гуманизмом? У Гитлера были, конечно, свои недостатки; если верить всему, что о нем говорят, это вообще был ужасный человек, но одного у него нельзя отнять: он любил собак и немало для них сделал. Когда же наконец собака займет подобающее ей место в немецком радиовещании?.. Твою передачу «Как кошка с собакой» нельзя в этом смысле признать удачной, любая собака сочла бы ее оскорблением. Если бы мой Лоэнгринчик умел говорить, уж он бы тебе ответил. Он так лаял, когда слушал твою возмутительную передачу, так лаял, что можно было просто сгореть со стыда. Я честно плачу за свой приемник две марки в месяц, как и все слушатели, а поэтому хочу воспользоваться своим правом и задать тебе вопрос: «Когда наконец собачья душа займет подобающее место в немецком радиовещании?»

С дружеским приветом — хотя я очень тобой недовольна —  
Ядвига Херхен, домохозяйка.

P. S. А если никто из тех циничных субъектов, которые пишут для тебя передачи, не сумеет достойным образом воспеть собачью душу, прилагаю к сему свои скромные опыты. Гонорара мне не надо. Можешь передать его Обществу покровительства животным. Приложение: 35 рукописей. Твоя Я. Х.»

Шеф вздохнул, пошарил у себя на столе, но рукописей не обнаружил: секретарша, должно быть, уже успела их убрать. Тогда он набил трубку, зажег ее и, облизнув витальные губы, попросил коммутатор соединить его с Кроши. Кроши занимал малюсенький ка-

бинетик с малюсеньким, но красивым письменным столиком навверху, в отделе культуры. Он вел на радио рубрику, малюсенькую, как и его столик,— «Культура и животные».

— Послушайте, Кроши,— изрек шеф, когда Кроши скромно произнес: «У телефона»,— когда мы давали последний раз передачу про собак?

— Про собак? — повторил Кроши.— По-моему, господин редактор, ни разу не давали, при мне, во всяком случае, нет.

— А вы давно у нас работаете? — спросил шеф, и Кроши затрепетал, потому что у шефа вдруг сделался вкрадчивый голос, а он хорошо знал: если у шефа делается вкрадчивый голос, добра не жди.

— Десять лет, господин редактор,— сказал Кроши.

— Черт знает что,— возмутился шеф,— за десять лет ни одной передачи про собак! В конце концов, вы ведете эту рубрику! Как называлась ваша последняя передача?

— Моя по-по-следняя передача...— Кроши запнулся.

— Вам незачем повторять мои слова,— сказал шеф,— мы с вами не в армии.

— «Сычи на развалинах»,— робко сказал Кроши.

— Даю вам три недели сроку,— изрек шеф, и голос его опять стал вкрадчивым,— подготовьте за это время передачу про собачью душу.

— Слушаюсь,— ответил Кроши, и в телефоне щелкнуло: это шеф положил трубку. Потом Кроши глубоко вздохнул и сказал: — Господи ты боже мой!

А шеф взялся за очередное письмо.

Тут вошел Бур-Малотке. Он мог позволить себе входить в любое время без доклада и позволял себе это частенько. Он до сих пор был весь в поту и, тяжело опустившись на стул против главного, сказал:

— Итак, доброе утро.

— Доброе утро! — отозвался главный, отложив в сторону письмо радиослушателя.— Чем могу служить?

— Я прошу вас об одной-единственной минуте,— сказал Бур-Малотке.

— Бур-Малотке! — вскричал главный и сделал великолепный витальный жест.— Вам ли просить у меня минуту! Располагайте моими часами, днями, всем моим временем!

— Да нет,— сказал Бур-Малотке,— речь идет не о простой минуте, а о радиоминуте. Моя речь из-за внесенных в нее изменений стала длинней на одну минуту.

Главный стал серьезным, как сатрап, раздающий провинции.

— Надеюсь, после вас не политическая передача? — кисло спросил он.

— Нет,— ответил Бур-Малотке,— полминуты я прихвачу у местного отдела и полминуты — у развлечений.

— Слава богу,— сказал главный,— у отдела развлечений перерасход в семьдесят девять секунд, а у местного — в восемьдесят три. Бур-Малотке, я охотно дарю вам эту минуту.

— Мне просто совестно,— сказал Бур-Малотке.

Редактор повторил свой великолепный жест, но на этот раз как сатрап, уже раздавший провинции.

— Чем еще могу служить?

— Я был бы вам очень признателен,— ответил Бур-Малотке,— если бы мы при случае могли подправить все записи моих выступлений, начиная с сорок пятого года. Настанет день,— он провел рукой по лбу и горестно взглянул на подлинного Брюллера над столом редактора,— настанет день, когда и я...— и он опять умолк: столь прискорбен был для потомков факт, о котором он хотел поведать,— ...когда и я покину этот мир...— новая пауза, давшая редактору возможность ужаснуться и замахать руками,— и для меня невыносима мысль, что после моей смерти, быть может, будут передаваться выступления, где я излагаю взгляды, которых более не придерживаюсь. Особенно ужасно, что в угаре сорок пятого года я дал подстрекнуть себя на высказывания, которые теперь кажутся мне в высшей степени сомнительными и которые я могу объяснить только юношеской пылкостью, отличающей все мои произведения. Сейчас идет корректура моих печатных трудов, я прошу вас в ближайшем будущем предоставить мне возможность внести поправки и в мои радиовыступления.

Редактор промолчал, слегка откашлялся, и мелкие капельки пота выступили у него на лбу: он успел прикинуть в уме, что с 1945 года Бур-Малотке каждый месяц давал на радио по крайней мере часовую передачу, а если двенадцать часов умножить на десять, получится сто двадцать часов сплошного Бур-Малотке.

— Только низкие души,— сказал Бур-Малотке,— могут считать педантичность недостойной гения. Но мы знаем,— редактор был явно польщен, ибо это «мы» причисляло его к разряду высоких душ,— мы знаем, что истинные, что величайшие гении всегда были педантами. Химмельсхайм велел однажды за свой счет заново набрать “Seelon” только потому, что три или четыре предложения в середине книги не соответствовали более его новым взглядам. Для меня нестерпима мысль, что в эфир будут передаваться выступления, содержащие взгляды, которых я уже не разделял к моменту своей неизбежной кончины... Просто нестерпима! Какой же выход из положения вы мне предложите?

Капли пота на лбу у редактора заметно увеличились.

— Надо бы составить перечень ваших передач и потом проверить в архиве, все ли эти пленки целы,— тихо сказал он.

— Полагаю, что ни одна пленка с моим выступлением не могла быть уничтожена без того, чтобы меня не поставили в известность,— ответил Бур-Малотке.— А меня никто не ставил в известность, и, следовательно, все пленки целы.

— Я все организую,— сказал главный.

— Да уж, пожалуйста, организуйте,— сухо заметил Бур-Малотке и встал.— Всего хорошего.

— Всего хорошего,— ответил редактор и проводил Бур-Малотке до дверей.

Внештатные сотрудники решили заодно и пообедать. За это время они успели еще больше выпить и еще больше наговорить об искусстве. Разговор об искусстве велся с прежним пылом, хотя и принял более мирное направление. Когда в буфет вошел Вандербурн, они испуганно вскочили. Вандербурн был писатель, рослый, симпатичный, с меланхолическим лицом, уже отмеченным печатью славы. Сегодня он не брился, отчего выглядел еще симпатичнее. Вандербурн медленными шагами приблизился к их столу и в полном изнеможении опустился на стул.

— Ребята,— сказал Вандербурн,— дайте мне чего-нибудь выпить. В этом заведении мне всегда кажется, будто я вот-вот умру от жажды.

Ему дали остатки водки, смешанные с остатками минеральной воды. Вандербурн хлебнул, оставил стакан, по очереди обвел взглядом всех троих и сказал:

— Бегите от радио: это просто нужник, нарядный, разукрашенный, напомаженный нужник! Радио всех нас загонит в гроб!

Предостережение было самое искреннее и глубоко потрясло молодых людей. Правда, ни один из них не знал, что Вандербурн только что побывал в кассе, где получил изрядный куш за незначительную переработку книги Иова.

— Они режут нас, высасывают из нас все соки, потом они нас расклеивают, и никому из нас этого не выдержать.

Вандербурн допил свой стакан, встал и направился к двери; плащ его меланхолически развевался на ходу.

\* \* \*

В двенадцать Мурке кончил расклейку. Как только они вклеили последний кусок — дательный падеж,— Мурке встал со стула; он уже взялся за дверную ручку, но тут техник сказал:

— Хотел бы и я иметь такую же чуткую и дорогостоящую совесть. А с этим что делать?

Он указал на жестяную коробку из-под сигарет, которая стояла на полке между картонками с неиспользованной пленкой.

— Пусть стоит,— ответил Мурке.

— Зачем?

— Может, еще понадобится.

— Вы допускаете, что его опять охватят сомнения?

— Кто знает? — сказал Мурке. — Лучше подождем. До свидания.

Мурке пошел к переднему «патерностеру», спустился на третий этаж и впервые за весь день переступил порог своей редакции. Секретарша ушла обедать. Заведующий редакцией Хумкоке сидел у телефона и читал книгу. Увидев Мурке, он улыбнулся и встал.

— Ну как, вы еще живы? Скажите, это ваша книга? Это вы

ее положили на письменный стол? — Он показал книгу Мурке, и тот ответил:

— Да, моя.

Книга была в серо-зелено-оранжевой суперобложке и называлась «Источники лирики Бэтли». Речь в ней шла о молодом английском поэте, который сто лет назад составил каталог лондонского сленга.

— Превосходная книга,— сказал Мурке.

— Да,— согласился Хумкоке,— книга превосходная, но вы так никогда и не поймете...— (Мурке вопросительно посмотрел на него) —...не поймете, что нельзя оставлять на столе превосходные книги, если может зайти Вандербурн, а он может зайти в любую минуту. Он ее сразу же заприметил, раскрыл, полистал пять минут, и, как по-вашему, что мы имеем в результате? — (Мурке молчал.) — В результате мы имеем две часовые передачи Вандербурна о книге «Источники лирики». Этот человек в один прекрасный день сделает передачу из своей собственной бабушки. А самое страшное, что одна из его бабушек была также и моей бабушкой. Итак, Мурке, запомните раз и навсегда: никаких превосходных книг на столе, когда может зайти Вандербурн, а я повторяю вам: он может зайти в любую минуту! Теперь вы свободны, ступайте и отдохните остаток дня. Я считаю, что вы вполне заслужили небольшой отдых. А эта дребедень готова? Вы ее прослушали еще раз?

— Готова,— ответил Мурке,— а прослушивать еще раз я просто не в силах.

— Не в силах — это, знаете ли, звучит как-то по-детски,— сказал Хумкоке.

— Если я сегодня еще раз услышу слово «искусство», у меня будет истерика.

— У вас и так истерика,— сказал Хумкоке.— Впрочем, у вас есть для этого все основания. Три часа сплошного Бур-Малотке могут dokonать даже самого сильного человека, а вы не такой уж сильный человек.

Бросив книгу на стол, он подошел к Мурке поближе и продолжал:

— Когда я был в вашем возрасте, мне поручили однажды сократить на три минуты четырехчасовую речь Гитлера. Я трижды прослушал эту речь, прежде чем мне позволили предложить, какие именно три минуты надо вырезать. Когда мы запустили пленку в первый раз, я был еще убежденным нацистом. После третьего раза я уже не был нацистом. Это было мучительное, это было жестокое, но весьма эффективное лечение.

— Вы забываете,— возразил Мурке,— что от Бур-Малотке я излечился еще до того, как прослушал запись его выступления.

— Ну и фрукт же вы! — засмеялся Хумкоке.— Ладно, идите. Главный будет прослушивать запись в два часа. Так что до трех вы должны быть в пределах досягаемости на случай, если что-нибудь окажется не в порядке.

— От двух до трех я буду дома,— ответил Мурке.

— И еще одно,— сказал Хумкоке, снимая с полки возле стола Мурке желтую коробку из-под печенья.— Что за обрезки вы здесь храните?

Мурке покраснел.

— Это...— начал он,— это... я собираю своего рода остатки.

— Какого же рода? — полюбопытствовал Хумкоке.

— Молчание,— ответил Мурке,— я собираю молчание.

Хумкоке вопросительно взглянул на него. И Мурке пояснил:

— Когда мне приходится вырезать из ленты те места, где выступающие почему-либо молчали, делали паузу, вздыхали, переводили дух или просто безмолвствовали, я не выбрасываю их в корзину, а собираю. Но у Бур-Малотке я не нашел и секунды молчания.

Хумкоке рассмеялся.

— Ясно, этот молчать не станет. А на что вам эти обрезки?

— Я склеиваю их и потом запускаю пленку, когда вечером прихожу домой. У меня пока набралось очень мало — всего три минуты, но ведь и молчат у нас очень мало.

— Должен вам заметить, что уносить домой куски пленок строго запрещается.

— Даже молчание? — спросил Мурке.

Хумкоке рассмеялся и сказал:

— Ну, идите, идите!

Мурке ушел.

\* \* \*

Когда в самом начале третьего главный редактор зашел в студию, там как раз началось прослушивание первого выступления Бур-Малотке:

«...и где только, как только, почему только и когда только разговор ни зайдет о сущности искусства, мы прежде всего должны обратить взоры к тому высшему существу, которое мы чтим, должны склониться перед тем высшим существом, которое мы чтим, и принять искусство как великую милость из рук того высшего существа, которое мы чтим. Искусство...»

«Нет,— подумал редактор,— я просто не могу заставить кого-нибудь сто двадцать часов слушать Бур-Малотке! Есть вещи, которые просто выше сил человеческих, даже Мурке я этого не пожелаю!»

Редактор вернулся в свой кабинет и включил громкоговоритель. Из рупора послышался голос Бур-Малотке: «О ты, высшее существо, которое мы чтим...»

«Нет,— подумал редактор,— нет, ни за что...»

Мурке лежал на диване и курил. Возле него на стуле стояла чашка чая. Мурке смотрел в белый потолок. У его письменного стола сидела прехорошенькая блондинка и неподвижным взглядом смотрела в окно.

На низком столике между Мурке и девушкой стоял включенный магнитофон. Но Мурке и девушка молчали, в комнате царилла полная тишина. Девушка была так хороша и неподвижна, что могла бы служить отличной фотомodelью.

— Я больше не могу,— сказала вдруг девушка,— не могу, и все. То, что ты требуешь, просто бесчеловечно. Есть мужчины, которые заставляют девушек делать всякие гадости, но, честное слово, то, что меня заставляешь делать ты, еще хуже.

Мурке вздохнул.

— О господи,— сказал он.— Рина, дорогая, теперь мне придется вырезать все, что ты тут наболтала. Будь умницей, намолчи мне еще хоть пять минуток!

— Намолчи! — промолвила девушка. Она сказала это таким тоном, который тридцать лет назад можно было бы назвать нелюбезным.— Намолчи! Это тоже твоя выдумка! Я с радостью наговорила бы пленку, но намолчать?!

Мурке поднялся с дивана и выключил магнитофон.

— Ах, Рина, Рина,— сказал он,— знала бы ты, как дорого мне твое молчание! По вечерам, когда я, усталый, сижу один дома, я включаю запись молчания. Ну будь хорошей девочкой, намолчи хоть три минуты, чтобы мне не пришлось резать. Ты ведь знаешь, что для меня значит резать.

— Ладно,— сказала девушка.— По крайней мере дай мне сигарету.

Мурке улыбнулся, поцеловал девушку в лоб, дал ей сигарету, сказал:

— Как у меня здорово получается — целых два молчания, ты и в жизни молчишь, и на пленке,— и включил аппарат.

Так они и сидели, не говоря ни слова, пока не зазвонил телефон.

Мурке опять выключил аппарат, беспомощно пожал плечами, подошел к телефону и снял трубку.

— Привет,— сказал Хумкоке.— Оба выступления сошли гладко. По крайней мере шеф ни к чему не придрался. Можете идти в кино. И не забывайте про снег.

— Какой там еще снег? — крикнул Мурке, взглянув на улицу, залитую ослепительным летним солнцем.

— Господи! — возмутился Хумкоке.— Вы же знаете, что нам пора думать о зимней программе. Мне нужны снежные песни, снежные рассказы. Нельзя всю жизнь сидеть на Шуберте и Штифтере, а никому даже в голову не приходит об этом позаботиться! Мы не напасемся снежных передач, если будет долгая и суровая зима. Сообразите-ка что-нибудь снеженькое!

— Хорошо,— ответил Мурке,— соображу.

Но Хумкоке уже повесил трубку.

— Пошли! — сказал Мурке девушке. — Теперь мы можем идти в кино.

— И мне можно говорить?

— Сделай одолжение!..

\* \* \*

А в это самое время помощник режиссера редакции литературно-драматических передач последний раз прослушивал сегодняшнюю вечернюю передачу. Передача ему понравилась, если не считать конца.

Помощник режиссера задумчиво сидел в застекленной камере студии № 13 рядом с техником и, жуя спичку, еще раз просматривал текст:

*(Голос раздается под сводами пустой и огромной церкви.)*

Атеист *(говорит громко и отчетливо)*. Кто вспомнит обо мне, когда я стану добычей червей?

*(Молчание.)*

Атеист *(чуть погромче, почти вызывающе)*. Кто будет ждать меня, когда я обращусь в прах?

*(Молчание.)*

Атеист *(еще громче, уже с возмущением)*. А кто вспомнит обо мне, когда я опять листвою поднимусь из земли?

*(Молчание.)*

Вопросов, которые атеист выкрикивал в церкви, было двенадцать, и после каждого вопроса в тексте стояло: «Молчание».

Помощник режиссера вынул изо рта изжеванную спичку, засунул в рот новую и вопросительно поглядел на техника.

— Да,— сказал техник,— лично я считаю, что в передаче многовато молчания.

— Вот и мне кажется,— сказал помощник режиссера.— И автору тоже, он разрешил мне заменить молчание голосом, который говорит «бог», только этот голос уже не должен разноситься под сводами пустой церкви, ему, так сказать, нужна другая акустика. Ну а что толку? Где я сейчас возьму голос?

Техник рассмеялся и схватил жестяную коробку, которая все еще стояла на полке.

— Вот, пожалуйста, очень приличный голос, говорит «бог», и как раз в помещении, лишенном всякого резонанса.

От удивления помощник режиссера чуть не поперхнулся спичкой, с трудом откашлялся и вытолкнул ее на прежнее место.

— Все очень просто,— улыбаясь, сказал техник.— Мы двадцать семь раз вырезали это слово из одного выступления.

— Двадцать семь раз мне не нужно,— ответил помреж,— с меня хватит двенадцати.

— Мне ничего не стоит,— сказал техник,— вырезать молчание и двенадцать раз вклеить слово «бог», но только на вашу ответственность.

— Вы ангел,— сказал помощник режиссера.— Конечно, на



мою ответственность.— Он радостно посмотрел на маленькие матовые обрезки ленты в коробке Мурке.— Вы ангел,— повторил он.— Ну, давайте приступим.

Техник тоже радовался; он подумал, как много молчания он сможет подарить Мурке — почти целую минуту, он ни разу еще не дарил Мурке столько молчания, а Мурке ему нравился.

— Хорошо,— улыбнулся он,— начнем.

Помощник режиссера полез в карман за пачкой сигарет, но вместе с сигаретами вытащил смятую бумажку и, разгладив ее, протянул технику.

— Ну не смешно ли,— сказал он,— что на радио можно найти такую безвкусицу? Это я нашел у себя возле своей двери.

Техник поглядел на бумажку, сказал:

— И впрямь смешно.— После чего прочел вслух: — «Я молилась за тебя в церкви святого Иакова».

## НЕ ТОЛЬКО ПОД РОЖДЕСТВО

### I

У нас в семье наблюдаются признаки вырождения; мы долго пытались не замечать их, но теперь мы твердо решились взглянуть опасности прямо в лицо. Мне не хотелось бы пока употреблять слово «крушение», но вызывающих тревогу фактов накопилось так много, что угроза становится совершенно очевидной и вынуждает меня говорить о вещах, которые хоть и прозвучат несколько странно для ушей моих современников, зато в их подлинности никто не сможет усомниться. Разрушительный грибок, целые колонии смертоносных микробов, глубоко укоренившись под столь же толстой, сколь и твердой корой приличия, возвещают конец доброй славы целого рода.

Сегодня нам остается только пожалеть о том, что много ранее мы не вняли голосу нашего кузена Франца, когда тот весьма своевременно начал обращать наше внимание на ужасные последствия, которые может иметь событие, само по себе весьма безобидное. Событие это было столь незначительным, что теперь нас просто пугает размах последствий. Франц своевременно предостерегал нас, однако с ним, к сожалению, слишком мало считались. Он избрал себе профессию, которая до сих пор не встречалась, да и не должна бы встречаться в нашем роду: он стал боксером. Еще в молодости он был человеком, склонным к меланхолии, отличался набожностью, которую у нас в семье называли юродством, и рано вступил на путь, причинивший немало забот и огорчений моему дяде Францу, этому душевнейшему человеку. Кузен Франц до такой степени любил уклоняться от школьных обязанностей, что это выходило за пределы нормы. Он встречался с крайне сомнительными приятелями в отдаленных парках и густых кустарниках пригородной зоны. Там они усваивали суровые правила кулачного боя, нисколько не заботясь о судьбах классиче-

ского наследия. В этих юношах очень рано проявились все пороки их поколения, которое, как потом выяснилось, и в самом деле никуда не годится. Самые волнующие турниры умов прошлых столетий совершенно их не интересовали — они были слишком заняты сомнительными тревожениями своего века. Сперва мне казалось, что благочестие Франца находится в противоречии с его регулярными упражнениями в пассивной и активной жестокости. Но сегодня мне многое стало ясно. Впрочем, к этому я еще вернусь.

Итак, именно Франц своевременно предостерегал нас, именно он раньше других начал уклоняться от участия в некоторых празднествах, обозвал все это суетой и безобразием, а главное, несколько позднее категорически воспротивился мероприятиям, которые оказались совершенно необходимыми для поддержания того, что он называл безобразием. Впрочем — как уже было сказано, — он не пользовался авторитетом, и родня не прислушивалась к его словам.

Теперь же события настолько развернулись, что мы решительно не представляем себе, как приостановить их ход.

Франц уже давно стал известным боксером, но похвалы, которые теперь расточает ему вся семья, он отвергает с тем же равнодушием, с каким прежде отвергал всякую критику.

Брат мой, кузен Иоганн, — человек, за порядочность которого я поручусь головой, этот преуспевающий адвокат и любимый сын нашего дяди, якобы сблизился с коммунистами — слух, которому я долго отказывался верить. Моя кузина Люси, до этого времени вполне нормальная женщина, если верить слухам, каждую ночь в сопровождении своего безответного мужа посещает подозрительные заведения и предается там танцам, для определения которых я не могу подобрать более подходящего слова, чем экзистенциалистские, наконец, сам дядя Франц, добродушнейший человек, заявил, будто он устал жить, и это он, прославившийся в нашей семье как образец жизнелюбия, как пример того, что принято называть «купец и христианин».

Растет гора всевозможных счетов, приглашаются психиатры и психоаналитики. И лишь моя тетя Милла, из-за которой началась вся эта кутерьма, чувствует себя превосходно, она улыбается, она весела и довольна, как была почти всю свою жизнь. Ее бодрость и свежесть мало-помалу начинают нас раздражать, хотя было время, когда мы очень беспокоились о ее здоровье. Дело в том, что в ее жизни произошел кризис, чреватый самыми тяжелыми последствиями. Вот об этом-то я и хочу рассказать подробнее.

## II

Конечно, задним числом нетрудно обнаружить очаг роковых событий, и, как ни странно, лишь теперь, когда я трезво смотрю на вещи, все происходившее за последние два года у на-

ших родственников кажется мне ни на что не похожим.

Нам бы надо раньше догадаться, что здесь что-то не так. Действительно здесь что-то не так, и если даже когда-то было так — в чем я очень сомневаюсь, — все равно сейчас здесь творятся вещи, которые наполняют меня ужасом.

Тетя Милла славилась в семье своим пристрастием к украшению рождественской елки — безобидная, хотя и характерная слабость, которая очень распространена в нашем отечестве. Над ее слабостью все посмеивались, а сопротивление Франца, которое он с ранних лет оказывал этой «возне», всегда было предметом живейшего возмущения, ибо Франц и сам по себе был явлением отрицательным. Он отказывался украшать елку. До поры до времени все это сходило гладко. Тетка уже привыкла к тому, что Франц уклоняется от всяких приготовлений в период рождественского поста, уклоняется от участия в самом празднике и приходит лишь тогда, когда пора садиться за стол. Об этом просто перестали говорить.

Рискую вызвать всеобщее негодование, я должен напомнить об одном факте, в защиту которого я могу только сказать, что это факт. С 1939-го по 1945 год мы находились в состоянии войны. Когда идет война, принято петь, стрелять, произносить речи, сражаться, голодать и умирать, кроме того, на вас падают бомбы — все это вещи сплошь неприятные, и я никоим образом не хотел бы докучать современникам их перечислением. Мне только приходится упоминать о них, ибо война оказала решающее влияние на историю, которую я хочу рассказать. Так вот, тетя Милла восприняла войну лишь как некую силу, которая уже с рождества 1939 года начала расшатывать устои ее рождественской елки. Правда, тетюшкина елка отличалась повышенной чувствительностью.

Главным украшением елки были стеклянные гномы, в поднятых руках они держали пробковые молоточки, а у ног их висели наковальни в виде колокольчиков. Под ногами гномов были прикреплены свечи, и, когда гномы нагревались до определенной температуры, приходил в движение скрытый механизм, гномами овладевало лихорадочное беспокойство, и вся дюжина как одержимая колотила по наковальням, производя мелодичный и нежный звон. А на верхушке елки висел румяный ангел в серебряных одеждах, который через равные промежутки времени раскрывал рот и шептал: «Мир, мир». Тайна ангельского устройства свято охранялась, и узнал я ее только много позже, хотя в тот период мог наблюдать ангела почти каждую неделю. Висели на елке, конечно же, сахарные крендельки, печенье, марципановые фигурки, золотой дождь и — чтоб не забыть — серебряная мишура; я помню, что развесить многочисленные украшения как следует стоило немало труда, требовалось участие всей семьи — и вся семья от волнения теряла к вечеру аппетит и настроение у всех, как говорится, становилось отвратительное, если не считать моего кузена Франца, который — один из всех — не участвовал в приготовлениях и поэтому мог наслаждаться жарким и спаржей, сби-

тыми сливками и мороженым. Когда мы приходили на второй день рождества и высказывали смелое предположение, что тайна говорящего ангела заключается в таком же механизме, благодаря которому куклы могут говорить «папа» или «мама», нам отвечали презрительным смехом.

Теперь вы легко можете себе представить, что бомбы, сыплющиеся неподалеку, в высшей степени вредили этому чувствительному дереву. Происходили ужасные сцены, когда с елки падали гномы, один раз свалился даже сам ангел. Тетка была безутешна. Не жалея сил, она после каждого воздушного налета старалась полностью восстановить украшение елки и сохранить его по крайней мере на время праздника. Но начиная с 1940 года об этом нечего было и думать. Еще раз рискуя вызвать нарекания, я должен бегло упомянуть, что число налетов на наш город было и впрямь очень велико, не говоря уже об их интенсивности. Так или иначе, тетюшкина елка пала жертвой современного способа ведения войны. Из вполне понятных соображений я не буду здесь упоминать о других жертвах. Иностранная авиация временно с ней покончила.

Тетка, славная и приветливая женщина, вызывала у нас искреннее сострадание. Нам было очень больно, когда после жестоких домашних боев, нескончаемых дискуссий, после сцен и слез ей все же пришлось отказаться от своей елки до конца войны.

К счастью — может быть, надо говорить, к несчастью? — это было единственное, в чем она пострадала от войны. Бомбоубежище, выстроенное дядей, было совершенно непробиваемо, кроме того, к услугам тетки все время находился автомобиль, готовый умчать ее туда, где незаметны непосредственные следы войны; делалось все возможное, чтобы скрыть от нее ужасные разрушения. Обоим моим кузенам повезло — они так и не узнали, что такое военная служба в самых ее суровых формах. Иоганн быстро вступил в дядину фирму, которая играла решающую роль в снабжении нашего города овощами. К тому же у него была не в порядке печень. А Франц хоть и стал солдатом, но ему поручили охранять пленных, и даже на этом посту он ухитрился не угодить военному начальству, обращаясь с русскими и поляками как с людьми. Кузина Люси еще не была тогда замужем и помогала дяде в торговых делах. Раз в неделю она ходила на «добровольную службу в помощь армии» — вышивать свастики. Но мне не хотелось бы перечислять здесь политические прегрешения моих родственников.

Короче говоря, ни в деньгах, ни в продуктах, ни в необходимой безопасности недостатка не было, и тетя Милла страдала лишь из-за отсутствия елки. Дядя Франц, этот душевнейший человек, почти пятьдесят лет имел неплохие доходы — он покупал апельсины и лимоны в различных тропических и субтропических странах и пускал их в продажу с соответствующей наценкой. В годы войны дядя распространил сферу своей деятельности на менее ценные фрукты и овощи. Но после войны снова появились

цитрусовые — плоды, которые больше всего занимали дядю, — и сразу стали предметом живейшего внимания всех слоев общества. Дядя Франц сумел тут же переключиться на цитрусовые, что принесло населению всевозможные витамины, а самому дяде — порядочное состояние.

Но ему уже было под семьдесят, и он сам захотел уйти на покой, передав дело своему зятю. Тут и произошло событие, над которым мы раньше посмеивались, но которое теперь кажется нам причиной всех дальнейших несчастий.

Моя тетка Милла вновь занялась своей елкой. Само по себе это было вполне безобидно, даже упорство, с которым она настаивала на том, чтобы «все было как раньше», вызывало у нас только усмешку. Да и на самом деле, сначала не было ровно никаких оснований принимать эту историю всерьез. Война, правда, разрушила много такого, что восстановить было несравненно труднее, но зачем — так говорили мы себе — отнимать у симпатичной старушки столь невинную радость?

Всем известно, как трудно было достать тогда масло или сало. Но раздобыть марципановые фигурки, шоколадные крендельки и свечи в 1945 году оказалось просто невозможным даже для моего дяди Франца, имевшего обширные связи. Лишь в 1946 году было собрано все, что требовалось. К счастью, сохранился еще целый комплект гномов с наковальнями и один ангел.

Я хорошо помню тот день, когда нас пригласили к дяде. Шел январь 1947 года. На дворе стоял мороз. Но у дяди было тепло, а стол ломился от разных угощений. И когда погасли лампы, зажглись свечи, гномы начали колотить молоточками, а ангел шептать: «Мир, мир», мне почудилось, будто меня перенесли в доброе старое время, которое — как я до тех пор думал — миновало безвозвратно.

Тем не менее все это не содержало в себе ничего из ряда вон выходящего, хотя и явилось для нас приятной неожиданностью. Из ряда вон выходящим оказалось то, с чем я столкнулся спустя три месяца. Моя мать — дело было в середине марта — послала меня разузнать, нельзя ли «чем-нибудь поживиться» у дяди Франца. Речь шла о фруктах. Я отправился в соседний район города. Воздух был мягкий и чистый, смеркалось. Ничего не подозревая, шагал я мимо поросших травой развалин и заброшенных парков, открыл калитку в дядин сад и вдруг остановился от неожиданности. В вечерней тишине я отчетливо услышал пение, доносившееся из дядиной гостиной. Любовь к песням — хорошая черта немцев, и я знаю немало весенних песен, но здесь до меня совершенно отчетливо донеслось:

Родился мальчик весь в кудрях...

Признаюсь, я был ошеломлен. Я медленно подошел к дому и дождался конца песни. Занавески были задернуты, я наклонился к замочной скважине. И в этот момент моего уха достиг звон молоточков и шепот ангела.

У меня не хватило духу войти туда, и я медленно побрел домой. Дома мой рассказ вызвал веселое оживление. И только когда к нам заглянул Франц и рассказал подробности, мы поняли, что произошло.

В сретение господне — другими словами, когда в наших краях принято снимать с елки украшения и выбрасывать ее на свалку, где уличные ребята ее находят, таскают по золе и всякой грязи и используют для всевозможных игр, — итак, в сретение случилось нечто ужасное. Когда вечером, после того как догорели последние свечи, мой двоюродный брат Иоганн начал снимать гномов, тетя Милла, обычно очень тихая, стала истошно вопить, да так неожиданно и громко, что Иоганн растерялся, выпустил из рук покачивающееся дерево, и тут-то все и произошло: раздался звон и треск, гномы и колокольчики, наковальни и ангел — все полетело на пол, а тетка тем временем кричала да кричала. Она кричала почти целую неделю. Приглашались срочными телеграммами невропатологи, приезжали в такси психиатры, но все, даже знаменитости, покидали дом, пожимая плечами и не без испуга.

Никто не мог прекратить этот пронзительный концерт. Самые сильнодействующие средства давали передышку лишь на несколько часов, но — увы! — доза люминала, которую может без всякой опасности для себя ежедневно принимать шестидесятилетняя старушка, очень незначительна. Зато представьте, какая мука жить в одном доме с женщиной, кричащей изо всех сил: уже на второй день семья находилась в состоянии полного распада. Увещения патера, который обычно присутствовал на рождественском вечере, не помогли — тетка кричала.

Франц вызвал бурю негодования, когда порекомендовал принять изгнание беса по всем правилам. Патер бранил его, семья была потрясена его средневековыми взглядами, возмущение жестокостью Франца на несколько недель затмило его боксерскую славу.

Меж тем были испробованы все средства исцелить тетку. Она отказывалась есть, не разговаривала, не спала. Применяли холодную воду и горячую ванну, ножные ванны, перемежающиеся ванны, врачи рылись в справочниках, пытались найти хотя бы название этого синдрома — и не находили. А тетка кричала. Она кричала до тех пор, пока моему дяде Францу — этому поистине душевнейшему человеку — не пришла в голову мысль украсить новую елку.

### III

Идея была превосходной, но осуществить ее оказалось очень нелегко. Приближалась уже середина февраля, а в это время довольно трудно найти на рынке приличное дерево. Весь коммерческий мир уже давно — с быстротой, впрочем, чрезвычайно отрадной — перешел к другим делам. Приближался карнавал: маски и пистолеты, ковбойские шляпы и замысловатейшие головные уборы

для королев чардаша заполнили витрины, где прежде радовали глаз прохожего ангелы, золотой дождь, свечи и игрушечные ясли. Кондитерские лавки давно уже спрятали до лучших времен рождественские лакомства, и на их месте красуются теперь хлопушки. Короче говоря, в магазинах в это время года елок не продают.

Пришлось снарядить целую экспедицию грабительски настроенных внучат, вооружив их карманными деньгами и острым топором; те поехали за город и вернулись к вечеру в превосходном расположении духа и с великолепной пихтой. Но тем временем выяснилось, что четыре гнома, шесть наковален и ангел с верхушки погибли безвозвратно. Марципановые фигурки и печенье стали добычей все тех же грабительски настроенных внучат. Надо сказать, что и нынешнее подрастающее поколение никуда не годится, и если вообще существовало когда-нибудь поколение, которое куда-нибудь годилось — в чем я лично очень сомневаюсь, — то это поколение наших отцов.

Хотя у дяди не было недостатка ни в наличном капитале, ни в связях, прошло четыре дня, прежде чем подготовили все необходимое. А тетка тем временем кричала без передышки. Летели по проводам телеграммы, адресованные фирмам детских игрушек — эти фирмы как раз находились в стадии восстановления, — заказывались по телефону разговоры «молния». Запыхавшиеся мальчишки-почтальоны доставляли среди ночи срочные пакеты, благодаря взятке удалось в короткий срок добиться разрешения на ввоз товаров из Чехословакии.

Эти дни войдут в семейную летопись как дни, отмеченные чрезмерным расходом кофе, сигарет и нервов. А тетка тем временем сильно сдала: ее круглое лицо стало жестким и угловатым, выражение кротости сменилось выражением неумолимой строгости, она не ела, не пила, иступленно кричала, за нею ухаживали две сестры милосердия, и дозу люминала приходилось увеличивать каждый день.

Франц рассказал нам, что во всей семье царила мучительная тревога, пока наконец 12 февраля елку не убрали окончательно. Были зажжены свечи, задернуты занавески, тетку привели из спальни, среди собравшихся послышались рыдания и хихиканье. Как только тетка увидела зажженные свечи, лицо ее смягчилось. Когда же достаточно разогрелись гномы и будто одержимые начали колотить по наковальням, а ангел шепнул: «Мир, мир», чудесная улыбка озарила ее лицо, и вся семья затянула рождественскую песню «О, милая елка!». Для полноты картины пригласили патера, который обычно проводил сочельник у дяди Франца, патер тоже облегченно улыбнулся и начал подпевать.

То, чего не могли добиться ни медицинские исследования, ни психиатрические экспертизы, ни компетентные поиски скрытых травм, совершило любящее сердце дяди. Елочная терапия, изобретенная этим душевным человеком, спасла положение. Тетка успокоилась и в общем — как мы тогда надеялись — исцелилась. После того как было пропето несколько песен, съедено несколько вазочек

печенья, все устали и разбрелись восвояси. И тетка — представьте себе — уснула без снотворного. Сестер милосердия отпустили, врачи пожали плечами, и все казалось в полном порядке. Тетка снова ела, снова пила, снова стала приветливой и кроткой.

Но на другой день, когда начало смеркаться и дядя спокойно сидел с газетой в руках под елкой возле жены, она вдруг коснулась его руки и сказала:

— Пора звать детей, по-моему, уже время.

Позднее дядя признавался нам, что он очень испугался, но тем не менее встал, чтобы срочно созвать детей и внуков и послать за патером. Патер пришел несколько запыхавшийся и недоумевающий, но потом зажгли свечи, гномы начали стучать молоточками, ангел начал шептать, собравшиеся пели, жевали печенье, и казалось, что все в порядке.

#### IV

Вся растительность подчиняется определенным биологическим законам, и, согласно этим законам, ели, вырванные из родной почвы, испытывают прискорбную склонность терять иголки, особенно когда они стоят в теплом помещении, а у дяди было очень тепло. Век пихты несколько длиннее, чем век обычной ели, что ясно доказала популярная работа доктора Хергенринга "*Abies nobilis et Abies vulgaris*". Но и век пихты не бесконечен. Уже перед карнавалом выяснилось, что придется доставить тетке новое огорчение: дерево со страшной скоростью роняло иглы, и все видели, как слегка хмурится лоб тетки во время вечерних песнопений. По совету одного действительно выдающегося психиатра была предпринята попытка небрежно, вскользь намекнуть тетке о возможном окончании рождества, поскольку на деревьях уже начали распускаться почки, что повсеместно рассматривается как признак весны, а в наших широтах с рождественской порой принято связывать всякие зимние представления. Искусный в такого рода делах дядя предложил как-то вечером спеть «Все птички прилетели» и «Приди, весна, скорее», но при первых же звуках первой же песни тетка сделала настолько мрачное лицо, что пришлось немедленно переключиться и затянуть «О, милая елка!». Три дня спустя моему брату Иоганну поручили предпринять легкую попытку разбора елки, но не успел он протянуть руку и снять одного гнома, как тетка испустила такой вопль, что пришлось приладить гнома на старое место, зажечь свечи и с несколько излишней поспешностью, но зато очень громко затянуть песню «Тихая ночь, святая ночь».

Но ночи перестали быть тихими: компании молодых гуляк с песнями, с барабанами и трубами шатались по городу, все было усыпано серпантинном и конфетти, днем на улицах резвились дети в масках, они кричали, стреляли, некоторые даже пели, и, по данным частной статистики, в городе насчитывалось минимум шестьдесят тысяч ковбоев и сорок тысяч королей чардаша. Короче говоря,



наступил карнавал — праздник, отмечаемый у нас не менее, если даже не более, широко, чем рождество. Но тетка оставалась глуха и слепа ко всему происходящему: она хаяла все без исключения карнавальные наряды, которых у нас обычно в это время полным-полно во всех шкафах; печальным голосом жаловалась она мне на страшное падение нравов, коль скоро даже в рождественские дни люди не могут отказаться от этой безнравственной суеты, а когда она нашла в комнате у своей дочери воздушный шар — правда, из шара вышел воздух, но дурацкий колпак, нарисованный на нем белой краской, был виден очень ясно, — тетка разразилась слезами и попросила дядю положить конец этому кошунству.

И тут все с ужасом констатировали, что моя тетка сошла с ума и воображает, будто у нас до сих пор сочельник. Дядя созвал семейный совет, на котором просил пощадить чувства тети и посчитаться с ее необычайным состоянием, после чего снарядили новую экспедицию, дабы сохранить мир по крайней мере на время вечернего торжества.

Пока тетка спала, все украшения сняли со старого дерева и перевесили на новое, и состояние тетки продолжало оставаться удовлетворительным.

## У

Но вот и карнавал кончился, наступила самая настоящая весна, и вместо песни «Приди, весна, скорее» смело можно было петь «Весна пришла». Потом начался июнь. Четыре елки успели уже осыпаться, но ни один из вновь приглашенных врачей не подал ни малейшей надежды на исцеление. Тетка стояла на своем. Даже известный как мировое светило доктор Блесс пожал плечами и удалился в свой кабинет, получив предварительно в качестве гонорара 1365 марок, чем лишний раз доказал, что он не от мира сего. Несколько очередных, очень нерешительных попыток прекратить торжества или пропустить хотя бы один вечер были встречены такими воплями, что пришлось наконец оставить всякую мысль о подобном богохульстве.

Ужаснее всего было, что тетка требовала присутствия всех родных и близких. К их числу относились также патер и внуки. Даже ближайших членов семьи с большим трудом заставляли приходить вовремя, а с патером дело обстояло совсем плохо. Несколько недель он еще безропотно терпел из уважения к старой прихожанке, но потом заявил дяде, смущенно покашливая, что дальше так не пойдет. Правда, само торжество длится недолго — каких-нибудь тридцать восемь минут, но даже и эту краткую церемонию невозможно проделывать каждый день, утверждал патер: у него-де есть и другие обязанности — вечерние встречи с коллегами, заботы о спасении души своих прихожан, не говоря уже о субботних исповедях. Правда, он согласился потерпеть еще несколько недель, но в конце июня начал решительно бороться за свое освобождение.

Франц бушевал, искал сторонников своего плана поместить мать в лечебницу, но наткнулся на всеобщее осуждение.

Так или иначе, трудности не замедлили сказаться. Как-то вечером не явился патер, его нигде нельзя было отыскать ни по телефону, ни через посыльного, и стало ясно, что он просто-напросто сбежал. Дядя страшно ругался и воспользовался случаем, чтобы обозвать всех служителей церкви такими словами, которые я решительно отказываюсь повторить. С горя пригласили какого-то капеллана, человека простого происхождения. Он пришел, но держал себя так ужасно, что чуть не разразилась катастрофа. Не надо забывать, что был уже июнь, следовательно, и без того жарко, да к тому же задернуты занавески, чтобы было темно, как зимним вечером, вдобавок горели свечи. Потом начался собственно праздник; капеллан, правда, слышал уже о том, что здесь творится, но представлял себе все это очень смутно. Дядя дрожа подвел капеллана к тетке — он-де будет сегодня вместо патера. Тетка — ко всеобщему удивлению — восприняла перемену программы весьма спокойно. И вот гномы стучали молоточками, ангел шептал, семейство пропело «О, милая елка!», потом все ели печенье, потом запели еще раз, и вдруг капеллан стал давиться от хохота. Уже позднее он признался, что никогда не мог без смеха слышать слова: «Зимой, когда повсюду снег». Он фыркнул с поистине клерикальной бестактностью, выскочил из комнаты и больше не возвращался. Все взоры устремились на тетку, но она кротко пробормотала что-то о «пролетариях в сутане» и положила в рот кусочек марципана. Даже мы осудили тогда поведение капеллана, но сегодня я скорее склонен рассматривать его как приступ природной смешливости.

Я должен добавить — если намереваюсь и впредь строго придерживаться фактов, — что дядя пустил в ход все свои связи с церковными властями, чтобы обжаловать поведение как патера, так и капеллана. За дело принялись чрезвычайно корректно, был возбужден процесс о преступном забвении обязанностей духовного пастыря, но в первой инстанции его выиграли священники. Дело было передано во вторую инстанцию.

К счастью, по соседству удалось отыскать старого прелата, вышедшего на пенсию. Этот достойный старик с величайшей любезностью незамедлительно предоставил себя в распоряжение дяди Франца и согласился ежевечерне присутствовать на торжестве. Но я немного забежал вперед. Дядя Франц, человек достаточно здравомыслящий, чтобы понять, что усилия врачей ни к чему не приведут, но при этом не желавший помещать тетку в клинику, был в то же время достаточно деловым человеком, чтобы устроить все как надо на долгий срок, по-хозяйски рассчитав все издержки. Прежде всего, уже с середины июля были приостановлены экспедиции внучат — выяснилось, что они обходятся слишком дорого. Мой находчивый кузен Иоганн, который поддерживает прекрасные отношения со всеми деловыми кругами, отыскал бюро по сохранению свежих елок при фирме «Зёдербаум» — весьма солидном предприятии, которое уже почти два года сберегает нервы моим

родственникам. Спустя полгода фирма «Зёдербаум» выпустила абонемент на поставку елок по сниженным ценам и предложила всякий раз заранее устанавливать силами специалиста по хвойным иголкам доктора Альфаста срок годности елки, так чтобы уже за три дня до того, как старая елка окончательно выйдет из строя, доставлять новую и без спешки украшать ее. Кроме того, предосторожности ради был создан резервный фонд численностью в две дюжины гномов и три ангела для верхушки.

По-прежнему уязвимым местом остаются сладости. Они проявили разительную склонность таять и стекать с дерева быстрее и бесповоротнее, чем воск. По крайней мере в летние месяцы. Все попытки сохранить их при помощи скрытых холодильных приспособлений в состоянии рождественской твердости до сих пор оканчивались неудачей, равно как и попытка добиться возможности сохранить дерево путем бальзамирования. Тем не менее семейство будет очень тронато и признательно за всякое предложение, которое удешевит этот непрекращающийся праздник.

## VI

Тем временем вечерние торжества в доме дяди приобрели отпечаток бездушности почти профессиональной. Все собираются под елкой или вокруг елки. Входит тетка. Зажигают свечи. Гномы начинают стучать молотками, ангел шепчет: «Мир, мир», потом исполняют несколько песен, жуют печенье, немного болтают и, зевая, расходятся с пожеланием «весело провести праздник», после чего молодежь предается удовольствиям, соответствующим данному времени года, а мой добрый дядя Франц с тетей Миллой ложатся спать. В комнате остается дымок от погашенных свечей, легкий аромат разогретой хвои и запах пряностей. Гномы неподвижно застыли, излучая в темноте слабое сияние, их руки угрожающе подняты, серебряные одежды ангела тоже начинают слабо светиться.

Нет нужды сообщать, что радость, которую принято испытывать во время настоящего рождества, у членов нашей семьи значительно померкла: мы можем любоваться рождественской елкой, когда захотим; бывает и так, что мы сидим летом на веранде, утомленные дневной суетой, и попиваем дядюшкин апельсиновый крюшон, а из дома доносится нежный перезвон стеклянных колокольчиков и видно, как гномы, словно маленькие проворные чертики, колотят молотками, а ангел все шепчет: «Мир, мир». И до сих пор нам кажется диким, когда дядя среди лета вдруг зовет детей: «Пора зажигать свечи, сейчас придет мать». Потом, почти всегда точно в назначенное время, появляется прелат — симпатичный старик, к которому мы все уже давно относимся как к родному за то, что он отлично играет свою роль, если, конечно, он вообще понимает, что играет какую-то роль и какую именно. Но так или иначе, он играет роль, седовласый, улыбающийся, лиловая кайма, выглядывающая

из-под воротничка, придает картине завершающий оттенок благо-родства. А что вы скажете, услышав прохладным вечером взволнованный крик: «Скорей несите гасильник! Где гасильник?» Уже случилось, что во время сильной грозы гномы решали ни с того ни с сего устроить концерт сверх программы — они начинали без всякого нагрева размахивать руками и дико стучать молотками, а мы, люди, лишенные воображения, пытались объяснить это про-заическим словом «электричество».

Немаловажную сторону дела составляет сторона финансовая. Пусть даже семья не испытывает недостатка в наличных средствах, но такие чрезмерные и непривычные расходы пробивают в капитале солидную брешь. Ибо, несмотря на все меры предосторожности, естественная убыль гномов, наковален и молотков не знает границ, а тонкий механизм, при помощи которого говорит ангел, нуждается в постоянном уходе и заботе и должен время от времени подвергаться ремонту. Кстати, я открыл тайну — оказывается, ангел подключен к микрофону в соседней комнате, а перед микрофоном все время крутится пластинка и через определенные промежутки времени повторяет: «Мир, мир». Поскольку эти вещи нужны всего лишь несколько дней в году, за них берут очень дорого, а у нас их употребляют круглый год. Я был немало удивлен, когда дядя однажды признался мне, что гномов хватает не больше чем на три месяца и что полный комплект гномов стоит не меньше 128 марок. Он просил одного знакомого инженера покрыть гномов для проч-ности резиновой оболочкой, но так, чтобы при этом не повредить красоте звона. Однако попытка не удалась. Расход свечей, имбирных пряников, марципанов, елочный абонемент, счета от врачей и вни-мание, вот уже три месяца оказываемое прелату, — на все это, вместе взятое, ежедневно уходит, как сказал дядя, в среднем около одиннадцати марок, не говоря уже о страшном расходе нервов, о ежедневном подрыве здоровья, каковой начал заметно сказываться. Но тогда была осень, и все заболевания приписали повсеместно наблюдаемой осенней восприимчивости.

## VII

Обычное рождество прошло вполне благополучно. В дяди-ной семье свободно вздохнули, когда увидели, что и другие семьи собрались возле елок, что и другие поют и едят имбирные пряники. Но облегчение миновало вместе с рождеством. Уже в середине января у моей кухни Люси началась странная болезнь: завидев елку на улице или в мусорной куче, она раздражалась истерическими рыданиями. Потом с нею случился настоящий приступ безумия, который врачи пытались замаскировать под истощение нервной системы. Когда подруга, к которой Люси была приглашена на чашку кофе, начала, любезно улыбаясь, угощать ее имбирными пряниками, Люси выбила у подруги вазу из рук. Моя кухня принадлежит к числу тех, кого обычно называют темпераментными женщинами:

короче, она выбила у подруги вазу из рук, потом набросилась на елку, сорвала ее с подставки и начала топтать ногами стеклянные бусы, ватные грибы, свечи и звезды, сопровождая все это диким воем. Предоставив Люси бушевать в одиночестве, гости бросились наутек вместе с хозяйкой и до прихода врача не покидали передней, где им волей-неволей пришлось слушать, как Люси расправляется с фарфором. Мне нелегко говорить об этом, но я обязан сообщить, что Люси увезли от подруги в смиренной рубашке.

Длительное лечение гипнозом принесло некоторые результаты, но окончательное исцеление продвигалось очень медленно. Больше всего помогло Люси требование врача освободить ее от участия в вечерних торжествах; уже через несколько дней она просто расцвела. Спустя десять дней врач рискнул заговорить с ней об имбирных пряниках, но съесть хоть один пряник она категорически отказалась. Врачу пришла в голову гениальная мысль кормить ее солеными огурцами, салатами, пикантными мясными блюдами. И это спасло бедную Люси. Она снова научилась улыбаться и приправлять бесконечные медицинские беседы, которые обычно вел с ней врач, ядовитыми замечаниями.

Хотя тетка очень болезненно восприняла отсутствие Люси на вечерних собраниях, это отсутствие объяснили причиной, которая считается уважительной для всех женщин, — беременностью.

Однако случай с Люси создал то, что называют прецедентом. Люси доказала, что хотя тетка страдает, когда кто-нибудь не является, но вопить так уж сразу она не начинает. И тогда мой кузен Иоганн и его зять Карл попытались нарушить строгую дисциплину, ссылаясь на различные болезни, деловые встречи или прибегая к другим, столь же прозрачным уловкам. Но здесь дядя оказался крайне неподатлив: с железной твердостью он настоял, что только в самых исключительных случаях члены семьи могут предъявлять справки и получать краткосрочные отпуска. Дело в том, что тетка замечала отсутствие любого человека и принималась плакать, правда, тихо, но без остановки, что наводило всех на страшные мысли.

Спустя четыре недели Люси вновь присоединилась к ежедневным торжествам, но врач потребовал, чтобы перед ней ставили тарелку с солеными огурцами и острыми бутербродами, ибо «имбирная травма» оказалась неизлечимой. Итак, дяде, проявившему неожиданную для всех твердость, удалось справиться на некоторое время со своими затруднениями.

### VIII

Едва минул год с тех пор, как у наших стали постоянно справлять рождество, всех потрясли тревожные слухи: мой кузен Иоганн побывал якобы у знакомого врача и спросил того, сколько еще может прожить тетка. Этот поистине мрачный слух бросает странный свет на все семейство, мирно собирающееся ежевечерне

за рождественским столом. Мнение врача, по слухам, совершенно убило Иоганна. Внутренние органы моей тетки, всегда отличавшейся завидным здоровьем, находятся в прекрасном состоянии, отец ее прожил семьдесят восемь лет, мать — восемьдесят шесть, самой тетке сейчас шестьдесят два, следовательно, нет никаких оснований предсказывать ей скорый конец. И того меньше оснований — на мой взгляд — желать ей скорой смерти. Когда тетка летом после всего этого заболела — у бедняжки начались рвота и понос, — поползли слухи, что ее попросту отравили, но я должен со всей решительностью заявить, что это от начала до конца выдуманно злопыхательствующими родственниками. Было неопровержимо доказано, что болезнь вызвана инфекцией, которую занес в дом один из внучат. Медицинские анализы не обнаружили в тетушкиных фекалиях ни малейших признаков яда.

В то же лето у Иоганна впервые начали проявляться антиобщественные устремления: он вышел из певческого общества и письменно заявил, что не желает больше принимать участия в культивировании немецкой песни. Не могу не упомянуть, что Иоганн всегда был и оставался человеком крайне необразованным, невзирая на полученную им академическую степень. Для «Виргимнии» было большой потерей лишиться такого баса.

Мой зять Карл начал вести тайные переговоры с бюро путешествий. Страна, о которой он мечтал, была обязана отвечать следующим требованиям: там не должно быть никаких елок и ввоз таковых должен быть либо категорически запрещен, либо обложен огромными пошлинами; кроме того — это уже ради жены, — там должен быть неизвестен рецепт приготовления имбирных пряников и запрещено исполнение немецких рождественских песен. Карл изъявил готовность заняться в этой стране любым самым тяжелым физическим трудом.

Он мог уже не держать в тайне свои попытки к бегству, ибо с дядей произошла за это время внезапная и полная перемена, и совершилось это при таких неприятных обстоятельствах, что у нас были все основания перепугаться. Этот порядочный человек, о ком я могу лишь сказать, что он столь же тверд духом, сколь добродушен, был уличен в поступках, которые считались, считаются и будут считаться безнравственными, пока стоит свет. О нем стали известны такие подтвержденные свидетелями вещи, которые можно назвать лишь словом «прелюбодеяние». Ужаснее всего, что сам он не только перестал опровергать эти слухи, но даже, ввиду особых условий, в каковые он поставлен обстоятельствами, претендует на право нарушать обычные законы. И надо же так случиться, чтобы все это произошло как раз в те дни, когда был назначен второй пересмотр дела двух священнослужителей нашего прихода. Дядя Франц в качестве свидетеля и закулисного истца произвел, очевидно, такое неблагоприятное впечатление, что только этому и можно приписать победу священников при втором разбирательстве. Но дяде Францу было теперь все равно, его падение свершилось.

Он же был первым, кому пришла в голову чудовищная мысль посылать вместо себя на ежевечерние торжества какого-нибудь актера. Он отыскал безработного бонвивана, который две недели подряд так хорошо изображал дядю, что даже собственная жена не заметила подмены. Дети тоже ничего не заметили. И только один из внучат вдруг закричал в промежутке между двумя песнями: «А на дедушке дешевые носки!» — и с торжеством задрал штанину бонвивана. Сцена вышла крайне неприятная для злополучного актера, семейство тоже было потрясено, и, чтобы избежать дальнейших осложнений, все — как это уже не раз бывало в подобных обстоятельствах — дружно затаили новую песню. Когда тетка легла спать, личность актера была тотчас же установлена. И это послужило сигналом к полной катастрофе.

## IX

Не надо забывать: полтора года — это очень долгий срок, и снова был разгар лета, то есть тот период, когда участие в семейных торжествах особенно тяжело для моих родственников. Безрадостно жуют они коржики, грызут пряничные орешки, улыбаются застывшими улыбками, щелкая высохший миндаль, слушают неутомимый стук молотков и вздрагивают, когда румяный ангел над их головами начинает шептать: «Мир, мир»; но они терпят, хотя с них, несмотря на летние платья, градом льет пот, а рубашки прилипают к спине. Точнее сказать, они притерпелись.

Денежный вопрос пока еще не играет никакой роли — скорее наоборот. Прошел слухок, что дядя Франц позволяет себе и в делах прибегать к таким методам, которые вряд ли совместимы с понятием «купец и христианин». Он твердо решил не допускать уменьшения состояния, и эта решимость наполняет нас одновременно радостью и страхом.

После разоблачения бонвивана произошел форменный бунт, результатом которого явилось следующее соглашение: дядя Франц выразил готовность нанять за свой счет небольшой ансамбль для подмены его самого, Иоганна, моего зятя Карла и Люси, причем решено, что кто-нибудь из четверых обязательно должен присутствовать на семейных торжествах собственной персоной, чтобы держать детей в страхе. Прелат, по счастью, до сих пор еще не открыл обмана, который вряд ли можно назвать словом «благочестивый». За исключением тетки и детей, он единственное подлинное лицо в этой игре.

Разработан точный план, известный всей родне под названием плана спектакля, а благодаря тому, что один из членов семьи должен каждый вечер присутствовать лично, актерам обеспечен, так сказать, выходной день. Кроме того, замечено, что актеры весьма охотно посещают торжества и не прочь подработать, на основании чего актерам снизили жалованье: в безработных актерах, по счастью, нет недостатка. Карл рассказывал мне, что есть

надежда снизить жалование еще больше, поскольку актеры получают даровой ужин, а искусство, как известно, становится дешевле, когда оно продается за кусок хлеба.

## Х

О роковых переменах в характере Люси я уже рассказывал: теперь она почти все время проводит в ночных кабаре, а в те дни, когда ей приходится дежурить за праздничным столом, она становится как одержимая. Она расхаживает в вельветовых брючках, пестром пуловере, сандалиях, она обрезала роскошные волосы и носит примитивную челку, совсем недавно я узнал, что эта прическа называется «пони» и уже неоднократно входила в моду под этим названием. Пусть я не вправе пока обвинить Люси в открытой распущенности, пусть это пока скорее некоторая экзальтированность, которую сама Люси называет экзистенциализмом, но все же я не могу радоваться тому, что с ней произошло, лично я предпочитаю нежных женщин, которые вполне благопристойно кружатся под звуки вальса, умеют читать благозвучные стихи и пища которых не состоит из одних только соленых огурцов и переперченного гуляша. Планы бегства, вынашиваемые Карлом, будут, кажется, скоро осуществлены: он открыл какую-то страну поблизости от экватора, которая, судя по всему, отвечает его требованиям. Люси пребывает в полном восторге: жители этой страны носят костюмы, мало чем отличающиеся от ее костюмов, там любят острые приправы и танцуют в таком ритме, без которого Люси якобы уже не может существовать. Неприятно, конечно, что они не желают последовать правилу «Живи на земле и храни истину», но, с другой стороны, я понимаю, почему они хотят бежать.

А вот с Иоганном дело обстоит сложнее. Страшные слухи оказались справедливыми. Он стал коммунистом. Он окончательно порвал с семьей, ничем больше не интересуется, и на вечерах его постоянно заменяет дублер. В глазах у него появился фанатический блеск, он страстно, как дервиш, выступает на партийных собраниях, забросил адвокатскую практику и пишет гневные статьи в партийных газетах. Как ни странно, он теперь гораздо чаще встречается с Францем, и оба тщетно пытаются обратить друг друга в свою веру. При всем духовном отчуждении они заметно сблизились лично.

Самого Франца я давно не видел, только слышал о нем. Он, говорят, совершенно упал духом, посещает какие-то сумрачные церкви, и я думаю, что такое благочестие можно смело назвать чрезмерным. С тех пор как над семьей разразилось несчастье, он забросил свою профессию, а недавно я видел на стене разрушенного дома выгоревший плакат: «Последняя встреча нашего ветерана Ленца с Лекоком. Ленц вешает на гвоздь боксерские перчатки». Плакат был вывешен в марте, а сейчас уже конец августа. Франц очень опустиллся, мне кажется, он находится в таком состо-



янии, какого до сих пор не знал никто из членов нашей семьи: у него нет денег. К счастью, он остался холостяком и социальные последствия его безответственного благочестия касаются только его самого. С неожиданным для него упорством он пытался перепоручить детей Люси Обществу защиты малолетних, ибо считал, что участие в ежевечерних торжествах их окончательно погубит. Но все его усилия остались тщетны: дети состоятельных родителей, слава богу, покуда избавлены от всяких благотворительных учреждений.

Меньше других отошел от семьи, несмотря на ряд ужасных проступков, дядя Франц. Дело в том, что, невзирая на преклонный возраст, он завел себе любовницу, да и деловая практика его приобрела такой характер, что мы можем ею только восхищаться, но никак не одобрять. Недавно он раздобыл где-то безработного надсмотрщика и поручил ему присутствовать на вечерних торжествах и следить за тем, чтобы все шло гладко. И все действительно идет очень гладко.

## XI

Между тем прошло почти два года — долгий срок. Я не мог отказать себе в удовольствии пройти во время вечерней прогулки мимо дядиного дома, где нельзя уже искать естественного гостеприимства, с тех пор как там собираются каждый вечер посторонние актеры, а сами члены семьи предаются сомнительным удовольствиям на стороне. Был прохладный летний вечер, когда я вышел пройтись. Завернув за угол, в каштановую аллею, я услышал песню «Сверкает лес под рождество».

Проехавший мимо грузовик заглушил последние слова, я тихо подкрался к дому и заглянул в окно между неплотно задвинутыми занавесками. Сходство актеров с родственниками было настолько разительным, что я не сразу мог разобраться, кто из них лично осуществляет руководство на этом вечере — это у них так называлось. Гномов я не видел, но зато слышал. Их стук передается на такой волне, которая проникает сквозь все стены. Шепот ангела до меня не доходил. Тетка, казалось, была счастлива от души: она болтала с прелатом, и лишь позднее я узнал зятя Карла — единственное, если можно так выразиться, реальное лицо. Узнал я его по тому, как он выпячивал губы, задувая спичку. Что ни говори, а неповторимые черты индивидуума все-таки существуют. При этом я подумал, что актеров угощают сигарами, сигаретами и вином, к тому же каждый вечер им подают спаржу. Если у них нет совести — а когда и у кого из актеров была совесть? — это означает лишний и очень значительный расход для дяди. Дети играют в углу — у них куклы и деревянный грузовик, они все бледненькие и очень усталые. Пожалуй, о них действительно следует подумать. Меня осенила мысль, что детей можно бы заметить восковыми куклами, какие я видел в витринах аптек, где их используют как рекламу молочного порошка или питательного

крема. На мой взгляд, эти куклы выглядят вполне естественно.

Когда-нибудь я непременно обращаю внимание всей родни на то, как это необычное и ежедневное напряжение может искалечить детские души. Хотя некоторая доля дисциплины им не повредит, здесь, по-моему, дисциплины больше чем надо.

Я покинул свой наблюдательный пост, когда в доме затянули «Тихую ночь». Я просто не выношу эту песню. Было довольно прохладно, и мне на мгновение показалось, будто я присутствую на сборище призраков. Вдруг мучительно захотелось соленых огурцов, и я впервые, хоть и отдаленно, представил себе, как, должно быть, страдала Люси.

## XII

Со временем мне удалось добиться подмены детей восковыми куклами. Запросили очень дорого, и дядя Франц долго сопротивлялся, — но нам никто не простил бы, если бы мы и впредь продолжали ежедневно пичкать детей марципанами и заставлять их петь такие песни, которые надолго нарушат их психику. Приобретение кукол оказалось полезным: Люси и Карл действительно смогли уехать, а Иоганн забрал своих детей из отцовского дома. Окруженный со всех сторон всякими заморскими грузами, я прощался с Карлом, Люси и детьми. Все выглядели страшно счастливыми, хотя и несколько взволнованными. Иоганн тоже уехал из нашего города. Он реорганизует отделение своей партии где-то в другом месте.

А дядя Франц устал от жизни. На днях он горько жаловался мне, что прислуга вечно забывает смахивать пыль с кукол. И вообще у него большие затруднения с посыльными, а актеры понемногу отбиваются от рук. Они пьют куда больше, чем полагается, а некоторых даже поймали на том, что они таскают сигары и сигареты. Я посоветовал дяде ставить на стол вместо вина подкрашенную воду и подавать бутафорские сигары.

По-прежнему благонадежны моя тетка и прелат. Они весело болтают друг с другом про доброе старое время, хихикают, судя по всему, очень довольны собой и прерывают разговор лишь тогда, когда надо затянуть очередную песню.

Короче — праздник продолжается.

А с моим кузеном Францем произошло что-то странное. Он поступил послушником в соседний монастырь. Когда я впервые увидел Франца в рясе, я просто испугался: высокая фигура, нос расплюсчен, толстые губы и мрачный взгляд. Он напоминал скорее арестанта, нежели монаха, и, казалось, угадал мои мысли.

— Мы приговорены к жизни, — тихо сказал он.

Я последовал за ним в приемную комнату. Наша беседа прерывалась долгими паузами, и он облегченно вздохнул, едва колокол позвал его на молитву. Я задумчиво глядел ему вслед, когда он ушел: он очень спешил, и эта поспешность показалась мне искренней.

# СТОЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК

## *Понедельник*

К сожалению, я приехал так поздно, что уже нельзя было ни погулять, ни зайти к кому-нибудь; в гостиницу я прибыл в 23.30, и к тому же устал. Мне не оставалось ничего иного, как поглядеть на город из окна отеля; жизнь здесь так и бьет ключом, клокочет и бурлит, буквально через край переливается; в этом городе много нерастраченной энергии, которая когда-нибудь еще проявится. Да, наша столица пока не стала тем, чем она могла бы стать.

Я закурил сигару — как увлекательно, какой заряд бодрости! Некоторое время я колебался, не позвонить ли мне Инн, но в конце концов со вздохом отказался от этой мысли и вновь углубился в изучение моих важных бумаг. В постель я лег около полуночи, здесь я всегда ложусь спать неохотно. Столичная жизнь не благоприятствует сну.

## *Тогда же. Ночью*

Мне приснился диковинный, на редкость диковинный сон: будто я иду по лесу монументов, монументы расположены ровными рядами; на небольших полянах разбиты изящные скверики, посреди которых опять-таки высятся монументы, сплошь одинаковые, их сотни, даже тысячи — на постаменте мужчина, стоящий по стойке «вольно», видимо офицер, если судить по мягким складкам на сапогах, хотя грудь, лицо и пьедестал повсюду еще завешены покрывалом; но вот внезапно со всех монументов разом спадают покровы, и я вижу — собственно говоря, без особого удивления, — что на всех постаментах стою... я. Я двигаюсь, улыбаюсь и читаю свое имя — ведь покровы с постаментов тоже спали, — читаю свое имя, запечатленное много тысяч раз: *Эрих фон Махорка-Муфф*. Я смеюсь, и смех возвращается ко мне, тысячекратно повторенный мною самим.

## *Вторник*

Снова я заснул, переполненный ощущением невиданного счастья; проснулся свежий и с улыбкой посмотрел в зеркало — такие сны видишь только в столице. Я еще брился, когда в первый раз позвонила Инн. (Так я называю свою старую приятельницу Иннигу фон Цастер-Пенунц, Цастеры не из старой аристократии, хотя род у них солидный. Но, несмотря на то что Эрнст фон Цастер, отец Инниги, был возведен в дворянское достоинство всего лишь за два дня до отречения кайзера, я не колеблясь считаю Инн себе ровней.)

Инн была, как всегда, нежна и, посплетничав немножко, дала мне понять в своей обычной манере, что проект, ради которого я прибыл в столицу, успешно продвигается.

— Наши дела идут как по маслу, — сказала она тихо и прибавила, чуточку помолчав: — Еще сегодня мы окрестим младенца. — Опасаясь, как бы я от нетерпения не начал задавать вопросы, она быстро повесила трубку.

В раздумье я отправился завтракать: имела ли она в виду закладку фундамента? Порой я, прямодушный старый вояка, не понимаю Инн, ведь она все зашифровывает.

В ресторане, как обычно, я обнаружил много энергичных лиц, преимущественно чистой расы; по привычке я коротал время, соображая, кого на какой должности можно использовать; не успел я очистить яйцо, как уже наилучшим образом укомплектовал два штаба полка и один штаб дивизии, причем у меня еще остались люди для генерального штаба; конечно, это всего лишь игра, но знатоку человеческих душ вроде меня она все же приносит уладу. При воспоминании о недавнем сне мое хорошее настроение еще улучшилось. Удивительно — гулять по лесу, сплошь состоящему из монументов, в каждом из которых узнаешь себя! Удивительно! Психологи, увы, не постигли еще все глубины человеческого «я»!

Кофе я приказал подать в холл; закулив сигару, я не без улыбки стал следить за часовой стрелкой — было девять часов пятьдесят шесть минут: будет ли Хеффлинг точен? Вот уже шесть лет, как мы не виделись, правда, время от времени подавали друг другу весточку (обычный обмен открытками, как водится между командиром и одним из нижних чинов).

Я поймал себя на том, что меня очень волнует, будет ли Хеффлинг пунктуален; по натуре я склонен усматривать во всем симптомы: пунктуальность Хеффлинга служит в моих глазах *мерилом* пунктуальности рядового состава в целом. Растроганный, я вспомнил одно из изречений моего старого командира дивизии Велька фон Шномма, который, бывало, говорил: «Махо, вы идеалист и всегда таковым останетесь». (Не забыть внести плату, чтобы возобновить уход за могилой Шномма!)

Правда ли, что я идеалист? Я погрузился в размышления; к действительности меня вернул голос Хеффлинга, прежде всего я посмотрел на часы — было две минуты одиннадцатого (такой минимальный запас самостоятельности я всегда предоставлял Хеффлингу), потом взглянул на него: до чего же парень раздобыл — вокруг шеи жировые складки, волосы поредели, зато в глазах у Хеффлинга я по-прежнему видел эротический блеск, а его слова: «Явился по вашему приказанию, господин полковник!» — прозвучали совсем как в старые времена.

— Хеффлинг! — воскликнул я, хлопая его по плечу, и заказал для него двойную порцию водки. Взяв рюмку с подноса кельнера, он приосанился, но я дернул его за рукав, повел в укромный уголок, где мы и углубились в воспоминания.

— Помните, тогда под Швихи-Швалохе, помните девятую?..

Приятно убеждаться в том, что здоровый характер нашего народа почти не пострадал от всяких этих новомодных штучек,

в народе мы все еще встречаем грубоватое простодушие, мужской юмор и неизменный вкус к соленой шутке.

В то время как Хеффлинг полушепотом рассказывал мне очередной вариант одного старого анекдота, я увидел, как Муркс-Малохе вошел в зал и, согласно нашей договоренности, не подходя ко мне, исчез в задних комнатах ресторана. Взглянув на часы, я дал Хеффлингу понять, что спешу, и он со свойственным простому народу здоровым тактом сразу сообразил, что ему пора идти.

— Заходите к нам как-нибудь, господин полковник, моя супружница будет очень рада.— Громко смеясь, мы отправились вместе с ним к комнатке портье, и я обещал Хеффлингу навестить его. Быть может, у меня завяжется интрижка с его женой, время от времени во мне просыпается аппетит к грубой эротике низших классов, и кто знает, какую стрелу припас для меня амур в своем колчане?

Я сел рядом с Мурксом, заказал коньяк и, когда кельнер ушел, произнес со свойственной мне прямоотой:

— А ну, выкладывай, дело действительно выгорело?

— Да, мы все обстряпали.— Муркс положил свою руку на мою и прошептал: — Я так рад, так рад, Махо.

— Я тоже рад,— сказал я растроганно,— рад, что один из моих юношеских снов воплотился в жизнь. И произошло это в демократическом государстве.

— Демократия куда лучше, чем диктатура, если только парламентское большинство на нашей стороне.

Я почувствовал потребность встать, на душе у меня было празднично, исторические минуты всегда вдохновляли меня.

— Муркс,— сказал я со слезами умиления в голосе,— значит, это действительно правда?

— Правда, Махо,— ответил он.

— Она создана?

— Да, создана... сегодня ты произнесешь речь по случаю ее торжественного открытия. Первый курс уже набран. Слушатели размещены по гостиницам, но это временно, пока проект не будет доведен до сведения публики.

— А публика проглотит это?

— Проглотит. Она все глотает,— сказал Муркс.

— Встань, Муркс,— произнес я,— давай выпьем за боевой дух, который воцарится в этом учреждении, за дух военных воспоминаний.

Мы чокнулись и выпили.

Я был так потрясен в то утро, что оказался не способным предпринять еще что-либо серьезное; не в силах успокоиться, я пошел к себе в номер, оттуда в холл, а потом, когда Муркс уехал в министерство, отправился бродить по городу, обворожившему меня. Я был в штатском, но, несмотря на это, мне вдруг показалось, будто на боку у меня палаш и будто я все время тащу его за

собой,— есть чувства, для которых во что бы то ни стало требуется мундир. И пока я шатался по городу, предвкушая свидание с Инн, окрыленный сознанием того, что мой план воплотился в жизнь, мне снова вспомнились слова Шномма. «Махо, Махо,— часто говаривал он,— ты всегда витаешь в облаках». Он говорил это и тогда, когда в моем полку насчитывалось всего тринадцать солдат и четырех из них я приказал расстрелять как бунтовщиков.

В честь торжественного дня я позволил себе выпить около вокзала аперитив, перелистал газеты, бегло просмотрел несколько передовиц, посвященных обороне, и попробовал представить себе, что сказал бы он, если бы был жив и прочел эти статьи. «Вот так христианские демократы,— заметил бы он,— вот так христианские демократы, кто бы мог от них такого ожидать!»

Наконец настало время идти в отель, чтобы переодеться перед встречей с Инн; услышав сигнал ее автомобиля — бетховенскую мелодию,— я выглянул в окно, она помахала мне рукой из своей лимонно-желтой машины, у нее были лимонно-желтые волосы, лимонно-желтое платье и черные перчатки. Послав ей воздушный поцелуй, я со вздохом подошел к зеркалу, завязал галстук и спустился по лестнице; Инн была бы подходящей женой для меня, но она разводилась уже семь раз, и не мудрено, что относится скептически ко всякому брачному эксперименту; кроме того, между нами лежит идеологическая пропасть: Инн происходит из чисто протестантской семьи, а я — из чисто католической; и все же мы символически связаны между собой числами: она семь раз разводилась, я был семь раз ранен. Инн!! Я еще не совсем привык к тому, что меня целуют посреди улицы...

Инн разбудила меня приблизительно в шестнадцать часов семнадцать минут: крепкий чай и имбирное печенье были уже на столе, мы быстро проглядели еще раз материалы о незабвенном маршале Хюрлангере-Хиссе, памяти которого решено было посвятить наше детище.

Зазвучал марш, я услышал его, когда, положив руку на плечо Инн и еще не остыв от недавних любовных утех, изучал документы, касающиеся Хюрлангера. Мне взгрустнулось: ведь и эту музыку, и все, что случилось со мной сегодня, было несказанно тяжело переживать в штатском.

Звуки марша и близость Инн отвлекали меня от штудирования документов, но Инн уже достаточно рассказала о Хюрлангере, так что я был вполне вооружен для своей речи. Когда Инн наливала мне вторую чашку чаю, раздался звонок, я испугался, однако Инн успокаивающе улыбнулась.

— Почетный гость,— сказала она, возвращаясь из передней.— Такого гостя мы не можем принять здесь.— С усмешкой она показала на развороченную постель, где все еще царил очаровательный любовный беспорядок.— Пошли,— сказала она. Я встал и в некотором смущении последовал за ней; увидев у нее в гостиной военного министра, я был глубоко удивлен. Простодушное, открытое лицо министра сияло.

— Генерал фон Махорка-Муфф,— сказал он восторженно,— добро пожаловать в столицу!

Я не верил собственным ушам. Усмехаясь, министр вручил мне приказ о моем производстве в генералы.

Когда я вспоминаю об этом дне, мне кажется, что в тот момент я пошатнулся и с трудом сдержал слезы, однако же сказать точно, что происходило в глубине моего существа, не могу, помню только, что у меня вырвалось:

— Но, господин министр... как же с мундиром... ведь до начала церемонии всего полчаса...

С ухмылкой министр взглянул на Инн — о, как благороден этот человек! — Инн улыбнулась ему в ответ, отодвинула цветастую занавеску, отделявшую уголок комнаты, и я увидел его, увидел мой мундир со всеми орденами...

События и переживания следовали друг за другом с такой быстротой, что, оглядываясь назад, я могу лишь вкратце зафиксировать их ход.

Пока я переодевался в комнате Инн, министр подкрепился глотком пива.

Затем поездка на земельный участок, которого я никогда еще не видел; меня необычайно тронул вид местности, где должен воплотиться в жизнь мой любимейший проект — *Академия по сбору военных воспоминаний*; каждый бывший военный служащий от майора и выше получит возможность создавать там мемуары, беседуя с товарищами, работая совместно с военно-историческим отделом министерства. Я полагал, что можно ограничиться шестинедельным курсом, но парламент готов предоставить средства для трехмесячного. Кроме того, я собирался поселить в специальном флигеле нескольких здоровых девушек из народа, дабы они услаждали старых, беспощадно терзаемых воспоминаниями вояк в свободные вечерние часы. Очень много усилий понадобилось мне для того, чтобы найти нужные изречения. Так, на главном корпусе золотыми буквами будет начертано: *Memoria dextera est*<sup>1</sup>; для флигеля с девушками, где должны помещаться также ваннные комнаты, я подобрал совсем другую надпись: *Balneum et amor Martis decor*<sup>2</sup>. Но по пути министр дал мне все же понять, что об этой части проекта пока не стоит распространяться: он опасался — может быть, не без оснований — возражений со стороны своих коллег по христианской фракции, хотя и сообщил с ухмылкой, что на недостаток либерализма у них пожаловаться нельзя.

Окрестности были украшены флагами; когда я вместе с министром подходил к трибуне, оркестр заиграл «*Был у меня товарищ*». Министр из присущей ему скромности не захотел взять предоставленное слово, и тогда я сразу же поднялся на трибуну, оглядел ряды соратников, выстроившихся передо мной, и, заметив, что Инн подмигнула мне в знак одобрения, начал:

<sup>1</sup> Память не ошибается (лат.).

<sup>2</sup> Баня и любовь — награда воину (лат.).

— Господин министр, друзья! Цель этого учреждения, которое будет называться *Академией по сбору военных воспоминаний имени Хюрлангера-Хисса*, не нуждается в оправданиях, зато в оправдании нуждается сам Хюрлангер-Хисс, имя которого долго — я бы сказал, вплоть до сегодняшнего дня — считалось опозоренным. Вы все знаете, какое пятно лежит на нем: когда армия маршала Эмиля фон Хюрлангера-Хисса была вынуждена отступить под Швихи-Швалохе, Хюрлангер-Хисс сумел доказать, что он потерял всего лишь 8500 человек. А между тем, согласно подсчетам сведущих специалистов Тапира по вопросам отступления — Тапиром мы, как вы знаете, называли в своем кругу Гитлера, — армия Хюрлангера, прояви она надлежащий боевой дух, должна была понести потери в количестве 12 300 человек. Господин министр, друзья! Все вы знаете также, какому позорному наказанию подвергся Хюрлангер-Хисс: его перевели в Биарриц, где он умер, отравившись омарами. Долгие годы, целых четырнадцать лет, позорное пятно лежало на его имени. Весь материал об армии Хюрлангера попал в руки подручных Тапира, а позднее в руки союзников, но сегодня, сегодня, — я повысил голос, а потом сделал паузу, чтобы следующие слова прозвучали с надлежащей выразительностью, — сегодня можно считать доказанным — и с этой целью я готов предать гласности все материалы, — можно наконец-то считать доказанным, что армия нашего досточтимого маршала понесла под Швихи-Швалохе потери в количестве 14 700 человек, повторяю, в количестве 14 700 человек; таким образом, можно считать установленным, что армия Хюрлангера сражалась с беспримерным мужеством, и теперь имя маршала вновь сияет во всей своей красе.

Мои слова были встречены оглушительными аплодисментами, но я, как человек скромный, знаком дал понять, чтобы чествовали не меня, а министра, и в то же время, оглядывая лица товарищей, понял, что все присутствующие ошеломлены сообщением о Хюрлангере — вот до чего искусно проводила Инн свои изыскания!

Под звуки песни *«На востоке встает заря для нас»* я взял из рук каменщика мастерок и кирпич и заложил первый камень, в который были вделаны фотография Хюрлангера-Хисса и один из его двух погон.

Затем колонна во главе со мной промаршировала к вилле *«У золотого Цастера»*; семья Инн предоставила ее в наше распоряжение до того времени, пока не будет выстроено здание Академии. Здесь нас ждала краткая, но крепкая выпивка, министр произнес благодарственную речь, и нам зачитали телеграмму канцлера, после чего началась художественная часть.

Открыли художественную часть семь бывших генералов, игравших на семи барабанах; произведению, которое они исполнили, было с разрешения композитора — капитана с артистическими наклонностями — присвоено название: Септет памяти Хюрлангера-Хисса. Художественная часть прошла очень успешно: мы пели



песни, рассказывали анекдоты, многие обнимались, все старые распри были забыты.

### *Среда*

У нас оставался еще час времени, чтобы подготовиться к торжественному богослужению, примерно в семь часов тридцать минут мы строем отправились к собору. В церкви Инн стояла рядом со мной; я развеселился, когда она шепнула мне, что один из присутствующих полковников ее второй муж, один из подполковников — пятый, а один из капитанов — шестой.

— Зато твой восьмой будет генералом,— шепнул я ей.

Да, я уже принял решение! Инн покраснела, но после богослужения не колеблясь пошла вместе со мной в ризницу, где я представил ее прелату, который служил мессу.

— В самом деле, дорогая,— сказал прелат, после того как мы обсудили церковно-правовую сторону вопроса,— поскольку ни один из ваших предыдущих браков не был освящен церковью, я не вижу никаких препятствий оформить ваш брак с господином генералом фон Махорка-Муфф церковным порядком.

После столь счастливых предзнаменований наш завтрак вдвоем с Инн прошел очень весело. Инн была в особенно приподнятом настроении, такой я ее никогда не видел.

— Это бывает со мной всякий раз,— сказала она,— когда я становлюсь невестой.

Я заказал шампанское.

Чтобы хоть как-то отпраздновать нашу помолвку, которую мы пока решили держать в секрете, мы с Инн поднялись на Петербург, где нас пригласила к обеду кузина Инн — урожденная Цехине. Кузина была очаровательна.

Послеобеденное время и вечер были посвящены любви, ночь — сну.

### *Четверг*

Я все еще не могу привыкнуть к мысли, что живу и работаю здесь — это слишком невероятно; утром читал первую лекцию: «Воспоминания как историческая миссия».

Днем — неприятности. По поручению министра ко мне на виллу «У золотого Цастера» приехал Муркс-Малохе и сообщил, что оппозиция неодобрительно высказалась о нашем проекте создания Академии.

— Оппозиция? — спросил я. — Это еще что такое?

Муркс объяснил. У меня было такое чувство, словно я упал с неба на землю.

— В чем дело? — спросил я нетерпеливо. — Есть у нас большинство в парламенте или его у нас нет?

— Оно у нас есть,— сказал Муркс.

— Так о чем же речь? — спросил я. — Оппозиция — стран-

ное слово, оно мне совершенно не нравится, это слово роковым образом напоминает о тех временах, которые, как я полагал, уже канули в Лету.

Когда за чаем я сообщил Инн о неприятностях, она принялась утешать меня.

— Эрих,— сказала она и положила свою маленькую ручку на мою,— никто никогда не был в силах противостоять нашей семье.

# БИЛЬЯРД В ПОЛОВИНЕ ДЕСЯТОГО

РОМАН



# BILLIARD UM HALBZEHN

Roman

1959

*Перевод Л. Черной*

В то утро Фемель впервые был с ней невежлив, можно сказать, груб. Он позвонил около половины двенадцатого, и уже самый голос его предвещал беду; к таким интонациям она не привыкла, и именно потому, что слова были, как всегда, корректны, ее испугал тон: вся вежливость Фемеля свелась к голой формуле, словно он предлагал ей  $H_2O$  вместо воды.

— Пожалуйста,— сказал он,— достаньте из письменного стола красную карточку, которую я дал вам четыре года назад.

Правой рукой она выдвинула ящик своего письменного стола, отложила в сторону плитку шоколада, шерстяную тряпку, жидкость для чистки меди и вытащила красную карточку.

— Пожалуйста, прочтите вслух, что там написано.

Дрожащим голосом она прочла:

— «Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю».

— Пожалуйста, повторите последние слова.

Она повторила:

— «...но больше я никого не принимаю».

— Откуда вы, кстати, узнали, что телефон, который я вам дал,— это телефон отеля «Принц Генрих»?

Она молчала.

— Разрешите напомнить вам, что вы обязаны выполнять мои указания, даже если они даны четыре года назад... пожалуйста.

Она молчала.

— Просто безобразие...

Неужели на этот раз он не сказал «пожалуйста»? Она услышала невнятное бормотание, потом чей-то голос прокричал «такси, такси», раздались гудки; повесив трубку и подвинув красную карточку на середину стола, она почувствовала облегчение: эта его грубость, первая за четыре года, показалась ей чуть ли не лаской.

Когда она бывала не в своей тарелке или же когда ей надоедала ее до мелочей упорядоченная работа, она выходила на улицу почистить медную дощечку на двери: «Д-р Роберт Фемель, контора по статическим расчетам. После обеда закрыто».

Паровозный дым, копоть от выхлопных газов и уличная пыль каждый день давали ей повод достать из ящика шерстяную тряпку и жидкость для чистки меди; ей нравилось коротать время за этим занятием, растягивая удовольствие на четверть, а то и на полчаса. Напротив, в доме 8 по Модестгассе, за пыльными стеклами окон были видны типографские машины, которые неумоимо печатали что-то назидательное на белых листах бумаги; она ощущала вибрацию машин, и ей казалось, будто ее перенесли на плывущий или отчаливающий корабль. Грузовики, подмастерья, монахини... на улице кипела жизнь; перед овощной лавкой громоздились ящики с апельсинами, помидорами, капустой. А в соседнем доме, перед мясной Греца, два подмастерья вывешивали тушу кабана — темная кабанья кровь капала на асфальт. Она любила уличный шум и уличную грязь. При виде улицы в ней поднималось чувство протеста, и она подумывала, не заявить ли Фемелю об уходе, не поступить ли в какую-нибудь паршивую лавчонку на заднем дворе, где продают электрокабель, пряности или лук; где хозяин в засаленных брюках с болтающимися подтяжками, расстроенный своими просроченными векселями, того и гляди станет к тебе приставать, но его по крайней мере можно будет осадить; где надо бороться, чтобы тебе позволили просидеть часок в приемной у зубного врача; где по случаю помолвки сослуживцы собирают деньги на коврик с благочестивым изречением или на душещипательный роман; где непристойные шуточки товаров напоминают тебе, что сама ты осталась чиста. То была жизнь, а не безукоризненный порядок, раз навсегда заведенный безукоризненно одетым и безукоризненно вежливым хозяином, вселявшим в нее ужас; за его вежливостью чувствовалось презрение, презрение, выпадавшее на долю всех тех, с кем он имел дело. Впрочем, с кем, кроме нее, он имел дело? На ее памяти он не говорил ни с одним человеком, не считая отца, сына и дочери. Матери его она никогда не видела: госпожа Фемель находилась в клинике для душевнобольных, а этот господин Шрелла, чье имя тоже значилось на красной карточке, ни разу не вызывал его. У Фемеля не было приемных часов, и, когда клиенты звонили по телефону, она предлагала им обратиться к хозяину письменно.

Поймав ее на какой-нибудь ошибке, он ограничивался пренебрежительным жестом и словами:

— Хорошо, тогда переделайте это, пожалуйста.

Но такие случаи бывали редко, она сама находила те немногочисленные ошибки, которые допускала. И, уж конечно, Фемель никогда не забывал сказать «пожалуйста». Стоило ей попросить, и он отпускал ее на несколько часов, а то и на несколько дней; когда умерла ее мать, он сказал:

— Значит, закроем контору дня на четыре... или на неделю.

Но ей не нужна была неделя, четырех дней и то было много, ей хватило бы и трех, даже три дня в опустевшей квартире показались ей чересчур долгим сроком. На заупокойную мессу и на похороны он явился, разумеется, во всем черном. Пришли его отец, сын и дочь, все с огромными венками, которые они собственноручно возложили на могилу; Фемели прослушали литургию, и старик отец, самый из них симпатичный, прошептал ей:

— Семья Фемель знакома со смертью, мы с ней накоротке, дитя мое.

Он беспрекословно исполнял ее просьбы и давал ей всякие поблажки, так что ей становилось все труднее обращаться к нему за каким-нибудь одолжением; ее рабочий день все больше сокращался, и если в первый год она еще отсиживала с восьми до четырех, то вот уже два года, как работа настолько упорядочилась, что ее с успехом можно было выполнить с восьми до часу, да еще оставалось время поскучать и повозиться полчаса с дверной досочкой. Теперь на медной досочке не было ни пятнышка. Она со вздохом закупорила бутылку с жидкостью для чистки, спрятала тряпку; типографские машины по-прежнему стучали, печатая что-то неумолимо назидательное на белых листах бумаги; с кабаньей туши по-прежнему капала кровь. Подмастерья, грузовые машины, монахини... на улице кипела жизнь.

Письменный стол и красная карточка, исписанная его безукоризненным архитекторским почерком: «...но больше я никого не принимаю». И этот номер телефона, в часы скуки она с большим трудом установила, чей он, краснея за свое любопытство. Отель «Принц Генрих». Это название дало ее любопытству новую пищу: что он делает по утрам с половины десятого до одиннадцати в отеле «Принц Генрих»? Его ледяной голос в трубке: «Просто безобразие...» Неужели он так и не сказал «пожалуйста»? Внезапная перемена в тоне Фемеля вселила в нее надежду, примирила с работой, которую мог бы выполнять и автомат.

В ее обязанности входило составлять письма по двум образцам, не претерпевшим за четыре года ни малейших изменений. Копии этих образцов она нашла уже в папках своей предшественницы; одно письмо предназначалось для клиентов, присылавших им заказы: «Благодарим Вас за оказанное доверие, постараемся оправдать его быстрым и точным исполнением Вашего заказа. С совершенным почтением...»; второе письмо, «сопроводительное, отсылалось заказчикам вместе со статическими расчетами: «При сем прилагаем необходимые данные к проекту X. Гонорар в размере Y просим перевести на наш текущий счет. С совершенным почтением...». Ей оставалось только выбрать нужный вариант: так, вместо «X» она писала «вилла для издателя на опушке леса», или «жилой дом для учителя на берегу реки», или же «виадук на Холлебен-

штрассе». А вместо «Y» — сумму вознаграждения, которую она сама должна была высчитать, пользуясь нехитрым ключом.

Кроме того, она вела переписку с тремя сотрудниками конторы — Кандерсом, Шритом и Хохбретом. Она распределяла между ними полученные заказы в порядке их поступления, чтобы, как говорил Фемель, «справедливость соблюдалась совершенно автоматически и все имели равные шансы на заработок». Когда готовые материалы поступали в контору, она посылала вычисления Кандерса на проверку Шриту, вычисления Хохбрета — Кандерсу, вычисления Шрита — Хохбрету. Ей приходилось вести картотеку, записывать накладные расходы, снимать с чертежей копии, изготавливать для личного архива Фемеля по одной копии каждого проекта размером в две почтовые открытки; но большую часть времени отнимала у нее наклейка почтовых марок: раз за разом проводила она оборотной стороной зеленого, красного или синего Хейса<sup>1</sup> по маленькой губке, а потом аккуратно наклеивала марку на правый верхний угол желтого конверта; когда же Хейс оказывался, скажем, коричневым, лиловым или желтым, она воспринимала это как приятное разнообразие в своей работе.

Фемель взял себе за правило приходить в контору не больше чем на час в день: он ставил свою подпись после слов «С совершенным почтением» и подписывал денежные переводы. Когда заказов поступало столько, что с ними нельзя было управиться за час, он их не принимал. Для таких случаев существовал бланк, отпечатанный на ротаторе: «Мы весьма польщены Вашим заказом, однако из-за перегрузки вынуждены от него отказаться. Подпись: Ф.».

Просиживая напротив патрона каждое утро с половины девятого до половины десятого, она ни разу не видела его за отпращиванием каких-нибудь естественных человеческих потребностей — не видела, чтобы он ел или пил, у него никогда не было насморка; краснея, она думала о еще более интимных вещах. Правда, он курил, но и это не восполняло пробела: слишком уж безупречно белой была его сигарета; утешали ее только пепел и окурки в пепельнице; этот мусор говорил хотя бы о том, что здесь присутствовал человек, а не машина. Ей приходилось работать и у более могущественных хозяев, у людей, письменные столы которых походили на капитанские мостики, у людей, чьи физиономии внушали страх, но даже эти властелины, случалось, выпивали чашку чая или кофе и съедали бутерброд, а вид жующих и пьющих владык всегда приводил ее в волнение — хлеб крошился, на тарелке оставались колбасная кожица и обрезки сала от ветчины, владыкам приходилось мыть руки, доставать из кармана носовой платок. И тогда на гранитном челе полководца разглаживались грозные складки, а человек, чье изображение со временем будет отлито в бронзе и водружено на постамент, дабы возвестить грядущим поколениям его величие, вытирал губы.

<sup>1</sup> Хейс, Теодор (1884—1963) — первый президент ФРГ (1949—1959).



Но когда Фемель в восемь тридцать утра выходил из жилой половины дома, никак нельзя было заметить, что он завтракал. Как положено хозяину, он не проявлял ни беспокойства, ни нарочитого спокойствия, а его подпись, даже если ему раз сорок приходилось ставить ее после слов «С совершенным почтением», была разборчивой и красивой. Он курил, подписывал бумаги, изредка бросал взгляд на какой-нибудь чертеж, ровно в половине десятого брал пальто и шляпу и, сказав «до завтра», исчезал. С половины десятого до одиннадцати его можно было застать в отеле «Принц Генрих», с одиннадцати до двенадцати — в кафе «Цонз», он был всегда рад видеть «...мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу», с двенадцати он гулял, а в час встречался с дочерью и обедал вместе с ней «У льва». Она не знала, как он проводит вторую половину дня и что делает вечерами; знала только, что по утрам, в семь часов, он ходит к мессе, с половины восьмого до восьми сидит за завтраком вместе с дочерью, а с половины девятого до девяти — один. И каждый раз ее поражало, с какой радостью он ждал в гости сына; он то и дело открывал окно и окидывал взглядом улицу до самых Модестских ворот; в дом приносили цветы, на время приезда бралась экономка; маленький шрам на переносице Фемеля багровел от волнения; уборщицы завладевали мрачной жилой половиной дома и вытаскивали на свет бутылки из-под вина. Их сносили в коридор, для старьевщика; там скапливалось очень много бутылок, сперва их ставили по пять, а потом даже по десять в ряд, иначе они не поместились бы в коридоре — темно-зеленая изгородь, застывший лес; краснея, она пересчитывала горлышки бутылок, хотя понимала, что ее любопытство неприлично: двести десять бутылок, выпитых с начала мая до начала сентября — больше чем по бутылке в день.

Но от Фемеля никогда не пахло спиртным, его руки не дрожали. Темно-зеленый застывший лес терял свою реальность. Действительно ли она его видела, или лес существовал только в ее воображении? Ни Шрита, ни Хохбрета, ни Кандерса она никогда не встречала. Они сидели где-то далеко друг от друга по своим углам. Всего два раза один из них нашел у другого ошибку: впервые это случилось, когда Шрит неправильно рассчитал фундамент городского плавательного бассейна и его ошибку обнаружил Хохбрет. Она была очень взволнованна, но Фемель попросил только, чтобы она указала, какие пометки красным карандашом на полях чертежа сделаны Шритом и какие — Хохбретом; в первый раз ей стало ясно, что и сам Фемель, очевидно, тоже специалист в этой области; полчаса он просидел за своим письменным столом со счетной линейкой, таблицами и остро очиненными карандашами, а потом сказал:

— Хохбрет прав, бассейн развалился бы не позже чем через три месяца.

Ни слова порицания по адресу Шрита, ни слова похвалы по адресу Хохбрета, и когда он, на этот раз собственноруч-

но, подписывал заключение, то рассмеялся, и его смех показался ей почему-то жутким, как и его вежливость.

Вторую ошибку допустил Хохбрет при расчете статических данных железнодорожного виадука у Вильгельмскуле; на этот раз ошибку обнаружил Кандерс, и она снова увидела — второй раз за четыре года — Фемеля за письменным столом, погруженным в вычисления. Опять она должна была указать ему, какие пометки красным карандашом сделаны рукой Хохбрета и какие — Кандерса; этот инцидент навел его на мысль предложить каждому сотруднику пользоваться карандашом особого цвета: Кандерсу — красным, Хохбрету — зеленым, Шриту — желтым.

Она медленно выводила: «Загородный дом для киноактрисы», а во рту у нее таял кусочек шоколада; потом она написала: «Перестройка здания общества “Все для общего блага”», и во рту у нее растаял еще один кусочек шоколада. Хорошо еще, что заказчики отличались друг от друга именами и адресами, и, когда она глядела на чертежи, ей казалось, что она принимает участие в каком-то настоящем деле: камень, пластмассовые и стеклянные плитки, железные балки и мешки с цементом — все это можно было себе представить, в отличие от Шрита, Кандерса и Хохбрета, адреса которых она ежедневно надписывала. Они никогда не заходили в контору, никогда не звонили по телефону, никогда не писали. Свои расчеты и документацию они посылали без всяких комментариев.

— К чему нам их письма? — говорил Фемель. — Ведь мы не собираемся издавать полных собраний сочинений.

Время от времени она снимала с книжной полки справочник и находила в нем названия мест, которые ежедневно надписывала на конвертах: «Шильгенауэль, 87 жителей, из них 83 римско-кат. вероисповед., знаменитая приходская церковь с шильгенауэльским алтарем XII века». Там жил Кандерс, анкетные данные которого сообщала страховая карточка: «37 лет, холост, римско-кат. вероисповед. ...» Шрит жил далеко на севере, в Глудуме: «1988 жителей, из них 1812 евангел., 176 римско-кат. вероисповед., консервная промышленность, миссионерская школа». Шриту было 48 лет, «женат, евангелич. вероисповед., двое детей, один старше 18 лет». Местожительство Хохбрета ей не надо было искать в справочнике, он жил в пригороде Блессенфельд, в тридцати пяти минутах езды от города на автобусе; иногда ей приходила в голову шальная мысль — разыскать его и убедиться в том, что он действительно существует, услышать его голос, увидеть его лицо, ощутить пожатие его руки; от этого дерзкого поступка ее удерживали только сравнительная молодость Хохбрета — ему едва исполнилось тридцать два года — и тот факт, что он был холост.

И хотя местожительство Кандерса и Шрита было описано в справочнике так же подробно, как описывают в паспортах приметы их владельцев, и хотя она хорошо знала Блессенфельд, ей все же

трудно было представить себе этих троих людей, а ведь она ежемесячно выплачивала за них страховку, заполняла на их имя почтовые переводы, отправляла им журналы и таблицы; они казались ей такими же нереальными, как пресловутый Шрелла, чья фамилия значилась на красной карточке, Шрелла, который имел право прийти к Фемелю в любой час дня, но так и не воспользовался этим правом ни разу за четыре года.

Она оставила на столе красную карточку, из-за которой он впервые был с ней груб. Как звали господина, явившегося в контору около десяти и потребовавшего срочного, сверхсрочного, неотложного разговора с Фемелем? Он был высокого роста, седой, с чуть красноватым лицом; от него пахло дорогими ресторанными яствами, за которые платили из представительских расходов, на нем был костюм, от которого прямо-таки несло добротностью; сознание власти, чувство собственного достоинства и барственное обаяние делали этого человека неотразимым; когда он, улыбаясь, скороговоркой сообщил ей свой чин и звание, ей послышалось что-то вроде «министра» — не то советник министра, не то заместитель министра, не то начальник отдела в министерстве, а когда она отказалась назвать местопребывание Фемеля, он выпалил, доверительно положив ей руку на плечо:

— Но, милое дитя, по крайней мере подскажите, как я могу его разыскать.

И она выдала тайну, сама не зная, как это случилось, ведь тайна, так долго занимавшая ее воображение, была спрятана в ней глубоко-глубоко.

— Отель «Принц Генрих».

Тогда он забормotal что-то насчет однокашника, насчет какого-то срочного, сверхсрочного, неотложного дела, касающегося не то армии, не то вооружения; после его ухода в конторе долго держался аромат дорогой сигары, так что даже час спустя отец Фемеля уловил его и стал возбужденно нюхать воздух.

— Боже мой, боже мой, ну и табачок, вот это табачок, ну и табачок! — Старик прошелся вдоль стен, обнюхивая все вокруг, потом потянул носом над письменным столом, нахлобучил шляпу, вышел и через несколько минут вернулся вместе с хозяином табачной лавки, где вот уже пятьдесят лет покупал сигары; некоторое время они оба, принюхиваясь, стояли в дверях, а потом забежали взад и вперед по комнате, словно собаки, идущие по следу; хозяин лавки полез даже под стол, где, по-видимому, задержалось целое облако дыма, а затем встал, отряхнул руки, торжествующе улыбнулся и сказал:

— Да, господин тайный советник, это была «Партагас эминентес».

— И вы можете достать мне такую же?

— Конечно, они есть у меня на складе.

— Горе вам, если аромат у них не такой.

Хозяин лавки еще раз понюхал воздух и сказал:

— «Партагас эминентес», даю голову на отсечение, господин тайный советник. Четыре марки за штуку. Сколько вам?

— Одну, дорогой Кольбе, только одну. Четыре марки — это был недельный заработок моего дедушки, а я уважаю умерших и, как вы знаете, не чужд сентиментальности. О боже, этот табак уничтожил все двадцать тысяч сигарет, которые выкурил здесь мой сын.

То, что старик раскурил эту сигару в ее присутствии, она восприняла как великую честь; он сидел, развалясь в кресле сына, слишком для него просторном; а она, подложив старику под спину подушку, слушала его, занятая самым безобидным делом, какое только можно себе представить, — наклеиванием марок. Не спеша проводила она обратной стороной зеленого, красного, синего Хейса по маленькой губке и тщательно наклеивала марки в правый верхний угол конвертов, отправляемых в Шильгенауэль, Глудум и Блессенфельд. Она вся ушла в свое занятие, а старый Фемель упивался блаженством, которого, казалось, тщетно жаждал целых пятьдесят лет.

— Боже мой, — сказал он, — наконец-то я узнал, что такое настоящая сигара, милочка. Почему мне пришлось так долго ждать, до самого моего восьмидесятилетия?.. Ну вот еще, чего вы так разволновались, конечно же, мне сегодня стукнуло восемьдесят... ах, так, значит, не вы послали мне цветы по поручению сына? Хорошо, спасибо, поговорим о моем рождении потом, ладно? От всего сердца приглашаю вас на мой сегодняшний праздник, приходите вечером в кафе «Кронер»... но скажите, милочка Леонора, почему за все эти пятьдесят лет или, точнее, за пятьдесят один год, что я покупаю в лавке Кольбе, он ни разу не предложил мне такой сигары? Разве я скряга? Я никогда не был скупердям, вы же знаете. В молодости я курил десятипфенниковые сигары, потом, когда стал зарабатывать немного больше, — двадцатипфенниковые, а затем несколько десятков лет — шестидесятипфенниковые. Скажите мне, милочка, что это за люди, которые расхаживают по улице, держа в зубах такую штуковину за четыре марки, заходят в конторы и снова уходят с таким видом, будто они сосут грошовую сигарку? Что это за люди, которые между завтраком и обедом прокуривают в три раза больше, чем мой дедушка получал в неделю, и оставляют после себя такое благоухание, что я, старик, прямо столбенею, а потом, словно пес, ползаю по конторе сына, обнюхивая все углы? Что? Однокашник Роберта? Советник министра... Заместитель министра... начальник отдела в министерстве или, может, даже сам министр? Я ведь должен знать его. Что? Армия? Вооружение?

Внезапно в его глазах что-то блеснуло, казалось, с них спала пелена: старик погрузился в воспоминания о первом, третьем или, может быть, шестом десятилетии своей жизни — он хоронил кого-то из своих детей. Но кого? Иоганну или Генриха? На чей белый гроб сыпал он комья земли, на чьей могиле разбрасывал цветы? Слезы

выступили у него на глазах,— были то слезы 1909 года, когда он похоронил Иоганну, или слезы 1917 года, когда он стоял у гроба Генриха, или слезы 1942 года, когда пришло известие о гибели Отто? А может быть, он плакал у ворот лечебницы для душевнобольных, за которыми исчезла его жена? И снова на глазах старика показались слезы, меж тем как его сигара таяла, превращаясь в легкие колечки дыма,— эти слезы были пролиты в 1902 году, он похоронил тогда свою сестру Шарлотту, ради которой откладывал золотой за золотым, чтобы вызвать к ней врача; веревки заскрипели, гроб пополз вниз, хор школьников пел: «Куда улетела ласточка?». Щебечущие детские голоса вторглись в эту безукоризненно обставленную контору, и через полстолетия старческий голос вторил им: то октябрьское утро 1902 года казалось теперь старику Фемелю единственной реальностью: дымка над низовьем Рейна, клочья тумана, сплетаясь в ленты, словно приплясывая, неслись над свекловичными полями, вороны в ивняке каркали, как масленичные трещотки,— а в это время Леонора проводила красным Хейсом по мокрой губке. В тот день, за тридцать лет до ее рождения, деревенские ребятишки пели «Куда улетела ласточка?». Теперь она проводила по губке зеленым Хейсом... Внимание! Письма к Хохбету идут по местному тарифу.

Когда на старика находило, он становился как будто слепым; Леонора с удовольствием сбегала бы в цветочный магазин, чтобы купить ему красивый букет цветов, но она боялась оставить его одного; он протянул руку, и она осторожно подвинула к нему пепельницу; тогда он взял сигару, сунул ее в рот, взглянул на Леонору и тихо сказал:

— Не думай, душенька, что я сумасшедший.

Она привязалась к старику; он постоянно заходил за ней в контору и уводил ее в «мастерскую своей юности» в доме на противоположной стороне улицы, над типографией. После обеда она должна была приводить в порядок его запущенные канцелярские книги; она разбирала документы, в которых рылись когда-то налоговые инспектора, чьи бедные могилы заросли травой еще до того, как она научилась писать,— вклады были вычислены в английских фунтах, а капиталовложения — в долларах; она просматривала акции плантаций в Сальвадоре, раскладывала пыльные бумаги, расшифровывала выписки из текущих банковских счетов, уже давным-давно закрытых; читала завещания — в них он отказывал имущество детям, которых пережил более чем на сорок лет. «И пусть право пользования моими усадьбами «Штелингерс-Гротте» и «Гёрлингерс-Штуль» будет сохранено всецело за моим сыном Генрихом, ибо в нем я замечаю то спокойствие и ту радость при виде произрастания всего живого, которые представляются мне необходимыми для хорошего землевладельца...»

— Здесь,— закричал старик, размахивая в воздухе сигарой,— на этом самом месте я диктовал своему тестю завещание вечером, накануне того дня, когда должен был уехать в армию; я диктовал, а мой сын спал наверху; на следующее утро он еще проводил меня

к поезду и поцеловал в щеку — о, губы семилетнего ребенка, — но никто, Леонора, никто не принимал моих подарков; все они неизменно возвращались ко мне: усадьбы, банковские счета, ренты и доходы от домов. Мне не дано было дарить, зато жене моей это было дано, ее подарки шли на пользу; и по ночам, лежа возле нее, я слышал, как она бормочет долго и нежно — казалось, это журчит ручеек, — бормочет целыми часами: *зачемзачемзачем?*..

Старик опять заплакал, теперь он был в мундире; капитан запаса инженерных войск; тайный советник Генрих Фемель приехал во внеочередной отпуск, чтобы похоронить своего семилетнего сына; белый гробик опустили в семейный склеп Кильбов — темная сырая каменная кладка и яркие, как солнечные лучи, золотые цифры «1917», дата смерти. Роберт, в черном бархатном костюмчике, ожидал их в карете...

Леонора выронила из рук марку — на этот раз лиловую, — она помедлила, прежде чем наклеить ее на письмо к Шриту. У ворот кладбища нетерпеливо храпели лошади, Роберту Фемелю, двух лет от роду, разрешили подержать вожжи; вожжи были черные, кожаные, потрескавшиеся по краям, а свежая позолота на цифре «1917» сверкала ярче солнца...

— Чем он занимается, Леонора, что он делает, мой сын, единственный, кто у меня остался? Что он делает каждое утро с половины десятого до одиннадцати в «Принце Генрихе»? Тогда у ворот кладбища он с таким интересом смотрел, как лошадям повесили на морды мешки с овсом. Чем же он занимается там, в отеле? Скажите мне, Леонора!

Поколебавшись секунду, она подняла с пола лиловую марку и тихо ответила:

— Я не знаю, что он там делает, в самом деле, не знаю.

Как ни в чем не бывало старик взял в рот сигару и, улыбнувшись, откинулся на спинку кресла.

— Что вы скажете, если я предложу вам окончательно закрепить за мною ваши послеобеденные часы? Я буду заходить за вами. Мы бы вместе обедали, а с двух до четырех или до пяти, если вас это устроит, вы помогали бы мне наводить порядок у меня в мастерской наверху. Как вы, милочка, к этому отнесетесь?

Леонора кивнула.

— Хорошо.

Она все еще не решалась мазнуть лиловым Хейсом по губке и наклеить его на конверт, адресованный Шриту: почтовый чиновник вынет письмо из ящика, а потом его проштемпеуют — «6 сентября 1958 года, 13 часов». Старик, сидевший перед ней, вернулся теперь в свой восьмой десяток и вступил в девятый.

— Хорошо, хорошо, — повторила она.

— Значит, будем считать, что мое предложение принято?

— Да.

Леонора взглянула на его худое лицо. Уже много лет она тщетно пыталась обнаружить в старике сходство с сыном; только подчеркнутая вежливость была общей семейной чертой Фемелей,

но у старика она проявлялась в церемонной обходительности; в его учтивости старинного склада было что-то величавое, она не была просто алгеброй вежливости, как у сына, который держал себя нарочито сухо, только блеск в серых глазах порой наводил на мысль, что и он способен на нечто большее, нежели сухая корректность. Старик — тот действительно пользовался носовым платком, жевал свою сигару, иногда говорил Леоноре комплименты, хвалил ее прическу и цвет лица; было заметно, что костюм у старика далеко не новый, галстук всегда съезжал набок, пальцы были испачканы тушью, на лацканах пиджака виднелись соринки от ластика, из жилетного кармана торчали карандаши — жесткие и мягкие, а иногда он вынимал из письменного стола сына лист бумаги и быстро набрасывал на нем что-нибудь — ангела или агнца божьего, дерево или силуэт спешащего куда-то прохожего. Иногда он давал ей денег, чтобы она сбегала за пирожными; он попросил ее завести еще одну чашку. В его присутствии Леонора чувствовала себя счастливой — наконец-то она включит электрический кофейник не только для себя, но и для кого-то другого. То была жизнь, к какой она привыкла, — варить кофе, покупать пирожные и слушать рассказы, в определенной очередности: сперва о жизни людей в задней половине дома, а потом о смертях, которыми они умирали. Несколько столетий дом принадлежал семье Кильб, здесь они, погрязая в пороках и стремясь к свету, греша и спасаясь, поставляли городу казначеев и нотариусов, бургомистров и каноников; казалось, в воздухе сумрачных покоев на задней половине дома еще носится что-то от строгих молитв юношей, ставших прелатами, от мрачных пороков девственниц из рода Кильбов, от покаянных молитв благочестивых отроков — в тех покоях, где в тихие послеполуденные часы бледная темноволосая девушка готовила сейчас уроки и поджидала отца. А может, эти часы Фемель проводил дома? Двести десять бутылок вина были выпиты с начала мая до начала сентября. Распил ли он их один или вместе с дочерью? А может быть, с привидениями? Или с этим Шреллой, который ни разу не попытался воспользоваться своим правом? Все это казалось ей нереальным, еще менее реальным, чем пепельные волосы секретарши, занимавшей пятьдесят лет назад ее место и хранившей в те времена тайны нотариальных документов.

— Да, здесь она и сидела, милая Леонора, на том же месте, что и вы, ее звали Жозефина.

Говорил ли старик той, как и ей, комплименты, расхваливая ее прическу и цвет лица?

Старик, смеясь, указал Леоноре на изречение, висевшее над письменным столом его сына; единственное, что сохранилось здесь от прежних времен, — белые буквы на табличке из красного дерева.

*«И правая их рука полна подношений».* Это изречение должно было свидетельствовать о неподкупности семьи Кильб, равно как и семьи Фемель.

— Оба моих шурина, последние отпрыски мужского пола

в семействе Кильб, не питали склонности к юриспруденции — одного из них тянуло к уланам, другого — к безделью, но оба они, и улан и бездельник, погибли в один и тот же день в одном и том же полку во время одной и той же атаки: под Эрби-ле-Юэтт они на рысях въехали под пулеметный обстрел, вычеркнув тем самым фамилию Кильбов из списка живых; они унесли с собой в могилу, в ничто, свои пороки, яркие, как багряница, и случилось это под Эрби-ле-Юэтт.

Старик был счастлив, если у него на брюках появлялись пятна от известки и он мог попросить Леонору свести их. Часто он носил под мышкой толстые футляры для чертежей; и она не могла понять, взяты ли они из его архива или же это новые заказы.

Сейчас он прихлебывал кофе, хвалил его, придвигал к Леоноре тарелку с пирожными, посасывал свою сигару. На его лице опять появилось благоговейное выражение.

— Однокашник Роберта? Но ведь я должен знать его. А не зовут ли его Шрелла? Вы уверены? Нет, нет, тот не курил бы таких сигар, что за чепуха. И вы послали его в «Принц Генрих»? Ну и нагорит же вам, Леонора, милочка, уж поверьте. Мой сын Роберт не любит, чтобы ему делали наперекор. Он и мальчишкой был такой же — внимательный, вежливый, разумный, корректный, но только пока не преступали известных границ, тогда он не знал пощады. Он бы не остановился перед убийством. Я всегда его побаивался. Вы тоже? Но, детка, он ведь ничего вам не сделает, не бойтесь, будьте благоразумны. Пойдемте, я хочу, чтобы мы вместе пообедали, давайте хоть скромненько отпразднуем ваше вступление в новую должность и мой юбилей. Не говорите глупостей. Если уж он обругал вас по телефону, значит, гроза миновала. Жаль, что вы не запомнили имени посетителя. А я и не знал, что он встречается со своими школьными товарищами. Ну ничего, ничего, пошли. Сегодня суббота, и он не будет в претензии, если вы закончите работу немного раньше положенного. Ответственность я беру на себя.

Часы на Святом Северине начали бить двенадцать. Леонора быстро пересчитала конверты — их было двадцать три; она сложила их и крепко зажала в руке. Неужели старик просидел у нее всего полчаса? Вот отзвучал десятый удар из положенных двенадцати.

— Нет, спасибо,— сказала она,— я не надену пальто, и, пожалуйста, только не «У льва».

Прошло всего полчаса; типографские машины больше не стучали, но из кабаньей туши все еще сочилась кровь.

## 2

Для портье это стало привычным ритуалом, почти таким же, как церковный обряд, вошло ему в плоть и кровь: каждое утро, ровно в половине десятого, он снимал с доски ключ и ощу-



щад легкое прикосновение сухой холеной руки, бравшей у него ключ от бильярдной; портье бросал взгляд на строгое, бледное лицо с красным шрамом на переносице, а затем задумчиво, с чуть заметной улыбкой — ее могла бы обнаружить разве только жена — смотрел вслед Фемелю, который, не обращая внимания на призывный жест лифтера, поднимался по лестнице в бильярдную, слегка постукивая ключом по медным прутьям перил — пять, шесть, семь раз звенели прутья, — казалось, он играет на ксилофоне, воспроизводящем одну-единственную ноту, а через полминуты являлся Гуго, старший из мальчиков-лифтеров, и спрашивал: «Как всегда?» — на что портье кивал головой; он знал: Гуго побежит в ресторан, возьмет двойную порцию коньяка и графин с водой, а потом исчезнет наверху в бильярдной до одиннадцати часов.

Портье чуял недоброе в этом обыкновении играть в бильярд с половины десятого до одиннадцати утра в присутствии одного и того же мальчика — недоброе или порочное; от пороков существовала защита — тайна; тайна имела свою цену и свои законы; тайна и деньги зависели друг от друга, как абсцисса и ордината; тот, кто брал здесь номер, покупал вместе с тем полную секретность: глаза, которые смотрели, но не видели, уши, которые слушали, но не слышали. Однако от беды не было спасения — он не мог выпроводить за дверь каждого потенциального самоубийцу, ибо все постояльцы были потенциальными самоубийцами; самоубийца мог явиться в отель с семью чемоданами, загорелый, точь-в-точь киноактер, смеясь взять ключ у портье, но, как только чемоданы были сложены в номере и бой уходил, он вытаскивал из кармана пальто заряженный пистолет, заранее снятый с предохранителя, и пускал себе пулю в лоб; или это могла быть дама, казавшаяся выходцем с того света; она являлась, сверкая золотыми зубами, золотыми волосами, золотыми туфлями, скалила зубы, как скелет, дама, слонявшаяся по холлу, словно беспокойный призрак, алчущий удовлетворить свою похоть; эта дама заказывала завтрак к себе в номер на половину одиннадцатого, вешала на ручку двери трафарет «Просьба не беспокоить», а потом сооружала перед дверью баррикаду из чемоданов и глотала капсулу с ядом; задолго до того, как у перепуганных горничных падали из рук подносы с завтраком, в доме шепотом передавали друг другу: «В двенадцатом номере лежит покойница». Шептаться начинали уже ночью, когда засидевшиеся в баре гости прокрадывались к себе в комнаты — им становилось жутко от тишины, царившей за дверью номера 12; некоторые из них умели отличать тишину сна от тишины смерти.

Портье чуял недоброе, когда в тридцать одну минуту десятого Гуго поднимался в бильярдную с двойной порцией коньяка и графином воды.

В это время дня портье с трудом обходился без мальчика: на его конторке появлялось множество рук — рук, требующих счет или забирающих почту; портье ловил себя на том, что сразу после

половины десятого он становился невежливым, и надо же, чтобы он как раз обрезал учительницу — восьмую или девятую по счету, из тех, кто спрашивал, как пройти к древнеримским детским гробницам; судя по ее обветренному лицу, она родилась в деревне, а судя по перчаткам и пальто, не имела тех доходов, какие естественно было предположить у постояльцев отеля «Принц Генрих»; портье спрашивал себя, каким образом бедная женщина затесалась в толпу этих сумасшедших дур, из коих ни одна не нашла нужным осведомиться о цене номера; хотя, быть может, эта учительница, смущенно теребящая свои перчатки, как раз совершит чудо, за которое Йохен установил премию в десять марок: «Плачу десять марок каждому, кто назовет мне немца, спросившего о цене на что-либо»; нет, эта учительница не принесет ему премии Йохена; портье взял себя в руки и любезно разъяснил ей дорогу к древнеримским детским гробницам.

Большинство требовало как раз этого боя, запертого на полтора часа в бильярдной; все они желали, чтобы именно он отнес их чемоданы в холл, к автобусу авиакомпании, к такси или на вокзал; брюзгливые господа, слоняющиеся по всему свету, которые ожидали сейчас в холле счет и болтали о расписании самолетов, хотели, чтобы именно Гуго подал им лед для виски и поднес спичку к незажженной сигарете, свисавшей у них изо рта, дабы они могли лишний раз убедиться в его исполнительности; Гуго, и никого другого, желали они поблагодарить небрежным жестом руки; только в присутствии Гуго их лица вздрагивали от тайных конвульсий; у них были нетерпеливые лица, у этих господ, которые с трудом могли дождаться минуты, когда они перенесут свое дурное настроение в отдаленные части света; они были всегда готовы к старту, чтобы, переселяясь в иранский или верхнебаварский отель, так же внимательно, как и здесь, изучать свое лицо в зеркале, определяя, насколько задубилась их кожа от солнца. Женщины визгливыми голосами наперебой требовали принести им забытые вещи: «Гуго, мое кольцо», «Гуго, мою сумочку», «Гуго, мою губную помаду», все они ждали, что Гуго стремглав кинется к лифту, бесшумно взлетит наверх и начнет разыскивать в номере 19, в номере 32 или в номере 46 кольцо, сумочку, губную помаду; а тут еще старухе Муш понадобилось вывести гулять свою шавку, которая к этому времени вылакала все налитое ей молоко, нажралась меду, пренебрегла глазуньей и теперь собиралась отправить собачью нужду у ближайшего киоска, у припаркованной машины или остановившегося трамвая, с тем чтобы попутно оживить свой отмирающий нюх; ведь один только Гуго мог понять сложные душевные потребности собаки; кроме того, бабушка Блезик, которая ежегодно приезжала сюда на месяц повидаться с детьми и внуками, все возраставшими в числе, бабушка Блезик, не успев переступить порог отеля, уже спросила о Гуго: «Он по-прежнему у вас, мальчуган с лицом церковного служки, худенький, бледный, рыжеватенький, у него еще всегда такой серьезный вид?» За завтраком, пока старуха ела мед, пила молоко

и не пренебрегала глазуньей, Гуго должен был читать ей местную газету; Блезик закатывала глаза всякий раз, как он произносил названия улиц, знакомые ей еще с детства. «Несчастный случай на Эренфельдгюртель», «Ограбление на Фризенштрассе». «Когда я там каталась на роликах, у меня были вот такие длинные косы, вот досюда, мой мальчик». Старуха была хрупкой, но выносливой — уж не ради ли Гуго она перелетала через огромный океан? — Что? — спросила она разочарованно. — Гуго освободится только после одиннадцати?

Водитель автобуса, принадлежавшего авиакомпании, уже стоял у вращающейся двери, жестами поторапливая отъезжающих, а в кассе еще только подсчитывали стоимость сложных завтраков; в холле сидел человек, который заказал глазунью из половины яйца, он с возмущением отверг счет, где ему поставили целое яйцо, с еще большим возмущением отверг предложение директора ресторана вовсе изъять из счета пол-яйца; он требовал новый счет, в котором значилась бы половина яйца.

— Я настаиваю!

Этот тип ездил по свету, как видно, только для того, чтобы предъявлять потом письменные документы, где фигурировала бы глазунья из пол-яйца.

— Да, — говорил портье, — первая улица налево, вторая направо, затем опять третья налево, а потом, сударыня, вы увидите табличку с надписью: «К древнеримским детским гробницам».

Но в конце концов водителю автобуса все же удалось собрать своих пассажиров; в конце концов все учительницы были направлены по верному пути, а все жирные шавки выведены на прогулку. Вот только господин в одиннадцатом номере все еще спал, спал уже шестнадцать часов подряд, повесив на дверь трафарет «Просьба не беспокоить». Беда могла нагрянуть из номера 11 или из бильярдной; привычный ритуал с бильярдом совершался как раз во время идиотской суеты, когда из отеля уезжали постояльцы; портье снимал с доски ключ, на мгновение ощущая прикосновение руки гостя, бросал взгляд на его бледное лицо с красным шрамом на переносице. Гуго спрашивал: «Как всегда?» Портье кивал головой — бильярд с половины десятого до одиннадцати. Но пока еще внутренняя служба информации отеля не донесла ни о чем страшном или порочном. Фемель действительно играл с половины десятого до одиннадцати в бильярд, играл один, без партнеров, тянул маленькими глоточками коньяк, запивая его водой, курил, слушал то, что Гуго рассказывал ему о своем детстве, сам рассказывал Гуго о своем детстве; Фемель не возражал даже, если кто-нибудь из горничных или уборщиц по дороге к грузовому лифту останавливался в открытых дверях и смотрел на него; он только улыбался. Нет, нет, он совершенно безобидный.

Йохен, прихрамывая и качая головой, вышел из лифта, держа в поднятой руке письмо. Йохен жил под самой голубятней, рядом

со своими пернатыми друзьями, которые приносили ему весточки из Парижа, Рима, Варшавы, Копенгагена; трудно было определить, какую роль играет в отеле Йохен, в своей причудливой ливрее, представляющей нечто среднее между мундиром кронпринца и унтер-офицера; он был отчасти фактотумом, отчасти «серым кардиналом», все ему доверяли, и он был посвящен решительно во все; при этом Йохен не был ни портье, ни официантом, ни администратором, ни слугой, хотя он и был на все руки мастер и даже в поварском искусстве кое-что смыслил; ему принадлежала крылатая фраза, которую повторяли всякий раз, как возникали сомнения в моральном облике кого-либо из постояльцев: «Если все будут нравственны, нам не к чему хранить тайны; кому нужна секретность, коли нет вещей, которые следует держать в секрете?» Йохен был отчасти духовником, отчасти секретарем по особо важным делам, отчасти сводником. Ухмыляясь, Йохен вскрыл письмо искривленными от ревматизма пальцами.

— Ты мог бы сэкономить свои десять марок, я бы рассказал тебе в тысячу раз больше, чем этот щенок, и притом бесплатно: «Справочное бюро “Аргус”. При сем прилагаем затребованную Вами справку о господине докторе Роберте Фемеле, архитекторе, проживающем по Модестгассе, 8. Д-ру Фемелю 42 года, он вдовец, имеет двух детей. Сын 22 лет, архитектор, проживает отдельно. Дочь 19 лет — учащаяся. Д-р Ф. состоятельный человек. Со стороны матери в родстве с Кильбами. Ни в чем предосудительном не замечен».

Йохен захихикал.

— Ни в чем предосудительном не замечен! Как будто молодого Фемеля можно заметить в чем-либо предосудительном. Он один из немногих людей, за которых я, ни минуты не задумываясь, положил бы руку в огонь, слышишь, вот эту старую, продажную, изуродованную ревматизмом руку. Ты можешь спокойно доверить ему мальчика, он не того сорта человек, но, будь он даже того сорта, я не вижу, почему бы не позволить ему все, что позволяют педерастам-министрам, но он не того сорта. Уже в двадцать лет у него родился ребенок от дочери одного нашего коллеги, может, ты его помнишь, его звали Шрелла, и он когда-то проработал здесь в отеле год. Не помнишь? Ну конечно, это было еще до тебя. Так вот, оставь в покое молодого Фемеля, пусть себе играет в бильярд. Он хороших кровей. Действительно хороших. Старой закалки. Я знал его бабушку, дедушку, мать и дядю; пятьдесят лет назад они уже играли здесь в бильярд. Семья Кильб — тебе это, видно, невдомек — живет на Модестгассе уже триста лет, вернее, жила — теперь никого из них не осталось. Его мать спятила — она потеряла двух братьев и троих детей. И не смогла этого перенести. Хорошая была женщина. Из породы тихих, понимаешь? Она не съедала ни крошки сверх того, что выдавалось по карточкам, ни крупиночки, да и детям своим ничего не давала сверх положенного. Сумасшедшая! Все, что ей присылали, она раздавала, а ей много присылали: Фемели владели тогда несколькими усадь-

бами; кроме того, настоятель аббатства Святого Антония в Киссатале отправлял ей масло целыми бочонками, мед кувшинами и хлеб буханками, но она ни к чему не притрагивалась сама и не давала ни крошки детям, им приходилось есть хлеб из опилок, намазывая его подкрашенным повидлом, потому что мать все раздавала, даже золотые монеты она раздаривала, я сам видел году в шестнадцатом или семнадцатом, как она вышла из дома с буханками хлеба и кувшином меда. Мед в тысяча девятьсот семнадцатом году! Можешь себе представить? Но где уж вам это помнить, вы никогда не поймете, что значил мед в тысяча девятьсот семнадцатом и зимой сорок первого — сорок второго годов! А как она бежала на товарную станцию и требовала, чтобы ей разрешили уехать вместе с евреями. Сумасшедшая! Ее засадили в сумасшедший дом, но я не верю, что она сумасшедшая. Таких женщин можно увидеть разве только в музеях на старинных картинах. Ради ее сына я дам себя четвертовать; и если здесь, в этой лавочке, перед ним не будут ходить на задних лапках, я устрою грандиозный скандал, пускай хоть целая сотня старых баб спрашивает Гуго, — раз Фемель хочет держать его при себе, пусть держит. Справочное бюро «Аргус»! Идиоты! Не к чему было выбрасывать десять марок! Ты еще, пожалуй, скажешь, что не знаешь его отца, старика Фемеля. Да? Ну так поздравляю, ты его знаешь, но тебе и в голову не приходило, что он-то и есть отец того клиента, который играет наверху в бильярд. Ну да, старика Фемеля знает каждый ребенок. Пятьдесят лет назад он приехал сюда в перелицованном костюме своего дяди с несколькими золотыми в кармане; он уже тогда играл в бильярд здесь, в отеле «Принц Генрих», тогда, когда ты еще понятия не имел, что такое отель. Ну и портье сейчас пошли! Оставь его в покое. Он не наделает глупостей и не причинит никому вреда, разве что спятит с ума — тихо и незаметно. Он был лучшим игроком в лапту и лучшим бегуном на сто метров в нашем городе за всю его историю; ведь он упрямый и если уж что заберет себе в голову — его не переспоришь; он не выносил несправедливости, а кто не выносит несправедливости, тот обязательно впускается в политику, вот он и впутался уже в девятнадцать лет; ему бы наверняка отрубили голову или запрятали лет на двадцать в тюрьму, если бы он не удрал. Да-да, не смотри на меня так, он убежал и года три-четыре пробыл за границей; не знаю точно, в чем тут было дело, — мне этого так и не удалось выяснить, знаю только, что в той истории был замешан старый Шрелла и его дочь, которая родила потом Фемелю ребенка; ну, а когда он вернулся, его больше не тронули, он пошел в армию рядовым в саперные части; как сейчас вижу его — он приехал в отпуск в мундире с черными кантами. Что ты вылупил глаза? Был ли он коммунистом? Не знаю, но пусть даже так, каждый порядочный человек когда-нибудь сочувствовал коммунистам. Ну а теперь ступай завтракать, с этими старыми дурами я сам управлюсь.

Беда или порок — что-то носилось в воздухе, но Йохен был слишком простодушен, он никогда не чуял самоубийства и не верил, что случилось несчастье, даже если перепуганным постояльцам удавалось отличить сквозь запертые двери номера тишину смерти от тишины сна; он разыгрывал из себя этакую продажную шельму, тертого старикашку, но в людей все же верил.

— Как хочешь,— сказал портье,— я пойду завтракать. Только не пускай к нему никого, он придает этому большое значение. Вот.— И он положил на конторку перед Йохеном красную карточку: «Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю».

Шрелла? — испуганно подумал Йохен. Разве он еще жив? Ведь его тогда убили... а может, у него был сын?

Этот аромат свел на нет все остальные запахи, все, что люди выкурили здесь за последние две недели, этот аромат можно было нести перед собой наподобие знамени: вот я иду, видная персона, победитель, перед которым ничто не может устоять, рост — метр восемьдесят девять, седой, сорока с лишним лет, костюм из сукна особого, «правительственного» качества — коммерсанты, промышленники и художники такого не носят. Йохен сразу оценил сановную элегантность посетителя — то был министр или посланник, чья подпись имела почти что силу закона, этот человек беспрепятственно проникал сквозь обитые войлоком, стальные и железные двери приемных, проходил повсюду, пробивая себе дорогу плечами, словно тараном, излучая вежливость и любезность, в которой чувствовалось что-то заученное; на сей раз он пропустил вперед бабушку, только что забравшую своего отвратительного пса из рук Эриха — второго боя, помог даме-скелету, которая казалась выходцем с того света, подойти к лестнице и схватиться за перила, пробормотав: «Не стоит благодарности, сударыня».

— Неттлингер.

— Чем могу служить, господин доктор?

— Мне нужно видеть доктора Фемеля. Срочно. Немедленно. По служебным делам.

Играя красной карточкой, Йохен качнул головой и вежливо отказал. «Мать, отца, сына, дочь, Шреллу». Неттлингера он видеть не желает.

— Но мне известно, что он здесь.

Неттлингер? Когда-то я слышал это имя. Да и лицо его напоминает мне что-то, что я поклялся не забывать! Это имя я слышал много лет назад и сказал себе: «Йохен, запомни его, возьми его на заметку», — но теперь я не знаю, что хотел запомнить. Во всяком случае, будь начеку. Тебя бы наверняка стошнило, если бы ты узнал, что он успел натворить на своем веку, тебя бы рвало до самой твоей кончины, если бы ты увидел тот фильм, который покажут ему в день Страшного суда,— фильм о его

жизни; он из тех молодчиков, которые приказывали выламывать у мертвецов золотые коронки и отрезать волосы у детей.

Беда или порок? Нет, в воздухе запахло убийством.

Эти люди понятия не имеют, как и когда давать чаевые, по чаевым легче всего определить человека; сейчас, пожалуй, уместно было бы предложить сигару, но, во всяком случае, не деньги, а тем более такие крупные, как зеленая кредитка в двадцать марок, которую этот господин, ухмыляясь, положил на конторку перед Йохеном. Что за олухи — они не знают простейших законов обхождения с людьми, не знают азбучных истин обращения с портье; как будто в «Принце Генрихе» оптом и в розницу продаются чужие секреты, как будто постояльца, который платит сорок — шестьдесят марок в сутки, можно купить за зеленую двадцатимарковую бумажку, за двадцать марок, предложенных совершенно незнакомым человеком, чье единственное удостоверение личности — дорогая сигара и костюм из добротного сукна. Подумать только, что такой тип становится министром или дипломатом, хотя не знает азов сложнейшей из всех наук — науки подкупа. Йохен огорченно покачал головой и не притронулся к зеленой бумажке. *«И правая их рука полна подношений».*

Трудно поверить, но к зеленой бумажке прибавилась синяя; предложенная сумма дошла до тридцати марок, и в лицо Йохену дохнули густым облаком дыма «Партагас эминентес».

Ну что ж, дыши на меня, дыши мне в лицо своей четырехмарковой сигарой, можешь даже прибавить еще кредитку — лиловую. Йохена нельзя купить ни за какие деньги, а тебе уж подавно; не многих любил я в своей жизни, но молодой Фемель мне по душе. Тебе не повезло, ты, конечно, важный господин, твоя подпись немало значит, но ты опоздал на полторы минуты. Тебе бы надо почуять, что деньги совершенно неуместны, когда дело касается меня. У меня, если хочешь знать, в кармане договор, заверенный нотариусом, и по этому договору моя каморка под крышей принадлежит мне пожизненно, к тому же я имею право держать голубей; на завтрак и на обед я могу выбрать себе чего моя душа пожелает, кроме того, я ежемесячно получаю полтора-два марок чистоганом, прямо в руки; эта сумма в три раза больше той, что мне требуется на табачок; у меня есть друзья в Копенгагене и Париже, в Варшаве и Риме; если бы ты только знал, как стоят друг за друга голубятники; но ты ничего не знаешь, хотя и вообразил, будто за деньги можно добиться всего; эту философию вы внушаете самим себе и, разумеется, портье в отелях; за деньги портье готовы на все, они продадут тебе родную бабушку за лиловый полусотенный билет. Но я сам себе хозяин, друг мой, с одним-единственным ограничением — здесь внизу, когда я заменяю портье, мне запрещено курить мою трубочку; сегодня я в первый раз жалею об этом, ведь я мог бы выпустить навстречу дыму твоей «Партагас эминентес» дым из моей трубки, набитой черным табачком. Говоря ясно и недвусмысленно — мо-

жешь поцеловать меня в... Фемеля я тебе все равно не продам. Пусть спокойно играет себе с половины десятого до одиннадцати в бильярд, хотя я лично нашел бы для него более подходящее занятие, а именно — сидеть на твоём месте в министерстве. Или же делать то, что он делал в юности: бросать бомбы, чтобы у таких мерзавцев, как ты, земля горела под ногами. Но если он хочет играть в бильярд с половины десятого до одиннадцати, пожалуйста, пусть себе играет, на то я здесь и поставлен, чтобы никто не мешал ему, это моя обязанность. А теперь можешь забрать свои деньги и идти, проваливай, а если положишь еще бумажку, пеняй на себя. Мне приходилось глотать бестактности и с терпеливым видом сносить человеческую глупость; в эту книгу я записывал нарушителей супружеской верности и эротоманов, не раз отшивал я обезумевших жен и рогоносцев, но, пожалуйста, не думай, что я был создан для такой участи. Я всегда был порядочным малым и, конечно, прислуживал во время мессы так же, как и ты, а в певческом фереине распевал песни во славу отца Колпинга и святого Алоизия. К двадцати годам я уже шесть лет прослужил в этом заведении. И если я не потерял веру в человеческий род, то лишь потому, что на свете есть несколько таких людей, как молодой Фемель и его мать. Забирай свои деньги, вынь изо рта сигару и поклонись мне повежливей, ведь я уже старый человек и видел на своем веку столько пороков, сколько тебе и во сне не снилось; пусть бой поддержит тебе вращающуюся дверь, и убирайся.

— Я не ослышался? Ты хочешь поговорить с директором? Тут посетитель побагровел, а потом посинел от злости...

Черт побери! Неужели я опять подумал вслух и, возможно, даже обратился к тебе на «ты»; разумеется, это никуда не годится, я совершил непростительную ошибку, потому что с такими людьми, как вы, я на «ты» не бываю.

Как я смею? Что же, я старик, мне уже под семьдесят, и я, бывает, заговариваюсь, у меня небольшой склероз, я малость впал в детство и нахожусь поэтому под защитой пятьдесят первого параграфа, а здесь я живу из милости.

Армия и вооружение?.. Этого еще не хватало.

— К директору, пожалуйста, налево, за угол, вторая дверь направо; книга жалоб — в сафьяновом переплете.

А если ты закажешь себе глазунью и если твой заказ придет на кухню, когда я буду там, я сочту за особую честь лично плюнуть на сковородку. Ты получишь мое объяснение в любви, так сказать «о натюрель», смешанное с растаявшим маслом. Не стоит благодарности, милостивый государы!

— Я ведь уже сказал вам, сударь. Сюда за угол налево, потом вторая дверь направо, там дирекция. Книга жалоб — в сафьяновом переплете. Вы хотите, чтобы о вас доложили? С удовольствием. Коммутатор. Господина директора вызывает портье. Господин директор, здесь господин... Как ваша фамилия? Неттлингер, и прошу прощения, доктор Неттлингер хотел бы срочно поговорить с вами.



По какому делу? Жалоба на меня. Да, спасибо. Господин директор ожидает вас... Да, сударыня, сегодня вечером фейерверк и парад, первая улица налево, потом вторая направо, затем опять третья налево, и вы увидите стрелку с надписью: «*К древнеримским детским гробницам*». Не стоит благодарности. Большое спасибо.

Не следует отказываться от марки, если получаешь ее из рук такой старой честной учительницы. Да-да, погляди, с какой милой улыбкой я беру маленькие чаевые, отказываясь от больших. Древнеримские детские гробницы — дело чистое. Лептой вдовицы здесь не пренебрегают. Ведь чаевые — душа нашей профессии.

— Да, за угол, совершенно верно.

Парочка еще не успеет выйти из такси, а я уже могу сказать, нарушают они супружескую верность или нет. Я чую такие вещи на расстоянии, различаю самые, казалось бы, немыслимые случаи. Среди любовников встречаются робкие, на их лицах все так ясно написано, что хочется сказать им: «Ничего страшного, детки, такие вещи случались и раньше, я пятьдесят лет служу в отелях, на меня вы можете положиться. Пятьдесят девять марок восемьдесят пфеннигов за двойной номер, включая чаевые; за эти деньги вы имеете право требовать известного снисхождения, но, даже если вам не терпится, не начинайте по возможности обниматься в лифте. В «Принце Генрихе» любят за двойными дверями... Не робейте, господа, не бойтесь; если бы вы знали, кто только не удовлетворял здесь свои сексуальные потребности! В этих комнатах, освященных высокими ценами, побывали верующие и неверующие, злые и добрые. Двойной номер с ванной и бутылка шампанского в номер. Сигареты. Завтрак в половине одиннадцатого. Очень хорошо. Пожалуй-ста, распишитесь здесь, сударь, нет, здесь, — будем надеяться, что ты не так глуп и не назовешь свое настоящее имя. Эти записи действительно идут в полицию, там на них ставят печать, и они становятся документом, который может служить уликой. Смотри не доверяй властям, мой мальчик, они не хранят чужих тайн. Чем больше тайн они узнают, тем больше им нужно. А если ты к тому же был коммунистом, тогда остерегайся вдвойне. Я был им когда-то, и католиком тоже был. Полностью это не выветривается. До сих пор я не позволяю себе ничего в отношении некоторых людей, и никто не смеет в моем присутствии отпустить глупую шутку насчет девы Марии или обругать отца Колпинга: таким молодчикам не поздоровится».

— Бой, отведи господ в номер сорок два. К лифту в ту сторону, сударь!

Ага, вас-то я и ждал, голубчики, любовники из породы нахальных; эти ничего не скрывают и хотят показать всему свету, что им сам черт не брат. Но, если вам *нечего скрывать*, зачем же вы напускаете на себя такой нахальный вид и изо всех сил стараетесь показать, что вам *нечего скрывать*? Если вам действительно *нечего скрывать*, то вы и не должны ничего скрывать. Пожалуй-ста, распи-

шиться здесь, сударь, нет, здесь. С этой дурищей я лично не хотел бы иметь ничего такого, что надобно скрывать. Нет, нет. С любовью дело обстоит так же, как с чаевыми. Здесь главное интуиция. По женщине сразу видно, стоит с ней что-нибудь скрывать или нет. С этой не стоит. Можешь мне поверить, парень. Шестьдесят марок за ночевку в отеле, плюс шампанское в номер, плюс чаевые и завтрак, да еще деньги на подарки — нет, не стоит! От порядочной, уважающей себя шлюхи, которая знает свое ремесло, ты все же хоть кое-что получишь.

— Бой, господа взяли комнату сорок три.

О боже, до чего люди глупы!

— Да, господин директор, я сейчас приду, слушаюсь, господин директор.

Конечно, такие, как ты, словно нарочно созданы быть директорами отелей; они похожи на женщин, которым удалили определенные органы; для этих женщин уже нет проблем, но любви без проблем не бывает! Все равно как если бы человек удалил себе совесть. Из него не вышло бы даже циника. Человек без огорчений — это уже не человек. Когда-то ты был не директором, а боем, и я тебя учил, четыре года я муштровал тебя, а потом ты повидал свет: посещал всякие школы, изучал языки, а затем наблюдал в офицерских казино — несоюзников и союзников — варварские забавы пьяных победителей и побежденных, после чего ты незамедлительно вернулся к нам в отель, и первый вопрос, который ты задал, приехав сюда гладким, жирным и бессовестным, был: «Старик Йохен еще здесь?» Да, я еще здесь, все еще здесь, мой мальчик.

— Вы оскорбили этого господина, Кульгамме.

— Не намеренно, господин директор, собственно говоря, это нельзя считать оскорблением. Я мог бы назвать сотни людей, которые сочтут за честь быть со мной на «ты».

Верх наглости. Неслыханно!

— У меня это просто вырвалось, господин доктор Неттлингер. Я старик и нахожусь до некоторой степени под защитой параграфа пятьдесят первого.

— Господин Неттлингер требует удовлетворения.

— И притом безотлагательно. С вашего разрешения, я не считаю за честь быть на «ты» с гостиничными портье.

— Попросите у господина доктора извинения.

— Прошу извинения у господина доктора.

— Не таким тоном.

— А каким же тоном? Прошу извинения у господина доктора. Прошу извинения у господина доктора. Вот вам все три тона, на какие я только способен, а вы уж, пожалуйста, выберите себе тот, какой вас больше устраивает. Я, видите ли, не боюсь унижений. Я готов встать на колени перед вами, вот на этот ковер, и бить себя в грудь кулаками; но я — старик и тоже хочу, чтобы передо мной извинились. Здесь была предпринята попытка подкупа, господин директор. На карте стояла репутация

нашей старинной, всеми уважаемой фирмы. Профессиональную тайну хотели купить за тридцать паршивых марок. Я считаю, что была затронута и моя честь, и честь фирмы, которой я служу вот уже больше пятидесяти лет, точнее говоря, пятьдесят шесть лет.

— Прошу вас прекратить эту неприятную и смешную сцену.

— Сейчас же проводите этого господина в бильярдную, Кульгамме.

— Нет.

— Вы сейчас же проводите этого господина в бильярдную.

— Нет.

— Будет крайне прискорбно, Кульгамме, если стародавние отношения, связывающие вас с этой фирмой, прервутся из-за отказа выполнить простое приказание.

— В этом доме, господин директор, еще ни разу не пренебрегли желанием гостя не беспокоить его. Исключая, конечно, те случаи, когда в дело вмешивалась высшая власть, то есть тайная полиция. Тогда мы были бессильны.

— Рассматривайте мой случай как случай вмешательства высшей власти.

— Вы из гестапо?

— На такие вопросы я не отвечаю.

— А теперь проводите этого господина в бильярдную, Кульгамме.

— Вы, господин директор, первый, кто хочет запятнать репутацию нашего отеля!

— Я сам провожу вас в бильярдную, господин доктор.

— Только через мой труп, господин директор!

Надо быть таким продажным, как я, и таким старым, как я, чтобы знать: есть вещи, которые не продаются; порок перестает быть пороком, если нет добродетели, и ты никогда не поймешь, что такое добродетель, если не будешь знать, что даже шлюхи отказывают некоторым клиентам. Но мне пора усвоить, что ты свинья. Неделями я натаскивал тебя наверху в моей комнате, учил, как незаметно брать чаевые — медью, серебром, бумажками, — это тоже искусство, незаметно принимать деньги, ибо чаевые — душа нашей профессии. Да, когда-то я тебя натаскивал (заниматься с тобой было адски трудно), но ты и тогда уже пытался меня надуть, врал, что для занятий у нас было всего три монеты по одной марке, хотя их было четыре, одну монету ты хотел утаить. Ты всегда был свиньей, никогда не понимал, что существуют вещи, которых «не делают», а теперь ты снова делаешь то, чего «не делают». За это время ты научился принимать чаевые и согласен взять даже меньше тридцати сребреников.

— Сейчас же вернитесь в холл, Кульгамме, этим господином я сам займусь. Отойдите, я вас предупреждаю.

Только через мой труп, а ведь уже без десяти одиннадцать; через десять минут он все равно спустится вниз. Если бы вы немножко

соображали, этой комедии можно было бы избежать, но пусть осталось всего десять минут — только через мой труп. Вы никогда не знали, что такое честь, потому что не знали, что такое бесчестье. Вот я перед вами — Йохен, здешний фактотум, продажный старик, прошедший сквозь огонь и воду, но вы попадете в бильярдную только через мой труп.

### 3

Он уже давно просто гонял шары; отказавшись от правил, отказавшись от счета, он толкал шар то чуть заметно, то резко, казалось, без всякого смысла и цели; каждый раз, как шар ударялся о два других шара, из зеленого небытия возникала новая геометрическая фигура; это напоминало звездное небо, на котором несколько точек находятся в движении; он прочерчивал в небе орбиты комет — белые по зеленому полю, красные по зеленому полю, следы появлялись, а потом вновь исчезали, тихие шорохи извещали о возникновении новых фигур; если шар, который он толкал, ударялся о борта или о другие шары, шорохи слышались раз пять или шесть; в этом монотонном шуме можно было различить и отдельные звуки — глухие или звонкие; ломанные линии, по которым двигались шары, зависели от величины углов, подчинялись законам геометрии и физики; энергия, которую он посредством кия сообщал шару, и незначительная энергия трения — все это поддавалось вычислению, все это было запечатлено в его мозгу и благодаря определенным движениям запечатлевалось потом в геометрических фигурах, но фигуры не были застывшими и прочными, все было мимолетным и все снова исчезало, как только шар приходил в движение: иногда Фемель в течение получаса играл одним шаром; белый шар, как единственная звезда в небе, катился по зеленому полю, он катился легко и тихо, то была музыка без мелодии, живопись без образов, почти без цвета, одна только голая формула.

Бледный мальчик стоял в стороне, прислонясь к белой блестящей двери: руки он держал за спиной, ноги заложил одна за другую; он был в лиловой ливрее отеля «Принц Генрих».

— Вы мне сегодня ничего не расскажете, господин доктор?

Фемель оторвал взгляд от бильярда, отложил кий, взял сигарету, закурил, посмотрел на улицу, на которую падала тень церкви Святого Северина. Подмастерья, грузовики, монахини — улица жила своей жизнью; серый осенний свет, отражаясь от лиловых плюшевых портьер, казался почти серебристым; фигуры запоздалых гостей, завтракавших в ресторане отеля, были обрамлены портьерами; при этом освещении все выглядело порочным, даже яйца всмятку, а простодушные лица почтенных матрон казались лицами развратных женщин; кельнеры во фраках, в чьих глазах светилась готовность ко всему, напоминали вельзевулов — личных посланцев Асмодея. А ведь они были всего-навсего безобидными членами профсоюза, усердно изучавшими после работы передовицы в своей проф-

союзной газетке; казалось, они скрывали лошадиные копыта в искусно сконструированной ортопедической обуви; разве на их белых, красных и желтых лбах не росли маленькие элегантные рожки? Сахар в позолоченных сахарницах не походил на сахар; здесь случались всевозможные превращения: вино не было вином, хлеб не был хлебом; в этом свете все становилось составной частью таинственных пороков; здесь священнодействовали, но имя божества нельзя было произносить вслух.

— Что же тебе рассказать, дитя мое?

Память его никогда не удерживала слова и образы, он помнил только движения. Отец... он знал его походку, затейливую кривую, которую при каждом шаге описывала его правая штанина с такой быстротой, что, когда отец утром проходил мимо лавки Греца, направляясь в кафе «Кронер», чтобы там позавтракать, темно-синяя подшивка брюк мелькала всего лишь на секунду. Мать... он помнил замысловатый и смиренный жест, каким она складывала руки на груди, перед тем как изречь очередную избитую истину: «Сколько зла в мире» или «Как мало чистых душ на свете»; руки матери, казалось, выписывали эти слова в воздухе, прежде чем она произносила их вслух. Отто... он слышал его четкие шаги, когда тот проходил по коридору и спускался на улицу; «враг, враг» — башмаки Отто выстукивали это слово на каменных плитах лестницы, хотя много лет назад они выстукивали совсем другое слово: «брат, брат». Бабушка... он вспоминал движение, которое она делала целых семьдесят лет, он и теперь видел его много раз на дню, так как его повторяла Рут; это извечное движение, передавшееся по наследству, каждый раз пугало Фемеля; его дочь Рут никогда не видела своей прабабушки, откуда у нее этот жест? Ничего не подозревая, она откидывала волосы со лба так же, как ее прабабушка.

Он видел и себя самого — как он нагибался над грудой бит для игры в лапту, чтобы найти свою; вспоминал, как он перекачивал мяч в левой руке до тех пор, пока мяч наконец не ложился удобно, чтобы в решающий момент его можно было подбросить вверх на точно рассчитанную высоту; мяч падал вниз ровно столько времени, сколько надо было, чтобы и второй рукой схватить деревянную битку, размахнуться и изо всех сил ударить по мячу; тогда мяч залетал далеко за черту.

Он помнил себя на лужайке, на берегу реки, в парке, в саду, помнил, как он стоит, наклоняется, а потом, выпрямившись, ударяет по мячу. Все зависело от расчета; это дурачье и не подозревало, что время падения мяча можно вычислить, что с помощью того же секундомера можно определить, сколько секунд требуется, чтобы перехватить битку обеими руками, и что все остальное — лишь вопрос координации движений и тренировки; каждый день под вечер он тренировался на лужайке, в парке, в саду; они не подозревали, что существуют формулы, которые можно применить к удару, и весы, на которых можно взвешивать мячи. Для этого требовалось всего лишь минимальное знание физики и математики, а также тренировка, но они презирали науки, от которых все зависело, презирали

и тренировку; они предпочитали жульничество во всем. Они проделывали разные трюки с растяжимыми и к тому же лживыми сентенциями и читали всякую дрянь, в то время как Гёльдерлин был для них китайской грамотой; даже такое простое слово, как «лот», теряло в их устах всякий смысл, а ведь лот — это воплощение ясности: веревка и кусок свинца; его бросают в воду и, почувствовав, что свинец достиг дна, вытаскивают наверх; лотом измеряют глубину воды; но, когда они говорили «измерить лотом», это только раздражало; они не умели ни играть в лапту, ни читать Гёльдерлина: *«И сострадая, сердце всевышнего твердым останется»*.

Они толпились возле него, чтобы помешать ему ударить, и кричали: «Давай, Фемель, бей, давай!», а другая группа игроков в это время беспокойно металась на том конце поля, двое были уже далеко за чертой, где обычно падали мячи, мячи Роберта, которых все боялись; большей частью они падали на шоссе, где как раз тогда, в эту субботу, летом 1935 года, взмыленные гневные лошади выезжали из ворот пивоварни; позади тянулась железнодорожная насыпь, маневровый паровозик выбрасывал в небо невинно-белые барашки дыма; направо у моста, ведущего к верфи, шипели электросварочные аппараты — рабочие в сверхурочные часы сваривали пароход «Сила через радость», — вспыхивали голубовато-серебристые искры, и клепальные молотки отбивали такт; на крошечных огородных участках новехонькие пугала тщетно угрожали воробьям; бледные пенсионеры с потухшими трубками томились в ожидании первого числа, когда им давали пенсию; воспоминание о движениях, которые Роберт тогда делал, — только оно одно пробудило в его памяти картины, слова и краски; и эта фраза «Давай, Фемель, давай!» всплыла в его сознании, когда он вспомнил свои движения. Вот мяч уже там, где ему полагалось лежать, Роберт только слегка удерживал его пальцами и мякотью ладони; сопротивление, которое придется преодолеть мячу, будет наименьшим, он уже держит свою битую, самую длинную из всех (ведь никого не интересовали законы рычагов), битую, обмотанную сверху лейкопластырем. Фемель бросил быстрый взгляд на ручные часы; до завершающего свистка учителя гимнастики оставалось всего три минуты и тридцать секунд, а Фемель так и не решил для себя вопрос, почему команда чужой гимназии, Принца Отто, не возражала против назначения их учителя гимнастики судьей в финальной игре. Учителя звали Бернхард Вакера, но школьники прозвали его Бен Уэкс; это был довольно тучный меланхолик, говорили, что он питает к мальчикам платоническую любовь; Вакера обожал пирожные со сбитыми сливками и слащавые сентиментальные фильмы, в которых сильные белокурые юноши переплывали реки, а потом лежали на полянах, держа во рту травинку, и глядели в голубое небо, жаждая приключений; этот Бен Уэкс больше всего любил копию головы Антиноя, которая стояла у него дома среди фикусов и полок, забитых руководствами по гимнастике; он ласкал эту голову, делая вид, будто стирает с нее пыль; Бен Уэкс называл своих любимцев «мальчишечками», а остальных «сорванцами».

— Ну давай, сорванец,— сказал Бен Уэкс, пыхтя, живот у него колыхался, во рту он держал судейский свисток.

Но до конца игры все еще оставалось три минуты и три секунды — тринадцать лишних секунд. Если он бросит мяч сейчас, следующему игроку тоже удастся бросить мяч, и Шрелла, который там у черты ждет избавления, должен будет еще раз побежать, а игроки еще раз изо всей силы кинут мяч ему прямо в лицо или в ноги, метя в поясницу; трижды Роберт наблюдал, как это делается: кто-нибудь из чужой команды попадал мячом в Шреллу, потом Неттлингер, игравший в одной команде с ним и со Шреллой, перехватывал мяч и бросал его в кого-нибудь из противников, то есть попросту кидал ему мяч, и тот опять попадал в Шреллу, который корчился от боли, а потом Неттлингер опять перехватывал мяч и просто-напросто перебрасывал его игроку команды противника, и тот бросал мяч в лицо Шрелле, а Бен Уэкс стоял тут же и свистел — свистел, когда они попадали в Шреллу, свистел, когда Неттлингер просто перебрасывал мяч противнику, свистел, когда Шрелла, прихрамывая, пытался отбежать подальше; все шло с головокружительной быстротой, мячи летали взад и вперед; неужели только он один видел все это? Неужели положения Шреллы не замечал никто из многочисленных зрителей с пестрыми флажками в петлицах и в пестрых шапочках, которые в лихорадочном возбуждении ждали окончания игры? За две минуты пятьдесят секунд до конца счет был 34:29 в пользу гимназии Принца Отто; может, то, что видел он один, как раз и было причиной, почему противники согласились назначить Бена Уэкса, их учителя гимнастики, своим судьей.

— Ну а теперь быстрее, малый, через две минуты я дам свисток!

— Прошу прощения, через две минуты пятьдесят секунд,— ответил Роберт, высоко подбросил мяч, молниеносно перехватил биту обеими руками и ударил; по силе удара и по отдаче дерева, отбросившего мяч, он почувствовал, что это снова был один из его легендарных ударов; прищурившись, он пытался проследить глазами за мячом, но не мог его обнаружить; потом он услышал «ах», вырвавшееся из глоток зрителей, громовое «ах», расползавшееся подобно облаку, становившееся все громче; он увидел, как Шрелла, прихрамывая, подошел ближе; Шрелла шел медленно, на лице у него выделялись желтые пятна, около носа виднелась кровавая полоска; пока помощники судьи отсчитывали: «...семь, восемь, девять», остаток их команды издевательски медленно прошествовал мимо расвирепевшего Бена Уэкса; игра была выиграна, выиграна с убедительным счетом, хотя Роберт забыл побежать и выиграть десятое очко; «оттонцы» все еще искали мяч — они ползали далеко за дорогой в траве вдоль стены пивоварни; в заключительном свистке Бена Уэкса явственно прозвучала досада. «Счет 38:34 в пользу гимназии Людвига»,— объявил помощник судьи. «Ах» перешло в громкое «ура», прокатилось по всему полю, а в это время Роберт взял свою биту и воткнул ее нижним

концом в траву, немного приподнял, снова опустил и, найдя, как ему казалось, правильный угол, наступил ногой на самую хрупкую часть биты, туда, где у ручки она утончалась; восхищенные гимназисты окружили Фемеля, все замолкли, охваченные волнением; они чувствовали, что здесь свершается чудо — Фемель ломает свою знаменитую биту; древесина на месте перелома казалась мертвенно-белой; гимназисты уже завязали драку, они ожесточенно бились за каждую щепку, как за реликвию, вырывали друг у друга обрывки лейкопластыря; Фемель с испугом смотрел на их разгоряченные, поглупевшие лица, на горящие возбуждением и восторгом глаза; здесь в этот летний вечер 14 июля 1935 года он ощутил горечь дешевой славы — в субботу на окраине города, на вытоптанной лужайке, по которой Бен Уэкс в эту минуту гонял первоклассников гимназии Людвига, чтобы они собрали флажки, воткнутые по углам. Далеко за дорогой у стены пивоварни все еще виднелись сине-желтые майки: «оттонцы» искали мяч; но вот они робкими шагами перешли шоссе, собрались посреди поля, построились в одну шеренгу в ожидании его, капитана команды гимназии Людвига, который должен был прокричать «гип-гип ура»; он медленно подошел к обеим шеренгам — Шрелла и Неттлингер стояли рядом, словно ничего не произошло, решительно ничего, а тем временем младшие гимназисты дрались за щепки от его биты; Фемель сделал еще несколько шагов; восхищение зрителей он ощущал физически: как нечто тошнотворное; он три раза прокричал «гип-гип ура»; «оттонцы», словно побитые собаки, опять побрели искать мяч; не найти мяч считалось несмыслимым позором.

— А ведь я знал, Гуго, что Неттлингеру очень хотелось победить! «Любой ценой добиться победы», — говорил он, и сам же поставил на карту нашу победу, лишь бы противники имели возможность все время бить в Шреллу, да и Бен Уэкс был с ними заодно; я понял это, единственный из всех.

Подходя к раздевалке, Роберт уже заранее боялся Шреллы и того, что он скажет. Вдруг стало заметно прохладнее, ползучий вечерний туман подымался с лугов, шел от реки, как бы обволакивая слоями ваты дом, где помещалась раздевалка. Почему, почему они так обращались со Шреллой? Подставляли ему ножку, когда на перемене он спускался по лестнице, и Шрелла ударялся головой о стальные края ступенек, а металлическая дужка очков впивалась ему в мочку уха; Уэкс тогда с большим опозданием появлялся из учительской, держа в руках аптечку, а Неттлингер с презрительной миной брал лейкопластырь, и Уэкс, туго натянув, отрезал от него кусок. Они нападали на Шреллу, когда тот шел домой, затаскивали его в подъезды, избивали около мусорных ведер и поломанных детских колясок, спихивали вниз с темных лестниц, ведущих в подвалы, и однажды он долго пролежал там со сломанной рукой; он лежал на лестнице, где валялись пыльные консерв-



ные банки и пахло углем и прорастающим картофелем, до тех пор, пока мальчик, которого послали за яблоками, подняв тревогу, не переполошил жильцов. Только несколько человек не участвовали в этой травле: Эндерс, Дришка, Швойгель и Хольтен.

Когда-то давно он дружил со Шреллой; они ходили вместе в гости к Тришлеру, жившему в Нижней гавани: отец Шреллы служил кельнером в пивной у отца Тришлера; они играли на старых баржах, на заброшенных понтонах и удили с лодки рыбу.

Он остановился перед раздевалкой и услышал возбужденные голоса, все говорили разом, хрипло, охваченные мифотворческим волнением, они обсуждали легендарный полет мяча; можно было подумать, что мяч исчез в надзвездных сферах.

— Я ведь видел, как он летел, словно камень, пущенный из пращи великана.

— Я видел его — мяч, который забил Роберт.

— Я слышал, как он летел — мяч, который забил Роберт.

— Им его не найти — мяч, который забил Роберт.

Когда он вошел, они замолчали; во внезапно наступившей тишине чувствовался благоговейный страх перед тем, что он совершил, перед тем, чему никто не поверит, перед тем, что никому невозможно рассказать: кто, в самом деле, возьмется засвидетельствовать это чудо — описать полет мяча Роберта?

Они побежали босиком в душевые кабинки, перекинув через плечо мохнатые полотенца; только Шрелла не пошел с ними, он оделся, так и не приняв душа, и лишь сейчас Роберт вспомнил, что Шрелла никогда не принимал душа после игры. Он никогда не снимал майки; сейчас он сидел на скамейке, и фонари у него под глазами отливали желтым и синим; над губой, там, где он стер кровавую полосу, еще не совсем просохло; кожа на предплечье посинела от ударов мяча, того самого, который «оттонцы» все еще искали; Шрелла опустил рукава своей застиранной рубашки, потом надел куртку, вынул из кармана книгу и прочел вслух: *«Когда колокола под вечер возвещают мир»*.

Было мучительно сидеть вдвоем со Шреллой и читать благодарность в его бесстрастных глазах, слишком бесстрастных, чтобы ненавидеть; он поблагодарил своего спасителя, забившего последний мяч, лишь чуть заметным движением ресниц и мимолетной улыбкой; и Фемель так же мимолетно усмехнулся в ответ, затем повернул голову к металлической вешалке, разыскал свою одежду, решив поскорее исчезнуть, не моясь под душем; над его вешалкой кто-то уже успел нацарапать на оштукатуренной стене: *«Мяч Фемеля, 14 июля 1935 года»*.

Пахло кожаными гимнастическими снарядами и сухой землей, которая осыпалась с футбольных и волейбольных мячей и с мячей для игры в лапту, а потом забивалась в трещины бетонного пола; в углах стояли грязные зелено-белые флажки, рядом с расщепленным веслом были развешаны для просушки футболь-

ные сетки, на стене висел пожелтевший от времени диплом за треснувшей стеклянной витриной: «Зачинателям футбольного спорта, старшеклассникам гимназии Людвига, 1903 год. Председатель окружного спортивного общества». Групповой фотоснимок был обрамлен лавровым венком; на Фемеля взирали мускулистые восемнадцатилетние юноши рождения 1885 года, усытые, с животным оптимизмом глядевшие в будущее, которое уготовила им судьба: истлеть под Верденом, истечь кровью в болотах Соммы или же, покаясь на Кладбище героев у Шато-Тьерри, побудить пятьдесят лет спустя туристов, направляющихся в Париж, занести в попорченную дождем книгу примирительные сентенции, продиктованные торжественностью минуты; в раздевалке пахло железом, пахло ранней возмужалостью, с улицы проникал сырой туман, поднимавшийся легкими облаками с прибрежных лугов; из трактира наверху доносились низкие голоса мужчин, подгулявших в этот субботний вечер, хихиканье кельнерш, звон пивных кружек, а в конце коридора игроки в кегли уже принялись за работу — они бросали шары, и кегли летели кувырком; торжествующие или разочарованные выкрики партнеров неслись по всему коридору, вплоть до раздевалки.

Щурясь, несмотря на тусклое освещение, и зябко поднимая плечи, Шрелла притулился у стены. Фемель не мог больше оттягивать разговор; он еще раз проверил, хорошо ли завязан галстук, разгладил последнюю складочку на воротнике своей спортивной рубашки — он был аккуратен, неизменно аккуратен, — еще раз засунул в ботинки концы шнурков и пересчитал мелочь, приготовленную на обратную дорогу; из душевых уже возвращались первые игроки, разговаривая «о мяче, который забил Роберт».

— Пошли вместе?

— Хорошо.

Они поднялись по обшарпанным бетонным ступенькам, на которых грязь лежала еще с весны, валялись бумажки от конфет и пустые пачки из-под сигарет, и вышли на дамбу, где гребцы, обливаясь потом, вкатывали лодку на цементную дорожку; в полном молчании брели они рядом по дамбе, перекинутой через низкие пласты тумана, словно мост; они слышали паровозные гудки, видели красные и зеленые сигнальные огни на мачтах пароходов; от верфи летели красные искры, вычерчивая геометрические фигуры в сером небе; мальчики молча дошли до моста, поднялись по лестнице вверх, туда, где на красном песчанике были нацарапаны надписи, увековечившие тайные вожделения молодых людей, возвращавшихся с купанья; грохот товарного поезда, проезжавшего по мосту, на некоторое время избавил их от необходимости говорить: на западный берег везли отходы — шлак; покачивались сигнальные огни, пронзительные свистки направляли поезд, который, пятась задом, переходил на другой путь; внизу в тумане скользили пароходы, держа курс на север; жалобный вой сирен, предупреждавший о смертельной

опасности, тоскливо разносился над водой; из-за всего этого шума, к счастью, нельзя было разговаривать.

— И я остановился, Гуго, прислонясь к перилам, лицом к реке, вытащил из кармана пачку сигарет и предложил сигарету Шрелле, он дал мне прикурить, и мы молча курили, в то время как позади нас поезд, гроыхая, съезжал с моста; под нами почти беззвучно двигался караван барж, направляясь к северу; было слышно, как баржи мягко скользили под пеленой тумана да временами из трубы какой-нибудь судовой кухни с легким треском вылетали искры; на несколько минут воцарилась тишина, а потом следующая баржа мягко заскользила под мостом — на север, на север, к туманам Северного моря; и мне стало страшно, Гуго, потому что теперь мне надо было задать вопрос Шрелле, а я знал: стоит мне произнести первый вопрос, и я увязну во всей этой истории, увязну накрепко и никогда больше с ней не разделаюсь, видно, это была страшная тайна, если из-за нее Неттлингер поставил на карту нашу победу и «оттонцы» согласились, чтобы судьей был Бен Уэкс; стояла почти абсолютная тишина, и она придавала вопросу, который просился с моих губ, особый вес, она приобщала его к вечности, и мысленно, Гуго, я уже прощался со всем, хотя еще не знал, почему и ради чего; я прощался с темной башней Святого Северина, вздымавшейся над низко стелющимся туманом, и с отчим домом, тут же, неподалеку от Святого Северина; в это время моя мать заканчивала приготовления к ужину — поправляла серебряные приборы, бережно уставляла цветы в маленьких вазочках, пробовала вино, достаточно ли охлаждено белое и не слишком ли остыло красное. Собираясь справить субботний день с субботней торжественностью, она уже взялась за свой требник; мать сейчас начнет объяснять воскресную литургию своим кротким голосом, в котором звучали покаянные великопостные ноты: «*Паси агнцев Моих*»; я мысленно прощался со своей комнатой в задней половине дома, выходившей в сад, где вековые деревья еще стояли в летнем уборе и где я со страстью углублялся в математические формулы, в строгие кривые геометрических фигур, в по-зимнему ясные переплетения сферических линий, проведенных моим циркулем и моим рейсфедером, — там я чертил церкви, которые когда-нибудь построю. Щелкнув пальцем по окурку, Шрелла швырнул его в туман; красный огонек, медленно кружась, опускался вниз; Шрелла с улыбкой повернулся ко мне, ожидая вопроса, который я все еще не решался задать, и покачал головой.

Цепочка огней отчетливо вырисовывалась над пеленой тумана на берегу.

— Идем, — сказал Шрелла, — вот они уже явились, разве ты не слышишь?

Я слышал: мост дрожал от их шагов; они перечисляли места,

куда скоро поедут на каникулы: Альгой, Вестервальд, Бадгастайн, Северное море; они говорили «о мяче, который забил Роберт». На ходу мне было легче задать ему вопрос.

— Что это значит? — спросил я. — Что это значит? Ты — еврей?

— Нет.

— Кто же ты тогда?

— Мы — агнцы, — сказал Шрелла, — мы поклялись не принимать «причастие буйвола».

— Агнцы. — Я испугался этого слова. — Это секта? — спросил я.

— Пожалуй.

— А не партия?

— Нет.

— Я бы не смог, — сказал я, — я не могу быть агнцем.

— Значит, ты хочешь принимать «причастие буйвола»?

— Нет, — сказал я.

— Пастыри... — сказал он, — есть пастыри, которые не покидают своего стада...

— Скорее, — прервал я его, — скорее, они уже совсем близко.

Мы сошли вниз по темной лестнице на западной стороне моста; когда мы добрались до шоссе, я поколебался секунду: чтобы пойти домой, мне нужно было свернуть направо, а Шрелле налево, — но потом я все же отправился с ним налево; дорога к городу петляла между дровяными складами, сараями и небольшими огородами. За первым же поворотом мы остановились, теперь мы углубились в туман, низко стелющийся над землей, увидели, как силуэты школьных товарищей движутся над перилами моста, слышали шум их шагов, их голоса, а когда они начали спускаться вниз и эхо загрохотало, повторяя стук подбитых гвоздями башмаков, чей-то голос прокричал: «Неттлингер, Неттлингер, подожди же!» Громкий голос Неттлингера в свою очередь разбудил над рекой гулкое эхо; разбившись о быки моста, оно вернулось к нам, а потом затерялось где-то позади в огородах и в складских помещениях; Неттлингер закричал: «Где же наша овечка и ее пастырь?», и смех, многократно повторенный раскатами эха, осыпал нас ледяными осколками.

— Ты слышал? — спросил Шрелла.

— Да, — сказал я, — овца и пастырь.

Мы смотрели на тени замешкавшихся мальчиков, которые двигались над мостом; пока они спускались, их голоса звучали глухо, а когда они пошли по шоссе, голоса стали звонче, дробясь под сводами моста: «Мяч, который забил Роберт».

— Расскажи мне все по порядку, — сказал я Шрелле. — Я должен знать все по порядку.

— Я тебе просто покажу, — ответил Шрелла, — пошли.

Мы ощупью пробирались сквозь туман мимо изгородей из колючей проволоки, потом дошли до деревянного забора, еще пахнущего свежим деревом и отсвечивающего желтым; электриче-

ская лампочка над закрытыми воротами освещала эмалевую вывеску: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты».

— Ты еще помнишь эту дорогу? — спросил Шрелла.

— Да,— сказал я,— семь лет назад мы часто ходили здесь вместе, а потом играли там внизу у Тришлера. Кем стал теперь Алоиз?

— Он моряк, как и его отец.

— А твой отец все еще служит кельнером внизу в портовом кабачке?

— Нет, он теперь работает в Верхней гавани.

— Ты хотел что-то показать мне?

Шрелла вынул изо рта сигарету, снял куртку, спустил с плеч подтяжки, поднял рубашу и повернулся ко мне спиной; при тусклом свете лампочки я увидел, что его спина сплошь покрыта небольшими красновато-синими рубцами величиной с фасолину — правильной было бы сказать, усеяна рубцами, подумал я.

— Боже мой, что это? — спросил я.

— Это — Неттлингер,— ответил он,— они занимаются этим внизу, в старой казарме на Вильгельмскуле, Бен Уэкс и Неттлингер. Они называют себя вспомогательной полицией; меня они схватили во время облавы на нищих, которую устроили в районе гавани; за один день там взяли тридцать восемь нищих, среди них был и я. Нас допрашивали, избивая бичом из колючей проволоки. Они говорили: «Признайся, что ты нищий», а я отвечал: «Да, я нищий».

Запоздалые посетители все еще сидели за завтраком в ресторане, потягивая апельсиновый сок с таким видом, словно это запретный напиток; бледный мальчик, прислонившийся к двери, походил на статую; от лилового бархата ливреи лицо его казалось зеленым.

— Гуго, Гуго, ты слышишь, что я говорю?

— Да, господин доктор, слышу каждое слово.

— Принеси мне, пожалуйста, рюмку коньяку, двойную порцию.

— Да, господин доктор.

Пока Гуго спускался по лестнице в ресторан, на него суровым оком взидало время с большого календаря, с которым мальчик каждое утро возился — он переворачивал большую картонную цифру и вдвигал под нее табличку с наименованием месяца, а еще ниже — года; было «6 сентября 1958 года». У Гуго кружилась голова, все эти события произошли задолго до его рождения, и это отбрасывало его на десятилетия, на пятидесятилетия назад — 1885, 1903 и 1935, эти годы были скрыты в глуби времен, и все же они реально существовали; они воскресли в голосе Фемеля, который, прислонясь к бильярду, смотрел на площадь перед Святым

Северином. Гуго крепко держался за перила и глубоко дышал, как человек, который выплыл на поверхность; потом он открыл глаза и быстро шмыгнул за большую колонну.

Вот она спускается по лестнице, босая, в пастушеском наряде — поношенная кожаная безрукавка закрывает ей грудь и бедра, от девушки пахнет овечьим навозом; сейчас она примется за пшеничную кашу с черным хлебом, съест несколько орехов и будет пить овечье молоко, которое хранят для нее в холодильнике; она возит с собой термосы с молоком, возит маленькие коробочки с овечьим навозом, который заменяет ей духи; она пропитывает им свое грубое вязаное белье из небеленой шерсти; после завтрака она часами сидит в холле внизу, вяжет, вяжет без конца, прерывая это занятие только для того, чтобы подойти к стойке и взять стакан воды; скрестив голые ноги на кушетке, выставив на всеобщее обозрение грязные мозоли на ступнях и покуривая короткую трубочку, она принимает своих отроков и отроковиц, которые одеты так же, как она, и пахнут, как она; они усаживаются вокруг нее на ковре, скрестив ноги, и вяжут, время от времени открывая маленькие коробочки, которые дает им Госпожа, и вдыхая запах овечьего навоза с таким видом, словно это самый изысканный аромат; через определенные промежутки времени, не вставая с кушетки, она откашливается и спрашивает своим детским голоском:

— Как мы спасем мир?

А отроки и отроковицы отвечают:

— Овечьей шерстью, овечьей кожей, овечьим молоком и вязаньем.

Спицы позвякивают, в холле тихо, и только время от времени кто-нибудь из отроков подлетает к стойке и приносит Госпоже стакан холодной воды, и снова с кушетки доносится кроткий девичий голосок: «В чем блаженство мира?» — и все хором отвечают: «В овце».

Порой, когда они открывали коробочки и восторженно нюхали навоз, с треском вспыхивал магний и скрипели перья журналистов, быстро строчивших что-то на листках своих записных книжек.

Гуго медленно отступал все дальше, пока овечья жрица, огибая колонну, шла в зал завтракать: Гуго боялся ее, он видел, какими жесткими становились ее кроткие глаза, когда она оставалась с ним наедине, перехватив его на лестнице или у себя в номере, куда приказывала Гуго принести ей молоко; она встречала его с сигаретой во рту, вырывала у него из рук стакан и, смеясь, выплескивала молоко в раковину, а себе наливала коньяк и с рюмкой в руках подходила к нему, заставляя его медленно пятиться к двери.

— Неужели тебе еще никто не говорил, что твое лицо — золото, чистое золото, глупый ты мальчик? Хочешь, я сделаю тебя агнцем божьим в моей новой религии? Ты будешь знаменит и богат, они падут пред тобой ниц в еще более шикарных отелях, чем этот. Ты, видно, здесь новичок и плохо знаешь людей — их скуку можно

разогнать только какой-нибудь новой религией, и чем глупее, тем лучше,— нет, убирайся, ты слишком глуп.

Он смотрел ей вслед, пока она с неподвижным лицом проходила в ресторан завтракать и кельнер держал перед ней дверь. Тогда Гуго вышел из-за колонны и медленно направился в зал, сердце у него все еще сильно билось.

— Рюмку коньяку для доктора в бильярдной, двойную порцию.

— Из-за твоего доктора заварилась хорошая каша.

— Как так?

— Я еще сам толком не знаю. Кажется, кому-то он срочно понадобился, твой доктор. На тебе коньяк, и побыстрее сматывайся, за тобой охотится по меньшей мере два десятка старых и молодых баб. Да живее, одна из них как раз спускается по лестнице.

Вид у нее был такой, словно она за завтраком пила чистую желчь, она была в золотистом платье и золотых туфлях, в шляпке и с муфтой из львиного меха. Стоило ей появиться, как всех охватывало отвращение, некоторые суеверные постояльцы закрывали себе лицо. Из-за нее отказывались от места горничные, кельнеры не желали ее обслуживать. И только Гуго, когда ей удавалось его настичь, вынужден был часами играть с ней в канасту<sup>1</sup>, пальцы ее походили на куриные когти; единственно человеческое, что в ней было,— это сигарета, торчавшая во рту.

«...Любовь, мой мальчик... Я никогда не знала, что это такое; все, решительно все дают мне понять, что я вызываю только чувство омерзения. Мать проклинала меня десять раз на дню, не стесняясь, выражала мне свое отвращение. Моя мать была красивая молодая женщина; мой отец, мои сестры и братья тоже были молодые и красивые; если бы у них хватило мужества, они бы меня отравили, они говорили, что «такой, как я, не следовало родиться». Мы жили высоко на горе в желтой вилле над сталелитейным заводом; вечерами тысячи рабочих покидали завод: их ожидали веселые девушки и женщины; смеясь, рабочие спускались вместе со своими подружками по грязной дороге. Я вижу, слышу, чувствую, я ощущаю запахи, как все другие люди, я умею писать, читать, считать; я различаю, что вкусно и что невкусно, но ты первый, кто оказался в состоянии провести со мной больше получаса, слышишь, первый».

Эта женщина вселяла ужас, и за ней неотступно следовала тень беды; бросив ключ от номера на конторку, она крикнула бою, который заменял Йохена: «Гуго, где же Гуго?» — а когда бой пожал плечами, пошла к вращающейся двери; кельнер, который толкнул дверь, опустил глаза; как только женщина вышла на улицу, она закрыла лицо вуалью.

«В отеле я ее не ношу, мой мальчик, пусть люди получают удовольствие, пусть за мои деньги смотрят мне в лицо, но прохожие... они этого не заслужили».

<sup>1</sup> Карточная игра.

— Вот коньяк, господин доктор!

— Спасибо, Гуго.

Гуго любил Фемеля; каждое утро тот приходил в половине десятого и освобождал его до одиннадцати; благодаря Фемелю он уже познал чувство вечности; разве так не было всегда, разве уже сто лет назад он не стоял здесь у белой блестящей двери, заложив руки за спину, наблюдал за тихой игрой в бильярд, прислушиваясь к словам, которые то отбрасывали его на шестьдесят лет назад, то бросали на двадцать лет вперед, то снова отбрасывали на десять лет назад, а потом внезапно швыряли в сегодняшний день, обозначенный на большом календаре. Белые шары катились по зеленому полю, красные по зеленому — красно-белое по зеленому, — никогда не вылетая за пределы двух квадратных метров зеленого сукна, окруженного бортами; все здесь было чисто, ясно и точно и продолжалось с половины десятого до одиннадцати утра; раза два-три Гуго спускался вниз за двойной порцией коньяка; время переставало быть величиной, по которой можно было о чем-то судить, прямоугольная зеленая промокашка сукна, казалось, всасывала его; напрасно били часы, напрасно стрелки в бессмысленной спешке гнались друг за другом; с приходом Фемеля все останавливалось, все прекращалось, и как раз тогда, когда было больше всего работы: старые постояльцы съезжали, новые появлялись, а Гуго стоял здесь как прикованный, пока на башне Святого Северина не пробьет одиннадцать. Но когда это будет? Кто знает, когда пробьет одиннадцать? Он находился как бы в безвоздушном пространстве, и часы переставали показывать время; он погружался куда-то очень глубоко, двигался по дну океана; действительность не проникала сюда, она оставалась снаружи, будто за стенками аквариума или за стеклами витрин; прильнув к ним, она сплющивалась, теряла свою объемность, сохраняя лишь одно линейное измерение, словно картинка, вырезанная из детского альбома; люди там, снаружи, казалось, набросили на себя одежды только на время, как картонные куклы, и беспомощно ударялись о стены из стекла, которые были толще, чем столетия; вдали виднелась тень Святого Северина, еще дальше — вокзал и поезда: курьерские поезда, поезда дальнего следования, экспрессы, воинские эшелоны и товарные составы, все они везли чемоданы к таможням, но единственной реальностью были три бильярдных шара, которые катились по зеленой промокашке, образуя все новые и новые геометрические фигуры; на двух квадратных метрах в тысяче образов рождалась бесконечность; Фемель создавал ее своим кием, а тем временем голос его терялся в глубинах времен.

— А продолжение у этой истории будет, господин доктор?

— Хочешь узнать его?

— Да.

Фемель засмеялся, пригубил рюмку с коньяком, закурил новую сигарету, взял в руки кий и толкнул красный шар; красный и белый шары покатались по зеленому полю.

— Через неделю после этого, Гуго...



— После чего?

Фемель опять рассмеялся.

— ...прошла неделя после игры в лапту, после этой даты — четырнадцатого июля тысяча девятьсот тридцать пятого года, которую они нацарапали на штукатурке поверх металлической вешалки, и я понял, как хорошо, что Шрелла напомнил мне дорогу к дому Тришлера. Я стоял в Нижней гавани, у балюстрады старой таможни; оттуда я мог хорошо обозреть дорогу, пробежавшую мимо дровяных сараев и угольных складов, спускавшуюся к лавке строительных материалов, а затем к гавани, которая была обнесена ржавой железной оградой — теперь она служила только кладбищем кораблей. Последний раз я приходил сюда семь лет назад, но мне казалось, что с того времени прошло лет пятьдесят. Мне минуло тринадцать, когда мы вместе со Шреллой ходили к Тришлеру; длинные караваны барж становились по вечерам на якорь у откоса; жены моряков с кошелками в руках поднимались по шатким сходням на берег, у женщин были свежие лица и уверенный взгляд, а за ними шли мужчины; они спрашивали пиво и газеты; мать Тришлера с беспокойством оглядывала свои товары — капусту, помидоры и золотистые луковицы, связки которых висели на стене, а в это время пастух на дороге короткими резкими окриками понукал собак, сгонявших овец в загоны; напротив, на этом, здешнем, берегу, Гуго, зажигались газовые фонари; желтоватый свет наполнял белые колпаки, рядами убегавшие на север, в бесконечность; отец Тришлера зажигал фонари в своем кафе в саду, а отец Шреллы с белой салфеткой, перекинутой через руку, торопился в трактир для грузчиков, где мы, мальчики — Тришлер, Шрелла и я, — кололи лед, чтобы засыпать им ящики с пивом.

И вот, милый Гуго, семь лет спустя, в тот день двадцать первого июля тысяча девятьсот тридцать пятого года, на всех заборах облупилась краска, и я увидел, что на угольном складе Михаэлиса заново покрашены только ворота: у забора истлевала большая куча брикетов; я все время следил за петлями дороги — не преследует ли меня кто-нибудь; я устал, раны на спине давали себя знать, боль ощущалась вспышками, подобно ударам пульса; уже минут десять, как на дороге никто не появлялся, я взглянул на узкую, покрытую рябью полосу прозрачной воды, соединявшую Нижнюю гавань с Верхней; лодок не было, взглянул на небо — самолетов тоже не было, и подумал: ты, видно, принимаешь себя слишком всерьез, если воображаешь, что за тобой пошлют самолеты.

Да, я это сделал, Гуго, отправился вместе со Шреллой в маленькое кафе «Цонз» на Буассерештрассе, где встречались «агнцы», шепнул хозяину пароль «Паси агнцев Моих» и поклялся, поклялся, глядя прямо в глаза молоденькой девушке, которую звали Эдит, никогда не принимать «причастия буйвола», а потом в темной задней комнате произнес речь, в которой звучало немало зловещих слов, не имеющих ничего общего с агнцами, эти слова пахли кровью, мятежом и местью, местью за Ферди Прогульске, которого утром казнили; все те, кто сидел за столом и слушал меня, казались

уже обезглавленными; им было страшно, они знали теперь, что, когда дети задумали что-нибудь всерьез, они не менее серьезны, чем взрослые; их мучал страх и сознание того, что Ферди действительно мертв; ему было семнадцать лет, он был бегуном на сто метров и работал подмастерьем у столяра; я видел его всего четыре раза, но никогда в жизни не забуду — дважды я видел его в кафе «Цонз» и дважды у нас дома. Ферди прокрался в квартиру Бена Уэкса и, когда тот вышел из спальни, бросил ему под ноги бомбу; Бен Уэкс отделался всего лишь ожогом ног, в гардеробе разбилось зеркало, в комнате слегка запахло порохом... Это было, Гуго, глупостью, совершенной оттого, что Ферди по-детски понимал благородство. Ты слушаешь меня, ты в самом деле меня слушаешь? — Слушаю!

— Я читал Гёльдерлина: *«И сострадав, сердце всевышнего твердым останется»*, а Ферди читал только Карла Мая<sup>1</sup>, который, как ему казалось, тоже проповедовал благородство; свою глупость он искупил под топором палача; это случилось на рассвете, когда колокола звонили к ранней мессе, когда булочники отсчитывали теплые булочки в полотняные мешочки, а здесь, в отеле «Принц Генрих», приносили завтрак первым посетителям; щебетали птицы, молочницы в туфлях на резиновой подошве неслышно входили в тихие парадные, чтобы поставить бутылки с молоком на чистые кокосовые циновки; рассыльные на мотоциклах носились по всему городу от одного афишного столба к другому, наклеивая плакаты, обведенные красной каймой: «Смертный приговор подмастерью Фердинанду Прогульске!» — плакат, который читали первые прохожие, трамвайщики, школьники и учителя, все те, кто по утрам с бутербродами в карманах спешит к остановкам трамвая и еще не успел раскрыть местную газету, сообщавшую об этом событии броским заголовком «Поучительная казнь»; я, Гуго, прочел это вот здесь, на углу, ожидая седьмой номер трамвая.

Когда я слышал голос Ферди по телефону, вчера или позавчера? «Ты ведь придешь в кафе «Цонз», как условлено?» Пауза. «Придешь или не придешь?» — «Приду».

Эндерс хотел втащить меня за рукав в трамвай, но я вырвался, дождался, когда трамвай скроется за углом, подбежал к остановке на противоположной стороне улицы, где до сих пор еще ходит шестнадцатый номер, проехал через тихие пригороды к Рейну, а потом снова прочь от Рейна и все дальше от города, пока трамвай не завернул наконец на круг к конечной остановке, петляя между гравийными карьерами и бараками. Лучше бы сейчас была зима, думал я, зима, холод, дождь и небо, покрытое тучами, но зимы не было, и все казалось мне невыносимым; плутая между огородами, я видел абрикосы и горох, помидоры и капусту; я слышал, как дребезжат пивные бутылки и звонит колокольчик мороженщика, который стоял на перекрестке и накладывал ванильное мороженое

---

<sup>1</sup> Автор многочисленных, широко распространенных в Германии приключенческих романов для юношества.

в ломкие вафли. Как они только могут, думал я, как они могут есть мороженое, пить пиво и мять в руках абрикосы в то время, как Ферди... Было около полудня, я скармливал свои бутерброды угрюмым курам, которые чертили неясные геометрические фигуры на грязной земле во дворе у старьевщика; из окна раздался женский голос: «Ты читал про этого мальчика, которого...», — и мужской голос произнес в ответ: «Молчи же, черт побери, знаю...» Я бросил бутерброды курам, побежал дальше и начал блуждать между железнодорожными насыпями и ямами с грунтовой водой, добрался опять до какой-то конечной остановки, проехал через незнакомые пригороды, вышел, вывернул наизнанку карманы брюк: на серую дорогу тоненькой струйкой посыпался черный порошок; я побежал дальше, снова замелькали железнодорожные насыпи, склады, фабрики, огороды, дома; в каком-то кино кассирша как раз подняла стекло в окошке: «Сеанс в три часа». Было ровно три. «Пятьдесят пфеннигов». Я был единственным зрителем; железная крыша кино плавилась от жары; любовь... кровь... обманутый любовник обнажил нож... Я заснул и проснулся лишь в тот момент, когда зрители с шумом устремились в зал на шестичасовой сеанс; шатаюсь, я вышел на улицу. Где я забыл свой школьный портфель? В кино? А может, у гравийного карьера, я долго сидел там, наблюдая за мокрыми грузовиками. Возможно также, портфель остался в том месте, где я бросал хлеб угрюмым курам. Когда я слышал голос Ферди по телефону, вчера или позавчера? «Ты ведь придешь в кафе «Цонз», как условлено?» Пауза. «Придешь или не придешь?» — «Приду».

Свидание с обезглавленным. Глупость, которая уже сейчас казалась мне священной, потому что за нее пришлось платить дорогой ценой. Вчера перед кафе «Цонз» меня ожидал Неттлингер. Они привели меня на Вильгельмскуле, избили бичом из колючей проволоки, исполосовали мне всю спину; сквозь ржавые решетки на окнах я видел откос, где играл ребенком; мяч все время скатывался по склону, и я то и дело сползал вниз и подымал мяч, боязливо вглядываясь в ржавые решетки; у меня было такое чувство, будто там, за грязными стеклами, свершаются недобрые дела; Неттлингер живого места на мне не оставил.

В камере я попытался снять с себя рубаху, но рубаха и кожа были совершенно искромсаны, они превратились в сплошное месиво, и, когда я тянул за воротник и за рукава рубахи, мне казалось, что я через голову сдираю с себя кожу.

Нелегко даются такие мгновения; усталый, стоял я у балюстрады старой таможни, ощущая не столько гордость за то, что отмечен врагами, сколько боль; голова моя опустилась на перила, губы коснулись ржавых железных прутьев; было приятно ощущать во рту горечь старого железа; до Тришлеров — всего лишь минута ходу, там я узнаю, ожидают ли они меня. Я испугался: какой-то рабочий с котелком под мышкой шел вверх по улице, а потом скрылся в воротах лавки строительных материалов. Спускаясь

по лестнице, я так крепко вцепился в перила, что к ладоням пристала ржавчина.

От веселого перестука клепальных молотков, который я слышал здесь семь лет назад, остался сейчас только слабый отголосок; всего лишь один молоток стучал на понтоне, где какой-то старик разбирал лодку: гайки, загремев, падали в коробку, доски ударялись о землю, и по стуку было ясно, что они совсем гнилые; старик выслушивал мотор так, как выслушивают сердце любимого существа; он низко нагибался, вытаскивая из лодки различные детали — болты, крышки, насадки; потом он поднял к свету цилиндр и, прежде чем бросить его в коробку с гайками, долго разглядывал и даже обнюхивал; за лодкой стоял старый ворот, на котором висел обрывок каната, гнилой, как истлевший чулок.

Воспоминания о людях и событиях были всегда связаны для меня с воспоминаниями о движениях, которые запечатлевались в моей памяти в виде геометрических фигур. Я помню, как перегнулся через балюстраду, как поднял и опустил голову, поднял и опустил, чтобы осмотреть улицу, — воспоминание обо всем этом вновь вызвало в моем сознании слова, краски, образы и ощущения. Я не вспомнил, как выглядел Ферди, зато я вспомнил, как он зажигал спичку, как он слегка откидывал голову, говоря «да-да», «нет-нет», вспомнил складки на лбу Шреллы и как он пожимал плечами, походку отца, жесты матери, движение, каким бабушка убирала волосы со лба; старик, на которого я смотрел с откоса, в этот миг сбивал с большого винта кусочки прогнившего дерева; то был отец Тришлера — эти движения были свойственны только ему одному; когда-то я наблюдал за ним, видел, как он вскрывал ящики и снова забивал их гвоздями; в ящиках была контрабанда, которая тайно переправлялась через границу в темном чреве пароходов, — ром и изюм, сигареты и шоколад; там, в трактире для грузчиков, эта рука делала движения, присущие ей одной. Старик поднял глаза, подмигнул мне и сказал:

— Послушай, сынок, ведь эта дорога никуда не ведет.

— Она ведет к вашему дому, — ответил я.

— Мои гости приезжают ко мне по воде, даже полиция, да и мой сын тоже приезжает на лодке, правда, он приезжает редко, очень редко.

— Полиция уже там?

— Почему ты об этом спрашиваешь, сынок?

— Потому что меня ищут.

— Ты что-нибудь украл?

— Нет, — сказал я, — просто я отказался принимать *«причастие буйвола»*.

Корабли, думал я, корабли с темным чревом и капитаны, умеющие обманывать таможенников, я займу не много места, не больше, чем свернутый в трубку ковер; я хочу перебраться через границу, запятанный в свернутый парус.

— Спускайся вниз, — сказал Тришлер, — наверху тебя могут увидеть с того берега.

Я повернулся и начал медленно скользить вниз к Тришлеру, цепляясь за траву.

— Ах,— сказал старик,— я знаю, кто ты, но запомнил твое имя.

— Фемель,— сказал я.

— Ясно, тебя ищут, и сегодня утром даже объявили об этом по радио, я мог и сам догадаться, что речь идет о тебе, ведь они назвали твою приметку — красный шрам на переносице; ты ударился головой о железный борт лодки во время паводка, когда мы переплывали через реку и налетели на доски моста,— я тогда не сообщил, что течение такое сильное.

— Да, и мне не разрешили больше здесь бывать.

— Но ты еще бывал здесь.

— Недолго, до тех пор, пока не поссорился с Алоизом.

— Пойдем, только смотри нагнись, когда будем проходить под разводным мостом, иначе опять набьешь себе шишку и тебе больше не разрешат здесь бывать. Как тебе удалось удрать от них?

— Неттлингер пришел на рассвете ко мне в камеру и вывел меня через подземный ход, который тянется до самой железнодорожной насыпи на Вильгельмскуле. Неттлингер сказал: «Сматывайся, беги! Но в твоём распоряжении только один час, через час я должен сообщить о тебе полиции»,— мне пришлось петлять по всему городу, чтобы добраться сюда.

— Так, так,— сказал старик,— значит, вам приспичило бросать бомбы! Приспичило устраивать заговоры и... Вчера я уже переправил одного парня через границу.

— Вчера? — спросил я.— Кого?

— Шреллу,— сказал он,— он здесь скрывался, и я заставил его уехать на «Анне Катарине».

— Алоиз когда-то хотел стать рулевым на «Анне Катарине».

— Он и стал рулевым на «Анне Катарине»... а теперь пошли.

Когда мы пробирались по берегу вдоль наклонной стенки набережной к дому Тришлера, я споткнулся и упал, встал и опять упал, и еще раз встал; от толчков моя рубашка то отрывалась от кожи, то снова прилипала к ней и опять отрывалась; я невольно бередил свои раны и чуть было не потерял сознание от боли; в этом состоянии краски, запахи и движения, навеянные тысячей воспоминаний, смешивались воедино и наслаивались одно на другое, но боль вытесняла эти пестрые письмена, мелькавшие как в калейдоскопе.

Половодье, думал я, мне всегда хотелось броситься в разлившуюся реку и дать отнестись себя к серому горизонту.

В забытии меня долго мучил вопрос, можно ли спрятать в котелок бич из колючей проволоки; воспоминания о движениях превращались в линии; линии, соединяясь между собой, складывались в геометрические фигуры — зеленые, черные, красные, напоминали кардиограмму, изображающую биение человеческого сердца; взмах, которым Алоиз Тришлер вытаскивал свою удочку, когда мы ловили рыбу в Старой гавани, жест, которым он забрасывал в воду леску

с наживкой, и жест, которым он указывал на быстрое течение,— все это было точной геометрической фигурой, нарисованной зеленым по серому; Неттлингер, подымающий руку, чтобы бросить Шрелле мяч в лицо, дрожь его губ, подергивание его ноздрей превратились в серую фигуру, похожую на паутину; казалось, какие-то самопишущие аппараты, неизвестно откуда взявшиеся, запечатлели в моей памяти образы различных людей: лицо Эдит вечером после игры в лапту, когда я шел домой со Шреллой, и оно же за городом в Блессенфельдском парке — тогда я смотрел на него сверху вниз, мы лежали в траве, и лицо ее было мокрым от теплого дождя, серебристые капли поблескивали на ее белокурых волосах и скатывались по бровям, лицо Эдит дышало, а вместе с ним подымалась и опускалась корона из серебристых капель. Эта корона в моих воспоминаниях походила на скелет диковинного морского животного, найденный на песке ржавого цвета, или на бесчисленные облачка одной и той же величины; я вспомнил линию ее губ, когда она говорила мне: «Они тебя убьют». То была Эдит.

В забытии меня мучил также потерянный школьный портфель, ведь я всегда был так аккуратен; то я выхватывал серозеленый том Овидия из клюва тощей курицы, то препирался с билетершей в кино из-за стихотворения Гёльдерлина, которое она вырвала из моей хрестоматии, так как оно ей очень понравилось: *«И сострадав, сердце всевышнего твердым останется»*.

Ужин, принесенный госпожой Тришлер,— стакан молока, яйцо, хлеб и яблоко; госпожа Тришлер обмыла вином мою истерзанную спину; ее руки были проворны, словно руки молодой девушки; боль вспыхнула во мне с новой силой, когда она выжимала губку с вином и вино текло по моей иссеченной спине; а потом она принялась лить на нее масло.

— Откуда вы знаете, что так надо? — спросил я.

— Можешь прочесть в Библии, как это делают,— сказала она,— я уже обмывала раны твоему другу Шрелле! Алоиз послезавтра будет здесь, а в воскресенье он пойдет из Рурорта в Роттердам. Будь спокоен,— сказала она,— уж они все устроят; на реке люди знают друг друга, как будто век прожили на одной улице. Хочешь еще молока, дружок?

— Нет, спасибо.

— Не бойся, в понедельник или во вторник ты уже будешь в Роттердаме. Что такое, что с тобой?

Ничего, ничего. Меня все еще разыскивали по красному шраму на переносице. Отец, мать, Эдит: я не хотел ни определять степень моей нежности к ним, ни изливать свою тоску по этим людям в бесконечных жалобах; я смотрел на веселую реку с белыми праздничными пароходами и пестрыми вымпелами; веселыми казались даже грузовые суда — красные, зеленые, синие,— они сновали взад и вперед, груженные углем и дровами; на том берегу виднелась зеленая аллея и белоснежная терраса кафе «Белью», а за ними — башня Святого Северина и красная световая реклама на отеле «Принц Генрих». Оттуда было всего сто шагов до дома моих роди-

телей; как раз сейчас они садились за ужин, за грандиозную трапезу; во главе стола, подобно патриарху, восседал мой отец; субботу у нас справляли с субботней торжественностью; и мать беспокоилась: не слишком ли остыло красное вино и достаточно ли охлаждено белое.

— Выпей еще молока, дружок.

— Спасибо, госпожа Тришлер, мне, право, не хочется.

Рассыльные на мотоциклах носились по городу от одного афишного столба к другому с плакатами, обрамленными красной каймой: «Смертный приговор гимназисту Роберту Фемелю...» Отец будет молиться за ужином: «...они били его ради нас», мать смиренно сложит руки на груди, прежде чем сказать: «Сколько зла в мире. Как мало чистых душ на свете», а башмаки Отто все еще будут выстукивать слово «брат», когда он пройдет по квартире, по каменным плиткам лестницы и по улице, удаляясь вниз к Модестским воротам.

Там, на реке, гудела «Стилте», пронзительные звуки сирены прорезали вечернее небо и, словно белые молнии, бороздили темную синеву. Я лежал на брезенте, будто умерший в открытом море, которого решили похоронить в морской пучине. Алоиз поднял края брезента, чтобы завернуть меня, и я ясно различил слова, вытканые белыми буквами на сером брезенте: «Моррин. Эймёйден». Госпожа Тришлер склонилась надо мной и, плача, поцеловала, а Алоиз медленно завернул меня и бережно поднял на руки, точно я был дорогим его сердцу покойником.

— Сынок, — крикнул старик, — сынок, не забывай нас.

Подул вечерний ветер. «Стилте» еще раз загудела, дружески предостерегая; в загоне заблеяли овцы, мороженщик прокричал «Мороженое! Мороженое!», замолчал и, должно быть, стал накладывать ванильное мороженое в хрупкие вафли. Доска, по которой шел Алоиз, держа меня на руках, слегка пружинила, и чей-то голос тихо спросил: «Это он?», Алоиз так же тихо ответил: «Да, он» — и прошептал мне на прощанье: «Думай о том, что во вторник вечером ты уже будешь в роттердамской гавани». Чьи-то руки понесли меня вниз по лестнице: запахло машинным маслом, углем, а потом дровами; откуда-то издалека доносились гудки, «Стилте» начала сотрясаться, гул нарастал, и я почувствовал, что мы плывем вниз по Рейну, с каждой минутой удаляясь все дальше от Святого Северина.

Тень Святого Северина подползала все ближе, она уже заполнила левое окно бильярдной, а потом дошла и до правого; время, которое передвигалось вместе с солнцем, угрожающе приблизилось, переполняя башенные часы; вот-вот они изрыгнут из себя ужасные удары. А шары все катились — белые по зеленому полю, красные по зеленому, расчленивая годы, нагромождая

друг на друга десятилетия и секунды; о секундах Фемель говорил своим бесстрастным голосом так, словно это были века; только бы мне не пришлось снова идти за коньяком, увидеть число на календаре и часы, встретиться с овечьей жрицей и с той, которой *«не следовало родиться»*, только бы еще раз услышать слова Фемеля: *«Паси агнцев Моих»* — и узнать что-нибудь о женщине, лежавшей когда-то под летним дождем на траве; услышать о кораблях, встающих на якорь, о женах моряков, спускающихся по сходням, и о мяче, который забил Роберт, Роберт, никогда не принимавший *«причастие буйвола»*, Роберт, продолжавший молча играть в бильярд, создавая своим кием разнообразные комбинации шаров на пространстве всего лишь в два квадратных метра.

— А ты, Гуго,— тихо спросил Фемель,— ты мне сегодня ничего не расскажешь?

— Не знаю, сколько это продолжалось на самом деле, но мне кажется — целую вечность; каждый раз после уроков они избивали меня; иногда я не решался выйти, пока не удостоверюсь, что все пошли обедать; женщина, которая убирала школу, находила меня в вестибюле и спрашивала: *«Что ты так долго сидишь здесь, мальчик? Твоя мать уже, верно, ждет тебя не дождется»*.

Но я все еще боялся выйти и ждал, чтобы уборщица тоже ушла и заперла меня в школе. Это не всегда удавалось, чаще всего уборщица выгоняла меня перед тем, как запереть двери, зато как я радовался, если все сходило гладко и меня запирали: в партах и помойных ведрах, которые уборщица оставляла в вестибюле для мусорщика, я находил достаточно еды — бутерброды, яблоки, остатки пирога. Я был в школе один и в полной безопасности. Согнувшись, я заползал в раздевалку для учителей, позади входа в подвал, потому что боялся, как бы мои мучители не заглянули в окно и не обнаружили меня; но прошло много времени, прежде чем они дознались, что я прячусь в школе. Нередко я просиживал там часами, до самого вечера, а потом открывал окно и вылезал на улицу. Часто я подолгу смотрел на пустынный школьный двор — может ли быть что-нибудь более пустынное, чем школьный двор под вечер? Все шло прекрасно до той поры, пока они не узнали, что я отсиживаюсь в запертой школе. Я прятался в раздевалке для учителей или где-нибудь под подоконником и ждал, когда во мне проснется то, о чем я знал только понаслышке, — ненависть. Я был бы рад ненавидеть своих врагов, но не мог, господин доктор. Я не испытывал ничего, кроме страха. Бывали дни, когда я высиживал в школе только до трех или до четырех, думая, что они уже ушли и мне удастся быстро промчаться по улице мимо конюшен Майда, обежать церковный двор и запереться дома. Но они сменяли друг друга, они ходили есть по очереди, ибо отказаться от еды было выше их сил; и когда они подбегали ко мне, я уже издали чуял, чем их сегодня кормили: картофелем с подливкой, жарким или капустой со шпиготом; они



били меня, и я думал: ради чего умер Христос, какая мне польза от его смерти, какая польза от того, что они каждое утро читают молитву, каждое воскресенье причащаются и вешают большие распятия в кухне над столом, за которым едят картофель с подливкой, жаркое или капусту со шпигом? Никакой! К чему все это, если они каждый день подстерегают меня и бьют? Вот уже пятьсот или шестьсот лет — недаром они кичатся древностью своей религии, — вот уже тысячу лет они хоронят предков на христианском кладбище, вот уже тысячу лет они молятся и едят под распятием свой картофель с подливкой и шпиг с капустой. Зачем? Знаете, что они кричали, избивая меня? *«Агнец божий»*. Такое мне дали прозвище.

Красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; новые геометрические фигуры возникали, подобно письмам, а потом быстро и бесследно исчезали, то была музыка без мелодии, живопись без образов; четырехугольники, прямоугольники, ромбы — все это многократно повторялось; звонкие шары катились между черными бортами.

— А потом я попытался сделать иначе: я запираю дома дверь, придвигал к ней мебель, собирал все что мог — ящики, всякую рухлядь, матрацы — и нагромождал одно на другое; но в школе подняли тревогу и известили полицию, чтобы она явилась забрать прогульщика; полицейские оцепили дом и начали кричать: «Выходи, бездельник!» Но я не выходил, тогда они выломали дверь, отодвинули мебель, поймали меня и отвели в школу, где меня продолжали избивать, продолжали сталкивать в сточные канавы, продолжали ругать, называя *«агнцем божьим»*; хотя бог сказал — «паси овец Моих», но никто не пас его овец, если людей вообще можно считать *овцами божьими*. Все бесполезно, господин доктор, напрасно дует ветер, напрасно идет снег, напрасно цветут деревья и опадают листья — они едят картофель с подливкой или шпиг с капустой.

Случалось, что моя мать была дома, пьяная и грязная, от нее пахло смертью и тленом, и она кричала: *«Зачемзачемзачем?»* Эти слова она произносила чаще, чем произносят «Господи помилуй!» в заупокойных молитвах. Она часами кричала *«зачемзачемзачем»*, доводя меня до иступления, и я убегал — мокрый агнец божий, я бегал голодный под дождем, глина прилипала к моим ботинкам и к телу, глина облепляла меня с ног до головы, но я предпочитал лежать под дождем, в борозде на свекловичном поле, нежели слышать это страшное *«зачем»*; потом кто-нибудь находил меня и рано или поздно приводил домой и в школу, приводил в эту дыру по имени Денклинген, и они опять били меня, называя *«агнцем божьим»*, а моя мать все повторяла свою бесконечную и ужасную жалобу *«зачем»*; я снова убегал, и они снова приводили меня. В конце концов меня все же отправили в приют. Там меня никто не знал — ни дети, ни взрослые, но не прошло и двух дней, как меня прозвали *«агнцем божьим»*, и мне опять стало страшно, хотя там никто не

дрался; меня только высмеивали из-за того, что я не знал многих слов — не знал, что такое «завтрак», я знал лишь слово «есть»; я ел, когда была еда, когда я мог раздобыть себе что-нибудь поесть, но, увидев на доске объявление: «Завтрак — 30 г масла, 200 г хлеба, 50 г повидла, кофе с молоком», я спросил кого-то из ребят: «Что такое завтрак?» Дети окружили меня, а потом подошли взрослые; все смеялись и говорили: «Завтрак? Неужели ты не знаешь, что такое завтрак, неужели ты никогда не завтракал?» «Нет», — ответил я. «А Библия, — напомнил один из взрослых, — разве ты не встречал в Библии слова “завтрак”?» Но тут другой взрослый спросил первого: «А вы уверены, что в Библии встречается слово “завтрак”?» «Нет», — сказал тот, — но где-нибудь, в какой-нибудь книге или же дома он должен был хотя бы раз встретить это слово, ведь парню уже скоро тринадцать, такие, как он, хуже дикарей, на этом примере видно, до какой степени беден язык народа». Я не знал также, что недавно была война; тогда они спросили меня, неужели я никогда не ходил на кладбище, где на могильных плитах написано: «Пал...» Я ответил, что ходил на кладбище; тогда они спросили, как же я понимаю слово «пал», и я сказал им, что, по моему мнению, покойники, похороненные под этими плитами, упали мертвыми. Тогда все опять начали смеяться еще громче, чем во время разговора о завтраке; в приюте нам преподавали историю с самых древних времен, но вскоре мне исполнилось четырнадцать лет, господин доктор, и в приют приехал директор отеля; всех четырнадцатилетних мальчиков построили в коридоре перед кабинетом заведующего, а потом появились заведующий и директор отеля. Они обошли строй, глядя нам в глаза, и сказали оба в один голос: «Мы ищем мальчиков, которые могли бы обслуживать публику», но выбрали они одного меня. Мне пришлось сразу же уложить вещи в картонную коробку и отправиться с директором сюда; в машине он сказал мне: «Надо надеяться, ты никогда не узнаешь, что твоему лицу цены нет, ты самый настоящий *агнец божий*», — и я почувствовал страх, господин доктор; я все еще боюсь и все еще жду, что меня начнут бить.

— Разве тебя бьют?

— Нет, никогда, но мне хотелось бы знать, что такое война, ведь мне пришлось уйти из школы до того, как учитель это объяснил. Вы знаете, что такое война?

— Да.

— Вы в ней участвовали?

— Да.

— Что вы делали?

— Я был подрывником, Гуго. Это тебе что-нибудь говорит?

— Да, я видел взрывы в каменоломнях за Денклингенем.

— То же самое делал и я, Гуго, только я взрывал не скалы, а дома и церкви. Этого я еще никогда никому не рассказывал, кроме моей жены, но она уже давно умерла, и теперь этого не знает никто, только ты; даже мои родители и мои дети не знают; ты слышал, что я архитектор и, собственно говоря, должен был бы

строить дома. Но я их никогда не строил, я их только взрывал; то же было и с церквями: мальчиком я без конца рисовал их на гладкой чертежной бумаге, я мечтал строить церкви, но я никогда их не строил. В армии начальство узнало из моих документов, что я писал дипломную работу об одной проблеме статики. Статика, Гуго,— это учение о равновесии сил, учение о натяжениях и сдвигах несущих поверхностей, без статики нельзя построить даже негритянскую хижину; а противоположностью статики является динамика. Это слово звучит почти так же, как динамит, который используется при взрывах; и впрямь динамика связана с динамитом. Всю войну я имел дело с динамитом. Я знал, что такое статика, Гуго, знал, что такое динамика, и я знал все, что касается динамита, я проглотил массу книг по этому вопросу. Но чтобы взорвать что-нибудь, надо знать только одно: куда заложить заряд и какова должна быть его сила. Это я знал, дружок. Вот так и вышло, что я взрывал мосты и жилые кварталы, церкви и железнодорожные виадуки, виллы и уличные перекрестки; за это я получал ордена и меня повышали в чинах: от лейтенанта я дослужился до обер-лейтенанта, от обер-лейтенанта — до капитана; мне давали отпуска вне очереди и награды, и все потому, что я знал, как надо взрывать, а в конце войны я служил под началом генерала, который признавал только «сектор обстрела». Знаешь, что такое «сектор обстрела»? Нет?

Фемель взял кий наперевес, словно винтовку, и прицелился в башню Святого Северина.

— Вот видишь,— сказал он,— если бы я захотел стрелять в мост, который находится позади Святого Северина, то церковь лежала бы в моем «секторе обстрела», таким образом, ее следовало бы взорвать как можно скорее, сейчас же, без промедления, а то я не мог бы стрелять в мост; уверяю тебя, Гуго, я бы взорвал Святого Северина, хотя знал, что мой генерал сумасшедший, хотя знал, что «сектор обстрела» в данном случае сушая чепуха, ведь если стрелять сверху, понимаешь, то тебе не нужно никакого «сектора обстрела», и, в конце концов, даже до самых тупоумных генералов должно прийти, что за последние полвека изобрели самолеты. Но мой генерал был сумасшедший, он вызубрил на всю жизнь свои лекции о «секторе обстрела», вот я и обеспечивал ему этот сектор; у меня в части собрались хорошие ребята — физики, архитекторы, и мы взрывали все, что попадалось на нашем пути, под конец мы взрывали одно величественное сооружение, нечто грандиозное, целый комплекс гигантских, построенных на века зданий — собор, конюшни, монашеские кельи, административные постройки, усадьбу — целое аббатство, Гуго; оно находилось как раз между двумя армиями — немецкой и американской, и я обеспечил немецкой армии «сектор обстрела», который ей был совершенно ни к чему; стены падали к моим ногам, на скотных дворах ревела скотина, монахи проклинали нас, но ничто не могло меня остановить, я взорвал все аббатство Святого Антония в Киссатале, взорвал за три дня до окончания войны. При этом я был корректен, дружок,

неизменно корректен — такой же, каким ты привык меня видеть.

Только теперь Фемель опустил кий и перестал целиться в изображаемую мишень, он снова положил его на согнутый палец, потом толкнул бильярдный шар; белый шар, петляя, покатился по зеленому полю от одного черного борта к другому.

Колокола на Святом Северине изрыгнули время. Кто знает, *когда* в действительности прозвучали эти одиннадцать ударов?

— Взгляни-ка, дружок, почему за дверью такой шум?

Фемель еще раз толкнул красный шар по зеленому полю, подождал, пока шары остановятся, и отложил кий.

— Господин директор просит вас принять господина доктора Неттлингера.

— Ты бы принял человека по фамилии Неттлингер?

— Нет.

— Тогда покажи мне, как отсюда выбраться, минуя эту дверь.

— Вы можете пройти через ресторан, господин доктор, и выйти на Модестгассе.

— До свидания, Гуго, до завтра.

— До свидания, господин доктор.

В ресторане начался танец кельнеров, танец боев: они накрывали столы к обеду — толкали сервировочные столики по определенным маршрутам, раскладывали серебро, меняли вазы с цветами, вместо высоких вазочек с белыми гвоздиками ставили круглые вазочки со скромными фиалками; убрали со столов стаканчики с джемом и расставляли рюмки для вина: широкие — для красного, узкие — для белого; только на один стол, где сидела овечья жрица, они поставили молоко; в хрустальном графине оно казалось серым.

Фемель легкими шагами прошел между столиками, отодвинул лиловую портьеру, спустился по ступенькам вниз и сразу очутился на улице, как раз напротив башни Святого Северина.

#### 4

Присутствие Леоноры успокаивало старого Фемеля; она осторожно ходила взад и вперед по его мастерской, открывала шкафы, выдвигала ящики, развязывала пачки бумаг, разворачивала свернутые в трубку чертежи; только изредка она подходила к окну, чтобы потревожить Фемеля; это случалось, когда на документе не было даты или на чертеже соответствующей надписи. Фемель любил порядок, но не умел его поддерживать. Леонора — вот кто наведет у него порядок; на просторном полу мастерской она раскладывала документы, чертежи, письма и расчеты по годам — пятьдесят лет прошло, а пол все еще дрожал от стука типографских машин; тысяча девятьсот седьмой год, восьмой, девятый, десятый; по мере того как век вырос, пачки становились все толще, пачка за тысяча девятьсот девятый год была больше, чем за тысяча девятьсот восьмой, а пачка за тысяча девятьсот десятый больше, чем за девятьсот девятый; Леонора сумеет составить диаграмму его деятельности, она такая дотошная, ее здорово вымуштровали.

— Да,— сказал он,— не стесняйтесь, можете спрашивать меня сколько угодно, голубушка. Это? Это больница в Вайденхаммере, я построил ее в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, в сентябре ее открыли.

И Леонора вывела своим аккуратным почерком на полях чертежа: «1924 — IX».

Пачки военных лет, от тысяча девятьсот четырнадцатого до тысяча девятьсот восемнадцатого, были совсем тонкие, в них лежало по три-четыре чертежа, не больше; загородная вилла для генерала, охотничий домик для обер-бургомистра, часовня Святого Себастиана для стрелкового ферейна. Эти заказы он брал ради того, чтобы получить отпуск, за них платили драгоценными отпускными днями; чтобы повидаться с детьми, он бесплатно строил генералам дворцы.

— Нет, Леонора, это было в тысяча девятьсот тридцать пятом. Францисканский монастырь. Современная архитектура? Конечно, современные здания я тоже строил.

Большое окно в его мастерской всегда напоминало ему экран волшебного фонаря; цвет неба все время менялся, деревья во дворах становились то серыми, то черными, то опять зелеными, цветы в садах на крышах цвели и отцветали. Дети, игравшие на свинцовых крышах, подрастали и сами становились родителями, а их родители превращались в бабушек и дедушек, и вот уже другие дети играли на свинцовых крышах; только очертания крыш не менялись, не менялся мост, не менялись горы, которые в ясные дни вырисовывались на горизонте; но потом вторая мировая война изменила силуэт города, появились зияющие бреши, бреши, через которые проглядывал Рейн, отливающий в солнечные дни серебром, а в пасмурные дни чем-то серым, проглядывал разводной мост в Старой гавани, но теперь бреши уже давным-давно заполнили, и дети по-прежнему играют на свинцовых крышах — напротив на крыше дома Кильбов его внучка ходит взад и вперед с учебником в руках, точь-в-точь как пятьдесят лет назад ходила его жена. Или, быть может, это и впрямь его жена, Иоганна, читает там в солнечные дни *«Коварство и любовь»*?

Зазвонил телефон; как приятно, что Леонора взяла трубку, что ее голос ответил на телефонный вызов.

— Кафе «Кронер»? Я спрошу у господина тайного советника.

— Сколько человек ожидается к ужину? В мой день рождения? Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Двое внуков, сын, я и вы, Леонора, вы ведь не откажете мне?

Значит, всего пятеро. Их и в самом деле можно пересчитать по пальцам одной руки.

— Нет, шампанского не надо. Все, как мы договорились. Спасибо, Леонора.

Наверное, она считает меня сумасшедшим, но если я сумасшедший, значит, был им всегда; я все предвидел заранее, знал, чего хочу, и знал, что достигну этого; только одного я никогда не знал, не знаю и по сию пору: для чего я все это делал? Ради денег, ради

славы или только потому, что это меня забавляло? К чему я стремился в то утро, в пятницу шестого сентября тысяча девятьсот седьмого года, пятьдесят один год назад, когда я вышел из здания вокзала? Я продумал тогда заранее каждое движение, составил точный распорядок дня с того момента, как вступлю в город; я сочинил целое либретто, в котором должен был выступать в качестве танцора-солиста и балетмейстера одновременно; статисты и декорации были предоставлены мне совершенно безвозмездно.

Всего десять минут оставалось до того мгновения, как я сделаю свое первое па; мне надо было перейти вокзальную площадь, миновать отель «Принц Генрих», пересечь Модестгассе и войти в кафе «Кронер». Я приехал в город как раз в тот день, когда мне минуло двадцать девять лет. Было сентябрьское утро. Извозчичьи клячи охраняли своих задремавших возниц, мальчики в лиловых ливреях отеля «Принц Генрих» тащили на вокзал чемоданы, поспешая за своими клиентами; над подъездами банков поднимались солидные железные ставни и с торжественным грохотом исчезали из виду; голуби, продавцы газет, уланы; эскадрон улан прогарцевал мимо отеля «Принц Генрих», ротмистр махнул рукой какой-то даме, стоявшей на балконе в палевой шляпке с вуалью, дама в ответ послала ему воздушный поцелуй; копыта цокали по булыжной мостовой, выпелы развевались на утреннем ветру, из открытых дверей Святого Северина доносились звуки органа.

Я был взволнован; из кармана пиджака я вынул план города, развернул его и начал разглядывать красный полукруг, которым обвел вокзал, — пять черных крестиков обозначали главный собор и четыре ближайшие к нему церкви, я поднял глаза и разглядел в утренней дымке четыре церковных шпиля, пятый — Святого Северина — не надо было искать, он возвышался прямо передо мной, от его гигантской тени меня пробирала дрожь; я снова углубился в свой план; все было правильно: желтый крестик обозначал дом, где я снял себе на полгода квартиру и мастерскую, заплатив за них вперед, — Модестгассе, 7, между Святым Северином и Модестскими воротами, мой дом был, видимо, справа, там, где через улицу как раз в эту минуту переходили несколько священников. Радиус полукруга, очерченного мною вокруг вокзала, был равен одному километру, в пределах этой красной черты жила девушка, на которой я женюсь; я еще не был знаком с ней, не знал, как ее зовут, знал только, что она будет принадлежать к одной из тех патрицианских семей, о которых мне рассказывал отец; он служил здесь три года в уланах и унес с собой ненависть к лошадям и офицерам; я уважал это чувство, но не разделял его; я был рад, что отцу не пришлось увидеть меня офицером — лейтенантом запаса инженерных войск; я рассмеялся, я часто смеялся в то утро, пятьдесят один год назад; я знал, что возьму жену из знатной семьи, ее фамилия будет Бродем или Кузениус, Кильб или Ферве, ей должно быть лет девятнадцать, и сейчас, именно в данную минуту, эта девушка, вернувшись с утренней мессы, прячет свой молитвенник в гардероб; отец еще успеет поцеловать ее в лоб, прежде чем раскаты его баса раздадутся

в вестибюле, постепенно удаляясь по направлению к конторе; на завтрак девушка съест кусочек хлеба с медом и выпьет чашку кофе: «Нет, нет, мама, яйцо я не буду», потом она прочтет матери вслух расписание балов. Разрешат ли ей пойти на университетский бал? Разрешат.

Я познакомлюсь с девушкой, на которой женюсь, самое позднее на университетском балу шестого января. На этом балу я буду танцевать с ней; я всегда буду с ней хорошо обращаться, буду любить ее, и она родит мне детей — пятерых, шестерых, семерых; они вырастут и подарят мне внуков — пятью семь, шестью семь, семью семь; прислушиваясь к удаляющемуся цоканью копыт, я уже видел себя окруженным толпой внуков, видел себя восьмидесятилетним патриархом, восседающим во главе рода, который я собирался основать; я видел дни рождения, похороны, серебряные свадьбы и просто свадьбы, видел крестины, видел, как в мои старческие руки кладут младенцев-правнуков; я буду их любить так же, как своих молодых красивых невесток; невесток я буду приглашать позавтракать со мной, буду дарить им цветы и конфеты, одеколон и картины; и все это я знал заранее, выйдя в тот день из здания вокзала, готовый сделать свое первое па.

Я глядел вслед носильщику, который вез на тележке в дом номер семь по Модестгассе мой багаж: чемодан с бельем и чертежами и маленький кожаный саквояж, где лежали бумаги, документы и деньги — четыреста золотых, все мои сбережения за двенадцать лет работы в строительных конторах провинциальных подрядчиков и в мастерских посредственных архитекторов, когда я чертил, рассчитывал и строил рабочие поселки, промышленные здания, церкви, школы, дома для различных союзов, корпя над сметами, с трудом продираясь через канцелярские обороты договорных пунктов: «...с тем чтобы деревянная панель в ризнице была сделана из орехового дерева наивысшего качества, без сучков, а для обивки были использованы ткани лучших сортов».

Помню, я смеялся, выходя из вокзала, хотя до сих пор не знаю, над чем и почему; одно мне ясно: мой смех был вызван отнюдь не весельем и радостью — в нем слышались и насмешка, и издевка, и, быть может, даже злость; я так и не узнал никогда, сколько приходилось на долю каждого из этих чувств; мне вспоминались жесткие скамейки на вечерних курсах по усовершенствованию, где я учился составлять сметы, изучал математику и черчение; я осваивал свою профессию и в то же время упражнялся в танцах и плавании; вспоминалось, как я служил лейтенантом в восьмом саперном батальоне в Кобленце, как сидел в летние вечера на Дойчес-Экк, глядя на воды Рейна и Мозеля, которые казались мне одинаково серыми; в памяти моей всплывали двадцать три меблированные комнаты, которые мне пришлось сменить, и хозяйские дочери, соблазненные мною и соблазнившие меня, вспоминалось, как я крался босиком по затхлым коридорам, чтобы вкусить женских

ласк, вплоть до самой последней, хотя каждый раз оказывалось, что это фальшивая монета; вспоминался запах лаванды и волосы, распущенные по плечам, и ужасные гостиные, где в зеленоватых стеклянных вазах увядали фрукты, которые не разрешалось есть, вспоминались жесткие слова, такие, как «подлец», «честь», «невинность»; в гостиных уже не пахло лавандой, и я, содрогаясь, читал свое будущее не на лице обесчещенной, а на лице ее матери, где было написано все, что мне уготовано. Я не был подлецом и не обещал жениться ни одной из девушек, я не хотел провести всю свою жизнь в гостиных, где фрукты увядали в зеленоватых стеклянных вазах, потому что их не полагается есть.

Но и после возвращения с вечерних курсов, с половины десятого до двенадцати часов ночи, я все еще делал расчеты, чертил и рисовал, рисовал ангелов и деревья, облака, церкви и часовни — в готическом стиле и в романском, в стиле барокко, рококо и бидермайер и, конечно, в стиле модерн; я рисовал женщин с длинными волосами, их одухотворенные лица парили над входными дверями, а длинные волосы, подобно занавесу, обрамляли парадные справа и слева; четко нарисованный пробор женщин приходился как раз на середину двери; в тревожные вечерние часы хозяйские дочери, объятые томлением, приносили мне жидкий чай или жидкий лимонад и вызывали меня на ласки, которые казались им смелыми. Я все рисовал и рисовал, главным образом детали, ведь я знал, что они — кто бы ни были эти «они» — больше всего падки на украшения. Я рисовал дверные ручки, фасонные решетки, агнцев божьих, пеликанов, якоря и кресты, вокруг которых обвивались змеи с острым жалом, головками кверху или головками книзу.

У меня в памяти остался также трюк, которым очень часто пользовался мой последний шеф, Домгреве: в решающий момент он, чтобы расположить к себе сердца верующих, как бы невзначай ронял четки; это случалось в деревнях, когда набожные крестьяне с гордостью показывали ему участок, отведенный под новую церковь, или когда члены совета церковной общины в задних комнатах провинциальных пивнушек с простодушной застенчивостью выражали желание построить новый храм божий,— тогда Домгреве вытаскивал из кармана вместе с часами, или ножом для сигар, или мелочью четки, с которыми он будто бы не расставался, ронял их, а потом с деланным смущением поднимал; смешная уловка Домгреве никогда не казалась мне смешной.

— Нет, Леонора, буква «А» на папках, на чертежах и сметах означает не «акты», а имя «Антоний», аббатство Святого Антония.

Тихо шагая по комнате, Леонора приводила все в порядок своими изящными руками; порядок старый Фемель всегда любил, но никогда не умел соблюдать. Для этого у него было слишком много всего: слишком много заказов, слишком много денег.



Если я сумасшедший, то был сумасшедшим уже тогда, когда, стоя на вокзальной площади, удостоверился, есть ли у меня в кармане пиджака мелочь, захватил ли я маленький блокнот для набросков и зеленый ящичек с карандашами, когда я проверил, хорошо ли завязан мой атласный галстук, а потом провел рукой по полям моей черной артистической шляпы и отряхнул полы пиджака, единственного моего хорошего пиджака, который я унаследовал от дяди Марселя, молодого учителя, умершего от чахотки; плита на его могиле в Мезе уже поросла мхом, в Мезе, где двадцатилетний учитель размахивал когда-то дирижерской палочкой на хорах перед органом или, взобравшись на учительскую кафедру, вбивал в голову деревенским ребятишкам тройное правило, а в сумерках, гуляя вдоль болота, грезил о девичьих губах, о хлебе, о вине и о славе, которую должны были принести ему, в случае удачи, его стихи; вот какие сны снились ему на заболоченных тропках два года подряд, пока кровохарканье не оборвало жизнь учителя и не унесло его к темному берегу; после него осталась тетрадка стихов в четвертушку листа, черный костюм, перешедший по наследству ко мне, его крестнику, две золотые монеты и кровавое пятно на зеленоватом занавесе в классе, пятно, которое жена его преемника никак не могла вывести; детские голоса пропели на могиле горемыки учителя «Куда улетела ласточка?».

Я еще раз оглянулся на здание вокзала, еще раз прочел плакат, висевший у выхода на перрон и обращенный к прибывающим в город призывникам: «Всем военнообязанным рекомендую нижнее белье, которое я изготавливаю уже много лет,— нижнее белье по системе профессора Густава Егера, трикотаж, запатентованный во всех цивилизованных странах мира, белье «Реформ», по системе доктора Ламана!» Настало время сделать первое па.

Я перешел трамвайную линию, миновал отель «Принц Генрих», свернул на Модестгассе и, поколебавшись секунду, остановился перед кафе «Кронер»; в стеклянных дверях, затянутых изнутри зеленым шелком, я увидел свое отражение — я был хрупкий, можно сказать, маленький, и походил не то на молодого раввина, не то на художника; волосы у меня были черные, и весь я был в черном; нечто неуловимое в моей внешности обличало во мне провинциала; я еще раз рассмеялся и открыл дверь; кельнеры ставили на столики вазы с белыми гвоздиками и перекладывали с места на место меню, переплетенные в зеленую кожу; кельнеры были в зеленых фартуках и черных жилетах, в белых рубашках с белыми галстуками; две молоденькие девушки — румяная блондинка и бледная брюнетка — возводили на прилавке целые кондитерские сооружения, выкладывали штабелями бисквиты, обновляли вензеля из крема, начищали до блеска серебряные лопаточки для тортов. В кафе еще не было ни одного посетителя; повсюду царила безукоризненная чистота, как в больнице перед обходом главного врача, и кельнеры исполняли свой балетный номер, пока я проходил мимо них легким танцующим шагом,— ведь я был солист; статисты и кулисы находились в полном моем распоряжении; статисты были хорошо вы-

дрессированы, все шло отлично, я восхищался тем, как эти три кельнера двигались от столика к столику и точно рассчитанными движениями ставили то солонку, то вазу с цветами, то слегка подвигали меню — очевидно, оно должно было лежать под определенным углом к солонке, — то ставили пепельницы из белоснежного фарфора с золотым ободком. Как хорошо! Все мне нравилось, приятно поражало меня. Вот это город так город, таких кафе я не видел в глухом захолустье, где мне приходилось жить до сих пор.

Я прошел в левый угол зала, бросил шляпу на стул, положил рядом с ней блокнот и ящичек с карандашами и сел; кельнеры возвращались из кухни, бесшумно толкая впереди себя сервировочные столики, — они расставляли судки с приправами, развешивали газеты, укрепленные на палках. Я открыл свой блокнот и прочел — в который раз? — вырезку из газеты, приклеенную к внутренней стороне обложки: «Открытый конкурс на постройку бенедиктинского аббатства в долине реки Кисса между селениями Штелингс-Гротте и Гёрлингерс-Штуль, приблизительно в двух километрах от деревни Кисслинген; каждый архитектор, верящий в свои силы, может участвовать в конкурсе. Документация выдается в нотариальной конторе доктора Кильба — Модестгассе, 8, за плату в размере 50 (пятьдесят) марок. Последний срок подачи проектов — понедельник 30 сентября 1907 года, 12 часов дня».

Целыми днями я лазил между кучами цемента и штабелями новеньких кирпичей, определяя, хорошо ли они обожжены, и осматривал целые горы ломаного базальта, так как собирался использовать базальт для облицовки дверных и оконных проемов; обшлага моих брюк были забрызганы грязью, жилет измазан известью; в конторе то и дело раздавался крик: неужели до сих пор не прибыли камни для мозаичного изображения «агнца божьего» над главным порталом? На строительной площадке возникали бесконечные перепалки; ассигнования то приостанавливали, то снова разрешали; каждый четверг перед моей конторой выстраивалась целая очередь десятников — в пятницу им надо было выдавать рабочим заработную плату; а вечером, совершенно измотанный, я садился на станции Кисслинген в чересчур нагретый вагон пассажирского поезда, опускался на мягкий диванчик в купе второго класса, и в темноте меня везли через нищие деревеньки, затерявшиеся среди свекловичных полей; кондуктор заспанным голосом выкрикивал названия станций: Денклинген, Додринген, Кольбинген, Шаклинген; на товарных платформах высились горы свеклы, приготовленной для погрузки, в темноте они казались серыми и походили на горы черепов, а поезд шел все дальше через свекловичные поля, неизменно через свекловичные поля; выйдя из вокзала, я валился в первую попавшуюся извозчицью пролетку, а дома падал в объятия жены; жена целовала меня, с нежностью гладила мои усталые глаза, с гордостью проводила рукой по следам известки на ру-

кавах моего пиджака; после кофе, положив голову к ней на колени, я закуривал сигару, о которой так мечтал, сигару за шестьдесят пфеннигов, и рассказывал жене о каменщиках, проклинающих все на свете; этих ребят надо знать — они не злые, пожалуй, только немного грубоватые и немного слишком красные, но я умел с ними ладить; время от времени им надо было поставить ящик пива и отпустить несколько шуток на нижненемецком диалекте, не следовало только брюзжать, иначе они вывернут тебе под ноги полное корыто известкового раствора (так они сделали, когда на стройку приехал уполномоченный архиепископа по делам строительства) или же сбросят балку с лесов (так они сделали, когда к нам явился правительственный инспектор, — гигантская балка рухнула к самым его ногам).

— Разумеется, моя дорогая, я знаю, что я от них завишу, а не они от меня, ведь сейчас так много строят, строят повсюду. И, конечно, они красные, почему бы им не быть красными? Но самое главное, они хорошие каменщики и помогают мне выдержать сроки; стоит мне подмигнуть им, когда я взбираюсь на леса с какой-нибудь очередной комиссией, и они готовы на все.

— Доброе утро, сударь. Вам завтрак?

— Да, пожалуйста, — сказал я и покачал головой, когда кельнер предложил мне меню; я поднял карандаш и, скандируя, перечислил по пунктам свой завтрак с таким видом, будто ни разу в жизни иначе не завтракал: небольшой кофейник на три чашки кофе, потом, пожалуйста, поджаренный хлеб — два ломтика черного хлеба, масло, апельсиновый джем, яйцо всмятку и сыр с красным перцем.

— Сыр с красным перцем?

— Да, плавленый сыр, приправленный перцем.

— Слушаюсь.

Кельнер беззвучно заскользил по зеленому ковру, зеленый призрак пробирался мимо столиков, покрытых зелеными скатертями, к окошку кухни, и тут прозвучала первая из задуманных мною реплик; статисты были хорошо вымуштрованы, а я оказался хорошим режиссером.

— Сыр с перцем? — переспросил в окошке повар.

— Да, — сказал кельнер, — плавленый сыр, приправленный красным перцем.

— Спроси гостя, сколько он хочет перца и сколько сыра?

Я начал набрасывать фасад вокзала; кельнер возвратился в тот момент, когда я уверенными штрихами рисовал оконные наличники на безгрешно чистой бумаге; он остановился передо мной в ожидании; я поднял голову, удивленно воззрился на кельнера и отнял карандаш от бумаги.

— Позвольте спросить, сударь, сколько вы желали бы перца и на какое количество сыра?

— Сорок пять граммов сыра и с наперсток перца; всю массу

хорошенько вымесить, а теперь послушайте, уважаемый, я буду завтракать здесь завтра и послезавтра, через три дня и через три недели, через три месяца и через три года. Понятно? И всегда в одно и то же время, около девяти.

— Слушаюсь.

Так я себе все представлял, и именно так оно и вышло. Позднее меня часто пугала точность, с какой исполнялись мои планы, непредвиденного почему-то никогда не случалось; через два дня все уже называли меня «господином, который заказывает сыр с перцем», через неделю — «молодой художник, который всегда завтракает около девяти», а через три недели — «господин Фемель, молодой архитектор, выполняющий крупный заказ».

— Да-да, детка, все это относится к аббатству Святого Антония; работы тянулись много лет, Леонора, десятилетия, вплоть до нынешнего дня: то требовался ремонт, то аббатство расширялось, а через сорок пять лет его восстанавливали по старым чертежам; один Святой Антоний займет у вас целую полку. Да, вы правы, вентилятор бы здесь не помешал. Сегодня жарко. Нет, спасибо, я не хочу сесть.

В окне, как на экране, виднелось голубое небо шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, линия крыш снова была непрерывной, без зияющих брешей; на пестрых скатертях в садиках на крышах стояли чайники. Женщины загорали на солнце, растянувшись в шезлонгах; вокзал бурлил, в город возвращались отпускники. Может, именно поэтому старый Фемель так нетерпеливо ждал свою внучку Рут. Уж не уехала ли она за город, оставив на время *«Коварство и любовь»*? Он несколько раз осторожно отер лоб носовым платком, всю жизнь он был нечувствителен к жаре и холоду; в правом углу окна Гогенцоллерны все еще скакали на бронзовых конях, обратясь лицом к западу; они ничуть не изменились за сорок восемь лет, не изменился и его, Фемеля, верховный главнокомандующий; все роковое тщеславие этого монарха обнаруживалось в посадке головы. Улыбаясь, рисовал я тогда за столиком в кафе «Кронер» постамент, на котором еще не было изваяния; тем временем кельнер принес мне сыр с перцем. Я был всегда так уверен в своем будущем, что настоящее казалось мне законченным прошлым; был ли это мой первый, самый первый завтрак в кафе «Кронер» или же трехтысячный? Каждый день я приходил в кафе «Кронер» ровно в девять часов, только высшая сила могла мне помешать; я перестал приходить, когда верховный главнокомандующий, этот дурень, который все еще скачет на бронзовом коне, держа путь на запад, призвал меня под свои знамена. Сыр с перцем? Ел ли я тогда эту странную красновато-белую размазню в первый раз? Она, кстати, была не такая уж невкусная. Я придумал это блюдо час назад в курьерском поезде, который на всех парах мчался к городу с севера; я хотел придать своему неизменному меню необхо-

димую индивидуальную черточку. Ел ли я все это впервые или уже в тридцатый раз намазывал красноватую кашицу на черный хлеб, в то время как кельнер убирал рюмку для яйца и отодвигал в сторону джем?

Осторожно! Я вынул из кармана пиджака единственно надежный инструмент для корректировки таких вот мимолетных, но точных видений — карманный календарик, который помогал мне блуждать по лабиринту прошлого, напоминая о месте и времени действия; то была пятница шестого сентября тысяча девятьсот седьмого года, и этот завтрак в кафе «Кронер» был первым; до сих пор я никогда не пил за завтраком натурального кофе, ограничиваясь солодовым, никогда не ел яиц, довольствуясь овсянкой, серым хлебом с маслом и ломтиком свежего огурца, но миф, который я решил создать, был сразу же при своем возникновении подхвачен, а недоуменный вопрос повара — «сыр с перцем?» — доказывал, что миф проложил себе дорогу туда, куда следовало, то есть в широкую публику; мне оставалось лишь, так сказать, при сем присутствовать — сидеть на месте до десяти или до половины одиннадцатого, ожидая, пока кафе постепенно наполнится людьми, сидеть и попивать минеральную воду и рюмку коньяку, держа на коленях блокнот для рисования, во рту сигару, а в руке карандаш; я не переставая рисовал, а в это время банкиры и их важные клиенты проходили мимо моего столика в комнату для совещаний, и кельнеры проносили следом за ними зеленые подносы с батареями бутылок; в это время местные священники и их заграничные собратья являлись в кафе после осмотра Святого Северина и восхваляли на исковерканной латыни или же на ломаном английском и итальянском языках красоты города; в это время чиновники правительственной канцелярии демонстрировали здесь свою независимость и свое высокое положение тем, что позволяли себе около половины одиннадцатого выпить в кафе чашечку мокко и рюмку вишневки; в это время сюда приходили дамы с зеленого рынка, нагрузив свои плетеные кожаные сумки капустой и морковью, горошком и сливами; хозяйственные таланты этих дам заключались в том, что, заговорив усталых крестьянок, они умели дешево выманить у них товар, чтобы затем потратить на кофе и на пирожные в сто раз больше, чем они сэкономили; размахивая кофейными ложечками, словно шпагами, они возмущались каким-то ротмистром, который, находясь на службе — «на службе», подумать только, — послал воздушный поцелуй известной кокотке, стоявшей на балконе; к тому же, по достоверным сведениям, самым достоверным сведениям, ротмистр покинул эту даму только в половине пятого утра, пробравшись через служебный вход отеля. Ротмистр и служебный вход. Какой срам!

Я смотрел на посетителей кафе и прислушивался к их разговорам, к разговорам моих статистов, я зарисовывал ряды стульев, столы и балетные па кельнеров; без двадцати одиннадцать я потребовал счет — он был меньше, чем я ожидал; я зара-

нее решил показать себя человеком с широкими замашками, хоть и не слишком расточительным, эту формулу я где-то вычитал и нашел приемлемой для себя. Распростившись с кельнером и вознаградив этого человека, устами которого будет создан миф обо мне, пятьюдесятью пфеннигами, я ушел из кафе усталый, как после тяжелой работы; лакеи проводили меня внимательным взглядом, но никто из них так и не догадался, что я-то и был солистом; держась прямо, я проходил пружинящим шагом сквозь ряды кельнеров, демонстрируя им то, что они должны были видеть, — художника в широкополой черной шляпе, маленького, хрупкого, с виду лет двадцати пяти, без особых примет, чем-то похожего на провинциала, но в то же время на человека, знающего себе цену. Под конец я дал грош мальчику, который распахнул передо мной дверь.

От кафе до дома семь на Модестгассе было всего полторы минуты ходу. Подмастерья, ломовики, монахини; улица жила своей жизнью. Правда ли, что в воротах дома семь пахло типографской краской? Подвижные части типографских машин двигались взад и вперед, взад и вперед, подобно поршням в машинном отделении парохода; они печатали что-то назидательное на белых листах бумаги; швейцар снял фуражку.

— Господин архитектор? Ваш багаж уже наверху.

Я сунул в его красноватую ладонь чаевые.

— Рад стараться, господин лейтенант! — Он ухмыльнулся. — Да, тут уже приходили двое господ, они хотят записать господина лейтенанта в здешний клуб офицеров запаса.

И снова будущее показалось мне более реальным, чем настоящее, которое, едва успев свершиться, погружалось в темное небытие, — я увидел неопрятного швейцара, окруженного газетчиками, увидел броские заголовки: «Молодой архитектор побеждает корифеев на конкурсе». Увидел, как швейцар услужливо сообщает газетчикам сведения обо мне: «Он? Он, господа, не признает ничего, кроме работы. Утром в восемь часов он отправляется к мессе в Святой Северин, до половины одиннадцатого завтракает в кафе „Кронер“, с половины одиннадцатого до пяти сидит у себя наверху в мастерской, никого не принимая; целый день он питается — смейтесь, смейтесь, господа, — одним гороховым супом, который сам себе варит; горох, сало и даже лук ему посылает старушка мать. От пяти до шести он прогуливается по городу, с половины седьмого до половины восьмого играет в бильярд в отеле „Принц Генрих“, он посещает клуб офицеров запаса. Женщины? Об этом мне ничего не известно. В пятницу вечером, господа, от восьми до десяти у него репетиция в певческом фереине „Немецкие голоса“». Да и кельнеры в кафе «Кронер» будут загребать чаевые в обмен на информацию обо мне. «Сыр с перцем? Очень интересно. Неужели он и за завтраком рисует как одержимый?»

Позже я часто вспоминал день моего приезда, слышал цоканье копыт по брусчатке, видел, как мальчики из отеля тащили

чемоданы, вспоминал женщину в палевой шляпке с вуалью, читал плакат: «Всем военнообязанным рекомендую...» — прислушивался к своему смеху — над кем я смеялся? Что выражал мой смех? Каждое утро, возвращаясь от мессы и забирая свои письма и газеты, я видел эскадрон улан, который направлялся к учебному плацу на северной окраине города, и каждое утро, когда лошадиное цоканье замирало вдали по дороге к плацу, где уланам предстояло мчаться в атаку или, вздымая клубы пыли, скакать в дозор, я размышлял о ненависти отца к лошадям и офицерам; заслышав звук трубы, старики служивые останавливались на улице, и на глаза у них навертывались слезы, но я вспомнил своего отца; сердца кавалеристов, в том числе и сердца моего швейцара, бились учащенно, служанки с тряпками в руках застывали наподобие живых изваяний, подставляя утреннему ветерку свою любвеобильную грудь. Как раз в эти часы швейцар вручал мне посылку: это мать присылала мне горох, сало, лук и свои материнские благословения; нет, при виде скачущих улан мое сердце не билось учащенно.

Я писал матери письма, заклиная ее не приезжать, я не хотел, чтобы она вошла в ряды статистов; позже, позже, когда игра выгорит, тогда пусть приедет; мать была маленького роста, хрупкая и темноволосая, как я; она делила свое время между кладбищем и церковью, ее лицо, весь ее облик были слишком уж под стать моей игре, она никогда не стремилась к деньгам, одного золотого ей хватало на целый месяц — на хлеб, на суп и на то, чтобы бросить в церковный кошель два пфеннига в воскресенье и пфенниг в будний день. «Приедешь попозже», — писал я ей, но это оказалось слишком поздно: ее похоронили на кладбище рядом с отцом, рядом с Шарлоттой и Маурицием — она никогда больше не увидела того, чей адрес каждую неделю надписывала на конвертах: «Модестгассе, 7. Генриху Фемелю». Я боялся ее мудрого взгляда и того непредвиденного, что могут произнести ее уста: «Зачем? Зачем тебе нужны деньги и почести, и кому ты хочешь служить — богу или людям?» Я боялся ее прямых вопросов, непререкаемых, как катехизис, на которые надо было отвечать теми же словами, но только в утвердительной форме, с точкой на конце вместо вопросительного знака. Я не знал — «зачем?». Я ходил в церковь не из лицемерия и не потому, что этого требовала моя роль, хотя мать мне бы, пожалуй, не поверила; играть я начинал лишь в кафе «Кронер» и играл до половины одиннадцатого, а потом снова — от пяти часов дня до десяти; я думал об отце, пока уланы окончательно не исчезали за Модестскими воротами, это было легче, чем думать о матери; шарманщики, ковыляя, спешили в пригороды, им надо было добраться туда пораньше, чтобы умиротворить своей игрой сердца хозяек и служанок, скучавших в одиночестве. «О рассвет, рассвет печальный»; к вечеру они возвратятся обратно в город, чтобы переплавить в медяки меланхолию предвечерних часов. «Аннемари, Розмари»; а через дорогу мясник Грец прикреплял у дверей

своей лавки кабанью тушу — темно-красная свежая кабанья кровь капала на асфальт; вокруг кабана мясник развешивал фазанов, куропаток, зайцев — нежные перья и смиренные заячьи шкурки украшали громадную тушу; каждое утро Грец выставлял на всеобщее обозрение убитых животных, и всегда так, чтобы их раны были видны прохожим — простреленные заячьи брюшки, голубиные грудки, вспоротый бок кабана, — он хотел, чтобы кровь была на виду; розовые руки госпожи Грец укладывали ломти печенки между кучками грибов, икра поблескивала на кубиках льда рядом с гигантскими окороками; лангусты, лиловые, словно сильно обожженные кирпичи, беспомощно тыкались в стеклянные стенки плоских аквариумов, ожидая того момента, когда попадут в умелые руки хозяек; так было седьмого, девятого, десятого, одиннадцатого сентября тысяча девятьсот седьмого года, и только восьмого, пятнадцатого и двадцать второго сентября — по воскресеньям — фасад мясной Греца не обагрался кровью; Грец вывешивал убитых животных и в тысяча девятьсот восьмом году, и в тысяча девятьсот девятом, и много лет подряд, их не было только в те годы, когда все подавляла высшая сила; я видел их каждый день пятьдесят с лишним лет подряд и вижу по сию пору, вижу, как ловкие руки хозяек торопливо выискивают в этот субботний день лакомые кусочки на воскресенье.

— Да, Леонора, вы верно прочли — первый гонорар сто пятьдесят тысяч марок. Нет даты? Очевидно, это было в августе тысяча девятьсот восьмого года. Да, точно, в августе девятьсот восьмого. Вы еще ни разу не пробовали кабаньего мяса? Так вот, вы ничего не потеряли, доверьтесь моему вкусу. Кабанье мясо мне никогда не нравилось. Заварите немного кофе, надо запить всю эту пыль, и купите пирожных, если вы любите сладкое. Чепуха, от пирожных не толстеют, не верьте этой брехне... Да, в тысяча девятьсот тринадцатом, это домик по заказу господина Кольгера, кельнера из кафе «Кронер». Нет, без гонорара.

Сколько раз я завтракал в кафе «Кронер»? Десять тысяч раз? Двадцать тысяч? Я никогда не подсчитывал, я ходил туда каждый день, за исключением тех лет, когда этому препятствовала высшая сила.

Я видел, как высшая сила маршировала, я стоял в тот день на крыше противоположного дома — дома номер восемь, — спрятавшись за беседку, и смотрел вниз на улицу; высшая сила двигалась к вокзалу, гигантские толпы горланили «Вахту на Рейне» и выкрикивали имя дурака, который и сейчас еще скачет на бронзовом коне, держа путь на запад; фуражки, цилиндры и банкирские котелки были украшены цветами, цветы торчали в петлицах, а под мышкой люди держали маленькие свертки с нижним бельем, изготовленным по системе профессора Густава Егера; толпа бушевала так, что ее рев доносился до самых крыш;



даже проститутки из торговых рядов послали сегодня своих альфонсов на призывные пункты, снабдив их свертками с особо высококачественным теплым нижним бельем. Тщетно ждал я, что во мне пробудятся те же чувства, что и у толпы там, внизу; я казался себе опустошенным, одиноким, низким человеком, не способным на воодушевление, и никак не мог взять в толк, почему я не способен воодушевиться, раньше я над этим не задумывался; я вспомнил о своем пахнувшем нафталином военном мундире — он все еще был мне впору, хотя, когда я шил его, мне исполнилось всего двадцать лет, а теперь уже минуло тридцать шесть; я надеялся, что мне не придется надевать его снова, я хотел по-прежнему исполнять свою партию соло, не включаясь в ряды статистов; люди, которые с песней направлялись к вокзалу, попросту рехнулись: они с жалостью смотрели на тех, кто оставался дома, да и сами остающиеся считали себя жертвами, считали, что их обошли; но я соглашался быть жертвой, нисколько не горюя. Внизу в доме рыдала моя теща; обоих ее сыновей призвали в первый же день, они уже ускакали на товарную станцию, где грузили лошадей; ее сыновья были гордыми уланами, и моя теща проливала по ним гордые слезы; я стоял, спрятавшись за беседку; на крыше еще цвели глицинии; я слышал, как внизу мой четырехлетний сынишка повторял: *«Хочу ружье, хочу ружье...»* Мне бы следовало спуститься вниз и высечь его в присутствии моей гордой тещи, но я позволил ему петь, позволил играть с уланским кивером, который мальчику подарили дяди, позволил волочить за собой саблю, позволил выкрикивать: *«Французу каюк! Англичанину каюк! Русскому каюк!»* И я стерпел, когда комендант гарнизона сказал мне сочувственным, чуть ли не прерывающимся от волнения голосом:

— Душевно сожалею, Фемель, но мы пока не можем без вас обойтись, придется вам запастись терпением, ведь и в тылу нужны люди, как раз такие люди, как вы...

Я строил казармы, укрепления, лазареты; поздно вечером, облачившись в свой лейтенантский мундир, я проверял караулы на мосту; пожилые торговцы в чине ефрейторов и банкиры, ставшие рядовыми, старательно отдавали мне честь; поднимаясь по лестнице на мост, я при свете карманного фонарика видел скабрезные рисунки, нацарапанные на красном песчанике подростками, возвращавшимися с купанья; на лестнице пахло ранней возмужалостью. Где-то поблизости висела вывеска: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты», нарисованная рука указывала туда, где можно было приобрести все эти товары. Унтер-офицер Грец рапортовал мне: «Караул на мосту: один унтер-офицер и шесть солдат, особых происшествий нет». Наслаждаясь собственной иронией и собственным превосходством, я махал рукой — мне казалось, я позаимствовал этот жест из комедий, — и говорил: «Вольно!»; а затем расписывался в постовой ведомости и отправлялся восвояси; дома я вешал в шкаф шлем и саблю, шел в гостиную к Иоганне, клал голову к ней на колени и, ни слова не

сказав, курил свою сигару; Иоганна тоже не говорила мне ни слова, но упорно возвращала Грецу паштеты из гусиной печенки, и когда настоятель Святого Антония посылал нам хлеб, мед и масло, Иоганна все раздавала; я ничего не говорил ей по этому поводу; в кафе «Кронер» мне все еще подавали тот же завтрак — наверное, уже в двухтысячный раз,— все тот же сыр с перцем; я по-прежнему давал кельнеру пятьдесят пфеннигов на чай, хотя он не хотел их брать и даже настаивал на том, чтобы уплатить мне гонорар за проект дома.

Иоганна высказывала вслух то, о чем я только думал; когда мы были в гостях у начальника гарнизона, она не стала пить шампанское, не стала есть жаркое из зайца, отказывала всем, кто приглашал ее танцевать, она громко заявила: «Державный дурак...» — и казалось, будто в казино на Вильгельмскуле начался ледниковый период; в наступившей тишине она повторила: «Державный дурак...» Там сидели генерал, полковник, майоры, все с женами, я был в то время новоиспеченным обер-лейтенантом, уполномоченным по строительству укреплений; в казино на Вильгельмскуле наступил ледниковый период; маленькому фенриху пришла в голову счастливая мысль: он приказал оркестру заиграть вальс; я взял Иоганну под руку и отвел ее к экипажу; стояла чудесная осенняя ночь, серые колонны маршировали к пригородным вокзалам, особых происшествий не было.

Суд чести. Никто не осмеливался повторить слова Иоганны; поношения подобного рода даже не заносились в акты. «Его величество — державный дурак» — такого никто не решился бы написать; мне говорили: «То, что сказала ваша супруга...», а я вторил им: «То, что сказала моя жена...», но я не сказал им главного — того, что согласен с нею. Вместо этого я пустился в объяснения: «Но, господа, ведь она же беременна, до родов осталось всего два месяца, она потеряла обоих братьев — ротмистра Кильба и фенриха Кильба — обоих в один и тот же день, потеряла маленькую дочку в тысяча девятьсот девятом году...» — хотя в глубине души знал, что мне надо сказать совсем другое: «Господа, я согласен с моей женой...» — знал, что одной иронии недостаточно, что одной иронией не обойдешься.

— Нет, Леонора, этот пакетик можете не вскрывать — его содержимое относится к области чувств,— пакетик хоть и немного весит, но значит для меня очень много, в нем всего-навсего пробка от бутылки. Спасибо за кофе, поставьте, пожалуйста, чашечку на подоконник; я напрасно ожидаю внучку, в эти часы она обычно готовит уроки в садике на крыше, я забыл, что каникулы еще не кончились; посмотрите, отсюда из окна можно заглянуть в вашу контору; когда вы сидите там за письменным столом, я вижу вас, вижу ваши красивые волосы.

Почему чашка вдруг задрожала, почему она зазвенела, будто от стука печатных машин,— разве они снова начали работать, разве кончился обеденный перерыв? Неужели и в субботу вечером они печатают что-то назидательное на белых листах бумаги?

Не сосчитать, сколько раз по утрам я ощущал, как дрожит пол; облокотившись на подоконник, я смотрел вниз на улицу, на белокурые волосы, легкий аромат которых уносил с собой из церкви,— слишком душистое мыло погубило бы эти красивые волосы, порядочность заменяла здесь духи; возвращаясь от ранней мессы, я шел за девушкой, я видел, как без четверти девять она проходила мимо лавки Греца к дому номер восемь. Она входила в этот желтый дом, где на черной деревянной дощечке красовалась белая, слегка потемневшая от времени надпись: «Доктор Кильб, нотариус». Я наблюдал за ней, входя в каморку швейцара за своей газетой; свет падал на ее нежное, слегка помятое от служения справедливости лицо, она открывала дверь конторы, распахивала ставни, потом подбирала цифры на замке сейфа, открывала стальные дверцы — казалось, они вот-вот задавят ее,— проверяла содержимое сейфа; Модестгассе была так узка, что я мог заглянуть прямо в сейф на верхнюю полку и прочесть тщательно надписанную картонную табличку: «Проект Святого Антония». В сейфе лежали три больших пакета, испещренных сургучными печатями, походившими на раны; пакетов было всего три, и каждый ребенок знал имена их отправителей — Бремеккель, Грумпетер и Воллерзайн. Бремеккель был архитектор, построивший тридцать семь церквей в неоготическом стиле, семнадцать часовен, двадцать один монастырь и больницу; Грумпетер создал всего тридцать три церкви в неороманском стиле, всего двенадцать часовен и восемнадцать больниц; третий пакет был прислан Воллерзайном, который построил всего лишь девятнадцать церквей, две часовни и четыре больницы, но зато воздвиг настоящий собор.

— Вы читали, господин лейтенант, что написано в «Вахте»? — спросил меня швейцар, и я прочел поверх его заскорузлого большого пальца строчку, которую он мне показал: «Сегодня последний день представления проектов аббатства Святого Антония. Неужели наша архитектурная молодежь не нашла в себе мужества?..»

Я засмеялся, свернул газету трубочкой и пошел завтракать в кафе «Кронер»; когда кельнер прокричал в окошко повару: «Завтрак для господина архитектора Фемеля, как всегда», мне показалось, что я участвую в древнем, исполняемом уже многие века религиозном обряде. Домохозяйки, священники, банкиры... гомон голосов. Было около половины одиннадцатого. Блокнот с набросками овец, змей, пеликанов... пятьдесят пфеннигов кельнеру, десять бою... ухмылка швейцара, которому я по утрам совал в руку сигару, получая от него свою корреспонденцию. Я стоял в мастерской, ощущая локтями вибрацию печатных машин, и смотрел вниз в контору Кильба, где ученик у окна разма-

хивал белой гладилкой. Потом я вскрыл письмо, которое вручил мне швейцар: «...мы можем сразу же предложить Вам должность главного чертежника; двери моего дома будут для Вас открыты, мы гарантируем Вам дружеский прием в здешнем обществе. Недостатка в развлечениях у Вас не будет...» Меня опять прельщали миловидными архитектурскими дочками и звали на семейные пикники, где молодые люди в круглых шляпах цедили пиво из бочонков на опушке леса, а юные девушки вынимали из корзин и раздавали им бутерброды; на только что скошенных лужайках молодежь танцевала под присмотром мамаш, которые тревожно подсчитывали года своих дочек и хлопали в ладоши, восхищаясь их необычайной грацией; потом во время прогулки по лесу, предложив своей даме руку, чтобы она не спотыкалась о корни, можно было отважиться на поцелуй: облобызать ручки спутницы повыше запястья или чмокнуть ее в щечку и в плечико, ведь в лесном полумраке расстояние от пары до пары незаметно увеличивалось; и, наконец, по дороге домой, когда в вечерних сумерках коляски проезжали по укромным полянкам и из леса выглядывали косули, словно их специально ангажировали для этого, когда кто-нибудь запевал песню и ее подхватывали все остальные, нетрудно было шепнуть своей даме, что тебя пронзила стрела амура. Экипажи уносили с собой разбитые сердца и раненые души...

Я написал учтивый ответ: «...охотно приму Ваше любезное предложение, как только закончу свои дела, которые еще на некоторое время задержат меня в городе...», запечатал конверт, наклеил марку, снова подошел к подоконнику и взглянул вниз на Модестгассе; каждый раз, когда ученик взмахивал гладилкой, та сверкала, как кинжал; два служащих отеля грузили кабанью тушу на ручную тележку — вечером я отведаю кабаньего мяса в мужской компании на ужине певческого ферейна «Немецкие голоса»; мне придется выслушивать там остроты коллег, я буду смеяться, но они так и не поймут, что я смеюсь не над их остротами, а над ними самими; их остроты были так же тошнотворны, как подливки, которые там подавали, и я снова засмеялся, стоя у окна, все еще не понимая, что выражает мой смех — ненависть или презрение. Только не радость — это я знал.

Служанка Греца поставила рядом с кабаньей тушей белые корзины с грибами, повар в «Принце Генрихе» уже отвечивал пряности, повара точили ножи, взволнованные кельнеры, нанятые на этот вечер для подмоги, стоя перед зеркалом у себя дома, оправляли галстуки, которые они повязали для пробы, и спрашивали жен, гладивших перелицованные брюки — вся кухня была полна паром: «Как ты думаешь, мне надо целовать епископу руку, если, чего доброго, придется ему прислуживать?»

Ученик нотариуса все еще размахивал белой гладилкой.

Одиннадцать часов пятнадцать минут; я почистил свой черный костюм, проверил, не съехал ли набок атласный галстук, надел шляпу и вытащил карманный календарик — он был не больше плоской спичечной коробки; открыв календарик, я заглянул в него:

«30 сентября 1907 года, в 11.30 — сдать Кильбу проект. Потребовать квитанцию».

Осторожно! Обдумывая свой план, я слишком часто мысленно проделывал все с начала до конца — спускался по лестнице, переходил улицу, входил в вестибюль, а потом в переднюю.

— Мне нужно поговорить с господином нотариусом лично.

— По какому делу?

— Я бы хотел передать господину нотариусу *проект Святого Антония на конкурс*.

Никто, кроме ученика, не удивился, но ученик на секунду перестал махать гладилкой и оглянулся, а потом, пристыженный, опять повернул голову к улице и к своим папкам, памятуя о девизе фирмы: «Тайна гарантирована!» В этой комнате, где ветхость считалась шиком, где по стенам висели портреты давних предков, служивших правосудию, где чернильницы жили по восемьдесят лет, а гладилки по сто пятьдесят, в этой комнате в полном молчании совершались поистине грандиозные сделки: здесь целые кварталы меняли своих владельцев, здесь вступающие в брак подписывали контракты, согласно которым ежегодная сумма денег, выдававшаяся супруге «на булавки», превышала жалованье чиновника за пять лет, и в то же время здесь нотариальным порядком заверялась закладная работяги-сапожника стоимостью в две тысячи марок и хранилось завещание дряхлого пенсионера, в котором он отказывал своему любимому внуку ночную тумбочку; здесь в полной тайне улаживались юридические дела вдов и сирот, рабочих и миллионеров, а на стене висело изречение: «*И правая их рука полна подношений*».

Нет никаких оснований оборачиваться и глазеть на молодого художника в черном перелицованном костюме, унаследованном от дяди, художника, который отдает пакет, завернутый в белую бумагу, и чертежи, свернутые в трубку; напрасно только молодой человек полагал, что ему придется разговаривать с господином нотариусом лично. Начальник канцелярии запечатал пакет и свернутые в трубочку чертежи, оттиснув на горячем сургуче герб Кильбов — овечку, из груди которой бьет струя крови, в то время как приятная блондинка — секретарша нотариуса — выписывала квитанцию: «Сдано в понедельник 30 сентября 1907 года, в 11.35 утра господином архитектором Генрихом Фемелем...» — но, когда девушка протягивала мне квитанцию, ее бледное приветливое лицо на миг просветлело — кажется, она меня узнала. От этой непредвиденной улыбки я почувствовал себя счастливым, именно она убедила меня в реальности происходящего; значит, этот день и эта минута действительно существовали; не мои собственные поступки утвердили меня в этой мысли, хотя я и в самом деле спустился по лестнице, пересек улицу, вошел в вестибюль и в переднюю и увидел ученика, который сперва посмотрел на меня, а потом, пристыженный девизом «Тайна гарантирована», отвернулся, хотя я и в самом деле увидел кроваво-красные, как раны, следы сургуча; меня убедило в этом непредвиденное — дружеская улыбка

секретарши; девушка окинула взглядом мой перелицованный костюм, а потом, когда я взял у нее из рук квитанцию, шепнула: — Желаю вам удачи, господин Фемель.

Впервые за месяц с лишним была нанесена зияющая рана времени; слова секретарши дали мне понять, что в игре, затеянной мною, участвовала реальность; так, значит, время не фабриковалось в царстве грез, где будущее становилось настоящим, а настоящее казалось прошлым вековой давности и где прошлое становилось будущим; у этого прошлого я всегда мысленно искал защиты, как когда-то ребенком искал защиты у отца. Он был тихий, мой отец; шли годы и все больше укутывали его в тишину, тяжелую, как свинец; на торжественных богослужениях он играл на органе, он пел на похоронах: на похоронах по первому разряду пел много, по второму — меньше, а по третьему и вовсе не пел; мой отец был такой тихий, что при воспоминании о нем у меня щемит сердце; отец доил коров, косил сено и молотил хлеб, да так усердно, что мякина, словно мошकारа, облепляла его залитое потом лицо; отец размахивал дирижерской палочкой в юношеском фереине, в союзе подмастерьев, в фереине стрелков и в фереине Святой Цецилии; отец всегда молчал, он никогда не ругался, он пел, рубил свеклу, варил свиньям картофель, играл на органе, надев свой черный регентский сюртук, а поверх него — белый стихарь; никто в деревне не замечал, что отец не произносит ни слова, потому что он всегда был чем-то занят; из четверых его детей двое умерли от чахотки, остались только Шарлотта и я. Моя мать была хрупкая женщина, из тех, что любят цветы и нарядные занавески, любят петь песни за глаженьем белья, а по вечерам, когда топится печка, рассказывать бесконечные истории; отец работал не разгибая спины: сам делал кровати, набивал мешки сеном, резал кур, и все это продолжалось до тех пор, пока не умерла Шарлотта; шла заупокойная служба, церковь была убрана в белое, священник пел, но регент не вторил ему, молчал орган, с хоров не доносились голоса певчих, только один священник пел. Когда похоронная процессия в полной тишине выстроилась перед церковью, чтобы идти на кладбище, растерянный священник спросил: «Но, Фемель, дорогой мой, хороший мой Фемель, почему же вы не пели?»

И тут я в первый раз услышал, что мой отец заговорил; он произнес всего несколько слов, но я был поражен тем, как грубо прозвучал его голос, который мог звучать так нежно, когда отец стоял на хорах.

Он тихо, чуть внятно буркнул: «На похоронах по третьему разряду не поют».

Над Рейном поднялся туман, клубы облаков вытягивались в ленты и, свиваясь, плясали над свекловичными полями, в ивах каркали вороны, словно масленичные трещотки, растерянный священник читал заупокойную службу; с тех пор отец не поднимал больше дирижерскую палочку ни в юношеском фереине, ни в союзе подмастерьев, ни в фереине стрелков, ни в фереине Святой

Цецилии; казалось, первая фраза, которую я от него услышал (когда умерла двенадцатилетняя Шарлотта, мне исполнилось шестнадцать), сделала его разговорчивым; теперь он говорил непривычно много, говорил о лошадях и офицерах, которых ненавидел; как-то он угрожающе заметил: «Горе вам, если вы похороните меня по первому разряду».

— Да,— повторила блондинка.— Желаю вам удачи.

Быть может, лучше было бы отдать ей квитанцию, потребовать обратно запечатанный пакет и чертежи и вернуться домой; быть может, лучше было бы жениться на дочери бургомистра или подрядчика, строить пожарные каланчи, сельские школы, церкви, часовни; на праздниках после окончания строительства я танцевал бы с хозяйкой, а моя жена в это время отплясывала бы с хозяином; зачем бросать вызов Бремеккелю, Грумпетеру и Воллерзайну — этим корифеям церковной архитектуры? Зачем? Меня не мучило честолюбие и не прельщали деньги; мне и так никогда не пришлось бы голодать, я играл бы в скат со священником, аптекарем, трактирщиком и бургомистром, ездил бы на охоту и строил разбогатевшим крестьянам «что-нибудь помодней». Но ученик уже отбежал от окна и распахнул передо мной дверь, я сказал «спасибо» и вышел из приемной, прошел через вестибюль, пересек улицу и поднялся по лестнице в свою мастерскую; там я оперся руками о подоконник, содрогавшийся от стука типографских машин; это было тридцатого сентября тысяча девятьсот седьмого года около одиннадцати часов сорока пяти минут дня...

— Да, Леонора, с этими типографскими машинами просто беда, у меня уже разбилась не одна чашка, стоит лишь зазеваться. Не торопитесь, к чему такая спешка, не надо горячиться, милочка. Если так пойдет и дальше, вы за неделю приведете в порядок все, что я не мог разобрать за пятьдесят один год. Нет, спасибо, я не хочу пирожного. Вы разрешаете называть вас милочкой? Любезности такого старика, как я, не должны вас смущать. Ведь я, Леонора, памятник, а памятники не могут причинить зла; я, старый дурак, все еще хожу каждое утро в кафе «Кронер» и ем там сыр с перцем, хотя он мне давно опостылел, но я считаю своим долгом не разрушать в глазах современников легенду обо мне; я собираюсь учредить сиротский приют, быть может школу, и установить стипендии; когда-нибудь где-нибудь меня обязательно отольют в бронзе и откроют мне памятник; вы должны при этом присутствовать и смеяться, Леонора, вы так заразительно смеетесь, вам это известно? Я уже больше не смеюсь, я научился смеяться, хотя думал, что смех — мое оружие, но он никогда им не был, он давал мне всего лишь некоторые иллюзии. Если хотите, я возьму вас с собой на университетский бал и представлю как свою племянницу; на балу вы выпьете шампанского, потанцуете и познакомитесь с молодым человеком, который будет хорошо относиться к вам и полюбит вас; я дам за вами хорошее

приданое, да, да, подумайте об этом на досуге... Три метра на два — это общий вид Святого Антония, он висит здесь в мастерской уже пятьдесят один год, висел и тогда, когда обвалился потолок, с того времени на чертеже появилось несколько пятен от сырости — вот эти самые. Святой Антоний был мой первый большой заказ, грандиозный заказ; уже тогда, хотя мне только-только минуло тридцать лет, моя карьера была сделана.

В тысяча девятьсот семнадцатом году я опять не нашел в себе мужества сделать то, что сделала за меня Иоганна: она вырвала из рук Генриха стихотворение — мальчик стоял на крыше у беседки, — это стихотворение он должен был выучить наизусть; Генрих читал его истово, с детской серьезностью:

Петр, божий привратник, сказал, что он рад,  
Но должен начальству представить доклад.  
Ушел и вернулся — немного прошло, —  
Ах, ваше сиятельство, вам повезло.  
Вот отпуск бессрочный. Сам бог подмахнул  
(Сказал и врата широко распахнул).  
Ступай же, наш храбрый герой.  
Господь да пребудет с тобой!<sup>1</sup>

Роберту еще не исполнилось двух лет, а Отто еще не родился, я приехал в отпуск; мне уже давно стало ясно то, о чем я раньше лишь смутно догадывался; одной иронии недостаточно, от нее мало толку, ирония — это наркотик для привилегированных. Я должен был сделать то, что сделала Иоганна; мне следовало поговорить с мальчиком — мне, в моем капитанском мундире, — но я молча слушал, как Генрих декламировал:

И Блюхер торопится тотчас сойти,  
Чтоб нас от победы к победе вести.  
Ура! С Гинденбургом мы мчимся вперед.  
Он Пруссию спас! Он надежный оплот;  
Покуда немецкие рощи растут,  
Покуда немецкие флаги цветут,  
Покуда немецкое слово звучит,  
Не будет наш Гинденбург нами забыт.  
Герой! Для тебя наши бьются сердца,  
А славе героя не будет конца.  
С Гинденбургом вперед! Ура!

Иоганна выхватила из рук мальчика листок со стихами, разорвала его и выбросила клочки бумаги на улицу, они полетели вниз, как снежные хлопья, и легли перед лавкой Греца, где в тот день не висела туша, потому что в мире властвовала высшая сила.

— Когда мне откроют памятник, Леонора, одним смехом не обойдешься, плюньте на него, душенька, во имя моего сына Генриха и во имя Отто — ведь он был такой милый мальчик, такой

---

<sup>1</sup> Здесь и далее в этом романе стихи в переводе Б. Слуцкого.



хороший и послушный, а стал с годами совсем чужим, таким чужим, как никто на этой земле; во имя Эдит, единственного агнца, какого я когда-либо видел; я любил Эдит, мать моих внуков, но не сумел помочь ей, не сумел помочь ни подмастерью столяра, которого я видел всего два раза, ни тому юноше — его я никогда не видел, — который приносил нам весточки от Роберта и бросал в почтовый ящик записки величиной с конфетную бумажку; за это преступление он сгинул в концлагере. Роберт был умный и холодный и не признавал иронии; Отто казался совсем другим — гораздо сердечнее, но именно он принял *«причастие буйвола»* и стал нам совсем чужим; плюнь на мой памятник, Леонора, скажи им, что я так просил; хочешь, я дам тебе письменное разрешение и заверю свою подпись у нотариуса; жаль, что ты не знала того мальчика, при виде его я понял изречение: *«И Ангелы служили Ему...»*, он работал подмастерьем у столяра, и ему отрубили голову; жаль, что ты не знала Эдит и ее брата, я и сам-то видел его один-единственный раз; он прошел по нашему двору и поднялся наверх к Роберту; я стоял у окна спальни и видел его всего полминуты, но мне стало страшно, ибо он принес с собой и беду и благословение, его фамилия была Шрелла, а имени я так и не узнал, он казался мне судебным исполнителем бога, который метит дома неисправных должников; я знал, что он потребует к ответу моего сына, и все же я позволил этому юноше с вислыми плечами пройти по двору; брат Эдит взял заложником старшего из моих оставшихся в живых сыновей, одаренного юношу; сама Эдит была совсем другой — в ней жила библейская серьезность, и она могла позволить себе библейский юмор; во время бомбежек Эдит смеялась вместе со своими детьми; она дала им библейские имена: Йозеф и Рут — Иосиф и Руфь, смерть не страшила ее; она не могла понять, почему я так горюю по моим умершим детям — по Иоганне и Генриху, ей так и не довелось узнать о смерти Отто, который был мне когда-то ближе всех, но стал чужим, — Отто любил мою мастерскую и мои чертежи, он ездил со мной на стройки и пил пиво на празднествах по случаю окончания строительства, он был любимцем рабочих; но в сегодняшнем празднике он не будет участвовать; сколько гостей приглашено? Род, который я основал, невелик — всех можно пересчитать по пальцам одной руки: Роберт, Йозеф, Рут, Иоганна и я; на месте Иоганны будет сидеть Леонора. Что я скажу Йозефу, когда он с юношеским пылом сообщит мне об успехах восстановительных работ в аббатстве Святого Антония; праздник по случаю окончания работ намечено устроить уже в конце октября, монахи хотят отслужить предрождественское богослужение в новой церкви. *«Дрожат дряхлые кости»*<sup>1</sup>, Леонора, они не пасли моих овец.

---

<sup>1</sup> Слова из фашистской песни, которая кончается фразой: «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир».

Лучше было бы вернуть тогда квитанцию, сломать красные печати и уничтожить пакет, мне не пришлось бы теперь ждать моей внучки, красивой черноволосой девятнадцатилетней девушки — ей сейчас как раз столько же, сколько было Иоганне, когда я пятьдесят один год назад увидел ее на крыше соседнего дома; она читала книгу, заглавие которой было мне хорошо видно — *«Коварство и любовь»*, а может, девушка, читающая сейчас на крыше *«Коварство и любовь»*, и есть Иоганна? Неужели ее действительно нет с нами? Неужели она не сидит с Робертом за обедом *«У льва»*, неужели я не сегодня заходил в каморку швейцара, чтобы отдать ему традиционную сигару, неужели я не только что удрал от доверительного разговора — разговора *«мужчины с женщиной, рядового с лейтенантом»*, — удрал к себе наверх, чтобы просидеть здесь с половины одиннадцатого до пяти, неужели я не поднялся по лестнице, как бывало в те дни, мимо стопок книг и штабелей епископских посланий, еще пахнущих типографской краской? Что они еще успеют напечатать в нынешнюю субботу на белых листах бумаги — назидательные сентенции или предвыборные плакаты для тех, кто принял *«причастие буйвола»*? Стены дрожат, лестница сотрясается — работники приносят все новые бумажные кипы, нагромождают их одну на другую до самых дверей моей мастерской. В те времена, лежа здесь, я упражнялся в искусстве жить в настоящем; потоки воздуха несли меня как бы по черной вентиляционной трубе, я знал, что вот-вот меня выбросит наружу, но не знал куда. Я ощущал извечную горечь, меня томило извечное чувство, что все — суета сует, я видел детей, которые от меня родятся, вина, которые я буду пить, больницы и церкви, которые построю, и все время я слышал, как комья земли падают на мой гроб, слышал неотвязную, глухую дробь барабана; а наяву до меня доносилось пение накладчиц, фальцовщиц и упаковщиц — одни пели высокими голосами, другие низкими, кто с чувством, а кто равнодушно, они пели о простых радостях субботнего вечера, но мне их пение казалось зауспокойной молитвой; в песнях говорилось о любви на дешевых танцульках, о грустном счастье у кладбищенской стены в по-осеннему пахучей траве; о слезах старых матерей, предвещающих радости юных матерей; о печали сиротского приюта, где храбрая девушка решила хранить чистоту, пока и ее не настигло чувство, настигло во время танцев, и она вкусила грустное счастье у кладбищенской стены в по-осеннему пахучей траве, — голоса работниц звучали монотонно, словно в тихую воду мерно опускались водочерпальные колеса, словно работницы отпевали меня; комья земли стучали по крышке гроба. Из-под опущенных век я смотрел на стены мастерской, которые увешал эскизами; в центре красовалась грандиозная, отливающая красным светокопия в масштабе 1:200 — аббатство Святого Антония; на переднем плане виднелся поселок Штелингерс-Гротте — коровы паслись на лугу, рядом тянулось убранное картофельное поле, над которым поднимался дым от костра; дальше шло аббатство, огромное здание в стиле базилики

(я без стеснения копировал романские соборы) — крытая галерея казалась строгой, низкой, темной; поблизости я разместил кельи, трапезную и библиотеку, посредине крытой галереи возвышалась статуя святого Антония; хозяйственные постройки, амбары, конюшни, сараи образовывали большой прямоугольник — там были собственные мельница и пекарня; красивый дом предназначался отцу эконому, который среди прочих обязанностей должен был заботиться о паломниках; под высокими деревьями стояли грубо сколоченные столы и стулья, здесь паломники могли подкрепиться и запить взятые в дорогу припасы терпким вином, виноградным соком или пивом; на горизонте был слегка намечен второй поселок — Гёрлингс-Штуль: часовня, кладбище, четыре крестьянских двора, коровы, пасущиеся на лугу; ряды тополей справа отделяли расчищенную под пашню землю; монахи разобьют там виноградники, будут выращивать капусту и картофель, овощи и хлеб и собирать в ульях превосходный мед.

Таков был этот проект с подробными чертежами и с полной сметой, отданный за двадцать минут до срока в обмен на квитанцию; тонким пером я выписал все цифры, перечислил все статьи расходов и прищурился, словно уже видел в натуре эти постройки, я смотрел на проект так, как смотрят в окно: я видел монахов, отвешивающих поклоны, видел, как богомольцы пьют молодое вино, а внизу в ожидании свободного вечера все пели и пели работницы, пели высокими и низкими голосами, и их пение звучало отходной по мне; я закрыл глаза, и меня охватило предчувствие холода, который на самом деле мне суждено ощутить лишь через пятьдесят лет, уже человеком отжившим, окруженным буйной молодой порослью.

Этот месяц с лишним тянулся бесконечно, все, что я делал, уже происходило когда-то в моих сновидениях — мне оставались лишь утренняя месса да часы с половины одиннадцатого до пяти; я жаждал непредвиденного, до сих пор его принесла мне лишь чуть заметная улыбка секретарши и слова, повторенные ею дважды: «Желаю вам удачи, господин Фемель». Стоило мне закрыть глаза, и время расслаивалось, как спектр, на разные цвета — я видел прошлое, настоящее, будущее: через полвека моим старшим внукам будет по двадцать пять лет, а сыновья мои вступят в тот возраст, в каком находятся теперь почтенные господа, которым я только что вручил проект, а вместе с ним и свою судьбу. Я ощупью поискал квитанцию, она была на месте, она существовала. Значит, завтра утром соберется жюри и установит, что положение изменилось, ибо поступил четвертый проект; за это время уже сложились группировки — двое членов жюри были за Грумпетера, двое — за Бремеккеля и один — самый главный, но самый молодой и скромный из всех пяти, настоятель, — за Воллерзайна; настоятелю нравился романский стиль — среди членов жюри неизбежно разгорится горячий спор, потому что оба члена, берущие взятки, станут с особым пылом приводить аргументы художественного порядка; но вдруг потребовалась отсроч-

ка; какой-то никому не известный мальчишка без роду и племени спутал все карты. Члены жюри с беспокойством обнаружили, что настоятелю понравился мой проект; поднося к губам рюмку, он то и дело останавливался перед моим чертежом: весь ансамбль был органически вписан в окружающий ландшафт; прямоугольник с необходимыми хозяйственными постройками был четко отделен от прямоугольника с крытой галереей и кельями; настоятелю нравились и колодец, и подворье для паломников; он улыбался — в этом аббатстве он сможет править как “*primus inter pares*”<sup>1</sup>, проект уже казался ему претворенным в жизнь, мысленно он уже главенствовал в монастырской трапезной, сидел на хорах, посещал больных братьев, ходил к отцу эконому отведать вина и пересыпать с ладони на ладонь горсть зерна — хлеб для его братии и для бедных, зерно, собранное на его полях; у самых ворот молодой архитектор запроектировал небольшое крытое помещение для нищих, снаружи будут стоять скамейки — для летних дней, внутри — стулья, стол и печка — для зимней непогоды.

— Господа, этот проект не вызывает у меня сомнений, я без всяких оговорок голосую за проект господина... как бишь его... за проект Фемеля, к тому же стоимость всего сооружения на триста тысяч марок меньше, чем это предусматривает самый дешевый из трех других проектов.

Крошки сухого сургуча из разверстых ран усеяли стол, по которому сейчас стучали кулаками специалисты, начиная долгий торг.

— Поверьте, ваше преподобие, уже не раз случалось, что нам сбивали цену. Но как вы поступите, если тот же самый Фемель явится за четыре недели до окончания работ и объявит: «Я — на мели». В таких случаях, как этот, смета может быть перерасходована на полмиллиона. Так нередко случается. Поверьте нам, людям сведущим. Какой банк поручится за неопытного, никому не известного молодого человека, кто выложит за него гарантийную сумму? Разве у него есть состояние?

Молодой настоятель громко рассмеялся.

— Состояние Фемеля, согласно его собственным утверждениям, составляет восемь тысяч марок.

Торг продолжался. Господа ушли раздосадованные. Никто из них не поддержал настоятеля. Решение было отсрочено на четыре недели. Но оказалось, что этот бритоголовый крестьянский сын, которому едва минуло тридцать, имел по уставу решающий голос. *Вопреки* его воле ничего нельзя было решить, зато с его *согласия* все решалось без промедления.

И тут зазвонили телефоны; обливаясь потом, забегали нарочные, разнося экспресс-письма от регирунгспрезидента архиепископу, от архиепископа в духовную семинарию, где доверенное лицо архиепископской канцелярии как раз в эту минуту, стоя на кафед-

---

<sup>1</sup> Первый среди равных (лат.).

ре, превозносило достоинства неоготического стиля; и доверенное лицо, залившись пунцовой краской, поспешно побежало к пролетке, которая уже ожидала его, копыта зацокали по брусчатке, и колеса пролетки, скрипя, начали описывать головокружительно смелые виражи: «Скорее! Скорее! Донесение! Донесение!»

— Фемель? Никогда не слышал.

— Проект? Технически он сделан блестяще, да и сметы, насколько можно судить, убедительны, это надо признать, ваше преосвященство, но стиль! Стиль чудовищный! Только через мой труп.

— Через ваш труп? — Архиепископ улыбнулся; этот профессор — артистическая натура, у него пламенный темперамент и к тому же слишком много чувства и слишком много развевающихся белых локонов. — Через ваш труп? Ну и ну.

От Грумпетера к Бремоккелю, от Бремоккеля к Воллерзайну летели шифрованные запросы; смертельно враждующие архитектурные светила на несколько дней помирились; в шифрованных депешах и телефонных разговорах они спрашивали друг друга: «Является ли цветная капуста скоропортящимся продуктом?», что должно было означать: «Можно ли смещать настоятелей?», и тут пришел ошеломляющий ответ: «Цветная капуста не является скоропортящимся продуктом».

Месяц с лишним меня окружало небытие, мир и покой царили в моей могиле; земля медленно осыпалась, мягко обволакивая меня со всех сторон, а в мои уши вливалось пение работниц; как хорошо бездельничать! Но скоро я начну действовать, мне придется действовать, как только они вскроют мою могилу, как только поднимут крышку гроба; они снова отбросят меня назад, в те времена, когда каждый день был чем-то примечателен и когда каждый час надо было выполнять какую-то обязанность; игра становилась серьезной. В тот день в два часа я не стал есть в моей маленькой кухне гороховый суп, я уже давно не подогревал его и съедал холодным, меня не интересовали ни еда, ни деньги, ни слава; мне нравилась игра как таковая, мне доставляла удовольствие моя сигара, и еще я тосковал по женщине, по моей будущей жене. Станет ли ею та девушка, которую я видел в садике на крыше соседнего дома, — черноволосая, стройная и красивая Иоганна Кильб? Завтра она впервые услышит мое имя. Тосковал ли я по женщине вообще или именно по ней? Мне осточертело мужское общество, все мужчины казались мне смешными — верующие и неверующие, те, кто рассказывал неприличные анекдоты, и те, кто их выслушивал, игроки в бильярд и лейтенанты запаса, члены певческих фереинов, портье и кельнеры; все они мне надоели, и я радовался, когда в послеобеденное время, между пятью и шестью часами, мог пройти в потоке работниц через ворота и увидеть их лица; мне нравилась чувственность этих лиц, смело платящих дань времени; я бы охотно пошел с одной из работниц потанцевать и прилег бы с ней в по-осеннему пахучей траве у кладбищенской стены, я бы разорвал квитанцию и отказался от своей большой

игры. Эти девушки любили смеяться и петь, они ели и пили с аппетитом, иногда плакали и ничем не походили на лицемерных гусынь, вызывавших меня, своего постояльца, на ласки, которые казались им смелыми. Пока все еще было в моей власти — действующие лица и реквизит; статисты еще подчинялись мне в этот последний день, когда мне не захотелось холодного горохового супа и было лень подогреть его; но я решил доиграть игру до конца, игру, придуманную мною в скучные вечерние часы в захолустных городишках, когда я кончал определять качество цементного раствора, осматривать кирпич, проверять отвесность каменной кладки и когда вслед за скукой в строительной конторе неизбежно следовала скука в какой-нибудь мрачной пивнушке, — именно в те дни я начал набрасывать на клочках бумаги проект аббатства.

Игра захватила меня целиком — наброски становились все больше, чертежи все точнее, сам того не замечая, я вдруг окунулся с головой в составление сметы; я ведь учился рассчитывать, учился чертить. Я отправил тридцать золотых марок Кильбу, и мне прислали документацию; однажды в солнечный день я съездил в Кисслинген, я увидел цветущие нивы, темно-зеленые свекловичные поля и лес, где в свое время будет стоять аббатство; я продолжал свою игру, теперь я изучал противников, имена которых их коллеги произносили с благоговейной ненавистью — Бремеккель, Грумпетер, Воллерзайн; я осмотрел их сооружения — церкви, больницы, часовни, собор Воллерзайна; при виде этих безотрадных строений я почувствовал, ясно ощутил, что дорога в будущее для меня открыта, будущее представлялось мне страной, ожидающей завоевателя, неведомой землей, где закопаны золотые монеты, доступные всякому, кто хоть немного знаком со стратегией; будущее было в моих руках, надо было только действовать; время вдруг стало силой, а ведь раньше я пренебрегал им, расточал его без всякой пользы, в те годы, когда продавал за несколько золотых монет свои руки и мозг, свою сноровку и знания бракоделам и ханжам; я купил бумагу, таблицы, карандаши и справочники; я начал игру, которая не отнимала у меня ничего, кроме времени, но время у меня было, даровое время; воскресенья я использовал теперь для рекогносцировок, я изучал местность, я мерил шагами улицы; на Модестгассе в доме номер семь можно было снять мастерскую, а напротив, в доме номер восемь, жил нотариус, который хранил у себя под замком проекты; границы были открыты, мне оставалось только вторгнуться в незнакомый край, но лишь теперь, находясь в самом сердце этого края, который мне предстояло завоевать, лишь теперь, воспользовавшись тем, что враг еще дремлет, я по всей форме объявил ему войну; я еще раз нащупал в кармане квитанцию, она была на месте.

Послезавтра порог моей мастерской переступит первый посетитель — это будет настоящий, молодой, кареглазый, положительный, он еще не стал владыкой своего аббатства, но уже привык вла-  
дичествовать.

— Откуда вы узнали, что наш патрон святой Бенедикт не предусматривал разделения между послушниками и монахами в трапезной?

Настоятель ходил взад и вперед по комнате, часто поглядывая на проект, и спрашивал:

— Вы сумеете сдержать слово, вы не отступите, эти вороны не окажутся правы?

И вдруг меня охватил страх перед той большой игрой, которая скоро перехлестнет рамки чертежей и подхватит меня; да, я затеял эту игру, но никогда не отдавал себе отчета в том, что могу ее выиграть; я хотел приобрести славу человека, который отважился выступить против Бремоккеля, Грумпетера, Воллерзайна, этого мне было достаточно, у меня и в мыслях не было победить их. Я испугался, но все же ответил настоятелю:

— Да, я сдержу слово, ваше преподобие.

Настоятель кивнул, улыбнулся и ушел.

В пять часов я вышел в потоке работниц за городские ворота, это была моя обычная прогулка после трудового дня; в экипажах ехали на свидания красавицы под вуалями, в кафе «Фуль» лейтенанты, слушая сладкую музыку, пили горькие настойки; каждый день я гулял по часу; я проходил четыре километра всегда по одной и той же дороге, всегда в одно и то же время; пусть меня видят в одно и то же время в одном и том же месте торговли, банкиры, ювелиры, проститутки и кондукторы, приказчики, кельнеры и домашние хозяйки; они видели меня от пяти до шести с сигарой во рту; это неприлично, я знаю, но ведь я художник, что обязывает к нонконформизму; я останавливался перед шарманщиком, который переплавлял в медяки вечернюю меланхолию; то была сказочная дорога, пролегавшая через царство грез; суставы моих статистов были хорошо смазаны, невидимые ниточки заставляли их двигаться, они послушно открывали рот, чтобы произнести те реплики, которые я вложил им в уста; в отеле «Принц Генрих» холодно щелкали бильярдные шары: белые шары катились по зеленому полю, красные по зеленому; манекены сгибали руки, чтобы толкнуть шар кием и поднести ко рту пивную кружку, они подсчитывали очки, дружески хлопали меня по плечу. «Ах, да!» «Ах, нет!» «О, прекрасно!» «Не повезло!» — раздавались возгласы статистов, а я между тем слышал, как комы земли стучали по крышке моего гроба. И где-то в будущем меня уже ждал предсмертный крик Эдит и последний взгляд светловолосого подмастерья столяра, брошенный им в предрассветном сумраке на тюремную стену.

Как-то вместе с женой и детьми я отправился в Киссаталь и с гордостью показал им творение своей юности; я навел на постаревшего настоятеля и на его лице увидел следы минувших лет, которых не замечал на своем; он угощал нас в комнате для

гостей кофе и пирожными, испеченными из собственной муки, с вареньем из слив, собранных в собственных садах, и сливками от собственных коров; моим сыновьям разрешили пройти на ту половину, где были кельи, а жена и хихикающие дочери остались ждать их; у меня было четверо сыновей и три дочери, всего семеро, эти семеро подарят мне семь раз по семь внуков. Настоятель улыбнулся: «Мы ведь теперь к тому же соседи».

Да, я приобрел обе усадьбы — Штелингс-Гротте и Гёрлингс-Штуль.

— Ах, Леонора, неужели это опять звонят из кафе «Кронер»? Но ведь я совершенно ясно сказал: шампанского не надо. Я ненавижу шампанское. А теперь вам пора отдохнуть, пожалуйста, милочка. Не закажете ли вы мне такси на два часа? Пусть подождет у ворот. Может быть, вас подвезти? Нет, я не поеду через Блессенфельд. Пожалуйста, если хотите, я могу вас доставить домой...

Он отвернулся от окна, служившего ему экраном, и вновь взглянул в мастерскую, где на стене все еще висел большой чертеж аббатства и носились клубы пыли, которую, несмотря на все старания, невольно поднимали прилежные девичьи руки; Леонора усердно разбирала бумаги в сейфе, она протянула Фемелю кучу банкнотов, обесцененных уже тридцать пять лет назад, а потом, качая головой, извлекла из-под спуда еще одну пачку денег, изъятых из обращения лет десять назад; она тщательно пересчитала на чертежном столе эти кредитки, которые показались Фемелю совсем незнакомыми, — десять, двадцать, восемьдесят, сто... всего там было тысяча двести двадцать марок.

— Бросьте их в огонь, Леонора, или, если угодно, подарите ребятишкам на улице эти фальшивые расписки, свидетельствующие о жульнической операции, с размахом проделанной тридцать пять лет назад и повторенной десять лет назад.

Деньги меня никогда не интересовали, тем не менее я слыл стяжателем, это было чистейшее заблуждение; начиная свою большую игру, я не думал о деньгах; и только когда я ее выиграл и приобрел популярность и богатство, мне стало ясно, что у меня есть все предпосылки для этого; я был энергичен, обходителен, прост в обращении, я служил музам и в то же время числился офицером запаса, я кое-чего добился в жизни, нажил состояние и все же был тем, что называется «парень из народа», и никогда не стеснялся этого; не ради денег, славы и женщин воплотил я в формулы алгебру будущего, превращая неизвестные «Х», «У», «Z» в зримые величины — в усадьбы, банкноты и власть, которые я щедро раздаривал, но которые всегда возвращались ко мне в удвоенном количестве; я был смеющимся Давидом, хрупким юношей, никогда не прибавлявшим и не убавлявшим в весе, мне и сейчас была бы впору моя лейтенантская форма, которую я не



надевал с девяносто седьмого года. Глубоко поразило меня только непредвиденное, хотя как раз непредвиденного я более всего жаждал: любовь жены и смерть дочери Иоганны. Полутораговая девочка была вылитая Кильб, но, когда я смотрел в ее детские глаза, мне чудилось, что я смотрю в глаза своего молчаливого отца, я видел в темной глубине ее зрачков извечную мудрость, глаза ребенка были, казалось, уже знакомы со смертью; scarlatina заполонила это маленькое тельце, подобно страшной сорной траве, она поднималась от бедер вверх, спускалась вниз к самым ступням, девочку сжигал жар; в ней разрасталась смерть, белая как снег, смерть росла подобно плесени под пылающей краснотой; смерть пожирала ее изнутри и выбивалась наружу из черных ноздрей — непредвиденное, то, чего я так жаждал, обернулось для меня проклятием, оно подстерегло меня в этом ужасном доме, где я вдруг затеял горячий спор со священником из Святого Северина, с тестем и тещей; я запретил пение на заупокойной службе, я настаивал на своем и сумел настоять, но во время мессы я с испугом услышал, как Иоганна прошептала: «Христос».

Я никогда не произносил вслух этого имени, не осмеливался даже мысленно вымолвить его, и все же я знал: оно жило во мне, ничто не могло убить это имя, шепотом сказанное сейчас Иоганной, — ни четки Домгреве, ни пресные добродетели хозяйских дочерей, жаждавших заполучить себе мужа, ни махинации с исповедальными шестнадцатого века, продававшимися на тайных аукционах за большие деньги, которые Домгреве снова превращал на курорте Локарно в мелкие грешки; это имя не могли убить ни мошеннические проделки ханжей-священников, проделки, коим я сам был свидетелем, ни их жалкие интрижки с совращенными девушками, ни необъяснимая жестокость моего отца, ни мои бесконечные блуждания в извечных пустынях горечи и отчаяния и в ледяных океанах будущего, где меня поддерживало одиночество, словно гигантский спасательный круг, и где моим единственным оружием был смех; это слово не убили во мне; я был Давидом, маленьким Давидом с пращой, а также Даниилом в пещере льва, готовым встретить непредвиденное — смерть Иоганны. Это случилось третьего сентября тысяча девятьсот девятого года; в то утро уланы, как всегда, скакали по брусчатке мостовой; по улице шли молочницы, мальчики из пекарни и клирики в развевающихся сутанах; перед мясной Греца вывесили кабана; притворное огорчение отразилось на лице домашнего врача Кильбов, который вот уже сорок лет удостоверял рождения и смерти в этой семье; в его обвисшей кожаной сумке лежали бесполезные инструменты, с их помощью ему удавалось утаить от нас всю тщету своих усилий; врач прикрыл обезображенное тельце девочки, но я его снова открыл, я хотел видеть тело Лазаря и глаза моего отца, которые жили на лице этого ребенка всего лишь полтора года; рядом в спальне кричал Генрих; колокола на Святом Северине прозвонили к девятичасовой мессе, дробя время на множество осколков; сейчас Иоганне было бы уже пятьдесят лет.

— Военные займы, Леонора? На них я не подписывался; они достались мне по наследству от тестя. Бросьте их в огонь, как и старые деньги. Два ордена? Ну конечно, я же строил траншеи, прокладывал минные галереи, укреплял артиллерийские позиции, стойко держался под ураганным огнем, вытаскивал с поля боя раненых; да, крест второй степени и первой степени, давай сюда эти штуковины, Леонора, дай их мне — мы бросим их в водосточную трубу, пусть их затянет тиной в сточной канаве; однажды, когда я стоял за чертежным столом, Отто вытащил их из шкафа; я слишком поздно заметил роковой блеск в глазах мальчика; он увидел ордена; и уважение, которое он питал ко мне, намного возросло; слишком поздно я все это заметил. Выбрось их по крайней мере сейчас, пусть хотя бы Йозеф не обнаружит их в моем наследстве.

Раздался легкий звон — Фемель бросил свои ордена, и они заскользили по покатой крыше к водосточной трубе, а оттуда скатились вниз в сточную канаву и легли обратной стороной кверху.

— Почему вы так испугались, детка? Ведь это мои ордена, я могу с ними делать все что хочу; слишком поздно, но лучше поздно, чем никогда. Будем надеяться, что скоро пойдет дождь и вся грязь с крыши стечет в канаву; позднеенько я принес их в жертву памяти моего отца. Да сгинут почести, что были возданы нашим отцам, дедам и прадедам.

Я мнил себя сильным, хотя вовсе им не был; я воплощал алгебру будущего в формулы, превращал ее в образы настоятелей, епископов, генералов и кельнеров, но все они были статистами, и только я один выступал соло, даже в пятницу вечером, когда пел в хоре ферейна «Немецкие голоса» *«Что там в лесу блестит на солнце?..»*. Я хорошо пел эту песню, я научился петь у отца и, втайне посмеиваясь, выводил ее своим баритоном; дирижер, размахивавший дирижерской палочкой, не подозревал, что он подчинялся *моей* дирижерской палочке; все наперебой приглашали меня на всякие официальные торжества, предлагали заказы, смеясь, хлопали по плечу.

— Обществу, молодой друг, — истинная улада жизни.

Мои седовласые коллеги пытались с кислым видом выпросить меня о том о сем, но я пел, и только; пел *«Том-рифмоплет»* с половины восьмого до десяти, ни минутой позже. Миф обо мне должен был возникнуть прежде, чем разразится скандал. «Цветная капуста не является скоропортящимся продуктом».

Я бродил с женой и детьми по Киссаталю; мальчики ловили форель; мы гуляли среди виноградников, среди нив и свекловичных полей, гуляли в рощах и пили пиво и лимонад на вокзале в Денклингене; и при всем том я знал, что лишь час назад отдал

чертежи и получил взамен квитанцию; одиночество, подобно гигантскому спасательному кругу, все еще держало меня на поверхности, и я еще плыл по волнам времени, минутами погружаясь вглубь, переправлялся через океаны прошлого и настоящего и проникал в ледяной холод будущего; одиночество не давало мне утонуть, смех был моим «неприкосновенным запасом», и я очень бережно расходовал его. Вынырнув на поверхность, я протирал глаза, выпивал стакан воды, съедал кусок хлеба и шел с сигарой к окну; там, в садике на крыше дома напротив, гуляла девушка, иногда она мелькала сквозь просветы в беседке или, стоя у перил, смотрела на улицу и видела там то же, что видел я: подмастерьев, грузовики, монахинь, жизнь, бьющую ключом; ей было двадцать лет — ее звали Иоганной, она читала *«Коварство и любовь»*, я знал ее отца, и мне казалось, что грозный бас Кильба, который я слышал в певческом фереине, не соответствовал безупречной репутации его конторы, его бас не гарантировал секретности, о которой постоянно твердили конторским ученикам; бас Кильба нагонял на людей страх, в нем звучали тайные пороки. Знал ли он, что я женюсь на его единственной дочери? Что в тихие послеобеденные часы мы иногда улыбаемся друг другу? Что я уже думаю о ней с пылкостью законного жениха? Она была черноволосая и бледная; я запретил бы ей носить платья цвета резеды, зеленое пошло бы ей куда больше; во время своих прогулок я уже мысленно выбирал для нее платья и шляпы в витринах Гермины Горушки, мимо которых проходил каждый день в одно и то же время, без двадцати минут пять — и в дождь и в солнечные дни; надо излечить Иоганну от этого ее простодушия, не гармонирующего с голосом отца; я буду покупать ей великолепные шляпы величиной с колесо, из грубой зеленой соломки; нет, я не собирался стать ее повелителем, я хотел любить Иоганну; ждать уже осталось недолго. В воскресенье утром, запасшись букетом, я подъеду к ним в экипаже, приблизительно в половине двенадцатого, когда они закончат завтрак после торжественной мессы и мужчины перейдут в кабинет выпить рюмочку водки: «Я прошу руки вашей дочери». Каждый день после полудня, выплыв из океана времени, я подходил к этому окну, показывался ей, кланялся, мы улыбались друг другу, и я опять отступал назад в темноту, я здоровался отчасти и для того, чтобы она не думала, будто за ней никто не наблюдает; я не хотел сидеть у окна, подобно пауку в своей паутине; я считал неудобным следить за ней, когда она меня не видит, есть вещи, которых не делают.

Завтра она узнает, кто я. Это будет как гром среди ясного неба, Иоганна засмеется, а уже через год она будет счищать щеткой следы известки с моих брюк; когда мне минет сорок, пятьдесят, шестьдесят лет, она по-прежнему будет делать это, вместе со мной она достигнет преклонного возраста и превратится в очаровательную старую даму. Окончательно мое решение созрело тридцатого сентября тысяча девятьсот седьмого года, днем, приблизительно в половине четвертого.

— Да, Леонора, заплатите, пожалуйста; деньги вон в той шка-  
тулке, и дайте девушке две марки на чай, да, две марки — она  
принесла свитер и юбку от Гермины Горушки для моей внучки  
Рут, сегодня Рут должна вернуться в город; зеленый цвет ей осо-  
бенно к лицу; как жаль, что молодые девушки не носят теперь  
шляп; я очень любил покупать шляпы. Такси заказано? Спасибо,  
Леонора. Вы хотите еще поработать? Воля ваша, конечно, отчасти  
это объясняется любопытством, ведь правда? Вам незачем крас-  
неть; да, еще от одной чашечки кофе я не откажусь. Мне следо-  
вало бы узнать точно, когда кончаются каникулы. Но ведь Рут уже  
приехала? Мой сын вам ничего не говорил об этом? Надеюсь, он  
не забудет, что я пригласил его на мой сегодняшний праздник?  
Я распорядился, чтобы швейцар внизу, принимая цветы, телеграм-  
мы, подарки и визитные карточки, давал каждому посыльному по  
две марки на чай и говорил, что я в отъезде; выберите себе самый  
красивый букет, а то и два букета и возьмите их к себе домой;  
если это вам доставит удовольствие, можете остаться здесь хоть до  
самого вечера.

Чашка с только что налитым кофе больше не звенела, очевид-  
но, на белых листах бумаги перестали печатать назидательные сен-  
тенции или предвыборные плакаты, но картина в окне оставалась  
прежней; напротив, на крыше дома Кильбов, был виден опустев-  
ший садик, возле беседки росли поникшие настурции, позади вид-  
нелись очертания крыш, еще дальше — горы, а над ними сияющее  
небо; в этом окне я видел когда-то свою жену, потом своих детей,  
а также тестя и тещу, это случалось, когда я подымался в мастер-  
скую, чтобы заглянуть через плечо в чертежи своих помощников —  
молодых прилежных архитекторов, проверить их расчеты, устано-  
вить им сроки; к работе я относился с тем же безразличием, что  
и к слову «искусство»; другие делали ее не хуже меня; я хорошо  
платил им, я никогда не мог понять фанатиков, приносящих себя  
в жертву слову «искусство», я помогал им, посмеивался над ними,  
давал им работу, но не понимал их, я просто не мог этого постичь.  
Я постиг только то, что называется «ремеслом», хотя меня и счи-  
тали служителем муз, мною восхищались именно как художником;  
мне могут возразить: разве вилла, которую я построил для Граль-  
дуке, не была по-настоящему смелой и современной? Да, она была  
такой, даже мои коллеги по искусству восхищались ею, хвалили  
ее, но, несмотря на то что я спроектировал и построил эту виллу,  
я все так же не мог взять в толк, что такое искусство; они при-  
нимали это слово слишком всерьез, может быть, потому, что слиш-  
ком много знали об искусстве, что не мешало им самим строить  
мерзейшие коробки. Я уже тогда понимал, что лет через десять  
эти коробки не будут вызывать ничего, кроме отвращения; зато сам  
я мог иногда, засучив рукава, стать за этот вот чертежный стол  
и спроектировать, к примеру, административное здание для об-  
щества «Все для общего блага», да так спроектировать, что дураки,  
считавшие меня жадным до денег выскочкой, деревенским олухом,  
только диву давались; я и по сей день не стыжусь этого здания,

построенного сорок шесть лет назад; что это, искусство? Пусть будет так, я никогда не знал, что такое искусство, быть может, создавал его, сам того не ведая, никогда не принимая его всерьез; мне была непонятна и ярость трех корифеев, которые готовы были растерзать меня. Боже ты мой, неужели нельзя позволить себе шутку, почему эти Голиафы совершенно лишены чувства юмора? Они верили в искусство, а я нет; они считали, что их честь пострадала из-за человека без роду и племени. Но ведь все люди были когда-то без роду и племени, разве нет? Я открыто смеялся над ними, я поставил их в такое положение, что даже мой провал показался бы победой, а уж мой успех — настоящим триумфом.

Поднимаясь вместе со всеми по лестнице в музей, я чувствовал что-то вроде сострадания к своим противникам. Я с трудом приноровил свой шаг к той торжественной поступи, к которой уже приучили себя эти уязвленные мною господа; таким шагом шествуют люди, поднимаясь по ступеням собора в свите королей и епископов или на церемонии открытия памятников; шаг этих господ выражал подобающую случаю взволнованность, они шли не слишком медленно и не слишком быстро, они знали, чего требует их достоинство, а я не знал; я бы с удовольствием взлетел на лестницу по каменным ступенькам, как молодой пес, пробежал бы мимо статуй римских легионеров со сломанными мечами, копьями и пучками прутьев, напоминающими факелы, мимо бюстов цезарей и слепков с детских гробниц, вверх по лестнице на второй этаж, туда, где между залом голландцев и залом назарейцев<sup>1</sup> находился конференц-зал; какой серьезный вид умеют напускать на себя бюргеры, казалось, где-то на заднем плане вот-вот забьют барабаны; с таким видом поднимаются на ступени алтаря и на ступени эшафота, всходят на возвышения, чтобы получить орден на шею или выслушать смертный приговор; с таким видом актеры на любительских спектаклях изображают торжественные церемонии, однако Бремеккель, Грумпетер и Воллерзайн, которые шли рядом со мной, были не любители, а профессионалы.

Музейные стражи в парадных ливреях смущенно переминались перед Рембрандтом, Ван Дейком и Овербеком; сзади, у мраморных перил, в полумраке я заметил Мезера; стоя перед входом в конференц-зал, он держал наготове серебряный поднос с рюмками коньяка, чтобы предложить нам подкрепиться перед объявлением решения. Мезер ухмыльнулся, мы с ним ни о чем не улавливались, но он все же мог бы подать мне знак: кивнуть или покачать головой — да или нет. Но он этого не сделал. Бремеккель шептался с Воллерзайном, Грумпетер заговорил с Мезером и сунул серебряную монетку в его грубые руки, которые я с детства ненавидел; целый год мы вместе с ним прислуживали во время ранней мессы; где-то позади бормотали старухи кресть-

---

<sup>1</sup> Группа немецких художников-романтиков начала XIX века, в нее входили Ф. Овербек, П. Корнелиус и др.

янки, они упорно молились не в лад со священником, перебирая свои четки. Пахло сеном, молоком, теплом хлеба, и когда мы с Мезером клали поклоны, чтобы при словах “*теа culpra, теа culpra, теа maxima culpra*”<sup>1</sup> ударить себя в грудь и повиниться в своих тайных прегрешениях, пока священник поднимался по ступенькам алтаря, Мезер этими самыми руками, которые сжимали теперь серебряную монетку Воллерзайна, делал непристойные жесты; и вот сейчас этим рукам были доверены ключи городского музея, где хранились полотна Гольбейна, Гальса, Лохнера и Лейбля.

Со мной никто не заговаривал, и мне осталось только прислониться к холодной мраморной балюстраде; я заглянул вниз, во внутренний дворик, и увидел бронзового бургомистра, с несокрушимой серьезностью выставившего свое брюхо навстречу бегущим столетиям, и мраморного мецената, который в тщетном стремлении казаться глубокомысленным прикрыл веками свои лягушачьи глаза; глаза памятника были пустые, как глаза мраморных римских матрон, свидетельствующие об ущербности поздней культуры древних. Шаркая ногами, Мезер перешел на противоположную сторону к своим коллегам. Бремеккель, Грумпетер и Воллерзайн стояли вплотную друг к другу. Над внутренним двориком виднелось холодное и ясное декабрьское небо; на улице уже горланили пьяные, экипажи катились по направлению к театру, под вуалями цвета резеды улыбались нежные женские личики в предвкушении музыки «Травиаты»; я стоял между Мезером и тремя обиженными корифеями; казалось, я был прокаженным, прикосновение к которому грозило смертью; я тосковал по строгому, раз и навсегда заведенному мною распорядку дня, когда я сам держал в руках все нити игры, когда от меня зависело, прийти сюда или не прийти, когда я еще мог управлять мифом о себе; теперь игра вышла из-под моего контроля; сенсация... слухи... в мою мастерскую уже приходил настоятель, подрядчики посылали мне корзинки со съестным и золотые карманные часы в красных бархатных футлярах, один из них написал мне: «...я был бы счастлив отдать Вам руку моей дочери...» *«И правая их рука полна подношений»!*

Я бы не принял от них ничего, даже самой малости, — я полюбил настоятеля. Неужели я хотя бы на секунду мог помыслить о том, чтобы воспользоваться в его присутствии трюком Домгреве? Я краснел от стыда, вспоминая о том, что было мгновение, когда у меня мелькнула такая мысль, но непредвиденное свершилось, я полюбил Иоганну — дочь Кильба, и полюбил настоятеля; я бы уже мог подъехать к дому Кильбов в половине двенадцатого, отдать букет цветов и сказать: «Прошу руки вашей дочери», и Иоганна вошла бы и, сделав мне знак глазами, произнесла бы свое «да» не чуть слышно, а совершенно отчетливо. Я по-

---

<sup>1</sup> Моя вина, моя вина, моя величайшая вина (лат.) — одна из фраз, произносимых священником во время католической мессы.

прежнему прогуливался от пяти до шести, по-прежнему играл в бильярд в клубе офицеров запаса, и мой смех, который я теперь расточал, не жалея, стал уверенней с тех пор, как я понял, что Иоганна подаст мне знак; я все еще пел по пятницам «Том-рифмоплет» в певческом фереине.

Медленно двинулся я вдоль холодной мраморной балюстрады к трем обиженным и поставил на поднос пустую рюмку. Неужели они отшатнутся от меня, как от прокаженного? Они не отшатнулись, быть может, они ждали, чтобы я смиренно приблизился к ним.

— Разрешите представиться: Фемель.

О боже, разве я один был без рода и племени и разве в молодые годы швейцарец Грумпетер не доил коров у графа фон Тельма и не вывозил на тачке коровий навоз на вспаханные дымящиеся поля, пока ему не открылось его истинное призвание? Клеймо незнатного происхождения снимают на берегах Лаго-Маджоре и в садах Минузио, там облагораживают даже пройдох-подрядчиков, которые покупают на слом старинные романские церкви вместе со всем церковным инвентарем, вместе с мадоннами и скамьями, чтобы украсить ими салоны новых и старых богачей. Кресла, сидя в которых простодушные крестьяне исповедовались на протяжении трехсот лет, шепотом сознаваясь в своих прегрешениях, переключиваются в гостинные кокоток. Этого рода болезнь исцеляют также в охотничьих домиках и в Бад-Эмсе.

В тот момент, когда открылась дверь в конференц-зал, убийственно серьезные лица обиженных как бы окаменели; в зале показалась чья-то темная фигура, потом она обрела очертания и краски; первым вышел в коридор член жюри Хубрих, профессор истории искусств богословского факультета, тот, кто сказал «только через мой труп»; при этом освещении его черный суконный сюртук походил на сюртуки рембрандтовских синдигов; Хубрих подошел к Мезеру и взял с подноса рюмку коньяку, я слышал, что из его груди вырвался глубокий вздох; когда трое обиженных хотели броситься к нему, он прошел мимо них в самый конец коридора; белый шарф смягчал строгость его священнического одеяния, а белые локоны, ниспадавшие, как у детей, до самого воротника, усиливали впечатление, которое Хубрих хотел произвести, — впечатление служителя муз. Его нетрудно было представить себе с резцом и деревянной дощечкой в руках, с тоненькой кисточкой, обмакнутой в золотую краску, смиренно склонившегося над картиной и выписывающего волосы мадонн, бороды апостолов или забавную закорючку на хвостике собаки Товия. Башмаки Хубриха тихо скользили по линолеуму; устало махнув рукой обиженным, он двинулся в темный конец коридора, к Рембрандту и Ван Дейку; так вот на чьи узкие плечи была возложена ответственность за церкви, больницы и дома призрения, в которых еще лет через сто монахиням и вдовам, трудновоспитуемым сиротам, беднякам, пользующимся бесплатной медицинской помощью, и падшим женщинам придется вдыхать запахи кухни, оставшиеся от уже исчезнувших поколений; они будут бродить по

темным переходам, глядеть на безрадостные стены зданий, которые от мрачной мозаики покажутся еще безрадостней, чем это предусматривалось по проекту архитектора; таков был этот *praeseptor et arbiter architecturae ecclesiasticae*<sup>1</sup>, уже в течение сорока лет с пылом, пафосом и слепым ожесточением ратовавший за неоготику; Хубрих решил осчастливить человечество и оставить след на земле, еще будучи мальчишкой, пробегая по пустынным предместьям родного фабричного города, мимо дымящихся труб и закопченных зданий и принося домой свои отличные отметки; и он действительно оставит на земле след, красноватый след кирпичных фасадов, с годами все более тусклых, мрачных фасадов, в нишах которых угрюмые святые с унылой несокрушимостью смотрят в будущее.

Мезер предупредительно поднес рюмку коньяку второму члену жюри — сангвинику Кролю. У Кроля было красное лицо любителя дорогих сигар и крепких напитков, лицо человека, обжирającego мясом; при всем том Кроль сохранил стройную фигуру; этот член жюри бессменно занимал пост главного архитектора Святого Северина. Голубиный помет и паровозный дым, облака с востока, приносящие с собой ядовитые химические испарения, и резкие сырые ветры с запада, южное солнце и северная стужа — все эти силы природы и индустрии гарантировали Кролю и его преемникам пожизненный заработок; Кролю было сорок пять лет, еще лет двадцать он будет пользоваться всем тем, что он так любит, — едой, выпивкой, сигарами, лошадьми и девицами особого склада: таких девиц можно встретить неподалеку от скаковых конюшен, с ними знакомятся во время охоты на лисиц, они напоминают крепко сбитых амазонок и даже пахнут, как мужчины.

Я хорошо изучил повадки своих противников; абсолютное равнодушие к проблемам архитектуры Кроль прикрывал изысканной учтивостью, китайскими церемониями, благочестивыми манерами, перенятыми от епископов; жесты Кроля были жестами человека, открывающего памятники; Кроль знал также несколько отличных анекдотов, которые он постоянно рассказывал в определенной последовательности; в двадцать два года он выучил наизусть «Справочник архитектора» Хандке и уже тогда решил всю жизнь извлекать пользу из этого своего подвига; когда Кролю требовалось применить какой-нибудь архитектурный термин, он неизменно цитировал «бессмертного Хандке»; на заседаниях жюри Кроль цинично отстаивал тот проект, автор которого посулил ему наибольшую взятку, но когда он замечал, что проект не имеет шансов на успех, то переходил на сторону вероятного победителя, да и вообще Кроль во всех случаях жизни предпочитал говорить «да», а не «нет», и не только потому, что в слове «да» две, а в слове «нет» три буквы и слово «нет» обладает прискорбным недостатком — его нельзя произнести только с помощью языка, надо на-

---

<sup>1</sup> Наставник и судья церковной архитектуры (лат.).



прятать еще заднее небо, — но и потому, что при слове «нет» следует делать решительную мину, в то время как слово «да» не требует всех этих усилий; Кроль тоже вздохнул, тоже покачал головой и, обойдя трех обиженных, отправился в противоположную сторону, к залу назарейцев.

Несколько секунд в светлом четырехугольнике двери был виден стол, покрытый зеленым сукном, графин с водой, пепельница и клубы голубоватого дыма от сигары Кроля; там внутри царила тишина, не слышалось даже шепота, в воздухе пахло смертными приговорами, здесь рождалась вражда, которая будет тянуться до гроба; перед Хубрихом стояла дилемма: либо сохранить честь, либо потерять ее, а он, еще будучи гимназистом пятого класса, поклялся не навлекать позора на свою голову; и вот теперь ему грозило страшное унижение — признаться архиепископу, что его побили. «Ну а как же ваш труд, Хубрих?» — спросит его насмешливый князь церкви. Для Кроля на карту была поставлена вила на озере Комо, которую посулил ему Бремекель.

По рядам служителей пробежал ропот, Мезер свистящим шепотом призвал к тишине; в дверях показался Швебрингер, он был маленького роста, хрупкий, как я, и не только слыл неподкупным, но действительно был им; Швебрингер носил потертые бриджи и заштопанные чулки; его бритый череп отливал синевою; глаза, похожие на изюминки, улыбались; этот член жюри являлся представителем денег, он управлял фондами всей нации; Швебрингер представлял промышленников и короля и вместе с тем приказчика, вложившего десять пфеннигов в ценные бумаги, или старушку, рискнувшую тридцатью пфеннигами. Швебрингер открывал счета, выписывал чеки, контролировал банковские книги, с кислой миной утверждал авансы. Швебрингер был выкрестом, втайне он питал страсть к барокко, любил парящих ангелов, позолоченные хоры, резную церковную мебель, белые полированные амвоны, запах ладана и церковное пение. Швебрингер — это была сила, консорциумы банков подчинялись ему, как шлагбаумы стрелочнику, он определял биржевые курсы, командовал стальными концернами; при всем том у этого человека с жесткими, темными, похожими на изюминки глазами был такой вид, словно он безуспешно перепробовал всевозможные слабительные и теперь ждет, чтобы нашли настоящее, действительно эффективное средство; Швебрингер взял рюмку коньяку, но не бросил на поднос мелочь на чай; он стоял всего в двух шагах от меня; в своих бриджах и заштопанных чулках он походил на профессионального велогонщика, потерпевшего аварию; внезапно Швебрингер взглянул на меня, улыбнулся, отдал пустую рюмку и отправился в зал голландцев, куда уже раньше скрылся Хубрих; и Швебрингер тоже не удостоил троих обиженных ни единым словом.

Из конференц-зала донесся шепот: должно быть, настоятель заговорил с Гральдуке; нам по-прежнему ничего не было видно, кроме зеленого стола, пепельницы, графина с водой; казнь отло-

жили, но атмосфера оставалась накаленной, вероятно, судьи все еще не пришли к единому мнению.

Гральдуке вышел, взял у Мезера с подноса две рюмки и, постояв секунду в нерешительности, бросил взгляд в ту сторону, куда раньше отправился Кроль; Гральдуке был высокий, грузный человек, куда более скромный, чем можно было предположить, судя по мешкам у него под глазами; Гральдуке являлся представителем права, он следил за юридической стороной процедуры голосования, вел протоколы. В свое время Гральдуке сам чуть было не стал монахом; два года подряд он пел грегорианскую литургию, к которой еще и сейчас питал слабость, а потом вернулся к мирской жизни и женился на писаной красавице, родившей ему пять дочерей — тоже писанных красавиц; теперь он был обер-президентом<sup>1</sup> целой области. Гральдуке вводил во владение участками, тяжелым, кропотливым трудом высвобождал поля и пастбища от налоговых пут, улаживая упрямых бургомистров, добивался лицензий на рыбную ловлю в жалких лужах, реализовывал закладные, улаживал конфликты с банками и страховыми обществами.

Гральдуке медленно направился обратно в конференц-зал; тонкая рука настоятеля сделала Мезеру знак войти; тот на полминуты исчез за дверью, потом снова появился и крикнул на весь коридор:

— Господа члены жюри, мне поручено сообщить вам, что перерыв кончился.

Первым вышел из зала, где висели назарейцы, Кроль, на его лице уже ясно читалось «да»; потом из зала, где висели голландцы, появился Швеврингер и быстро прошел к остальным; следом за ним бледный, с убитым видом тащился Хубрих, проходя мимо трех обиженных, он покачал головой. Мезер закрыл за ним дверь; он посмотрел на свой поднос, где стояло девять пустых рюмок, и пренебрежительно побренчал мелочью; я подошел к нему и бросил на поднос талер — раздался громкий, неожиданно резкий звук; трое обиженных в испуге оглянулись; Мезер ухмыльнулся, приложил в знак благодарности руку к козырьку и шепнул мне:

— А ведь твой отец был всего-навсего рехнувшийся регент.

На улице уже не слышно было грохота пролетов, «Травиата» началась; ряды музейных служителей застыли между легионерами и матронами, между обломками колонн древних храмов. Гам ворвался в прохладу тихого вечера, подобно теплому дуновению; газетчики смяли первого служителя, и вот уже второй служитель беспомощно поднял руки, а третий взглянул на Мезера, который свистящим шепотом призывал к тишине; молодой журналист, незаметно прошмыгнувший мимо Мезера, подошел ко мне, вытер нос рукавом и тихо сказал:

— Победа явно на вашей стороне.

Два более почтенных представителя прессы ждали поодаль; оба в черных шляпах, бородатые, оба одуревшие от душещипа-

---

<sup>1</sup> Глава провинциальной администрации.

тельных виршей. Эти газетчики удерживали недостойную журналистскую чернь — девушку в очках и тощего социалиста, но тут настоятель распахнул дверь, подошел ко мне, запыхавшись как мальчишка, и обнял меня; чей-то голос прокричал: «Фемель! Фемель!»

Внизу раздался шум; через десять минут после того, как перестал сотрясаться подоконник, работницы, смеясь и переговариваясь, потянулись из ворот; их ждал отдых, у них были гордые чувственные лица; в этот теплый осенний день трава у кладбищенской стены была бы особенно пахучей; сегодня Грецу не удалось сбить с рук кабанью тушу; окровавленная морда кабана казалась темной и сухой; в рамке окна был виден садик на крыше дома напротив: белый стол, зеленая деревянная скамья, беседка с поникшими настурциями; возможно, когда-нибудь там будут прогуливаться дети Йозефа и дети Рут и читать «*Коварство и любовь*». Гулял ли там Роберт? Нет, Роберт либо сидел у себя в комнате, либо тренировался в парках; для тех видов спорта, которыми занимался Роберт, — для лапты и бега на сто метров — садик на крыше был слишком мал.

Роберта я всегда немножко побаивался, ожидая от него чего-то необыкновенного; меня несколько не удивило, когда тот юноша с опущенными плечами забрал его в качестве заложника; хотелось бы только знать, как звали мальчика, который бросал к нам в почтовый ящик крохотные записочки от Роберта; так я этого никогда и не узнал. Иоганне тоже не удалось выпытать его имя у Дрёшера; памятник, который они когда-нибудь воздвигнут мне, следовало бы поставить этому мальчику; у меня не хватило решимости выгнать Неттлингера и запретить Вакере переступать порог комнаты Отто; это они принесли в мой дом «*причастие буйвола*», превратили моего любимца, того самого малыша, которого я таскал с собой на стройки, с которым лазил по лесам, в чужого человека... Такси? Такси?.. Быть может, пришлют ту же машину, на какой я ехал с Иоганной в тысяча девятьсот тридцать шестом году, направляясь к «Якорю» в Верхней гавани, или, быть может, я отвозил ее на этой машине в денклингенскую лечебницу? А может, я ездил на ней в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году в Кисслинген с Йозефом, чтобы показать ему строительство, где он, мой внук, сын Роберта и Эдит, должен будет заменить меня? Аббатство разрушили, на его месте высилась беспорядочная груда камней, щебня, известки; разумеется, Бремеккель, Грумпетер и Воллерзайн торжествовали бы, зато я не торжествовал; в тысяча девятьсот сорок пятом году я увидел эту груду развалин и задумался, хотя был спокойнее, чем, по-видимому, ожидали монахи. Чего они, собственно, хотели от меня: слез, возмущения?

— Мы разыщем виновного.

— Зачем? — спросил я. — Оставьте его в покое.

Я отдал бы двести аббатств за то, чтобы вернуть Эдит, Отто или незнакомого мальчика, который бросал записки к нам в почтовый ящик и так жестоко поплатился за это; но если такая сделка и не могла состояться, я был рад отдать хоть что-то — пусть «творение моей юности» станет грудой развалин. Мысленно я приносил его в жертву Отто, Эдит, тому мальчику и подмастерью столяра, хотя знал, что им уже ничто не поможет, ведь они умерли. Наверное, эта груда обломков была тем *непредвиденным*, к которому я так страстно стремился. Монахи дивились моей улыбке, а я дивился их возмущению.

— Такси уже здесь? Иду, Леонора! Помните, что я вас пригласил к девяти часам в кафе «Кронер» на мой день рождения. Шампанского не будет, я ненавижу шампанское. Возьмите у швейцара цветы, коробки сигар и поздравительные телеграммы и не забудьте, милочка, что я просил вас плюнуть на мой памятник.

В сверхурочные часы они печатали на белых листах бумаги предвыборные плакаты; плакаты были навалены по всем коридорам и на лестнице; пачки складывали до самой его двери; каждая пачка была обклеена плакатом того же образца, изображенные на них безукоризненно одетые холеные господа улыбались ему в лицо; даже на плакатах было видно, что эти господа шили себе костюмы из первосортного сукна, с плакатов зывали бюргеры с серьезными лицами и бюргеры улыбающиеся, они внушали доверие и будили надежду; среди них были молодые и старые, и молодые казались ему еще ужаснее старых.

Старый Фемель отмахнулся от швейцара, который приглашал его в свою каморку полюбоваться роскошными букетами и подарками и распечатать телеграммы; он сел в такси, дверцу которого открыл шофер.

— В Денклинген, пожалуйста, в лечебницу, — тихо сказал он.

## 5

Голубое небо, крашенная стена, обсаженная тополями, тени тополей сперва подымаются кверху, словно ступеньки, а потом спускаются вниз, к площадке перед домом, где привратник сгребает листья в яму с компостом; стена была слишком высокая, а расстояние между ступеньками слишком большое; чтобы пройти от одной до другой, ему пришлось бы сделать шага три-четыре. Осторожно! Почему желтый автобус взобрался так высоко на гору, почему он ползет, как жук, ведь он привез сегодня всего одного пассажира — его. Так это он? Кто он? Лучше бы он карабкался по перекладинам, перебираясь с одной на другую. Но нет! Всегда надо ходить прямо, не сгибаясь, не унижая своего достоинства.

Он всегда так и ходил; только в церквях и на стартовой дорожке он опускался на колени. Так это он? Кто он?

На деревьях в саду и в Блессенфельдском парке были развешаны таблички с аккуратно выписанными цифрами: «25», «50», «75», «100»; на старте он опускался на колени, вполголоса говорил себе: «Приготовься, давай!» — бежал, потом, замедлив темп, возвращался, смотрел на секундомер, записывал время в толстую тетрадь в пестрой обложке, лежавшую на каменном столе, снова становился на старт, вполголоса произносил команду и бежал; каждый раз он понемногу увеличивал пройденную дистанцию; зачастую ему страшно долго не удавалось выйти за цифру «25», еще больше времени проходило, прежде чем он достигал «50», но напоследок он преодолевал всю дистанцию до «100» и записывал в тетрадку время — одиннадцать и две десятые секунды.

Это напоминало фугу — размеренную и волнующую; но временами становилось ужасно скучным, словно в эти летние дни в саду или в Блессенфельдском парке разверзалась зияющая бесконечность; старт — возвращение; старт — небольшое ускорение темпа и возвращение; и даже те минуты, когда он сидел рядом с ней, поясняя и комментируя цифры в тетради и расхваливая свою систему, казались ей одновременно волнующими и скучными; его тренировки были слишком фанатичными, его крепкое и стройное юношеское тело пахло тем истовым потом, каким пахнут мальчишки, еще не познавшие любви; так пахли ее братья Бруно и Фридрих, когда они слезали со своих велосипедов на высоких колесах и думали только о километрах и о минутах; с той же одержимостью проделывали они в саду сложные упражнения, чтобы расслабить мускулы ног; так пахло и от ее отца, когда он пел, с важным видом выпячивая грудь; дыхание они тоже превратили в спортивное упражнение; пение было для них не просто удовольствием — эти усатые бюргеры отдавались пению со всей серьезностью, пели истово, истово ездили на велосипедах, даже к мускулам они относились истово, к мускулам груди, мускулам ног, мускулам рта; судороги вычерчивали у них на коже ног и щек отвратительные лиловые зигзаги, похожие на молнии; в холодные осенние ночи они часами простаивали на ногах, чтобы подстрелить зайцев, которые прятались среди капустных кочерыжек, и только на рассвете, сжавшись над своими затекшими мускулами, решали поразмяться и бегали взад и вперед под моросящим дождем. «Зачемзачемзачем?» Куда делся тот, кто носил в себе смех, словно скрытую пружину в скрытом часовом механизме, тот, кто умел смягчить нестерпимое напряжение и вызвать разрядку; единственный, кто не принял *«причастие буйвола»*? Она смеялась и читала в беседке *«Коварство и любовь»*, перегнувшись через перила, она видела, как он выходит из ворот типографии; своим легким шагом он направлялся в кафе «Кронер»; он носил в себе смех, словно скрытую пружинку. Был ли он ее жертвой, или она стала его жертвой?

Осторожно! Осторожно! Почему ты всегда держишься так прямо и никогда не гнешься? Один неосторожный шаг, и ты полетишь в синюю бесконечность и разобьешься о бетонные стены ямы с компостом; сухие листья не смягчат удара, а гранитная облицовка лестницы — далеко не подушка. Так это он? Кто он? Привратник Хупертс смиренно встал в дверях.

— Что прикажете подать вашему гостю: чай, кофе, пиво, вино или коньяк?

Обождите секунду; будь это Фридрих, он прискакал бы верхом, он ни за что не сел бы в желтый автобус, который, как жук, пополз обратно вдоль стены, а Бруно никогда не ходил без трости; тростью он убивал время, рубил его на части, разбивал вдребезги; он рассекал время тростью или картами, кидая их все ночи напролет, все дни напролет, словно клинки; Фридрих прискакал бы верхом, а Бруно никогда бы не приехал без трости; значит, не надо ни коньяка для Фридриха, ни вина для Бруно; они пали под Эрби-ле-Юэтт; два безрассудных улана помчались прямо под пулеметный огонь; они надеялись, что бюргерские пороки избавят их от бюргерских добродетелей; скабрёзными анекдотами хотели они погасить свое ревностное благочестие, но голые балетные крысы, плясавшие в клубе на столах, вовсе не оскорбляли памяти их почтенных предков, ведь и предки были далеко не такие почтенные, какими кажутся в портретной галерее. Коньяк и вино, милый Хупертс, вы можете навсегда вычеркнуть из карты напитков. Пиво? Походка Отто была не столь упругой, в ней слышался маршевый ритм, его башмаки выстукивали на каменных плитках лестницы слово «враг, враг»; и потом, когда он спускался вниз по Модестгассе, печатая шаг по мостовой, слышалось то же слово «враг»; уже в раннем возрасте он принял *«причастие буйвола»*, или, может, его брат, умирая, завещал Отто имя Гинденбурга? Отто родился через две недели после смерти Генриха и погиб под Киевом; я не хочу больше себя обманывать, Хупертс, все они умерли: Бруно, Фридрих, Отто и Эдит, Иоганна и Генрих.

Кофе тоже не потребуется; пришел не тот, чей затаенный смех я угадывала в каждом его шаге, тот старше; принеси чаю, Хупертс, свежего, крепкого чаю с молоком, но без сахару, чаю для моего негнувшегося и неsgiбаемого сына Роберта, который жить не может без тайн, и сейчас он тоже хранит в своей груди тайну; его били, ему искромсали всю спину, но он не согнулся, никого не выдал, не предал моего двоюродного брата Георга, который приготовил ему в аптеке черный порох; повиснув между двумя стремянками, он сейчас спускается с перекладки на перекладину, парит в воздухе, раскинув руки, как Икар; Роберт направляется сюда; и он не упадет в яму с компостом, не разобьется о гранит. Подайте нам чаю, милый Хупертс, свежего крепкого чаю с молоком, но без сахара, и сигареты тоже, пожалуйста, для моего архангела; мой архангел приносит мне мрачные вести, пахнущие кровью, местью и мятежом; они убили того светловоло-

сого мальчика; сто метров он пробежал за десять и девять десятых секунды; я всегда видела его смеющимся, но видела всего три раза, у него были ловкие руки, он починил крохотный замочек в моей шкатулке для драгоценностей; столяр и слесарь бились над этим замком лет сорок, и все без толку, а он только дотронулся — и сразу исправил; тот мальчик был не архангелом, а просто ангелом; его звали Ферди, у него были светлые волосы; этот дурачок думал, что людей, принявших *«причастие буйвола»*, можно победить хлопущками; Ферди не пил ни чая, ни вина, ни пива, ни кофе, ни коньяка, он припадал губами к водопроводному крану и смеялся; если бы Ферди был жив, он достал бы мне ружье, или тот, другой, темноволосый ангел, которому запретили смеяться, — тот бы тоже достал; это был брат Эдит; его фамилия была Шрелла, и он принадлежал к числу людей, которых никогда не зовут по имени; Ферди достал бы, он заплатил бы за меня выкуп, с оружием в руках освободил бы меня из заколдованного замка, но его нет, и я так и останусь заколдованной; выбраться отсюда можно только по гигантским стремянкам; вот мой сын спускается ко мне.

— Добрый день, Роберт, ты ведь выпьешь чаю? Не пугайся, дай я поцелую тебя в щеку; у тебя вид мужчины лет сорока, седина на висках, узкие брюки и бирюзовый, как небо, жилет, не слишком ли он бросается в глаза? Пожалуй, это правильно, что ты загримировался под господина средних лет, ты теперь похож на начальника, чьи подчиненные были бы рады услышать, как он кашляет, но он считает, что кашлять — ниже его достоинства; прости, что я смеюсь; какие искусники нынешние парикмахеры, твоя седина совсем как настоящая, а подбородок у тебя щетинистый, как у человека, который бреется только раз в день, хотя ему следовало бы бриться два раза; ловко сделано, только красный шрам остался прежним; как бы он тебя не выдал; нет ли и тут какого-нибудь средства?

Не бойся, меня они не тронули, плоть осталась висеть на стене, они только спросили:

— Когда вы видели его в последний раз?

И я сказала им правду:

— Утром, он шел тогда к трамвайной остановке, чтобы поехать в гимназию.

— Но ведь в гимназию он так и не явился.

Я промолчала.

— Он пытался установить с вами связь?

И я опять сказала правду:

— Нет, не пытался.

Ты оставлял слишком много следов, Роберт; какая-то женщина из барачков у гравийного карьера принесла мне книгу с твоей фамилией и нашим адресом; это был Овидий в серо-зеленом картонном переплете, испачканном куриным пометом, а твою хрестоматию, в которой не хватало одной страницы, нашли в пяти километрах от этого места, ее принесла мне кассирша из кино:

она пришла в контору, выдав себя за нашу клиентку, и Йозеф привел ее ко мне наверх.

Через неделю они опять принялись за свое:

— Вы установили с ним связь?

Я ответила «нет», потом пришел этот Неттлингер, который раньше так часто пользовался моим гостеприимством, и сказал:

— В ваших же собственных интересах говорить правду.

Но ведь я и так говорила правду; теперь я поняла, что тебе удалось бежать.

Долгие месяцы мы о тебе ничего не слышали, мальчик, а потом пришла Эдит и сообщила:

— Я жду ребенка.

Я испугалась, когда она сказала:

— Господь меня благословил.

Голос Эдит внушал мне страх; прости, я никогда не любила сектантов, но девушка была беременна, и она осталась одна; ее отца арестовали, брат скрылся, ты бежал, сама она две недели просидела в тюрьме, ее там допрашивали, нет, они ее не тронули; как легко оказалось рассеять нескольких агнцев, остался только один агнец — Эдит; я взяла ее к себе. По-видимому, дети, ваше безрассудство было угодно богу, но вы по крайней мере должны были убить Вакеру, сейчас он стал полицией-президентом, боже избави нас от уцелевших мучеников, таких, как Вакера; учитель гимнастики, ныне полицией-президент, разъезжает по городу на белом коне и лично руководит облавами на нищих. Почему вы его не убили — но, спрашивается, чем? Порохом в картонной обертке? Хлопушками не убивают, мальчик. Почему вы не спросили меня? Смерть заключают только в металл: в медную гильзу, в свинец, в железо; ее несут металлические осколки, со свистом разрезая воздух по ночам, они, словно град, падают на крышу, с треском ударяют в беседку, летают по воздуху, как дикие птицы; *«Дикие гуси с шумом несутся сквозь ночь»*; они кидаются на агнцев; Эдит умерла; незадолго до этого я велела объявить ее сумасшедшей; заключение написали три знаменитых врача своими аристократически-неразборчивыми почерками на бланках с внушительным штампом; это спасло тогда Эдит. Прости, что я смеюсь: ну и агнец, в семнадцать лет она уже родила своего первенца, а в девятнадцать — второго ребенка, при этом с ее уст всегда были готовы сорваться слова: «Господь сделал это», «Господь сделал то», «Господь дал», «Господь взял»; все господь и господь! Она не знала, что господь — брат наш, с братом можно спокойно шутить, а с господами — далеко не всегда; я и не предполагала, что дикие гуси губят агнцев, я думала, это мирные травоядные. Эдит лежала вот здесь, казалось, ожил наш фамильный герб — овечка, из груди которой бьет струя крови, — но никто не пришел ей поклониться, никто не стоял над ее гробом: ни великомученики, ни кардиналы, ни отшельники, ни рыцари, ни святые, только я одна. Да, она умерла, но не горюй, мой мальчик, старайся улыбаться, я старалась, правда, у меня это получалось не всегда, особенно с Генри-



хом. Вы играли вместе, он надевал на тебя саблю, нахлобучивал тебе на голову каску, ты должен был изображать то француза, то русского, то англичанина. Генрих был тихий мальчик, но он все напевал: «Хочу ружье, хочу ружье»; умирая, он прошептал мне этот их ужасный пароль — имя священного буйвола «Гинденбург». Он хотел выучить наизусть стихотворение о Гинденбурге, он всегда был вежливым и послушным мальчуганом, а я взяла и разорвала листок, и клочки бумаги посыпались, словно снежные хлопья, на Модестгассе.

Пей же, Роберт, чай остынет, вот сигареты, сядь ко мне поближе, мне придется говорить совсем тихо, никто не должен нас слышать, и, уж во всяком случае, не отец, он сущий ребенок, отец не знает, сколько в мире зла и как мало на свете чистых душ; а у него у самого душа чистая, тише, на его душе не должно быть ни пятнышка; послушай, ты можешь мне помочь: я хочу ружье, я хочу ружье, и ты мне его достанешь; с крыши легко попасть в полицей-президента, вся наша беседка в дырах; когда он поедет мимо отеля «Принц Генрих» на своем белом коне и свернет за угол, у меня будет достаточно времени, чтобы спокойно прицелиться; надо сделать глубокий вдох — где-то я читала об этом, — затем прицелиться и нажать на спусковой крючок; я прорепетировала это с тростью Бруно; пока он завернет за угол, в моем распоряжении две с половиной минуты, не знаю только, удастся ли мне застрелить и того и другого. Когда первый упадет с лошади, поднимется суматоха, и мне уже не дадут еще раз сделать глубокий вдох, не дадут прицелиться и нажать на спусковой крючок; надо только решить, в кого стрелять — в учителя гимнастики или в этого Неттлингера; он ел мой хлеб, пил у нас чай, отец всегда говорил про него: «Какой бойкий мальчик. Посмотри, какой бойкий мальчик», — а он терзал агнцев, он избивал тебя и Шреллу бичом из колючей проволоки; Ферди дорого поплатился, а достиг немногого — подпалил ноги учителю гимнастики и разбил зеркало от гардероба; нет, тут нужен не порох в картонной обертке, а порох и металл, дружок...

Выпей, наконец, чаю, дружок, разве он тебе не по вкусу? Неужели табак в сигарете так пересох? Прости, в этих вещах я никогда ничего не смыслила. Ты красивый, тебе к лицу грим сорокалетнего мужчины с седыми висками, можно подумать, что ты родился нотариусом; мне смешно при мысли, что когда-нибудь ты действительно будешь так выглядеть, ну и искусники нынешние парикмахеры!

Не будь таким серьезным, все пройдет, мы опять начнем ездить за город, в Кисслинген — бабушка и дедушка, дети, внуки, весь наш род, твой сынишка захочет руками поймать форель, мы будем есть чудесный монастырский хлеб, пить монастырское вино, слушать вечерню: “*Rorate coeli desuper et nubes plurant justum*”<sup>1</sup> и предрождественские службы; в горах выпадет снег,

<sup>1</sup> Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду (лат.).

ручьи замерзнут, выбери себе время года по вкусу, мой мальчик; недели перед рождеством больше всего нравятся Эдит, от нее так и веет рождественским духом; она еще не поняла, что господь, явившись, стал нам братом; ее сердце обрадуется пению монахов и темной церкви, построенной твоим отцом, церкви Святого Антония в Киссатале, между двумя селениями — Штелингерс-Гротте и Гёрлингс-Штуль.

Когда освящали аббатство, мне не было и двадцати двух; я только совсем недавно дочитала до конца *«Коварство и любовь»*, чуть что — и я заливалась смехом, каким смеются подростки; в зеленом бархатном платье от Гермины Горушки я выглядела девчонкой, возвращающейся с урока танцев. Я уже не была девочкой, но еще не стала женщиной и казалась не замужней дамой, а девушкой, которую соблазнили; в тот день я надела белый воротничок и черную шляпу; было уже заметно, что я беременна, и слезы то и дело навертывались мне на глаза.

— Вам следовало бы остаться дома, сударыня, — шепнул мне кардинал, — надеюсь, вы выдержите.

Я выдержала, я хотела быть с ним; когда открыли церковь и началась церемония освящения, мне стало страшно: он совсем побелел, мой маленький Давид, и я подумала — сейчас он разучится смеяться, эта торжественность убьет его смех, мой Давид слишком мал и слишком молод, ему не хватает мужской серьезности; я знала, что очень хороша — черноглазая, в зеленом платье с белоснежным воротничком; я решила никогда не забывать, что все это только игра. Я еще смеялась, вспоминая, как учитель немецкого языка сказал мне: «Вы должны получить у меня высший балл».

Но я так и не получила высшего балла, я все время думала только о нем, называла его Давидом, моим маленьким Давидом с пращей, я думала о его грустных глазах и затаенном смехе; я любила его, каждый день ждала минуты, когда он появится в большом окне мастерской, смотрела ему вслед, когда он выходил из ворот типографии; я тайком прокрадывалась на спевки хорового ферейна, чтобы посмотреть на него, но он не выпячивал грудь ради пения — этого серьезного мужского дела, и по его лицу было видно, что он не такой, как они; Бруно тайком проводил меня в отель «Принц Генрих», где собирались офицеры запаса, чтобы поиграть в бильярд; я видела, как он сгибал и разгибал руки, как белые шары катились по зеленому полю и как красные шары катились по зеленому полю; именно там я открыла его смех, который он запрятал глубоко в себе; нет, он никогда не принимал *«причастие буйвола»*, но я боялась, что он не выдержит последнего, самого последнего и самого трудного испытания — испытания военным мундиром; в день рождения того дурака, в январе, они должны были пройти церемониальным маршем к памятнику у моста и участвовать в параде перед отелем, на балконе которого стоял генерал. И я спрашивала себя, как он пройдет там внизу, ведь его до предела напичкали историей и болтовней о «великой

судьбе»; как он пройдет под гром литавр и бой барабанов, под звуки рожков, играющих сигнал атаки. Мне было страшно, я боялась, что он покажется смешным; этого я не хотела, над ним никто не должен смеяться, пусть он всегда смеется над другими. И вот я увидела его на параде — о боже! Видел бы ты, как он шел; казалось, каждым своим шагом он попирает голову кайзера.

Потом мне часто приходилось видеть его в мундире; годы исчислялись теперь только по производству в очередной чин; два года — обер-лейтенант, еще два года — капитан; я брала его саблю и всячески старалась опоганить ее, я снимала ею грязь с железных завитушек на перилах лестницы, соскребала ржавчину с садовых скамеек, рыла ямки для рассады; я только что не чистила ею картофель, и то потому, что это было несподручно.

Сабли надо топтать ногами, мой мальчик, как и все привилегии; привилегии только для того и созданы — это мздоимство; *«И правая их рука полна подношений»*. Ешь то же, что едят все, читай то же, что читают все, носи платье, какое носят все, так ты скорее приблизишься к истине; благородное происхождение обязывает, оно обязывает есть хлеб из опилок, если все остальные едят его, читать ура-патриотическое дерьмо в местных газетках, а не журналы для избранных, не этого Демеля<sup>1</sup> и других; ты, Роберт, не принимай от них ничего — не принимай паштеты Греца и масло настоятеля, мед, золотые монеты и жаркое из зайцев; *зачемзачемзачем*, если у других всего этого нет. Простые люди могут спокойно есть мед и масло, их это не испортит, не засорит им ни желудка, ни мозгов, но ты, Роберт, не имеешь на это права, ты должен есть этот дерьмовый хлеб, тогда правда ослепит тебя своим сиянием; если хочешь чувствовать себя свободным, носи дешевые костюмы.

Я только раз воспользовалась своими привилегиями, единственный раз, и ты простишь мне это, больше я была не в силах терпеть, я должна была пойти к Дрёшеру, чтобы выхлопотать тебе амнистию, мы больше не в силах были терпеть, все мы: отец, я, Эдит. К тому времени у тебя уже родился сын; твои послания мы находили в почтовом ящике, крохотные клочки бумаги, свернутые, как порошки от кашля; первая записочка пришла через четыре месяца после твоего исчезновения: «Не беспокойтесь, я прилежно учусь в Амстердаме. Целую маму. Роберт».

Через семь дней пришла вторая записка: «Мне нужны деньги, заверните их в газету и передайте человеку по фамилии Гроль, кельнеру из «Якоря» в Верхней гавани. Целую маму. Роберт».

Мы отнесли деньги, кельнер по фамилии Гроль молча поставил перед нами пиво и лимонад, молча взял пакет с деньгами, молча отверг чаевые; казалось, он нас вообще не замечает, не слышит наших вопросов.

Твои крошечные записочки мы вклеивали в блокнот, долгое время они больше не приходили, потом начали приходить чаще:

<sup>1</sup> Демель, Рихард (1863—1920) — немецкий писатель-импрессионист.

«Деньги все три раза получил: 2-го, 4-го и 6-го. Целую маму. Роберт».

А Отто вдруг перестал быть самим собой, с ним случилось что-то страшное, какое-то превращение, он был Отто и все же не Отто, он приводил в дом Неттлингера и учителя гимнастики; Отто... я поняла, что это значит, когда говорят: «От человека осталась одна только видимость»; от моего сына Отто осталась одна только видимость, одна оболочка, которая быстро наполнялась другим содержанием, он принял *«причастие буйвола»*, принял огромные дозы его, у него высосали всю кровь и накачали ему новую; взгляд Отто стал взглядом убийцы, и я в страхе прятала от него твои записки.

Долгие месяцы мы не получали ни одной записки, я ползала по лестнице, выложенной плитками, осматривала каждую щелочку, каждый сантиметр холодного пола, залезала рукой в железные завитушки, соскребала с них грязь, я боялась, что бумажный шарик закатился за перила, что его сдуло туда ветром; ночью я отвинчивала почтовый ящик и разбирала его; по ночам возвращался Отто, припирал меня дверью к стене, наступал мне на пальцы и смеялся; долгие месяцы я не находила записок; ночи напролет я простаивала за занавеской в спальне, ожидая рассвета; я караулила парадную дверь, смотрела, не покажется ли кто на улице; завидев почтальона, я мчалась вниз, но весточки все не было; я перетряхивала пакетики с булочками, осторожно переливала молоко в кастрюлю, отклеивала этикетки от бутылок, но и там ничего не оказывалось. А по вечерам мы ходили в «Якорь», пробирались мимо людей, одетых в форму, туда, в самый дальний угол, где обслуживал Гроль, но он все молчал, казалось, он не узнает нас, и только через много недель, после того как мы вечер за вечером просиживали в «Якоре» в напрасном ожидании, Гроль написал на картонной подставке для пива: «Будьте осторожны! Я ничего не знаю!»; он опрокинул кружку с пивом, вытер лужу тряпкой так, что не осталось ничего, кроме большого чернильного пятна, принес нам новую кружку, за которую не хотел брать денег. Гроль, кельнер в «Якоре», был юноша с худым лицом.

Мы, конечно, не знали, что мальчик, бросавший записочки в наш почтовый ящик, давно арестован, что за нами следят и что Гроля не арестовывают по одной причине — надеются, что он заговорит с нами. Кто может разобраться в этой высшей математике убийц? Все они сгинули — и Гроль, и мальчик с записочками, а ты, Роберт, не даешь мне ружья, не вызволяешь меня из заколдованного зámка.

Мы перестали ходить в «Якорь», пять месяцев мы ничего не слышали о тебе, больше я не могла этого вынести, впервые я воспользовалась своими привилегиями, я обратилась к Дрёшеру, доктору Эмилю Дрёшеру, регирунгспрезиденту; я училась в гимназии с его сестрой, мы с ним вместе ходили на уроки танцев, ездили на пикники, мы клали в экипажи пивные бочонки и на опушке леса вытаскивали бутерброды с ветчиной, мы танцевали

лендлер на свежескошенных лужайках; мой отец помог отцу Дрёшера вступить в научный союз, хотя у того не было высшего образования; но все это чепуха, Роберт, не придавай значения такой чепухе, когда речь заходит о серьезных вещах; я называла Дрёшера «Эм», это было уменьшительное от Эмиль, и называть так в те времена считалось особым шиком; а вот теперь, спустя тридцать лет, я попросила доложить ему о себе, надела серый костюм, серую шляпку с сиреневой вуалью, черные ботинки; Дрёшер сам вышел ко мне в переднюю, поцеловал мне руку, сказал:

— Ах, Иоганна, называй меня, как прежде, «Эм»!

И я ответила:

— Эм, я должна знать, где мой сын, вам же известно, где он!

В ту минуту мне показалось, Роберт, что наступил ледниковый период. По его лицу я сразу поняла, что он все знает, и почувствовала, как он весь подобрался, в его тоне появились официальные нотки, от страха его толстые губы завязтого выпивохи вытянулись в ниточку; он оглянулся, покачал головой и зашептал:

— Поступок твоего сына был не только предосудительным, но и политически крайне неблагоприятным.

На это я ему ответила:

— К чему приводит политическое благоразумие, видно по тебе.

Я хотела уйти, но он удержал меня.

— О боже, значит, по-твоему, мы все должны повеситься?

— Вы — да! — ответила я.

— Будь же благоразумна, — сказал он, — такого рода дела находятся в ведении полицай-президента, а ты ведь сама знаешь, что сделал ему твой сын.

— Нет, — сказала я, — мой сын ему ничего не сделал. К сожалению, ничего, за исключением того, что он пять лет подряд выигрывал ему все игры в лапту.

Тут этот трус прикусил губу.

— Спорт... спорт хорошее дело.

Тогда, Роберт, мы еще не подозревали, что одно движение руки может стоить человеку жизни: Вакера приговорил к смерти польского военнопленного только за то, что тот поднял на него руку; пленный даже не ударил Вакеру, а только поднял руку.

Как-то утром за завтраком я нашла у себя на тарелке записку от Отто: «Мне тоже нужны деньги. 12. Можете отдать мне их прямо в руки». Я пошла в мастерскую отца, взяла из сейфа двенадцать тысяч марок (мы приготовили их на случай, если от тебя снова начнут приходить записки) и бросила всю пачку на стол перед Отто; я решила отправиться в Амстердам и сказать тебе: не посылай больше записок, а то кто-нибудь обязательно поплатится за них головой. Но тут ты приехал к нам; я бы сошла с ума, если бы они тебя не амнистировали: останься здесь, разве не безразлично, где жить, ведь одно движение руки в этом мире может стоить человеку жизни. Ты же знаешь условия, которые Дрёшер выторговал для тебя: отказ от всякой политической деятельности и сразу же после экзаменов — военная служба; я зара-

нее подготовила все, чтобы ты мог нагнать и получить аттестат зрелости, а потом статик Клем проэкзаменует тебя и скостит тебе столько семестров в университете, сколько сможет; ты обязательно хочешь учиться в университете? Хорошо, как знаешь. Статика? Почему статика? Хорошо, как знаешь. Эдит очень рада. Отчего ты не идешь к ней наверх? Иди! Скорей! Неужели тебе не хочется увидеть сынишку? Я отдала Эдит твою комнату, она ждет тебя наверху, иди же.

Он поднялся по лестнице, прошел мимо коричневых шкафов, тихо пробрался по безмолвным коридорам под самую крышу, в каморку на чердаке. Здесь пахло сигаретами, которые тайком выкуривали санитары, влажным постельным бельем, развешанным на чердаке для просушки; гнетущая тишина поднималась вверх по лестничной клетке, словно по трубе; Роберт взглянул в чердачное окошко на аллею тополей, которая вела к автобусной остановке,— он увидел аккуратные клумбы, оранжерею, мраморный фонтан и часовню справа у стены; все это казалось идиллией, пахло идиллией, да и впрямь было идиллией; за оградой, через которую был пропущен электрический ток, паслись коровы, в отбросах рылись свиньи, чтобы в свою очередь стать отбросами; один из служителей выливал в корыто ведро громко булькающего жирного месива; проселочная дорога за стеной лечебницы, казалось, вела в царство беспредельной тишины.

Сколько раз он уже приходил сюда, в эту каморку? Мать всегда посылала его наверх, чтобы не прерывать нити своих воспоминаний. Он снова был двадцатидвухлетним, и он вернулся домой, приговорив себя к молчанию; он должен был поздороваться с Эдит и с их сыном Йозефом. Эдит и Йозеф — эти два слова были паролем, но оба они, мать и сын, казались ему чужими, и они тоже смутились, когда он вошел в комнату, Эдит еще больше, чем он; неужели они раньше говорили друг другу «ты»?

После той игры в лапту, когда они пришли к Шрелле, Эдит поставила на стол картошку с какой-то непонятной подливкой и зеленый салат, а потом заварила жидкий чай; он ненавидел жидкий чай, у него тогда были на этот счет свои понятия: женщина, на которой он женится, должна уметь заваривать чай; Эдит этого явно не умела, и все же, глядя, как она ставит картофель, он знал, что затащит ее в кусты на обратном пути домой из кафе «Цонз», когда они будут проходить по Блессенфельдскому парку; Эдит была светловолосая девушка, на вид ей было лет шестнадцать; она уже не смеялась беспричинно, как смеются подростки, и в глазах у нее не светилось напрасное ожидание счастья, в глазах, которые она устремила на него. Перед едой Эдит произнесла молитву: «Господь... господь». И Роберт подумал, что есть надо руками; вилка показалась ему нелепой, а ложка странной, и в первый раз он понял, что такое еда: еда — это божье благословение, данное нам, чтобы утолить голод, и больше ничего; только короли

и бедняки едят руками. Даже тогда, когда они шли по Груффельштрассе и через Блессенфельдский парк в кафе «Цонз», они почти не разговаривали друг с другом; и ему было страшно; он поклялся ей никогда не принимать *«причастие буйвола»*; как ни глупо, но в этот момент ему было так же страшно, как бывает в церкви; однако, возвращаясь через парк, Роберт взял руку Эдит и задержал ее в своей, он дал Шрелле пройти вперед и потянул Эдит в кусты, он тянул Эдит, наблюдая за тем, как темно-серый силуэт Шреллы постепенно тает на фоне вечернего неба; Эдит не сопротивлялась и не смеялась; и тут в нем пробудился древний инстинкт, он понял, как это делается: инстинкт пробудился в его руках и в его губах; он запомнил ее светлые волосы, блестящие от летнего дождя, запомнил корону из серебристых капель на ее волосах, похожую на скелет какого-то хрупкого морского животного, найденного на песке ржавого цвета, запомнил линии ее рта, повторенные в бесчисленных облачках одинаковой величины, запомнил шепот Эдит у себя на груди: «Они тебя убьют!»

Значит, Эдит все же была с ним на «ты» там, в парке, в кустах, и потом, на следующий день, в дешевой мебелированной комнате; он тащил Эдит, держа ее за запястье, он шел по городу, как лунатик, словно заколдованный, чутьем он разыскал нужный дом; под мышкой он держал пакетик с порохом для Ферди, с которым они должны были вечером встретиться. Тогда он узнал, что Эдит умеет улыбаться, она улыбнулась, смотрясь в зеркало, самое дешевое из всех, какие только могла раздобыть хозяйка этих подозрительных мебелирашек в лавке со стандартными ценами; Эдит улыбалась, открыв в себе тот же древний инстинкт; Роберт уже понял тогда, что пакетик с порохом, лежавший на подоконнике, — глупость, глупость, которую тем не менее надо совершить, ведь благоразумию грош цена в мире, где одно движение руки может стоить человеку жизни; улыбка на лице Эдит, не привыкшем улыбаться, казалась чудом, а потом, когда они спустились по лестнице к хозяйке, Роберт удивился, как дешево им посчитали за комнату; он заплатил марку и пятьдесят пфеннигов. Но хозяйка отказалась взять пятьдесят пфеннигов, которые он хотел прибавить к плате.

— Нет, сударь, я не беру чаевых, не хочу ни от кого зависеть.

Значит, он все же был с Эдит на «ты», с той Эдит, что сидела сейчас в его комнате с ребенком на руках, с его сыном Йозефом; он взял мальчика, неловко подержал его с минуту, а потом положил на кровать, и древний инстинкт снова проснулся в нем, в его руках и губах. Эдит так и не научилась заваривать чай, даже после того, как они поселились в собственной квартире с кукольной мебелью; он приходил домой из университета или приезжал в отпуск — унтер-офицер инженерных войск; его обучили, и он стал подрывником, а потом он сам обучал команды подрывников; сеял формулы, которые несли с собой как раз то, чего он желал, — прах и развалины, месть за Ферди Прогульске, за кельнера по фамилии Гроль, за мальчика, бросавшего в почтовый

ящик его записки. Эдит ходила с сумкой для провизии, получала продукты по продуктовым карточкам, Эдит читала поваренную книгу, совала мальчику бутылочку с молоком, давала Рут грудь; он был молодой отец, Эдит — молодая мать; она приходила за ним к воротам казармы, толкая перед собой коляску; они вместе бродили по берегу реки, гуляли на лужайках, где гимназисты играли в лапту и в футбол; они сидели на бревнах в половодье, когда спадала вода; Йозеф играл на речном песочке, а Рут делала первые шажки; два года они играли в эту игру под названием «брак», но он так и не почувствовал себя мужем, хотя раз семьсот, если не больше, вешал в гардероб фуражку и пальто, снимал китель, садился за стол с Йозефом на коленях и слушал, как Эдит произносила застольную молитву: «Господь... господь!» Только никаких привилегий, все должно быть, как у других; он — доктор Роберт Фемель, одаренный математик, — служил фельдфебелем в саперных частях; он ел гороховый суп, а соседи в это время слушали радио, принимая *«причастие буйвола»*; его отпуск из части продолжался до утра; с первым трамваем он ехал обратно в казарму; Эдит целовала его у порога, и он испытывал странное чувство, словно он опять обесчестил эту маленькую светловолосую женщину в красном халате; Йозефа она держала за руку, а Рут лежала в коляске; ему была запрещена политическая деятельность, но разве он когда-нибудь занимался политической деятельностью? Его амнистировали, ему простили его юношеское сумасбродство; он считался одним из самых способных кандидатов на офицерское звание; он был заморожен тупостью начальства, не знавшего ничего, кроме уставов, он сеял вокруг себя прах и развалины, вбивая в мозги людям формулы взрывов.

— От Альфреда никаких известий?

Каждый раз он не понимал, о ком идет речь, забывая, что фамилия Эдит тоже Шрелла. Время исчислялось теперь только по производствам в очередной чин; полгода — ефрейтор, еще полгода — унтер-офицер, полгода — фельдфебель, еще полгода — лейтенант; а потом апатичная, серая, безрадостная масса солдат потянулась к вокзалу; не было ни цветов, ни смеха провожающих, ни улыбки кайзера, ни той залихватской удали, которая появляется у людей после длительного мира; серая масса была возбуждена и в то же время тупо покорна; он оставил кукольную комнату, где они оба играли в брак, и на вокзале снова повторил клятву никогда не принимать *«причастие буйвола»*.

Отчего Роберта пробирал озноб — от влажного постельного белья или от сырых стен? Теперь он мог уйти наконец с чердака, куда она его отослала. Паролем этого места были Эдит и Йозеф. Он загасил ногой на полу сигарету, опять спустился по лестнице; помедлив секунду, нажал на ручку двери и увидел свою мать; она говорила по телефону; улыбаясь, она знаком призвала его к молчанию.



— Я так рада, святой отец, что вы можете повенчать их в воскресенье, мы собрали все документы, гражданское бракосочетание состоится завтра.

Действительно ли он услышал ответ священника, или ему только так показалось?

— Да, милая госпожа Фемель, я сам рад, что это досадное недоразумение наконец-то будет улажено.

Эдит не захотела надеть белое платье и отказалась оставить дома Йозефа; мальчик был у нее на руках в ту минуту, когда они оба сказали священнику «да»; играл орган; он тоже не надел черного костюма, не к чему переодеваться; пора идти, шампанского не будет, отец ненавидит шампанское, а отец невесты, которого он видел всего раз в жизни, бесследно исчез, от шурина все еще нет никаких известий, его разыскивают, он обвиняется в покушении на убийство, хотя он возражал против пороха и хотел предотвратить покушение.

Мать повесила трубку, подошла к нему, положила ему руки на плечи, сказав:

— Какая прелесть твой сынишка, чудо, правда? Сразу же после свадьбы его надо усыновить, я напишу завещание в его пользу. Выпей еще стакан чаю, ведь в Голландии все пьют чай; не бойся: Эдит будет хорошей женой, ты быстро сдашь экзамены на аттестат зрелости, я обставлю вам квартиру, а если тебе придется пойти на военную службу, не забывай втайне улыбаться; держись тихо и думай о том, что в мире, где одно движение руки может стоить человеку жизни, благородные чувства — еще не все; я обставлю вам квартиру, отец будет рад, он поехал в аббатство, как будто там можно найти утешение. *«Дрожат дряхлые кости»*, мой мальчик... они убили затаенный смех отца, пружинка лопнула, она не могла выдержать такого гнета. Здесь не поможет громкое слово «тираны»; отец не в силах больше торчать в своей мастерской, Отто вселяет в него страх, вернее, оболочка Отто; попытайся помириться с Отто, пожалуйста, попытайся, ну пожалуйста, иди же к нему.

Попытки примирения с Отто... Он не раз предпринимал их, он подымался по лестнице, стучал в дверь, ведь этот приземистый юноша не был ему чужим, да и Отто не смотрел на него, как на чужого; за широким бледным лбом Отто жажда власти воплотилась в простейшую формулу: Отто хотел властвовать над боязливymi школьными товарищами, над прохожими, которые не отдавали чести нацистскому знамени; эта жажда главенствовать могла бы стать умильной причудой, если бы она распространялась только на спортивные стадионы, если бы Отто хотел получить три марки за выигранный боксерский матч или же, пользуясь правом победителя, сводить в кино какую-нибудь девушку в пестром платье, с тем чтобы на обратном пути поцеловать ее в парадном. Но в Отто не было ничего умильного, даже Неттлингер и тот казался более умильным; Отто не интересовали победы в бок-

серском матче, его не интересовали девицы в пестрых платьях; в мозгу Отто власть стала формулой, лишенной смысла, освобожденной от всего человеческого; в ней почти отсутствовала ненависть, власть приводилась в исполнение автоматически: удар за ударом.

«Брат» — великое слово, в пору Гёльдерлину, такое громадное, что даже смерть не может заполнить его, даже смерть Отто; известие о его гибели не заставило Роберта примириться с ним. «Пал под Киевом!» В этой фразе могли быть выражены трагизм, величие, братские чувства, в особенности если бы в ней был упомянут возраст погибшего, тогда она могла бы вызвать умиление, как надписи на могильных плитах: «Пал под Киевом двадцати пяти лет от роду», но ничего этого не случилось; напрасно Роберт старался примириться, когда ему говорили: «Ведь вы же братья»; да, они были братья, согласно книгам записей гражданского состояния и по свидетельству акушерки; он мог бы скорее почувствовать умиление, если бы они с Отто действительно стали чужими, но этого не произошло; Роберт знал, как Отто ест, как он пьет чай, кофе, пиво; и все же Отто ел иной хлеб, чем он, пил иное молоко и кофе; еще хуже дело обстояло со словами, которые они оба произносили: в устах Отто слово «хлеб» звучало более чуждо, нежели слово “pain”<sup>1</sup>, когда он услышал его впервые и еще не имел понятия, что оно означает. Они родились от одной матери и от одного отца, они выросли в одном доме, вместе ели, пили, плакали, дышали одним и тем же воздухом, ходили по одной и той же дороге в школу, они смеялись и играли, он называл Отто «братиком», чувствовал, как рука брата обвивается вокруг его шеи, он знал, что Отто боится математики, помогал ему, зубрил с ним целыми днями, чтобы тот перестал бояться, и в самом деле ему удалось излечить брата от этого страха, но вот за два года его отсутствия от Отто осталась одна оболочка; нельзя сказать даже, что он стал ему чужим; думая об Отто, он не ощущал пафоса слова «брат», оно казалось неправдоподобным, оно не соответствовало истине, оно не звучало, и он в первый раз понял, что значили слова Эдит — принять «причастие буйвола». Отто выдал бы свою мать палачам, если бы она им вдруг понадобилась.

Во время одной из попыток примирения, когда он поднялся по лестнице, открыл дверь и вошел в комнату Отто, тот, повернувшись к нему, спросил: «В чем дело?» Отто был прав: в чем дело? Ведь они не были друг другу чужими, они знали друг друга как свои пять пальцев, знали, что один не любит апельсинов, а другой предпочитает пить пиво вместо молока, знали, что один охотно курит сигареты, а другой — маленькие сигарки, знали, как каждый из них всовывает свою закладку в календарь Шотта.

Роберта не удивляло, что Бен Уэкс и Неттлингер нередко заходили к Отто, не удивляло, что он встречал их в коридоре; но

<sup>1</sup> Хлеб (франц.).

внезапно он испугался, осознав, что Бен Уэкс и Неттлингер более понятны ему, чем собственный брат; ведь даже убийцы не всегда убивают, не во всякое время дня и ночи, у них тоже бывают свободные вечера, как, скажем, у железнодорожников; при встречах с ним Бен Уэкс и Неттлингер фамильярно хлопали его по плечу, и Неттлингер говорил: «Разве не я помог тебе убежать?» Они казнили Ферди, а Гроля, отца Шреллы и мальчика, который передавал записки, отправили туда, где люди бесследно исчезают. Но теперь они хотели, чтобы все поросло быльем, зачем ворошить старое. Живи себе на здоровье. Роберт стал фельдфебелем в саперных частях, подрывником, женился, нанял квартиру, обзавелся сберегательной книжкой и двумя детьми.

— О жене можешь не беспокоиться, пока мы здесь, с ней ничего не случится.

— Ну? Ты говорил с Отто? Безуспешно? И все же не надо терять надежды; подойди ближе, тихо-тихо. Я должна тебе кое-что сказать: мне кажется, он проклят, заколдован, если это тебе больше по вкусу. Есть только одна возможность освободить его: *хочу ружье, хочу ружье*; господь сказал: «Мне отмщение и аз воздам». Но разве я не могу стать орудием господя?

Мать подошла к окну, достала из-за портьеры трость своего брата, умершего сорок три года назад, вскинула ее, словно ружье, и прицелилась; она взяла на мушку Бена Уэкса и Неттлингера, они ехали верхом по улице, один — на белой лошади, другой — на гнедой; трость следовала за всадниками; казалось, мать наблюдает за ними с секундомером в руках; вот лошади появились на углу, проехали мимо отеля, свернули на Модестгассе, поскакали прочь к Модестским воротам, которые заслонили от нее всадников; опустив трость, мать сказала:

— В моем распоряжении две с половиной минуты. За это время можно сделать вдох, прицелиться, нажать курок.

В картине, нарисованной ее фантазией, не было ни единой бреши, все было пригнано друг к другу и неуязвимо; она снова поставила трость в угол.

— Я это сделаю, Роберт. Я стану орудием господя, терпения у меня хватит, время для меня ничего не значит, и я знаю, что хлопушки с порохом бесполезны; порох должен быть заключен в свинец; я буду мстить за последнее слово, которое слетело с невинных уст моего сына, за слово «Гинденбург», единственное, оставшееся после него в мире. Я должна стереть это слово с лица земли. Неужто мы только для того родим детей, чтобы они умерли через семь лет, прошептав перед смертью имя Гинденбурга?

Я порвала листок со стихотворением и выбросила на улицу клочки бумаги; Генрих был такой аккуратный мальчуган, он молил достать ему копию, но я отказалась, я не хотела слышать из его уст эту чушь; в бреду он пытался восстановить в памяти строчку за строчкой, а я затыкала уши, но все равно слышала: «Господь да пребудет с тобой», я пыталась вызволить его из бреда,

разбудить, заставить посмотреть мне в глаза, взять меня за руки, услышать мой голос, но он продолжал шептать: *«Покуда немецкие рожи растут, покуда немецкие флаги цветут, покуда немецкое слово звучит, не будет наш Гинденбург нами забыт»*; меня убивало, что и в бреду он делал ударение на слове «наш». Я собрала все игрушки в доме, твои тоже, хотя ты громко заревел, и сложила их на одеяле Генриха, но он так и не вернулся ко мне, даже не взглянул на меня, Генрих, Генрих! Я кричала, молилась, шептала, но он ушел в страну кошмарных сновидений, где ничего не осталось, кроме одной-единственной строки; только эта одна строка жила в нем: *«С Гинденбургом вперед! Ура!»*. Последнее слово, слетевшее с его уст, было *«Гинденбург»*.

Я должна отомстить за оскверненные уста моего семилетнего сына; неужели ты меня не понимаешь, Роберт? Я должна отомстить тем, кто ездит верхом мимо нашего дома, направляясь к памятнику Гинденбурга; после смерти за ними понесут венки с золотыми, черными и лиловыми лентами; я спрашивала себя: неужели Гинденбург никогда не умрет? Неужели мы вечно будем видеть на почтовых марках этого буйвола, чье имя стало для моего сына всем? Ты достанешь мне ружье?

Я ловлю тебя на слове; пусть это будет не сегодня и не завтра, но все же скоро; я наберусь терпения, неужели ты не помнишь твоего брата Генриха?

Когда Генрих умер, тебе было уже почти два года, мы держали тогда собаку по кличке Бром, ты ее вряд ли помнишь; Бром был такой старый и мудрый, что боль, которую вы ему причиняли, не вызывала в нем злобы, а только грусть; вы, сорванцы, изо всей силы цеплялись за его хвост, и пес тащил вас по комнате, помнишь Брома? Цветы, которые тебе надо было положить на могилу Генриха, ты выбросил из окна кареты; мы оставили тебя, не доезжая кладбища, мы разрешили тебе сесть наверх, на козлы, и подержать вожжи, они были черные, кожаные и потрескались по краям. Вот видишь, Роберт, ты помнишь и собаку, и вожжи, и брата, и... солдат, солдат, бесконечные шеренги солдат; ты ведь помнишь все это; они поднимались вверх по Модестгассе, сворачивали у отеля к вокзалу, волоча за собой пушки; ты сидел у отца на руках, и отец говорил:

— Война кончилась.

Плитка шоколада стоила триллион, потом конфета стоила два триллиона, пушка стоила столько же, сколько полбуханки хлеба, лошадь — столько же, сколько яблоко, цены все росли, а потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить самый дешевый кусок мыла; это не могло хорошо кончиться, да они, Роберт, и не хотели вовсе, чтобы это хорошо кончилось; люди все шли и шли через Модестские ворота и устало сворачивали к вокзалу; все было благопристойно, вполне благопристойно, и они несли перед собой знамя с именем главного буйвола — Гинденбурга; буйвол до последнего вздоха заботился о порядке. Ведь правда он умер, Роберт? Мне все еще не верится!

Герой! Для тебя наши бьются сердца,  
А славе героя не будет конца.  
С Гинденбургом вперед! Ура!

На почтовых марках у этого буйвола с отвислыми щеками был такой вид, словно он призывает к единению; уверяю тебя, он еще доставит нам немало хлопот, он еще покажет, куда ведет благоразумие политиков и благоразумие богачей; лошадь стоила столько же, сколько яблоко, конфета стоила триллион, а потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить себе кусок мыла, но порядок был незыблем, я все это видела своими глазами, и я слышала, как они выкрикивали его имя; он был глуп как пробка, глух как тетерев, но насаждал порядок; все было прилично, вполне прилично. Честь и верность, железо и сталь, деньги и разоренная деревня. Осторожно, мальчик, там, где над пашнями подымается туман, где шумят леса, — там принимают *«причастие буйвола»*, будь осторожен!

Не думай, что я сумасшедшая, я хорошо знаю, что мы находимся сейчас в Денклингене; вот дорога, она вьется меж деревьев вдоль синей стены и поднимается до того места, где ползут желтые автобусы, похожие на жуков; меня привезли сюда потому, что я морила голодом твоих детей, после того как порхающие птицы умертвили последнего агнца; шла война, время исчислялось по производствам в очередной чин, ты ушел на фронт лейтенантом, но за два года дослужился до обер-лейтенанта. Ты все еще не стал капитаном? Для этого тебе понадобится не меньше четырех лет, может быть, даже шесть, а потом ты станешь майором; прости, что я смеюсь; смотри, как бы от твоих формул у тебя не зашел ум за разум, сохраняй терпение и не пользуйся привилегиями; мы не едим ни крошки сверх того, что выдается по карточкам; Эдит согласна со мной: ешь то же, что едят все, надевай то же, что надевают все, читай то же, что читают все, не принимай ничего сверх положенного — ни масла, ни платьев, ни стихотворений, ничего, что тебе предлагает буйвол, пусть с самым изящным поклоном; *«и правая их рука полна подношений»*; все это не что иное, как взятки, данные под тем или иным соусом. Я не хотела, чтобы твои дети пользовались привилегиями, пусть они почувствуют вкус правды на своих губах. Но меня увезли от детей; этот дом называется санаторием, здесь сумасшедших не избивают, здесь тебе не станут лить холодную воду на голое тело и не наденут без согласия родственников смиренную рубашку, надеюсь, вы не согласитесь, чтобы мне ее надели; мне позволено даже выходить, если я захочу, потому что я не опасна, несколько не опасна, но я, мальчик, не хочу выходить, я не хочу глядеть на этот мир, не хочу снова и снова сознавать, что они убили затаенный смех отца, что скрытая пружинка в скрытом часовом механизме лопнула; отец вдруг начал принимать себя всерьез; он стал таким торжественным; ведь он нагромоздил целые горы кирпичей, срубил много лесов на стройматериалы и уложил столько бетона, столько бетона, что им можно было бы забетонировать Боденское озеро; такие, как он, строя, хотели забыться,

для них это было вроде опиума; трудно себе представить, сколько может понастроить за сорок лет архитектор; я щеткой счищала следы известки с его брюк и гипсовые пятна с его шляпы; положив голову ко мне на колени, он курил сигару, и мы без конца повторяли, как причитание: «Помнишь ли ты... Помнишь ли ты, как в тысяча девятьсот седьмом году... как в тысяча девятьсот четырнадцатом году... как в двадцать первом году, как в двадцать восьмом году, как в тридцать пятом году...» И в ответ на этот вопрос мы вспоминали либо какое-нибудь сооружение, либо чью-нибудь смерть; помнишь, как умерла мать, помнишь, как умер отец, Иоганна, Генрих? Помнишь, как я строил аббатство Святого Антония, церковь Святого Серватия и Бонифация, церковь Модеста, дамбу между Хайлигенфельдом и Блессенфельдом, помнишь, как я строил монастырь для белых братьев, и монастырь для коричневых братьев, и санаторий для сестер милосердия; каждый мой ответ, казалось, звучал как молитва: «Господи помилуй!» Отец строил одно сооружение за другим, и одна смерть следовала за другой; он стал рабом им же самым созданной легенды, его держал в плену им же выдуманный ритуал; каждое утро он завтракал в кафе «Кронер», хотя охотнее посидел бы с нами, выпил бы кофе с молоком и съел кусок хлеба, он прекрасно мог обойтись без яйца всмятку, без гренок и без этого отвратительного сыра с перцем, но он уже начал думать, что не может без них обойтись; он сердился, если не получал крупного заказа, а ведь раньше было иначе: он радовался, когда получал заказ, понимаешь? Все это очень сложная математика, особенно когда тебе под пятьдесят или под шестьдесят и ты стоишь перед выбором: либо ты должен справить нужду на собственный памятник, либо взирать на него с благоговением; здесь не может быть никаких компромиссов. Тебе минуло тогда восемнадцать, Отто — шестнадцать лет, и мне было страшно за вас; я стояла вместе с вами наверху в беседке и зорко глядела вокруг, словно вещая птица. Когда вы были младенцами, я носила вас на руках, когда вы стали маленькими детьми — держала за руку, а когда вы переросли меня — стояла с вами рядом; я наблюдала за жизнью, которая проходила внизу: все бурлило, люди дрались и платили триллион за конфету, а потом у них не было трех пфеннигов, чтобы купить себе булочку; я не желала слышать имени их «избавителя», но они носили этого буйвола на руках, наклеивали марки с его изображением, без конца повторяли, словно причитая: приличия, приличия, честь, верность, «побежденные и все же непобедимые», порядок; он был глуп как пробка и глух как тетерев; внизу, в конторе отца, Жозефина проводила маркой по влажной губке и наклеивала на письма его портреты всех цветов; а мой маленький Давид спал; он проснулся только после того, как ты скрылся, лишь тогда он понял, как опасно бывает передать из рук в руки пачку денег, собственных денег, завернутых в газетную бумагу, — это может стоить человеку жизни; лишь тогда он увидел, что от его сына осталась одна оболочка; верность, честь, приличия — он понял цену всему этому; я предупредила его насчет Греча, но он говорил мне:

— Грец — человек безобидный.

— Как бы не так,— отвечала я ему,— ты еще увидишь, на что способны такие безобидные люди, как он. Грец готов предать собственную мать.

Позднее меня приводила в ужас моя прозорливость: Грец действительно предал мать; да, Роберт, он предал собственную мать, донес на старуху в полицию, потому что она все время повторяла одну и ту же фразу: «Это грех и позор». Больше она ничего не говорила, только эту фразу, и вот в один прекрасный день ее сын объявил:

— Я не желаю дольше терпеть, моя честь не позволяет мне этого.

Они забрали мать Греча и поместили ее в богадельню; чтобы спасти ей жизнь, они объявили ее сумасшедшей, но это-то как раз и погубило старуху: ей сделали соответствующий укол. Разве ты не помнишь мать Греча? Она еще бросала вам через забор пустые плетенки из-под грибов, вы ломали их и строили тростниковые хижины; после сильного дождя хижины становились бурыми от грязи; вы их высушивали, а потом, с моего разрешения, сжигали; неужели ты ничего не помнишь, не помнишь старуху, на которую донес Грец, его собственную мать? Разумеется, он все еще стоит за прилавком и поглаживает ломти сырой печенки. Они пришли и за Эдит, но я ее не отдала, я огрызалась, я кричала, и им пришлось отступить; я спасала Эдит до той поры, пока порхающая птица не убила ее; я пыталась помешать птице, я слышала шелест ее крыльев, слышала, как она камнем падала вниз, я знала, что птица несет смерть; она с торжеством влетела к нам через окно в коридоре; я сложила ладони, чтобы поймать ее, но она пролетела у меня между рук; прости, Роберт, за то, что я не сумела спасти агнца, и помни, что ты обещал достать мне ружье. Не забывай этого. Соблюдай осторожность, мальчик, когда будешь подыматься по стремянке, иди сюда, дай я тебя поцелую и прости, что я смеюсь; какие искусники нынешние парикмахеры.

Почти не сгибаясь, он поднимался по стремянке, ступая в серую бесконечность между перекладинами, а сверху ему навстречу спускался Давид, маленький Давид; всю жизнь ему годились костюмы, которые он купил себе в молодости. Осторожно! Зачем стоять между ступенями, неужели вы не можете хотя бы сесть на перекладки, чтобы поговорить друг с другом; как прямо держатся они оба; не правда ли, они обнялись, не правда ли, сын положил руку на плечо отца, а отец на плечо сына?

Принесите кофе, Хупертс, крепкий горячий кофе и побольше сахара, после обеда мой повелитель любит пить крепкий сладкий кофе, а по утрам — жидкий; он является ко мне из серой бесконечности, из бесконечности, куда потом исчезает тот, другой, негнущийся и несгибаемый, куда он уходит большими шагами; оба они — и муж и сын — мужественные люди, они спускаются ко мне вниз,

в мой заколдованный замок, сын — дважды в неделю, а мой повелитель — только раз в неделю; он приносит с собой ощущение субботнего вечера, в его глазах — мера времени, и я не могу утешить себя даже тем, что его внешность — дело рук искусных парикмахеров; ему уже восемьдесят лет, сегодня у него день рождения, который торжественно отпразднуют в кафе «Кронер», но только без шампанского, он всегда ненавидел шампанское — я так и не узнала почему.

Когда-то ты мечтал устроить в этот день грандиозный пир, на нем должны были присутствовать семья семь внуков да еще правнуки, невестки, жены внуков, мужья внуков; ты ведь всегда казался себе Авраамом, основателем огромного рода; в своих грезах ты видел себя с двадцать девятым правнуком на руках. Ты хотел продолжить свой род, продолжить его до бесконечности, но сегодня будет грустный праздник: у тебя всего один сын, светловолосый внук и черноволосая внучка, их подарила тебе Эдит, а родоначальница семьи — в заколдованном замке, куда можно спуститься лишь по бесконечно длинным лестницам с гигантскими ступенями.

— Иди сюда, пусть с тобой войдет счастье, старый Давид, твоя талия и теперь не шире, чем в дни юности, пощади меня — я не хочу быть в настоящем; давай лучше я поплыву в прошлое на крохотном листке календаря, где стоит дата «31 мая 1942 года», но не рви мой кораблик, сжался надо мной, возлюбленный, не рви бумажное суденышко, сделанное из листка календаря, и не бросай меня в океан прошлого, того, что случилось шестнадцать лет назад. Помнишь ли ты лозунг: *«Победу надо завоевать, ее нам никто не подарит»*; горе людям, не принявшим *«причастие буйвола»*, ты же знаешь, что причастия обладают ужасным свойством, их действие бесконечно; люди страдали от голода, а чуда не случилось — хлеб и рыбы не приумножились, *«причастие агнца»* не могло утолить голод, зато *«причастие буйвола»* давало людям обильную пищу; считать они так и не научились: они платили триллион за конфету, яблоко стоило столько же, сколько лошадь, а потом у людей не оказалось даже трех пфеннигов, чтобы купить себе булочку, но они все равно полагали, что приличия и благопристойность, честь и верность превыше всего; когда людей напичкают *«причастием буйвола»*, они мнят себя бессмертными; оставь, Давид, зачем таскать за собой прошлое, будь милосердным, погаси время в твоих глазах, пусть другие делают историю, кафе «Кронер» сохраняет тебе верность, и когда-нибудь тебе поставят памятник — небольшая бронзовая статуя будет изображать тебя с бумажным свитком в руках, маленького, хрупкого, улыбающегося, похожего не то на молодого раввина, не то на художника, чем-то неуловимо напоминающего провинциала, ты уже видел, к чему приводит политическое благоразумие... неужели ты хочешь лишить меня политического неразумия?

Из окна мастерской ты обещал мне: «Не горюй, я буду тебя любить, я избавлю тебя от всех ужасов, о которых рассказывают



твои школьные подруги, от ужасов, происходящих якобы в брачную ночь; не верь нашептываниям этих дур; когда придет наше время, мы будем смеяться, непременно, обещаю тебе, но пока подожди, подожди две-три недели, самое большее месяц; я куплю букет, найму экипаж и подъеду к вашему дому. Мы отправимся путешествовать, поглядим свет, и ты родишь мне детей — пятерых, шестерых, а то и семерых, а потом дети подарят мне внуков, их будет пятью, шестью, семью семь; ты даже не заметишь, как я работаю, я избавляю тебя от запаха мужского пота, от истовых мускулов и от военной формы, все мне дается легко. В свое время я учился и кое-что узнал, я уже заранее пролил свой пот. Я не художник, на этот счет не обольщайся, я не обладаю ни мнимым, ни истинным демонизмом; то, о чем твои приятельницы рассказывают страшные сказки, мы будем делать не в спальне, а на вольном воздухе; над собою ты увидишь небо, на лицо тебе будут падать листья и травинки, ты вдохнешь аромат осеннего вечера, и у тебя не появится такого чувства, будто ты участвуешь в отвратительном акробатическом номере, в котором обязана участвовать; ты будешь вдыхать аромат осенних трав, лежа на песке у воды среди верб, там, где разлившаяся в паводок река оставила свои следы — стебли камыша, пробки, баночки из-под гуталина, бусинку от четок, которую жена моряка уронила за борт, и бутылки из-под лимонада с вложенными в них записками; в воздухе запахнет горьким дымом из пароводных труб, раздастся звяканье якорных цепей; мы будем это делать не всерьез, малой кровью, хоть это серьезное и кровавое дело».

Помнишь, как я схватила босыми пальцами ног пробку и преподнесла ее тебе на память? Я подняла эту пробку и подарила ее тебе, потому что ты избавил меня от супружеской спальни, от этой темной камеры пыток, о которой я знала из романов, из нашептываний приятельниц и предостережений монахинь; ветки ивы свешивались мне на лоб, серебристо-зеленые листья падали на глаза, которые стали совсем темными и блестящими; пароходы гудели в мою честь, возвещали, что я перестала быть девственницей; спускались сумерки, наступал осенний вечер, все катера уже давно стали на якорь, матросы и их жены перешли по шатким мосткам на берег, и я уже сама жаждала того, чего еще совсем недавно так боялась, но все же из моих глаз скатилось несколько слезинок, я сочла себя недостойной своих предков, которые стыдились превращать обязанность в удовольствие; ты налепил листья ивы мне на лоб и на влажные следы слез; мы лежали на берегу реки, и мои ноги касались стеблей камыша и бутылок с записками, в которых дачники посылали привет горожанам; откуда только взялись все эти банки из-под гуталина, кто набросал их — готовящиеся сойти на берег матросы в начищенных до блеска ботинках, или жены речников с черными хозяйственными сумками, или парни в фуражках с блестящими козырьками? Когда мы пришли в сумерках в кафе Тришлера и уселись на красные стулья, блики на козырьках вспыхивали то тут, то там. Я любовалась прекрасными руками молодой хозяйки кафе, подавшей нам жареную рыбу, вино и такой зеленый

салат, что глазам было больно, я любовалась руками молодой женщины, которые через двадцать восемь лет обмыли вином истерзанную спину моего сына. Зачем ты накричал на Тришлера, когда он позвонил по телефону, чтобы сообщить о несчастном случае с Робертом? Половодье, половодье, меня всегда тянуло броситься в вышедшую из берегов реку и дать отнести себя к серому горизонту. Иди сюда, пусть с тобой войдет счастье, только не целуй меня, не рви моего кораблика; вот тебе кофе, он сладкий и горячий, такой, какой ты пьешь после обеда, крепкий кофе без молока; вот тебе сигары по шестьдесят пфеннигов за штуку, мне принес их Хупертс; не гляди так, старик, я ведь не слепая, я всего лишь сумасшедшая, и, конечно же, могу прочесть внизу в вестибюле на календаре сегодняшнее число: «6 сентября 1958 года»; я не слепая, я знаю, что твой облик нельзя приписать искусству парикмахеров; давай играть с тобой вместе, отвори глаза от прошлого, но не рассказывай мне снова о твоём лучезарном белокуром внуке, который унаследовал сердце матери и разум отца. Теперь, когда аббатство восстанавливают, он находится там вместо тебя. Сдал ли он уже экзамен на аттестат зрелости? Он тоже будет изучать архитектуру? А сейчас он проходит практику? Прости, что я смеюсь; я никогда не относилась серьезно к постройкам; все это — прах, уплотненный прах, который превращается в камень; оптический обман, фата-моргана, обреченная на то, чтобы со временем стать развалинами; «победу надо завоевывать, ее нам никто не подарит» — я прочла это в газете сегодня утром, перед тем как меня привезли сюда: «...Все ликовали... люди, преисполненные веры и надежды, прислушивались к словам... восторг и воодушевление охватили всех...»

Хочешь, я прочту тебе вслух — это напечатано в местной газетке?

У тебя не семью семь внуков, а всего дважды один или единожды два; они не будут пользоваться привилегиями, я обещала это Эдит, агнцу, они не будут принимать *«причастие буйвола»*, и мальчик не станет учить в гимназии стихотворение:

Благословен любой удар, что ниспослал нам рок,  
Он единенье наших душ нам укрепить помог...

Ты читаешь слишком много центральных газет, которые преподносят тебе *«буйвола»* под сладким или под кислым соусом, в сухарях и еще бог знает в каком виде, ты прочел слишком много газет для сверхобразованных; если хочешь, чтобы тебя каждый день обливали ушатами помоев, помоев без всяких примесей и подделок, — читай статейки в местных листках, они печатают их с самыми лучшими намерениями, какие себе только можно представить, а вот у твоих центральных газет нет таких намерений, они просто трусливы, зато мои листки все делают с наилучшими намерениями; пожалуйста, не пользуйся привилегиями и не щади себя, смотри, что пишет обо мне моя газетенка в стихотворении *«Матери павших...»*:

Вас, как святых, народ германский чтит,  
Но ваше сердце о сынах скорбит.

Я — святая, и моя душа скорбит, мой сын Отто Фемель пал... Приличия, приличия, честь, верность, а он донес на нас полицию; в один прекрасный день от нашего сына Отто не осталось ничего, кроме оболочки; не щади себя и не пользуйся привилегиями; настоятеля они, разумеется, пощадили, ведь и он принял *«причастие буйвола»*... приличия, благопристойность, честь; наверху, на холме, с которого открывается вид на очаровательную долину Киссаталь, они вместе с монахами, державшими в руках факелы, отпраздновали наступление новой эры, эры «жертв и страданий»; у людей опять появились пфенниги на булочки и на то, чтобы купить себе кусок мыла; настоятель был поражен тем, что Роберт не захотел участвовать в церемонии; монахи на взмысленных конях во весь опор взлетели на вершину холма, они хотели зажечь там костер; они праздновали солнцеворот; зажечь поленницу разрешили Отто; он сунул горящий факел в кучу хвороста, на холме зазвучали голоса, которые так прекрасно умели петь *“orate coeli”*, но теперь они пели песню, которую, я надеюсь, никогда не запоет мой внук: *«Дрожат дряхлые кости»*; ну как, твои кости еще не дрожат, старик?

Иди сюда, положи голову мне на колени, закури сигару, чашка кофе стоит рядом с тобой, тебе ее легко достать; закрой глаза, хватит, подремли, забудем счет времени, давай повторять без конца, как причитание, «помнишь ли ты?..». Вспомни годы, когда мы жили за городом в Блессенфельде, где каждый вечер казался субботним, где народ угощался жареной рыбой в закусочных, а пирожными и мороженым прямо у тележек продавцов; этим счастливицам позволялось есть руками, а мне этого никогда не позволяли, пока я жила дома; но ты мне позволил; вокруг визжали шарманки и поскрипывали карусели, мои глаза и уши были открыты, и я проникалась сознанием того, что только непостоянное может быть постоянным; ты вызволил меня из страшного дома, где семья Кильб прожила четыреста лет, тщетно пытаюсь вырваться на волю; до знакомства с тобой я проводила летние вечера в садике на крыше, а они сидели внизу и пили вино; там собиралось то мужское, то дамское общество, но в визгливом женском смехе я слышала то же, что и в громком гоготе мужчин, — отчаяние; их отчаяние становилось явным, когда вино развязывало им языки, когда они преступали табу и аромат летнего вечера высвобождал их из оков ханжества; все они не были ни достаточно богатыми, ни достаточно бедными, чтобы открыть единственно постоянное на земле — непостоянство; я тосковала по нему, хотя и меня воспитали в духе вечных категорий... брак, верность, честь, супружеская спальня, где все совершается по обязанности, а не по склонности; солидность строительных сооружений — все это прах, уплотненный прах, который снова превращается в пыль; в ушах у меня все время звучало, подобно зову бурлящей в половодье реки: *«зачемзачемзачем»*, я не хотела проникаться их отчаянием, не хотела принять в наследство тот мрак,

который они передавали из поколения в поколение; я тосковала по белому невесомому «причастию агнца», и, когда пели “*mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*”, я старалась вырвать из своей груди наследие пращуров — тьму и насилие; возвращаясь от мессы, я оставляла в передней молитвенник, отец еще успевал запечатлеть на моем лице приветственный поцелуй, а потом я слышала, как постепенно удалялся его густой бас, пока он шел через двор к своей конторе; мне было пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет; по жестким глазам матери я видела, что она поджидает моего совершеннолетия; когда-то ее бросили на съедение волкам, так стоит ли щадить меня? Эти волки уже подрастали — выпивохи в форменных фуражках, красивые и некрасивые; на мне тяготело страшное проклятие: глядя на их руки и глаза, я знала, что станет с ними лет в сорок или в шестьдесят, я видела на их лицах и руках вздувшиеся лиловые вены; от этих людей никогда не пахло субботним вечером... серьезность, мужское достоинство, ответственность; они будут стоять на страже законов, преподавать детям историю, подсчитывать барыши; решив раз и навсегда сохранять политическое благоразумие, все они так же, как и мои братья, осуждены принимать «причастие буйвола»; уже смолodu они не бывают молоды, лишь смерть сулит всем им блеск и величие, окутывая их легендарной дымкой; время было для этих людей только средством приближения к смерти, они принимались ко всякой мертвечине, и им нравилось все, что пахло гнилью, они сами пахли гнилью; тление... я ощущала его в отчем доме и в глазах тех, кому меня предназначали на съедение; господа в форменных фуражках, стражи законов; только две вещи были под запретом — жажда жизни и игра. Ты понимаешь меня, старик? Игра считалась смертным грехом; не спорт — его они терпели, ведь спорт сохраняет живость, придает грацию, красоту, улучшает аппетит, аппетит волков; комнаты с кукольной мебелью — это тоже хорошо, они воспитывают женские и материнские инстинкты; танцевать опять-таки хорошо, так полагается, но зато грех танцевать в полном одиночестве в одной рубашке у себя в комнате, это ведь не обязательно; на балах и в темных коридорах господам в форменных фуражках разрешалось тискать меня, они имели также право расточать мне не очень рискованные ласки в лесных сумерках, когда мы возвращались с пикников; такие вещи были дозволены, ведь мы не ханжи! Я молилась, чтобы явился избавитель и спас меня от смерти в волчьем логове, я молилась и принимала белое причастие, я видела тебя в окне мастерской; если бы ты только знал, как я тебя любила, если бы ты только догадался, ты не стал бы сейчас так смотреть на меня, не показал бы мне счет времени; лучше расскажи, как выросли за эти годы мои внуки, расскажи, спрашивают ли они обо мне, не забывают ли меня. Нет, я не хочу их видеть, я знаю, они меня любят, знаю также, что была лишь одна возможность спасти меня от убийц — объявить сумасшедшей. Но ведь со мной могло случиться то же, что с матерью Греца, правда? Мне повезло, очень повезло, в мире, где одно движение руки стоит человеку жизни, где, объявив человека сумасшедшим,

можно либо погубить его, либо спасти; нет, пока я еще не собираюсь изрыгнуть годы, которые меня заставили проглотить, я не хочу видеть Йозефа двадцатидвухлетним молодым человеком со следами известки на брюках, с пятнами гипса на пиджаке, не хочу видеть, как он, сияя, размахивает линейкой или идет, держа под мышкой скатанные в трубку чертежи, не хочу видеть девятнадцатилетнюю Рут, читающую «*Коварство и любовь*»; закрой глаза, старый Давид, захлопни календарь, вот тебе кофе.

Я в самом деле боюсь, поверь мне, это не ложь, пусть мой кораблик плывет, не топи его, не будь озорным мальчишкой, который все разрушает; сколько в мире зла и как мало на свете чистых душ; Роберт тоже участвует в игре, он послушно отправляется повсюду, куда я его посылаю: от тысяча девятьсот семнадцатого до тысяча девятьсот сорок второго года — ни шагу дальше; он держится всегда прямо, не гнется, он истый немец; я знаю, что он тосковал по родине, что на чужбине ничто не приносило ему счастья — ни игра в бильярд, ни зубрежка формул, знаю, что он вернулся не только ради Эдит; он истый немец, он читает Гёльдерлина и никогда не принимал «*причастие буйвола*»; Роберт принадлежит к числу избранных, он не агнец, а пастырь. Хотелось бы только знать, что он делал во время войны, но об этом он никогда не рассказывает; он стал архитектором, но не выстроил ни одного дома, на его брюках никогда не было следов известки, он всегда выглядел безукоризненно, всегда был кабинетным ученым, никогда не мечтал попить на празднике по случаю окончания стройки. А где же мой другой сын, Отто? Пал под Киевом; наша плоть и кровь; откуда он взялся такой и куда ушел? Правда ли, что он был похож на твоего отца? Неужели ты ни разу не встретил Отто с девушкой? Мне бы так хотелось узнать что-нибудь о нем; я помню, что он с удовольствием пил пиво и не любил огурцов, помню все его жесты, когда он причесывался и когда надевал пальто; он донес на нас полицию, он пошел в армию, не закончив даже гимназии, и писал нам убийственно насмешливые открытки: «Мне живется хорошо, чего и вам желаю; пришлите три тысячи».

Даже в отпуск он и то не приезжал домой. Где он проводил свои отпуска? Какой сыщик сумел бы нам рассказать об этом? Я знаю номера его полков и номера полевых почт, знаю его воинские звания; он был обер-лейтенантом, майором и подполковником; подполковник Фемель; последний удар был, как всегда, нанесен нам с помощью цифр «пал 12/1.1942». Я собственными глазами видела, как он сбивал с ног прохожих за то, что они не отдавали честь нацистскому знамени, видела, как он поднимал руку и бил их, он и меня ударил бы, если бы я не поспешила свернуть в переулок. Как он попал в наш дом? Я не могу придумать никакого глупого утешения, не могу даже внушить себе, что Отто подменили при рождении — он родился дома, в нашей спальне наверху, через две недели после смерти Генриха, он родился в темный октябрьский день тысяча девятьсот семнадцатого года и был похож на твоего отца.

Тише, старик, ничего не говори, не открывай глаза, не пока-

звывая, что тебе уже восемьдесят лет. “Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris”<sup>1</sup>. Нам сказано это достаточно ясно, все прах — и известковая пыль, и закладные, и дома, и поместья, и усадьбы, и памятник в тихом пригороде, где дети, играя, будут спрашивать: «Кто же он такой?»

Когда я была молодой матерью, цветущей и жизнерадостной, и гуляла в Блессенфельдском парке, я уже понимала, что ворчливые пенсионеры, которые бранят шумных ребятишек, бранят тех, кто когда-нибудь тоже станет ворчливым пенсионером, ругающим шумных ребятишек, которые в свою очередь тоже превратятся в угрюмых пенсионеров; я вела за руки двоих мальчиков, младшему было четыре года, старшему — шесть, потом младшему исполнилось шесть, а старшему — восемь, еще позже младшему стало восемь, а старшему — десять; я помню железные таблички с аккуратно выведенными черными цифрами на белой эмали «25», «50», «75», «100», такие же таблички висели на трамвайных остановках; по вечерам ты клал голову мне на колени, чашка кофе всегда была у тебя под рукой, мы тщетно ждали счастья, мы не были счастливы ни в купе вагонов, ни в отелях; чужой человек ходил по нашему дому, носил наше имя, пил наше молоко, ел наш хлеб, покупал за наши деньги сперва какао в детской группе, а потом школьные тетради.

Отнеси меня снова на берег реки, чтобы мои босые ноги коснулись мусора, выброшенного рекою в половодье, отнеси меня к реке, где гудят пароходы и пахнет дымом, отведи меня в кафе, где на стол подает женщина с прекрасными руками; тише, старик, не плачь; я жила во внутренней эмиграции; у тебя есть сын, двое внуков, быть может, они скоро подарят тебе правнуков; не в моей власти вернуться к тебе и каждый день делать себе новый кораблик из листка календаря, чтобы весело плавать на нем до полуночи; сегодня шестое сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, настало будущее — немецкое будущее, я сама читала о нем в местной газетке:

«Один из эпизодов немецкого будущего: 1958 год; двадцатилетний унтер-офицер Моргнер стал тридцатипятилетним крестьянином Моргнером, он поселился на берегу Волги; его рабочий день кончился, Моргнер наслаждается заслуженным отдыхом, покуривая свою трубочку, на руках у него один из его белокурых малышей; Моргнер задумчиво смотрит на свою жену, которая как раз в этот момент доит последнюю корову... Немецкое молоко на берегу Волги...»

Ты не желаешь слушать дальше? Ладно, но с меня хватит будущего; не хочу знать, каким оно становится, превращаясь в настоящее, разве немцы не живут на берегу Волги? Не плачь, старик, внеси за меня выкуп, и я вернусь к тебе из заколдованного замка, *хочу ружье, хочу ружье*.

Будь осторожен, когда начнешь взбираться вверх по стремянке, вынь изо рта сигару, тебе уже не тридцать лет, и у тебя может

<sup>1</sup> Прах ты и в прах возвратишься (лат.).

закружиться голова; ведь сегодня вечером ты устраиваешь в кафе «Кронер» семейное торжество. Может быть, я приду поздравить тебя с днем рождения, прости, что я смеюсь; Иоганне исполнилось бы сорок восемь, Генриху сорок семь; они унесли в могилу свое будущее; не плачь, старый, ты сам все это затеял, будь осторожен, когда начнешь карабкаться по стремянке.

## 6

Черно-желтый автобус остановился у въезда в деревню, а потом свернул с шоссе, направляясь к Додрингену; в облаке пыли, которое поднял автобус, Роберт увидел отца; казалось, старик вынырнул из густого тумана; его члены все еще были гибкими, да и полдневный зной почти не отразился на нем; старик повернул на главную улицу, прошел мимо «Лебеда»; деревенские парни на крыльце трактира провожали его скучающими взглядами; среди них были пятнадцатилетние и шестнадцатилетние подростки, возможно, те самые, что подкарауливали Гуго в глухих закоулках и темных сараях, когда он шел из школы, те самые, что избивали его, называя *агнцем божьим*.

Старик миновал канцелярию бургомистра и подошел к военному обелиску; усталый самшит, выросший на кислой деревенской почве, простирает свои ветви над обелиском в честь погибших в трех войнах; старик остановился у кладбищенской стены, вытащил носовой платок, одернул пиджак и пошел дальше; при каждом шаге старого Фемеля его правая штанина описывала затейливую кривую, на секунду Роберту становилась видна темно-синяя подшивка брюк, а потом нога старика снова опускалась на землю и снова поднималась, чтобы вновь описать кокетливую кривую; Роберт посмотрел на вокзальные часы — было без двадцати четыре, а поезд прибудет только в двадцать минут пятого, до него больше получаса; насколько Роберт помнил, они с отцом никогда не оставались так долго вдвоем; он надеялся, что старик задержится в лечебнице подольше и ему не придется вести с ним сыновнюю беседу. Зал ожидания на вокзале в Денклингене был самым неподходящим местом для встречи, о которой отец мечтал, возможно, уже лет двадцать, а то и тридцать, мечтал о встрече с взрослым сыном, давно вышедшим из детского возраста, сыном, которого уже не возьмешь за ручку, не повезешь на морские купанья и не пригласишь в кафе съесть кусок торта или мороженое. Поцелуй на сон грядущий, поцелуй по утрам, вопрос «приготовил ли ты уроки?» и несколько сентенций, вроде «честному мужу честен и поклон» или «у бога милости много»; отец давал сыну деньги и по-ребячески гордился его спортивными грамотами и хорошими гимназическими табелями; немного смущенные, они разговаривали об архитектуре, ездили за город в аббатство Святого Антония; отец ни слова не сказал в день его бегства и в день возвращения; их трапезы в присутствии Отто проходили в гнетущем молчании,

даже о погоде и то немыслимо было говорить; они разрезали мясо серебряными ножами, брали подливку серебряными ложками, мать цепенела, как кролик перед удавом, старик смотрел в окно, крошил хлеб, машинально подносил ложку ко рту, у Эдит дрожали руки, а Отто с презрительной миной накладывал себе самые большие куски мяса, он единственный за столом отдавал должное каждому блюду; тот самый Отто — отцовский любимец, который так радовался в детстве семейным прогулкам и увеселительным поездкам и был таким милым озорником, веселым мальчиком с безоблачным будущим, мальчиком, созданным для того, чтобы составить счастье отца, дать ему ощутить полноту жизни; время от времени Отто весело говорил: «Вы можете выгнать меня», но никто ему не отвечал. После этих трапез Роберт шел с отцом в его мастерскую — просторное помещение, где по-прежнему стояли пять чертежных столов для помощников, которых уже не было; в мастерской Роберт чертил и проделывал разные манипуляции с формулами, пока старый Фемель медленно надевал рабочий халат и рылся в кипе чертежей, время от времени подходя к большому чертежу Святого Антония; потом он отправлялся гулять, пил кофе, навещал старых коллег, старых врагов; в тех домах, где Фемель вот уже сорок лет был желанным гостем: в одних из-за старшего сына, в других из-за младшего, — вновь, казалось, наступил ледниковый период, и все же он никогда не терял жизнерадостности, этот старик, которому на роду было написано жить весело, пить вино и кофе, путешествовать и рассматривать каждую хорошенькую девушку, встреченную на улице или в поезде, как возможную невестку; нередко он часами прогуливался с Эдит, которая толкала перед собой детскую колясочку; у старика было в то время мало работы, он почитал за счастье, если ему поручали небольшие перестройки в больницах, когда-то им же созданных, он чертил проекты и наблюдал за ходом работ; если же представлялся случай отремонтировать какую-нибудь стену в аббатстве, он ездил в Киссаталь; старый Фемель считал, что Роберт на него сердит, Роберт полагал, что старик сердится на него.

Теперь Роберт стал уже совсем зрелым человеком, отцом взрослых детей; он перенес тяжелый удар — смерть жены, побывал в эмиграции, опять вернулся на родину, был на войне, пережил и предательство и истязания, стал вполне самостоятельным, нашел свое место в жизни: «Доктор Роберт Фемель. Контора по статическим расчетам. После обеда закрыто»; наконец-то они могли беседовать, как равный с равным.

— Вам еще кружку пива? — спросил хозяин, стирая пивную пену с никелированной стойки; потом он вынул из витрины с холодильной установкой две тарелки — биточки с горчицей — и подал их парочке, сидевшей в углу; парочка, разгоряченная прогулкой на свежем воздухе, пребывала в блаженной истоме.

— Да, — сказал Роберт, — еще кружку, пожалуйста. — Он раздвинул занавеску и увидел, что отец свернул направо, миновал ворота кладбища, перешел через улицу и остановился у палисад-



ника перед домом начальника станции, чтобы полюбоваться лиловыми, только что распустившимися астрами; он, видимо, медлил.

— Нет,— сказал Роберт хозяину за стойкой,— мне, пожалуй-ста, две кружки пива и десяток сигарет «Виргиния».

Там, где сейчас ворковала парочка, сидел тогда американский офицер; из-за светлых, коротко стриженных волос он казался еще моложе, чем был на самом деле; его голубые глаза излучали веру, веру в будущее, в котором все станет ясным; мысленно он разбил будущее на одинаковые квадраты, как карту, оставалось только выяснить масштаб этой карты — один к одному или же один к трем миллионам. На столе рядом с тонким карандашом, которым время от времени постукивал офицер, лежала топографическая карта округа Кисслинген.

За прошедшие тринадцать лет стол не претерпел никаких изменений; на правой ножке, в которую теперь пытались упереться пыльные сандалии молодого человека, все еще виднелись инициалы, вырезанные от скуки кем-то из учащихся шоферских курсов,— Й. Д., наверное, парня звали Йозеф Додрингер; даже скатерть была такой же — в красную и белую клетку; эти стулья пережили две мировые войны, буквое дерево, соответствующим образом обработанное, превратилось в прочное сиденье; вот уже семьдесят лет, как на этих стульях покоились зады крестьян, ожидающих поезда; только витрина с холодильной установкой была недавнего происхождения, в ней лежали полузасохшие биточки, холодные котлеты и крутые яйца, предназначенные для проголодавшихся или же скупавших пассажиров.

— Пожалуйста, сударь, две кружки пива и десяток сигарет.

— Большое спасибо.

На стене висели те же картины, что и прежде; на одной было изображено аббатство Святого Антония, вид сверху, сфотографированное еще с помощью старой доброй фотопластинки и черного покрывала; очевидно, аббатство снимали с Козакенхюгеля: на фотографии были видны крытая галерея, трапезная, огромная церковь, хозяйственные постройки; рядом с аббатством висела выцветшая олеография с изображением любовной парочки, отдыхающей в поле на меже: колосья, васильки, изжелта-коричневая глинистая дорога, пересохшая от зноя; шаловливая деревенская красotka щекочет соломинкой за ухом своего ухажера, голова которого покоится у нее на коленях.

«Поймите меня правильно, господин капитан, мы бы очень хотели знать, почему вы это сделали, ясно? Разумеется, нам известен приказ о выжженной земле... не оставлять врагу ничего, кроме развалин и трупов... не правда ли? Но я не думаю, что вы сделали это в порядке выполнения приказа, простите, но вы слишком... интеллигентны для этого. Почему же, почему вы взорвали аббатство? Оно было в своем роде культурно-историческим памятником перво-

степенного значения; сейчас военные действия в этом районе прекращены, и вы находитесь у нас в плену, так что вам навряд ли удастся рассказать своим о наших колебаниях, поэтому я могу признаться, что наш командующий скорее пошел бы на двух- или трехдневную проволочку, на замедление темпа наступления, чем согласился бы хоть пальцем тронуть аббатство. Почему же вы в таком случае взорвали его? Ведь и в тактическом и в стратегическом отношениях это было явной бессмыслицей. Вы не только не помешали нашему наступлению, напротив, вы ему содействовали. Хотите закурить?»

Сигарета «Виргиния» была приятной на вкус — ароматной и крепкой.

«Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Пожалуйста, скажите хоть слово, я вижу, мы почти однолетки, вам двадцать девять, мне двадцать семь. Я хотел бы вас понять. А может, вы не желаете говорить, потому что боитесь последствий — с нашей стороны или со стороны своих соотечественников?»

Нет, просто если бы Роберт попытался облечь свои мысли в слова, они перестали бы соответствовать истине, а если бы эти слова занесли в протоколы, они и вовсе потеряли бы всякое сходство с правдой. Как мог он сказать, что ждал этого момента пять с половиной лет войны, ждал, когда аббатство, словно по мановению волшебного жезла, станет его добычей; он хотел воздвигнуть памятник из праха и развалин тем, кто не представлял собой «культурно-исторической ценности», тем, кого никто не щадил: Эдит, убитой осколком во время бомбежки; Ферди, которому за покушение был вынесен «законный» приговор; мальчику, бросавшему крошечные записочки в почтовый ящик; бесследно исчезнувшему отцу Шреллы; самому Шрелле, обреченному жить вдаль от страны Гёльдерлина; Гролю — кельнеру из «Якоря», и тысячам юношей, которые умерли с песней *«Дрожат дряхлые кости»*; за них ни у кого не потребовали отчета, ни у кого из тех людей, кто не научил этих юношей ничему лучшему; в распоряжении Роберта были динамит и несколько формул, с их помощью он воздвигал свои «памятники»; у него под началом была команда подрывников, славившаяся своей исполнительностью: Шрит, Хохбрет, Кандерс.

«Нам доподлинно известно, что вы не могли принимать всерьез своего начальника Отто Кёстерса; наши армейские психиатры единодушно признали его сумасшедшим... а вы даже не представляете, как трудно добиться единодушия среди наших армейских психиатров, — так вот, они признали генерала Кёстерса сумасшедшим, человеком, который не несет ответственности за свои поступки, таким образом, господин капитан, вся ответственность за взрыв падает на вас, ведь вы, бесспорно, не сумасшедший и... должен признаться, вы сильно скомпрометированы показаниями ваших же коллег. Я не намерен спрашивать о ваших политических взглядах, я привык к торжественным заверениям в полной невинности, честно говоря, они уже успели мне приесться; как-то я сказал своим товарищам: в этой чудесной стране найдется не больше пяти, шести,

на худой конец, девяти виновных, и нам невольно придется спросить себя: против кого же, собственно говоря, велась эта война, неужели против одних только рассудительных, симпатичных, интеллигентных, я бы сказал даже сверхинтеллигентных, людей... так, пожалуйста, ответьте на мой вопрос! Зачем, зачем вы это сделали?»

Там, где сидел когда-то американский офицер, молодая девушка ела биточки и, хихикая, прихлебывала пиво маленькими глотками; на горизонте виднелась темно-серая стройная башня Святого Северина; она уцелела.

Возможно, Роберт должен был сказать, что уважение к культурно-историческим памятникам кажется ему таким же умилительным, как и та ошибка, в которую впали американцы и англичане, считавшие, что они встретят одних лишь извергов, а не симпатичных и рассудительных людей. Он воздвиг памятник Эдит и Ферди, Шрелле и его отцу, Гролю и мальчику, который бросал в почтовый ящик его записки, памятник поляку Антону, поднявшему руку на Вакеру и убитому за это, памятник тысячам юношей, которые пели *«Дрожат дряхлые кости»*, потому что их не научили ничему лучшему, памятник овцам, которых никто не пас.

Если его дочь Рут намерена поспеть на поезд, она пробегает сейчас мимо портала Святого Северина, направляясь к вокзалу; на темных волосах Рут — зеленая шапочка, она в розовом джемпере, разгоряченная и счастливая; ведь ей предстоит встреча с отцом, братом и дедушкой, поездка в аббатство Святого Антония, где они выпьют кофе перед большим семейным торжеством, назначенным на вечер.

Старик стоял в тени у здания вокзала и изучал расписание поездов; его худое лицо раскраснелось; отец был неизменно любезен, щедр и приветлив, вот уж кто никогда не принимал *«причастия буйвола»* и на старости лет не озлобился. Знал ли старик правду об аббатстве? Или еще узнает? А Йозеф, его сын, — сможет ли он ему это объяснить? И все-таки молчать лучше, чем высказывать мысли и чувства, которые занесут в протоколы и покажут психиатрам.

Роберт так и не сумел ничего объяснить любезному молодому человеку, который смотрел на него, качая головой; потом американец подвинул к нему распечатанную пачку сигарет; он взял ее со стола, сказав «спасибо», сунул в карман, а сам снял с груди Железный крест, положил на стол и подвинул к молодому человеку; скатерть в красную и белую клетку слегка смялась на этом месте, но он ее опять разгладил; молодой человек покраснел.

— Да нет, — сказал Роберт, — простите, если это вышло неловко; я не хотел вас обидеть, просто у меня вдруг возникло желание

подарить вам на память Железный крест, на память о человеке, который взорвал аббатство Святого Антония и получил за это орден, взорвал, хотя знал, что его начальник сумасшедший и что взрыв и в тактическом и в стратегическом отношении совершенно бессмыслен. Я с удовольствием возьму сигареты, но, прошу вас, считайте, что мы просто обменялись подарками, ведь мы ровесники.

Быть может, он взорвал аббатство потому, что на празднике солнцеворота десять монахов взобрались на Козакенхюгель и, когда костер разгорелся, затянули песню *«Дрожат дряхлые кости»*, огонь подложил Отто, а он с маленьким сыном на руках стоял тут же; его мальчик, белокурый Йозеф, захлопал в ладоши от радости, любуясь ярким пламенем; рядом с ним стояла Эдит, сжимая его правую руку; быть может, он взорвал аббатство также и потому, что Отто никогда не был ему чужим в этом мире, где одно движение руки стоит человеку жизни; вокруг костра, зажженного в честь солнцеворота, толпилась деревенская молодежь из Додрингена, Шаклингена, Кисслингена и Денклингена; костер бросал диковинные отсветы на разгоряченные лица парней и девушек; Отто выпала честь зажечь этот костер, и все вокруг запели то же, что запел почтенный монах, вонзивший шпоры в бока своей почтенной крестьянской лошади: *«Дрожат дряхлые кости»*. Молодежь с факелами в руках, горланя песню, спустилась с холма; возможно, он должен был сказать американскому офицеру, что взорвал аббатство потому, что монахи не следовали заповеди *«паси овец Моих»*, и еще объяснить ему, что он не чувствует ни малейшего раскаяния; но вслух он произнес только:

— Быть может, это была всего лишь шутка, игра.

— Удивительные шутки, удивительные игры. Ведь вы — архитектор?

— Нет, я занимаюсь статикой.

— Пусть так, особой разницы я не вижу.

— Взрыв, — сказал Роберт, — нечто противоположное статике. Так сказать, ее обратная величина.

— Извините, — прервал его молодой человек, — я всегда был слаб в точных науках.

— А мне они всегда доставляли величайшее удовольствие.

— Ваше дело начинает интересоваться меня уже не по служебной линии. Как понимать ваши слова о любви к точным наукам, значит ли это, что взрыв представлял для вас интерес как для специалиста?

— Весьма возможно. Разумеется, архитектору небезынтересно знать, какие силы требуются для того, чтобы парализовать действие статических законов. Согласитесь, взрыв был первоклассный.

— Неужели вы всерьез утверждаете, что здесь сыграл свою роль, так сказать, чисто абстрактный интерес к взрывам?

— Да.

— По-моему, я все же не вправе пренебречь обычным допросом; обращаю ваше внимание на то, что ложные показания давать бесполезно; в нашем распоряжении вся необходимая документация, мы всегда можем проверить ваши слова.

Только в эту секунду Роберт вспомнил, что аббатство тридцать пять лет назад построил его отец; когда-то ему так часто повторяли эту истину, так упорно ее вдавливали, что он вообще перестал ее воспринимать. Но сейчас Роберту стало страшно, как бы молодой человек не докопался до нее и не подумал, что он нашел правильное объяснение взрыву — «отцовский комплекс». Наверное, лучше всего было бы сказать молодому человеку: я взорвал потому, что они «не пасли овец Его». Тем самым у офицера появилось бы веское основание считать Роберта сумасшедшим. Пока молодой человек задавал ему вопросы, на которые он, не задумываясь, отвечал «нет», Роберт продолжал смотреть в окно на стройную башню Святого Северина, как на ускользнувшую от него добычу.

Девушка отодвинула от себя грязную тарелку и взяла тарелку кавалера; в ту минуту, когда она левой рукой ставила его тарелку на свою, она держала обе вилки в правой руке, а потом положила их на верхнюю тарелку, после чего пожала освободившейся правой рукой локоть юноши и, улыбнувшись, посмотрела ему в глаза.

— Значит, вы не состояли ни в какой организации? Любите Гёльдерлина? Хорошо. Завтра я, может быть, вызову вас опять. *«И сострадав, сердце всевышнего твердым останется».*

Когда отец появился в зале, Роберт покраснел, он тут же подошел к старику, взял у него из рук тяжелую шляпу и сказал:

— Я забыл поздравить тебя с днем рождения, отец. Извини. Я заказал для тебя пиво, надеюсь, оно еще не очень нагрелось.

— Спасибо,— сказал отец.— Спасибо за поздравление; насчет пива не беспокойся, я вовсе не такой уж любитель холодного пива.

Отец положил руку ему на плечо, и Роберт снова покраснел, вспомнив о том интимном жесте, которым они обменялись в аллее у лечебницы; когда они улавливались о встрече на вокзале в Денклингене, он вдруг ощутил потребность положить руку на плечо отца, и отец сделал то же самое.

— Иди сюда,— сказал Роберт,— сядем за столик, до поезда еще двадцать пять минут.

Они подняли кружки, кивнули друг другу и выпили.

— Хочешь сигару, отец?

— Нет, спасибо. А знаешь ли ты, между прочим, что за последние пятьдесят лет расписание поездов почти не изменилось? Даже таблички, где обозначены часы и минуты, остались прежние, только эмаль на некоторых чуточку облупилась.

— Здесь все как прежде: стулья, столы, картины,— сказал Роберт,— все как в те погожие летние вечера, когда мы пешком приходили сюда из Кисслингена и ждали здесь поезда.

— Да,— ответил отец,— здесь ничего не изменилось. Ты звонил Рут, она придет? Я ее так давно не видел.

— Конечно, придет, надо полагать, она уже сидит в вагоне.

— В Кисслингене мы будем в половине пятого или немного позже; как раз успеем выпить кофе и не спеша вернуться домой к семи. Вы ведь придете на мой день рождения?

— Ну разумеется, отец, как ты можешь сомневаться?

— Да нет, я просто подумал, не отменить ли праздник, не отказаться ли от него... хотя, может быть, этого не стоит делать из-за детей, и вообще я ведь так долго готовился к этому дню.

Старик опустил глаза на скатерть в красную и белую клетку, на которой он описывал круги своей пивной кружкой; Роберта поразила гладкая кожа на руках отца; у старика были руки невинного младенца. Отец поднял глаза и посмотрел Роберту в лицо.

— Я думал о Рут и о Йозефе; ты ведь знаешь, что у Йозефа есть девушка?

— Нет, не знаю.

Старик опять опустил глаза и снова начал водить по скатерти кружкой.

— Когда-то я надеялся, что обе мои здешние усадьбы станут для вас чем-то вроде отчего дома, но все вы предпочитали жить в городе, даже Эдит... только Йозеф, кажется, воплотит мою мечту в жизнь. Странно, почему все считают, что он похож на Эдит и ровно ничего не унаследовал от нашей семьи. Мальчик так похож на Генриха, что иногда я просто пугаюсь; вылитый Генрих, таким бы он стал с годами... Ты помнишь Генриха?

*Нашу собаку звали Бром, и мне дали подержать вожжи, они были черные, кожаные, и кожа потрескалась по краям; хочу ружье, хочу ружье; Гинденбург.*

— Да, помню.

— После смерти Генриха усадьба, которую я ему подарил, снова вернулась ко мне, кому мне подарить ее теперь? Йозефу или Рут? А может, тебе? Ты хотел бы ее получить? Ты хотел бы иметь коров и пастбища, центрифуги и корморезки, тракторы и сеноворошилки? Или, может, лучше передать все это добро монастырю? Обе усадьбы я купил на свой первый гонорар; когда я строил аббатство, мне было всего двадцать девять лет, ты даже не можешь себе представить, что значило для молодого архитектора получить такой заказ. Скандал! Сенсация! Но я езжу туда так часто, не только чтобы представить себе будущее, которое уже давным-давно стало прошлым. Когда-то я мечтал сделаться на старости лет чем-то вроде крестьянина. Но из этого ничего не вышло, я просто старый дурак, который играет в жмурки с собственной женой; мы попеременно закрываем глаза и мысленно меняем дату, как меняют пластинки в проекционных фонарях, с помощью которых на стене показывают разные картины; вот, пожалуйста, тысяча девятьсот двадцать восьмой год — мать держит за руку двух красивых сыновей, одному из них тринадцать, другому одиннадцать,

рядом стоит отец с сигарой во рту, он улыбается; на заднем плане виднеется не то Эйфелева башня, не то замок Святого Ангела, не то Бранденбургские ворота; выбери себе сам декорацию по вкусу; быть может, это берег моря в Остенде, или башня Святого Северина, или же киоск, где продается лимонад, в Блессенфельдском парке. Да нет же, разумеется, на заднем плане — аббатство Святого Антония; в нашем фотоальбоме оно запечатлено во все времена года, меняется только одежда людей в соответствии с модой: на матери шляпа то с большими полями, то с маленькими; сама она то стриженная, то с высокой прической, иногда на ней узкая юбка, иногда широкая; есть карточка, где младшему из вас три года, а старшему пять, на другой — младшему пять, а старшему семь; потом в альбоме появляется незнакомка: светловолосая молодая женщина с ребенком на руках, второй ребенок стоит рядом с ней, одному ребенку годик, другому три года; знаешь ли ты, что я любил Эдит, как навряд ли полюбил бы родную дочь; я никак не мог себе представить, что у нее были отец, мать и брат. Она казалась мне вестницей бога; пока Эдит жила у нас в доме, я мог опять произносить его имя вслух и молиться без краски стыда; какую весть она принесла оттуда, что сказала тебе, как учила мстить за агнцев? Надеюсь, ты точно выполнил веление божье, не посчитался ни с одним из тех ложных аргументов, с которыми всегда считался я, надеюсь, ты не стал цепляться за чувство собственного превосходства, сохраняя его на льду иронии, как это делал я? У Эдит на самом деле был брат? Этот брат и сейчас жив? Он действительно существует?

Старик водил кружкой по скатерти, уставившись на красные и белые клетки; не поднимая головы, он спросил:

— Скажи, ее брат действительно существует? Ведь он был твоим другом, я как-то видел его, я стоял у окна в спальне — он шел по двору к тебе; с тех пор я не могу его забыть, я часто думаю о нем, хотя видел его всего несколько секунд; я испугался, словно он был грозным ангелом. Он действительно существует?

— Да.

— Он жив?

— Да. Ты его боишься?

— Да. И тебя тоже. Неужели ты этого не знал? Я не спрашиваю, какую весть тебе принесла Эдит, скажи только — ты исполнил ее наказ?

— Да.

— Хорошо. Ты удивлен тем, что я боялся тебя и еще до сих пор немножко побаиваюсь. Ваши детские заговоры смешили меня, но я перестал смеяться, когда узнал, что они убили того мальчика; он мог быть братом Эдит; только потом я понял, что его казнь была с их стороны чуть ли не гуманным поступком, ведь Ферди все-таки бросил бомбу, по его вине учитель гимнастики получил ожоги; ну а что сделал мальчик, который опускал в наш почтовый ящик твои записки, или поляк, осмелившийся всего лишь поднять

руку на того же учителя гимнастики... достаточно было не вовремя моргнуть, достаточно было иметь волосы не того цвета, как надо, или нос не той формы, как надо... впрочем, и этого не требовалось — им вполне хватало метрического свидетельства отца или метрики бабушки; долгие годы мне помогал смех, но потом все кончилось, он перестал действовать; лед растаял, Роберт, моя ирония скисла, и я выбросил ее, как выбрасывают старый хлам, казавшийся в давние времена очень ценным; я всегда считал, что люблю и понимаю твою мать... но только в то время я ее по-настоящему понял и полюбил; только в то время я понял и полюбил вас, хотя осознал это позднее; когда война кончилась, я оказался в чести, меня назначили уполномоченным по строительству всего округа; наконец-то настал мир, думал я, все миновало, началась новая жизнь... но как-то в один прекрасный день английский комендант решил принести мне, так сказать, свои извинения, он извинялся за то, что англичане разбомбили Гонориускирхе и уничтожили скульптурную группу «Распятие», созданную в двенадцатом веке, комендант извинялся не за Эдит, а за скульптурную группу двенадцатого века, "Sorry"<sup>1</sup>, — говорил он; впервые за десять лет я снова рассмеялся, но это был недобрый смех, Роберт... я отказался от своего поста. Уполномоченный по строительству! К чему это? Ведь я охотно пожертвовал бы всеми скульптурными группами всех веков, чтобы еще хоть раз увидеть улыбку Эдит, ощутить пожатие ее руки; что значит для меня изображение господина в сравнении с подлинной улыбкой его вестницы? Я бы пожертвовал Святым Северином ради мальчика, который доставлял нам твои записки, а ведь я его никогда не видел и так и не узнал его имени, я отдал бы за него Святой Северин, хотя понимаю, что это смехотворная цена, так же как медаль — смехотворная цена за спасение человеческой жизни. Встречал ли ты у кого-нибудь еще улыбку Эдит, улыбку Ферди или улыбку подмастерья столяра? Пусть бы слабый отблеск их улыбки? Ах, Роберт, Роберт!

Старик поставил пивную кружку и облокотился на стол.

— Видел ли ты когда-нибудь потом такую улыбку? — пробормотал он, закрывая лицо руками.

— Да, видел, — сказал Роберт, — так улыбается бой в отеле, его зовут Гуго... Как-нибудь я тебе его покажу.

— Я подарю этому мальчику усадьбу, которую не взял Генрих; напиши его имя и адрес на подставке для пива; на этих картонных кружочках пишутся самые важные вещи; сообщи мне также, если ты что-нибудь услышишь о брате Эдит. Он жив?

— Жив. Ты все еще боишься Шреллы?

— Да. Страшнее всего то, что в нем нет ничего, вызывающего жалость; глядя, как он шел по двору, я сразу понял, что это сильный человек и что его поступки определяются отнюдь не теми причинами, которые так важны для всех остальных людей; какая разница, беден он или богат, уродлив или красив, колотила

---

<sup>1</sup> Сожалею (англ.).



ли его мать в детстве или *не* колотила. Других людей все эти причины толкают в ту или иную сторону, они начинают либо строить церкви, либо, скажем, убивать женщин, становятся либо хорошими учителями, либо плохими органистами. Но поступки Шреллы, я это сразу понял, нельзя было объяснить ни одной из этих причин; в те времена я еще не научился смеяться, но в нем я не нашел ничего, не единого пунктика, который мог бы вызвать смех; и мне стало страшно, казалось, по двору прошел грозный ангел, посланец бога, который хочет взять тебя в залог; он так и сделал — взял тебя заложником; в Шрелле не было ничего, вызывающего жалость; даже после того, как я узнал, что его избивали и хотели уничтожить, он не пробудил во мне жалости.

— Господин советник, я только сейчас узнал вас; рад, что вы в добром здравии; много воды утекло с тех пор, как вы приходили сюда в последний раз.

— Муль, это вы? Ваша матушка еще жива?

— Нет, господин советник, она ушла от нас. Похороны были грандиозные. Мать прожила хорошую жизнь, у нее было семеро детей, тридцать шесть внуков и одиннадцать правнуков, она хорошо прожила свою жизнь. Окажите мне честь, господа, выпейте в память моей покойной матери.

— С удовольствием, милый Муль, она была превосходная женщина.

Хозяин подошел к стойке и наполнил кружки, старик встал, вслед за ним поднялся и Роберт; на вокзальных часах было всего десять минут пятого; у стойки стояли двое крестьян, они со скужающим видом запихивали себе в рот биточки, обмазанные горчицей, и, удовлетворенно побрякивая, пили пиво; хозяин вернулся к столику, его лицо покраснело, а глаза увлажнились; составив пивные кружки с подноса на стол, он сам взял одну из них.

— В память вашей матушки, Муль,— сказал старый Фемель. Они подняли кружки, кивнули друг другу и, осушив их, поставили обратно.

— А знаете ли вы,— спросил старик,— что пятьдесят лет назад ваша мать предоставила мне кредит; я явился сюда из Кисслингена, умирая от жажды и голода; железнодорожный путь ремонтировали, но в то время мне еще ничего не стоило отмахать четыре километра пешком; за ваше здоровье, Муль, и за вашу матушку. Это — мой сын, вы с ним не знакомы?

— Фемель... очень приятно...

— Муль... очень приятно...

— Вас здесь знает каждый ребенок, господин советник, все знают, что вы построили аббатство, а старушки еще помнят немало занятных историй про вас, они могут рассказать, как вы заказывали для каменщиков пиво целыми вагонами, как плясали на празднике по случаю окончания строительства. Пью за ваше здоровье, господин советник!

Они выпили стоя. Хозяин направился обратно к стойке, мимоходом собрал грязные тарелки со столика, где сидела парочка, и задвинул их в окошко на кухню; молодой человек начал с ним рассчитываться, Роберт все еще стоял с пустой кружкой в руках и пристально смотрел на Муля. Отец потянул его за пиджак.

— Садись,— сказал старик,— садись, в нашем распоряжении целых десять минут. Мули — прекрасная семья, хорошие люди.

— Ты не боишься их, отец?

Старик без тени улыбки посмотрел в глаза сыну; на его худом лице все еще не было морщин.

— Эти люди,— сказал Роберт,— мучали Гуго, может быть, один из них был палачом Ферди.

— Пока тебя здесь не было и мы ждали от тебя весточки, я боялся всех и каждого... но бояться Муля? Теперь? Ты его боишься?

— При виде нового человека я всегда спрашиваю себя, хотел бы я оказаться в его власти, и знаешь, на свете совсем немного людей, про которых я мог бы сказать: «Да, хотел бы».

— Ты был во власти брата Эдит?

— Нет. Просто мы жили с ним вместе в Голландии, в одной комнате, и делили все, что у нас было. Полдня мы играли в бильярд, другую половину учились, он — немецкому языку, я — математике; я не был в его власти, но в любое время согласился бы оказаться... И в твоей власти тоже.— Роберт вынул изо рта сигарету.— Я бы с удовольствием подарил тебе что-нибудь в день твоего восьмидесятилетия... я хотел бы тебе сказать... может, ты и сам догадываешься, что именно я хотел бы тебе сказать?

— Догадываюсь.— Старик положил руку на руку сына.— Можешь не говорить.

Ради тебя я с удовольствием пролил бы несколько слезинок — слез раскаяния, но не могу заставить себя плакать; башня Святого Северина все еще кажется мне добычей, которая от меня ускользнула; жаль, что аббатство было детищем твоей юности, твоей большой судьбой, твоим счастливым жребием; ты его хорошо построил, это было прочное сооружение из камня, с точки зрения статики просто великолепное; мне пришлось затребовать два грузовика взрывчатки; я обошел все аббатство и повсюду начертил мелом свои формулы и цифры: на стенах, на колоннах, на опорах свода; я начертил их на большой картине тайной вечери между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра; ведь я знал аббатство как свои пять пальцев; ты мне часто рассказывал о нем и в ту пору, когда я был совсем ребенком, и в ту пору, когда подрос, и после, когда я стал юношей; я чертил на стенах формулы, а рядом со мной семенил настоятель, единственный не покинувший аббатства, он взывал к моему разуму и к моей набожности; на счастье, это был новый настоятель, для которого я был чужой. Тщетно апеллировал священник к моей совести. Хорошо, что он не знал, как я приезжал по субботам к ним в гости, ел форель и мед, не знал, что я был сыном их архитектора и уплетал когда-то деревенский

хлеб с маслом; он смотрел на меня, как на безумного, но я прошептал ему: «*Дрожат дряхлые кости*»; мне тогда было двадцать девять лет, как раз столько же, сколько было тебе во время строительства аббатства, втайне я уже поджидал новую добычу, ту, что вырисовывалась вдаль на горизонте,— серую и стройную башню Святого Северина, но я попал в плен, и именно здесь, на вокзале в Денклингене, за тем столиком, где сейчас никого нет, меня допрашивал молодой офицер.

— О чем ты думаешь? — спросил старик.

— Об аббатстве Святого Антония, я там так давно не был.

— Ты рад, что едешь туда?

— Я рад, что встречу с Йозефом, мы очень давно не виделись.

— Сказать по чести, я им горжусь,— начал старик,— он так непринужденно и непосредственно держит себя; когда-нибудь он станет дельным архитектором, правда, он, пожалуй, чересчур строг с рабочими и слишком нетерпелив, но разве можно ожидать терпения от двадцатидвухлетнего юноши? Сейчас его подгоняют сроки, монахам очень хочется отслужить предРождественские мессы уже в новой церкви; разумеется, на освящение пригласят всех нас.

— А настоятель у них все тот же?

— Кто?

— Отец Грегор?

— Нет, он умер в сорок седьмом году; отец Грегор не смог перенести взрыва аббатства.

— А ты, ты смог это перенести?

— В первый момент, когда мне сообщили, что аббатство разрушено, я очень огорчился; потом я поехал туда, увидел развалины, увидел расстроенных монахов, которые собирались создать специальную комиссию для розыска виновного, и отсоветовал им это, я не хотел мстить за уничтоженные здания, я боялся, что они таки найдут виновного и он начнет извиняться передо мной; я с ужасом вспомнил англичан, слово “sorry” все еще звучало у меня в ушах; в конце концов, любое здание можно отстроить заново. Да, Роберт, я это перенес. Не знаю, поверишь ли ты, но я никогда не дорожил зданиями, которые проектировал и строил; на бумаге они мне нравились, я работал над ними, можно сказать, с увлечением, но я не был художником, понимаешь, и не обольщался на этот счет; когда они предложили мне восстанавливать аббатство, я разыскал старые чертежи. Твоему сыну работа в аббатстве дает великолепную возможность применить свои силы на практике, он станет хорошим организатором, научится обуздывать свое нетерпение. Разве нам еще не пора?

— Осталось четыре минуты, отец. Пожалуй, можно уже выйти на перрон.

Роберт встал, кивнул хозяину и полез в карман за бумажником, но Муль вышел из-за стойки и, минуя Роберта, подошел к старому Фемелю, улыбнулся, положил ему руку на плечо.

— Нет, нет, господин советник...— сказал он,— на этот раз

вы мои гости, тут уж я не отступлюсь, это я делаю в память моей матушки.

На улице все еще было тепло, белые клочья паровозного дыма развевались уже над Додрингеном.

— У тебя есть билеты? — спросил старик.

— Да,— сказал Роберт, глядя на поезд, который спускался с возвышенности позади Додрингена; казалось, он летит на них прямо со светло-голубого неба; поезд был темный, старый и трогательный; из служебного помещения вышел начальник станции, на его лице играла праздничная улыбка.

— Сюда, отец, сюда! — закричала Рут, махая рукой. На площадке вагона мелькнула ее зеленая шапочка и розовый пух джемпера; Рут схватила дедушку за руки, помогла ему подняться на ступеньки, обняла старика, осторожно толкнула его к открытой двери купе, потом потянула отца, поцеловала его в щеку.

— Я страшно рада,— сказала Рут,— правда, страшно рада и встрече с аббатством, и сегодняшнему вечеру в городе.

Начальник станции засвистел и подал знак к отправлению.

## 7

Когда они подошли к окошку, Неттлингер вынул изо рта сигару и ободряюще кивнул Шрелле; окошко открыли изнутри, надзиратель с листком бумаги в руках высунул голову и спросил:

— Вы заключенный Шрелла?

— Да,— сказал Шрелла.

Надзиратель выкрикивал названия предметов в той последовательности, в какой вынимал их из ящика и клал перед Шреллой.

— Карманные часы из нержавеющей стали, без цепочки.

— Кошелек, черный кожаный, содержимое — пять английских шиллингов, тридцать бельгийских франков, десять немецких марок и восемьдесят пфеннигов.

— Галстук, зеленого цвета.

— Шариковая ручка, без марки, цвет — серый.

— Два носовых платка — белых.

— Плащ непромокаемый, с поясом.

— Шляпа черного цвета.

— Безопасная бритва марки «Жиллет».

— Шесть сигарет «Бельга».

— Рубашка, нижнее белье, мыло и зубная щетка были при вас, правда? Распишитесь, пожалуйста, здесь, засвидетельствуйте, что личное имущество возвращено вам полностью.

Шрелла надел плащ, положил в карман возвращенные ему вещи и подписал бумагу, где была проставлена дата: «6 сентября 1958 года, 15 ч. 30 м.».

— Все в порядке,— сказал надзиратель и захлопнул окошко.

Неттлингер снова сунул сигарету в рот и дотронулся до плеча Шреллы.

— Пошли,— сказал он,— выход здесь, или ты опять хочешь в кутузку? Может, ты все же завяжешь галстук?

Шрелла взял сигарету, поправил очки, поднял воротничок рубашки и надел галстук; он вздрогнул, когда Неттлингер внезапно поднес ему к носу зажигалку.

— Да,— сказал Неттлингер,— в этом все заключенные одинаковы, кто бы они ни были — знатные или незнатные, виновные или невинные, бедные или богатые, политические или уголовники,— первым делом они хотят закурить.

Шрелла сделал глубокую затяжку; завязывая галстук и опуская воротничок рубашки, он глядел поверх очков на Неттлингера.

— У тебя, видимо, в этом вопросе большой опыт, верно?

— А у тебя нет? — спросил Неттлингер.— Пошли. От прощальных напутствий начальника тюрьмы я тебя, к сожалению, не могу избавить.

Шрелла надел шляпу, вынул изо рта сигарету и последовал за Неттлингером, открывшим дверь во двор. Начальник тюрьмы стоял у окошка, перед которым выстроилась длинная очередь, так как здесь выдавались разрешения на воскресные свидания; это был крупный мужчина, одетый не слишком элегантно, но вполне солидно; его движения были подчеркнута штатскими.

— Надеюсь,— сказал начальник Неттлингеру, направляясь к ним,— все окончилось к общему удовольствию, быстро и корректно.

— Спасибо,— поблагодарил Неттлингер,— все действительно уладилось в два счета.

— Ну и хорошо,— сказал начальник и, повернувшись к Шрелле, продолжал: — Не обессудьте, если я скажу вам несколько слов на прощанье, хотя вы и были всего один-единственный день моим...— он засмеялся,— подопечным и по ошибке попали вместо следственной тюрьмы в исправительную. Видите ли,— начал он, указывая на внутренние ворота тюрьмы,— за этими воротами вас ждут вторые ворота, а за теми воротами нечто прекрасное, то, что является для всех нас величайшим благом, а именно — свобода. Не знаю, было ли обоснованным подозрение, которое лежит на вас, во всяком случае...— он опять засмеялся,— в моих гостеприимных стенах вам пришлось познакомиться с тем, что является противоположностью свободы. Так сумеете же правильно использовать свою свободу. Правда, все мы только узники, до той поры, пока наша душа не освободится от телесной оболочки и не вознесется к создателю, но быть узником в моих гостеприимных стенах — это не фигуральное понятие. Так вот, господин Шрелла, я отпускаю вас на свободу...

Шрелла в смущении протянул ему руку, но быстро отдернул ее; по лицу начальника тюрьмы он понял, что рукопожатие не входило в процедуру прощания; Шрелла смущенно молчал, переложил сигарету из правой руки в левую и, прищурившись, поглядел на Неттлингера.

Тюремные стены и клочок неба над этим тюремным двором — вот последнее, что видели глаза Ферди, а голос начальника был,

возможно, последним человеческим голосом, который он слышал; и все происходило на том же самом дворе, таком тесном, что аромат неттлингеровской сигары заполнил его целиком; принявшись, начальник подумал: о боже, в сигарах он всегда знал толк, надо ему отдать справедливость.

— Можно было обойтись и без напутственной речи. Ну, спасибо и до свидания,— заявил Неттлингер, не вынимая изо рта сигары.

Он взял Шреллу за плечи и подтолкнул его к внутренним воротам тюрьмы, которые в этот момент открыли перед ними, потом он медленно повел Шреллу к наружным воротам; Шрелла показал документы тюремному служителю, тот внимательно сверил фотографию, кивнул и открыл ворота.

— Ну, вот она — свобода,— смеясь, произнес Неттлингер.— Там стоит моя машина. Скажи, куда тебя отвезти.

Шрелла перешел через улицу вместе с Неттлингером, но, когда шофер распахнул перед ним дверцу машины, он вдруг заколебался.

— Садись, садись,— сказал Неттлингер.

Шрелла снял шляпу, сел в машину, откинулся назад и посмотрел на Неттлингера, который уселся рядом с ним.

— Куда тебя отвезти?

— На вокзал,— сказал Шрелла.

— У тебя там багаж?

— Нет.

— Ты что же, собираешься уже покинуть наш гостеприимный город? — спросил Неттлингер. Наклонившись вперед, он крикнул шоферу: — На Главный вокзал.

— Нет,— сказал Шрелла,— пока что я еще не собираюсь покидать этот гостеприимный город. Ты разыскал Роберта?

— Не удалось,— ответил Неттлингер,— он неуловим. Целый день я пытался с ним связаться, но он уклонился от встречи со мной; я уже почти настиг его в отеле «Принц Генрих», но он успел скрыться через боковую дверь; из-за него мне пришлось пережить в высшей степени неприятные минуты.

— Ты и прежде с ним не встречался?

— Нет,— сказал Неттлингер,— ни разу; он ведет очень замкнутый образ жизни.

Машина остановилась у светофора, Шрелла снял очки, протер их носовым платком и подвинулся ближе к окну.

— Наверное,— сказал Неттлингер,— ты испытываешь очень странное чувство, снова оказавшись в Германии после столь долгой разлуки, да еще при таких обстоятельствах,— ты ее просто не узнаешь.

— Нет, я ее узнаю,— сказал Шрелла,— приблизительно так, как узнаешь женщину, которую любил совсем молодой, а увидел лет через двадцать; как водится, она здорово растолстела. У нее сильное ожирение; очевидно, ее муж человек не только состоятельный, но и преуспевающий: он купил ей виллу в пригороде, машину,

дорогие кольца; после такой встречи на старую любовь неизбежно взираешь с иронией.

— По правде говоря, картина, которую ты нарисовал, довольно-таки неудачна,— сказал Неттлингер.

— Это только одна картина,— возразил Шрелла,— а если у тебя их наберется тысячи три, то, может быть, ты познаешь маленькую частичку истины.

— Сомневаюсь, что у тебя правильный взгляд на вещи, ведь ты пробыл в стране всего двадцать четыре часа, из них двадцать три — за решеткой.

— Ты не представляешь себе, как много можно узнать о стране, сидя за решеткой; ведь чаще всего в ваши тюрьмы попадают за обман; самообман, к сожалению, уголовно не наказуем; может, тебе еще не известно, что из последних двадцати двух лет я четыре года просидел в тюрьме.

Их машина медленно двигалась вперед в длинном потоке других машин, скопившихся у светофора.

— Нет,— сказал Неттлингер,— это мне не известно. В Голландии?

— Да,— сказал Шрелла,— и в Англии.

— За какие же такие преступления?

— За действия в состоянии аффекта, вызванного любовной тоской; но я сражался вовсе не с ветряными мельницами, а с реально существующими явлениями.

— Нельзя ли узнать подробности? — спросил Неттлингер.

— Нет,— сказал Шрелла,— ты бы все равно ничего не понял; мои действия ты воспринял бы как своего рода комплимент. Я угрожал одному голландскому политику, который заявил, что надо уничтожить всех немцев, это был очень популярный политик; когда немцы оккупировали Голландию, они выпустили меня из тюрьмы — я показался им чем-то вроде мученика за Германию, но потом они обнаружили мою фамилию в списке преследуемых лиц, тогда я удрал от их любви в Англию и там угрожал английскому политику, который также заявил, что всех немцев надо уничтожить, сохранив лишь созданные ими произведения искусства; это был очень популярный политик; впрочем, скоро они меня амнистировали, они считали, что обязаны уважать чувства, которых я вовсе не испытывал, когда угрожал их политику; так людей сперва по ошибке сажают в тюрьму, а потом по ошибке выпускают.

Неттлингер засмеялся.

— Если ты собираешь картины, мне придется прибавить к твоей коллекции еще одну. Как ты отнесешься к такой вот картине... Два школьных товарища... политическая вражда не на жизнь, а на смерть, преследования, допрос, бегство, ненависть до гроба... но вот прошло двадцать два года, и не кто иной, как прежний преследователь, этот злодей, освобождает беглеца, вернувшегося на родину. Разве эта картина не достойна того, чтобы попасть в твою коллекцию?

— Это не картина,— сказал Шрелла,— а история, и недоста-

ток ее в том, что она к тому же еще и правдивая... Но если я переведу эту историю в образно-абстрактный план и соответственно истолкую, ты услышишь мало лестного для себя.

— Может показаться странным,— тихо сказал Неттлингер, вынимая изо рта сигару,— что я ищу у тебя понимания, но поверь, когда я увидел твою фамилию в списке преследуемых лиц, когда я проверил сообщение и узнал, что они действительно арестовали тебя на границе, я, ни секунды не колеблясь, пустил в ход все, чтобы освободить тебя.

— Очень жаль,— сказал Шрелла,— если ты думаешь, что я сомневаюсь в искренности твоих побуждений и чувств. Даже в твоём раскаянии я и то не сомневаюсь. Но в каждой картине — а ты просил рассматривать эту историю как картину для моей коллекции,— в каждой картине есть некая отвлеченная идея, и в данном случае она заключается в той роли, которую ты играл тогда и играешь теперь в моей жизни, эта роль — извини меня — одна и та же, ведь в те времена меня следовало засадить в тюрьму, чтобы обезвредить, а теперь наоборот — выпустить на свободу с той же целью; боюсь, что Роберт, у которого гораздо более отвлеченное мышление, чем у меня, как раз по этой причине и не желает с тобой встречаться. Надеюсь, ты согласишься, что и в те времена я не сомневался в искренности твоих побуждений и чувств; ты меня не понимаешь, да и не старайся понять, ты играл свои роли, не отдавая себе в них отчета, иначе ты был бы циником или преступником, а ты не стал ни тем, ни другим.

— Теперь я и впрямь не понимаю, считать ли это комплиментом или чем-то совсем иным.

— И тем и другим,— сказал Шрелла, смеясь.

— Ты, наверное, не знаешь, что я помогал твоей сестре?

— Ты помогал Эдит?

— Да, Вакера хотел ее арестовать; он каждый раз вносил ее в списки, а я каждый раз вычеркивал.

— Ваши благодеяния,— тихо сказал Шрелла,— пожалуй, еще страшнее ваших злодеяний.

— А вы еще более неумолимы, чем сам господь бог: он прощает грехи, в которых человек раскаивается.

— Да, я не бог и не притязаю ни на божественную мудрость, ни на божественное милосердие.

Покачивая головой, Неттлингер откинулся назад; Шрелла вынул из кармана сигарету, сунул ее в рот и снова испугался, когда Неттлингер неожиданно щелкнул зажигалкой у самого его носа; чистое светло-синее пламя чуть было не опалило ему ресницы. А твоя теперешняя вежливость, подумал он, еще хуже, чем тогдашняя невежливость. С тем же рвением, с каким ты бросал мне прежде в лицо мяч, ты теперь назойливо пристаешь ко мне со своей зажигалкой.

— Когда я могу встретиться с Робертом? — спросил он.

— По-видимому, только в понедельник, мне не удалось выяснить, куда он уехал на воскресенье; его отец и дочь уехали с ним,



может быть, сегодня вечером ты застанешь его дома или же завтра в половине десятого в отеле «Принц Генрих», там он каждый день играет в бильярд от половины десятого до одиннадцати. Надеюсь, в тюрьме было сносно?

— Да,— сказал Шрелла,— со мной обращались вежливо.

— Если тебе понадобятся деньги, скажи мне. С тем, что у тебя есть, не очень-то разгуляешься.

— Думаю, мне хватит до понедельника, а потом у меня будут деньги.

Чем ближе к вокзалу, тем длиннее и гуще становился поток машин. Шрелла попытался было открыть окно, но не сумел справиться с ручкой; перегнувшись через него, Неттлингер опустил стекло.

— Боюсь,— сказал он,— что на улице воздух не чище того, каким мы дышим в машине.

— Спасибо,— поблагодарил Шрелла. Он посмотрел на Неттлингера и переложил сигарету из левой руки в правую, а потом из правой руки в левую.— Послушай,— сказал он,— тот мяч, который тогда забил Роберт... что с ним, собственно говоря, случилось? Он нашелся?.. Помнишь?

— Да,— сказал Неттлингер,— конечно, хорошо помню, ведь о нем было столько толков, они так и не нашли его; в тот день они искали мяч до поздней ночи и на завтра тоже, хотя было воскресенье; они никак не могли успокоиться; позже некоторые утверждали, что Роберт схитрил, он будто бы вовсе не ударил по мячу, а только воспроизвел звук удара и спрятал мяч.

— Но ведь все видели, как мяч летел. Разве нет?

— Ну конечно, этой версии никто не поверил; многие полагали, что мяч упал на повозку, которая стояла во дворе пивоварни; ты, может быть, помнишь, что со двора выехала повозка.

— Она уехала раньше, задолго до того, как Роберт ударил по мячу,— сказал Шрелла.

— Мне кажется, что ты ошибаешься,— возразил Неттлингер.

— Нет-нет,— сказал Шрелла,— я ведь стоял и ждал мяча и внимательно следил за всем; повозка уехала раньше, чем Роберт забил мяч.

— Ну хорошо,— сказал Неттлингер,— во всяком случае, мяч так и не нашелся. Вот и вокзал... Ты в самом деле не хочешь, чтобы я тебе помог?

— Спасибо, мне ничего не надо.

— Позволь мне по крайней мере пригласить тебя победать.

— Хорошо,— сказал Шрелла,— пойдем обедать.

Шофер поддержал дверцу машины, Шрелла вышел первый; засунув руки в карманы, он поджидал Неттлингера, который взял с сиденья свою папку, застегнул пальто и сказал шоферу:

— Пожалуйста, заезжайте за мной к половине шестого в отель «Принц Генрих».

Шофер приложил руку к козырьку фуражки, сел в машину и взялся за руль.

Шрелла по-прежнему носил очки, и плечи у него по-прежнему были вислые, на его губах блуждала все та же странная улыбка, светлые волосы были, как встарь, зачесаны назад — они не поредали от времени, а всего лишь слегка посеребрились; знакомым движением он отер лоб и засунул носовой платок обратно; казалось, Шрелла совсем не изменился, просто он стал старше на несколько лет.

— Зачем ты вернулся? — тихо спросил Неттлингер.

Шрелла посмотрел на него, прищурившись и прикусив нижнюю губу, как всегда смотрел; в правой руке он держал сигарету, в левой — шляпу; он долго не спускал глаз с Неттлингера. Шрелла ждал, тщетно ждал того, к чему стремился уже больше двадцати лет, — ждал ненависти; он всегда мечтал о самой обыкновенной драке, о том, чтобы ударить врага в лицо или дать ему пинка в зад, крикнув: «Свинья, подлая свинья!» Шрелла завидовал людям, способным на простые чувства, но сам он не в силах был ударить в это круглое, смущенно улыбающееся лицо, сам он не в силах был дать Неттлингеру пинка в зад; на школьной лестнице ему подставляли ножку, он летел вниз, и дужка его очков вонзалась в мочку уха; когда он шел домой, его поджидали, затаскивали в парадные и били, его избивали бичом из колючей проволоки, его и Роберта; они допрашивали его; на них лежала вина в смерти Ферди, но они пощадили Эдит и дали бежать Роберту.

Он перевел глаза с Неттлингера на вокзальную площадь, кишмя кишевшую людьми; светило солнце, была субботняя толчея, такси подъезжали и отъезжали, продавцы мороженого выкрикивали свой товар, мальчики из отеля в лиловых livреях тащили чемоданы вслед за постояльцами; Шрелла увидел серый величественный фасад Святого Северина, отель «Принц Генрих», кафе «Кронер» и вздрогнул — Неттлингер кинулся в толпу, размахивая руками и восклицая: «Алло, фройляйн Рут!» — потом он вернулся, покачивая головой.

— Ты видел эту девушку, — спросил он, — в зеленой шапочке и в розовом джемпере? Красивая, на нее все оглядываются... Это дочь Роберта. Я не догнал ее, а то бы она сказала нам, где найти Фемеля. Жаль... Ты ее не видел?

— Нет, — тихо сказал Шрелла, — дочь Эдит?

— Конечно, — подтвердил Неттлингер, — твоя племянница. Черт побери... ну а теперь пошли обедать.

Он пересек вокзальную площадь и пошел по улице к отелю «Принц Генрих»; Шрелла следовал за ним; бой в лиловой livрее толкнул дверь; когда они прошли, дверь бесшумно качнулась еще несколько раз и легла в пазы, обитые войлоком.

— Местечко у окна? — спросил Йохен. — С удовольствием! И чтобы не очень много солнца? Значит, на восточной стороне. Гуго, изволь позаботиться, чтобы гостям приготовили столик на восточной стороне... Не за что...

Чаевым мы всегда рады, марка — это честная кругленькая монетка; чаевые — душа нашей профессии. А ведь, что ни говори,

я победил, мой милый, ты его так и не увидел... Как он сказал: играет ли господин доктор Фемель по воскресеньям в бильярд? Шрелла? Господи! Я и так все знаю, можно не смотреть в красную карточку.

— Боже мой, надеюсь, вы разрешите старику сказать несколько слов, не относящихся к его служебным обязанностям, благо здесь сейчас тихо. Я, господин Шрелла, хорошо знал вашего отца, очень хорошо: он работал у нас год, как раз в те времена, когда отмечался всегерманский спортивный праздник. Неужели вы помните? Ну конечно, вам тогда было уже лет десять-одиннадцать; вот вам моя рука, мне будет очень приятно, если вы ее пожмете, боже мой, надеюсь, вы извините меня за эти чувства, которые, так сказать, не относятся к моим служебным обязанностям; я достаточно стар, чтобы позволить себе такие чувства; ваш отец был серьезный человек и держал себя достойно! Боже мой, он не мирился с хамством, зато с теми, кто не позволял себе хамства, он был тихий как овечка; я не раз вспоминал вашего отца, простите, если я тревожу старые раны; боже избави... я совсем забыл, боже мой, счастье еще, что эти свиньи здесь больше не хозяйничают; впрочем, будьте осторожны, господин Шрелла, будьте осторожны; иногда мне кажется, что они *все же* победили. Будьте осторожны, не доверяйте этой видимости мира и спокойствия... и простите старика за чувства, не относящиеся к его служебным обязанностям... Гуго, посади господ за самый лучший столик на восточной стороне, за самый лучший... Нет, господин Шрелла, по воскресеньям господин доктор Фемель не играет в бильярд, нет, по воскресеньям он к нам не приходит; то-то он обрадуется, вы ведь были друзьями юности и единомышленниками, не правда ли? Не думайте, что у всех людей короткая память. Если он по какой-либо причине все же появится у нас, я сообщу вам, оставьте мне свой адрес; я pošлю вам посыльного, телеграмму, если хотите, позвоню... для наших клиентов мы делаем все.

А Гуго и бровью не повел. Клиентов узнают, только когда им этого хочется. Вот этот ломился в бильярдную!.. Отель хранит секреты гостей... Бич из колючей проволоки... Ему, Гуго, следует остерегаться неуместной фамильярности и ненужных умозаключений; сохранение тайны — знамя профессии. Меню? Пожалуй-ста, господа. Устраивает ли уважаемых господ этот столик? Он на восточной стороне, у окна, солнца, кажется, не слишком много... Отсюда вам будет виден восточный придел Святого Северина, ранний романский стиль, одиннадцатый или двенадцатый век, основатель герцог Генрих Святой, по прозвищу Необузданный. Да, сударь, горячие блюда подаются весь день; все блюда, которые значатся в меню, подаются с двенадцати до двадцати четырех часов... Что я советую выбрать? Ах так, вы желаете отпраздновать встречу? При столь доверительном сообщении можно позволить себе чуть заметную понимающую улыбку... Только не вспоминать...

Шрелла... Неттлингер... Фемель; никаких умозаключений... Шрамы на спине... Да, официант сейчас подойдет к вам и примет заказ.

— Ты тоже выпьешь рюмочку «мартини»? — спросил Неттлингер.

— Да, пожалуйста,— сказал Шрелла. Он отдал бою пальто и шляпу, пригладил рукой волосы и сел; в зале было немного посетителей, только в дальнем углу тихо ворковала какая-то парочка, журчащий смех вторил нежному звону бокалов; за тем столиком пили шампанское.

Шрелла взял рюмку «мартини» с подноса, который держал перед ним кельнер, и подождал, пока Неттлингер тоже возьмет свою; он поднял рюмку, кивнул Неттлингеру и выпил. Неттлингер как-то некрасиво состарился; в памяти Шреллы он оставался ослепительным светловолосым юношей — даже в жесткой линии его рта было что-то располагающее, он легко брал метр шестьдесят семь высоты, пробежал стометровку за одиннадцать и пять десятых секунды — тип жестокого, но обаятельного победителя. Эти люди, думал Шрелла, видно, не умели радоваться ничему, даже своим победам, к тому же они были плохо воспитаны, питались не так, как нужно, не понимали, что такое выдержка; вероятно, Неттлингер слишком много жрал, он уже почти облысел, в его влажных глазах по-стариковски сентиментальное выражение. Сейчас Неттлингер склонился над меню с гримасой знатока, одна из его белых манжет поднялась кверху; Шрелла увидел золотые часы с браслетом, на безымянном пальце Неттлингер носил обручальное кольцо. О боже, думал Шрелла, даже если бы он не сделал всего того, что он сделал, и то у Роберта вряд ли появилось бы желание пить с ним пиво и водить своих детей на его виллу для игры в бадминтон, которая, как говорят, способствует семейному сближению.

— Позволь мне кое-что предложить тебе,— сказал Неттлингер.

— Пожалуйста,— ответил Шрелла,— предлагай.

— Так вот,— начал Неттлингер,— на закуску можно взять великолепную семгу, на второе цыплят с *rommes frites*<sup>1</sup> и салатом; я думаю, что десерт мы выберем потом; знаешь, аппетит к десерту приходит ко мне уже во время еды, тут я полагаюсь на свой инстинкт, он мне подскажет, что взять — сыр, пирожное, мороженое или омлет, но насчет одного я уверен заранее — насчет кофе.

Неттлингер говорил так, словно читал лекцию из цикла «Как сделаться гурманом»; он все еще не желал оборвать монотонное перечисление блюд, казалось, он им гордился; обращаясь к Шрелле, он повторял, как слова молитвы:

— *Entrecôte à deux*, отварная форель, медалыоны из телятины.

Шрелла наблюдал, как Неттлингер с благоговением водил пальцем по меню; на некоторых блюдах он останавливался, прищелкивал языком и нерешительно качал головой.

— Когда я вижу слово “*poularde*”, я, ей-богу, не в силах устоять. Шрелла закурил, радуясь, что на этот раз ему удалось избежать

<sup>1</sup> Жареный картофель (*франц.*).

зажигалки Неттлингера; потягивая «мартини», он следил глазами за указательным пальцем Неттлингера, который добрался наконец до третьих блюд. Черт бы побрал их основательность, думал он, она может испортить человеку аппетит, даже если перед ним такое разумное и вкусное кушанье, как жареная курица; они хотят все делать лучше других и весьма преуспели в этом; даже в священнодействии, которым обставляется жратва, они и то хотят перещеголять итальянцев и французов.

— Я все же закажу курочку,— сказал он.

— А семгу?

— Нет, спасибо.

— Ты зря отказываешься от такого деликатеса, ведь ты, наверное, голоден как волк.

— Так оно и есть,— сказал Шрелла,— но я налягу на десерт.

— Воля твоя.

Официант принес еще две рюмки «мартини» на подносе, который, наверное, стоил больше, чем целый спальный гарнитур; Неттлингер взял с подноса рюмку и передал ее Шрелле, потом взял свой «мартини», наклонился вперед и сказал:

— Пью за твоё здоровье, эта рюмка — за тебя.

— Спасибо,— ответил Шрелла, кивнул головой и выпил.— Одно мне еще не ясно,— добавил он,— как случилось, что они арестовали меня сразу же на границе?

— Дурацкое недоразумение, твоё имя все еще значится в списках преследуемых лиц, а между тем обвинение в покушении на убийство теряет силу через двадцать лет; тебя следовало вычеркнуть еще два года назад.

— Покушение на убийство? — спросил Шрелла.

— Да, так был квалифицирован ваш поступок с Вакерой.

— Ты, по-видимому, не в курсе, ведь в этом деле я не участвовал и даже не одобрял его.

— Да ну,— сказал Неттлингер,— тем лучше; в таком случае легко раз и навсегда вычеркнуть твоё имя из списков преследуемых; пока что мне удалось только поручиться за тебя и выхлопотать тебе временное освобождение; твоё имя в списке я не мог похерить, но теперь это становится чистой формальностью. Ты не возражаешь, если я приступлю к супу?

— Пожалуйста,— сказал Шрелла.

Он отвел взгляд от Неттлингера и посмотрел в сторону вокзала; Неттлингер наливал разливательной ложкой суп из серебряной суповой миски; разумеется, бледно-желтые клецки в этом супе были замешены на костном мозге самого лучшего, отборнейшего скота, который когда-либо пасся на немецких пастбищах; семга в окружении свежих салатных листьев отливала золотом, ломтики подсушенного хлеба нежно подрумянились, на шариках масла блестели серебристые капельки воды; при виде Неттлингера, поглощавшего пищу, Шрелла заставил себя побороть невольное чувство жалости к нему; для Шреллы еда была высоким актом братства; он вспомнил дружеские трапезы в плохих и хороших

гостиницах; вынужденное одиночество во время еды всегда казалось ему проклятием; когда Шрелла видел в привокзальных ресторанах и в столовых многочисленных пансионеров, где ему приходилось жить, людей, в одиночестве поглощавших пищу, он считал, что они прокляты богом; сам он всегда искал общества; охотней всего он подсаживался к какой-нибудь женщине и, отломив кусок хлеба, перебрасывался с ней двумя-тремя словами; улыбка и несколько дружеских фраз в тот момент, когда человек склоняется над тарелкой,— только это делало чисто биологический процесс поглощения пищи сносным и даже приятным; такие люди, как Неттлингер,— а Шрелла встречал их во множестве,— казались ему изгоями, их трапезы были трапезами палачей; правда, они знали и соблюдали за столом все правила хорошего тона, но еда тем не менее не являлась для них приятным времяпрепровождением, они вкушали пищу с убийственной серьезностью, которая губила и гороховый суп и пулярку; кроме того, они не могли не думать о цене каждого куска, который проглатывали. Шрелла снова отвел взгляд от Неттлингера, посмотрел в сторону вокзала и прочел большой плакат, который висел над входом:

*«Добро пожаловать, земляки, возвращающиеся на родину».*

— Послушай-ка,— сказал он,— нельзя ли сделать так, чтобы я сошел за репатриированного?

Положив на стол ломтик поджаренного хлеба, который он в этот момент намазывал маслом, Неттлингер поднял глаза; казалось, он возвращается к действительности из пучины скорби.

— Это зависит от того,— сказал он,— являешься ли ты все еще германским подданным.

— Нет,— сказал Шрелла,— у меня нет подданства.

— Жаль,— сказал Неттлингер. Он снова склонился над поджаренным хлебом, потом взял кусок семги и разделил его на несколько частей.— Если бы удалось доказать, что ты бежал не по уголовным мотивам, а по политическим, ты смог бы получить кругленькую сумму в качестве компенсации. Хочешь, я выясню всю юридическую сторону дела?

— Да нет,— сказал Шрелла.

Когда Неттлингер отодвинул от себя блюдо с семгой, Шрелла склонился над столом и спросил:

— Неужели ты позволишь унести обратно эту прекрасную семгу?

— Разумеется,— сказал Неттлингер,— нельзя же...

Он испуганно оглянулся по сторонам, потому что Шрелла руками взял с тарелки поджаренный хлеб, а потом руками же схватил с серебряного блюда кусок семги и положил его на хлеб.

— ...нельзя же...

— Да нет, можно; как ни странно, но именно в самом фешенебельном ресторане все дозволено; мой отец был кельнером, и он служил, между прочим, здесь тоже; в этой святой гастрономии кельнеры и бровью не повели бы, если бы ты стал есть гороховый суп руками, хотя это неестественно и непрактично,

но как раз все неестественное и непрактичное меньше всего привлекает внимание в подобных ресторанах; высокие цены тут из-за кельнеров; ни при каких обстоятельствах здешние кельнеры и бровью не поведут. Впрочем, брать хлеб руками и класть на него руками рыбу не может считаться неестественным или непрактичным.

Шрелла, улыбаясь, взял с блюда последний кусочек семги, снова разнял два сложенных вместе ломтика хлеба и засунул туда рыбу. Неттлингер сердито посмотрел на него.

— Кажется,— сказал Шрелла,— ты готов убить меня на месте, правда, надо признаться, не по тем мотивам, по каким хотел убить раньше, но цель остается та же; слушай, что хочет возвестить тебе сын кельнера: истинно благородный человек никогда не подчиняется тирании кельнеров, хотя среди кельнеров есть, разумеется, люди с благородным образом мыслей.

Пока Шрелла ел хлеб с семгой, кельнер и мальчик, помогавший ему, накрывали стол для основного блюда; на маленьких столиках они воздвигали сложные приспособления для хранения тепла, а на большом столе разложили приборы и расставили тарелки, предварительно убрав всю посуду; Неттлингеру подали вино, Шрелле — пиво. Неттлингер пригубил свою рюмку.

— Чуть-чуть теплее, чем следует,— сказал он.

Шрелла подождал, пока ему положили курицу с картофелем и салатом, кивнул Неттлингеру и поднял свой стакан с пивом, наблюдая за тем, как кельнер поливал кусок филе на тарелке Неттлингера густым темно-коричневым соусом.

— А что, Вакера еще жив?

— Разумеется,— ответил Неттлингер,— ему ведь всего пятьдесят восемь лет, но... в моих устах это слово, очевидно, покажется тебе смешным... Вакера из числа неисправимых.

— Как прикажешь понять тебя? — спросил Шрелла.— Неужели это действительно возможно, неужели есть неисправимые немцы?

— Он стоит на тех же самых позициях, на которых стоял в тысяча девятьсот тридцать пятом году.

— Гинденбург и все такое прочее? Приличия и еще раз приличия, верность, честь... так, что ли?

— Точно. Его лозунгом и сейчас был бы Гинденбург.

— А каков твой лозунг?

Неттлингер оторвал взгляд от тарелки; в руке он держал вилку, на которую был насажен только что отрезанный кусочек мяса.

— Я хочу, чтобы ты меня понял,— сказал он,— я демократ, демократ по убеждению.

Неттлингер опять склонил голову над своим филе, потом поднял вилку с насаженным на нее кусочком мяса, сунул его в рот, вытер губы салфеткой и, качая головой, протянул руку к фужеру с вином.

— Что случилось с Тришлером? — спросил Шрелла.

— Тришлер? Не помню такого.

— Старик Тришлер — он жил в Нижней гавани, где позднее устроили кладбище кораблей. Неужели ты не помнишь Алоиза, он учился у нас в классе.

— Ах да,— сказал Неттлингер, положив себе на тарелку нарезанный сельдерей,— теперь вспомнил. Алоиза мы разыскивали тогда много недель подряд, но так и не нашли, а старика Тришлера Вакера сам допрашивал, но не вытянул из него ни слова, ни единого слова, и из его жены тоже.

— Ты не знаешь, они еще живы?

— Не знаю, но те места у реки часто бомбили. Если хочешь, я выясню, что с ними. О боже,— тихо прибавил он,— что случилось? Что ты задумал?

— Я хочу уйти,— сказал Шрелла,— извини, но я должен уйти.

Он встал, стоя допил пиво, махнул рукой кельнеру, и, когда тот, беззвучно ступая, подошел к нему, Шрелла показал на серебряное блюдо, где еще лежали три куса жареной курицы в растопленном масле, которое слегка шипело.

— Будьте добры,— сказал Шрелла,— не можете ли вы завернуть все это, но так, чтобы жир не просочился наружу.

— С удовольствием,— ответил кельнер, снимая блюдо с электрической жаровни; он наклонил голову, собравшись уходить, но потом выпрямился и спросил: — Картофель вам тоже завернуть, сударь, и немножко салата?

— Нет, спасибо,— сказал Шрелла, улыбаясь,— *pommes frites* станет мягким, а салат потом тоже невозможно будет есть.

Шрелла напрасно пытался уловить хоть малейший признак иронии на холеном лице седовласого кельнера.

Зато Неттлингер, оторвав взгляд от тарелки, сердито посмотрел на Шреллу.

— Хорошо,— сказал он,— ты хочешь мне отомстить, это понятно, но неужели надо мстить таким образом?

— Ты предпочитаешь, чтобы я тебя убил?

Неттлингер промолчал.

— Впрочем, это вовсе не месть,— сказал Шрелла,— просто я должен уйти отсюда, я больше не могу выдержать, но я всю жизнь упрекал себя за то, что оставил здесь курицу; можешь приписать этот акт моим финансовым обстоятельствам; я бы не взял курицу, если бы знал, что кельнерам и боям разрешают доедать остатки, но мне известно, что здесь это не полагается.

Шрелла поблагодарил боя, который принес ему пальто и помог его надеть; он взял шляпу, снова присел и сказал:

— Ты знаешь господина Фемеля?

— Да,— ответил Гуго.

— И номер его телефона тоже?

— Да.

— Тогда сделай мне одолжение, звони ему через каждые полчаса, хорошо? И если он подойдет к телефону, передай, что его хочет видеть некий господин Шрелла.



— Хорошо.

— Я не уверен, что там, куда мне надо идти, есть телефоны-автоматы, иначе я бы сам ему звонил. Ты запомнил мое имя?

— Шрелла,— сказал Гуго.

— Да. Я позвоню сюда около половины седьмого и вызову тебя. Как тебя зовут?

— Гуго.

— Большое спасибо, Гуго.

Шрелла встал и посмотрел сверху вниз на Неттлингера; Неттлингер взял с блюда кусочек филе.

— Сожалею,— сказал Шрелла,— что ты рассматриваешь мой безобидный поступок как акт мести. Я ни секунды не думал о мести, но пойми, что мне хочется уйти отсюда; видишь ли, я не собираюсь долго пробыть в этом гостеприимном городе, а мне еще надо уладить кое-какие дела. Однако позволь снова напомнить тебе о списке, в котором я значусь.

— Разумеется, я готов принять тебя в любое время, дома или на службе, как угодно.

Шрелла взял из рук кельнера аккуратно перевязанный белый пакетик и дал кельнеру на чай.

— Жир не просочится, сударь,— сказал кельнер,— все запаковано в целлофан и лежит в нашей фирменной коробке для пикников.

— До свидания,— сказал Шрелла.

Неттлингер слегка приподнял голову и пробормотал:

— До свидания.

— Да,— объяснял Йохен,— с удовольствием, уважаемая госпожа, и тут вы увидите стрелку: «*К древнеримским детским гробницам*», они открыты до восьми, после наступления темноты зажигается свет. Не за что, большое спасибо.

Прихрамывая, он вышел из-за конторки и подошел к Шрелле, которому бой уже открыл дверь.

— Господин Шрелла,— сказал он тихо,— я сделаю все, чтобы разузнать, где найти господина доктора Фемеля; за это время я уже кое-что выяснил в кафе «Кронер»; в семь часов там состоится семейное торжество в честь старого господина Фемеля; значит, вы его там наверняка застанете.

— Спасибо,— сказал Шрелла.— Большое вам спасибо.— Он знал, что чаевые здесь неуместны. Улыбнувшись старику, он вышел на улицу; дверь бесшумно качнулась еще несколько раз и легла в пазы, обитые войлоком.

## 8

Автостраду во всю ее ширину перекрыли массивными щитами; мост, переброшенный когда-то в этом месте через реку, был разрушен, взрыв вчистую снес его с быков; обрывки ржавых

тросов свисали с высоких пилонов; щиты трехметровой высоты возвещали о том, что за ними притаилась «смерть»; на случай, если бы одного этого слова оказалось недостаточно, на щитах были изображены скрещенные кости и увеличенный для устрашения раз в десять череп — ослепительно белый на густо-черном фоне.

На этой мертвой дороге особо рьяные начинающие автомобилисты упражнялись в переключении скоростей, привыкали к быстрой езде, терзали коробку скоростей, давали задний ход и направляли машину то влево, то вправо, осваивая повороты; по насыпи, которая проходила среди небольших огородиков, вдоль площадки для игры в гольф прогуливались хорошо одетые мужчины и женщины с праздничными лицами, они норовили подойти вплотную к реке, к страшным щитам, за которыми прятались прозаические бараки строителей, казалось насмехавшиеся над смертью; за словом «смерть» подымался синий дымок, он шел из печурок, на которых ночные сторожа грели котелки, сушили сухари и разжигали свои трубочки от скрученной бумажки; помпезная лестница совсем не была разрушена, в погожие летние вечера на ее ступенях отдыхали уставшие путники; отсюда, с двадцатиметровой высоты, они могли наблюдать за ходом восстановительных работ, водолазы в желтых водолазных костюмах медленно спускались на дно реки, подводили петли тросов к бетонным обломкам моста, краны вытаскивали на поверхность свою добычу, с которой стекала вода, а потом грузили ее на баржи. На высоких лесах и на шатких мостках, в люльках, подвешенных к пилонам, рабочие разрезали сварочными аппаратами, вспыхивавшими синеватым пламенем, покореженные стальные конструкции, искривленные заклепки, обрывки железных тросов; быки с их боковыми опорами казались гигантскими воротами, замыкавшими целый гектар голубой пустоты; гудела сирена, подавая сигналы: «Путь открыт», «Путь закрыт»; зажигались то красные, то зеленые огни; караваны барж, перевозившие уголь и дрова, сновали взад и вперед.

Зеленая река... мирные радости... пологие берега, поросшие ивняком... пестрые суденышки... синие вспышки сварочных аппаратов. Положив на плечо палки для гольфа, мускулистые мужчины и хорошо натренированные женщины с серьезными лицами ходили по великолепно подстриженному газону вслед за мячами — восемнадцать лунок; над огородами подымался дымок, там превращались в дым стебли гороха и фасоли, равно как и старые колышки от заборов, дым гулял по небу, и его изящные завитки походили на эльфов в стиле модерн, потом завитки уплотнялись, образуя причудливые узоры, которые в свою очередь превращались в расплывчатые фигуры — светло-серые на фоне яркого неба, и, наконец, воздушные течения разрывали эти фигуры в клочья и угоняли их к самому горизонту; дети, катавшиеся на самокатах по дорожкам парка, выложенным неровными камнями, разбивали себе в кровь руки и колени и показывали свои сса-

дины испуганным матерям, вымогая у них лимонад или мороженое; парочки, взявшись за руки, стремились скрыться в ивняке, где уже давно исчезли следы половодья — стебли камыша, пробки, бутылки и баночки из-под гуталина; речники сходили по шатким мосткам на берег, за ними шли их жены с хозяйственными сумками, уверенные в себе; на отдраенных до блеска баржах на веревках висело белье — вечерний ветер развевал зеленые штаны, красные кофточки и белоснежные простыни на фоне густо-черной свежей смолы, блестящей, как японский лак; на поверхности реки время от времени показывались поднятые кранами обломки моста в иле и водорослях, а за всем этим виднелся серый стройный силуэт Святого Северина. В кафе «Бельвю» сбившаяся с ног грубоватая кельнерша объявила:

— Пирожных со сливками больше нет,— отерла пот и пошарила в кожаной сумке в поисках мелочи: — ...есть только песочные пирожные... нет, мороженого тоже нет.

Йозеф протянул руку, кельнерша положила в его раскрытую ладонь сдачу; он сунул мелочь в карман брюк, а бумажку — в кармашек рубахи, повернулся к Марианне и провел по ее темным волосам растопыренными пальцами, чтобы снять с них кусочки камыша, а потом смахнул песок с зеленого джемпера девушки.

— Ты ведь так радовался сегодняшнему празднику,— сказала Марианна,— что произошло?

— Ничего не произошло,— ответил Йозеф.

— Но я чувствую. Что-нибудь изменилось?

— Да.

— Ты не хочешь сказать, что именно?

— Потом,— пообещал он,— может быть, я скажу тебе через несколько лет, а может быть, скоро. Сам не знаю.

— Это связано с нами обоими?

— Нет.

— Точно нет?

— Нет.

— С тобой одним?

— Да.

— Значит, все же с нами обоими.

Йозеф улыбнулся.

— Разумеется, поскольку я связан с тобой.

— Случилось что-нибудь неприятное?

— Да.

— Это связано с твоей работой?

— Да. Дай мне твою расческу, но только не верти головой, маленькие песчинки руками не вынешь.

Марианна вытащила из сумочки расческу и передала ее через плечо Йозефу, на секунду Йозеф сжал руку девушки.

— Я ведь знаю,— сказала Марианна,— что по вечерам, после того, как уходили рабочие, ты разгуливал около высоких штабелей кирпича и ощупывал новенькие кирпичи, тебе было приятно

касаться их, а вчера и позавчера ты этого не делал; я все узнаю по твоим рукам; и ты так рано уехал сегодня утром.

— Мне надо было получить подарок для дедушки.

— Ты уехал не из-за подарка; где ты был?

— В городе,— сказал он,— рамка для фото все еще не была готова, мне пришлось ждать. Ты помнишь эту фотографию: мать держит меня за руку, Рут у нее на коленях, а за нами стоит дедушка. Я дал ее увеличить. Я знаю, дедушка обрадуется моему подарку.

А потом я отправился на Модестгассе и дождался, когда отец, высокий и прямой, вышел из конторы; я отправился за ним следом до отеля и простоял там полчаса перед дверьми, но он так и не появился, а я не решился войти туда и справиться о нем; мне просто хотелось увидеть его, и я его увидел, он хорошо сохранился и сейчас в расцвете сил.

Йозеф сунул расческу в карман брюк, положил руки на плечи девушки и сказал:

— Не поворачивайся, пожалуйста, так удобнее разговаривать.

— Удобнее лгать,— возразила она.

— Может быть, и так,— сказал он,— точнее говоря, умалчивать.

У самого его лица было ухо девушки, а дальше виднелась балюстрада летнего кафе, над нею синела река; юноша позавидовал рабочему, который висел в люльке на верхушке пилона на высоте почти шестидесяти метров от земли и вычерчивал сварочным аппаратом синие зигзаги; выли сирены; внизу, вдоль откоса, ходил мороженщик и накладывал мороженое в ломкие вафли; за рекой высился серый силуэт Святого Северина.

— Должно быть, случилась какая-то очень неприятная история,— сказала Марианна.

— Да,— подтвердил Йозеф,— довольно-таки неприятная, а может, и нет; пока трудно сказать.

— Это касается внешних обстоятельств или внутренних?

— Внутренних,— ответил юноша.— Как бы то ни было, сегодня днем я сообщил Клубрингеру, что отказываюсь от места; не оборачивайся, а то не скажу больше ни слова.

Йозеф снял руки с плеч Марианны, крепко сжал голову девушки и повернул ее в сторону моста.

— А что скажет на это дедушка? Ведь он так тобою гордился; каждая похвала Клубрингера была для него как бальзам, да и вообще он привязан к аббатству; не говори ему ничего, хотя бы сегодня.

— Ему доложат и без меня, еще до нашего приезда; ты же знаешь, что он отправился с отцом в аббатство — выпить чашку кофе перед сегодняшним торжеством.

— Да,— сказала она.

— Мне самому жаль дедушку; ты ведь знаешь, как я его люблю; но все обязательно выплывет наружу уже сегодня днем, когда он вернется от бабушки; тем не менее я больше не могу

видеть кирпичи и слышать запах извести. Пока что, во всяком случае.

— Пока что?

— Да.

— А что скажет твой отец?

— О,— быстро ответил Йозеф,— он огорчится только из-за дедушки; сам он никогда не интересовался созидательной стороной архитектуры, его занимали только формулы; обожди, не оборачивайся.

— Значит, это касается твоего отца, так я и чувствовала; я жду не дожусь увидеть его; по телефону я уже несколько раз говорила с ним, мне почему-то кажется, что он мне понравится.

— Он тебе понравится. И ты увидишь его не позже сегодняшнего вечера.

— Мне тоже надо идти с тобой на день рождения?

— Непременно. Ты даже не представляешь, как обрадуется дедушка, к тому же он ведь пригласил тебя по всей форме.

Марианна попыталась было высвободить свою голову, но Йозеф, смеясь, все так же крепко держал ее.

— Не надо,— сказал он,— так гораздо удобнее беседовать.

— И лгать.

— Умалчивать,— возразил он.

— Ты любишь своего отца?

— Да, особенно с тех пор, как узнал, что он еще такой, в сущности, молодой.

— Ты не знал, сколько ему лет?

— Нет. Мне всегда казалось, что ему лет пятьдесят — пятьдесят пять. Смешно, но я никогда не интересовался тем, сколько ему в действительности лет; только позавчера, получив свою метрику, я узнал, что отцу всего сорок три года, и прямо-таки испугался; не правда ли, он еще совсем молодой?

— Да,— сказала она,— тебе ведь уже двадцать два.

— Вот именно. До двух лет меня звали не Фемель, а Шрелла, странная фамилия, да?

— Ты на него сердешься за это?

— Я на него не сержусь.

— Что же он мог такого сделать, из-за чего ты вдруг потерял желание строить?

— Я тебя не понимаю.

— Хорошо... Почему в таком случае он ни разу не навестил тебя в аббатстве Святого Антония?

— Очевидно, стройки не представляют для него интереса, быть может также, он слишком часто ездил туда в детстве, понимаешь, во время воскресных прогулок с родителями... Взрослые люди отправляются в те места, где прошло их детство, только если им хочется погрустить.

— А ты тоже совершал когда-нибудь воскресные прогулки с родителями?

— Не так уж часто; обычно мы гуляли с мамой, бабушкой

и дедушкой, но когда отец приезжал в отпуск, он тоже присоединился к нам.

— Вы ездили в аббатство Святого Антония?

— Да, случалось.

— Все-таки я не понимаю, почему он ни разу не навестил тебя.

— Просто-напросто стройки ему не по душе; быть может, он немного чудаковат; в те дни, когда я неожиданно возвращаюсь домой, он сидит в гостиной за письменным столом и царапает что-то на светокопиях чертежей — у него их целая коллекция. Но я думаю, отец тебе все же понравится.

— Ты мне ни разу не показывал его карточку.

— У меня нет его последних фотографий; знаешь, в его облике чувствуется что-то трогательно-старомодное — в одежде и в манере держать себя; он очень корректный и любезный, но гораздо старомоднее дедушки.

— Я жду не дожусь увидеть его. А теперь мне можно обернуться?

— Да.

Йозеф отпустил ее голову и, когда Марианна быстро обернулась, попытался изобразить на своем лице улыбку, но под взглядом ее круглых светло-серых глаз эта вымученная улыбка скоро погасла.

— Почему ты не скажешь мне, в чем дело?

— Потому что я сам еще ничего не понимаю. Как только я пойму, я тебе скажу, но это будет, возможно, не скоро. Пошли?

— Да,— сказала она,— пора. Твой дедушка уже должен приехать, не заставляй его ждать; ему будет тяжело, если монахи расскажут ему о тебе до того, как вы встретитесь... и, пожалуйста, обещай мне, что ты не помчишься снова на этот ужасный щит! Нельзя тормозить в самую последнюю секунду.

— А я как раз подумал — налечу на щит, снесу с лица земли бараки строителей и прыгну в воду с пустой площадки, как с трамплина...

— Значит, ты меня не любишь...

— О боже,— сказал он,— но ведь это только шутка.

Он помог Марианне встать, и они начали спускаться по лестнице на берег реки.

— Мне в самом деле жаль,— сказал Йозеф, останавливаясь,— что дедушка узнает это как раз сегодня, в день своего восьмидесятилетия.

— И его нельзя от этого избавить?

— От самого факта — нельзя, а от сообщения — можно, если ему еще не успели ничего сказать.

Йозеф отпер машину, вошел и открыл изнутри дверцу, чтобы впустить Марианну; когда девушка села рядом с ним, он положил руку ей на плечо.

— Ну, а теперь послушай,— сказал он,— это совсем просто; вся дистанция равняется точно четырем с половиной километрам, мне нужен разгон в триста метров, чтобы развить скорость сто

двадцать километров в час, и еще триста метров для того, чтобы затормозить; причем я считаю с большим запасом; значит, можно спокойно проехать почти четыре километра, на это уйдет ровно две минуты; от тебя требуется только одно — следить за часами и сказать мне, когда пройдут эти две минуты, тогда я тут же начну тормозить. Неужели ты не понимаешь? Мне хотелось бы наконец узнать, что можно выжать из нашего драндулета.

— Какая ужасная игра! — сказала Марианна.

— Если бы мне удалось разогнать машину до ста восьмидесяти километров, то на всю дистанцию понадобилось бы только двадцать секунд... правда, тогда придется затормозить раньше.

— Перестань, прошу тебя.

— Ты боишься?

— Да.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Но позволь мне по крайней мере ехать со скоростью восемьдесят километров.

— Как знаешь, если тебе так уж хочется.

— При этом можно даже не смотреть на часы, я увижу сам, где тормозить, а потом измерю, на каком расстоянии я начал торможение; понимаешь, мне просто хочется узнать, не надула ли нас фирма со спидометром.

Он включил мотор, медленно проехал по узеньким переулочкам живописного пригорода, быстро миновал забор, окружавший площадку для игры в гольф, и остановил машину у въезда на авто-страду.

— Послушай,— сказал он,— при восьмидесяти километрах нужно ровно три минуты, это совершенно безопасно, поверь мне, а если ты боишься, выходи и подожди меня здесь.

— Нет, одного я тебя ни в коем случае не пущу.

— Но ведь это в последний раз,— сказал он,— уже завтра я, наверное, уеду отсюда, и больше мне никогда не представится такая возможность.

— На обычном шоссе гораздо удобнее проводить эти эксперименты.

— Да нет, меня привлекает именно то, что перед щитом волей-неволей надо остановиться.— Он поцеловал Марианну в щеку.— Знаешь, что я сделаю?

— Нет.

— Поеду со скоростью сорок километров.

Когда машина тронулась, Марианна улыбнулась, но все же посмотрела на спидометр.

— А теперь — внимание,— сказал он, миновав километровый столбик с цифрой пять,— посмотри на часы и сосчитай, сколько времени нам понадобится до столбика с цифрой девять; я еду со скоростью ровно сорок километров.

Далеко впереди, подобно задвижке на гигантских воротах, виднелись щиты; вначале они казались Марианне низкими, как

плетень, но потом стали выше; они вырастали с удручающей неизбежностью; то, что издали походило на черного паука, превратилось в скрещенные кости, а что напоминало какую-то диковинную пуговицу, оказалось черепом; череп вырастал так же стремительно, как вырастало слово «смерть», летевшее ей навстречу, чуть было не задевшее за радиатор их машины; буква «с» в слове «смерть» казалась ей зияющей пастью, которая пыталась крикнуть им что-то ужасное; стрелка спидометра колебалась между «90» и «100»; мимо них пролетали дети на самокатах, мужчины и женщины, лица которых уже отнюдь не были праздничными; предостерегающе подняв руки, они пронзительно кричали, и казалось, это кричат черные птицы, вестники смерти.

— Это ты, ты еще здесь? — спросила она тихо.

— Конечно, и я точно знаю, где нахожусь, — ответил он, улыбаясь и в упор глядя на букву «с» в слове «смерть». — Не волнуйся!

Незадолго до окончания рабочего дня десятник конторы, ведающей расчисткой развалин, повел его в трапезную, в углу которой лежала груда щебня; щебень перекладывали на ленту транспортера, а транспортер забрасывал его на грузовики; влага, скопившаяся во всем этом мусоре, превратила осколки кирпичей, куски штукатурки и неизвестно откуда взявшуюся грязь в клейкие комья; по мере того как гора щебня уменьшалась, на стенах проступала сырость — сперва появлялись темные, а потом светлые пятна, похожие на сыпь; под этими пятнами виднелось что-то красное, синее и золотое — остатки стенной росписи, которая показалась десятнику ценной, — там была изображена тайная вечеря; фреску покрывал сплошной налет сырости; Йозеф увидел золотую чашу, ослепительно белую облатку, лицо Христа, светлое, с темной бородкой, и каштановые волосы святого Иоанна.

— Посмотрите, господин Фемель, сюда, здесь нарисовано что-то темное, это кожаный кошелек Иуды. — Десятник осторожно стер сухой тряпкой белые пятна, благоговейно очистив кусок картины: двенадцать апостолов сидели вокруг стола, покрытого парчовой скатертью; Йозеф увидел ноги апостолов, края скатерти, пол зала тайной вечери, вымощенный плитами; он с улыбкой положил руку на плечо десятника и сказал:

— Молодец, что позвал меня, фреску надо, конечно, сохранить, прикажите очистить и высушить ее, прежде чем предпринимать что-нибудь дальше. — И он уже собрался было уходить; на столе его ждали чай, хлеб и селедка; была пятница, и это можно было определить по тому, что в монастыре кормили рыбой. Марианна уже выехала из Штелингерс-Гротте, чтобы погулять вместе с ним, но вдруг, за секунду перед тем, как отвернуться, он увидел в углу картины, в самом низу, буквы «ХУЗХ»; сотни раз, когда отец помогал ему готовить уроки по математике, он видел написанные его рукой «Х», «У», «Z», и сейчас он увидел их вновь над пробойной от взрыва между ногой святого Иоанна и ногой святого



Петра; колонны трапезной были взорваны, высокие своды разрушены; уцелели только остатки стены с фреской тайной вечери и буквы «ХУЗХ».

— Что-нибудь случилось, господин Фемель? — спросил десятник и положил ему руку на плечо. — У вас ни кровинки в лице, или это из-за вашей зазнобы?

— Да, из-за нее, — ответил он, — из-за нее. Можете не беспокоиться, большое спасибо, что позвали меня.

Чай показался Йозефу невкусным, хлеб, масло и селедка тоже; была пятница, и это можно было определить по тому, что в монастыре кормили рыбой; даже сигарета показалась ему невкусной; он прошел через все здание, обогнул монастырскую церковь, вошел в подворье для паломников, осматривая все места, важные с точки зрения статики, но не нашел ничего, кроме одной-единственной маленькой буквы «х» в подвале монастырского подворья; почерк отца нельзя было спутать ни с каким другим, так же как его лицо, походку, улыбку, так же как чопорную вежливость, с какой он наливал вино или передавал за столом хлеб; то был его маленький «х», «х» доктора Роберта Фемеля, владельца конторы по статическим расчетам.

— Прошу тебя, прошу тебя, — сказала Марианна, — опомнись.

— Я и так опомнился, — ответил он, отпустил акселератор, поставил левую ногу на педаль сцепления, а правой нажал на тормоз; машина заскрежетала и, вихляя во все стороны, придвинулась вплотную к большой букве «с» в слове «смерть»; пыль поднялась столбом, завизжали тормоза, к машине, махая руками, бежали встревоженные пешеходы, между словом «смерть» и скрещенными костями появился усталый ночной сторож, державший в руках котелок с кофе.

— О боже, — сказала Марианна, — неужели надо было так пугать меня?

— Прости, — сказал он тихо, — пожалуйста, прости меня. Я потерял контроль над собой. — Он быстро развернулся и уехал, прежде чем вокруг машины успели столпиться зеваки; четыре километра он вел машину с нормальной скоростью, держа руль одной левой рукой, а правой обнимая Марианну; так они миновали площадку для игры в гольф, где хорошо натренированные женщины и мускулистые мужчины старались добраться кто до шестнадцатой, кто до семнадцатой, а кто и до восемнадцатой лунки.

— Прости, — сказал Йозеф, — ей-богу, я больше никогда не буду. — Он свернул с автострады, и теперь они ехали мимо живописных полей, вдоль тихой опушки леса.

«ХУЗХ» — эти же самые буквы он видел на светокопиях чертежей величиной с две почтовые открытки, которые его отец тасовал по вечерам, как колоду карт; «Вилла на опушке леса для издателя» — «ХхХ»; «Перестройка здания общества „Все для общего блага“» — «УхУ»; «Жилой дом для учителя на берегу реки» — один

только «У»; сегодня Йозеф увидел эти же самые буквы между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра.

Машина медленно проезжала по свекловичным полям, из-под широких зеленых листьев уже вылезали толстые корнеплоды, за жнивьем и лугами виднелся Козакенхюгель.

— Почему ты не хочешь мне сказать, что случилось? — спросила Марианна.

— Потому что я сам еще не разобрался, потому что не знаю, прав ли я. Может быть, это просто дурной сон; может быть, немного погодя я все тебе объясню, а может, и нет.

— Но ты уже не хочешь быть архитектором?

— Нет,— сказал он.

— И потому мчался прямо на щиты?

— Возможно,— ответил он.

— Я всегда ненавидела людей, которые не знают цены деньгам,— сказала Марианна,— которые бессмысленно мчатся с недозволенной скоростью прямо на щит со словом «смерть» и без всяких оснований заставляют волноваться тех, кто наслаждается заслуженным отдыхом после трудового дня.

— Но у меня были основания мчаться на щиты.— Йозеф поехал медленней, а потом остановил машину на песчаной дороге у подножия холма; он поставил машину у сосны с нависшими над дорогой ветвями.

— Зачем ты остановился? — спросила она.

— Пошли,— сказал он,— давай еще немножко погуляем.

— Уже поздно,— возразила она,— твой дедушка наверняка приедет поездом четыре тридцать, а сейчас уже четыре двадцать.

Йозеф вышел из машины, взбежал вверх по склону и, приставив руку к глазам, посмотрел в сторону Денклингена.

— Да,— закричал он,— я вижу, поезд уже выходит из Додрингена; все та же старая пыхтелка, как в дни моего детства, и отходит она в то же время. Пошли, четверть часика они пождут.

Он снова подбежал к машине, потянул Марианну с сиденья, а потом, взяв за руку, потащил за собой по песчаной тропинке вверх; они уселись на прогалине; Йозеф показал на равнину, его палец следовал за поездом, который шел мимо свекловичных полей, мимо лугов и жнивья к Кисслингену.

— Ты даже не представляешь себе,— сказал он,— как хорошо я знаю окрестные деревни и как часто мы приезжали сюда этим поездом; после смерти матери мы почти все время жили в Штелингене или Гёрлингене, и я ходил в школу в Кисслингене; по вечерам мы бегали к этому поезду, потому что с ним приезжал из города дедушка, к этому самому поезду. Ты его видишь? Он как раз отходит от Денклингена; как ни странно, но мне всегда казалось, что мы бедные; пока была жива мать и пока бабушка жила с нами, нам давали меньше еды, чем другим детям, которых мы знали, и мне не разрешали надевать хорошую одежду, я носил только перешитые вещи, в нашем присутствии бабушка раздаривала чужим людям

все хорошее, что мы получали из аббатства и из наших усадеб,— хлеб, масло, мед; нам самим приходилось есть искусственный мед.

— И ты ненавидел свою бабушку?

— Нет, сам не знаю почему, но у меня не было к ней ненависти; может быть, потому, что дедушка водил нас к себе в мастерскую и тайком угощал вкусными вещами; и еще он водил нас в кафе «Кронер» и кормил до отвала; он всегда повторял: «Мать и бабушка делают большое дело, очень большое дело... не знаю только, достаточно ли вы уже большие для таких больших дел».

— В самом деле он так говорил?

— Да.— Йозеф засмеялся.— Когда мать умерла, а бабушку увезли, мы остались с дедушкой, и с тех пор нам хватало еды; под конец войны мы почти все время жили в Штелингене; я слышал, как ночью взорвали аббатство; мы сидели тогда в Штелингене на кухне; крестьяне и все наши соседи кляли немецкого генерала, который приказал взорвать монастырь, и бормотали себе под нос «зачемзачемзачем». Через несколько дней к нам явился отец, он приехал в американском автомобиле, и его сопровождал американский офицер; отцу разрешили пробыть с нами всего три часа; отец привез нам шоколад, но нас испугала эта клейкая темно-коричневая масса, мы никогда не ели шоколада и согласились его попробовать только после госпожи Клошграбе, жены управляющего; отец привез госпоже Клошграбе кофе, и она сказала ему: «Не беспокойтесь, господин доктор, мы следим за вашими детьми, как за своими собственными», а потом прибавила: «Какой позор, что они взорвали аббатство, да еще перед самым концом войны»; отец ответил: «Да, позор, но, быть может, на то была воля божья»; госпожа Клошграбе возразила отцу: «Бывает, что люди выполняют не божью волю, а волю дьявола», отец засмеялся, и американский офицер тоже засмеялся; отец был с нами ласков, и я в первый раз увидел слезы у него на глазах; он заплакал, когда ему надо было уходить от нас; раньше я не предполагал, что он может плакать; он был всегда сдержан, не проявлял своих чувств; отец не плакал даже тогда, когда ему надо было возвращаться из отпуска в свою часть и мы провожали его; на вокзале все плакали: мать, бабушка, дедушка и мы с сестрой,— все, кроме него... Видишь,— сказал Йозеф, показывая на дым от паровоза, похожий на развевающийся флаг,— они только что прибыли в Кисслинген.

— Сейчас дедушка отправится в аббатство, и там ему скажут то, что, собственно говоря, ты должен был сказать сам.

Я стер меловые буквы между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра, а также маленький «х» в погребке подворья для паломников; он их не найдет, никогда не обнаружит и ничего не узнает от меня.

— Три дня фронт проходил между Денклингеном и городом,— сказал Йозеф,— и мы с госпожой Клошграбе молились по вечерам за дедушку; потом он явился вечером из города, бледный и груст-

ный, таким я его еще никогда не видел; он ходил с нами смотреть на развалины аббатства, бормоча то же, что бормотали крестьяне, то же, что бабушка постоянно бормотала в бомбоубежище: «зачем-зачемзачем».

— Наверное, он был счастлив, что ты помогаешь восстанавливать аббатство?

— Да,— сказал Йозеф,— но я не могу больше давать ему это счастье; не спрашивай — почему; не могу, и все.

Он поцеловал Марианну, зачесал ей за ухо прядь волос и еще раз провел рукой по ее волосам, стряхивая с них сосновые иглы и песчинки.

— Отец вскоре вернулся из плена и забрал нас в город, несмотря на протесты дедушки, который уверял, что для нас было бы куда лучше, если бы мы росли не среди развалин. Но отец говорил: «Я не могу жить в деревне и хочу, чтобы мои дети были со мной, я их почти не знаю». Мы его тоже не знали и первое время дичились; мы чувствовали, что дедушка тоже боится отца. В то время все мы разместились в дедушкиной мастерской, потому что наш дом был непригоден для жилья; на стене в мастерской висел громадный план нашего города; все разрушенные здания были отмечены на нем жирными черными значками; делая уроки за дедушкиным чертежным столом, мы часто прислушивались к тому, что говорили отец, дедушка и другие взрослые, толпившиеся перед планом. Они часто спорили, потому что отец всегда повторял одно и то же: «Все это — долой... взорвать!» — и чертил букву «х» рядом с очередным черным значком, а остальные всегда возражали ему: «Боже избави, это невозможно»; отец говорил: «Сделайте это, до того как в город вернутся люди... сейчас здесь еще пусто и вам не надо ни с кем считаться; сметите все это с лица земли...» Но остальные отвечали ему: «Этот оконный проем сохранился еще с шестнадцатого века, а эта стена часовни — с двенадцатого»; тогда отец бросал грифель и говорил: «Хорошо, поступайте как знаете, но, поверьте мне, вы еще раскаетесь... поступайте как знаете, но меня увольте». Ему отвечали: «Дорогой господин Фемель, вы наш лучший специалист-подрывник, вы не можете бросить нас на произвол судьбы»; отец отчеканивал: «И все же я брошу вас на произвол судьбы, если мне придется считаться с каждым древнеримским курятником. По-моему, стены — это стены, и, поверьте, они отличаются друг от друга только тем, прочные они или нет, к черту, взрывайте эту дрянь, и все сразу станет на место». Когда они ушли, дедушка засмеялся и сказал: «О боже, ты ведь должен понять их чувства», но отец тоже засмеялся и ответил: «Я понимаю их чувства, только я их не уважаю», а потом добавил: «Пошли, дети, купим шоколаду», и он отправился с нами на черный рынок, там он купил себе сигареты, а нам шоколад; мы влезали с ним в темные полуразрушенные подъезды домов, карабкались по лестницам: отец хотел купить еще сигары для дедушки; он всегда покупал и никогда ничего не продавал; если мы получали хлеб и масло из Штелингена или из Гёрлингена, то брали в школу и его долю; отец

разрешал нам отдавать продукты, кому мы захотим; однажды мы купили на черном рынке масло, которое сами только что пода-рили; в свертке все еще лежала записка госпожи Клошграбе, в которой говорилось: «На этой неделе я могу Вам послать, к сожалению, только один килограмм». Отец засмеялся и сказал: «Ну да, людям ведь нужны деньги на сигареты». Как-то к нам опять пришел бургомистр, и отец сообщил ему: «В развалинах францисканского монастыря я обнаружил грязь из-под ногтей, которая восходит к четырнадцатому веку, не смейтесь, это — четырнадцатый век, вполне доказано; грязь смешана с ворсинками от шерстяной пряжи, изготовлявшейся, как известно из достоверных источников, в нашем городе *только* в четырнадцатом веке; таким образом, мы имеем первоклассную культурно-историческую реликвию, господин бургомистр». Бургомистр ответил: «Вы заходите слишком далеко, господин Фемель», а отец возразил: «Я зайду еще дальше, господин бургомистр». Но тут засмеялась моя сестренка Рут, которая сидела рядом со мной и, сажая кляксы, писала что-то в своей тетради по арифметике; она вдруг звонко рассмеялась; отец подошел к ней, поцеловал ее в лоб и сказал: «Да, детка, это и впрямь смешно». Я почувствовал ревность, ведь меня отец еще ни разу не целовал в лоб; мы любили его, Марианна, но все еще немного побаивались, особенно когда он стоял перед планом с черным грифелем в руках и говорил: «Взорвать... долой все это». Отец был всегда строг, когда дело касалось моих занятий, он часто повторял: «Есть только два пути — либо ничего не знать, либо знать все; твоя мать ничего не знала, по-моему, она не закончила даже начальной школы; и все же я никогда не женился бы ни на какой другой женщине; одним словом, решай!» Мы его любили, Марианна; и когда я сейчас думаю, что в то время ему было немногим больше тридцати лет, мне просто не верится; мне всегда казалось, что он гораздо старше, хотя он вовсе не выглядел старым; иногда он даже был веселым, чего теперь с ним не бывает; по утрам, когда мы вылезали из своих кроватей, он уже стоял у окна, брился и кричал нам: «Война кончилась, дети», хотя война кончилась уже четыре или пять лет назад.

— А теперь пошли, — сказала Марианна, — нельзя, чтобы они ждали столько времени.

— Пусть подождут, — ответил он. — Я еще должен узнать, что было с тобой, овечка. Я ведь почти ничего о тебе не знаю.

— Овечка, — повторила она, — почему ты меня так называешь?

— Просто мне вдруг пришло в голову это слово, — ответил он, — скажи мне, что было с тобой; каждый раз, когда я замечаю, что у тебя такой же говор, как у додрингенцев, мне становится смешно, тебе он не идет; я знаю, что ты училась в тамошней школе, хотя ты и не оттуда родом; и еще я знаю, что ты помогаешь госпоже Клошграбе печь пироги, готовить и гладить белье.

Марианна положила его голову к себе на колени, прикрыла ему глаза рукой и сказала:

— Ты хочешь знать, что было со мной? Со мной? Ты это

действительно хочешь знать?.. Падали бомбы, но они так и не попали в меня, хотя бомбы были очень большие, а я очень маленькая; люди в бомбоубежище совали мне разные лакомства, а бомбы все падали и падали, но не убили меня, я слышала, как они взрывались и как осколки с шумом пролетали сквозь ночь, подобно порхающим птицам, и кто-то пел в бомбоубежище «Дикие гуси с шумом несутся сквозь ночь». Отец мой был высокого роста, темноволосый и красивый, он носил коричневый мундир с золотым шитьем, на поясе у него висело что-то вроде кинжала, отливавшего серебром; он выстрелил себе в рот; не знаю, видел ли ты когда-нибудь человека, который выстрелил себе в рот? Нет, не видел, ну, тогда благодари бога, что он спас тебя от этого зрелища. Отец лежал на ковре, и кровь текла по турецкому ковра, по смирнскому узору — настоящему смирнскому, дорогой мой; моя мать была белокурая высокая женщина в синей форме, она носила красивые элегантные шляпки, но не носила кинжала у бедра; у меня был еще младший братик, белокурый мальчик, намного моложе меня; братик висел над дверью с пеньковой петлей на шее, покачиваясь назад и вперед; я смеялась, я продолжала смеяться и тогда, когда мать накинула мне веревку на шею, бормоча себе под нос: «*Он так велел*», но тут вошел какой-то человек, без мундира, без золотого шитья и без кинжала, с пистолетом в руке, он наставил пистолет на мою мать и вырвал меня у нее из рук, я заплакала, на шее у меня уже болталась веревка, и мне хотелось сыграть в ту же игру, в какую играл мой младший братик,— в игру под названием «*он так велел*»; однако человек, зажав мне рот, спустился по лестнице со мной на руках, снял с меня петлю и посадил на грузовик...

Йозеф попытался отнять руки Марианны от своего лица, но девушка крепко прижала их к его глазам.

— Ты не хочешь узнать, что было дальше? — спросила она.

— Хочу,— ответил он.

— Тогда не открывай глаз и дай мне закурить.

— Здесь, в лесу?

— Да, здесь, в лесу.

— Достань сигарету из кармашка моей рубахи.

Йозеф почувствовал, как она расстегнула кармашек его рубахи и, не отнимая правой руки от его глаз, вытащила пачку сигарет и коробок спичек.

— Я тебе тоже дам закурить,— сказала она,— здесь, в лесу... Мне исполнилось тогда ровно пять лет, и я была таким милым ребенком, что люди ухитрились баловать меня даже на грузовике: они совали мне всякие лакомства и на стоянках мыли меня с мылом; грузовик обстреливали из пушек и пулеметов, но не попадали в него; так мы ехали долго, не знаю точно, сколько времени, но наверняка не меньше двух недель, а когда машина остановилась, то человек, который не дал мне сыграть в игру под названием «*он так велел*», взял меня с собой; он заворачивал меня в одеяло и клал рядом на сено или на солому, а то и на кровать и говорил: «Ну-ка, скажи мне: „отец“», но я не знала, что такое «отец», того

мужчину в красивом мундире я всегда называла «папочка», потом я все же научилась говорить «отец», так я звала тринадцать лет подряд человека, который не дал мне сыграть в ту игру; теперь у меня была своя кровать, свое одеяло и мать, она была строгая, но любила меня; девять лет я прожила в их опрятном домике. В школе священник сказал про меня: «Посмотрите-ка, кто перед нами! Перед нами самая настоящая, самая подлинная язычница»; все дети засмеялись, потому что они не были язычниками, но священник добавил: «Но мы быстро превратим нашу маленькую язычницу, нашу милую овечку в маленькую христианку»; и они превратили меня в христианку. Овечка была милая и счастливая; водила хороводы и скакала на одной ножке, играла в мяч, прыгала через веревочку и очень любила своих родителей, а потом настал день, когда в школе было пролито несколько слезинок и произнесено несколько напутственных речей, где несколько раз повторялось об окончании целого жизненного этапа; после школы овечка поступила в ученье к портнихе, она училась управляться с иглой и ниткой, а мать учила ее убирать, печь пироги и готовить; все в деревне говорили: «Когда-нибудь на ней женится принц, она достойна принца...» Но вот в один прекрасный день в деревню прикатил очень большой и очень черный автомобиль; за рулем сидел бородатый человек; автомобиль остановился на деревенской площади, и человек спросил, не выходя из машины: «Будьте добры, скажите, где живут Шмитцы?» Люди на площади ответили ему: «У нас очень много Шмитцев, какие именно вам нужны?» Человек за рулем сказал: «Те, у кого есть приемная дочь»; люди на площади ответили: «Значит, вам нужен Эдуард Шмитц, он живет вон там за кузницей, в доме, перед которым растет самшит». Человек за рулем сказал «спасибо», и автомобиль покатил дальше; за ним двинулось много народу; ведь от деревенской площади до дома Эдуарда Шмитца было не более пятидесяти шагов; я сидела на кухне и перебирала салат; мне очень нравилось это занятие, я любила перебирать листья — плохие выбрасывать, а хорошие класть в решето, где салат казался таким зеленым и чистым. Ни о чем не подозревая, мы с матерью мирно беседовали: «Не огорчайся, Марианна,— говорила она,— ничего не поделаешь, все мальчишки становятся несносными лет в тринадцать-четырнадцать, а некоторые уже в двенадцать, в этом возрасте они выкидывают разные штуки, такова природа, а с природой сладить нелегко», а я отвечала: «Я огорчаюсь вовсе не из-за этого». «Из-за чего же ты тогда огорчаешься?» — спросила мать. Я сказала: «Я вспоминаю своего братика, он висел, а я смеялась, не зная, как все это ужасно... ведь он был некрещеный». Не успела мать ответить, как открылась дверь; мы не слышали стука... Я сразу же узнала ее, она все еще была белокурая и высокая и носила, как и раньше, элегантную шляпку, но синей формы на ней сейчас не было; она тут же подошла ко мне, раскрыла объятия и сказала: «Ты — моя Марианна... разве голос крови тебе ничего не говорит?» На секунду ножик замер у меня в руке, а потом я ответила, аккуратно обрезая салат-

ный лист: «Нет, голос крови мне ничего не говорит». «Я — твоя мать», — сказала она. «Нет, — возразила я, — вон моя мать. Меня зовут Марианна Шмитц, — и, помолчав немного, добавила: — *«Он так велел»*, и вы набросили мне петлю на шею, милостивая государыня». Этому обращению я выучилась у портнихи, от нее я узнала, что таким дамам следует говорить «милостивая государыня».

Она кричала, плакала и пыталась обнять меня, но я держала у груди нож острием вперед; она говорила о гимназиях и университетах, кричала и плакала, но я выбежала через черный ход в сад, а потом в поле, прибежала к священнику и рассказала ему все. Он сказал: «Она твоя мать, а родительские права есть родительские права; пока ты не станешь совершеннолетней, право на ее стороне; дело скверное». Я возразила ему: «Разве она не потеряла это право, когда играла в игру под названием *«он так велел»*?» Священник ответил: «Ты хитрое создание, запомни этот довод хорошенько». Я запомнила этот довод и без конца приводила его, когда они начинали говорить о голосе крови. «Я не слышу голоса крови, — повторяла я, — совершенно не слышу». Они удивлялись. «Но ведь это невозможно, подобный цинизм противоестествен». — «Нет, — говорила я, — *«он так велел»* — вот что противоестественно». Они отвечали: «Но ведь это случилось уже больше десяти лет назад, и твоя мать раскаивается в своем поступке». Я говорила: «Есть поступки, которые нельзя искупить даже раскаянием». «Неужели ты хочешь быть неумолимей самого господа бога, который судит нас?» — спросила она. «Я не бог, — ответила я, — и не могу быть такой милосердной, как он». Меня оставили у моих родителей. Но одному я не сумела помешать: отныне меня зовут не Марианна Шмитц, а Марианна Дросте. У меня было такое чувство, словно мне что-то вырезали... Я все еще вспоминаю своего маленького братика, которого заставили играть в игру под названием *«он так велел»*, — тихо прибавила она. — Ты по-прежнему считаешь, что бывают более страшные истории, такие, что их нельзя даже рассказать?

— Нет, нет, — сказал Йозеф, — Марианна Шмитц, я все тебе расскажу.

Марианна отняла руку от его глаз, он выпрямился и посмотрел на нее; она старалась не улыбаться.

— Такого ужаса твой отец не сделал бы, — сказала она.

— Да, — согласился он, — такого ужаса он не сделал бы, хотя все же сделал нечто ужасное.

— Пошли, — сказала она, — расскажешь мне в машине, скоро уже пять часов, им придется нас ждать; если бы у меня был дедушка, я бы не заставляла его ждать, а если бы у меня был такой дедушка, как у тебя, я бы для него ничего не пожалела.

— А для моего отца? — спросил Йозеф.

— Его я пока не знаю, — ответила Марианна, — пошли. И не трусь, Расскажи ему все при первом же удобном случае. Пошли.

Она заставила его встать, и, когда они сели в машину, он, как и раньше, положил ей руку на плечо.



Молодой банковский служащий бросил на Шреллу сочувственный взгляд, когда тот пододвинул к нему по мраморной доске пять английских шиллингов и тридцать бельгийских франков.

— И это все?

— Да, все,— сказал Шрелла.

Служащий взялся за арифмометр и с неудовольствием покрутил ручку, ручка вращалась так недолго, что уже в этом, казалось, было что-то унижительное для Шреллы; служащий быстро написал несколько цифр на бланке и подвинул к Шрелле пятимарковую бумажку, четыре монетки по десять пфеннигов и три по одному.

— Следующий, прошу вас.

— Не можете ли вы сказать, как проехать в Блессенфельд? — тихо спросил Шрелла.— Вы не знаете, туда все еще ходит одиннадцатый номер?

— Ходит ли одиннадцатый номер в Блессенфельд? Но ведь я не справочное бюро,— сказал молодой служащий,— впрочем, я, право, не знаю.

— Спасибо.— Шрелла сунул деньги в карман и отошел, пропустив к окошку какого-то господина, который положил на мраморную доску пачку швейцарских франков; уходя, Шрелла слышал, как ручка арифмометра начала почтительно вращаться, совершая оборот за оборотом. Пренебрежение, облеченное в вежливую форму, действует сильнее всего, подумал Шрелла.

Зал ожидания на вокзале. Лето. Солнце. Веселые лица. Конец недели. Бои из отеля тащат чемоданы на перрон; молодая женщина стоит, высоко подняв табличку с надписью: «Отъезжающие в Лурд, собирайтесь здесь». Газетчики... цветочные киоски... Девушки и юноши с пестрыми купальными полотенцами под мышкой.

Шрелла перешел вокзальную площадь, остановился на островке для пешеходов и начал изучать трамвайные маршруты: одиннадцатый номер все еще ходил в Блессенфельд; сейчас он стоит у светофора, между отелем «Принц Генрих» и боковым приделом Святого Северина; а вот он подошел к остановке; все пассажиры постепенно выходят. Шрелла стал в очередь, выстроившуюся перед загородкой кондуктора, заплатил за проезд, сел, снял шляпу, провел платком по потному лбу и вытер стекла очков; пока трамвай трогался, он тщательно ждал, что в нем пробудятся какие-то чувства, но чувства так и не пробудились; гимназистом он тысячи раз ездил на одиннадцатом номере; пальцы его попутчиков были измазаны чернилами, мальчишки без умолку болтали о всяких пустяках, и это всегда действовало ему на нервы; они говорили о сечении шара, об ирреалисе и плюсквамперфекте, о бороде Барбароссы, которая проросла через стол; болтали о *«Коварстве и любви»*, о Ливии и об Овидии в зеленовато-сером картонном переплете; чем дальше трамвай уходил от центра, тем тише становилась болтовня; те, кто рассуждал с наибольшим апломбом, сходили в центре и растекались по широким сумрачным улицам, застроенным солид-

ными домами; те, кто говорил несколько менее уверенно, сходили в новых районах и разбредались по более узким улицам с менее солидными домами; в трамвае оставалось всего лишь два-три гимназиста, ехавших в Блессенфельд, где были самые несолидные дома; когда трамвай, покачиваясь, подъезжал к конечной остановке, минуя огороды и гравийные карьеры, разговор входил в нормальное русло.

— Твой отец тоже бастует? У Грессигмана дают сейчас уже четыре с половиной процента скидки.

— Маргарин подешевел на пять пфеннигов.

Около парка, где летом всю зелень быстро вытаптывали, где песок вокруг небольших прудов был изрыт тысячами детских ножек и густо усеян мусором — клочками бумаги и осколками бутылок, на углу Груффельштрассе, где склады старьевщиков все снова и снова наполнялись железным ломом и тряпками, бумагой и бутылками, открылся жалкий ларек с лимонадом: тощий безработный решил попытать счастья в торговле; за короткое время он разжирел, отделал свою будку стеклом и нержавеющей сталью, оборудовал блестящие автоматы и, нажравшись пфеннигов, стал барином, хотя ему все еще приходилось время от времени сбавлять цену за стакан лимонада на два пфеннига, с опаской предупреждая клиента:

— Только больше никому не говори.

Одиннадцатый номер, покачиваясь из стороны в сторону, проехал по центру, а потом начал приближаться к Блессенфельду, минуя огороды и гравийные карьеры, но чувства так и не пробудились в Шрелле; тысячи раз Шрелла слышал названия этих остановок: Буассерештрассе, Северный парк, Блесский вокзал, Внутреннее кольцо; но в этот солнечный день, когда почти пустой трамвай подъезжал к конечной остановке, все названия казались ему незнакомыми, как будто их произносили во сне, и сон этот видел не он, а другой человек, тщетно пытавшийся рассказать ему об увиденном; теперь названия остановок звучали, как вопли о помощи, доносившиеся из густого тумана.

Там, на углу Парковой улицы и Внутреннего кольца, стояла будочка, где мать попыталась было торговать жареной рыбой, но потерпела неудачу из-за своего чересчур мягкого сердца:

— Я не могу отказать голодным ребятишкам в кусочке рыбы, ведь они видят, как я ее жарю.

Отец отвечал:

— Ну конечно, ты не можешь, но нам придется закрыть лавочку, мы потеряли кредит, разорились, торговцы больше не отпускают нам товара.

Пока кусок рыбного филе, обваленный в сухарях, жарился в кипящем масле, мать накладывала на картонную тарелочку две-три ложки картофельного салата; *сострада, сердце матери твердым не оставалось*; из ее голубых глаз катились слезы; соседки шептались друг другу: «Она выплачет себе всю душу». Мать перестала есть и пить, из пышной, цветущей женщины она превратилась

в худосочную бледную немочь; от пригожей буфетчицы из привокзального буфета — общей любимицы — осталась только тень; целыми днями она бормотала: «О господи! О господи!» — и перелистывала истрепанные страницы сектантских молитвенников, возвещавших о светопреставлении; на пыльных улицах развевались красные флаги, и в то же время там проносили плакаты с портретами Гинденбурга; то и дело слышались крики и выстрелы; вспыхивали драки; пели фанфары и гремел барабан. В гробу мать казалась совсем девочкой — такая она была маленькая и худая; ее похоронили на кладбище для бедняков, на могиле посадили астры и поставили тонкий деревянный крест с надписью: «Эдит Шрелла, 1896—1932»; мать выплакала себе всю душу, а потом ее плоть смешалась с землей на Северном кладбище.

— Конечная остановка, — объявил кондуктор, вылезая из-за своей загородки и закуривая окурочку сигареты. — Дальше мы, к сожалению, не поедем, — добавил он, проходя вперед.

— Спасибо.

Тысячи раз он садился в трамвай и выходил из него на этом месте... конечная остановка одиннадцатого номера... где-то здесь, между ямами, вырытыми землечерпалкой, и бараками, обрывались ржавые рельсы, которые проложили тридцать лет назад, намереваясь удлинить трамвайную линию; а вот и ларек с лимонадом: нержавеющая сталь, стеклянные сифоны, блестящие автоматы, аккуратно разложенные плитки шоколада.

— Мне, пожалуйста, стакан лимонаду.

Зеленоватая жидкость в безукоризненно чистом стакане напоминала вкусом душистый ясенник.

— Пожалуйста, сударь, если вам не трудно, бросьте бумагу в урну. Вкусная вода?

— Да, спасибо.

Куриные ножки и мягкая куриная грудка, хорошо зажаренные в масле наивысшего качества, были вложены в целлофановый пакетик из набора для пикника и заколоты булавками; курица еще не успела остыть.

— Какой аппетитный запах. Не хотите ли еще стакан лимонаду?

— Нет, спасибо. Дайте мне, пожалуйста, полдюжины сигарет.

В раздобревшей торговке лимонадом еще можно было узнать тоненькую красивую девочку, какой она была прежде. Правда, теперь ее голубые детские глазки, которые в былые дни исторгли из груди мечтательного капеллана, готовившего детей к первому причастию, такие слова, как «ангельски чистое невинное дитя», застыли, стали жесткими глазами торговли.

— Девяносто пфеннигов за все, прошу вас.

— Спасибо.

Кондуктор одиннадцатого номера дал звонок к отправлению; Шрелла слишком замешкался, теперь ему предстояло пробыть в Блессенфельде целых двенадцать минут до следующего трамвая; он закурил, медленно допил лимонад и, глядя на розовое каменное лицо торговли, попытался вспомнить, как ее звали когда-то; это

белокурое создание очень быстро утратило свою ангельскую чистоту; девушка носилась с распущенными волосами по парку и завлекала юношей в темные подъезды; она вымогала любовные клятвы у охрипших от волнения подростков; а ее брат, такой же белокурый и такой же ангельски чистый, тщетно подбивал мальчишек со всей улицы на благородные подвиги, он служил подмастерьем у столяра и считался лучшим бегуном на сто метров; однажды на рассвете его обезглавили из-за его собственного безрассудства.

— Пожалуйста, дайте мне еще стаканчик,— сказал Шрелла.— Я передумал.

Теперь он разглядывал безукоризненно ровный пробор молодой женщины, которая, наклонившись вперед, подставила стакан под струю лимонада из сифона; брата этой девочки, похожего на ангела, звали Ферди, а ее имя было Эрика Прогульске, это имя осипшие мальчишки шепотом передавали друг другу, подобно паролю, открывавшему доступ к райскому блаженству; она спасала мальчиков от невыразимых мук и, как говорили, *делала это бесплатно*, потому что ей так нравилось.

— Мы, кажется, знакомы? — Она с улыбкой поставила стакан лимонада на стойку.

— Нет,— возразил Шрелла, улыбаясь,— по-моему, нет.

Воспоминания ни в коем случае нельзя размораживать, не то ледяные узоры превратятся в тепловатую грязную водичку; нельзя воскрешать прошлое, нельзя извлекать строгие детские чувства из размякших душ взрослых людей; того и гляди узнаешь, что теперь та же девушка *делает это за плату*; осторожно! Главное — не заводить разговоров.

— Да, тридцать пфеннигов. Спасибо.

Сестра Ферди Прогульске посмотрела на него с профессиональной приветливостью. Меня ты тоже избавила от мук и *сделала это бесплатно*, не взяла даже шоколадку, которая совсем растаяла у меня в кармане, а ведь шоколадка не была платой, я просто хотел подарить ее тебе, но ты не взяла шоколадку, твой сострадательный рот и твои руки спасли меня; надеюсь, ты не рассказывала об этом Ферди; ведь сострадание теряет силу, если тайна не сохраняется; тайны, облеченные в слова, убийственны; надеюсь, Ферди ничего не знал в то июльское утро, когда он в последний раз видел небо; я был единственный подросток на всей Груффельштрассе, согласившийся совершать благородные подвиги. Эдит мы тогда вообще не принимали в расчет, ей было всего двенадцать лет, и никто еще не мог разгадать, какое у нее мудрое сердце.

— Мы правда не знакомы?

— Да, уверен.

Сегодня ты приняла бы от меня подарок, твое сердце стало твердым, оно уже не сострадает; за несколько недель ты лишилась своей детской безгрешности, которую сохраняла даже в грехе; ты решила, что куда лучше жить не сострадая, ведь ты вовсе не хотела стать слезливой белокурой размазней, которая готова

выплакать себе всю душу; нет, мы не знакомы, не будем размораживать ледяные узоры. Спасибо, до свидания.

Напротив все еще помещалась пивная «Блессенский уголок», где отец работал кельнером, он подавал там пиво, водку и котлеты, и так каждый день; смесь ожесточения и кротости придавала его чертам совершенно неповторимое выражение; у него было лицо мечтателя, которому безразлично, где он служит, — разносит ли он в блессенфельдской пивной пиво, водку и котлеты, подает ли в «Принце Генрихе» омаров и шампанское или же кормит завтраками в Верхней гавани утомленных бессонной ночью проституток, предлагая им пиво, биточки, шоколад и черри-бренди; следы этих завтраков — липкие пятна на манжетах — отец приносил домой; он приносил домой также щедрые чаевые, шоколад и сигареты, но никогда не приносил того, что было у всех других отцов, — праздничного настроения, которое разрешалось либо криком и ссорами, либо любовными клятвами и слезами примирения; на отцовом лице всегда было выражение ожесточенной кротости; этот падший ангел прятал Ферди под пивной стойкой; там, между трубками от сифонов, полицейские и нашли белокурого Ферди, который улыбался даже перед лицом смерти; в тот вечер с манжет отца, как всегда, смыли липкие пятна, его кельнерскую рубашку накрахмалили так, что она стала жесткой и ослепительно белой; они забрали отца только на следующее утро; сунув под мышку бутерброды и черные лаковые ботинки — он как раз собрался ехать на службу, — он сел в полицейскую машину и с того дня *исчез бесследно*; на его могиле не было ни белого креста, ни астр — кельнер Альфред Шрелла *исчез. Его убили даже не при попытке к бегству, он просто бесследно исчез.*

Эдит размешивала крахмал, начищала запасную пару черных ботинок отца, стирала белые галстуки, а я в это время учился, играючи изучал Овидия и сечения конусов, дела и замыслы Генриха I, Генриха II и Тацита, дела и замыслы Вильгельма I и Вильгельма II, учил наизусть Клейста, изучал стереометрию; я был очень способный, необычайно способный ученик; мне, сыну бедняка, так же как и моим товарищам, приходилось преодолевать во время учения тысячи препятствий; кроме того, судьба избрала меня для свершения благородных подвигов, и я еще позволял себе, так сказать, некоторую роскошь — читал Гёльдерлина.

До отхода трамвая оставалось еще семь минут. Дом 17 на Груффельштрассе был заново оштукатурен, перед ним стояли зеленая машина, красный велосипед и два грязных детских самоката. Я тысячу раз звонил в эту дверь, нажимал на тусклую латунную кнопку звонка; до сих пор мои пальцы помнят, как я это делал; вместо «Шрелла» там теперь написано «Трессель», а вместо «Шмитц» — «Хуман», все фамилии новые, за исключением Фруля. К Фрулю приходили занять стакан сахара или стакан муки, немножко уксуса или рюмочку растительного масла для салата. Сколько стаканов и рюмок мы взяли в долг у Фруля, и какие высокие проценты нам приходилось платить! Госпожа Фруль давала нам пол-

стакана и полрюмки, а потом проводила черточку на двери, где было написано «Му.», «Сах.», «Укс.» или «Масл.»; эти черточки она стирала большим пальцем только в том случае, если ей возвращали целый стакан или целую рюмку; зато, приходя в лавочку или обсуждая с приятельницами за яичным ликером и картофельным салатом животрепещущие гинекологические проблемы, она повторяла: «Боже, до чего люди глупы»; госпожа Фруль уже давно приняла *«причастие буйвола»* и заставила мужа и дочь последовать ее примеру, она пела у себя в квартире *«Дрожат дряхлые кости»*.

Нет, никаких чувств в Шрелле не пробудилось, ровным счетом никаких; только в ту минуту, когда он прикоснулся пальцем к бледно-желтой латунной кнопке звонка, что-то в нем дрогнуло.

— Вы кого-нибудь ищете?

— Да,— ответил он,— я ищу семью Шрелла, разве они здесь больше не живут?

— Нет,— сказала девочка,— если бы они здесь жили, я бы знала.— Девочка была краснощекая и хорошенькая; она балансировала на самокате, держась за стену.

— Нет, таких здесь никогда не было.— Она умчалась на своем самокате; болтая ножкой, пролетела по тротуару и свернула в проулок с криком: — Эй, кто тут знает Шреллу?

Шрелла задрожал: вдруг кто-нибудь помнит их семью; тогда ему придется подойти, поздороваться и поговорить о прошлом. «...Да, Ферди они поймали... и твоего отца тоже... А Эдит удачно вышла замуж».

Но краснощекая девочка безуспешно носилась взад и вперед на своем грязном самокате; описывая смелые кривые и переезжая от одной кучки людей к другой, она безуспешно взывала к открытым окнам:

— Эй, кто тут знает Шреллу?

Раскрасневшись, она вернулась к нему, сделала изящный разворот, остановилась и сказала:

— Нет, сударь, таких здесь никто не знает.

— Спасибо,— сказал Шрелла, улыбаясь,— дать тебе пфенниг?

— Да.— Просияв, девочка с шумом умчалась к киоску с лимонадом.

— Я согрешил, тяжко согрешил,— с улыбкой бормотал Шрелла, возвращаясь на конечную остановку,— я запил дешевым лимонадом с Груффельштрассе курицу из отеля «Принц Генрих»; и я не потревожил прошлое, не разморозил ледяные узоры, не дал зажечься искоркам в глазах Эрики Прогульске, не дал ей узнать меня и произнести имя Ферди; только мои пальцы напомнили мне о былом, прикоснувшись к давно знакомой кнопке звонка из бледно-желтой латуни.

Казалось, Шрелла медленно проходил сквозь строй, пронзаемый взглядами людей, которые стояли на тротуарах и в открытых дверях или высовывались из окон, внимательно наблюдая за улицей, и заодно грелись на летнем солнышке и наслаждались субботним вечером; неужели никто из них так и не узнает его в плаще

чужеземного покроя, не узнает его по очкам, по походке, по прищуру глаз; когда-то они без конца дразнили его за чтение Гёльдерлина, распевали ему вслед: «Шрелла, Шрелла, Шрелла помешался на стихах».

Он в испуге отер лоб, снял шляпу и, остановившись на углу, оглянулся; никто не пошел за ним; молодые парни на мотоциклах, наклонившись вперед, шептали девушкам слова любви; в пивных бутылках на подоконниках отражалось солнце; напротив все еще стоял дом, где родился и жил Ферди, быть может, там еще сохранилась латунная кнопка, на которую этот ангел из предместья десятки тысяч раз нажимал пальцем; фасад был выкрашен зеленой краской, на нем сверкала аптечная витрина и красовалась реклама зубной пасты — прямо под окном, откуда так часто выглядывал Ферди.

А с той вон дорожки в парке в один июльский вечер двадцать три года назад Роберт увлек Эдит в кустарник; теперь там сидели на лавочках пенсионеры, рассказывали друг другу анекдоты, по запаху определяли сорт табака и сетовали на невоспитанность детей, играющих поблизости; матери с раздражением призывали на головы своих непослушных чад всяческие бедствия и предвещали им ужасную гибель от атомной бомбы. Юноши, держа молитвенники под мышкой, возвращались с исповеди, размышляя, нарушить ли им свое благочестивое настроение уже сегодня или потерпеть до завтра.

Надо было ждать еще целую минуту, пока трамвай отправят; вот уже тридцать лет эти ржавые рельсы убегают в никуда; сестра Ферди налила зеленый лимонад в чистый стакан; вагоновожатый зазвонил, призывая пассажиров садиться; усталые кондукторы гасили сигареты, поправляли сумки и становились на свои места, потом и они предостерегающе зазвонили; далеко-далеко, там, где обрывались проржавевшие рельсы, какая-то старушка пустилась бежать к остановке.

— Мне до Главного вокзала,— сказал Шрелла,— с пересадкой в Гавани.

— Сорок пять пфеннигов.

Сперва шли совсем несолидные дома, потом не очень солидные, а под конец — солидные.

Пора пересаживаться, шестнадцатый номер все еще ходит в Гавань.

Шрелла увидел магазин стройматериалов, угольные склады, грузовые причалы; стоя у балюстрады старой таможни, он прочел вывеску: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты».

Стоит только свернуть и пройти минуты две, как круг воспоминаний сомкнется; время, наверное, пощадило руки госпожи Тришлер, так же как глаза ее старого мужа и фотографию Алоиза на стене; он увидит пивные бутылки, связки лука, помидоры, хлеб и табак; увидит суда на якоре и шаткие сходни, по которым когда-то проносили свернутые паруса, чтобы потом отправить эти гигантские коконы вниз по Рейну, к туманному Северному морю.

Теперь здесь царила тишина; за забором у Михаэлиса лежала гора недавно привезенного угля, а на складе стройматериалов — штабели ярко-красных кирпичей; тишину еще усугубляло шарканье сапог ночного сторожа, расхаживавшего позади заборов и барачников строителей.

Улыбаясь, Шрелла облокотился на ржавые перила, оглянулся и в испуге застыл: он не знал, что построили новый мост, и Неттлингер тоже ничего не сказал ему об этом; мост широко раскинулся над всей Старой гаванью; как раз в том месте, где когда-то был дом Тришлера, теперь возвышались темно-зеленые быки; тень от моста падала на набережную, где раньше стоял трактир для грузчиков, а посередине реки гигантские стальные ворота замыкали голубую пустоту.

Отцу больше всего нравилось работать в пивной Тришлера, обслуживать речников и их жен, которые долгими летними вечерами сидели в саду на красных стульях; Алоиз, Эдит и он удили рыбу в Старой гавани; там он впервые познал своим детским разумом вечность и бесконечность, до сих пор он встречал эти понятия только в стихах; на противоположном берегу по вечерам звонили колокола Святого Северина, возвещая мир и спокойствие; под колокольный звон Эдит, стоя у реки, повторяла движения поплавок: ее бедра, ее беспокойные ладони и все ее тело двигались вместе с плывущими на волнах поплавками; казалось, она плывет; за все это время ни у кого из них ни разу не клюнула рыба.

Отец подавал золотистое пиво с белой пеной; в эти летние вечера его лицо казалось скорее кротким, чем ожесточенным; радостно улыбаясь, он отказывался от чаевых, потому что *все люди братья*. Братья! Братья! Он громко произносил это слово в те летние вечера; рассудительные речники тихонько посмеивались, а их красивые, уверенные в себе жены качали головой (уж очень детским казалось им воодушевление отца), тем не менее они аплодировали ему; все они были братья и сестры.

Шрелла медленно отошел от балюстрады и двинулся вдоль гавани, где старые понтоны и лодки ржавели в ожидании торговцев железным ломом; войдя в зеленую тень от нового моста, он увидел на середине реки краны, которые усердно грузили обломки конструкций на баржи; железо со скрежетом расплющивалось под тяжестью все новых и новых глыб; Шрелла разыскал помпезную лестницу, спускавшуюся к реке, и почувствовал, что ее широкие ступени вынуждают его идти торжественным шагом; пустая чистая автострада с наивной доверчивостью взбегала на высокий берег реки, туда, где раньше был мост; но щиты со скрещенными костями и гигантскими черепами — черными на белом фоне — издевались над этой доверчивостью; путь на запад преграждало слово «*смерть, смерть*»; зато на восток тянулась совсем пустая дорога, петлявшая среди ослепительно яркой зелени бескрайних свекловичных полей.

Шрелла отправился дальше, протиснулся между словом «*смерть*» и скрещенными костями, миновал барак строителей,



мимоходом успокоив ночного сторожа, который уже начал было предостерегающе размахивать руками, но опустил их, обезоруженный улыбкой Шреллы. Дойдя до самого края набережной, Шрелла увидел ржавые железные балки, на которых висели глыбы бетона; эти несокрушимые балки, продержавшиеся целых пятнадцать лет после взрыва, воочию демонстрировали высокое качество германской стали; за пустыми стальными воротами дорога шла мимо площадки для игры в гольф, а потом вновь терялась среди ослепительной зелени бескрайних свекловичных полей.

Там дальше было кафе «Бельвю». Вдоль набережной шла аллея. Справа тянулись спортивные площадки, где играли в лапту. Лапта! «Мяч, который забил Роберт». Он вспомнил, как они толкали киями бильярдные шары в пивной в Голландии; красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; монотонная музыка шаров звучала почти так же, как грегорианская литургия, а в бесконечных геометрических фигурах, которые три шара очерчивали на зеленом сукне, была своя строгая поэзия; никогда не принимай *«причастия буйвола»*, покорно терпи истязания, *«паси овец Моих»* на пригородных лужайках, где играют в лапту, на Груффельштрассе и на Модестгассе, в английских предместьях и за тюремной решеткой, *«паси овец Моих»*, где бы ты их ни встретил, даже тех, кто ничему не научился, кроме чтения Гёльдерлина и Тракля, тех, кто пятнадцать лет подряд спрягает на классной доске: «Я вяжу, я вязал, я буду вязать, я вязал бы...» А в это время дети Неттлингера играют в бадминтон на безукоризненно подстриженных газонах — лучше всего их, кажется, подстригают англичане; в это время красивая, выхоленная жена Неттлингера — на редкость выхоленная — кричит с террасы своему мужу, покоящемуся в великолепном шезлонге: «Давай я подолью тебе капельку джина в лимонную воду». И Неттлингер отвечает: «Хорошо, только пусть капелька будет побольше!»; жена Неттлингера, восхищенная остроумием своего супруга, хихикает, подливает ему джина в стакан, а потом, выйдя в сад, садится рядом с ним в такой же красивый шезлонг и наблюдает за игрой старшей дочери в бадминтон; девушка чуточку слишком худая, немножко слишком костлявая, ее красивое лицо слишком серьезно; наигравшись до изнеможения, она кладет ракетку и садится на краю газона у ног папочки и мамочки («Смотри только не простудись, родная») и спрашивает, как всегда серьезно: «Папочка, объясни мне толком, что такое демократия?» И вот для папочки наступает желанный миг, когда он может напустить на себя торжественный вид; он вынимает изо рта сигару, ставит стакан с лимонадом («Сегодня ты куришь уже пятую сигару, Эрнст-Рудольф!») и начинает объяснять: «Демократия — это...»

Нет, нет, я не обращаюсь к тебе ни в частном порядке, ни в служебном, я не стану выяснять свой правовой статус. Как ты сказал? *«Я делаю это бесплатно»*. В кафе «Цонз» я когда-то дал ребяческую клятву быть благородным, даже себе во вред; мое правовое положение останется невыясненным; возможно, впрочем, Роберт

уже все выяснил с помощью динамита. Научился ли он за эти годы смеяться или по крайней мере улыбаться? Роберт был неизменно серьезен. Он не мог примириться с гибелью Ферди. План мести Роберт воплотил в формулы, он запечатлел их в своем мозгу и всюду носил с собой этот легкий груз — неопровержимые формулы; он хранил их на фельдфебельских и офицерских квартирах, держал их при себе шесть лет подряд и ни разу не рассмеялся. А ведь Ферди улыбался даже в ту минуту, когда его уводили; он был ангелом из предместья, выросшим на навозной куче Груффельштрассе. Только три квадратных сантиметра кожи на пальце Шреллы, дотронувшемся до кнопки звонка, ощутили прошлое; он вспомнил обожженные ноги учителя гимнастики и последнего агнца, убитого осколком; *отец бесследно исчез, его убили даже не при попытке к бегству*. И никто так и не нашел мяча, который забил Роберт.

Шрелла бросил окуроч в реку, встал и медленно побрел обратно; он снова протиснулся между словом «смерть» и скрещенными костями, кивнул сторожу, которого потревожил, оглянулся на кафе «Бельвю» и зашагал вниз по чистой, пустынной автостраде, туда, где ослепительная зелень свекловичных полей, сверкавшая на солнце, сливалась с горизонтом; он знал, что шоссе в какой-то точке пересекает линию шестнадцатого номера, на шестнадцатом он за сорок пять пфеннигов доедет до вокзала; Шрелла мечтал поскорее очутиться в гостинице, теперь ему была по душе неприятельность этого случайного жилья, полная безличность обшарпанных гостиничных номеров, как две капли похожих один на другой; в гостинице не таяли ледяные узоры воспоминаний, там он не имел ни гражданства, ни родины; утром заспанный кельнер принесет ему невкусный завтрак, манжеты у кельнера окажутся не совсем чистыми, а грудь рубашки будет накрахмалена не так хорошо, как когда-то крахмалила мать; если кельнеру больше шестидесяти, он, возможно, рискнет задать ему вопрос: «Скажите, вы не знали кельнера по фамилии Шрелла?»

Он шел все дальше по пустынному, чистому шоссе; ослепительная зелень свекловичных полей простиралась до самого горизонта; у Шреллы не было с собой вещей, он сунул руки в карманы и бросил на дорогу несколько монет, как говорится, для Генделя и Гретель. После смерти Эдит и отца, после смерти Ферди почтовые открытки стали для Шреллы единственно приемлемым средством связи с прошлым: «Дорогой Роберт, живу хорошо, надеюсь, ты тоже; передай, пожалуйста, привет племяннице и племяннику, которых я так и не видел, и твоему отцу». Двадцать два слова, слишком много слов; лучше все зачеркнуть и написать сначала: «Мне живется хорошо, надеюсь, тебе тоже, кланяйся Рут, Йозефу, твоему отцу»; одиннадцать слов; половины слов оказалось достаточно, чтобы выразить ту же мысль; зачем ездить к Фемелям, пожимать им руки, целую неделю не спрятать «я вяжу, я вязал, я буду вязать»; неужели лишь для того, чтобы убедиться, что ни

Неттлингер, ни Груффельштрассе не изменились и что все осталось по-прежнему, кроме рук госпожи Тришлер?

Свекловичная ботва доходила до самого горизонта, казалось, небо покрыто было серебристо-зеленым оперением; где-то внизу в туннеле, покачиваясь, загрохотал шестнадцатый номер. Сорок пять пфеннигов; все подорожало. Наверное, Неттлингер еще не кончил объяснять, что такое демократия; смеркалось; голос Неттлингера стал мягче, дочь принесла ему из столовой плед — не то югославский, не то датский, не то финский, во всяком случае, прекрасной расцветки; девушка набросила плед на плечи отца, а потом снова присела у его ног, чтобы благоговейно внимать его словам; мать, которая готовила в это время вкусные острые сандвичи и разнообразные салаты, крикнула им из кухни: «Посидите еще в саду, детки, пожалуйста, сегодня такой чудесный день и все так очаровательно».

Образ Неттлингера, живший в его воображении, был более ясным, чем тот Неттлингер, которого он увидел при встрече; Шрелла представил себе, как Неттлингер кладет в рот кусочки филе, запивая их великолепным, лучшим, самым лучшим вином, и в то же время обдумывает, чем бы достойно увенчать свою трапезу — сыром, мороженым, тортом или омлетом. Бывший советник посольства, который прочел Неттлингеру и иже с ним курс «Как стать гурманом», сказал: «Не забывайте одного, господа: кроме знания предмета, пусть самого досконального, здесь требуется еще капелька, хотя бы капелька, индивидуальности».

В Англии он написал как-то на классной доске: «Он должен быть убит»; пятнадцать лет подряд он играл на ксилофоне языка, обучая людей немецкому: «Я живу, я жил, я жил бы, я буду жить. Буду ли я жить?» Он никак не мог понять, почему некоторым людям грамматика кажется скучной. «Его убьют, его убили, он будет убит, его убили бы; кто его убьет?» Мне отмщение и аз воздам, говорит Господь.

— Конечная остановка. Главный вокзал.

Сутолока на вокзале не стала меньше: кто здесь прибывающий и кто отъезжающий? Почему всем этим людям не сидится дома? Когда уходит поезд на Остенде? А может, ему лучше поехать в Италию или во Францию; ведь и в этих странах кто-нибудь тоже жаждет спрятать: «Я живу, я жил, я буду жить, его убьют; кто его убьет?»

— Вам нужен номер в гостинице? За какую цену? ...Ах так, дешевый!..

Любезность молодой дамы, которая водила по адресной книге своим красивым пальчиком, заметно поубавилась; в этой стране явно считалось грехом осведомляться о цене. *Выгоднее всего покупать дорогие вещи. Самое дорогое — это самое дешевое.*

Вы ошибаетесь, красавица, дешевое всегда дешевле — факт, а теперь пусть ваш красивый пальчик спустится в самый низ страны — пансион «Модерн». Семь марок, без завтрака.

— Нет, спасибо, я знаю дорогу на Модестгассе, право же, знаю. Номер шестнадцать, это почти рядом с Модестскими воротами.

Завернув за угол, Шрелла чуть было не наткнулся на кабанью тушу; он быстро отпрянул от темно-серого зверя, но из-за этого чуть не проскочил мимо дома Роберта; здесь ему не грозили воспоминания, он был в этом доме всего один раз; Модестгассе, 8; Шрелла остановился перед начищенной до блеска медной дощечкой и прочел: «Доктор Роберт Фемель. Контора по статическим расчетам. После обеда закрыто». И все же, нажимая кнопку звонка, он почувствовал дрожь; события, разыгравшиеся в его отсутствие, при незнакомом реквизите, волновали его почему-то сильнее, чем все остальное; за этой дверью умерла Эдит, в этом доме родились ее дети, здесь жил Роберт; когда по дому разнесся звонок, он сразу понял, что ему не откроют, одновременно он услышал и телефонный звонок: видимо, бой из отеля «Принц Генрих» сдержал свое слово; я дам ему хорошие чаевые, когда мы с Робертом будем играть в бильярд.

До пансиона «Модерн» всего лишь несколько шагов. Наконец он окажется дома; какое счастье, что в крохотной прихожей не слышно запаха съестного. Хорошо положить усталую голову на чистую подушку.

— Спасибо, я сам найду.

— Третий этаж, третья дверь налево; будьте осторожны, подымаясь по лестнице, сударь, медный прут, придерживающий ковер, местами отстал; некоторые постояльцы ведут себя как дикари. Вас не надо будить? И еще один маленький вопрос, сударь: не желаете ли вы заплатить вперед? Или вы подождете, пока пришлют багаж? Багажа не будет? Да? Тогда, пожалуйста, с вас восемь пятьдесят, включая обслуживание. К сожалению, я вынуждена принимать эти меры предосторожности, сударь. Вы даже не представляете себе, как много на свете прохвостов; вот и приходится быть недоверчивой даже с порядочными людьми; ничего не поделаешь, некоторые ухитряются обвязывать себе вокруг тела простыни, а другие разрывают наволочки на носовые платки. Если бы вы только знали, какие у нас бывают неприятности. Квитанция вам не нужна? Тем лучше, из-за налогов мы все станем нищие. К вам, наверное, придет какая-нибудь дама... ваша жена... Не правда ли? Не беспокойтесь, я пошлю ее наверх...

## 10

Страх его оказался напрасным: он не стал переживать свое прошлое, мертвые формулы не обратились ни в радость, ни в печаль, и его сердце не сжалось от испуга, оно даже не дрогнуло. Да, однажды под вечер он, капитан Фемель, стоял вон там, между подворьем для паломников и самим монастырем, там, где теперь лежала груда пережженных лиловых кирпичей; рядом с ним на-

ходиллся генерал Отто Кёстерс, все слабоумие которого свелось к одной-единственной формуле — «сектор обстрела»; там же стояли лейтенант Шрит и два фенриха — Кандерс и Хохбрет; с убийственно серьезным видом они внушали генералу по кличке «Сектор обстрела» мысль о необходимости поступать последовательно, даже если перед ними самые почитаемые архитектурные памятники; а когда другие офицеры протестовали, когда эти слезливые убийцы вступались за культуру, которую они якобы хотели спасти, кто-либо из четверых произносил страшные слова: «государственная измена», но никто не мог так резко, ясно и логично отстаивать свое мнение, как Шрит, уж он-то умел положить конец колебаниям генерала, доказать ему самым убедительным образом необходимость взрыва.

— Это покажет, что мы верим в победу, господин генерал. Коль скоро мы принесем такую тяжелую жертву, население и солдаты убедятся, что мы еще верим в победу.

И вот генерал уже произносит сакраментальную фразу:

— Я принял решение, взрывайте, господа. Если речь идет о победе, мы не имеем права щадить наши самые священные культурные ценности; за дело, господа.

Руки взлетают к козырькам фуражек, щелкают каблуки.

Неужели ему было когда-то двадцать девять лет, неужели он когда-то был капитаном и стоял рядом с генералом по кличке «Сектор обстрела», на этом самом месте, где новый настоятель с улыбкой приветствует его отца.

— Мы счастливы, господин тайный советник, что вы снова почтили нас своим присутствием, аббатству очень приятно познакомиться с вашим сыном; ваш внук Йозеф для нас уже почти родной, ведь правда, Йозеф? Судьба аббатства тесно переплелась с судьбою семьи Фемель, что касается Йозефа — позвольте уж мне коснуться этой деликатной темы, — то его в наших краях настигла стрела амура; посмотрите, господин доктор Фемель, нынешние молодые люди даже не краснеют, когда о них говорят такие вещи; фройляйн Рут и фройляйн Марианна, к сожалению, я не могу взять вас с собой.

Девушки захихикали. И мать, и Жозефина, и даже Эдит хихикали на этом же самом месте, когда их исключали из общества мужчин. На фотографиях в семейном альбоме ничего не изменилось, кроме лиц и покроя одежды.

— Да, кельи уже заселены, — сказал настоятель, — а вот наше любимое детище — библиотека; пойдемте дальше — это изолятор для больных, к счастью, он в настоящий момент пустует...

Нет, Роберт никогда не разгуливал здесь с мелом в руках, переходя с места на место, никогда не чертил на этих стенах таинственные сочетания букв «X», «Y», «Z», условный код уничтожения, который умели расшифровывать только Шрит, Хохбрет и Кандерс; в монастыре пахло известкой, свежей краской и свежеструганым деревом.

— Да, эта фреска сохранилась благодаря зоркости вашего внука, господин советник, и вашего сына, господин доктор, он спас нам тайную вечерю в трапезной; конечно, мы знаем, что эта картина не является художественно-историческим памятником — надеюсь, вы, господин Фемель, не обидитесь на мои слова, — но в наши дни становится все меньше произведений живописи, написанных в традициях старых мастеров, а мы ведь считаем своим долгом следовать традициям; признаюсь, что эта школа живописи и по сию пору восхищает меня тем, что она так точно воспроизводит детали... посмотрите, с какой любовью и тщательностью выписаны ноги святого Иоанна и ноги святого Петра, ноги пожилого и ноги молодого мужчины; как точно воспроизведены детали.

Нет, здесь никогда не пели *«Дрожат дряхлые кости»*, никогда не отмечали праздник солнцеворота; все это ему приснилось; он был элегантным господином сорока с небольшим лет, сыном элегантного отца и отцом бойкого и очень умного сына, который с улыбкой ходил вместе с ними по монастырю, хотя это, видимо, ему и наскучило. Оборачиваясь к Йозефу, Роберт каждый раз замечал на лице сына приветливую, но несколько усталую улыбку.

— Вы ведь знаете, что было разрушено все, вплоть до хозяйственных построек, мы восстановили их в первую очередь, считая, что они помогут нам создать материальные предпосылки для новой, счастливой жизни; вот коровник; разумеется, у нас электродойка, не смейтесь... я уверен, что даже наш патрон — святой Бенедикт — не стал бы возражать против электродойки... Разрешите предложить вам скромное угощение, добро пожаловать к столу, отведайте нашего знаменитого монастырского хлеба, нашего знаменитого масла и меда; известно ли вам, что каждый умирающий или покидающий свой пост настоятель завещает своему преемнику не забывать Фемелей; мы в самом деле причисляем вас к нашей монастырской братии... а вот и молодые дамы; разумеется, здесь вы снова можете присоединиться к нам.

На простых деревянных столах выставлено угощение — хлеб, масло, вино и мед; Йозеф обнял одной рукой сестру, а другой Марианну, рядом с его светловолосой головой две темноволосые девичьи головки.

— Надеюсь, вы удостоите нас чести и явитесь на праздник освящения аббатства? Канцлер и министры уже дали свое согласие; в этот день к нам пожалуют также несколько иностранных вельмож, нам будет очень приятно приветствовать среди наших гостей и семейство Фемель; моя торжественная проповедь пройдет не под знаком обвинения, а под знаком примирения, примирения с теми силами, которые в порыве слепого усердия разрушили нашу родную обитель; разумеется, я отнюдь не собираюсь мириться с разрушительными силами, снова угрожающими нашей культуре; итак, позвольте пригласить вас на праздник; от всей души прошу оказать нам эту честь.

Я не приеду на освящение, думал Роберт, ведь я не примирился и не примирюсь с теми силами, которые, будучи виновны в смерти Ферди и в смерти Эдит, старались сохранить Святой Северин; нет, я далеко не примирился ни с самим собой, ни с духом примирения, который вы собираетесь провозгласить в вашей праздничной проповеди; обитель была разрушена не в порыве слепого усердия, а в порыве ненависти, отнюдь не слепой, в порыве ненависти, в которой я несколько не раскаиваюсь. Может, сознаться, что это сделал я? Но тогда мне придется причинить боль отцу, хотя он ни в чем не виноват, и, быть может, также и сыну, хотя и он ни в чем не виноват, и вам, преподобный отец, хоть вы тоже ни в чем не виноваты. А кто виноват? Нет, я не примирился с миром, в котором одно движение руки или одно неправильно понятое слово могут стоить человеку жизни.

Но вслух Роберт сказал:

— Большое вам спасибо, преподобный отец, мне будет очень приятно присутствовать на монастырском празднике.

Я не приду, преподобный отец, думал старый Фемель, ведь на празднике я должен буду изображать свой собственный памятник, а не того человека, каким я теперь стал, не того старика, который сегодня утром велел своей секретарше оплевать его памятник; только не пугайтесь; я, преподобный отец, не примирился с моим сыном Отто, переставшим быть моим сыном, сохранившим лишь его внешность, я не примирился и с тем мнением, что здания важнее всего, даже если я сам их строил. На празднике мое отсутствие пройдет незамеченным, меня с успехом заменят канцлер, министры, иностранные вельможи и высокопоставленные церковные сановники... Не ты ли это сделал, Роберт, и побоялся мне признаться? Тебя выдали твои взгляды и жесты во время обхода монастыря; ну что ж, меня это не трогает; быть может, в ту минуту ты думал о мальчике, имени которого я так и не узнал, о кельнере по фамилии Гроль, об овцах, которых никто не пас, в том числе и мы сами; какой уж тут праздник примирения; sorry, но вы, преподобный отец, легко перенесете наше отсутствие, оно пройдет незамеченным; прикажите прибить к монастырской стене мемориальную доску: «Построено Генрихом Фемелем в 1908 году, в возрасте двадцати девяти лет; разрушено Робертом Фемелем в 1945 году, в возрасте двадцати девяти лет»... А чем ты, Йозеф, ознаменуешь свое тридцатилетие? Может, ты заменишь отца в конторе по статическим расчетам? Что ты намерен делать — строить или разрушать? Оказывается, формулы более действенны, чем цемент.

Подбодрите ваше сердце хоралом, преподобный отец, и подумайте хорошенько — неужели вы действительно примирились с духом, разрушившим монастырь?

Но вслух старик сказал:

— Большое вам спасибо, преподобный отец, мы будем очень рады участвовать в вашем празднике.

С лугов и низин уже подымалась прохлада, сухая свекольная ботва стала влажной и темной, обещая богатый урожай; слева от руля белокурая голова Йозефа, рядом с ним, справа — две черноволосые девичьи головки; машина медленно ехала по направлению к городу; вдали зазвучала песня «Мы жали хлеб». Она казалась такой же неправдоподобной, как стройная башня Святого Северина у самого горизонта; разговор опять начала Марианна.

— Разве ты едешь не через Додринген?

— Нет, дедушка просил поехать через Денклинген.

— Я думала, мы поедем кратчайшим путем.

— К шести будем в городе, и то не поздно, — сказала Рут, — за час мы вполне успеем переодеться.

Голоса молодых людей звучали так приглушенно, словно доносились из темных штолен, где горняки, засыпанные землей, пытались шепотом подбодрить друг друга: «Я вижу свет...» — «Да нет, ты ошибаешься...» — «Но я правда вижу свет...» — «Где же?...» — «Разве ты не слышишь стука? Это спасательная команда...» — «Я ничего не слышу».

Неужели мы говорили слишком громко в монастырской комнате для гостей?

Не следует размораживать застывшие формулы, думал Роберт, нельзя облекать тайны в слова, нельзя переживать прошлое — переживания могут убить все, даже такие хорошие, строгие понятия, как любовь и ненависть; неужели на свете и впрямь жил когда-то капитан по имени Роберт Фемель, прекрасно усвоивший жаргон офицерских казино, точно соблюдавший все армейские традиции, приглашавший по долгу службы на танцы жену офицера выше его чином, четко произносивший тосты «за наше любимое отечество»? Шампанское, ординарцы, игра в бильярд — красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому и снова белый по зеленому; однажды вечером перед ним очутился незнакомец с кием в руках и, улыбаясь, представился: «Лейтенант Шрит. Как вы могли заметить по погонам, у меня та же специальность, что и у вас, господин капитан; я подрывник — с помощью динамита защищаю западную культуру». В мозгу у Шрита не было путаницы — он умел ждать и копить силы, ему не надо было каждый раз собираться с мыслями и чувствами, он не упивался трагизмом, и он сдержал свою клятву — взрывал *только* немецкие мосты и *только* немецкие дома, он не тронул ни одной русской хаты, не выбил ни одного русского окна, он ждал, играл в бильярд, не сказал ни одного лишнего слова — и вот наконец добыча оказалась у него в руках, громадная и долгожданная, — аббатство Святого Антония, а на горизонте маячила еще другая добыча, которая потом ускользнула от него, — Святой Северин.

— Не надо так быстро, — вполголоса сказала Марианна.

— Извини, — ответил Йозеф.

— А что мы будем делать здесь в Денклингене?



— Дедушка хочет зайти в лечебницу,— объяснил Йозеф.

— Йозеф,— сказала Рут,— на машине в эту аллею ехать нельзя, разве ты не видишь надпись: «Только для служащих». Ты что, тоже служащий?

Целая процессия двинулась по направлению к заколдованному замку: супруг, сын, внук и будущая невестка.

— Нет-нет,— сказала Рут,— я подожду здесь, у ворот. Идите, пожалуйста.

Я не возражаю, чтобы по вечерам, когда мы с отцом сидим в гостиной, бабушка была с нами; я читаю, он попивает пиво, возится со своей картотекой и раскладывает копии чертежей форматом в две почтовые открытки, как люди раскладывают пасьянс; отец всегда корректен, его галстук хорошо завязан, жилет застегнут на все пуговицы, он ничем не напоминает старого добродушного папашу, отец заботлив, но сдержан: «Не нужны ли тебе книги, платья или деньги на поездки? Не скучаешь ли ты, детка? Может быть, пойдем куда-нибудь? Хочешь, пойдем в театр, в кино или на танцы? Я с удовольствием составлю тебе компанию. Может, ты желаешь еще раз пригласить своих школьных приятельниц к нам в садик на чашку кофе? Сейчас ведь такая хорошая погода».

Вечером перед сном мы гуляем поблизости от дома — доходим до Модестских ворот, потом сворачиваем на Вокзальную улицу и спускаемся вниз до самого вокзала. («Чувствуешь ли ты, детка, дыхание дальних стран?») Потом мы проходим через туннель к Святому Северину, минуем отель «Принц Генрих» («Грец забыл смыть кровь с тротуара») и видим пятна засохшей кабаньей крови, которые совсем почернели; «Уже половина десятого, детка, тебе пора спать, спокойной ночи», отец целует меня в лоб; он всегда приветлив, всегда корректен. «Если хочешь, возьмем экономку. А может, тебе не очень надоела еда, которую приносят из ресторана? По правде говоря, я не люблю чужих людей в доме». Завтрак вдвоем: чай, булочка и молоко; поцелуй в лоб; только иногда он говорит совсем тихо:

— Детка, детка...

— Что случилось, отец?

— Давай уедем.

— Прямо сейчас, сразу, сию секунду?

— Да, не ходи в школу ни сегодня, ни завтра, мы поедем недалеко, только до Амстердама; это чудесный город, детка, там так тихо, а люди такие милые, надо только лучше узнать их.

— Ты их знаешь?

— Да, я их знаю... Чудесно гулять по вечерам вдоль канала... Вода как стекло, совсем как стекло. Тишина вокруг. Ты чувствуешь, какие здесь тихие люди? Нигде люди так не шумят, как у нас. У нас они всегда орут, кричат, хвастаются. Ты не обидишься, если я схожу поиграю в бильярд? А то пойдем вместе, может, тебя это развлечет.

Я никак не могла понять, почему во время игры на него смотрели с таким острым интересом, все — и стар и млад. Окутанный клубами сигарного дыма, поставив около себя на борт кружку пива, он играл в бильярд; не знаю, правда ли они были с ним на «ты», может, это просто особенность голландского языка, может, мне только казалось, что они обращаются к нему на «ты»; во всяком случае, они знали, что его зовут Роберт; букву «р» они перекачивали по нёбу, как твердую конфетку. Да, там было тихо, и каналы казались совсем стеклянными... Мое имя — Рут, я наполовину сирота.

Когда моя мать умерла, ей было двадцать четыре года, а мне три, но я могу представить ее себе только молоденькой девушкой или древней старухой; ей не подходит быть двадцатичетрехлетней женщиной; мать я вижу либо восемнадцатилетней, либо восьмидесятилетней; мне всегда казалось, что они с бабушкой сестры; я знаю тайну, которую взрослые так тщательно скрывают, знаю, что бабушка сошла с ума, я не хочу видеть ее, пока она сумасшедшая; ее безумие — ложь, она прячет скорбь за толстыми стенами лечебницы; мне это знакомо, меня тоже опьяняет скорбь, и тогда я погрязая во лжи; вся жилая половина дома по Модестгассе, восемь, населена призраками. *«Коварство и любовь»*, дедушка построил монастырь, отец взорвал его, а Йозеф снова восстанавливает. Пусть будет так, если бы вы знали, как мне все это безразлично. На моих глазах из подвалов вытаскивали покойников, Йозеф пытался уверить меня, будто это больные, которых повезут в больницу; но разве больных бросают на грузовики, словно мешки с картошкой? А потом я видела, как на перемене наш учитель Кротт тайком пробрался в класс и вытащил у Конрада Греца из ранца завтрак; разглядев лицо Кротта, я смертельно испугалась и начала молить бога: «Прошу тебя, боже, не допусти, чтобы Кротт меня заметил, прошу тебя, прошу...» Я знала, что мне не уйти живой, если Кротт меня обнаружит. Я притаилась за классной доской, где искала свою заколку; из-под доски виднелись мои ноги, но бог сжалился надо мной, учитель меня так и не заметил; зато я увидела его лицо, увидела, как он жует хлеб; потом он вышел из класса; того, кто хоть раз видел такое лицо, нимало не беспокоят взорванные аббатства. Ну и сцена разыгралась потом, когда Конрад Грец обнаружил свою пропажу! Кротт потребовал от всех нас чистосердечного признания: «Дети, скажите мне всю правду, даю вам четверть часа на размышление; за это время виновный должен быть найден, не то...» Осталось всего восемь минут, всего семь минут, всего шесть минут... Я посмотрела на Кротта, он встретился со мной взглядом и бросился ко мне: «Рут, Рут, — кричал он, — это ты взяла?» Я покачала головой и расплакалась, потому что снова смертельно испугалась; Кротт сказал: «О боже, Рут, лучше признайся!» Я с удовольствием взяла бы вину на себя, но боялась, не догадается ли он, что я все знаю. Плача, я покачала головой; осталось всего четыре минуты, потом три, потом две, потом одна, наконец время истекло.

«Проклятые ворюги, обманщики! В наказание извольте написать двести раз подряд: „Не кради“».

Какое мне дело до ваших аббатств, мне пришлось хранить более страшные тайны, мне пришлось пережить смертельный ужас: мертвецов бросали на машины, как мешки с картошкой.

Почему они так холодно разговаривали с этим славным аббатом? Что он им сделал? Разве он кого-нибудь убил, разве он украл чужой бутерброд? У Конрада Греца было всего вдоволь, он ел белый хлеб с печеночным паштетом и хлеб с зеленым сыром; в нашего кроткого благоразумного учителя словно бес вселился, на его лице я читала слово «убийство», убийство возвещала каждая черта его лица; на грузовики бросали трупы, словно мешки с картошкой. Меня забавляло, когда отец начинал издеваться над бургомистром, стоя у большого плана на стене, когда он чертил углем свои значки, приговаривая: «Все это долой, взорвать!» Я люблю отца, люблю его не меньше, с тех пор как узнала об аббатстве... Неужели Йозеф забыл оставить сигареты в машине? Как-то я видела человека, который отдал за две сигареты свое обручальное кольцо. Интересно, за сколько сигарет он отдал бы свою дочь и за сколько — жену? На его лице я прочла прейскурант... десять сигарет... двадцать сигарет... С ним можно было бы столкнуться, с такими всегда можно столкнуться; как ни грустно, отец, но с тех пор, как я знаю насчет аббатства, я с не меньшим аппетитом поедаю монастырский хлеб, мед и масло. Мы будем по-прежнему играть в отца с дочкой, наши отношения останутся такими же чопорными, как и раньше, словно мы исполняем конкурсный танец. После угощения в монастыре следовало бы, собственно говоря, подняться на Козакенхюгель; Йозеф, Марианна и я пошли бы впереди, а дедушка за нами, как мы ходим каждую субботу.

— Ты поспеваешь за нами, дедушка?

— Спасибо, как-нибудь поспею.

— Мы не слишком быстро идем?

— Нет, не беспокойтесь, мои дорогие. Может быть, мне на минутку присесть, или, по-вашему, здесь слишком сыро?

— Песок совершенно сухой и еще совсем теплый, дедушка. Можешь сесть, дай мне руку...

— Разумеется, дедушка, закури свою сигару, ничего плохого не случится.

К счастью, сигареты Йозефа нашлись в машине и зажигалка оказалась исправной.

Дедушка всегда дарит мне куда более красивые платья и джемпера, чем отец, у которого очень старомодный вкус; сразу видно, что дедушка знает толк в молодых девушках и женщинах; я не понимаю и не желаю понимать бабушку; ее сумасшествие — сплошная ложь; она морила нас голодом, и когда ее увезли, я обрадовалась, по крайней мере нас начали кормить досыта; возможно, дедушка прав, возможно, бабушка совершала и совершает большие

дела, но я и слышать ничего не хочу о больших делах, ведь я чуть было не погибла из-за бутерброда с печеночным паштетом и кусочка белого хлеба с зеленым сыром; пусть она приезжает опять домой и коротает с нами вечера, но не надо давать ей ключи от кухни, пожалуйста, не давайте ей ключи от кухни; я вспоминаю голодный блеск в глазах учителя Кротта, и мне становится страшно; боже милостивый, давай им всегда еды вволю, не то в их глазах опять появится этот ужасный блеск; господин Кротт — совершенно безобидный человек, по вечерам он садится в собственную малолитражку и отправляется вместе со всей своей семьей в аббатство Святого Антония на торжественную службу — «Сколько воскресений прошло с троицына дня, сколько с богоявления, сколько с пасхи?» Кротт — симпатичный человек, у него симпатичная жена и двое симпатичных ребятишек.

— Посмотри-ка, Рут, ты заметила, как вырос наш Францхен?

— Да, господин Кротт, ваш Францхен очень вырос.

И я уже начинаю забывать, что в тот день моя жизнь висела буквально на волоске; тогда я так же, как и все, послушно написала двести раз подряд «Не кради»; разумеется, я не отказываюсь ходить на вечеринки к Конраду Грецу, ведь там подают изумительные паштеты из гусяной печенки и белый хлеб с зеленым сыром; если в доме Греца наступают кому-нибудь на ногу или опрокидывают бокал с вином, там не говорят: «Извините, пожалуйста» или «Пардон», там говорят: «Sorry».

Какая теплая трава у обочины дороги, какие у Йозефа ароматные сигареты; с тех пор как я узнала, что аббатство взорвал отец, я с таким же аппетитом уплетаю монастырский хлеб и мед; как красив Денклинген в лучах заходящего солнца; нам надо поторапливаться, ведь на переодевание понадобится минимум полчаса.

## 11

— Подойдите ближе, генерал. Не стесняйтесь, новичков первым делом представляют мне, ведь я прожила в этом распрекрасном доме дольше всех; вы что, хотите проткнуть своей тростью весь земной шар? Земля-то чем виновата? И почему, завидя какую-нибудь стену, часовню или теплицу, вы долго качаете головой и бормочете себе под нос: «Сектор обстрела»? Впрочем, это звучит красиво. «Сектор обстрела» означает зеленую улицу для пуль и снарядов. Как вас зовут? Отто? Кёстерс? Я не терплю фамильярности, не к чему представляться друг другу, к тому же имя Отто уже занято; надеюсь, вы разрешите звать вас просто «Сектор обстрела». Достаточно взглянуть на вас, услышать ваш голос, ощутить ваше дыхание, чтобы понять: вы не только приняли «причастие буйвола», вы питались только им, и больше ничем; в этом случае вы придерживались строгой диеты. Ну, а теперь, новичок, ответьте: какого вы вероисповедания? Католического? Так я и знала, меня бы очень удивило, если бы дело обстояло иначе; значит, вы

умеете прислуживать в церкви; ну конечно, ведь вас воспитал католический патер; извините меня за то, что я смеюсь; вот уже три недели, как мы ищем нового церковного служку; Баллоша они признали здоровым и выписали; может, вы согласитесь помочь нам хотя бы немножко. Ты ведь тихий, а не буйнопомешанный, и твое сумасшествие сводится к одному-единственному пунктику — во всех случаях жизни, когда надо и когда не надо, ты бормочешь: «Сектор обстрела»; ты наверняка сумеешь перекладывать требник с правой стороны алтаря на левую и с левой — на правую, наверняка сможешь преклонять колена перед дарохранительницей. Правда? Здоровье у тебя отличное, все люди твоей профессии — здоровяки, так что ты сумеешь, бия себя в грудь кулаками, произносить слова “*mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*” и еще “*kyrie eleison*”<sup>1</sup>; вот видишь, сведущий генерал, обученный католическим патером, еще может пригодиться; я предложу священнику нашей лечебницы сделать вас своим новым служкой. Ты согласен, не так ли?..

Спасибо, сразу виден настоящий кавалер; нет, вот сюда, пожалуйста, свернем к теплице; я хочу показать вам кое-что, имеющее прямое касательство к вашей профессии, и, пожалуйста, обойдемся без ухаживаний, мы не на уроке танцев, забудьте это, мне уже семьдесят один год, а вам семьдесят три, не целуйте мне ручку, я не желаю заводить здесь стариковский флирт, эту чепуху надо бросить. Посмотри! Что ты видишь за этим зеленоватым стеклом? Правильно, здесь помещается арсенал нашего доброго старшего садовника; он стреляет из этих ружей в зайцев и куропаток, в ворон и косуль, ведь наш садовник страстный охотник; я уже давно заметила у него один очень красивый и удобный черный предмет — пистолет. А ну, выкладывай, чему тебя учили, когда ты был фенрихом и лейтенантом; скажи мне, из такой штуковины и впрямь можно застрелить человека? Почему ты так побледнел, старый рубака, в свое время ты пожирал *«причастие буйвола»* тоннами, а теперь у тебя поджилки трясутся, когда я задаю тебе самые простые вопросы; хватит дрожать; конечно, я малость спятила, но я вовсе не собираюсь приставлять к твоей семидесятитрехлетней груди пистолет, чтобы сэкономить государству твою пенсию, я вовсе не намерена экономить что-либо нашему государству; ответь мне по-военному на мои по-военному четкие вопросы: можно ли выстрелом из пистолета отправить человека на тот свет? Да? Хорошо! Скажи тогда, с какого расстояния лучше всего стрелять, чтобы попасть? Метров с десяти-двенадцати? Самое большее с двадцати пяти?

О боже, почему вы так разволновались? Неужели старые генералы бывают трусами? Вы сообщите куда следует? Здесь некому сообщать; когда-то вам вбили в голову, что все надо доносить начальству, и теперь вы никак не можете избавиться от этой привычки... Хорошо, если желаете, поцелуйте мне ручку, только молчите;

<sup>1</sup> «Господи помилуй» (греч.).

завтра утром вы будете прислуживать в церкви, поняли? В здешней церкви еще никогда не было такого красивого седовласого и представительного служки... Неужели ты не понимаешь шуток? Оружие интересует меня просто так, по той же причине, по какой тебя интересует «сектор обстрела»; неужели ты еще не усвоил, что по неписаному закону каждый обитатель этого милого дома вправе иметь какую-нибудь причуду; тебе, в частности, дозволен заскок с «сектором обстрела»; не бойся, все здесь совершенно секретно... «Сектор обстрела»... вспомни, ведь ты получил хорошее воспитание. «С Гинденбургом вперед! Ура!» Видишь, это тебе понравилось, с тобой всегда следует выбирать надлежащие выражения, теперь свернем и пройдем мимо часовни, а может, ты хочешь войти внутрь и осмотреть арену своей будущей деятельности? Успокойся, генерал, смотри, ты еще не забыл, как входить в церковь, сними шляпу, опусти пальцы правой руки в чашу со святой водой, перекрестись, ну вот, молодец, преклони колена и, глядя на неугасимую лампаду, повторяй слова молитвы: «Ave Maria» или «Отче наш»; тихонько, нет ничего более прочного, чем католическое воспитание; пора вставать, опускай опять пальцы в чашу со святой водой, крестись, уступи даме дорогу, надень шляпу, вот и хорошо; мы опять на улице, какой теплый вечер и какие чудесные деревья растут в этом чудесном парке, а вот и скамейка. «С Гинденбургом вперед! Ура!» Тебе это по душе, да? А как тебе нравится такая фраза: «Хочу ружье, хочу ружье», это тебе тоже по душе, не так ли? Брось шутить; собственно говоря, *после* Вердена с такого рода шутками было раз и навсегда покончено; под Верденом погибли последние кавалеры... кавалеров погибло слишком много, слишком много любовников погибло за один раз. За какие-нибудь два-три месяца было уничтожено ужасно много хорошо воспитанных молодых людей; ты не пробовал подсчитать, сколько учительского пота было пролито напрасно; неужели вам никогда не приходила в голову мысль поставить пулемет в вестибюле ремесленной или торговой школы, в вестибюле гимназии и сразу же после выпускных экзаменов направить струю огня из этого пулемета прямо в сияющие лица юношей, только что окончивших курс? Ты считаешь, это преувеличение? Ну, тогда разреши сказать тебе, что и в действительности многое очень часто кажется преувеличением; с выпускниками тысяча девятьсот пятого, тысяча девятьсот шестого и тысяча девятьсот седьмого годов я сама танцевала; я ходила на пирушки с этими молодцами в фуражках, с этими будущими выпивохами, а потом больше половины всех трех выпусков погибло под Верденом. А как по-твоему, сколько осталось в живых юношей, окончивших школу в тысяча девятьсот тридцать пятом году, в тридцать шестом, в тридцать седьмом, в сорок первом или в сорок втором годах? Какой бы из этих выпусков ты ни взял — результат будет один и тот же; и, пожалуйста, уйми свою дрожь. Я никак не могла предположить, что старые генералы такой трусливый народ. Хорошо, возьми меня за руки. Как меня зовут? Запомни, здесь не спрашивают о таких вещах, здесь не приняты визитные карточки и не

пьют на брудершафт, здесь переходят на «ты» без разрешения, здесь помнят, что все люди братья, даже если они враги. Часть из них, старик, — очень небольшая — приняла *«причастие агнца»*, остальные приняли *«причастие буйвола»*. Меня зовут *«Хочу ружье»*, а моя фамилия *«С Гинденбургом вперед! Ура!»*; откажись полностью от всех твоих мещанских предрассудков и от представлений о приличиях, здесь у нас нет классов. И не жалуйся на проигранную войну. О боже, неужели вы действительно проиграли войну, уже две войны, одну за другой? Таким молодчикам, как ты, я желаю проиграть семь войн подряд. Ну а теперь довольно хныкать, мне наплевать, сколько войн ты проиграл. Надо оплакивать погибших детей, а не проигранные войны... Теперь ты будешь прислуживать в церкви, в церкви нашей денклингенской лечебницы — это в высшей степени почетное занятие; только не говори ничего о немецком будущем; я сама читала в газете, что немецкое будущее полностью обеспечено. А если ты обязательно хочешь поплакать, то не плачь по крайней мере так жалобно. Они поступили с тобой несправедливо? Затронули твою честь? Ты считаешь, что честь поругана, если первый встречный чужеземец может тебя задеть? Ведь правда? Радуйся, в нашем богоугодном заведении тебе будет хорошо, здесь прислушиваются к малейшему стону, здесь считаются с любыми «комплексами»; все дело только в деньгах; если ты беден, тебя ждут побои и смиренная рубашка, зато здесь потакают каждой твоей слабости, тебе разрешат даже выйти погулять и выпить кружку пива в Денклингене; попробуй крикни: «Сектор обстрела! Обеспечьте мне сектор обстрела для третьей армии!» — и сразу же кто-нибудь отзовется: «Слушаюсь, господин генерал»; время воспринимается здесь не в целом, а по частям; оно никогда не становится историей, понимаешь? Я охотно верю, что ты уже видел мои глаза. Ты говоришь, что мои глаза были у человека с красным шрамом на переносице? Я верю тебе, но здесь запрещены воспоминания и догадки, здесь живут только сегодняшним днем: сегодня был Верден, сегодня умер Генрих, сегодня погиб Отто, сегодня тридцать первое мая тысяча девятьсот сорок второго года, сегодня Генрих шепнул мне на ухо: *«С Гинденбургом вперед! Ура!»*; ты его знал, пожимал ему руку, вернее, это он пожимал тебе руку? Хорошо, ну а теперь давай займемся делом, я до сих пор помню, какую молитву было труднее всего выучить служкам; я учила ее со своим сыном Отто и спрашивала эту молитву у него: “*Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui*”, а теперь идет самое трудное, старик, “*ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae sua sanctae*”<sup>1</sup>, повторяя за мной, да нет же, “*ad utilitatem*”<sup>2</sup>, а не “*utilatem*”, эту ошибку делают все... если хочешь, я запишу молитву на бумажке, а не то можешь учить ее по своему молитвеннику, ну а теперь до свидания, пора ужинать, «Сектор обстрела», угощайся на здоровье...

<sup>1</sup> «Да примет господь жертву из рук твоих для хвалы и во славу имени своего и также для пользы нашей и всей святой церкви своей» (лат.).

<sup>2</sup> Для пользы (лат.).

Она прошла мимо часовни по широким темным дорожкам назад к теплицам; одни лишь стены были свидетелями того, как она отперла ключом дверь, тихо проскользнула между цветочными горшками и грядками, от которых тянуло сыростью, и вбежала в контору старшего садовника; она взяла со стола пистолет и опустила его в свою мягкую черную сумочку; кожаное нутро проглотило пистолет; замок легонько щелкнул; с улыбкой поглаживая пустые цветочные горшки, она покинула теплицу и снова заперла дверь; одни только темные стены были свидетелями того, как она вынимала ключ из замочной скважины и медленно шла по широким темным дорожкам обратно к дому.

Хупертс подал ужин ей в комнату — чай, хлеб, масло, сыр и ветчину; улыбнувшись, он взглянул на нее и сказал:

— Вы выглядите просто великолепно, сударыня.

Она положила сумочку на комод, сняла шляпку со своей темноволосой головы, а потом с улыбкой произнесла:

— Скажите, нельзя ли попросить садовника принести мне немного цветов?

— Садовника теперь не найдешь, — ответил Хупертс, — у него выходной, он не появится до завтрашнего вечера.

— А больше никому не разрешается входить в теплицу?

— Никому, сударыня, наш садовник на этот счет очень строг.

— Значит, придется ждать до завтрашнего вечера, а может, я сама куплю цветы в Денклингене или в Додрингене.

— Вы собираетесь пойти погулять?

— Да, возможно. Сегодня такой прекрасный вечер, мне ведь разрешено выходить, не правда ли?

— Конечно, конечно... Вам разрешено... Но, может, все-таки позвонить господину советнику или господину доктору?

— Я сама им позвоню, Хупертс. Пожалуйста, дайте мне городской телефон, только надолго, прошу вас... Хорошо?

— Ну разумеется, сударыня.

Когда Хупертс ушел, она открыла окно и бросила ключ от конторы садовника в яму с компостом, потом снова закрыла окно, налила в чашку чай и молоко, села и придвинула к себе телефонный аппарат.

— Итак, начнем! — тихо сказала она, пытаясь левой рукой унять дрожь в правой руке, протянутой к телефонной трубке.

— Начнем! — повторила она. — Спрятав в сумочке смерть, я готова вернуться к жизни. Никто так и не догадался, что одно прикосновение к холодному металлу излечит меня; они слишком буквально понимали мои слова про ружье, мне вовсе не нужно ружье, достаточно пистолета, начнем, начнем... Скажите мне, который час? Начнем. Бархатный голос в трубке, скажи мне,



остался ли ты таким же и можно ли тебя услышать, набрав тот же номер?

Левой рукой она сняла трубку и услышала гудки телефонной станции.

Стоило Хупертсу нажать кнопку, соединив меня с городом, как время, мир, действительность, немецкое будущее оказались тут как тут; я сгораю от любопытства, как все это будет выглядеть в тот момент, когда я выйду из заколдованного замка.

Правой рукой она набрала номер — три единицы — и услышала бархатный голос, который произнес:

— Первый сигнал будет дан ровно в семнадцать часов пятьдесят восемь минут и тридцать секунд по местному времени.— Напряженная тишина, сигнал, и тот же бархатный голос сказал: — Семнадцать часов пятьдесят восемь минут и сорок секунд.— Время набегало, заливая смертельной бледностью ее лицо, а голос продолжал вещать: — Семнадцать часов пятьдесят девять минут и десять секунд... и двадцать секунд... и тридцать секунд... и сорок секунд... и пятьдесят секунд.— Снова раздался резкий сигнал, и бархатный голос проговорил: — Восемнадцать часов, шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года.

...Генриху исполнилось бы сорок восемь лет, Иоганне сорок девять, а Отто сорок один; Йозефу сейчас двадцать два года, Рут девятнадцать...

Голос в трубке продолжал говорить:

— Восемнадцать часов одна минута...

Осторожно! Иначе я действительно сойду с ума, игра пойдет всерьез, я вновь вернусь к сегодняшнему дню, на этот раз навеки, я не сумею найти лазейку, буду тщетно бегать вокруг высоких стен в поисках выхода; время предъявляет мне свою визитную карточку, словно вызов на дуэль, но его нельзя принять. Сейчас шестое сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, восемнадцать часов одна минута и сорок секунд; кулак возмездия разбил мне зеркальце, у меня осталось всего лишь два осколка, в них я увидела свое лицо, покрытое смертельной бледностью; да, я слышала, как несколько часов подряд грохотали взрывы, слышала, как люди возмущенно шептали: «Они взорвали наше аббатство»; эту страшную новость, которую я не нахожу такой уж страшной, передавали из уст в уста сторожа и привратники, садовники и булочники.

«Сектор обстрела»... Красный шрам на переносице... синие глаза... кто же это был? Неужели он? Кто он? Я бы взорвала все аббатства на свете, если бы мне удалось вернуть Генриха или воскресить из мертвых Иоганну, Ферди, кельнера по фамилии Гроль и Эдит или хотя бы понять, кем был Отто? Он погиб под Киевом; это звучит глупо, хотя и отдает историей; хватит, играть в жмурки, старик, я не стану больше завязывать тебе глаза; сегодня тебе стукнет восемьдесят, а мне уже семьдесят один; на расстоянии десяти-двенадцати метров не так трудно попасть

в цель; недели и дни, часы и минуты, хлыньте на меня. Сколько сейчас секунд?

— Восемнадцать часов две минуты и двадцать секунд...

Я покидаю свой бумажный кораблик, чтобы броситься в открытый океан; как я бледна, переживу ли я все это?

— Восемнадцать часов две минуты и тридцать секунд...

Эти слова подгоняют меня; начнем, мне надо спешить, я не хочу больше терять ни секунды, скорее.

— Барышня, барышня, почему вы мне не отвечаете? Барышня, барышня... я хочу заказать такси, немедленно, очень спешно, помогите же мне.— Ах да, ведь магнитофонная лента не отвечает, это мне следовало бы помнить; надо повесить трубку, снова снять ее и набрать номер: один-один-два. Неужели такси заказывают по тому же номеру, что и прежде?

— В денклингенском кинотеатре вы увидите,— произнес бархатный голос,— также отечественный фильм «Братья с хутора на болоте», начало сеансов в восемнадцать часов и в двадцать часов пятнадцать минут... в додрингенском кинотеатре идет боевик «Любовь способна на все».

Тише, тише, моя утлая лодочка погибла, но я умею плавать, я научилась плавать в Блюхербаде в тысяча девятьсот пятом году, у меня был тогда черный купальный костюм с оборками и юбочкой, мы прыгали головой вниз с трамплина высотой в метр; надо взять себя в руки и перевести дух, ведь я умею плавать... интересно, что сообщат мне, когда я наберу один-один-три, а ну, бархатный голос, ответь.

— ...Если вечером к вам придут гости, вы можете предложить им, следуя нашим советам, вкусный и в то же время недорогой ужин: на первое подайте тартинки, запеченные с сыром и ветчиной, на второе горошек со сметаной и к нему мягкий картофельный пудинг, потом шницель, прямо с гриля...

— Барышня, барышня!..— Да, я знаю, магнитофонные ленты не отвечают.

— ...и ваши гости скажут, что вы прекрасная хозяйка.

Сейчас я нажму на рычаг и наберу один-один-четыре... Снова слышится бархатный голос:

— ...итак, вы уложили все необходимое для ночевки в кемпинге и приготовили себе еду для пикника; если вы решили поставить машину на крутом склоне, не забудьте о ручном тормозе. Желаем вам приятного воскресенья в кругу семьи.

У меня ничего не выйдет, слишком много мне придется наверстывать; мое лицо становится все бледнее и бледнее; когда-то оно окаменело, а теперь размякло, и по нему текут слезы. Предательское время, словно комок лжи, застряло во мне; зеркальце, зеркальце, осколок зеркальца, ответь, неужто мои волосы и впрямь поседели в камере пыток, где отовсюду раздаются бархатные голоса; я набираю один-один-пять, и заспанный голос отвечает мне:

— Телефонный узел Денклинген.

— Вы меня слышите, барышня? Вы меня слышите?

— Да, слышу.

Я громко смеюсь.

— Мне надо срочно связаться с конторой архитектора Фемеля, Модестгассе, семь, или Модестгассе, восемь, оба номера можно разыскать под фамилией Фемель, душенька. Вы не обидитесь, если я буду называть вас «душенька»?..

— Да нет, конечно, нет, сударыня.

— Я очень тороплюсь.

Послышался шелест переворачиваемых страниц.

— Я нашла телефон господина Генриха Фемеля и телефон господина доктора Роберта Фемеля. С кем бы вы хотели поговорить, сударыня?

— С Генрихом Фемелем.

— Хорошо, не вешайте трубку.

Неужели телефон по-прежнему стоит у него на подоконнике, так что, разговаривая, он выглядывает на улицу и видит дом по Модестгассе, восемь, где его дети играли когда-то в садике на крыше, и лавку Греца, где у дверей всегда висела кабанья туша? Неужели там действительно раздался сейчас телефонный звонок?

Гудки доносились откуда-то очень издалека, и ей казалось, что паузы между ними длятся вечность.

— К сожалению, сударыня, никто не подходит к телефону.

— Тогда, пожалуйста, соедините меня с другим номером.

— Хорошо, сударыня.

Напрасно, все напрасно. Номер не отвечает.

— В таком случае вызовите мне, пожалуйста, такси, душенька, хорошо?

— С удовольствием. Куда?

— В денклингенскую лечебницу.

— Сейчас, сударыня.

— Да, Хупертс, можете унести чай, хлеб и закуску. И, пожалуйста, оставьте меня одну; когда такси въедет в аллею, я сама его увижу; нет, спасибо, мне больше ничего не надо. Вы ведь не магнитофонная лента, правда? Ах, я вовсе не хотела вас обидеть, я просто пошутила... Спасибо...

Ей было холодно; казалось, ее лицо съеживается и становится все меньше и меньше; она увидела в оконном стекле это усталое старушечье лицо, изборожденное морщинами. Не надо плакать; неужели время действительно вплело серебряные нити в мои черные волосы? Я умею плавать, но я не предполагала, что вода такая холодная; бархатные голоса терзают меня, возвращая к действительности; я стала старушкой с белой головой; мой гнев хотят обратить в мудрость, мечты о мести — в жажду всепрощения; они собираются засахарить мою ненависть, перемешав ее с мудростью, но мои старые пальцы крепко вцепились в сумочку; в ней золото, которое я принесу с собой из заколдованного замка, в ней выкуп за меня.

Любимый, заberi меня отсюда, я возвращаюсь домой. Там я превращусь в седую и добрую старушку, снова буду тебе женой, снова стану хорошей матерью и заботливой бабушкой, которую можно расхваливать всем друзьям... «Да, наша бабушка долгие годы была больна, но теперь выздоровела и даже принесла с собой целую сумку золота...»

Что мы закажем сегодня вечером в кафе «Кронер»? Тартинки, запеченные с сыром и ветчиной, горошек со сметаной и шницель... будем ли мы кричать «Осанна невесте Давидовой, она вернулась домой из заколдованного замка»? Я знаю, этот матереубийца Греци принесет нам свои поздравления, голос крови так и не заговорил в нем, не заговорил он и в Отто; я выстрелю, когда учитель гимнастики будет ехать мимо нашего дома верхом на белой лошади. От беседки до улицы не больше десяти метров, по диагонали будет метров тринадцать; я попрошу Роберта, чтобы он вычислил все точно; во всяком случае, попасть в цель будет нетрудно; мне объяснил все это «Сектор обстрела»; такие вещи наш седой служака должен знать; завтра утром он вступит в свою новую должность, сумеет ли он запомнить, что надо произносить не “utilatem”, а “utilitatem”? Красный шрам на переносице... Значит, он все же стал капитаном? Как долго длилась война; каждый раз, когда в аббатстве раздавался очередной взрыв, стекла начинали дребезжать, а утром на подоконнике лежал толстый слой пыли; я написала пальцем на пыли: «Эдит, Эдит»; даже голос крови не мог бы заставить меня любить Эдит больше, чем я ее любила; откуда ты явилась к нам, скажи, Эдит?

Я съеживаюсь все больше и больше; ты сумеешь перенести меня на руках от такси к кафе «Кронер»; я поспею как раз вовремя; сейчас самое большее восемнадцать часов шесть минут и тридцать секунд; на этот раз черный кулак возмездия — пистолет — раздавил тюбик губной помады, мои дряхлые кости дрожат; мне страшно, я не знаю, как выглядят теперь мои современники; я не знаю, остались ли они такими, как прежде. Ну а как обстоит дело с золотой свадьбой, старик? Мы поженились в сентябре тысяча девятьсот восьмого года, тринадцатого сентября; ты уже забыл эту дату? Как ты собираешься справлять нашу золотую свадьбу? Седовласый юбиляр и седовласая юбилярша, а вокруг них целая толпа внуков и внучек; прости меня за то, что я смеюсь, мой Давид, но из тебя не вышло Авраама, зато в себе я ощущаю что-то похожее на смех Сарры, чуть-чуть похожее — на большее я не способна; из заколдованного замка я принесла с собой не только сумочку, полную золота, но и ореховую скорлупку смеха; пусть она мала, зато в моем смехе заключена гигантская энергия, куда более действенная, чем динамит Роберта...

Вы очень торжественно шествуете по аллее к лечебнице, чересчур торжественно и чересчур медленно; сын Эдит возглавляет процессию, но кто идет с ним рядом? Эта девушка не Рут; когда я ушла из дому, Рут было три года, и все-таки я сразу узнаю ее, хотя ей минуло уже восемнадцать лет; нет, это не Рут; жесты

у людей не меняются; в ядре ореха уже заключено будущее дерево; как часто я наблюдала когда-то жест Рут, откидывавшей рукой волосы со лба, — это был жест моей матери. Где же Рут? Пусть она меня простит. Эта незнакомая девушка очень красива; теперь я поняла: из ее лона выйдут твои правнуки, старик; ты думаешь, их будет семью семь? Прости, что я смеюсь; у вас поступь герольдов, слишком медленная и слишком торжественная; может, вы хотите забрать с собой юбиляршу, чтобы отпраздновать ее золотую свадьбу?

Юбилярша готова, она сморщилась, как старое-престарое яблоко; можешь отнести меня на руках к такси, старик, только побыстрее; больше я не хочу терять ни секунды; ну вот, такси уже здесь; видите, как хорошо я умею все организовывать, этому я научилась, будучи женой архитектора; пропустите такси, а сами выстройтесь по обеим сторонам дороги: справа пусть станет Роберт и красивая незнакомая девушка, а слева старик с внуком; Роберт, Роберт, может быть, для тебя настала пора опереться на чье-нибудь плечо, может быть, ты нуждаешься в помощи, в поддержке? Входи, входи, старик, принеси нам счастье. Давайте праздновать, давайте веселиться. Наше время пришло!

## 12

Встревоженный портье посмотрел на часы — было уже больше шести, а Йохен так и не явился сменить его; постоялец из одиннадцатого номера спал вот уже двадцать один час подряд, повесив на дверную ручку трафарет *«Просьба не беспокоить»*; правда, до сих пор тишина за этой дверью еще никому не показалась подозрительной, не слышалось зловещего шепота постояльцев и ни одна из горничных не вскрикнула. Настало время ужина... Темные костюмы... светлые платья... повсюду серебро, горящие свечи и музыка; когда подавали салат из омаров, играли Моцарта, когда приносили мясные блюда, играли Вагнера, а когда гости принимались за десерт — играли джаз.

В воздухе пахло бедой; портье испуганно взглянул на часы, секундная стрелка, казалось, нарочито медленно приближалась к роковой точке; когда она до нее дойдет, беда грянет, станет явной; без конца звонил телефон: «Ужин в двенадцатый номер», «Ужин в двести восемнадцатый номер», «Шампанское в четырнадцатый номер». Неверные жены и неверные мужья требовали соответствующих стимуляторов; пятеро богатых бездельников, слоняющихся по свету, сидели в холле, поджидая автобус на аэродром — они отлетали ночным рейсом.

— Да, сударыня, первая улица налево, вторая направо, третья налево, древнеримские детские гробницы вечером освещены, фотографировать разрешается.

Бабушка Блезик, забившись в дальний угол, пила портвейн;

в конце концов она все же поймала Гуго, сейчас он читал ей местную газету:

— «Вора-карманника постигла неудача. Вчера в Эренфельд-гюртеле неизвестный молодой человек пытался вырвать сумочку из рук пожилой женщины. Однако храброй старушке удалось...» «Государственный секретарь Даллес...»

— Ну это уж пошла ерунда, совершеннейшая ерунда,— сказала бабушка Блезик,— я не хочу слушать ни о политике, ни о международных делах, меня интересуют только местные новости.

И Гуго продолжал читать:

— «...Бургомистр чествует заслуженного мастера бокса...»

Время тянулось издевательски медленно, словно нарочно отодвигало момент, когда грянет беда; тихонько звенели бокалы, кельнеры ставили серебряные подносы, изысканно и мелодично постукивали фарфоровые тарелки, переносимые с места на место; в дверях стоял водитель автобуса авиакомпании; указывая на часы, он жестами поторапливал отъезжающих постояльцев; дверь, несколько раз качнувшись, мягко легла в пазы, обитые войлоком, портье нервно поглядывал в свои записи: «Оставить номер окнами на улицу с 18.30 для господина М.; оставить двойной номер с 18.30 для тайного советника Фемеля с супругой, обязательно окнами на улицу»; «в 19.00 вывести на прогулку собачку Кесси из номера 114». Только что этой паршивой собачонке понесли яйца, приготовленные на особый манер — твердый желток и мягкий белок,— и сильно поджаренные ломтики колбасы; разумеется, мерзкое животное начнет привередничать, отказываясь от еды; господин из одиннадцатого номера спит вот уже двадцать один час и восемнадцать минут.

— Да, сударыня, фейерверк начнется через полчаса после захода солнца, то есть около девятнадцати часов тридцати минут, начало парада около девятнадцати часов пятнадцати минут; к сожалению, я не могу сказать вам, будет ли господин министр присутствовать на нем.

Гуго продолжал читать, весело, словно школьник, отпущенный с уроков:

— «...отцы города вручили заслуженному мастеру бокса диплом почетного гражданина, а также специальную золотую медаль, которая дается только за особые заслуги в области культуры. В заключение чествования состоялся банкет».

Богатые бездельники, слоняющиеся по свету, наконец-то убрались из холла.

— Да, господа, банкет левой оппозиции в синем зале... нет, нет, господа, правая оппозиция — в желтом зале; дорогу указывают стрелки.

Бог его знает, кто из них левый, а кто правый, по лицу этого не определишь, в таких вещах Йохен разбирается лучше, политиков он видит насквозь, здесь его никогда не подводит инстинкт; Йохен узнает настоящего аристократа, даже если тот

явится в рубище, и разглядит голодранца, даже если тот напялит на себя самое роскошное одеяние; Йохен отличил бы левых от правых, хотя у них все, вплоть до меню, одинаково; ах да, сегодня у нас состоится еще один банкет — наблюдательного совета общества «Все для общего блага».

— Пожалуйста, в красный зал, милостивый государь.

У всех у них совершенно одинаковые лица, и все они будут есть на закуску салат из омаров — и левые, и правые, и члены наблюдательного совета; когда подадут омаров, заиграют Моцарта, к мясному блюду, пока гости будут смаковать густые соусы, начнут играть Вагнера, а как только перейдут к десерту — джазовую музыку.

— Да, сударь, в красном зале.

Инстинкт никогда не подводит Йохена, если речь идет о политике и политиках, зато во всех остальных случаях он пасует. Когда овечья жрица появилась в отеле первый раз, Йохен сразу сказал: «Внимание! Это важная птица», а когда потом к нам пришла та маленькая бледная девушка с длинными лохмами, с одной сумочкой в руках и с блокнотом под мышкой, тот же Йохен прошептал: «Обыкновенная шлюха». «Нет,— возразил я,— она делает это со всеми, но *делает бесплатно*, значит, она не шлюха», но Йохен стоял на своем. «Она делает это со всеми,— говорил он,— *и за плату*». Йохен оказался прав, но зато Йохен не чувствует приближения беды. В тот день, когда к нам приехала блондинка с сияющим лицом и тринадцатью чемоданами, я сказал ему, глядя, как она входит в лифт: «Давай поспорим, что мы никогда больше не увидим ее живой»; Йохен был совсем другого мнения: «Чепуха, просто она удрала на несколько дней от мужа». А кто оказался прав? Конечно, я. Блондинка приняла соответствующую дозу снотворного и повесила на двери трафарет «*Просьба не беспокоить*»; ее не беспокоили двадцать четыре часа, а потом по отелю поползли слухи: кто-то умер, кто-то умер в сто восемнадцатом номере. Веселенькая история, доложу я вам, когда часа в три дня в отель является полиция, а в пять часов выносят покойника. Лучше не придумашь.

Фу, какая у него морда, прямо как у буйвола. Платяной шкаф с манерами дипломата, живой вес два центнера, походка как у таксы, а костюм чего стоит! Похоже, важная персона, которая нарочно держится в тени; спутники его подходят к конторке, оба они менее важные.

— Будьте добры, номер для господина М.

— Ах да, номер двести одиннадцать. Гуго, поди сюда, проводи господ наверх.

И в ту же минуту все трое — шесть центнеров живого веса, облаченные в английское сукно,— бесшумно вознеслись на лифте вверх.

— Йохен, Йохен, о боже, где ты пропадал?

— Извини меня,— сказал Йохен,— тебе ведь известно, что я почти всегда бываю аккуратен; особенно если знаю, что тебя

ждут жена и дети, поверь, я с удовольствием пришел бы вовремя, но когда дело идет о голубях, мое сердце разрывается между обязанностями друга и обязанностями голубятника; уж коли я выпустил шестерых голубей, мне хотелось бы заполучить всех шестерых обратно, сам понимаешь, но в срок прилетело только пятеро, шестой опоздал минут на десять и явился совершенно измученный, бедная птичка; иди домой; если ты еще надеешься захватить хорошие места, чтобы увидеть фейерверк, тебе пора отправляться; да, да, я понимаю: в синем зале — левые, в желтом — правые, а в красном — наблюдательный совет общества «Все для общего блага»; ну да, ведь сегодня суббота; правда, гораздо интереснее бывает, когда собираются филателисты или же пивные боссы, но ты не волнуйся, я уж как-нибудь справлюсь; я сдержу себя, несмотря на то, что с удовольствием надавал бы по шее левой оппозиции и наплевал бы на правых, а заодно и на членов наблюдательного совета. И все же не волнуйся, я буду держать знамя нашего отеля высоко и позабочусь о твоих кандидатах в самоубийцы... Хорошо, сударыня, я отправлю Гуго к вам в номер к девяти часам для игры в карты, хорошо... Господин М. уже прибыл? Не нравится мне этот господин М. Еще не видя его, я уже испытываю к нему антипатию... Хорошо, сударь, я пришлю в двести одиннадцатый номер шампанское и три сигары «Партагас эминентес». Вы узнаете их по запаху!.. Боже, кого я вижу! Весь род Фемелей в полном составе.

Милая девочка, что с тобой стало! Когда я встретил тебя впервые, мое сердце забилося сильнее, это было в тысяча девятьсот восьмом году на параде по случаю приезда кайзера. Конечно, я уже тогда знал, что такие, как ты, не про нашу честь; я принес твоим папочке и мамочке красное вино в номер. Дорогая моя детка, кто бы мог подумать, что со временем ты превратишься в такую вот старую бабушку, сморщенную, как печеное яблоко, с белыми волосами. Я легко поднял бы тебя одной рукой и отнес в номер, я бы так и поступил, если бы это было мне дозволено, но мне такие вещи не дозволяются; да, моя дорогая, жаль, что это так, ты и сейчас еще хороша.

— Господин тайный советник, мы оставили вам и вашей супруге, то есть прошу прощения, вашей супруге и вам, двести двенадцатый номер. Багаж еще на вокзале? Нет? Прикажете что-нибудь доставить из вашей квартиры? Не надо? Ах так! Вы пробудете у нас всего часа два, посмотрите фейерверк и парад «Кампфбунда»? Разумеется, в этом номере поместятся шесть человек, балкон большой. Если хотите, мы можем сдвинуть кровати. Не нужно? Гуго, Гуго, проводи господина Фемеля в двести двенадцатый номер и захвати с собой карточку вин. Когда придут молодые люди, я укажу им вашу комнату; разумеется, господин доктор Фемель, бильярдная забронирована за вами и за господином Шреллой, на это время я освобожу Гуго. Да, Гуго — славный мальчик, сегодня



он полдня висел на телефоне, пытался связаться с вами; я думаю, он на всю жизнь запомнил ваш номер и номер пансиона «Модерн». В честь чего состоится парад «Кампфбунда»? В честь дня рождения какого-то маршала, по-моему, он слышет героем Хузенвальда; во всяком случае, мы услышим прекраснейшую песню «Отечество, трещат твои устои». Ну и пусть их трещат, господин доктор. Что вы говорите? Всегда трещали? Разрешите мне высказать свое сугубо личное мнение по политическому вопросу: так вот, будьте осторожны, если они снова затрещат. Будьте осторожны!

— Я уже однажды стояла здесь и смотрела, как ты маршируешь,— тихо проговорила она.— Это было в день парада в честь кайзера в январе тысяча девятьсот восьмого года, погода была великолепная, мороз трескучий — так, кажется, говорят стихотворцы; я дрожала, боялась, что ты не выдержишь последнего и самого трудного из всех испытаний — испытания военным мундиром; генерал с соседнего балкона чокался с папой, мамой и со мной; да, старик, в тот день ты выдержал испытание. Почему ты смотришь на меня выжидающе? Вот именно — выжидающе. Так ты на меня еще никогда не смотрел. Положи голову ко мне на колени, закури сигару; извини, что я дрожу; мне страшно; неужели ты не видел лицо того мальчика? Он ведь мог быть братом Эдит. Мне страшно, ты должен это понять, я все еще не могу вернуться в свою квартиру, наверное, не смогу никогда этого сделать, не смогу вступить в тот же старый заколдованный круг; мне страшно, гораздо страшнее, чем прежде; вы, очевидно, привыкли к окружающим вас лицам, но я уже начинаю тосковать по моим безобидным сумасшедшим, которые остались в лечебнице. Неужели вы все ослепли? Почему вы так легко дали себя обмануть? Они убьют вас даже не за движение руки, а просто так, ни за понюшку табаку. Пусть у вас будут темные или светлые волосы, пусть вам выдадут свидетельство о том, что ваша прабабушка крестилась, они все равно убьют вас, если им не понравится ваше лицо. Разве ты не видел, какие плакаты они расклеили на стенах? Неужели вы все ослепли? Скажи мне, где я? Поверь, мой дорогой, все они приняли *«причастие буйвола»*; каждый из них глуп как пень, глух как тетерев, а с виду так же безобразен, как тот сумасшедший — последнее воплощение буйвола; и притом все они так приличны, так приличны; мне страшно, старик; даже в тысяча девятьсот тридцать пятом году, даже в тысяча девятьсот сорок втором я не чувствовала себя такой одинокой; конечно, мне потребуется время, чтобы привыкнуть к людям, но к этим людям я никогда не привыкну, даже за несколько столетий. Прилично, прилично. На их лицах нет ни тени грусти, что это за люди, которые не знают грусти? Налей мне еще рюмку вина и не смотри так подозрительно на мою сумочку; все вы знакомы с медициной, но лекарство мне пришлось выписать себе самой; у тебя чистое сердце, ты не можешь себе представить, сколько зла в мире; сегодня я потребую от тебя новую большую жертву — отмени праздник

в кафе «Кронер», разрушь легенду о себе; вместо того чтобы просить внуков плюнуть на твой памятник, сделай так, чтобы тебе вообще не ставили памятника; тебе ведь никогда не нравился сыр с перцем; пускай за праздничный стол сядут кельнеры и судомойки. Пусть они съедят праздничное угощение; давай останемся на этом балконе, будем наслаждаться летним вечером в кругу семьи, пить вино, любоваться фейерверком и глядеть, как маршируют эти «кампфбундовцы». Кстати, с кем они собираются воевать? Можно мне позвонить в кафе «Кронер» и отменить праздник?

У портала Святого Северина толпились участники парада в синей форме; они стояли группами, покуривая сигареты; над их головами развевались флаги — на сине-красном фоне большая черная буква «К», — духовой оркестр уже репетировал песню «Отечество, трещат твои устои», на балконах тихо позвякивали бокалы, ведерки со льдом издавали металлический звон, пробки от шампанского выстреливали прямо в темно-синее вечернее небо. Но вот часы на Святом Северине пробили три четверти седьмого; трое господ в темных костюмах из двести одиннадцатого номера вышли на балкон.

— Вы действительно думаете, что они будут нам полезны? — спросил М.

— Уверен, — бросил первый спутник.

— Без сомнения, — согласился второй.

— Боюсь только, что, выразив симпатию этим «кампфбундовцам», мы потеряем больше голосов, чем приобретем, — сказал господин М.

— «Кампфбунд» не считается столь уж экстремистским, — возразил первый спутник.

— Вы ничего не потеряете, вы можете только выиграть, — подтвердил второй.

— Сколько это примерно даст нам избирателей при оптимальном варианте и сколько при минимальном?

— При оптимальном варианте тысяч восемьдесят, а в худшем случае — тысяч пятьдесят. Так что решайте.

— Пока я еще ничего не знаю, — сказал М., — жду указаний от К. Как вы полагаете, газетчики ничего не пронюхали?

— Нет, господин М., — сказал первый спутник.

— А персонал отеля?

— Они умеют хранить тайны, господин М., — сказал другой. — Но господин К. должен поскорее дать соответствующие указания.

— Мне лично эти парни не нравятся, — сказал господин М., — они еще во что-то верят.

— Для нас это восемьдесят тысяч голосов. Пусть себе верят, во что хотят, господин М., — возразил первый спутник.

Собеседники засмеялись, послышался звон бокалов. Вдруг раздался телефонный звонок.

— Да, у телефона М. Я вас правильно понял? Выразить им свою симпатию? Слушаюсь... Господин К. решил в положительном смысле, давайте вынесем на балкон стол и стулья.

— А что подумают за границей?

— Безразлично. Они во всех случаях думают неправильно. Собеседники снова засмеялись. Послышался звон бокалов.

— Я спущусь вниз и скажу организатору шествия, чтобы он обратил внимание на наш балкон,— сказал первый спутник.

— Нет, нет,— возразил старик,— я не хочу класть голову к тебе на колени, не хочу смотреть на синее небо; ты сказала в кафе «Кронер», чтобы они послали к нам Леонору? Леонора огорчится. Ты ведь не знакома с Леонорой? Это секретарша Роберта, очень милая девушка, не надо лишать ее удовольствия, у меня вовсе не такое уж чистое сердце, и я хорошо знаю, сколько зла в мире; я чувствую себя одиноким, еще более одиноким, чем чувствовал себя в «Якоре» в Верхней гавани, когда мы приносили деньги кельнеру по фамилии Гроль; смотри, они уже строятся для парада, какой теплый летний вечер, смеркается, их смех слышен даже на балконе; помочь тебе, дорогая? Ты не заметила, что положила свою сумочку ко мне на колени, пока мы ехали в такси; сумочка очень тяжелая, но все же недостаточно тяжелая. Зачем тебе, собственно, понадобилась эта штука?

— Я хочу застрелить вон того толстяка, который гарцует на белой лошади. Видишь? Ты его еще помнишь?

— Неужели ты думаешь, что я могу забыть этого человека? Из-за него я разучился смеяться: сломалась скрытая пружинка в скрытом часовом механизме; по его приказу казнили белокурого мальчугана, он засадил за решетку отца Эдит, Гроля и мальчика, имя которого так и осталось неизвестным; из-за таких, как он, одно движение руки стоило человеку жизни; это он превратил Отто в того молодчика, каким он стал, в оболочку прежнего Отто... тем не менее я не стал бы убивать его. Частенько я задавал себе вопрос: зачем я вообще приехал в этот город? Неужели только затем, чтобы разбогатеть? Нет, ты сама знаешь, что это не так. Может, я приехал, полюбив тебя? Тоже нет, ведь тогда я еще не знал, что ты существуешь, и, следовательно, не мог любить тебя. Быть может, меня гнало честолюбие? И этого не было. Мне кажется, я просто хотел посмеяться над людьми, сказать им под занавес: «Послушайте, я пошутил, вот и все». Мечтал ли я тогда о детях? Да, мечтал. И у меня были дети: двое умерли очень давно, одного убили на войне, того, что стал мне совсем чужим, гораздо более чужим, чем люди с флагами там, внизу. Ну а другой сын?.. «Как поживаешь, отец?» — «Хорошо, а ты?» — «Тоже хорошо, спасибо, .отец». — «Не требуется ли тебе помощь?» — «Нет, спасибо, у меня все в порядке...» Аббатство Святого Антония? Извини, дорогая, что я смеюсь. Все это прах и тлен. Аббатство не вызывает во мне никаких чувств, ни ложных, ни тем более настоящих. Налить тебе еще вина?

— Да, пожалуйста.

Я уповаю на пятьдесят первый параграф, дорогой мой, наши

законы можно повернуть и туда и сюда. Посмотри вниз. Ты видишь нашего старого приятеля Неттлингера? Он достаточно умен, чтобы пока еще не появляться в форме, и все же он тут как тут — пожимает руку кому надо, хлопает по плечу кого надо, щупает материю флагов; пожалуй, лучше убить этого Неттлингера, Впрочем, я еще подумаю, быть может, мне вообще не следует стрелять в тот паноптикум на улице; будущий убийца моего внука сидит на соседнем балконе. Ты его видишь? Он в черном костюме и вполне приличен, вполне благопристойен; он думает не так, как они, и ведет себя иначе, у него другие планы, его не назовешь неучем, он свободно говорит по-французски и по-английски, знает латынь и греческий, он добрый христианин, он уже заложил на завтра свой календарь, он знает, что завтра пятнадцатое воскресенье после троицына дня; «Какую благодарственную молитву следут читать?» — крикнул он сегодня своей жене в спальню. Нет, я не стану убивать толстяка, который гарцует на белой лошади, не стану стрелять в паноптикум на улице; достаточно слегка повернуться, и моя мишень окажется в шести метрах от меня, на таком расстоянии легче всего попасть. В семьдесят с лишним лет люди уже больше ни на что не годны, кроме как на это. Зачем убивать тиранов? Надо убивать самых что ни на есть приличных господ. На пороге смерти наш сосед снова обретет способность удивляться. Дорогой мой, только не дрожи, я заплачу за себя выкуп; меня забавляет вся эта процедура — ровно дышать, прицеливаться, брать на мушку. Не затыкай себе уши, выстрел будет не таким уж громким, тебе покажется, что лопнул воздушный шарик; сегодня канун пятнадцатого воскресенья после троицына дня.

### 13

Одна из девушек была блондинка, другая — шатенка, обе они были стройные, обе улыбались, обеим очень шел костюм из красновато-коричневого твида, у обеих белоснежный воротничок обрамлял точеную шейку, похожую на стебель цветка; обе они свободно говорили по-французски и по-английски, по-фламандски и по-датски, на всех этих языках у них было великолепное произношение, так же хорошо они изъяснялись на своем родном немецком языке; то были красивые монахини, посвятившие себя несуществующему божеству; они знали даже латынь; их место было в служебном помещении, позади кассы, там они дожидались, пока экскурсанты разобьются на группы по двенадцать человек; тогда они затапывали окурки сигареты острым каблучком туфли, привычным жестом подкрашивали губы, выходили за барьер и выясняли, сколько людей какой национальности им придется вести; улыбаясь, они без всякого акцента спрашивали экскурсантов, откуда те приехали и какой язык считают родным. Экскурсанты отвечали на вопросы поднятием пальца. В этой группе семь человек говорили по-английски, двое — по-фламандски, трое — по-немецки. Засим

следовал еще один вопрос, задаваемый самым веселым тоном, — кто из экскурсантов изучал латынь? Одна только Рут нерешительно подняла палец. Больше никто? На красивом лице девушки мелькнуло сожаление; в этот раз судьба подарила ей слишком мало слушателей с гуманитарным образованием; только одна из всей экскурсии сумеет оценить ту ритмическую ясность, с какой девушка отчеканивает латинскую надпись, читая надгробия. Опустив с улыбкой длинную указку и светя себе фонариком, девушка начала первой спускаться по лестнице; запахло бетоном и известкой; потом пахнуло склепом, хотя легкое жужжание свидетельствовало о том, что подземелье оборудовано установкой для кондиционирования воздуха; с безукоризненным произношением девушка назвала по-английски, по-фламандски и по-немецки размеры каменных плит и ширину древнеримской улицы.

— Вот здесь лестница, сооруженная во втором веке, а здесь термы, построенные в четвертом веке; посмотрите туда, на этих плитах из песчаника стражники, нацарапав квадратики, играли от скуки в «мельницу»<sup>1</sup> (именно в этом духе их инструктировали на курсах: «Не забывайте подчеркивать бытовые детали»). Вот здесь дети древних римлян играли в камешки, обратите, пожалуйста, внимание на то, какие ровные зазоры были между плитами мостовой... а вот сточный желоб, по этому серому желобу стекала грязная вода во времена Древнего Рима, стекали древнеримские помои. Вот развалины маленького храма, который проконсул приказал построить лично для себя — здесь он поклонялся богине Венере.

В неоновом свете она ясно различила ухмылки экскурсантов, ухмылки фламандские и английские. Странно только, что трое молодых немцев так и не ухмыльнулись.

— Почему дома стоят на таких высоких фундаментах? В те времена вся местность была, видимо, заболочена, река катила свои зеленые воды по серому каменному ложу. Чу! Слышите проклятия германских рабов? По их золотистым бровям пот стекал прямо на белые лица, увлажнял светло-русые бороды; губы варваров произносили проклятья, которые звучали как стихи: «Вотан взрастит возмездье мерзейшему племени римлян, горе им, горе им, горе...» Чутьочку терпения, уважаемые дамы и господа, осталось пройти всего несколько шагов, взгляните сюда — здесь мы видим развалины здания суда, а вот и цель нашего путешествия — *древнеримские детские гробницы*. («Теперь, — наставляли их на курсах, — вы молча проходите впереди всех и переживаете, пока люди поборют первое волнение, только после этого вы снова начинаете рассказывать; сколько времени должно длиться проникновенное молчание, вам может подсказать только ваша интуиция, разумеется, это зависит также от состава группы; ни в коем случае не допускайте дискуссии о самих римских детских гробницах, в ходе которой

---

<sup>1</sup> Игра, напоминающая игру в крестики и нолики.

может выясниться, что у нас находятся не гробницы, а всего лишь надгробия, найденные, кстати сказать, вовсе не здесь».)

Могильные плиты стояли полукругом, вплотную к серой стене; после того как первое волнение стихало, пораженные экскурсанты поднимали взгляды к отверстию шахты; над неоновыми лампами виднелось темно-синее вечернее небо, казалось даже, что вдали мерцает первая звездочка, а быть может, то был всего-навсего мягкий отсвет позолоченного или посеребренного шарика ограды, падавший сквозь круглый светлый колодец, составленный из трех венцов.

— Посмотрите туда, где начинается первый венец... видите белую поперечную черту на бетонной стене? Во времена древних римлян приблизительно на этой высоте находился уровень улицы, а теперь взгляните на второй венец... там вы тоже увидите белую черту на бетонной стене. Видите? Таков был уровень земли в средние века. И, наконец, третью белую черту я могу вам не показывать — на этом уровне пролегает улица в наши дни. Ну, а теперь, уважаемые дамы и господа, мы перейдем к надписи.

Лицо девушки стало каменным, словно лицо богини; слегка согнув руку в локте, она подняла фонарик, похожий на обгоревший факел:

*Dura quidem frangit parvorum morte parentes  
Conditio rapido praecipitata gradu  
Spes aeterna tamen tribuet solacia luctus...*

Она улыбнулась Рут, единственной, кто мог понять язык подлинника, и чуть заметным жестом поправила воротничок твидового жакета, потом немного опустила фонарик и с чувством продекларировала перевод:

*Жестокий рок поражает родителей,  
когда быстрая, быстротечная смерть уносит их дитя,  
но в скорби о юном существе,  
что вкушает райское ныне блаженство,  
нам дарит утешение вечная Надежда.  
Шести лет и девяти месяцев от роду был погребен  
под этим могильным холмиком ты, Дезидератус.*

Печаль семнадцативековой давности легла на лица экскурсантов, поразила их сердца; челюсти пожилого господина из Фландрии вдруг перестали двигаться, словно их парализовало, а подбородок обвис; господину пришлось быстро запихнуть языком жевательную резинку в самый дальний угол рта; Марианна расплакалась; Йозеф сжал ее локоть, Рут положила ей руку на плечо. Девушка-экскурсовод с тем же неподвижным лицом продолжала декламировать, теперь уже на английском языке:

*Hard a fate meets with the parents...*

Опасней всего был момент, когда экскурсанты выбирались из темных подземелий на свет, на свежий воздух, когда их снова

окутывал теплый летний вечер; схоронив глубоко в сердце древнюю скорбь, они томились, мечтая о древних любовных мистериях; туристы-одиночки сплевывали у окошка кассы жевательную резинку и на ломаном немецком языке пытались назначить свидание своему гиду — они приглашали ее потанцевать в отель «Принц Генрих», вместе погулять или вместе поужинать; “a lonely feeling<sup>1</sup>, фройляйн”; и фройляйн вынуждена была держать себя совершенно недоступно, как весталка, — не позволять им ухаживать за собой и категорически отказываться от всех приглашений: «Прошу вас без рук, на меня разрешается только смотреть», “no, sir, no, no”<sup>2</sup>, однако и ее выводило из равновесия их волнение, и она чувствовала дыхание древности; ей было жаль одиноких иностранцев, которым приходилось, покачивая головой, нести свой любовный пыл туда, где еще царил культ Венеры и где жрицы любви, хорошо знакомые с обменным курсом, не смущаясь, назначали цену в долларах, в фунтах стерлингов, в гульденах, франках или в марках.

Кассир безостановочно отрывал билетки от рулона, можно было подумать, что узкая дверца — это вход в кино. Когда девушка-экскурсовод оказывалась наконец в служебном помещении, ей еле хватало времени на то, чтобы проглотить кусочек хлеба с маслом и отхлебнуть из термоса; каждый раз ей предстояло решать трудноразрешимую задачу — приберечь ли окурочек сигареты до следующего раза или же затоптать его острым каблучком; она делала последнюю затяжку, еще одну, самую последнюю, и в то же время извлекала левой рукой из сумочки тюбик губной помады, в эти минуты она решала назло самой себе нарушить монашеский обет, но тут кассир просовывал голову в дверь:

— Милочка, милочка, тебя ждут уже две партии, поторапливайся, *древнеримские детские гробницы* стали прямо-таки гвоздем сезона.

Улыбаясь, она снова подходила к барьеру, чтобы спросить экскурсантов, какой они национальности и какой язык считают родным; на этот раз четверо говорили по-английски, один по-французски и одна по-голландски; немцев оказалось целых шестеро; опустив длинную указку и светя себе фонариком, она спускалась по лестнице в подземелье, чтобы снова поведать о древнем культе любви и снова прочесть древние письма, проникнутые смертельной скорбью.

Проходя мимо длинной очереди у кассы, Марианна продолжала плакать; заметив ее слезы, немцы, англичане и голландцы сконфуженно отворачивались; они с недоумением спрашивали себя: какую мучительную тайну хранил склеп? Неужели это возможно, чтобы памятники старины доводили людей до слез? За шестьдесят пфеннигов здесь ощущают такое глубокое волнение, какое только

---

<sup>1</sup> Чувство одиночества (англ.).

<sup>2</sup> Нет, сэр, нет, нет (англ.).

изредка испытывают некоторые кинозрители после исключительно плохого или после исключительно хорошего фильма. Неужели камни и впрямь могут тронуть человека до слез? Ведь большинство, выходя из подземелья, хладнокровно засовывают в рот новую порцию жевательной резинки, жадно закуривают сигарету, снимают при вспышке магния очередной кадр, уже выискивая глазами новый объект для съемки — фронтон жилого дома пятнадцатого века как раз напротив входа в *древнеримские детские гробницы*; шелк... и вот с помощью химии фронтон уже увековечен на пленке...

— Потерпите, потерпите, господа,— прокричал кассир из своей будки,— вследствие исключительно большого наплыва публики мы решили пускать не по двенадцати экскурсантов, а сразу по пятнадцати, поэтому прошу еще трех человек из очереди подойти ко мне; вход шестьдесят пфеннигов, каталог — марка двадцать.

Пока Марианна проходила мимо очереди, которая выстроилась вдоль стены и тянулась до самого угла улицы, на ее лице все еще блестели слезы; она улыбнулась Йозефу, с силой сжавшему ее локоть, а потом улыбнулась Рут в благодарность за то, что девушка положила ей руку на плечо.

— Нам надо поторапливаться,— сказала Рут,— уже без десяти семь, не следует заставлять их ждать.

— Мы дойдем за две минуты,— возразил Йозеф,— как раз вовремя; и здесь пахнет известкой... везде меня преследует этот запах... и запах бетона; между прочим, знаете ли вы, что гробницы были обнаружены исключительно благодаря страсти отца к взрывам; когда взрывали старую сторожевую башню, обрушился подвал и расчистил путь к этим древним черепкам; одним словом, да здравствует динамит... как тебе, кстати, понравился наш новый дядюшка, Рут? Заговорил ли в тебе голос крови, когда ты его увидела?

— Нет,— сказала Рут,— голос крови во мне не заговорил, но, по-моему, он славный, только немного суховатый и какой-то беспомощный... он будет жить у нас?

— Вероятно,— сказал Йозеф.— Мы тоже там будем жить, Марианна.

— Ты намерен переехать в город?

— Да,— сказал Йозеф,— я хочу изучать статику, чтобы работать потом в солидной фирме моего отца. Ты не возражаешь?

Они пересекли оживленную магистраль и свернули на сравнительно тихую улицу; Марианна остановилась у одной из витрин; отстранив Йозефа и высвободившись из объятий Рут, она вытерла слезы носовым платком; Рут в это время пригладила рукой свои волосы и одернула джемпер.

— Не знаю, достаточно ли мы элегантны,— сказала она,— мне бы не хотелось огорчать дедушку.

— Вы вполне достаточно элегантны,— успокоил ее Йозеф.— Одобряешь ли ты мой план, Марианна?

— Конечно, мне далеко не все равно, чем ты занимаешься,—



сказала она,— но я верю, что изучать статику — это хорошо; весь вопрос в том, как ты намерен использовать свои знания.

— То есть строить или взрывать? Это я еще не решил,— ответил Йозеф.

— Динамит наверняка уже устарел,— сказала Рут,— я уверена, что сейчас существуют более совершенные средства. Помнишь, как радовался отец, когда ему еще разрешали взрывать? Собственно говоря, он стал таким строгим с тех пор, как ему нечего стало взрывать... Какое он произвел на тебя впечатление, Марианна? Он тебе понравился?

— Да,— ответила Марианна,— он мне очень понравился. Я думала, что он гораздо хуже, более холодный человек; ваш отец внушал мне чуть ли не страх, но как раз бояться-то его совсем и не надо; не смейтесь, в его присутствии я чувствую себя в безопасности.

Йозеф и Рут и не думали смеяться; они отправились дальше, Марианна шла в середине; у входа в кафе «Кронер» они остановились; обе девушки еще раз поглядели на себя в зеркальное стекло двери, затянутой изнутри зеленым шелком, и еще раз пригладили волосы; потом Йозеф с улыбкой распахнул перед ними дверь.

— О боже,— сказала Рут,— я умираю с голоду; надеюсь, дедушка заказал что-нибудь стоящее.

Воздев руки, госпожа Кронер двинулась им навстречу, она шла по зеленой дорожке мимо столиков, накрытых зелеными скатертями; ее серебристые волосы растрепались; по выражению лица можно было понять, что стряслась какая-то беда; в водянистых глазах госпожи Кронер блестела влага, ее голос дрожал от непритворного волнения.

— Значит, вы еще ничего не знаете? — спросила она.

— Нет,— ответил Йозеф,— что случилось?

— Видимо, произошло что-то страшное, ваша бабушка отменила праздник... она позвонила всего несколько минут назад; вас ждут в «Принце Генрихе» в двести двенадцатом номере. Я не только встревожена до глубины души, но и очень разочарована, господин Фемель; если бы я не считала, что звонок вызван вескими причинами, я была бы, честно говоря, оскорблена; сами понимаете, что клиенту, который вот уже пятьдесят, вернее, свыше пятидесяти лет является постоянным посетителем нашего ресторана, мы приготовили сюрприз, настоящее произведение искусства... впрочем, вы его сами увидите; и потом, что прикажете сказать представителям прессы и радио, которые появятся здесь около девяти часов, когда должно окончиться чествование в узком семейном кругу... Что я скажу им?

— Разве бабушка не сообщила вам никаких подробностей?

— Она сказала — недомогание... следует ли под этим подразумевать... хроническое... хроническое недомогание вашей бабушки?

— Мы ничего не знаем,— сказал Йозеф.— Не будете ли вы так добры переслать подарки и цветы в «Принц Генрих»?

— Да, конечно. Но я надеюсь, что уж вы-то по крайней мере посмотрите мой сюрприз.

Марианна толкнула Йозефа, Рут улыбнулась хозяйке; Йозеф сказал:

— С удовольствием, госпожа Кронер.

— Когда ваш дедушка приехал к нам в город, я была совсем юным существом, мне только что исполнилось четырнадцать лет,— начала госпожа Кронер,— тогда меня не пускали дальше кухни, зато потом я научилась сервировать стол; сами понимаете, сколько раз по утрам я приносила вашему дедушке завтрак, сколько раз я убирала рюмочку для яйца, пододвигала ему джем; наклоняясь, чтобы взять тарелку из-под сыра, я обязательно бросала взгляд на дедушкин блокнот; о боже, все мы живем жизнью своих клиентов; не надо считать нас, деловых людей, бесчувственными; не надо думать, что я могла забыть, как ваш дедушка вмиг стал знаменитым, получив такой грандиозный заказ; должно быть, клиенты полагают, что, когда они приходят в кафе, заказывают себе какое-нибудь блюдо, платят по счету и уходят, о них больше не думают; неужели они не понимают, что судьба, подобная судьбе вашего дедушки, накладывает свой отпечаток и на нас?..

— Ну конечно,— заверил ее Йозеф.

— Я знаю, о чем вы сейчас думаете — когда же старуха оставит нас в покое? И все же надеюсь, что я не требую от вас слишком много, приглашая посмотреть на мой сюрприз и передать дедушке, что я буду очень рада, если он придет сюда и увидит все своими глазами... Снимки для газет уже сделаны.

Они медленно шли за госпожой Кронер по зеленой дорожке между столиками, покрытыми зелеными скатертями; госпожа Кронер остановилась, и они тоже остановились, невольно встав у разных концов большого четырехугольного стола, на который был наброшен кусок полотна; полотно покрывало какой-то предмет со впадинами и выпуклостями.

— Как хорошо, что нас четверо,— обрадовалась госпожа Кронер,— прошу каждого из вас взяться за уголок полотнища и, когда я скажу «поднимаем», плавно поднять его кверху.

Марианна подтолкнула Рут к еще не занятому левому углу стола; потом трое молодых людей и госпожа Кронер взялись за концы полотнища, госпожа Кронер скомандовала «поднимаем», и полотнище поползло вверх; девушки двинулись навстречу друг к другу и соединили углы полотнища, а госпожа Кронер бережно сложила покрывало еще раз вдвое.

— Боже мой! — воскликнула Марианна.— Что я вижу, ведь это точная копия аббатства Святого Антония.

— Не правда ли? — сказала госпожа Кронер.— Посмотрите, мы ничего не забыли — даже мозаику над главным входом... а здесь тянутся виноградники.

В модели аббатства были соблюдены все пропорции. И не только это — краски также были совсем как в жизни: церковь была темная, хозяйственные постройки — светлые, крыша подворья

для паломников — красная, окна трапезной — разноцветные.

— Все это,— сказала госпожа Кронер,— мы сделали не из постного сахара и не из марципана, а из теста; это настоящий именинный пирог в подарок господину Фемелю, и выпечен он из песочного теста наилучшего качества. Неужели же ваш дедушка не может зайти сюда, чтобы посмотреть на это сооружение, прежде чем мы отошлем его к нему в мастерскую?

— Он обязательно придет посмотреть на ваш подарок,— сказал Йозеф,— а теперь разрешите мне, от имени дедушки, поблагодарить вас; видимо, причины, побудившие его отменить сегодняшней праздник, были достаточно вескими, и вы должны понять...

— Да, я понимаю, что вам пора уходить... нет, нет, пожалуйста, фройляйн, не кладите полотно обратно... к нам сейчас придут с телевидения.

— Мне бы хотелось только одного,— сказал Йозеф, когда они проходили по площади Святого Северина,— посмеяться над всем этим или заплакать, но я не способен ни на то, ни на другое.

— Я бы скорее заплакала,— ответила Рут,— но я не стану плакать. Что случилось? Что это за люди с факелами? По какому случаю они подняли такой шум?

Улица бурлила, ржали лошади, цокая копытами по мостовой, повсюду слышались отрывистые окрики, напоминающие военную команду, музыканты настраивали духовые инструменты, издававшие нестройный рев, и вдруг сквозь этот шум и гам донесся не очень громкий, сухой, короткий звук, совершенно не похожий на все другие звуки.

— Боже мой,— сказала Марианна с испугом,— что это такое?

— Выстрел,— сказал Йозеф.

Выйдя из городских ворот на Модестгассе, Леонора испугалась: на улице не было ни души; она не увидела ни подмастерьев, ни монахинь, ни грузовиков. Жизнь уже не была ключом, все вокруг опустело, только у лавки Греца виднелся белый халат госпожи Грец и мелькали ее розовые руки, гнавшие шваброй мыльную пену. Типография была заперта крепко-накрепко, словно в ней уже никогда не будут печатать ничего назидательного на белых листах бумаги; на ступеньках лавки Греца лежал кабан, широко раскинув копыта, с раной в боку, затянутой черной пленкой; его медленно втаскивали в лавку; лицо Греца побагровело, и из этого можно было заключить, как тяжела туша. Леонора трижды звонила по телефону — в дом номер семь, в дом номер восемь и в кафе «Кронер», но ответили только в кафе «Кронер».

— Вам срочно нужен господин доктор Фемель? У нас его нет... Праздник отменили. Это говорит фройляйн Леонора? Вас просили зайти в отель «Принц Генрих».

Она сидела в ванне, когда раздался резкий звонок; шум, под-

нятый почтальоном, не предвещал ничего хорошего. Леонора вылезла из ванны, накинула халатик, замотала полотенцем мокрую голову, подошла к двери и взяла письмо, посланное спешной почтой,— адрес на конверте с двумя красными чертами был написан рукой Шрита, его желтым карандашом; наверное, Шрит торопил свою восемнадцатилетнюю дочку скорее взять велосипед и ехать на почту, срочно ехать...

«Милая фройляйн Леонора!

Постарайтесь как можно быстрее связаться с господином Фемелем; все статические расчеты в проекте Х5 оказались неправильными, кроме того, по словам господина Кандерса, с которым я только что беседовал по телефону, он послал неправильную документацию непосредственно заказчику, что, вообще говоря, никогда не практиковалось нашей фирмой; дело настолько экстренное, что я намерен сегодня же вечером выехать к вам экспрессом, если до двадцати часов Вы не сообщите мне, что Вами приняты соответствующие меры. Не мне Вам говорить, насколько важным и значительным является заказ Х5.

С приветом. Ваш Шрит».

Леонора уже дважды продефилировала мимо отеля «Принц Генрих», снова вернулась на Модестгассе, дошла почти до самой лавки Греца и опять повернула назад; она боялась, что патрон устроит ей скандал; суббота была для него священным днем, нарушать его покой по субботам можно было только в тех случаях, когда речь шла о семейных делах, никаких служебных дел он в этот день не признавал; в ушах Леоноры все еще звучали его слова: «Просто безобразие!» Но пока семь часов еще не пробило, Шрит на месте и с ним можно будет за несколько минут связаться по телефону; хорошо, что старик отменил праздник. Леоноре казалось кошунством присутствовать при том, как Роберт Фемель ест и пьет; она робко подумала о проекте Х5; он никак не мог сойти за семейное дело; Х5 не был также обычным проектом, таким, как проект «Виллы на опушке леса для издателя» или же проект «Жилого дома для учителя на берегу реки»; Х5... Леонора почти не осмеливалась думать о нем, таким секретным являлся этот проект... он лежал в самой глубине сейфа; с замиранием сердца она вспоминала о почти пятнадцатиминутном разговоре ее хозяина с Кандерсом. Не о проекте ли Х5 они беседовали? Леоноре стало страшно.

Грец все еще никак не мог втащить на лестницу кабана, огромная туша подвигалась вперед рывками; в ворота типографии позволил рассыльный с колоссальной корзиной цветов; вышел швейцар, взял цветы и снова запер ворота; рассыльный раскрыл ладонь и с разочарованным видом посмотрел на чаевые. Надо сказать милостивому старичку, подумала Леонора, что швейцар явно не выполняет его приказа давать каждому рассыльному по две марки; не видно, чтобы в ладони рассыльного блестело серебро, там лежат одни только тусклые медяки.

Наберись мужества, Леонора, наберись мужества, стисни зубы, преодолей свой страх и иди в отель. Леонора снова свернула за угол; девушка с громадной корзиной фруктов вошла в ворота типографии и, выходя обратно, посмотрела на свою ладонь с тем же выражением лица, что и прежний рассыльный. Какой подлец этот привратник, подумала Леонора, я обязательно пожалуюсь на него господину Фемелю.

Было без десяти семь; ее пригласили в кафе «Кронер», а потом велели прийти в отель «Принц Генрих», и вот она явится туда и начнет деловой разговор, хотя суббота для патрона священна и он не терпит, чтобы в этот день с ним вели деловые разговоры. Но, быть может, проект Х5, в виде исключения, изменит его привычки? Покачав головой, Леонора с мужеством отчаяния толкнула дверь отеля, но в испуге убедилась, что ее придерживают изнутри.

Душечка моя, душечка, и в отношении тебя я позволю себе сделать одно замечание личного характера; только подойди поближе, надеюсь, ты смущаешься так не из-за цели своего визита, а из-за самого факта этого визита; на своем веку я перевидал немало девиц, которые входили в эту дверь, но они были не такие, как ты; тебе здесь не место; в нашем отеле сейчас находится только один гость, к которому я могу пустить тебя, не позволяя себе никаких замечаний личного порядка,— фамилия этого гостя Фемель; я гожусь тебе в дедушки; ты не должна обижаться, если я сделаю тебе одно замечание личного порядка; в этом разбойничьем вертепе таким, как ты, делать нечего; рассыпай крошки, чтобы найти дорогу обратно; ты заблудилась, детка; у тех, кто приходит сюда по служебным делам, совсем другой вид, а у тех, у кого здесь личные дела, и подавно; подойди ко мне поближе.

— Доктор Фемель? Ах так, секретарша? Срочно требуется? Подождите, фройляйн, сейчас я позвоню ему по телефону... Надеюсь, вам не мешает шум на улице...

— Леонора? Я очень рад, что отец пригласил вас на рождение... Извините меня, пожалуйста, сегодня утром я наговорил вам бог знает что. Ведь вы меня извините, правда? Отец просит вас прийти в двести двенадцатый номер. Письмо от господина Шрита? Все данные в проекте Х5 неправильно вычислены? Хорошо, я созвонюсь со Шритом. Как бы то ни было, благодарю вас, Леонора. Итак, мы вас ждем...

Она повесила трубку, подошла к портюе и уже хотела было открыть рот, чтобы спросить, где двести двенадцатый номер, как вдруг раздался не очень громкий сухой звук, прозвучавший так необычно, что Леонора испугалась.

— Господи,— сказала она,— что это было?

— Это был выстрел из пистолета, дитя мое,— сказал Йохен.

Красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; Гуго прислонился к белой блестящей двери, скрестив руки за спи-

ной; на этот раз геометрические фигуры казались ему не такими точными, а ритм шаров менее четким, хотя это были все те же шары, все то же сукно наилучшего качества, за которым постоянно следили самым тщательным образом. Да и Фемель стал еще более метким, его удары безошибочно попадали в цель, шары образовывали все новые геометрические фигуры, словно извлекая их из зеленой пустоты. И все же Гуго казалось, что ритм игры нарушен и что фигуры стали менее точными. Объяснялось ли это присутствием Шреллы, который принес с собой настоящее, действительность, и разрушил колдовство? То, что происходило сейчас, происходило во времени и пространстве, в этом отеле в восемнадцать часов сорок четыре минуты, в субботу, шестнадцатого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года: теперь тебя уже не отбросят на тридцать лет назад и не кинут на четыре года вперед, на сорок лет назад, а оттуда опять в сегодняшний день; то, что происходило сейчас, было стабильно, ограничено рамками времени, которое тащила вперед секундная стрелка, происходило именно в этом отеле, где из ресторана доносились бесконечные возгласы: «Счет, кельнер, счет!»; публика напирала к выходу, чтобы поспеть на фейерверк, народ теснился у окон в ожидании парада, толпы направлялись к древнеримским детским гробницам... «Все готово? Магний вспыхнет вовремя?» — «Разве вы не знали, что под буквой «М» скрывается министр?» — «Элегантно, не правда ли?» — «Счет, кельнер, счет!..»

Не зря часы отбивали время, не зря передвигались стрелки; минут становилось все больше и больше, они превращались в четвертушки и в половинки часов, и в конце концов часы показывали точное время — год в год, час в час, секунда в секунду. Разве в ритме шаров нельзя было уловить вопросы: Роберт, где ты есть? Роберт, где ты был? Роберт, где ты бывал? И разве в ударах кия Роберта не слышалось в ответ: Шрелла, где ты есть? Шрелла, где ты был? Шрелла, где ты бывал? Их игра на бильярде походила на какой-то нескончаемый ряд заклинаний. Казалось, ударяя кием по шарам на зеленом сукне, они без конца вопрошали «зачемзачемзачем?» или же причитали «*господи помилуй, господи помилуй*». Отходя от бортов, чтобы дать ударить Роберту, Шрелла каждый раз улыбался и качал головой.

И Гуго, сам того не замечая, тоже качал головой после каждого удара; колдовство рассеялось, все стало не столь четким, как прежде, ритм нарушился, а часы и календарь совершенно точно отвечали на вопрос: «*Когда?*» Часы и календарь говорили: «Шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, восемнадцать часов пятьдесят одна минута».

— Давай оставим это,— сказал Роберт,— ведь мы больше не в Амстердаме.

— Хорошо,— согласился Шрелла,— оставим, ты прав. А что, нам еще нужен этот мальчик?

— Да,— сказал Роберт,— лично мне он еще нужен. Или, может, ты хочешь уйти, Гуго? Не хочешь? Тогда побудь здесь,

пожалуйста, поставь кий на место, убери шары и дай нам что-нибудь выпить... да нет, оставайся, детка; я хотел показать тебе одну вещь: видишь кипу бумаг? Все эти документы, мой милый, скреплены печатями, и на них множество всяких подписей, недостает всего лишь одной подписи, твоей подписи вот на этой бумаге. Если ты ее подпишешь, ты станешь моим сыном. Когда ты подавал вино там наверху, ты видел моих отца и мать, отныне они будут твоими дедушкой и бабушкой; Шрелла станет твоим дядей, Рут и Марианна — сестрами, а Йозеф — братом; ты заменишь мне того мальчика, которого моя жена так и не успела родить; интересно, что скажет старик, когда я представлю ему в день его рождения нового внука, внука с улыбкой Эдит... Нужен ли мне этот мальчик, Шрелла? Да, он мне нужен, нужен всем нам; хорошо, если бы мы тоже стали ему нужны; честно говоря, нам без него просто-таки невозможно; слышишь, Гуго, нам без тебя невозможно. Да, ты не сын Ферди, и все же ты унаследовал его душу... Тише, родной мой, не плачь, отправляйся к себе в комнату и прочти эту бумагу, только осторожно иди по коридору, будь осторожен, сынок.

Шрелла раздвинул портьеры и посмотрел на площадь перед отелем; Роберт протянул ему пачку сигарет, Шрелла зажег спичку, и они закурили.

— Ты еще не отказался от комнаты в гостинице?

— Нет.

— Разве ты не будешь жить у нас?

— Еще не знаю, — ответил Шрелла, — я боюсь домов, в которых устраиваешься надолго и убеждаешься в той тривиальной истине, что жизнь идет своим чередом и что время примиряет со всем; Ферди стал бы для меня всего лишь далеким воспоминанием, а мой отец — сном, хотя именно здесь, в этом городе, они убили Ферди, хотя именно здесь бесследно исчез мой отец; их имена не значатся нигде, их не найдешь в списках политических организаций, потому что они не занимались политикой, еврейская община не поминает их в заупокойных песнопениях, ведь они не были евреями; если имя Ферди вообще где-то фигурирует, то лишь в судебных архивах; о нем никто не вспоминает, кроме нас с тобой, Роберт, твоих родителей да еще старого портье в этом отеле; твои дети уже не думают о нем; я не могу жить в этом городе, потому что он для меня недостаточно чужой; здесь я родился и ходил в школу; в те времена я мечтал освободить Груффельштрассе от злых чар; я знал одно слово, которого никогда не произносил вслух, даже разговаривая с тобой, Роберт; то единственное слово, на которое я еще надеялся; даже сейчас я не произнесу его вслух, разве только на вокзале, когда ты будешь сажать меня в поезд.

— Ты собираешься ехать уже сегодня? — спросил Роберт.

— Нет, нет, не сегодня; меня вполне устраивает жить в гостинице; я закрываю дверь своего номера, и этот город становится для меня таким же чужим, как все города на земле. Сидя в номере, я знаю, что скоро отправлюсь в путь и опять начну да-

вать уроки немецкого языка; я представляю себе, как войду в класс, сотру с доски арифметическую задачу и напишу мелом: «Я вяжу, я вязал, я вязал бы, я буду вязать, я завязал... ты завязал, ты завязывал». Я люблю грамматику, она для меня то же, что стихи; ты думаешь, наверное, я не хочу здесь жить потому, что не вижу никакой реальной политической перспективы для этого государства, а мне кажется, скорее, что я не могу жить здесь, так как всегда был вне политики и сейчас тоже вне ее.— Шрелла показал на площадь и засмеялся.— Нет, не эти люди пугают меня; да, да, я все знаю, я их вижу, Роберт, вижу Неттлингера и Вакеру, но я боюсь не того, что такие люди появились у нас снова, а того, что в этой стране не появилось иных людей; ты спрашиваешь — каких? Людей, которые, пусть шепотом, произносят заветное слово; однажды старик в Гайд-парке спросил меня: «Если вы в него верите, то почему вы не следуете его велениям?» Ты скажешь, что это глупо и нереалистично, не правда ли, Роберт? «Паси овец Моих», а они между тем взращивают одних только волков, Роберт. С чем вы вернулись домой после войны, Роберт? Ни с чем, кроме динамита. Хорошенькая игрушка, я прекрасно понимаю тебя, тобою движет ненависть к миру, в котором не нашлось места ни для Ферди, ни для Эдит, не нашлось места ни для моего отца, ни для Гроля, ни для мальчика, имя которого мы так и не узнали, ни для поляка, поднявшего руку на Вакеру. Итак, ты коллекционируешь статическую документацию, как другие коллекционируют мадонн в стиле барокко, ты собрал целую картотеку, состоящую из одних формул. И моему племяннику, сыну Эдит, тоже надоел запах извести, и он начал искать формулы своего будущего не в залатанных стенах аббатства Святого Антония, а где-то вне этих стен. Как ты думаешь, повезет ему? Сможешь ли ты указать ему нужную формулу? Или он прочтет ее в глазах своего нового брата, в глазах мальчика, отцом которого ты хочешь стать? Ты прав, Роберт, нельзя *быть* отцом, им можно только *стать*; голос крови — это выдумка, надо верить совсем в другое; вот почему я не женился, просто я не нашел в себе мужества уверовать в то, что сумею стать отцом: я бы не перенес, если бы мои дети были такими же, как Отто, такими же чужими, как Отто для твоих родителей; даже в воспоминаниях о моей матери и моем отце я не мог почерпнуть необходимое мужество; ты сам еще не знаешь, что выйдет из Йозефа и Рут, какое причастие они будут принимать; нельзя быть уверенным ни в ком, даже в ваших с Эдит детях; нет, нет, Роберт, ты должен понять, почему я не хочу выехать из своего номера в гостинице и вселиться в дом, где жил Отто и умерла Эдит; я был бы не в силах каждый день смотреть на почтовый ящик, в который этот мальчик бросал твои записочки, ведь у вас все тот же почтовый ящик?

— Нет,— сказал Роберт,— входную дверь пришлось заметить, она была вся изрешечена осколками; только пол на площадке лестницы остался прежним; ноги мальчика ступали по нему.



— И ты об этом думаешь, когда ходишь по площадке?

— Да,— сказал Роберт,— думаю; возможно, как раз в этом одна из причин того, почему я коллекционирую статические формулы... Почему ты не приезжал раньше?

— Боялся, боялся, что город покажется мне недостаточно чужим, хотя двадцать два года — неплохой амортизатор. Ну а то, что мы, Роберт, скажем друг другу, разве все это нельзя изобразить на почтовых открытках? Я бы с удовольствием жил по соседству с тобой, но только не здесь. Здесь мне страшно; не знаю, может, я ошибаюсь, но люди, которых я вижу в этом городе, кажутся мне ничуть не лучше тех, от которых я когда-то бежал.

— Думаю, что ты не ошибся.

— Скажи, что стало с такими, как Эндерс? Ты помнишь рыжего Эндерса? Он был славный малый, не насильник, в этом я уверен. Что делали люди, подобные Эндерсу, во время войны и что они делают теперь?

— По-моему, ты недооцениваешь Эндерса; он был не только славный малый, он еще... одним словом, Эндерс никогда не принимал *«причастия буйвола»*, почему бы нам не сказать об этом так же бесхитростно, как говорила Эдит? Эндерс стал священником; после войны он произнес несколько проповедей, которые я считаю незабываемыми; если я повторю слова Эндерса, они прозвучат не так, как звучали в его устах.

— А что он делает теперь?

— Они засунули его в какую-то дыру, в деревню, которая стоит даже не на железной дороге, и там он произносит свои проповеди, не обращая внимания на то, что его слушают только крестьяне да ребяташки. Нельзя сказать, чтобы они его ненавидели, просто они говорят с ним на разных языках, хотя по-своему почитают, как милого дураля. Не знаю, уверяет ли он их и впрямь, что все люди братья. Они в этом разбираются лучше и, вероятно, тайне думают: а может быть, он все-таки коммунист? Иных мыслей у них не возникает; число штампов еще уменьшилось, Шрелла; никому не пришло бы в голову называть твоего отца коммунистом, даже дураку Неттлингеру, а сегодня они не нашли бы для него никакого другого определения. Эндерс хочет пасти овец, а вместо этого ему подсовывают баранов; он попал на подозрение, потому что слишком часто избирал темой своих проповедей Нагорную проповедь; быть может, в один прекрасный день заявят, что этот кусок Евангелия — позднейшая вставка, и вообще вычеркнут его... давай съездим к Эндерсу, Шрелла. Хотя, возвращаясь обратно на вечернем автобусе к станции, мы обнаружим, что из встречи с ним почерпнули больше отчаяния, нежели утешения; люди в этой деревне кажутся мне более далекими, нежели жители луны; съездим к Эндерсу, проявим к нему сострадание, арестантов надо посещать... А почему ты, собственно, вспомнил об Эндерсе?

— Я подумал, с кем бы мне хотелось увидеться на родине;

не забывай, что мне пришлось исчезнуть в те времена, когда я был еще школьником. Но я боюсь встреч с тех пор, как повидал сестру Ферди.

— Ты видел сестру Ферди?

— Она приобрела киоск на конечной остановке одиннадцатого номера. Ты там ни разу не был?

— Нет, я боялся, что Груффельштрассе покажется мне чужой.

— Она и мне показалась чужой, самой чужой улицей на свете... Не ходи туда, Роберт. А что, Тришлеры действительно погбли?

— Да,— сказал Роберт,— и Алоиз тоже погиб, они пошли ко дну вместе с «Анной Катариной»; перед этим Тришлеров выселили из гавани; когда выстроили новый мост, им пришлось оттуда убраться; квартирка, которую они сняли в городе, оказалась не по ним — старики не могли жить без реки и без барж; Алоиз решил отвезти их на «Анне Катарине» к своим друзьям в Голландию, но судно попало под бомбежку; Алоиз бросился вниз за родителями, однако было уже поздно... вода хлынула с палубы в трюм; никому из них не удалось спастись; очень долгое время я не мог напасть на их след.

— А где ты все это узнал?

— В «Якоре», я ходил туда каждый день и расспрашивал моряков о Тришлерах, пока не нашел человека, который знал о несчастье с «Анной Катариной».

Шрелла задернул портьеру, подошел к столу и погасил в пепельнице сигарету. Роберт последовал за ним.

— Я думаю,— сказал он,— нам пора подняться к моим родителям... Хотя, может, тебе не хочется присутствовать на нашем семейном торжестве?

— Да нет,— сказал Шрелла,— я пойду с тобой. Но разве мы не подождем мальчика? А что стало с такими, как Швойгель?

— Тебя в самом деле интересует Швойгель?

— Почему ты это спрашиваешь?

— Неужели, скитаясь по белу свету, ты вспоминал Эндерса и Швойгеля?

— Да, и еще Гreve и Хольтена... ведь они были единственные, кто не преследовал меня, когда я возвращался из школы домой... еще Дришка не участвовал... Что с ними со всеми случилось? Они живы?

— Хольтен убит на войне, а Швойгель жив; он стал писателем; иногда вечером он звонит мне по телефону или заходит сам, но я прошу Рут говорить, что меня нет дома; я его не выношу, разговоры с ним совершенно бесплодны; мне в его обществе просто скучно; он без конца говорит об обывателях и необывателях; себя он, по-моему, причисляет к последним... не знаю, что он понимает под этим; мне Швойгель, честно говоря, не интересен; как-то он спрашивал о тебе.

— Ну а что случилось с Греве?

— Он теперь партийный, только не спрашивай меня, в какой партии он состоит, да это и не столь важно. А Дришка продает мягкую игрушку — львов фирмы Дришка, этот товар приносит ему уйму денег. Ты не знаешь, что такое львы для автомобилей? Поживи у нас недельку, и ты сразу все усвоишь; каждый мало-мальски уважающий себя человек держит в своей автомашине перед задним стеклом льва фирмы Дришка... А в этой стране ты почти не встретишь человека, не уважающего себя... Им с детства вдальблывают, что они весьма уважаемые люди; конечно, кое-что они все же вынесли с войны, кое-какие воспоминания о страданиях и жертвах, но в данный момент они уже снова полны самоуважения... Скажи, ты видел народ там, внизу, в холле? Они отправляются на три совершенно различных банкета — на банкет левой оппозиции, на банкет общества «Все для общего блага» и на банкет правой оппозиции, но надо обладать поистине гениальным чутьем, чтобы догадаться, на какой банкет кто из них идет.

— Да,— сказал Шрелла,— я ожидал тебя в холле как раз тогда, когда там собирались первые приглашенные, и я слышал, что они упоминали об оппозиции; раньше всех пришли самые безобидные, так сказать, пехота демократии, деляги того сорта, который считается *не таким уж плохим*, они беседовали об автомобильных марках и о загородных домиках; из их разговоров я узнал, что Французская Ривьера начинает снова входить в моду, и, оказывается, как раз из-за того, что там всегда такой наплыв; они уверяли также, что, вопреки всем прогнозам, среди интеллигенции считается сейчас модным путешествовать не в одиночку, а с экскурсиями. Интересно, как все это здесь называют — оборотной стороной снобизма или же диалектикой? Ты должен просветить меня в этом вопросе. Английский сноб сказал бы: «За десять сигарет я продам вам мою бабушку»; что касается здешнего люда, то они действительно готовы продать свою бабушку, и притом всего лишь за пять сигарет; даже свой снобизм они и то принимают всерьез... Ну а потом они заговорили о школьном образовании; одни из них выступали в защиту гуманитарного образования, а другие против... Ну что ж... Я прислушивался к их разговорам, потому что мне хотелось узнать что-нибудь об истинных тревогах людей в этой стране, но они без конца шептали имя деятеля, которого ожидали на этом вечере, они говорили о нем с большим почтением... его зовут Крец. Ты что-нибудь слышал о нем?

— Крец,— сказал Роберт,— это, так сказать, звезда оппозиции.

— Слово «оппозиция» повторялось беспрестанно, но из их болтовни я так и не узнал, к кому, собственно, они находятся в оппозиции.

— Раз эти люди ждали Креца, значит, они — левые.

— Я правильно понял: этот Крец своего рода знаменитость? На него, как говорится, возлагают все надежды?

— Да,— подтвердил Роберт,— от Креца они многого ждут.

— Я и его видел,— сказал Шрелла,— он пришел последним;

если на этого человека возлагают все надежды, то хотелось бы мне знать, кого они считают совершенно безнадежным... Мне кажется, вздумай я убить кого-нибудь из политиков, это был бы Крец. Неужели вы все ослепли? Разумеется, он человек умный и образованный, он способен даже процитировать Геродота по-гречески, а для демократической пехоты, которая никак не может избавиться от своей навязчивой идеи насчет необходимости образования, греческий звучит божественной музыкой. Но, надеюсь, Роберт, ты не оставил бы наедине с этим Крецем ни свою дочь, ни своего сына даже на минуточку; от снобизма он совсем перестал соображать, он не знает даже, какого он пола. Такие люди, как Крец, играют в закат Европы, но они плохие актеры; под минорную музыку все это будет напоминать похороны по третьему разряду.

Слова Шреллы прервал телефонный звонок; Шрелла последовал за Робертом, который прошел в угол к телефону и снял трубку.

— Леонора? Я очень рад, что отец пригласил вас на рождение... Извините меня, пожалуйста, сегодня утром я наговорил вам бог знает что. Ведь вы меня извините, правда? Отец просит вас прийти в двести двенадцатый номер. Письмо от господина Шрита? Все расчеты по проекту X5 неправильны? Хорошо, я созвонюсь со Шритом. Как бы то ни было, благодарю вас, Леонора. Итак, мы вас ждем...

Роберт положил трубку и снова повернулся к Шрелле.

— Я думаю...— начал было он, но тут раздался не очень громкий сухой звук.

— Боже мой,— сказал Шрелла,— это выстрел.

— Да,— подтвердил Роберт,— это выстрел. По-моему, нам пора подняться наверх.

Гуго прочел: «Заявление об отказе от прав. Сим изъявляю свое согласие на то, что мой сын Гуго...» Под заявлением стояли важные печати и подписи. Голос, который он страшился услышать, на этот раз молчал; в былые времена этот голос приказывал ему прикрыть наготу матери, когда она возвращалась домой после своих странствий и, лежа на кровати, вполголоса причитала: *«зачемзачемзачем»*; он испытывал сострадание, прикрывая ее наготу или принося ей попить; прокрадываясь ради нее в лавочку, чтобы выклянчить там две сигареты, он каждый раз боялся, что по дороге на него нападут мальчишки, избыют его и будут дразнить *«агнцем божьим»*; потом этот голос приказывал ему играть в канасту с женщиной по кличке *«таким, как она, не следовало родиться»* и предостерегал от того, чтобы входить в комнату к овечьей жрице, и вот сейчас этот голос повелел ему прошептать слово «отец».

Чтобы умерить страх, который Гуго внезапно почувствовал, он начал произносить и другие слова: «сестра», «брат», «дедушка», «бабушка», «дядя», но страх не проходил; мальчик вспоминал все новые и новые слова: «динамика» и «динамит», «бильярд» и «кор-

ректно», «шрамы на спине», «коньяк» и «сигареты», «красный по зеленому полю», «белый по зеленому»... Но страх все еще не уменьшался. Быть может, надо что-то предпринять, чтобы прогнать его. Гуго открыл окно и посмотрел на шумящую толпу; что это за шум — грозный или мирный? На улице пускали фейерверк; вслед за громовым раскатом в темно-синем небе распускались гигантские цветы; оранжевые спруты, казалось, протягивали вперед свои щупальца. Гуго закрыл окно, провел рукой по лиловой ливрее, висевшей на вешалке у входа, и открыл дверь в коридор. Даже здесь, наверху, была ощутима тревога, охватившая все здание; в двести одиннадцатом номере тяжелораненый! Слышался гомон голосов, шаги раздавались то тут, то там, кто-то бежал вверх по лестнице, кто-то спускался вниз, и весь этот шум покрывал пронзительный голос полицейского: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!»

Прочь! Прочь! Гуго испугался и в страхе снова шепнул: «Отец». Директор сказал ему: «Нам будет недоставать тебя, Гуго, неужели ты хочешь нас покинуть, да еще так внезапно?» Вслух Гуго ничего не ответил, но про себя подумал: да, все должно было случиться внезапно, потому что зрело уже давно. Когда Йохен принес весть о покушении, директор забыл все на свете, он даже перестал удивляться тому, что Гуго уходит. Директор встретил сообщение Йохена отнюдь не с ужасом, а как раз напротив, с восторгом; вместо того чтобы сокрушенно качать головой, он радостно потирал руки.

— Вы ничего не понимаете. Такого рода скандал в один миг подымет престиж нашего отеля на недостижимую высоту. Все газеты будут пестреть гигантскими заголовками. Убийство — отнюдь не то же самое, что самоубийство, Йохен... а политическое убийство — это не просто какое-нибудь там убийство. Если он даже не умер, мы сделаем вид, что он при смерти. Нет, вы ничего не понимаете, в газетах обязательно должно быть сказано: «Положение больного безнадежно». Всех, кто звонит по телефону, немедленно соединяйте со мной, а то вы обязательно что-нибудь напутаете. Боже мой, почему у вас такой дурацкий вид? Будьте сдержанны, изобразите на лице легкое сожаление, ведите себя как люди, которые, хотя и оплакивают покойника, дорогого их сердцу, радуются в предвидении большого наследства. Идите, дети мои, принимайтесь за дело! На нас посыплется целый дождь телеграмм с просьбой оставить номер. Надо же, чтобы это случилось как раз с М. Вы даже не представляете себе, что сейчас начнется. Только бы никто не покончил с собой. Позвони сейчас же господину из одиннадцатого номера, я не возражаю, если он придет в ярость и уберется из гостиницы... Черт возьми, он ведь должен был проснуться от фейерверка. Пора, дети мои! К оружию!

Отец, думал Гуго, ты должен сам забрать меня отсюда, ведь они не пускают никого в двести двенадцатый номер.

Серый полумрак лестничной клетки прорезали вспышки магния; потом появился освещенный прямоугольник лифта; лифт доставил постояльцев из номеров от двести тринадцатого до двести двадцать

шестого; из-за оцепления им пришлось подняться на третий этаж, чтобы потом спуститься по служебной лестнице к себе на второй; когда дверь лифта отворилась, послышался многоголосый гомон, в коридор высыпали мужчины в темных костюмах и женщины в светлых платьях с растерянными лицами и искривленными губами, с которых срывались слова «Какой ужас!» и «Какой скандал!». Гуго слишком поздно захлопнул за собой дверь — она его увидела, она уже бежала по коридору к его комнате; Гуго только успел повернуть ключ в замочной скважине, как дверная ручка начала вращаться во все стороны.

— Открой, Гуго, открой же, — сказала она.

— Не откроею.

— Я тебе приказываю.

— Вот уже четверть часа, как я не являюсь служащим отеля, сударыня.

— Ты уходишь?

— Да.

— Куда?

— Я ухожу к своему отцу.

— Открой, Гуго, открой, я тебе ничего не сделаю, я не буду тебя больше пугать; ты не должен уходить; я знаю, что у тебя нет отца, я это точно знаю; ты нужен мне, Гуго... ты тот человек, которого они ждут, Гуго, и ты это знаешь; ты увидишь мир, и все они падут пред тобой ниц в самых шикарных отелях; тебе не надо будет ничего говорить, только быть со мной, твое лицо, Гуго... иди сюда, открой, ты не можешь уйти!

Скрип дверной ручки на мгновение заглушил голос женщины; каждый раз, как ручка дергалась, в потоке ее молящих слов возникали короткие паузы:

— Я прошу не ради себя, Гуго, забудь все, что я говорила и делала, я была в отчаянии... иди сюда, ради них... они тебя ждут, ты наш агнец...

Дверная ручка дернулась еще раз.

— Что вам здесь нужно? — спросила она.

— Мне нужен мой сын.

— Гуго ваш сын?

— Да. Открой, Гуго.

Впервые он не сказал мне «пожалуйста», подумал Гуго, поворачивая ключ в замочной скважине и открывая дверь.

— Пошли, сынок, нам пора.

— Да, отец, я иду.

— У тебя больше нет вещей?

— Нет.

— Пошли.

Гуго взял свой чемодан; он был рад, что спина отца заслонила лицо женщины. Спускаясь по служебной лестнице, мальчик все еще слышал плач овечьей жрицы.

— Да не плачьте же, дети,— сказал старик,— она вернется снова и будет жить с нами, она была бы очень огорчена, если бы узнала, что мы так и не выпили вино; его рана не смертельна, надеюсь, на его лице так и останется выражение громадного изумления; все люди этого сорта считают себя бессмертными... один не очень громкий сухой звук может сотворить чудо. А теперь, девушки, займитесь, пожалуйста, подарками и цветами; Леоноре я поручаю цветы, Рут — поздравительные адреса, а Марианне — подарки. Порядок — это полжизни... не известно только, из чего состоит ее вторая половина. Ничего не поделаешь, дети, я не в силах грустить. Сегодня большой день, он вернул мне жену и подарил сына... можно мне так вас назвать, Шрелла? Ведь вы брат Эдит... И нового внука я тоже получил, не правда ли, Гуго?.. Я все еще не могу решиться назвать тебя внуком. Ты сын моего сына, и все же мне ты не внук, какой-то внутренний голос, не знаю какой, запрещает мне называть тебя внуком.

Садитесь, пусть девушки сделают нам бутерброды, все корзины с едой можно опустошить, дети; только смотрите не разбросайте снова пачки, которые так аккуратно сложила Леонора; лучше всего будет, если каждый из вас выберет себе одну какую-нибудь пачку и сядет на нее; вы, Шрелла, возьмите себе пачку с literой «А», она самая высокая. А тебе, Роберт, разреши предложить пачку за тысяча девятьсот десятый год, она вторая по высоте. Йозеф пусть сам найдет себе что-нибудь подходящее. Как ты смотришь на тысяча девятьсот двадцать первый год? Ну вот, хорошо, а теперь садитесь; прежде всего давайте выпьем за господина М., за то, чтобы выражение изумления никогда не сходило с его лица... второй глоток мы пьем за мою жену, пусть бог ее благословит. Посмотрите, пожалуйста, Шрелла, кто там стучится в дверь.

Вы говорите, что некто господин Грец хочет засвидетельствовать мне свое почтение? Надеюсь, он не взвалил себе на спину кабана? Нет? Слава богу. Тогда скажите ему, пожалуйста, дорогой Шрелла, что я его не приму. А ты как считаешь, Роберт? Разве сейчас подходящее время разговаривать с неким господином Грецем? Нет? Правда? Спасибо вам, Шрелла. Сейчас как раз подходящее время порвать ненужные отношения с людьми; два слова могут стоить человеку жизни. «Стыд и позор»,— говорила старая госпожа Грец. Одно движение руки может стоить человеку жизни так же, как и одно неправильно понятое движение глаз; да, Гуго, пожалуйста, налей всем вина; надеюсь, ты не обидишься, если мы в своем семейном кругу воспользуемся навыками, которые тебе пришлось приобрести в жизни?

Самые большие букеты можешь спокойно ставить перед проектом Святого Антония, а букеты поменьше размести справа и слева от него на полке для чертежей; сними футляры, в них ничего нет, эти футляры стоят здесь просто как украшение, выбрось их, хотя, быть может, среди вас есть человек, который захочет использовать драгоценную чертежную бумагу? Как ты к этому относишься,

Йозеф? Почему ты сидишь в такой неудобной позе? Ты выбрал себе пачку за тысяча девятьсот сорок первый год, то был неурожайный год, дорогой мой. Тысяча девятьсот сорок пятый оказался куда удачнее, тогда заказы просто-таки сыпались на меня, почти как в тысяча девятьсот девятом году, но я их все роздал, дорогой мой. Словечко "sorry" отбило у меня охоту строить. Рут, сложи все поздравительные адреса в одну стопку на моем чертежном столе, я дам отпечатать типографским способом ответные послания, ты поможешь мне надписать конверты; за это я куплю тебе какой-нибудь хороший подарок у Гермины Горушки. Как я должен благодарить поздравивших меня? «Приношу Вам самую искреннюю благодарность за внимание, оказанное мне по случаю моего восьмидесятилетия». Возможно, я приложу к каждому благодарственному письму рисунок от руки. Как ты находишь мою мысль, Йозеф? Например, изображение пеликана или змеи... не нарисовать ли мне буйвола?.. А теперь подойди-ка к двери, Йозеф, будь добр, посмотри, кто там пришел так поздно. Четверо служащих из кафе «Кронер»? Принесли подарок, от которого я, по-твоему, не должен отказываться? Хорошо, пусть войдут.

Два кельнера и две девушки буфетчицы осторожно внесли в комнату покрытый белоснежным полотнищем четырехугольный предмет, длина которого намного превышала его ширину; старик испугался: неужели они принесли покойника? Что-то острое, как палка, приподымало полотно снизу — неужели нос? Четверо служащих несли непонятный предмет так осторожно, словно это было тело усопшего; царил абсолютная тишина; руки Леоноры, обхватившие букет, казалось, вдруг окаменели; Рут застыла, держа в руке поздравительный адрес с золотым обрезом, Марианна так и не успела поставить пустую корзину, в которой принесли фрукты.

— Нет, нет,— тихо сказал старик,— не опускайте это, пожалуйста, на пол; дети, дайте им доски.

Гуго и Йозеф принесли из угла мастерской доски, положили их на кипы чертежей, на чертежи от тысяча девятьсот тридцать шестого года до тридцать девятого; потом снова наступила тишина; оба кельнера и девушки поставили непонятный предмет на доски и встали по углам, каждый из них взялся за уголок полотнища, и после отрывистого возгласа «поднимаем», брошенного старшим из кельнеров, все четверо подняли покрывало.

Старик побагровел; подскочив к макету аббатства, он поднял кулаки, как барабанщик, который собирается с силами, чтобы в гневе ударить по барабану; секунду казалось, что он сокрушит замысловатое сооружение из сладкого теста, но потом он снова опустил кулаки, руки старого Фемеля бессильно повисли вдоль туловища; он тихо засмеялся и отвесил поклон сперва девушкам, а потом кельнерам; затем он снова выпрямился, вынул из пиджака бумажник и протянул каждому из четырех слуг бумажку на чай.

— Будьте добры,— спокойно начал он,— передайте госпоже



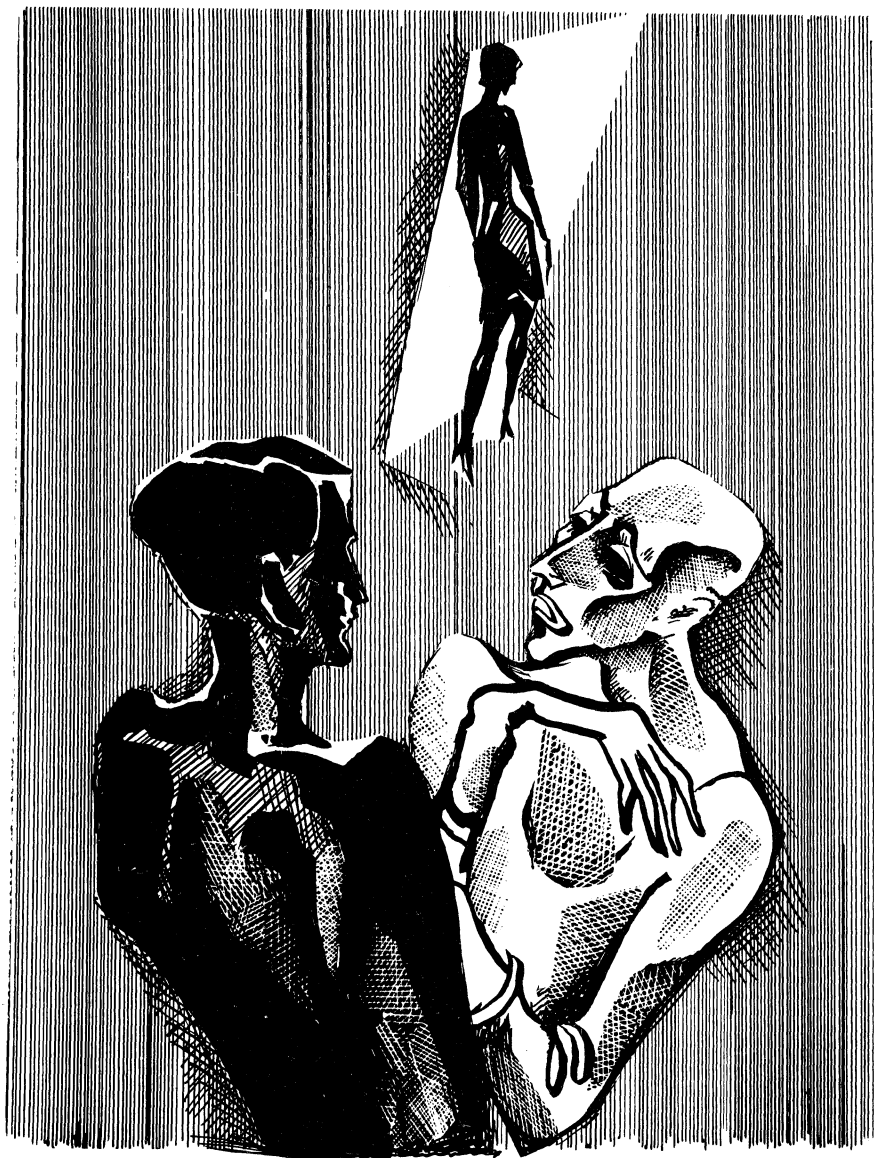
Кронер мою искреннюю благодарность за внимание и скажите ей, что важные события принуждают меня, к сожалению, отказаться от завтраков в ее кафе... важные события. С завтрашнего дня я больше не прихожу.

Старик подождал, пока кельнеры и девушки вышли, и крикнул:  
— А теперь приступим, дети, дайте мне большой нож и тарелку.

Он начал с того, что отрезал церковный купол и положил его на тарелку, а тарелку передал Роберту.

# ГЛАЗАМИ КЛОУНА

РОМАН



# ANSICHTEN EINES CLOWNS

Roman

1963

*Перевод Р. Райт-Ковалевой*

*Не имевшие о Нем известия увидят,  
и не слышавшие узнают.*

*Посвящается Аннемари*

1

Уже стемнело, когда я приехал в Бонн, и я заставил себя хотя бы на этот раз не поддаваться тому автоматизму движений, который выработался в поездках за последние пять лет: вниз по ступенькам — на перрон, вверх — с перрона, поставить чемодан, вынуть билет из кармана пальто, поднять чемодан, отдать билет, к киоску — купить вечерние газеты, выйти на улицу, подзвать такси. Пять лет я почти ежедневно откуда-то уезжал и куда-то приезжал, взбегал и сбегал по ступенькам утром, сбегал и взбегал по ступенькам вечером, звал такси, искал по карманам мелочь, расплачивался с шофером, покупал вечерние газеты в киосках и в каком-то уголке сознания наслаждался точно заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор как Мари бросила меня, чтобы выйти замуж за Цюпфнера, за этого католика, все мои движения стали еще более автоматичными, хотя небрежность сохранилась. Расстояние от вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси: в двух, трех, в четырех марках от вокзала. Но с тех пор как Мари ушла, я иногда все же выпадал из ритма, путал гостиницу с вокзалом: около портье нервно искал проездной билет, а у контролера спрашивал номер комнаты, и только какая-то сила — видимо, ее и зовут судьбой — всегда заставляла меня вспоминать о моей профессии, моем положении. Я — клоун, официальное наименование моей профессии — комический актер, ни к какой церкви не принадлежу, мне двадцать семь лет, и один из моих номеров так и называется: «Приезд и отъезд»; это такая (может быть, слишком длинная) пантомима, когда зритель до последней минуты путает — отъезд это или приезд; так как я обычно репетирую этот номер в поезде, а он состоит примерно из шестисот трюков, и всю их хореографию я, разумеется, должен помнить наизусть, то не мудрено, что я иногда становлюсь жертвой собственной фантазии: вдруг лечу в отель, ищу расписание поездов,

нахожу его, ношусь по лестницам, чтобы не опоздать на поезд, тогда как мне только и нужно было бы подняться в номер и подготовиться к выступлению. К счастью, почти во всех отелях меня знают: за пять лет создается ритм, в котором гораздо меньше вариаций, чем можно предполагать, а кроме того, мой агент хорошо знает мой характер и старается устранить возможные трения. То, что он называет «утонченной артистической натурой», окружается исключительным вниманием, и «атмосфера уюта» обволакивает меня, лишь только я захожу к себе в номер: стоят цветы в красивой вазе, и, как только я сбрасываю пальто, а башмаки (ненавижу башмаки!) летят в угол, хорошенькая горничная приносит мне кофе и коньяк, готовит ванну и наливает туда душистый сосновый экстракт, успокаивающий нервы. В ванне я читаю газеты — какие поглупее, иногда штук шесть, а три уж наверняка — и негромким голосом напеваю исключительно духовные мелодии: хоралы, псалмы, мессы, которые я помню еще со школьных лет. Мои родители, правоверные протестанты, поддавшись послевоенной моде примирения всех вероисповеданий, определили меня в католическую школу. Сам я неверующий, даже в церковь не хожу и церковные напевы использую в чисто лечебных целях: они мне помогают лучше всяких лекарств от двух моих врожденных болезней — меланхолии и мигрени. С тех пор как Мари переметнулась к католикам (хотя она и сама католичка, но мне кажется, что это слово тут очень кстати), моя хворь разыгралась еще сильнее, и даже “*Tantum Ergo*” или акафист деве Марии — мои любимые лекарства — почти не помогают. Есть временное лекарство — алкоголь; есть то, что могло бы дать полное выздоровление, — Мари, но Мари меня бросила. Если же клоун запьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный кровельщик — упасть с крыши.

Когда я пьян, то все движения, которые оправдываются лишь точностью выполнения, я делаю неточно и совершаю самую ужасную ошибку, какую только может сделать клоун: смеюсь над собственными трюками. Страшное унижение. Пока я трезв, страх перед выступлением растет до той минуты, как я выхожу на сцену (обычно меня приходится выталкивать из-за кулис), и то, что некоторые мои критики называли «задумчиво-иронической веселостью», за которой слышится «тревожное биение сердца», на самом деле было просто холодным отчаянием, с каким я делал из себя марионетку; плохо, конечно, когда нитка обрывалась и я оставался наедине с собой. Вероятно, монахи в состоянии медитации испытывают что-то подобное; Мари вечно таскала с собой всякие мистические книжонки, и я помню, что слова «пустота» и «ничто» встречались там очень часто.

Но в последние три недели я по большей части был пьян и выходил на сцену с ложной самоуверенностью; последствия сказались раньше, чем у лентяя школьника, который еще может тешить себя какими-то иллюзиями до получения годовых отметок — в течение полугода еще есть время помечтать. А я уже через три недели не находил у себя в номере цветов, в середине второго ме-

сыца номер был без ванны, в начале третьего месяца гостиница была в семи марках от вокзала, а заработок был срезан на две трети. Вместо коньяка — простая водка, вместо варьете — какие-то сомнительные фереины, собиравшиеся в темных зальцах, где мне приходилось выступать на отвратительно освещенных подмостках, и я не то что работал грубо, а просто выкидывал разные штучки, потешая юбиляров-железнодорожников, почтовиков или акцизных, католических домохозяек или евангелических сестер милосердия, а налакавшиеся офицеры бундесвера, которым я скрашивал прощальный ужин после переподготовки, не знали, можно ли им смеяться или нет, когда я заканчивал свой номер «Совет обороны». А вчера в Бохуме, имитируя Чаплина перед какой-то молодежной организацией, я поскользнулся и не мог встать. Зрители даже не засвистели, только сочувственно перешептывались, и, когда наконец опустился занавес, я прохромал со сцены, собрал вещички и, не сняв грима, поехал в свой пансион, где поднялся страшный крик, потому что хозяйка отказалась одолжить мне денег на такси. Шофер успокоился и перестал ворчать, только когда я ему отдал свою электрическую бритву — не в залог, а в уплату. У него еще хватило любезности выдать мне две марки и начатую пачку сигарет. Не раздеваясь, я повалился на неубранную постель, допил початую бутылку и впервые за несколько месяцев не почувствовал ни меланхолии, ни мигрени. Я лежал на кровати в том состоянии, в каком, если бог даст, и окончу свои дни, — пьяный и как будто в канаве. Я бы отдал последнюю рубашу за глоток водки, и только сложные перипетии такого обмена удерживали меня от этого шага. Спал я превосходно, крепко, и во сне тяжелый занавес сцены, как мягкий плотный саван, обволакивал меня благодетельной темнотой. И все же сквозь забытие и сон я ощутил страх пробуждения: на лице грим, правое колено распухло, жалкий завтрак на пластмассовом подносыке, а рядом с кофейником телеграмма моего агента: «Кобленце и Майнце отказали вечером позвоню Бонн Цонерер». Потом звонок здешнего администратора, он только сейчас отрекомендовался как представитель Христианского союза просвещения.

— Говорит Костерт, — сказал он ледяным голосом холоуя, — надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир.

— Пожалуйста, — сказал я, — разве вам что-нибудь мешает?

— Вот как! — сказал он.

Я промолчал, и когда он заговорил, то его дешевая напускная холодность превратилась в примитивный садизм:

— Мы договорились платить сто марок за выступление клоуна, который тогда стоил и все двести... — Он сделал паузу: наверно, хотел, чтобы я сразу сорвался, но я промолчал, и он снова стал самим собой — обыкновенным хамом. — Я представляю общественно полезное учреждение, и совесть не позволяет мне платить сто марок клоуну, для которого и двадцать марок достаточная, я бы даже сказал, щедрая плата.

Но я и тут не стал его прерывать, закурил сигарету, налил

еще жидкого кофе, слыша, как он пыхтит. Он сказал:

— Вы меня слушаете?

Я сказал:

— Да, слушаю.— И опять подождал. Молчание — отличное оружие; когда меня в школе отчитывал директор или педагогический совет, я всегда принципиально молчал. И христианнейшего господина Костерта я тоже заставил попотеть на другом конце провода. Пожалеть меня — для этого он был слишком мелок, но на жалость к себе его хватило, и он наконец пробормотал:

— Предложите же что-нибудь, господин Шнир!

— Слушайте меня внимательно, господин Костерт,— сказал я.— Предлагаю вам следующее: вы берете такси, едете на вокзал, покупаете мне билет первого класса до Бонна, покупаете бутылку водки, приезжаете сюда в отель, оплачиваете счет вместе с чаевыми и оставляете тут в конверте столько, сколько стоит такси до вокзала. Кроме того, вы обязуетесь перед своей христианской совестью бесплатно отправить мои вещи в Бонн. Согласны?

Он подсчитал, откашлялся и сказал:

— Но я хотел дать вам пятьдесят марок.

— Хорошо,— сказал я,— тогда поезжайте на трамвае, вам все обойдется еще дешевле. Согласны?

Он опять подсчитал и спросил:

— А вы не можете захватить вещи в такси?

— Нет,— сказал я.— Я расшибся и ничего не могу подымать.

Видно, тут его христианская совесть все-таки зашевелилась.

— Господин Шнир,— сказал он мягко.— Простите, что я...

— Ничего-ничего, господин Костерт, я счастлив, что могу сэкономить для дела христианского просвещения пятьдесят четыре или даже пятьдесят шесть марок.

Я дал отбой и положил трубку рядом с телефоном. Я ихнего брата знаю — он непременно позвонит снова и начнет без конца распускать слюни. Лучше уж пусть сам ковыряется в своей совести. Меня и без того мутило. Забыл сказать, что кроме меланхолии и мигреней я обладаю еще одним, почти мистическим свойством — чувствовать запахи по телефону, а от Костерта приторно пахло фиалковыми лепешками. Пришлось встать и вычистить зубы. Я прополоскал рот остатками водки, с трудом стер грим, снова лег в постель и стал думать про Мари, про христиан, про католиков, представляя себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когда-нибудь буду валяться. Когда дело идет к пятидесяти, для клоуна может быть только два выхода — канава или дворец. На дворец я не надеялся, а до пятидесяти мне еще надо было как-то протянуть больше двадцати двух лет. То, что Майнц и Кобленц отказались от моих выступлений, означало, как сказал бы Цонерер, «первый сигнал тревоги», но, с другой стороны, это соответствовало еще одному свойству моего характера, о котором я забыл упомянуть, — моей инертности. В Бонне тоже есть канавы, а кто мне велит ждать до пятидесяти? Я думал о Мари, ее голосе, ее груди, ее волосах, руках, ее движениях, обо всем, что мы делали с ней

вместе. И о Цюпфнере, за которого она решила выйти замуж. Мы с ним были хорошо знакомы еще мальчишками, настолько хорошо, что, встретившись взрослыми, не знали, как обращаться — на «ты» или на «вы», и то и другое вызывало неловкость, и до сих пор при встречах мы не могли избавиться от этой неловкости. Я не понимал, почему Мари перебежала именно к нему, но, может быть, я никогда не «понимал» Мари.

Я страшно рассердился, когда этот Костерт вдруг прервал мои мысли. Он стал скрестись в дверь, как собака, и повторять:

— Господин Шнир, выслушайте меня. Может быть, вам нужен врач?

— Оставьте меня в покое! — крикнул я. — Суньте конверт с деньгами под дверь и уходите домой.

Он сунул конверт под дверь, я встал, распечатал его: там лежал билет второго класса из Бохума до Бонна и деньги на такси — всего шесть марок и пятьдесят пфеннигов. Я надеялся, что он для ровного счета положит хоть десять марок, и уже подсчитал, сколько я заработаю, если к тому же сдам билет первого класса, потеряю немного и куплю билет второго класса. Выходило около пяти марок.

— Все в порядке? — крикнул он за дверью.

— Да, — сказал я, — убирайтесь отсюда, скупердяй божий!

— Но позвольте... — начал было он, и я заорал:

— Вон!

Он немножко постоял, потом я услышал, как он спускается по лестнице. Дети бренного мира не только умней, они и человечнее этих небесных чад. Я поехал на вокзал в трамвае, чтобы сэкономить на водку и сигареты. А хозяйка еще присчитала мне расход за телеграмму, которую я вечером отправил в Бонн Монике Сильвс, — за это Костерт платить отказался. Значит, денег на такси до вокзала у меня все равно не хватило бы. Телеграмму я послал до того, как в Кобленце отменили мое выступление. А я-то хотел отказаться первым, и меня это немного укололо. Лучше было бы, если бы я сам мог отказаться по телеграфу: «Выступать не могу, серьезно повредил колено». Что ж, по крайней мере телеграмма Монике отправлена: «Прошу приготовить квартиру на завтра Сердечный привет Ганс».

## 2

В Бонне все идет по-другому: там я никогда не выступаю, там я живу, и такси отвозит меня не в отель, а прямо ко мне на квартиру. Надо было бы сказать: меня и Мари. В доме нет портье, которого я мог бы спутать с контролером на вокзале, и все же эта квартира, где я провожу всего две-три недели в году, мне чужая больше, чем любой отель. Пришлось удержаться, чтобы на вокзале в Бонне не подзывать такси — я настолько затвердил этот жест, что чуть не попал впросак. У меня в кармане осталась



одна-единственная марка. Я остановился на ступеньках и проверил ключи: от парадного, от двери в квартиру, от письменного стола. В столе лежал ключ от велосипеда. Я уже давно задумал пантомиму с ключами: я придумал сделать целую связку ключей из льда, которые будут таять по ходу номера.

Денег на такси не было. А мне впервые в жизни действительно было необходимо взять такси: колено распухло, и я с трудом проковылял через вокзальную площадь на Почтовую улицу — две минуты ходу от вокзала до нашей квартиры показались мне вечностью. Я прислонился к автомату с сигаретами и посмотрел на дом, где дедушка подарил мне квартиру. Элегантные апартаменты в виде составленных вместе коробочек, с изящно окрашенными балконами: пять этажей, пять разных тонов для балконов. На пятом этаже, где вся окраска в ржаво-красных тонах, находится моя квартира.

Может быть, я и тут играл пантомиму? Вставить ключ в замок парадной двери, ничуть не удивиться, что он не тает, открыть дверцы лифта, нажать кнопку «пять», с тихим шумом подыматься вверх, разглядывать сквозь узкое стекло лифта проходящие этажи, всматриваться в проходящие окна лестничного пролета: спина памятника, площадь, освещенная церковь, черная прорезь — перекрытие — и снова в слегка сдвинутой перспективе — спина, площадь, церковь, и так три раза, а в четвертый — только площадь и церковь. Вставить ключ в замок квартиры, не удивиться, что и эта дверь открывается.

Все в моей квартире ржаво-красного цвета: двери, обои, стенные шкафы; женщина в ржаво-красном халате очень подошла бы к черной кушетке. Наверно, можно было бы найти и такую, но я страдаю не только меланхолией, мигренями, инертностью и таинственным свойством чувствовать запахи по телефону. Самое страшное мое страдание — это склонность к моногамии: есть только одна женщина на свете, с которой я могу делать то, что обычно делают мужчины с женщинами, — это Мари, и, с тех пор как она от меня ушла, я живу, как положено жить монаху, хотя я вовсе не монах. Я даже думал, не съездить ли мне в мою старую школу, не попросить ли совета у одного из тамошних патеров, но все эти пустосвяты считают человека существом многобрачным (оттого они так горячо и защищают единобрачие), я им, наверно, покажусь чудовищем, и их совет ограничится замаскированным намеком на те райские кущи, где, как они полагают, любовь продается за деньги. От верующих христиан других толков, как, скажем, от Костерта, я еще могу ждать всяких неожиданностей, но уж католики меня ничем удивить не могут. Я с большой симпатией относился к католикам даже в те дни, четыре года назад, когда Мари меня впервые взяла с собой в этот самый «кружок просвещенных католиков»; ей было очень важно познакомить меня с интеллигентными католиками и — конечно, не без задней мысли — обратить меня когда-нибудь в свою веру (у всех католиков есть эта задняя мысль). Но уже первые минуты в этом кружке были

ужасны. Тогда я переживал очень трудный период своего становления как клоуна, мне еще не было двадцати двух, и я целыми днями тренировался. Я очень ждал этого вечера, я устал до смерти и думал, что мы проведем время весело, что будет хорошее вино, хорошая еда, может быть, танцы (жили мы прескверно и не могли себе позволить ни хорошо поесть, ни выпить вина); вместо того нас угостили дрянным вином, и все было так, как я себе представляю семинар по социологии у самого скучного профессора. Не просто утомительно, но утомительно излишне, до предела. Сначала они все вместе молились, а я не знал, куда девать руки, лицо; нельзя все-таки ставить неверующего в такое положение. И они не просто читали «Отче наш» или «Аве Мария», хотя и от этого мне было бы достаточно неловко: по воспитанию я протестант и считаю, что каждый должен молиться как бог на душу положит. Нет, они еще молились по какому-то тексту, составленному Кинкелем, ужасно программному: «...и молим тебя научить нас равно воздавать и традициям старины, и новым веяниям» и так далее, и только потом перешли к «теме» вечера: «Бедность в нашем обществе». Это был один из самых тягостных вечеров моей жизни. Просто не верится, что религиозные беседы должны проходить в таком напряжении. Знаю: эту религию трудно принять. Воскрешение плоти, вечная жизнь. Мари мне часто читала Библию вслух. Представляю себе, как трудно всему этому верить. Потом я даже читал Кьеркегора (полезное чтение для начинающего клоуна), мне тоже было трудно, но не так утомительно. Не знаю, бывают ли на свете люди, которые вышивают салфеточки по рисункам Клее или Пикассо. В тот вечер мне казалось, будто эти прогрессивные католики вяжут себе из Фомы Аквинского, Франциска Ассизского, Бонавентуры и папы Льва Тринадцатого набедренные повязки; конечно, не для того, чтобы прикрыть наготу, потому что среди них не было ни одного человека (кроме меня), который не зарабатывал бы по меньшей мере полторы тысячи марок в месяц. Им самим, очевидно, было так неловко, что все они к концу вечера стали разговаривать как снобы и циники, правда кроме Цюпфнера; для него все это было настолько мучительно, что он выпросил у меня сигарету. Это была первая сигарета в его жизни, и он неумело пыхтел, пуская дым, но я заметил, что он радовался, когда дым застилал его лицо. Мне было ужасно скверно из-за Мари, она сидела такая бледная, дрожащая, а тут Кинкель стал рассказывать анекдот про человека, который, зарабатывая пятьсот марок в месяц, отлично обходился, а потом, начав зарабатывать тысячу, заметил, что жить стало труднее, а уж настоящие трудности начались, когда он стал получать две тысячи, и, только дойдя до трех тысяч, он заметил, что опять вполне справляется, и тут же извлек из своего жизненного опыта мудрый афоризм: «До пятисот в месяц живется неплохо, но уже между пятьюстами и тремя тысячами наступает горькая нужда». Кинкель даже не понял, что он натворил: он трепался с олимпийским благодушием, куря толстую сигару, прихлебывая вино из стакана и пожирая печенье с сыром,

пока наконец даже прелат — духовный наставник этого кружка — Зоммервильд не забеспокоился и не перевел его на другую тему. Кажется, он бросил слово «реакция» и сразу поймал Кинкеля на эту удочку. Тот клюнул, разозлился и тут же прервал свой доклад о том, что машина за двенадцать тысяч обходится дешевле, чем за четыре с половиной, причем его жена, которая обожает его безрассудно, до неприличия, и та с облегчением вздохнула.

### 3

Впервые я чувствовал себя почти хорошо в своей квартире — тепло, чисто, и, когда я повесил пальто и поставил гитару в угол, я подумал, что своя квартира, может быть, все-таки больше, чем самообман. Я непоседа и оседлым никогда не стану, а Мари еще непоседливее меня и все же решила окончательно осесть. А раньше она начинала нервничать, если мои гастроли продолжались в одном городе больше недели.

И на этот раз Моника Сильвс была мила, как всегда, когда мы ей посылали телеграмму: она взяла ключи у привратника, все убрала, поставила цветы в столовой, набила холодильник всякой всячиной. Молотый кофе стоял на кухонном столе, тут же бутылка коньяку, сигареты, а на столе в столовой рядом с цветами — зажженная свеча. Моника бывает иногда ужасно чувствительной, просто до сентиментальности, даже может впасть в дешевку: свеча, которую она мне поставила, была в искусственных подтеках воска и наверняка была бы отвергнута каким-нибудь «католическим кружком развития хорошего вкуса», но, вероятно, Моника второпях не нашла другой свечи, а может, не хватило денег на дорогую, со вкусом сделанную свечку, и я почувствовал, что именно от этой безвкусной свечки моя нежность к Монике Сильвс доходит почти до той границы, за которой начинается моя несчастная склонность к моногамии. Другие католики ее круга никогда не рискнули бы выказать плохой вкус или сентименты, тут они не дали бы маху — во всяком случае, они оплошали бы скорее по графе «мораль», чем по графе «хороший вкус». В квартире еще пахло духами Моники — слишком терпкими и модными для нее, забыл, как эта штука называется, кажется «Тайга».

Я прикурил сигарету Моники от Моникиной свечки, принес из кухни коньяк, из прихожей телефонную книжку и поднял телефонную трубку. Моника даже это наладила: телефон был включен. Высокие гудки показались мне стуком бесконечно огромного сердца, и в эту минуту они были мне милее морского прибоя, прекраснее львиного рыка и воя ветра. Где-то в этих высоких гудках крылся голос Мари, голос Лео, голос Моники. Я медленно положил трубку. Это было мое единственное оружие, и скоро я им воспользуюсь. Я подвернул правую штанину и посмотрел на ободранное колено: царапины были неглубокие, опухоль не-

значительная, я налил полный стакан коньяку, отпил половину и вылил остаток на больное колено, прохромал на кухню и поставил коньяк в холодильник. Только тут я вспомнил, что Костерт не принес водки, как мы с ним договорились. Наверно, он решил, что из педагогических соображений лучше ее не приносить и при этом сберечь для христианского дела семь с половиной марок. Я решил позвонить ему и потребовать выполнения договора. Нельзя было все спускать этой скотине, а к тому же мне нужны были деньги. В течение пяти лет я зарабатывал много больше, чем тратил, и все-таки ничего не осталось. Конечно, я мог бы и дальше подхалтуривать в пределах тридцати — пятидесяти марок за вечер, только бы колено совсем зажило; мне, в сущности, было безразлично, где выступать, а публика в этих скверных кабаках даже лучше, чем в разных варьете. Но тридцать — пятьдесят марок в день просто слишком мало. Номер в гостинице слишком тесен, при тренировке натыкаешься на стол, на шкафы, и, по моему, ванна — вовсе не роскошь, а когда едешь с пятью чемоданами, то и такси не транжирство.

Я опять вынул коньяк из холодильника и отпил глоток прямо из горлышка. Я не пьянчуга, но с тех пор, как Мари ушла, мне легче, когда я выпью. И к денежным затруднениям я тоже не привык, и теперь я очень нервничал при мысли, что у меня осталась одна-единственная марка и никакой надежды вскорости заработать еще. Единственное, что я мог бы продать, — это велосипед, но, если я действительно решусь на халтуру, он очень пригодится, можно сэкономить на такси и железнодорожных билетах. Квартира мне была подарена при одном условии: я не имел права ни сдавать, ни продавать ее. Типичный подарок богача. Всегда в нем какая-нибудь закорючка. Я заставил себя больше не пить, вышел в столовую и открыл телефонную книжку.

#### 4

Я родился в Бонне и знаю здесь многих людей: родственников, знакомых, бывших соучеников. Здесь живут мои родители, здесь мой брат Лео изучает католическую теологию — Цюпфнер был его крестным при обращении. Родителей мне придется повиждать, хотя бы для улаживания денежных дел. Может быть, придется передать дело юристу. Этот вопрос для меня еще не решен. После смерти моей сестры Генриетты родители как родители перестали для меня существовать. Уже семнадцать лет, как Генриетта умерла. Ей было шестнадцать, когда кончилась война, — прелестная девочка, белокурая, лучшая теннисистка от Бонна до Рематгена. Тогда объявили, что молодые девушки должны пойти в войска ПВО, и в феврале 1945 года Генриетта подала заявление. Все произошло так быстро, без задержки, что я ничего не понял. Я возвращался из школы, переходил Кёльнскую улицу и увидел Генриетту в трамвае, уходящем в Бонн. Она мне кивнула и за-

смеялась, и я тоже засмеялся. На ней была хорошенькая темно-синяя шляпка, теплое синее пальто с меховым воротничком, за спиной — маленький рюкзак. Я никогда не видел ее в шляпке, она не хотела их носить. Шляпка ее очень меняла. Она была похожа на молодую даму.

Я решил, что она едет на пикник, хотя время для пикников было не очень-то подходящее. Но от школ можно было тогда ждать чего угодно. Нас даже заставляли решать в бомбоубежище задачи на пропорции, хотя уже слышался грохот артиллерии. Наш учитель Брюль пел с нами что-нибудь набожное и патриотическое, как он выражался, под этим он подразумевал «Высытся чертоги славы», а также «Ты видишь — алеет восток». Ночью, когда на полчаса все стихало, слышался бесконечный топот ног: пленные итальянцы (нам в школе объяснили, что итальянцы уже не наши союзники, а работают у нас в качестве пленных, а почему — я так до сих пор и не понял), русские пленные, пленные женщины, немецкие солдаты; всю ночь они шли и шли. Никто не знал толком, что творится.

А у Генриетты и в самом деле был такой вид, будто она едет на школьный пикник. От школы можно было ожидать чего угодно. Иногда, сидя в классе, между воздушными тревогами, мы слышали сквозь открытые окна настоящую ружейную пальбу, и, когда мы испуганно смотрели на окна, наш учитель Брюль спрашивал, знаем ли мы, что это значит. Да, мы знали: там в лесу расстреливают дезертира. «Так будет с каждым, — говорил Брюль, — кто откажется защищать священную немецкую землю от жидовствующих янки». (Недавно я с ним встретился, он теперь старик, в седилах, преподаватель педагогической академии и считается человеком «с достойным политическим прошлым», потому что никогда не был в партии национал-социалистов.)

Я еще раз помахал вслед трамваю, которым уезжала Генриетта, и прошел через наш парк домой, где родители и Лео уже сидели за столом. На обед был жиденький суп, на второе — картофель с соусом, а на третье — яблоко. И только за третьим я спросил маму, куда поехала на пикник школа Генриетты. Мама усмехнулась и сказала:

— Что за чепуха, какой там пикник. Она уехала в Бонн поступать в противовоздушные войска. Не срезай кожуру так толсто, сынок. Вот, смотри!

И она действительно, взяв кожуру с моей тарелки, поскребла ее и сунула себе в рот тонюсенький ломтик яблока — все, что она сэкономила. Я посмотрел на отца. Он опустил глаза в тарелку и молчал. И Лео промолчал, но, когда я снова посмотрел на мать, она проговорила своим кротким голосом:

— Пойми, каждый должен выполнять свой долг, чтобы выгнать жидовствующих янки с нашей священной немецкой земли.

Она посмотрела на меня такими глазами, что мне стало жутко, потом с тем же выражением взглянула на Лео, и мне пока-

залось, что она готова тут же послать и нас обоих на бой с «жидовствующими янки».

— Наша священная немецкая земля,— сказала она,— они уже в самом сердце Айфеля<sup>1</sup>.

Мне хотелось засмеяться, но я расплакался, швырнул десертный ножик и убежал к себе в комнату. Я испугался и знал, почему испугался, но выразить словами не мог и только со злостью думал о проклятой яблочной кожуре. Я посмотрел на покрытую запакощенным снегом немецкую землю в нашем саду, на Рейн за плакучими ветлами, на Семигорье, и все это показалось мне какой-то идиотской бутафорией. Видел я и нескольких «жидовствующих янки»: их везли на грузовике с Венусберга в Бонн на сборный пункт; с виду они были озябшие, испуганные и очень молодые. Если я и представлял себе евреев, то скорее похожими на итальянцев — те выглядели еще более озябшими, чем американцы, и слишком измученными, чтобы еще чего-то бояться. Я дал пинка стулу, стоявшему у кровати, а когда он не упал, я пнул его еще раз. Стул упал и вдребезги разбил стеклянную доску на ночном столике. Генриетта в синей шляпке, с рюкзаком. Она не вернулась, и мы до сих пор не знаем, где ее похоронили. После войны кто-то к нам явился и доложил, что она «пала под Леверкузенном».

Эта забота о «священной немецкой земле» по меньшей мере забавна, если представить себе, что изрядный куш акций каменноугольной промышленности уже в течение двух поколений сосредоточен в руках нашей семьи. Семьдесят лет Шниры зарабатывают на земляных работах, которые терзают «священную немецкую землю», села, леса, замки — все рушится под экскаваторами, как стены Иерихона.

Только через несколько дней я узнал, кто мог бы взять патент на выражение «жидовствующие янки» — это был Герберт Калик, тогда четырнадцатилетний вожак нашей школьной группы гитлерюгенда, которому мама великодушно предоставила наш парк, чтобы всех нас обучать обращению с противотанковыми гранатометами. Мой восьмилетний брат Лео тоже в этом участвовал, и я видел, как он марширует по теннисной площадке, с учебным гранатометом на плече, и лицо у него было такое серьезное, какое бывает только у детей. Я его остановил и спросил:

— Ты что это делаешь?

И он с невероятной серьезностью ответил:

— Я буду «вервольфом», а ты разве нет?

— Ну как же,— сказал я и пошел с ним мимо теннисной площадки к тиру, где Герберт Калик рассказывал историю про мальчишку, который в десять лет уже заработал Железный крест первой степени: где-то там, в Силезии, он подбил ручными гранатами три русских танка. Когда один из мальчиков спросил, как звали этого героя, я сказал:

---

<sup>1</sup> Горный массив в Рейнской области.

— Рюбецаль<sup>1</sup>.

Герберт Калик весь пожелтел и завопил:

— Презренный пораженец!

Я наклонился и швырнул Герберту горсть золы прямо в физиономию. Все на меня накинулись, только Лео соблюдал нейтралитет — ревел, но за меня не заступался, и с перепугу я заорал на Герберта:

— Нацистская свинья!

Где-то я прочел это слово — кажется, у железнодорожного перехода на шлагбауме. Я даже точно не знал, что оно значит, но у меня было ощущение, что тут оно как раз подходит. Герберт Калик сразу прекратил драку и стал действовать официально: он арестовал меня и велел запереть в сарай при тире, среди мишеней и указок, а сам приволок моих родителей, учителя Брюля и еще какого-то нациста. Я ревел от злости, переломал все мишени и все время кричал мальчишкам, охранявшим меня: «Нацистские свиньи!» Через час меня потащили в суд, в нашу гостиную. Брюль просто удержу не знал. Он твердил одно:

— Выкорчевать с корнем, с корнем выкорчевать!

Я до сих пор не знаю, про физическое уничтожение он говорил или, так сказать, про моральное. Как-нибудь напишу ему на адрес педагогической академии, попрошу разъяснить — ради исторической правды. Член нацистской партии, заместитель ортсгруппенлейтера Лёвених вел себя сравнительно разумно. Он говорил:

— Но примите во внимание, что мальчику еще одиннадцати нет!

И так как он действовал на меня успокаивающе, я даже ответил на его вопрос, откуда я взял это роковое слово:

— Прочитал на шлагбауме, на Аннабергерштрассе.

— Но тебе его никто не говорил? — спросил он. — Понимаешь, вслух при тебе его никто не произносил?

— Нет, — сказал я.

— Мальчик даже не понимает, что говорит, — сказал мой отец и положил мне руку на плечо.

Брюль свирепо воззрился на отца, потом испуганно взглянул на Герберта Калика. Очевидно, жест отца выражал слишком явное сочувствие мне.

Моя мать, плача, сказала своим глупым голосом:

— Он сам не знает, что говорит, он сам не знает, иначе мне пришлось бы от него отречься.

— Ну и отрекайся, — сказал я.

Все это происходило в нашей огромной столовой с тяжелой резной мебелью темного дуба, с охотничьими трофеями деда на широкой дубовой панели, с кубками и тяжелыми книжными шкафами со свинцовым переплетом стекол.

Я слышал раскаты артиллерии на Эйфеле, всего в каких-нибудь двадцати километрах, а иногда доносился даже стрекот

---

<sup>1</sup> Герой старой немецкой сказки.

пулемета. Герберт Калик, светловолосый, бледный, с лицом фанатика, играл роль прокурора и все время барабанил костяшками пальцев по буфету и требовал «жестокости, беспощадной жестокости». Меня приговорили к тому, чтобы под надзором Герберта вырыть в саду противотанковый ров, и до самого вечера, следуя шнировской традиции, я расковыривал немецкую землю, правда, вопреки этой традиции — собственноручно. Я рыл канаву через любимую дедушкину куртину роз, прямо на мраморную копию Аполлона Бельведерского, и уже радовался той минуте, когда статуя рухнет от моих землепроходческих стараний, но радоваться было рано: статую свалил не я, а маленький веснушчатый мальчуган по имени Георг — он нечаянно взорвал и себя и Аполлона фаустпатроном. Герберт Калик прокомментировал это происшествие весьма лаконично:

— К счастью, Георг был сиротой!

## 5

Я выписал из телефонной книжки номера всех, кому придется звонить; слева я написал столбиком имена тех, у кого можно подзанять денег: Карл Эмондс, Генрих Белен, оба — мои товарищи по школе, первый раньше изучал теологию, а теперь стал школьным учителем, второй служил капелланом; потом Бела Брозен, любовница моего отца; а справа, столбиком же, имена тех, к кому я обращусь за деньгами только в крайнем случае: мои родители, Лео (у него я мог бы попросить, но он всегда сидел без гроша, все раздавал), потом члены «кружка»: Кинкель, Фредбойль, Блотерт, Зоммервильд; а между этими двумя столбцами — имя Моники Сильвс, его я обвел красивым узорчиком. Карлу Эмондсу придется послать телеграмму, попросить, чтобы позвонил мне. У него нет телефона. Я с удовольствием позвонил бы Моники Сильвс первой, но придется приберечь звонок к ней напоследок: наши отношения находятся в такой стадии, что проявить к ней пренебрежение было бы невежливо — и физически, и метафизически. Тут мое положение было прямо-таки ужасным: оттого что я однолюб, я жил как монах, хотел я того или нет, но так вышло само собой с того самого дня, когда Мари «в метафизическом страхе», по ее собственному выражению, убежала от меня. По правде говоря, я и поскользнулся в Бохуме почти что нарочно и упал на колено, чтобы прервать начатое турне и уехать в Бонн. Я невыносимо страдал от того, что в религиозных книжках Мари совершенно неправильно называется «плотским вождением». Но я слишком хорошо относился к Моники, чтобы с ее помощью утолить «вождение» к другой женщине. Если бы в этих религиозных книжках писали «вожделеть к женщине», было бы тоже достаточно грубо, но все-таки несколько благороднее, чем это «плотское вождение». Плоть, мясо я видел только в мясных лавках, да и там в нем мало чего было от плоти. Но когда я себе



представляю, что Мари делает с Цюпфнером все то, что она должна делать только со мной, моя обычная меланхолия перерастает в отчаяние. Я долго колебался, прежде чем выписать и цюпфнеровский телефон — я поместил его в столбец, где были записаны те, у кого я денег просить не стану. Мари дала бы мне денег, она отдала бы все, что у нее есть, она пришла бы ко мне, помогла бы, особенно если бы узнала, какие напасти я пережил, но она пришла бы не одна. Шесть лет — это очень много, и теперь ей не место ни в доме Цюпфнера, ни за его утренним завтраком, ни в его постели. Я даже был готов бороться за нее, только при слове «борьба» мне всегда представляется исключительно борьба физическая, то есть смешная — какая-то драка с Цюпфнером. Мари еще не умерла для меня, как, в сущности, умерла моя мать. Я верю, что живые бывают мертвыми, а мертвые живут, но не так, как верят католики и христиане вообще. Для меня этот мальчишка Георг, который взорвал себя фаустпатроном, гораздо больше живой, чем моя мать. Я вижу неловкого, веснушчатого мальчика там, на лужайке под Аполлоном, слышу, как орет Герберт Калик: «Не так, не так!» Слышу взрыв, какой-то короткий крик, а потом комментарий Калика: «К счастью, Георг был сиротой!» А через полчаса за ужином, у того стола, где надо мной вершили суд, моя мать сказала Лео: «Но ты-то все сумеешь сделать лучше, чем этот глупый мальчик, правда?»

Лео кивает, отец смотрит на меня, своего десятилетнего сына, но утешения в моих глазах не находит.

Теперь моя мать уже давно председательница Объединенного комитета по примирению расовых противоречий, она ездит в дом Анны Франк, а при случае даже в Америку и там выступает перед американскими женскими клубами и произносит речи о раскаявшейся немецкой молодежи тем же кротким, безобидным голосом, которым она, должно быть, напутствовала Генриетту: «Будь молодцом, детка!» Ее голос я могу услышать по телефону в любое время, но голос Генриетты — никогда. У нее был удивительно низкий голос и звонкий смех. Как-то во время игры в теннис у нее из рук выпала ракетка, она остановилась и мечтательно посмотрела в небо, а другой раз она уронила ложку в суп во время обеда; мама вскрикнула, заахала — пятна на скатерти, на платье: Генриетта ничего не слыхала, а когда пришла в себя, только вынула ложку из супа, вытерла о салфетку и продолжала есть как ни в чем не бывало; но когда она в третий раз впала в это состояние, у камина, за игрой в карты, мама рассердилась по-настоящему. Она закричала: «Опять эта дурацкая рассеянность!»

А Генриетта посмотрела на нее и спокойно сказала: «А что такое? Мне просто неохота!» — и бросила все свои карты прямо в горящий камин.

Мама выхватила карты из огня, обожгла пальцы, но зато спасла все, кроме семерки червей, эту семерку опалило с краев, и мы уже больше никогда не могли играть в карты, не вспомнив Ген-

риетту, хотя моя мать пыталась вести себя так, «будто ничего не случилось». Она совсем не злая, но только в чем-то непостижимо глупа и скупа. Она не могла допустить, чтобы купили новую колоду карт, и, наверно, опаленная семерка червей до сих пор в игре, но ничего не напоминает маме, когда попадаете ей в пасьянсе. Очень хотелось бы поговорить по телефону с Генриеттой, но теологи еще не оборудовали связь для таких разговоров. Я отыскал в справочнике номер родительского телефона — вечно забываю его: Шнир, Альфонс, д-р г. к., генеральный директор. Звание доктор гонорис кауза для меня было новостью. Пока я набирал их номер, я мысленно дошел до дома, вниз по Кобленцерштрассе, по Эберталлее, завернул налево к Рейну. Пешком не больше часу. Тут раздался голос горничной:

— Квартира доктора Шнира.

— Можно попросить госпожу Шнир?

— Кто у телефона?

— Шнир, — сказал я, — Ганс, родной сын вышеупомянутой дамы.

Она поперхнулась, подумала минутку, и через шестикилометровый кабель я почувствовал, как она растерялась. Впрочем, пахло от нее приятно — мылом и немножко свежим лаком для ногтей. Очевидно, она хоть и знала о моем существовании, но никаких точных указаний на сей счет не получала. Наверно, до нее дошли слухи: отщепенец, бунтарь.

— Могу ли я быть уверена, что это не шутка? — спросила она наконец.

— Да, вы можете быть вполне уверены, — сказал я, — а в случае необходимости я готов перечислить особые приметы моей ма-тушки: родинка слева на подбородке, бородавка...

Она рассмеялась, сказала: «Хорошо!» — и перевела телефон. У нас дома сложная телефонная система. У отца лично три разных аппарата: красный — для шахт, черный — для биржи и белый — для частных разговоров. У мамы всего два телефона: черный — для Объединенного комитета по примирению расовых противоречий и белый — для частных разговоров. И хотя личный счет моей матери в банке выражается шестизначной цифрой, оплата телефонных разговоров (и, конечно, поездок в Амстердам и другие места) ложится на Объединенный комитет. Горничная неверно переключила телефон, и моя мать деловито сказала по черному аппарату:

— Объединенный комитет по примирению расовых противоречий.

Я онемел. Если бы она сказала: «Госпожа Шнир слушает», я, наверно, сказал бы: «Говорит Ганс. Как поживаешь, мама?» Вместо этого я сказал:

— Говорит проездом делегат Объединенного комитета жидовствующих янки. Пожалуйста, соедините меня с вашей дочерью.

Я сам испугался. Я услышал, как мама вскрикнула и потом так всхлипнула, что я понял, до чего она постарела. Она сказала:

— Никак не можешь забыть, да?

Мне самому хотелось плакать, но я только тихо сказал:

— Забыть? Ты хотела бы этого, мама?

Она промолчала, мне только слышался этот испугавший меня старческий плач. Я не видел ее пять лет, наверно, ей теперь уже за шестьдесят. В какую-то секунду мне и на самом деле показалось, будто она может соединить меня с Генриеттой. Во всяком случае, мама постоянно говорит, что у нее, «может быть, и на небе найдутся связи», — и говорит она это с улыбкой, как теперь все любят говорить: связи в партии, связи в университете, на телевидении, в министерстве внутренних дел.

Мне так хотелось услышать Генриеттин голос, пусть бы она сказала хотя бы «ничего» или даже «дерьмо». У нее это звучало бы ничуть не вульгарно. Когда она сказала это слово Шницлеру, заговорившему о ее «мистическом даре», это слово прозвучало ничем не хуже слова «дерево». (Шницлер — писатель, из тех паразитов, которые жили у нас во время войны, и, когда Генриетта впадала в забытие, он всегда говорил о «мистическом даре», но, стоило ему только завестись, она просто говорила «дерьмо».) Она могла бы сказать что угодно, например: «Опять обыграла сегодня этого идиота Фоленеха» — или какую-нибудь французскую фразу: “La condition du Monsieur le Comte est parfaite”<sup>1</sup>. Она мне часто помогала делать уроки, и мы всегда смеялись, что чужие уроки она делает так хорошо, а свои так плохо. Но вместо ее голоса я слышал только старческие всхлипывания мамы и спросил:

— А как папа?

— О-о,— сказала она,— он постарел... постарел и стал мудрее.

— А Лео?

— О, Лэ, он очень прилежен, очень,— сказала она,— ему предсказывают блестящую будущность в теологии.

— О господи,— сказал я,— только подумать, Лео — будущий богослов!

— Да, нам тоже было довольно горько, когда он перешел в католичество,— сказала моя мать,— но ведь дух человеческий не признает препон.

Она уже вполне овладела своим голосом, и вдруг у меня мелькнул соблазн спросить ее о Шницлере, который по-прежнему к нам шляется. Это был полноватый холеный малый, и в те дни он вечно разглагольствовал о благородном европейце, о самосознании германцев. Из любопытства я как-то прочел один из его романов — «Любовь француза», он оказался гораздо скучнее, чем обещало название. Потрясающей оригинальностью в этом романе было только то, что герой — пленный французский лейтенант — был блондин, а героиня — немецкая девушка с Мозеля — брюнеточка. Этот тип каждый раз вздрагивал, когда Генриетта говорила при нем «дерьмо», — кажется, это случалось раза два, — но

---

<sup>1</sup> Граф чувствует себя превосходно (франц.).

утверждал, что «мистическому дару» вполне может сопутствовать «неодолимая потребность швыряться скверными словами» (хотя у Генриетты никакой «неодолимой потребности» не возникало, и она вовсе не «швырялась» этим словом, а произносила его как-то походя), и в доказательство этот Шницлер притаскивал пятитомную «Христианскую мистику» Гёрреса. В его романе все, конечно, было необычайно утонченно: там «французские названия вин звучат поэтично, как звон хрусталя, когда влюбленные поднимают бокалы друг за друга». Роман кончается тайным браком; за это, однако, Шницлера не поблагодарила цензура: почти десять месяцев ему было запрещено печататься. Американцы приняли его с распростертыми объятиями, как «борца Сопротивления», взяли на службу по линии культуры, и теперь он рыскает по всему Бонну и при всяком удобном случае рассказывает, что нацисты запретили ему печататься. Такому лицемеру и врать не надо; он всегда найдет себе теплое местечко. А ведь это он заставил маму послать нас на военное обучение — меня в юнгфольк, а Генриетту в Союз германских девушек: «В этот час, сударыня, мы все должны держаться заодно, думать заодно, страдать заодно». Как сейчас вижу: он стоит у камина с отцовской сигарой в руке. «То, что я стал жертвой некоторой несправедливости, ни в коей мере не затемнит моей ясной, вполне объективной точки зрения, что наш фюрер...— голос у него по-настоящему дрогнул,— наш фюрер уже держит в руках наше спасение». И сказано это было за несколько дней до того, как американцы взяли Бонн.

— А что делает сейчас Шницлер? — спросил я мою мать.

— О, у него все отлично,— сказала она,— в министерстве иностранных дел без него просто обойтись не могут.

Видно, она все забыла, удивительно, что хотя бы выражение «жидовствующие янки» ей что-то еще напоминает. Я уже совсем перестал раскаиваться, что так начал разговор с ней.

— А дедушка как? — спросил я.

— Изумительно,— сказала она,— он несгибаем. Скоро празднует девяностолетие. Для меня загадка, как он еще держится.

— А это очень просто,— сказал я,— таких старичков ни воспоминания, ни угрызения совести не точат. Он дома?

— Нет,— сказала она,— он на полтора месяца уехал на Искью. Мы оба замолчали. Я еще не вполне овладел своим голосом, не то что мама. Она меня спросила уже совершенно спокойно:

— Зачем ты, собственно говоря, позвонил? Судя по слухам, тебе опять плохо. Мне рассказывали, у тебя профессиональные неудачи.

— Ах так? — сказал я.— И ты, наверно, испугалась, что я стану просить у вас денег? Нет, мама, тебе бояться нечего. Все равно денег вы мне не дадите, так что придется требовать по закону. Мне, видишь ли, деньги нужны для поездки в Америку. Один человек предложил дать мне там работу. Правда, он «жидовствующий янки», но я очень постараюсь, чтобы не возникло никаких расовых противоречий.

Теперь она и не собиралась плакать. Перед тем как повесить трубку, я еще слышал, как она сказала что-то насчет принципов. Но в общем от нее, как всегда, ничем не пахло. Это тоже один из ее принципов: «Настоящая дама никаких запахов не испускает». Вероятно, оттого мой отец и завел себе такую красивую любовницу, она-то, наверно, не «испускает» никаких запахов, но вид у нее такой, словно она вся благоухает.

## 6

Я положил себе под спину кучу подушек, задрал большую ногу повыше, пододвинул телефон и стал раздумывать: может быть, все-таки пойти на кухню, открыть холодильник и принести сюда бутылку с коньяком?

Слова «профессиональные неудачи» прозвучали в устах моей матери особенно злорадно, и она даже не попыталась скрыть свое торжество. Все-таки я, должно быть, слишком наивно решил, что в Бонне еще никто не знает о моем провале. Раз об этом знала мама, значит, знал и отец, знал Лео, а через Лео — Цюпфнер, весь их кружок и Мари. Для нее это будет страшным ударом, хуже, чем для меня. Если я совсем брошу пить, я достигну той ступени, которую Цонерер, мой агент, называет «куда выше среднего уровня», и мне этого хватит, чтобы дотянуть до канавы — осталось-то всего двадцать два года. Что Цонерер всегда во мне одобряет — это мой «широкий профессиональный диапазон»; в искусстве он все равно ни черта не смыслит и мой «диапазон» определяет с почти гениальной наивностью, по кассовому успеху. А в нашей профессии он разбирается и хорошо понимает, что я еще лет двадцать могу прохалтурить на уровне тридцати марок и выше. С Мари дело обстоит иначе. Она расстроится и оттого, что я «деградировал как художник», и оттого, что «впал в нищету», хотя я воспринимаю это совсем не так уж трагически. Каждый посторонний — а в этом мире все друг другу посторонние — склонен преувеличивать и плохое и хорошее больше, чем тот, кого это непосредственно касается, будь это счастье или несчастье, невезение в любви или деградация в искусстве. Мне ничуть не трудно показывать хорошие клоунские номера или даже просто фокусы в захудалых залах перед домохозяйками-католичками или евангелическими сестрами милосердия. К несчастью, у этих религиозных обществ невозможное представление о гонорарах. Разумеется, какая-нибудь добросердечная председательница такого общества считает, что пятьдесят марок вполне приличная сумма, и, если человеку так платят за двадцать выступлений в месяц, он вполне может прожить. Но когда я ей показываю счет за грим и рассказываю, что для тренировки мне нужен номер в гостинице размером побольше, чем шесть квадратных метров, она, должно быть, думает, что моя любовница обходится дороже царицы Савской. А когда я ей еще объясняю, что живу почти что на одном бульоне, ем только яйца всмятку, котлеты

и помидоры, она начинает креститься и думает, наверно, что я оттого такой тощий, что не ем никаких «питательных» блюд. А если я ей еще расскажу, что все мои излишества состоят в вечерних газетах, сигаретах, игре в «братец-не-сердись», она наверняка решит, что я какой-то жулик. Я уже давно перестал разговаривать с людьми об искусстве и о деньгах. Там, где сталкиваются эти два понятия, ничего путного не выходит: за искусство всегда либо переплачивают, либо недоплачивают. Однажды я видел в английском бродячем цирке клоуна, который как профессионал стоял раз в двадцать, а как артист раз в десять выше меня, но за вечер не зарабатывал и десяти марок. Звали его Джеймс Эллис, ему было под сорок, и, когда я пригласил его поужинать — нам подали яичницу с ветчиной, салат и яблочный пирог, — ему стало нехорошо: он лет десять не ел столько сразу. С тех пор как я познакомился с Джеймсом Эллисом, я уже ни о деньгах, ни об искусстве не разговариваю.

Как будет, так будет, впереди все равно канава. У Мари в голове совсем другое — она вечно твердит про «наитие», все живут у нее по наитию, даже я: оттого я такой веселый, такой по-своему верующий, такой чистый, ну и так далее. Ужас что творится в головах у этих католиков. Они даже хорошего вина выпить не могут без того, чтобы как-то не перевернуть все, им обязательно надо «осознать», насколько вино хорошее и почему оно хорошее. В вопросах «осознания» они даже марксистам не уступят. Мари пришла в ужас, когда я месяца два назад купил гитару и сказал, что скоро начну сочинять слова и музыку и буду петь песни под гитару. Она сказала, что это «ниже моего уровня», а я ей сказал, что ниже уровня канавы есть еще только канал, но она не поняла, о чем я, а я ненавижу разъяснять метафоры. Либо меня понимают, либо нет. Я им не талмудист.

Кто-нибудь может подумать, что мои марионеточные нити оборвались, — напротив, я крепко держал их в руках и со стороны видел, как я лежу там, в Бохуме, на сцене этого зальца, пьяный, с расшибленным коленом, слышу сочувственный гул в зале и кажусь себе подлецом. Я вовсе не заслужил сострадания, и мне приятнее было бы услышать свистки; и хромал я нарочно сильнее, чем следовало бы, хотя и расшибся всерьез. Но мне нужно было вернуть Мари, и я начал бороться по-своему — и все ради того, что в ее книжках называется «плотским вожделением».

## 7

Мне был двадцать один год, ей девятнадцать, когда я вечером просто пришел к ней в комнату, чтобы делать с ней то, что делают муж с женой. Днем я еще видел ее с Цюпфнером. Они вышли, держась за руки, из молодежного клуба, оба улыбались, и меня кольнуло в сердце. Нечего ей было ходить с Цюпфнером, меня мучило от этого дурацкого держанья за ручки. Весь

город знал Цюпфнера, главным образом из-за его отца, которого выгнали нацисты; он был школьным учителем и отказался после войны занять место директора той же школы. Кто-то даже хотел назначить его министром, но он рассердился и сказал: «Я учитель и хочу снова работать учителем». Это был высокий молчаливый человек, и как учитель он казался мне скучноватым. Один раз он заменял нашего преподавателя немецкой литературы и прочел нам стихи про красавицу Лилофею.

Но мое мнение о школьных делах ровно ничего не значит. Было просто ошибкой заставлять меня ходить в школу дольше, чем положено по закону — законный срок и то слишком долг. Никогда я не жаловался на школу из-за учителей, а только из-за моих родителей. Собственно говоря, этим предрассудком «он обязательно должен получить аттестат зрелости» должен заняться Объединенный комитет по примирению расовых противоречий. Ведь это же самая настоящая расовая проблема: старшеклассники и младшие, учителя, инспекторы, люди с высшим образованием и без того — сплошные расы. Когда отец Цюпфнера прочел нам стихи, он немного подождал, потом сказал с улыбкой:

— Может, кто-нибудь хочет высказаться?

И я сразу вскочил и сказал:

— По-моему, стихи чудесные!

Весь класс захохотал, только отец Цюпфнера не смеялся. Он улыбнулся просто, ничуть не высокомерно. По-моему, он был славный, только немного суховат. С сыном я тоже был знаком мало, не больше, чем с отцом. Один раз я проходил мимо спортивной площадки, он там играл в футбол со своей группой из молодежного союза, и, когда я остановился и стал смотреть, он мне крикнул:

— Хочешь поиграть с нами?

И я сразу согласился и пошел играть левого крайнего в ту команду, которая играла против Цюпфнера. Когда игра кончилась, он мне сказал:

— Хочешь пойти с нами?

Я спросил:

— Куда?

И он сказал:

— На вечер нашего кружка.

А я сказал:

— Но ведь я вовсе не католик.

И он рассмеялся, и другие ребята тоже. Цюпфнер сказал:

— Мы поем хором, а ты, наверно, любишь петь?

— Люблю, — сказал я, — но эти кружки мне осточертели: ведь я два года проторчал в интернате.

И хотя Цюпфнер рассмеялся, он, как видно, был обижен. Он сказал:

— Но если хочешь, приходи играть с нами в футбол.

Раза два я еще играл с их группой, ходил с ними есть мороженое, но на вечеринки он меня больше не приглашал. Я знал, что

в этом же клубе устраивает вечеринки и Мари со своей группой, я знал ее хорошо, даже очень хорошо, потому что часто бывал у ее отца, а иногда ходил по вечерам на спортивную площадку, где она со своими девчонками играла в мяч, и смотрел на них. Вернее сказать, на нее, и она иногда кивала мне посреди игры и улыбалась, а я кивал ей в ответ и тоже улыбался: мы с ней были хорошо знакомы. В те дни я часто бывал у ее отца, иногда она сидела с нами, когда ее отец пытался мне объяснить Гегеля и Маркса, но дома она никогда мне не улыбалась. И в тот день, когда я увидел, как она выходит из молодежного клуба за руку с Цюпфнером, меня просто кольнуло в самое сердце. Я тогда был в глупом положении. В двадцать один год я ушел из последнего класса католической школы. Патеры держали себя очень мило, даже закатили мне прощальный вечер с пивом, бутербродами, с сигаретами для курящих и шоколадками для некурящих, и я изображал перед своими соучениками всякие номера: «Католический проповедник», «Проповедник-протестант», «Рабочий в день получки», — показывал разные фокусы, подражал Чаплину. Я даже речь произнес: «Ошибочное представление о том, что аттестат зрелости является необходимой предпосылкой для спасения души». Прощание вышло роскошное, но дома все сердились и возмущались. Мать вела себя по отношению ко мне просто низко. Она советовала отцу ткнуть меня в шахту, а отец все допытывался, кем же я хочу стать, и я сказал:

— Клоуном.

Он сказал:

— Ты хочешь стать актером? Хорошо, может быть, я смогу устроить тебя в школу.

— Нет, — сказал я, — не актером, а клоуном, и школы мне ни к чему.

— То есть как же ты себе это представляешь? — спросил он.

— Никак, — сказал я, — никак. Я просто уйду от вас...

Это были ужасные два месяца, потому что у меня не хватало мужества действительно уйти из дому, и при каждом куске, который я съедал, мать смотрела на меня как на преступника. При этом у нас в доме годами обжирались всякие проходимцы и приживалы, но для нее это были «художники и поэты»: и Шницлер, этот пошляк, и Грубер — хотя он-то был не такой уж противный. Этот жирный, молчаливый и нечистоплотный лирик прожил у нас полгода и не написал ни строчки. Когда он утром спускался к завтраку, мать всегда смотрела на него такими глазами, словно хотела обнаружить следы ночной борьбы с демоном вдохновения. Что-то было почти непристойное в этом ее взгляде. Но однажды он бесследно исчез, и мы, дети, удивились и даже перепугались, найдя в его комнате кучу замусоленных детективных романов, а на письменном столе какие-то записочки, где было только одно слово: «Ничто», а на одной два раза: «Ничто, ничто». И ради таких людей моя мать даже спускалась в погреб, доставала особый кусок ветчины. Мне кажется, что, если бы я завел



себе гигантские подрамники и стал размазывать всякую чепуху на гигантских холстах, она даже могла бы примириться с моим существованием. Тогда она могла бы говорить: «Наш Ганс — художник, он найдет свою дорогу. Теперь в нем еще происходит борьба». А так я был просто перезрелый недоучка, про которого она знала только, что «он неплохо показывает всякие трюки». Конечно, я упирался и не желал за какую-то жратву «проявлять свой талант» для них. Поэтому я и проводил целые дни у отца Мари, старика Деркума, помогал ему немножко в лавке, а он за это дарил мне сигареты, хотя они и сами нуждались. Я сидел дома всего два месяца, но они тянулись, как вечность, гораздо дольше, чем война. Мари я видел редко, она готовилась к экзаменам на аттестат зрелости и занималась со своими одноклассницами. Иногда старик Деркум ловил меня на том, что я его совсем не слушаю и не свожу глаз с кухонной двери, он качал головой и говорил: «Она сегодня вернется поздно». А я краснел.

Была пятница, и я знал, что старик Деркум по пятницам ходит на вечерний сеанс в кино, но я не знал, будет ли Мари дома или останется зубрить у подруги. Я не думал ни о чем и вместе с тем обо всем, даже о том, сможет ли она «после этого» сдать экзамен на аттестат зрелости; но уже тогда я предвидел: весь Бонн будет не только возмущаться тем, что я ее соблазнил, но и прибавлять: «И перед самыми выпускными экзаменами!» Я даже думал о девочках из ее группы, для которых это будет ужасным разочарованием. Я смертельно боялся того, что в интернате один мальчик как-то назвал «телесными проявлениями», и вопрос о потенции меня немало беспокоил. Самым неожиданным для меня было то, что я не испытывал ни малейшего «плотского вожделения». Думал я и о том, что нечестно с моей стороны проникнуть в дом, в комнату Мари с помощью ключа, который дал мне ее отец, но иначе я никак это сделать не мог. Единственное окно в комнате Мари выходило на улицу, а там до двух ночи царило такое оживление, что меня немедленно отправили бы в участок, а я должен был сегодня же быть с Мари. Я даже пошел в аптеку и купил на деньги, взятые у брата Лео, снадобье, про которое в школе говорили, будто оно повышает мужскую силу. Я покраснел как рак, когда очутился в аптеке, к счастью, подошел продавец, а не продавщица, но я говорил так тихо, что он заорал на меня и потребовал, чтобы я «громко и внятно» сказал, что мне нужно, и я назвал препарат, получил коробку и расплатился с женой аптекаря, которая посмотрела на меня и покачала головой. Конечно, она меня знала, и, когда она на следующее утро услышала, что произошло, она, наверно, подумала совсем не то, что было на самом деле, потому что через два квартала я открыл коробочку и вытряхнул все пилюли в водосточный желоб.

В семь часов, когда начался сеанс в кино, я пошел на Гуденауггассе, сжимая ключ в руке, но двери лавки еще были открыты, и, когда я вошел, Мари выглянула сверху с площадки и крикнула:

— Алло, кто там?

— Это я! — крикнул я и взбежал по лестнице, а она посмотрела на меня с изумлением, когда я, не прикасаясь к ней, медленно оттолкнул ее назад, в ее комнату.

Нам с ней мало приходилось разговаривать, мы только всегда смотрели друг на друга и улыбались, и я не знал, как мне к ней обращаться — на «вы» или на «ты». На ней был старый, потертый купальный халат, доставшийся ей после смерти матери, темные волосы перевязаны зеленым шнурком; позже, когда я развязывал этот шнурок, я заметил, что это кусок отцовской лески. Она так перепугалась, что мне ничего не надо было говорить: она сразу поняла, зачем я пришел.

— Уходи, — сказала она, но сказала машинально, я знал, что она должна так сказать, и мы оба знали, что хотя это сказано всерьез, но больше по инерции, и, когда она сказала «уйди», а не «уйдите», все было решено. В этом маленьком слове таилось столько нежности, что я подумал: ее хватит на всю жизнь, — и чуть не расплакался. Это слово было так сказано, что я понял: она знала, что я приду, во всяком случае, она совсем не удивилась.

— Нет, нет, — сказал я, — я не уйду, куда же мне идти? Она покачала головой.

— Что ж, значит, взять в долг двадцать марок и съездить в Кёльн, а уж потом на тебе жениться?

— Нет, — сказала она, — не ездят в Кёльн!

Я посмотрел на нее, и страх почти прошел. Я уже взрослый, и она взрослая девушка, я взглянул на ее руку, прихватившую халат, потом на ее стол у окна и обрадовался, что на столе нет никаких учебников, только шитье и выкройка. Я сбежал вниз, запер лавку и положил ключ туда, куда его клали уже лет пятьдесят, — между карамельками и прописями. Когда я вернулся, она сидела на кровати и плакала. Я тоже сел на другой конец кровати, закурил сигарету, подал ей, и она выкурила первую свою сигарету, ужасно неумело; мы невольно засмеялись: она так забавно выпускала дым и делала губы трубочкой, даже как-то кокетливо, а когда у нее случайно дым пошел носом, я расхохотался — до того это у нее вышло по-уличному. Наконец мы заговорили, и говорили ужасно много. Она сказала, что думает о «таких» женщинах в Кёльне, которые делают «это» за деньги и, наверно, считают, что «это» можно оплатить, но «это» за деньги купить нельзя, и, значит, все порядочные женщины, из-за которых мужья ездят «туда», перед ними в долгу, а она не хочет быть в долгу перед «такими женщинами». Я тоже много говорил, я ей сказал, что все, о чем я читал в книгах про так называемую «плотскую» любовь и про другую любовь, — все это считаю чепухой. Я не могу отделить одно от другого, и она спросила меня, считаю ли я ее красивой и люблю ли я ее, а я сказал, что она единственная девушка, с которой мне хотелось бы делать «это», и я всегда думал только о ней, когда думал «об этих вещах», даже еще в интернате, да и вообще я всегда думал только о ней одной. Потом Мари

встала и пошла в ванную, а я сидел на ее кровати, курил и думал об этих гнусных пилюлях, которые я выкинул в канаву. Мне опять стало страшно, я подошел к двери в ванную и постучал. Мари минуту помедлила, потом сказала «да», я вошел, и, как только ее увидел, весь страх опять прошел. Слезы текли у нее по лицу, а она туалетной водой побрызгала на волосы, потом стала пудриться, и я спросил:

— Чего это ты делаешь?

А она сказала:

— Хочу быть красивой.

Слезы прорывали маленькие бороздки в пудре — она слишком густо напудрилась, и тут она сказала:

— Может быть, тебе все-таки лучше уйти?

Но я сказал:

— Нет.

Она побрызгалась одеколоном, а я сидел на краю ванны и размышлял: хватит ли нам двух часов? Ведь больше получаса мы уже проболтали. В школе у нас были специалисты по этому вопросу, они рассказывали, как трудно сделать девушку женщиной, и у меня никак не выходил из головы Гунтер, которому сначала пришлось послать за себя Зигфрида, и я вспомнил, какая ужасная резня началась у этих Нибелунгов из-за этого дела и как в школе, когда мы проходили «Нибелунгов», я встал и сказал патеру Вунибальду: «Собственно говоря, ведь Брюнхильда и была женой Зигфрида», а он усмехнулся и сказал: «Но женат он был на Кримхильде, мой мальчик», а я разозлился и стал утверждать, что это толкование я считаю «поповским», и патер Вунибальд тоже разозлился, застучал костяшками по кафедре и сказал, что запрещает «такие оскорбления».

Я встал и сказал Мари:

— Ну чего ты плачешь?

И она перестала плакать и загладила пуховкой следы слез. Прежде чем вернуться к ней в комнату, мы постояли у окна в прихожей и поглядели на улицу: был январь, улица мокрая, желтели фонари над асфальтом, зеленела вывеска над овощной лавкой: «Эмиль Шмиц». Я знал Шмица, но не знал, что его имя Эмиль, и это имя Эмиль при фамилии Шмиц показалось мне неподходящим. Прежде чем мы вошли в комнату Мари, я чуть-чуть приоткрыл дверь и потушил там свет.

Когда ее отец вернулся, мы еще не спали, было почти одиннадцать часов. Мы слышали, что, перед тем как подняться наверх, он зашел в лавку взять сигарет. Мы оба думали: наверно, он что-нибудь заметит, все-таки произошло что-то невероятное. Но он ничего не заметил, только минуту прислушивался у двери и поднялся наверх. Мы слышали, как он снял башмаки, бросил их на пол, потом слышали, как он покашливает во сне. Я думал о том, как он к этому отнесется. Он давно перестал быть католиком, давным-давно вышел

из церкви и вечно ругал при мне «лживую мораль буржуазного общества в вопросах пола» и ненавидел «жульнический обман, который попы называют браком». Но я не был уверен, что он не поднимет скандала, узнав, что мы с Мари наделали. Я его очень любил, и он меня тоже, и у меня было искушение встать вот так, среди ночи, пойти к нему в спальню и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что я уже достаточно взрослый, мне двадцать один год, и Мари тоже достаточно взрослая, ей девятнадцать, и что в некоторых вопросах откровенность между мужчинами в тысячу раз неприятнее молчания, а кроме того, я понял: его это, в сущности, касалось куда меньше, чем я раньше думал. Не мог же я, на самом деле, пойти к нему заранее, среди бела дня и заявить: «Господин Деркум, сегодня я проведу ночь у вашей дочери», а о том, что случилось, он все равно узнает.

Немного позже Мари встала, поцеловала меня в темноте.

— Я пойду в ванную, а ты умойся тут.— И она потянула меня за руку с кровати и, не выпуская моей руки, повела в темноте в угол, где стоял умывальник, заставила меня нащупать кувшин, мыльницу, таз и вышла.

Я вымылся, снова лег в кровать, удивляясь, отчего Мари так долго не идет. Я устал до чертиков, радовался, что без страха могу вспоминать о проклятом Гунтере, а потом испугался: вдруг с Мари что-нибудь случилось. В интернате мне рассказывали жуткие подробности. Я опять подумал об отце Мари. Все считали, что он коммунист, но после войны, когда его хотели назначить бургомистром, коммунисты сделали так, что он не прошел, но каждый раз, когда я сравнивал коммунистов с нацистами, он свирепел и говорил: «Большая разница, мальчик, погибнет ли человек на войне ради интересов мыльной фирмы или умрет за дело, в которое верит». До сегодняшнего дня я не понимаю, кем он был на самом деле, но, когда Кинкель однажды в моем присутствии обозвал его «гениальным сектантом», я чуть не плюнул Кинкелю в физиономию. Старик Деркум принадлежал к тем редким людям, которые внушали мне уважение. Он был худой, суровый, выглядел много старше своих лет и от постоянного курения дышал тяжело. Все время, пока я ждал Мари, я слышал кашель из его спальни и казался себе подлецом, хотя знал, что я вовсе не подлец. Один раз он мне сказал: «А ты знаешь, почему в барских домах, вроде твоего родительского дома, горничным всегда дают комнату рядом с комнатой подрастающих мальчиков? Я тебе объясню почему: это древний, как мир, расчет на голос природы и сострадание». Мне очень хотелось, чтобы он вошел в комнату и застал меня в постели Мари, но идти к нему и, так сказать, «докладываться» у меня охоты не было.

Уже начинало светать. Мне было холодно. Удручала бедность комнаты Мари. Все давно считали, что Деркумы впали в бедность, и приписывали это политическому фанатизму отца Мари. У них когда-то была маленькая типография, небольшое издательство, книжная лавка, а теперь осталась только лавчонка письменных принадлежностей, где школьники могли купить и разные лакомства.

Мой отец как-то сказал мне: «Видишь, как далеко может завести человека фанатизм, а ведь у Деркума после войны, как у человека, подвергавшегося политическим преследованиям, были все шансы стать владельцем газеты». Как ни странно, но мне Деркум никогда не казался фанатиком, впрочем, мой отец, вероятно, путал фанатизм с последовательностью. Отец Мари даже молитвенников не продавал, хотя это дало бы ему возможность подработать, особенно перед праздниками.

В комнате у Мари стало уже светло, и тут я увидел, до чего они действительно бедные: в шкафу у нее висело всего три платья — темно-зеленое, в котором, как мне казалось, я видел ее уже лет сто, желтенькое, совсем поношенное, и тот чудесный темно-синий костюм, в котором она всегда ходила на процессии, потом старое, бутылочного цвета зимнее пальто и всего три пары обуви. На миг у меня появилось искушение открыть комод и посмотреть, какое у нее белье, но потом я передумал. По-моему, даже если бы я жил в самом законном браке с какой-нибудь женщиной, я бы все равно никогда не рылся в ее белье. Отец Мари давно перестал кашлять. Был седьмой час, когда Мари наконец вышла из ванной. Я был рад, что у нас с ней было то, чего я всегда хотел, я поцеловал ее и был счастлив, когда она мне улыбнулась. Я почувствовал ее руки у себя на шее — они были совсем ледяные.

Я притянул ее к себе, укрыл и засунул ее ледяные руки себе под мышку, и Мари сказала, что им там так хорошо лежать, как птицам в гнезде.

— А горячей воды у тебя не было? — спросил я.

И она сказала:

— Нет, котел давным-давно не работает. — И вдруг совершенно неожиданно она заплакала, и я спросил, почему она теперь вдруг плачет, и она прошептала: — Господи, ведь я же католичка, ты отлично знаешь...

Но я сказал, что любая девушка, евангелистка или атеистка, тоже, наверно, плакала бы, и я даже знаю почему. Мари посмотрела на меня вопросительно, и я сказал:

— Потому что невинность на самом деле существует.

Она все плакала, и я не спрашивал почему. Я все понимал: вот уже два года, как она ведет эту группу девушек, всегда ходит с ними в процессиях, наверно, они все время говорят про деву Марию, и вот теперь она кажется себе предательницей или обманщицей.

Я хорошо представлял себе, как все это для нее ужасно. Наверно, это было действительно ужасно, но больше ждать я не мог. Я сказал, что сам поговорю с ее девчонками, и она испуганно отшатнулась и сказала:

— Что? С кем?

— С девочками из твоей группы, — сказал я, — действительно нехорошо для тебя вышло, но, если уж тебе будет очень неважно, можешь, если хочешь, сказать, что я тебя изнасиловал.

Она рассмеялась и сказала:

— Нет, это глупости, и потом, что ты можешь сказать девочкам?  
И я сказал:

— Ничего я им говорить не буду, просто выступлю перед ними, покажу несколько номеров, и они подумают: так вот он какой, этот Шнир, который сделал с Мари «то самое», — и все будет по-другому, кончатся всякие перешептывания по углам.

Мари подумала, опять засмеялась и сказала тихо:

— А ты не такой глупый! — Потом вдруг расплакалась и сказала: — Мне теперь тут и показываться нельзя.

И я спросил:

— Почему?

Но она только плакала и мотала головой.

Ее руки совсем согрелись у меня под мышкой, и чем теплее становились ее руки, тем больше меня одолевал сон. Вскоре ее руки стали согревать меня, и, когда она опять спросила, люблю ли я ее и считаю ли я ее красивой, я сказал, что это совершенно ясно, но она сказала, что еще раз хочет выслушать даже то, что ясно, и я сонно пробормотал:

— Да, да, ты красивая, я тебя люблю.

Проснулся я, когда Мари встала и начала умываться и одеваться. Она совершенно не стеснялась меня, и мне казалось естественным смотреть на нее. Стало еще яснее, до чего она бедно одета. Пока она застегивалась и завязывалась, я думал о тех чудесных вещах, которые я купил бы ей, будь у меня деньги. Я и раньше, бывало, останавливался у витрин модных магазинов и смотрел на юбки, свитера, туфли и сумки, представляя себе, как бы ей это пошло, но у ее отца были такие строгие взгляды на деньги, что я никогда не осмелился бы принести ей подарок. Однажды он мне сказал: «Ужасно быть нищим, но худо и еле-еле сводить концы с концами, а так живет большинство людей». «А быть богатым?» — спросил я и покраснел. Он строго посмотрел на меня, покраснел и сказал: «Слушай, мальчик, дело может плохо обернуться, если ты не перестанешь думать. Если бы у меня еще хватило мужества и веры, что в этом мире можно что-то изменить, знаешь, что я сделал бы?» «Нет, не знаю», — сказал я. «Я бы, — сказал он и опять покраснел, — я бы основал такое общество, вроде как общество защиты детей богачей. Только дураки применяют понятие «беспризорные» исключительно к детям бедняков».

Много мыслей мелькало у меня в голове, пока я смотрел, как Мари одевается. Я и радовался, и вместе с тем чувствовал себя несчастным, видя, как просто она относится к своему телу. Потом, когда мы с ней переезжали из отеля в отель, я всегда любил по утрам лежать в постели и смотреть, как она моется и одевается, и, если кровать стояла так, что мне оттуда не видна была ванная комната, я ложился в ванну.

В то первое утро я с удовольствием и вовсе не вставал бы, мне хотелось, чтобы она никогда не кончила одеваться. Она тщательно вымыла шею, плечи, грудь, старательно вычистила зубы. Сам я обычно старался избежать утреннего умывания, а чистить зубы для меня

до сих пор пытка. Хотя я предпочитаю принимать ванну, но всегда с удовольствием смотрел, как умывается Мари, она была такая чистенькая, и все у нее выходило так естественно, даже то маленькое движение, каким она завинчивала крышку на тюбике с зубной пастой. Я думал и о моем брате Лео, он был такой набожный, добросовестный, точный и всегда говорил, что «верит» в меня. Он тоже сдавал на аттестат зрелости и как будто стыдился, что у него все идет гладко, нормально, хотя ему только девятнадцать, а я в двадцать один год еще сижу в предпоследнем классе и злуюсь из-за ложных толкований сказания о Нибелунгах. Лео даже был знаком с Мари, они встречались в каком-то кружке, где католическая и евангелическая молодежь обсуждала вопросы демократии и религиозной терпимости. Мы оба, и я и Лео, уже давно считали наших родителей кем-то вроде заведующих молодежным общением. Для Лео было ужасным ударом, когда он узнал, что у отца вот уже десять лет есть любовница. Для меня это тоже было ударом, но не в моральном отношении, я отлично представлял себе, как неприятно быть женатым на моей матери, чья обманчивая мягкость проявлялась даже в манере выговаривать «и» и «э». Она редко произносила фразы, где попадалось бы грубое «а», «о» или «у», и, что характерно, она даже имя брата, Лео, сократила в «Лэ». Любимая ее фраза: «Мы, видно, иначе расцениваем вещи», и вторая любимая фраза: «В принципе мне это виднее, тем не менее следует взвесить». Для меня тот факт, что у отца есть любовница, был главным образом шоком эстетическим: к нему это так не шло. Он человек не страстный, не жизнерадостный, и если не считать, что она для него могла быть чем-то вроде сиделки или духовной наставницы (но тогда пышное выражение «любовница» совершенно неуместно), то главная нелепость заключалась именно в том, что к отцу все это никак не шло. На самом деле это была миленькая, хорошенькая певичка, но бог весть какая умная, и отец даже не помогал ей получать выгодные концерты или контракты. Для этого он был слишком воспитанным человеком. Мне все это казалось ужасно нелепым, а Лео очень огорчался. Это разрушало его идеалы. Моя мать не нашла других слов для определения его состояния, кроме: «Лэ переживает кризис». И когда он написал сочинение на «пять» — низшая отметка, — то мама хотела потащить его к психоаналитику. Мне удалось этому помешать: во-первых, я толком разъяснил Лео все, что знал сам об отношениях мужчины и женщины, а во-вторых, я так усердно помогал ему готовить уроки, что он скоро опять стал получать «два» и «три», и мама уже считала, что вести его к психоаналитику не обязательно.

Мари надела зеленое платье, и, хотя она никак не могла застегнуть молнию, я не встал и не помог ей — до того было приятно смотреть, как она закидывает руки за спину, видеть ее белую кожу, темные волосы, темно-зеленое платье; я радовался, что она совсем не нервничает, но в конце концов она подошла к кровати, и я поднялся и застегнул ей молнию. Я спросил, почему она встает в такую рань, и она сказала, что отец засыпает только под утро и до девяти

будет спать, а ей надо принять газеты, открыть лавку, потому что школьники иногда приходят еще до мессы за тетрадями, за карандашами и карамельками.

— А кроме того,— сказала она,— лучше, если ты уйдешь до половины восьмого. Сейчас я сварю кофе, а ты минут через пять тихонько спустишься на кухню.

Я почти что почувствовал себя женатым, когда спустился в кухню и Мари налила мне кофе, намазала бутерброд. Она покачала головой:

— Немытый, нечесанный, неужели ты всегда выходишь завтракать в таком виде?

И я сказал:

— Да, в интернате им тоже никак не удавалось воспитать во мне привычку мыться рано утром.

— Но что же ты делаешь? — спросила она.— Как-то ведь надо наводить чистоту.

— Обтираюсь одеколоном,— сказал я.

— Но это ужасно дорого,— сказала она и сразу покраснела.

— Да,— сказал я,— но мне одеколон всегда дарит дядя, огромную бутылку, он главный представитель этой фирмы.

От смущения я стал разглядывать кухню, так хорошо мне знакомую: она была маленькая и темная, вроде кладовушки при лавке; в углу — небольшая плита, где Мари оставляла на ночь тлеющие брикеты, как делают все домашние хозяйки: вечером заворачивала в мокрую газету, утром раздувала тлеющий огонь и разжигала печь дровами и свежим брикетом. Ненавижу запах брикетной золы, который стоит по утрам на улицах и в то утро стоял в тесной кухоньке. Было так тесно, что каждый раз, как надо было снять кофейник с плиты, Мари приходилось вставать и отодвигать свой стул, и, наверно, то же самое приходилось делать ее бабушке и ее матери. В это утро знакомая кухонька впервые показалась мне будничной. Может быть, я впервые почувствовал, что значат будни: делать то, что нужно, даже если неохота. Мне совсем не хотелось уходить из этого тесного домика и там, за его пределами, выполнять свой долг, а долг мой был — сознаться в том, что мы сделали с Мари, перед Лео, перед девочками, да и мои родители, наверно, тоже как-нибудь об этом услышат. Больше всего мне хотелось бы остаться тут навеки и до конца жизни продавать карамельки и тетрадки ребятишкам, а вечером ложиться наверху в постель с Мари и спать с ней рядом, именно спать рядом, как мы спали в предутренние часы, когда я согревал ее руки у себя под мышкой. Мне она показалась пугающей и чудесной — эта будничная жизнь, с кофейником и бутербродами, с вылинявшим голубовато-белым фартуком Мари на темно-зеленом платье, и мне казалось, что только женщинам будни привычны, как их собственное тело. Я гордился тем, что Мари — моя жена, и чувствовал, что я еще не такой взрослый, каким теперь придется быть перед всеми. Я встал, обошел стол, обнял Мари.

— Я никогда не забуду,— сказала она,— как ты грел мои руки



под мышкой. Но тебе надо идти, уже половина восьмого, сейчас начнут приходить ребята.

Я помог ей принести пачки газет и распаковать их. Напротив как раз приехал с рынка Шмиц на своем грузовичке, и я отскочил в глубь парадного, чтобы он меня не увидел, но он меня все равно увидел. У соседей зорче глаз, чем у самого черта. Я стоял в лавке, смотрел на свежие газеты — обычно мужчины накидываются на них как сумасшедшие. А меня газеты интересуют только по вечерам или когда я лежу в ванне, а в ванне самые серьезные газеты кажутся мне такими же глупыми, как вечерние выпуски. В это утро заголовок гласил: «Штраус — со всеми вытекающими отсюда последствиями». Все-таки, наверно, лучше было бы поручить передовицы и заголовки кибернетическим машинам. Есть границы, за которыми слабоумие уже должно быть запрещено. Задребезжал звонок в лавке, вошла девчушка лет восьми-девяти, краснощекая, чисто вымытая, с молитвенником под мышкой.

— Дайте подушечек,— сказала она,— на десять пфеннигов.

Я не знал, сколько подушечек надо дать на десять пфеннигов, открыл банку, отсчитал двадцать штук и впервые устыдился своих не очень чистых ногтей — через толстое стекло банки они казались огромными. Девчушка смотрела на меня с изумлением, когда я положил в пакетик двадцать подушечек, но я сказал:

— Все в порядке, можешь идти,— и, взяв ее монетку с прилавка, бросил в кассу.

Мари вернулась в лавку и расхохоталась, когда я ей гордо показал монетку.

— А теперь пора идти,— сказала она.

— А почему, собственно говоря? — спросил я.— Разве мне нельзя дожидаться, пока спустится твой отец?

— Нет, ты возвращайся к девяти, когда он спустится вниз,— сказала она.— Иди же, ты должен все рассказать своему брату Лео, пока он от других не узнал.

— Да,— сказал я,— ты права, а ты,— и я опять покраснел,— разве тебе не надо в школу?

— Сегодня я не пойду,— сказала она,— и вообще больше туда не пойду. Возвращайся поскорее!

Мне было ужасно трудно расставаться с ней, она проводила меня до выхода из лавки, и я поцеловал ее при открытых дверях, так что Шмиц с супругой могли видеть нас с той стороны. Они вылупили глаза, как рыбы, обнаружившие, что крючок давно проглочен.

Я ушел не оглядываясь. Мне было холодно, я поднял воротник куртки, закурил сигарету, сделал крюк через рынок, спустился по Францисканерштрассе и за углом Кобленцерштрассе вскочил на ходу в автобус. Кондукторша открыла мне дверь, погрозила пальцем, когда я остановился около нее, чтобы заплатить за проезд, и, покачав головой, показала на мою сигарету. Я притушил сигарету, сунул окурки в карман и прошел в середину. Я смотрел на Кобленцерштрассе и думал о Мари. Что-то в моем лице явно возму-

тило человека, около которого я остановился. Он даже опустил газету, не дочитав своего «Штрауса — со всеми вытекающими отсюда последствиями», сдвинул очки на нос, посмотрел на меня, покачал головой и пробормотал: «Невероятно!» Женщина, сидевшая за ним, — я чуть не упал, споткнувшись о мешок с брюквой, стоявший около нее, — кивнула в знак согласия с его словами и тоже покачала головой, беззвучно шевеля губами.

А ведь я специально причесался гребенкой Мари перед ее зеркалом, на мне была чистая серая, совершенно обыкновенная куртка, и борода у меня росла вовсе не так сильно, чтобы один день без бритья мог придать мне «невероятный» вид. Я не слишком высок и не слишком мал ростом, нос у меня не такой длинный, чтобы его надо было заносить в «особые приметы», в этой графе у меня стоит: «Особых примет нет». Я был не грязный, не пьяный, и все-таки женщина с мешком брюквы возмущалась еще больше, чем мужчина в очках, он только в последний раз безнадежно покачал головой и, снова водворив очки на место, занялся штраусовскими последствиями, а женщина беззвучно бранилась себе под нос и беспокойно вертела головой, как бы желая поделиться с остальными пассажирами тем, что никак не могли выговорить вслух ее губы.

Я до сих пор не знаю, как выглядят типичные евреи, иначе я мог бы подумать, не принимает ли она меня за еврея, но мне кажется, что дело было не в моей наружности, а в том выражении глаз, с каким я смотрел в окно и думал о Мари. Эта немая враждебность так нервировала меня, что я сошел на остановку раньше и спустился пешком по Эберталлее, прежде чем свернуть к Рейну.

В нашем парке чернели еще влажные стволы буков, краснела свежеукатанная теннисная площадка, с Рейна доносились гудки барж, и, войдя в прихожую, я услышал, как Анна бранилась вполголоса на кухне. Я разобрал только: «...добром не кончится... не кончится добром...» Я крикнул в приоткрытую кухонную дверь:

— Анна, я завтракать не буду! — быстро прошел мимо и остановился в столовой.

Никогда еще дубовые панели и деревянная галерея с кружками и охотничьими трофеями не казались мне такими мрачными. Рядом, в гостиной, Лео играл мазурку Шопена. В то время он решил заняться музыкой и вставал в половине шестого, чтобы поупражняться до ухода в школу. От музыки мне показалось, что уже наступил вечер, и я совсем забыл, что это играет Лео. Шопен и Лео никак не подходили друг к другу, но играл он так хорошо, что я про него забыл. Из старых композиторов я больше всего люблю Шопена и Шуберта. Знаю, что наш учитель музыки прав, называя Моцарта божественным, Бетховена — великим, Глюка — неподражаемым, а Баха — грандиозным. Но Бах мне кажется тридцатитомной философией, которая меня приводит в изумление. А Шопен и Шуберт такие земные, такие мне близкие. Я их люблю слушать больше всего.

В парке на берегу Рейна, у самых плакучих ив, кто-то переставлял мишени в дедушкином тире. Наверно, он велел кучеру их смазать. Мой дед изредка созывает компанию «старых дружков», и тогда перед нашим домом на круглой площадке останавливается пятнадцать гигантских автомашин, пятнадцать шоферов зябко топчутся под деревьями меж кустов или играют в скат на каменных скамьях, а когда кто-нибудь из старых дружков попадает в яблочко, слышно хлопанье пробки от шампанского. Иногда дед звал меня туда, и я показывал старичкам всякие штуки — изображал Аденауэра или Эрхарда (это примитивно до уныния) либо представлял целый номер — «Директор предприятия в вагоне-ресторане». Но как я ни старался вложить побольше яду, они все равно хохотали до слез, «надрывали животики», а когда я после представления обходил их с пустой коробкой из-под патронов или с подносом, почти все бросали мне ассигнации. С этими старыми перечницами я отлично ладил, хотя ничего общего между нами не было. Но, наверно, с китайскими мандаринами я бы поладил не хуже. Некоторые развязно давали оценку моим достижениям: «Блестяще! Отменно!» А другие даже изрекали целые фразы: «В малом что-то есть!» Или: «Он еще себя покажет!»

В тот раз, слушая Шопена, я впервые подумал, что надо бы поискать ангажемент, подработать денег. Можно было попросить рекомендацию у деда: я мог бы показывать сольные номера на собраниях капиталистов или развлекать членов правления после скучных заседаний. Я даже подготовил номер «Заседание правления».

Но как только Лео вошел в комнату, Шопен сразу пропал. Лео — очень высокий, светловолосый и в своих очках без оправы — похож не то на суперинтендента, не то на шведского иезуита. Последний отзвук Шопена растаял в воздухе от одного вида этих отутюженных складок на брюках, даже белый свитер Лео, его красная рубашка с воротничком навыпуск — все было как-то некстати. Стоит мне заметить, что кто-то старается напустить на себя нарочитую небрежность, я впадаю в глубокую меланхолию, так же, как от претенциозных имен вроде Этельберт, Герентруда, и я опять увидел, какое сходство у Лео с Генриеттой, хотя он совсем на нее не похож: тот же короткий нос, те же синие глаза, но рот у него другой, и все, что в Генриетте казалось красивым, оживленным, в нем кажется трогательным и неловким. По нему не видно, что он лучший гимнаст в классе, скорее, он выглядит так, будто его освободили от гимнастики, хотя у него над кроватью висит с полдюжины спортивных грамот.

Он быстро подошел ко мне, но на полдороге остановился, растерянно растопырил руки и сказал:

— Ганс, что с тобой?

Он смотрел на мои глаза, вернее, на нижние веки, как будто хотел снять с них какое-то пятно, и я заметил, что плачу. Когда я слушаю Шуберта или Шопена, у меня всегда слезы на глазах. Я смахнул пальцем обе слезинки и сказал:

— Вот не знал, что ты так хорошо играешь Шопена. Сыграй эту мазурку еще раз!

— Не могу,— сказал он,— пора в школу, нам на первом уроке дадут темы для выпускного сочинения.

— Я тебя отвезу на маминой машине,— сказал я.

— Не хочу я ездить на этой идиотской машине,— сказал он,— сам знаешь, как я ее ненавижу.

В то время мама только что «безумно дешево» перекупила у приятельницы спортивную машину, а Лео чрезвычайно остро воспринимал все, что могло показаться «задаванием» с его стороны. Только одним способом можно было привести его в бешенство: если кто-нибудь его дразнил или подлизывался к нему из-за наших богатых родителей — тут он краснел как рак и пускал в ход кулаки.

— Сделай исключение,— сказал я,— сядь, сыграй для меня. Хочешь знать, где я был?

Он покраснел, уставился в землю и сказал:

— Нет, не хочу ничего знать.

— Я был у девушки,— сказал я,— у женщины, у моей жены.

— Вот как? — сказал он, не подымая глаз.— Когда же вы обвенчались?

Он все еще не знал, куда девать руки, хотел было проскользнуть мимо меня, опустив голову, но я удержал его за рукав.

— Это Мари Деркум,— сказал я тихо. Он выдернул у меня свой рукав, отступил на шаг и сказал:

— Бог мой, не может быть!

Потом вдруг что-то пробурчал и сердито покосился на меня.

— Что? — спросил я.— Что ты сказал?

— Что мне теперь придется ехать на машине. Отвезешь меня?

Я сказал «да», взял его за плечо и вышел с ним через столовую. Я хотел избавить его от неловкости встретиться со мной глазами.

— Пойди возьми ключи,— сказал я,— тебе мама выдаст их, да не забудь удостоверение. И потом, Лео, мне деньги нужны, у тебя еще есть деньги?

— В сберкассе,— сказал он.— Можешь сам взять?

— Не знаю,— сказал я,— нет, лучше перешли мне.

— Куда? — сказал он.— Разве ты уезжаешь?

— Да,— сказал я. Он кивнул и поднялся наверх.

Только в ту минуту, как он меня об этом спросил, я понял, что уеду. Я зашел на кухню. Анна встретила меня ворчанием.

— А я решила, что ты не желаешь завтракать,— сердито сказала она.

— Нет, завтракать не буду,— сказал я,— только кофе.

Я сел за чисто выскобленный стол и стал смотреть, как Анна снимает у плиты фильтр с кофейника и ставит его на чашку, чтобы стекал кофе.

По утрам мы всегда завтракали на кухне с прислугой, нам было скучно сидеть в столовой и ждать, пока подадут. Сейчас

на кухне была только Анна. Норетта, вторая горничная, была у мамы в спальне, подавала ей завтрак и обсуждала с ней туалеты и косметику. Наверно, сейчас мама перемалывает своими великолепными зубами какие-нибудь зерна, на лице у нее маска из плацентарных препаратов, а Норетта читает ей вслух газету. А может быть, они сейчас только читают утреннюю молитву, составленную из Гёте и Лютера и подкрепленную обычно какими-нибудь душеспасительными назиданиями, а может быть, Норетта читает матери вслух проспекты новейших слабительных. У мамы целые папки лекарственных проспектов, там все распределено по разделам: «Пищеварение», «Сердце», «Нервы», и, как только ей удастся заполучить какого-нибудь врача, она осведомляется у него о всяких «новшествах» — экономит гонорары за консультацию. А когда врач ей посылает после этого какие-нибудь образчики, она на седьмом небе от счастья.

По спине Анны я видел, что она боится той минуты, когда ей надо будет обернуться, взглянуть мне в лицо и заговорить со мной. Мы с ней очень привязаны друг к другу, хотя она никак не может отвыкнуть от неприятной склонности перевоспитывать меня. Она живет у нас уже пятнадцать лет, мама взяла ее из дома своего кузена, евангелического пастора. Анна родом из Потсдама, и уже то, что мы, несмотря на евангелическое вероисповедание, говорим на рейнском диалекте, кажется ей чудовищным, почти что противостественным. Наверно, протестант, который говорит по-баварски, показался бы ей воплощением самого дьявола. Но к Рейнской области она уже стала понемногу привыкать. Она высокая, стройная и гордится тем, что у нее «походка как у дамы». Ее отец служил каптенармусом в каком-то месте, про которое я знаю только то, что оно называлось «П.П.9»<sup>1</sup>. Бесполезно объяснять Анне, что у нас тут не «П.П.9», — во всем, что касается воспитания молодежи, она неизменно держится правила: «В «П.П.9» такого не допускали». До сих пор я не разобрался, что же за таинственное воспитательное заведение это самое «П.П.9», но твердо уверен, что туда меня не взяли бы даже чистить уборные. Особенно часто Анна взывает к «П.П.9», когда я не умываюсь, а «эта ужасная привычка без конца валяться по утрам в постели» возбуждала в ней такое отвращение, словно я заразился проказой. Наконец она обернулась и подошла с кофейником к столу, но глаза у нее были опущены, точно у монашки, прислуживающей епископу с сомнительной репутацией. Мне было ее жалко, как девчонок из группы Мари. Монашеское чутье Анны наверняка подсказывало ей, откуда я пришел, а вот моя мать никогда ничего не заметила бы, даже если бы я три года жил в тайном браке с какой-нибудь женщиной. Я взял у Анны кофейник, налил себе кофе, крепко схватил ее за руку и заставил посмотреть мне в глаза: она подняла свои выцветшие голубые глаза с дрожащими веками, и я увидел, что она и в самом деле плачет.

---

<sup>1</sup> Девятый пехотный полк.

— Фу ты, черт,— сказал я,— да посмотри же мне в глаза, Анна. Наверно, даже в твоём «П.П.9» люди имели мужество смотреть друг другу прямо в глаза.

— А я не мужчина,— проскулила она, и я выпустил её руку. Она повернулась лицом к плите, что-то пробормотала про грех и позор, Содом и Гоморру, и я сказал:

— Что ты, Анна, бог с тобой, ты только вспомни, что они там вытворяли, в Содоме и Гоморре.

Она стряхнула мою руку с плеча, и я вышел из кухни, не сказав ей, что хочу уехать из дому. Только с ней одной я ещё иногда говорил о Генриетте.

Лео уже стоял у гаража и тревожно смотрел на ручные часы.

— А мама заметила, что меня не было дома? — спросил я. Он сказал «нет», отдал мне ключи и отворил ворота. Я сел в мамину машину, вывел её и подождал, пока сядет Лео. Он напряжённо разглядывал свои ногти.

— Я взял сберкнижку,— сказал он,— в перемену пойдёшь за деньгами. Куда их тебе послать?

— Пошли старику Деркуму,— сказал я.

— Поезжай, пожалуйста,— сказал он,— мне давно пора.

Я быстро проехал через сад, по выездной аллее, и мне пришлось задержаться на улице, у той самой остановки, с которой Генриетта уезжала в армию. Несколько девочек, Генриеттиных сверстниц, садились в трамвай: когда мы обогнали трамвай, я увидел ещё много девочек Генриеттиных лет — они смеялись, как смеялась она, и на них тоже были синие шляпки и пальто с меховыми воротничками. Если начнётся война, их родители отправят их из дому точно так же, как мои родители отправили Генриетту: сунут им немножко карманных денег, несколько бутербродов, похлопают по плечу и скажут: «Будь молодцом!» Очень хотелось подмигнуть этим девчонкам, но я удержался. Люди все понимают не так. Когда едешь в такой идиотской машине, даже девчонке подмигнуть нельзя.

Однажды я дал мальчику в Дворцовом парке полплитки шоколада и отвёл ладонью его светлые волосы с грязного лба: он ревел, размазывая слезы по всему лицу, и я только хотел его утешить. Но тут вмешались две женщины, подняли чудовищный скандал, чуть не позвали полицию, и после этого скандала я действительно чувствовал себя преступником, потому что одна из женщин все время повторяла: «Ах ты, грязный негодяй, грязный негодяй!» Это было омерзительно — мне их вопли показались чуть ли не гнуснее настоящего извращения.

Проезжая на большой скорости по Кобленцштрассе, я все время высматривал машину какого-нибудь министра, чтобы поцарапать ему лак. На маминой машине ступицы выдаются так, что ими легко поцарапать любую машину, но так рано министры не выезжают. Я сказал Лео:

— Ну как, ты и вправду решил поступать на военную службу? Он покраснел и кивнул.

— Мы все обсудили,— сказал он,— и наша группа решила, что это пойдет на пользу демократии.

— Ну что ж,— сказал я,— иди, пусть у них одним идиотом будет больше, я сам иногда жалею, что не годен к военной службе.

Лео вопросительно взглянул на меня, но тут же отвел глаза, когда я на него посмотрел.

— Почему? — спросил он.

— Да так,— сказал я,— очень хотелось бы повидать того майора, который квартировал у нас и хотел пристрелить матушку Винкен. Наверно, он теперь полковник или генерал.— Я остановил машину у Бетховенской гимназии, хотел высадить Лео, но он тряхнул головой.

— Нет, остановись с той стороны, справа от семинарии.— И я проехал дальше, остановился, подал руку Лео, но он криво улыбнулся и протянул мне раскрытую ладонь. Я уже мысленно двинулся дальше и не понял, что ему надо, меня раздражало, что он не сводит глаз с ручных часов. Было всего без пяти восемь, времени у него хватало.

— Не может быть, чтобы ты пошел на военную службу,— сказал я.

— А почему? — сердито спросил он.— Ну, давай сюда ключ от машины!

Я отдал ключ, кивнул и ушел. Все время я думал о Генриетте, я считал безумием, что Лео хочет идти в солдаты. Я прошел через Дворцовый парк, мимо университета, до рынка. Мне было холодно, хотелось поскорее вернуться к Мари.

Когда я туда пришел, в лавке было полно ребят, они брали с полок карамельки, грифели, резинки и клали старику Деркуму деньги на прилавок.

Я протиснулся через лавку в заднюю комнатку, но он не поднял глаз. Я подошел к плите, стал греть руки о кофейник и ждал, что Мари вот-вот придет. Сигарет у меня не было, и я не знал, как быть, когда я попрошу их у Мари,— просто взять или заплатить. Я налил себе кофе и заметил, что на столе стоят три чашки. Когда в лавке стихло, я убрал свою чашку. Очень хотелось, чтоб Мари была тут, со мной. Я вымыл руки и лицо над раковиной у плиты, причесался щеткой для ногтей, лежавшей в мыльнице, расправил воротничок рубашки, подтянул галстук и еще раз проверил ногти — они были совсем чистые. Вдруг я понял, что теперь надо делать то, чего я никогда не делал.

Только я успел сесть, как вошел ее отец, и я сразу вскочил со стула. Он был растерян не меньше меня и так же смущен, вид у него был совсем не сердитый, скорее очень серьезный, и, когда он протянул руку к кофейнику, я вздрогнул, не очень сильно, но все же заметно. Он покачал головой, налил себе кофе, пододвинул мне кофейник, я сказал «спасибо», он все еще на меня не смотрел. Ночью, в комнате Мари, когда я все обдумывал, я почувствовал себя совсем уверенно. Мне очень хотелось курить, но я

не осмеливался взять сигарету из пачки, лежавшей на столе. Во всякое другое время я не постеснялся бы. Он стоял, наклонившись над столом, совсем лысый, с седым венчиком спутанных волос, и я увидел, что он уже совсем старик. Я тихо сказал:

— Господин Деркум, вы имеете право...

Но он стукнул кулаком по столу, наконец посмотрел на меня поверх очков и сказал:

— О черт, и зачем это надо было... да еще чтобы все соседи были посвящены? — Я обрадовался, что он все знает и не заводит разговор про честь. — Неужели надо было довести до этого, ведь ты же знаешь, что мы из кожи вон лезли ради этих проклятых экзаменов, а теперь... — Он сжал кулак, потом раскрыл ладонь, будто выпускал птицу. — Теперь — ничего!..

— А где Мари? — спросил я.

— Уехала, — сказал он, — уехала в Кёльн.

— Куда уехала? — крикнул я. — Где она сейчас?

— Тихо! — сказал он. — Узнаешь, все узнаешь. Я полагаю, что сейчас ты начнешь говорить про любовь, про брак — можешь не трудиться, уходи! Посмотрим, что из тебя выйдет. Ступай!

Я боялся пройти мимо него.

— А ее адрес? — спросил я.

— Вот, — сказал он и подал мне через стол записку. Я сунул ее в карман. — Ну, чего тебе еще? — закричал он. — Чего тебе надо? Что ты тут торчишь?

— Мне деньги нужны, — сказал я и обрадовался, когда он вдруг засмеялся, хотя смех был странный, сердитый и резкий, один раз он уже так смеялся при мне, когда мы заговорили о моем отце.

— Деньги! — сказал он. — Хорошие шутки! Ну, иди сюда!

И он потянул меня за рукав в лавку, зашел за прилавок, раскрыл кассу и стал двумя руками швырять мне мелочь: по десять пфеннигов, по пять, по пфеннигу, он сыпал монеты на тетрадки, на газеты, я сначала не решался, потом стал медленно собирать монетки, хотел было ссыпать их прямо себе в ладонь, но потом собрал поодиночке, стал считать и, когда набиралась марка, клал в карман. Он смотрел, как я кладу деньги, кивнул головой, вытащил кошелек и протянул мне пять марок. Мы оба покраснели.

— Прости, — сказал он тихо, — о, черт побери, прости меня!

Он думал, что я обиделся, но я так хорошо его понимал. Я сказал:

— Подарите мне еще пачку сигарет.

И он сразу пошел к полке за прилавком и подал мне две пачки. Он плакал. Я перегнулся через прилавок и поцеловал его в щеку. Ни разу в жизни я не целовал ни одного мужчину, кроме него.



Мысль о том, что Цюпфнер может или смеет смотреть, как Мари одевается, как она заворачивает крышку на тубике пасты, приводила меня в отчаяние. Нога болела, и я уже сомневался, смогу ли я халтурить, хотя бы на уровне двадцати — тридцати марок за выступление. Мучило меня еще и то, что Цюпфнеру наверняка глубоко безразлично — смотреть или не смотреть, как Мари заворачивает крышечку от пасты: по моему скромному опыту, католики вообще не способны воспринимать детали. На моем листке был записан телефон Цюпфнера, но я еще не собрался с духом набрать этот номер. Никогда не знаешь, на что могут толкнуть человека его убеждения. Может быть, она действительно вышла замуж за Цюпфнера, а услышать, как голос Мари отвечает: «Квартира Цюпфнера», — нет, я бы этого не вынес. Чтобы позвонить Лео, я обыскал всю телефонную книжку под рубрикой «Духовные семинарии», ничего не нашел, хотя и знал, что есть две такие лавочки — Леонинум и Альбертинум. Наконец я заставил себя поднять трубку и набрать справочную. Меня сразу соединили, и у барышни, ответившей мне, был даже рейнский выговор. Иногда я так скучаю по рейнскому диалекту, что звоню из какого-нибудь отеля на боннскую телефонную станцию, чтобы услышать этот абсолютно невоинственный, мирный говорок, где не слышно звука «р» — именно того звука, на котором главным образом и строится военная дисциплина.

Я только раз пять услышал: «Прошу подождать», потом девушка ответила, и я спросил у нее про «эти самые штуки», где готовят католических священников. Я сказал, что смотрел на «Духовные семинарии» и ничего не нашел; она засмеялась и сказала, что «эти самые штуки» — она очень мило подчеркнула кавычки — называются конвикты, и дала мне оба телефонных номера. Этот девичий голос по телефону немножко утешил меня. Он звучал так естественно, без ханжества, без кокетства, так по-рейнски. Мне даже удалось добиться телеграфа и отослать телеграмму Карлу Эмондсу.

Я никогда не мог понять, почему каждый, кто хочет казаться умным, старается непременно выразить свою ненависть к Бонну. В Бонне всегда было свое очарование, какое-то особое, сонное очарование — бывают женщины, привлекательные именно таким вот сонным очарованием. Конечно, Бонн не терпит никаких преувеличений, а этот город ужасно раздули. Город, который не терпит преувеличений, трудно описать, а это все-таки редкое качество. Каждый ребенок знает, что климат Бонна — климат для пенсионеров: тамошний воздух как-то благотворно действует на кровяное давление. Но что Бонну абсолютно не к лицу — это какая-то защитная колючесть: у нас дома я часто имел возможность беседовать с чиновниками министерств, депутатами, генералами — мамаша у меня любит устраивать приемы, — и все они находятся в состоянии раздраженной, иногда чуть ли не плаксивой самозащиты. Они все

с такой вымученной иронией подсмеиваются над Бонном. Я этого кривляния не понимаю. Если бы женщина, очаровательная именно своим сонным очарованием, вдруг стала бы, как дикарка, отплясывать канкан, то можно было бы только предположить, что ее чем-то одурманили, но одурманить целый город им никак не удастся. Добрая старая тетушка может тебе преподать, как вязать пуловеры, вышивать салфетки или сервировать херес, но не ждать же от нее, чтобы она прочла доклад о гомосексуализме или вдруг стала ругаться на жаргоне проституток, по которым в Бонне многие так ужасно скучают. Все это ложные претензии, ложный стыд, ложная спекуляция на противоестественном. Меня бы ничуть не удивило, если бы даже представители святой церкви стали жаловаться на нехватку проституток. На одном из маминых приемов я познакомился с одним партийным деятелем, который заседал в Комитете по борьбе с проституцией, а сам шепотом жаловался мне на нехватку шлюх в Бонне. Раньше Бонн был совсем не так плох: узкие улочки, лавчонки букинистов, студенческие корпорации, маленькие кондитерские с комнатками за магазином, где можно было выпить чашку кофе.

Перед тем как позвонить Лео, я проковылял на балкон — взглянуть на мой родной город. Красивый город — собор, кровли бывшего дворца курфюрста, памятник Бетховену, маленький рынок, Дворцовый парк. Судьба Бонна в том, что в его судьбу никто не верит. С балкона я глубоко вдыхал боннский воздух, он действовал на меня удивительно благотворно: при перемене климата боннский воздух за несколько часов творит чудеса.

Я вернулся с балкона в комнату и без колебаний набрал номер «той самой штуки», где учится Лео. Мне было жутковато. С тех пор как Лео стал католиком, я с ним не виделся. Он сообщил мне о своем обращении со свойственной ему ребяческой аккуратностью, в официальном стиле. «Дорогой брат,— писал он,— настоящим извещаю тебя, что по зрелом размышлении я решил принять католичество и готовить себя к духовному поприщу. В самом ближайшем времени у нас, безусловно, найдется возможность лично побеседовать об этом решающем шаге моей жизни. Любящий тебя брат Лео». Весь Лео был в этом письме, в судорожной попытке по-старомодному начинать письмо, не с местоимения: «я тебя хочу известить», а «настоящим извещаю». Тут и следа не было того изящества, которое сквозит в его игре на рояле. Эта его деловитость приводит меня в совершенное уныние. Если он и дальше так пойдет, то непременно когда-нибудь станет благородным седовласым прелатом. В эпистолярном стиле отец и Лео одинаково беспомощны: обо всем пишут так, словно речь идет о каменном угле.

Я долго ждал, пока в этом самом учреждении кто-то соблаговолит подойти к телефону, и уже начал было крыть это поповское разгильдяйство всякими словами, соответственно моему настроению, и буркнул: «Вот сволочи!» В эту минуту подняли трубку, и сиплый голос сказал:

— Да?

Я был разочарован. Я надеялся услышать кроткий голос монахини, пахнувший черным кофе и сухим печеньем, а вместо того в трубку кряхтел мужчина и пахло колбасой и капустой, да так пронзительно, что я закашлялся.

— Прошу прощения,— сказал я наконец,— могу ли я поговорить со студентом богословского отделения Лео Шниром?

— Кто говорит?

— Шнир,— сказал я. Очевидно, это оказалось выше его понимания. Он долго молчал. И я опять было закашлялся и сказал: — Повторяю по буквам: школа, неделя, Ида, Рихард.

— Что это значит? — спросил он, и в голосе его мне послышалась та же растерянность, в какой находился и я. Может быть, меня соединили по телефону с каким-нибудь симпатичным старичком профессором, который курит трубку, и я торопливо наскреб в памяти несколько латинских слов и робко сказал:

— *Sum frater leonis*<sup>1</sup>. — Мне самому такой прием показался нечестным — наверно, многие хотели бы поговорить с кем-нибудь из тамошних студентов, но по-латыни никогда в жизни и слова не выучили.

К моему удивлению, он вдруг захихикал и сказал:

— *Frater tuus est in refectorio*<sup>2</sup>, обедает,— добавил он погромче,— господа студенты обедают, отрывать их не разрешается.

— Но дело срочное,— сказал я.

— Смертный случай? — спросил он.

— Не совсем,— сказал я,— почти...

— Значит, тяжелая травма?

— Не совсем,— сказал я,— травма скорее внутренняя.

— Ага,— сказал он, и его голос стал мягче,— значит, внутреннее кровоизлияние.

— Нет,— сказал я,— душевная травма. Речь идет о чисто душевной травме.

Очевидно, слово для него было незнакомое, наступило ледяное молчание.

— Бог мой,— сказал я,— ведь человек состоит из души и тела.

Он что-то пробурчал, выражая несогласие с этим утверждением, и, дважды затянувшись трубкой, пробормотал:

— Августин, Бонавентура, Николай Кузанский — вы на ложном пути.

— Душа есть,— упрямо сказал я,— и, пожалуйста, передайте господину Шниру, что душа его брата в опасности, пусть он позвонит, как только кончит обедать.

— Душа,— сказал он холодно.— Брат. Опасность.— С таким же успехом он мог сказать: навоз, хлев, поило. Мне стало смешно: ведь из этих студентов хотят сделать пастырей человеческих душ, и этот человек не мог не знать слова «душа».

---

<sup>1</sup> Я брат льва (лат.).

<sup>2</sup> Твой брат в трапезной (лат.).

— Дело очень срочное,— сказал я.

Он только проворчал:

— Гм, гм.— Очевидно, ему было совершенно непонятно, что душевные дела тоже могут быть срочными.— Передам,— сказал он,— а что это вы сказали про школу?

— Ничего,— сказал я,— абсолютно ничего. Никакого отношения к школе. Просто воспользовался этим словом, чтобы сказать свое имя по буквам.

— Видно, вы думаете, что они тут, в школе, еще учат буквы? Вы серьезно так думаете? — Он так оживился, что я решил: наконец он попал на своего конька.— Слишком мягкое воспитание нынче,— закричал он,— слишком мягкое!

— Ну — конечно,— сказал я.— В школах надо бы порки побольше.

— Вот, вот! — Он прямо загорелся.

— Да,— сказал я,— особенно учителей надо пороть почаще. Значит, вы передадите моему брату?

— Уже записал,— сказал он.— Срочное дело, душевное переживание, в связи со школой. Послушайте, мой юный друг, могу ли я, как безусловно старший по возрасту, дать вам добрый совет?

— Да, прошу вас,— сказал я.

— Не связывайтесь с этим Августином: ловко сформулированные субъективные ощущения — еще далеко не теология и только вредят юным душам. Чистейшее краснбайство с примесью диалектических приемов. Вы не обиделись на мой совет?

— Нет,— сказал я,— сейчас пойду и швырну свой экземпляр Августина в огонь.

— И правильно! — сказал он с восторгом.— В огонь его! Ну, храни вас бог!

Я чуть не сказал «спасибо». Но мне это показалось неудобным, и я просто положил трубку и вытер пот со лба. Я ужасно чувствителен к запахам, и этот густой капустный дух взбудоражил всю мою вегетативную нервную систему. Я подумал о предусмотрительности церковного начальства: очень мило, что они дают старикам возможность чувствовать себя еще полезными, но я не мог понять, зачем они поручили дежурство у телефона именно этому глухому, полупомешанному старикашке. Капустный запах я помнил еще с интернатских времен. Один из тамошних патеров как-то объяснил нам, что капуста подавляет чувственность. Мне было противно даже думать, что во мне или еще в ком-нибудь будут подавлять чувственность. Должно быть, они там день и ночь только и думают что о «плотских вожделениях», и где-то на кухне, наверно, сидит монахиня, составляет меню, а потом обсуждает его с ректором, и оба сидят друг против друга и вслух ничего об этом не говорят, но про себя при каждом названии блюда думают: вот это подавляет чувственность, а вот это вызывает. Мне это казалось в высшей степени непристойным, как и то, что нас в этом интернате заставляли часами играть в футбол: мы все знали — это делается специально, чтобы мы от усталости не

могли думать о девчонках, и мне футбол стал противен. И когда я себе представил, что моего брата Лео заставляют есть капусту, чтобы подавить в нем чувственность, мне просто захотелось пойти в это учреждение и полить всю их капусту серной кислотой. Этим ребятам предстоит нелегкая жизнь: должно быть, ужасно трудно каждый день проповедовать все эти невероятные вещи — воскресение из мертвых, вечную жизнь. Возделывать виноградник господень и видеть, что ничего путного там не растет. Генрих Белен, тот, что к нам так тепло отнесся, когда у Мари был выкидыш, как-то пытался объяснить мне все это. Он и себя называл «виноградарем в саду господнем, неискусным как в духовном, так и в материальном отношении».

Я провожал его тогда домой, мы шли пешком из больницы, часов в пять утра: денег на трамвай у нас не было, и, когда он остановился у своих дверей и вытащил связку ключей из кармана, он ничем не отличался от рабочего, который вернулся с ночной смены, небритый, усталый, и я знал, что для него это ужасно — сейчас служить мессе со всеми таинствами, о которых мне рассказывала Мари. Когда Генрих отпер дверь, его экономка уже стояла в прихожей — ворчливая старуха в шлепанцах, гусиная кожа на голых ногах, совсем желтая, и она даже не была монахиней, и ему не мать и не сестра, но она зашипела на него: «Это что такое? Это кто?» Жалкая, затхлая холостяцкая жизнь — нет, черт побери, меня ничуть не удивляет, что родители-католики всегда боятся посылать дочек на квартиру к патеру, не удивляет, что эти несчастные иногда делают глупости.

Я чуть было не позвонил еще раз этому глухому курильщику из семинарии Лео: я с удовольствием поболтал бы с ним о «плотском вожделении». Знакомым патерам я звонить боялся, этот незнакомый, наверно, лучше поймет меня. Очень хотелось спросить у него, правильно ли я понимаю католицизм. Для меня на свете есть только четыре настоящих католика: папа Иоанн, Алек Гиннес, Мари и Грегори — престарелый негр-боксер, который чуть не стал чемпионом мира, а теперь зарабатывает жалкие гроши, демонстрируя свою силу в варьете. Мы с ним часто встречались на ангажементах. Он был очень набожный, по-настоящему верующий, принадлежал к Третьему Ордену<sup>1</sup> и прикрывал свою широченную боксерскую грудь монашеским плащом. Многие считали его слабоумным, потому что он не говорил почти ни слова и, кроме хлеба с огурцами, почти ничего не ел, и все же он был такой силач, что мог нас с Мари вдвоем носить по комнате на вытянутых руках. Было еще несколько католиков: Карл Эмондс, Генрих Белен, пожалуй, и Цюпфнер. Но в Мари я уже стал сомневаться: ее «метафизические страхи» ничего мне не говорили, а если теперь она начнет делать с Цюпфнером, что делала со мной, она совершит то, что в ее книгах недвусмысленно называется прелюбодеянием

---

<sup>1</sup> Объединение светских приверженцев того или иного духовного ордена, не принимающих монашеского обета, но подчиняющихся уставу ордена.

и распутством. А этот «метафизический страх» вызывался исключительно моим нежеланием регистрироваться в ратуше и воспитывать наших детей в католической вере. Детей у нас еще не было, но мы постоянно обсуждали, как мы их будем одевать, как разговаривать с ними, как их воспитывать, и мы во всем соглашались, кроме того, чтобы воспитывать их католиками. Я даже соглашался их крестить, но Мари сказала, что я должен дать в этом письменное обязательство, иначе нас не обвенчают церковным браком. На церковный брак я тоже был согласен, но выяснилось, что перед этим нам надо еще зарегистрироваться, и тут я потерял терпение и сказал: «Давай подождем, сейчас уже все равно — годом раньше или годом позже», но она расплакалась и сказала, что я не понимаю, как ей трудно жить в таком состоянии, без надежды, что наши дети получают христианское воспитание. Это уже совсем было плохо, оказалось, что мы пять лет подряд говорили с ней по этому вопросу на разных языках. Я действительно не имел понятия, что перед церковным браком необходимо вступить в гражданский брак. Конечно, мне, как совершеннолетнему гражданину и «вменяемому лицу мужского пола», надо было бы это знать, но я просто ничего не знал, так же как до недавнего времени не знал, что белое вино подают холодным, а красное подогретым. Конечно, я знал, что есть гражданские учреждения, где совершают какие-то брачные церемонии и выдают свидетельства, но я думал, что это только для неверующих и для тех, кто хочет, так сказать, сделать государству небольшое одолжение. Я по-настоящему рассердился, узнав, что надо идти туда прежде, чем тебя обвенчают в церкви, а когда Мари еще начала говорить, что я должен дать письменное обязательство воспитывать наших детей католиками, мы с ней поссорились. Мне все это показалось каким-то шантажом, и мне не понравилось, что и Мари тоже совершенно согласна с требованием давать письменные обязательства. Ведь она имела полное право и крестить детей, и воспитывать их, как она считает нужным.

В этот вечер ей нездоровилось, она была очень бледна, говорила со мной довольно резко, а когда я сказал:

— Ну ладно, я все сделаю, подпишу что угодно,— она рассердилась и сказала:

— Ты согласился только потому, что тебе лень, а вовсе не потому, что убедился в правоте высших моральных принципов.

И я сказал:

— Да.

Мне действительно лень спорить, а кроме того, я хочу быть с ней всю жизнь и даже согласен по всем правилам принять католичество, если это необходимо для того, чтобы она навсегда осталась со мной. Я даже заговорил высокопарно, сказал, что такие выражения, как «высшие моральные принципы», напоминают мне камеру пыток. Но она восприняла как обиду эту мою готовность перейти в католичество только ради того, чтобы она от меня не ушла. А я-то думал ей этим польстить, потому и зашел так да-

леко. Но она сказала, что дело сейчас не во мне и не в ней, а в «принципах». Это было вечером, в номере ганноверской гостиницы — одной из тех дорогих гостиниц, где всегда недоливают чашку, когда заказываешь кофе. В этих гостиницах все так изысканно, что полная чашка кофе считается вульгарной, и кельнеры знают правила хорошего тона куда лучше тех бонтонных господ, которые там останавливаются. В таких гостиницах я чувствую себя, как в особенно дорогом и особенно скучном интернате, а в этот вечер я еще смертельно устал — три выступления подряд. Днем — перед какими-то акционерами сталелитейной компании, после обеда — перед выпускниками педагогической академии, а вечером — варьете, где аплодировали так вяло, что я подумал: видно, моей карьере приходит конец. А когда я заказал в этом дурацком отеле пиво в номер, старший кельнер таким ледяным голосом сказал: «Слушаюсь», будто я попросил у него стакан помоев, и мне подали пиво в серебряном бокале. Я устал, мне хотелось только выпить пива, немножко поиграть в «братец-не-сердись», принять ванну, почитать вечерние газеты и уснуть рядом с Мари: правая рука у нее на груди, и щека к щеке, чтобы я мог унести в сон запах ее волос. В ушах у меня еще звучали вялые аплодисменты. С их стороны было бы куда человечнее всем сразу опустить большой палец вниз. А это усталое, вялое презрение к моим номерам было безвкусным, как пиво в нелепом серебряном бокале. И сейчас я был просто не в состоянии вести философские разговоры.

— Об этом и идет речь, Ганс,— сказала она, понизив голос, и даже не заметила, что для нас слово «это» имело особое значение, видно уже забыла. Она ходила взад и вперед около изножья кровати и подкрепляла свои слова такими короткими точными взмахами сигареты, что клубочки дыма казались знаками препинания. За эти годы она приучилась курить; сейчас в своем бледно-зеленом пуловере она была очень хороша: белая кожа, потемневшие волосы, впервые я увидел жилки у нее на шее. Я сказал:

— Пожалей меня, дай мне сперва выпасться, завтра утром поговорим обо всем, и в особенности об этом.

Но она не обратила внимания на мои слова, обернувшись, остановилась у кровати, и по ее губам я понял, что весь этот разговор вызван причинами, в которых она сама себе не признается. Она затянулась сигаретой, и я увидел у ее рта складочки, которых никогда раньше не замечал. Она посмотрела на меня, со вздохом покачала головой, повернулась и снова зашагала по комнате.

— Я не совсем понимаю,— устало сказал я.— Сначала мы ссоримся из-за моей подписи под этим шантажным документом, потом из-за гражданского брака. Теперь я на все согласен, а ты сердисься все больше.

— Да,— сказала она,— слишком быстро ты соглашаешься, я чувствую, что ты просто боишься выяснять отношения. Чего тебе, собственно говоря, нужно?

— Тебя,— сказал я. По-моему, ничего нежнее женщине сказать нельзя.— Поди сюда,— сказал я,— ляг рядом, захвати пепельницу, и мы спокойно поговорим.— С ней я уже мог говорить «про все про это».

Она покачала головой, поставила мне пепельницу на кровать и, подойдя к окну, стала смотреть на улицу. Мне стало страшно.

— Что-то в твоих словах мне не нравится, в них есть что-то не твое.

— А чье же? — спросила она тихо, и я поддался внезапной мягкости ее голоса.

— От них пахнет Бонном,— сказал я,— этим вашим кружком, с Зоммервильдом, с Цюпфнером и как их там всех зовут.

— Может быть, тебе просто кажется, будто ты сейчас слышишь то, что ты видел своими глазами,— сказала она, не оборачиваясь.

— Не понимаю,— сказал я устало,— о чем это ты?

— Ах,— сказала она,— как будто ты не знаешь, что тут идет католическая конференция.

— Да, я видел плакаты,— сказал я.

— А тебе не пришло в голову, что Гериберт и прелат Зоммервильд могут оказаться здесь?

Я даже не знал, что Цюпфнера зовут Гериберт. Но когда она назвала это имя, я понял, что речь может идти только о нем. Я вспомнил, как она с ним держалась за ручки. Да, я обратил внимание, что в Ганновере появилось куда больше католических паторов и монахинь, чем полагалось в таком городе, и я подумал, что Мари могла кого-нибудь встретить, но если и так, то ведь мы не раз в мои свободные дни уезжали в Бонн, и там она могла вволю общаться со своим «кружком».

— Тут, в отеле? — устало спросил я.

— Да,— сказала она.

— Почему же ты меня не свела с ними?

— Тебя все время не было, целую неделю ты разъезжал,— сказала она,— то в Брауншвайг, то в Хильдесхайм, то в Целле.

— Но теперь я свободен,— сказал я,— позвони им, можно еще выпить внизу, в баре.

— Они уехали,— сказала она,— сегодня после обеда.

— Очень рад,— сказал я,— что ты так основательно надыхалась католической атмосферой, хотя бы и импортированной.— Выражение было не мое, а Мари. Она иногда говорила, что ей хочется снова «подышать католической атмосферой».

— Почему ты сердисься? — сказала она. Она все ещё стояла лицом к окну и опять курила, мне и это в ней показалось чужим: это затяжное курение было так же чуждо в ней, как и тон ее разговора со мной. В эту минуту она могла бы быть посторонней, миловидной, не очень умной женщиной, ищущей предлога, чтобы уйти.

— Я не сержусь,— сказал я,— и ты это знаешь. Ведь знаешь, скажи?



Она ничего не ответила, только кивнула, и мне было видно, что она сдерживает слезы. Зачем? Лучше бы она расплакалась и плакала горько, долго. Тогда я мог бы встать, обнять ее, поцеловать. Но я не встал, никакой охоты не было, а по привычке, из чувства долга мне ничего делать не хотелось. Я остался лежать, я думал о Цюпфнере, о Зоммервильде, о том, что она тут вела с ними беседы три дня, а мне ни слова не сказала. Наверняка они говорили про меня. Цюпфнер состоит в правлении Общества друзей католицизма. Я слишком долго медлил, наверно, полминуты, минуту, а может быть, минуты две, сам не знаю. Но когда я встал и подошел к ней, она покачала головой, сняла мою руку со своего плеча и снова заговорила о «метафизическом страхе» и о высших принципах, и мне показалось, что я на ней женат лет двадцать. Голос у нее был назидательный, но я слишком устал, чтобы воспринимать ее аргументы, и пропускал их мимо ушей. Потом перебил ее и рассказал, как я провалился в варьете — впервые за три года. Мы стояли рядом у окна, смотрели на улицу, где вереницей шли такси, увозя членов католической конференции на вокзал — монахинь, патеров и католиков-мирян серьезного вида. В одной группе я увидел Шницлера, он открывал дверцу такси очень представительной пожилой монахине. Когда он жил у нас, он был евангелического вероисповедания. Значит, он либо обратился в католицизм, либо приехал гостем от евангелистов. От него можно было ждать чего угодно. Внизу тащили чемоданы, в руки лакеев совали чаевые. У меня от усталости и растерянности все кружилось перед глазами: такси и монахини, фонари и чемоданы, а в ушах звенели эти мерзкие вялые аплодисменты. Мари давно окончила свой монолог о высших принципах и курить тоже перестала, а когда я отошел от окна, она пошла за мной, схватила за плечи и поцеловала в глаза.

— Ты такой милый,— сказала она,— такой милый и такой усталый.— Но когда я попытался ее обнять, она тихо сказала: — Нет, нет, пожалуйста, не надо!

И я сделал ошибку: сразу отпустил ее. Не раздеваясь, я бросился на кровать, тут же заснул, а когда утром проснулся, то даже не удивился, что Мари ушла. Записка лежала на столе: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти». Ей уже было почти двадцать пять лет, могла бы написать и получше. Я не обиделся, просто показалось, что этого маловато. Я сейчас же сел и написал ей длинное письмо, после завтрака написал еще раз, я писал ей каждый день и посылал письма на адрес Фредебойля, в Бонн, но ответа ни разу не получил.

## 9

У Фредебойлей тоже долго не подходили к телефону, длинные гудки действовали мне на нервы. Я представил себе, что госпожа Фредебойль уже спит, потом ее разбудил звонок,

потом она снова уснула, ее снова разбудил звонок, и я мучительно переживал все эти терзания. Я чуть было не повесил трубку, но решил, что дело у меня неотложное, и продолжал звонить. Самого Фредебойля я разбудил бы среди ночи без всяких угрызений совести, этот малый не заслужил спокойного сна. Он болезненно честолюбив и, наверно, не снимает руки с телефона: сам звонит или ждет звонка от всяких министерских чиновников, редакторов, комитетов, союзов, партийных организаций. Но его жена мне нравится. Она еще была школьницей, когда он впервые привел ее в кружок, и мне стало тоскливо, когда я видел, как она, раскрыв красивые глаза, слушала все эти теологически-социологические рассуждения. Видно было, что она охотнее пошла бы на танцы или в кино. Зоммервильд, у которого собирался кружок, несколько раз меня спрашивал: «Вам, наверно, слишком жарко, Шнир?» — а я отвечал: «Нет, господин прелат», хотя у меня пот катился со лба по щекам. В конце концов я вышел на балкон Зоммервильда — эту трепотню невозможно было вынести. И вся болтология началась из-за этой барышни, потому что она вдруг — притом без всякой связи с темой беседы, где речь, собственно говоря, шла о величии и ограниченности провинциализма, — сказала, что у Бенна есть «очень миленькие вещицы». И тут Фредебойль, чьей невестой она считалась, покраснел как рак, потому что Кинкель бросил на него один из тех красноречивых взглядов, которыми он так славился: «Как, мол, ты это допустил, не навел порядок?» И он сам принялся наводить порядок, пилил и строгал бедную девушку изо всех сил, двинув на нее всю историю западной культуры в качестве фуганка. От славной девочки почти ничего не осталось, стружки так и летели, и я злился на этого труса Фредебойля, который не вмешивался, потому что они с Кенкелем «исповедуют» одно идеологическое направление — не знаю, «левое» или «правое», во всяком случае, у них направление одно, и Кинкель счел себя обязанным обработать невесту Фредебойля. Зоммервильд тоже не шелохнулся, хотя он придерживается противоположного направления, чем Кинкель и Фредебойль, не знаю, какого именно: если Кинкель и Фредебойль левые, значит, Зоммервильд правый, и наоборот. Мари тоже немного побледнела, но ей импонирует образованность, я никак не мог отучить ее от этого. Образованность Кинкеля импонировала и будущей госпоже Фредебойль — она с почти сладострастными вздохами впивала его многословные поучения. Кинкель бурей пронесся от отцов церкви до Бертольта Брехта, и, когда я, передохнув, пришел с балкона, они уже все легли костями и пили крышон, и все из-за того, что бедная девочка сказала, будто Бенн писал «милые вещички».

Теперь у нее уже двое детей от Фредебойля, хотя ей только двадцать два года, и, пока телефон звонил в ее квартире, я себе представил, как она возится с детскими бутылочками, с тальком, пеленками и мазями, такая беспомощная, растерянная. Я видел горы грязного детского белья и немытую жирную посуду на кухне. Однажды, устав от умных разговоров, я помогал ей поддру-

мянивать хлеб, делать бутерброды и варить кофе, могу только сказать, что такая работа для меня куда приятнее, чем некоторые беседы и разговоры.

Очень робкий голос произнес:

— Да, что угодно?

И по этому голосу я понял, что беспорядок на кухне, в ванной и в спальне еще хуже, чем обычно. Запаха я никакого не почувствовал, только показалось, что она держит в руке сигарету.

— Это Шнир,— сказал я, ожидая услышать радостное восклицание (она всегда радовалась, когда я им звонил): «Ах, вы в Бонне, как мило», или что-то в этом роде, но сейчас она растерянно молчала и потом вяло сказала:

— Да? Очень приятно.

Я не знал, что сказать. Раньше она всегда говорила: «Когда же вы придете, покажете нам свои номера?» А тут — ни слова. Мне было мучительно — не за себя, за нее; за себя мне было просто неловко, а за нее — мучительно.

— А письма,— с трудом выговорил я наконец,— где письма, которые я писал Мари?

— Лежат тут,— сказала она,— возвращены нераспечатанными.

— А по какому адресу вы их пересылали?

— Не знаю,— сказала она,— пересылал муж.

— Но он ведь знал, по какому адресу посылать эти письма?

— Вы меня допрашиваете?

— О нет,— сказал я кротко,— нет, нет, я только осмелился подумать, что имею право узнать, что случилось с моими письмами.

— Которые вы, не спросясь, посылали на наш адрес.

— Милая госпожа Фредебойль,— сказал я,— пожалуйста, отнеситесь ко мне по-человечески.

Она засмеялась тихо, но так, что мне было слышно, и ничего не сказала.

— Я хочу сказать, что есть область, в которой люди, хотя бы из идейных соображений, становятся человечнее.

— Значит, по-вашему, я до сих пор вела себя бесчеловечно?

— Да,— сказал я. Она опять засмеялась, очень робко, но все же слышно.

— Меня ужасно огорчает вся эта история,— сказала она наконец,— и больше я ничего сказать не могу. Вы всех нас страшно разочаровали.

— Как клоун? — спросил я.

— И это тоже,— сказала она,— но не только.

— Вашего мужа, наверно, нет дома?

— Нет,— сказала она,— он придет только через два дня. Он ведет предвыборную кампанию в Айфеле.

— Что? — крикнул я. Это было что-то новое.— Надеюсь, хоть не за ХДС?

— А почему бы и нет? — сказала она таким тоном, что я понял: ей хочется повесить трубку.

— Ну что ж,— сказал я,— не слишком большое будет требование, если я попрошу вас переслать мои письма в Бонн?

— Куда?

— В Бонн, сюда, по моему здешнему адресу.

— Как, вы в Бонне? — спросила она. И мне показалось, что она чуть не сказала: «Ох, боже мой!»

— До свидания,— сказал я,— спасибо за столь гуманное отношение.

Мне было жаль, что я так на нее рассердился, но больше я не мог. Я вышел на кухню, взял коньяк из холодильника, отпил большой глоток. Ничего не помогло, я глотнул еще раз — все равно не помогло. Меньше всего я ожидал, что госпожа Фредебойль так со мной разделается. Я был готов услышать длинную проповедь о святости брака, с упреками за мое отношение к Мари: у нее вся эта догматика выходила вполне мило и даже логично, но раньше, когда я бывал в Бонне и звонил ей, она только шутливо приглашала меня помочь ей на кухне и в детской. Должно быть, я в ней ошибся, а может быть, она опять забеременела и была в плохом настроении. У меня не хватило духу позвонить ей еще раз и попробовать выпытать, что с ней такое. Она всегда так мило относилась ко мне. Можно было объяснить ее поведение только тем, что Фредебойль, наверно, дал ей «строжайшие указания» отшить меня. Я часто замечал, что жены доходят в своей преданности мужьям до полного идиотизма. Госпожа Фредебойль, конечно, была еще слишком молода, чтобы понять, как больно меня задела ее неестественная холодность, и уж безусловно нельзя было от нее требовать, чтобы она поняла, какой оппортунист и болтун ее Фредебойль — только и думает любой ценой сделать карьеру и, наверно, отрекся бы от родной бабки, если бы она стала ему поперек дороги. Наверно, он ей сказал: «Шнира вычеркнуть». И она меня просто вычеркнула. Она подчинялась ему во всем, и, пока он считал, что я ему еще пригожусь, ей разрешалось хорошо ко мне относиться, что было вполне в ее характере, а теперь она должна была идти против себя самой и относиться ко мне отвратительно.

А может быть, я их зря обвиняю, и они оба просто поступали, как им велела совесть. Если Мари действительно вышла за Цюпфнера, значит, им, наверно, грешно служить посредниками, помогать мне связаться с ней, а что Цюпфнер именно *тот* человек, который играет роль в католическом центре и может быть полезен Фредебойлю, их никак не смущало. Они безусловно должны были поступать правильно и честно, даже в том случае, если это приносило пользу им самим. Но Фредебойль огорчал меня меньше, чем его жена. На его счет я никогда не обольщался, и даже то, что он сейчас агитировал за ХДС, меня ничуть не удивило.

Бутылку с коньяком я окончательно убрал в холодильник.

Лучше всего было бы сейчас позвонить всем католикам подряд, отделаться сразу. Я как-то стряхнул сон и уже почти не хромал, когда шел из кухни в столовую.

Даже шкаф, даже двери кладовушки в передней были ржаво-красного цвета.

От телефонного звонка Кинкелю я ничего не ждал и все же набрал его номер. Он всегда объявлял себя горячим поклонником моего искусства, а тот, кто знаком с нашей профессией, хорошо знает, что даже при похвале какого-нибудь рабочего сцены мы чуть не лопаемся от гордости. Мне хотелось нарушить заслуженный вечерний покой Кинкеля с задней мыслью, что он выдаст мне, где Мари. Он был главой их круга, изучал теологию, но потом бросил этот факультет ради красивой женщины, стал юристом, имел семь человек детей и считался «одним из самых способных специалистов в области социальной политики». Может, так оно и было, не берусь судить. Перед тем как меня с ним познакомить, Мари дала мне прочесть его брошюру «Путь к новому порядку», и после этой книжки, которая мне даже понравилась, я его представлял себе высоким ласковым светловолосым человеком, а когда впервые увидел этого плотного, низенького мужчину с густыми черными волосами, типичного «здоровяка», то никак не мог поверить, что это он. Может быть, я и относился к нему так несправедливо потому, что он не соответствовал моему представлению о нем. А старик Деркум, как только Мари начинала восхищаться Кинкелем, говорил, что существуют такие «кинкель-коктейли», смеси из разных ингредиентов — Маркса с Гуардини или Блуа с Толстым.

Когда нас впервые пригласили к нему в дом, мы сразу попали в неловкое положение. Пришли мы слишком рано, и в задних комнатах дети ссорились, кому убирать со стола, шипя друг на дружку, а кто-то шипом пытался их унять. Кинкель вышел с улыбкой, что-то дожевывая и судорожно стараясь скрыть раздражение из-за нашего раннего прихода. За ним вышел Зоммервильд — он ничего не жевал, только усмехнулся, потирая руки. В задних комнатах злобно завизжали дети Кинкеля, и это так мучительно не соответствовало усмешке Зоммервильда и улыбке Кинкеля, потом мы услышали звонкие пощечины, кто-то грубо захлопнул двери, мы почувствовали, что за ними поднялся визг пуще прежнего. Я сидел рядом с Мари и от волнения, сбитый с толку семейными неурядицами в тех комнатах, курил одну сигарету за другой, пока Зоммервильд беседовал с нами и на губах у него играла все та же «всепрощающая и великодушная» улыбка. Тогда мы впервые вернулись в Бонн после нашего бегства. Мари побледнела не только от волнения, но и от почтительности и гордости, и я ее очень хорошо понимал. Ей было так важно «примириться с церковью», и Зоммервильд был с ней так мил, а на Зоммервильда и Кинкеля она взирала с особым уважением. Она представила меня Зоммервильду, и, когда мы все сели, Зоммервильд спросил меня:

— Вы не родня тем Шнирам — из угольной промышленности?

Я ужасно разозлился. Он отлично знал, кому я родня. В Бонне каждому ребенку было известно, что Мари Деркум сбежала с одним из «угольных» Шниров, «да еще перед самыми экзаменами,

а была такая набожная девица!» Я ничего не ответил Зоммервильду, он рассмеялся и сказал:

— С вашим уважаемым дедом я иногда езжу на охоту, а с вашим батюшкой мы изредка играем партию-другую в боннском Коммерческом клубе.

Это меня еще больше разозлило. Не такой он дурак, чтобы думать, будто эта ерунда про охоту и клуб произведет на меня впечатление, и не похоже было, чтобы он заговорил об этом от смущения. Тут я наконец открыл рот и сказал:

— На охоту? А я всегда думал, что католическим священникам участвовать в охоте воспрещено.

Наступило тягостное молчание. Мари покраснела, Кинкель суетливо заметался по комнате, ища штопор, его жена, которая только что вошла, высыпала соленый миндаль на ту же тарелку, где лежали оливки. Даже Зоммервильд покраснел, а к нему это уж совсем не шло, физиономия у него была и так достаточно красная. Он сказал негромко и все-таки немного обиженно:

— Для протестанта вы неплохо информированы.

А я сказал:

— Я не протестант, но интересуюсь некоторыми вещами, потому что ими интересуется Мари.

И пока Кинкель наливал нам всем вино, Зоммервильд сказал:

— Разумеется, есть правила, господин Шнир, но есть и исключения. Я происхожу из рода, где от отца к деду передавалось звание главного лесничего.

Если бы он сказал просто «лесничего», я бы его понял, но то, что он сказал «главного лесничего», опять меня разозлило, однако я ничего не сказал, только скорчил кислую физиономию. И тут они стали переговариваться глазами. Госпожа Кинкель взглянула на Зоммервильда, словно говоря: «Оставьте его, он еще так молод». И Зоммервильд посмотрел на нее, как будто сказал: «Да, молод и довольно невоспитан». А Кинкель, наливая мне вино после всех, сказал мне глазами: «О боже, до чего вы еще молоды!» Вслух же он сказал Мари:

— Как поживает ваш отец? Он не изменился?

Бедняжка Мари сидела такая бледная и растерянная, что только и могла молча кивнуть головой. Зоммервильд сказал:

— Что случилось бы с нашим добрым, старым и столь богобоязненным городом без господина Деркума?

Меня это опять разозлило, потому что старик Деркум мне рассказывал, что Зоммервильд пытался отговорить ребят из католической школы покупать у него, как всегда, карамельки и карандаши. Я сказал:

— Без господина Деркума наш добрый, старый и столь богобоязненный город еще глубже увяз бы в дерьме, он хоть по крайней мере не ханжа.

Кинкель удивленно поглядел на меня, поднял свой бокал и сказал:

— Спасибо, господин Шнир, вы мне подсказали прекрасный тост: выпьем за здоровье Мартина Деркума.

Я сказал:

— Да, за его здоровье — с удовольствием!

А госпожа Кинкель опять сказала мужу глазами: «Он, оказывается, не только молодой и невоспитанный, но еще и нахал!» Я так и не понял, почему Кинкель, упоминая о «первом нашем знакомстве», называл тот вечер «самым приятным». Вскоре пришли еще Фредебойль со своей невестой, Моника Сильвс и некий фон Северн, про которого до его прихода было сказано, что хотя он и «недавно принят в лоно церкви», однако близок к социал-демократам, что, очевидно, считалось потрясающей сенсацией. В этот вечер я впервые познакомился с Фредебойлем, и с ним было так же, как с остальными: несмотря ни на что, я им был симпатичен, а они мне, несмотря ни на что, несимпатичны, правда кроме невесты Фредебойля и Моники Сильвс; фон Северн был мне безразличен. Он был прескучный и как будто решил, что ему можно окончательно успокоиться после того, как он обратил на себя всеобщее внимание: перешел в католичество и вместе с тем остался социал-демократом. Он улыбался, был со всеми любезен, и все же его чуть выпуклые глаза словно все время говорили: «Смотрите на меня, да, это я и есть!» Но мне он показался не таким уж противным. Фредебойль был со мной исключительно радушен, почти сорок минут говорил о Беккете и Ионеско, без умолку трещал о чем-то, явно где-то вычитанном, и на его гладком красивом лице с удивительно крупным ртом засияла благожелательная улыбка, когда я по глупости сознался, что читал Беккета. Все, что он говорил, казалось мне знакомым, будто я уже давно об этом читал. Кинкель восхищенно улыбался ему, а Зоммервильд обводил всех глазами, словно говоря: «Видите, мы, католики, тоже идем в ногу с веком». Все это происходило до молитвы. Жена Кинкеля первая сказала:

— По-моему, уже можно читать молитву, Одило, ведь Гериберт сегодня, наверно, не придет.

И все сразу посмотрели на Мари, потом внезапно отвели глаза, но я не сообразил, почему вдруг опять наступило тягостное молчание. Только в Ганновере, в гостинице, я понял, что Герибертом зовут Цюпфнера. Но он все-таки пришел после молитвы, когда уже началась беседа на тему дня, и мне понравилось, как Мари сразу, лишь только он вошел, подошла к нему, посмотрела на него и беспомощно пожала плечами, а Цюпфнер поздоровался с остальными и сел рядом со мной. Тут Зоммервильд рассказал историю об одном писателе-католике, который долго жил с разведенной женщиной, а когда он на ней женился, одно высокопоставленное духовное лицо сказала ему: «Послушайте, мой милый Безевиц, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?» Смеялись над этим анекдотом довольно несдержанно, особенно госпожа Кинкель хохотала до неприличия. Не смеялся только Цюпфнер, и мне это в нем понравилось. И Мари не смеялась. Наверно, Зоммервильд рассказал этот анекдот, чтобы показать мне, как великодушна,

человечна, как остроумна и многообразна католическая церковь. О том, что мы с Мари живем тоже, так сказать, во грехе, никто не подумал. Тогда я рассказал историю об одном рабочем, нашем соседе, его звали Фрелинген, он тоже жил с разведенной и даже кормил трех ее детей. К этому Фрелингену однажды пришел пастор и с самым серьезным видом, даже с угрозами потребовал, чтобы он «прекратил это непристойное сожителство», и, так как Фрелинген был человек набожный, он выставил эту красивую женщину и трех ее детей. Я рассказал, как этой женщине пришлось пойти по рукам, чтобы прокормить ребятишек, и как Фрелинген совсем спился, потому что любил ее по-настоящему. Снова наступило тягостное молчание, как всегда, когда я что-нибудь говорил, но Зоммервильд рассмеялся и сказал:

— Послушайте, господин Шнир, не будете же вы сравнивать оба эти случая?

— А почему? — сказал я.

Он рассердился.

— Вы так говорите только потому, что не представляете себе, кто такой Безевиц,— сказал он сердито,— это удивительно тонкий писатель, заслуживающий притом названия христианина.

Я тоже рассердился и сказал:

— А знаете ли вы, какой удивительно тонкий человек Фрелинген и какой он христианин, этот рабочий?

Он посмотрел на меня, покачал головой и безнадежно развел руками. Наступила пауза, слышно было только, как покашливает Моника Сильвс, но в присутствии Фредебойля хозяину нечего бояться, что беседа оборвется. Он сразу вклинился в наступившую тишину, перевел разговор на тему дня и часа полтора проговорил об относительности понятия «бедность», и только после этого Кинкель наконец получил возможность рассказать тот самый анекдот о человеке, который считал, что, когда он получал больше пятисот и меньше трех тысяч марок в месяц, он жил в отчаянной нищете. Тут Цюпфнер и попросил у меня сигарету, чтобы дымом скрыть краску стыда.

И мне и Мари было одинаково плохо, когда мы возвращались поездом в Кёльн. Мы еле наскребли денег на поездку в Бонн: Мари так хотелось принять это приглашение. Нам и физически было тошно: мы слишком мало съели, а выпили больше, чем привыкли. Дорога показалась бесконечной, а выйдя на Западном вокзале в Кёльне, мы вынуждены были идти домой пешком: денег на трамвай уже не осталось.

У Кинкелей сразу подошли к телефону.

— Альфред Кинкель слушает,— сказал самоуверенный мальчишеский голос.

— Говорит Шнир,— сказал я.— Можно поговорить с вашим отцом?

— Шнир-богослов или Шнир-клоун?



— Клоун,— сказал я.

— А-а,— сказал он,— надеюсь, вы не слишком близко приняли это к сердцу?

— К сердцу? — сказал я устало.— А чего я не должен принимать к сердцу?

— Как? — сказал он.— Разве вы не читали газету?

— Какую? — спросил я.

— «Голос Бонна»,— ответил он.

— Разнос? — спросил я.

— Как сказать,— ответил он,— скорее некролог. Может быть, принести, прочесть вам вслух?

— Нет, спасибо,— сказал я. В голосе у мальчишки звучал явный садизм.

— Но вы должны прочитать,— сказал он,— это вам будет наукой.

О господи, оказывается, его и к педагогике тянет.

— А кто писал? — сказал я.

— Некий Костерт, он подписывается: «Наш корреспондент по Рурской области». Блестяще написано, хотя довольно подло.

— Ну конечно,— сказал я,— ведь он христианин.

— А вы разве нет?

— Нет,— сказал я.— Вашего отца дома нет, что ли?

— Он не велел себя беспокоить, но для вас я охотно побеспокою его.

Впервые в жизни чей-то садизм пошел мне на пользу.

— Спасибо,— сказал я.

Я услышал, как он положил трубку на стол, вышел из комнаты — и тут я опять услышал где-то вдаль злое шипение. Казалось, будто целое семейство змей перессорилось — два змея мужского пола и одна женщина-змея. Мне всегда неловко, когда я становлюсь невольным свидетелем того, что вовсе не предназначено для моего слуха и зрения, а таинственная способность ощущать запахи по телефону для меня не радость, а наказание. В кинкелевском жилье так пахло мясным бульоном, словно они сварили целого быка. Шипение даже издали казалось смертельно опасным, как будто сын сейчас задушит отца или мать — сына. Я вспомнил Лаокоона, но тот факт, что этот шип и скрежет (я слышал даже шум драки, восклицания, выкрики вроде: «Ах ты, скотина! Грязная свинья!») раздавались из квартиры того, кого величали «серым кардиналом» немецкого католицизма, никак не подымал моего настроения. Я думал и об этом жалком Костерте из Бохума, который, наверно, еще вчера с вечера повис на телефоне, чтобы продиктовать свой фельетон, и все же сегодня утром скребся в мою дверь, как пришибленный пес, и разыгрывал роль моего брата во Христе.

Очевидно, Кинкель буквально отбивался руками и ногами, чтобы не подходить к телефону, а его жена — я постепенно стал различать все шумы и движения вдаль — еще больше сопротивлялась этому, сын же отказывался сообщить мне, что он ошибся и отца дома нет. Вдруг стало тихо, так тихо бывает, когда кто-то исте-

кает кровью: наступила кровотокающая тишина. Потом я услышал шарканье ног, услышал, как берут трубку со стола, и ждал, что трубку сейчас повесят. Я точно знал, где у Кинкеля стоит телефон. Как раз под той из трех мадонн в стиле барокко, которую Кинкель считает наименее ценной. Мне даже захотелось, чтобы он положил трубку. Я жалел его: должно быть, для него было мучением сейчас говорить со мной, да я ничего хорошего от этого разговора и не ждал — ни денег, ни добрых советов. Если бы он заговорил задыхающимся голосом, жалость во мне взяла бы верх, но он заговорил так же громогласно и бодро, как всегда. Кто-то сравнивал его голос с целым полком трубочей.

— Алло, Шнир! — загремел он. — Отлично, что вы позвонили!

— Алло, доктор, — сказал я, — я попал в переплет.

Единственной шпилькой в моих словах было обращение «доктор» — он, как и мой отец, был новоиспеченным доктором гонорис кауза.

— Шнир, — сказал он, — неужто мы с вами в таких отношениях, что вы должны называть меня «господин доктор»?

— А я понятия не имею, в каких мы с вами отношениях, — сказал я.

Он заготовил особенно громовым голосом — бодрим, католическим, сердечным, с игривостью «а-ля барокко».

— Моя симпатия к вам неизменна. — Этому было трудно поверить. Но, должно быть, в его глазах я пал так низко, что толкать меня в пропасть уже не стоило. — Вы переживаете кризис, — сказал он, — вот и все. Вы еще молоды, возьмите себя в руки, и все наладится.

«Взять себя в руки» — как это напоминало мне «П.П.9» нашей Анны.

— О чем вы говорите? — кротким голосом спросил я.

— О чем же я еще могу говорить? О вашем искусстве, вашей карьере.

— Нет, я не о том, — сказал я. — Об искусстве, как вы знаете, я принципиально не разговариваю, а о карьере и подавно. Я вот о чем хотел, мне нужно... я ищу Мари.

Он издал какой-то неопределенный звук, что-то среднее между хрюканьем и отрыжкой. Из глубины комнаты до меня донеслось утихающее шипение, я услышал, как Кинкель положил трубку на стол, потом снова поднял, голос у него стал тише, глуше, он явно жевал сигару.

— Шнир, — сказал он, — пусть прошлое останется прошлым. Ваше настоящее — в вашем искусстве.

— Прошлым? — переспросил я. — А вы себе представьте, что ваша жена ушла к другому!

Он промолчал, словно говоря: «Вот хорошо бы!» — потом сказал, жуя сигару:

— Она вам не жена, и у вас нет семерых детей.

— Так! — сказал я. — Значит, она не была моей женой?

— Ах,— сказал он,— этот романтический анархизм! Будьте же мужчиной.

— О черт,— сказал я,— именно потому, что я принадлежу к этому полу, мне так тяжело, а семь детей у нас еще могут родиться. Мари всего двадцать пять лет.

— Настоящим мужчиной,— сказал он,— я считаю человека, который умеет примиряться.

— Звучит очень по-христиански,— сказал я.

— Бог мой, уж не вам ли учить меня, что звучит по-христиански?

— Мне,— сказал я.— Насколько мне известно, по католическому вероучению брак является таинством, в котором двое приобщаются благодати.

— Конечно,— сказал он.

— Хорошо, а если эти двое дважды и трижды обвенчаны и гражданским и церковным браком, но благодати при этом и в помине нет, значит, брак недействителен?

— Гм-м,— промычал он.

— Слушайте, доктор, вам не трудно вынуть сигару изо рта? Получается, будто мы с вами обсуждаем курс акций. От вашего причмокивания мне становится как-то не по себе.

— Ну, знаете ли! — сказал он, но сигару все же вынул.— И вообще, поймите, все, что вы об этом думаете,— ваше личное дело. А Мари Деркум думает об этом иначе и поступает, как ей подсказывает совесть. И могу добавить — поступает совершенно правильно.

— Почему же вы, проклятые католики, не можете сказать мне, где она? Вы ее от меня прячете?

— Не валяйте дурака, Шнир,— сказал он.— Мы живем не в средневековье.

— Очень жаль, что не в средневековье,— сказал я,— тогда ей разрешили бы остаться моей наложницей и никто не ущемлял бы ее совесть с утра до вечера. Ничего, она еще вернется.

— На вашем месте, Шнир, я не был бы так в этом уверен. Жаль, что вы явно не способны воспринимать метафизические понятия.

— С Мари было все в порядке, пока она заботилась о спасении моей души, но вы ей внушили, что она должна спасать еще и свою душу, и выходит так, что мне, человеку, не способному воспринимать метафизические понятия, приходится теперь заботиться о спасении души Мари. Если она выйдет замуж за Цюпфнера, она станет настоящей грешницей. Настолько-то я разбираюсь в вашей метафизике — то, что она творит, и есть прелюбодеяние и разврат, а ваш прелат Зоммервильд тут играет роль сводника.

Он все-таки заставил себя рассмеяться, правда не слишком громогласно:

— Звучит забавно, если иметь в виду, что Гериберт является главой немецкого католицизма, так сказать, по общественной линии, а прелат Зоммервильд, так сказать, по духовной.

— А вы — совесть этого самого католицизма, — сказал я сердито, — и отлично знаете, что я прав.

Он пыхтел в трубку там, на Венусберге, стоя под наименее ценной из трех своих мадонн.

— Вы потрясающе молоды, — сказал он, — можно только позавидовать.

— Бросьте, доктор, — сказал я, — не потрясайтесь и не завидуйте мне, а если Мари ко мне не вернется, я этого вашего милейшего прелата просто пришибу. Да, пришибу, — повторил я, — мне терять нечего.

Он помолчал и опять сунул сигару в рот.

— Знаю, — сказал я, — знаю, что ваша совесть сейчас лихомерно работает. Если бы я убил Цюпфнера, это вам было бы на руку: он вас не любит, и для вас он слишком правый, а вот Зоммервильд для вас крепкая поддержка перед Римом, где вы — впрочем, по моему скромному мнению, несправедливо — считаетесь леваком.

— Бросьте глупить, Шнир, что это с вами?

— Католики мне действуют на нервы, — сказал я, — они нечестно играют.

— А протестанты? — спросил он и засмеялся.

— Меня и от них мутит, вечно треплются про совесть.

— А как атеисты? — Он все еще смеялся.

— Одна скука, только и разговоров что о боге.

— Но вы-то сами кто?

— Я — клоун, — сказал я, — а в настоящую минуту я даже выше своей репутации. И есть на свете одно существо католического вероисповедания, которое мне необходимо, — Мари, но именно ее вы у меня отняли.

— Ерунда, Шнир, — сказал он, — вы эту теорию выкиньте из головы. Мы живем в двадцатом веке.

— Вот именно, — сказал я. — В тринадцатом веке я был бы любимым шутом при дворе, и даже кардиналам не было бы дела, обвенчан я с ней или нет. А теперь каждый католик-мирянин тербит ее несчастную совесть, принуждает ее к прелюбодеянию, к разврату, и все из-за жалкого клочка бумаги. А вас, доктор, за ваших мадонн в тринадцатом веке отлучили бы от церкви. Вы отлично знаете, что их сперли из баварских и тирольских церквей, и не мне объяснять вам, что ограбление церкви и в наше время считается довольно-таки тяжелым преступлением.

— Послушайте, Шнир, зачем вы переходите на личности? — сказал он. — Этого я от вас не ожидал.

— Сами вы уже который год вмешиваетесь в мои личные дела, а стоило мне мимоходом сказать вам в глаза правду, которая может иметь для вас неприятные последствия, и вы уже беситесь. Погодите, вот будут у меня опять деньги, найму частного сыщика, пусть разузнает, откуда взялись ваши мадонны.

Он уже не смеялся, только кашлянул, и я почувствовал, что до него еще не дошло, что я говорю всерьез.

— Дайте отбой, Кинкель,— сказал я,— кладите трубку, не то я еще заговорю о прожиточном минимуме. Желаю вам и вашей совести доброй ночи.

Он так ничего и не понял, и первым положил трубку я.

## 10

Я прекрасно понимал, что Кинкель был со мной необычайно мил. Возможно даже, что, если бы я у него попросил денег, он бы мне их дал. Но мне была слишком противна и его болтовня про метафизику с сигарой во рту, и внезапная обида, когда я заговорил о его мадоннах. Не хотелось иметь с ним дело. И с госпожой Фредбойль тоже. К черту! А самому Фредбойлю я, того и гляди, дал бы при случае по морде. Глупо было бороться с ним «духовным оружием». Иногда мне жаль, что больше нет дуэлей. Спор из-за Мари между мной и Цюпфнером можно было бы разрешить только дуэлью. Мерзко, что все это сопровождается разговорами о моральных принципах, с письменными объяснениями и бесконечными тайными совещаниями в ганноверском отеле. После второго выкидыша Мари так сдала, стала такой нервной, вечно убегала в церковь и раздражалась, когда я в свободные вечера не ходил с ней в театр, на концерты или на лекции. А когда я ей предлагал поиграть, как бывало, в «братец-не-сердись» и выпить чаю, лежа на животе в постели, она раздражалась еще больше. В сущности, все началось с того, что она только из одолжения мне, чтобы меня успокоить или утешить, соглашалась играть в «братец-не-сердись». И в кино со мной ходить перестала на мои любимые картины — те, на которые пускают ребят до шести лет.

По-моему, никто на свете не понимает психологии клоуна, даже другие клоуны, тут всегда мешает зависть или недоброжелательность. Мари почти что стала меня понимать, но до конца она меня так и не поняла. Она всегда считала, что я, как «творческая личность», должен проявлять «горячий интерес» к восприятию всяческой культуры — и чем больше, тем лучше. Какое заблуждение! Конечно, если бы я в свободный вечер услышал, что где-то идет пьеса Беккета, я бы сразу полетел туда на такси, да и в кино я тоже хожу довольно часто, но всегда только на картины, куда допускаются и дети до шести лет. Этого Мари никогда не могла понять — ведь ее католическое воспитание по большей части состояло только из обрывков психологических понятий и рационализма под мистическим соусом, хотя в конце концов все это сводилось к установке: «пусть играют в футбол, чтобы не думали о девочках», а я так любил думать о девочках, правда, потом только об одной Мари. Иногда я казался себе просто чудовищем, но я люблю ходить на картины, куда пускают даже шестилетних, потому что в них нет этой взрослой пошлятины — про супружескую неверность, про разводы. В этих картинах про измены и разводы главную роль играет обычно чье-то «счастье». «Ах, дай мне счастье,

любимая!» или «Неужели ты помешаешь нашему счастью?» А я не могу себе представить счастье, которое длилось бы дольше, чем секунду, ну, может быть, две-три секунды. Настоящие фильмы про шлюх я тоже смотрю охотно, но их очень мало. Большинство из них сделано с такими претензиями, что и не разберешь — про шлюх они или не про шлюх. Ведь есть еще одна категория женщин: они и не шлюхи и не верные жены, а просто жалостливые женщины, но их в фильмах никогда не показывают. А вот фильмы, куда пускают шестилетних, всегда кишмя кишат шлюхами. Я никогда не мог понять, о чем думают все эти цензурные комиссии, распределяющие фильмы на категории, допуская такие картины для детей. Женщины в этих фильмах почти всегда либо шлюхи от природы, либо шлюхи в социологическом смысле: жалости они никогда не знают. Смотришь, как в каком-нибудь разухабистом кабаке на Диком Западе танцуют этакие блондинки канкан и огрубелые ковбои, золотоискатели или охотники, которые года два гонялись за разным зверьем, глазеют на этих молодых белокурых красоток, пока они отплясывают свои канканы, но пусть-ка эти ковбои, золотоискатели или охотники только попробуют приволочнуться за этими красотками или полезть к ним в комнату, тут сразу либо двери у них под носом захлопываются, либо какая-нибудь сволочь сбивает их кулаком с ног. Конечно, я понимаю, это все должно внушать представление о добродетели. Но это безжалостность — и именно там, где единственно человеческим была бы жалость, сочувствие. Ничего удивительного, что эти несчастные парни начинают бить друг другу морду, стрелять — для них это все равно как для нас, мальчишек, футбол в интернате, но тут, когда речь идет о взрослых людях, это еще безжалостнее. Нет, не понимаю я американской морали. Наверно, там жалостливую женщину сожгли бы, как ведьму, — я про такую, которая уступает не ради денег и не из страсти к данному мужчине, а исключительно по доброте душевной, из жалости к человеческому естеству.

Особенно тягостны для меня фильмы про художников. Фильмы про художников по большей части делают те люди, которые дали бы Ван Гогу за картину даже не пачку табаку, а полпачки, а потом и об этом пожалели бы, потому что смекнули, что он отдал бы ее просто за понюшку табаку. В фильмах про художников все страдания творческой души, вся нужда и борьба с дьяволом обычно относятся к давно прошедшим временам. Живой художник, у которого курить нечего и башмаков жене купить не на что, этим киношникам неинтересен, потому что три поколения пустобрехов еще не успели уверить их, что он гений. А одного поколения пустобрехов мало. «Неукротимые порывы творческой души» — даже Мари в это верила. Обидно, что и вправду у человека бывает похожее состояние, но называть это надо как-то иначе. Клоуну, например, нужен отдых, ощущение того, что люди называют свободным временем. Но эти другие люди совершенно не понимают, что для клоуна ощущение отдыха состоит в том, чтобы забыть о своей работе, а не понимают они потому, что они-то — и для

них это вполне естественно — занимаются искусством именно для отдыха в свое свободное время. Особо стоят люди «при искусстве», они ни о чем, кроме искусства, не думают, но им для этого свободное время не нужно, потому что они не работают. И не обобщать недоразумений, если таких людей «при искусстве» возводить в художники. Эти самые люди «при искусстве» тогда и начинают разговоры об искусстве, когда у настоящего художника появляется ощущение свободного времени, отдыха. И они бьют прямо по больному месту: в те две-три минуты, когда художник забывает об этом искусстве, эти прихвостни искусства начинают разговор про Ван Гога, про Кафку, Чаплина или Беккета. Я готов руки на себя наложить в такие минуты: только мне удастся выкинуть все из головы, думать лишь про нас с Мари, про пиво, про осенние листья, про игру в «братец-не-сердись», вообще про какую-нибудь чепуху, даже, может быть, пошловатую или сентиментальную, как тут же какой-нибудь Фредебойль или Зоммервильд начинают трепаться про искусство. Именно в ту минуту, когда я с невероятным восторгом чувствую себя абсолютно обыкновенным человеком, самым обыкновенным обывателем вроде Карла Эмондса, Фредебойль или Зоммервильд заводят разговор про Клоделя или Ионеско. С Мари тоже это случается, раньше это было реже, а в последнее время стало куда чаще. Заметил я это, когда рассказывал ей, что хочу начать петь песенки под гитару. Это задело, как она выразилась, ее эстетическое чувство. В то время как человек, не имеющий отношения к искусству, отдыхает, клоун работает. Все люди, от самого высокооплачиваемого директора до рядового рабочего, знают, что значит отдых, безразлично — пьет ли человек пиво или охотится на медведей в Аляске, коллекционирует ли он марки или картины импрессионистов или экспрессионистов, бесспорно лишь одно: кто *коллекционирует* произведения искусства, тот сам не художник. А меня может привести в ярость даже то, как человек, отдыхая, закуривает сигарету: слишком хорошо я знаю это ощущение и не могу не завидовать, когда оно длится долго. У клоуна тоже бывают такие минуты: можно вытянуть ноги, закурить и на какие-нибудь полсигареты ощутить, что значит отдых. Но так называемый отпуск для меня чистая погибель. Мари несколько раз пробовала показать мне, что это такое, мы уезжали к морю, на курорты, в горы, и я уже на второй день заболел, покрывался сыпью с головы до ног, и мне переворачивали душу мысли о самоубийстве. Думаю, что заболел я от зависти. Потом у Мари появилась чудовищная мысль провести со мной отдых там, куда ездят всякие художники. Но там, конечно, были главным образом люди «при искусстве», и я в первый же вечер подрался с одним идиотом — он какая-то важная шишка в кино и впутал меня в спор о Чаплине, Гроке и о функции шута в шекспировских драмах. Меня не только здорово отколотили (эти прихвостни искусства ухитряются неплохо жить за счет всяких искусствообразных профессий, но сами, в сущности, не работают, и сил у них хоть отбавляй), но к тому же у меня началась

желтуха. А как только мы выбрались из этой гнусной дыры, я сразу выздоровел.

Что меня беспокоит больше всего — это мое неумение как-то себя ограничивать, или, как сказал бы мой импресарио Цонерер, сконцентрироваться. В моих номерах слишком перемешаны пантомима, артистизм, буффонада — я мог бы быть хорошим Пьеро, но я и неплохой клоун, — да к тому же я слишком часто меняю номера. Наверно, я мог бы годами с успехом жить на такие номера, как «Католическая и протестантская проповедь», «Заседание совета акционеров», «Уличное движение», и всякие другие, но, стоит мне проделать номер раз десять — двадцать, мне становится до того скучно, что в самый разгар выступления на меня нападает зевота, и я огромным усилием сдерживаю мускулы лица. Сам на себя нагоняю скуку. Когда подумаешь, что есть клоуны, которые лет тридцать показывают одни и те же номера, — такая тоска берет, словно меня приговорили съесть мешок муки чайной ложечкой. А мне работа должна доставлять удовольствие, не то я заболеваю. И вот вдруг я начинаю выдумывать, что мог бы неплохо жонглировать или петь песенки, но все это одна уловка, лишь бы не тренироваться каждый день. А это часа четыре, не меньше, а то и больше. В последние шесть недель я и это запустил, только продаю два-три кульбита, похожу на руках, постою на голове да позанимаюсь гимнастикой на резиновом мате — я его всюду таскаю с собой, — вот и все. Ушибленное колено теперь для меня хороший предлог лежать на диване, курить, дышать жалостью к самому себе. Моя последняя новая пантомима — «Речь министра» — вышла очень неплохо, но мне не хотелось впадать в карикатуру, а в чем-то другом я не дотянул. Все мои лирические попытки терпели крах. Мне еще никогда не удавалось изобразить человеческие чувства, не впадая в ужасающую сентиментальность. Правда, в моих номерах «Танцующая пара», «Уход в школу и возвращение» по крайней мере чувствовалось актерское мастерство. Но когда я попытался изобразить жизнь человека, я опять впал в карикатуру. Мари права, называя мои попытки петь песенки под гитару попытками уйти от себя. Лучше всего мне удается изображение всяких будничных несуразиц: я наблюдаю, слагаю эти наблюдения, возвожу их в степень, а потом извлекаю корень, но уже не с тем показателем, с каким возводил в степень. На каждый большой вокзал по утрам прибывают тысячи людей, работающих в городе, и уезжают тысячи, работающих за городом. Почему бы этим людям просто не обменяться работой? А возьмите вереницы автомашин — с какими мучениями они протискиваются навстречу друг другу в часы пик. Стоит только переменить работу или местожительство — и не будет ни бензиновой вони, ни отчаянной жестикуляции постовых на перекрестках; стало бы так тихо, что постовые могли бы играть в «братец-не-сердись». Из всех этих наблюдений я сделал пантомиму — у меня в ней работают только руки и ноги, а лицо, густо набеленное, не шевелится, и мне удастся при помощи одних рук и ног создать впечатление невероятно многолюдного и запутанного



движения. Моя цель — как можно меньше реквизита, лучше вообще ничего. Для номера «Уход в школу и возвращение» мне даже ранца не надо, я работаю рукой, и этого достаточно, я перебегаю улицу перед самым трамваем, который дает отчаянные звонки, прыгаю на автобусы, соскакиваю с них, задерживаюсь у витрин, пишу мелом на стенах слова с орфографическими ошибками, опаздываю, меня ругает учитель, и, сняв ранец с плеча, я тихонько прокрадываюсь на свою парту. Трогательность детского быта мне особенно удастся: в жизни ребенка все обыденное, банальное разрастается до огромных размеров, кажется чуждым, беспорядочным, всегда трагичным. И настоящего отдыха у ребенка тоже не бывает: только когда в его жизнь входят «высшие моральные принципы», появляется отдых, свободное время. Я всегда с неостывающим азартом наблюдаю за тем, как люди отдыхают, наблюдаю за любыми проявлениями праздника, праздничного ощущения: как рабочий сует в карман конверт с получкой и садится на велосипед, как биржевик окончательно кладет телефонную трубку на рычаг, а записную книжку — в ящик стола, как он запирает этот ящик или как продавщица в продовольственном магазине снимает халат, моет руки, приводит в порядок перед зеркалом волосы, мажет губы, берет сумку и уходит домой — все это так человечно, что я сам себе кажусь выродком, оттого что для меня этот праздничный вечер, этот отдых — только цирковой номер. Я как-то говорил с Мари: а бывает ли отдых у животных, например, у коровы, когда она пережевывает жвачку, или у осла, когда он дремлет у изгороди. Она сказала, что думать, будто животные тоже работают и у них тоже бывают праздники, — это кощунство. Конечно, сон — это отдых, праздник, и чудесно, что это объединяет людей и зверей, но ведь в празднике самое праздничное именно то, что его осознаешь как праздник. Даже у врачей есть праздники, а недавно отдых стал полагаться и священникам. Меня это раздражает, по-моему, им никакого отдыха не полагается, и они должны были бы хотя бы в этом сочувствовать артистам. Им вовсе не нужно разбираться в искусстве, в миссии художника, в предначертании и прочей ерунде, но природу артиста они понимать должны. Я всегда спорил с Мари, отдыхает ли бог, в которого она верит. Она утверждала, что отдыхает, доставала Ветхий завет и читала мне про бога из книги Бытия: «И почил в день седьмый от всех дел Своих». А я возражал цитатами из Нового завета, я ей доказывал, что, может быть, в Ветхом завете бог и отдыхал, но вот Христа на отдыхе я себе совсем не могу представить. Мари побледнела, когда я это сказал, но признала, что ей тоже кажется богохульством думать, будто у Христа может быть выходной день, и что у него, конечно, праздники бывали, но отдыхать он никогда не отдыхал.

Сплю я, как животное, почти всегда без снов, иногда просплю минут пять, а кажется, будто целый век отсутствовал, будто просунул голову сквозь стенку, за которой лежит беспредельная тьма, забвение, вечный отдых и то, о чем думала Генриетта, когда роняла вдруг ракетку на землю, ложку в суп или рывком швыряла карты

в камин,— Ничто. Я ее как-то спросил, о чем она думает, когда на нее «находит». И она спросила:

— Неужели ты не знаешь?

— Нет,— сказал я.

И она тихо проговорила:

— Ни о чем, я думаю ни о чем.

Я сказал, что нельзя думать ни о чем, а она сказала:

— Нет можно, я сразу делаюсь вся пустая и вместе с тем как будто пьяная, и мне хочется все с себя сбросить — башмаки, платье, остаться без всякого балласта.

Она еще сказала, что это изумительное состояние и она всегда ждет, когда оно наступит, но оно никогда не наступает, если ждать, а приходит неожиданно, и похоже оно на вечность. Раза два на нее «находило» в школе. Помню, как мама сердито говорила по телефону с классной наставницей и как она сказала: «Да, да, именно истерия, совершенно правильно, и накажите ее как следует».

Иногда и у меня появляется ощущение великолепной пустоты, во время игры в «братец-не-сердись», когда игра затягивается часа на три-четыре: ничего, кроме обычных шумов, постукивания костяшек, стука фигурок, шелканья, когда отбрасываешь фигурку. Мне удалось даже заставить Мари полюбить эту игру, хотя она больше склонялась к шахматам. Для нас эта игра стала чем-то вроде наркотика. Мы иногда играли подряд пять, а то и шесть часов, и официанты или горничные, которые приносили нам в номер чай или кофе, смотрели на нас с тем смешанным выражением страха и злобы, какое появлялось на лице моей матери, когда на Генриетту «находило»; иногда они говорили, как те люди в автобусе, когда я возвращался от Мари: «Невероятно!» Мари изобрела очень сложную систему очков: каждый получал очко, смотря по тому, на какой клеточке его выкинули или он выкинул партнера. Получалась очень интересная таблица, и я купил ей четырехцветный карандаш, чтобы удобнее было отмечать «активные и пассивные преимущества», как она это называла. Иногда мы играли во время долгих железнодорожных переездов, к удивлению серьезных пассажиров, пока я вдруг не заметил, что Мари играет со мной только для того, чтобы доставить мне удовольствие, успокоить меня, дать отдых моей «душе художника». Ее это уже не интересовало, все началось месяца два назад, когда я отказался ехать в Бонн. Я боялся членов ее кружка, боялся встретиться с Лео, но Мари непрестанно повторяла, что ей «необходимо вновь вдохнуть католическую атмосферу». Я напомнил ей, как мы возвращались тогда, после того первого вечера в их кружке, усталые, измученные, пришибленные, и как она все время повторяла в поезде: «Ты такой милый, такой милый!» А потом уснула у меня на плече и только изредка вздрагивала, когда на платформе выкрикивали названия станций: Зехтем, Вальберберг, Брюль, Кальшойрен,— вздрогнет, встрепенется, и я снова кладу ее голову себе на плечо, а когда мы вышли на Западном вокзале в Кёльне, она сказала: «Лучше бы мы пошли в кино». Я напомнил ей этот день, когда она заговорила о «католи-

ческой атмосфере», которую ей необходимо вдохнуть, и предложил пойти в кино, потанцевать, поиграть в «братец-не-сердись», но она покачала головой и уехала в Бонн одна. Совершенно не представляю себе, что это такое — «католическая атмосфера». В конце концов, жили мы в Оснабрюкке, а там атмосфера вряд ли такая уж некатолическая.

## 11

Я пошел в ванную комнату, налил в ванну немного экстракта, который мне поставила Моника Сильвс, и пустил горячую воду. Принимать ванну почти так же приятно, как спать, а спать — почти так же приятно, как заниматься «этим». Мари всегда так говорила, а я всегда думаю об «этом» ее словами. Совершенно не могу себе представить, что Мари может заниматься «этим» с Цюпфнером, у меня просто фантазии не хватает, так же как у меня никогда не возникало соблазна рыться в вещах Мари. Я только мог себе представить, как она играет с ним в «братец-не-сердись», — и одно это уже приводило меня в бешенство. Она ничего не может делать с ним из того, что мы с ней делали вместе, иначе она должна сама себе казаться шлюхой и предательницей. Даже мазать ему масло на хлеб она не смеет. А когда я себе представлял, что она берет его сигарету с пепельницы и докуривает ее, я просто сходил с ума, и даже то, что он некурящий и, наверно, играет с ней только в шахматы, меня ничуть не утешало. Ведь что-то она с ним все-таки делает: танцует, играет в карты, читает ему вслух или слушает, как он читает, да и разговаривать она с ним должна — хотя бы о деньгах, о погоде. Собственно говоря, она могла только готовить ему обед, не вспоминая меня на каждом шагу, — она так редко для меня готовила, что это, пожалуй, не будет ни предательством, ни распутством. Сейчас мне больше всего хотелось позвонить Зоммервильду, но было слишком рано: лучше всего позвонить часа в три ночи, разбудить его и завести пространный разговор об искусстве. А звонить ему в восемь вечера — слишком прилично, тут не спросишь, сколько высших моральных принципов он уже скормил Мари и какие комиссионные получил с Цюпфнера: наперсный крест тринадцатого века или средневековую мадонну четырнадцатого? Думал я и о том, как я его прикончу. Эстетов, конечно, лучше всего убивать художественными ценностями, чтобы они и в предсмертную минуту возмутились таким надругательством. Статуэтка мадонны — штука, пожалуй, недостаточно ценная, да к тому же слишком прочная, и он, чего доброго, умрет, утешенный тем, что хоть мадонна осталась цела, а картина весит слишком мало, разве что рама тяжелая, но тут он опять-таки утешился бы тем, что картина останется в целостности. Пожалуй, я мог бы соскрести краску с ценной картины и повесить его на холсте или этим же холстом придушить — способ убийства довольно несовершенный, но как убийство эстета — совершенство! Вообще, отправить на

тот свет такого здоровяка и силача — дело нелегкое. Зоммервильд высокий, стройный, «воплощенное благообразие», седой, лицо «просветленное», кроме того, он альпинист и гордится тем, что принимал участие в двух мировых войнах и получил серебряную медаль за спортивные достижения. Противник он стойкий, хорошо тренированный. Что ж, придется раздобыть какое-нибудь произведение искусства из бронзы или из золота, а еще лучше, пожалуй, из мрамора; жаль, что мне не удастся съездить в Рим и спереть что-нибудь из ватиканского музея.

Пока наливалась ванна, я вспомнил Блотерта, одного из важных членов кружка, я видел его всего два раза. Он был, так сказать, противником Кинкеля «справа», тоже из политиканов, но из «другой среды, из другого круга», для него Цюпфнер был тем, чем Фредбойль был для Кинкеля: чем-то вроде «правой руки», ну и, конечно, «духовным наследником». Но звонить по телефону Блотерту было еще бессмысленней, чем умолять о помощи стены моей комнаты. Единственное, что вызывает в нем хоть какие-то признаки жизни, — это кинкелевские мадонны в стиле барокко. Он так их сравнивал со своими, что сразу было видно, до чего глубоко они ненавидят друг друга. Блотерт был председателем чего-то такого, где с удовольствием стал бы председателем сам Кинкель, и они со школьных лет были на «ты». Оба раза, что я встречал Блотерта, я пугался его. Он был среднего роста, светлый блондин, и с виду ему можно было дать лет двадцать пять; когда на него смотрели, он ухмылялся, а когда с ним заговаривали, он сначала с полминуты скрежетал зубами, и из четырех слов, которые он произносил, два были «канцлер» и «католон», и тут вдруг становилось видно, что ему за пятьдесят и выглядит он, как постаревший от тайных пороков школьник последнего класса. Жуткая личность. Иногда его схватывала судорога, он начинал заикаться и говорить: «ка-ка-ка-ка...», — и мне его становилось жаль, пока он наконец не выдавливал из себя последние слоги — «...нцлер» или «...толон». Мари говорила мне, что он просто потрясающе умен. Это утверждение так и осталось недоказанным, и я только раз слышал, как он произнес больше двадцати слов, это было, когда в их «кружке» обсуждали вопрос о смертной казни. Он был «за, без всяких ограничений», и удивило меня в его высказывании то, что он и не пытался лицемерно утверждать обратное. Он весь сиял от удовольствия, снова путался в своих «ка-ка-ка», и казалось, будто при каждом «ка» он отрубает кому-то голову. Иногда он косился на меня, и всегда с таким изумлением, будто ему каждый раз приходится сдерживаться, чтобы не сказать: «Невероятно!» — хотя он все же не мог удержаться и не покачать головой. По-моему, некаатолики для него вообще пустое место. Мне всегда казалось, что, если введут смертную казнь, он будет ратовать за то, чтобы казнить всех некаатоликов. У него тоже была жена, дети и телефон. Но я скорее позвонил бы опять моей матери. Блотерта я вспомнил только потому, что думал о Мари. Наверно, он постоянно к ней ходит, он был как-то связан с правлением, где работал Цюпфнер, и при одной

мысли, что он у нее постоянный гость, мне становилось жутко. Ведь я к ней очень привязан, и когда она на прощанье, словно отправляясь в паломничество, сказала: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти», то это можно было бы понять и как последнее слово христианской мученицы, которую сейчас бросят на съедение диким зверям. Думал я и о Монике Сильвс, сознавая, что когда-нибудь я приму ее жалость. Она была такая красивая, такая милая, и мне казалось, что она еще меньше подходит к этому «кружку», чем Мари. Что бы она ни делала: возилась ли на кухне — я и ей как-то помогал делать бутерброды, — улыбалась ли, танцевала или рисовала, — все у нее выходило как-то естественно, хотя ее картины мне и не нравились. Зоммервильд слишком много наговорил ей про «откровение» и про миссию художника, и она стала писать одних мадонн. Можно было бы попытаться отговорить ее от этого: все равно толку не будет, даже если веришь и хорошо рисуешь. Пусть этих мадонн рисуют дети или набожные монахи, которые и за художников себя не считают. Я стал думать, удастся ли мне отговорить Моника от писания мадонн. Она не дилетантка, еще очень молода, ей года двадцать два — двадцать три, наверняка невинна, и это меня особенно пугало. Вдруг мелькнула страшная мысль: а что, если католики решили, чтобы я сыграл для них роль Зигфрида? Она прожила бы со мной года два, была бы ласкова, пока не начали бы действовать высшие моральные принципы, а тогда она вернулась бы в Бонн и вышла замуж за фон Северна. Я даже покраснел от этой мысли и постарался ее отогнать. Моника такая милая, что не хотелось выдумывать про нее всякие злые глупости. Но если мы с ней встретимся, надо будет прежде всего отучить ее от Зоммервильда, этого салонного льва, похожего на моего отца. Только мой отец не имеет никаких притязаний, кроме того, чтобы, по возможности, быть гуманным эксплуататором, и этим притязаниям он соответствует вполне. А Зоммервильд всегда производит впечатление, будто он с таким же успехом мог бы быть директором курзала или филармонии, начальником бюро информации на обувной фабрике, изысканным шансонье, даже, может быть, редактором «умело» поставленного модного журнала. Каждое воскресенье он читает проповедь в церкви св. Корбиниана. Мари таскала меня туда дважды. Начальству Зоммервильда надо было бы запретить это представление — до того оно невыносимо. Лучше уж я сам буду читать Рильке, Гофмансталя и Ньюмена, чем позволять поить себя какой-то паточной смесью из всех троих. Меня даже пот прошиб во время этой проповеди. Есть такие противоестественные явления, которые для моей вегетативной нервной системы просто противопоказаны. Когда я слышу выражение: «Пусть сущее пребудет, а крылатое воспарит», мне становится страшно. Куда приятнее слушать, как беспомощный толстяк пастор, запинаясь, бормочет с кафедры непостижимые истины этой религии и не воображает, будто говорит так, что «хоть сейчас в печать». Мари огорчилась, увидев, что проповедь Зоммервильда не произвела на меня никакого впечатления. Особенно мучительно

было потом, когда мы после проповеди зашли в кафе, неподалеку от корбиниянской церкви, там набилось полным-полно всяких людей «при искусстве», которые тоже слушали Зоммервильда. Потом пришел он сам, около него образовалось что-то вроде кружка, нас тоже втянули туда, и эту тягомотину, которую он нес с кафедры, стали пережевывать не раз, и не два, и не три. Прелестная актриса с длинными золотистыми локонами и ангельским личиком — Мари шепнула, что она уже «на три четверти обращена», — была готова целовать Зоммервильду ноги. Уверен, что он не протестовал бы.

Я открыл кран в ванной, снял куртку, стянул через голову верхнюю рубашу и белье, бросил все в угол и уже собрался влезть в ванну, как зазвонил телефон. Я знал только одного человека, в чьих руках телефон начинает звонить так бодро, так мужественно, — это Цонерер, мой агент. Он так близко и настойчиво кричит в трубку, что я всегда боюсь, как бы он меня не забрызгал слюной. Если он хочет сказать мне что-нибудь приятное, он начинает разговор так: «Вчера вы были просто великолепны». Говорит он это наобум, даже не зная, был ли я действительно великолепен или нет, а когда он хочет сказать неприятное, он обычно начинает так: «Слушайте, Шнир, вы, конечно, не Чаплин...» Этим он вовсе не хочет сказать, что я хуже Чаплина как клоун, а просто, что я не настолько знаменит, чтобы позволять себе то, что раздражает его, Цонерера.

Но сегодня он, наверно, не станет говорить мне неприятности и не будет, как обычно, когда я отказываюсь выступать, предсказывать близкий конец света. Он даже не станет приписывать мне «манию отказов». Но, должно быть, уже из Оффенбаха, из Бамберга и Нюрнберга тоже пришли отказы, и он начнет мне по телефону жаловаться, какие убытки он из-за меня терпит. Телефон все звонил, громко, бодро, мужественно, я совсем было собрался швырнуть в него диванной подушкой, но вместо того накинул халат, пошел в столовую и остановился перед заливавшимся телефоном. У этих агентов крепкие нервы, как положено их сословию, и слова вроде «утонченная артистическая натура» для них все равно что «дортмундское пиво», а всякая попытка поговорить с ними всерьез об искусстве, об артистах — только пустое сотрясение воздуха. Да и они отлично знают, что самый бессовестный артист в тысячу раз совестливее самого добросовестного агента, но у них есть оружие, против которого невозможно бороться: они отлично знают, что настоящий художник не может не делать того, что делает, — пишет ли он картины или клоуном шатается по свету, поет ли песни или высекает «непреходящее» из мрамора и гранита. Художник похож на женщину, которая только и умеет любить и становится жертвой первого попавшегося осла. А художников и женщин эксплуатировать легче всего, и в каждом агенте сидит сутенер — в ком только на один процент, а в ком и на все девяносто. И этот телефонный звонок звучал совершенно по-сутенерски. Конечно, Цонерер уже выведал у Костерта, когда я уехал из Бохума,

и точно знал, что я сейчас дома. Я завязал пояс халата и взял трубку. Мне в лицо сразу ударил пивной запах.

— Черт вас дери, Шнир,— сказал он,— как можно заставлять меня столько ждать?

— Я только что сделал робкую попытку принять ванну,— сказал я.— Разве это нарушение контракта?

— Ваш юмор — просто юмор висельника,— сказал он.

— А где же веревка? — спросил я.— Уже болтается?

— Ну, хватит символики,— сказал он,— поговорим о деле.

— Не я первый завел символический разговор,— сказал я.

— Неважно, кто начал первый,— сказал он.— Значит, вы решительно намерены убить себя как артиста?

— Милый господин Цонерер,— тихим голосом сказал я,— вам нетрудно немножко отвернуться от трубки, от вас так и разит пивом прямо мне в лицо.

Он выругался себе под нос на диалекте: «Чучелка, ферт конопатый!» И вдруг рассмеялся:

— Нахальства у вас по-прежнему хоть отбавляй! О чем это мы говорили?

— Об искусстве,— сказал я,— но, если можно, давайте лучше поговорим о делах.

— Тут нам и говорить не о чем,— сказал он,— я от вас не откажусь, слышите? Вы меня поняли?

Я просто онемел от удивления.

— На полгода мы вас снимем с программы, а потом я снова пущу вас в ход. Надеюсь, этот говнюк из Бохума вас не задел серьезно?

— Задел,— сказал я,— он меня обжулил, зажал бутылку водки и разницу между ценой билета первого и второго класса до Бонна.

— А вы не будьте идиотом, не давайте сбивать себе цену. Контракт есть контракт, а ваш отказ понятен — вы же расшиблись.

— Цонерер,— сказал я тихо,— неужели вы на самом деле человек или вы просто...

— Чушь,— сказал он,— просто я к вам хорошо отношусь. А если вы этого до сих пор не заметили, значит, вы тупее, чем я думал, а кроме того, на вас и сейчас еще подзаработать можно. Только бросьте вы это ребячество, не спивайтесь!

Он был прав. Именно ребячество — другого слова нет. Я сказал:

— А мне помогает.

— В каком отношении?

— В душевном,— сказал я.

— Чушь собачья,— сказал он,— оставьте вы душу в покое. Конечно, можно было бы судиться с Майнцем за нарушение контракта, мы даже могли бы выиграть, но я не советую. Полгода отдыха, а потом я вас опять пущу в ход.

— А на что мне жить? — спросил я.

— Ну-у,— сказал он.— Папаша, наверно, вам что-нибудь подбросит.

— А вдруг не подбросит?

— Поищите себе славную подружку, пусть вас кормит пока что.

— Нет, уж лучше халтурить,— сказал я,— на велосипеде по деревням, по разным городишкам.

— Ошибаетесь,— сказал он,— в деревнях и в городишках тоже читают газеты, и в данный момент мне вас не продать даже в школьный клуб по двадцать марок за вечер.

— А вы пробовали? — спросил я.

— Да,— сказал он.— Целый день названивал по телефону. Ни черта не вышло. Нет ничего хуже, чем клоун, который вызывает жалость, от этого людей берет тоска. Все равно как если бы кельнер, подавая пиво, подкатил к вашему столику в больничном кресле. Вы строите себе иллюзии.

— А вы? — спросил я. Он промолчал, и я сказал: — Я о том, что, по-вашему, через полгода мне снова стоит попробовать.

— Все возможно,— сказал он,— но это единственный шанс. Конечно, лучше бы переждать с год.

— Ах, с год? — сказал я.— А вы знаете, сколько дней в году?

— Триста шестьдесят пять,— сказал он и опять беззастенчиво дыхнул мне прямо в лицо. От запаха пива меня мутило.

— А может быть, попробовать выступить под другой фамилией,— сказал я,— наклеить другой нос и номера другие. Петь под гитару, жонглировать.

— Чушь,— сказал он,— от вашего пения уши вянут, в жонглерстве вы жалкий дилетант. Все это чушь. В вас сидит очень сносный клоун, может быть даже совсем хороший, но не являйтесь ко мне, пока вы по крайней мере месяца три не будете тренироваться ежедневно часов по восемь. Тогда приду посмотреть ваши новые номера, а может, и старые, только тренируйтесь, бросьте это дурацкое пьянство.

Я промолчал. Я слышал, как он пыхтит, как затягивается сигаретой.

— Поищите себе опять такую родную душу, как та девушка, что с вами ездила,— сказал он.

— Родную душу,— повторил я.

— Да,— сказал он,— а все остальное чушь. И не воображайте, что обойдетесь без меня и сможете халтурить в каких-то жалких клубах. Этого хватит недели на три, Шнир. Можете на юбилеях каких-нибудь пожарников покривляться, а потом обойти их с шапкой. Но если я об этом узнаю, я тут же вам все пути отрежу.

— Собака вы! — сказал я.

— Да,— сказал он,— лучшей собаки вам не найти, а если начнете халтурить на свой страх и риск, вы, самое большее через два месяца, будете конченным человеком. Я-то это дело знаю. Вы меня слушаете?

Я промолчал.

— Слушаете вы меня? — спросил он негромко.

— Да,— сказал я.

— Я к вам хорошо отношусь, Шнир,— сказал он.— И работали



мы с вами неплохо, иначе я не тратил бы столько денег на телефонный разговор.

— Уже больше семи,— сказал я,— значит, вам это удовольствие обойдется от силы в две с половиной марки.

— Да,— сказал он,— может, и в три, но в данный момент ни один агент на вас и того не поставит. Значит, так: через три месяца вы мне покажете не меньше шести отлично отработанных номеров. Выжимайте из своего старика сколько сможете. Все.

И он действительно дал отбой. Я подержал трубку в руке, послушал гудки, подождал и только потом положил трубку на место. Раза два он меня обставлял, но врать никогда не врал. Было время, когда я, наверно, мог бы получать не меньше двухсот пятидесяти марок за вечер, а он давал мне по договору сто восемьдесят и, должно быть, неплохо на мне зарабатывал. Только повесив трубку, я понял, что он первый человек, с которым я охотно поговорил бы еще. Все-таки он должен был бы дать мне хоть какую-нибудь возможность поработать, не заставлять меня ждать полгода. Неужели не найдется труппы актеров, где я мог бы пригодиться. Я очень легкий, не знаю головокружений и мог бы после небольшой тренировки стать акробатом, а не то отработать с другим клоуном какие-нибудь репризы. Мари всегда говорила, что мне нужен партнер, тогда мне не так будут надоедать мои номера. Нет, Цонерер, безусловно, не обдумал всех возможностей. Я решил позвонить ему немного погодя, ушел в ванную, сбросил халат, сгреб в угол платье и забрался в ванну. Теплая ванна — не меньшее удовольствие, чем сон. На гастролях я всегда, даже когда денег было в обрез, брал номер с ванной. Мари обычно говорила, что в этом расточительстве повинно мое происхождение, но это вовсе не так. Дома у нас так же скупилась на теплую воду для ванны, как и на все остальное. Принимать холодный душ разрешалось в любое время, а теплая ванна и дома считалась расточительством, и даже Анну, охотно закрывавшую глаза на многое другое, тут было трудно переубедить. Видно, в ее «П.П.9» горячая ванна тоже считалась одним из смертных грехов.

Даже в ванне я скучал по Мари. Бывало, я лежу в ванне, а она мне читает вслух издали, сидя на кровати, один раз она мне прочла из Ветхого завета всю историю царя Соломона и царицы Савской, в другой раз битву Маккавеев, иногда читала главы из романа Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел». А теперь я лежал всеми брошенный в этой нелепой ржаво-красной ванне — вся ванная комната была облицована черным кафелем, но сама ванна, мыльница, ручка душа и сиденье на унитазе были ржаво-красного цвета. Мне не хватало голоса Мари. Если подумать, так она даже Библию не сможет читать с Цюпфнером без того, чтобы не почувствовать себя шлюхой или предательницей. Ей сразу вспомнится гостиница в Дюссельдорфе, где она читала мне про Соломона и царицу Савскую, пока я не уснул в ванне от усталости. Зеленые ковры в номере, темные волосы Мари, ее голос, а потом она принесла мне зажженную сигарету, и я ее поцеловал.

Я лежал по горло в мыльной пене и думал о ней. Не может она ничего делать с ним или при нем, не вспоминая меня. Она даже не может в его присутствии завинчивать крышечку от зубной пасты. Как часто мы с ней завтракали, то скудно — впроголодь, то роскошно — досыта, то второпях, то спокойно, ранним утром или около полудня, с полными блюдами джема и совсем без него. При одной мысли, что она каждое утро, в одно и то же время, будет завтракать с Цюпфнером перед тем, как он на своей машине уедет в свое католическое бюро, на меня вдруг напало молитвенное настроение, и я стал просить бога, чтобы этого никогда не было: «Господи, не допусти ее завтракать с Цюпфнером!» Я попробовал представить себе Цюпфнера: каштановые волосы, белая кожа, высокий, прямой, этакий Алкивиад немецкого католицизма, только легкомыслия того нету. По словам Кинкеля, «хотя он и стоит посреди, но все же скорее справа, чем слева». Эти разговоры про то, кто правый, кто левый, занимали их больше всего. Говоря почестному, я должен был бы и Цюпфнера причислить к тем четырем католикам, которых я считаю настоящими: это папа Иоанн, Алек Гиннес, Мари, Грегори, ну, и Цюпфнер тоже. Конечно, и для него, при всей его влюбленности, играло роль то, что он спас Мари от греха и перенес в праведную жизнь. А в том, что они когда-то держались за ручки, как видно, ничего серьезного не было. Как-то я заговорил об этом с Мари, она очень трогательно покраснела и сказала, что этой их дружбе «способствовало многое»: их отцов одинаково преследовали нацисты, и потом — католицизм и «вся его манера поведения — ну, ты сам знаешь, я и сейчас к нему хорошо отношусь».

Я спустил часть остывшей воды, подлил горячей, подбавил еще немного экстракта. Я подумал о своем отце — он имеет долю и в заводе, где делают экстракты для ванн. Что бы я ни покупал — сигареты, мыло, писчую бумагу, эскимо на палочке или сосиски, — со всего отец получает свою долю прибыли. Подозреваю, что даже с тех двух сантиметров зубной пасты, которую я расходую, он тоже получает прибыль. Но говорить про деньги у нас в доме считалось неприличным. Когда Анна хотела показать счета маме, проверить их, мама всегда говорила: «Опять про деньги — как противно!» У нее это «и» звучит почти как «ю»: «протювно». Карманных денег нам почти не давали. К счастью, у нас была огромная родня, и, когда их всех скликали, набиралось человек пятьдесят — шестьдесят теток и дядек, и среди них попадались очень славные: всегда совали нам немного денег, потому что мамина скупость вошла в поговорку. А вдобавок ко всему мать моей матери была из дворян, некая фон Хоэнброде, и моему отцу до сих пор кажется, что его приняли в зятья из милости, хотя фамилия тестя была Тулер и только теща была урожденная фон Хоэнброде. Сейчас немцы помешались на дворянстве, рвутся к нему больше, чем в 1910 году. Даже люди вроде бы вполне интеллигентные готовы передрасться из-за дворянских знакомств. Надо бы обратить внимание маминого Объединенного комитета на это дело. Ведь это

тоже сущий расизм. Даже такой неглупый человек, как мой дед, до сих пор не может переварить, что Шнирам должны были дать дворянство еще летом 1918 года, что это уже «в основном» было решено, но тут в самую ответственную минуту кайзер, который должен был подписать рескрипт, смылся — видно, у него других забот было предостаточно, если только они у него вообще были. Историю о Шнирах, «в основном» уже получивших дворянство, и по сей день, почти что через полвека, рассказывают при любой okazji. «Рескрипт нашли в папке его величества», — всегда повторяет мой отец. Удивительно, как никто из них не поехал в Дорн и не заставил кайзера подписать этот рескрипт. Я бы непременно послал туда гонца, верхового, — по крайней мере поручение было бы выполнено в соответствующем стиле.

Я вспоминал, как Мари распаковывала чемоданы, когда я уже лежал в ванне, как она останавливалась перед зеркалом, снимала перчатки, приглаживала волосы; как потом вынимала плечики из шкафа, развешивала на них платья, потом снова вешала их в шкаф и как плечики поскрипывали на медной палке. Потом башмаки — тихий стук каблуков, шорох подметок, и как она расставляла свои тюбики, баночки и флакончики на стеклянной крышке туалетного столика: большие банки с кремом, узенький флакончик с лаком для ногтей, пудреница и, с отчетливым металлическим стуком, — карандаши для губ.

Я вдруг заметил, что лежу в ванне и плачу, и тут же сделал неожиданное открытие из области физики: слезы показались мне холодными. Раньше они всегда казались горячими. И я за последние месяцы, когда напивался, часто плакал такими горячими слезами. Я стал думать о Генриетте, об отце, о вновь обратившемся Лео и удивился, почему он до сих пор не дал о себе знать.

## 12

В первый раз она сказала, что боится меня, когда мы были в Оснабрюкке и я отказался поехать в Бонн, куда ей непременно хотелось съездить — «подышать католической атмосферой». Мне это выражение не понравилось, я сказал, что и в Оснабрюкке католиков достаточно, и тогда она сказала, что я ее просто не понимаю и не хочу понять.

Мы жили в Оснабрюкке уже два дня, между двумя гастролями, впереди было еще три свободных дня. С утра лил дождь, в кино не шло ничего для меня интересного, и я даже не предложил сыграть в «братец-не-сердись». Уже накануне у Мари во время игры было лицо как у очень терпеливой нянюшки.

Мари читала, лежа на кровати, я курил у окна и смотрел то на Гамбургскую улицу, то на вокзальную площадь, где люди перебежали под дождем с вокзала к остановке трамвая. Заниматься «этим» мы тоже не могли. Мари была больна. У нее был не то чтобы настоящий выкидыш, но что-то вроде того. Я не разобрал, в чем дело, и никто мне ничего не объяснил. Во всяком случае, она думала,

что забеременела, а теперь все кончилось, хотя она утром пробыла в больнице всего часа два. Она была бледная, усталая, очень раздражительная, и я сказал, что ей, наверно, вредно сейчас ехать так далеко на поезде. Мне очень хотелось узнать обо всем подробнее, не было ли ей больно, но она мне ничего не рассказывала, только иногда плакала какими-то незнакомыми мне, сердитыми слезами.

Этого мальчугана я увидел, когда он проходил слева вверх по улице на вокзал; он промок до костей и под проливным дождем держал перед собой раскрытый школьный портфельчик. Крышку он отвернул и нес его перед собой с таким выражением, какое я видел только на картинках, где изображены волхвы, несущие в дар младенцу Христу золото, ладан и смирну. Я разглядел мокрые, почти расползшиеся обложки учебников. Выражение его лица напомнило мне Генриетту: такая в нем была отрешенность, такое благоговейное упоение. Мари спросила меня с кровати:

— О чем ты думаешь?

И я сказал:

— Ни о чем.

Я видел, как мальчик перешел вокзальную площадь, очень медленным шагом, и исчез в подъезде вокзала. Мне стало за него страшно. За эти блаженные четверть часа он минут пять будет горько расплачиваться: вопли мамыши, огорченный отец, в доме нет денег на новые книжки и тетради.

— О чем ты думаешь? — опять спросила Мари.

Я чуть опять не ответил: «Ни о чем», потом вспомнил о мальчике и рассказал, о чем я думаю: как этот мальчик вернется домой, в какую-нибудь соседнюю деревню, и как он, должно быть, начнет врать, потому что все равно никто не поверит, что он сделал. Он расскажет, как он поскользнулся, как его портфель упал в лужу или как он его только на минуту поставил на землю, под самую водосточную трубу, и вдруг оттуда хлынул целый поток, прямо на книжки. Рассказывал я это все Мари тихим монотонным голосом, и она вдруг спросила с кровати:

— Не понимаю, зачем ты мне рассказываешь всю эту чепуху?

— Потому что я именно об этом думал, когда ты спросила.

Она не поверила про мальчика, и я рассердился. Никогда мы друг другу не лгали, никогда один из нас не подозревал другого во лжи. Я так рассвирепел, что заставил ее встать, обуться и побежать со мной на вокзал. Второпях я забыл зонтик, мы промокли, но мальчика на вокзале не нашли. Мы прошли по залу ожидания, зашли даже в бюро добрых услуг, наконец я спросил у контролера при выходе, не ушел ли только что какой-нибудь поезд. Он сказал:

— Да, ушел, две минуты назад на Бомте.

Я спросил, не проходил ли тут мальчик, совершенно промокший, белокурый, примерно такого вот роста, и он подозрительно спросил:

— А в чем дело? Спер что-нибудь?

— Нет, — сказал я, — я только хотел узнать, уехал он или

нет.— Мы оба — и Мари и я — стояли мокрые, он подозрительно осмотрел нас с ног до головы.

— Вы рейнландцы? — спросил он. Это звучало так, будто он спросил: «Вы уголовники?»

— Да,— сказал я.

— Справки такого рода я могу давать только с согласия начальства,— сказал он.

Как видно, он напоролся на какого-нибудь жулика с Рейна, скорее всего в армии. Я знал одного рабочего сцены, которого как-то в армии надул один берлинец, и с тех пор каждый житель и каждая жительница Берлина стали для него личными врагами. Когда выступала одна берлинская артистка, он вдруг выключил свет — она оступилась и сломала ногу. Никто не проверил, как это случилось, сказали: «Короткое замыкание», но я уверен, что этот рабочий нарочно выключил свет, потому что девушка была из Берлина, а его когда-то в армии надул берлинец. Этот контролер у выхода так смотрел на меня, что мне стало жутко.

— Я держал пари с этой дамой,— сказал я,— речь идет о пари.— Слова прозвучали фальшиво, потому что это было вранье, а по мне сразу видно, когда я вру.

— Так,— сказал он,— пари держали? Да, вашему брату, с Рейна, только дай волю.

Толку от него добиться было невозможно. Я подумал: не взять ли такси, доехать до Бомте, там подождать на вокзале поезда и посмотреть, как оттуда выйдет мальчик. Но ведь он мог вылезти на какой-нибудь захолустной станции до или после Бомте. Мокрые, промерзшие насквозь, мы вернулись в отель. Я завел Мари в бар внизу, стал у стойки, обнял ее за плечи и заказал коньяк. Хозяин, он же владелец отеля, посмотрел на нас так, будто ему хотелось тут же позвать полицию. Накануне мы целый божий день играли в «братец-не-сердись» и заказывали в номер бутерброды с ветчиной и чай, а утром Мари уехала в больницу и вернулась бледная. Он со стуком поставил перед нами рюмки с коньяком, выплеснув половину и демонстративно не глядя в нашу сторону.

— Ты мне не веришь? — спросил я Мари.— Про этого мальчика?

— Нет,— сказала она,— я тебе верю.

Сказала она это только из жалости, а вовсе не потому, что действительно поверила, а я злился, потому что у меня не хватало смелости отчитать хозяина за выплеснутый коньяк. Рядом с нами грузный дядя, причмокивая, пил пиво. После каждого глотка он слизывал пену с губ и смотрел на меня так, будто хотел со мной заговорить. Ужасно боюсь разговаривать с полупьяными немцами определенного возраста, они всегда заводят речь о войне, считают, что все это было здорово, а когда напьются окончательно, выясняется, что они — убийцы и ничего «особенно плохого» в этом не видят. Мари дрожала от холода и неодобрительно покачала головой, когда я пододвинул наши пустые рюмки хозяину. Я с облегчением увидел, что на этот раз он подал их нам осторожно, не

пролив ни капли. Я уже не чувствовал себя трусом. Наш сосед по стойке высосал рюмку водки и забормотал себе под нос:

— В сорок четвертом мы ведрами пили — что водку, что коньяк, да, в сорок четвертом, ведрами, а остатки — на мостовую и подпалить!.. Лишь бы этим раззявам ни капли не осталось... — Он захохотал: — Да, ни единой капли!

Когда я снова пододвинул хозяину наши рюмки через стойку, он наполнил только одну и вопросительно взглянул на меня перед тем, как налить вторую, и только тут я заметил, что Мари ушла. Я кивнул, и он налил вторую рюмку. Я выпил обе и до сих пор радуюсь, что сразу после этого ушел. Мари плакала, лежа на кровати в номере, и, когда я положил ей руку на лоб, она ее отодвинула, тихо, ласково, но все-таки отодвинула. Я сел рядом, взял ее руку, и она ее не отняла. Я обрадовался. Уже стемнело, и я целый час просидел возле нее на кровати, держа ее руку, прежде чем заговорить. Я говорил тихо, снова повторил всю историю про мальчика, и она пожала мою руку, как будто хотела сказать: «Да, да, я тебе верю». Потом я ее попросил объяснить мне подробнее, что с ней сделали в больнице, она сказала, что это «женское» и «безвредно, но отвратительно». Я испугался, услышав слово «женское». До сих пор почему-то оно звучит для меня таинственно и страшно, в этих делах я совершенный профан. Я три года прожил с Мари, прежде чем впервые услышал про «женские болезни». Конечно, я знал, что у женщин рождаются дети, но никаких подробностей себе не представлял. Мне было двадцать четыре года, Мари уже три года была моей женой, когда я узнал, как это бывает. Мари тогда рассмеялась, поняв, до чего я наивен. Она прижала мою голову к груди и все повторяла: «Ты прелесть, ты просто прелесть!» Потом мне уже обо всем рассказал Карл Эмондс, мой школьный товарищ, который вечно занимается своими ужасными противозачаточными выкладками.

Попозже я пошел в аптеку, принес снотворное для Мари и сидел у ее постели, пока она не уснула. До сих пор я не знаю, что с ней было и какие осложнения вызвали ее «женские дела». Наутро я пошел в городскую библиотеку и прочел в энциклопедии все, что про них написано, и мне стало легче. После обеда Мари одна уехала в Бонн, взяв только маленький чемоданчик. Она и не просила, чтобы я тоже поехал с ней. Она только сказала:

— Значит, послезавтра встретимся во Франкфурте.

Вечером, когда пришли из полиции нравов, я обрадовался, что Мари уехала, хотя ее отсутствие причинило мне большие неприятности. Наверно, на нас донес хозяин, разумеется, я всегда говорил, что Мари моя жена, и только раз или два возникали какие-то затруднения. Но тогда, в Оснабрюкке, было очень неприятно. Пришли двое, мужчина и женщина, оба в штатском, очень вежливые и какие-то очень сдержанные — наверно, их там муштруют, учат «производить хорошее впечатление». Некоторые формы полицейской вежливости мне особенно неприятны. Женщина была довольно красивая, очень мило подкрашенная, села только после того, как я ей пред-

ложил, даже взяла сигарету, в то время как ее коллега «незаметно» оглядывал наш номер.

— Фройляйн Деркум уже не с вами?

— Нет,— сказал я,— она уехала немного раньше, послезавтра мы встретимся во Франкфурте.

— Вы артист?

Я сказал:

— Да.— Хотя это не совсем так, но я подумал, что проще сказать «да».

— Вы нас должны понять,— сказала чиновница,— нам приходится проводить кое-какие обследования, когда у приезжих бывают абортивные...— она кашлянула,— заболевания.

— Я все понимаю,— сказал я, хотя в энциклопедии ничего про «абортивные заболевания» сказано не было. Мужчина отказался сесть вполне вежливо и продолжал незаметно осматриваться.

— Ваш домашний адрес? — спросила женщина. Я дал ей наш боннский адрес. Она встала. Ее спутник посмотрел на открытый платяной шкаф.

— Это платья фройляйн Деркум? — спросил он.

— Да,— сказал я.

Он «многозначительно» взглянул на свою спутницу, но та пожала плечами, он тоже; потом он еще раз тщательно осмотрел ковер, заметил пятно, нагнулся и посмотрел на меня, словно ожидая, что я сейчас сознаюсь в убийстве. Потом они ушли. До самого конца этой комедии они были отменно вежливы. Как только они вышли, я торопливо уложил вещи, велел подать счет, вызвал с вокзала носильщика и уехал ближайшим поездом. Я заплатил хозяину гостиницы даже за недожитый день. Вещи я послал багажом во Франкфурт и сел в первый же поезд, отправлявшийся на юг. Мне было страшно, хотелось поскорее уехать. Укладывая вещи, я увидел кровь на полотенце Мари. Мне было страшно даже на перроне, пока я ждал франкфуртского поезда,— все казалось, что сейчас чья-то рука ляжет мне на плечо и голос сзади проговорит: «Сознаетесь?» Я бы, наверно, сознался в чем угодно. Около полуночи я проезжал Бонн. Но мне и в голову не пришло выйти.

Я доехал до самого Франкфурта, прибыл туда около четырех утра, остановился в очень дорогой гостинице и позвонил Мари в Бонн. Я боялся, что ее не будет дома, но она сразу подошла к телефону и сказала:

— Ганс! Ну слава богу, что ты позвонил, я так беспокоилась.

— Беспокоилась? — сказал я.

— Да,— сказала она,— я звонила в Оснабрюкк и узнала, что ты уехал. Я сейчас же еду во Франкфурт, сию минуту.

Я принял ванну, велел подать себе в номер завтрак, уснул, и в одиннадцать утра меня разбудила Мари. Ее будто подменили — такая она была милая, такая веселая, и, когда я ее спросил: «Ну как, надышалась католической атмосферой?» — она засмеялась и поцеловала меня. Про полицию я ей ничего не сказал.

Я подумал: не сменить ли воду еще раз. Но вода совсем остыла, я почувствовал, что пора выходить. От ванны колену не стало легче, оно еще больше распухло и почти не разгибалось. Вылезая из ванны, я поскользнулся и чуть не упал на красивые плитки пола. Я решил сейчас же позвонить Цонереру и предложить, чтобы он включил меня в какую-нибудь труппу. Я вытерся, закурил и посмотрел на себя в зеркало — я здорово исхудал. Когда зазвонил телефон, у меня на минуту мелькнула надежда, что это Мари. Но ее звонки звучали не так. Может быть, это Лео. Я прохромал в столовую, снял трубку и сказал:

— Алло!

— А-а! — сказал голос Зоммервильда. — Надеюсь, я не помешал вам делать двойное сальто.

— Я не акробат, — злобно сказал я, — я только клоун, а между клоунами и акробатами такая же разница, как между иезуитами и доминиканцами. И если уж я буду делать что-нибудь двойное, так только двойное убийство.

Он рассмеялся.

— Шнир, Шнир, — сказал он. — Вы меня тревожите всерьез. Кажется, вы приехали в Бонн, чтобы всем нам объявить войну по телефону?

— Я вам, что ли, позвонил, — сказал я, — или вы мне?

— Ах, — сказал он, — неужели это так существенно?

Я промолчал.

— Мне очень хорошо известно, — сказал он, — что вы плохо ко мне относитесь, может быть, вас это удивит, но я-то к вам отношусь хорошо, и вы должны признать за мной право и по отношению к вам проводить в жизнь те принципы, в которые я верю и которые я представляю.

— Только насильно, — сказал я.

— Нет, — сказал он очень отчетливо, — нет, никак не насильно, но именно так, как того пожелало бы лицо, о котором идет речь.

— Зачем вы говорите «лицо», а не Мари?

— Потому что мне важно сохранить в этом деле всю возможную объективность.

— В этом ваша грубейшая ошибка, прелат, — сказал я, — тут все настолько субъективно, насколько это вообще возможно.

Мне было холодно в одном халате, сигарета намокла и не тянула как следует.

— Я не только вас, я и Цюпфнера убью, если Мари не вернется, — сказал я.

— Ах, бог мой, — раздраженно сказал он, — не впутывайте вы Гериберта в эту историю.

— А вы остряк, — сказал я, — какой-то тип отнимает у меня жену, и именно его я не должен впутывать в эту историю.

— Он не какой-то тип, а фройляйн Деркум не ваша жена, и он ее не отнимал, она сама ушла.



— Совершенно добровольно, да?

— Да,— сказал он,— совершенно добровольно, хотя, может быть, в ней и шла борьба между человеческим и надчеловеческим.

— Ах вот как,— сказал я,— а в чем же тут надчеловеческое?

— Шнир,— раздраженно сказал он,— я верю, несмотря на все, что вы неплохой клоун, но в теологии вы ничего не понимаете.

— Ну, уж настолько-то я понимаю,— сказал я,— понимаю, что вы, католики, по отношению ко мне, неверующему, так же жестоки, как иудеи по отношению к христианам, а христиане — к язычникам. Все время только и слышишь: закон, теология, а в сущности речь идет об идиотском клочке бумаги, который выдает государство, да, государство.

— Вы путаете повод и причину,— сказал он,— но я понимаю вас, Шнир, да, я вас понимаю,— повторил он.

— Ничего вы не понимаете,— сказал я,— а в результате получится двойное прелюбодеяние. Первое — когда Мари выйдет замуж за вашего Гериберта, а второе — когда она в один прекрасный день убежит со мной. Конечно, я не такой утонченный, я не художник, и, главное, я не настолько верующий христианин, чтобы мне прелат мог сказать: «Ах, Шнир, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?»

— Вы не восприняли теологическую суть несоответствия между вашим случаем и тем, о котором мы тогда спорили.

— А какое же тут несоответствие? — сказал я.— Может быть, то, что Безевиц благоразумнее и для вашего круга — хороший двигатель веры?

— Нет,— и тут он искренне рассмеялся,— здесь несоответствие в церковно-правовом отношении. Б. жил с разведенной женой, с которой он никак не мог вступить в церковный брак, а вы — ведь фройляйн Деркум не была разведена, и вашему браку ничего не препятствовало.

— Да я уже согласился было все подписать,— сказал я,— и даже принять католичество.

— Согласились, но с каким пренебрежением.

— Что же мне, лицемерить, притворяться, будто я что-то чувствую, во что-то верю, когда этого нет? Если вы настаиваете на законе, на праве, то есть на чистейших формальностях, зачем вы упрекаете меня в отсутствии чувства?

— Ни в чем я вас не упрекаю.

Я промолчал. Он был прав, и мне стало неприятно. Да, Мари ушла сама, ее, разумеется, приняли с распростертыми объятиями, но, если бы она захотела остаться со мной, никто не мог бы заставить ее уйти.

— Алло, Шнир,— сказал Зоммервильд.— Вы тут?

— Да,— сказал я,— я еще тут.— Я совсем иначе представлял себе наш с ним разговор по телефону. Разбудить бы его часа в три ночи, обругать, пригрозить.

— Чем я могу вам помочь? — тихо спросил он.

— Ничем,— сказал я,— и даже если вы мне скажете, что эти тайные совещания в ганноверском отеле созывались исключительно

для того, чтобы укрепить Мари в ее верности мне, я вам поверю.

— Очевидно, вы не осознали, Шнир,— сказал он,— что в ваших отношениях с фройляйн Деркум наступил кризис.

— И тут-то вы сразу и влезли,— сказал я,— сразу показали ей законный и благочестивый выход, как от меня уйти. А я-то считал, что католическая церковь против развода.

— О, господи боже, Шнир,— крикнул он,— не можете же вы требовать, чтобы я, католический пастырь, укреплял в женщине намерение жить во грехе!

— Почему бы и нет? — сказал я.— Вы же толкаете ее на прелюбодеяние, на измену; что ж, если вы, как католический пастырь, за это отвечаете, отлично!

— Ваш антиклерикализм меня поражает. Я встречал его только у католиков.

— Вовсе я не антиклерикал, не выдумывайте, я просто анти-Зоммервильд, потому что вы ведете нечестную игру, двурушничаете.

— Бог мой,— сказал он,— это еще почему?

— Послушать ваши проповеди, так сердце у вас раскрытое, что твой парус, а потом вы каверзничаете и шушукаетесь по гостиничным закоулкам. Пока я зарабатываю хлеб в поте лица, вы сговариваетесь с моей женой, не выслушав меня. Это нечестно, это двурушничество, впрочем, чего еще ждать от эстета?

— Бранитесь сколько угодно,— сказал он,— обижайте меня. Я так хорошо вас понимаю.

— Ни черта вы не понимаете, вы опоили Мари каким-то гнусным пойлом, а я люблю пить чистые напитки: мне чистый самогон милее, чем разбавленный коньяк.

— Говорите, говорите,— сказал он,— чувствуется, что вы это переживаете всей душой.

— Да, переживаю, прелат, и душой и телом, потому что речь идет о Мари.

— Настанет время, Шнир, когда вы осознаете, что были глубоко не правы по отношению ко мне. И в этом деле, да и вообще,— в его голосе слышались почти слезливые нотки,— а что касается моего пойла, так не забывайте, что многих людей мучает жажда, и лучше напоить их любым пойлом, чем совсем не давать пить.

— Но ведь в вашем Священном писании говорится о чистой, прозрачной воде. Почему же вы ею не поите людей?

— Может быть, потому,— сказал он, и голос его дрогнул,— что я, если продолжать вашу аналогию, стою в конце цепи, черпающей воду из источника, может быть, я — сотый или тысячный в этой цепи, и вода доходит до меня уже не такой чистой. И еще одно, Шнир,— вы слушаете?

— Слушаю,— сказал я.

— Можно любить женщину и не сожительствуя с ней.

— Вот как? — сказал я.— Теперь вы начнете разговор про деву Марию.

— Не издевайтесь, Шнир,— сказал он,— это вам не к лицу.

— Вовсе я не издеваюсь,— сказал я,— я вполне могу уважать

то, чего не понимаю. Но я считаю роковой ошибкой ставить деву Марию в пример молодой девчонке, которая не собирается уходить в монастырь. Однажды я даже сделал об этом доклад.

— Вот как? — спросил он. — Где же это?

— Тут, в Бонне, — сказал я, — перед девочками из группы Мари. Я приехал из Кёльна к ним на вечер, развлек их двумя-тремя номерами и побеседовал о деде Марии. Спросите Монику Сильвс, прелат. Конечно, я не мог разговаривать с молодыми девицами о том, что у вас называется «плотским вожделением». Вы меня слушаете?

— Да, слушаю и удивляюсь, — сказал он. — Вы начинаете говорить грубости.

— Фу ты, черт! — сказал я. — Послушайте, прелат, весь процесс, предшествующий зачатию ребенка, — довольно грубое дело. Пожалуйста, если вам приятнее, можем побеседовать об аистах. Но все, что проповедуется и внушается насчет этого грубого дела, — все это ханжество, лицемерие. В глубине души вы считаете, что это свинство надо хотя бы узаконить браком, раз оно в природе человека, или же создаете себе иллюзии и отделяете все плотское от остального, что имеет к этому отношение. Но это-то остальное и есть самое сложное. Даже законная жена, которая через силу терпит своего законного мужа, — это не только плоть, даже самый грязный пьяница, идущий к проститутке, не одна только плоть, так же как и она сама, эта проститутка. Вы обращаетесь со всем этим, как с бенгальским огнем, а это — динамит.

— Шнир, — сказал он, — удивительно, как много вы об этом думали.

— Удивительно? — закричал я. — Вы бы лучше удивлялись на тех безжалостных сволочей, которые относятся к женам как к своей законной собственности. Вы спросите Монику Сильвс, что я тогда говорил девушкам. С тех пор как я понял, что я мужского пола, я почти ни о чем другом так серьезно не думал, чего же вы удивляетесь?

— Но у вас нет никакого, просто ни малейшего представления о *праве*, о *законе*. Ведь как бы сложны эти вопросы ни были, их необходимо как-то упорядочить.

— Да, — сказал я, — знаем мы, как вы наводите порядок. Вы загоняете природу на путь, который сами называете прелюбодеянием, а когда эта природа вмешивается в брак, вы играете на страхе. Исповедь, прощение, грех — и так далее. Все упорядоченно, все законно.

Он рассмеялся. Смех был какой-то гнусный.

— Шнир, — сказал он, — теперь я понял, что с вами творится. Вы просто моногамны, как осел.

— Вы даже в зоологии ни черта не понимаете, — сказал я. — А уж в *гомо сапиенс* и подавно. Ослы вовсе не однолюбцы, хотя у них и благочестивый вид. Среди ослов царит полнейшая распущенность. Моногамны вороны, колюшки, галки, иногда носороги.

— Но только не Мари, — сказал он. Очевидно, он понял, как

больно меня задела эта короткая фраза, потому что тихо добавил: — Очень жаль, Шнир, что мне пришлось вам это сказать, вы мне верите?

Я промолчал. Я выплюнул горящий окурок на ковер, видел, как рассыпались искры, выжигая мелкие черные дырочки в ковре.

— Шнир,— просительно окликнул он меня,— поверьте хотя бы, что мне тяжело вам это говорить.

— А не все ли равно,— сказал я,— в чем я вам верю? Хорошо, пожалуйста, я вам верю.

— Вы только что так много говорили о зове природы,— сказал он,— вам надо было бы последовать этому зову, поехать вслед за Мари, бороться за нее.

— Бороться! — сказал я.— А разве есть такое слово в ваших проклятых законах о браке?

— Но вы с фройляйн Деркум не состояли в браке.

— Хорошо,— сказал я.— Пусть будет так. Не состояли. Но я чуть ли не каждый день пробовал к ней дозвониться, я ей каждый день писал.

— Знаю,— сказал он,— знаю. Теперь уже поздно.

— Значит, теперь осталось только нарушить этот брак,— сказал я.

— Нет, вы на это не способны,— сказал он.— Я знаю вас лучше, чем вы думаете, и можете браниться и угрожать мне сколько угодно, я буду повторять одно: самое страшное в вас то, что вы очень наивный, я бы даже сказал — очень чистый человек. Чем же мне вам помочь?.. Может быть...

Он замолчал.

— Вы хотите сказать — деньгами? — сказал я.

— Да, и деньгами, но я имел в виду ваши профессиональные дела.

— Может быть, мне помощь и понадобится,— сказал я,— и денежная, и деловая. Так где же Мари?

Я услышал его дыхание и в тишине впервые почувствовал какой-то запах: пахло некрепким лосьоном для бритья, немного красным вином и еще сигарой, но очень слабо.

— Они уехали в Рим,— сказал он.

— Медовый месяц, что ли?

— Так оно называется,— сказал он.

— Для полного бл...ства,— сказал я. Я повесил трубку, не сказав «спасибо» или «до свидания». Я видел черные дырочки, которые прожгла сигарета в ковре, но слишком устал, чтобы наступить на сигарету, затушить искры. Мне было холодно, колено болело. Слишком долго я просидел в ванне.

Со мной Мари ехать в Рим не захотела. Она покраснела, когда я ей предложил поехать, и сказала: «В Италию — пожалуйста, но только не в Рим». И когда я ее спросил: «Почему?» — она сказала: «Неужели ты не понимаешь?» «Нет», — сказал я. Но она мне ничего не объяснила. А я бы с удовольствием поехал с ней в Рим, посмотрел бы на папу, мне кажется, что я даже

стал бы ждать часами на площади Св. Петра, а потом, когда он подойдет к окну, хлопал бы в ладоши и кричал «эввива!». Но когда я это объяснил Мари, она страшно рассердилась. Она сказала, что это «какое-то извращение», когда агностик вроде меня собирается приветствовать святейшего отца. Она просто ревновала. Я часто замечал это за католиками: они берегут свои сокровища — папу, святое причастие, — как скупцы. А кроме того, я не знаю ни одной группы людей, которая так много мнит о себе, как они. Они во всем мнят о себе бог знает что — и в том, чем сильна их церковь, и в том, в чем ее слабости, и от каждого, в ком они предполагают хоть искру ума, ждут обращения в свою веру. Может быть, Мари потому и не поехала со мной в Рим, что там ей особенно пришлось бы стыдиться нашей с ней грешной связи. Во многих вещах она была очень наивна, да и особым умом тоже не отличалась. Но поехать туда сейчас, с Цюпфнером, — это уже была подлость. Наверно, они получают аудиенцию, и бедный папа будет называть ее «дочь моя», а Цюпфнера — «сын мой», не подозревая, какие прелюбодеи и распутники преклоняют перед ним колени. Может быть, она поехала с Цюпфнером в Рим и потому, что там ей ничто не напоминало обо мне. Мы с ней побывали в Неаполе, в Венеции и во Флоренции, в Париже и Лондоне и во многих немецких городах. В Риме у нее не возникнет никаких воспоминаний, и там-то она вволю надышится «католической атмосферой». Я решил все-таки еще раз позвонить Зоммервильду и сказать ему, что особенной низостью с его стороны я считаю насмешки над тем, что я однолюб. Но почти всем образованным католикам свойственна эта низость — вечно они прячутся за каменную стену догм и швыряются вырубленными из догм принципами, но, если их всерьез поставить лицом к лицу с их «непоколебимыми истинами», они усмеваются и кивают на «человеческую природу». В крайнем случае они напускают на себя этакую циничную усмешечку, словно только что побывали у самого папы и он им уделил частицу своей непогрешимости. Во всяком случае, стоит только всерьез принять все эти невероятные истины, которые они хладнокровно изрекают, и ты для них сразу становишься либо «протестантом», либо человеком, лишенным чувства юмора. Заговоришь с ними всерьез о браке — они тотчас же выставят своего Генриха Восьмого: из этой пушки они уже триста лет стреляют, хотят доказать, как твердокаменна их церковь; но если они хотят доказать, как она великодушна, они начинают рассказывать анекдоты про Безевица, повторять шуточки епископов, впрочем, это они делают только среди «посвященных» — читай «образованных и интеллигентных», и тут уж роли не играет, левые это или правые. Когда я предложил Зоммервильду повторить историю с Безевицем с кафедры, он просто взбесился. С кафедры, когда речь идет о браке, они стреляют только из своей главной пушки — из Генриха Восьмого. Полцарства за брак! Право! Закон! Догма!

Меня мучило от разных причин: физически — потому что с утра, после жалкого завтрака в Бохуме, я ничего, кроме коньяка

и сигарет, в рот не брал, душевно — потому что я представил себе, как Цюпфнер в римской гостинице смотрит на Мари, когда она одевается. Наверно, он даже роется в ее белье. Этим тщательно прилизанным, интеллигентным, справедливым и образованным католикам нужны жалостливые женщины. Мари совсем не подходила для Цюпфнера. Именно для такого, как он, всегда безукоризненно одетого — достаточно модно, чтобы не казаться старомодным, но не настолько модно, чтобы казаться франтом, — для такого человека, который по утрам щедро обливается холодной водой и чистит зубы с таким рвением, словно хочет поставить рекорд, — нет, для такого человека Мари недостаточно умна и даже дольше его возится по утрам с одеванием. Такой тип, перед тем как его проведут к папе на аудиенцию, непременно обмахнет носовым платком пыль с башмаков. Мне даже стало жаль папу, перед которым они будут стоять на коленях. Он улыбнется доброй улыбкой, всем сердцем радуясь при виде этой красивой, симпатичной католической немецкой четы, — и его опять обманут. Разве он может заподозрить, что благословил двух прелюбодеев?

В ванной я растерся как следует, оделся, пошел на кухню и поставил греть воду. Моника обо всем подумала. На плите лежали спички, смолотый кофе стоял в плотно закупоренной коробке, рядом — фильтр, в холодильнике — ветчина, яйца, овощные консервы. Но я люблю возиться на кухне, только если это единственная возможность удрать от «взрослых» разговоров. Когда Зоммервильд начинает распространяться об «эросе», Блотерт выдавливая из себя «ка-ка-ка... канцлер» или Фредебойль произносит ловко скомпилированную речь о Кокто, тогда, конечно, лучше всего удрать на кухню и там выжимать майонез из тюбиков, разрезать оливки, мазать ливерную колбасу на хлеб. Но если мне надо одному что-то готовить для себя на кухне, я совсем теряюсь. От одиночества руки становятся неловкими, а когда надо открывать консервы или выпускать яйца на сковороду, на меня нападает глубокая меланхолия. Я вовсе не закоренелый холостяк. Когда Мари болела или работала — одно время в Кёльне она служила в писчебумажном магазине, — мне ничего не стоило заниматься хозяйством, а когда у нее был первый выкидыш, я даже выстирал белье, пока наша хозяйка еще не успела вернуться из кино.

Мне удалось открыть банку фасоли, не поранив рук, и, наливая кипяток в фильтр для кофе, я думал о доме, который выстроил себе Цюпфнер. Два года назад я там побывал.

## 14

Я представил себе, как она в темноте возвращается в этот дом. Ровно подстриженный газон в лунном свете кажется почти голубым. У гаража — срезанные ветки, их там сложил садовник. Между кустами дрока и шиповника — баки с мусором, их скоро увезут. Пятница. Она уже знает, чем будет пахнуть на кухне —

рыбой; знает, какие записки найдет в комнатах — от Цюпфнера, на телевизоре: «Срочно надо было зайти к Ф. Целую. Гериберт», и вторая, на холодильнике, от служанки: «Ушла в кино, буду в десять. Грета (Луиза, Биргит)».

Открыть гараж, зажечь свет: на белой стене тень от детского самоката и старой швейной машины. Цюпфнеровский «мерседес» на месте, значит, он пошел пешком: «Воздухом подышать, немножко подышать». По грязи на колесах и крыльях было видно, что он много разъезжал по Айфелю, говорил речи на собраниях Союза молодежи Германии<sup>1</sup> («держаться заодно, думать заодно, страдать заодно»).

Взгляд наверх — в детской тоже темно. Соседние дома отделены подъездными дорожками и широкими грядками. Болезненный отсвет телевизоров. Тут возвращение мужа или отца домой — только помеха, даже возвращение блудного сына было бы помехой, и для него не только не зарезали бы упитанного тельца, для него и куренка не зажарили бы — только буркнули бы, что в холодильнике осталась ливерная колбаса.

По субботам соседи общались между собой: когда мячики перелетали через заборы, убегали котята или щенки, тогда мячики перекидывались обратно, а котята — «ах, какой душка!» — или щенки — «ах, какой душка!» — возвращались хозяевам через калитки или через заборы. Приглушено раздражение, никаких личных намеков; только изредка из ровного, спокойного голоса высовывается острая шпилька, она царапает безмятежное небо добрососедских отношений, и всегда по какому-нибудь пустячному поводу: со звоном разбилось блюдо, чужой мяч помял цветы, детская рука швырнула горсть камешков прямо в лакированный бок машины, вымытое, наглаженное белье забрызгали из садового шланга — только из-за таких пустяков повышаются спокойные голоса, которые никогда не позволяют себе повиситься из-за лжи, измены, аборт.

— Ах, у тебя просто уши слишком чувствительны, прими какое-нибудь лекарство.

Не принимай, Мари.

Открытая входная дверь, тишина, приятное тепло. Маленькая Марихен спит наверху. Да, все пойдет быстро: свадьба в Бонне, медовый месяц в Риме, беременность, роды — и каштановые локоньки на белоснежной детской подушке. Помнишь, как он показывал нам этот дом и бодро провозгласил: «Тут хватит места для двенадцати ребятишек!» — и как теперь по утрам за завтраком он окидывает тебя взглядом, с невысказанным вопросом на губах: «Ну, как?» — а простодушные люди, его дружки по партии и церкви, после третьей рюмки коньяку восклицают: «От одного до двенадцати грубо ориентировочно еще одиннадцати не хватает!»

В городе перешептываются. Ты опять ходила в кино, в такой чудесный солнечный день — в кино. И снова в кино, и снова.

---

<sup>1</sup> Молодежная организация ХДС/ХСС.

А весь вечер одна в их кругу, дома у Блотерта, и в ушах только «ка-ка-ка», и дальше ничего, даже не «...нцлер», не «...толон». Как чужеродное тело, перекатывается это слово у тебя в ушах. Похоже на «эталон» и еще на название какой-то опухоли. В Блотерте сидит что-то вроде счетчика Гейгера, он обнаруживает при помощи его, есть в человеке «католон» или нету: «В этом есть — в этом нету — в этом есть». Как ромашку обрывают: любит — не любит. Она меня любит. На «католон» проверяются футбольные команды, друзья по партии, правительство и оппозиция. Его ищут, как расовый признак, — и не находят: нос нордический, а рот — романский. Но в одном человеке этот «католон» есть, он им доверху начинен, тем, чего так жаждут, так алчут другие. Это Блотерт, но берегись его взгляда, Мари, в нем запоздалое вожеление, семинарское представление о шестой заповеди, и, когда он рассуждает о небезызвестных грехах, он говорит только по-латыни: ин сексто, де сексто. Ну конечно, звучит как «секс». А его милые детки! Старшим — восемнадцатилетнему Губерту и семнадцатилетней Маргрет — он разрешает лечь попозже, чтобы им на пользу пошли разговоры старших. О «католоне», о сословном государстве, о смертной казни — от этих слов в глазах госпожи Блотерт вспыхивают какие-то странные огоньки, а голос срывается на высокие нотки, смесь какого-то плотоядного смеха и слез. Ты пыталась утешиться плоским «левацким» цинизмом Фредебойля — напрасно! Напрасно ты пыталась рассердиться на плоский «правый» цинизм Блотерта. Есть чудесное слово: «Ничто». Думай ни о чем. Ни о канцлере, ни о «католоне», думай о клоуне, который плачет в ванне и расплескивает кофе себе на туфли.

## 15

Я воспринимал этот звук, но безотносительно к себе, я слышал его часто, но мне не приходилось на него отзываться: у нас дома на дверной звонок отзывались горничные, а в лавке Деркумов я тоже часто слышал дверной звонок, но никогда не отвечал на него. В Кёльне мы жили в пансионе, в отелях звонит только телефон. И сейчас я слышал звонок, но не отвечал на него. Мне он казался незнакомым, да и слышал я его у себя в квартире только дважды: один раз, когда мальчишка принес молоко, и второй, когда Цюпфнер прислал Мари чайные розы. Когда принесли розы, я лежал в кровати, Мари вошла ко мне, показала розы, с восхищением окунула лицо в букет, и тут вышло ужасно глупое недоразумение: я подумал, что розы прислали мне. Случалось, что поклонницы посылали мне цветы в отель. Я сказал Мари:

— Чудесные розы, оставь их себе!

А она посмотрела на меня и сказала:

— А их мне и прислали!

Я покраснел. Мне стало неловко, я вспомнил, что никогда не посылал цветов Мари. Конечно, я ей отдавал все цветы, которые



мне преподносили на выступлениях, но я никогда не покупал цветов специально для нее, да и за букеты, которые мне преподносили, тоже обычно приходилось платить самому.

— Кто же это их прислал? — спросил я.

— Цюпфнер, — сказала она.

— Что за чертовщина! — сказал я. — Это еще зачем? — Я вспомнил, как они держались за ручки.

Мари покраснела и сказала:

— А почему он не может посылать мне цветы?

— Вопрос надо ставить по-другому, — сказал я, — почему он должен посылать тебе цветы?

— Мы давным-давно знакомы, — сказала она, — может быть, он даже мой поклонник.

— Отлично, — сказал я, — пусть его поклоняется, но посылать такие огромные дорогие букеты просто назойливо. Больше того, это безвкусно.

Она обиделась и вышла из комнаты.

Когда пришел мальчишка из молочной, мы сидели в столовой, и Мари открыла двери и отдала ему деньги. Гости у нас тут были только раз: приходил Лео, тогда он еще не принял католичество, но звонить ему не пришлось — он поднялся вместе с Мари.

Звонок звенел как-то странно — робко и вместе с тем упорно. Я страшно испугался — а вдруг это Моника, вдруг ее под каким-нибудь предлогом прислал Зоммервильд? На меня сразу напал нибелунговский комплекс. Я выбежал в мокрых туфлях в прихожую и никак не мог найти кнопку, на которую нужно было нажать. Пока я ее искал, я вспомнил, что у Моника есть ключ от квартиры. Наконец я нашел кнопку, нажал ее и услышал снизу шум, как будто большой шмель забился о стекло. Я вышел на площадку и встал у лифта. Зажегся сигнал «занято», потом вспыхнула единица, потом двойка, я беспокойно смотрел на цифры и вдруг заметил, что рядом со мной кто-то стоит. Я испуганно обернулся: хорошенькая женщина, блондинка, не слишком худая, с очень милыми светло-серыми глазами. Только шляпка у нее, на мой вкус, была слишком красная.

— Наверно, вы — господин Шнир? Моя фамилия Гребзель, я ваша соседка. Рада, что наконец-то я вас увидела.

— Я тоже рад, — сказал я, и я действительно был очень рад: несмотря на красную шляпку, глядеть на госпожу Гребзель было очень приятно. Я увидел у нее в руках газету «Голос Бонна», она проследила за моим взглядом, покраснела и сказала:

— Не обращайтесь на это внимания!

— Я дам этому негодяю по морде! — сказал я. — Если бы вы только знали, какой это жалкий, подлый лицемер, и притом он меня еще надул на целую бутылку водки! — Она рассмеялась.

— Мы с мужем были бы очень рады, если бы можно было закрепить наше знакомство, — сказала она. — Вы тут долго про-будете?

— Да,— сказал я,— я вам как-нибудь позвоню, если разрешите. А у вас тоже все красно-рыжее?

— Ну конечно,— сказала она,— это ведь отличительный цвет пятого этажа.

Лифт задержался на третьем этаже немного дольше, потом вспыхнула четверка, пятерка, я распахнул дверцы и от изумления отступил на шаг. Из лифта вышел мой отец, подержал дверцы для госпожи Гребзель, пока она входила, и обернулся ко мне.

— Бог мой,— сказал я,— отец! — Никогда раньше я не называл его отцом, всегда папой. Он сказал: «Ганс»! — и сделал неуклюжую попытку обнять меня. Я прошел вперед, в квартиру, взял у него пальто и шляпу, открыл дверь в столовую, показал на диван. Прежде чем сесть, он выбирал место поудобнее.

Мы оба были страшно смущены. Смущение, как видно, единственный способ общения между детьми и родителями. Наверно, мой возглас «отец» звучал чересчур приподнято, от этого мы еще больше смутились. Отец сел в одно из красно-рыжих кресел и, неодобрительно качая головой, посмотрел на меня, на мои насквозь промокшие туфли, на мокрые носки, на слишком длинный да к тому же огненно-рыжий халат. Отец невысок, худощав и так изысканно-небрежно изящен, что телевизионщики просто дерутся из-за него, когда надо выступать по каким-нибудь экономическим вопросам. При этом он весь светится добротой и мудростью, чем и завоевал себе на телевидении такую славу, какой ему не достигнуть в качестве угольного магната. Ему ненавистен даже малейший налет грубости. Когда его видишь, кажется, что он должен курить сигары, не толстые, а тоненькие, легкие, и то, что он, почти семидесятилетний капиталист, курит сигареты, выглядит у него особенно молодо и современно. Вполне понятно, что его приглашают выступать на всяких дискуссиях, где речь идет о деньгах. По нему видно, что от него не просто исходит доброжелательность, но что он и на самом деле очень добрый. Я подал ему сигареты, дал прикурить, и, когда я к нему нагибался, он сказал:

— О клоунах я знаю мало, но кое-что мне все же известно. А вот то, что они купаются в кофе, для меня новость.— Он иногда умеет здорово острить.

— Я не купался в кофе, отец,— сказал я,— просто хотел налить себе кофе, и неудачно.— Тут я уже должен был бы назвать его папой, но как-то не успел.— Хочешь выпить?

Он усмехнулся, посмотрел на меня недоверчиво и спросил:

— А что же у тебя в доме есть?

Я пошел на кухню: в холодильнике стоял коньяк, там же было несколько бутылок минеральной воды, лимонаду и бутылка красного вина. Я взял каждого сорта по бутылке, отнес в столовую и выставил перед отцом. Он вынул из кармана очки и стал изучать этикетки. Первым делом он отодвинул бутылку коньяку. Я знал, что он очень любит коньяк, и обиженно сказал:

— Но ведь марка как будто неплохая?

— Марка превосходная,— сказал он,— но лучший коньяк никуда не годится, если его переохладить.

— О господи,— сказал я,— разве коньяк нельзя ставить в холодильник?

Он посмотрел на меня поверх очков, как будто я только что был уличен во грехе содомском. Он по-своему эстет, ухитряется по утрам раза три-четыре отправлять гренки обратно на кухню, пока Анна не добьется именно той степени поджаренности, какая ему по вкусу, и эта молчаливая борьба каждое утро начинается сызнова, потому что Анна все равно твердо уверена, что гренки — это «англосаксонские штучки».

— Коньяк в холодильнике! — с презрением сказал отец.— Неужели ты и вправду не знаешь или просто притворяешься? С тебя все станется!

— Нет, я не знал,— сказал я. Он посмотрел на меня испытующе и улыбнулся: видно, поверил мне.

— А ведь сколько денег я истратил на твое образование! — сказал он. Это должно было звучать иронически, именно так, как должен говорить почти семидесятилетний отец со своим вполне взрослым сыном. Но иронии не вышло, она застыла на слове «деньги». Покачав головой, он отверг и лимонад и красное вино и сказал: — В данных обстоятельствах самым безопасным напитком мне кажется минеральная вода.

Я достал из буфета два стакана, открыл минеральную воду. Кажется, я хоть это сделал правильно. Он одобрительно кивнул, глядя, как я открываю бутылку.

— Тебе не помешает, если я останусь в халате? — спросил я.

— Помешает,— сказал он,— пожалуйста, оденься как следует. Твой вид и этот... этот запах кофе придают всей ситуации комизм, никак ей не соответствующий. Мне надо с тобой поговорить серьезно. А кроме того — прости за откровенность,— я, как ты, должно быть, знаешь, ненавижу всякое проявление распущенности.

— Это не распущенность,— сказал я,— это просто проявление потребности в отдыхе.

— Не знаю,— сказал он,— не знаю, как часто ты меня слушался в жизни по-настоящему, но сейчас ты, конечно, не обязан проявлять послушание. Я просто прошу тебя сделать мне одолжение.

Я удивился. Раньше отец был скорее робок, почти всегда молчалив. Телевидение научило его спорить и доказывать свою правоту с «неотразимым обаянием». Я слишком устал, чтобы противиться этому обаянию. Я пошел в ванную, снял пропитанные кофе носки, вытер ноги, надел рубашку, брюки, куртку, побежал босиком на кухню, выложил на тарелку разогретую фасоль, выпустил туда же яйца всмятку, выскреб остатки из скорлупок, взял ломоть хлеба, ложку и пошел в столовую. Отец посмотрел на мою тарелку с гримасой, в которой очень умело сочетались удивление и отвращение.

— Прости,— сказал я,— сегодня с девяти утра я ничего не ел, а тебе, наверно, не захочется, чтоб я хлопнулся в обморок к твоим ногам.

Он засмеялся вымученным смехом, покачал головой, вздохнул и сказал:

— Ну ладно, только знаешь, есть одни яичные белки просто вредно.

— Ничего, я потом съем яблоко,— сказал я. Я смешал фасоль с яйцом, откусил хлеба и съел ложку этой каши, она мне показалась очень вкусной.

— Ты бы хоть налил немножко томатного соку,— сказал отец.

— У меня нет,— сказал я.

Ел я слишком торопливо, и те неизбежные звуки, какие производят при еде, явно раздражали отца. Он старался подавить отвращение, но это ему не удавалось, и в конце концов я вышел на кухню, доел, стоя у холодильника, свою кашу и, пока ел, смотрел в зеркало, висящее над холодильником. В последние недели я запустил даже самую важную тренировку — тренировку мышц лица. Клоуну, который достигает главного эффекта тем, что его лицо абсолютно неподвижно, нужно обладать необыкновенно подвижным лицом. Раньше, до того как начать тренировку, я показывал язык своему отражению, чтобы стать самому себе как можно ближе, прежде чем начать от себя отчуждаться. Потом я это бросил и просто, без всяких трюков, смотрел на свое лицо, иногда по полчаса и дольше, пока я наконец не переставал существовать; а так как я вовсе не склонен к самолюбованию, то мне иногда казалось, будто я начинаю сходиться с ума. Я просто забывал, что это я, что это мое лицо в зеркале, и, окончив тренировку, поворачивал зеркало к стене; а потом, если среди дня мне случалось увидеть себя в зеркале, я пугался: в моей ванной или в уборной на меня смотрел чужой человек, человек, о котором я не знал, смешной он или серьезный, какое-то длинноносое, бледное привидение,— и я стремглав бросался в Мари, чтобы увидеть себя в ее глазах. С тех пор как ее нет, я уже не могу работать над своей мимикой: боюсь сойти с ума. Тогда, после тренировок, я подходил к Мари как можно ближе, пока не видел себя в ее зрачках: крошечным, немножко искаженным, но все же узнаваемым. Это был я, хоть и тот же самый, кого я пугался в зеркале. Как объяснить Цонереру, что без Мари я совсем не могу тренироваться перед зеркалом? Смотреть сейчас в зеркало, как я ем, было не страшно, просто грустно. Я мог сосредоточить взгляд на ложке, видеть, что ем фасоль, со следами белка и желтка на тарелке, смотреть на ломоть хлеба, который все уменьшался. Зеркало показывало мне трогательно-реальные вещи: пустую тарелку, кусок хлеба, который становился все меньше и меньше, слегка запачканные губы — я их вытер рукавом. Но тренироваться я не мог. Не было никого, кто мог бы вернуть меня оттуда, из зеркала.

Я медленно вошел в столовую.

— Слишком быстро,— сказал отец.— Ты ешь слишком быстро. Сядь же наконец. Ты ничего не пьешь?

— Нет,— сказал я,— хотел было выпить кофе, да не удалось.

— Хочешь, сварю? — спросил он.

— А ты умеешь? — спросил я.

— Говорят, что я отлично варю кофе,— сказал он.

— Да нет, не стоит,— сказал я,— выпью минеральной воды, вообще это неважно.

— Но мне это доставит удовольствие,— сказал он.

— Не надо,— сказал я,— спасибо. В кухне творится черт знает что, огромная лужа кофе, пустые консервные банки, на полу яичная скорлупа.

— Что ж,— сказал он,— как хочешь.

Видно было, что он как-то чересчур обиделся. Он налил мне минеральной воды, подал свой портсигар, я взял сигарету, он зажег спичку, и мы закурили. Мне было его жалко. Должно быть, я совсем сбил его с толку, когда принес тарелку с фасолью. Наверно, он рассчитывал увидеть у меня то, что он представляет себе под словом «богема»,— изысканный беспорядок со всякими модернистскими штучками на потолке и на стенах. Но мое жилье обставлено без всякого стиля, случайными вещами, почти что помещански, и я заметил, что на отца это действует удручающе. Сервант мы купили по каталогу, на стенах висели одни репродукции, среди них только две беспредметные, хороши были две акварели Моники Сильвс над комодом: «Рейнский пейзаж III» и «Рейнский пейзаж IV», в темно-серых тонах, с чуть заметными белесыми проблесками. Две-три красивые вещи, которые у нас есть,— кресла, вазы, чайный столик на колесиках — купила Мари. Мой отец из тех людей, которым нужна соответствующая атмосфера, и атмосфера нашей квартирki его нервировала, отнимала дар речи.

— Тебе, наверно, мама сообщила, что я тут? — спросил я наконец, когда мы закурили по второй сигарете, не сказав ни слова.

— Да,— сказал он,— почему ты не мог избавить ее от таких разговоров?

— Если бы она не заговорила своим комитетским голосом, все пошло бы по-другому.

— Ты что-нибудь имеешь против этого комитета? — спокойно спросил он.

— Нет,— сказал я,— очень хорошо, что уничтожают расовые противоречия, но я смотрю на расы совсем по-другому, чем этот комитет. Например, негры — ведь они сейчас последний крик моды, я даже хотел предложить маме привести к ней своего знакомого негра, для украшения общества. Уж не говоря о том, что на свете несколько сот негритянских рас. Без работы ее комитет сидеть не будет. А цыгане! — сказал я.— Надо бы маме пригласить к чаю двух-трех цыган. Прямо с улицы. Вообще дела им хватит.

— Я не об этом хотел говорить с тобой,— сказал он. Я про-

молчал. Он взглянул на меня и тихо добавил: — Я хотел поговорить с тобой о деньгах. — Я все еще молчал. — Думаю, что положение у тебя несколько затруднительное. Что же ты молчишь?

— Это мягко сказано — «затруднительное», должно быть, мне целый год нельзя будет выступать. Посмотри! — Я подтянул штанину и показал ему распухшее колено, потом спустил штанину и ткнул правым указательным пальцем в левую сторону груди. — И тут, — сказал я.

— Боже мой! — сказал он. — Сердце?

— Да, — сказал я, — сердце.

— Сейчас же позвоню Дромерту, попрошу принять тебя. Он лучший сердечник у нас в городе.

— Ты не понял, — сказал я, — не нужна мне никакая консультация у Дромерта.

— Ты же сам сказал: сердце.

— Может быть, нужно было сказать: душа, чувство, нутро, но мне показалось, что «сердце» — самое подходящее слово.

— Ах вот оно что, — сухо сказал он, — ты об этой истории. — Наверно, Зоммервильд уже рассказал ему об «этой истории» за партией ската в клубе, между порцией заячьего рагу, бутылкой пива и червями без трех.

Он встал и начал расхаживать по комнате, потом остановился за креслом, облокотился на спинку и посмотрел на меня сверху вниз.

— Вышние фразы обычно звучат как-то глупо, — сказал он, — но я должен тебе сказать: знаешь, чего тебе не хватает? Тебе не хватает того, что делает мужчину настоящим мужчиной: умения примириться.

— Это я уже сегодня один раз слышал, — сказал я.

— Тогда послушай и в третий раз: сумей примириться.

— Брось, — сказал я устало.

— Как ты думаешь, легко мне было, когда Лео пришел ко мне и сказал, что переходит в католичество? Для меня это было настоящее горе, как смерть Генриетты. Мне не было бы так горько, даже если бы он сказал, что стал коммунистом. Это я еще могу себе представить — молодой человек мечтает о невозможном, о социальной справедливости и так далее. Но это... — Он впился руками в спинку кресла, резко тряхнул головой. — Это — нет, нет! — Как видно, ему и вправду было тяжело. Он совсем побледнел и сейчас выглядел куда старше своих лет.

— Сядь, отец, — сказал я, — выпей коньяку. — Он сел, кивнул на бутылку коньяку, я достал стакан из буфета, налил ему, он взял коньяк и выпил, но не поблагодарив и даже не взглянув на меня.

— Этого ты, конечно, не понимаешь, — сказал он.

— Не понимаю, — сказал я.

— Мне страшно за каждого юношу, который в это верит, — сказал он, — вот почему для меня это было ужасным ударом, но

я и с этим примирился, понимаешь, примирился. Почему ты так на меня смотришь?

— Должен попросить у тебя прощения,— сказал я,— когда я увидел тебя по телевизору, я подумал: какой великолепный актер. Даже немножко клоун.— Он посмотрел на меня подозрительно, немного обиженно, и я торопливо добавил: — Нет, правда, папа, ты был великолепен.— Я обрадовался, что наконец назвал его по-прежнему папой.

— Они меня просто вынудили взять на себя эту роль,— сказал он.

— И она тебе очень подошла,— сказал я,— и сыграл ты ее здорово.

— Ничего я не играл,— сказал он серьезно,— да мне и не нужно было играть.

— Плохо,— сказал я,— плохо для твоих противников.

— У меня нет противников,— сказал он возмущенно.

— Еще хуже для твоих противников,— сказал я.

Он опять посмотрел на меня с подозрением, но вдруг рассмехался и сказал:

— Нет, серьезно, я их не воспринимаю как противников.

— Тогда это еще куда хуже, чем я думал,— сказал я,— неужели все те, с кем ты беседуешь о деньгах, не знают, что самое главное умалчивается? Или вы обо всем договариваетесь, прежде чем вас выводят на голубой экран?

Он подлил себе коньяку, посмотрел на меня вопросительно.

— Но я хотел бы поговорить с тобой о твоём будущем.

— Минуточку,— сказал я,— меня просто интересует, как это делается. Вот вы всегда говорите о процентах: десять, двадцать пять, пятьдесят процентов, но никогда не говорите проценты от чего?

У него был какой-то глупый вид, когда он взял стакан с коньяком, выпил и посмотрел на меня.

— Я вот что хочу сказать,— продолжал я,— считать я никогда особенно не умел, но я знаю, что сто процентов с полупфеннига — это полпфеннига, а пять процентов с миллиарда — это пятьдесят миллионов. Ты меня понял?

— О боже! — сказал он.— Неужто у тебя есть время смотреть телевизор?

— Да,— сказал я,— с тех пор как случилась «эта история», как ты говоришь, я часто смотрю телевизор: от него внутри становится так пусто, даже приятно. Совсем пустеешь. А когда видишься с отцом раз в три года, приятно повидать его хотя бы на экране. Где-нибудь в пивной за кружкой пива, в темноте. Иногда я по-настоящему горжусь тобой, до того ловко ты избегаешь разговора о сумме, от которой считаешь проценты.

— Ты ошибаешься,— холодно сказал он,— ничего я не избегаю.

— Неужели тебе не скучно без противников?

Он встал, сердито посмотрел на меня. Я тоже встал. Мы оба

стояли за своими креслами, положив руки на спинки. Я рассмеялся и сказал:

— Меня как клоуна, естественно, интересуют всякие современные формы пантомимы. Как-то я сидел один в задней комнатке кабачка и выключил звук. Изумительно. Так сказать, проникновение чистого искусства в сферу экономики, в политику заработной платы. Жаль, что ты никогда не видел моего номера «Заседание наблюдательного совета акционерного общества».

— Вот что я тебе скажу,— сказал он,— я говорил о тебе с Геннехольмом. Просил его как-нибудь посмотреть твои выступления и дать мне... ну, какую-то оценку.

Меня вдруг одолела зевота. Это было невежливо, но непреодолимо, хотя я сознавал, сколь это предосудительно. Ночь я спал плохо, день провел ужасно. Но когда видишь своего отца впервые после трехлетнего перерыва и, в сущности, разговариваешь с ним всерьез впервые в жизни, то зевать при этом — самое неподходящее занятие. Я был очень взволнован, но устал как собака, и мне было досадно, что именно в такую минуту на меня напала зевота. Но самое имя — Геннехольм — действовало на меня как снотворное. Таким людям, как мой отец, всегда нужно *самое лучшее*: лучший в мире сердечник — Дромерт, лучший театральный критик Федеративной республики — Геннехольм, лучший портной, лучшее шампанское, лучший отель, лучший писатель. Очень это скучно. Я зевал до судорог, чуть не свернул челюсть. То, что Геннехольм — педераст, ничего не меняет, все равно при его имени меня берет зевота. Педерасты бывают довольно занятные, но как раз занятных людей я и нахожу скучными, особенно эксцентриков, а Геннехольм не только педераст, он еще и эксцентричен. Обычно он являлся на приемы, которые устраивала моя мама, и всегда норовил сесть поближе, так что дышал прямо тебе в лицо и ты волей-неволей участвовал в его последней кормежке. Четыре года назад, когда мы с ним последний раз виделись, от него пахло картофельным салатом, и от этого запаха его пурпурный жилет и рыжие мефистофельские усики уже не казались экстравагантными. Он был большой остряк, и все знали, какой он остроумный, поэтому ему вечно приходилось острить. Тяжелый хлеб!

— Прости, пожалуйста,— сказал я, когда удалось одолеть припадок зевоты,— так что сказал Геннехольм?

Отец был обижен. Он всегда обижается, когда даешь себе волю, и мой зевок задел его не субъективно, а объективно. Он покачал головой, как раньше, при виде моей фасоловой каши:

— Геннехольм следил за твоим развитием с большим интересом, он к тебе относится очень доброжелательно.

— Педерасты никогда не теряют надежды,— сказал я,— цепкий народец.

— Перестань! — резко сказал отец.— Радуйся, что тобой заинтересовался такой влиятельный и знающий человек.

— Я счастлив! — сказал я.



— Но у него накопилось множество возражений против того, что ты до сих пор делал. Он считает, что ты должен совершенно отказаться от линии Пьеро, что хотя у тебя есть способности к арлекинаде, но жаль тебя на это тратить, ну а в качестве клоуна ты, по его мнению, никуда не годишься. Для тебя будущее — это решительный поворот к искусству пантомимы... да ты, кажется, меня не слушаешь? — Голос его становился все резче.

— Что ты,— сказал я,— я слышу каждое слово, каждое твое умное, верное и точное слово, не обращай, пожалуйста, внимания, что я закрыл глаза.— Пока он цитировал Геннехольма, я прикрыл глаза. Это было такое облегчение, особенно потому, что можно было не смотреть на темно-коричневый комод, стоявший сзади отца, у стенки. Отвратительная вещь, чем-то напоминавшая школу, эта коричневая краска, черные пупыри, светло-желтый кантик по верхнему краю. Мари привезла этот комод из родительского дома.— Пожалуйста,— тихо сказал я,— говори же!

Я устал до смерти, у меня болела голова, болел живот, и я так судорожно вцепился в спинку кресла, что колено стало пухнуть еще больше. Под закрытыми веками передо мной стояло мое собственное лицо, каким я его тысячи раз видел в зеркале во время тренировок,— абсолютно неподвижное и сплошь покрытое белилами, даже ресницы не вздрагивают, даже брови, одни только глаза: я ими двигаю медленно-медленно из стороны в сторону, как испуганный кролик, чтобы добиться того эффекта, который критики вроде Геннехольма называют «потрясающей способностью передавать животную тоску». А теперь я мертв, на тысячи часов заперт наедине с моим лицом — и нет мне больше спасения в глазах Мари.

— Говори же,— сказал я.

— Он посоветовал мне направить тебя к одному из лучших педагогов. На год, на два, может быть, на полгода. Геннехольм считает, что ты должен сосредоточиться, заниматься, овладеть собой до такой степени, чтобы ты снова вернулся к наивности. А главное — тренировка, тренировка и тренировка, да ты меня слушаешь? — Голос у него, слава богу, стал мягче.

— Да,— сказал я.

— И я готов тебя финансировать.

У меня было такое чувство, будто больное колено стало толстым и круглым, как газовая колонка. Не открывая глаз, я ощупью добрался до кресла, как слепой, нашел на столе сигареты. Отец испуганно ахнул. Я так хорошо умею изображать слепого, что кажется, будто я ослеп. Я и себе показался слепым, а вдруг я таким и останусь? Я играл не просто слепого, а внезапно ослепшего человека, и, когда я наконец взял в рот сигарету, я почувствовал огонек отцовской зажигалки, почувствовал, как она дрожит.

— Мальчик,— сказал он испуганно,— ты болен?

— Да,— сказал я тихо, глубоко затянулся сигаретой и вдохнул дым,— я смертельно болен, но я не ослеп. Болит живот, болит

голова, болит колено, все больше растет чудовищная меланхолия, но самое скверное то, что я точно знаю: Геннехольм прав, прав, примерно процентов на девяносто пять, и я даже знаю, какие слова он дальше тебе сказал. Про Клейста говорил?

— Говорил,— сказал отец.

— Говорил он, что я сначала должен потерять свою душу, совершенно опустошиться и только тогда обрести ее вновь? Говорил?

— Да,— сказал отец,— откуда ты знаешь?

— Боже ты мой,— сказал я,— да знаю я все его теории, знаю, откуда он их выудил. Но душу свою я терять не намерен, наоборот, я хочу ее вернуть.

— А ты ее потерял?

— Да.

— Где же она?

— В Риме,— сказал я, открыл глаза и рассмеялся.

Видно, отец всерьез испугался, он был совсем бледный, совсем старый. Но он тоже рассмеялся с облегчением, хотя и немного раздраженно.

— Ах ты, шалопай! — сказал он.— Значит, ты все сыграл?

— К сожалению, не совсем,— сказал я,— да и сыграно не очень хорошо, Геннехольм сказал бы: слишком натуралистично, и был бы прав. Педерасты почти всегда правы, у них огромная интуиция, правда, больше у них ничего нет, но все-таки...

— Ах, шалопай! — сказал отец.— Как ты меня разыграл!

— Нет,— сказал я,— я тебя разыграл не больше, чем настоящий слепой тебя разыгрывает. Поверь мне, все эти ощущения, постукивания палкой вовсе не всегда обязательны. Многие слепые, настоящие слепые, еще к тому же играют слепых. Сейчас, на твоих глазах, я мог бы так прохромать отсюда к дверям, что ты бы закричал от боли и сострадания, немедленно вызвал бы врача, лучшего хирурга в мире, самого Фретцера. Хочешь? — Я уже встал.

— Перестань, прошу тебя,— сказал он огорченно, и я снова сел.

— Сядь и ты, пожалуйста,— сказал я,— пожалуйста, сядь, я страшно нервничаю, когда ты стоишь.

Он сел, налил себе минеральной воды и растерянно посмотрел на меня.

— Не пойму тебя никак,— сказал он,— дай же мне ясный ответ. Я оплачу твои занятия где захочешь — в Лондоне, в Париже, в Брюсселе, все равно. Чем лучше, тем лучше.

— Нет,— устало сказал я,— тут чем лучше, тем хуже. Никакие занятия мне не помогут, мне нужно только работать. Я уже учился, и в тринадцать и в четырнадцать лет, я до двадцати одного года учился. Вы этого только не замечали. И если Геннехольм думает, что мне еще есть чему учиться, так он глупее, чем я предполагал.

— Он специалист,— сказал отец,— лучшего я не знаю.

— Да у нас лучшего и нет,— сказал я,— но он специалист, и только, он разбирается в театре, в трагедии, в комедии *дель арте*, просто в комедии, в пантомиме. Но ты посмотри, какой скверный комедиант он сам, когда он вдруг является в лиловых рубашках с черной шелковой бабочкой. Любой дилетант постеснялся бы. То, что критики критикуют, еще не самое в них скверное, скверно то, что они по отношению к себе лишены всякого чувства юмора, всякой самокритики. Вот что неприятно. Конечно, он безусловный специалист, но неужели он думает, что после шести лет на сцене мне еще надо учиться,— какая чепуха!

— Значит, деньги тебе не нужны? — спросил отец. В его голосе звучало какое-то облегчение, мне это показалось подозрительным.

— Наоборот,— сказал я,— деньги мне очень нужны.

— А что ты будешь делать? Опять выступать при такой ситуации?

— Какой такой ситуации?

— Ну как же,— смущенно сказал он,— сам знаешь, что о тебе писали.

— Писали? — сказал я.— Да я три месяца выступал только в провинции.

— Но я все собрал,— сказал он,— я проработал эти рецензии с Геннехольмом.

— Фу, черт,— сказал я,— и сколько же ты ему за это заплатил?

Он покраснел.

— Перестань, пожалуйста,— сказал он,— так что же ты намерен делать?

— Тренироваться,— сказал я,— работать полгода, год, не знаю.

— Где?

— Тут,— сказал я,— а где же еще?

Он с трудом попытался скрыть испуг.

— Нет, я вам надоедать не буду и компрометировать вас не стану, я даже на ваши «журфиксы» не приду,— сказал я. Он покраснел. Раза два я заходил на их «журфиксы» просто так, как гость, не лично к ним. Я там пил коктейли, ел оливки, выпивал чаю и, уходя, так открыто прятал в карман их сигареты, что лакеи, заметив это, краснели и отворачивались.

— Брось,— сказал отец. Он поерзал в кресле. Видно, ему очень хотелось встать и подойти к окну. Но он только опустил глаза и сказал: — Мне было бы больше по душе, если бы ты выбрал наиболее верный путь, как советует Геннехольм. Мне гораздо труднее финансировать что-то неопределенное. Но разве ты ничего не скопил? Ведь ты, должно быть, неплохо зарабатывал все эти годы?

— Ни одного пфеннига я не скопил,— сказал я,— у меня есть одна, да, одна-единственная марка.— Я вынул эту марку из кар-

мана и показал ему. И он в самом деле наклонился и стал ее рассматривать, как редкое насекомое.

— Мне трудно тебе поверить,— сказал он,— во всяком случае, не я воспитал тебя мотом. Сколько же тебе нужно ежемесячно, как ты себе представляешь?

У меня забилося сердце. Никогда бы я не поверил, что он захочет мне так вот, непосредственно помочь. Я прикинул. Мне надо не много и не мало, но так, чтобы все-таки хватало на жизнь. Но я не имел ни малейшего представления, сколько мне может понадобиться. Надо платить за электричество, за телефон, жить тоже как-то нужно. Я вспотел от волнения.

— Прежде всего,— сказал я,— мне нужен толстый резиновый мат, во всю эту комнату, семь на пять, наверно, ты мне можешь достать его по дешевке, через вашу прирейнскую фабрику резиновых изделий.

— Отлично,— сказал он с улыбкой.— Это я даже могу тебе подарить. Значит, семь на пять, но ведь Геннехольм считает, что тебе не надо тратить время на акробатику.

— Я и не буду, папа,— сказал я,— но, кроме резинового мата, мне, наверно, нужна тысяча марок в месяц.

— Тысяча марок! — Он даже встал и так искренне испугался, что у него задрожали губы.

— Ну ладно,— сказал я,— а ты как думал? — Я понятия не имел, сколько у него денег. По тысяче марок в месяц — настолько-то я считать умею — составляет двенадцать тысяч в год, от такой суммы он бы не погиб. Ведь он был самый настоящий миллионер, это мне объяснял отец Мари, он все доказал мне с цифрами в руках. Я плохо помню подробности, но у отца всюду были акции, всюду «своя доля». Даже в этой самой фабрике резиновых изделий.

Он расхаживал за своим креслом, с виду спокойный, и шевелил губами, словно что-то подсчитывая. Может быть, он и вправду считал, только длилось это слишком долго. Мне опять вспомнилось, как низко они себя вели, когда я уехал из Бонна с Мари. Отец написал мне, что он, из моральных соображений, отказывается меня поддерживать и надеется, что я «своим трудом» смогу прокормить себя и «ту несчастную порядочную девушку, которую соблазнил». Мне, мол, известно, что он всегда с уважением относился к старику Деркуму, и как к противнику и как к человеку, и что все это — безобразная история.

Мы жили в пансионе в Кёльн-Эренфельде. Семьсот марок, которые Мари получила в наследство от матери, уже через месяц кончились, хотя у меня было чувство, что я очень бережливо и разумно их расходовал.

Жили мы близ Эренфельдского вокзала, из окон нашей комнаты мы видели красную кирпичную стену товарной платформы, в город приходили вагоны с каменным углем и уходили пус-

тые — утешительное зрелище, умилительный шум: сразу вспоминалось финансовое благополучие нашего семейства. Из ванной комнаты видны были цинковые шайки, веревки для белья, в темноте иногда слышно было, как шлепается пустая банка или бумажный пакет с мусором: кто-нибудь тайком выбрасывал его во двор. Часто, лежа в ванне, я пел псалмы, пока хозяйка не запретила мне петь — «не то люди подумают, что я прячу беглого патера», — а потом и вообще принимать ванну. Слишком я часто купался, она считала это излишней роскошью. Иногда она ворошила кочергой выброшенные пакеты с мусором, чтобы по содержанию определить, кто бросал: луковая шелуха, кофейная гуща, косточки от шницелей давали ей материал для сложнейших комбинаций, попутно дополняемых расспросами в зеленой и мясной, но всегда безуспешными. По мусору никак не удавалось определить личность виновника. Угрозы, которые она посылала в завешенное бельем небо, были сформулированы так, что каждый мог их принять на свой счет: «Меня не проведешь, я-то все знаю». По утрам мы всегда торчали в окне, подкарауливая почтальона — он иногда приносил нам посылочки от подруг Мари, от Лео, от Анны, изредка, через неопределенные промежутки, чеки от бабушки, но от родителей я получал только предложения «взять судьбу в собственные руки, своими силами преодолеть неудачи».

Потом мама даже написала, что она «исторгла меня из своего сердца». Она может быть безвкусна до полного идиотизма — это выражение она взяла из романа Шницлера «Разлад сердца». В этом романе родители «исторгают» дочку за то, что она отказывается произвести на свет дитя, зачатое от «благородного, но слабовольного художника», кажется актера. Мама дословно процитировала фразу из восьмой главы романа: «Совесть мне повелевает исторгнуть тебя из своего сердца». Видно, она сочла эту цитату подходящей. Во всяком случае, она меня «исторгла». Уверен, что она это сделала лишь потому, что таким путем спасала не только свою совесть, но и свой карман. Дома ждали, что я начну самоотверженно трудиться: поступлю на фабрику или на стройку, чтобы прокормить свою возлюбленную. И все были разочарованы, когда я этого не сделал. Даже Лео и Анна не скрывали своего разочарования. Они уже представляли себе, как я на рассвете, с бутербродами и судком, ухожу на работу, посылаю Мари в окно воздушный поцелуй, а вечером, «усталый, но довольный», возвращаюсь домой, читаю газету и смотрю, как Мари вяжет носки. Но я не делал ни малейшего усилия, чтобы претворить в жизнь придуманную ими картину. Я сидел с Мари, и Мари приятнее всего было, когда я оставался с ней. Тогда — больше, чем потом, — я чувствовал себя «художником», и мы старались осуществить наши ребяческие представления о «богеме»: на столе — бутылки из-под кьянти, на стенах — серый холст, разноцветные рожи. Даже сейчас я краснею от умиления, вспоминая тот год. Когда Мари ходила к хозяйке в конце недели с просьбой отсрочить плату за квартиру, та всегда начинала браниться и спра-

шивать, почему я не поступаю на работу. И Мари необыкновенно выразительно и приподнято говорила: «Мой муж художник, да, художник!» Я слышал, как она однажды крикнула с загаженной лестницы в открытую дверь хозяйкиной комнаты: «Да, художник!» — и хозяйка сиплым голосом отозвалась: «Ага, художник? И вам он — муж? Воображаю, как там в бюро регистрации радовались!» Больше всего ее злило, что мы обычно лежали в кровати до десяти, а то и до одиннадцати часов. У нее не хватало фантазии сообразить, что таким образом нам легче всего было экономить на еде и на электрической печурке, не знала она и того, что мне лишь около двенадцати разрешалось пойти тренироваться в зальце при церкви, потому что с утра там вечно что-нибудь происходило: то консультация для матерей, то занятия с конфирмантами, то курсы кулинарии, то совещания католических жилищных кооперативов. Мы жили неподалеку от церкви, в которой служил капелланом Генрих Белен, он мне и предоставил возможность тренироваться в этом зальце с подмостками и устроил нас в пансионе рядом. В то время многие католики очень хорошо к нам относились. Преподавательница кулинарных курсов при церкви всегда кормила нас всякими остатками, правда, обычно это был суп и пудинг, но изредка попадалось и мясо, а когда Мари помогала ей с уборкой, она совала ей то пачку масла, то фунтик сахара. Иногда она оставалась посмотреть, как я тренируюсь, помирала со смеху, а к вечеру варила мне кофе. Даже узнав, что мы не венчаны, она продолжала хорошо к нам относиться. По-моему, она и не рассчитывала, что артисты могут быть женаты «по-настоящему». Иногда, в холодные дни, мы приходили туда пораньше. Мари сидела на уроках кулинарии, а я забирался в раздевалку, поближе к электрической печке, и читал. Сквозь тонкую перегородку я слышал хихиканье в зальце, потом серьезные лекции про калории, витамины, калькуляцию, но, в общем, там, по-моему, было довольно весело. Только когда собирались на консультацию матери, нам не разрешалось появляться, пока все не расходилось. Молодая докторша, проводившая консультации, держала себя вполне корректно и любезно, но сурово и безумно боялась пыли, которую я подымал, носясь по сцене. Она утверждала, что пыль держится чуть ли не до следующего дня, и настояла, чтобы по крайней мере за сутки до консультации я не пользовался сценой. У Генриха Белена даже вышел скандал с его патером — тот вовсе и не знал, что я каждый день там тренируюсь, и предложил Генриху «не заходить слишком далеко в своей любви к ближнему». Иногда я вместе с Мари шел в церковь. Там было так тепло — я всегда садился поближе к отоплению — и очень тихо: уличный шум казался бесконечно далеким, и так приятно было, что церковь пустая — всего человек семь-восемь, и мне казалось, что я и сам принадлежу к этому тихому грустному семейству и делю с ним утрату чего-то родного, прекрасного в своем угасании. Кроме Мари и меня — одни старые женщины. И домашний голос Генриха Белена, прислуживавшего священнику, так

подходил к этой темной некрасивой церкви. Один раз я даже стал ему помогать: в конце мессы, в ту минуту, когда надо было переносить Священное писание справа налево, служба куда-то запропастился. Я сразу заметил, что Генрих вдруг замешкался, потерял ритм, и я торопливо подбежал, взял книгу справа, проходя мимо алтаря, встал на колени и перенес ее налево. Мне казалось невежливым не прийти Генриху на помощь. Мари покраснела до слез. Генрих улыбнулся. Мы с ним давно знакомы, в интернате он был капитаном футбольной команды, и гораздо старше меня. Обычно мы с Мари ждали Генриха у ризницы, он приглашал нас к завтраку, забирал в долг из лавчонки яйца, ветчину, кофе, сигареты и был счастлив, как мальчишка, когда его экономка болела.

Я вспоминал всех, кто нам помогал, в то время как мои домашние сидели на своих поганных миллионах, «исторгнув» меня и наслаждаясь своей моральной правотой.

Отец все еще расхаживал за креслом и что-то подсчитывал, шевеля губами. Я уже был готов объявить ему, что отказываюсь от его денег, но мне казалось, что я имею какое-то право получить от него хоть что-то, и не хотелось разыгрывать героя с одной маркой в кармане — я знал, что потом пожалею. Мне действительно нужны были деньги, нужны до зарезу, а он еще не дал мне ни пфеннига с тех пор, как я ушел из дому. Лео отдавал нам все свои карманные деньги, Анна иногда посылала домашнюю белую булку, позже даже мой дед подбрасывал понемножку денег: посылал чеки для безналичного расчета, то на пятнадцать, то на двадцать марок, а один раз по какой-то, мне до сих пор неизвестной причине на целых двадцать две марки. С этими чеками у нас всегда начинался чистый цирк: у хозяйки текущего счета в банке не было, у Генриха тоже, да и разбирался он в этих чеках не лучше нас. Первый чек он просто внес в банк, на текущий счет благотворительных сумм своего прихода, ему в сберегательной кассе объяснили, что такое чеки безналичного расчета на предъявителя, и он пошел к своему патеру и попросил выдать наличными пятнадцать марок, но патер чуть не лопнул от злости. Он объяснил, что наличными он ему ничего выдать не может, потому что надо будет отчитываться, куда израсходованы деньги, и вообще благотворительный счет дело щекотливое, его контролируют, и если он напишет: «Выдано столько-то капеллану Белену в оплату частного безналичного чека», то ему достанется, да и вообще счет прихода — не обменная касса для чеков «темного происхождения». Он может только принять этот чек как взнос на определенную цель, скажем на непосредственную помощь от Шнир-старшего Шниру-младшему, и потом выдать мне из благотворительного фонда наличными всю сумму. Это еще куда ни шло, хотя и не по правилам. В общем, прошло больше десяти дней, пока мы получили эти пятнадцать марок, потому что у Генриха была тысяча других дел, не мог же он целиком посвятить себя возне с моими чеками. Потом, получая от деда эти чеки, я каждый раз

страшно пугался. Это было черт знает что такое — деньги и вместе с тем не деньги, и ни разу он нам не прислал то, в чем мы так страшно нуждались,— просто деньги наличными. Наконец Генрих завел свой счет в банке, чтобы оплачивать наши чеки наличными, но он часто уезжал на два-три дня, а однажды, когда пришел чек на двадцать две марки, он на три недели уехал в отпуск, и мне с трудом удалось отыскать в Кёльне моего единственного друга детства Эдгара Винекена, занимавшего какой-то пост — кажется, пост референта по вопросам культуры СДПГ. Адрес его я нашел в телефонной книжке, но у меня не было двухгрошовой монетки, чтобы позвонить из автомата, и я прошел пешком из Кёльн-Эренфельда до Кёльн-Калька, не застал его дома и прождал до восьми вечера у дверей, потому что хозяйка отказалась впустить меня в его комнату. Жил он около очень большой и очень темной церкви на улице Энгельса (не знаю, может быть, он чувствовал себя обязанным жить именно на улице Энгельса, раз он был в СДПГ). Я совершенно вымотался, устал до смерти, проголодался, даже сигарет у меня не было, и я знал, что Мари сидит дома и беспокоится. К тому же и Кёльн-Кальк, и улица Энгельса, и близость химического завода — неутешительное окружение для меланхолика. Наконец я зашел в булочную и попросил хозяйку, стоявшую за прилавком, подарить мне булочку. Она была молодая, но какая-то потрепанная. Я подождал, пока лавка опустеет, быстро вошел и, не поздоровавшись, сказал: «Подарите мне булочку!» Я боялся — вдруг кто-нибудь войдет, но она посмотрела на меня, ее тонкие, бесцветные губы сначала сжались еще крепче, потом округлились, посвежели, она сунула в кулек три булочки и кусок пирога и молча подала мне. Кажется, я даже не поблагодарил ее, схватил кулек и выскочил вон. Я сел на ступеньки дома, где жил Эдгар, и стал есть булочки и пирог, время от времени ощупывая чек на двадцать две марки, лежавший у меня в кармане. Число «двадцать два» все-таки меня удивляло. Я все раздумывал, как оно получилось; может быть, это был остаток с какого-то счета, может, просто шутка, но, вероятнее всего, это была просто случайность, удивительно было лишь, что там стояла не только цифра «22», но и «двадцать два» прописью, и дедушка, наверное, все же что-то думал, когда писал. Но я так до сих пор и не знаю, в чем дело. Потом я обнаружил, что прождал Эдгара на улице Энгельса всего полтора часа; мне они показались вечностью, полной уныния: эти темные дома, эти испарения химической фабрики. Эдгар мне обрадовался. Он просиял, похлопал меня по плечу, провел в свою комнату, где висела огромная фотография Брехта, под ней — гитара и много небольших книжек на самодельной полке. Я слышал, как он за дверью бранил хозяйку за то, что она меня непустила, потом вернулся с бутылкой водки и, весь сияя, рассказал мне, что в театральном объединении он только что выиграл бой «у этих прохвостов из ХДС», а потом потребовал, чтобы я ему рассказал все, что со мной было с тех пор, как мы не виделись. Еще мальчишками мы с ним много лет подряд играли вместе.



Его отец был учителем плавания, а потом заведующим стадионом неподалеку от нашего дома. Я попросил избавить меня от рассказов, вкратце разъяснил ему, в каком я положении, и попросил оплатить мне чек. Он был бесконечно мил, сразу все понял, немедленно выдал мне тридцать марок, ни за что не хотел брать чек, как я его ни умолял. Я чуть не заплакал — так я просил его взять этот чек. Наконец, слегка обиженный, он его взял, и я его пригласил прийти к нам посмотреть, как я тренируюсь. Он проводил меня до остановки трамвая у калькской почты, но, когда я заметил на площади свободное такси, я помчался к машине, вскочил в нее и только издали увидел удивленное лицо Эдгара — растерянное, обиженное, бледное. Первый раз я позволил себе взять такси, но если уж кто заслужил поездку в такси, так это я в тот вечер. Мне было невыносимо трястись в трамвае через весь Кёльн, ждать целый час свидания с Мари. Такси стоило почти восемь марок. Я дал шоферу еще пятьдесят пфеннигов на чай и бегом взлетел на лестницу нашего пансиона. Мари с плачем бросилась мне на шею, и я тоже расплакался. Казалось, мы не виделись целый век и так переволновались, что в порыве отчаяния даже не могли целоваться, только шептали, что больше никогда, никогда, никогда не расстанемся — «пока смерть не разлучит нас», как прошептала Мари. Потом Мари «привела себя в порядок», как она говорила: подкрасилась, намазала губы, и мы пошли в кабачок на Венлоерштрассе, съели по две порции гуляша, купили бутылку красного и вернулись домой.

Но эту поездку на такси Эдгар так и не простил мне до конца. Потом мы с ним виделись часто, он даже еще раз выручил нас деньгами, когда у Мари сделался выкидыш. Сам он никогда не упоминал эту поездку в такси, но у него остался какой-то осадок, не пропавший до сих пор.

— Боже мой,— громко сказал отец, совершенно другим, незнакомым мне тоном,— говори же громче и открой глаза. Больше я на эти фокусы не попадусь.

Я открыл глаза и посмотрел на него. Он сердился.

— А разве я что-нибудь говорил? — спросил я.

— Да,— сказал он,— ты все время бормотал что-то под нос, я только два слова и мог разобрать: «поганные миллионы».

— А больше ты ничего понять и не можешь, да и не должен.

— И еще я понял слово «чек»,— сказал он.

— Да, да,— сказал я,— а теперь сядь и скажи мне, как ты себе примерно представлял ежемесячную поддержку в течение года.

Я подошел к нему, ласково взял за плечи и усадил в кресло. Он тут же встал, и мы так и остались стоять лицом к лицу, совсем близко.

— Я обдумал это дело со всех сторон,— сказал он тихо,— и если ты не желаешь принять мои условия, то есть получить

солидное, регулярное образование, а хочешь по-прежнему работать тут, то, в сущности... да, думаю, что двести марок в месяц тебе вполне достаточно.— Я был уверен, что он хотел сказать двести пятьдесят или даже триста, но в последнюю секунду выговорил двести. Очевидно, его испугало выражение моего лица, и он сказал с торопливостью, так не идущей к его изысканной внешности: — Геннехольм утверждает, что аскетизм — основа всякой пантомимы.

Я все еще молчал, только смотрел на него «пустыми» глазами, как клейстовская марионетка. Я даже не злился, до того я был удивлен, что эта моя с трудом заученная гримаса — пустые глаза — стала моим естественным выражением. А он, видно, нервничал, на верхней губе выступили капли пота. Но во мне проснулась прежде всего не злоба, не горечь и, уж конечно, не ненависть: мои пустые глаза медленно наполнялись состраданием.

— Милый папа,— сказал я тихо,— двести марок вовсе не так мало, как ты, по-видимому, думаешь. Это вполне приличная сумма, и спорить с тобой я не собираюсь, но знаешь ли ты хоть по крайней мере, что аскетизм — очень дорогое удовольствие, во всяком случае тот аскетизм, о котором говорит Геннехольм. Он имеет в виду диету, а не аскетизм — много постного мяса, всякие салаты. Конечно, самая дешевая форма аскетизма — голодание, но голодный клоун... впрочем, это лучше, чем пьяный клоун.— Я отстранился от него, неприятно было стоять так близко и видеть, как у него на губе все больше выступают крупные капли пота.— Слушай,— сказал я,— давай будем разговаривать, как подобает джентльменам, не о деньгах, а о чем-нибудь другом.

— Но ведь я действительно хочу тебе помочь,— сказал он упавшим голосом,— я охотно дам тебе и триста марок.

— Не хочу слышать о деньгах,— сказал я,— лучше я тебе расскажу, что было самым поразительным открытием моего детства.

— Что же? — сказал он и посмотрел на меня так, словно ждал смертного приговора. Наверно, он думал, что я стану говорить про его любовницу, для которой он выстроил виллу в Голдесберге.

— Спокойно, спокойно,— сказал я.— Да, ты удивишься, что самым поразительным открытием моего детства было то, что дома нам никогда не давали досыта пожрать.

Он передернулся, когда я сказал «пожрать», проглотил слюну, отрывисто рассмеялся и спросил:

— Ты хочешь сказать, что вы никогда не наедались досыта?

— Вот именно,— спокойно сказал я,— мы никогда не наедались досыта по-настоящему, по крайней мере у себя дома. Я до сих пор не понимаю, отчего так выходило — от скупости или из принципа, по-моему, если б вы делали это просто из скупости, оно было бы как-то лучше. Да знаешь ли ты вообще, что чувствует мальчишка после того, как он целый день катался на велосипеде, играл в футбол, купался в Рейне?

— Полагаю, что аппетит,— холодно сказал он.

— Нет,— сказал я,— голод. Да, черт побери, мы еще детьми знали, что мы богаты, страшно богаты, но от этого богатства нам ни черта не доставалось, даже поесть как следует не давали.

— Разве вам чего-нибудь не хватало?

— Да,— сказал я,— я же тебе говорю: не хватало еды, ну, и карманных денег тоже. Знаешь, чего больше всего хочется поесть ребенку?

— Бог мой! — сказал он испуганно.— Чего же?

— Картошки,— сказал я,— но мама уже тогда помешалась на похудании — сам знаешь, она всегда идет впереди своего времени,— и в доме у нас кишмя кишели всякие болтуны, каждый со своей теорией питания, но, к сожалению, ни в одной из этих теорий картошка никакой роли не играла. Прислуга на кухне иногда варила себе картошку, когда вас дома не было; картошку в мундире, с маслом, солью и луком, и они, бывало, будили нас, разрешали выйти на кухню в пижамах, брали с нас клятвенное обещание молчать и кормили картошкой до отвала. А по пятницам мы ходили в гости к Винекенам, у них всегда бывал картофельный салат, и матушка Винекен накладывала нам тарелку с верхом, побольше. И потом, у нас дома всегда было слишком мало хлеба в хлебнице, да и вообще, какая это была хлебница — жалкое зрелище, дрянь. Одни эти проклятые хрустящие хлебцы да несколько ломтиков булки, всегда сухой «из гигиенических соображений». А придешь к Винекенам, Эдгар принесет свежий хлеб, и его мать прижмет ковригу к груди левой рукой, правой режет свежие ломти, а мы их подхватываем и мажем яблочным повидлом.

Отец устало наклонил голову, я протянул ему сигареты, он выбрал одну, я дал ему прикурить. Мне было жаль его. Трудно, наверно, отцу впервые в жизни всерьез разговаривать с сыном, которому уже стукнуло двадцать восемь лет.

— Ну, и тысяча других вещей,— сказал я,— вроде лакричных леденцов, воздушных шариков. Мама считала, что воздушные шары — чистое транжирство. Согласен. Это чистое транжирство, но, чтобы пустить в воздух все ваши поганые миллионы в виде воздушных шаров, даже нашей расточительности не хватило бы. А эти дешевые леденцы, по поводу которых мама создавала необыкновенно мудрые теории запугивания, доказывала, что эти конфеты — яд, чистый, чистейший яд. Но вместо них она и не думала давать нам другие конфеты, неядовитые — нет, она просто нам никаких конфет не давала. В интернате всегда удивлялись,— добавил я тише,— что из всех мальчиков только я один никогда не ворчал из-за еды, наоборот — съедал все дочиста да еще похваливал.

— Ну вот видишь,— сказал он устало,— значит, и в этом были свои хорошие стороны.— Голос его звучал не очень уверенно и совсем невесело.

— О да,— сказал я,— да, мне совершенно ясна теоретическая

и педагогическая ценность такого воспитания, но в том-то и дело, что тут была и теория, и педагогика, и психология, и химия, а в результате — чудовищная озлобленность. У Винекиных я сразу видел, когда получают деньги — по пятницам, и у Шнигиных и у Холлератов всегда бывало заметно по первым числам или по пятнадцатым, когда отец приносил получку, тут каждому перепало что-нибудь лишнее — кусок колбасы потолще или пирожное, а матушка Винекин утром в пятницу даже ходила в парикмахерскую — ведь вечером... Ну, ты, наверно, сказал бы «вечер посвящался богине Венере».

— Что? — крикнул отец. — Неужели ты хочешь сказать... — Он покраснел и взглянул на меня, неодобрительно качая головой.

— Да, да, — сказал я, — вот именно. В пятницу после обеда детей отсылали в кино. А перед кино им еще позволяли пойти поесть мороженого так, чтобы их не было дома по крайней мере часа три с половиной, когда мать приходила от парикмахера, а отец приносил в конвертике получку. Сам знаешь, у рабочих квартирки тесные.

— То есть как? — сказал отец. — Как, неужели ты хочешь сказать, что вы знали, зачем детей посылают в кино?

— Конечно, не совсем, — сказал я, — главное я понял уже задним числом, когда вспоминал об этом, а еще позже я понял, почему она всегда так трогательно краснела, когда мы приходили из кино и садились есть картофельный салат. Потом, когда он стал заведовать стадионом, все изменилось, видно, он больше бывал дома. А я, еще мальчишкой, замечал, что она вечно чего-то стеснялась, и только потом мне стало ясно, чего именно. Что же им еще было делать в квартире, где одна большая комната с кухней и трое детей?

Отец был так потрясен, что я испугался: наверно, ему сейчас разговор о деньгах покажется пошлым. Наша встреча представлялась ему трагедией, но уже начинала доставлять какое-то удовольствие, в плане «благородного страдания», а если ему это переживание придется по вкусу, то трудно будет опять перевести разговор на те триста марок в месяц, которые он мне предложил. С деньгами было то же самое, что и с «плотским вождением». Никто об этом откровенно не говорил, откровенно не думал: либо оно, как сказала Мари о «плотском вождении» священников, «сублимировалось», либо считалось вульгарным, и никто не воспринимал деньги как то, что они в данный момент могли дать, — еду, такси, коробку сигарет или номер с ванной.

Но отец явно страдал, это было заметно и очень огорчительно. Он отвернулся к окну, вынул носовой платок и вытер слезы. Никогда прежде я не видел, чтобы он плакал и пользовался носовым платком по-настоящему. Каждое утро ему давали два свежесглаженных носовых платка, и вечером он их бросал в корзинку у себя в ванной, слегка измятыми, но совершенно чистыми. Было время, когда мама, ради экономии, вела с ним бесконечные дискуссии о том, не может ли он носить с собой носовые платки

хотя бы два-три дня. «Все равно ты ими не пользуешься, они у тебя и не пачкаются по-настоящему, а ведь надо же чувствовать свою ответственность перед обществом, перед народом». Она намекала на кампанию «Долой расточительство» и «Береги каждый грош». Но отец — и это был единственный случай на моей памяти — энергично запротестовал и настоял, чтобы ему по-прежнему каждое утро выдавалось два свежих носовых платка. Но я на нем никогда не видел ни пылинки, ни капельки влаги, ничего такого, чтобы понадобилось пустить в ход платок. А теперь он стоял у окна и вытирал не только слезы, но и более вульгарную влагу — пот с верхней губы. Я вышел на кухню, потому что он все еще плакал, даже слышно было, как он раза два всхлипнул. А человек не любит, если кто-то видит, как он плачет, и я подумал, что собственный сын, которого почти не знаешь, самый неподходящий свидетель. Сам я знал только одного человека, при котором я мог плакать, — Мари, и я не знал, мог ли отец плакать при своей любовнице, такая ли она была. Я ее видел только раз, мне она показалась очень милой, красивой и не без приятности глупенькой, но слышал я о ней очень много. Родственники изображали ее корыстной и жадной до денег, но у наших родственников всякий, у кого хватало бесстыдства напоминать, что человеку надо хоть изредка есть, пить и покупать обувь, считался корыстным. А уж тот, кто считает жизненно необходимыми сигареты, теплые ванны, цветы и вино, — тот имеет все шансы войти в семейную хронику как «безумный расточитель». Я мог себе представить, что любовница дорого стоит: должна же она покупать себе чулки, платья, платить за квартиру, да еще всегда быть в хорошем настроении, а это возможно только при «совершенно прочном финансовом положении», как выразился бы мой отец. Когда он приходил к ней со смертельно нудных заседаний правления акционерных обществ, она непременно должна была быть веселой, душистой, только что от парикмахера. Я не мог себе представить, чтобы она была такой уж корыстной. Наверно, она просто очень дорого стоила, а в нашей родне это было равнозначно жадности и корысти. Когда садовник Хенкельс, помогавший иногда нашему кучеру, вдруг с удивительной скромностью намекнул, что плата подсобным рабочим «вот уже года три» как стала много выше того, что он у нас получает, моя мать два часа визгливо разглагольствовала о «корыстолюбии и жадности некоторых людей». Как-то она дала почтальону на Новый год двадцать пять пфеннигов на чай и возмутилась, найдя на следующее утро в почтовом ящике конверт с этими деньгами и с запиской: «Не хватает духу ограбить вас на такую сумму, уважаемая». Разумеется, у нее был знакомый в министерстве связи, и она тут же нажаловалась ему на этого «корыстного, наглого человека».

На кухне я торопливо обошел лужу разлитого кофе, прошел в ванную, вытащил из ванны пробку и тут же вспомнил, что впервые за много лет, лежа в ванне, я не пел акафист пресвятой деве.

Тихонько мурлыкая "Tantum Ergo", я стал постепенно смывать душем остатки мыла со стенок ванны. Я попробовал было затянуть акафист, мне всегда нравилась эта еврейская девушка Мириам, иногда я даже начинал в нее верить. Но и акафист не помогал — должно быть, он был слишком уж католическим, а я был зол на католиков и на весь католицизм. Я решил позвонить Генриху Белену и Карлу Эмондсу. С Карлом Эмондсом я не разговаривал после того ужасного скандала, который разразился два года назад, а писем мы друг другу никогда не писали. Он поступил по отношению ко мне подло, и, главное, по совершенно идиотскому поводу: я вбил сырое яйцо в молоко для его младшего сына, годовалого Грегора — меня с ним оставили, когда Карл и Сабина ушли в кино, а Мари в свой «кружок». Сабина мне велела в десять часов подогреть молоко, налить в бутылочку и дать Грегору, а так как мальчишка мне показался очень бледным и щупленьким (он даже не плакал, а просто жалобно скулил), то я решил, что гоголь-моголь из яйца с молоком ему пойдет на пользу. Пока грелось молоко, я носил его на руках по кухне и приговаривал: «А что мы сейчас дадим нашему малышу, что мы ему дадим вкусное — мы ему дадим яичко, вот что!» — ну и так далее, а потом выпустил яйцо, взбил его хорошенько в миксере и вылил Грегору в молоко. Остальные дети Карла уже крепко спали, нам с Грегором никто не мешал, и, когда я ему дал бутылочку, у меня создалось впечатление, что ему было очень вкусно. Он улыбался и сразу заснул, даже не пикнул. А когда Карл пришел из кино и увидел яичную скорлупу на кухне, он вошел в гостиную, где я сидел с Сабиной, и сказал: «Вот хорошо, что ты себе сварил яичко!» Но я сказал, что вовсе не сам съел яйцо, а дал его Грегору, и тут поднялась настоящая буря: ругань, вопли. С Сабиной началась форменная истерика, она кричала мне: «Убийца!» Карл орал на меня: «Бродяга, сутенер проклятый!» — и я так взбесился, что назвал его «тупоумным буквоедом», схватил пальто и вылетел из их дома. Он мне еще вопил сверху: «Нахал безответственный!», а я ему кричал снизу: «Мещанин! Истеричка! Трясогузка несчастная!» А ведь я очень люблю детей, прекрасно умею их нянчить, особенно малышей, и не могу себе представить, чтобы яйцо повредило годовалому ребенку, но то, что Карл обозвал меня «сутенером», обидело меня больше, чем Сабинино «убийца». В конце концов, можно многое простить испуганной матери, но Карл-то отлично знал, что я вовсе не сутенер. Вообще наши отношения были до глупости напряжены, потому что он в глубине души считал мой «свободный образ жизни» просто «великолепным», а меня в глубине души привлекал его мещанский быт. Никогда я не мог заставить его понять, до чего смертельно однообразна моя жизнь, как педантично все в ней шло: поездка, отель, тренировка, выступление, игра в «братец-не-сердись», бутылка пива — и до чего меня привлекал его образ жизни, именно из-за мещанского благополучия. А к тому же он был уверен, что мы не хотим иметь детей, и выкидыши Мари ему казались «подозрительными».

Он и не знал, как нам хотелось иметь ребенка. А теперь, несмотря на нашу ссору, я послал телеграмму с просьбой позвонить мне, но не собирался просить у него взаймы. С тех пор у него уже родился четвертый ребенок, и с деньгами было туговато.

Я еще раз сполоснул ванну, тихо вышел в прихожую и заглянул в столовую. Мой отец уже обернулся лицом к столу и больше не плакал. Красный нос, мокрые морщинистые щеки делали его похожим на любого старика, промерзшего и до странности бесцветного, почти что глупого. Я налил немного коньяку, подал ему стакан. Он взял его, выпил. Но до странности глупое выражение лица не изменилось, и в том, как он допил коньяк и протянул мне стакан с беспомощной мольбой в глазах, было какое-то старческое слабоумие, раньше я никогда в нем этого не замечал. Он походил на человека, который уже ничем, совершенно ничем не интересуется, кроме детективных романов, вин определенной марки и плоских острот. Мятый мокрый платок он просто положил на стол, и это невероятное для него нарушение хорошего тона я воспринял как своеобразное выражение упрямства — словно у непослушного ребенка, которому тысячу раз внушали, что носовых платков на стол не кладут. Я ему налил еще немного коньяку, он выпил и сделал движение, которое только и могло означать: «Пожалуйста, подай мне пальто». Но я на это не реагировал. Мне надо было как-нибудь снова навести его на разговор о деньгах. Но я не мог придумать ничего умнее, чем вынуть мою единственную марку из кармана и начать жонглировать этой монеткой: я покати ее вдоль вытянутой правой руки, а потом таким же путем обратно.

Он улыбнулся этому трюку довольно вымученной улыбкой. Я подбросил марку почти до потолка, поймал ее, но отец только снова жестом показал мне: «Пожалуйста, подай пальто». Я еще раз подбросил марку, поймал ее носком туфли и поднял высоко, чуть ли не к самому его носу, но он только раздраженно передернулся и проворчал:

— Перестань!

Пожав плечами, я вышел в прихожую, снял его пальто, шляпу с вешалки. Он уже стоял наготове, я помог ему надеть пальто, поднял перчатки, выпавшие из шляпы, подал ему. Он опять чуть не заплакал, смешно передернул носом и губами и шепотом спросил:

— Неужели у тебя не найдется для меня ласкового слова?

— Что ты, — сказал я, — помнишь, ты так ласково положил мне руку на плечо, когда эти идиоты меня судили, а потом, помнишь, как ты спас жизнь матушке Винекен, когда тот слабоумный майор чуть не пристрелил ее, это было так мило с твоей стороны.

— А-а, — сказал он, — а я уже почти все позабыл.

— Вот видишь, — сказал я, — с твоей стороны это особенно мило — взять и забыть, а вот я не забыл.

Он посмотрел на меня с немой мольбой — не называть имени

Генриетты, и я не назвал, хотя и собирался спросить его, почему он не был настолько мил, чтобы запретить ей эту увеселительную поездку в ПВО. Я кивнул головой, и он понял: о Генриетте я говорить с ним не буду. Сам же он наверняка сидел на заседаниях правления, рисовал человечков на промокашке, а иногда — букву «Г» и еще раз эту букву, а может быть, иногда и все ее имя полностью: Генриетта. Он был не виноват, только в нем сидела какая-то тупость, из-за нее он не воспринимал трагедий, а может быть, это и являлось предпосылкой для трагедий. Я его не понимал. Он был такой изящный, такой тонкий, седовласый, такой добрый с виду, а ведь он не послал мне даже милостыни, когда мы с Мари очутились в Кёльне. Откуда у этого милого, любезного человека, моего отца, столько твердости, столько силы, зачем он говорит с телевизионного экрана такие речи о долге перед обществом, о государственной сознательности, о Германии, даже о христианстве, хотя он, по собственному признанию, неверующий, — да еще так говорит, что всех заставляет верить ему. Наверно, тоже ради денег — не тех, конкретных, на которые покупают молоко, ездят в такси, содержат любовницу и ходят в кино, а ради денег отвлеченных, абстрактных. Я боялся его, а он — меня; мы оба знали, что мы не реалисты, и мы оба презирали тех, кто говорил о «реальной политике». Все было много серьезнее, дуракам этого никак не уразуметь. По его глазам я понял: не может он давать свои деньги клоуну, который с деньгами может сделать одно — истратить их, то есть именно то, что надо делать с деньгами. И я знал, что, дай он мне хоть целый миллион, все равно я его истрачу, а для него всякая трата денег была равносильна расточительству.

Пока я сидел на кухне и в ванной, чтобы дать ему выплакаться наедине, я еще надеялся, что его все это потрясет и он подарит мне крупную сумму, без всяких дурацких условий, но теперь я видел по его глазам, что этого он сделать не мог. Он не был реалистом, и я тоже, мы оба знали, что другие люди во всей своей ограниченности только реалисты, глупые, как все марионетки: тысячу раз они хватаются за свой воротник и все же не обнаруживают нитки, на которой пляшут.

Я еще раз кивнул, чтобы окончательно его успокоить; ни про деньги, ни про Генриетту я говорить не собирался, но про нее я подумал как-то не так, в каком-то неподходящем духе, я вдруг представил ее себе такой, какой она была бы сейчас: тридцать три года, уже разведена с каким-то коммерсантом. Но я не мог себе представить, что она будет участвовать во всей этой пошлости, флиртовать, ходить в гости, «держаться христианской церкви», торчать во всяких комитетах и «быть особенно любезной с этими социал-демократами, иначе у них чувство неполноценности станет еще сильнее». Я мог ее представить себе только отчаянной бунтаркой, наверно, она делала бы то, что реалисты считают снобизмом, потому что у них самих фантазии не хватает. Например, вдруг вылить коктейль за шиворот одному из бесчисленных «ди-



ректоров» или врезаться на своей машине прямо в «мерседес» какого-нибудь разъяренного сверхлицемера. Чего бы она только не наделала, особенно если бы не умела рисовать картинки или делать масленочки на гончарном станочке. Наверно, она не хуже меня чувствовала бы повсюду, где ощущаются хоть какие-то признаки жизни, ту невидимую стену, за которой деньги перестают быть тем, что можно тратить, и становятся неприкасаемыми, существуя только в виде символической цифры, хранимой, как святыня.

Я пропустил отца к выходу. Он снова вспотел, и мне стало его жалко. Я торопливо выбежал в столовую, схватил грязный носовой платок со стола и сунул ему в карман. От мамы можно ожидать больших неприятностей, если при ежемесячной проверке белья она вдруг чего-нибудь недосчитается: обязательно обвинит прислугу в воровстве или разгильдяйстве.

— Может, вызвать такси? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — пройдусь немного пешком. Шофер меня ждет у вокзала. — Он прошел мимо меня, я открыл двери, проводил его до лифта и нажал кнопку. И тут я еще раз вынул свою марку, положил на протянутую правую ладонь и стал ее рассматривать. Отец отвернулся, словно ему стало противно, и покачал головой. Я подумал: неужели он не может хотя бы вынуть бумажник и дать мне пятьдесят или сто марок, но душевная боль, собственное благородство и ощущение своего трагического положения вознесли его на такие высоты сублимации, что всякая мысль о деньгах вызвала отвращение, а разговор о них казался кощунством. Я открыл перед ним дверцу лифта, он обнял меня, вдруг шмыгнул носом, хихикнул и сказал: — А от тебя и впрямь пахнет кофе, да, жаль, жаль, я бы с удовольствием сварил тебе отменный кофе — это я действительно умею. — Он отпустил меня, вошел в лифт, и, прежде чем лифт стал опускаться, я увидел, как он нажал кнопку и хитровато усмехнулся. Я постоял, посмотрел, как вспыхивают цифры: четыре, три, два, один, потом красный огонек потух.

## 16

Когда я вернулся к себе и запер двери, я понял, что поступил очень глупо. Надо было принять его предложение сварить мне кофе и задержать его еще немного. А в решительную минуту, когда он подал бы кофе и, радуясь своему умению, стал бы наливать его, мне надо было бы сказать: «Ну, давай деньги!» — или «Ну, выкладывай денежки!» В решающий момент всегда надо действовать примитивно, по-варварски. Тут просто говорится: «Вам достанется половина Польши, нам — половина Румынии. Да, кстати, не угодно ли взять две трети Силезии или хватит половины? Вы получите четыре министерских кресла, а мы — концерт Фикфок». Какой я болван — поддался и его настроению, и своему,

а надо было прямо хватать его за бумажник. Надо было просто с самого начала заговорить о деньгах, обсудить с ним вопрос о деньгах, о мертвом, скованном, абстрактном капитале, который для множества людей — вопрос жизни и смерти. «Вечно эти деньги!» — испуганно восклицала моя мать в любых обстоятельствах, даже когда мы просто просили тридцать пфеннигов на тетрадку. Вечные деньги. Вечная любовь.

Я вышел в кухню, отрезал ломоть хлеба, намазал маслом, потом вернулся в столовую и набрал номер Белы Брозен. Я надеялся, что отец в таком состоянии — его, наверно, знобило от волнения — пойдет не домой, а к своей любовнице. Глядя на нее, можно было предположить, что она его уложит в постель, даст грелку, напоит горячим молоком с медом. А у моей матери была проклятая привычка: если человек себя плохо чувствовал, она ему говорила, что надо взять себя в руки, собрать всю волю, а с недавних пор она вообще считает холодный душ «единственным лекарством».

— Квартира Брозен, — сказала она, и мне понравилось, что от нее ничем не пахнет. Голос у нее был чудесный, низкий альт, теплый и ласковый.

Я сказал:

— Шнир, Ганс, вы меня помните?

— Помню ли? — сказала она сердечно. — Ну конечно, еще бы! И я так вам сочувствую. — Я не понял, о чем она говорит, и сообразил, только когда она продолжала: — Поймите одно — все критики такие глупые, тщеславные, самовлюбленные.

Я вздохнул.

— Если бы я этому поверил, мне стало бы легче.

— А вы поверьте, и все! — сказала она. — Просто поверьте. Вы не представляете себе, как тут помогает железное упорство — заставить себя верить, и все.

— А вдруг меня кто-нибудь из них похвалит, что тогда?

— О-оо! — Она рассмеялась, и из этого «о» спирально пошла вверх прелестная колоратура. — Тогда просто верьте, что вашего критика впервые в жизни одолела честность и он позабыл всю свою самовлюбленность.

Я рассмеялся. Я не знал, назвать ли мне ее просто Бела или госпожа Брозен. Мы ведь были почти незнакомы, а такого справочника, в котором можно найти, как обращаться к любовнице своего отца, вообще не существует. В конце концов я сказал «госпожа Бела», хотя эта актерская манера обращения показалась мне особенно идиотской.

— Госпожа Бела, — сказал я, — я попал в жуткий переплет. Отец был у меня, мы говорили о чем угодно, но я никак не мог поговорить о деньгах — ну никак! — Тут я почувствовал, что она покраснела, я считал ее вполне честным человеком, верил, что ее отношения с отцом основаны на «искренней любви» и «денежные дела» ей неприятны. — Выслушайте меня, пожалуйста, — сказал я, — забудьте то, о чем вы сейчас думаете, не стыдитесь, ведь

я только прошу вас, если отец заговорит с вами обо мне, я хочу вас попросить, не можете ли вы внушить ему, что я страшно нуждаюсь в деньгах. В наличных деньгах. И немедленно — я совершенно без гроша. Вы меня слушаете?

— Да,— сказала она так тихо, что я перепугался. Потом я услышал, как она всхлипывает.— Вы считаете меня скверной женщиной, Ганс,— сказала она и уже откровенно расплакалась,— продажной тварью, каких много. Ну конечно, что же вам еще думать! О-оо-о...

— Ничего похожего! — сказал я громко.— Никогда я вас такой не считал, честное слово, никогда.— Я боялся, что она начнет говорить о своей душе, о душе моего отца — судя по ее неудержимому рыданию, в ней было немало сентиментальности, можно было ждать, что она и о Мари заговорит.— Напротив,— сказал я не совсем уверенно, мне показалось подозрительным, что она уж слишком пренебрежительно отозвалась о «продажных тварях».— Напротив,— сказал я,— я всегда был убежден в вашем благородстве и ни разу не подумал о вас плохо.— Это была правда.— И кроме того,— тут я хотел назвать ее по имени, но не хватило духу еще раз выговорить отвратительно фамильярное «Бела»,— кроме того, мне уже под тридцать. Вы меня слышите?

— Да,— всхлипнула она и опять зарыдала там, у себя в Голдесберге, как будто сидела в исповедальне.

— Постарайтесь внушить ему одно — мне нужны деньги.

— Мне кажется,— сказала она усталым голосом,— что неудобно заговорить с ним об этом так, прямо. Все, что касается его семьи, вы понимаете, это для нас табу, но есть другой подход.— Я промолчал. Ее рыдания перешли в тихие всхлипы.— Иногда он дает мне деньги для нуждающихся коллег,— сказала она,— тут мне предоставляется полная свобода, так вот, не считаете ли вы, что было бы вполне естественно, если бы я отдала эту небольшую сумму вам, как коллеге, который испытывает в данный момент нужду?

— Я действительно коллега, который испытывает нужду, и не только в данный момент, но по крайней мере на полгода вперед. Но скажите, пожалуйста, что вы называете «небольшой суммой»?

Она кашлянула, еще раз протянула «о-оо!» — на этот раз без колоратуры — и сказала:

— Обычно я получаю взнос для совершенно определенной помощи нуждающимся: если кто-то умирает, или болеет, или у женщины ребенок — понимаете, речь идет не о постоянной помощи, а, так сказать, о временной поддержке.

— А сколько? — спросил я.

Она ответила не сразу, и я попытался представить себе, какая она сейчас. Я ее видел пять лет назад, когда Мари силой затащила меня в оперу. Госпожа Брозен пела партию крестьянской девушки, соблазненной неким графом, и тогда я был поражен вкусом моего отца. Это была особа среднего роста, пышущая здоровьем, явная блондинка, с классически «волнующейся» грудью; прислоняясь то

к изгороди, то к крестьянской телеге и, наконец, опираясь на вилы, она старалась своим красивым сильным голосом выразить порывы простой души.

— Алло! — крикнул я. — Алло!

— О-оо! — протянула она, и ей опять удалось пустить колоратуру, хоть и очень слабенькую. — Вы так прямо ставите вопрос.

— В моем положении иначе нельзя, — сказал я. Мне стало не по себе. Чем дольше она не отвечала, тем меньше становилась сумма, которую она собиралась назвать.

— Видите ли, — сказала она наконец, — суммы колеблются примерно от десяти до тридцати марок.

— А если какой-нибудь ваш коллега попал в особенно затруднительное положение: скажем, сильно расшибся и нуждается в поддержке в течение нескольких месяцев, примерно марок по сто в месяц?

— Милый мой, — сказала она тихо, — неужто вы хотите, чтобы я шла на обман?

— Совсе нет, — сказал я, — я действительно расшибся, а потом, разве мы с вами не коллеги, не артисты?

— Попробую, — сказала она, — но не знаю, клюнет ли он на это.

— Что? — крикнул я.

— Не знаю, удастся ли мне так изобразить это дело, чтобы убедить его. Фантазии у меня мало.

Этого она могла бы и не говорить, мне и так уже казалось, что более глупой бабы я в жизни своей не видел.

— Скажите, а что, если бы вы попробовали устроить мне ангажемент в здешний театр, конечно на выходные роли. Могу неплохо играть комиков.

— Нет, нет, мой милый Ганс, — сказала она, — мне и так не по нутру вся эта интрига.

— Ну хорошо, — сказал я, — скажу вам только одно: я с радостью приму самую маленькую сумму. До свидания и большое вам спасибо! — Я положил трубку, прежде чем она успела еще что-то сказать.

У меня было смутное предчувствие, что из этого источника никогда ничего не капнет. Слишком она была глупа. И тон, каким она сказала «клюнет», вызвал во мне подозрение. Вполне возможно, что она эту «лепту» для нуждающихся коллег просто клала себе в карман. Мне было жаль отца, хотелось бы, чтобы любовница у него была и красивая и умная. Я все еще жалел, что не дал ему возможности сварить мне кофе. Эта дура отпетая, наверно, улыбалась и втайне качала головой, как недовольная учительница, когда он у нее в квартире уходил на кухню варить кофе, а потом лицемерно восхищалась и хвалила его за этот кофе, как хвалят собаку, когда она подает поноску. Я был страшно зол, отошел от телефона к окну, распахнул его настежь и выглянул на улицу. Я боялся, что в конце концов придется прибегнуть к помощи, предложенной Зоммервильдом. Вдруг я выхватил свою единственную марку,

швырнул ее на улицу и в ту же секунду раскаялся, посмотрел ей вслед, ничего не увидел, но мне показалось, что я услышал, как она упала на крышу проходящего трамвая. Я взял со стола хлеб с маслом и съел его, все еще глядя на улицу. Было больше восьми, уже два часа, как я приехал в Бонн, уже поговорил по телефону с шестью так называемыми друзьями, говорил с матерью, отцом, и у меня не только не прибавилось ни одной марки, но стало на марку меньше, чем до приезда. Я охотно спустился бы вниз, поднял марку с мостовой, но стрелки часов приближались к половине девятого, и Лео мог каждую минуту позвонить или прийти.

Мари хорошо, она теперь в Риме, в лоне своей церкви, обдумывает, в каком платье ей пойти на аудиенцию к папе. Цюпфнер доставит ей фотографию Жаклин Кеннеди, и ему придется купить ей испанскую мантилью и вуаль, потому что, в сущности говоря, Мари теперь была чем-то вроде first lady германского католицизма. Я решил тоже поехать в Рим и выпросить аудиенцию у папы. В нем самом было что-то от мудрого старого клоуна, да ведь и образ Арлекина родился в Бергамо<sup>1</sup>; надо будет получить об этом подтверждение от Геннехольма — он все знает. А папе я объясню, что, собственно говоря, мой брак с Мари разбился из-за всяких официальных брачных формальностей, и я его попрошу рассматривать меня как своего рода противоположность Генриху Восьмому: он был верующим полигамистом, а я — неверующий моногамист. Я ему расскажу, сколько самодовольства и низости в немецких «ведущих» католиках, пусть ему не втирают очки. Покажу ему два-три номера, что-нибудь изящное, легкое, вроде «Ухода в школу и возвращения домой», только своего «Кардинала» показывать не буду: он может обидеться, ведь он сам раньше был кардиналом, а уж его-то я меньше всего хотел бы обидеть.

Вечно я становлюсь жертвой собственной фантазии: я так ясно представил себе аудиенцию у папы, видел, как я становлюсь на колени и прошу благословить меня, неверующего, а у дверей стоит папская гвардия и какой-нибудь благосклонный, но несколько презрительно улыбающийся монсеньер, — и все это я представил себе до того ясно, что сам чуть не поверил, будто я уже был у папы. У меня, наверно, появится искушение рассказать Лео, как я был у папы, имел у него аудиенцию. Да я и был в эту минуту у папы: видел его улыбку, слышал его красивый крестьянский голос и рассказывал ему, как деревенский дурачок из Бергамо стал Арлекином. Но в этих вопросах Лео очень строг, он вечно называет меня луном. Лео всегда приходил в бешенство, когда я, встречаясь с ним, спрашивал: «А ты помнишь, как мы с тобой распилили ту деревяшку?» Он сразу начинал кричать: «Да никакой деревяшки мы с тобой не распиливали!» И он по-своему, по-глупому, прав, хотя это не имеет никакого значения. Тогда Лео было лет шесть-семь, а мне лет восемь-девять, и он нашел в конюшне кусок дерева, видно обломок

---

<sup>1</sup> Итальянский городок, где создалась легенда о том, как бродячий акробат развлекал своими фокусами мадонну с младенцем.

какого-то забора, и там же он нашел заржавленную пилу и стал меня упрашивать распилить с ним этот обломок. Я спросил его, зачем нам пилить эту дурацкую деревяшку, но он ничего объяснить не мог, ему просто хотелось попилить, и все, но я сказал, что это форменная глупость, и Лео проревел с полчаса; а потом, лет через десять, когда мы сидели на уроке немецкой литературы у патера Вунибальда и говорили о Лессинге, мне вдруг посреди занятий без всякого повода стало понятно, чего хотел Лео: ему просто-напросто хотелось пилить, именно в ту минуту, когда ему пришла охота, и пилить вместе со мной. И вдруг, через десять лет, я его понял, пережил и его радость, и ожидание, и волнение — все, что он испытывал в ту минуту, пережил настолько явственно, что тут же, на уроке, начал делать такие движения, словно пилил пилой. Я представлял себе покрасневшее от радости мальчишеское лицо Лео напротив меня и двигал ржавую пилу к нему, он — ко мне, но тут патер Вунибальд вдруг дернул меня за волосы, чтобы «привести в сознание». С тех пор я считаю, что в самом деле пилил с Лео эту деревяшку, но ему этого не понять. Он реалист. Теперь он уже не может понять, как иногда хочется немедленно сделать то, что кажется явной глупостью. Даже моей матери иногда непреодолимо хочется сделать что-то сию минуту: поиграть у камина в карты, собственноручно заварить на кухне яблочный чай. Наверно, ей вдруг просто хочется сесть за наш красиво отполированный стол красного дерева, поиграть в карты в счастливом семейном кругу. Но всегда, когда ей приходила охота, ни у кого из нас охоты не было; и начинались сцены, она притворялась «непонятой матерью», настаивала, заставляла нас «выполнять свой долг послушания», четвертую заповедь, но потом понимала, что это будет весьма среднее удовольствие — играть с детьми, которые идут на это лишь из чувства долга, — и, расплакавшись, уходила к себе. Иногда она пробовала нас подкупить, обещала угостить нас чем-нибудь «особенно вкусеньким», и опять все кончалось слезами; такие вечера мама нам устраивала довольно часто. Она не знала, отчего мы так упорно сопротивляемся, но та семерка червей еще осталась в колоде, и при каждой игре мы вспоминали Генриетту, однако никто об этом не говорил, а потом, припоминая ее тщетные попытки изобразить у камина «счастливое семейство», я мысленно играл с ней в карты, хотя те игры, в которые можно играть вдвоем, — ужасно скучная штука. Но я действительно играл с ней в «66» и в «войну», пил яблочный чай, даже клал туда мед, а мама, шутливо грозя мне пальцем, разрешала взять сигарету, а где-то в глубине комнаты Лео играл свои этюды, и при этом все мы, даже прислуга, догадывались, что отец сейчас «у той женщины». Видно, Мари каким-то образом узнала про эти мои «выдумки», потому что она всегда смотрела на меня с сомнением, когда я что-нибудь ей рассказывал, а ведь того мальчишку на вокзале в Оснабрюкке я видел *на самом деле*. Но иногда со мной бывает и наоборот: то, что я переживаю *на самом деле*, мне кажется неправдоподобным или нереальным. Например, тот случай, когда я поехал в молодежный кружок Мари, чтобы побеседовать с девуш-

ками о пресвятой деве. И то, что другие называют фактографией, мне кажется сплошной фикцией.

## 17

Я отошел от окна, потеряв всякую надежду найти свою марку в уличной грязи, и пошел на кухню намазать еще один бутерброд. Еды в доме оставалось не очень много: еще одна банка фасоли, банка слив (слив я не люблю, но Моника знать об этом не могла), полхлеба, полбутылки молока, четвертушка кофе, пяток яиц, три ломтика сала и тюбик с горчицей. На столе в комнате лежало еще четыре сигареты в пачке. Я чувствовал себя настолько худо, что уже потерял надежду когда-нибудь начать тренировку. Колено до того распухло, что брюки стали узки, голова так болела, что боль казалась нечеловеческой — сверлящая, неумная боль; на душе был сплошной мрак, такого со мной еще не бывало, и тут еще мучило «плотское вожделение», а Мари была в Риме. Мне нужна была она, ее руки у меня на груди. Как сказал однажды Зоммервильд, у меня «зоркое и точное ощущение физической красоты», и я люблю смотреть на красивых женщин вроде моей соседки госпожи Гребзель, но никакого «плотского вожделения» я к этим женщинам не испытываю, и большинство женщин на это обижаются, хотя, если бы я испытывал желание и попытался бы его удовлетворить, они, конечно, стали бы звать полицию. Удивительно сложная и жестокая штука это самое «плотское вожделение»: для мужчин-полигамистов это, наверно, вечное мучение, а для однолюбов вроде меня — постоянный повод для скрытой невежливости, потому что большинство женщин считают обидным, если не чувствуют в мужчине того, что они называют «эросом». Даже госпожа Блотерт, такая стойкая, такая набожная, тоже немножко обижалась. Иногда я понимаю тех «злодеев», про которых так много пишут в газетах, но, когда я представляю себе, что есть такая вещь, как «супружеский долг», меня берет страх. Жуткие дела происходят, наверно, в таком браке, когда церковь и государство заставляют женщин делать «это» по принуждению. Разве можно предписывать человеку жалость? Надо было бы и об этом поговорить с папой. Его наверняка неправильно информируют. Я намазал себе еще один бутерброд, вышел в прихожую и вытащил из кармана пальто вечернюю газету, я ее купил в поезде из Кёльна. Иногда и вечерняя газета помогает: от нее я тоже становлюсь совсем пустой, как от телевизора. Я перелистал газету, просмотрел заголовки и вдруг напал на заметку, которая меня рассмешила. Доктор Герберт Калик награжден крестом за особые заслуги. Калик — тот самый юнец, который донес на меня, обвинил в пораженчестве и во время суда настаивал на жестоком, беспощадно жестоком наказании. Это у него появилась гениальная идея мобилизовать сиротский приют на битву до победного конца. Я знал, что теперь он сделался важной шишкой. В вечерней газете было сказано, что этот крест он полу-

чил «за заслуги по демократическому воспитанию юношества».

Года два назад он пригласил меня к себе помириться. Не знаю, должен ли я был простить его за то, что Георг, сирота из приюта, погиб при упражнениях с ручными гранатометами, или за то, что он донес на меня, десятилетнего мальчишку, обвинил в пораженьчестве и настаивал на жестоком, беспощадно жестоком наказании. Но Мари считала, что нельзя «пренебрегать попыткой примирения», и мы купили цветов и поехали к нему. Он жил в красивой вилле, почти у самого Айфеля, с красивой женой и с тем, кого они с гордостью называли «наш единственный». Жена у него из тех красивых женщин, про которых толком не поймешь — живые они или заводные. Все время, что я сидел с ней рядом, меня так и подмывало схватить ее за руку или за плечи, даже, может быть, за ноги и проверить: а вдруг она и вправду кукла. Весь ее вклад в светскую беседу сводился к двум фразам: «Ах, какая прелесты!» и «Ах, какая гадосты!». Сначала она мне показалась скучной, но потом я страшно увлекся и стал ей рассказывать всякую чушь про монетки, которые бросают в автомат, — мне просто хотелось посмотреть, как она будет реагировать. Когда я сказал, что у меня недавно умерла бабушка — кстати, это неправда, потому что бабушка умерла лет двенадцать назад, — она сказала: «Ах, какая гадосты!» — а по-моему, про чью-то смерть можно сказать много глупостей, но уж никак не «какая гадосты!».

Потом я ей рассказал, что некий Хумело (которого никогда на свете не было — я его тут же выдумал, чтобы запустить в автомат что-нибудь положительное), что этот самый Хумело получил доктора наук гонорис кауза, и она сказала: «Ах, какая прелесты!» Но когда я ей стал рассказывать, что мой брат Лео принял католичество, она на секунду замялась, мне и это показалось уже каким-то признаком жизни, потом взглянула на меня своими огромными пустыми кукольными глазами, словно пытаясь, к какой категории я сам отношу это событие, и затем сказала: «Гадость, правда?» Все-таки мне удалось извлечь из нее какой-то вариант обычных ее выражений. Я ей предложил отбросить всякие восклицания и говорить просто: «Гадосты!» или «Прелесты!» — и она хихикнула, положила мне еще спаржи и только потом сказала: «Ах, какая прелесты!» Наконец, мы в тот вечер познакомились и с их «единственным» — пятилетним бутузом, который мог бы хоть сейчас выступать в рекламах по телевидению. Все эти штучки прямо с рекламы зубной пасты: «Спокойной ночи, мамочка! Спокойной ночи, папочка!» — «Шаркни ножкой» — сначала перед Мари, потом передо мной. Удивительно, что телевизионная реклама его еще не открыла. Когда мы уселись у камина с кофе и коньяком, Герберт заговорил о «великих временах, в которые мы живем». Потом он принес шампанского и расчувствовался. Он попросил у меня прощения, даже встал на колени, чтобы я ему дал, как он выразился, «светское отпущение грехов»; я хотел было просто дать ему пинка в зад, но вместо этого взял со стола нож для сыра и торжественно посвятил его в рыцари демократии. Его жена воскликнула: «Ах,



какая прелесть!» — и, когда Герберт, растроганный до глубины души, уселся, я произнес речь о «жидовствующих янки». Я сказал, что некоторое время думали, будто фамилия Шнир происходит от «шноррен», то есть «попрошайничать», но потом было доказано, что она произведена от слова «шнайдер», или «шнидер», то есть «портной», а не от слова «попрошайка» и что я не еврей и не янки, — и тут вдруг, сам того не ожидая, я дал Герберту по морде, потому что вспомнил, как он велел нашему школьному товарищу Гёцу Бухелю представить доказательства своего арийского происхождения и Гёц попал в очень неприятное положение — мать у него была итальянка, родом из какой-то южноитальянской деревушки, а достать оттуда какие-нибудь сведения о его бабушке, хотя бы отдаленно подтверждавшие ее арийское происхождение, оказалось абсолютно невозможным, тем более что деревня, где родилась мать Гёца, к тому времени уже была занята «жидовствующими янки». Тяжкие, опасные для жизни недели пришлось пережить и госпоже Бухель и Гёцу, пока одному из учителей Гёца не пришла мысль обратиться к специалисту по расовым вопросам из Боннского университета. Тот установил, что Гёц «чистый, абсолютно чистый образец романской расы», однако Герберт Калик тут же выдумал другую чушь: все итальянцы — предатели, и бедный Гёц до самого конца войны не знал ни одной спокойной минуты. Это мне и вспомнилось, когда я попытался произнести речь о «жидовствующих янки», — и я просто отвесил Калику здоровую затрещину, швырнул в камин свой бокал с шампанским и нож для сыра, схватил Мари за руку и выбежал из их дома. Такси нигде не было, пришлось довольно далеко идти пешком, до остановки автобуса. Мари плакала и все время повторяла, что я поступил не по-христиански и не по-человечески, а я сказал, что я не христианин и что исповедальня для меня еще не открыта. Она спросила, неужто я сомневаюсь, что он, то есть Герберт, стал демократом, и я сказал: «Да нет же, вовсе не то, просто я его не выношу и никогда выносить не смогу».

Я взял телефонный справочник и стал искать номер Калика. У меня как раз было подходящее настроение поболтать с ним по телефону. Я вспомнил, что после той истории я еще раз встретил его у нас дома, на «журфиксе», и он посмотрел на меня умоляюще и покачал головой — в эту минуту он беседовал с каким-то раввином об «утонченности еврейского интеллекта». Мне было жаль этого раввина. Он был очень старый, с белоснежной бородой, очень добрый и такой безобидный, что мне стало как-то неспокойно. Разумеется, Герберт рассказывал всем новым знакомым, что он был нацистом и антисемитом, но что «история открыла ему глаза». Между тем он еще в самый канун прихода американцев в Бонн проводил с ребятами учения в нашем парке и говорил им: «Как увидишь первую жидовскую свинью, так и швыряй!» Что меня задевало на «журфиксах» моей матери, это полнейшая наивность возвратившихся эмигрантов. Их так трогало все это раскаяние, все эти громогласные признания в любви к демократии, что они

готовы были со всеми брататься и обниматься. Они не понимали, что секрет всего этого ужаса — в мелочах. Раскаиваться в серьезных проступках легче легкого: в политических ошибках, в супружеской измене, убийствах, антисемитизме, но кто может простить, кто может понять мелочи? То, как Брюль и Герберт Калик взглянули на моего отца, когда он положил мне руку на плечо, и как Герберт Калик, вне себя от бешенства, стучал костяшками пальцев по столу, впившись в меня оловянными глазами, требовал жестокости, беспощадной жестокости, или же как он схватил Гёца Бухеля за шиворот и, несмотря на слабые протесты учителя, вытащил его на середину класса, говоря: «Взгляните на него — чем не жид?» У меня в памяти слишком много разных моментов, деталей, мелочей, да и глаза у Герберта ничуть не изменились. Мне стало жутко, когда я увидел, что этот старый, немножко простоватый раввин настроен так миролюбиво, стоит с ним рядом, принимает от него коктейли и слушает его трепотню про «утонченность еврейского интеллекта». Эмигрантам и невдомек, что нацистов почти не посылали на фронт и перебили там главным образом совсем других людей, убили, например, Губерта Книпса, который жил рядом с Винекенами, и Гюнтера Кремера, сына пекаря, и, хотя они и были вожаками гитлерюгенда, их послали на фронт потому, что они не проявляли «политической бдительности», не желали шпионить и доносить. А вот Калика на фронт не послали, он-то за всеми шпионил, как и сейчас шпионит. Он прирожденный шпик. Все было совершенно по-другому, чем представляли себе эмигранты. Они только и умеют делить людей на две категории — виновные и невиновные, нацисты и ненацисты.

Иногда в лавку к отцу Мари заходил крайсляйтер Киренхан, запросто брал из ящика пачку сигарет, без талонов и без денег, садился на прилавок перед отцом Мари и говорил: «Ну, Мартин, а что, если мы тебя упрячем в уютный, маленький, совсем не страшный концлагерь?»

И отец Мари ему отвечал: «Свинья свиньей и останется, а ты всегда был такой». Они знали друг друга чуть ли не с шести лет. Киренхан начинал злиться и говорил: «Мартин, не забывайся, не заходи слишком далеко». И отец Мари отвечал: «Я еще дальше зайду: ну-ка, убирайся отсюда!» И Киренхан говорил: «Ну, уж я постараюсь, чтоб тебя засадили не в хороший, а в самый скверный концлагерь». Так они препирались изо дня в день, и отца Мари, наверно, схватили бы, если бы сам гауляйтер не «простер над ним длань милосердия», взяв его под свою защиту по неизвестной нам причине — мы так ничего и не узнали. Разумеется, он не над всеми простирает свою длань, во всяком случае не над кожевником Марксом, не над коммунистом Крупе. Их прикончили. А гауляйтер сейчас живет припеваючи, у него свое строительное дело. Мари как-то встретила его, и он сказал, что ему «жаловаться нечего». Отец Мари всегда говорил мне: «Ты сможешь понять весь ужас этих нацистских времен, если представишь себе, что я действительно был обязан жизнью такой скотине, как этот гауляйтер, да еще

должен был впоследствии письменно подтвердить, что я ему этим обязан».

Я уже нашел номер каликовского телефона, но не решался ему позвонить. Я вспомнил, что завтра мамин «журфикс». Можно было бы пойти туда и хотя бы набрать, за счет моих родителей, полные карманы сигарет, соленого миндаля, взять с собой два мешочка — для маслин и для печенья с сыром, а потом обойти гостей с шапкой и провести сбор «в пользу нуждающегося члена семьи». Однажды, когда мне было лет пятнадцать, я провел такой сбор «на особые цели» и набрал около ста марок. У меня даже угрызений совести не было, когда я истратил эти деньги на себя, а если я завтра проведу сбор «в пользу нуждающегося члена семьи», то тут даже никакой лжи не будет: я действительно нуждающийся член семьи. А потом можно было бы пройти на кухню, поплакать Анне в жилетку и стащить хвостик колбасы. Все идиоты, собравшиеся у мамы, воспримут мое выступление как изумительную шутку, даже маме придется с кисло-сладкой миной принять эту шутку — и никто не будет знать, что все это совершенно серьезно. Ни черта эти люди не понимают. Они, конечно, знают, что клоун должен выглядеть меланхоликом, если он хороший клоун, но то, что у него меланхолия может быть всерьез, — до этого они никак не додумаются. У мамы на «журфиксе» я встречу их всех: Зоммервильда и Калика, либералов и социал-демократов, шесть президентов всяких обществ, даже людей из противоатомной лиги (мама целых три дня была борцом против атомной бомбы, но, когда один из президентов чего-то такого разъяснил ей, что последовательная борьба против атомной бомбы приведет к катастрофическому падению акций, она в ту же минуту — буквально в ту же минуту! — помчалась к телефону, позвонила в комитет и «отмежеввалась»). А потом — конечно, перед уходом, после того как я обойду всех со шляпой, — я бы дал Калику по морде, обозвал Зоммервильда ханжой и лицемером и обвинил бы присутствующего члена Союза католиков-мирян в подстрекательстве к супружеской измене и прелюбодеянию.

Я снял палец с диска и не позвонил Калику. Мне только хотелось у него узнать, преодолел ли он уже свое прошлое, как у него насчет сопричастности власти и не может ли он просветить меня по вопросу о «еврейском интеллекте». В свое время Калик делал доклад на собрании гитлерюгенда под названием: «Макиавелли, или Попытка сопричаститься власти». Я мало что понял в этом докладе, кроме того, что сам Калик «откровенно и безоговорочно становился на сторону сильной власти», но по лицам других представителей гитлерюгенда я видел, что даже на их вкус он перехватил. Калик почти и не говорил о Макиавелли, а все больше о Калике, и по физиономиям других вождей гитлерюгенда без слов было видно, что эта речь им кажется явным бесстыдством. В газетах часто читаешь про таких людей — про растлителей. Калик был просто политическим растлителем, и там, где он выступал, оставались растленные души.

Я радовался, что пойду на «журфикс». Наконец-то мне хоть что-нибудь перепадет из богатства моих родителей — маслины, соленый миндаль, сигареты, — наберу сигарет побольше, целыми пачками, а потом продам по дешевке. И я сорву орден с Калика и дам ему по морде. По сравнению с ним даже моя мать казалась мне человеком. Когда я с ним в последний раз встретился в прихожей родительского дома, он грустно взглянул на меня и сказал: «У каждого человека есть шанс на прощение, христиане называют его милосердием». Я ему ничего не ответил. В конце концов, я же не христианин. Мне вспомнилось, как он тогда в своем докладе говорил об «эросе жестокости» и о макиавеллизме пола. Как вспомню этот его сексуальный макиавеллизм, так мне становится жаль проституток, к которым он ходит, не меньше, чем замужних женщин, связанных супружеским повиновением с каким-нибудь развратником. И я подумал обо всех молоденьких и хорошеньких девчонках, чья судьба — делать то, к чему у них нет никакой охоты, либо с Каликом за деньги, либо с мужем — бесплатно.

## 18

Вместо номера Калика я набрал номер той лавочки, где учится Лео. Должны же они когда-нибудь кончить еду, дожевать все эти салаты, полезные для понижения сексуальной возбудимости. Я обрадовался, услышав тот же знакомый голос. Сейчас там курили сигару и капустный дух чувствовался меньше.

— Говорит Шнир, — сказал я, — помните?

Он засмеялся.

— Конечно! — сказал он. — Надеюсь, вы не приняли мои слова буквально и не сожгли своего Августина?

— А как же, — сказал я, — конечно, сжег. Разорвал всю книжку и сунул в печку страницу за страницей.

Минуту он молчал.

— Вы шутите, — хрипло сказал он.

— Нет, — сказал я, — в таких делах я очень последователен.

— Господи помилуй! — сказал он. — Неужели вы не поняли диалектики моих высказываний?

— Нет, — сказал я, — я натура прямая, честная, несложная. А что там с моим братцем? Скоро ли эти господа соблаговолят закончить свою трапезу?

— Только что подали десерт, — сказал он, — теперь уже недолго.

— А что им дали? — спросил я.

— На сладкое?

— Да.

— Собственно, я не должен говорить, но вам скажу. Сливовый компот со сбитыми сливками. Вы любите сливы?

— Нет, — сказал я, — я питаю необъяснимое и вместе с тем непреодолимое отвращение к сливам.

— Вам надо было бы прочесть статью Хоберера об идиосинкразиях. Все связано с очень-очень ранними переживаниями — обычно еще до рождения. Очень интересно. Хоберер обследовал подробнейшим образом восемьсот случаев. Вы, наверно, меланхолик?

— Откуда вы знаете?

— По голосу слышно. Вам надо бы помолиться и принять ванну.

— Ванну я уже принял, а молиться не умею,— сказал я.

— Очень жаль,— сказал он.— Придется подарить вам нового Августина. Или Кьеркегора.

— Он у меня есть,— сказал я,— скажите, не можете ли вы передать брату еще одну просьбу?

— С удовольствием.

— Скажите, чтоб захватил с собой денег. Сколько может.

Он что-то забормотал, потом громко сказал:

— Я все записал. Принести денег сколько может. Вообще вам надо было бы почитать Бонавентуру. Это великолепно — и пожалуйста, не презирайте девятнадцатый век. У вас такой голос, словно вы презираете девятнадцатый век.

— Правильно,— сказал я,— я его ненавижу.

— Это заблуждение,— сказал он,— чепуха. Даже архитектура была не так плоха, как ее изображают.— Он рассмеялся.— Лучше подождите до конца двадцатого века, а потом уже можете ненавидеть девятнадцатый. Вы не возражаете, если я пока что доем свой десерт?

— Сливы? — спросил я.

— Нет,— сказал он и тоненько засмеялся.— Я попал в немилость и теперь получаю не с господского, а со служебного стола. Сегодня на сладкое пудинг. Но зато...— он, очевидно, уже набрал в рот пудинга, проглотил, хихикнул и продолжал: —...зато я им тоже отомстил. Я часами говорю по междугородному телефону с одним старым коллегой в Мюнхене, он тоже был учеником Шелера. Иногда звоню в Гамбург, в справочную кинотеатров, иногда в Берлин, в бюро погоды,— это я так мшу. При автоматических соединениях можно звонить бесконтрольно.— Он снова съел ложку пудинга, хихикнул и шепотом сказал: — Церковь-то богатая. От нее просто смердит деньгами, как от трупа богача. А бедные покойники хорошо пахнут. Вы это знаете?

— Нет,— сказал я. Я чувствовал, как проходит головная боль, и рисовал красный кружок вокруг номера семинарии.

— Вы неверующий, правда? Нет, не отрицайте, я по голосу слышу, что вы неверующий. Угадал?

— Да,— сказал я.

— Это не важно, совершенно не важно,— сказал он,— у пророка Исаии есть одно место, которое апостол Петр даже цитирует в Послании к Римлянам. Слушайте внимательно: «Но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают».— Он злорадно захихикал.— Вы меня поняли?

— Да,— сказал я вяло.

Он громко сказал:

— Ну, доброй ночи, господин директор, доброй ночи! — и повесил трубку. Под конец в его голосе прозвучало злорадное подобоострастие.

Я подошел к окну, посмотрел на часы, висевшие на углу. Было почти половина десятого. Что-то долго они там едят, решил я. С Лео я поговорил бы с удовольствием, но сейчас мне важно было только получить от него денег в долг. Постепенно я стал понимать всю серьезность своего положения. Иногда я не знаю, что правда: то ли, что я пережил осязаемо и реально, или то, что на самом деле со мной произошло. У меня все как-то перепутывается. Например, я не мог бы поклясться, что видел того мальчишку, в Оснабрюкке, но я мог бы дать клятву, что пилил деревяшку с Лео. Не мог бы я и клятвенно подтвердить, что ходил пешком к Эдгару Винекену в Кёльн-Кальк, чтобы обменять дедушкин чек на наличные. Это нельзя доказать даже тем, что я так хорошо помню все подробности — зеленую кофточку булочницы, подарившей мне булочки, или дыры на пятках у молодого рабочего, который прошел мимо, когда я сидел на ступеньках, дожидаясь Эдгара. Но я был абсолютно уверен, что видел капельки пота на верхней губе у Лео, когда мы с ним пилили деревяшку. Помнил я и все подробности той ночи, когда у Мари в Кёльне сделался первый выкидыш. Генрих Белен устроил мне несколько выступлений в молодежном клубе по двадцать марок за вечер. Обычно Мари ходила туда со мной, но в тот вечер осталась дома — она плохо себя чувствовала, и, когда я вернулся поздно вечером с девятнадцатью марками чистой прибыли в кармане, я нашел пустую комнату, увидел на неоправленной постели простыню в кровавых пятнах и нашел на комодке записку: «Я в больнице. Ничего страшного. Генрих все знает». Я сейчас же помчался к Генриху, и его брюзга экономка сказала, в какой больнице лежит Мари, я побежал туда, но меня не пустили, им пришлось искать в больнице Генриха, звать его к телефону, и только тогда монахиня-привратница пустила меня. Было уже половина двенадцатого ночи, и, когда я наконец вошел в палату к Мари, все было кончено, она лежала в постели совсем белая и плакала, а рядом сидела монахиня и перебирала четки. Монахиня продолжала спокойно молиться, а я держал руку Мари, пока Генрих тихим голосом пытался ей объяснить, что станет с душой существа, которое она не могла родить. Мари как будто была твердо убеждена, что дитя — так она его называла — никогда не попадет в рай, потому что оно не было крещено. Она все повторяла, что оно останется в чистилище, и в ту ночь я впервые узнал, каким ужасающим вещам учат католиков на уроках закона божьего. Генрих чувствовал себя совершенно беспомощным перед страхами Мари, и именно эта его беспомощность показалась мне утешительной. Он говорил о милосердии господнем, которое, «конечно, больше, чем чисто юридический образ мысли теологов».

И все это время монахиня молилась, перебирая четки. А Мари — она проявляет необычайное упрямство в вопросах религии — все время спрашивала, где же проходит диагональ между учением церкви и милосердием божьим. Я помню именно это слово — «диагональ». В конце концов я вышел из палаты, мне казалось, что я изгой, совершенно лишний. Я остановился у окна в коридоре, закурил и стал смотреть на автомобильное кладбище по ту сторону каменной стены. Стена была сплошь покрыта предвыборными плакатами: «Доверься СДПГ», «Голосуйте за ХДС». Очевидно, они хотели этими своими несусветными глупостями испортить настроение тем больным, которые нечаянно выглянут из окна и увидят эту стену. «Доверься СДПГ» — нет, это просто гениально, это почти литературный шедевр по сравнению с тупостью тех, кто считает, что на плакате достаточно написать: «Голосуйте за ХДС». Было уже около двух часов ночи, и потом я как-то поспорил с Мари — видел ли я на самом деле то, что я увидел, или нет. Слева подошел бродячий пес, обнюхал фонарь, потом плакат СДПГ, потом плакат ХДС, помочился на этот плакат и неторопливо побежал дальше в переулок направо, где стояла сплошная темень. Потом, когда мы вспоминали эту унылую ночь, Мари всегда спорила со мной насчет пса, и даже если она признавала, что он «взаправду» был, то спорила, что он помочился именно на плакат ХДС. По ее словам, я настолько подпал под влияние ее отца, что, даже не сознавая, что это ложь или искажение истины, буду утверждать, будто пес «сделал свинство» по отношению к плакату ХДС, хотя бы это и был плакат СДПГ. А ведь ее отец куда больше презирал СДПГ, чем ХДС, и то, что я видел, я видел.

Было уже почти пять утра, когда я проводил Генриха домой, и по дороге, когда мы проходили Эренфельд, он бормотал, указывая на двери: «Все из моей паствы, из моей паствы!» Потом — визгливый голос его экономки, сердитый окрик: «Это еще что такое?» Я пошел домой и тайком в ванной выстирал простыню в холодной воде.

Эренфельд, поезда, груженные углем, веревки для белья, запрещение принимать ванну, иногда по ночам угрожающий шорох пакетов с мусором, летящих мимо наших окон, как неразорвавшиеся снаряды. Шорох замирал после шлепка об землю, только иногда яичная скорлупа шуршала по камням.

Генрих опять поцапался из-за нас со своим патером, он хотел взять денег из благотворительной кассы, но я еще раз пошел к Эдгару Винекену, а Лео прислал нам часы, чтобы мы их заложили. Эдгар выпросил для нас в рабочей кассе взаимопомощи немножко денег, и мы по крайней мере смогли заплатить за лекарства, за такси и половину денег за лечение.

Я думал о Мари, о монахине, перебиравшей четки, о слове «диагональ», о собаке, предвыборных плакатах, автомобильном кладбище — и о своих руках, закоченевших от стирки простыни, но я не мог поклясться, что все это было. Не мог я и утверждать, что тот человек в семинарии Лео только что рассказывал мне,

как он исключительно ради того, чтобы нанести денежный убыток церкви, звонит по телефону в берлинское бюро погоды, а ведь я сам слышал это, как слышал его чавканье и причмокивание, когда он ел свой пудинг.

## 19

Не раздумывая и не зная, что я ей скажу, я набрал номер Моники Сильвс. Только прогудел первый сигнал, как она уже подняла трубку и сказала:

— Алло!

Мне стало легче от одного ее голоса. Он такой умный, такой сильный. Я сказал:

— Это Ганс, я только хотел...— Но она перебила меня и сказала:

— Ах, это вы...

Ничего обидного, ничего неприятного в ее словах не было, но мне стало ясно, что она ждала не моего звонка, а чьего-то другого. Может быть, она ждала звонка подруги или матери, но я все-таки обиделся.

— Я только хотел поблагодарить вас,— сказал я.— Вы были так добры.— Я чувствовал ее духи «Тайга», или как они там называются, слишком терпкие для нее.

— Мне так жаль,— сказала она,— вам, наверно, очень плохо приходится.— Я не знал, о чем она: о рецензии Костерта, которую, очевидно, читал весь Бонн, или о свадьбе Мари, или о том и другом вместе.— Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросила она тихо.

— Да,— сказал я,— приезжайте ко мне, пожалуйста мою бедную душу и мое бедное колено — оно страшно распухло.

Она промолчала. Я ждал, что она сразу скажет: «Хорошо»,— и мне было не по себе при мысли, что она действительно вдруг приедет. Но она только сказала:

— Сегодня я не могу, я жду гостей.

Ей надо было бы сразу сказать, кого она ждет, хотя бы добавить: приятеля или приятельницу. От слова «гости» мне стало тоскливо. Я сказал:

— Ну, тогда хоть завтра, мне, наверно, придется полежать не меньше недели.

— Но, может быть, я могу еще что-нибудь сделать для вас, помочь вам как-нибудь по телефону.— Она сказала это таким тихим голосом, что у меня появилась надежда: наверно, «гости» — это просто какая-нибудь подруга.

— Да,— сказал я,— вы мне можете сыграть мазурку Шопена. В-dur, опус седьмой.

Она рассмеялась и сказала:

— Ну и выдумщик! — При звуках ее смеха я впервые поколе-



бался в своей моногамии.— Я не очень люблю Шопена,— сказала она,— и плохо его играю.

— Пустяки! — сказал я.— Это не имеет значения. Ноты у вас есть?

— Кажется, где-то были,— сказала она.— Минутку.— Она положила трубку на стол, и я услышал, как она вышла из комнаты. Прошло несколько минут, пока она вернулась, и я вспомнил, как Мари мне рассказывала, что даже у святых бывали подружки. Конечно, только в духовном смысле, но все же духовную сторону всего *этого* они от них получали. А у меня и того не было.

Моника снова взяла трубку.

— Да,— сказала она со вздохом,— вот все мазурки.

— Пожалуйста,— сказал я,— сыграйте мне эту мазурку, B-dur, опус седьмой, номер один.

— Но я много лет не играла Шопена, надо хоть немного поупражняться.

— Может быть, вы не хотите, чтобы ваши гости слышали, как вы играете Шопена?

— О-оо! — Она рассмеялась.— Пусть слушают!

— Это Зоммервильд? — спросил я очень тихо и, услышав ее удивленный возглас, продолжал: — Если это действительно он, стукните его крышкой рояля по голове.

— Он этого не заслужил,— сказала она,— он к вам прекрасно относится.

— Это мне известно,— сказал я,— я даже ему верю, но было бы приятнее, если у меня хватило бы решимости его прикончить.

— Я немножко поупражняюсь и сыграю вам мазурку,— то-ропливо сказала она.— Я вам позвоню.

— Хорошо,— сказал я, но мы оба еще держали трубки. Я слышал ее дыхание, не знаю, долго или нет, но слышал, потом она положила трубку. А я бы еще долго держал трубку в руках, только чтобы слышать, как дышит Моника. О господи, хоть дыхание женщины...

Фасоль, которую я съел, еще тяжело лежала в желудке, усугубляя мою меланхолию, но я все-таки открыл и вторую банку, вывалил все в ту же кастрюльку, в которой разогревал первую порцию, и зажег газ. Я выбросил фильтр с кофейной гущей в мусорное ведро, взял чистый фильтр, положил туда четыре ложки кофе, поставил греть воду и попытался навести в кухне порядок. Кофейную лужу я собрал тряпкой, выкинул в ведро пустые консервные банки и яичную скорлупу. Ненавижу неубранные комнаты, но сам убирать не умею. Я пошел в столовую, собрал грязные стаканы, отнес их на кухню, в раковину. Никакого беспорядка в квартире не осталось, и все же она выглядела неубранной. Мари так ловко и так быстро умеет придать комнате убранный вид, хотя как будто ничего определенного, заметного она не делает. Должно быть, тут все дело в ее руках. При мысли о руках Мари,

при одном только представлении, что она может положить эти руки на плечи Цюпфнеру, моя и без того глубокая меланхолия превратилась в отчаяние. Руки женщины могут столько выразить или так притвориться, что рядом с ними мужские руки мне всегда кажутся просто приклеенными чурбаками. Мужские руки созданы для рукопожатий, порки, ну и, конечно, для стрельбы и для подписей. Сжимать, пороть, стрелять, подписывать чеки — вот все, что могут мужские руки, ну и, разумеется, работать. А женские руки уже почти что не руки — все равно, кладут ли они масло на хлеб или ладонь на лоб. Ни один богослов еще не напал на мысль прочесть проповедь о женских руках в Евангелии: Вероника, Магдалина, Марфа и Мария — в Евангелии столько говорится о женских руках, с нежностью касавшихся Христа. А вместо этого читают проповеди о законах, моральных устоях, искусстве, государственной власти. А ведь, так сказать, в частной жизни Христос общался главным образом с женщинами. Конечно, ему были нужны также и мужчины, потому что они, как, скажем, Калик, сопричастны власти и смыслят кое-что в организации и прочей бессмыслице. Ему нужны были мужчины, как при переездах бывают нужны грузчики для тяжелой работы. Правда, Иоанн и Петр были такие мягкие, ласковые, что в них почти ничего мужского не было, зато Павел был настоящим мужчиной, как и подобало римлянину. Дома при каждом удобном случае нам читали вслух Библию — в нашей родне попы кишмя кишат, но про женщин в Евангелии или про такую туманную вещь, как Маммона неправедный, никто не говорил. Да и в «кружке» у католиков никто не желал говорить о Маммоне неправедном, и Кинкель с Зоммервильдом только смущенно улыбались, когда я с ними об этом заговаривал, словно они поймали Христа на каком-то досадном промахе, а Фредебойль старался объяснить, что по ходу истории это выражение было искажено. Ему мешала «иррациональность» этого понятия, как он говорил. Будто деньги — это что-то рациональное. Но в руках у Мари даже деньги теряли сомнительный характер, она так чудесно умела обращаться с ними — небрежно и вместе с тем очень бережно. Так как я принципиально отказывался от чеков и всякой другой «формы оплаты», мне всегда выкладывали гонорар наличными, прямо на стол, вот почему нам приходилось планировать наши расходы не больше чем на два, от силы на три дня. Мари давала деньги каждому, кто ее просил, а иногда и тому, кто и просить бы не стал, а просто в разговоре выяснялось, что ему нужны деньги. Одному кельнеру в Гёттингене она как-то дала денег на зимнее пальтишко для его сына — мальчик должен был поступать в школу. А в поездках она вечно доплачивала разницу за билет первого класса для каких-то беспомощных бабушек, ехавших на похороны и попадавших не в свой вагон. Эти бесчисленные бабушки вечно ездят поездом на похороны своих детей, внуков, невесток и зятьев, и постоянно — часто и нарочно, — кокетничая своей старушечьей беспомощностью, влезают прямо в купе первого класса и располагаются там со своими тяжелыми

корзинами и сумками, набитыми копченой колбасой, шпиком и печеньем. Мари обязательно заставляла меня пристроить все эти сумки и корзинки в багажную сетку, хотя все купе знало, что у бабки в кармане билет второго класса. Потом Мари выходила в коридор и «улаживала» все с кондуктором, прежде чем бабушку успевали предупредить, что она ошиблась. Перед этим Мари всегда расспрашивала, куда она едет и кто именно помер, чтобы доплатить правильно, до места назначения. Обычно бабуся любезно комментировала: «И вовсе нынешняя молодежь не такая плохая, как говорят», и гонорар мы получали в виде огромных бутербродов с ветчиной.

Особенно между Дортмундом и Ганновером — или, может быть, мне только так казалось — каждый день ездит бесконечное количество каких-то бабушек, и все на похороны. Мари всегда стеснялась, что мы ездим первым классом, и ей было бы очень неприятно, если бы человека выставили из нашего купе потому, что у него билет второго класса. С неисчерпаемым терпением выслушивала она подробнейшие описания всяких родственных взаимоотношений, рассматривала фотографии незнакомых людей. Один раз мы два часа просидели со старой крестьянкой из Брюккебурга, бабушкой двадцати трех внуков — и при ней были фотографии всех двадцати трех, мы выслушали двадцать три биографии, пересмотрели двадцать три фото молодых людей и молодых женщин, и оказалось, что они все чего-то достигли: тот стал инспектором в Мюнстере, та вышла замуж за начальника станции, другой управляет лесопилкой, а третий «занимает высокий чин в этой самой партии, ну, знаете, за которую мы всегда голосуем», а еще один в бундесвере, тот, по ее словам, «всегда знал, где верное дело». Мари целиком погружалась в эти истории, находила, что все это невероятно увлекательно, и говорила о «подлинной жизни», а меня всегда утомляло однообразие этих историй. Столько их было, этих бабушек между Дортмундом и Ганновером, чьи внуки служили помощниками начальников станции, а невестки преждевременно умирали, потому что «не желают рожать детей, сколько полагается, да уж эти мне нынешние, все оттого и бывает». Мари умела быть удивительно милой и приветливой с беспомощными старыми людьми: она даже помогала им, если приходилось, звонить по телефону. Как-то я сказал, что ей надо было бы поступить в бюро добрых услуг при вокзале, и она немножко обиженно ответила: «А почему бы и нет?» Но я совсем не хотел сказать ничего обидного или пренебрежительного. Зато теперь она попала-таки в своего рода бюро добрых услуг: по-моему, и Цюпфнер на ней женился, чтобы ее «спасти», и она вышла за него ради его «спасения», хотя я не был уверен, что он позволит тратить его деньги на доплату за билеты первого класса для всяких бабушек, да еще в курьерских поездах. Он, конечно, человек не скупой, но потребности его ограничены до противности, как у Лео. Однако и ограничены они не так, как у Франциска Ассизского, тот мог себе представить, что у других людей бывают какие-то потребности, кото-

рых у него самого нет. Одна мысль о том, что у Мари в сумочке могут лежать цюпфнеровские деньги, была для меня невыносима, так же, как слова «медовый месяц» и разговор о том, что мне надо за Мари драться. Ведь драться можно только физически. И пусть я даже плохой клоун, без тренировки, все равно я сильнее и Цюпфнера, и Зоммервильда. Они еще и в позицию стать не успеют, как я уже трижды перекувырнусь, кинусь на них сзади, положу на обе лопатки и возьму в оборот. А может быть, они представляли себе настоящий бой? С них станется, они могут еще и не так извратить сказание о Нибелунгах. А может быть, они думали о духовном поединке? Я их не боялся, так почему же они не разрешали Мари отвечать на мои письма — это ведь тоже была своего рода духовная борьба? И как у них поворачивается язык произносить такие слова, как «медовый месяц» и «свадебное путешествие», а меня называть циником? Послушали бы они, что рассказывают друг другу кельнеры и горничные про новобрачных! Каждый проходимец шепчет им вслед и в поезде и в отеле — везде, где они появляются: «Смотрите, новобрачные», и каждый ребенок понимает, чем они все время занимаются. А кто снимает простыни с постели, кто их стирает? Нет, когда она кладет ладони на плечи Цюпфнеру, она не может не вспомнить, как я грел под мышкой ее ледяные руки.

Ее руки — она открывает ими двери, поправляет одеяльце на маленькой Мари, включает тостер на кухне, ставит чайник, вынимает сигаретку из пачки. Записка от горничной лежит на этот раз не на кухонном столе, а на холодильнике: «Пошла в кино. Вернусь к десяти». В гостиной, на телевизоре, — записка Цюпфнера: «Срочно надо повидаться с Ф. Обнимаю. Гериберт». Холодильник вместо кухонного стола, «обнимаю» вместо «целую». И на кухне, когда ты мажешь гренки толстым слоем масла, толстым слоем ливерной колбасы и вместо двух ложек какао кладешь три, ты впервые чувствуешь, до чего противно соблюдать диету, чтобы не полнеть, вспоминаешь, как взвизгнула тебе в лицо госпожа Блотерт, когда ты взяла второй кусок торта: «Но ведь это больше пятисот калорий, неужели вы можете себе позволить такое?» И пронзительный взгляд на твою талию, ясно говорящий: «Нет, не можете...» Ох, пресвятой «ка-ка-ка...нцлер» или «...толон»! М-да, ты начинаешь полнеть! Шепот идет по городу, по городу-шептуну: откуда в тебе эта тревога, эта тяга к одиночеству в темноте — в кино или в церкви и тут, в темной гостиной за чашкой какао с гренками? Что ты ответила этому оболтусу на вечеринке, который выпалил в упор: «Отвечайте сразу, сударыня, что вы любите больше всего?» Наверно, ты ответила ему правду: «Детей, исповедадьни, кино, грегорианские хоралы и клоунов». — «А мужчин, сударыня?» — «И одного мужчину, — наверно, сказала ты, — но вообще мужчин не люблю — они такие глупые!» — «Ах, можно мне это обнародовать?» — «Нет, нет, ради бога, не

надо!» Но если она уж сказала «мужчину», почему же она не сказала «мужа»? Когда говоришь, что любишь только одного, тогда надо сказать не «мужчину», а «мужа» своего, законного. Ох эти похожие и все-таки разные слова!

Прислуга возвращается домой. Ключ в замке, дверь отворяется, дверь закрывается, свет в прихожей зажегся, потух, свет на кухне зажегся, дверца холодильника хлопнула, закрылась, свет на кухне потух. Из прихожей робкий стук в двери: «Спокойной ночи, госпожа директорша». — «Спокойной ночи. Мари хорошо себя вела?» — «О да, прекрасно!» Свет в коридоре тухнет, шаги на лестнице. (Ага, опять сидит в темноте, слушает церковную музыку.)

Ими, этими самыми руками, которые согревались у меня под мышкой, ты касаешься всего: проигрывателя, пластинки, ручки, пуговицы, чашки, хлеба, детских волос, детского одеяла, теннисной ракетки.

«А почему ты, собственно говоря, не ходишь на теннис?» Пожатие плечами. Охоты нет. Нет никакой охоты. А теннис так полезен супругам политических деятелей, супругам ведущих католиков. Нет, нет, эти понятия еще не совсем идентичны. Но теннис сохраняет стройность, гибкость, привлекательность. «Ф. с таким удовольствием играет с тобой в теннис. Разве ты его не любишь?» — «Нет, почему же. В нем столько сердечности». Да, говорят, что он пробился в министры «локтями и зубами». Его считают жуликом, интриганом, и все же он искренне привязан к Гериберту: люди продажные и грубые так часто любят честных и неподкупных. С какой трогательной щепетильностью провели постройку дома для Гериберта: никаких «особых кредитов», никакой «помощи» от опытных в деле строительства товарищей по партии, по церкви. И только потому, что он выбрал участок «на взгорье», ему пришлось оплатить излишки, что он считает «по существу» коррупцией. К сожалению, именно участок на взгорье оказался неудачным.

Если строишь на взгорье, можно разбить садик вверх по склону или вниз. Гериберт выбрал садик вниз по склону — это будет мешать, когда маленькая Мари начнет играть в мячик, потому что мячи вечно будут скатываться на соседний участок, попадать на цветочную клумбу, ломать ветки, цветы, мять редкие нежные мхи и вызывать судорожные извинения: «Ну что вы, что вы, разве можно сердиться на такую очаровательную крошку?» Нет, нельзя. В серебристых голосах звучит деланная веселость, нарочитая непринужденность, рты судорожно сведены от постоянной боязни морщин, напряжены шеи, натянуты мускулы, во всем фальшивая приветливость, тогда как единственным облегчением была бы хорошая драка с крепкой бранью. Но все проглатывается, прикрывается фальшивой добрососедской приветливостью, пока в один прекрасный вечер за закрытыми дверями и спущенными шторами не начинают швырять изысканными сервизами в призраки нерожденных детей: «Я хотела ребенка, это ты, ты не захотел!» Изысканные сервизы звенят совсем не изысканно, когда их швы-

рывают об стенку на кухне. Воеет сирена кареты «скорой помощи», мчащейся на взгорье. Сломанные крокусы, смятые мхи, детская ручка катит детский мячик на каменную горку, вой сирен возмущает необъявленную войну. «Ах, лучше бы мы выбрали садик вверх по взгорью».

Я вздрогнул от телефонного звонка. Снял трубку и покраснел: совсем забыл про Моника Сильвс. Она сказала:

— Алло, Ганс?

И я сказал:

— Да,— и не сразу догадался, зачем она звонит. И только когда она сказала:

— Вы разочаруетесь,— я вспомнил мазурку. Отступить было поздно, сказать «не стоит» невозможно, пришлось пройти через это испытание мазуркой. Я слышал, как Моника положила телефонную трубку на рояль и начала играть. Играла она превосходно, рояль звучал изумительно, но, когда она заиграла, я расплакался от горя. Нельзя было пытаться повторить то мгновение, когда я вернулся домой от Мари и Лео в гостиной играл эту мазурку. Мгновения невозвратимы — их нельзя ни повторить, ни разделить с другими. Как тот вечер у нас в парке, когда Эдгар Винекен пробежал стометровку за десять и одну десятую секунды. Собственными руками я отметил время, собственными руками измерил для него дорожку, и в тот вечер он пробежал ее за десять и одну десятую секунды. Он был в превосходной форме, в превосходном настроении, но, конечно, нам никто не поверил. Мы сделали ошибку, что вообще об этом заговорили, хотели продлить, разделить с другими это счастливое мгновение. А надо было просто радоваться сознанию, что он действительно пробежал стометровку за десять и одну десятую секунды. Потом он, конечно, делал свои обычные десять и девять десятых или даже одиннадцать секунд, и никто нам не верил, над нами только смеялись. Даже упоминать о таких мгновениях неправильно, а пытаться их повторить — просто самоубийство. Для меня было почти самоубийством слушать по телефону, как Моника играет ту мазурку. Есть какие-то обрядовые мгновения, которые сами по себе требуют повторения, например когда матушка Винекен резала хлеб,— и я хотел это мгновение повторить с Мари и как-то попросил ее нарезать хлеб так, как это делала матушка Винекен. Но кухня рабочей семьи — не номер в гостинице, а Мари и отдаленно не походила на матушку Винекен, и нож у нее соскользнул, она порезала себе левую руку, и этот случай на три недели вывел нас из строя. Сентиментальность — коварная, предательская штука. Нельзя трогать мгновения, нельзя их повторять.

Когда Моника кончила играть, я даже плакать не мог от тоски. Наверно, она это почувствовала. Она взяла трубку и только тихо сказала:

— Вот видите.

Я сказал:

— Это я виноват, а не вы, простите меня.

Я чувствовал себя так, как если бы я валялся пьяный в канаве, в своей блевотине, бормотал похабную брань и вдруг попросил бы меня сфотографировать в таком виде и послать фотографию Монике.

— Можно мне еще как-нибудь позвонить вам? — спросил я тихо. — Дня через два-три. Я могу объяснить свое гнусное поведение только одним — мне так плохо, что описать невозможно. — Я ничего не слышал, кроме ее дыхания, потом она сказала:

— Я на две недели уезжаю.

— Куда? — спросил я.

— На занятия семинара, — сказала она, — и немного на этюды.

— Когда же вы ко мне придете, — спросил я, — сделаете мне омлет с грибами и тот вкусный ваш салатик?

— Я не могу прийти, — сказала она, — сейчас никак не могу.

— А потом? — спросил я.

— Приду, — сказала она, и я услышал, что она заплакала перед тем, как положить трубку.

## 20

Мне казалось, что надо принять ванну, таким грязным я себя чувствовал, казалось, что от меня смердит, как от Лазаря, но я был совершенно чистый, и от меня ничем не пахло. Я поплелся на кухню, выключил газ под кастрюлькой с фасолью, под чайником, вернулся в столовую, отхлебнул коньяку прямо из горлышка — все равно не помогло. Даже телефонный звонок не мог вывести меня из тупого оцепенения. Я снял трубку, спросил:

— Да? — и услышал голос Сабины Эмондс.

— Ганс, что ты там вытворяешь? — Я промолчал, и она сказала: — Шлешь телеграммы. Можно подумать, какая-нибудь драма. Неужели все так плохо?

— Совсем плохо, — сказал я устало.

— Я гуляла с детьми, — сказала она, — а Карла нет — он на неделю уехал со своими учениками в лагерь. Надо было кого-то оставить с ребятами, чтоб можно было выйти позвонить.

Голос у нее был какой-то загнанный и, как всегда, немного раздраженный. Я не мог себя заставить попросить денег. После женитьбы Карлу все время приходится колдовать над своим прожиточным минимумом; когда мы поссорились, у него было уже трое детей и ждали четвертого, но сейчас у меня не хватило духу спросить Сабину, родился четвертый или нет. У них дома всегда царило нескрываемое раздражение, всюду лежали эти проклятые записные книжки, куда он заносит подсчеты, как ему выкарабкаться, как прожить на одно жалованье, а наедине со мной Карл впадает в самую противную «откровенность», начинает эти «чисто мужские» разговоры про деторождение, он неизменно осы-

пает упреками католическую церковь (и это передо мной!), и всегда наступала такая минута, когда он начинал смотреть на меня с видом пса, который вот-вот завоюет, и обычно тут входила Сабина и смотрела на него злыми глазами, потому что опять была беременна. Больше всего меня расстраивает, когда женщина смотрит на мужа злыми глазами, оттого что она беременна. В конце концов оба сидели и ревели, потому что любят они друг друга на самом деле. А в дальних комнатах стоял детский крик, с наслаждением опрокидывались ночные горшки, мокрые тряпки шлепались о новехонькие обои, и хотя Карл вечно твердил: «Дисциплина! Дисциплина!» и «Абсолютное безоговорочное послушание!» — но мне самому приходилось идти в детскую и показывать ребятам какие-нибудь фокусы, чтобы их успокоить, правда, они ничуть не успокаивались, визжали от радости, и в конце концов все мы усаживались в кружок, держа детей на коленях, и позволяли им отпивать из наших рюмок. Карл и Сабина начинали спорить о книжках и календарях, где написано, когда именно женщины не беременеют. А сами все время заводят детей, и им никогда не приходило в голову, что все эти разговоры особенно мучительны и для меня, и для Мари, потому что у нас не было детей. А когда Карл начинал пьянеть, он ругательски ругал Рим, сыпал проклятия на кардинальские головы и на самого папу, и уморительнее всего было то, что именно я начинал заступаться за папу. Мари все знала лучше нас и просвещала Карла и Сабину, объясняя им, что к этому вопросу там, в Риме, другого подхода и быть не может. И тут у них обоих глаза становились хитрыми, как будто они хотели сказать: «Ну, вы-то, вы, наверно, знаете всякие рафинированные штучки, оттого у вас и детей нет». И все кончалось тем, что кто-нибудь из ребят, переутомленных донельзя, вырывал рюмку из рук у меня, у Мари, у Карла или Сабины и расплескивал вино на школьные тетрадки, навалом лежавшие на письменном столе Карла. Конечно, это было неприятно Карлу, который вечно проповедует своим ученикам дисциплину и порядок, а сам должен будет отдать им тетради в винных пятнах. Начинались шлепки, слезы, и Сабина, бросив нам один из тех взглядов, которые читаются: «Эх вы, мужчины!» — уходила с Мари на кухню варить кофе и, наверно, заводила с ней те «чисто женские» разговоры, которые Мари так же ненавидела, как я — разговоры «чисто мужские». А когда я оставался с Карлом наедине, он опять начинал разговор про деньги, и в голосе его я слышал упрек, словно он хотел сказать: «Я говорю с тобой об этом, потому что ты славный малый, но понимания от тебя ждать нечего».

Я вздохнул и сказал:

— Сабина, я пропадаю — и как актер, и морально, и физически, и материально, совсем пропал...

— Если ты голодный, — перебила она, — так ты, конечно, знаешь, где для тебя всегда найдется тарелочка супу! — Я про-



молчал, меня растрогал ее голос, искренний и деловитый. — Ты слышишь? — спросила она.

— Слышу, — сказал я, — и не позже чем завтра приду съесть свою тарелку супу. А если вам кто-нибудь понадобится присмотреть за ребятами, так я... я... — Тут я запнулся. Нельзя же было предлагать делать за деньги то, что я всегда делал бесплатно, и притом я вспомнил идиотскую историю с яйцом, которое скорчил Грегору.

Сабина рассмеялась и сказала:

— Ну, договаривай!

Я сказал:

— Я только хотел попросить — может, порекомендуете меня своим знакомым, у меня есть телефон, а возьму я не дороже, чем все.

Она промолчала, и я понял, что она потрясена.

— Слушай, — сказала она, — меня уже торопят, но ты все-таки скажи мне, что случилось? — Очевидно, она, единственная во всем Бонне, не читала рецензии Костерта, и я сообразил, что она могла и не знать, что произошло между мной и Мари. Ведь у нее в этом кругу ни одного знакомого не было.

— Сабина, — сказал я, — Мари меня бросила и вышла замуж за некоего Цюпфнера.

— Боже мой! — крикнула она. — Неправда!

— Правда, — сказал я.

Она замолчала, и я услышал, как кто-то колотит в дверь телефонной будки. Наверно, какой-нибудь кретин, которому не терпится сообщить партнеру по скату, как можно было бы выиграть на червах без трех.

— Надо было тебе на ней жениться, — тихо сказала Сабина, — ну, понимаешь... да ты сам понимаешь!

— Понимаю, — сказал я, — я сам этого хотел, но тут выяснилось, что надо выправить эту подлую бумажку в муниципалитете и что я обязан дать подписку — ты понимаешь, подписку, — что наши дети будут воспитываться в католической вере.

— Но ведь не из-за этого же все расстроилось? — спросила она. В двери автомата загрохотали еще громче.

— Не знаю, — сказал я, — может, это было поводом, но тут, наверно, замешано многое такое, чего мне не понять. Дай отбой, Сабиночка, не то этот взбешенный представитель германской расы, там за дверью, еще прикончит тебя. Страна кишмя кишит злодеями.

— Обещай, что ты придешь, — сказала она, — и помни: твой суп весь день стоит на плите. — Я услышал, как ее голос упал, она успела шепнуть: — Какая подлость, какая подлость! — но, очевидно, забыла положить трубку на аппарат и бросила ее на столик, где обычно лежит телефонная книжка. Я услышал, как тот тип сказал: «Ну наконец-то!» — но Сабина уже ушла. Я нарочно заорал в телефон:

— Помогите! Помогите! — визгливым тонким голосом, и этот тип попался на удочку, взял трубку и спросил:

— Чем могу быть полезен? — Голос у него был серьезный, сдержанный, очень мужественный, и я почувствовал, что он сейчас ел что-то кислое — маринованную селедку или что-то вроде того. — Алло, алло! — сказал он, и я сказал:

— Вы немец? Я принципиально говорю только с чистокровными немцами.

— Отличный принцип! — сказал он. — Так что же с вами такое?

— Ужасно беспокоюсь за ХДС, — сказал я, — надеюсь, вы всегда голосуете за ХДС?

— Но это же само собой понятно! — сказал он обиженно. Я сказал:

— Теперь я спокоен, — и повесил трубку.

## 21

Надо было бы оскорбить этого типа по-настоящему, спросить его, изнасиловал ли он уже свою жену, выиграл ли гранд с двумя и проболтал ли со своими коллегами по службе положенные два часа про войну. У него был голос почтенного супруга, честного немецкого гражданина, и его восклицание: «Ну наконец-то!» — было похоже на команду: «Огоны!» Голос Сабины Эмондс меня немножко утешил, хотя он и был какой-то раздраженный, даже загнанный, но я знал, что она действительно считает поступок Мари подлостью и что для меня всегда найдется тарелка супу у нее на кухне. Готовила она превосходно, и, когда не была в положении и не смотрела на всех упорным взглядом «ох-уж-этимне-мужчины», она была очень веселая, и ее католицизм гораздо приятнее, чем католицизм Карла, сохранившего насчет «шестой заповеди» свои смешные семинаристские воззрения. Упрек во взгляде Сабины, конечно, относился ко всем представителям мужского пола, но, когда она смотрела на Карла, виновника ее состояния, глаза ее темнели, становились почти грозowymi. Обычно я пытался отвлечь Сабину от этих мыслей, показывал какой-нибудь номер, и она волей-неволей начинала смеяться, долго и искренне, до слез, но, когда подступали слезы, смех пропадал... Мари приходилось уводить ее, утешать, а Карл, с мрачной, виноватой физиономией, сидел рядом со мной и потом от отчаяния начинал править тетради. Иногда я ему помогал, подчеркивая ошибки красными чернилами, но он никогда не доверял мне, сам еще раз все просматривал и каждый раз злился, видя, что я ничего не пропустил и все ошибки подчеркнул правильно. Он никак не мог себе представить, что я могу проделать эту работу вполне точно и справедливо, в его духе. Все трудности Карла происходят только из-за денег. Если бы Карлу Эмондсу дать квартиру из семи комнат, всю его раздражительность, загнан-

ность как рукой бы сняло. Как-то я поспорил с Кинкелем о его понимании «прожиточного минимума». Кинкель считался гением и специалистом по части таких тем, и, по-моему, именно он установил прожиточный минимум для одинокого человека в большом городе сначала в восемьдесят четыре, а потом в восемьдесят шесть марок, не считая квартплаты. Я даже не приводил против него в качестве довода то, что, судя по мерзкому анекдоту, который он сам рассказал, он для себя лично считает прожиточным минимумом сумму примерно раз в тридцать пять больше названной. Приводить такие доводы считается чем-то бестактным, безвкусным, но вся безвкусица именно в том и заключается, что такой тип смеет рассчитывать за других их прожиточный минимум. В эту сумму — восемьдесят шесть марок — даже входят траты на культурные потребности: должно быть, кино или газеты, а когда я спросил Кинкеля, надеются ли они, что вышеупомянутый гражданин сможет на эти деньги посмотреть хороший фильм, что-нибудь облагораживающее, познавательное, он разозлился; а когда я спросил, как понимать пункт «возобновление бельевого запаса» и не наймет ли министерство какого-нибудь добродушного старичка, который будет бегать по Бонну и снашивать подштанники, а потом докладывать министерству, за какое время подштанники изнашиваются, — то жена Кинкеля сказала, что я заражен опасным субъективизмом, а я ей сказал, что еще могу понять коммунистов, когда они начинают планировать — придумывать образцовые обеды, определять степень прочности носовых платков и вообще заниматься всякой ерундой, — они хотя бы не лицемерят, не оправдываются всякими «надчеловеческими» соображениями. Но вот когда христиане вроде ее мужа занимаются такими вещами, это мне кажется просто неправдоподобным; на что она мне ответила, что я законченный материалист и не имею никакого представления о жертве, страдании, роке и о величии нищеты. От жизни Карла Эмондса у меня никогда не создавалось впечатления жертвенности, страдания, рока и величия нищеты. Зарабатывает он неплохо, и, в сущности, роковой и великой была только его постоянная раздраженность, так как он высчитал, что никогда не сможет оплатить хорошую квартиру. И когда я понял, что Карл Эмондс — единственный человек, у которого я еще мог бы попросить денег, я понял, в какое положение я попал. У меня не было ни пфеннига.

## 22

Я прекрасно знал, что ничего такого я делать не буду: в Рим не поеду, с папой разговаривать не стану, воровать сигареты и сигары у мамы на «журфиксе» не собираюсь и набивать карманы орехами тоже не буду. У меня уже не было сил даже верить во все это, как я верил в то, что мы с Лео действительно пилили деревяшку. Любая попытка связать оборванные нити и подтянуть

себя, как марионетку, обязательно потерпит крах. Настанет такая минута, когда я дойду до того, что попрошу займы у Кинкеля, да и у Зоммервильда, а может, и у этого садиста, у Фредебойля,— он-то, наверно, повертит у меня под носом пятимарковой монетой и заставит меня служить, как собаку. Я буду радоваться, если Моника Сильвс позовет меня пить кофе, не потому, что это Моника Сильвс, а потому, что кофе будет даровой. Позвоню я еще раз и этой дуреке Беле Брозен, буду к ней подлизываться, скажу, что никогда не стану спрашивать, какую сумму она мне может дать, что любая, любая сумма для меня благодеяние; а потом, в один прекрасный день, я пойду к Зоммервильду, очень «убедительно» докажу ему, что я раскаялся, все понял, готов вступить в лоно церкви, и тогда произойдет самое страшное: Зоммервильд инсценирует мое примирение с Мари и Цюпфнером,— впрочем, если я приму католичество, отец, наверно, никогда ничего для меня делать не станет. Для него наверняка ничего хуже нет. Надо было как следует об этом подумать. Для меня выбор был не между «руж э нуар» — красным и черным, а между темно-коричневым или черным: бурый уголь или церковью. Тогда я бы стал таким, каким они хотят меня видеть: настоящим мужчиной, зрелым, никак не субъективным, а вполне объективным, готовым бодро отхватить в клубе хорошую партию в скат. Правда, на некоторых людей я еще мог слабо надеяться: на Лео, на Генриха Белена, на дедушку, даже на Цонерера — может быть, хоть он сделает из меня эстрадного гитариста, буду с причмокиванием петь: «Ветерок в кудрях твоих играет — значит, ты моя!» Как-то я пел эту песенку Мари, она сразу заткнула уши и сказала: «Какая пакость!» В конце концов, придется сделать последний шаг: перейти к коммунистам и показать им все номера, которые они с полным правом могли бы занести под рубрику антикапиталистических.

Я считал, что примирение с Мари и Цюпфнером — последнее дело, но попасться в руки какому-нибудь из этих фанатиков и там показывать «Кардинала» — это уж самое, самое последнее. Мне еще оставались Лео, Генрих Белен, Моника Сильвс, Цонерер, дедушка и тарелка супу у Сабины Эмондс, а может быть, удалось бы заработать немножко денег, присматривая за ребятами. Я бы дал письменное обязательство не кормить их яйцами. Очевидно, для немецких матерей это непереносимо. Вообще, мне плевать на то, что другие именуют объективной ценностью искусства, но высмеивать заседания акционерных советов там, где их и в помине нет, я считал бы просто низостью.

Однажды я срепетировал довольно длинный номер под названием «Генерал», долго над ним работал, и, когда я его показал, он имел то, что в наших кругах называют успехом, то есть те, кто надо, смеялись, а те, кто надо, злились. Когда я вошел в свою уборную с гордо выпяченной грудью, меня там ждала маленькая,

совсем сухонькая старушка. А я после выступлений всегда раздражен и никого, кроме Мари, подле себя не выношу, но именно Мари и впустила старушку ко мне в уборную. И не успел я как следует закрыть двери, как она уже заговорила и объяснила мне, что муж ее тоже был генералом, что пал в бою, но до того еще успел написать ей письмо, где просил не брать за него пенсию. «Вы — человек еще очень молодой, — сказала мне она, — но все же достаточно взрослый, чтобы все понять», — и тут же ушла. С тех пор я больше никогда не мог выступать с номером «Генерал». Пресса, называвшая себя левой, писала впоследствии, что я, очевидно, дал реакции запугать себя, пресса, называвшая себя правой, писала, будто я понял, что играю на руку Востоку, а независимая пресса писала, что я, очевидно, отказался от всякого радикализма и от политики вообще. Все это полнейший маразм. Я просто не мог больше показывать этот номер, потому что каждый раз вспоминал сухонькую старушку — должно быть, она едва сводит концы с концами, а все над ней издеваются и смеются. А если мне номер не доставляет удовольствия, я его снимаю, но толковать это газетчикам, вероятно, слишком сложно. Всегда им нужно что-то «учуять», «унюхать», а есть еще очень распространенная порода газетчиков, они над всем скалят зубы оттого, что их грызет обида — почему они сами не артисты и даже «при искусстве» состоять не способны. У таких о нюхе и речи быть не может, все их разговоры сплошная трепотня, по возможности в присутствии хорошеньких молоденьких девушек, достаточно наивных, чтобы восторгаться любым мазилой только за то, что у него в какой-то газете есть своя «трибуна» и «связи». Есть удивительные, непризнанные формы проституции, перед которыми проституция настоящая — честнейшее ремесло: там хоть за деньги что-то дают.

Для меня был закрыт и этот путь — искать избавления в милосердии продажной любви: у меня не было денег. А Мари в это время примеряет свою испанскую мантилью, чтобы с честью представлять first lady немецкого католицизма. Возвратившись в Бонн, она при всяком удобном случае будет присутствовать на чаепитиях, улыбаться, участвовать во всяких комитетах, открывать выставки «религиозной живописи» и «подыскивать приличную портниху». Все дамы, выходящие замуж за боннских чиновников, всегда «подыскивают приличную портниху».

Мари — first lady немецкого католицизма, с чашкою чая или бокалом коктейля в руке: «Видели вы этого прелестного маленького кардинала? Он приехал на открытие статуи пресвятой девы, работы Крёгерта. Ах, в Италии даже кардиналы — настоящие рыцари. Прелесть, просто прелесть!»

Мне даже хромать было трудно, я мог только ползти и выполз на балкон подышать родным воздухом, но и это не помогло. Я пробыл в Бонне слишком долго — почти два часа, а после этого боннский воздух в смысле перемены климата уже не помогает.

Я подумал — а ведь, в сущности, они должны быть благодарны только мне за то, что Мари осталась католичкой. Она пережила страшные религиозные сомнения, разочаровавшись в Кинкеле, в Зоммервильде, а уж такой гнус, как Блотерт, даже святого Франциска Ассизского мог бы сделать атеистом. Одно время она даже в церковь не ходила, даже не думала о церковном венчании, была полна какого-то внутреннего сопротивления, и только через три года после нашего отъезда из Бонна она снова пошла в их кружок, хотя они постоянно приглашали ее. И я ей тогда сказал, что разочарование в людях еще ничего не значит. Если она действительно верит во все это, то тысяча Фредебойлей не могут нарушить ее веру, и в конце концов — это я ей сам сказал — есть же Цюпфнер, и хотя, по мне, он слишком чопорен и вообще человек не моего толка, но как католик он вполне заслуживает доверия. И наверняка есть много настоящих католиков, и я назвал ей некоторых патеров, чьи проповеди мы с ней слушали, напомнил о папе Иоанне, о Гари Купере и Алеке Гиннесе — и, уцепившись за папу Иоанна и Цюпфнера, она снова встала на ноги. Как ни странно, но Генрих Белен в то время уже был не в счет, напротив, она сказала, что он сальный тип, и всегда смущалась, когда я о нем заговаривал, и я подозреваю, что он к ней «искал подход». Я ее никогда об этом не спрашивал, но подозрение было большое, а когда я представлял себе экономку Генриха, я понимал, что он мог «искать подход» к женщинам. Самая мысль об этом мне была противна, но я мог его понять, как понимал многое очень противное, что творилось в интернате.

Только теперь я понял, что сам указал ей на папу Иоанна и на Цюпфнера, чтобы утешить ее в минуты сомнения. Я удивительно честно вел себя по отношению к католицизму, это-то и было ошибкой, но для меня Мари так естественно была католичкой, что мне хотелось сохранить в ней эту естественность. Я будил ее, чтобы она не проспала, когда надо было идти в церковь. Часто я вызывал такси, чтобы она не опоздала, а когда мы приезжали в протестантские города, я обзванивал все церкви, чтобы найти для нее, где служат мессу, и она всегда говорила, что это во мне «самое хорошее», но потом хотела меня заставить подписать эту проклятую бумажку и *письменно* обязаться воспитывать наших детей католиками. Мы часто говорили о наших детях. С какой радостью я ждал детей, мысленно разговаривал с ними, носил на руках, делал им гоголь-моголь из сырых яиц, и меня беспокоило лишь то, что нам придется жить в гостиницах, а в гостиницах хорошо относятся только к детям миллионеров или королей. А на детей некоролей или немиллионеров, особенно на мальчишек, всегда орут: «Ты не у себя дома!» И в этих словах — тройная передержка, так как предполагается, во-первых, что дома ты ведешь себя по-свински, во-вторых, что ты только тогда счастлив, когда ведешь себя по-свински, а в-третьих, что ребенок никогда не смеет быть счастливым. Девочке может еще повезти, про нее скажут: «Чудная крошечка!» — и будут с ней ласковы,

но на мальчишек всегда шипят, особенно в отсутствие родителей. Для немцев мальчишка всегда *невоспитанный* ребенок, и это прилагательное уже настолько слилось со словом «мальчишка», что его и выговаривать не надо. Если бы кому-нибудь пришла мысль проверить лексикон, которым пользуются большинство родителей в разговорах с детьми, то оказалось бы, что по сравнению с этим лексиконом словарный запас газеты «Бильд» — это просто толковый словарь братьев Grimm. Скоро немецкие родители будут разговаривать со своими детьми на языке мадам Калик: «Ах, какая прелесть!» или «Ах, какая гадость!» — только иногда они будут позволять себе более точные выражения, скажем: «Не смей спорить!» или «Этого ты не понимаешь!».

Мы с Мари даже говорили о том, как мы будем одевать наших детей, она стояла за «элегантные светлые пальтишки», а я — за куртки-канадки, я представлял себе, что ребенок в элегантном светлом пальтишке никак не сможет шлепать по лужам, а в куртках-канадках очень удобно дрызгаться в луже, и она — я все думал, что у нас будет девочка, — будет тепло одета, а ножки будут открыты, и если она начнет швырять в лужу камни, то брызги если и попадут, то только на чулки, а не на пальтишко, и если она начнет жестянкой вычерпывать лужу и вдруг выплеснет грязную воду через край жестянки, то грязь не обязательно попадет на пальто, во всяком случае, скорее всего запачкаются только чулочки. Но Мари считала, что в светлом пальтишке она будет осторожнее, а вопрос, будут ли наши дети действительно дрызгаться в лужах, мы никогда толком так и не выясняли. Мари всегда улыбалась, уклонялась от этих разговоров и говорила: «Подождем, подождем».

Если у нее от Цюпфнера будут дети, она их не сможет одевать ни в куртки-канадки, ни в элегантные светлые пальтишки, ей придется пускать детей без пальто, потому что мы с ней так подробно обсуждали все виды детских пальто. Говорили мы и какие штанишки шить, длинные или короткие, и про детское белье, носки, башмаки — нет, ей придется пускать детей по Бонну голышом, чтобы не казаться себе шлюхой и предательницей. Не мог я себе представить и чем она будет кормить своих детей: мы обговорили с ней и чем кормить детей, и как их кормить, и согласились единодушно, что наших детей мы никогда не будем пичкать, как пичкают других детей, постоянно закармливают их кашей, заливают молоком. Я не хотел, чтобы моих детей насильно заставляли есть, меня тошнило, когда Сабина Эмондс при мне пичкала двух своих старших детей, особенно старшую девчонку — Карл почему-то назвал ее Эдельтруд. Об этом несчастном гоголь-моголе я даже с Мари поспорил, она считала яйца вредными, и, когда мы заспорили, она сказала, что это еда для богатых, и тут же покраснела, так что мне пришлось ее успокаивать. Я привык, что на меня смотрят как-то иначе, чем на других, обращаются со мной иначе, лишь потому, что я родом из «угольных» Шниров. Но Мари только дважды ляпнула глупость по этому поводу: в тот

первый день, когда я спустился к ней на кухню, и тут, когда мы говорили про гоголь-моголь. Отвратительно иметь богатых родителей, и, конечно, еще отвратительнее, когда тебе от богатства ничего не перепадает. Дома мы редко ели яйца, мама считала их «определенно вредными». Кстати, Эдгару Винекену было тоже нелегко, но в обратном смысле: его везде представляли как сына рабочего, а некоторые священники доходили до того, что, знакомя его с кем-нибудь, говорили: «Настоящее дитя рабочего класса», и это звучало так, будто они говорили: «Гляньте, рогов у него нет, вид вполне интеллигентный». Это, конечно, тоже расовая проблема, надо бы маминому комитету и этим заняться. Единственные люди, которые непредвзято относились ко мне в этом вопросе, были Винекены и отец Мари. Они меня не шельмовали за то, что я родом из шнировской династии, и лаврами за это тоже не венчали.

## 23

Я поймал себя на том, что все еще стою на балконе и смотрю на Бонн. Приходилось крепко держаться за перила, колено невыносимо болело, но меня больше беспокоила марка, которую я бросил вниз. Я бы с удовольствием взял ее назад, но выйти на улицу не мог — каждую минуту ждал Лео. Должны же они когда-нибудь доесть свой компот со сбитыми сливками и прочесть молитву. Марки на улице видно не было: жил я высоко, а только в сказках монеты блестят так отчетливо, что их можно подобрать. Впервые в жизни я пожалел обо всем, что связано с деньгами, с этой выброшенной маркой: она означала двенадцать сигарет, две поездки в трамвае, сосиску с булочкой. Без раскаяния, но все же с некоторой грустью вспоминал я все доплаты за скорость и за разницу в стоимости билета первого класса, которые мы израсходовали на всяких нижнесаксонских бабушек, — вспоминал с той грустью, с какой вспоминаешь о поцелуях девушки, которая потом вышла замуж за другого.

На Лео нельзя было слишком надеяться, у него престранные представления о деньгах, примерно как у монахини о «супружеской любви».

Внизу на улице ничего не блестело, хотя освещение было яркое, никаких звездных талеров я не увидел, одни машины, трамваи, автобусы и боннские граждане. Я надеялся, а вдруг марка упала на крышу трамвая и кто-нибудь из депо ее найдет.

Разумеется, я мог еще броситься «в лоно евангелической церкви», но при слове «лоно» меня пробирала дрожь. Я бы еще мог броситься на грудь к Лютеру, но «в лоно церкви» — никак. Уж если притворяться, то притворяться с выгодой, чтобы как следует позабавиться. Было бы очень занятно притвориться католиком, я бы на полгода совершенно «скрылся», потом начал бы посещать вечерние проповеди Зоммервильда, пока во мне не



накопилось бы этих «католонов», как бактерий в гнойной ране. Но этим я отнял бы у себя последний шанс заслужить отцовскую благосклонность и подписывать в конторе угольного концерна расчетные чеки. Может быть, моя мать пристроила бы меня у себя в комитете, дала бы мне возможность излагать там свои расовые теории. Я бы мог им там рассказать, как я швырнул Герберту Калику золу с теннисной площадки прямо в физиономию, как меня заперли в сарай при тире, а потом меня судили: Калик, Брюль и Лёвених. Впрочем, рассказывать об этом — тоже притворство. Не могу я описать эти минуты, повесить их себе на шею, как орден. Каждый носит героические моменты своей жизни, словно ордена, на груди, на шее. А цепляться за прошлое — лицемерие и притворство, потому что нет человека, который знал бы, какие бывают минуты в жизни: была и такая минута, когда Генриетта, в своей синей шляпке, сидела в трамвае и ехала спасать «священную германскую землю» от «жидовствующих янки».

Нет, самым верным притворством была бы «ставка» на католическую церковь, тут уж любой билет — выигрышный.

Я еще раз взглянул поверх университетских крыш на деревья дворцового сада. Там, дальше, между Бонном и Годесбергом, на взгорье, будет жить Мари. И отлично. Лучше быть к ней поближе. Слишком легко она бы отделалась, если бы могла думать, что я надолго уехал куда-то. Пусть всегда знает, что может меня встретить и покраснеть от стыда при мысли, что ее жизнь — сплошное преступление и предательство, а если она попадется мне навстречу со своими детьми и на детях будут светлые пальтишки, куртки-канадки или свитера, то ей вдруг покажется, что дети совсем голые.

В городе ходят слухи, что ваши дети бегают голышом. Это уж слишком. И потом, вы сделали маленькую ошибку, сударыня, в самый решающий момент: когда вы сказали, что любите только одного мужчину, надо было сказать «мужа». Ходит слух и о том, что вы подсмеиваетесь над сдержанным недовольством, которое здесь испытывает каждый по отношению к тому, кого зовут «стариком». Говорят, будто вам кажется, что все каким-то странным образом на него похожи. В сущности — так вы полагаете, — все они, как и он, считают себя незаменимыми, все, как и он, читают детективные романы. Разумеется, обложки детективов не очень идут к стилю квартир, обставленных с таким вкусом. Датчане забыли к стильной мебели придумать подходящие обложки для романов. Финны — те похитрее, они, наверно, подберут обложки в одном стиле со стульями, креслами, чашками и вазами. Но даже у Блотертов лежат детективы, их не старались стыдливо запрятать в тот вечер, когда мы обзоредали обстановку квартиры.

И всегда вы сидите в темноте, сударыня, в кино, в церкви, в темной гостиной, слушая церковную музыку, вы избегаете

светлых теннисных площадок. А слухи ползут. Полчаса, сорок минут — в исповедальне собора. Нескрываемое возмущение во взглядах окружающих. Бог мой, этой-то в чем каяться: замужем за самым красивым, милым, самым благородным человеком. Порядочным до глубины души. Очаровательная дочурка, две машины.

За решеткой — раздраженное нетерпение, бесконечное перешептывание о любви, браке, долге, снова о любви и, наконец, вопрос: «Но у вас и сомнений в вере нет, что же вам еще нужно, дочь моя?»

Но этого тебе не выговорить, ты даже подумать боишься о том, что знаю я. Тебе нужен клоун, официальное звание — комический актер, вероисповедания — свободного.

Я проковылял с балкона в ванную — надо было загримироваться. Я сделал ошибку, сидя и стоя перед отцом без грима, но я меньше всего рассчитывал на его посещение. А Лео во что бы то ни стало хочет всегда слышать мое истинное мнение, видеть истинное мое лицо, истинное мое «я». Вот пускай и увидит. Он всегда боялся моих «масок», моей игры, того, что он зовет «несерьезным», когда я бываю без грима. Чемоданчик с гримом еще ехал где-то между Бохумом и Бонном. Я спохватился, открывая белый шкафчик в ванной, но было уже поздно. Надо было раньше подумать, какая убийственная сентиментальность присуща вещам. Тюбики и баночки, бутылочки и карандаши Мари — ничего в шкафчике не осталось, и то, что от нее *совершенно ничего* не осталось, было так же страшно, как если бы я нашел какую-нибудь ее баночку или тюбик. Все унесено. Может быть, это Моника Сильвс сжалилась надо мной и все запаковала и унесла? Я посмотрел на себя в зеркало: глаза совершенно пустые, впервые в жизни мне не надо было опустошать их, глядя по полчаса в зеркало и тренируя мускулы лица. Это было лицо самоубийцы, а когда я начал накладывать грим, лицо мое стало лицом мертвеца. Я намазался вазелином, разломал полувысохший тюбик с белилами, выдавил то, что там осталось, и наложил одни белила: ни черточки черным, ни точки красным, сплошь белое, даже брови забелены; волосы над белым казались париком, ненакрашенный рот — темный до синевы, глаза — светло-голубые, словно гипсовое небо, и пустые, как глаза кардинала, который не хочет себе сознаться, что давно потерял веру. Я даже не испугался себя. С таким лицом можно было сделать карьеру, даже притвориться, что веришь в то, что при всей своей беспомощности, наивности все же было мне относительно симпатичнее всего остального: то, во что верил Эдгар Винекен. По крайней мере у этого дела нет привкуса, оно, при всей своей безвкусоности, было самым честным среди нечестных дел, самым меньшим из всех малых зол. Ведь кроме черного, темно-коричневого и синего есть еще то, что слишком оптимистично, слишком условно называют «красным», ско-

рее всего оно серое со слабым отблеском занимающей зари. Печальный цвет для печального дела, но в этом деле, быть может, нашлось бы место и для клоуна, согрешившего самым тяжким из всех клоунских грехов — желанием вызвать к себе жалость. Одно было плохо: Эдгара я никак не мог обманывать, никак не мог перед ним лицемерить и притворяться. Я был единственным свидетелем того, что он действительно пробежал стометровку за десять и одну десятую секунды, и он был одним из немногих, кто принимал меня таким, каков я есть, видел меня таким, каков я есть. И верил он только в определенных людей — другие, те больше верили не в людей, а в бога, в деньги как отвлеченное понятие и в иные отвлеченные понятия, например «государство», «Германия». У Эдгара этого нет. В тот раз, когда я схватил такси, он очень огорчился. Мне его стало жаль, надо было бы ему все объяснить, хотя никому другому я объяснять бы не стал. Я отошел от зеркала — слишком не нравилось мне то, что я там видел. Это уже был не клоун, а мертвец, играющий мертвеца.

Я проковылял в нашу спальню — я еще туда не заходил, боялся увидеть платья Мари. Почти все платья я покупал ей сам, даже советовал портнихам, как их переделывать. Мари идут все цвета, кроме красного и черного, на ней даже серый цвет не кажется скучным. Очень ей к лицу розовый и зеленый. Наверно, я мог бы неплохо зарабатывать в дамском ателье мод, но если ты однолюб и не «такой», то это ужасное мучение. Обычно мужья дают своим женам расчетные чеки и советуют «подчиниться диктату моды». Если в моде фиолетовый цвет, все эти дамочки, которых закармливают чеками, наряжаются в фиолетовое, и какой-нибудь прием, где женщины, хоть сколько-нибудь «знающие себе цену», разгуливают в фиолетовых платьях, выглядит так, будто с трудом воскрешенные епископы женского пола собрались на конклав. Только немногим женщинам идет фиолетовый. Мари он был очень к лицу. Когда я еще жил дома, вдруг появилась мода на прямые, мешковатые платья, и все эти несчастные квочки, которым мужья велят одеваться «представительно», расхаживали на наших «журфиксах» в мешках. Мне до того было жаль некоторых из них — особенно высокую полную жену кого-то из бесчисленных председателей, — что хотелось подойти к ней и из чистого сострадания завернуть ее в какую-нибудь скатерть или занавеску. А ее муж, дурак стоеросовый, ничего не замечал, ничего не видел, ничего не слышал — он мог бы послать свою жену на рыночную площадь в розовой ночной рубашке, если б какой-нибудь псих завел такую моду. На следующий день он делал доклад — и полтора евангелических пасторов слушали, что значит слово «познать» в брачном кодексе. А сам он, вероятно, так и не «познал», что у его жены слишком костлявые коленки и ей нельзя носить короткие платья.

Я рывком открыл дверцы шкафа, чтобы не смотреться в зеркало: от Мари там ничего не осталось, ровно ничего, даже колодок для туфель, даже пояса, а женщины так часто забывают их

в шкафу, даже запаха духов почти не осталось, — надо было бы ей проявить больше жалости, забрать и мою одежду, раздарить ее или сжечь, но мое платье висело на месте: зеленые вельветовые брюки, которых я ни разу не надевал, черный твидовый пиджак, несколько галстуков и три пары башмаков на полочке внизу; в боковых ящиках, наверно, осталось все, что нужно: запонки, белые пластинки для воротничков, носки, носовые платки. Я так и думал: в вопросах собственности эти католики непоколебимы, всегда справедливы. Мне и открывать эти ящики не было нужды: все, что мне принадлежало, будет на месте, а все ее вещи убраны. Какое это было бы благодеяние — унести и мое барахлишко, но нет: в нашем шкафу царила справедливость, смертельно скучная корректность. И Мари, наверно, чувствовала жалость, унося все, что могло бы напоминать мне о ней, наверно, она даже всплакнула, как плачут женщины в фильмах с разводом, говоря: «Никогда мне не забыть дней, проведенных с тобой!»

Убранный, аккуратный шкаф (кто-то даже прошелся по нему тряпочкой) — ничего хуже она мне оставить не могла, все в порядке, все разделено, ее вещи разведены с моими. словно шкафу сделали удачную операцию. Ничего не осталось, даже оторванной пуговицы. Я оставил дверцы открытыми, чтобы не видеть зеркала, проковылял на кухню, сунул бутылку коньяку в карман, пошел в столовую, лег на диван и подтянул штанину. Колено сильно распухло, но боль стихла, как только я лег. В пачке лежало еще четыре сигареты, и я закурил одну из них.

Я подумал — что хуже: если бы Мари оставила свои платья здесь или, как сейчас, убрала; везде чисто, и даже нет записочки: «Никогда мне не забыть дней, проведенных с тобой». Может, так оно и лучше, и все же она могла бы оставить хоть пуговицу, хоть поясик или же взять с собой весь шкаф и сжечь его дотла.

Когда пришло известие о смерти Генриетты, у нас дома как раз накрывали стол и Генриеттина салфетка в желтом салфеточном кольце еще лежала на шкафу — Анна считала, что отдавать ее в стирку преждевременно, — и тут мы все посмотрели на эту салфетку, на ней были следы мармелада и маленькое бурое пятнышко — не то от супа, не то от соуса. Впервые в жизни я почувствовал, какой ужас таят в себе вещи, оставшиеся после человека, который ушел или умер. Но мама сделала решительную попытку и начала есть, наверно, это должно было означать: жизнь продолжается, или что-то в этом духе, но я точно знал, что это не так, не жизнь продолжается, а смерть. И я выбил у нее ложку из рук, выбежал в сад, потом опять в дом, где поднялся вой и визг: маме обожгло лицо супом. Я ринулся наверх в Генриеттину комнату, распахнул раму и стал швырять за окно все, что мне попадалось под руку: коробочки и платья, кукол, шляпки, башмаки, береты; рванул ящик комода, там лежало белье и между ним — странные мелочи, которые, наверно, были ей чем-то дороги: засушенные колосья, камешки,

цветы, обрезки бумаги и целые пачки писем, перевязанные розовыми ленточками. Теннисные туфли, ракетки, призы — все, что попадалось под руку, я выкидывал в сад. Лео потом говорил мне, что я был похож на сумасшедшего, и все произошло с такой бешеной быстротой, что никто не успел помешать. Целые ящики комода я просто опрокидывал за окно, помчался в гараж, притащил в сад тяжелый бидон с горючим, вылил его на грудку вещей и поджег; все, что валялось вокруг, я подтолкнул ногой в бушевавшее пламя, собрал все клочки и кусочки, все засушенные колосья и цветы, все письма — и швырнул в огонь. Я побежал в столовую, схватил с буфета салфетку в кольцо, кинул и ее в огонь. Лео потом говорил, что все произошло в пять минут, и, пока сообразили, что происходит, костер уже пылал вовсю и я побросал в огонь все вещи. Откуда-то вынырнул американский офицер, он, видно, решил, что я жгу секретные документы, протоколы великого германского «вервольфа», но, когда он подошел, все уже обуглилось, почернело, отвратительно запахло горелым, он хотел схватить пачку писем, я выбил их у него из рук и выплеснул в огонь остатки бензина из канистры. Позже подоспели и пожарные с уморительно огромными брандспойтами, и сзади кто-то вопил уморительно пискливым голосом самую уморительную команду, какую я слышал: «Воду — марш!» И им не было стыдно поливать эту несчастную грудку пепла из своих насосов, а так как одна из оконных рам немного затлелась, то кто-то из пожарных направил в окно струю воды, и все в комнате поплыло, а потом паркет вспучился, и мама рыдала над испорченными полами и обзванивала всякие страховые общества, выясняя, чему приписать повреждения — пожару, наводнению или лучше просто получить страховку за поврежденное имущество.

Я глотнул коньяку из бутылки, снова сунул ее в карман и ощупал колено. Когда я лежал, оно болело меньше. Если вести себя разумно, справиться с мыслями, опухоль спадет, боль стихнет. Можно будет достать пустой ящик из-под апельсинов, сесть у вокзала и, подыгрывая на гитаре, петь акафист пресвятой деве. Я положу — как бы случайно — свою шляпу или кепку рядом на ступеньки, и стоит только кому-нибудь сообразить и что-то туда бросить, как другие тоже возьмут с него пример. Деньги мне были необходимы, хотя бы потому, что кончились сигареты. Лучше всего было бы положить в шапку грош и пару пятипфенниговых монет. Наверно, Лео принесет мне хоть такую малость. Я уже ясно представил себе, как я там сижу: белое лицо на темном фоне вокзала, голубая рубашка, черная куртка и зеленые вельветовые брюки, — и тут я «зачинаю», под аккомпанемент вокзального шума: “*Rosa mystica — ora pro nobis — turris Davidica — ora pro nobis — virgo fidelis — ora pro nobis*”<sup>1</sup>, и я проsiжу там, пока не придет поезд из Рима и моя *coniux infidelis*<sup>2</sup> не прибудет со своим католическим мужем.

---

<sup>1</sup> Мистическая роза — молись о нас — твердыня Давидова — молись о нас — верная дева — молись о нас (лат.).

<sup>2</sup> Неверная супруга (лат.).

Должно быть, их венчание вызвало целый ряд неприятных осложнений. Мари не была вдовой, она и не разведенная жена, она — и это я случайно знал достоверно — уже не девушка. Зоммервильд, наверно, рвал на себе волосы — венчание без фаты портило ему всю эстетическую концепцию. А может быть, у них есть особые литургические каноны для падших дев и бывших наложниц клоунов? О чем думал епископ, совершая обряд венчания? Меньше чем на епископа они наверняка не согласились бы. Один раз Мари затащила меня на епископскую службу, и на меня произвела огромное впечатление вся эта церемония: снять митру — надеть митру, надеть белую перевязь — снять белую перевязь, епископский посох туда — потом сюда, повязать красную перевязь — снять белую; моей «утонченной артистической натуре» очень близка эстетика повторов.

Тут я стал обдумывать свою пантомиму с ключами. Можно было взять пластилин, сделать в нем оттиск ключа, налить воды в форму и заморозить в холодильнике; наверно, можно достать маленький портативный холодильник, тогда я смог бы каждый вечер делать несколько ключей перед выступлением, на котором эти ключи будут постепенно таять. Может быть, эта выдумка и осуществима, но на данный момент я ее оставил — слишком уж все это сложно, мне придется зависеть от слишком большого реквизита, от множества технических неполадок, а если к тому же какой-нибудь из рабочих сцены на военной службе был обманут моим земляком с Рейна, он еще, чего доброго, выключит мой холодильник и сорвет весь номер. Нет, вторая выдумка лучше: усесться на ступеньки боннского вокзала таким, как я есть, без грима, только с набеленным лицом, и петь акафисты, подыгрывая себе на гитаре. Рядом — шляпа, я ее надевал, имитируя Чаплина, вот только монет для приманки не хватило, хорошо бы положить туда десять пфеннигов, еще лучше — десять и пять пфеннигов, а самое лучшее три монетки — десять, пять и два пфеннига. Пусть люди видят, что я не какой-нибудь религиозный фанатик, который гнушается малой лептой, пусть видят, что каждое даяние — благо, даже медный грошик. А потом я подложу и серебряную монетку, для ясности, пусть видят, что я не только не гнушаюсь крупной лептой, но и получаю ее. Я и сигаретку положу в шляпу, большинству людей легче открыть портсигар, чем кошелек. Конечно, потом обязательно появится какой-нибудь защитник моральных устоев, потребует разрешение петь на улицах или какой-нибудь представитель главного комитета по борьбе с богохульством подвергнет сомнению религиозную ценность моей интерпретации. На тот случай, что у меня могут спросить документы, я всегда буду держать наготове брикет угля с рекламой, известной каждому ребенку: «Шнир тебя согреет», я обведу черную надпись «Шнир» красным мелком, может, даже пририсую свой инициал «Г». Довольно громоздкая визитная карточка, зато выразительно и ясно: разрешите представиться — Шнир. В одном отец мог бы мне помочь, ему это даже ничего и не стоило бы. Он мог бы мне достать лицензию уличного певца. Ему стоило только позвонить обер-бургомистру или попросить его об этом в Коммер-

ческом клубе, за партией ската. Это одолжение он мог бы мне сделать. Тогда я смогу спокойно сидеть на ступеньках вокзала и ждать прихода римского поезда. И если Мари сможет заставить себя пройти мимо и не обнять меня, то еще останется самоубийство. Но не сейчас. Я не решался думать о самоубийстве по одной причине, хотя, может быть, это покажется слишком самоуверенным: я хотел сохранить себя для Мари. Ведь она может расстаться с Цюпфнером, и тогда наше положение будет идеальным повторением истории с Безевицем: церковный развод с Цюпфнером для нее невозможен, и она навеки сможет остаться моей «наложницей». И мне надо будет только обратить на себя внимание телевизионщиков, завоевать новую славу, и тогда церковь закроет на все это глаза. Мне-то вовсе не требуется церковный брак с Мари, поэтому им не придется даже заводить для меня старую волюнку про Генриха Восьмого.

Я чувствовал себя значительно лучше. Колено опало, боль стихла, остались только мигрень и меланхолия, но мне они привычны, как мысль о смерти. У художника смерть всегда при нем, как псалтырь у добросовестного патера. Я даже точно знаю, что будет после моей смерти: от фамильной усыпальницы Шниров я не избавлюсь. Мать будет рыдать и уверять всех, что она одна меня понимала. После моей смерти она обязательно всем станет рассказывать, «каким был наш Ганс на самом деле». На сегодня и, должно быть, на веки веков она твердо уверена, что я — человек «чувственный» и к тому же «корыстный». Она скажет: «Да, наш Ганс, он был такой способный, но, к сожалению, очень чувственный и корыстный и, к сожалению, совершенно недисциплинированный, но очень способный, очень!» А Зоммервилльд скажет: «Да, наш Шнир — чудо, чудо! К сожалению, в нем жили неискоренимые антиклерикальные предрассудки и полное непонимание метафизики». Блотерт — тот будет жалеть, что вовремя не провели закон о смертной казни, тогда можно было бы публично казнить меня. Для Фреденбойля я буду «незаменимым образцом» человека, лишённого «каких бы то ни было социологических концепций». А Кинкель заплачет, искренне и горячо, потрясенный до глубины души, но уже будет поздно. Моника Сильвс будет всхлипывать, словно она — моя вдова, и рассказывать, что сразу не пошла ко мне, не сделала мне омлетик. Одна Мари просто не поверит, что я умер, — она уйдет от Цюпфнера и станет ездить из отеля в отель и везде спрашивать обо мне, но напрасно.

Отец мой до конца просмакует всю эту трагедию, полный раскаяния, что он, уходя от меня, не оставил мне хотя бы две-три бумажки в прихожей. Карл и Сабина будут плакать без всякого удержу, оскорбляя эстетические чувства всех присутствующих на похоронах. Сабина тайком запустит руку в карман пальто Карла, она вечно забывает носовой платок. Эдгар из чувства долга будет сдерживать слезы и, может быть, после похорон пройдет по дорожке

для стометровки в нашем парке, потом один вернется на кладбище и положит большой букет роз у мраморной плиты с именем Генриетты. Никто, кроме меня, не знает, что он был влюблен в нее, никто не знает, что на конвертах, которые я сжег, вместо фамилии отправителя стояли инициалы Э. В. И еще одну тайну я унесу с собой в могилу: однажды я наблюдал, как мама в подвале тайком пробралась в кладовую с продуктами, отрезала себе толстый ломоть ветчины и съела его там же, внизу, торопливо разрывая пальцами, — и выглядело это не очень противно, только неожиданно, я был скорее тронут, чем возмущен. Я спустился в подвал, чтобы поискать в сундуке старые теннисные мячики, ходить туда нам было запрещено, и, услышав ее шаги, я потушил свет, но видел, как она сняла с полки банку яблочного повидла, потом поставила на место, видел, как ее локоть двигался, когда она что-то резала, и как она стала запихивать себе в рот куски ветчины. Этого я никому не рассказывал и не расскажу. Моя тайна будет покоиться со мной под мраморной плитой шнировского мавзолея. Как ни странно, но я хорошо отношусь к существам моей породы — к людям. И когда умирает кто-нибудь из нашей породы, мне грустно. Даже над гробом матери я, наверно, заплакал бы. А над могилой старика Деркума я просто не мог прийти в себя: все кидал и кидал лопатой землю на голые доски гроба, сзади кто-то шептал, что так не полагается, а я все кидал и кидал, пока Мари не отняла у меня лопату. Я не хотел смотреть ни на лавку, ни на дом, не хотел ничего брать на память. Мари отнеслась к его смерти трезво: она продала лавку и отложила деньги «для наших будущих детей».

Уже почти не хромая, я смог пойти в кладовую, взять оттуда гитару. Я снял чехол, сдвинул в столовой два кресла, поставил рядом с собой телефон, лег на кушетку и стал настраивать гитару. От этих звуков мне стало легче. А когда я начал петь, мне стало почти совсем легко: “*Mater amabilis — mater admirabilis*”<sup>1</sup>, а для “*Ora pro nobis*” я взял аккорд на гитаре. Мне понравилась моя затея. С гитарой в руке, положив шляпу дном вниз, со своим истинным лицом, я буду ждать поезда из Рима. “*Mater boni consilii*”<sup>2</sup>. Мари сама мне сказала в тот день, когда я привез деньги от Эдгара Винекена, что мы никогда, никогда больше не расстанемся: «Пока смерть не разлучит нас». А я еще не умер. Матушка Винекен всегда говорила: «Кто поет, тот живет» — или: «Кому еда по вкусу, тот не пропадет». А я пел, и я был голоден. Меньше всего я мог себе представить, что Мари оседет на одном месте: мы с ней всегда разъезжали из города в город, из отеля в отель, и, если застревали на несколько дней, она постоянно повторяла: «Открытые чемоданы смотрят на меня, будто голодные пасти, будто есть просят», и мы напихивали вещами голодные пасти чемоданов, а если я где-нибудь должен был задержаться недели на две, она бегала по городу, как по древним раскопкам. Кино, церкви, газетки поглупее, игра в «братец-не-сер-

<sup>1</sup> Матерь благостная — мать прекрасная (лат.).

<sup>2</sup> Матерь — добрая советчица (лат.).



дись»... Неужели она и вправду захочет принимать участие в торжественной пышной церемонии, когда Цюпфнера будут посвящать в мальтийские рыцари, при канцлерах и президентах, а потом дома выводить утюгом сальные пятна воска с его рыцарского мундира? Дело вкуса, Мари, но у тебя не тот вкус. Гораздо лучше надеяться на неверующего клоуна — он непременно разбудит тебя пораньше, чтобы ты не опоздала на мессу, а если нужно, оплатит и такси до места. Мое голубое трико тебе стирать никогда не придется.

## 24

Когда зазвонил телефон, я на минуту растерялся. Я уже настроил себя на то, чтобы не пропустить звонка и открыть Лео входную дверь. Я положил гитару, посмотрел на звонящий аппарат, потом поднял трубку и сказал:

— Алло?

— Ганс? — сказал Лео.

— Да,— сказал я,— рад, что ты придешь.— Он помолчал, кашлянул, голос его прозвучал как-то незнакомо. Он сказал:

— У меня для тебя есть эти деньги.

Странно, что он сказал *эти* деньги. У Лео вообще удивительно странное представление о деньгах. Никаких потребностей у него нет, он не курит, не пьет, не читает вечерних газет, а в кино ходит только тогда, когда по меньшей мере пять человек, которым он вполне доверяет, скажут, что этот фильм стоит посмотреть, а случается это раз в два-три года. Он больше любит ходить пешком, чем ездить в троллейбусах. И когда он сказал «эти деньги», у меня сразу упало настроение. Если б он сказал «немножко» денег, я бы понял, что у него есть две-три марки. Я подавил испуг и хрипло спросил:

— Сколько?

— Да вот, шесть марок и семьдесят пфеннигов,— сказал он.

Наверно, для него, для его так называемых «личных потребностей», это была огромная сумма, ему бы хватило ее года на два: изредка — перронный билет, пакетик мятных лепешек, грошик для нищего, даже спички ему были не нужны, и если он покупал коробок, чтобы иметь при себе — вдруг понадобится дать прикурить «начальству», — то его хватало на год, и он может проносить коробок спичек целый год, а он у него все как новенький. Разумеется, ему надо иногда ходить к парикмахеру, но эти деньги он, вероятно, берет из тех, которые отец положил на его счет. Раньше он, бывало, покупал билеты на концерты, но и то мама по большей части отдавала ему свои пригласительные билеты. Богатым людям всегда дарят больше, чем беднякам, даже то, что им приходится покупать, они покупают дешевле. У мамы лежал целый каталог от оптового торговца: с нее станется, что она даже почтовые марки ухитрится покупать со скидкой. Шесть марок семьдесят пфеннигов — для Лео это внушительная сумма. И для меня в данный момент тоже,

но он, должно быть, еще не знал, что я, как говорили у нас в семье, в данный момент «лишен всяких доходов».

Я сказал:

— Ладно, Лео, большое спасибо, да захвати для меня пачку сигарет, когда придешь.— Я услышал, как он опять кашлянул, ничего не ответил, и я спросил: — Ты слушаешь? А? — Может быть, он обиделся, что я сразу попросил его купить мне сигареты на его деньги.

— Да, да...— сказал он,— вот только... только...— Он запнулся и заикаясь сказал: — Мне очень неловко перед тобой... но прийти я не могу.

— Что? — крикнул я.— Не можешь прийти?

— Уже без четверти девять,— сказал он,— а в девять мне полагается быть дома.

— А если опоздаешь? — спросил я.— Тебя от церкви отлучат, что ли?

— Ах, брось, пожалуйста,— обиженно сказал он.

— Неужели ты не можешь попросить отпуск или как это у вас называется?

— Только не в это время,— сказал он,— надо было заявить до обеда.

— А если ты просто опоздаешь?

— На меня наложат строжайшую адгортацию,— тихо сказал он.

— Что-то похоже на сад,— сказал я,— если я еще не забыл свою латынь.

Он коротко рассмеялся.

— Скорее на садовые ножницы,— сказал он,— штука неприятная.

— Ну ладно, Лео,— сказал я,— не буду тебя заставлять подвергаться таким строгим взысканиям, но мне стало бы легче, если бы кто-нибудь побыл со мной.

— Все это очень сложно,— сказал он,— ты должен меня понять. Взыскание я бы еще на себя взял, но если я на этой неделе получу еще одно взыскание, то это попадет в личное дело, и мне придется держать ответ в скрутиниуме.

— Где-где? — спросил я.— Ты скажи помедленнее.

Он вздохнул, что-то проворчал, потом медленно сказал:

— В скрутиниуме.

— О черт,— сказал я,— ей-богу, Лео, это похоже на какое-то препарирование насекомых, а уж «личное дело» — совсем как там, в Аннином «П.П.9». Там тоже все сразу заносили в личное дело, как у подсудимых.

— Слушай, Ганс,— сказал он,— неужели нам надо тратить время на споры о нашей воспитательной системе?

— Если тебе неприятно, не надо. Но ведь можно еще каким-то другим путем, вернее, непутем, оттуда выбраться, перелезть через ограду, вроде того, как делалось в этом «П.П.9». Я хочу сказать, что даже при самой строгой системе можно найти какой-то выход.

— Да,— сказал он,— можно, как и на военной службе. Но мне это отвратительно. Я хочу идти прямой дорогой.

— Неужели ты не можешь ради меня преодолеть отвращение и один раз перелезть через ограду?

Он вздохнул, и я себе представил, как он покачал головой:

— Неужто нельзя отложить до завтра? Завтра я мог бы пропустить лекцию и в девять быть у тебя. Разве это так спешно? Или ты сейчас же уезжаешь?

— Нет,— сказал я,— я еще побуду в Бонне. Дай мне хотя бы адрес Генриха Белена, я ему позвоню, может быть, хоть он приедет сюда из Кёльна или оттуда, где он сейчас живет. Понимаешь, я расшибся, разбил колено, сижу без денег, без ангажемента и без Мари. Правда, я и завтра буду сидеть с разбитым коленом, без денег, без ангажемента и без Мари, значит, все это не так спешно. Но, может быть, Генрих уже стал патером, у него есть мотоцикл или еще что. Да ты меня слушаешь?

— Да,— вяло сказал он.

— Так ты дай мне, пожалуйста, адрес Генриха, его телефон,— сказал я.

Он промолчал. Вздыхал он так, словно сто лет просидел в исповедальне и сокрушался о безумствах и грехах человечества.

— Вот что,— сказал он наконец, с явным усилием,— видно, ты ничего не знаешь?

— Чего я не знаю? — крикнул я.— Господи боже, Лео, да говори же яснее!

— Генрих больше не служитель церкви,— сказал он тихо.

— А я думал, это на всю жизнь.

— Да, конечно,— сказал он,— но я хочу сказать, он больше не служит в церкви. Он уехал, пропал без вести, вот уже несколько месяцев.— Он с трудом выдавил из себя эти слова.

— Ничего,— сказал я,— он найдется.— И вдруг я спохватился: — А он один?

— Нет,— строго сказал Лео,— он сбежал с девушкой.— Это прозвучало так, будто он сказал: «У него чума».

Мне стало жаль девушку. Наверно, она католичка и ей очень неприятно жить с бывшим священником, где-нибудь в трущобе, и терпеть все нюансы «плотского вожделения», а вокруг валяется белье, подштанники, подтяжки, на блюдечке — окурки, корешки от билетов в кино, денег уже в обрез, а когда эта девушка спускается по лестнице купить хлеба, сигарет или бутылку вина и в дверях на нее начинает орать хозяйка, она даже не может крикнуть ей: «Мой муж художник, да, художник!» Мне было жаль их обоих, и девушку еще больше, чем Генриха. В этих вопросах, особенно если речь идет не только об очень незаметном, но и об очень ненадежном капеллане, церковь чрезвычайно строга. Для такого типа, как Зоммервильд, она на многое, очень многое закрыла бы глаза. Да и экономка у прелата не с гусиной кожей на ногах; это красивая, цветущая особа, он зовет ее Маддалена, она отлично готовит, всегда аккуратная, веселая.

— Что же поделаешь,— сказал я,— значит, он для меня пока что отпадает.

— Бог мой,— сказал Лео,— ну и хладнокровие у тебя, просто невозможно!

— А я не епископ Генриха Белена, не очень интересуюсь такими делами, и огорчают меня только детали. Но по крайней мере у тебя есть адрес и телефон Эдгара?

— Это Винемена, что ли?

— Да,— сказал я,— ведь ты помнишь Эдгара? Ты у нас с ним встречался в Кёльне, а когда мы жили дома, мы всегда у них играли, ели картофельный салат.

— Ну конечно,— сказал он,— конечно, я его помню, но, насколько мне известно, Винемен давно в отъезде. Кто-то мне рассказывал, что он поехал в научную экспедицию, в командировку, в Индию или в Таиланд, что ли, точно я не знаю.

— Ты уверен? — спросил я.

— Да, почти уверен,— сказал он,— да, сейчас вспомнил, мне об этом рассказал Гериберт.

— Кто? — закричал я.— Кто тебе рассказал?

Он молчал, даже вздохов слышно не было, и теперь я понял, почему он ко мне не может прийти.

— Кто? — крикнул я еще раз, но он не ответил. И это покашливание, как в исповедальне, он его здорово себе усвоил, я часто это слышал, поджидая Мари в церкви.— Лучше ты и завтра ко мне не приходи,— сказал я тихо.— Жаль пропускать лекцию. Чего доброго, ты еще скажешь, что видел и Мари.

Очевидно, он действительно не научился ничему, кроме вздохов и покашливаний. Он опять вздохнул глубоко, горько, протяжно.

— Можешь не отвечать,— сказал я,— передай только поклон тому славному малому, который сегодня два раза со мной разговаривал от вас по телефону.

— Штрюдеру? — спросил он.

— Не знаю, как его фамилия, но мне с ним было приятно по-толковать.

— Да его никто всерьез не принимает,— сказал он,— ведь он, так сказать, живет тут из милости.— Лео ухитрился при этом даже выдавить из себя что-то вроде смешка: — Он иногда пробирается к телефону и говорит глупости.

Я встал, посмотрел сквозь щель между занавесями на часы внизу, на улице. Было без трех минут девять.

— Тебе пора,— сказал я,— не то еще попадешь на заметку. И не прозевай завтра лекцию.

— Но пойми же меня,— умоляюще сказал он.

— О черт,— сказал я,— я тебя хорошо понимаю. Даже слишком хорошо.

— Что ты, в сущности, за человек? — спросил он.

— Я клоун,— сказал я,— и собираю мгновения. Пока.— И я положил трубку.

Я совсем забыл расспросить его о службе в армии, но, может быть, когда-нибудь еще представится возможность. Наверно, он будет хвалить «питание» — дома нас никогда так хорошо не кормили, — а учения он будет считать «чрезвычайно полезными в воспитательном отношении», а контакт с простыми людьми из народа «глубоко поучительным». Я мог обойтись и без этого. Но в эту ночь, в своей семинаристской постели он глаз не сомкнет, будет метаться от угрызений совести и задавать себе вопрос: правильно ли он сделал, что не пошел ко мне? А я столько хотел ему сказать, объяснить, что лучше бы ему изучать теологию в любой части света, хоть в Южной Америке, хоть в Москве, но только не в Бонне. Ведь тому, что он называет своей верой, — и он должен это понять, — не место в Бонне, между Зоммервильдом и Блотертом, и что здесь обращение в католичество одного из Шниров, который к тому же собирается стать священником, могло бы, наверно, укрепить курс акций. Непременно надо будет поговорить с ним обо всем, лучше всего у нас дома, на «журфиксе». И мы с ним, блудные сыновья, уселись бы на кухне, около Анны, пили бы кофе, вспоминали о минувших днях, тех славных днях, когда у нас в парке учились швырять противотанковые гранаты и военные машины останавливались у ворот, привозя расквартированных офицеров вермахта. Обычно это был офицер — майор или еще какой-нибудь чин, — с ним фельдфебели, солдаты, и ни о чем другом они не думали, как только сожрать яичницу-глазунью, выпить коньяку, покурить и полапать горничных на кухне. Иногда они начинали проявлять служебный пыл, то есть напускали на себя важность, и офицер, выстроив их перед нашим домом, выпячивал грудь и даже засовывал руку за пазуху, как скверный актер, играющий полковника, и орал что-то о «победе до конца». Неловко, смешно, бессмысленно. А когда вдруг обнаружилось, что мамаша Винекен тайком пробралась через лес, мимо немецких и американских позиций, чтобы достать на той стороне у брата-пекаря немного хлеба, их служебный пыл стал опасным для жизни. Офицер хотел расстрелять мамашу Винекен и двух других женщин за шпионаж и саботаж (на одном из допросов мамаша Винекен призналась, что разговаривала там с американским солдатом). Но тут мой отец — насколько я помню, второй раз в жизни — проявил необычайную энергию, вывел женщин из импровизированной тюрьмы — нашей прачечной — и спрятал на лодочной пристани у самого берега. Он вел себя настоящим храбрецом, кричал на офицера, а тот — на него. Самое смешное в этом офицере были ордена, подпрыгивающие у него на груди от возмущения, причем моя мать своим мягким голосом повторяла: «Но господа, господа, есть же все-таки границы...» Ее во всем этом деле расстраивало только то, что два «джентльмена» кричали друг на друга. Отец сказал: «Этих женщин вы тронете только через мой труп — стреляйте!» И он действительно распахнул пиджак перед офицером и подставил

грудь, но тут солдатам пришлось отступить, потому что американцы уже заняли прирейнские холмы, и женщины могли спокойно вылезти из лодочного сарая. Да, самое неуместное в этом майоре — или кто он там был такой — были его ордена. Без орденов ему, быть может, еще удалось бы выказать хоть какое-то достоинство. И теперь, когда я вижу на маминых «журфиксах» этих поганых мещан с их орденами, я всегда вспоминаю того офицера, и даже зоммервильдовский орден мне кажется сносным: «Pro Ecclesia» или что-то в этом духе. Для своей церкви Зоммервильд делает серьезные дела, своих «художничков» он держит на цугундере, и у него хватает вкуса считать, что орден «как таковой» носить неловко. Он его и надевает только на процессиях, на парадных местах и на телевизионных передачах. Но эти передачи лишают его даже тех остатков стыда, которые ему как-никак присущи. Вообще, если наш век заслуживает какого-то названия, то его надо назвать веком проституции. Люди привыкли к словарю публичных девок. Как-то я встретил Зоммервильда после одного из выступлений по телевидению («Может ли современное искусство быть религиозным?»), и он меня спросил: «Ну, как я, хорош? Я вам понравился?» Ну в точности те вопросы, какие проститутки задают на прощание своим клиентам. Не хватало еще, чтобы он сказал: «Порекомендуйте меня своим знакомым». Я ему тогда сказал: «Вы мне вообще не нравитесь, так что и вчера понравиться не могли». Это его совсем пришибло, хотя выразил я свое впечатление о нем, стараясь щадить его самолюбие. А выступал он отвратительно: чтобы блеснуть какими-то дешевыми примерами своей эрудиции, он из собеседника, несколько беспомощного социалиста, «сделал котлету», «оставил от него мокрое место», а может, просто «стер в порошок». С хитрым подходцем он спрашивал: «Так, так! Значит, раннего Пикассо вы считаете абстракционистом?» И перед десятью миллионами телезрителей изничтожил старого седого человека, бормотавшего что-то о «политике в искусстве», срезав его вопросом: «Ах, вы, наверно, говорите о социалистическом искусстве, может быть, даже о социалистическом реализме?»

Но, когда я назавтра встретил его на улице и сказал, что он мне не понравился, он совершенно сник. То, что он не понравился одному из десяти миллионов, тяжело ранило его самолюбие, но это с лихвой было искуплено настоящим «потокотом приветствий и похвал» во всей католической прессе. Все писали, что он одержал победу «за правое дело».

Я закурил третью из оставшихся сигарет, взял гитару и стал потихоньку бренчать что попало. Думал я о том, что хотелось рассказать Лео, о чем его расспросить. Но нам вечно мешает что-нибудь: когда мне хочется с ним поговорить всерьез, у него то экзамены, то он боится «скрутиниума». Подумал я и о том, стоит ли мне петь акафисты, пожалуй, лучше не стоит — не то еще примут меня за католика, объявят меня «своим» и сделают из этого хороший материал для пропаганды, они же все «используют», и выйдет сплошная путаница и недоразумение из-за того, что я вовсе не

католик, а просто люблю акафист деве Марии и питаю нежность к простой еврейской девушке, которой он посвящен, впрочем, и этого никто не поймет, все будет так передернуто, что во мне найдут миллионы этих «католонов», устроят из меня телевизионную передачу — и курс акций поднимется еще выше. Нет, надо поискать другой текст, а жаль — мне больше всего хотелось петь именно этот акафист, но петь его на ступеньках боннского вокзала... Нет, тут, пожалуй, недоразумений не оберешься. А жаль. Я неплохо его разучил, а “Oga pro nobis” на гитаре звучало совсем хорошо.

Я встал — надо было подготовиться к выступлению. Наверно, мой агент, Цонерер, от меня «отречется», если я начну петь на улице под гитару. Если бы я пел акафист “Tantum Ergo” и все псалмы, которые я так люблю петь и так долго разучивал, сидя в ванне, он еще, может быть, «рассиропился» бы — дельце-то выгодное, вроде рисования мадонн. Я верил, что он ко мне хорошо относится — чада земные куда сердечнее божьих чад, но «в деловом отношении» я стану для него пустым местом, как только пристроюсь на ступеньках боннского вокзала.

Я уже мог пройтись, не особенно хромая. Значит, не надо брать ящик из-под апельсинов, только сунуть под левую руку диванную подушку, под правую — гитару, и можно идти работать. Две сигареты у меня еще остались, одну я выкурю, другую положу в черную шляпу — это будет неплохая приманка; хорошо бы рядом положить хотя бы одну монетку. Я стал рыться в карманах брюк, даже вывернул их совсем: два билета в кино, красная фишка, мятая бумажная салфетка, но денег никаких. Я открыл ящики гардероба в прихожей: платяная щетка, квитанция на боннскую церковную газету, талон на пивную бутылку, но денег никаких. Я перерыл все ящики на кухне, бросился в спальню, искал между запонками, застегками, пуговками, носками и носовыми платками, обшарил карманы зеленых вельветовых штанов — ни черта. Я снял темные брюки — они остались лежать, как слинявшая кожа, бросил на них белую рубашку и натянул голубую: ярко-зеленый и бледно-голубой, я посмотрелся в зеркало — блестяще! Так здорово я еще никогда не выглядел. Белила я наложил слишком густо, они провалялись в шкафчике несколько лет и совсем высохли, и теперь я увидел в зеркале, что слой грима потрескался, весь пошел трещинами, как лица ископаемых надгробий. Темные волосы казались настоящим париком. Я стал тихонько напевать только что придуманные строчки: «Разнесчастный римский папа, ХДС с ним мучится: не везет он их тележку — ничему не учится». Для начала и это пойдет, уж тут Комиссия по борьбе с богохульством никаких возражений против этого текста не найдет. Надо будет еще придумать несколько куплетов и петь их в балладном духе. Мне очень хотелось плакать, но мешал грим, он так хорошо лег, весь в трещинах, в пятнах уже осыпавшихся кое-где белил, а слезы все испортили бы. Поплакать можно будет и потом, на отдыхе, если будет настроение. Профессиональные привычки — лучшая защита, поразить не на жизнь, а на смерть можно только святого или любителя. Я отступил от

зеркала, углубился в себя еще больше и стал себе еще больше чужим. Если Мари увидит меня таким и у нее после этого хватит сил выпаривать утюгом пятна воска с его мальтийского рыцарского мундира, — значит, она умерла, и мы расстались навеки. Тогда мне только и останется, что грустить над ее могилой. Я надеялся, что у них у всех будет при себе достаточно денег, когда они пройдут мимо меня: у Лео чуть больше десяти пфеннигов, у Эдгара Винекена — он уже вернется из Таиланда, — может быть, найдется старинная золотая монета, а дед, вернувшись с Искьи, по крайней мере даст мне расчетный чек. Теперь я уже научился превращать эти чеки в наличные. Моя мать, наверно, сочтет, что достаточно бросить два-три пфеннига, Моника Сильвс, может быть, нагнется и поцелует меня, а Зоммервильд, Кинкель и Фредебойль, возмущенные моим безвкусным поведением, даже и сигаретки в мою шляпу не кинут. А я тем временем, в перерыве между римскими поездами, съезжу на велосипеде к Сабине Эмондс и съем свой супчик. Может быть, Зоммервильд позвонит Цюпфнеру в Рим и посоветует ему выйти, не доезжая Бонна, в Годесберге. Тогда я поеду на велосипеде за город, усядусь у виллы на взгорье и спою там мою песенку: пусть Мари подойдет, посмотрит — а там увидим, живая она или мертвая. Единственный, кого я жалел, был мой отец. Он так хорошо поступил — спас этих женщин от расстрела, и с его стороны было так хорошо положить мне руку на плечо, и теперь — это я увидел в зеркале — в своем гриме я не просто напоминал его, я был поразительно на него похож, и тут я понял, почему он так резко осуждал обращение Лео в католичество. А Лео мне не жалко — у него есть его вера.

Не было еще и половины десятого, когда я спустился вниз в лифте. Мне вспомнился христианнейший господин Костерт, который задолжал мне бутылку водки и разницу между билетом первого и второго класса. Надо будет послать ему открытку без марки, разбередить его совесть. Он должен был еще прислать мне багажную квитанцию. Удачно, что я не встретил мою хорошенькую соседку, госпожу Гребзель. Пришлось бы ей все объяснять. А когда она увидит меня на ступеньках вокзала, объяснять уже ничего не придется. Не хватало мне только угольного брикета — моей визитной карточки. Вечер был прохладный, мартовский, я поднял воротник пиджака, нахлобучил шляпу и ощутил в кармане последнюю сигарету. Подумал было о бутылке из-под коньяка, она выглядела бы весьма декоративно, но мешала бы проявлениям благотворительности: марка была дорогая, по пробке видно. Зажав подушку под левой, а гитару под правой рукой, я пошел к вокзалу. Только по пути я заметил приметы тех дней, что у нас зовутся «шальными». Какой-то юнец, загримированный под Фиделя Кастро, попытался пристать ко мне, но я от него ушел. У входа на вокзал целая компания — матадоры с испанскими доннами — ждали такси. Я совсем забыл, что шел карнавал. Это была удача. Профес-



сионалу легче всего скрыться среди любителей. Я пристроил подушку на третьей ступеньке снизу, снял шляпу, положил туда сигарету — не посредине, а немного с краю, будто ее мне сбросили откуда-то сверху — и затянул песенку: «Разнесчастный римский папа». Никто не обращал на меня внимания, да это было и не нужно: через час, другой, третий меня уже начнут замечать. Я перестал играть, услышав голос радиодиктора. Он объявил поезд из Гамбурга, и я опять заиграл. Я перепугался, когда первая монетка — десять пфеннигов — упала в мою шляпу, она попала в сигарету и сдвинула ее на самый край. Я ее поправил и снова запел.

**ПОТЕРЯННАЯ ЧЕСТЬ  
КАТАРИНЫ БЛЮМ, ИЛИ КАК  
ВОЗНИКАЕТ НАСИЛИЕ И К ЧЕМУ  
ОНО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ**



DIE VERLORENE EHRE DER KATHARINA BLUM,  
ODER: WIE GEWALT ENTSTEHT UND WOZU SIE  
FÜHREN KANN

1974

© Verlag Kiepenheuer und Witsch Köln 1974

© «Октябрь», 1986

*Перевод Е. Кацовой*

Персонажи и сюжет этой повести — вымышленные. Если при описании определенных журналистских приемов обнаружится сходство с приемами газеты «Бильд», это сходство ни преднамеренное, ни случайное, но неизбежное.

## 1

Нижеследующий отчет основан на нескольких побочных и трех главных источниках, которые будут названы сразу, чтобы потом о них больше не упоминать. Главные источники: полицейские протоколы допросов, адвокат д-р Хуберт Блорна, а также его друг со школьных и студенческих времен прокурор Петер Гах, который — разумеется, доверительно — дополнил протоколы допросов, разъяснил некоторые меры следственных органов и сообщил результаты расследований, не фигурировавшие в протоколах; сделал он это — необходимо добавить — не для официального, а для сугубо частного использования, так как очень близко принял к сердцу скорбь своего друга Блорны, который не знал, чем все это объяснить, но считал, что, «если хорошенько подумать, это вполне объяснимо и даже почти логично». Поскольку дело Катарины Блюм все равно останется более или менее сконструированным — ввиду поведения обвиняемой и очень трудного положения ее защитника, д-ра Блорны, — некоторые мелкие, по-человечески очень естественные некорректности, допущенные Гахом, не только понятны, но и простительны. Побочные источники — одни более, другие менее значительные — здесь незачем упоминать, ибо их запутанность, перепутанность, пристрастность, сопричастность, сомнительность и убедительность выявятся из самого отчета.

## 2

Если отчет — поскольку здесь много говорилось об источниках — порой покажется «растекающимся», читателю приносятся извинения: это было неизбежно. Так как мы имеем дело с «источниками» и «текучестью», говорить о композиции не приходится, может быть, вместо нее следовало бы прибегнуть к понятию

«сведёние» (в качестве замены предлагается иностранное слово «кондукция»), и это понятие было бы доступно всякому, кто когда-либо ребенком (или даже взрослым) играл в лужах, возле них или с ними, соединял их каналами, опорожнял, отводил, переводил, пока наконец не *сводил* все имеющиеся в его распоряжении водно-лужные ресурсы в единый канал, чтобы отвести или перевести его на более низкий уровень, в изготовленный официальными властями сточный желоб или канал, — причем надлежащим порядком, по правилам, как полагается. То есть производится лишь своего рода дренаж, или осушение, — ничего более. Чистейшее наведение порядка. Так что, если местами повесть станет «растекаться» — из-за разницы уровней, — читателя просят быть снисходительным, ведь бывают же, в конце концов, застои, заторы, обмеления, неудачные кондукции и источники, «не могущие соединиться», а кроме того, и подземные течения и т. д., и т. д.

### 3

Факты, которые, наверное, следует изложить прежде всего, жестоки: в некоем городе, в среду, 20.02.1974, в канун предшествующего великому посту карнавала, молодая женщина двадцати семи лет в 18.45 отправляется из своей квартиры на частный танцевальный вечер.

Спустя четыре дня после — приходится выразиться именно так (указывая тем самым на необходимую для течения разницу уровней) — драматического развития событий, в воскресенье вечером, почти в то же самое время, точнее говоря — в 19.04, она позвонит в дверь квартиры старшего комиссара уголовной полиции Вальтера Мёдинга, который как раз занят тем, что по служебной, а не личной надобности переодевается шейхом, и даст ошеломленному Мёдингу официальные показания для занесения в протокол, что в полдень, в 12.15, она застрелила в своей квартире журналиста Вернера Тётгеса; пусть он распорядится взломать дверь ее квартиры и «забрать» оттуда тело; сама она с 12.15 до 19.00 бродила по городу, чтобы почувствовать раскаяние, но никакого раскаяния не почувствовала; кроме того, она просит ее арестовать, она хочет находиться там, где находится ее «дорогой Людвиг».

Мёдинг, который знает молодую особу по различным допросам и питает к ней некоторую симпатию, ни минуты не сомневается в ее показаниях, отвозит ее на своей собственной машине в управление полиции, уведомляет своего начальника, главного комиссара уголовной полиции Байцменне, велит отвести молодую женщину в камеру, через четверть часа встречается с Байцменне у двери ее квартиры, где специально обученная команда взламывает дверь, и убеждается в правильности показаний молодой женщины.

Здесь не следует много говорить о крови, ведь только *необхо-*

дмая разница уровней должна считаться неизбежной, и потому читатель отсылается к телевидению и кино, к соответствующим боевикам и мюзиклам; если здесь что и потечет, то не кровь. Может быть, следует указать на определенные цветовые эффекты: застреленный Тётгес был одет в импровизированный костюм шейха, сметанный из весьма ветхой простыни, а каждый ведь знает, что может натворить красная кровь на белой ткани, если того и другого много; пистолет в таком случае неизбежно становится почти что краскораспылителем, и поскольку в случае с костюмом речь идет о *полотне*, то ссылки на современную живопись и декорации здесь уместнее, чем на дренажи. Ладно. Таковы, стало быть, факты.

#### 4

Был ли жертвой Блюм также и фотокорреспондент Адольф Шённер, найденный, тоже застреленным, в перелеске западнее веселившегося города лишь в среду на первой неделе великого поста, считалось некоторое время не исключенным, но после того, как восстановили хронологическую последовательность событий, было признано, что это «не соответствует фактам». Один таксист позднее показал, что он подвозил переодетого тоже шейхом Шённера вместе с переодетой в костюм андалузки молодой особой как раз к тому перелеску. Но Тётгес был застрелен уже в воскресенье днем, а Шённер — лишь во вторник днем. И хотя скоро было установлено, что орудие убийства, найденное около Тётгеса, никак не может быть оружием, из которого убит Шённер, Блюм несколько часов находилась под подозрением — из-за мотива преступления. Если у нее были причины мстить Тётгесу, то по меньшей мере столько же причин у нее было мстить Шённеру. Но чтобы Блюм имела два пистолета — это следственным органам показалось все же маловероятным. Свое кровавое злодеяние Блюм совершила с холодным расчетом; на вопрос о том, не убила ли она и Шённера, она дала уклончивый ответ в форме вопроса же: «А почему бы и не этого?» Однако потом ее перестали подозревать в убийстве Шённера, тем более что проверка алиби почти полностью доказала ее невиновность. Никто из тех, кто знал Катарину Блюм или узнавал ее в ходе следствия, не сомневался, что, соверши она убийство Шённера, она бы непременно призналась. Во всяком случае, таксист, подвозивший парочку к перелеску («Я, скорее, называл бы это зарослями кустарника», — сказал он), не узнал на фотографиях Блюм. «Господи, — сказал он, — эти хорошенькие стройные шатенки ростом 1,63—1,68 в возрасте 24—27 лет — да их тут в карнавалы дни бегают сотни тысяч».

В квартире Шённера не нашли никаких следов Блюм, никаких следов андалузки. Коллеги и знакомые Шённера могли лишь сказать, что во вторник около полудня он из пивной, где собираются журналисты, «смылся с какой-то гуленой».

Один высокопоставленный учредитель карнавала, вино-торговец и представитель фирмы шампанских вин, который мог похвастать, что возродил юмор, облегченно вздохнул в связи с тем, что оба преступления стали известны только в понедельник и среду. «Случись такое в начале праздника, и хорошему настроению вместе с торговлей конец. Если люди узнают, что переодевания использовали для уголовных дел, настроение сразу же испортится, и торговле крышка. Это чистое кощунство. Легкость и веселье требуют доверия, это их основа».

## 6

После того как стало известно об убийстве двух ее корреспондентов, ГАЗЕТА повела себя несколько странно. Неслыханный переполох! Крупные заголовки. Титульные полосы. Специальные выпуски. Сообщения о смерти огромными буквами. Словно в мире, где стреляют, убийство журналиста — это нечто из ряда вон выходящее, более важное, к примеру, чем убийство директора, служащего или грабителя банка.

Этот факт сверхвнимания прессы здесь следует отметить, потому что не только ГАЗЕТА, но и другие газеты действительно подали убийство журналиста как нечто особенно ужасное, страшное, почти предопределенное, чуть ли не как ритуальное убийство. Говорили даже о «жертве профессии», и сама ГАЗЕТА, конечно, упрямо держалась версии, будто Шённер тоже жертва Блюм, и если приходится признать, что, будь Тётгес не журналист (а, скажем, сапожник или пекарь), его, вероятно, и не застрелили бы, то надо все же попытаться выявить, не правильнее ли говорить о смерти, обусловленной профессией, ибо ведь будут еще разбираться, почему такая умная и сдержанная особа, как эта Блюм, не только запланировала, но и осуществила убийство — в решающий, ею самой избранный момент не только схватилась за пистолет, но пустила его в ход.

## 7

Поднимемся сразу же с этого крайне низкого уровня в более высокие сферы. Довольно о крови. Забудем волнения прессы. Квартира Катарини Блюм убрана, ставшие непригодными ковры выброшены на помойку, мебель протерта и расставлена по местам — все по распоряжению и за счет д-ра Блорны, получившего полномочия от своего друга Гаха, хотя пока совершенно неизвестно, будет ли Блорна распорядителем имущества.

Как-никак эта Катарина Блюм за пять лет вложила в квартиру общей стоимостью в сто тысяч марок семьдесят тысяч на-

личными, так что, как выразился ее брат, в данное время отбывающий небольшой срок заключения, «тут есть чем поживиться». Но кто тогда выплатит проценты и оставшийся долг в тридцать тысяч, даже если учесть довольно значительное подорожание квартир? Остается не только актив, но и пассив.

Тётгес тем временем давно похоронен (с неподобающей помпой, по мнению многих). Смерть же и похороны Шённера, как ни странно, были обставлены с куда меньшей пышностью и сенсационностью и не привлекли такого внимания. Почему бы это? Потому, что он был не «жертвой профессии», а, скорее всего, жертвой ревности? Костюм шейха хранится в складе вещественных доказательств, равно как и пистолет (08), происхождение которого ведомо только Блорне — полиции и прокуратуре выяснить это не удалось.

## 8

Расследование действий Блюм в те четыре неясных дня поначалу шло на лад, но, когда дошло до воскресенья, дело застопорилось.

В среду вечером Блорна самолично выплатил Катарине Блюм жалованье за две полные недели — по 280 марок за каждую, за текущую неделю и за следующую, — так как в среду вечером он вместе с женой уезжал на зимний отдых. Катарина не просто обещала Блорнам, она прямо-таки поклялась, что наконец возьмет отпуск и будет развлекаться на карнавале, а не наймется, как делала все эти годы, на сезонную работу. Она радостно сообщила Блорнам, что вечером приглашена на небольшой домашний бал к своей крестной, подруге, близкому другу Эльзе Вольтерсхайм, чему она очень рада, так как давно уже не имела случая потанцевать. На что госпожа Блорна ей сказала: «Ничего, Катринхен, вот когда вернемся, мы тоже устроим вечер, и ты сможешь потанцевать». С тех пор как она живет в городе, вот уже пять или шесть лет, Катарина все жаловалась на отсутствие возможности «куда-нибудь просто пойти потанцевать». Как она рассказывала Блорнам, тут были только лачуги, где какие-то жалкие студенты искали бесплатных шлюх, да еще богемного типа заведения, в которых тоже одно беспутство, а конфессиональные танцевальные мероприятия она просто ненавидела.

Как было установлено, в среду вечером Катарина еще два часа проработала у супругов Хиперц, которым она время от времени по их просьбе помогала. Так как Хиперцы тоже на дни карнавала уезжали из города — к дочери в Лемго, — Катарина в своем «фольксвагене» отвезла пожилую чету на вокзал. Хотя и трудно было найти место для машины, она настояла на том, чтобы проводить их на перрон, да еще и вещи отнесла. («Не за деньги, нет, за такие одолжения нельзя было даже предлагать ей что-нибудь, это ее глубоко обидело бы», — объяснила госпожа



Хиперц.) Поезд, как установлено, отошел в 17.30. Если 5—10 минут дать Катарине на то, чтобы в начинающейся карнавальной сутолоке найти свою машину, еще 20 или даже 25 минут, чтобы доехать до своей квартиры, которая расположена за городом в лесном жилом массиве и в которую она, таким образом, могла войти только в 18.00—18.15, то не остается ни одной невыясненной минуты, да еще надо дать ей время помыться, переодеться и перекусить, ибо уже в 19.25 она появилась на вечере у господи. Вольтерсхайм, причем ехала туда не на машине, а на трамвае и одета была не бедуинкой и не андалузкой, а просто была с красной гвоздикой в волосах, в красных чулках и туфлях, в закрытой чесучовой блузке медового цвета и обычной юбке из твида того же цвета. Может показаться несущественным, ехала Катарина на вечер в своей машине или трамвае, но здесь об этом сказать необходимо, так как в ходе расследования это имело немаловажное значение.

## 9

Начиная с того момента, как Катарина вошла в вольтерсхаймовскую квартиру, вести расследование стало легче, ибо с 19.25 она, не подозревая об этом, находилась под полицейским наблюдением. Весь вечер, с 19.30 до 22.00, она танцевала, как позднее выразилась в своих показаниях, «самозабвенно и исключительно» с неким Людвигом Гёттенем, вместе с которым и покинула квартиру.

## 10

Здесь необходимо принести благодарность прокурору Петеру Гаху, поскольку одному лишь ему мы обязаны сообщением, граничащим с разглашением юридической тайны, о том, что с момента, когда Блюм вместе с Гёттенем покинула квартиру Вольтерсхайм, комиссар уголовной полиции Эрвин Байцменне распорядился прослушивать телефоны Вольтерсхайм и Блюм. Это сделано способом, достойным, пожалуй, сообщения. В таких случаях Байцменне звонил соответствующему начальнику и говорил: «Мне опять понадобились мои язычки. На сей раз — два».

## 11

Из Катарининой квартиры Гёттен, очевидно, не звонил. Во всяком случае, Гах ничего об этом не знал. Известно, что квартира Катарины находилась под строгим наблюдением, и когда в четверг утром до 10.30 Гёттен оттуда не звонил и не выходил, в квартиру ворвались начинавший терять терпение и

выдержку Байцменне с восемью вооруженными до зубов полицейскими, прямо-таки взяли ее штурмом, обыскали, строжайше соблюдая меры предосторожности, но нашли не Гёттена, а только «совершенно расслабленную, почти счастливую» Катарину, которая стояла у кухонного серванта и пила из большой чашки кофе, жуя белый хлеб, намазанный маслом и медом. Подозрительно было лишь то, что она казалась не ошеломленной, а спокойной, «чуть ли не торжествующей». Она была в купальном халате из зеленой хлопчатобумажной ткани с вышитыми по ней маргаритками, под халатом на ней ничего не было, и когда комиссар Байцменне спросил («довольно грубо», как она потом рассказывала), куда подевался Гёттен, она ответила, что не знает, в какое время Людвиг покинул квартиру. Она проснулась в 9.30, и он уже ушел. «Не попрощавшись?» — «Да».

## 12

Здесь следует кое-что сказать о том в высшей степени щекотливом вопросе Байцменне, который Гах однажды воспроизвел, потом опроверг, потом снова воспроизвел и вторично опроверг. Блорна считает этот вопрос важным, ибо думает, что если он действительно был задан, то именно он, и ничто другое, положил начало озлоблению, стыду и ярости Катарины. Поскольку Блорна и его жена характеризуют Катарину Блум в сексуальных вопросах в высшей степени щепетильной, можно сказать, неприступной, надо взвесить, *мог ли* Байцменне, впавший в ярость из-за исчезновения Гёттена, которого он мысленно держал уже в руках, задать тот щекотливый вопрос. Байцменне *якобы* спросил вызывающе спокойно прислонившуюся к своему серванту Катарину: «А он тебя употребил?», на что Катарина, покраснев, но с гордым торжеством, будто бы ответила: «Нет, так я бы это не назвала».

Можно с уверенностью предположить, что, *если бы* Байцменне задал этот вопрос, никакого доверия между ним и Катариной возникнуть не могло бы. Но тот факт, что доверия между ними действительно не установилось, хотя Байцменне, слышущий «совсем не таким уж дурным человеком», по достоверным сведениям, стремился к этому, вовсе не следует рассматривать как окончательное доказательство того, что одиозный вопрос действительно был задан. Во всяком случае, Гах, присутствовавший при обыске, слышет среди друзей и знакомых «сексуально озабоченным», и вполне возможно, что ему самому пришла в голову такая грубая мысль, когда он увидел чрезвычайно привлекательную Блум, небрежно прислонившуюся к серванту, и что он сам охотно задал бы тот вопрос или охотно занялся бы с ней той столь грубо названной деятельностью.

Затем квартира была тщательно обыскана, некоторые предметы конфискованы, в первую очередь бумаги. Катарине Блюм разрешили одеться в ванной в присутствии женщины — служащей полиции Плецер. Но дверь ванной оставалась открытой — под строжайшей охраной двух вооруженных полицейских. Катарине позволили взять с собой сумочку и — ввиду возможного ареста — принадлежности ночного туалета, косметичку и книги для чтения. Ее библиотека состояла из четырех любовных романов, трех детективных романов, а также биографий Наполеона и королевы Кристины Шведской. Все книги принадлежали одному клубу любителей книги. Поскольку она без конца спрашивала: «Но как так, как же так, что я такого сделала?», служащая уголовной полиции Плецер в конце концов в вежливой форме сообщила ей, что Людвиг Гёттен — давно разыскиваемый бандит, почти изобличенный в ограблении банка и подозреваемый в убийстве и других преступлениях.

Когда наконец в 10.15 Катарину Блюм уводили из ее квартиры на допрос, наручники на нее все же не надели. Байцменне, правда, склонен был настоять на наручниках, но после короткого диалога между служащей Плецер и его ассистентом Мёдингом согласился обойтись без них. Поскольку в этот день начинался карнавал, многочисленные обитатели дома не пошли на работу, но и на ежегодные, подобные древнеримским торжествам, шествия, празднества и т. п. они еще не отправились, и, когда Катарина Блюм, сопровождаемая вооруженными полицейскими, с Байцменне и Мёдингом по бокам, выходила из лифта, в вестибюле десятиэтажного дома с малогабаритными квартирами толпилось десятка три жильцов в капотах, пижамах, купальных халатах, а в нескольких шагах от лифта стоял фоторепортер Шённер. Ее много раз сфотографировали — спереди, сзади, сбоку, а напоследок, когда она, сгорая от стыда, в смятении пыталась прикрыть лицо руками, занятыми сумочкой, косметичкой, пластиковым пакетом с двумя книжками и письменными принадлежностями, — с растрепанными волосами и весьма сердитым выражением лица.

Полчаса спустя, после того как ей напомнили о ее правах и дали возможность немного привести себя в порядок, в присутствии Байцменне, Мёдинга, госпожи Плецер, а также прокуроров д-ра Кортена и Гаха начался допрос, внесенный в протокол: «Меня зовут Катарина Бреттло, урожд. Блюм. Я родилась 2 марта

1947 года в Геммельсбройхе, округ Куир. Мой отец — горнорабочий Петер Блюм. Он умер, когда мне было шесть лет, в возрасте тридцати семи лет, вследствие легочного ранения, полученного на войне. После войны отец снова работал в сланцевом карьере, и у него подозревали пневмокониоз. Когда он умер, у матери были трудности с пенсией, потому что отдел обеспечения и объединение горняков не могли прийти к соглашению. Мне очень рано пришлось начать работать по домашнему хозяйству, потому что отец часто болел и зарабатывал нерегулярно, а мать работала уборщицей в разных местах. Учеба в школе давалась легко, хотя и в школьные годы мне приходилось много заниматься домашним хозяйством, не только дома, но и у соседей, и у других жителей нашей деревни, — я помогала печь, варить, консервировать, забивать скот. Я много работала по дому и помогала при уборке урожая. С помощью моей крестной, госпожи Эльзы Вольтерсхайм из Куира, я после окончания школы в 1961 году получила место помощницы в мясной лавке Герберса в Куире, где при случае работала и за прилавком. С 1962 по 1965 год я училась в школе домоводства в Куире — с помощью и при финансовой поддержке моей крестной, госпожи Вольтерсхайм, работавшей там мастером-воспитателем; школу я окончила на «отлично». С 1966 по 1967 год я работала экономкой в детском саду продленного дня фирмы «Кёшлер» в соседнем местечке Офтерсбройх, затем получила место домашней работницы у врача, д-ра Клутена, тоже в Офтерсбройхе, где оставалась только год, потому что господин доктор становился все более назойливым, а госпожа доктор не желала этого терпеть. Мне эта назойливость тоже не нравилась. Она была мне противна. В 1968 году, когда я несколько недель была без работы и помогала матери по хозяйству, а при случае — на собраниях и вечеринках корпорации барабанщиков в Геммельсбройхе, мой старший брат Курт Блюм познакомил меня с рабочим-текстильщиком Вильгельмом Бреттло, за которого через несколько месяцев я вышла замуж. Мы жили в Геммельсбройхе, где в выходные дни при большом наплыве отдыхающих я время от времени помогала на кухне гостиницы Клоога, иногда и в качестве официантки. Уже через полгода я стала испытывать неодолимую антипатию к своему мужу. Подробнее я не хотела бы говорить об этом. Я оставила мужа и переехала в город. При разводе я была признана виновной стороной как злонамеренно бросившая мужа и снова взяла девичью фамилию. Сначала я жила у госпожи Вольтерсхайм, пока через несколько недель не нашла место экономки и домашней работницы в доме налогового инспектора д-ра Фенерна, где я и жила. Господин д-р Фенерн дал мне возможность посещать вечерние курсы повышения квалификации и сдать экзамены на дипломированную экономку. Он был очень мил и очень великодушен, и я осталась у него и после сдачи экзаменов. В конце 1969 года господина д-ра Фенерна арестовали в связи с сокрытием имущества от обложения налогами, обнаруженным у крупных фирм, на которые он работал. Прежде чем его увели, он дал мне конверт

с трехмесячным жалованьем и просил меня и впредь присматривать за домом, он скоро вернется, сказал он. Я оставалась еще месяц, обслуживала его сотрудников, которые работали в его конторе под надзором налоговых инспекторов, держала в чистоте дом и в порядке сад, заботилась и о белье. Я всегда приносила в следственную тюрьму свежее белье для господина д-ра Фенерна, а также еду, в особенности арденнский паштет, который научилась готовить у мясника Герберса в Куире. Позднее контору закрыли, дом конфисковали, мне пришлось освободить комнату. По-видимому, господина д-ра Фенерна обвинили также в присвоении имущества и подлогах, он попал, уже по-настоящему, в тюрьму, но я продолжала его навещать. Я хотела вернуть жалованье за два месяца, которое оставалась ему должна. Он строго-настрого запретил это. Очень скоро я нашла место в доме д-ра Блорны, с которым познакомилась через господина Фенерна.

Блорны занимают бунгало в поселке Зюдштадт, расположенном в парке. Хотя мне предлагали там жилье, я отказалась: я хотела быть независимой и работать по своей специальности, как человек свободной профессии. Супруги Блорна были очень добры ко мне. Госпожа д-р Блорна помогла мне — она работает в большом архитектурном бюро — купить собственную квартиру в городеспутнике на юге, рекламируемом в проспектах под девизом «Элегантная обитель у реки». Господин д-р Блорна, как юрист, консультирующий промышленные фирмы, госпожа д-р Блорна, как архитектор, были знакомы с проектом. Вместе с господином д-ром Блорной мы высчитали стоимость, проценты и размеры постепенного погашения долга за двухкомнатную квартиру с кухней и ванной на восьмом этаже, и, так как 7 тысяч марок сбережений у меня было, а на 30 тысяч марок кредита супруги Блорна дали поручительство, я смогла уже в начале 1970 года въехать в свою квартиру. Мой минимальный месячный взнос вначале составлял около 1100 марок, но, поскольку супруги Блорна не вычитали у меня за питание, госпожа Блорна каждый день даже совала мне какую-нибудь еду и питье, я могла жить очень экономно и погашать свой кредит даже быстрее, чем мы сперва рассчитали. Четыре года я веду у них хозяйство, мой рабочий день начинается в семь утра и заканчивается в 16.30, когда я управляюсь с уборкой, покупками, приготовлением ужина. Я забочусь также обо всем белье. Между 16.30 и 17.30 я занимаюсь собственными домашними делами и потом еще 1,5—2 часа обычно работаю у пенсионеров Хиперцев. За работу в субботу и воскресенье я в обоих домах получаю дополнительную плату. В свободное время я при случае работаю у ресторатора Клофта или помогаю на приемах, вечерах, свадьбах, званых обедах, балах, чаще всего как нанятая на свободных началах экономка с оплатой за всю работу в целом, на свой риск, иной раз по поручению фирмы «Клофт». Я занимаюсь калькуляцией, организацией, при случае работаю кухаркой или официанткой. Мои доходы брутто в среднем составляют 1800—2300 марок в месяц. В финансовом управлении я считаю себя человеком

свободной профессии. Налоги и страховки я выплачиваю сама. Все бумаги — налоговые декларации и т. п. — мне составляют бесплатно в конторе Блорны. С весны 1972 года я владею «фольксвагеном» выпуска 1968 года, который мне продал по сходной цене работавший в фирме «Клофт» повар Вернер Клормер. Мне стало трудно добираться общественным транспортом до различных, к тому же меняющихся мест работы. С машиной я получила возможность работать на приемах и празднествах, проводившихся в отдаленных отелях».

## 16

Эта часть допроса продолжалась с 10.45 до 12.30 и — после часового перерыва — с 13.30 до 17.45. В обеденный перерыв Блюм отказалась от кофе и бутербродов с сыром за счет полицейского управления, и усиленные уговоры явно расположенных к ней госпожи Плецер и ассистента Мёдинга тоже ни к чему не привели. Как говорил Гах, она, очевидно, не могла рассматривать раздельно служебное и личное, понять необходимость допроса. Когда Байцменне, с расстегнутым воротничком и расслабленным узлом галстука, поглощавший с аппетитом кофе и бутерброды, похожий на доброго папашу, действительно повел себя по отношению к Блюм по-отечески, она настояла на том, чтобы ее отвели в камеру. Оба полицейских, приставленных для ее охраны, потом тоже пытались предложить ей кофе и хлеб, но она упрямо качала головой, сидя на нарах, курила сигарету и, морща нос, гримасами всячески выказывала отвращение к заблеванному унитазу в камере. Позднее она поддалась уговорам госпожи Плецер и обоих молодых полицейских и позволила пощупать пульс, оказавшийся нормальным, снизошла до разрешения принести из соседнего кафе песочное пирожное и чашку чая, настояв на том, что сама это оплатит, хотя один из молодых полицейских, охранявший утром дверь ее ванной, пока она одевалась, изъявил готовность «угостить ее». Мнение обоих полицейских и госпожи Плецер о Катарине Блюм в связи с этим эпизодом: лишена чувства юмора.

## 17

В 13.30 допрос был продолжен и длился до 17.45. Байцменне с удовольствием обошелся бы более кратким допросом, но Блюм настаивала на обстоятельности, право на которую признали за ней и оба прокурора, и в конце концов Байцменне сперва неохотно, но затем, узнав причину, показавшуюся ему важной, тоже согласился с ними.

В 17.45 стали решать, продолжить или прервать допрос, отпустить Блюм или отправить в камеру. Правда, в 17.00 она снова милостиво согласилась выпить еще чаю и съесть бутер-

брод (с ветчиной), изъявив тем самым готовность продолжать допрос, так как Байцменне обещал после его окончания отпустить ее домой. Теперь речь зашла об ее отношениях с госпожой Вольтерсхайм. По словам Катарины Блюм, это ее крестная, кузина ее матери, она всегда заботилась о ней, и когда Катарина переехала в город, то сразу же вступила с ней в контакт.

«20.02 меня пригласили на этот домашний бал, который, собственно, намечался на 21.02, на карнавальную ночь, но потом его перенесли на день раньше, так как в карнавальную ночь госпожа Вольтерсхайм была занята по службе. За четыре года это был первый танцевальный вечер, на котором я была. Нет, я должна уточнить это показание: несколько раз — может быть, два, три, а то даже и четыре раза — я немного танцевала у Блорнов, когда помогала принимать гостей. В поздний час, управившись с уборкой и мытьем посуды, я подавала кофе, а напитками занимался д-р Блорна, и тогда меня звали в салон, где я танцевала с господином д-ром Блорной, а также и с другими господами из университетских, экономических и политических кругов. Потом я эти приглашения принимала очень неохотно, колеблясь, пока совсем не перестала их принимать, потому что гости, часто навеселе, здесь тоже становились назойливыми. Точнее говоря: с тех пор как я обзавелась машиной, я отказалась от этих приглашений. Прежде я зависела от этих господ: кто-нибудь из них подвозил меня домой. Вон и с тем господином, — она показала на Гаха, который покраснел, — я иной раз танцевала». Бывал ли и Гах назойливым? — такой вопрос не задавался.

## 18

Продолжительность допроса объясняется тем, что Катарина с поразительной педантичностью контролировала каждую формулировку, просила зачитывать каждую фразу, заносимую в протокол. Например, упомянутая в последней главке «назойливость» сперва вошла в протокол как «нежности», то есть в первоначальной редакции говорилось, что «господа становились “нежными”». Это вызвало возмущение и энергичный протест Катарины. Дошло до настоящей дискуссии по поводу этих определений между нею и прокурорами, между нею и Байцменне, так как Катарина утверждала, что нежности — это действие двустороннее, в то время как назойливость — одностороннее, а именно последнее всегда имело место. Когда господа заявили, будто все это не столь уж важно и она сама виновата, что допрос так затянулся, она сказала, что протокола, где вместо назойливости будут значиться нежности, она не подпишет. Разница имеет для нее решающее значение, и одна из причин ее разрыва с мужем как раз с тем и связана, что он никогда не бывал нежен, а всегда только назойлив.

Подобные дискуссии возникли и в связи со словом «добры»

применительно к супругам Блорна. В протоколе стояло: «были любезны по отношению ко мне». Блюм настаивала на слове «добры», а когда ей вместо него предложили «добродушны», поскольку «добры» звучит так старомодно, она возмутилась и заявила, что любезность и добродушие не имеют ничего общего с добротой, а именно ее она ощущала в отношении к ней Блорнов.

## 19

Тем временем были допрошены и обитатели дома, большинство которых о Катарине Блюм или вообще никаких показаний дать не могли, или сказали очень мало: встречались иногда с ней в лифте, здоровались, знают, что это она владелица красного «фольксвагена»; одни считали ее секретаршей какого-нибудь крупного босса, другие — заведующей отделом универмага; она всегда опрятна, приветлива, хотя и сдержанна. Только двое из жильцов пяти квартир восьмого этажа, в одной из которых жила Катарина, смогли дать более подробные сведения. Одна — владелица парикмахерской госпожа Шмиль, другой — пенсионер, бывший служащий электростанции по фамилии Рувидель, причем поразительно, что в обоих показаниях утверждалось, будто Катарина принимала или приводила с собой мужчину. Госпожа Шмиль утверждала, что визитер приходил регулярно, примерно раз в две-три недели, с виду очень изящный господин лет сорока, явно из «приличной среды»; господин же Рувидель характеризовал визитера как довольно молодого хлыща, несколько раз он приходил один, а несколько раз — вместе с фройляйн Блюм. Приходил за два минувших года раз восемь или девять, «это только те визиты, которые я наблюдал, о тех же, которых я не наблюдал, я, конечно, сказать ничего не могу».

Когда Катарине предъявили в конце дня эти показания и попросили ее высказаться по поводу них, именно Гах, прежде чем сформулировать вопрос, попытался пойти ей навстречу, спросив, не те ли это господа, которые при случае подвозили ее домой. Катарина, покраснев от стыда и злости, язвительно ответила вопросом, разве запрещено принимать в гостях мужчин, и, поскольку она не пожелала вступить на доброжелательно построенный Гахом мостик, а возможно, вовсе и не сочла его мостиком, Гах посуровел и сказал, что она должна отдавать себе отчет, сколь серьезно рассматриваемое здесь дело, дело Людвига Гёттена, широко разветвленное и уже более года обременяющее полицию и прокуратуру, и он спрашивает ее, раз она, по-видимому, не отрицает, что визиты имели место, идет ли речь об одном и том же господине. Но тут грубо вмешался Байцменне: «Стало быть, вы знаете Гёттена уже два года».

Это заявление ошеломило Катарину, она не нашлась, что ответить, только смотрела, качая головой, на Байцменне, а когда она удивительно робко пролепетала: «Нет же, нет, я только



вчера познакомилась с ним», это прозвучало не очень убедительно. В ответ на требование назвать имя визитера она «чуть ли не с испугом» покачала головой и отказалась дать показания на сей счет. Тогда Байцменне снова повел себя по-отечески и стал уговаривать ее, сказав, что ведь нет ничего дурного, если она имеет друга, который — и тут он совершил непоправимую психологическую ошибку — был с нею не назойлив, а, возможно, нежен; она ведь в разводе и не обязана соблюдать верность, и это даже не предосудительно, если — третья непоправимая ошибка! — неназойливая нежность, может быть, приносила определенные материальные блага. Это окончательно испортило дело. Катарина Блюм отказалась отвечать на вопросы и потребовала доставить ее в камеру или домой. К удивлению всех присутствующих, Байцменне мягко и устало — было уже 20.40 — заявил, что прикажет служащему отвезти ее домой. Но когда она встала, быстро собрала сумочку, косметичку и пластиковый пакет, он неожиданно и жестко спросил: «А каким образом он ночью выбрался из дома, ваш нежный Людвиг? Все входы и выходы охранялись; вы знаете какой-то путь и показали его, и я это выведу. До свидания».

## 20

Мёдинг, ассистент Байцменне, отвозивший Катарину домой, говорил потом, что он очень обеспокоен состоянием молодой женщины и боится, как бы она чего-нибудь не сделала с собой; она совершенно разбита, подавлена, но, как ни странно, именно в этом состоянии у нее обнаружилось или развилось чувство юмора. Когда они ехали по городу, он шутливо сказал: «Как славно было бы где-нибудь просто, без всяких задних мыслей, выпить сейчас рюмочку и потанцевать», на что она кивнула и ответила, что это было бы недурно, вероятно, даже славно, а когда он у ее дома предложил проводить ее наверх до дверей квартиры, она саркастически сказала: «Ах, лучше не надо, вы же знаете, у меня достаточно визитеров, но все равно спасибо».

Весь вечер и полночи Мёдинг пытался убедить Байцменне, что Катарину Блюм надо арестовать — ради ее безопасности. Байцменне даже спросил, не влюблен ли он, на что он ответил: нет, она только нравится ему, и она его ровесница, и он не верит в теорию Байцменне о большом заговоре, в котором замешана Катарина.

О чем он не рассказал и что тем не менее стало известно Блорне от госпожи Вольтерсхайм — о двух советах, которые он дал Катарине, провожая ее все-таки через вестибюль к лифту; эти два довольно деликатных совета, смертельно опасные для него и его коллег, могли бы ему дорого обойтись; стоя около лифта, он сказал Катарине: «Не прикасайтесь завтра к телефону и не раскрывайте газеты», причем неясно, имел он в виду ГАЗЕТУ или просто газеты.

Было примерно 15.30 того же дня (четверг, 21.02.74), когда Блорна впервые на отдыхе встал на лыжи и собрался отправиться на большую прогулку. С этого момента его отпуск, который он так долго предвкушал, пошел насмарку. Как прекрасна была накануне, вскоре после прибытия, длинная вечерняя прогулка, два часа по глубокому снегу, потом бутылка вина у пылающего камина и крепкий сон при открытом окне; первый на отдыхе завтрак, неспешный, долгий, потом несколько часов, тепло закутавшись, на террасе в плетеном кресле; и вот в тот самый момент, когда он уже встал на лыжи, перед ним возник этот субъект из ГАЗЕТЫ и без всякого вступления заговорил о Катарине. Считает ли он ее способной на преступление? «То есть как? — сказал он. — Я адвокат и знаю, кто способен на преступление. Что еще за преступление? Катарина? Немыслимо, с чего вы взяли? Что вам известно?» Узнав в конце концов, что долго разыскиваемый бандит, как доказано, переночевал у Катарины и ее примерно с 11 часов утра строго допрашивали, он собрался было лететь обратно и заступиться за нее, но субъект из ГАЗЕТЫ — действительно ли тот выглядел таким мерзким, или это ему лишь потом представлялось? — сказал, что настолько скверно дело все-таки не обстоит и не назовет ли он несколько характерных черт Катарины. А когда он уклонился и субъект заметил, что это плохой знак, который может быть плохо истолкован, ибо молчание по поводу ее характера в подобном случае — а речь ведь идет о “front-page-story”<sup>1</sup> — однозначно свидетельствует о дурном характере, Блорна вышел из себя и очень раздраженно сказал: «Катарина очень умная и сдержанная особа», но разозлился на себя, ибо это тоже было неверно и нисколько не выражало того, что он хотел и мог бы сказать.

Он еще никогда не имел дела с газетами, тем более с ГАЗЕТОЙ, и когда этот субъект уехал на своем «порше», Блорна отстегнул лыжи и понял, что с отпуском покончено. Он поднялся на балкон к Труде, которая, закутавшись в одеяла, нежилась в полудреме на солнце. Он ей все рассказал. «Позвони же», — сказала Труда, и он пытался позвонить, три раза, четыре, пять раз, но все время слышал одно и то же: «Абонент не отвечает». Вечером в одиннадцать часов он снова пытался позвонить, но опять никто не ответил. Он много пил и плохо спал.

## 22

Когда он в пятницу утром около половины десятого мрачный явился в завтрак, Труда протянула ему ГАЗЕТУ. На первой полосе — Катарина. Огромная фотография, огромные литеры.

<sup>1</sup> Первополосный материал (англ.).

**ВОЗЛЮБЛЕННАЯ БАНДИТА КАТАРИНА БЛЮМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ О ГОСПОДАХ ВИЗИТЕРАХ.**

*«Разыскиваемый в течение полутора лет бандит и убийца Людвиг Гёттен мог бы вчера быть арестован, если бы его возлюбленная, домашняя работница Катарина Блюм, не замела его следов и не прикрыла его бегства. Полиция предполагает, что Блюм уже длительное время замешана в заговоре (продолжение см. на обороте под заглавием «ГОСПОДА ВИЗИТЕРЫ»)».*

На обороте он прочитал, что его высказывание «Катарина умна и сдержанна» ГАЗЕТА превратила в «холодна и расчетлива», а его общее замечание о преступности — в слова, что «она вполне способна на преступление».

*«Священник из Геммельсбройха сказал: "От этой всего можно ожидать. Отец был тайным коммунистом, а мать, которую я из милосердия некоторое время держал уборщицей, воровала церковное вино и учиняла в ризнице оргии со своими любовниками".*

*Последние два года Блюм регулярно принимала визитеров. Была ли ее квартира конспиративным центром, бандитской явкой, перевалочным пунктом для транспортировки оружия? Каким образом двадцатисемилетняя домашняя работница могла стать владелицей собственной квартиры стоимостью приблизительно в 110 000 марок? Участвовала ли она в дележе добычи, полученной при банковских грабежах? Полиция продолжает расследование. Прокуратура работает на полную мощность. Завтра сообщим больше. ГАЗЕТА, КАК ВСЕГДА, ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ! Вся информация о закулисной стороне дела — в завтрашнем воскресном выпуске».*

После полудня Блорна на аэродроме реконструировал дальнейший ход событий.

10.25. Звонок очень взволнованного Людинга, который заклинал немедленно возвратиться и связаться с тоже очень взволнованным Алоизом. Алоиз, по-видимому совершенно растерявшийся, каким я его никогда не видел и представить не мог, в данный момент находится в Бад-Беделиге на конференции христианских предпринимателей, где он должен делать основной доклад и руководить дискуссией.

10.40. Звонок Катарини, которая спросила, действительно ли я сказал то, что стоит в ГАЗЕТЕ. Обрадованный возможностью объясниться, я рассказал, как было дело, и она сказала (записано по памяти) примерно следующее: «Я вам верю, верю, теперь я знаю, как работают эти сволочи. Сегодня утром они добрались даже до моей тяжелобольной матери, до Бреттло и других людей». На мой вопрос, где она сейчас, она ответила: «У Эльзы, а сейчас мне опять надо на допрос».

11.00. Звонок Алоиза, который — я почувствовал это впервые в жизни, а мы знакомы двадцать лет — был взволнован и напуган. Он сказал, я должен немедленно возвратиться, чтобы выступить его поручителем в одном очень щекотливом деле. Ему надо сейчас делать доклад, затем обедать с предпринимателями,

потом вести дискуссию, а вечером участвовать в одной дружеской встрече, но между 7.30 и 9.30 он может приехать к нам домой, откуда потом и махнет на эту дружескую встречу.

11.30. Труда тоже считает, что мы должны немедленно уехать и заступиться за Катарину. По ее иронической улыбке вижу, что у нее уже есть (впрочем, как всегда) соответствующая теория о сложностях Алоиза.

12.15. Заказал билеты, упаковал вещи, заплатил по счетам. После неполных сорока часов отпуска — на такси в И. Там с 14.00 до 15.00 переждали на аэродроме туман. Долгий разговор с Трудой о Катарине, к которой, Труда знает, я очень, очень привязался. Говорили и о том, как мы подбадривали Катарину, чтобы она не была такой скованной, чтобы забыла о своем несчастливом детстве и злополучном браке. Как мы старались преодолеть ее щепетильность, когда речь шла о деньгах, и предоставить ей с нашего счета более дешевый кредит, чем в банке. Даже наше объяснение, что, если она вместо 14%, которые надо платить банку, даст нам 9%, это вовсе не будет нам в убыток, а она сэкономит много денег, ее не переубедило. Как мы обязаны ей: с тех пор как она спокойно и приветливо, очень экономно ведет наше хозяйство, не только значительно сократились наши расходы — она дала нам обоим возможность полностью посвятить себя работе, чего в деньгах и не исчислить. Она освободила нас от пятилетнего хаоса, так обременявшего наш брак и нашу работу.

Поскольку туман не рассеивался, мы в 16.30 решаем ехать поездом. По совету Труды я не звонил Алоизу Штройбледеру. На такси едем на вокзал, где еще поспеваем на поезд 17.45 на Франкфурт. Ужасная поездка — тошнота, нервозность. Даже Труда серьезна и взволнованна. Она предчувствует большую беду. Совершенно измученные, делаем пересадку в Мюнхене, где достали места в спальном вагоне. Оба предвидим огорчения с Катариной и по поводу ее, неприятности с Людингом и Штройбледером.

## 23

В субботу утром, совершенно подавленные и разбитые, они на вокзале города, все еще по-карнавальному веселого, и сразу на перроне — ГАЗЕТА: снова на первой полосе Катарина, на сей раз спускающаяся в сопровождении чиновника уголовной полиции в штатском по лестнице полицейского управления. НЕВЕСТА УБИЙЦЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ РАСКОЛОЛАСЬ! НИКАКИХ СВЕДЕНИЙ О МЕСТОПРЕБЫВАНИИ ГЁТТЕНА! ПОЛИЦИЯ В ПАНИКЕ.

Труда купила номер, и они молча поехали на такси домой, а когда он, пока Труда открывала двери, расплачивался, таксист показал на ГАЗЕТУ и сказал: «Там и про вас есть, я сразу вас узнал. Вы ведь адвокат и работодатель этой потаскушки». Он дал чересчур много чаевых, и шофер, чья ухмылка была вовсе

не так злорадна, как голос, отнес чемоданы, сумки и лыжи в прихожую, приветливо бросив на прощание: «Пока».

Включив кофеварку, Труда мылась в ванной. ГАЗЕТА лежала на столе в гостиной, и там же — две телеграммы: одна от Людинга, другая от Штройбледера. От Людинга: «Мягко говоря, разочарованы отсутствием контакта. Людинг». От Штройбледера: «Не могу поверить, чтобы ты подвел меня. Жду тотчас звонка. Алоиз».

Было как раз восемь часов пятнадцать минут — почти точно то время, к которому Катарина подавала им завтрак: всегда красиво накрытый стол, цветы, свежая скатерть и салфетки, хлеб, булочки, мед, яйца и кофе, а для Труды гренки и апельсиновый джем.

Даже Труда, принеся кофеварку, немного хрустящих хлебцев, мед и масло, стала почти сентиментальной. «Никогда больше так не будет, никогда. Они изведут девочку. Если не полиция, то ГАЗЕТА, а когда ГАЗЕТА потеряет к ней интерес, за нее примутся люди. Иди сюда, прочти это сначала, а уж потом звони визитерам». Он прочитал:

*«ГАЗЕТЕ, всегда старающейся широко вас информировать, удалось собрать новые данные, освещающие характер этой самой Блюм и ее мутное прошлое. Репортерам ГАЗЕТЫ удалось разыскать тяжелобольную мать Блюм. Сперва она пожаловалась, что дочь давно не навещала ее. Потом, ознакомленная с неопровержимыми фактами, она сказала: "Это и должно было случиться, этим и должно было кончиться". Бывший супруг, простодушный рабочий-текстильщик Вильгельм Бреттло, с которым Блюм в разводе, поскольку злонамеренно бросила его, с еще большей готовностью сообщил ГАЗЕТЕ: "Теперь,— сказал он, с трудом сдерживая слезы,— я знаю наконец, почему она сбежала от меня. Почему бросила меня. Вот чем она занималась. Теперь мне все понятно. Ей было мало нашего скромного счастья. Ей хотелось в верхи, а где же честному, скромному рабочему взять "порше". Может быть,— добавил он мудро,— вы передадите читателям ГАЗЕТЫ мой совет: вот этим-то и кончаются ложные представления о социализме. Я спрашиваю вас и ваших читателей: каким образом прислуге достаются такие богатства? Ведь честным путем их не получишь. Теперь я знаю, почему всегда боялся ее радикальности и нелюбви к церкви, и я благословляю решение всевышнего не даровать нам детей. И когда я еще узнаю, что нежности убийцы и грабителя ей были милее моей немудрящей привязанности, то и эта сторона дела становится ясной. И тем не менее я хочу воззвать к ней: моя маленькая Катарина, лучше бы ты осталась со мной. Мы ведь тоже с годами обзавелись бы собственностью и небольшой машиной, я, конечно, никогда не смог бы предложить тебе "порше", только скромное счастье, какое может дать честный работяга, не доверяющий профсоюзам. Ах, Катарина..."».*

Под заголовком «Супруги-пенсионеры потрясены, но не удивлены» Блорна на последней полосе увидел отчеркнутый красным столбец:

*«Находящийся на пенсии штудиендиректор д-р Бертольд Хиперц и госпожа Эрна Хиперц потрясены деятельностью Блюм, но “не особенно удивлены”. Сотрудница ГАЗЕТЫ разыскала их в Лемго у замужней дочери, управляющей там санаторием; филолог-античник и историк Хиперц, у которого Блюм работает три года, сказал: “Радикальная во всех отношениях особа, которая нас ловко обманула”».*

(Хиперц, которому потом позвонил Блорна, клялся, что сказал следующее: «Если Катарина радикальна, то она радикально услужлива, хозяйственна и разумна, или я уж очень ошибаюсь, а у меня за плечами сорокалетний опыт педагога, и я редко ошибался».)

Продолжение первой полосы:

*«Полностью сломленный бывший супруг Блюм, которого ГАЗЕТА посетила в связи с репетицией барабанищиков и дудочников, отвернулся, чтобы скрыть слезы. Остальные члены союза тоже отвернулись, как выразился крестьянин-старожил Меффельс, с ужасом от Катарини, которая всегда была с причудами и прикидывалась такой недотрогой. Во всяком случае, бесхитростные карнавальные радости честного рабочего испорчены».*

В заключение — фотография господина Блорны и Труды в саду возле плавательного бассейна. Подпись: «Какую роль играют женщина, прежде известная как “красная Труды”, и ее муж, при случае называющий себя “левым”? Высокооплачиваемый адвокат-консультант промышленных фирм д-р Блорна с женой Трудой у плавательного бассейна роскошной виллы».

## 24

Здесь следует, воспользовавшись гидротехническим термином, сделать своего рода «обратный подпор», нечто наподобие того, что в кино и литературе именуется ретроспекцией: с субботнего утра, когда супруги Блорна, подавленные и расстроенные, вернулись из отпуска, к утру в пятницу, когда Катарину снова доставили на допрос в полицейское управление; на сей раз ее привезли госпожа Плецер и пожилой чиновник, лишь легко вооруженный, и не из ее квартиры, а из квартиры госпожи Вольтерсхайм, к которой Катарина приехала в пять часов утра на собственной машине. Служащая не скрывала, что ей известно, где они найдут Катарину: не дома, а у Вольтерсхайм. (Справедливости ради следует еще раз вспомнить жертвы и тяготы четы Блорна: прекращение отпуска, поездка в такси на аэродром в И. Задержка из-за тумана. В такси на вокзал. Поезд во Франкфурт, пересадка в Мюнхене. Тряска в спальном вагоне. И рано утром, едва они добрались до дома, ГАЗЕТА! Позднее — слишком поздно, конечно, — Блорна жалел, что вместо Катарини — он ведь знал от парня из ГАЗЕТЫ, что она на допросе, — не позвонил Гаху.)

Все, кто участвовал во втором допросе Катарини в пятни-

цу, — Мёдинг, госпожа Плецер, прокуроры д-р Кортен и Гах, протоколистка Анна Локстер, которую раздражала чувствительность Блюм к слову, охарактеризованная ею как «выпендривание», — все заметили, что у Байцменне было прямо-таки сияющее настроение. Он вошел в зал заседаний потирая руки, с Катариной обращался предупредительно, извинился за «некоторые грубости», в коих повинна не его должность, а его характер — такой уж он неотесанный малый, — и сперва занялся списком конфискованных вещей. В нем значились:

1. Небольшая потрепанная зеленая записная книжка малого формата, содержащая одни только телефонные номера, которые тем временем были проверены, и ничего подозрительного при этом не обнаружилось. По всей видимости, Катарина пользовалась записной книжкой почти десять лет. Эксперт-почерковед, искавший письменные следы Гёттена (Гёттен, кроме всего прочего, дезертировал из бундесвера и работал в одной конторе, то есть оставил много письменных следов), назвал развитие ее почерка образцовым. Запись шестнадцатилетней девушки — номер телефона мясника Герберса, семнадцатилетней — врача д-ра Клутена, двадцатилетней — д-ра Фенерна, позднее — номера и адреса кулинарув, рестораторов, коллег.

2. Выписки из счета в сберкассе, с отмеченными на полях рукою Блюм перерасчетами и списаниями. Поступления, списания — все точно, ни одна из сумм не вызывает подозрений. Так же выглядят всякие бухгалтерские расчеты, заметки и извещения в небольшом скоросшивателе, куда она заносила свои обязательства и расчеты, касающиеся фирмы «Хафтекс», в которой она приобрела свою «Элегантную обитель у реки». Тщательнейшей проверке были подвергнуты ее налоговые декларации, налоговые извещения, налоговые платежи, просмотревший их затем финансовый эксперт нигде не обнаружил какой-нибудь «скрытой более или менее значительной суммы». Байцменне особое значение придавал проверке ее финансовых сделок за последние два года, которые он шутил называл «периодом мужских визитов». И ничего. Выяснилось, правда, что Катарина ежемесячно переводила матери 150 марок, что она поручила по абонементу фирме «Кольтер» в Куире уход за могилой отца в Геммельсбройхе. Покупки мебели, домашней утвари, одежды, белья, счета за бензин — все проверено, и нигде ни одной зацепки. Возвращая Байцменне документы, финансовый эксперт сказал: «Послушай-ка, когда она выйдет на свободу и будет искать место, дай мне знать. Таких всегда ищешь и не находишь». Ничего подозрительного не оказалось и в телефонных счетах Блюм. Междугородные переговоры она, судя по всему, вряд ли вела.

Отмечено было также, что время от времени Катарина Блюм переводила на карманные расходы небольшие суммы — от 15 до 30 марок — своему брату Курту, в настоящий момент сидевшему за кражу со взломом.

Церковных податей Катарина не платила. Судя по ее финан-

совым документам, она еще в возрасте 19 лет, в 1966 году, вышла из католической церкви.

3. Еще одна небольшая записная книжка с различными записями, главным образом расчетного характера, содержала четыре рубрики. Одна для домашнего хозяйства Блорны с записями расходов и подсчетов — на закупки продуктов, моющих и чистящих средств, на химчистку, прачечную. При этом было установлено, что белье Катарина гладила собственноручно.

Во вторую рубрику записывались соответствующие расходы и подсчеты, относящиеся к домашнему хозяйству Хиперцев.

Следующая рубрика относилась к домашнему хозяйству самой Блюм, расходы по которому были очень скромными; случались месяцы, когда на продовольствие она тратила лишь 30—35 марок. Но, по-видимому, она часто ходила в кино — телевизора у нее не было — и иногда покупала себе шоколад и даже конфеты.

Четвертая рубрика содержала доходы и расходы, связанные с одноразовыми работами Блюм, покупкой и чисткой профессиональной одежды, паевые взносы за «фольксваген». Когда дошли до счетов за бензин, вмешался Байцменне и с удивившей всех любезностью спросил, откуда такие относительно большие расходы на бензин, которые, кстати, соответствуют чрезвычайно большим цифрам на спидометре. Ведь установлено, что расстояние до Блорны и обратно составляет около 6 км, до Хиперца и обратно около 8, до госпожи Вольтерсхайм — около 4 км, и если в среднем, при самом щедром раскладе, исходить из одной разовой работы в неделю и прибавить на это, тоже при очень щедром раскладе, еще 20 км и разделить их на все дни недели, что составит еще по 3 км, то получится примерно 21—22 км в день. Наверное, она не каждый день навещала госпожу Вольтерсхайм, но на это мы закроем глаза. Таким образом, получается примерно 8000 км в год; как свидетельствует письменное соглашение с поваром Клормером, она, Катарина Блюм, получила «фольксваген» 2 года тому назад и на спидометре было 56 000 км. Если к этому добавить  $2 \times 8000$ , то на спидометре теперь должно быть примерно 72 000 км, в действительности же на нем почти 102 000 км. Правда, известно, что время от времени она навещала свою мать в Геммельсбройхе, а позднее в санатории в Куир-Хохзаккеле, вероятно, иногда и своего брата в тюрьме, но расстояние до Геммельсбройха или Куир-Хохзаккеля и обратно составляет примерно 50 км, до ее брата — около 60 км, и если исходить из одной, при щедром раскладе — двух поездок в месяц, а брат ее сидит только полтора года, до этого он жил у матери в Геммельсбройхе, то, умножив на все те же два года, получится еще 4000—5000 км, а оставшиеся 25 000 км так и не выяснены, так и не объяснены. Куда же она так часто ездила? Может быть — он, право же, не хочет опять выступать с грубыми намеками, но она должна понять его вопрос, — она где-нибудь (где именно?) встречалась с кем-то, с одним или несколькими?

Не только Катарина, а и все присутствующие слушали как



зачарованные — но и потрясенные — эти расчеты, преподнесенные Байцменне ласковым голосом, и казалось, будто Блум все эти подсчеты и выкладки Байцменне воспринимала не с раздражением, а лишь с напряжением, смешанным с потрясенностью и зачарованностью, потому что, пока он говорил, она не объяснения этим 25 000 км искала, а самой себе хотела уяснить, куда, и когда, и почему она ездила. Еще тогда, когда Катарина усаживалась для допроса, она не была больше неприступной — скорее мягкой, казалось даже, робкой, — выпила чай, не настаивала на том, чтобы самой за него заплатить. А теперь, когда Байцменне покончил со своими вопросами и расчетами, воцарилась — по свидетельству многих, почти всех, присутствующих — мертвая тишина, будто они почувствовали, что на основе одного факта, который, не будь счетов на бензин, легко можно было не заметить, кто-то здесь в самом деле проник в интимную тайну Блум, чья жизнь до сих пор представлялась такой ясной.

«Да, — сказала Катарина, и с этого момента ее показания стали заноситься в протокол, в виде которого и существуют, — верно, я сейчас быстро про себя подсчитала, это составляет более 30 километров в день. Я никогда не задумывалась над этим, никогда не прикидывала и затраты, но иной раз я ездила просто так, просто вперед, без цели, то есть цель как-то сама собой возникала, то есть я ехала в каком-нибудь направлении, которое определялось просто само по себе: на юг в направлении Кобленца, или на запад в направлении Ахена, или вниз к Нижнему Рейну. Не каждый день. Я не могу сказать, как часто и на какие расстояния. Большею частью когда шел дождь, и у меня был свободный вечер, и я была одна. Нет, вношу поправку в свое показание: только когда шел дождь, я ездила; точно не знаю — почему. Должна сказать, что иной раз, когда мне не нужно было ехать к Хиперцам и не случилось разовой работы, я уже в пять часов была дома и мне нечего было делать. Мне не хотелось часто ездить к Эльзе, в особенности с тех пор, как она так подружилась с Конрадом, а одной идти в кино для незамужней женщины довольно рискованно. Иногда я заходила в церковь, не по религиозным причинам, а потому, что там можно спокойно посидеть, но в последнее время и в церквях пристают — не только прихожане. Конечно, у меня есть несколько друзей — например, Вернер Клормер, у которого я купила «фольксваген», и его жена, и еще другие служащие Клофта, но приходить одной довольно трудно и чаще всего неприятно, тем более если не обязательно, а лучше сказать — не безоговорочно, принимаешь всерьез знакомство или ищешь его. Лучше уж сесть в машину, включить радио и поехать куда глаза глядят, но всегда — по проселочным дорогам, всегда — в дождь, больше всего мне нравились проселочные дороги, обсаженные деревьями; иной раз я доезжала до Голландии или Бельгии, выпивала там кофе или пива и ехала обратно. Да. Я это поняла только теперь, когда вы спросили меня. И если вы спросите, как часто, я скажу: два-три раза в месяц, иногда реже, а иногда даже чаще, и обычно это про-

должалось несколько часов, пока я в девять или в десять, а то и около одиннадцати возвращалась, до смерти уставшая, домой. Возможно, сказывался и страх; я знаю много незамужних женщин, которые вечером перед телевизором в одиночку напиваются допьяна».

По мягкой улыбке, с которой Байцменне без комментариев принял к сведению это объяснение, догадаться о его мыслях было нельзя. Он только кивнул, и если снова потер руки, то, возможно, лишь потому, что сообщение Катарины Блюм подтвердило одну из его теорий. Некоторое время стояла тишина, словно присутствующие были поражены или испытывали неловкость; казалось, будто Блюм впервые приоткрыла некоторые свои тайны интимного свойства. Обсуждение остальных конфискованных вещей заняло не много времени.

4. Фотоальбом с фотографиями людей, которых легко идентифицировать. Отец Катарины Блюм — производит впечатление болезненного и озлобленного человека и выглядит гораздо старше того возраста, в каком он тогда был. Ее мать, которая, как выяснилось, больна раком и при смерти. Ее брат. Она сама, Катарина, в четыре года, в шесть лет, в десять — во время первого причастия, новобрачная в двадцать; ее муж, священник из Геммельсбройха, соседи, родственники, разные фотографии Эльзы Вольтерсхайм, затем один, сперва не установленный, пожилой господин, очень бодро выглядящий, — оказалось, что это д-р Фенерн, преступивший закон налоговый инспектор. Никаких фотографий личности, которую можно было бы соотнести с теориями Байцменне.

5. Заграничный паспорт на имя Катарины Бреттло, урожденной Блюм. В связи с паспортом возникли вопросы о поездках, и выяснилось, что Катарина еще ни разу «по-настоящему не выезжала» и, за исключением нескольких дней, когда болела, всегда работала. Фенерн и Блорна, правда, выплачивали ей отпускные, но она или продолжала у них работать, или нанималась на временные должности.

6. Старая коробка от конфет. Содержимое: несколько писем, едва ли с десятков, от матери, брата, мужа, госпожи Вольтерсхайм. Ни одно письмо не заключало в себе ничего такого, что было бы связано с тем, в чем ее подозревали. Кроме того, в коробке было несколько любительских фотографий ее отца — ефрейтора вермахта, мужа в форме барабанщика; несколько листков отрывного календаря с пословицами; довольно обширное собрание собственных, написанных от руки рецептов и брошюра «Об использовании хереса при приготовлении соусов».

7. Папка со свидетельствами, дипломами, удостоверениями, со всеми документами по разводу, нотариальными бумагами, касающимися квартировладения.

8. Три связки ключей, тем временем проверенных, — ключи от ее собственной квартиры и шкафов, от квартир Блорны и Хиперца.

Было установлено и внесено в протокол, что в вышепоименованных предметах не обнаружено ничего подозрительного; объяснения Катарини Блюм об израсходованном бензине и наезженных километрах приняты без комментариев.

Лишь в этот момент Байцменне вынул из кармана усыпанное бриллиантами рубиновое кольцо, которое, видимо, лежало там незавернутым, и, потеряв его о рукав, протянул Катарине.

— Вам знакомо это кольцо?

— Да,— ответила она без промедления и смущения.

— Оно принадлежит вам?

— Да.

— Вы знаете, сколько оно стоит?

— Точно не знаю. Но недорого.

— Так вот,— сказал Байцменне приветливо,— мы его оценили — и для верности не только у нашего специалиста здесь в управлении, но еще и дополнительно, чтобы ни в коем случае не оказаться несправедливыми к вам,— у ювелира в городе. Это кольцо стоит от восьми до десяти тысяч марок. Вы этого не знали? Я даже верю вам, но вы должны мне объяснить, откуда оно у вас. Когда ведется расследование по делу изобличенного в грабеже преступника, серьезно подозреваемого в убийстве, такое кольцо не мелочь и не личное, интимное обстоятельство, как сотни наезженных километров, многочасовые автомобильные поездки под дождем. От кого вы получили это кольцо — от Гёттена или некоего визитера, или Гёттен все же не тот визитер, и если нет, куда вы, в качестве визитерши, да будет позволено мне это шутовское определение, ездили под дождем тысячи километров? Нам нетрудно установить, у какого ювелира это кольцо куплено или украдено, но я хочу предоставить вам шанс, ибо считаю вас не прямой преступницей, а только наивной и немножко романтической женщиной. Как вы мне — нам — объясните, что вы — вы, которая известна как недотрога, прямо-таки неприступная особа, прозванная знакомыми и друзьями «монашенкой», избегающая дискотек, потому что там беспутничают, разошедшаяся с мужем, так как он стал «назойливым», — как же вы нам объясните, что, познакомившись с этим Гёттеном якобы только позавчера, вы в тот же день, можно сказать — не присев, ведете его к себе домой и там очень быстро вступаете с ним — ну, скажем так — в интимные отношения? Как вы это назовете? Любовью с первого взгляда? Влюбленностью? Нежностью? Согласитесь, тут какая-то неувязка, и она никак не может снять подозрения. И вот еще.— Он сунул руку в карман пиджака и вытащил оттуда большой белый конверт, из которого извлек довольно экстравагантный, фиолетовый, с подкладкой кремового цвета, конверт обычного формата.— Этот пустой конверт мы нашли вместе с кольцом в ящике вашего ночного столика, он проштемпелеван 12.02.74 в 18.00 в вокзальном почтовом отделении Дюссельдорфа и адресован вам. Господи,— сказал в заключение Байцменне,— да если у вас был друг и он время от времени навещал вас, а иной раз вы к нему ездили и он писал вам письма и иногда дарил

что-нибудь — скажите же нам, это ведь не преступление. Обвинения против вас возникнут только в том случае, если это связано с Гёттеном.

Все присутствующие понимали, что Катарина кольцо узнала, но стоимость его была ей неизвестна; что снова возникла щекотливая тема визитов некоего господина. Испытывала она чувство стыда, что репутация ее под угрозой, или же она испугалась, что угроза нависает над кем-то, кого она не хочет подвергать опасности? На сей раз она покраснела лишь слегка. Не потому ли она не показала, что получила кольцо от Гёттена, что знала: представлять Гёттена кавалером такого класса бессмысленно? Она была спокойной, почти кроткой, когда говорила под протокол: «Это верно, что на домашнем балу у госпожи Вольтерсхайм я танцевала самозабвенно и исключительно с Людвигом Гёттеном, которого видела впервые в жизни и фамилию которого узнала только во время полицейского допроса в четверг утром. Я испытала к нему большую нежность, и он ко мне тоже. Часов в десять я покинула квартиру госпожи Вольтерсхайм и поехала с Людвигом Гёттеном к себе домой. О происхождении кольца я не могу, нет, вношу поправку: не хочу говорить. Поскольку оно мне досталось не незаконным путем, я не считаю себя обязанной объяснять его происхождение. Отправитель предъявленного конверта мне неизвестен. Вероятно, это был обычный рекламный проспект. В профессиональных гастрономических кругах меня уже немного знают. Объяснить же факт, что рекламное письмо послано без указания отправителя в довольно вычурном конверте с дорогой подкладкой, я не могу. Хотела бы только сказать, что некоторые гастрономические фирмы любят создавать видимость изысканности».

На вопрос о том, почему она, так охотно, по ее словам, едущая на машине, в тот день отправилась к госпоже Вольтерсхайм на трамвае, Катарина Блюм ответила, что не знала, много или мало выпьет, и сочла более надежным обойтись без машины. На вопрос, много ли она пьет и бывает ли пьяной, она ответила: нет, пьет мало, пьяной никогда не была, только один раз, причем в присутствии и по инициативе мужа, ее напоили на вечеринке корпорации барабанщиков каким-то анисовым снадобьем, по вкусу напоминающим лимонад. Позднее ей сказали, что эта довольно дорогая штука — излюбленное средство, чтобы напоить человека допьяна. Когда ей заявили, что такое объяснение — будто она боялась, не слишком ли много выпьет, — неосновательно, поскольку она никогда много не пьет, и не в том ли дело, что она с Гёттеном заранее договорилась, то есть знала, что им не понадобится ее машина, так как они поедут обратно на его машине, она покачала головой и сказала: все было точно так, как она сообщила. У нее как раз было настроение напиться, но потом она все же этого не сделала.

Еще один пункт следовало выяснить до обеденного перерыва: почему у нее нет сберегательной или чековой книжки? Нет ли все же где-то лицевого счета? Нет, у нее нет другого счета, кроме как в сберкассе. Всякую, даже малейшую, поступающую в ее распоряже-

ние сумму она тотчас же использовала на выплату кредита, полученного под большие проценты; проценты за кредит иной раз почти вдвое выше процентов, выплачиваемых по вкладам, а жиросчет вообще почти не дает процентов. Кроме того, чековое обращение кажется ей слишком сложным и дорогим. Текущие расходы, домашнее хозяйство и машину она оплачивала наличными.

## 25

Определенные заторы, которые можно назвать и подспудными помехами, неизбежны, ибо не все источники можно разом и одним движением отвести и перевести в другое русло так, чтобы тотчас же перед глазами предстало осушенное пространство. Но ненужных подспудных помех надо избегать, и тут следует объяснить, почему в эту пятницу утром и Байцменне, и Катарина были такими мягкими, почти кроткими, чуть ли не смирными, а Катарина даже пугливой или запуганной. Правда, ГАЗЕТА, которую одна доброжелательная соседка подсунула под двери госпожи Вольтерсхайм, вызвала у обеих женщин гнев и возмущение, стыд и страх, но телефонный разговор с Блорной немного успокоил их, и так как вскоре после того, как обе расстроенные женщины пробежали глазами ГАЗЕТУ и Катарина поговорила с Блорной по телефону, появилась госпожа Плецер и откровенно призналась, что квартира Катарины, конечно, находится под наблюдением, почему она и знала, где искать Катарину, и что теперь им нужно, к сожалению — к сожалению, вместе с госпожой Вольтерсхайм, — на допрос, то откровенная и приветливая манера госпожи Плецер отодвинула на задний план вызванный ГАЗЕТОЙ ужас, и в Катарине ожила радость, доставленная ей ночным событием: Людвиг позвонил ей, позвонил оттуда! Он был так мил, что она ничего не рассказала ему о своем злосудии, чтобы у него не возникло чувства, будто он причина каких-то бед. Они и сейчас не говорили о любви, это она ему категорически — еще когда они ехали в машине к ней домой — запретила. Нет-нет, у нее все в порядке, конечно же, она бы предпочла быть у него, с ним, навсегда или по крайней мере надолго, конечно, лучше даже навечно, она за время карнавала отдохнет и никогда больше не будет танцевать с другим мужчиной, кроме как с ним, и всегда только по-южноамерикански и только с ним, и как у него там все сложилось. Он очень хорошо устроен и обеспечен, и, поскольку она запретила ему говорить о любви, он все-таки хочет сказать, что она ему очень-очень-очень нравится и когда-нибудь — когда, он пока не знает, может быть, через несколько месяцев, или через год, или даже через два года — он заберет ее, куда — он пока не знает. Ну, и в том же духе — как обычно разговаривают по телефону люди, питающие друг к другу глубокую нежность. Ни слова об интимных делах, тем более о том событии, которому Байцменне (или, что кажется все более вероятным, Гах) дал такое грубое

определение. И все в том же духе. То, что говорят друг другу люди, исполненные нежности. Довольно долго. Десять минут. Может быть, даже больше, сказала Катарина Эльзе. Что касается конкретного словарного запаса обоих нежных собеседников, то можно указать на известные современные кинофильмы, где довольно много и *по видимости* бессодержательно болтают по телефону, часто на далеком расстоянии.

Этот телефонный разговор, который Катарина вела с Людвигом, был причиной расслабленности и Байцменне, его дружелюбия и мягкости, и если он-то догадывался, почему Катарина отказалась от своего заносчивого упрямства, то Катарина, конечно, не могла догадаться, что он весел по той же причине, хотя и не на том же основании. (Да послужит этот знаменательно-примечательный факт поводом к тому, чтобы чаще звонить по телефону, в крайнем случае и без нежного перешептывания, потому что ведь никогда не знаешь, кому таким телефонным разговором на самом деле доставишь радость.) Но Байцменне была ведома и причина боязливости Катарины, ибо он знал и о следующем анонимном звонке.

Просьба не доискиваться источников доверительных сведений, которые содержатся в этой главе,— речь идет только о пробоине в запруде боковой лужи; дилетантски сооруженная плотина будет пробита и даст течь, прежде чем слабая плотина рухнет и все напряжение спадет.

## 26

Во избежание недоразумений надо сказать, что как Эльза Вольтерсхайм, так и Блорны знали, разумеется, что Катарина действительно нарушила закон тем, что помогла Гёттену исчезнуть незамеченным из ее квартиры; способствуя его бегству, она становилась соучастницей определенных преступлений, пусть даже и не зная в данном случае, каких именно! Эльза Вольтерсхайм твердила ей об этом незадолго до того, как госпожа Плецер увела обеих на допрос. Блорна воспользовался первым же случаем, чтобы растолковать Катарине наказуемость ее действий. Ни перед кем не надо скрывать и того, что Катарина сказала госпоже Вольтерсхайм о Гёттене: «Боже мой, он как раз тот, кого я должна была встретить, я бы вышла за него замуж и родила ему детей — пусть даже пришлось бы ждать годы, пока он выйдет из кутузки».

## 27

Допрос Катарины Блюм можно было считать оконченным, она только должна быть готова в случае надобности к сопоставлению показаний других участников танцевального вечера у Вольтерсхайм. Следовало выяснить еще один вопрос, немаловажный в связи с теорией Байцменне о существовании договоренности и заговора: каким образом Людвиг Гёттен попал на домашний бал госпожи Вольтерсхайм?

Катарине Блюм предоставили выбор: отправиться домой или подождать в каком-либо приемлемом для нее месте, но домой идти она отказалась, ибо квартира, сказала она, внушает ей отвращение, она предпочитает ожидать в камере, пока допрашивают госпожу Вольтерсхайм, чтобы потом вместе пойти к ней домой. Лишь в этот момент Катарина вытащила из сумки оба номера ГАЗЕТЫ и спросила, не может ли государство — так она выразилась — сделать что-нибудь, чтобы защитить ее от этой грязи и вернуть потерянную честь. Она теперь хорошо знает, что ее допрос был вполне обоснован, хотя и не понимает, к чему это копание в мельчайших деталях ее жизни, но для нее совершенно непостижимо, каким образом подробности допроса — например, визиты некоего господина — могли стать достоянием ГАЗЕТЫ, да еще все эти лживые и обманом добытые свидетельства. Тут вмешался прокурор Гах и сказал, что в связи с огромным общественным интересом к делу Гёттена следовало, конечно, дать сообщение прессе; пресс-конференции пока не было, но ее, вероятно, не избежать в связи с волнением и страхом, вызванными бегством Гёттена, — бегством, которому она, Катарина, способствовала. Впрочем, благодаря своему знакомству с Гёттеном она стала теперь «исторической личностью», а значит, и объектом понятного общественного интереса. Оскорбительные и, возможно, клеветнические детали она может обжаловать в порядке частного обвинения, и если обнаружится, что из следственных органов просачивается информация, то, она может быть уверена, они заявят протест по поводу нарушения закона и помогут ей добиться своего права. Затем Катарину Блюм отвели в камеру. От строгой охраны отказались, к ней приставили лишь молодую невооруженную сотрудницу полиции, Ренату Цюндах, которая потом рассказала, что Катарина Блюм в течение всего времени, то есть приблизительно два с половиной часа, только и делала, что читала и перечитывала ГАЗЕТУ. Она отказалась от чая, хлеба, от всего — не агрессивно, а «почти дружелюбно, но с какой-то апатией». Всякие разговоры о моде, фильмах, танцах, которые она, Рената Цюндах, заводила, чтобы отвлечь Катарину, не были поддержаны.

Потом, чтобы помочь этой Блюм, прямо-таки с ожесточением вцепившейся в ГАЗЕТУ, она временно передала охрану коллеге Хюфтену и принесла из архива сообщения других газет, в которых вполне объективно говорилось об обстоятельствах дела и допросе Блюм, о ее возможной роли. На третьей, четвертой полосах — краткие сообщения, где даже фамилия Блюм приводилась не полностью, а говорилось лишь о некой Катарине Б., домашней работнице. «Обозрение», например, дало десятистрочную информацию, без фотографии разумеется, где говорилось о злополучном течении обстоятельств некой абсолютно незапятнанной особы. Все это — а ей принесли пятнадцать газетных вырезок — ее не утешило, она только сказала: «Да кто это читает? Все, кого я знаю, читают ГАЗЕТУ!»

Для того чтобы выяснить, каким образом Гёттен сумел попасть на домашний бал госпожи Вольтерсхайм, сперва допросили саму госпожу Вольтерсхайм, и сразу же стало очевидно, что госпожа Вольтерсхайм настроена по отношению ко всей допрашивающей коллегии если не явно враждебно, то, во всяком случае, враждебнее, чем Блюм. Она показала, что родилась в 1930 году, то есть ей 44 года, не замужем, по профессии экономка, диплома не имеет. Прежде чем дать показания по делу, она «бесстрастным, сухим, как порох, голосом, что выразило ее возмущение с большей силой, чем если бы она ругалась или кричала», высказалась об обращении ГАЗЕТЫ с Блюм, а также о том факте, что прессе такого рода передаются подробности допроса. Она понимает, что следует выяснить роль Катарины, но, спрашивается, допустимо ли «разрушать молодую жизнь». Она знает Катарину со дня ее рождения и видит, как уже со вчерашнего дня это разрушение и растерянность приносят свои плоды. Она не психолог, но тот факт, что Катарина потеряла всякий интерес к своей квартире, которую так любила и ради которой так много работала, она считает в высшей степени тревожным.

Прервать обвинительный поток слов Вольтерсхайм было невозможно, даже Байцменне не преуспел в этом, лишь однажды ему удалось перебить ее упреком, что она принимала у себя Гёттена, на что она ответила, что сам он не представлялся и не был ей представлен другими. Она только знает, что в ту самую среду он появился около 19.30 в сопровождении Герты Шоймель вместе с ее подругой Клаудией Штерм, а ее в свою очередь сопровождал какой-то мужчина в костюме шейха, о котором она знает только, что его называли Карлом, и который потом вел себя весьма странно. О договоренности Катарины с этим Гёттеном не может быть речи, и госпожа Вольтерсхайм никогда прежде не слышала его имени, а жизнь Катарины ей известна до мельчайших деталей. Ей, правда, пришлось признаться, что она ничего не знает о «странных автомобильных поездках» Катарины, чьи соответствующие показания ей предъявили, что нанесло решающий удар по утверждению, будто все детали жизни Катарины ей известны. Вопрос о визитах мужчины смутил ее, но она ответила: раз Катарина ничего об этом не сказала, то и она отказывается говорить. Единственное, что она может заметить: это «довольно пошлое дело», и, «когда я говорю «пошлость», я имею в виду не Катарину, а визитера». Если Катарина ее уполномочит, она скажет все, что знает; она исключает возможность того, что поездки Катарины связаны с этим господином. Да, такой господин существует, и если она не желает говорить о нем, то потому, что не хочет выставить его на посмешище. Как бы то ни было, роль Катарины в обоих случаях — и в отношении Гёттена, и в отношении визитера, — вне всяких сомнений, благородна. Катарина всегда была трудолюбивой, честной, немножко пугливой, вернее — запуганной, девушкой, в детстве даже набожной и благочестивой.



Но потом ее мать, уборщицу церкви в Геммельсбройхе, неоднократно уличали в бесчестности, а однажды даже поймали на месте преступления — вместе со служкой она распивала в ризнице церковное вино. Это раздули в «оргию» и устроили скандал, а приходский священник в школе стал плохо обращаться с Катариной. Да, госпожа Блюм, мать Катарины, была очень неустойчивой особой, временами предавалась запою, но надо представить себе этого вечно брызжащего, болезненного человека — отца Катарины, который вернулся с войны полнейшей развалиной, затем озлобившуюся мать и, можно сказать, злополучного брата. Ей известна также история неудачного брака Катарины. Она с самого начала ей не советовала, Бреттло, да простят ей это выражение, типичный слизняк, ползающий на брюхе перед всеми светскими и церковными властями, к тому же отвратительный хвостун. Брак Катарины был бегством из кошмарной домашней атмосферы, и, как только она избавилась от этой атмосферы и от опрометчиво заключенного брака, она, как известно, стала превосходным человеком. Ее профессиональные достоинства вне всяких сомнений, это она, Вольтерсхайм, может не только устно, но, если понадобится, и письменно подтвердить — она член экзаменационной комиссии ремесленной палаты. При нынешнем развитии новых форм гостеприимства, все более склоняющегося к форме так называемого организованного буфета, шансы такой женщины, как Катарина Блюм, которая имеет прекрасную организаторскую, калькуляторскую и эстетическую подготовку и опыт, поднимаются. Но если теперь ГАЗЕТА не исправит дела, вместе с утратой интереса к своей квартире Катарина утратит, конечно, интерес и к профессии. По этому пункту госпоже Вольтерсхайм разъяснили, что не дело полиции или прокуратуры «учинять уголовно-правовое преследование определенных определенно порочных методов журналистики». Нельзя походя посягать на свободу печати, но она может быть уверена, что частное обвинение будет рассмотрено по всем правилам и будет заявлен протест о правонарушении в связи с использованием незаконных источников информации. С пламенной, можно сказать, речью в защиту свободы печати и тайны информации выступил молодой прокурор д-р Кортен, который вместе с тем особо подчеркнул, что если человек не возвращается в плохом обществе или не связывается с ним, то он никакого повода к кривотолкам в прессе и не дает.

А вот такие факты, как, скажем, появление Гёттена и пресловутого Карла в костюме шейха, позволяют сделать вывод о странной беспечности при общении с людьми. Тут ему еще не все ясно, и он рассчитывает при допросе обеих попавших в дом или попавшихся молодых дам получить приемлемые объяснения. Ее же, госпожу Вольтерсхайм, нельзя не упрекнуть в том, что она не слишком разборчива в выборе своих гостей. Госпожа Вольтерсхайм не могла позволить себе выслушивать поучения от человека значительно моложе ее и сослалась на то, что пригласила обеих молодых дам, предложив им прийти вместе со своими друзьями,

и далека от мысли требовать у друзей своих гостей удостоверения личности и справки полиции о благонадежности. Ей пришлось выслушать замечание и принять к сведению, что возраст здесь не играет никакой роли, роль играет лишь положение прокурора д-ра Кортена. Как бы то ни было, здесь ведь расследуется серьезное, тяжкое, если не тягчайшее, уголовное преступление, в котором замешан Гёттен. И она должна оставить на усмотрение представителя государства, какие детали и какие поучения считать важными. В ответ на повторный вопрос, может ли Гёттен и визитер быть одним и тем же лицом, Вольтерсхайм сказала: нет, это совершенно исключено. Но поскольку на вопрос о том, знает ли она «визитера» лично, видела ли его, встречалась ли когда-нибудь с ним, ей пришлось ответить отрицательно и поскольку она не знала и о такой важной интимной детали, как странные автомобильные поездки, то присутствующих допрос не удовлетворил, и ее нелюбезно отпустили до поры до времени. Явственно раздраженная, она, прежде чем покинуть помещение, потребовала занести в протокол, что переодетый шейхом Карл показался ей по меньшей мере столь же подозрительным, как и Гёттен. Во всяком случае, он в туалете все время произносил монологи и исчез не попрощавшись.

## 29

Поскольку было установлено, что Гёттена на вечер привела семнадцатилетняя продавщица Герта Шоймель, следующей допросили ее. Она была явно напугана, сказала, что никогда еще не имела дела с полицией, но все-таки дала более или менее приемлемое объяснение своего знакомства с Гёттеном. Она показала: «Я живу вместе с моей подругой Клаудией Штерм, которая работает на шоколадной фабрике, в однокомнатной квартире с кухней и душевой. Обе мы из Куир-Офтерсбройха и обе дальние родственницы и госпожи Вольтерсхайм, и Катарины Блюм.— (Хотя Шоймель хотела подробнее разъяснить, в каком именно дальнем родстве они состоят, и стала называть дедушек и бабушек, которые были двоюродными и троюродными братьями и сестрами других дедушек и бабушек, ей предложили не уточнять степень дальнего родства, сочтя выражение «дальние» достаточным.) — Мы называем госпожу Вольтерсхайм тетей и считаем Катарину кузиной. В тот вечер, в среду, 20 февраля 1974 года, мы обе, Клаудия и я, находились в некотором затруднении. Мы обещали тете Эльзе привести на небольшой праздник наших приятелей, потому что иначе будет не хватать партнеров. Но мой друг, который служит сейчас в бундесвере, точнее сказать — в саперных частях, неожиданно был опять назначен в наряд и, хотя я советовала ему просто сбежать, мне не удалось уговорить его, потому что он уже неоднократно сбежал и боялся крупных дисциплинарных взысканий. Друг Клаудии к тому времени был настолько

пьян, что нам пришлось уложить его в постель. И мы решили пойти в кафе «Полькт» и подцепить там каких-нибудь симпатичных парней, потому что не хотели осрамиться перед тетей Эльзой. В карнавалы сезон в кафе «Полькт» всегда оживленно. Там встречаются до и после балов, до и после заседаний, и можно быть уверенной, что всегда найдешь много молодых людей. К вечеру настроение в кафе «Полькт» было уже очень приподнятым. Этот молодой человек, о котором я только сейчас узнала, что его зовут Людвигом Гёттенем и он разыскивается как опасный преступник, два раза пригласил меня потанцевать, и во время второго танца я спросила, не хочет ли он пойти со мной на вечеринку. Он тут же с радостью согласился. Он сказал, что находится здесь проездом, нигде не остановился, не знает даже, где ему провести вечер, и с удовольствием пойдет со мною. Как раз когда я, можно сказать, договорилась с этим Гёттенем, Клаудия танцевала рядом со мной с каким-то мужчиной в костюме шейха, и они, должно быть, слышали наш разговор, потому что шейх, которого, как я позднее узнала, зовут Карлом, сразу же в шутливо-робком тоне спросил, не найдется ли на этой вечеринке местечко и для него, он тоже одинок и толком не знает, куда деться. Ну, мы, стало быть, достигли своей цели и вскоре после этого поехали к тете Эльзе в Людвиговой — простите, я имею в виду господина Гёттена — машине. Это был «порше», не очень удобный для четырех пассажиров, но путь ведь был недалек. На вопрос, знала ли Катарина Блум, что мы пойдем в кафе «Полькт» кого-нибудь подцеплять, я отвечаю: да. Я утром позвонила Катарине на квартиру адвоката Блорны, где она работает, и рассказала, что нам с Клаудией придется прийти одним, если мы кого-нибудь не найдем. Сказала я и о том, что мы пойдем в кафе «Полькт». Она была против и сказала, что мы слишком доверчивы и легкомысленны. Катарина ведь строгая в этих делах. Тем более меня удивило, что она почти сразу же полностью завладела Гёттенем и весь вечер с ним танцевала, будто они век знакомы».

### 30

Показания Герты Шоймель почти дословно подтвердила ее подруга Клаудия Штерм. Разошлись они лишь в одном-единственном незначительном пункте. А именно: она танцевала с шейхом Карлом не два, а три раза, потому что Карл пригласил ее раньше, чем Гёттен Герту. И ее, Клаудию Штерм, тоже удивило, как быстро Катарина Блум, известная своей неприступностью, познакомилась, можно сказать сблизилась, с Гёттенем.

### 31

Пришлось допросить еще трех участников домашнего бала. Текстильный коммерсант Конрад Байтерс, 56 лет, друг госпожи Вольтерсхайм, и супруги Хедвиг и Георг Плоттен, 36 и 42 лет,

оба по профессии служащие административных учреждений,— все трое одинаково описали ход вечера, появление Катарины Блюм, появление Герты Шоймель в сопровождении Людвига Гёттена и Клаудии Штерм в сопровождении одетого в костюм шейха Карла. Вообще-то вечер был приятный, танцевали, болтали друг с другом, причем особенно остроумным оказался Карл. По словам Георга Плоттена, несколько мешало — если можно так выразиться, ибо сами они наверняка это так не воспринимали,— «тотальное присвоение Катарины Блюм Людвигом Гёттеном». Это сообщило вечеру некую серьезность, чуть ли не торжественность, не вполне подходящую обычным карнавальным увеселениям. Госпожа Хедвиг Плоттен подтвердила, что, когда она после ухода Катарины и Людвига пошла на кухню за мороженым, ей тоже показалось, будто введенный в дом под именем Карла шейх произносил в туалете монологи. Кстати, этот Карл вскоре удалился, толком не попрощавшись.

## 32

Снова доставленная на допрос Катарина Блюм подтвердила телефонный разговор с Гертой Шоймель, но по-прежнему отрицала, что у нее была договоренность с Гёттеном. Вовсе не Байцменне, а более молодой прокурор, д-р Кортен, настоятельно рекомендовал ей признаться, что после телефонного разговора с Гертой Шоймель ей позвонил Гёттен и она хитроумно направила его в кафе «Полькт», велел заговорить с Шоймель, чтобы потом незаметно встретиться у Вольтерсхайм. Осуществить это было очень легко, так как Шоймель яркая, разодетая в пух и прах блондинка. Почти впавшая в полную апатию Катарина Блюм только покачала головой, по-прежнему сжимая в правой руке оба номера ГАЗЕТЫ. После этого ее отпустили, и она вместе с госпожой Вольтерсхайм и ее другом Конрадом Байтерсом покинула полицейское управление.

## 33

Еще раз просматривая подписанные протоколы допросов, чтобы проверить, нет ли каких-нибудь упущений, д-р Кортен поставил вопрос, не стоит ли всерьез заняться этим шейхом по имени Карл и расследовать его крайне подозрительную роль в деле. Он очень удивлен, что до сих пор не предприняты меры для розыска Карла. Ведь, в конце концов, этот Карл появился в кафе «Полькт» одновременно, если не вместе, с Гёттеном, тоже втерся в дом на вечеринку, и роль его кажется ему, Кортену, довольно странной, если не подозрительной.

Тут все присутствующие разразились хохотом, даже сдержанная служащая уголовной полиции Плецер позволила себе улыбку.

нуться. Протоколистка, госпожа Анна Локстер, смеялась так вульгарно, что Байцменне пришлось призвать ее к порядку. И так как Кортен все еще не понимал, в чем дело, коллега Гах наконец просветил его. Разве Кортену не ясно, разве не бросилось в глаза, что комиссар Байцменне умышленно оставил в стороне, не упомянул шейха? Ясно же, что он один «из наших» и его мнимые монологи в туалете не что иное, как — правда, неуклюже сработанное — оповещение коллег посредством мини-радиопередатчика, чтобы они занялись слежкой за Гёттеном и Блюм, адрес которой к тому времени был уже, естественно, известен. «И вы, конечно, понимаете также, коллега, что в карнавальный сезон костюм шейха наилучшая маскировка, ведь по само собой разумеющимся причинам шейхи нынче популярнее ковбоев. Естественно,— добавил Байцменне,— нам с самого начала было ясно, что карнавал поможет бандитам скрыться и осложнит нам задачу идти по горячим следам, ведь мы тридцать шесть часов следовали по пятам Гёттена. Гёттен, который, кстати, не облачился в маскарадный костюм, ночевал в автобусе марки «фольксваген» на стоянке, откуда потом угнал «порше»; он позавтракал в кафе, там же в туалете побрился и переоделся. Мы ни на минуту не теряли его из виду, за каждым его шагом следил десяток наших людей, переодетых шейхами, ковбоями и испанцами, снабженных мини-радиопередатчиками, прикидывающихся подгулявшими участниками карнавала,— они тотчас же сообщали о всех его попытках установить контакт. Нами охвачены и проверены все, с кем Гёттен соприкасался до того, как переступил порог кафе «Полькт»:

кельнер из пивной, где он пил пиво;

две девушки, с которыми он танцевал в ресторанчике старого города;

рабочий на бензоколонке неподалеку от Хольцмаркта, где он заправил угнанный «порше»;

мужчина у газетного киоска на Маттиасштрассе;

продавец в табачной лавке;

служащий банка, где он обменял семьсот американских долларов, добытых, вероятно, при ограблении какого-нибудь банка.

Установлено, что все это были случайные, а не запланированные контакты и ни одно слово, каким он обменялся с каждым из этих людей, не похоже на код. Но я не поверю, что Блюм — тоже случайный контакт. Ее телефонный разговор с Шоймель, пунктуальность, с какой она появилась у Вольтерсхайм, да и треклятая самозабвенность и нежность, с какой они оба с первой же секунды танцевали — и как быстро они потом вместе отвалили! — все это говорит, что случайности не было. Но прежде всего об этом свидетельствует тот факт, что она якобы позволила ему уйти не попрощавшись, совершенно очевидно, что она показала ему путь из жилого квартала, не охваченный контролем. А ведь мы ни на минуту не выпускали из поля зрения жилой квартал, то есть дом в этом квартале, где она живет. Конечно, мы не можем установить полный контроль над территорией почти в полтора квадратных

километра. Она, должно быть, знает запасный выход и указала его, кроме того, я уверен, что она играет роль квартирьера для него, а возможно, и для других и точно знает, где он находится. Дома ее работодателей уже обложены, мы произвели разведку в ее родной деревне, еще раз основательно обыскали квартиру госпожи Вольтерсхайм, пока ее тут допрашивали. Ничего. Мне кажется, лучше всего позволить ей свободно разгуливать, чтобы она совершила ошибку; и, вероятно, путь к его квартире пролегал через пресловутого визитера, я уверен, что запасный выход из жилого квартала связан с госпожой Блорна, которая, как мы теперь знаем, и есть «красная Труда», а она участвовала в проектировании квартала».

### 34

Здесь следует заметить, что первый «обратный подпор» почти закончен, с пятницы перешли опять к субботе. Все сделано для того, чтобы избежать новых заторов, в том числе и излишних скоплений напряженности. Полностью избежать их, видимо, невозможно.

Примечательно, что в пятницу после полудня, после заключительного допроса, Катарина Блум попросила Эльзу Вольтерсхайм и Конрада Байтерса сперва отвезти ее домой и — пожалуйста, пожалуйста — вместе с ней подняться в квартиру. Она призналась, что боится, потому что в тот четверг, ночью, вскоре после телефонного разговора с Гёттеном (по тому факту, что она, пусть и не на допросе, открыто говорила о своих телефонных контактах с Гёттеном, любой непредвзятый человек может судить о ее невиновности), случилось нечто совершенно ужасное. Сразу после разговора с Гёттеном, как только она положила трубку, телефон снова зазвонил, и «в безумной надежде», что это опять Гёттен, она тотчас же сняла трубку, но на проводе был не Гёттен, а «жутко тихий» мужской голос «почти шепотом» наговорил ей «всякие гадости», сплошные мерзости, но самое мерзкое — парень выдавал себя за обитателя дома и сказал, что раз уж ей так по душе нежности, то зачем далеко искать, он готов и в состоянии предложить ей любой, ну просто любой вид нежности. Да, этот звонок и заставил ее ночью приехать к Эльзе. Она боится, боится даже телефона, и, так как Гёттен знает ее номер, а она его номера не знает, она все надеется, что он позвонит, но в то же время и боится телефона.

Не стоит скрывать, что Катарине Блум предстояли и другие ужасы. Ну, к примеру, почтовый ящик; до сих пор он играл в ее жизни очень незначительную роль, она заглядывала туда в основном лишь потому, что «так уж принято», но безрезультатно. В эту пятницу утром он был набит до отказа, и отнюдь не на радость Катарине. И хотя Эльза В. и Байтерс всячески пытались перехватить письма, печатные издания, она не отступалась и про-

смотрела — наверное, в надежде получить весточку от своего дорогого Людвига — все почтовые отправления, в общей сложности штук двадцать, но, по всей видимости ничего не найдя от Людвига, затолкала весь хлам в свою сумку. Даже поездка в лифте оказалась мучительной, так как с ними вместе поднимались двое жильцов. Один из них (звучит невероятно, но приходится сказать) — господин в костюме шейха, который, в явном стремлении отгородиться от них, забился в угол, но, к счастью, вышел уже на четвертом этаже, и дама (с ума сойти, но что правда, то правда), переодетая андалузкой, в маске, — она не отпрянула от Катарини, а стала к ней вплотную и с бесцеремонным любопытством разглядывала ее «наглыми, осуждающими карими глазами». Она поехала выше восьмого этажа.

Надо предупредить: дальше будет еще хуже. Едва они очутились в квартире, при входе в которую Катарина прямо-таки вцепилась в Байтерса и Эльзу В., зазвонил телефон, и на сей раз госпожа В. оказалась проворнее Катарини, она ринулась вперед, схватила трубку, ужаснулась, побледнела, пробормотала: «Проклятая свинья, проклятая трусливая свинья» — и благоразумно положила трубку не на рычаг, а рядом с ним.

Тщетно госпожа В. и Байтерс пытались отнять у Катарини почту, она крепко сжимала всю стопку писем и печатных изданий вместе с обоими номерами ГАЗЕТЫ, которые тоже извлекла из сумки, и настояла на том, чтобы вскрыть всю корреспонденцию. Ничего нельзя было поделать. Она все прочитала!

Не все послания были анонимными. Одно неанонимное письмо — самое большое — пришло от предприятия, которое называло себя «Домом рассылки предметов интимного обихода» и предлагало всевозможные принадлежности сексуальной жизни. Это уж совсем добило Катарину, да кто-то еще сделал приписку от руки: «Вот настоящие нежности».

Коротко, или еще лучше — статистически, говоря: среди остальных восемнадцати корреспонденций были:

семь анонимных, от руки написанных открыток с грубыми предложениями сексуальных услуг, в каждой из них как-либо обыгрывались слова «коммунистическая свинья»;

четыре анонимные открытки, содержащие политические оскорбления — от «красной крысы» до «кремлевской тетки» — без сексуальных предложений;

пять писем с вырезками из ГАЗЕТЫ, в трех или четырех из них — красными чернилами на полях комментария, среди прочего, например, такого содержания: «Что не удалось Сталину, то и тебе не удастся»;

два письма, содержащие религиозные наставления, в обоих случаях на приложенных трактатах написано: «Научись снова молиться, бедное заблудшее дитя» и «Стань на колени и исповедуйся, Бог еще не оставил тебя».

Лишь сейчас Эльза В. обнаружила подsunутую под дверь записку, которую она, к счастью, действительно сумела скрыть

от Катарины: «Почему ты не воспользуешься моим каталогом нежностей? Должен ли я принуждать тебя к твоему счастью? Твой сосед, которого ты так пренебрежительно отвергла. Я тебя предупреждаю». Это было написано печатными буквами, которые, по мнению Эльзы В., выдавали высшее, возможно врачебное, образование.

### 35

Удивительно, что ни госпожа В., ни Конрад Б. не удивились и даже и не подумали вмешаться, когда Катарина подошла к небольшому домашнему бару в гостиной, вынула бутылки хереса, виски, красного вина и початую бутылку вишневого сиропа и без особого волнения стала швырять их в незапятнанные стены, о которые они разбивались.

То же самое она сделала в маленькой кухне, используя для этой цели кетчуп, салатный соус, уксус, острый соус для приправы. Надо ли добавлять, что то же она сотворила в ванной с тюбиками и флаконами крема, пудрой, порошками, солями для ванны, а в спальне — с флаконом одеколона?

Действовала она при этом планомерно, а вовсе не взволнованно, так убежденно и так убедительно, что Эльза В. и Конрад Б. ничего не предпринимали, чтобы ее остановить.

### 36

Существует, конечно, довольно много теорий, с помощью которых пытались определить момент, когда Катарина впервые вознамерилась убить или разработала план убийства и решила привести его в исполнение. Одни полагают, что достаточно было уже первой статьи в ГАЗЕТЕ в четверг, другие же считают решающим днем пятницу, потому что в этот день ГАЗЕТА все еще не утихомирилась и обнаружилось, что добрососедские отношения и квартира, к которой Блюм была так привязана, разрушены (субъективно, во всяком случае); анонимный абонент, анонимная почта, а потом еще субботняя ГАЗЕТА и, кроме того (здесь мы забегаем вперед), ВОСКРЕСНАЯ ГАЗЕТА. Но разве не излишни подобные умозрительные рассуждения: она задумала убийство и осуществила его — и хватит! Можно с уверенностью утверждать: в ней что-то «поднялось», высказывания бывшего мужа ее особенно вывели из себя; и уж с абсолютной уверенностью можно утверждать: все, что потом было напечатано в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ, если и не послужило причиной, то, во всяком случае, оказало отнюдь не успокаивающее воздействие.



Прежде чем покончить с «обратным подпором» и снова сосредоточиться на субботе, следует сообщить еще о том, как прошли вечер в пятницу и ночь с пятницы на субботу у госпожи Вольтерсхайм. Общий итог: неожиданно спокойно. Правда, отвлекающие маневры Конрада Байтерса, включившего танцевальную музыку, южноамериканскую даже, и пробовавшего разохотить Катарину потанцевать, потерпели неудачу, неудачу потерпела и попытка разлучить Катарину с ГАЗЕТОЙ и анонимной почтой; также потерпела неудачу попытка представить все преходящим и не так уж страшно важным. Разве не пришлось пережить куда более ужасные вещи: нищее детство, брак с этим дрянным Бреттло, запой, «мягко говоря, опустившейся матери, которая в конечном счете повинна в том, что Курт сбился с пути»? Разве Гёттен в настоящий момент не в безопасности и его обещание забрать ее дано не всерьез? Разве сейчас не карнавал и разве она не обеспечена материально? Разве нет на свете таких ужасно милых людей, как Блорны, как Хиперцы и даже этот «тщеславный кривляка» — называть по имени визитера все еще не решались, — разве не был он, в сущности, забавным и уж никак не удручающим явлением? Тут Катарина возразила и напомнила про «идиотское кольцо и дурацкий конверт», которые поставили их обоих в тяжелое положение и даже навлекли подозрение на Людвига. Могла ли она знать, что этот кривляка не постоит за ценой, только бы потешить свое тщеславие? Нет-нет, забавным она его вовсе не находит. Нет. А когда стали обсуждать практические вещи — например, не поискать ли ей новую квартиру и не подумать ли уже сейчас — где, — Катарина уклончиво сказала: единственное практическое дело, каким она собирается заняться, — это соорудить карнавальный костюм, и она просит Эльзу одолжить ей большую простыню, потому что она хочет ввиду моды на шейхов в субботу или воскресенье «двинуться в путь» бедуинкой. Что, собственно, случилось плохого? Если хорошенько подумать, почти ничего, или лучше сказать — почти только хорошее, ибо как-никак Катарина действительно встретила того, «кого она должна была встретить», провела с ним «ночь любви», ну, хорошо, ее опрашивали или допрашивали и, судя по всему, Людвиг в самом деле «не божья коровка». Затем была эта обычная грязь в ГАЗЕТЕ, несколько свиней анонимно позвонили, другие анонимно написали. Разве жизнь не продолжается? И разве Людвиг не устроен — она, только одна она знает, как прекрасно, прямо-таки комфортабельно он устроен. А теперь мы сошьем карнавальный костюм, в котором Катарина будет восхитительно выглядеть, белый женский бурнус; в нем она славненько «двинется в путь».

В конце концов природа заявляет свои права, и вот ты уже дремлешь, засыпаешь, просыпаешься, снова дремлешь. А не выпить ли нам по стаканчику? Почему бы нет? Наимирнейшая картина: молодая женщина, задремавшая над шитьем; пожилая дама

и пожилой господин осторожно обходят ее, чтобы природа «вступила в свои права». Природа так основательно вступила в свои права, что Катарину не разбудил даже телефонный звонок, прозвучавший в половине третьего ночи. Почему вдруг задрожали руки у трезвой госпожи Вольтерсхайм, когда она схватила трубку? Уж не ждет ли она анонимных нежностей, наподобие тех, что она слышала несколько часов назад? Конечно, половина третьего ночи жутковатое время для телефонного звонка, но она хватается трубку, которую у нее сразу же отбирает Байтерс, и как только он произносит «Да?», на другом конце провода трубку вешают. И снова раздается звонок, и снова — как только он снимает трубку, еще прежде, чем он сказал «Да?», — отбой. Конечно, есть люди, которые хотят потрепать человеку нервы, раз они узнали из ГАЗЕТЫ его имя и адрес, и потому лучше не класть больше трубку на аппарат.

Было решено оберечь Катарину хотя бы от субботнего выпуска ГАЗЕТЫ, но она, воспользовавшись несколькими минутами, когда Эльза В. заснула, а Конрад Б. брился в ванной, выскользнула на улицу, где в утренних сумерках рванула дверцу первого попавшегося автомата с ГАЗЕТОЙ, совершив своего рода кощунство, ибо обманула ДОВЕРИЕ ГАЗЕТЫ, поскольку вынула ГАЗЕТУ, не заплатив за нее! Можно считать, что с «обратным подпором» пока покончено, потому что как раз в это время, в эту самую субботу, Блорны, подавленные, раздраженные и грустные, вышли из ночного поезда и раздобыли тот же выпуск ГАЗЕТЫ, который они потом изучат дома.

### 38

Неуютно было у Блорнов в субботу утром, крайне неуютно, не только из-за почти бессонной, с тряской и качкой ночи в поезде, не только из-за ГАЗЕТЫ, о которой госпожа Блорна сказала, что эта зараза настигает человека всюду, нигде от нее не спрячешься; неуютно не только из-за полных упреков телеграмм влиятельных друзей и клиентов, но также из-за Гаха, которому рано, слишком рано (и вместе с тем слишком поздно, если учесть, что лучше было бы сделать это еще в четверг) позвонили днем. Он был не очень приветлив, сказал, что допрос Катарины закончен, он не может сказать, будет ли возбуждено против нее дело, но в настоящее время ей, конечно, требуется защитник, хотя еще и не судебный защитник. Разве они забыли, что сейчас карнавал и прокуроры тоже имеют право на отдых, а иной раз и на праздник? Но как бы то ни было, ведь знакомы уже двадцать четыре года, вместе учились, вместе зубрили, пели песни, даже совершали туристские походы, и потому не обращаешь внимания на первые минуты плохого настроения, тем более что и сам чувствуешь себя крайне неуютно, но тут вдруг просьба — от прокурора! — дальнейшее обсуждать не по телефону, а лучше при встрече. Да, обвинения против нее

выдвинуты, многое чрезвычайно запутано, но хватит, может быть, потом, после обеда, при встрече. Где? В городе. Лучше всего на ходу. В фойе музея. В половине пятого. Никаких телефонных связей с квартирой Катарини, с госпожой Вольтерсхайм, с супругами Хиперц.

Неуютно еще и потому, что так быстро дало себя знать отсутствие упорядочивающей руки Катарини. Даже непонятно, как это всего лишь за полчаса словно воцарился хаос, хотя всего только заварили кофе, достали из шкафа хрустящие хлебцы, масло и мед и поставили в прихожую багаж; в конце концов даже Труда раздражилась, потому что он беспрестанно, снова и снова, спрашивал, какую связь она видит между делом Катарини и Алоизом Штройблером, тем более Людингом, и она нисколько не пыталась успокоить его, а только в своей наигранной наивно-иронической манере, которая обычно так нравилась ему, но в это утро была не по душе, все время отсылала его к обоим номерам ГАЗЕТЫ, потом спросила, обратил ли он внимание на одно слово, но на какое именно, говорить не стала, саркастически заметив, что хочет проверить его сообразительность, и он снова и снова читал «эту мерзость, эту отвратительную мерзость, которая всюду настигает человека», читал и перечитывал, не в силах сосредоточиться, потому что его всякий раз выводили из себя фальсифицированные его высказывания и слова «красная Труда», пока он наконец не капитулировал и смиренно не попросил Труду ему помочь; он настолько вне себя, что сообразительность изменяет ему, кроме того, он уже много лет практикует как адвокат по индустриальным, а не уголовным делам, в ответ на что она сухо произнесла: «К сожалению», но затем все-таки сжалилась и сказала: «Разве ты не заметил слов «господа визитеры» и не заметил, что я их соотнесла с телеграммами? Посмотри-ка внимательно на фотографию этого Гёттинга, нет, Гёттена,— разве станет кто-нибудь говорить о нем как о господине визитере, как бы ни был он одет? Нет, ни в коем случае, на языке добровольно шпиониющих обывателей такого всегда назовут мужчиной, а не господином, и я предсказываю тебе, что не позже чем через час нам тоже нанесет визит господин, и еще я тебе предсказываю неприятности, конфликты и, возможно, конец одной старой дружбы, неприятности и с твоей красной Трудой и кое-что поболее, чем просто неприятности с Катарини, имеющей два очень опасных свойства: верность и гордость,— она никогда, ни за что не признается, что показала этому парню запасный выход, который мы обе, она и я, вместе изучали. Спокойно, дорогой, спокойно: ничего не обнаружится, но, в сущности, моя вина, что этот Гёттинг, нет, Гёттен, смог исчезнуть незамеченным из ее квартиры. Ты наверняка уже не помнишь, что в моей спальне висел план всей системы отопления, вентиляции, канализации и проводок «Элегантной обители у реки». Шахты отопления помечены на нем красным цветом, вентиляции — синим, кабельные линии — зеленым, канализация — желтым. Этот план настолько привлекал к себе Катарину — ведь она сама такая аккуратная, все плани-

рующая, почти гениально планирующая особа, — что она подолгу стояла перед ним и то и дело спрашивала о значении линий на этой «абстрактной картине», как она его называла, и я готова была раздобыть и подарить ей копию. Слава богу, что я этого не сделала; представь себе, что было бы, если бы у нее нашли копию плана, — хорошенькая база была бы подведена под теорию заговора, перевалочного пункта под сочетание: красная Труда и бандиты — Катарина и визитеры. Такой план был бы, конечно, идеальным руководством для всех сортов любителей незримо пожить чужим добром или чужим теплом. Я сама ей объяснила, какой высоты различные переходы, где при разрыве труб и проводок можно пройти во весь рост, где — согнувшись, а где и ползком. Так, и только так, этот милый молодой джентльмен, о чьих нежностях ей остается теперь только мечтать, мог улизнуть от полиции, и если он действительно грабитель банков, он разгадал эту систему. Возможно, и господин визитер входил и выходил тем же путем. Для этих современных жилых кварталов требуются совсем иные методы наблюдения, чем для старомодных доходных домов. Подскажи это при случае полиции или прокуратуре. Они караулят главные входы, может быть, вестибюли и лифты, но ведь есть еще и грузовые лифты, они ведут напрямик в подвал, а там стоит только проползти несколько сот метров, поднять где-то крышку люка — и был таков! Поверь мне, теперь остается только молиться, крупные заголовки в ГАЗЕТЕ по тому или иному поводу ему не нужны, нужно ему сейчас точное и уверенное расследование и информация о нем в прессе, а еще больше, чем крупных заголовков, он боится злого и недовольного лица некой Мод, его законной, богом данной жены, от которой у него, кроме того, четверо детей. Разве ты не заметил, как он резво, «по-мальчишески весело», должна сказать, действительно мило несколько раз танцевал с Катариной, и как он прямо-таки навязывался провожать ее домой, и как он по-мальчишески досадовал, когда она обзавелась своей машиной? Ему нужно такое исключительно милое создание, как Катарина, не легкомысленное и все-таки — как вы это называете — чуткое на ласку, серьезное и все-таки молодое и такое прелестное, что она и сама этого не знает, — вот чего жаждет его сердце. А разве она и твое мужское сердце не радовала немножко?»

Да, было это, она радовала его мужское сердце, он признался в этом, и еще он признался, что она ему не просто нравится, это нечто большее, гораздо большее, и она, Труда, знает ведь, что на любого человека, не только мужчину, иной раз находит что-то такое, хочется кого-то обнять, да, может быть, и не только обнять, но Катарину — нет, тут было что-то, что никогда, ни за что не позволило бы ему стать «визитером», и если что-то мешало, даже исключало всякую возможность стать «визитером», или лучше сказать — попытаться это сделать, то не уважение к ней, Труде, не оглядка на нее — она ведь понимает, что он имеет в виду, — а уважение к Катарине, да, уважение, почти благоговение, больше даже — нежное благоговение перед ее, да-да, черт возьми, не-

винностью, которая даже больше, больше чем невинность, он не знает подходящего выражения. Возможно, дело в этой ее необычайной сердечной сдержанности, и хотя он на пятнадцать лет старше Катарини и, видит бог, кое-чего в жизни добился, то, как она взялась за свою испорченную жизнь, выправила, организовала ее, помешало бы ему, возникни у него вообще мысли подобного рода, потому что он побоялся бы разрушить ее жизнь, ее самое, ведь она так ранима, так дьявольски ранима, и если бы выяснилось, что Алоиз и впрямь тот визитер, он бы, попросту говоря, «дал ему по морде»; да, ей надо помочь, помочь, ей не справиться с этими уловками, допросами, опросами, теперь слишком поздно, но в течение дня ему необходимо разыскать Катарину... В этом месте его интересные рассуждения были прерваны Трудой, которая со своей бесподобной сухостью заявила: «Визитер только что подъехал».

### 39

Здесь следует сразу же отметить, что Блорна не дал по морде Штройбледеру, который действительно подъехал в архи-роскошном наемном автомобиле. Пусть здесь не только по возможности мало крови течет, но пусть и изображение физического насилия, если без него никак не обойтись, будет сведено до того минимума, к которому обязывает отчет. Это совсем не означает, что обстановка у Блорнов мало-мальски разрядилась, напротив — стало еще неуютнее, ибо Труды Блорна, продолжая помешивать в чашке кофе, не смогла удержаться, чтобы не встретить старого друга словами: «Привет, визитер». «Я полагаю,— смущенно заметил Блорна,— Труды опять попала в точку». «Да,— сказал Штройбледер,— спрашивается только, всегда ли это уместно».

Здесь можно отметить, что отношения между госпожой Блорна и Алоизом Штройбледером однажды достигли почти невыносимого накала — когда тот попытался если не соблазнить, то всерьез пофлиртовать и она в своей сухой манере дала ему понять, что, хотя он считает себя неотразимым, он вовсе не таков, во всяком случае для нее. При этих обстоятельствах можно понять, что Блорна предпочел сразу же увести Штройбледера в свой кабинет, попросив жену оставить их одних и в промежутке («Между чем?» — спросила госпожа Блорна) сделать все, все, чтобы разыскать Катарину.

### 40

Почему собственный кабинет может показаться человеку таким отвратительным, захламленным и грязным, хотя нигде ни пылинки и все на своем месте? Почему красные кожаные кресла, в которых улажено столько дел и проведено столько доверитель-

ных разговоров, в которых действительно удобно сидеть и слушать музыку, вдруг становятся такими противными, книжные полки — омерзительными и даже Шагал на стене с собственноручной надписью — подозрительным, словно изготовленная самим художником подделка? Пепельница, зажигалка, штоф для виски — что можно иметь против этих безобидных, хотя и дорогих, предметов? Что делает такой окаянный день после такой окаянной ночи столь невыносимым и напряжение между тобой и старым другом столь сильным, что чуть ли не искры летят? Что можно иметь против нежно-желтых стен, украшенных современной графикой?

«Да-да,— сказал Алоиз Штройблер,— я пришел, собственно, сказать, что в этом деле мне твоя помощь уже не нужна. У тебя опять сдали нервы, там, на аэродроме, во время тумана. Через час после того, как вы потеряли самообладание или терпение, туман рассеялся, и вы могли бы еще успеть сюда к 18.30. Вы могли бы даже, если б спокойно подумали, позвонить еще из Мюнхена на аэродром и узнали бы, что самолеты уже летают. Но оставим это. Не будем играть краплеными картами — не будь никакого тумана и вылетит самолет по расписанию, ты бы все равно прибыл слишком поздно, потому что решающая часть допроса давно была закончена и ничему уже нельзя было бы помешать».

«Я все равно не могу тягаться с ГАЗЕТОЙ»,— сказал Блорна.

«ГАЗЕТА,— сказал Штройблер,— не представляет никакой опасности, это в руках Людинга, но ведь есть еще и другие газеты, и я могу примириться с любыми заголовками, но только не с теми, где я фигурирую вместе с бандитами. Романтическая история с женщиной доставила бы мне в крайнем случае семейные неприятности, но не общественные. Даже фотография с такой привлекательной особой, как Катарина Блум, не причинила бы вреда, в остальном же теорию о мужских визитах оставят без внимания, а украшение или письмо — ну да, я подарил ей довольно дорогое кольцо, которое нашли, и написал несколько писем, от которых нашли лишь один конверт,— все это не доставит осложнений. Скверно, что этот Тётгес пишет для иллюстрированных газет под другой фамилией вещи, которые ему нельзя напечатать в ГАЗЕТЕ, и что — ну да — Катарина обещала ему интервью. Я узнал об этом несколько минут назад от Людинга, который тоже за то, чтобы дать Тётгесу это интервью, потому что на ГАЗЕТУ можно повлиять, но не на другие журналистские действия Тётгеса, которые он осуществляет через подставное лицо. Ты что, вообще не в курсе?» — «Понятия ни о чем не имею»,— сказал Блорна.

«Странное состояние для адвоката, чьим мандантом я как-никак являюсь. Вот что происходит, когда бессмысленно транжирият время в трясках и валких поездах, вместо того чтобы вовремя связаться с метеослужбами, которые сообщили бы, что туман скоро рассеется. Ты, по-видимому, так еще и не связался с нею?»

«Нет, а ты?»

«Нет, непосредственно нет. Я только знаю, что примерно час

назад она звонила в ГАЗЕТУ и договорилась с Тётгесом о специальном интервью на завтра после обеда. Он согласился. Но есть еще одно обстоятельство, которое причиняет мне больше, значительно больше огорчений, вызывает настоящую боль в желудке,— (тут лицо Штройблера прямо-таки исказилось и голос задрожал),— ты можешь с завтрашнего дня бранить меня, сколько захочешь, потому что я действительно злоупотребил вашим доверием, но, с другой стороны, мы ведь действительно живем в свободной стране, где дозволена и свободная любовная жизнь, и, можешь мне поверить, я сделаю все, чтобы ей помочь, я даже поставлю на карту свою репутацию, ибо — смейся, если угодно,— я люблю эту женщину, но: ей нельзя уже помочь, мне еще можно помочь, а она попросту не позволяет ей помочь...»

«А в отношении ГАЗЕТЫ ты тоже не можешь ей помочь, против этих свиней?»

«Господи, да не принимай ты так близко к сердцу ГАЗЕТУ, хотя она и вас уже взяла в оборот. Не время теперь спорить о бульварной журналистике и свободе печати. Короче говоря, я хотел бы, чтобы ты присутствовал при интервью в качестве моего и ее адвоката. Дело в том, что самое щекотливое до сих пор не всплыло ни при допросах, ни в прессе: полгода назад я чуть ли не силком навязал ей ключ от нашего домика на двоих в Кольфорстенхайме. Ни при обыске квартиры, ни при личном досмотре ключа не нашли, но он у нее *есть* или по крайней мере был, если она его попросту не выкинула. Пускай это было сентиментальностью, назови как угодно, но я хотел, чтобы у нее был ключ от дома, я не хотел отказываться от надежды, что она приедет ко мне туда. Поверь же мне, я бы ей помог, вступился за нее, даже пошел бы туда и признался: смотрите, я и есть тот визитер, но я ведь знаю: от меня она отречется, от своего же Людвига — никогда».

Что-то совсем новое, неожиданное появилось в лице Штройблера, вызвавшее у Блорны почти сочувствие, по меньшей мере любопытство: какая-то чуть ли не покорность — или то была ревность? «Что это там было с украшениями, с письмами, а теперь вот с ключом?» «Черт побери, Хуберт, разве ты все еще не понимаешь? Об этом я не могу сказать ни Людингу, ни Гаху, ни полиции: я уверен, что она дала ключ своему Людвигу и этот парень уже два дня там торчит. Я просто боюсь, боюсь за Катарину, за полицейских чиновников, да и за этого глупого мальчишку, который, может быть, торчит в моем доме в Кольфорстенхайме. Мне хочется, чтобы он исчез оттуда прежде, чем его найдут, и в то же время мне хочется, чтобы его поймали, лишь бы все кончилось. Теперь понимаешь? И что же ты мне посоветуешь?»

«Ты можешь позвонить туда, я имею в виду — в Кольфорстенхайм».

«И ты думаешь, если он там, он подойдет к телефону?»

«Тогда ты должен позвонить в полицию, другого пути нет. Хотя бы для того, чтобы предотвратить несчастье. В крайнем случае позвони анонимно. Если существует хоть малейшая вероят-

ность того, что Гёттен в твоём доме, ты должен немедленно известить полицию. Иначе это сделаю я».

«Чтобы мой дом и мое имя все-таки фигурировали вместе с этим бандитом в заголовках? Я думал о другом... Я думал, не съездил бы ты туда, я имею в виду — в Кольфорстенхайм, ну, как мой адвокат, чтобы посмотреть, все ли в порядке».

«В такой момент? В карнавальную субботу, когда ГАЗЕТА уже знает, что я спешно прервал отпуск — для того только, чтобы посмотреть, все ли в порядке на твоей даче? Не испортился ли холодильник, да? Отрегулирован ли термостат масляного отопления, не разбиты ли стекла, загружен ли бар и не отсырело ли постельное белье? Ради этого и сорвался из отпуска высокочтимый юрист-консультант, владеющий роскошной виллой с плавательным бассейном и женатый на «красной Труде»? Ты и впрямь считаешь эту идею здоровой, при том что господа репортеры ГАЗЕТЫ наверняка следят за каждым моим шагом,— едва, так сказать, выйдя из спального вагона, я еду на твою виллу, чтобы поглядеть, скоро ли пробьются крокусы и показались ли уже подснежники? Ты и впрямь считаешь это хорошей идеей, не говоря уже о том, что этот милый Людвиг доказал, что умеет неплохо стрелять?»

«Черт возьми, ну к чему сейчас твоя ирония и шуточки? Я прошу тебя как адвоката и друга оказать мне услугу не столько личного, сколько гражданского характера, а ты толкуешь о каких-то подснежниках. Со вчерашнего дня дело держится в таком секрете, что сегодня мы не имеем отсюда никакой информации. Все, что мы знаем, мы знаем из ГАЗЕТЫ, где у Людинга, к счастью, есть хорошие связи. Прокуратура и полиция не звонят даже в министерство внутренних дел, где у Людинга тоже есть связи. Речь идет о жизни и смерти, Хуберт».

В этот момент вошла, не постучав, Труда с транзистором в руке и спокойно сказала: «О смерти речь уже не идет, только о жизни, слава богу. Они поймали этого парня, он сдуру стрелял и в него стреляли, ранили, но не смертельно. В твоём саду, Алоиз, в Кольфорстенхайме, между плавательным бассейном и беседкой. Говорят о роскошной вилле, стоимостью в полмиллиона, одного из компаньонов Людинга. Кстати, джентльмены действительно еще существуют: первое, что сказал наш славный Людвиг,— это то, что Катарина вообще никакого отношения к делу не имеет; это чисто личная, любовная история, не имеющая ни малейшего отношения к преступлениям, в которых его обвиняют, но которые он по-прежнему отрицает. Тебе, наверное, придется вставить несколько стекол, Алоиз,— там была хорошенькая пальба. Твое имя пока не упоминалось, но, может быть, тебе все-таки стоит позвонить Мод, которая наверняка волнуется и нуждается в утешении. Кстати, одновременно с Гёттеном в других местах поймали еще трех его предполагаемых сообщников. Все в целом считается триумфальным успехом некоего комиссара Байцменне. А теперь, дорогой Алоиз, проваливай-ка отсюда и нанеси, разнообразия ради, визит своей любимой жене».



В этот момент в кабинете Блорны дело вполне могло бы дойти чуть ли не до рукоприкладства, никоим образом не соответствовавшего назначению и обстановке помещения. Штройбледер якобы — *якобы* — попытался вцепиться Труде Блорна в горло, но вмешался ее муж: не станет же тот поднимать руку на даму. Штройбледер якобы — *якобы* — на это ответил, что он не уверен, подходит ли определение «дама» к такой злоязычнице, и что есть слова, которые при определенных обстоятельствах, в особенности, когда сообщают о трагических событиях, нельзя применять в ироническом смысле, и если он еще хоть один раз, один-единственный раз услышит то одиозное слово, тогда — да, что тогда? — тогда все будет кончено. Едва он покинул дом и Блорна еще не успел сказать Труде, что все-таки она, пожалуй, далековато зашла, как она буквально оборвала его и сказала: «Ночью умерла мать Катарины. Я ее разыскала — в Куир-Хохзаккеле».

#### 41

Прежде чем приступить к последним маневрам по вы-, от-, переводению потока, следует сделать одно попутное замечание, так сказать, технического свойства. В этой истории происходит слишком многое. Переизбыток действия, с которым трудно справиться, ей во вред. Разумеется, весьма прискорбно, когда работающая как человек свободной профессии прислуга убивает журналиста, и подобный случай необходимо исследовать или хотя бы как-то объяснить. Но как быть с популярными адвокатами, которые ради домработницы прерывают заслуженный тяжким трудом отдых в лыжный сезон? С промышленниками (по совместительству являющимися профессорами и партийными заправилками), которые в приступе перзрелой сентиментальности чуть ли не силком навязывают именно этой домработнице ключи от домиков на двоих (в придачу с самим собой); как известно, то и другое — безуспешно; которые, с одной стороны, жаждут publicity<sup>1</sup>, но, с другой стороны, publicity лишь определенного рода; сплошь вещи и люди, которые попросту не синхронизируются и постоянно мешают течению (иначе говоря, ровному разворачиванию действия), потому что они, так сказать, неприкосновенны. Как быть с чиновниками уголовной полиции, которые постоянно требуют «язычки» и их получают? Короче говоря, слишком много просачивается и вместе с тем в решающий для автора отчета момент просачивается недостаточно, потому что хотя кое-что и можно узнать (скажем, от Гаха или некоторых полицейских чиновников и чиновниц), однако ничего, ну ничегошеньки из того, что они говорят, не имеет силы, даже тени доказательств, потому что никакой суд не получал подтверждения, ни перед каким судом не давались показания. Это не имеет силы свидетельских показаний! Ни малейшего об-

---

<sup>1</sup> Реклама (англ.).

пественного значения. Например, вся эта афера с «язычками». Подключение к телефонной сети помогает, конечно, расследовать, но поскольку подключение производится не следственными органами, то при открытом судопроизводстве не только нельзя использовать результаты, о них даже упоминать нельзя. Прежде всего: какова психология человека, подслушивающего телефонные разговоры? О чем думает безупречный чиновник, который исполняет только свой долг, исполняет свою, так сказать, обязанность (возможно, даже неприятную для него) если и не по чрезвычайной необходимости, в приказном порядке, то наверняка из соображений выгоды, — о чем он думает, когда слушает телефонный разговор того незнакомого обитателя дома, которого мы здесь кратко ради назовем сулителем нежности, с такой исключительно милой, привлекательной, почти безупречной особой, как Катарина Блюм? Охватывает его моральное возмущение, или половое возбуждение, или то и другое? Возмущается он, сочувствует, получает своеобразное удовольствие, когда особу по кличке Монашенка оскорбляют до глубины души гнусными предложениями, угрожающе произносимыми с хриплыми стонами? Ну, много чего случается на виду, еще больше — в тени. О чем думает безобидный, тяжким трудом зарабатывающий хлеб свой насущный подслушиватель, когда, например, некий Людинг, здесь упоминавшийся, звонит в главную редакцию ГАЗЕТЫ и говорит приблизительно следующее: «Немедленно Ш. целиком вынуть, Б. целиком вставить»? Конечно, Людинга не потому подслушивают, что за ним ведется наблюдение, а потому, что есть опасность, как бы ему не позволили — скажем, шантажисты, политические гангстеры и т. п. Откуда безупречному подслушивателю знать, что под Ш. подразумевается Штройблер, а под Б. — Блорна и что в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ ничего не доведется прочитать про Ш., зато много — про Б. И тем не менее — кто же может это знать или хотя бы подозревать — Блорна в высшей степени ценимый Людингом адвокат, множество раз доказавший свою искусность как в национальных, так и интернациональных масштабах. Что имеется в виду, когда в другом разговоре упоминаются источники, которые «не могут встретиться», как те королевские дети, для которых мнимая монашенка не поставила свечу, и кто-то там погружается довольно глубоко, тонет? А тут еще госпожа Людинг велит своей кухарке позвонить секретарше мужа и узнать, чего бы Людинг хотел в воскресенье на десерт: блинчики с маком? клубнику с мороженым и взбитыми сливками, или только с мороженым, или только со взбитыми сливками? — в ответ на что секретарша, которая не желает докучать своему шефу, но знает его вкус и, возможно, не прочь создать повод для раздражения или неприятностей, довольно язвительным тоном говорит кухарке, что она совершенно уверена, господин Людинг в это воскресенье предпочел бы карамельный пудинг с миндальным соусом; кухарка, которая, конечно, тоже знает вкус Людинга, возражает и говорит, что это новость для нее, и не перепутала ли секретарша собствен-

ный вкус со вкусом Людинга, и пусть она переключит аппарат и даст ей возможность непосредственно с самим господином Людингом обсудить его пожелания в отношении десерта. На это секретарша, которая при случае сопровождает господина Людинга в поездках на конференции и питается с ним во всяких палаточках или интербазах, заявляет, что, когда *она* с ним в поездках, он всегда ест карамельный пудинг с миндальным соусом; кухарка: но в воскресенье-то он не будет с ней, секретаршей, в поездке, и разве не может быть так, что пожелания Людинга в отношении десерта зависят от общества, в котором он находится? И т. д. И т. д. После чего идет еще долгий спор о блинчиках с маком, и весь этот разговор записывается за счет налогоплательщиков на пленку! Не думает ли тот, кто прослушивает пленку и, разумеется, должен внимательно следить, не применен ли здесь код анархистов, не означают ли блинчики, скажем, ручные гранаты, а мороженое с клубникой — бомбы; или же: ну и заботы у них; или: мне бы ваши заботы, ибо возможно, у него только что дочь сбежала, или сын стал наркоманом, или опять повысилась квартирная плата,— и все это, эти записи на пленку, из-за того только, что когда-то Людингу пригрозили бомбой; таким-то образом какой-нибудь невинный чиновник или служащий узнает наконец, что такое блинчики с маком, он, у которого они — даже один такой блинчик — сошли бы за целый обед.

Слишком многое случается на виду, и мы ничего не знаем о том, что случается в тени. Если бы можно было прослушать пленки! Чтобы что-то узнать наконец — ну, например, как осуществляется, если таковая имеет место, интимная связь Эльзы Вольтерсхайм с Конрадом Байтерсом. Что означает слово «друг», когда речь идет об отношениях этой парочки? Называет она его своим сокровищем, миленьким или просто говорит ему Конрад или Конни; какого рода словесными нежностями они обмениваются, если вообще обмениваются? Не поет ли он ей по телефону песни — ведь известно, что у него хороший, почти концертный, по меньшей мере годящийся для хора баритон? Какие именно? Серенады? Шлягеры? Арии? А может быть, они обсуждают ядреными словами прошлые или предстоящие интимные дела? Ведь так хочется знать про это, а поскольку большинству людей в надежных телепатических свойствах отказано, они прибегают к телефону как к более надежному средству. Отдают ли руководящие органы себе отчет в том, какие психические нагрузки они взваливают на своих чиновников и служащих? Предположим, временно находящаяся под подозрением особа вульгарного склада, которая взята на «язычок», звонит своему нынешнему, тоже вульгарному, партнеру по любовной игре. Поскольку мы живем в свободной стране и можем свободно и открыто разговаривать друг с другом, также и по телефону,— что тут вспорхнет с пленки и влетит в ухо скромному, а то даже и строгих правил, человеку, все равно какого пола? Разве это допустимо? Разве это обеспечивает психологическую безопасность? Что говорит по этому поводу профсоюз общественных служб,

транспорта и движения? О промышленниках, анархистах, о банковских директорах, грабителях и служащих всячески заботятся, а кто позаботится о наших национальных магнитофонно-пленочных вооруженных силах? Неужели церкви нечего сказать по этому поводу? Неужели не может ничего предпринять конференция епископов в Фульде или центральный комитет немецких католиков? Почему молчит римский папа? Неужели никто не догадывается, что тут приходится выслушивать невинным ушам — от обсуждения карамельного пудинга до грубейшего порно? Молодых людей призывают на поприще чиновников, — а в чьи руки их отдают? В руки телефонных нарушителей морали. Вот область, где церковь и профсоюзы могли бы наконец сотрудничать. Можно было бы по меньшей мере выработать своего рода программу просвещения подслушивателей. Пленки с лекциями по истории. Стоит недорого.

## 42

Только-только вернувшись покаянно к событиям, происходящим на виду, снова занявшись неизбежной работой в каналах, приходится сразу же начать с заявления. Здесь было обещано, что кровь больше течь не будет, причем можно обратить внимание, что смертью госпожи Блюм, матери Катарины, это обещание напрямую не нарушается. Ведь речь идет не о кровавом злодеянии, хотя и о не совсем нормальном смертном случае. Смерть госпожи Блюм была вызвана насильственным путем, хотя и непреднамеренно насильственным. Во всяком случае — это надо подчеркнуть, — вызвавший смерть не имел намерения ни умерщвлять, ни убивать, ни даже причинять телесные повреждения. Речь идет, как было не только установлено, но даже им самим подтверждено, о том Тётгесе, которого и самого постиг кровавый, насильственный конец. Еще в четверг Тётгес разыскивал в Геммельсбройхе адрес госпожи Блюм, узнал его, но тщетно пытался пробраться к ней в больницу. Привратник, медсестра отделения Эдельгард и заведующий отделением д-р Хайнен предупреждали его, что госпожа Блюм нуждается в полном покое после тяжелой, хотя и удачной, операции по поводу рака, что любые волнения могут губительно сказаться на ее выздоровлении и ни о каком интервью не может быть и речи. На замечание о том, что благодаря связи дочери с Гёттеном госпожа Блюм тоже становится «действующим лицом современной истории», врач возразил, что и действующие лица современной истории для него в первую очередь пациенты. Но во время этой беседы Тётгес заметил, что в доме работают маляры, и потом хвастал перед коллегами, что посредством «простейшей из всех уловок, а именно уловки мастерового», ему удалось, раздобыв халат, ведро с краской и кисть, в пятницу утром пробраться к госпоже Блюм, ибо ничто так не обогащает, как матери, в том числе и больные. Он изложил госпоже Блюм факты, хотя и не был уверен, что до нее все дошло, ибо, по всей видимости, имя Гёт-

тена ей ничего не говорило, и она сказала: «Почему должно было так кончиться, почему должно было так случиться?», что он в ГАЗЕТЕ перевернул следующим образом: «Так и должно было случиться, так и должно было кончиться». Небольшую поправку, внесенную в высказывание госпожи Блюм, он объяснил тем, что как репортер он обязан и привык «помогать простым людям выразить свои мысли».

## 43

Нельзя точно установить, действительно ли Тётгес проник к госпоже Блюм, или же он соврал, выдумал историю о посещении больницы для того, чтобы преподнести процитированные в ГАЗЕТЕ слова матери Катарины как интервью, дабы доказать свою журналистскую ловкость и прихвастнуть. Д-р Хайнен, сестра Эдельгард, медсестра-испанка по фамилии Уэльва, уборщица-португалка по фамилии Пуэлко — все они считают невозможным, чтобы «этот парень и впрямь позволил себе такую наглость» (д-р Хайнен). Несомненно, что это — возможно, даже выдуманное, но подтвержденное — посещение матери Катарины имело решающее значение, однако при этом возникает, естественно, вопрос, не отрицает ли попросту больничный персонал то, чего он не имел права допустить, или же Тётгес выдумал это посещение, чтобы обосновать слова Катарининой матери. Здесь должна господствовать абсолютная справедливость. Считается доказанным, что Катарина сшила себе костюм, чтобы пойти в тот самый кабачок, из которого злосчастный Шённер «смылся с какой-то гуленой», и произвести собственное дознание *после того*, как договорилась об интервью с Тётгесом, и *после того*, как ВОСКРЕСНАЯ ГАЗЕТА опубликовала новую корреспонденцию Тётгеса. Так что надо подождать. Установлено, доказано, что д-р Хайнен был ошарашен неожиданной смертью своей пациентки Марии Блюм и что он «не может исключить, если не доказать, непредвиденные воздействия». Во всяком случае, невинные маляры здесь совершенно ни при чем. Нельзя пятнать честь немецкого ремесла; ни сестра Эдельгард, ни иностранные дамы Уэльва и Пуэлко не могут поручиться, что все маляры, а их было четверо от фирмы «Меркенс» из Куира, действительно были малярами, и, поскольку все четверо работали в разных местах, никто и впрямь не может знать, не прокрался ли кто-нибудь в халате, с ведром краски и кистью. Установлено: Тётгес *утверждает* (о подтверждении не может быть речи, так как его посещение недоказуемо), что был у Марии Блюм и интервьюировал ее, и это утверждение стало известно Катарине. Господин Меркенс также подтвердил, что, конечно же, не все четверо маляров были на работе одновременно и что, *если бы* кто-нибудь захотел прокрасться, он бы с легкостью это осуществил. Д-р Хайнен потом сказал, что заявит протест в связи с опубликованием в ГАЗЕТЕ слов матери Катарины, устроит скандал, по-

тому что если это правда, то это ведь неслыханно; но его угроза не была выполнена, так же как и угроза Блорны «дать по морде» Штройбледеру.

#### 44

Около полудня той субботы, 23 февраля 1974 года, в Куире, в кафе у Клоога (речь идет о племяннике того трактирщика, у которого Катарина время от времени работала на кухне и официанткой), собрались наконец вместе Блорны, госпожа Вольтерсхайм, Конрад Байтерс и Катарина. Были объятия и слезы, даже у госпожи Блорна. Разумеется, и в кафе «Клоог» царило карнавальное настроение, но владелец, Эрвин Клоог, который Катарину знал, ценил и говорил ей «ты», предоставил собравшимся свою личную комнату. Оттуда Блорна позвонил сперва Гаху и отменил встречу в вестибюле музея. Он сообщил Гаху, что мать Катарины внезапно умерла — очевидно, вследствие посещения Тётгеса, сотрудника ГАЗЕТЫ. Гах был мягче, чем утром, попросил передать Катарине, которая наверняка не сердится на него, да и не имеет для этого оснований, его личное соболезнование. Кстати, она всегда может им располагать. Он, правда, сейчас занят допросами Гёттена, но освободится; кстати, из допросов Гёттена ничего изобличающего Катарину не обнаружилось. Он говорил о ней и про нее с большой симпатией и корректностью. Разрешения на свидание ожидать, конечно, не приходится, поскольку родства тут нет, а определение «невеста» наверняка покажется слишком шатким и необоснованным.

Похоже, будто весть о смерти матери не так уж сильно потрясла Катарину. Кажется даже, что она испытала облегчение. Конечно, Катарина соотнесла д-ра Хайнена с номером ГАЗЕТЫ, где упоминалось интервью Тётгеса и приводились слова ее матери, но она никоим образом не разделяла возмущения д-ра Хайнена по поводу интервью; она считала, что эти люди — убийцы и клеветники, она их, конечно, презирает, но, видимо, это-то и есть прямая обязанность подобного рода газетчиков — лишать невинных людей чести, доброго имени и здоровья. Д-р Хайнен, ошибочно принимавший ее за марксистку (вероятно, он прочитал в ГАЗЕТЕ намеки Бреттло, бывшего супруга Катарины), был несколько обескуражен ее сдержанностью и спросил, считает ли она это — художества ГАЗЕТЫ — порождением строя. Катарина не поняла, что он имеет в виду, и покачала головой. Затем сестра Эдельгард проводила ее в морг, куда она вошла вместе с госпожой Вольтерсхайм. Катарина сама стянула покрывало с лица матери, сказала «Да», поцеловала ее в лоб; в ответ на предложение сестры Эдельгард произнести короткую молитву она покачала головой и сказала «Нет». Она снова натянула покрывало на лицо матери, поблагодарила монахиню и, только покинув морг, заплакала, сначала тихо, потом сильнее и наконец безудержно. Может

быть, она вспомнила и своего покойного отца, которого шестилетним ребенком увидела в последний раз тоже в морге. Госпожа Вольтерсхайм подумала, вернее, ей внезапно пришло в голову, что она еще никогда не видела Катарину плачущей, даже в детстве, когда ей приходилось столько страдать. В очень вежливой форме, чуть ли не любезно, Катарина настояла на том, чтобы поблагодарить и обеих иностранных дам, Уэльву и Пуэлко, за все, что они сделали для ее матери. Она покинула больницу, полностью владея собой, не забыв попросить администрацию больницы телеграфно уведомить находящегося в тюрьме брата Курта.

Такой она и оставалась весь конец дня и вечером: полностью владела собой. Хотя она то и дело доставала оба номера ГАЗЕТЫ, излагая Блорнам, Эльзе Вольтерсхайм и Конраду Байтерсу все детали и свое толкование этих деталей, казалось, что ее отношение к ГАЗЕТЕ тоже стало другим. Выражаясь в духе времени — менее эмоциональным, более аналитическим. В этом близком ей, дружески настроенном кругу, в комнате Эрвина Клоога, она откровенно говорила и о своем отношении к Штройбледеру: однажды после вечера у Блорнов он подвез ее домой, проводил до самых дверей, потом, хотя она категорически, чуть ли не с отвращением, запретила это, зашел, попросту вставив ногу в двери, в квартиру. Ну, он, конечно, пробовал быть назойливым, вероятно, был оскорблен тем, что она вовсе не считала его неотразимым, и в конце концов — уже после полуночи — ушел. Начиная с этого дня он прямо-таки преследовал ее, все время приходил, присылал цветы, писал письма, несколько раз ему удавалось проникнуть к ней в квартиру, и однажды он просто навязал ей кольцо. Это все. Она потому не призналась в его визитах и не выдала его фамилии, что считала невозможным объяснить допрашивающим чиновникам, что ничего, ну совершенно ничегошеньки, даже одного-единственного поцелуя между ними не было. Кто же поверит, что она устояла перед таким человеком, как Штройбледер, который не только состоятелен, но в политических, экономических и научных кругах чуть ли не знаменит своим неотразимым очарованием, почти как киноартист, и кто же поверит домашней работнице, что она устояла перед киноартистом, причем из соображений не морали, а вкуса. Он ничуть ее не привлекает, и всю эту историю с визитером она считает отвратительнейшим вторжением в сферу, которую она не потому не хочет назвать интимной, что это можно неправильно понять, — ведь между нею и Штройбледером не было даже намека на интимность, — а потому, что он поставил ее в положение, которое она никому, а уж тем более целой допрашивающей команде не могла бы объяснить. Но в конечном счете — и тут она рассмеялась — она все же испытывала к нему определенную благодарность, ибо ключ от его дома был важен для Людвига или по крайней мере его адрес, так как — тут она снова рассмеялась — Людвиг наверняка и без ключа проник бы туда, но ключ, конечно, облегчил дело, а она знала, что во время карнавала вилла будет пустовать, поскольку как раз дву-

мья днями раньше Штройблер опять ужасно надоедал ей, прямо-таки преследовал и предложил провести там конец карнавальнoй недели, прежде чем он дал согласие участвовать в конференции в Бад-Б. Да, Людвиг ей сказал, что полиция его разыскивает, но только он сказал, что дезертировал из бундесвера, собирается бежать за границу, и — она в третий раз рассмеялась — ей доставило удовольствие собственноручно отправить его в отопительную шахту и показать запасный выход, который в конце «Элегантной обители у реки» на углу Хохкеппельштрассе выводит на свет божий. Нет, она правда не думала, что полиция следит за нею и Гёттенoм, она смотрела на это как на своего рода романтическую игру, и только утром — Людвиг действительно ушел в шесть часов — ей дали почувствовать, насколько все серьезно. Видно было, что она испытывает облегчение от того, что Гёттен арестован; теперь, сказала она, он не сможет больше натворить глупостей. Она все время пребывала в страхе, так как в этом Байцменне есть что-то зловещее.

## 45

Здесь следует зафиксировать и запомнить, что вторая половина субботнего дня и вечер протекали довольно мило, настолько мило, что все — Блорны, Эльза Вольтерсхайм и удивительно тихий Конрад Байтерс — почти успокоились. В конце концов решили — даже сама Катарина, — что «обстановка разрядилась». Гёттен арестован, допросы Катаринь закончены, Катаринина мать, хотя и преждевременно, избавилась от тяжких страданий, формальности, связанные с похоронами, идут своим чередом, все необходимые документы один из куирских административных чиновников любезно согласился выписать в понедельник, несмотря на то что это предпоследний праздничный день. Некоторым утешением были и слова владельца кафе Эрвина Клоога, категорически отказавшегося принять какую бы то ни было плату за съеденное и выпитое (речь шла о кофе, ликерах, картофельном салате, сосисках и пирожных), он сказал на прощание: «Выше голову, Катринхен, здесь не все думают о тебе плохо». Утешение, таившееся в этих словах, возможно, было и относительным, ибо что уж значит «не все»? — но тем не менее все-таки «не все». Решили поехать к Блорнам и провести там остальную часть вечера. Катарине самым категорическим образом запретили приложить к чему бы то ни было свои неутомимые руки — она в отпуске и должна расслабиться. Госпожа Вольтерсхайм готовила на кухне бутерброды, а Блорна и Байтерс занялись камином. Катарина в самом деле позволила «побаловать себя». Вечер получился на славу, и, не будь одной смерти и ареста одного очень дорогого человека, наверняка бы попозже рискнули потанцевать, ведь что ни говорите — время карнавала!

Блорне не удалось уговорить Катарину отказаться от наме-



ченного интервью с Тётгесом. Она была спокойна и очень приветлива, и позднее, после того как интервью оказалось «интервью», у Блорны мороз по коже пробежал, когда он вспоминал, с каким исключительным хладнокровием Катарина настаивала на интервью и как решительно отвергла его помощь. И все-таки он потом не был полностью уверен, что именно в этот вечер Катарина задумала убийство. Ему казалось куда более вероятным, что решающую роль сыграла ВОСКРЕСНАЯ ГАЗЕТА. Послушав и серьезную, и легкую музыку, рассказы Катарини и Эльзы Вольтерсхайм о жизни в Геммельсбройхе и Куире, расстались дружески, снова были объятия, но на сей раз без слез. Было только пол-одиннадцатого вечера, когда Катарина, госпожа Вольтерсхайм и Байтерс со взаимными заверениями в большой дружбе и симпатии попрощались с Блорнами, счастливыми тем, что своевременно — своевременно для Катарини — вернулись из отпуска. Перед угасающим камином они за бутылкой вина обсуждали новые отпускные планы и характер своего друга Штройбледера и его жены Мод. Когда Блорна попросил жену впредь при его посещениях не употреблять слова «визитер», поскольку — она ведь сама видела — оно вызывает такую болезненную реакцию, Труда Блорна сказала: «А мы его увидим не скоро».

#### 46

Достоверно известно, что остаток вечера Катарина провела спокойно. Она еще раз примерила костюм бедуинки, закрепила швы и решила чадру заменить белым носовым платком. Потом послушали вместе радио, поели печенья и отправились почивать: Байтерс — впервые открыто вместе с госпожой Вольтерсхайм в ее спальню, Катарина — удобно устроившись на тахте.

#### 47

Когда Эльза Вольтерсхайм и Конрад Байтерс в воскресенье утром встали, стол для завтрака был уже мило накрыт, кофе процежен и налит в термос, а Катарина, завтракая с видимым аппетитом, сидела за столом и читала ВОСКРЕСНУЮ ГАЗЕТУ. Дальше мы будем не столько излагать, сколько цитировать. Правда, Катаринина «история» вместе с фотографией уже не занимала первую полосу. На сей раз на первой полосе был Людвиг Гёттен с надписью: «Нежный возлюбленный Катарини Блюм взят на вилле промышленника». Сама «история» подавалась пространнее, чем прежде, на седьмой — девятой полосах с многочисленными фотографиями: Катарина после первого причастия, ее отец — возвратившийся с фронта ефрейтор, церковь в Геммельсбройхе, опять вилла Блорны. Мать Катарини лет в сорок, довольно угрюмая, опустившаяся, перед маленьким домишком в Гем-

мельсбройхе, в котором они жили, наконец фотография больницы, где Катарина мать умерла в ночь с пятницы на субботу. Текст:

«Первой доказуемой жертвой непостижимой, все еще находящейся на свободе Катарина Блюм можно теперь назвать ее собственную мать, которая не пережила потрясения, вызванного деятельностью своей дочери. Если уже само по себе достаточно странно, что дочь с самозабвенной нежностью танцевала на балу с грабителем и убийцей в то время, когда умирала мать, то с крайней извращенностью граничит факт, что эта смерть не исторгла у нее ни слезинки. Действительно ли эта женщина только „холодна и расчетлива“? Жена одного из ее прежних работодателей, уважаемого сельского врача, описывает ее так: „У нее повадки настоящей потаскухи. Я вынуждена была ее уволить — ради моих подрастающих сыновей, наших пациентов, а также ради репутации моего мужа“. Может быть, Катарина Блюм участвовала и в аферах пресловутого д-ра Фенерна? (ГАЗЕТА в свое время сообщала об этом деле.) Не был ли ее отец симулянт? Почему ее брат стал уголовником? Всё еще не выяснены: ее быстрая карьера и ее большие доходы. Теперь окончательно установлено: Катарина Блюм помогла бежать запятнанному кровью Гёттену, она бесстыдно злоупотребила дружеским доверием и спонтанной готовностью помочь одного высокочтимого ученого и промышленника. Тем временем в ГАЗЕТУ поступили сообщения, которые достаточно убедительно доказывают: не она принимала визитера, а сама выступала в роли непрошеной визитерши, чтобы вынюхивать все на вилле. Таинственные автомобильные поездки Блюм теперь уже не так таинственны. Она без зазрения совести поставила на карту репутацию почтенного человека, его семейное счастье, его политическую карьеру (о ней ГАЗЕТА уже неоднократно информировала читателей), безразличная к чувствам преданной супруги и четверых детей. Совершенно очевидно, что Блюм должна была по заданию одной левой группы разрушить карьеру Ш.

Неужто полиция, неужто прокуратура и впрямь поверят покрытому позором Гёттену, который выгораживает Блюм? ГАЗЕТА в который раз поднимает вопрос: не слишком ли мягки наши методы допроса? Надо ли по-людски относиться к нелюдям?»

Под фотографиями Блорны, госпожи Блорна и виллы:

«В этом доме Блюм самостоятельно, без надзора, пользуясь полным доверием д-ра Блорны и госпожи д-р Блорна, работала с семи утра до шестнадцати тридцати. Что могло здесь твориться, пока ничего не подозревающие Блорны занимались своей профессией? Или они не так уж ни о чем не подозревали? Их отношения с Блюм называют очень близкими, чуть ли не доверительными. Как рассказывали соседи газетным репортерам, можно говорить чуть ли не о дружеских отношениях. Мы опускаем здесь определенные намеки, так как они не относятся к делу. Или все-таки относятся? Какую роль играла госпожа д-р Гертруд Блорна, которая в анналах некоего технического института еще и по сей

день известна как „красная Труда“? Каким образом Гёттен мог ускользнуть из квартиры Блюм, хотя полиция следовала за ним по пятам? Кто знал до последней детали планы коммуникаций благоустроенного дома „Элегантная обитель у реки“? Госпожа Блорна. Продавщица Герта Ш. и работница Клаудия Шт. единодушно сказали ГАЗЕТЕ: „О, они танцевали друг с другом (имелись в виду Блюм и бандит Гёттен) так, словно знакомы целую вечность. Это не была случайная встреча, это было условленное свидание“».

## 48

Когда потом при закрытых дверях порицали Байцменне за то, что он, зная о пребывании Гёттена на вилле Штройбледера еще с 23.30 вечера в четверг, почти сорок восемь часов оставлял его безнадзорным и тем самым рисковал, что тот снова сбежит, он засмеялся и сказал, что с полуночи четверга Гёттен не имел больше шанса бежать. Дом стоит в лесу, но совершенно идеально окружен охотничьими вышками, «как сторожевыми башнями», министр внутренних дел полностью в курсе и одобрил все меры; вертолетом, который приземлился, разумеется, вне зоны слышимости, на охотничьи вышки сразу же направили специальную группу, а на следующее утро местную полицейскую службу секретнейшим порядком усилили двумя десятками сотрудников. Важно было установить, с кем у Гёттена будут контакты, и риск оправдал себя. Отмечено пять контактов. И, прежде чем арестовать Гёттена, надо было, конечно, установить личности этих пятерых, задержать и обыскать квартиры. За Гёттена взялись лишь тогда, когда обезвредили тех, с кем у него были контакты, а сам он, то ли по легкомыслию, то ли по наглости, повел себя так беспечно, что за ним можно было наблюдать снаружи. Кстати, некоторыми деталями мы обязаны репортерам ГАЗЕТЫ, принадлежащему ей издательству и связанным с этим концерном органам, у которых в ходу довольно свободные и не очень формальные методы добывания подробностей, остающихся скрытыми от официальных следователей. Так, например, выяснилось, что госпожа Вольтерсхайм столь же малобезупречна, как и госпожа Блорна. Вольтерсхайм — внебрачное дитя одной работницы, родившееся в 1930 году в Куире. Мать еще жива, но где она живет? В ГДР, причем отнюдь не вынужденно, а добровольно; ей неоднократно — первый раз в 1945-м, вторично в 1952-м, потом еще раз, в 1961-м, незадолго до постройки стены, — предлагали вернуться на родину, в Куир, где у нее есть домик и один морген земли. Но она отказалась, отказалась трижды, и все три раза наотрез. Еще интереснее отец Вольтерсхайм, некий Лумм, тоже рабочий, к тому же член тогдашней КППГ, в 1932 году он эмигрировал в Советский Союз и там якобы пропал без вести. Он, Байцменне, полагает, что в списках вермахта подобного рода пропавшие без вести не значатся.

Поскольку нельзя быть уверенным, что определенные, относительно ясные указания на взаимосвязи поступков и действий не потеряются или не истолкуются превратно, а то и воспримутся просто как намеки, да будет позволено здесь обратить внимание еще на одно обстоятельство: ГАЗЕТА, вызвавшая посредством своего репортера Тётгеса, безусловно, преждевременную смерть матери Катарины, теперь в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ представила Катарину виновной в смерти собственной матери и, кроме того, обвинила ее — более или менее открыто — в краже ключа от второй виллы Штройбледера! Это следует еще раз подчеркнуть, поскольку тут нельзя быть полностью уверенными. Как нельзя быть уверенными, что правильно будут поняты все клеветнические, лживые, фальсифицированные утверждения ГАЗЕТЫ.

Стоит хотя бы на примере Блорны показать, как ГАЗЕТА может подействовать даже на сравнительно разумного человека. В аристократическом предместье, где живут Блорны, ВОСКРЕСНАЯ ГАЗЕТА, разумеется, не продается. Там бульварщину не читают. И случилось так, что Блорна, который решил, что все уже прошло, и только с некоторой опаской ждал разговора Катарины с Тётгесом, узнал о статье в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ лишь позднее, когда позвонил госпоже Вольтерсхайм. Вольтерсхайм же считала само собой разумеющимся, что Блорна уже прочел ВОСКРЕСНУЮ ГАЗЕТУ. Блорна — как, надеемся, уже понял читатель — был сердечным, искренне беспокоящимся о Катарине, но и трезвым человеком. Когда госпожа Вольтерсхайм прочитала ему по телефону соответствующие пассажи из ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЫ, он, как говорится, не поверил своим ушам; он попросил зачитать это еще раз, вынужден был поверить, и тут его — так это, кажется, называется — взорвало. Он кричал, орал, бегал по кухне в поисках пустой бутылки, нашел, кинулся с нею в гараж, где его, к счастью, перехватила жена и помешала ему изготовить зажигательную смесь, которой он хотел сначала взорвать редакцию ГАЗЕТЫ, а потом — «главную виллу» Штройбледера. Надо зримо представить себе: человек с высшим образованием, сорока двух лет, в течение семи лет пользующийся уважением Людинга, считаемый Штройбледером за свое трезвое и четкое ведение переговоров — в международном масштабе, будь то в Бразилии, в Саудовской Аравии или в Северной Ирландии, — то есть речь идет отнюдь не о провинциальном, а об истинно светском человеке, и вот он-то хочет изготовить зажигательную смесь!

Госпожа Блорна с ходу назвала это стихийно-мелкобуржуазно-романтическим анархизмом, стала подробно обсуждать ситуацию, как *обсуждают* больную или вызывающую боль часть тела, взялась сама за телефон, попросила госпожу Вольтерсхайм прочитать ей соответствующие пассажи, и надо сказать, она побледнела — даже она побледнела — и сделала нечто такое, что,

возможно, еще хуже, чем то, к чему могла бы привести зажига-  
тельная смесь: она схватилась за телефон, позвонила Людингу  
(который в это время как раз сидел за своей клубникой со  
взбитыми сливками и с ванильным мороженым) и сказала ему:  
«Вы свинья, вы просто жалкая свинья». Она, правда, не назвалась,  
но можно полагать, что все знакомые Блорны знали голос его  
жены, не очень-то ими любимой за ее меткие и острые замечания.  
Это, по мнению мужа, было уж слишком — он думал, что она  
звонила Штройбледеру. Ну, тут было еще много скандалов, между  
самими Блорнами, между Блорнами и другими, но, поскольку  
при сем никто не был убит, да будет позволено это обойти. Эти  
несущественные, хотя и закономерные, последствия публикации  
ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЫ лишь для того упоминаются, чтобы чита-  
тели знали, что даже образованные и утвердившие себя в жизни  
люди были возмущены и обдумывали насильственные меры самого  
ужасного свойства.

Как выяснилось, в это время — примерно около двенадцати —  
Катарина, пробыв неузнанной полтора часа в журналистском по-  
гребке «Золотая утка», чтобы, по-видимому, собрать там сведения  
о Тётгесе, отправилась к себе домой ждать Тётгеса, явившегося  
туда через четверть часа. Об «интервью», пожалуй, говорить не  
стоит. Известно, чем оно закончилось (см. с. 584).

## 50

Чтобы проверить истинность ошеломительного — ошело-  
мившего *всех* участников этой истории — сообщения священни-  
ка из Геммельсбройха, будто отец Катарины был тайным ком-  
мунистом, Блорна поехал на один день в деревню. Поначалу  
священник подтвердил свое высказывание, признал, что ГАЗЕТА  
пр процитировала его дословно и точно, доказательств для своего  
утверждения он представить не может, да и не хочет, сказал даже,  
они ему *не нужны*, поскольку он может положиться на свое  
чутье, а он просто нюхом чуял, что Блюм коммунист. Разъяснить,  
что это за чутье, он не захотел, в ответ на просьбу Блорны, раз  
уж он не хочет разъяснить, что это за чутье, все же сказать,  
*каков* запах коммуниста, так сказать, *чем* пахнет коммунист,  
священник не изъявил готовности откликнуться и — приходится,  
к сожалению, отметить — стал довольно невежлив, спросил  
у Блорны, католик ли он, а получив подтверждение, напомнил  
ему о долге послушания, чего Блорна не понял. С этого момента  
у него, конечно, возникли трудности в розысках сведений о Блю-  
мах, судя по всему не слишком здесь любимых; он услышал нема-  
ло дурного о матери Катарины, которая однажды действительно  
выпила в ризнице в обществе уволенного потом служки *одну*  
бутылку церковного вина, слышал немало дурного о брате Катарин-  
ны, который вообще-то был сущим наказанием, но единствен-  
ным обоснованием заявления о коммунизме отца Катарины бы-

ла брошенная им крестьянину Шоймелю в 1949 году в одном из семи кабачков деревни фраза, якобы гласившая: «Социализм — это вовсе не самое скверное». Больше раздобыть ничего не удалось. Единственный результат злополучных розысков в деревне состоял в том, что к их концу Блорна сам был не то чтобы прямо обруган, но, во всяком случае, назван коммунистом, причем — что его особенно больно задело — это сделала дама, которая сперва в известной мере ему помогала, почти даже симпатизировала, — пенсионерка-учительница Эльма Цубрингер; прощаясь, она насмешливо улыбнулась, даже подмигнула ему и сказала: «Почему вы не признаетесь, что сами один из этих, а уж ваша жена тем более?»

## 51

К сожалению, нельзя умолчать о некоторых актах насилия, имевших место в период, когда Блорна готовился к процессу против Катарины. Самую большую ошибку он совершил, когда согласился по просьбе Катарины взять на себя защиту также и Гёттена и все время пытался добиться для обоих разрешения на свидание, настаивая на том, что они обручены. Будто бы обручение состоялось в тот самый вечер двадцатого февраля и в последующую ночь. И т. д. и т. д. Можно себе представить, чего только не написала ГАЗЕТА о нем, о Гёттене, о Катарине, о госпоже Блорна. Здесь незачем это упоминать или цитировать. Определенные нарушения или смену уровня следует предпринимать лишь в том случае, когда это необходимо, а в данном случае такой необходимости нет, поскольку тем временем стало хорошо известно, что представляет собой ГАЗЕТА. Был распушен слух, будто Блорна намерен развестись с женой, слух, который ничего, ну совершенно ничего общего с истиной не имел, но тем не менее он посеял между супругами известное недоверие. Утверждалось, будто его финансовые дела неважны, что плохо, ибо верно. Он и впрямь многовато взял на себя, поскольку, кроме всего прочего, перенял своего рода опеку над квартирой Катарины, которую трудно было сдать внаем или продать, так как она считалась «запятнанной кровью». Во всяком случае, цена ее упала, и Блорне пришлось разом выплатить полностью очередной взнос, проценты и т. д. Появились даже первые признаки того, что фирма «Хафтекс», ведавшая жилым комплексом «Элегантная обитель у реки», взвешивала, не подать ли на Катарину Блюм жалобу с требованием возместить убытки в связи с причинением ущерба наемной, торговой и общественной ценности комплекса. Как видим, неприятности, сплошные неприятности. Попытка уволить госпожу Блорна из архитектурной фирмы за обман доверия, состоящий в ознакомлении Катарины с субструктурой жилого комплекса, в первой инстанции, правда, была отклонена, но никто не знает, что решат вторая и третья инстанции. И еще: вторая машина уже продана,

а недавно в ГАЗЕТЕ была фотография в самом деле довольно элегантного «супердрандулета» Блорны с подписью: «Когда же красному адвокату придется пересесть в машину маленького человека?»

## 52

Конечно, отношения Блорны с «Люштрой» (Людинг-Штройбледер-Компания) тоже нарушены, если не прерваны. Речь теперь ведется только о «завершении дел». Правда, недавно Штройбледер сообщил по телефону: «Умереть с голоду мы вам не дадим». Блорну удивило, что вместо «тебе» Штройбледер сказал «вам». Он еще, разумеется, работает на «Люштру» и «Хафтекс», но не в интернациональной сфере и даже не в национальной, а лишь изредка в региональной, чаще всего в локальной, а это означает, что ему приходится биться с жалкими нарушителями договоров и кляузниками, которые предъявляют иски, скажем, на то, что им обещали облицовку из мрамора, а сделали из зольнхофенского сланца, или с типами, которые, если им обещали три слоя шлифовального лака на двери ванной, ножом отскребают краску, нанимают экспертов, устанавливающих, что нанесено только два слоя; протекающие краны в ванной, попорченные мусоропроводы, используемые как предлог не платить обусловленные договором деньги,— вот те дела, которые ему теперь поручают вести, в то время как раньше он, если не постоянно, то довольно часто, курсировал между Буэнос-Айресом и Персеполисом, чтобы участвовать в обсуждении больших проектов. На военной службе это называют разжалованием, связанным чаще всего с намерением унижить. Следствие: язвы желудка еще нет, но желудок Блорны уже дает о себе знать. На беду, он еще предпринял в Кольфорстенхайме собственные розыски, чтобы узнать у местного мастера полиции, торчал ли ключ снаружи или внутри, когда арестовывали Гёттена, или обнаружены признаки того, что Гёттен вломился. К чему все, раз дознание закончено? Это — следует отметить — никоим образом не лечит язвы желудка, хотя мастер полиции Херманс был очень любезен, никоим образом не заподозрил его в коммунизме, но настоятельно посоветовал ему не впутываться в это дело. Единственное утешение Блорны: жена становится все более милой с ним, острый язык она, правда, сохранила, но обращает его уже не против мужа, а только против других, хотя и не против всех. Ее план продать виллу, выкупить квартиру Катарины, переехать туда не осуществился пока из-за величины квартиры, то есть из-за ее малости, поскольку Блорна хочет отказаться от своей городской конторы и завершить дела дома; он, слывший либералом с повадками бонвивана, приятный, жизнерадостный коллега, чьи вечера охотно посещались, начал обнаруживать черты аскета, пренебрегать одеждой, которой всегда придавал большое значение, и так как он пренебрегает ею действительно, а не на модный манер, иные коллеги утверж-

дают, что он даже перестал следить за собой и от него попахивает. Так что на новую карьеру надежды мало, ибо в самом деле — здесь ничего, совершенно ничего не должно быть утаено — запах его тела уже не прежний, не запах человека, утром бодро устремляющегося под душ, обильно потребляющего мыло, дезодоранты и туалетную воду. Короче говоря: с ним происходит существенная перемена. Его друзья — а у него еще есть несколько друзей, в их числе Гах, с которым ему, кстати, приходится иметь дело в связи с Людвигом Гёттеном и Катариной Блюм, — его друзья обеспокоены, тем более что его ярость — скажем, против ГАЗЕТЫ, то и дело одаряющей его небольшими корреспонденциями, — уже не прорывается наружу, а, по всей видимости, проглатывается им. Беспокойство его друзей доходит до того, что они просили Труды Блорна незаметно проверить, не обзавелся ли Блорн оружием или не изготавливает ли он взрывной механизм, ибо застреленный Тётгес нашел преемника и продолжателя по имени Эгинхард Темплер; этому Темплеру удалось сфотографировать Блорну при входе в частный ломбард, затем, сфотографировав его, по-видимому, через витрину, дать читателям ГАЗЕТЫ представление о переговорах между Блорной и владельцем ломбарда: обсуждалась залоговая стоимость какого-то кольца, которое владелец ломбарда рассматривал в лупу. Подпись под снимком: «Действительно ли иссякли красные источники, или же здесь инсценируется нужда?»

### 53

Самая большая забота Блорны — уговорить Катарину сказать на суде, что решение отомстить Тётгесу — причем никоим образом не с намерением убить, а только напугать — она приняла лишь в воскресенье утром. Правда, в субботу, приглашая его на интервью, она намеревалась недвусмысленно высказать ему свое мнение и обратить его внимание на то, что он натворил с нею и ее матерью, но убивать она не собиралась и в воскресенье, даже после прочтения статьи в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ. Следовало избежать впечатления, будто Катарина целыми днями планировала убийство и планомерно его осуществила. Он пытается объяснить Катарине, утверждающей, что уже после прочтения первой статьи у нее возникли *мысли об убийстве*, что у многих, в том числе и у него, иной раз возникают мысли об убийстве, но есть разница между мыслями об убийстве и планированным убийством. И еще его беспокоит, что Катарина до сих пор не чувствует раскаяния и поэтому не сможет его обнаружить и перед судом. Она вовсе не удручена, а в какой-то мере даже счастлива, что живет «в таких же условиях, как и милый Людвиг». Она считается образцовой заключенной, работает на кухне, и, если начало судебного разбирательства отложится, ее переведут в хозяйственный отдел (экономический); но там, как удалось узнать, ее ждут вовсе не с восторгом, а с опаской — как в аппарате управления, так и в среде арестан-



тов — из-за ее репутации честного человека, и слухи о том, что весь срок своего заключения — а предполагают, что обвинение потребует пятнадцать лет, но получит она от восьми до десяти лет, — Катарина проработает по хозяйственному ведомству, распространились по всем тюрьмам как страшное известие. Вот и видно: честность в сочетании с умением планировать нигде не желательна, даже в тюрьмах и даже в управлении.

## 54

Как доверительно сообщил Гах Блорне, обвинение Гёттена в убийстве, вероятно, нельзя будет доказать, и потому не будет и предъявлено. Однако считается доказанным, что он не только дезертировал из бундесвера, но и нанес значительный ущерб (также и материальный, не один лишь моральный) этому благословенному органу. Не ограбил банк, а полностью обчистил сейф, содержащий жалованье для военнослужащих двух полков и значительные денежные запасы; кроме того, подделал балансовую ведомость и украл оружие. Ну, надо полагать, он тоже получит от восьми до десяти лет. Таким образом, он выйдет на свободу лет тридцати четырех, Катарина — тридцати пяти, и она в самом деле строит планы на будущее: она рассчитывает, что ко времени освобождения ее капитал даст значительные проценты и тогда она сможет «где-нибудь, конечно не здесь», открыть «ресторан с кулинарией». Вопрос, может ли она считаться невестой Гёттена, вероятно, будет решаться не на более высоком, а на самом высоком уровне. Соответствующие ходатайства составлены и совершают свой долгий путь по инстанциям. Кстати, телефонные контакты, которые Гёттен установил с виллы Штройбледера, ведут только к служащим бундесвера или их женам, среди них офицеры и офицерские жены. Скандал, видимо, будет среднего размера.

## 55

В то время как Катарина почти безмятежно, ограниченная лишь в свободе, глядит на свое будущее, Эльза Вольтерсхайм впадает во все большее ожесточение. Ее очень задело, что бросили тень на ее мать и покойного отца, считавшегося жертвой сталинизма. У Эльзы Вольтерсхайм можно обнаружить усилившиеся общественно враждебные тенденции, смягчить которые не удастся даже Конраду Байтерсу. Поскольку Эльза специализировалась главным образом по части холодных закусок — как в области калькуляции, так и приготовления и контроля, — ее агрессивность обращается главным образом на гостей званых вечеров, будь то иностранные или отечественные журналисты, промышленники, профсоюзные деятели, банкиры или высокопоставленные чиновники. «Иной раз, — сказала она на днях Блорне, — мне приходится

силком сдерживать себя, чтобы не швырнуть какому-нибудь субчику на фрак миску с картофельным салатом или опрокинуть какой-нибудь потаскухе в декольте поднос с ломтиками семги — пусть они наконец узнают, что такое страх. Представили бы они себе, как выглядят со стороны, с нашей стороны: как они стоят с разинутыми ртами, лучше сказать — пастьями, и как сразу толпой набрасываются, конечно же, на бутерброды с икрой, а то еще есть типы — даже миллионеры или жены миллионеров, — которые набивают себе карманы сигаретами, спичками и печеньем. А в другой раз они еще приносят какие-то пластмассовые сосуды, в которых утаскивают с собой кофе; и все это, все-все ведь как-то оплачивается из наших налогов, так или иначе. Есть типы, которые экономят на завтраке или обеде и, как коршуны, накидываются на закуски, но я, конечно, не хотела бы обидеть коршунов».

## 56

Из явных актов насилия известным стал пока один, но он привлек к себе, к сожалению, довольно большое внимание общественности. В связи с открытием выставки художника Фредерика Ле Боша, чьим меценатом считался Блорна, последний впервые снова встретился со Штройбледером, который ринулся к нему с сияющим лицом, а когда Блорна не подал ему руки, Штройбледер сам буквально схватил руку Блорны и зашептал ему: «Господи, не принимай же ты все это так близко к сердцу, мы не дадим вам пропасть, вот только ты, к сожалению, сам пропадаешь». К сожалению, истины ради надо сообщить, что в этот момент Блорна действительно дал Штройбледеру по м... Скажем сразу, чтобы сразу же и забыть: потекла кровь, кровь из носа Штройбледера, по разным наблюдениям — от четырех до семи капель, но, что еще хуже, Штройбледер отшатнулся, однако тут же сказал: «Я прощаю тебе, прощаю тебе все — ввиду твоего состояния». И так как это замечание почему-то вызвало крайнее раздражение Блорны, произошло нечто такое, что очевидцы называли «рукопашной схваткой», и как это всегда бывает, когда люди типа Штройбледера и Блорны появляются на публике, здесь же оказался фоторепортер ГАЗЕТЫ, некий Коттензель, преемник застреленного Шённера, и не стоит, наверное, обижаться на ГАЗЕТУ, тем более уже зная ее характер, за то, что она опубликовала фотографию этой «рукопашной схватки» с надписью: «Нападение левого адвоката на консервативного политика». Разумеется, лишь на следующее утро. Во время выставки произошла еще одна встреча — между Мод Штройбледер и Трудой Блорна. «Можешь быть уверена в моем сочувствии, дорогая Труда», в ответ на что Труда Б. сказала Мод Ш.: «Засунь быстренько свое сочувствие обратно в холодильник, где хранятся все твои чувства». Когда же Мод Ш. снова предложила ей прощение, добросердечие, сочувствие, даже чуть ли не любовь со словами: «Ничто, абсолютно ничто не в силах уменьшить мою симпатию, даже твои

злые выпады», Труда Б. ответила словами, привести которые здесь не представляется возможным, о них можно сообщить лишь в реферативной форме, они не были дамскими, эти слова, какими Труда Б. намекала на многочисленные попытки Штройбледера к сближению и среди прочего — в нарушение правила о неразглашении доверенных тайн, которое распространяется и на жену адвоката,— упомянула кольцо, письма и ключ, который «этот постоянно получавший от ворот поворот ухажер оставил в некоей квартире». Но тут дам разлучил Фредерик Ле Бош, который, сохраняя присутствие духа, не упустил возможности подхватить кровь Штройбледера промокательной бумажкой и переработать ее — как он называл — в “One minute piece of art”<sup>1</sup>, наименовал это «Концом многолетней мужской дружбы» и, подписав, подарил не Штройбледеру, а Блорне со словами: «Можешь это сплавить, чтобы пополнить немножко свою кассу». По этому упомянутому последним факту, равно как и по описанным вначале актам насилия, можно судить, что искусство все-таки еще несет социальную функцию.

## 57

Конечно, в высшей степени огорчительно, что к концу сообщается так мало гармоничного и так мало остается надежды на гармонию. Получилась не интеграция, а конфронтация. Конечно, можно позволить себе задаться вопросом: как так или почему, собственно? Молодая женщина в хорошем, почти веселом настроении отправляется на мирный танцевальный вечер, а спустя четыре дня она — поскольку здесь должно иметь место не осуждение, а только сообщение, то и сообщать следует одни лишь факты — становится убийцей — собственно говоря, если вдуматься, только из-за газетных сообщений. Возникает раздражение, напряжение, а потом и рукопашная схватка между двумя очень-очень давними друзьями. Язвительные реплики их жен. Отвергнутое сочувствие, даже отвергнутая любовь. Крайне безотрадные явления. Веселый, общительный человек, любящий жизнь, путешествия, комфорт, настолько пренебрегает собой, что начинает источать запах! Даже запах изо рта у него учуял. Он дает объявление о продаже своей виллы, обращается даже в ломбард. Его жена осматривается «в поисках чего-то другого», так как уверена, что вторая инстанция лишит ее места; она даже готова, эта одаренная женщина готова поступить в крупную мебельную фирму в качестве продавщицы разрядом повыше, с титулом «консультант по интерьеру», но там ей заявляют, что «круги, которые обычно у нас покупают,— это те круги, сударыня, с которыми вы рассорились». Короче говоря, плохо дело. Прокурор Гах уже доверительно шепнул друзьям то, чего самому Блорне сказать еще не решился: по всей вероятности, его как защитника отклонят — ввиду его очевидной

<sup>1</sup> Экспромт (англ.).

пристрастности. Что будет дальше, чем это кончится? Что станется с Блорной, если он лишится возможности навещать Катарину и — не стоит больше скрывать! — держать ее за ручку. Нет сомнений: он ее любит, она его — нет, у него нет ни малейшей надежды, ибо все, все отдано ее «милому Людвигу»! И надо добавить, что «держаться за ручку» означает здесь действие одностороннее, оно заключается лишь в том, что, когда Катарина передает ему документы, или записи, или документальные записи, он задерживает ее руку несколько дольше — возможно, на три, четыре, ну, не больше пяти десятых секунды, — чем принято. Черт возьми, ну как тут создашь гармонию, если даже его горячее расположение к Катарине не может заставить его — скажем же это наконец — несколько чаще мыться. Его не утешает даже тот факт, что он, он один, установил происхождение оружия, которым было совершено преступление, чего не удалось ни Байцменне, ни Мёдингу, ни их помощникам. Ну, «установил», возможно, и не совсем точное слово, поскольку имеется в виду добровольное признание Конрада Байтерса, который как-то заметил, что он старый нацист и, возможно, только благодаря этому на него до сих пор не обращали внимания. Был он в свое время политическим руководителем в Куире и кое-что смог тогда сделать для матери Эльзы Вольтерсхайм, ну а пистолет — это старый служебный пистолет, который он спрятал, но по глупости однажды показал Эльзе и Катарине; как-то они даже отправились втроем в лес и устроили там стрелковые упражнения; Катарина оказалась очень хорошим стрелком, она объяснила, что еще молодой девушкой прислуживала за столом в кружке стрелков и ей иногда позволяли палить из ружья. А в ту субботу вечером она попросила у него ключ от квартиры, сказав, что ей хочется побыть одной, ее же квартира для нее мертва, мертва... однако в субботу она все же осталась у Эльзы и, должно быть, пистолет взяла в его квартире в воскресенье, когда после завтрака и чтения ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЫ поехала, переодевшись бедuinкой, в этот треклятый журналистский кабак.

## 58

Под конец остается сообщить все-таки кое-что до некоторой степени отрадное: Катарина рассказала Блорне, как было совершено преступление, рассказала также, как она провела те семь или шесть с половиной часов между убийством и ее появлением у Мёдинга. Поскольку Катарина все изложила письменно и передала это Блорне для использования на процессе, есть счастливая возможность процитировать это описание дословно.

«В журналистский погребок я пошла лишь затем, чтобы поглядеть на него. Мне хотелось знать, как такой человек выглядит, какие у него повадки, как он говорит, пьет, танцует — этот человек, который разрушил мою жизнь. Да, я сначала зашла в квартиру Конрада и взяла пистолет, даже сама зарядила его. Когда

мы были однажды в лесу, я попросила показать, как это делается. В погребке я прождала полтора или два часа, но он не пришел. Я решила: если он окажется уж очень противным, то не пойду давать ему интервью, и если бы я прежде увидела его, то и не пошла бы. Но он не пришел в кабачок. Чтобы избежать приставаний, я попросила хозяина — его зовут Петер Краффлун, мы вместе иногда работали по найму, он был обер-кельнером, — я попросила его разрешить мне поработать за стойкой. Петер, конечно, знал, что про меня писала ГАЗЕТА, он обещал подать мне знак, если появится Тётгес. Время-то карнавальное, и меня несколько раз приглашали танцевать, но Тётгес все не появлялся, и я занервничала, так как не хотела встретиться с ним неподготовленной. Ну, и в двенадцать я поехала домой, с души воротило, так изгажена и измарана была квартира. Но ждать пришлось всего несколько минут, пока позвонили в дверь, — как раз хватило времени отвести предохранитель пистолета и положить его наготове в сумочку. И тут позвонили, я открыла, он стоял уже у двери, я же думала, что он позвонил снизу и у меня будет еще несколько минут, но он поднялся на лифте, и вот он стоял передо мной — я испугалась. Я сразу увидела, что он свинья, настоящая свинья. К тому же красавчик. Таких обычно называют красавчиками. Да вы ведь видели фотографии. Он сказал: «Ну, Цветочек<sup>1</sup>, чем мы сейчас займемся?» Я не произнесла ни слова, отступила в комнату, он вошел следом за мной и сказал: «Ну что ты смотришь так растерянно, мой Цветик, я предлагаю сперва поразвлечься». Тем временем я уже взялась за сумочку, а он подступился к моему платью, и я подумала: поразвлечься — что ж, пожалуйста, вынула пистолет и тут же выстрелила в него. Два раза, три раза, четыре. Не знаю точно — сколько. Вы можете прочесть об этом в полицейском отчете. Не думайте, что для меня в новинку, чтобы мужчина хватался за мое платье, — если вы с тринадцати лет, а то и раньше, работаете прислужгой, вы кое-чего насмотрелись. Но *этот* парень, да еще и «поразвлечься», и я подумала: хорошо, сейчас я тебя развлеку. Он, конечно, не ожидал этого и с полсекунды так удивленно смотрел на меня, ну прямо как в кино, когда в кого-то вдруг неожиданно стреляют. Потом он упал, я думаю, он был уже мертвый. Я бросила около него пистолет и вышла, спустилась на лифте вниз и вернулась в кабачок; Петер удивился, ведь я отсутствовала едва ли полчаса. Я снова встала за стойку, больше не танцевала и беспрестанно думала: это же неправда; но я знала, что это правда. Петер иногда подходил ко мне и говорил: «Сегодня он не придет, этот твой приятель», а я отвечала: «Похоже на то». И напускала на себя безразличие. До четырех я наливала водку, цедила пиво, открывала бутылки с шампанским и подавала рольмопсы. Потом ушла, не попрощавшись с Петером, сперва зашла в церковь поблизости, с полчаса там сидела и думала о матери, о проклятой, жалкой жизни, выпавшей ей на долю, и об отце, который вечно, вечно

---

<sup>1</sup> Фамилия Блум созвучна слову Blume — цветок.

брюзжал, брюзжал на государство и церковь, на власти и чиновников, на офицеров и всех поносил, но когда ему приходилось с кем-нибудь из них иметь дело, он пресмыкался, чуть ли не повизгивал от раболепства. И о муже, Бреттло, о тех отвратительных гадостях, которые он рассказал Тётгесу, и, конечно, о брате, который всегда, всегда оказывался тут как тут, стоило мне заработать несколько марок, и выманивал их у меня для какой-нибудь ерунды, на одежду, или мотоцикл, или игорные салоны; и, конечно, о священнике, который всегда называл меня в школе «нашей красноватой Катринхен», а я понятия не имела, что он хочет этим сказать, и весь класс хохотал, потому что я и впрямь тут же краснела. Да. И, конечно же, о Людвиге. Потом я ушла из церкви и заглянула в первое попавшееся кино, но не осталась там, опять пошла в церковь, потому что в карнавальное воскресенье это было единственное место, где можно обрести немного покоя. Я думала, конечно, и о застреленном там, в моей квартире. Без раскаяния, без сожаления. Он ведь хотел поразвлечься, и я устроила развлечение, не так ли? У меня мелькнула мысль, не тот ли это парень, который звонил мне ночью и надоедал также бедной Эльзе. Я подумала: да это же тот самый голос, надо было дать ему возможность еще немного поболтать, чтобы убедиться; но что бы мне это дало? Потом мне захотелось крепкого кофе, и я пошла в кафе Бекеринга, не в зал, а на кухню, потому что я знаю Кете Бекеринг, жену владельца, по школе домоводства. Кете была очень мила со мной, хотя ее ждало довольно много дел. Она дала мне чашку собственного кофе, который заваривает правильно, совсем на бабушкин лад, заливая водой размолотые зерна. Но потом она завела разговор о всей этой чуши из ГАЗЕТЫ, мило, но так, будто все-таки немножко верит ей, да и откуда людям знать, что все сплошная ложь. Я попробовала ей это объяснить, но она не поняла, а только подмигнула и сказала: «А ты, стало быть, в самом деле любишь этого парня», и я сказала: «Да». Потом я поблагодарила за кофе, на улице взяла такси и поехала к этому Мёдингу, который был тогда так мил со мной».

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>П. Топер</i> . Генрих Бёль — романист и рассказчик . . . . .	5
---	---

### ИЗ СБОРНИКА «ПУТНИК, ПРИДЕШЬ КОГДА В СПА...»

Путник, придешь когда в Спа... Перевод <i>И. Горкиной</i> . . . . .	35
«Метлы бы тебе вязаты!» Перевод <i>И. Горкиной</i> . . . . .	42
Остановка в Х. Перевод <i>Л. Лунгиной</i> . . . . .	45
История одного солдатского мешка. Перевод <i>И. Горкиной</i> . . . . .	52
Весть. Перевод <i>И. Горкиной</i> . . . . .	60
Человек с ножами. Перевод <i>Н. Португалова</i> . . . . .	63
Смерть Лознгриня. Перевод <i>И. Горкиной</i> . . . . .	71
Моя дорогая нога. Перевод <i>И. Горкиной</i> . . . . .	79
Торговля есть торговля. Перевод <i>П. Печалиной</i> . . . . .	81
Мое грустное лицо. Перевод <i>И. Горкиной</i> . . . . .	85

### ИРЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК. Перевод *С. Фридлянд* и *В. Нефедьева*

Прибытие I . . . . .	93
Прибытие II . . . . .	96
Помолись за душу Майкла О'Нила . . . . .	99
Мейо — да поможет нам бог! . . . . .	103
Скелет человеческого поселения . . . . .	108
Странствующий дантист от политики . . . . .	112
Портрет ирландского города . . . . .	114
Лимерик утром . . . . .	114
Лимерик вечером . . . . .	117
Когда бог создавал время . . . . .	121
Размышления по поводу ирландского дождя . . . . .	125
Самые красивые ноги в мире . . . . .	127
Мертвый индеец на Дюк-стрит . . . . .	133

Глядя в огонь . . . . .	136
Если Шеймусу хочется выпить . . . . .	138
Девятый ребенок миссис Д. . . . .	141
Небольшое дополнение к мифологии западных стран . . . . .	144
Ни одного лебедя . . . . .	147
Поговорки . . . . .	151
Прощанье . . . . .	153

# **ИЗ СБОРНИКА «„МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА МУРКЕ“ И ДРУГИЕ САТИРЫ»**

Молчание доктора Мурке. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .	161
Не только под рождество. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .	179
Столичный дневник. <i>Перевод Л. Черной</i> . . . . .	197

<b>БИЛЬЯРД В ПОЛОВИНЕ ДЕСЯТОГО. Роман. Перевод Л. Черной</b> . . . . .	205
--	-----

<b>ГЛАЗАМИ КЛОУНА. Роман. Перевод Р. Райт-Ковалевой</b>	421
---	-----

<b>ПОТЕРЯННАЯ ЧЕСТЬ КАТАРИНЫ БЛЮМ, ИЛИ КАК ВОЗНИКАЕТ НАСИЛИЕ И К ЧЕМУ ОНО МОЖЕТ ПРИ- ВЕСТИ. Повесть. Перевод Е. Кацевой</b> . . . . .	581
---	-----



**Бёль, Генрих**

**Б43 Избранное: Сборник. Пер. с нем./Составл. и Предисл. П. Топера.— М.: Радуга, 1988.—656 с.— (Мастера современной прозы)**

В том избранных произведений писателя входят романы «Бильярд в половине десятиго», «Глазами клоуна», повесть «Потерянная честь Катарины Блюм», а также рассказы и очерки, отличающиеся яркой антифашистской и антивоенной направленностью.

**Б  $\frac{4703000000-322}{030(01)-88}$  73—88**

**ББК 84.4Ф  
И (ФРГ)**

**ГЕНРИХ БЁЛЛЬ**  
**ИЗБРАННОЕ**

**Составитель Павел Максимович Топер**

Редактор *Н. Н. Федорова*  
Художник *А. В. Сапожников*  
Художественный редактор *А. П. Купцов*  
Технический редактор *Л. Б. Чуева*  
Корректор *Е. В. Рудницкая*

ИБ № 3884

Сдано в набор 29.05.87. Подписано в печать 03.03.88. Формат  $60 \times 90^{1/16}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Тип таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 41,0. Усл. кр.-отт. 41,0. Уч.-изд. л. 48,26. Тираж 100 000 экз. Заказ № 617. Цена 5 р. 20 к. Изд. № 4113.

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

119859, Москва, Зубовский бульвар, 17

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

143200, Можайск, ул. Мира, 93

**ИЗДАТЕЛЬСТВО**  
**«РАДУГА»**  
(до 1982 г. — «Прогресс»)

**СЕРИЯ «МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ  
ПРОЗЫ»**

**Вышли в свет  
избранные произведения:**

**К. Х. СЕЛЫ (Испания)**  
**М. ВАРГАСА ЛЬОСЫ (Перу)**  
**Ф. МОРИАКА (Франция)**  
**Я. КАВАБАТЫ (Япония)**  
**С. ДЫГАТА (Польша)**  
**В. КЁППЕНА (ФРГ)**  
**В. ЭЛСХОТА (Бельгия)**  
**К. ЧАНДАРА (Индия)**  
**С. ВЕСТДЕЙКА (Голландия)**  
**У. ФОЛКНЕРА (США)**  
**Ч. ПАВЕЗЕ (Италия)**  
**Э. КОША (Югославия)**  
**В. ХАЙНЕСЕНА (Дания)**  
**И. ВО (Англия)**  
**К. ФУЭНТЕСА (Мексика)**  
**А. ЗЕГЕРС (ГДР)**  
**Р. К. НАРАЙАНА (Индия)**  
**М. ДЕЛИБЕСА (Испания)**  
**О. КЕМАЛЯ (Турция)**  
**М. ФРИША (Швейцария)**  
**ТО ХОАЯ (СРВ)**  
**Х. КОРТАСАРА (Аргентина)**  
**Т. УАЙЛДЕРА (США)**  
**НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)**  
**П. УАЙТА (Австралия)**  
**А. МАРШАЛЛА (Австралия)**  
**Х. ЛАКСНЕССА (Исландия)**  
**М. А. АСТУРИАСА (Гватемала)**  
**Р. ВАЙЯНА (Франция)**  
**А. МОРАВИА (Италия)**  
**Р. РАЙТА (США)**  
**К. ОЭ (Япония)**  
**Д. ИЙЕША (Венгрия)**  
**Й. РАДИЧКОВА (Болгария)**  
**Ч. АЧЕБЕ (Нигерия)**  
**Ю. БОРГЕНА (Норвегия)**

М. ЛАУРИ (Канада)  
Г. ГАРСИА МАРКЕСА (Колумбия)  
ДЖ. КЭРИ (Англия)  
М. ЛАЛИЧА (Югославия)  
П. ЛАГЕРКВИСТА (Швеция)  
ЛАО ШЭ (Китай)  
Э. СТАНЕВА (Болгария)  
Х. фон ДОДЕРЕРА (Австрия)  
М. ОТЕРО СИЛЬВЫ (Венесуэла)  
Э. БАЗЕНА (Франция)  
Л. НЕМЕТА (Венгрия)  
Г. НОССАКА (ФРГ)  
Т. ПАРНИЦКОГО (Польша)  
К. АБЭ (Япония)  
А. АЛВЕСА РЕДОЛА (Португалия)  
О. СИГЮРДССОНА (Исландия)  
Т. ВЕСОСА (Норвегия)  
Х. К. ОНЕТТИ (Уругвай)  
Я. КЕМАЛЯ (Турция)  
И. АНДРИЧА (Югославия)  
Э. ШТРИТМАТТЕРА (ГДР)  
М. СПАРК (Англия)  
И. КАЛЬВИНО (Италия)  
М. ЮРСЕНАР (Франция)  
Г. ГЕССЕ (ФРГ)  
Х. Л. БОРХЕСА (Аргентина)  
Г. ГРАССА (ФРГ)  
Л. АРАГОНА (Франция)  
Ф. АЯЛЫ (Испания)  
В. ФЕРРЕЙРЫ (Португалия)  
М. БЕНЕДЕТТИ (Уругвай)  
М. СЕЛИМОВИЧА (Югославия)  
Г. КАНТА (ГДР)  
А. АНДЕРША (ФРГ)  
В. ШОЙИНКИ (Нигерия)  
Ф. БАЙКУРТА (Турция)  
А. КАРПЕНТЬЕРА (Куба)  
Н. ХОАКИНА (Филиппины)  
Ш. О'ФАОЛЕЙНА (Ирландия)

